

А. М. Скабичевский

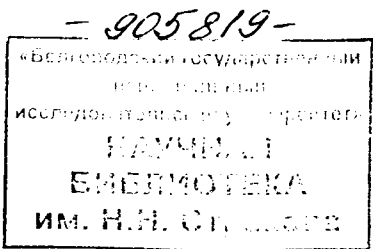
**История новейшей Русской литературы
1848-1890**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
А11

A11 **А. М. Скабичевский**
История новейшей Русской литературы: 1848-1890 / А. М. Скабичевский – М.: Книга по Требованию, 2015. – 540 с.
ISBN 978-5-517-98945-1

ISBN 978-5-517-98945-1



© Издание на русском языке, оформление «YOYO Media», 2015
© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2015

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ИСТОРИЯ
НОВѢЙШЕЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(1848—1890)

А. М. Скабичевскаго.

~~~~~  
Цѣна 2 руб.  
~~~~~

Изданіе Ф. Павленкова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ГАЗЕТЫ „НОВОСТИ“, ЕКАТЕРИНСКИЙ КАНАЛЪ, Д. 113.
1891.

ГЛАВА I.—Слѣдуетъ-ли ставить Гоголя во главѣ новаго періода литературы съ эстетической точки зрѣнія и со стороны содержанія его произведеній.—Картины старыхъ литературныхъ нравовъ.—Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ, приведшіе къ полному измѣненію литературныхъ нравовъ.—Типъ умственнаго развитія стараго періода.—Новый типъ умственнаго развитія.—Народность, какъ основная идея новаго періода литературы.	Стр. 1
---	---

Т I A B A II.—Общая картина реакціи пятидесятихъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направлений. Кочующіе писатели.—Преобладаніе въ журналахъ спеціальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ бібліографическихъ изысканій.—Сказочная великосвѣтская беллетристика. Барышнинская полемика. Оутраченіе общественной сатиры.—Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятихъ годовъ.—Петербургскіе критики пятидесятихъ годовъ: А. В. Дружининъ и П. В. Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина.—Забвеніе всѣхъ заповѣтовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства 15.

ГЛАВА III.—Московская оппозиція: изданіе *Противеевъ* и возникновеніе славянофильства. — Религіозныя и философско-историческія взгляды первыхъ славянофиловъ. — Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи. — Погромы, испытанныя ими. — Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическія взгляды. — Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: Ап. Григорьевъ и Н. Стравовъ. Точки соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами. — О. О. Миллеръ 28.

Д А В А IV.—Одичаніе общества и забвеніе всѣхъ идей сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятихъ годовъ. Статья Пирогова: *Вопросы жизни*, какъ образецъ этого одичанія.—Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три различные теченія въ шестидесятые годы и два періода этой эпохи.—Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Бѣлинскаго. Теорія В. Майкова.—Биографическія данныя о жизни Н. Р. Чернышевскаго.—Диссертація его: «Отношеніе искусства къ действительности» 19.

ГЛАВА V.—Дѣтство и семинарскіе годы Н. А. Добролюбова.—Пребываніе его въ педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь его.—Философскіе и моральныя взгляды Добролюбова.—Эстетическій теоріи Добролюбова. Съмена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы.—Публицистическій характеръ критики Добролюбова.—Двѣ категоріи публицистическихъ взглядовъ Добролюбова.—Противорѣчія Добролюбова, обуславливаемые двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова. . . 68.

ГЛАВА VI.—Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй періодъ шестидесятихъ годовъ. Два полюса этого движенія.—Значеніе <i>Русскаго Слова</i> и характеръ его сотрудников.—Д. П. Писаревъ. Характеристика личности. Дѣтство.—Гимназическіе и студенческіе годы Писарева.—Послѣдній періодъ его жизни	Стр. 86.
ГЛАВА VII.—Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева.—Отрицаніе Пушкина.—Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базаровскаго типа.—Признаніе естественныхъ наукъ панацеею общественнаго прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія.—М. А. Антоновичъ.—П. К. Михайловскій.	103.

II. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

ГЛАВА VIII.—Общая характеристика школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ; ея отношеніе къ вѣку и значеніе.—И. С. Тургеневъ, какъ глава этой школы; происхожденіе Тургенева; его родители.—Дѣтство; университетское образованіе; путешествіе за-границу послѣ университета.—Первые шаги на литературномъ поприщѣ. Стихотворенія и первыя антиромантическія повѣсти.— <i>Записки охотника</i> ; ссылка. Дальнѣйшіе факты жизни Тургенева до его смерти.—Характеристика самаго цвѣтущаго періода дѣятельности Тургенева.—Романъ <i>Отцы и дѣти</i> и характеристика четвертаго, послѣдняго періода дѣятельности Тургенева.—Общее значеніе Тургенева, какъ художника. Его политическія и эстетическія воззрѣнія	121.
ГЛАВА IX.—Родители, воспитатели Гончарова и его дѣтство.—Воспитаніе психольное и университетское.—Служба. —Первые литературные опыты.—Знакомство съ литературными кружками.—Выходъ въ свѣтъ <i>Обыкновенной исторіи</i> .—Среда, вліявшая на умственное развитіе Гончарова и складъ его таланта.—Различіе качествъ этого таланта отъ тургеневскаго.—Дальнѣйшіе факты его жизни.—Путешествіе кругомъ свѣта.— <i>Фрегатъ Паллада</i> .— <i>Обломовъ</i> .— <i>Обрывъ</i> и остальные его сочиненія	142.
ГЛАВА X.—Гр. Л. Н. Толстой въ отличіи его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Дѣтскіе и юношескіе годы его до севастопольской кампаніи включительно. — Характеристика его произведеній этого періода его жизни.—Упеченіе прогрессомъ конца пятидесятихъ годовъ и первыя сомнѣнія въ немъ и въ европейской цивилизаціи вообще. Произведенія петербургскаго періода его жизни.—Л. Н. Толстой въ деревнѣ. Его педагогическая дѣятельность; педагогическія статьи и начало полнаго отрицанія и скептицизма во всемъ окружающемъ.—Пятнадцать лѣтъ послѣ женитьбы. Раздвоеніе. Романъ <i>Война и миръ</i> . — Душевный переворотъ на пятидесятомъ году его жизни. Связь этого переворота съ прежнимъ теченіемъ мыслей Л. Н. Толстого. Результаты переворота.—Романъ <i>Анна Каренина</i> . Теолого-мистическія сочиненія Л. Н. Толстого и прочія произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни	160.
ГЛАВА XI.—Дѣтство и воспитаніе Ф. М. Достоевскаго.—Жизнь до ссылки.—Ссылка. Женитьба. Возвращеніе. Изданіе журналовъ.—Остальная жизнь до смерти.—Отличіе Достоевскаго отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ по міросозерцанію и характеру творчества.—Сложность сюжетовъ. Психиатрическій анализъ. Жестокость. Преобладающіе типы. — Два періода его литературной дѣятельности и характеръ каждаго періода. Проблески свѣта среди реакціоннаго мрака	183.
ГЛАВА XII.—С. Т. Аксаковъ.—Д. В. Григоровичъ.—А. Ф. Писемскій.—М. В. Андѣевъ.—Женщины-беллетристки: Н. Д. Хвощинская, Н. С. Соханская (Кохановская)	203.

III. Беллетристы-народники.

ГЛАВА XIII.—Преобладаніе беллетристики изъ народнаго быта. Идеалистически-сентиментальное воззрѣніе на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Маркс-Бонистъ.—Смѣхотворно-отрицательное отношеніе къ народу. Н. В. Сененскій и В. А. Слѣпцовъ.—Оффиціальное изученіе народнаго быта. С. В. Максимовъ, Г. Н. Данилевскій.—Н. Н. Мельниковъ.—Начало объективнаго изученія народнаго быта. Н. П. Якушкинъ.	223.
ГЛАВА XIV.—Беллетристы-народники изъ разночинцевъ и внесеніе ими новаго духа въ изображенія народнаго быта. О. М. Рѣшетиновъ и его дѣтство.—Юность Рѣшетинова до пріѣзда въ Петербургъ.—Факты	

- послѣдующихъ лѣтъ его жизни. *Подлиповцы* и прочія его сочиненія.— Стр.
А. И. Левитовъ. Факты и обстоятельства его жизни.—Сравненіе Левитова съ
Рѣшетниковымъ. *Стенные очерки* Левитова.—Характеръ и содержаніе
послѣдующихъ его произведеній.—Н. И. Наумовъ. Его жизнь и сочиненія . 246.
- ГЛАВА XV.—Г. И. Успенскій и Н. Н. Златовратскій, какъ представители
новой и послѣдней фазы беллетристики изъ народнаго быта. Дѣтство и юность
Г. И. Успенскаго и неблагопріятныя условія первыхъ десяти лѣтъ его
творчества.—Общій характеръ творчества Г. Успенскаго и характеристика
перваго, разночинскаго, періода его дѣятельности.—Переходное состояніе и
вступленіе во второй періодъ дѣятельности, мужицкій.—Г. Успенскій въ
качествѣ разрушителя иллюзій въ воззрѣніяхъ интеллигенціи на народъ.—
Г. Успенскій у источника. *Власть земли* и значеніе очерковъ, группирую-
щихся вокругъ этого произведенія.—Біографическія свѣдѣнія о Златоврат-
скомъ.—Характеристика сочиненій Златовратскаго и выводимыхъ имъ типовъ. 267.

IV. Беллетристы-публицисты.

- ГЛАВА XVI.—Беллетристы-публицисты. Ихъ дѣленіе по партіямъ. М. Е. Сал-
тыковъ, какъ представитель демократической партіи. Дѣтскіе годы его и
воспитаніе.—Ссылка, возвращеніе, служба, женитьба и редакторская дѣ-
ятельность.—Черты его характера. Послѣдующіе годы и смерть.—Первый
дореформенный характеръ его литературной дѣятельности. *Губернскіе
очерки*.—Второй періодъ, современный реформамъ. *Помпадуры и помпадуриш.
Исторія одного города*.—Третій періодъ—пореформенный (шестидесятые и
семидесятые годы). *Ташкентцы. Дневникъ провинціала. Головлевы*.—Траги-
ческий элементъ въ позднѣйшихъ сатирахъ Салтыкова.—Четвертый пе-
ріодъ восьмидесятихъ годовъ. *Мелочи жизни. Сказки. Пошехонская старина*. 298
- ГЛАВА XVII.—Н. Г. Помяловскій. Его дѣтство, воспитаніе и семинарскіе
годы.—Остальные годы его жизни.—Характеристика его сочиненій: *Очерки
бурсы, Мещанское счастье, Молотовъ, Братья и сестра, Поръчане*.—Возни-
кновеніе идеалистической школы беллетристики *Русскаго слова*, причины ея
развитія и особенности ея. А. К. Шеллеръ. Главные факты его жизни.—
Характеристика его произведеній.—Прочіе представители этой школы:
П. В. Засодимскій, Н. Ѳ. Бажинъ, И. В. Ѳедоровъ (Омулевскій) 318.
- ГЛАВА XVIII.—Общая характеристика тенденціозной беллетристики либе-
рального лагеря. П. Д. Боборыкинъ. Факты его жизни и характеристика
его литературной дѣятельности.—Е. Л. Марковъ, его жизнь и романы.—
В. И. Немировичъ-Данченко, какъ путешественникъ, романистъ и поэтъ.—
С. Н. Терпигоревъ. И. Саловъ.—Н. Д. Ахшарумовъ. Н. А. Лейкинъ. 329.
- ГЛАВА XIX.—Общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаб-
лонъ—В. П. Ключниковъ.—Н. С. Лѣсковъ.—В. В. Крестовскій.—Б. М. Мар-
кевичъ. В. Г. Авсеенко. К. Ѳ. Головинъ. В. Н. Авенариусъ 351.

V. Историческая беллетристика.

- ГЛАВА XX.—Два періода историческаго романа въ Россіи. Характеристика
перваго періода. Движеніе исторіографіи въ шестидесятые годы, подгото-
вившее второй періодъ.—Историческіи повѣсти и романы Н. И. Костомарова.—*Князь Серебряный* А. Толстого. *Война и миръ* Л. Толстого. *Два пор-
трета* Тургенева. *Старые юды* Мельникова. Историческіе романы Г. П. Да-
нилевскаго, Д. Л. Мордовцева и Е. П. Карновича.—Романы Е. А. Саліаса-де-
Турнемира. Характеристика дубочнаго историческаго романа и представитель
его Вс. Соловьевъ. 364.

VI. Беллетристы восьмидесятихъ годовъ.

- ГЛАВА XXI.—Новая беллетристическая школа, вызванная реакціею семи-
десятихъ годовъ, и ея особенности.—А. О. Новодворскій.—Біографическія
свѣдѣнія о жизни В. М. Гаршина.—Характеристика его произведеній . . . 378.
- ГЛАВА XXII.—І. І. Ясинскій.—М. Н. Альбовъ.—К. С. Баранцевичъ.—Пе-
тропавловскій (Каронинъ). А. И. Эртель. Г. А. Мачтетъ.—В. Г. Коро-
ленко.—Маминъ (Сибирякъ). Д. Голицынъ (Муравлинъ). А. П. Чеховъ.
В. І. Дмитріева. А. А. Виницкая. О. В. Шапиръ. М. В. Крестовская. . . 396.

VII. Драма и комедія.

- ГЛАВА XXIII.—А. Н. Островскій, какъ создатель русской сцены. Дѣтство и юность его.—Начало литературной дѣятельности и первый періодъ ея до эпохи реформъ.—Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни, недостатокъ матеріальныхъ средствъ и несправедливости. Улучшеніе его положенія въ послѣдніе годы жизни.—Общая характеристика пьесъ Островскаго: ихъ образцовая реальность, классическая простота и жизнерадостность.—Разносторонность точекъ зрѣнія Островскаго на жизнь и сложность изображаемыхъ явленій. Отсутствіе односторонняго увлеченія какой-либо доктриной и слабость славянофильскаго вліянія въ пятидесятые годы.—Глубокое проникновеніе демократическимъ духомъ времени и отраженіе этого духа въ пьесахъ перваго періода: *Не въ свои сани не садись*. *Бѣдность—не порокъ*. Драма *Не такъ живи, какъ хочешь*, какъ апогей славянофильскихъ вліяній 419.
- ГЛАВА XXIV.—Переломъ въ творчествѣ Островскаго съ наступленіемъ эпохи реформъ и увлеченіе прогрессивными идеями. Значеніе пьесъ *Въ чужомъ пиру похмѣлье* и *Не все коту масленица*, какъ похоронъ самодурства. Драма *Гроза* и противовѣсъ ея съ драмою *Не такъ живи, какъ хочешь*.—Общее резюме всего вышесказаннаго. Положительные типы Островскаго.—Отрицательные типы. Униформность изображенія русской жизни. Богатство языка.—Драматическая дѣятельность И. С. Тургенева и Писемскаго. Трилогія А. К. Толстого. А. И. Пальмъ.—А. А. Потѣхинъ.—И. Е. Чернышевъ. Н. Я. Соловьевъ. В. А. Крыловъ. Д. В. Аверкиевъ 439.

VIII. П о э з і я.

- ГЛАВА XXV.—Дѣтство и юность Н. А. Некрасова. —Послѣдующіе факты его жизни.—Два элемента творчества Некрасова. Характеръ рефлексивнаго элемента.—Характеръ разночинно-народнаго элемента.—Присутствіе обоихъ элементовъ въ стихотвореніяхъ изъ народнаго быта. Общій выводъ. . . . 455.
- ГЛАВА XXVI.—Біографическія свѣдѣнія о жизни Т. Г. Шевченко.—Характеристика его произведеній.—И. С. Никитинъ. И. З. Суриковъ. С. Д. Дрожжинъ.—А. Н. Плещеевъ.—Развитіе и процвѣтаніе въ шестидесятые годы сатирической поэзіи. Прутковъ и А. М. Жемчужниковъ. В. С. Курочкинъ и его *Искра*. Д. Д. Минаевъ. 475.
- ГЛАВА XXVII.—Школа поэтовъ чистаго искусства. А. К. Толстой. Факты его жизни.—Характеристика его произведеній.—А. Н. Майковъ.—А. А. Шеншинъ (Фетъ).—Ө. И. Тютчевъ, Я. П. Полонскій.—Л. А. Мей. Н. Ө. Щербина.—Поэты-переводчики: Н. В. Гербель. П. И. Вейнбергъ. М. И. Михайловъ . . 495.
- ГЛАВА XXVIII.—Характеристика новыхъ скорбныхъ поэтовъ, выражающихъ современную эпоху. С. Я. Надсонъ. Факты его жизни.—Причина его популярности. Его нравственная физіономія, характеръ и духъ его произведеній. С. Г. Фругъ.—Н. М. Минскій.—Д. С. Мережковскій. Новѣйшіе поэты чистаго искусства. А. Н. Апухтинъ, К. М. Фофановъ, А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. С. А. Андреевскій, П. А. Козловъ и проч. 513.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

~~~~~

Подъ исторіей литературы въ широкомъ смыслѣ этого слова подразумеваютъ часто исторію всѣхъ произведеній человѣческой мысли, способствовавшихъ умственному развитію общества, такъ что въ понятіе это входятъ кромѣ исторіи изящной литературы и критики также и разсмотрѣніе движенія наукъ, публицистики, прессы (т. е. возникновенія, паденія различныхъ органовъ печати и ихъ взаимныхъ отношеній между собою).

Авторъ не чувствуетъ себя въ силахъ совершить столь громаднй трудъ, и полагаетъ, что для такой исторіи литературы послѣдняго сорокалѣтія не настало еще и время. Пришлось въ значительной степени сѣузить задачу и ограничиться тѣсными рамками исторіи *изящной литературы* и находящейся въ тѣсной связи съ нею *критики*. Поэтому въ книгѣ этой говорится лишь о такихъ дѣтеляхъ литературы, которые или прямо относятся къ изящной литературѣ, или такъ или иначе соприкасаются къ ней и лишь—на сколько соприкасаются. Такъ напримѣръ, говоря о Н. И. Костомаровѣ, авторъ разсматриваетъ его лишь какъ творца историческихъ романовъ и повѣстей, не считая входящимъ въ предметъ книги разсмотрѣніе его научныхъ заслугъ въ качествѣ исторіографа.

Такъ какъ духъ времени, идеи и всѣ перипетіи умственнаго движенія разсматриваемой эпохи наиболѣе ярко выразились въ критикѣ, то это дало большое удобство соединить общій обзоръ эпохи съ исторіей критики въ лицѣ ея главныхъ представителей, чѣмъ и заняты первыя семь главъ книги, а затѣмъ уже съ восьмой главы начинается исторія самой изящной литературы, какъ продукта, разсмотрѣннаго предварительно умственнаго движенія времени.

Авторъ старался по возможности представить характеристики всѣхъ мало-мальски выдающихся литературныхъ дѣтелей, но конечно не могъ избѣгнуть кое-какихъ пробѣловъ. О нѣкоторыхъ литераторахъ умолчено, по ихъ ничтожному значенію въ литературѣ, отсутствію оригинальной фязіономіи и своего собственнаго слова; другіе-же не подлежатъ исторіи.

потому что фізіономія ихъ еще не выяснилась, и они, не имѣя за собою никакого прошедшаго, принадлежатъ всецѣло будущему.

Обо многихъ писателяхъ какъ умершихъ, такъ въ особенности живыхъ, пришлось дать самыя скудныя біографическія данныя или-же и никакихъ не дать по неимѣнію ихъ. Подобнаго рода пробѣлы авторъ обѣщаетъ по возможности загладить въ слѣдующихъ изданіяхъ своей книги, особенно если тѣ пзъ находящихся въ живыхъ писателей или родственники умершихъ, которые найдутъ недостаточными сообщенныя о нихъ свѣдѣнія, будутъ столь добры и любезны, что пришлютъ дополненія къ ихъ біографіямъ или поправки невѣрно сообщенныхъ фактовъ.

**А. Скабичевскій.**

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I—Слѣдуетъ-ли ставить Гоголя во главѣ новаго періода литературы съ эстетической точки зрѣнія и со стороны содержанія его произведеній. II—Картина старыхъ литературныхъ нравовъ. III—Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ, приведеніе къ полному измѣненію литературныхъ нравовъ. IV—Типъ умственнаго развитія стараго періода. V—Новый типъ умственнаго развитія. VI—Народность, какъ основная идея новаго періода литературы.

### I.

Литературная эпоха, съ которою намъ придется имѣть дѣло въ этой книгѣ, считается обыкновенно гоголевскимъ періодомъ нашей литературы, такъ какъ ее прямо и непосредственно ведутъ отъ Гоголя, который будто-бы произвелъ полный переворотъ въ нашей беллетристикѣ, создалъ такъ называемую натуральную школу, и литература наша до сего времени представляетъ прямые послѣдствія этого переворота. И вотъ прежде всего слѣдуетъ намъ отрѣшиться отъ этого предразсудка, который очень мѣшаетъ правильному пониманію характера и значенія послѣдней эпохи нашей литературы. Возникъ онъ какъ нельзя болѣе просто и естественно. Когда произведенія Гоголя обратили на себя всеобщее вниманіе, и молодежь подъ вліяніемъ Бѣлинскаго зачитывалась ими, въ числѣ этой молодежи находились и тѣ многочисленныя будущіе писатели, которые явились на литературное поприще въ теченіи сороковыхъ годовъ. То новое, что эти писатели впоследствии внесли въ нашу литературу, конечно въ то время еще не существовало, и никто его не предвидѣлъ. Произведенія Гоголя представлялись послѣднимъ словомъ литературы. Образы ихъ потрясли юныя сердца своею геніальностью и вмѣстѣ съ тѣмъ исключительною отрицательностью вполне гармонировали съ мрачнымъ колоритомъ времени. Въ то-же время Бѣлинскій не переставалъ твердить, что съ Гоголя начинается новая эпоха нашей литературы, рѣшительный ея поворотъ на путь натурализма. И вотъ молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ мало-по-малу привыкло смотрѣть на Гоголя, какъ на единственнаго своего учителя, которому оно исключительно обязано всѣмъ литературнымъ достоинствомъ.

Но если мы постараемся уяснить себѣ болѣе точно и опредѣленно, чѣмъ-же собственно писатели сороковыхъ годовъ и послѣдующіе были обязаны Гоголю, то мы должны будемъ придти къ заключенію, что вліяніе Гоголя на послѣдующую литера-

туру далеко не было ни такимъ всеобъемлющимъ, ни такимъ исключительнымъ, какъ мы привыкли думать.

Если мы будемъ разсматривать вліяніе Гоголя съ одной эстетической точки зрѣнія, будемъ считать его родоначальникомъ натурализма въ Россіи, то намъ со всѣхъ сторонъ могутъ возразить: на какомъ основаніи угодно намъ начинать натурализмъ непосредственно съ Гоголя, а не съ Пушкина? Чѣмъ-же не натуральны *Повѣсти Бѣлкина*, *Капитанская дочка*, *Арапъ Петра Великаго*, *Графъ Нулинъ*, *Домикъ въ Коломнѣ*, наконецъ, хотя-бы и *Евгеній Онегинъ*? Пушкинъ потому уже имѣетъ болѣе правъ считаться первымъ образцовымъ натуралистомъ въ Россіи, что онъ — всестороннѣе Гоголя, у котораго лишь въ первыхъ романтическихъ произведеніяхъ вы встрѣчаете положительные элементы жизни; въ позднѣйшихъ-же — наиболѣе зрѣлыхъ — господствуютъ элементы отрицательные. Прямое вліяніе Гоголя поэтому на послѣдующихъ писателей только и видно тамъ, гдѣ у нихъ является компизмъ, юморъ. Но развѣ можно сказать, чтобы всѣ они были въ такой-же степени юмористами, какъ Гоголь?

Въ томъ-то и дѣло, что натурализмъ является въ русской литературѣ вовсе не въ видѣ *coup d'état*, внезапнаго открытія, принадлежащаго одному какому-нибудь писателю. Это не вопиственный завоеватель, вторгшійся, Богъ вѣсть, откуда и разомъ все перевернувшій кверху дномъ, а мирный колонизаторъ, постепенно, медленно и незаметно прокрадывавшійся въ нашу литературу въ продолженіи всей первой половины нынѣшняго столѣтія, и притомъ, собственно говоря, не въ одну нашу, а и во всѣ европейскія. Всюду на знамени романтизма красовалось слово „народность“, и эта именно народность въ связи съ различными демократическими вліяніями и обратила вниманіе писателей на жизнь маленькихъ людей, составляющихъ народныя массы, что и привело всѣ литературы прямо къ натурализму.

Замѣчательно, что и Вѣлпнскій, наиболѣе склонный производить натурализмъ исключительно отъ Гоголя, въ послѣднемъ своемъ обзорѣ \*), напротивъ того, первые задатки натурализма видитъ уже въ Кантемирѣ, Фонвизинѣ, Крыловѣ, а тѣмъ болѣе въ Пушкинѣ:

«Наконецъ,—говоритъ онъ,—явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій потокъ оба (идеальный и реальный), до того текшіе отдѣльно ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чисто русскіе звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной, что доказывается смѣлостью, въ то время удивившею всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ,—не съ кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телегъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекинутыхъ корзинкахъ на ослахъ, былъ тоже неслыханною дотошъ сценою для кроваваго трагическаго событія. Но въ *Евгеніи Онегинѣ* идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности или по крайней мѣрѣ то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по-

\*) *Извѣстія на русскую литературу 1847 г.*, кн. XI, стр. 338—340.



*справедливости* считаются произведениемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности со всеми ея добромъ и зломъ, со всеми ея житейскими дрязлами; около двухъ или трехъ лицъ, опозитизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣшнице, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

«Что-же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ? Онъ всеми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью—къ натуральности. Вспомните романы и повѣсти Нарѣжнаго, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здѣсь не мѣсто разсуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдѣлалъ, чей талантъ былъ выше: мы говоримъ объ общемъ имъ всемъ стремленіи—сблизить романъ съ дѣйствительностью, сдѣлать его вѣрнымъ ея зеркаломъ».

Такимъ образомъ Гоголь является вовсе не такимъ новаторомъ, которые вводятъ нѣчто совершенно до нихъ небывалое и совершаютъ полный переворотъ въ судьбахъ литературы. Онъ повиновался лишь общему теченію развитія современной ему литературы и представляетъ одну изъ ступеней ея спуска изъ облачныхъ высотъ на почву дѣйствительности. Послѣдующіе-же литераторы отнюдь не остановились на этой ступени, а пошли далѣе, не довольствуясь односторонностью, какою отличается натурализмъ Гоголя.

Тѣмъ менѣе послѣдующіе писатели могли быть обязанными Гоголю относительно идейнаго содержанія его произведеній. Гениальная мѣткость, съ которою осмѣивалъ онъ именно то, что было въ его время наиболѣе пошлаго и грязнаго на Русь, была вполне инстинктивна, и произведенія Гоголя поражаютъ отсутствіемъ какихъ-либо сознательныхъ идеаловъ, во имя которыхъ осмѣивалась дѣйствительность. Это смущало постоянно самого Гоголя, заставляя его прибѣгать къ разнымъ натянутымъ объясненіямъ внутреннихъ пружинъ своего смѣха вроде „незримыхъ міру слезъ“ или „страха грядущаго закона“. Наконецъ, въ *Исповѣди* своей онъ самъ признался откровенно, что своимъ смѣхомъ онъ просто-на-просто лечился отъ тоски, ему самому необъяснимой, и, чтобы развлекать себя, придумывалъ все смѣшное, что только могъ выдумать, *вовсе не заботясь о томъ, значимъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза*. Лишь приступивши къ *Мертвымъ душамъ*, Гоголь впервые началъ задумываться надъ тѣмъ, *зачѣмъ это, что должно сказать собою такой-то характеръ, что должно выразить собою какое-то явленіе?* Результатъ подобнаго законнаго стремленія осмыслить свой смѣхъ, найти для него разумныя основанія, былъ, какъ извѣстно, очень печаленъ для Гоголя: вслѣдствіе крайней скудности философскаго образованія, Гоголь началъ добиваться осмысленія своего творчества не путемъ усвоенія передовыхъ европейскихъ идей своего вѣка, а нравственнымъ самоуглубленіемъ, и запутался въ лабиринтъ мистико-аскетическихъ умиствованій.

Теперь спрашивается, что-же общаго съ Гоголемъ съ этой стороны вы найдете у всѣхъ послѣдующихъ за нимъ писателей? Отношеніе ихъ къ дѣйствительности отнюдь не носитъ такого характера художественной безцѣльности, какъ это мы видимъ у Гоголя; напротивъ того, они съ первыхъ своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ начали анализировать жизнь на основаніи вполне сознательныхъ и опредѣленныхъ

идеаловъ, внушаемыхъ имъ различными вѣяніями ихъ вѣка. Чуждо-ли и прибавлять, что идеалы эти не имѣютъ ничего общаго съ тѣми мистико-аскетическими теоріями, въ которыхъ путался Гоголь.

Однимъ словомъ, Гоголя съ его гениальнымъ смѣхомъ и со всѣми его безсмертными твореніями отноду не слѣдуетъ ставить впереди новаго вѣка. Напротивъ того, имъ заканчивается вѣкъ старый, — періодъ съ одной стороны выработки литературнаго языка и формъ, съ другой — перехода литературы съ почвы подражательности, риторичности и отвлеченности на почву народности, самобытности и реализма. Гоголь довершилъ эту вѣковую работу. Послѣ него осталась литература съ прекрасно-выработаннымъ языкомъ, стихотворнымъ и прозаическимъ, вполне реальная и самостоятельная. Не доставало этой литературѣ лишь одного, чтобы быть въ истинномъ смыслѣ этого слова европейскою: осмысленнаго, идейнаго содержанія, которое могло-бы поставить ее впереди своего времени. Этимъ и объясняется, почему Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь въ переводахъ на иностранные языки, поражая европейскихъ читателей своею гениальностью, въ то-же время далеко не въ такой степени удовлетворяли и увлекали, чтобы кому-либо пришло въ голову ставить ихъ во главѣ европейскаго движенія, какъ ставились нѣкогда Шиллеръ, Гёте, Байронъ, впоследствии Диккенсъ, Теккерей, В. Гюго, Ж. Зандъ, Вальзакъ, а нынѣ ставятся и русскіе писатели — Тургеневъ, Л. Толстой, Достоевскій. На вышеозначенныхъ классиковъ нашихъ смотрѣли, какъ на писателей, при всей ихъ гениальности, мѣстныхъ, любопытныхъ, какъ первые проблески только-что начинавшагося пробуждаться русскаго національнаго гения. Людямъ, не предубѣжденнымъ противъ Россіи и всего русскаго, могли нравиться въ этихъ гениальныхъ проблескахъ неподдѣльная и горячая любовь къ родинѣ, чуждая въ то-же время патріотическаго ослѣпленія и національной кичливости до такого, но-истиннѣ героическаго пеллицепріятія, что этимъ писателямъ ничего не стоило выстав-лять на-показъ самыя мрачныя стороны русской жизни; во-вторыхъ, кристальная нрав-ственная свѣжесть и цѣльность, отсутствіе малѣйшей лжи, фальши, напыщенной риторики, идеально-честное, подвижнически-бережное отношеніе къ каждому произносимому слову. Но не находили европейцы одного въ произведеніяхъ русскихъ классиковъ, для нихъ самаго главнаго: тѣхъ великихъ идей и роковыхъ вопросовъ жизни, какіе волновали въ то время Европу, а гдѣ и встрѣчались кое-какіе намеки на эти идеи и вопросы, отношеніе къ нимъ поражало или дѣтскою незрѣлостью, или легкостью, поверхностнаго диллетанзма.

Мы нѣсколько не ставимъ въ вину этого недостатка нашимъ классикамъ тридцатыхъ годовъ. Онъ имъ мало не мѣшалъ имъ стоять во главѣ русскаго общества, имѣть большое образовательное вліяніе на массу русскихъ читателей, младенчески-чуждыхъ всякаго умственного развитія и образованія и еще болѣе далекихъ отъ европейскаго движенія идей. Наконецъ, никогда потомство не забудетъ той великой и неоцѣненной заслуги, какую оказали эти литературные корифеи, создавъ литературный языкъ, формы и наконецъ поставивши литературу на почву самобытности и реальности. Однимъ словомъ, они завѣщали своему потомству великолѣпный инструментъ, отлично приспособленный для разыгрыванія на немъ какихъ угодно величественныхъ и глубокомысленныхъ классическихъ симфоній. Не доставало только музыкантовъ, которые были-бы

способны умѣло и разумно воспользоваться этимъ инструментомъ. Музыканты эти не замедлили явиться, и съ нихъ-то собственно и начинается совершенно новая эпоха въ нашей литературѣ.

## II.

И дѣйствительно, передъ нами является эпоха до такой степени новая, представляющая такой полный переворотъ во всѣхъ литературныхъ сферахъ, что мы видимъ не одно только внесеніе новаго содержанія въ художественныя произведенія, но полное измѣненіе всѣхъ литературныхъ нравовъ и отношеній.

Старыя литературныя нравы отражали до извѣстной степени патріархальныя понятія, господствовавшія въ обществѣ нашемъ въ XVIII и до половины XIX столѣтій. Вплоть до пятидесятихъ годовъ въ литературномъ мірѣ существовала своя табель о рангахъ, свое мѣстничество и ревнистое чинопочтаніе. Во главѣ литературы издревле господствовалъ особеннаго рода Олимпъ, на которомъ возсѣдали въ видѣ литературныхъ боговъ писатели первой величины, каждый со своею свитой. Затѣмъ слѣдовали писатели второстепенные, третьестепенные и т. д., вплоть до журнальнаго плебса, пресмыкающагося въ самомъ низу, пишущаго ради презрѣнныхъ денегъ, корыстныхъ барышей и чуждыхъ поэтому того высшаго литературнаго благородства и безкорыстія, которыя казались свойственны лишь особаго рода избранникамъ.

Но съ презрѣніемъ смотря на честно заработанныя литературнымъ трудомъ деньги олимпійцы, въ то-же время, были очень падки на подачки свыше. Они упорно держались стараго покровительственнаго режима и поэтому старались вращаться въ великосвѣтскихъ кругахъ, проникать по-возможности въ придворныя сферы и всячески заискивать у сильныхъ міра, добываясь то пенсій, то уплаты долговъ, то какой-либо льготы. Это конечно обязывало, и олимпійцы лишь къ маленькимъ смертнымъ вошіамъ:

«Подите прочь, какое дѣло  
Поэту мирному до васъ?»

Что-же касается меценатовъ, то конечно къ нимъ подобныя гордыя восклицанія не могли относиться. Напротивъ того, приходилось быть тише воды, ниже травы.

Въ литературномъ отношеніи олимпійцы составляли особенное общество, негласное и неорганизованное, но все-таки представлявшее изъ себя нѣчто вроде академіи пзыицной словесности. Всѣ они были связаны другъ съ другомъ узами болѣе или менѣе короткой дружбы. Старшіе покровительствовали младшимъ, поощряли ихъ и способствовали ихъ успѣхамъ мудрыми старческими совѣтами, оказывали имъ прожекцій въ высшихъ сферахъ; младшіе благоговѣли передъ старшими, поклонялись имъ, внимали ихъ наставленіямъ и ликовали, когда старшіе пріобщали ихъ къ своему олимпійскому сонму. И дѣйствительно, тутъ было изъ-за чего ликовать: пока олимпійцы не приближали къ себѣ писателя и не возвышали до себя, печега было и думать попасть въ число олимпійцевъ. Журналы могли сколько угодно расхваливать какого-нибудь своего любимица и признавать въ немъ хотя всемірнаго генія, какъ, напримѣръ, Сепковскій сдѣлалъ это съ Кукольниковомъ. Писатели вроде напримѣръ Затоскина и

Марлинскаго могли пріобрѣтать самую огромную популярность, по всего этого было недостаточно, чтобы они дѣлались въ глазахъ публики олимпійцами, пока послѣдніе сами не провозглашали его своимъ. И наоборотъ, разъ избранникъ удостоивался этой чести, никакіе критическіе перуны не могли поколебать его репутаціи: олимпіецъ былъ неуязвимъ. Надеждѣмъ могъ писать какіе угодно злые памфлеты на Пушкина; на Гоголя могла ополчиться цѣлая рать критиковъ, начиная съ братьевъ Полевыхъ и кончая Сенковскимъ и Булгаринымъ, но это нимало не вело къ уменьшенію ихъ литературнаго величія.

Нельзя сказать, чтобы въ литературѣ того времени не было направленій, лагерей партій, стремившихся проводить тѣ или другіе литературные принципы и вступавшихъ изъ-за нихъ въ ожесточенную борьбу. Такъ, карамзинисты боролись съ шпиковистами, романтики—съ классиками. Но вся эта борьба велась преимущественно въ средѣ журнальнаго плебса. Олимпійцы если и принимали въ ней участіе, то лишь въ молодые годы, платя дань юности; впоследствии-же, съ лѣтами, они обыкновенно каялись въ своихъ полемическихъ подвигахъ, какъ въ грѣхахъ молодости, и все болѣе и болѣе замыкались въ гордыхъ снѣжныхъ вершинахъ своего недоступнаго Олимпа. Одинъ только Пушкинъ, слишкомъ живой и горячій для такой замкнутости, постоянно нарушалъ святость Олимпа, то разражаясь злою эпиграммой на какого-нибудь Булгарина, то вдругъ предпринявшій изданіе *Современника*, т.-е. рѣшившійся вмѣшаться въ толпу журнальной черни, хотя, по правдѣ сказать, журналъ вышелъ вполне олимпійскій, какъ по своей великосвѣтской чопорности и сухости, такъ и по самой цѣли *возвратить критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже обременнаго уваженіемъ и довѣренностью публики.*

Стремясь такимъ образомъ снова взять въ свои руки критическое законодательство, которое нѣкогда, главнымъ образомъ, сосредоточивалось на Олимпѣ, въ тридцатые-же годы начало замѣтно выскальзывать изъ рукъ олимпійцевъ, послѣдніе не подозревали, что часть ихъ пропала. Они ратовали главнымъ образомъ противъ той беззубной, пристрастной и гаерской критики, которая воцарилась тогда въ петербургской журналистикѣ и преимущественно на страницахъ *Библіотеки для Чтенія*, но въ то-же время и не замѣчали, какъ совершенно въ сторонѣ отъ нихъ и внѣ ихъ вѣдѣнія росла огромная сила, готовившаяся упразднить ихъ гордый Олимпъ, и росла эта сила въ тѣхъ самыхъ утлыхъ и жалкихъ по внѣшнему виду московскихъ журнальчикахъ, каковы были *Телескопъ* и *Молва*, о которыхъ Гоголь въ своей передовой критической статьѣ въ № 1 *Современника* (*О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1845 годахъ*) отзывался съ чистого-олимпійскимъ пренебреженіемъ.

### III.

Эта новая грядущая сила представлялась въ теченіе тридцатыхъ годовъ въ видѣ никому неизвѣдомыхъ трехъ философскихъ кружковъ молодежи: кружка Герцена, Станкевича и Кирѣевскихъ. Кружки эти то сходились, то расходились между собою и, наконецъ, къ началу сороковыхъ годовъ слились въ два окончательно сплотившіеся лагеря—петербургскій лагерь западниковъ, группировавшійся вокругъ Вѣлинскаго, и

лагерь московскихъ славянофиловъ, во главѣ которыхъ стояли братья Кирѣевскіе, Аксаковы и Хомяковъ.

Кружки эти, собственно говоря, и не думали враждовать съ олимпійцами, подкапываться какъ-либо подъ ихъ авторитетъ. Напротивъ того, критики обѣихъ лагерей относились съ большимъ уваженіемъ къ корифеямъ русской литературы, особенно къ Пушкину и Гоголю. Последний, какъ мы выше говорили, былъ поставленъ даже во главѣ новаго литературнаго движенія. Но самымъ своимъ существованіемъ кружки водворяли совершенно новыя и небывалыя въ литературѣ порядки. Они вполне уподоблялись тѣмъ молодымъ побѣгамъ, которые растутъ сами по себѣ, не ломая и не уничтожая старыхъ сучьевъ, по въ то-же время невольно, въ силу своей молодой энергіи, стягиваютъ къ себѣ всѣ соки дерева, и старымъ сучьямъ остается только сохнуть и отпадать отъ ствола. Такъ точно и новыя литературныя кружки начали притягивать къ себѣ всѣ молодыя силы. Начиная съ сороковыхъ годовъ, всѣ вновь появившіеся таланты (а какъ много появилось ихъ въ теченіе сороковыхъ годовъ) уже не заискиваютъ знакомства у оставшихся въ живыхъ олимпійцевъ Жуковского, Крылова, Гоголя,—не стремятся сблизиться съ ними, не нуждаются въ ихъ совѣтахъ, не добиваются отъ ихъ посвященія въ олимпійцы, и лишь при встрѣчахъ издали наблюдаютъ ихъ, какъ оставшіеся еще въ живыхъ рѣдкіе экземпляры вымирающей породы, вродѣ какихъ-нибудь зубровъ Бѣловѣжской пуши,—и между тѣмъ, какъ эти зубры сходятъ одинъ за другимъ въ могилы, молодые писатели литературныхъ связей ищутъ въ сблизженіи съ представителями тѣхъ или другихъ журнальныхъ кружковъ. Въмѣсто прежняго іерархическаго порядка, литературный міръ начинаетъ представлять собою теперь федерацію литературныхъ лагерей. Литературныя силы группируются вокругъ журналовъ, которые стремятся быть не одними уже альбомами первостепенныхъ произведеній или сборниками энциклопедическихъ свѣдѣній, а проводятъ то или другое направленіе. Замѣчательно, что публика является настолько уже созрѣвшею, что начинаетъ требовать отъ журналовъ направленія: по крайней мѣрѣ, журналы безъ направленія или съ направленіемъ непопулярнымъ теряютъ возможность имѣть много подписчиковъ, какіе-бы беллетристическіе шедевры ни помѣщали они на своихъ страницахъ. Такъ, послѣ смерти Пушкина печально влачилъ существованіе безжизненный и вялый *Современникъ* подъ редакцію Плетнева и, конечно, постепенно угасъ-бы, если-бы Некрасовъ въ 1847 году не взялъ его въ свои руки. *Библіотека для Чтенія*, послѣ своего эфемернаго успѣха въ тридцатыхъ годахъ, въ теченіе сороковыхъ и пятидесятихъ существовала на счетъ горсти привычныхъ подписчиковъ, которые съ каждымъ годомъ отставали одинъ за другимъ. *Москвитинъ*, органъ славянофильскаго лагеря, долженъ былъ прекратиться въ 1855 году. Одинъ *Отечественныя Записки* первенствовалъ въ продолженіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, благодаря тому, что вокругъ этого журнала группировался наиболѣе вліятельный и популярный кружокъ Бѣлинскаго, сосредоточивавшій въ себѣ все передовое движеніе сороковыхъ годовъ.

Въ то-же время литература сдѣлалась силою вполне самостоятельною и независимою. Ея теперь могли сдерживать, подавлять, по утратилась всякая возможность пользоваться мало-мальски талантливыми и вліятельными представителями ея, при-

влекая ихъ на свою сторону соблазнами земныхъ благъ. Гоголь былъ послѣднимъ логиканомъ, послѣ котораго покровительственный режимъ окончательно рушился. Каждый маломальски дорожащій своею репутаціей писатель началъ считать главною основою литературной чести ничего не получать за свои произведенія, кромѣ полной журнальной платы и выручки изъ продажи отдѣльныхъ изданій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ писателей начали цѣнить не по одной даровитости, но также и по вѣрности своему знамени. Въ двадцатые годы не было и слѣда чего-либо подобнаго. Были писатели, уважаемые за таланты или личные качества, образованность, умъ, доброту, были презираемые за противоположныя свойства. Но даже и такіе, которые очень горячо увлекались политикой своего времени, рѣзко отдѣляли эти увлеченія отъ литературнаго дѣла и въ литературѣ были самыми скромными служителями музъ; въ то-же время, они не только требовали, чтобы ихъ литературные собраты раздѣляли ихъ политическія убѣжденія, но доходили до такой неразборчивости, что допускали въ свой кругъ людей столь сомнительныхъ, какъ Гречъ, Булгаринъ и т. п.

Полевой въ своемъ *Московскомъ Телеграфѣ* представилъ первые задатки офѣнки писателей, принимая въ соображеніе не одну степень талантливости и эстетическія достоинства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всѣхъ похвалахъ, расточаемыхъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, что былъ, и, нападая на его стремленія къ великосвѣтскости, намекалъ ясно на тѣ новыя оффіціальныя связи и отношенія, которыя завязались у Пушкина послѣ 1826 года.

Въ продолженіе тридцатыхъ годовъ былъ тоже довольно рѣзкій примѣръ всеобщей ненависти и презрѣнія, которыя питало большинство мало-мальски порядочныхъ литераторовъ къ Гречу и Булгарину, хотя нужно замѣтить при этомъ, что ненавидѣли и презирали ихъ не какъ политическихъ враговъ, не за ихъ направленіе, а за пресмыкательство и наушничество — качества чисто-нравственныя.

Во всякомъ случаѣ, представленные нами факты являются единичными и исключительными. Какъ мало, въ то-же время, люди стараго воспитанія и закала думали о честности и вѣрности своему знамени, можно судить по тому, что тотъ-же Полевой, который нападалъ на Пушкина, впоследствии не считалъ для себя постыднымъ являться съ Гречемъ и Булгаринимъ, да еще удивлялся, за что Бѣлинскій негодуетъ на его литературное поведеніе.

Совсѣмъ не то мы видимъ съ наступленіемъ сороковыхъ годовъ; литературная честность и вѣрность убѣжденіямъ вѣняются въ такую священную обязанность каждому мало-мальски порядочному литератору, что безъ нихъ немислимо дѣлается литературная репутація.

#### IV.

Это радикальное измѣненіе всѣхъ литературныхъ нравовъ и отношеній въ сороковые годы зависѣло воцѣло отъ того новаго духа, новыхъ идей и литературныхъ требованій, какіе внесли въ литературу философскіе кружки тридцатыхъ годовъ.

Но чтобы уразумѣть то новое идейное содержаніе, какимъ преисполнились люди сороковыхъ годовъ, надо заглянуть назадъ и посмотрѣть, что представляли собою въ умственномъ отношеніи люди прежнихъ поколѣній, подобно тому, какъ то-же самое мы сдѣлали въ предыдущемъ параграфѣ съ литературными правами.

Сказать, чтобы люди прежнихъ поколѣній были необразованные и круглые невежды и чтобы мысль ихъ непробудно спала, было-бы большимъ заблужденіемъ. И въ прежніе годы, во вторую половину XVIII вѣка и первыя три десятилѣтія XIX; встрѣчались люди очень образованные, стоявшіе, повидимому, въ одномъ уровнѣ съ передовыми людьми Европы; и тамъ вы встрѣтите и консерваторовъ, и либераловъ, и скептиковъ; и мистиковъ; стоитъ вспомнить только такія личности, какъ Радищевъ, Мордвиновъ, Тургеневъ, Муравьевъ, кн. Одоевскій, вспомнить молодые годы Пушкина и его друзей. Можно даже сказать, что по своей начитанности люди конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія превышали всѣ позднѣйшія поколѣнія вплоть до нашихъ дней. Въ то время не искали еще умственной пищи исключительно въ однихъ журналахъ и газетахъ, какъ это весьма многіе дѣлаютъ нынѣ, и поэтому въ каждой большой помѣщичьей усадьбѣ встрѣчалась обширная библіотека, заключающая въ себѣ всю мудрость XVIII вѣка. Между тѣмъ, какъ старики, люди временъ очаковскихъ и покоренья Крыма, собирали эти библіотеки, молодежь вплоть до пушкинскаго поколѣнія училась по книгамъ, какія въ этихъ старинныхъ дѣдовскихъ книгохранилищахъ находила. Такимъ образомъ, до самыхъ тридцатыхъ годовъ главная основа образованія почти у всѣхъ передовыхъ людей нашего отечества заключалась во французской философіи эпохи энциклопедистовъ. И дѣйствительно, со временъ Фонвизина и до Пушкина включительно, вы видите броженіе однихъ и тѣхъ-же идей, одна и тотъ-же характеръ и типъ мышленія: поверхностный скептицизмъ, основанный болѣе на остроуміи вольтеровскаго характера, чѣмъ на глубинѣ мысли, сенсуализмъ, какъ послѣднее слово морали, и болѣе или менѣе ярый либерализмъ, въ видѣ неопредѣленныхъ, туманныхъ и совершенно безпочвенныхъ порываній къ свободѣ. Впослѣдствіи ко всему этому присоединился байронизмъ, расцвѣтшій на почвѣ того-же рационализма XVIII вѣка, какъ аптитезъ его, въ видѣ разочарованія въ томъ необузданномъ восторгѣ, съ какимъ въ XVIII столѣтіи праздновали торжество человеческого разума.

Но, какъ-бы ни оказался несостоятельнымъ рационализмъ прошлаго столѣтія, все-таки, на Западѣ, на своей родной почвѣ, онъ имѣлъ то важное преимущество, что былъ весьма почтеннымъ результатомъ трехстолѣтней тяжелой работы европейской мысли, упорно стремившейся свергнуть съ себя средневѣковыя традиціи, и это было дѣйствительно торжество разума, хотя и не такое безусловное, какъ это казалось современникамъ Вольтера и Руссо.

У насъ тѣ-же самыя идеи являлись не результатомъ сложныхъ умственныхъ процессовъ, а принимались на вѣру въ видѣ готовыхъ модныхъ, отвлеченныхъ формулъ, которыми болѣе забавлялись какъ дѣти, и щеголяли, какъ донди, чѣмъ заботились о примѣненіи ихъ къ жизни. Поэтому такъ легко и разставались съ ними наши передовые люди, съ лѣтами приходившіе обыкновенно къ убѣжденію, что все это болѣе ничего, какъ молодая бредня. Но не одни лѣта играли здѣсь роль; достаточно бывало малѣйшаго толчка въ жизни, чтобы идеи, болтавшіяся въ головѣ безъ всякой орга-

нической, а часто и логической связи, сразу выскакивали изъ нея, и тогда обнажался дѣтскій умъ, совершенно не прпвыкшій къ малѣйшему самостоятельному философско-научному анализу, пробавлявшійся готовыми традиціонными формами. На мѣсто дешеваго и взятаго на-прокатъ скептицизма являлся болѣе или менѣе мрачный мистицизмъ. Сенсуализмъ смѣнялся суровымъ аскетизмомъ или-же праотеческою домостроевскою моралью, отъ эфемернаго либерализма, въ свою очередь, не оставалось и слѣда. Жажда спасительныхъ реформъ и сознаніе общественныхъ недостатковъ уступали мѣсто кичливому самодовольству кваснаго патриотизма. Карамзинъ, такимъ образомъ, изъ поклонника Руссо превращался въ прпверженца крѣпостного права, свободолюбивый Пушкинъ писалъ *Бородинскую годовщину*, *Клеветникамъ России* и доказывалъ, что русскимъ крѣпостнымъ живется несравненно лучше, чѣмъ англійскимъ рабочимъ. Многіе изъ самыхъ смѣлыхъ либераловъ двадцатыхъ годовъ подъ старость дѣлались святошами, или-же, возвысившись по лѣстницѣ почестей, обращались въ свирѣпыхъ и безпощадныхъ гонителей малѣйшихъ признаковъ свободымыслия.

## V.

Совершенно иное видимъ мы въ философскихъ кружкахъ тридцатыхъ годовъ. Нѣмецкія метафизическія системы, явившіяся въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтій, имѣли то преимущество, что представляли собою новые процессы свѣжихъ умовъ, сильно возбужденныхъ предшествовавшимъ движеніемъ, но не успѣвшихъ еще дойти до конечныхъ результатовъ этого движенія въ видѣ освобожденія отъ средневѣковыхъ традицій. Это было какъ нельзя болѣе по плечу нашимъ соотечественникамъ, умы которыхъ были еще болѣе свѣжи и петропуты. Нѣмецкая метафизика, исподволь освобождая эти дѣвственные умы отъ традицій, безъ всякихъ рискованныхъ скачковъ и крутыхъ спусковъ, въ то-же время, приучала ихъ къ самостоятельной работѣ. Метафизическія системы нельзя было прпнять въ видѣ определенныхъ афоризмовъ. Надъ однимъ усвоеніемъ ихъ надо было поломать голову. Но и выполнѣ усвоившіе ихъ имѣли дѣло не съ какими-либо готовыми аксіомами и формулами, а, собственно говоря, съ орудіями мысли, посредствомъ которыхъ предлагалось обсуждать и анализировать окружающую жизнь.

Но какъ ни благотворно было это увлеченіе юнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ нѣмецкою философіей, само по себѣ оно было далеко еще не достаточно. Съ одною нѣмецкою философіей умамъ нашихъ передовыхъ людей долго пришлось-бы бродить по метафизическимъ лабиринтамъ, и самое болыное, чего они могли-бы добиться, это выхода, въ концѣ-концовъ, на свѣтъ и свѣжій воздухъ реальнаго положительнаго мышленія, обоснованнаго естественно-научными знаніями. Конечно, такой выходъ не замедлил-бы открыться подъ вліяніемъ такихъ свѣтлыхъ западно-европейскихъ умовъ, каковы Контъ, Милль, Бокль, Дарвинъ и пр., какъ это и произошло на самомъ дѣлѣ въ шестидесятые годы, но, во всякомъ случаѣ, это движеніе страдало-бы крайнею односторонностью. Наши передовые люди сороковыхъ годовъ и послѣдующихъ, при всѣхъ успѣхахъ ихъ въ общемъ міросозерцаніи, рисковали-бы остаться



индифферентнымъ въ вопросахъ общественныхъ, что мы и нынѣ замѣчаемъ у нѣкоторыхъ естествоиспытателей и мыслителей Западной Европы.

Но рядомъ съ нѣмецко-философскимъ неотразимо дѣйствовало на юное поколѣніе сороковыхъ годовъ другое движеніе, господствовавшее преимущественно на французской почвѣ и имѣвшее характеръ исключительно общественный. Это была полная и радикальная переработка тѣхъ раціоналистическихъ политическихъ формулъ, какія были завѣщаны XVIII столѣтіемъ. Формулы эти, хотя и представлялись идеально-совершенными и логически-неопровержимыми, тѣмъ не менѣе были крайне отвлеченными и потому разбились при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью, которая оказалась слишкомъ неподатливою, чтобы сразу уложиться въ нихъ. Розовая мечта XVIII вѣка объ основаніи раціональныхъ общественныхъ связей на свободныхъ договорахъ исчезла, какъ дымъ. Оказалось, что какія ни изобрѣтай прекрасные договоры и какъ ихъ ни усовершенствуй, независимо отъ нихъ и часто совершенно вопреки имъ, жизнь продолжаетъ течь въ своихъ издревле проложенныхъ руслахъ. слѣпо повинаясь своимъ историческимъ традиціямъ.

Это сознаніе, явившееся результатомъ тяжкихъ опытовъ и разочарованій, привело къ убѣжденію, что недостаточно однихъ внѣшнихъ реформъ, допускающихъ подъ блестящею наружностью все ту-же отжившую ветошь; необходимо, чтобы всѣ общественныя отношенія были переработаны въ своихъ основаніяхъ. И вотъ начался тщательный, кропотливый анализъ всѣхъ основъ общественной и индивидуальной жизни,—безпощадный, разлагающій, философско-научный анализъ, о которомъ и не мечталъ XVIII вѣкъ. Возникъ цѣлый рядъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ. рѣшеніе которыхъ оказалось тождественно гамлетовскому *быть или не быть*. Таковы были вопросы: дѣтскій—о воспитаніи здороваго и сильнаго поколѣнія: семейный—объ основаніи семьи на началахъ любви и довѣріи, вмѣсто прежнихъ страха, принужденія и самодурства; женскій—освобожденіе женщинъ отъ гражданскаго и пущественнаго беззавія; а надъ всѣми этими вопросами господствовалъ вопросъ объ увеличеніи народнаго благосостоянія.

Всѣ умы Европы до такой степени были поглощены этими вопросами, что разрѣшенія ихъ начали требовать не только отъ административныхъ сферъ, политическихъ трибунъ, университетскихъ кафедръ и ученыхъ кабинетовъ, но и отъ художественныхъ студій. Требованіе, чтобы искусство участвовало въ общей работѣ вѣка, отвѣчая на всѣ животрепещущіе вопросы жизни, возникло въ Европѣ не въ видѣ какой-либо отвлеченной и празднои теоріи, принадлежавшей представителямъ юной Германіи или французскимъ романтикамъ школы Виктора Гюго. Оно одновременно возникаетъ во всей Европѣ и прежде всего осуществляется практически, а затѣмъ уже возводится въ теорію тенденціознаго искусства. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите всѣхъ выдающихся писателей XIX вѣка: Шатобріана, Ламартина, Беранже, В. Гюго, Жорж-Занда, Гейне, Гюцкова, Ауэрбаха, Шпильгагена, Байрона, Шелли, Диккенса, Теккерея, Джоржа Эллиота и пр.,—все они являются тенденціозными, и каждое произведеніе ихъ глубоко проникнуто тревожными вопросами своего времени.

Могло-ли это всеобщее и могучее движеніе, охватившее всю Европу, остаться безъ вліянія на умы нашей интеллигенціи, теперь уже въ достаточной мѣрѣ подготовленной философскимъ развитіемъ къ серьезному проникновенію вопросамъ, увлекавшимъ Европу? Къ тому-же наши передовые и мыслящіе люди имѣли ту особенность, что въ то время, какъ въ Европѣ давно уже были рѣшены многіе элементарные вопросы гражданской жизни, и Европа словно къ стѣнѣ подошла къ такому роковому вопросу, рѣшеніе котораго зависѣть не отъ ума и воли какихъ-бы то ни было гениальныхъ личностей, а отъ трудовъ и успій многихъ поколѣній, у насъ стояла на очереди масса вопросовъ вполне элементарныхъ и практически легко осуществимыхъ, каковы вопросы о крѣпостномъ правѣ, закрытыхъ судахъ, виновныхъ откупныхъ и пр.

Философско-научный анализъ при такихъ условіяхъ припалъ въ передовыхъ кружкахъ нашего общества еще болѣе интенсивный логически послѣдовательный и вмѣстѣ съ тѣмъ практически реальный характеръ, чѣмъ на Западѣ. Это въ значительной степени окрыляло энергію и энтузіазмъ нашихъ интеллигентныхъ классовъ. И вотъ началась такая переработка всѣхъ идеаловъ, такое могущественное стремленіе отрѣшиться отъ всѣхъ тѣхъ романтическихъ иллюзій, какими жили тридцатые годы, такое въ тоже время горячее проникновеніе идеями народнаго блага, такое искреннее, слезное покаяніе въ вѣковыхъ неправдахъ, лежавшихъ на совѣсти русскаго человѣка, что по-истинѣ ничего подобнаго до сихъ поръ не представляла еще исторія человѣческаго рода.

Все это движеніе и весь этотъ анализъ со всѣми тѣми тревожными вопросамъ, которые были подняты въ сороковые годы, укладываются въ одно слово, вполне опредѣляющее ихъ во всей ихъ сложности и внутреннемъ духѣ, который проникалъ ихъ. Слово это—*народность*.

И дѣйствительно, слова *народность*, *народъ*, *народное благо*, *народные идеалы* въ концѣ сороковыхъ годовъ сдѣлались самыми популярными въ литературѣ и начали употребляться на каждомъ шагѣ не однимъ какимъ-либо кружкомъ, а въ одинаковой степени сдѣлались заветными лозунгами всѣхъ литературныхъ лагерей. Правда, каждый кружокъ по-своему понималъ народныя идеалы и по-своему стремился къ нимъ, по всякомъ случаѣ считалъ это своею святою обязанностью. Явился даже и такіе писатели, которые безсознательно подчинялись духу времени и невольно выражали въ своихъ произведеніяхъ все тѣ-же идеи, которыя волновали ихъ современниковъ, и сами не отдавая себѣ въ этомъ отчета. Въ то-же время степенью проникновенія этими самыми идеями начало опредѣляться достоинство писателей: такъ, тѣ изъ нихъ,

которые оставались чужды общему течению или шли противъ него умышленно, теряли всякое значеніе и вліяніе, не пользовались ни малѣйшимъ уваженіемъ, пли-же встрѣчались общее враждебное отношеніе къ себѣ.

Нужно-ли и говорить о томъ, что при этомъ всеобщемъ увлеченіи вопросами жизни не могло быть рѣчи о чистомъ искусствѣ. Уже въ 1842 году Бѣлинскій торжественно провозгласилъ:

«Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создать себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ историческою и философскою дѣйствительностью современности, если она пообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ ясно-видѣній и поэтическихъ созерцаній. Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадна была она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ... Съ однимъ естественнымъ талантомъ недалеко уйдешь; талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ: для того, чтобы не погаснуть... *Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насилловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ ея интересы, слить свои стремленія съ ея стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни...*»

Изъ тирады этой вы можете ясно видѣть, что дѣло шло здѣсь вовсе не въ подчиненіи литературы какому-либо узкому партіоннымъ тенденціямъ. И свобода творчества, и художественныя требованія оставались неприкосновенными. Но, не довольствуясь ими, Бѣлинскій требовалъ, чтобы русская литература была естественно и непринужденно переполнена живого, *философско-научнаго содержанія*, то-есть, требовалъ, именно, того, чего русской литературѣ до той поры недоставало.

Заявленіе подобнаго требованія въ 1842 году мы можемъ поэтому считать сигналомъ ко вступленію нашей литературы въ новый періодъ ея развитія. Начались сороковые годы, въ которые новое литературное движеніе въ теченіе какихъ-нибудь 7—8 лѣтъ совершило такое быстрое развитіе и такъ укоренилось, что его не могли уже заглушить и уничтожить мрачныя годы послѣдующей реакціи. Въ концѣ сороковыхъ годовъ мы видимъ, что русская мысль окончательно начинаетъ выходить изъ метафизическихъ сумерекъ на свѣтъ и свѣжій воздухъ реализма, что еще болѣе осмысливается и усиливается и анализъ общественной жизни, и проникновеніе народными интересами. Появляется цѣлый рядъ молодыхъ, талантливыхъ беллетристовъ, проникнутыхъ совершенно новымъ духомъ. Въ то-же время, и публицистика, и критика совершаютъ первыя попытки пойти далѣе по новому пути: являются политико-экономическія статьи В. Милютина въ передовыхъ журналахъ и критическія В. Майкова. Въ литературныхъ обзорѣхъ начинаютъ раздаваться многозначительные возгласы вродѣ нижеслѣдующихъ:

«Самое важное характеристическое явленіе современной жизни заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человѣка занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, повсюдное довольство—вотъ главный вопросъ, волнующая забота нашего вѣка. Мета-

физическая эпоха германской жизни кончилась; вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отвлеченности философскихъ системъ; первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ, интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и застрахованы обществомъ, и главная задача науки показать законы равномернаго распредѣленія блага по всѣмъ классамъ, опредѣлить разумныя начала, постоянныя правила общественнаго богатства. При такомъ движеніи ума не остается праздною и неподвижною и критика. Она измѣняетъ свою точку зрѣнія сообразно своему расположенію или непріязни, съ чисто-эстетической арены она ступила въ другія пространства, не стѣсняясь одною сферой художественнаго творчества, но имѣя дѣло съ цѣлымъ твореніемъ жизни; выѣхала себѣ изъ обязанность смотрѣть на произведенія словесныя съ той стороны, которую они соприкасаются съ общественнымъ бытомъ; ея цѣль — оцѣнить литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ».

Все это вы найдете въ январской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* за 1848 годъ, но уже въ февралѣ журналъ этотъ сразу получаетъ иной характеръ, иное содержаніе. Вышеприведенная тирада была, такимъ образомъ, какъ-бы предсмертнымъ завѣщаніемъ исходящихъ сороковыхъ годовъ, которое передали они грядущему десятилѣтію. Но не скоро пятидесятымъ годамъ пришлось исполнить это завѣщаніе. Все движеніе, такъ быстро и широко раскинувшееся, было сразу парализовано и остановлено на многіе годы.



## ГЛАВА ВТОРАЯ.

I—Общая картина реакціи пятидесятихъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направленій. Кочующіе писатели. II—Преобладаніе въ журналахъ спеціальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ библиографическихъ изысканій. III—Сказочная великосвѣтская беллетристика. Барышническая полемика. Отсутствіе общественной сатиры. IV—Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятихъ годовъ. V—Петербургскіе критики пятидесятихъ годовъ: Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина. VI—Забвеніе всѣхъ завитовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства.

### I.

Послѣ бурнаго 1848 года мрачная реакція безразсвѣтною ночью на многіе годы воцарилась надъ всею Европою и, въ особенности, надъ Россіей. Въ то время, какъ въ Европѣ реакція эта была прямымъ результатомъ разочарованія въ возможности сразу переработать жизнь на тѣхъ разумныхъ и справедливыхъ основаніяхъ, о которыхъ мечтали въ продолженіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ Россіи, гдѣ никакихъ попытокъ къ подобной переработкѣ не предпринималось, реакція получила характеръ слѣпнаго ретроградства и той панической свѣтобоязни, при которой въ каждой самостоятельной и свѣжей мысли начали подозрѣвать опасное покушеніе на разрушеніе всѣхъ основъ.

Такъ какъ мы пишемъ не исторію Россіи вообще, а лишь литературнаго движенія ея послѣ 1848 года, то мы не имѣемъ нужды останавливаться на всѣхъ подробностяхъ этой реакціи и считаемъ достаточнымъ ограничиться одними общими и крупными чертами, необходимыми для успенія того характера, который приняла въ это время литература.

Это было гоненіе не на какую-либо партію, ученіе, а на мысль вообще, на какое-бы то ни было движеніе ея. Кромѣ официально утвержденныхъ педѣй и понятій, все остальное отрицалось огуломъ и безъ всякаго разбора. Съ этою цѣлью были закрыты философскія кафедръ во всѣхъ университетахъ, остальные предметы были подвергнуты самому строгому контролю, причѣмъ отъ профессоровъ начали требовать не только того,

чтобы они ни слова не произносили сверхъ установленных программъ, но чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, были самыми усердными проводниками все тѣхъ же официальныхъ идей и взглядовъ. Въ то-же время, было крайне ограничено и доведено до послѣдняго минимума число учащихся въ университетахъ.

Надъ литературою нависла цѣлая сѣть цензуръ. Кромѣ общихъ цензурныхъ комитетовъ, каждое министерство цензурило статьи, касающіяся его. А надъ всѣми этими цензурами возвышался грозный бутурлинскій комитетъ, который наблюдалъ за дѣйствіями всѣхъ прочихъ цензуръ и каралъ не только новыя прегрѣшенія, но и инквизиторски изслѣдовалъ старыя, совершенныя, Богъ вѣсть, когда, въ опасеніи, какъ-бы не были допущены новыя изданія вредныхъ книгъ, давно уже пропущенныхъ цензорами, и въ прежніе годы не отличавшимися снисходительностью.

Сдавленная въ самыхъ тѣсныхъ тискахъ всѣхъ этихъ цензуръ, обязанныхъ, не ограничиваясь явнымъ смысломъ статей, пропикать въ тайныя намѣренія авторовъ и докладывать объ этихъ намѣреніяхъ высшему начальству, литература сразу утратила богатое идейное содержаніе, какое мы видѣли въ концѣ сороковыхъ годовъ, совершенно обезцвѣтилась и обезличилась. Словно по какой-то безпощадно-злойironic судьбы, едва было провозглашено на страницахъ журналовъ, что первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ и что критика должна оцѣнивать литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ, именно, общественныхъ-то вопросовъ и было запрещено касаться литературѣ, хотя-бы мелькомъ и косвенно. Дошло до того, что не допускали не только критическое отношеніе къ общественнымъ порядкамъ или правительственнымъ распоряженіямъ, но не позволяли толковать обо всемъ томъ хотя бы въ самомъ одобрительномъ и хвалебномъ духѣ.

Это безусловное запрещеніе всякой публицистики особенно сильно отразилось на газетной прессѣ, которая едва вляпла свое существованіе въ видѣ жалкихъ сѣренькихъ листочковъ *Сѣвѣрной Пчелы* Ѳ. Булгарина, *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* Очкина, *Полмѣйскихъ Вѣдомостей*, *Русскаго Инвалида* и *Московскихъ Вѣдомостей* Захарова. Всѣ эти газеты выходили безъ передовыхъ статей и политическихъ корреспонденцій, довольствуясь сообщеніемъ опубликованныхъ правительственныхъ распоряженій и безцвѣтными фельетонами, трактующими о кондитерскихъ, гуляньяхъ, и извѣстіямъ о рѣдкихъ случаяхъ обыденной жизни, вроде бабы, разрѣшившейся тройнями.

Столь-же пзмѣнились и журналы—и *Отечественныя Записки* Краевского, и *Современникъ* Некрасова, и *Библіотека для Чтенія* Сениковского, и славянофильскій *Москвитинъ* и пр., Въ предыдущей главѣ мы указали, какъ на одну изъ самыхъ существенныхъ особенностей новаго періода литературы, на образованіе литературныхъ лагерей и требованіе отъ журналовъ направленія. Но въ пятидесятые годы журналы вновь принимаютъ характеръ безцвѣтныхъ и безхарактерныхъ сборниковъ, ничѣмъ почти не отличающагося одинъ отъ другого, тѣмъ болѣе, что многіе изъ сотрудниковъ являются у нихъ общіе. Прежде всего, конечно, беллетристы и поэты: Григорьевичъ, Писемскій, Потѣхинъ, Полоцскій, Фетъ, Щербина и пр., начали печататься разомъ во всѣхъ органахъ, не обнаруживая ни малѣйшаго пристрастія ни къ одному изъ нихъ. Но не одни беллетристы и поэты, всегда отличавшіеся до извѣстной степени индиф-

ферентизмомъ къ журнальнымъ направленіямъ, перекочевывали изъ одного журнала въ другой,—примѣру ихъ слѣдовали и критики, несмотря на то, что, по самой профессіи своей, являясь представителями того или другого литературнаго лагеря, они должны были-бы сосредоточивать свою дѣятельность въ одномъ какомъ-либо органѣ; такъ, мы видимъ, что выдающіеся критики того времени: Дружининъ, Аксаковъ, Ап. Григорьевъ—постоянно кочуютъ изъ одного органа въ другой или-же участвуютъ разомъ въ нѣсколькихъ.

## II.

Приведеніе всѣхъ органовъ въ печати къ уровню безцвѣтныхъ сборниковъ, зависѣло, конечно, прежде всего, отъ удаленія съ литературной арены всѣхъ тѣхъ наиболее выдававшихся и сильныхъ мыслью и талантами дѣятелей, которые стояли во главѣ движенія сороковыхъ годовъ. Бѣлинскій лежалъ въ могилѣ, и самое имя его не допускалось цензурою упоминать въ печати; Герценъ былъ за границей; Грановскій то хандрилъ и путался въ туманныхъ философскихъ рефлексіяхъ, то мѣркался съ жизнью путемъ разныхъ компромиссовъ; В. Милютинъ ушелъ въ сферу чистой науки. Изъ молодыхъ писателей, въ свою очередь, весьма многіе выбыли изъ строя и притомъ такіе могучія силы, какъ Щедринъ, О. Достоевскій, Плещеевъ. Но самая главная причина безцвѣтности журналовъ лежала, конечно, въ полной невозможности обсудить маломальски животрепещущій вопросъ и провести свѣжую мысль.

Поневолѣ, вмѣсто живыхъ публицистическихъ статей, журналы начали наполняться теперь необъятно-длинными, сухими и спеціальнѣйшими учеными трактатами, мѣсто которыхъ никакъ не въ литературныхъ, а въ какихъ-либо спеціальныхъ органахъ. Это называлось на журнальномъ языкѣ того времени придавать органу дѣловую и научную солидность. И вотъ всѣ журналы старались перещеголять одинъ другой этою тяжеловѣсною солидностью. Наиболее тщеславились своею научностью *Отечественныя Записки*, на страницахъ которыхъ помѣщались такіе учепѣйшіе вещи, какъ *Домашній бытъ русскихъ царей* Забѣлина; *Сибирскія мѣтонисы XVI и XVII столѣтій*; *филологическій разборъ перевода Жуковскаго Одиссеи съ приложеніемъ греческаго текста, или разборъ латинскаго руководства Греча профессора Фрейтага* и пр. Но и *Современникъ*, на который редакція *Отечественныхъ Записокъ* смотрѣла свысока, какъ на журналъ легковѣснаго дилетантизма, въ свою очередь, не уступалъ *Отечественнымъ Запискамъ* въ помѣщеніи спеціальнѣйшихъ научныхъ статей, вроде отрывковъ изъ исторіи Соловьева, трактата о рыболовствѣ, критическихъ статей по поводу химической диссертациі „о вѣсѣ пая висуема“ и т. п.

Рядомъ съ тѣми въ критическихъ сферахъ на первый планъ выступала библіографія, начались кропотливыя изслѣдованія мелкихъ фактиковъ жизни давно сошедшихъ въ могилу писателей, вроде Тредьяковскаго или Богдановича. Вотъ какъ характеризуетъ эту библіографоманію Добролюбовъ:

«Начали дорожить каждымъ малѣйшимъ фактомъ біографіи и даже бібліографіи. Гдѣ первоначально были помѣщены такіе-то стихи, какія въ нихъ были печатки, какъ онѣ измѣнены при послѣднихъ изданіяхъ, кому принадлежатъ подписи А. или В. въ такомъ-то журналѣ или альманахѣ, въ какомъ домѣ бывалъ извѣстный скабичевскій.

писатель, съ кѣмъ опъ встрѣчался, какой табакъ курилъ, какіе носилъ сапоги, какія книги переводилъ по заказу книгопродавцевъ, на которомъ году написалъ первое стихотвореніе, — вотъ важнѣйшія задачи современной критики, вотъ любопытные предметы ея изслѣдованій, споровъ, сожалѣній... Цѣлыми годами труда самаго кропотливаго не добывалось равно никакихъ результатовъ: публику душили ссылками на №№ и страницы журналовъ, давно отжившихъ свой вѣкъ, а она часто и не знала даже, о чемъ идетъ дѣло. Мы помнимъ, какъ лѣтъ пять тому назадъ двое ученыхъ — старый и молодой — ожесточенно ратовали другъ противъ друга за то, какъ пужно произнести одинъ стихъ Пушкина: на четыре *стѣроны* или *стороны*; помнимъ, какъ двое молодыхъ ученыхъ глумились другъ надъ другомъ изъ одного вздорнаго стихотворенія съ подписью Д—гъ, не зная, кому приписать его — Целыгшу или Дальбергу. Да мало-ли что можно вспомнить изъ того времени, въ томъ-же безвредномъ родѣ, какъ будто вызванномъ отчаяніемъ скуки. И ничего не вышло изъ этихъ споровъ, изслѣдованій и открытій...»

Такою плодотворною дѣятельностью занимались въ то время Н. М. Лонгиновъ, Геннадіи, В. П. Гаевскій, А. А. Галаховъ, П. В. Анненковъ.

### III.

Беллетристика, въ свою очередь, значительно спала съ тона и далеко не оправдывала тѣхъ ожиданій, какія возлагались на нее въ концѣ сороковыхъ годовъ. Въ свое время мы укажемъ на то, какъ отразилась реакція пятидесятихъ годовъ на дѣятельности выдающихся писателей того времени. Здѣсь-же мы замѣтимъ лишь, что не произведенія этихъ выдающихся писателей (Тургенева, Гончарова, Писемскаго и пр.), довольно рѣдкія въ то время, стояли на первомъ планѣ въ журналахъ пятидесятихъ годовъ, не они возбуждали сенсаціи и дѣлали подписку, а совершенно особеннаго рода беллетристика, исключительно принадлежавшая этому времени и вполне его характеризующая. Это были безконечно длинныя романы съ весьма сложными, запутанными и сказочными сюжетами, главные герои которыхъ являлись великолѣпными представителями столичнаго или провинціальнаго свѣта, отличались изящными манерами, модными костюмами, гордою и мрачною душою à la Печоринъ и непреклонною энергіей въ покореніи женскихъ сердецъ. Въ созданіяхъ подобныхъ романовъ сказывалось, съ одной стороны, вліяніе французской беллетристики, преимущественно Александра Дюма-отца и Евгенія Сю, съ другой же—это была традиція тридцатыхъ годовъ, марлиновщина и солдогобовщина, подавленная на время критикою Бѣлинскаго и теперь возродившіяся въ нѣсколько обновленномъ видѣ, сообразно измѣнившимся требованіямъ времени. Въ *Современникѣ* поставщиками такихъ романовъ являются Некрасовъ въ сообществѣ съ Станицкой (Авд. Як. Панасовой) и производятъ такіе лубочныя романы, какъ *Три страны свѣта* и *Мертвое озеро*. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* мы видимъ В. Зотова съ его безкопечными романами, вродѣ, напримѣръ, *Старого дома*, тяпущагося годы и дѣйствіе котораго, начиная съ петровскихъ временъ, черезъ рядъ поколѣній, постепенно достигаетъ современности. Представителями же подобнаго рода беллетристики слѣдуетъ считать Вонлярлярскаго, романы котораго изъ великосвѣтской жизни въ стилѣ Евгенія Сю печатались въ разныхъ журналахъ того времени. Рядомъ съ нимъ подвизались на попрѣцъ того же великосвѣтскаго романа гр. Ростопчинъ, Евгенія Туръ, Дружининъ и пр.



Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить еще одну особенность журналистики того времени: эти самые журналы, которые утратили почти всякое различіе одинъ отъ другого, сплошь наполненные сухими, квази-научными статьями и безконечными сказочными романами, лишенные, въ то-же время, всякой возможности проводить какое-бы то ни было направленіе, тѣмъ не менѣе, вели между собою самую ожесточенную полемику, причемъ особенная вражда господствовала между *Отечественными Записками* и *Современникомъ*, равно какъ между петербургскими органами въ качествѣ западниковъ и *Москвитяниномъ*, выразителемъ славянофильскаго лагеря. Но вся эта полемика не имѣла и тѣни какого-либо идейнаго содержанія. Это было одно безсодержательное зубоскальство и хихиканье, полное слѣпого пристрастія и беззастѣнчиво-открытаго барышничества. Весь вопросъ шелъ, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы переманить другъ отъ друга подписчиковъ. Это называлось на журнальномъ языкѣ того времени осенній походъ, заключавшійся въ томъ, что около подписныхъ мѣсяцевъ каждый журналъ начиналъ пересмѣивать недостатки своего соперника и выставлять свои преимущества, причемъ рѣчь шла не объ идеяхъ и взглядахъ, а выставлялся на видъ такіа погрѣшности противниковъ, какъ неуравновѣсныя выраженія, плохой переводъ, опечатки и т. п.

Нужно-ли и говорить о томъ, что о мало-мальски солидной и глубокой общественно-политической сатирѣ не могло быть и помысленія въ тѣ времена. Единственными представителями сатиры этой эпохи являются Н. Панаевъ со своими фельетонами въ *Современникъ* подъ заглавіемъ *Замѣтки новаго поэта* и Дружининъ, помѣщавшій въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* и *Современникъ* „*Путешествіе Чернокушниковъ по петербургскимъ дачамъ*“. Это была сатира правовъ, обличавшая такіе мелкіе недостатки частныхъ людей, какъ суетность, фатовство, жите сверхъ средствъ, или бѣдствія петербургскихъ дачниковъ въ борьбѣ со стихіями. Въ 1854 г. въ *Современникъ* появился особенный сатирическій отдѣлъ *Литературный ералашъ*, въ которомъ выступили три поэта: гр. Алексѣй Константиновичъ Толстой, Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ и Владиміръ Михайловичъ Жемчужниковъ подъ вымышленнымъ псевдомъ Кузьмы Пруtkова съ его пародіями и афоризмами; но стоить лишь прочесть эти произведенія сатирической музы пятидесятыхъ годовъ, вышедшія въ 1884 году отдѣльнымъ изданіемъ, чтобы убѣдиться, какую безсодержательно-плоскую буффонаду представляла подобная сатира.

#### IV.

Но было-бы ошибочно предполагать, что измѣльчаніе литературы зависѣло исключительно отъ однихъ цензурныхъ условій. Въ самомъ обществѣ было достаточное количество реакціонныхъ элементовъ, и когда люди, сильные духомъ, смѣлые и послѣдовательные мысля, сошли съ литературнаго поприща, литературу заполонили особеннаго рода оппортунисты, словно спеціально созданные реакціей для того уровня, къ которому была приведена журналистика, и которые не только не тяготились тяжелымъ положеніемъ печати, а, напротивъ того, какъ сыръ въ маслѣ катались при установившихся порядкахъ, въ послѣдовавшемъ-же движеніи литературы и мысли

представляли собою не малый тормазъ. Это были люди, пропитанные до мозга костей духомъ петербургскаго бюрократизма. Повидимому, они представляли изъ себя безукоризненно передовыхъ прогрессистовъ и либераловъ, западниковъ, гонявшихся за послѣднимъ словомъ европейской цивилизаціи, и реалистовъ, ратовавшихъ за трезвую мысль, основанную на самыхъ положительныхъ данныхъ. Но либерализмъ ихъ не шелъ далѣе поверхностнаго англоманства, увлеченіе западнымъ прогрессомъ—далѣе восхищенія чудесами европейской промышленности въ видѣ желѣзныхъ дорогъ, электрическихъ телеграфовъ и сельско-хозяйственныхъ машинъ; реализмъ ихъ вполне осуществлялся въ практической философіи дядюшки Адуева, въ отрпцаніи на ряду съ романтическими фантазіями и порывамъ какихъ-бы то ни было безкорыстныхъ увлеченій. Весь идеалъ ихъ заключался въ умѣнъ къ 50 годамъ нажить кругленькій капиталчикъ, въ комфортъ, умѣренности, аккуратности и солидности во всѣхъ жизненныхъ отправленіяхъ и чопорной великосвѣтскости, а иногда и хлыщеватаго дендизма подъ личиною развитія чувства изящнаго. Идеалъ этотъ вы можете встрѣтить въ массѣ беллетристическихъ произведеній того времени. На каждомъ шагу являлся передъ вами тщеславящійся своею честностью администраторъ, неподкупный ревизоръ и слѣдователь во фракѣ съ пголочкн, съ безукоризненно-свѣтскимъ, изящными манерами и нѣжнымъ сердцемъ, наклоннымъ пылать неизмѣнною страстью, но и въ самомъ разгарѣ этой страсти неспособный выйти изъ границъ великосвѣтской чопорности и допустить какой-нибудь необузданный порывъ. Таковъ, напримѣръ, герой повѣсти Дружинина *Поленька Саксъ*.

«Часто думаю я,—говорить о немъ героиня,—любить-ли кого-нибудь этотъ человекъ? Ни до свадьбы, ни послѣ не сказалъ онъ мнѣ открыто, что онъ хоть сколько-нибудь въ меня влюбленъ. «Любовь моя не на словахъ, а въ жизни»,—говаривалъ онъ нѣсколько разъ. Чтобъ онъ сталъ цѣловать мои руки, чтобъ онъ становился на колѣни... fi done! — отъ этого изомнется рубашка на груди, запачкается платье. Является онъ ко мнѣ не иначе, какъ во фракѣ или сюртукѣ,—tiré à quatre épingles,—верхъ дерзости, если онъ осмѣлится надѣть лѣтнее пальто, вмѣсто фрака!»

Еще ниже въ той-же повѣсти мы видимъ, что Константинъ Саксъ даже и такія служебныя обязанности, которыя вовсе не требуютъ парада, исполняетъ не иначе, какъ во фракѣ (и, конечно, ужъ въ бѣломъ галстукѣ, прибавимъ мы отъ себя), заставляя просителей и подчиненныхъ подолгу дожидаться, пока совершаетъ онъ свой туалетъ.

Вотъ этой-то средѣ бюрократическаго оппортунизма и обязана была журналистика пятидесятихъ годовъ и неадаптически-сухою ученостью, и библиографическою мелочностью, и безыдейностью. Литераторы подобнаго рода увлекались въ своей дѣятельности единственнымъ побужденіемъ составить литературную карьеру и побольше написать, чтобы побольше получить.

Въ предыдущей главѣ мы говорили, что въ основѣ новаго литературнаго періода лежала идея возвращенія къ пароду, демократизаціи русской мысли и жизни. Все это было предано полному забвенію оппортунистами съ ихъ узко-буржуазными и бюрократическими идеалами. Между тѣмъ, они господствовали въ петербургской литературѣ, давали тонъ всему и были главными судьями новой беллетристической школы, и если

только не совратили ее съ пути, на который направилъ ее Вѣлиинскій, то благодаримъ лишь тому, что среди нихъ не было ни одного столь талантливаго критика, который подчинилъ-бы беллетристику своему вліянію. Но если критики, созданные петербургскою литературною средой того времени, и не отличались ни сильными талантами, ни вліяніемъ, тѣмъ не менѣе, они представляютъ такой своеобразный характеръ, что мы считаемъ не лишнимъ закончить эту главу ознакомленіемъ съ ихъ взглядами и критическими методами.

#### V.

Наиболѣе сильнымъ авторитетомъ въ то время въ критикѣ петербургскихъ журналовъ пользовались Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ.

А. В. Дружининъ родился въ 1825 г.; воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ, откуда былъ выпущенъ въ лейбъ-гвардіи флигель-полкъ прапорщикомъ. Съ 1847 г. онъ служилъ въ канцеляріи военнаго министра, а въ 1851 г. вышелъ въ отставку. Первая повѣсть его, обратившая на себя общее вниманіе—*Поленка Саксъ*, была напечатана въ № 12 *Современника* 1847 г. Затѣмъ потянулся въ *Современникъ* рядъ его рассказовъ, каковы: *Рассказъ Алексѣя Дмитриевича*, *Повѣсть Жюли*, *Докторъ и пациентъ* и пр. Одновременно съ этимъ Дружининъ приступилъ къ печатанію галлерей замѣчательныхъ романовъ старыхъ и новыхъ временъ съ біографическими свѣдѣніями объ авторахъ и выступилъ въ *Современникъ* въ качествѣ фельетониста подъ псевдонимомъ Ивана Чернокушниковъ. Подъ тѣмъ-же псевдонимомъ онъ писалъ впослѣдствіи въ *Библіотеку для чтенія* и *Вѣкъ*.

Въ *Библіотеку для Чтенія* Дружининъ помѣстилъ въ 1851—52 гг. рядъ статей подъ заглавіемъ *Джонсонъ и Босвелъ. Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка*. Въ *Современникъ* въ продолженіе всей первой половины пятидесятихъ годовъ онъ велъ критическіи фельетонъ подъ заглавіемъ *Письма иногороднаго подписчика о русской журналистикѣ*, а съ утвержденіемъ съ 1856 года въ *Современникъ* новой редакціи тѣ-же фельетоны онъ перенесъ въ *Библіотеку для Чтенія*, гдѣ съ тѣхъ поръ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и редакторомъ. Изъ прочихъ трудовъ его замѣчательны—переводъ трагедій Шекспира—*Король Лиръ*, *Коріоланъ* и *Ричардъ III*, статьи его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1861 и 1862 гг. Изъ дневника мирового посредника, подъ псевдонимомъ Безвѣстнаго.

Въ 1859 г. онъ ознаменовалъ свою жизнь инициативою вопроса объ основаніи „Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ“ и принималъ самое горячее участіе въ учрежденіи его. Неугомонная дѣятельность, подточивъ его силы, была главною причиною его преждевременной смерти; въ исходѣ 1863 г. онъ слегъ, а 19-го января 1864 г. умеръ въ Петербургѣ отъ чахотки на 39 году жизни.

Павелъ Васильевичъ Анненковъ родился въ Москвѣ 19-го іюня 1813 г. Отецъ его былъ богатый помещикъ симбирской губерніи. Учился онъ сначала въ Горномъ Институтѣ, гдѣ дошелъ до спеціальныхъ классовъ; затѣмъ долгое время былъ воль-

послушателемъ на историко-филологическомъ факультетѣ въ с.-петербургскомъ университетѣ. Въ 1833 г. онъ поступилъ было въ канцелярію министерства финансовъ, по скорѣ бросилъ службу и въ 1840 г. уѣхалъ за-границу, откуда началъ присылать письма, которыя печатались Бѣлинскимъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1840—42 гг. Вообще, втеченіе сороковыхъ годовъ онъ проводилъ время по большей части за-границей, рѣдко наѣзжалъ въ Россію, и литературная дѣятельность его ограничивалась нѣсколькими посредственными разсказами и корреспонденціями. Въ пятидесятыхъ годахъ литературная дѣятельность Анненкова принимаетъ характеръ болѣе энергическій; онъ выдвигается на первый планъ, и до половины шестидесятыхъ годовъ, занимаетъ мѣсто перваго критика рядомъ съ А. В. Дружининымъ. Но особенно прославился онъ, какъ бібліографъ, и по этой отрасли оставилъ по себѣ весьма почтенную память, такими трудами, какъ полное собраніе сочиненій Пушкина съ *материалами* для біографіи его въ 1856 году и изданіемъ переписки и біографіи Станкевича въ 1867 г.

Одновременно съ этимъ помѣщались въ различныхъ журналахъ критическіе этюды, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны слѣдующіе: *И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой* (1854 г.), *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности* (1855 г.), *С. Т. Аксаковъ и его „Семейная хроника“* (1856) *Литературный инимъ слабого челоовка* по поводу „*Аси*“ *Тургенева* (1858 г.), *Дѣловой романъ въ нашей литературѣ: „Тысяча душъ“, романъ А. Писемскаго* (1859 г.), *Наше общество въ „Дворянскомъ инъдѣ“ Тургенева* (1859 г.), „*Гроза*“ *Островскаго и критическая буря* (1860 г.), и проч.

Послѣднія 20 лѣтъ своей жизни Анненковъ проживалъ большею частью за-границей, лишь прѣздка наѣзжая въ Россію. Наиболѣе замѣчательными его трудами этого періода представляются его воспомнанія о движеніи русской мысли и литературныхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ, которыя онъ печаталъ на страницахъ *Вѣстника Европы*: таковы *Замѣчательное десятильіе*, *Идеалисты 30-хъ годовъ*, *Молодость С. Тургенева*, *Художники и простой челоовкъ* (А. О. Писемскій) и проч.

Умеръ Анненковъ 8-го марта 1887 г. въ Дрезденѣ.

Читая статьи и фельетоны этихъ критиковъ, особенно Дружинина, тщетно вы будете искать въ нихъ какіе-либо руководящіе принципы и критеріи, между тѣмъ, еще разъ повторяемъ, статьи эти имѣютъ вполне опредѣленный и своеобразный характеръ, благодаря которому они должны были очень нравиться тѣмъ петербургскимъ бюрократическимъ оппортунистамъ, представителями которыхъ являлись опивъ литературѣ.

Въ самомъ дѣлѣ: вы представьте только себѣ петербургскаго либеральнаго администратора, который вечеромъ, въ свободный часъ отъ служебныхъ обязанностей и преферансной пульки, въ комфортабельномъ кабинетѣ, полулежа у пылающаго камина, занимался перелистываніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и пробѣгалъ беллетристическія новости. Изъ каждой прочитанной повѣсти онъ выносилъ свои сужденія, не лишеныя иногда и остроумія, и мѣткости, и здраваго смысла. Но развѣ эти сужденія касались того внутренняго смысла, который таился въ прочитанномъ произведеніи, — того духа, который его проникалъ? Ни чуть не бывало: все дѣло ограничи-

валось выдержанностью или невыдержанностью того или другого характера, сѣтованіемъ на недостатокъ внѣшней занимательности, чѣмъ такъ отличаются французскіе романисты и до чего русскимъ далеко, или-же пасмѣшками надъ претензіей беллетриста выводить свѣтскихъ людей, не имѣя ни малѣйшаго понятія объ истинной свѣтскости, и т. п. Именно, подобнаго рода сужденіями отличаются всѣ критическія статьи и фельетоны того времени, и особенно Дружинина.

Возьмемъ для примѣра двѣ-три выдержки. Такъ, въ 1850 году была напечатана въ апрѣльской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* повѣсть Тургенева *Дневникъ лишняго человека*. Казалось-бы, на какія серьезныя и важныя размышленія должна была вызвать мало-мальски живого критика эта мрачная повѣсть, особенно въ общемъ мрачномъ колоритѣ того времени и, притомъ, подѣ свѣжимъ впечатлѣніемъ перваго чтенія, и вдругъ мы читаемъ слѣдующій отзывъ Дружинина въ его четырнадцатомъ письмѣ:

«Повѣсть эта принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ автора *Записокъ охотника*. Это одна изъ тѣхъ повѣстей, которыя никогда не дочитываются до конца и о которыхъ два-три любителя выражаются съ глубокомысленнымъ видомъ: «это собственно не повѣсть, а психологическое развитіе». Г. Тургеневъ слишкомъ уменъ, чтобы написать вещь совершенно скучную, и человекъ, со вниманіемъ прочитавшій его послѣднее произведеніе, найдетъ въ немъ нѣсколько мыслей, живописныхъ описаній, но не болѣе. Мы въ послѣднее время такъ уже привыкли къ психологическимъ развитіямъ, къ разсказамъ «темныхъ», «праздныхъ», «лишнихъ» людей, къ запискамъ мечтателей и шизохондриковъ, мы такъ часто съ разными болѣе или менѣе искусными нувелистами заглядывали въ душу героевъ больныхъ, робкихъ, загнанныхъ, огорченныхъ, вялыхъ, что наши потребности совершенно измѣнились. Мы не хотимъ тоски, не желаемъ произведеній, основанныхъ на болѣзненномъ настроеніи духа; если-бы самъ авторъ *Обермана* воскресъ и написалъ намъ новый романъ въ этомъ родѣ, сомнѣваюсь, чтобы такой романъ былъ дочитанъ до конца... даже до конца первой главы. Г. Тургеневъ, владѣя замѣчательною способностью къ психологическому анализу, любитъ подмѣчать въ каждомъ изъ своихъ героевъ стороны слабыя, раздражительныя, болѣзненныя. Эта особенность, употребленная въ мѣру, помогла ему обрисовать прекрасный характеръ Вилицкаго въ *Холостякѣ*, и очень эффектно проявилась въ одномъ изъ *Разсказовъ охотника*, если не ошибаюсь, въ *Гамлетѣ Щиrowsкаго уюда*. *Дневникъ лишняго человека* построенъ весь на этой особенности, и оттого повѣсть слаба, однообразна, утомительна».

Затѣмъ, разсказавъ содержаніе повѣсти, Дружининъ приходитъ къ слѣдующему выводу:

«Прочитавъ съ довольно унылымъ чувствомъ повѣсть г. Тургенева, я задумался надъ этою повѣстью одного изъ любимыхъ моихъ писателей. Мнѣ захотѣлось разгадать одну изъ главныхъ причинъ той мелочности, въ которую впала наша беллетристика за послѣдніи пять или шесть лѣтъ,—мелочности, непонятной въ то самое время, когда наша ученая словесность быстро движется впередъ и когда каждый изъ русскихъ журналовъ каждый мѣсяцъ представляетъ своимъ читателямъ по одной, по двѣ замѣчательныхъ статей серьезнаго содержанія (sic). Думая о причинахъ этой мелочности, я пришелъ къ двумъ убѣжденіямъ: первое, что сатирическій элементъ, какъ-бы блистателемъ онъ ни былъ, не способенъ быть преобладающимъ элементомъ въ изящной словесности, и второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами изъ современной жизни».

Нѣтъ ничего удивительнаго въ дикости всѣхъ этихъ сужденій: всѣ петербургскіе администраторы того времени, начиная съ надворныхъ и кончая дѣйствительными тайными совѣтниками, повторяли буквально тѣже изреченія: и что надоѣли имъ всѣ эти нипохондрики въ нашей беллетристикѣ, и что мы не хотимъ тоски, и что беллетристика измельчала, и что причина этому—преобладаніе сатиры и погоня за современными сюжетами и т. п.

Въ томъ-же году, въ № 21 *Москвитянина*, была напечатана не менѣе многознаменательная повѣсть Писемскаго *Тюфякъ*. Къ этой повѣсти Дружининъ отнесся гораздо благосклоннѣе, причемъ особенно поправился ему языкъ дѣйствующихъ лицъ, обладающій, по его мнѣнію, «тою бойкостью и оригинальностью, которая такъ очаровательна въ романахъ господина Вельмана». Въ заключеніе-же довольно поверхностнаго и казеннаго разбора Дружининъ замѣчаетъ вдругъ, на этотъ разъ въ угоду даже не самимъ надворнымъ совѣтникамъ, а ихъ женамъ и дочерямъ, что въ повѣсти Писемскаго мало внѣшней занимательности, и это онъ ставитъ въ вину автору. „Беллетристу,—говоритъ онъ,—какъ бы талантливъ онъ ни былъ, нечего бѣгать отъ живыхъ сценъ, движенія, *даже таинственности и эффектовъ*: онъ пишетъ не для однихъ дилетантовъ, уже охлажденных къ романамъ и при чтеніи занимательнаго разсказа говорящихъ: «лучше Монте-Кристо не выдумаешь, любезный другъ!» и т. д.

## VI.

Однимъ словомъ, всѣ великіе завѣты Бѣлинскаго были забыты. Точно какъ будто этихъ самыхъ будущихъ критиковъ, своихъ преемниковъ, подразумевалъ Бѣлинскій, когда въ своемъ литературномъ обзорѣ за 1847 годъ заставилъ пзвѣженнаго спбарита съ пренебреженіемъ бросить книгу, заключающую въ себѣ повѣсть въ духѣ натуральной школы, и воскликнуть: «Книга должна пріятно развлекать; я безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!».—Такъ,—отвѣчаетъ Вѣлинскій на это восклицаніе,—милый, добрый спбаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный—свой голодъ, стоны, страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ».

Эти пророческія слова Бѣлинскаго исполнились буква въ букву: критики-спбариты, о которыхъ мы говоримъ, не замедлили воздвигнуть цѣлый походъ противъ натуральной школы и создали особенный культъ поэзіи Пушкина не ради величія этой поэзіи самой по себѣ и неоцѣнныхъ заслугъ Пушкина, а въ видѣ противодѣйствія гоголевскому вліянію, какъ заявляли они въ своихъ статьяхъ, съ цѣлью возвращенія нашей литературы къ свѣтлому взгляду на жизнь и дѣйствительность.

Такъ, Дружининъ въ своей статьѣ по поводу изданія сочиненій Пушкина, въ *Библиотекѣ для Чтенія* въ 1885 году, между прочимъ, говоритъ:

«Одинъ изъ современныхъ литераторовъ выразился очень хорошо, говоря о сущности дарованія Александра Сергѣевича. «Если-бы Пушкинъ прожилъ до нашего времени, — выразилъ онъ, — его творенія составили-бы противудѣйствіе гоголевскому

направленію, которое, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, нуждается въ такомъ противудѣйствіи». Отзывъ совершенно справедливый и весьма примѣнимый къ дѣлу. И въ настоящее время, и черезъ столько лѣтъ послѣ смерти Пушкина, его творенія должны сдѣлать свое дѣло. Изучая прозу Пушкина, его *Оптимизма*, гдѣ изображенъ вседневный бытъ нашъ какъ городской, такъ и деревенскій, его стихотворенія, впушенные сельскими картинами, сельскимъ бытомъ, мы придемъ къ началу того противудѣйствія, той реакціи, которая такъ нужна въ текущей словесности. Что-бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляемъ себя не въ холоднымъ его читателямъ), нельзя всей словесности жить на однихъ *Мертвыхъ душахъ*. Намъ нужна поэзія. Поэзіи мало въ послѣдователяхъ Гоголя, поэзіи нѣтъ въ излѣпленно-реальномъ направленіи многихъ повѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ назваться натуральнымъ, ибо изученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Скажемъ нашу мысль безъ обвиняющихъ: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ. Противъ того сатирическаго направленія, къ которому привело насъ неумѣренное подражаніе Гоголю, поэзія Пушкина можетъ служить лучшимъ орудіемъ. Очи наши проясняются, дыханіе становится свободнымъ: мы переносимся изъ одного міра въ другой, отъ искусственнаго освѣщенія къ простому дневному свѣту, который лучше всякаго яркаго освѣщенія, хотя и освѣщеніе, въ свое время, имѣетъ свою пріятность. Передъ нами тотъ-же бытъ, тѣ-же люди, но какъ все это глядитъ тихо, спокойно и радостно!».

Отъ требованій, чтобы искусство тихо, спокойно и радостно смотрѣло на жизнь, оди́нъ шагъ до теоріи чистаго искусства, а разъ наши критики-оппортунисты встали на эту почву, имъ только и оставалось—мало того, что забыть всѣ завѣты Бѣлинскаго, но придти къ полному его отрицанію, и они не замедлили вступить на этотъ путь, причемъ послѣдовательнѣе и откровеннѣе всѣхъ оказался Дружининъ, который въ своей статьѣ *Очерки изъ крестьянскаго быта А. О. Писемскаго въ Библиотекѣ для Чтенія* 1856 года прямо отрицаетъ критику Бѣлинскаго и указываетъ даже на вредное ея вліяніе:

«Большая часть ищущихъ людей, — говоритъ онъ, — понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простодушнаго смѣха, необходимости беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимости любящаго, симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія. Потому-то даже годы полнаго торжества дидактической критики принесли нашему искусству предъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Критика сороковыхъ годовъ скорѣе мѣшала развитію писателей существующихъ, нежели содѣйствовала къ появленію новыхъ писателей-дидактиковъ. На литераторовъ, уже составившихъ себѣ имя и вновь появляющихся, критика Бѣлинскаго налагала стѣснительныя узы, но художниковъ, собственно ею созданныхъ, она не имѣла. Своихъ поэтовъ, своихъ литературныхъ адептовъ она не создала; эти послѣдніе, побѣгавшіе самое короткое время на дидактической кордѣ, исчезали съ лица земли и гибли вслѣдствіе своего собственнаго безсилія. Всюду кипѣли свѣжія молодыя силы, всюду являлось сдержанное противорѣчіе узкимъ дидактическимъ требованіямъ господствующей критики. Чуть замолкъ голосъ Бѣлинскаго, чуть его поэтическое слово перестало служить самымъ непоэтическимъ изъ всѣхъ цѣлей, въ ряду русскихъ критиковъ даже не нашлось человека, желающаго продолжать дѣло. При всемъ уваженіи къ критикѣ гоголевскаго періода, при всей личной симпатіи къ ея главнымъ дѣятелямъ, каждый поэтъ и каждый прозаикъ, воспитанный на ея теоріяхъ, почувствовалъ, что, наконецъ, пришло время отрѣшиться отъ всей мертвенной, рутинной стороны сказанныхъ теорій.

Несмотря на полное господство дидактических преданій въ искусствѣ, движеніе нашей изящной словесности шло шире и всестороннѣе.

Трудно представить себѣ большее извращеніе всѣхъ историко-литературныхъ данныхъ. Бѣлинскій, всегда первый ратовавшій противъ дидактизма въ искусствѣ и требовавшій отъ писателей лишь живого, естественнаго проникновенія общественными вопросами, попалъ вдругъ въ дидактики, оказалось вдругъ, что онъ не создалъ ни одного писателя, а тѣ, которые подчинялись его требованіямъ, исчезали и гибли вслѣдствіе своего безсилія. Вотъ до чего договорились, наконецъ, критики-оппортунисты! Замѣчательно, что подобный походъ противъ всѣхъ завѣтовъ Бѣлинскаго имѣлъ мѣсто не на однѣхъ страницахъ *Библіотеки для Чтенія*, гдѣ онъ былъ умѣстенъ, сообразно традиціямъ этого журнала, всегда ратовавшаго противъ критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Не уступалъ въ этомъ отношеніи даже и *Современникъ*, и около того-же времени, именно, въ 1855 году, въ немъ была помѣщена критическая статья П. В. Анненкова: *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности*, въ которой Анненковъ, въ свою очередь, весьма рѣшительно возсталъ противъ всеобщаго требованія отъ изящныхъ произведеній мысли, поученія. Постоянныя хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика, сообщаютъ, по его мнѣнію, педагогическій характеръ изящной литературѣ вообще, какъ это мы видимъ не только въ нашемъ прошломъ, но и въ настоящемъ:

«Съ одной стороны,—говоритъ Анненковъ,—кругъ дѣйствія литературы отъ этого, можетъ быть, и расширяется, но, съ другой стороны, онъ утрачиваетъ большую часть самыхъ дорогихъ и существенныхъ качествъ своихъ — свѣжесть пониманія явленій, простодушіе во взглядѣ на предметы, смѣлость обращенія съ ними. Тамъ, гдѣ опредѣляется относительное достоинство произведеній по количеству мысли и цѣнность его по вѣсу и качеству идеи, тамъ рѣдко является близкое созерцаніе природы и характеровъ, а всегда почти философствованіе и нѣкоторое лукавство. Не говоримъ уже о томъ, что на основаніи мысли легко быть судьей литературнаго произведенія всякому, кто признаетъ въ себѣ мысли (а кто-же не признаетъ ихъ въ себѣ?), а на основаніи эстетическихъ условій это тяжело. Не говоримъ также, что по существу критикъ, ищущихъ предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведенія, именно, его постройка, остается почти всегда безъ опѣнки и опредѣленія, но скажемъ, что обыкновенно и не тѣхъ мыслей требуютъ отъ искусства, какія оно призвано и способно распространять въ своей сферѣ... Требуютъ мысли не художнической, а философской или педагогической. Извѣстно, что каждый изъ отдѣловъ изящнаго имѣетъ свой кругъ идей, нѣсколько несходныхъ съ идеями, какія можетъ производить до бесконечности способность разсужденія вообще. Такъ, есть музыкальная, скульптурная, архитектурная и также литературная мысль. Всѣ онѣ самостоятельны и не могутъ быть перенесенными, чтобы перемѣщенная мысль не сдѣлалась, вмѣсто истины, парадоксомъ и чудовищностью. Какого-же рода цикль идей принадлежитъ повѣствованію и въ чемъ сущность его? Развѣтѣ психологическихъ сторонъ лица или многихъ составляетъ основу всякаго повѣствованія, которое почерпаетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій челоѣческаго нравственнаго существа въ соприкосновеніи съ другими людьми. Гдѣ есть въ разсказѣ присутствіе психологическаго факта и вѣрное развитіе его, тамъ есть настоящая и глубокая мысль. Взамѣнъ, если повѣствованіе основано на чистой мысли, но выраженной, какъ всегда выражается такая мысль, посредствомъ невозможнаго или противуестетическаго душевнаго настроенія, то мысль уже не спасетъ разсказа, какъ-бы сама по себѣ ни была свѣтла и благородна. Про-



произведение останется, все-таки, плохимъ, впечатлѣніе, произведенное имъ, будетъ слабо и вліяніе совершенно ничтожно».

Это отрицаніе философскихъ и всякихъ другихъ мыслей въ изящныхъ произведеніяхъ, кромѣ одной психологической правды, и требованіе, чтобы критика на первомъ планѣ ставила чисто-эстетическую оцѣнку, въ свою очередь, шли совершенно въ разрѣзъ и съ духомъ времени, и съ существеннымъ значеніемъ новой литературной школы. Мы нарочно сдѣлали эту цитату изъ статьи Анненкова, чтобы показать, какъ къ концу реакціоннаго періода литераторы-оппортунисты въ такой степени успѣли проникнуть всюду и перемѣшать всѣ карты, что на страницахъ *Современника* вы могли встрѣчать тѣ-же самые взгляды, какіе развѣвались и въ *Библіотекѣ для Чтенія*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но 1855 былъ послѣднимъ годомъ всеобщаго господства оппортунистовъ. Въ слѣдующіе годы они принуждены были сосредоточиться въ двухъ журналахъ: *Отечественныхъ Запискахъ* и *Библіотекѣ для Чтенія*, — и слѣпо, вяло и бессмысленно ратуя противъ могучаго теченія вновь проснувшейся жизни, они *Библіотеку для Чтенія* совсѣмъ погребли, а *Отечественныя Записки* къ концу шестидесятыхъ годовъ довели почти до издыханія.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I—Московская оппозиція: изданіе *Протилесъ* и возникновеніе славянофильства. II—Религіозныя и филосоfo-историческія взгляды первыхъ славянофиловъ. III—Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи. VI—Погромы, испытанныя ими. V—Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическіе взгляды. IV—Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: Ап. Григорьевъ и Н. Страховъ. Точки соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами. VII—Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ.

### I.

Вслѣдствіе-ли отдаленности Москвы отъ центральнаго пункта реакціи, оттого ли, что она была очагомъ и колыбелью новаго литературнаго движенія, или по какимъ-либо инымъ причинамъ, но въ пятидесятыя года Москва далеко не представляла такого литературнаго заупустѣнія, какъ Петербургъ. Въ ней шевелилась кое-какая самостоятельная жизнь и даже замѣчался призракъ чего-то вроде оппозиціи.

Таково, напримѣръ, было изданіе Катковымъ и Леонтьевымъ (съ 1851 и по 1857 гг.) нѣтъ томовъ сборниковъ статей по классической древности, подъ заглавіемъ *Протилеси*. Въ сборникахъ этихъ помѣщались ученыя статьи по древнему міру и переводы классиковъ, какъ самихъ издателей, такъ и Грановскаго, Кудрявцева, М. Куторги и прочихъ специалистовъ по исторіи и древностямъ. И хотя содержаніе этихъ сборниковъ было строго научное, при полномъ отсутствіи чего-либо тенденціознаго и будирующаго, но самое періодическое изданіе статей по классической древности было уже оппозиціей противъ слѣпотаго гоненія на все классическое, воздвигнутаго въ то время въ административныхъ сферахъ въ видѣ уничтоженія преподаванія греческаго языка въ гимназіяхъ и крайняго стѣсненія въ университетамъ программъ по древней исторіи.

Еще больше жизни и движенія замѣчалось въ то время въ славянофильскомъ лагерѣ. Но-истинѣ можно сказать, что подъ свистками и хихиканьями петербургскихъ оппортунистовъ славянофилы переживали въ то время самыя свѣтлыя и доблестныя страницы своей исторіи, и въ ихъ честныхъ и высоко идеальныхъ кружкахъ сохранялись тѣ лучшія традиціи сороковыхъ годовъ, которыя были столь постыдно забыты хлыщевато-бюрократическими журналистами Петербурга.

На славянофиловъ привыкли у насъ смотрѣть, какъ на самыхъ крайнихъ реакціонеровъ, смѣшивая ихъ въ одну категорію съ квасными патріотами 30-хъ годовъ вроде

Шевырева и Погодина. Другіе шли еще дальше, искали начала славянофильской партіи въ раскольникахъ и стрѣльцахъ эпохи Петра, и затѣмъ, открывая въ каждомъ послѣдующемъ поколѣніи аналогичныя явленія, видѣли прямого предшественника славянофиловъ въ адмиралѣ Шишковѣ съ его ратованіями за старый слогъ.

Но не надо забывать, что въ то время, какъ Шишковъ ничего не представлялъ собою, кромѣ слѣпого пзѣврства и узкаго педантизма, славянофилы сороковыхъ годовъ были образованнѣйшими и ученѣйшими людьми своего времени, и читали тѣ-же книжки, по какимъ учились и Герценъ, и Бѣлинскій, и Градовскій, и всѣ прочіе выдающіеся люди противнаго лагеря. Было время, когда и они принадлежали къ тому же кружку Стаикевича, и лишь во второй половинѣ тридцатыхъ годовъ произошло распадѣніе кружка на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Но закваска въ обоихъ лагеряхъ осталась одна и та-же, а именно: съ одной стороны, увлеченіе нѣмецкою флософіей, съ другой—гуманными демократическими идеями французской публицистики тридцатыхъ годовъ.

Чтобы понять, что такое было славянофильство въ его сильныхъ и слабыхъ сторонахъ, слѣдуетъ представить себѣ людей, мышленіе которыхъ едва успѣло получить могучій толчокъ, выведшій ихъ изъ круга мыслей, раздѣляемыхъ темною толпой. До того времени они были беззавѣтно вѣрующими людьми, слѣпо преданными всѣмъ традиціямъ; страстно любили свою родину, воображая, что лучше ея нѣтъ другой страны въ цѣломъ мірѣ; наконецъ, привыкли на всѣ ея учрежденія смотрѣть какъ на нечто въ высшей степени совершенное и священное. Однимъ словомъ, подобно любому простолудину, они смѣшивали понятія о религіи, отечествѣ и его учрежденіяхъ въ нечто совершенно безраздѣльное, въ равной степени неприкосновенно божественное и одно безъ другого пемыслимое.

Но вотъ мысль ихъ увлеклась новыми философскими системами и филантропо-демократическими идеями. Къ чему-же должна она была устремиться? Конечно, прежде всего, къ тому, чтобы отдать отчетъ въ прежнихъ своихъ вѣрованіяхъ и осмыслить ихъ на основаніи новыхъ данныхъ. Такимъ данными были двѣ метафизическія системы—Шеллинга и Гегеля. Одна учила, что каждая народность осуществляетъ какую-нибудь идею. Но есть идеи частныя, мелкія, и есть крупныя, всемірно-историческія. Сообразно чему и народы дѣлятся на всемірно-историческіе, первостепенные и второстепенные, песторические. Гегель, въ свою очередь, училъ, что большинство народностей выражаютъ собою тѣ односторонности и крайности, на которыя распадается идея въ процессѣ своего діалектическаго развитія, но есть великія націи—избранники, которымъ суждено прпмпрять односторонности въ высшемъ воссоединяющемъ синтезѣ. Гегель полагалъ, что столь гигантская роль въ современной исторіи принадлежитъ, конечно, ужъ Германіи.

Если, стоявшій во главѣ европейской философіи, Гегель былъ способенъ на такое патріотическое пристрастіе, то тѣмъ болѣе свойственно было нашимъ юнымъ московскимъ мыслителямъ, привыкшимъ съ дѣтства смотрѣть на родину, какъ на соединеніе всѣхъ совершенствъ, возмнпть, что, именно, ей предназначено осуществить собою тотъ воссоединяющій синтезъ, какой Гегель приписывалъ своей возлюбленной Германіи.

Въ чемъ-же долженъ былъ заключаться этотъ синтезъ? Конечно, въ осуществленіи

тѣхъ самыхъ гуманныхъ, демократическихъ идей, которыя Европа тщетно пытается осуществить, не въ силахъ будучи отрѣшиться отъ своего историческаго прошлаго. Роль такого осуществленія принадлежитъ Россіи.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ первоначальнымъ ходомъ мысленія, какой господствовалъ въ кружкѣ Станкевича, принадлежа, безразлично, какъ будущимъ славянофиламъ, такъ и западникамъ. Но далѣе затѣмъ представился вопросъ: почему же, именно, на долю Россіи выпала подобная великая роль? Этотъ вопросъ, именно, и раздѣлилъ московскихъ мыслителей на два лагеря, такъ какъ онъ допускаетъ возможность двухъ діаметрально противоположныхъ рѣшеній: Россія можетъ быть свойственна ея великая роль или потому, что она представляетъ собою *tabula rasa*, не имѣя никакихъ историческихъ традицій, которыя мѣшали-бы ей, какъ западнымъ народамъ, осуществленію великихъ идей, или, же, наоборотъ, она имѣетъ въ свою очередь очень прочныя традиціи, но такія, которыя нисколько не мѣшаютъ осуществленію великихъ идей, такъ какъ вполне имъ соотвѣтствуютъ. Нужно-ли и говорить о томъ, что за первое рѣшеніе ухватились люди, наиболѣе отрѣшившіеся отъ традицій; второе-же было свойственно тѣмъ, которымъ съ традиціями разстаться было жалко. Таково было происхожденіе раздѣленія славянофиловъ и западниковъ.

## II.

И дѣйствительно, въ первыхъ славянофилахъ прежде всего васъ поражаетъ ультра-религіозное міросозерцаніе, покоющееся на воплѣ традиціонныхъ началахъ. Такъ, А. С. Хомяковъ является передъ нами писателемъ попреимуществу богословскимъ, причемъ, какъ научныя его статьи, такъ и стихотворенія проникнуты религіознымъ экстазомъ. Ив. Кирѣевскій изъ рьянаго западника превратился въ славянофила подъ вліяніемъ схимника Новоспасскаго монастыря, старца Филарета, за которымъ ухаживалъ при его смерти. К. Аксаковъ самъ былъ особаго рода свѣтскимъ схимникомъ, оставаясь, по словамъ Ив. Панаева, «въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ, до сорока лѣтъ, т. е. до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и притомъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Въ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятіяхъ, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломала его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ перенести этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

Въ то-же время, славянофилы очень строго соблюдали посты и всѣ религіозныя обряды; самые-же ревностные изъ нихъ не только снимали шапки и набожно крестились передъ каждою церковью, но и приходя въ гости, прежде чѣмъ раскланяться съ хозяевами, крестились и кланялись по пародному обычаю образамъ.

Нѣтъ ничего удивительнаго послѣ того, что въ основѣ славянофильскаго ученія лежатъ идеи вполне религіозныя. Западъ, по мнѣнію славянофиловъ, пришелъ къ печальному разочарованію и ему грозитъ гибель разложенія, потому что онъ воспринялъ отъ древняго Рима цивилизацію, основанную на одностороннемъ началѣ рассу-

дочности, внѣшней принудительной слѣб формальныхъ законовъ п договоровъ п мертвой механической государственности. Когда христіанство сломало язычество, императоръ Θεодосій провозгласилъ его государственною религіей п это, по мнѣнію Хомякова, была роковая ошибка, поведшая къ губельнымъ послѣдствіямъ. „Вѣдь, не то государство,—говоритъ онъ въ своихъ *Запискахъ о всемірной исторіи*,—есть христіанское, которое признаетъ христіанство, но то, которое признается христіанствомъ: ибо не церковь благословляется государствомъ, но государство церковью“. Ревность великаго императора ввела его, по мнѣнію Хомякова, въ ошибку, къ несчастію, отзывающуюся черезъ 14 вѣковъ вплоть до нашего времени п заключающуюся въ томъ, что Западъ понялъ христіанство въ духѣ римской государственности, вслѣдствіе чего церковь находилась сперва въ полной зависимости отъ государства, потомъ-же, когда, стремясь къ независимости, она стала мало-по-малу приобрѣтать п силу, п власть, то поставила себѣ цѣлью сдѣлаться самой государствомъ съ папой — самодержавнымъ властелиномъ народовъ во главѣ — п съ духовенствомъ, послушнымъ орудіемъ его воли. Между тѣмъ, идеаль челоувѣчества заключается въ совсѣмъ противоположномъ, ибо не церковь должна имѣть подобіе государства, но государство должно преобразоваться въ церковь.

Россія, прежде всего, тѣмъ отличается отъ Запада, что приняла христіанство не изъ Рима, а отъ Византіи. Исторія-же Византіи, по мнѣнію Хомякова, представляетъ продолженіе древней греческой. Греція-же искони была богата умственною самобытною дѣятельностью. Востокъ чуждъ былъ римской централизациі, п каждая восточная церковь сохранила свою особенность п свободу, полагая единеніе во вселенскихъ соборахъ, п такимъ образомъ здѣсь былъ разрѣшенъ вопросъ, неразрѣшимый на Западѣ: сочетаніе въ церкви единства со свободой. Въ то-же время, вѣра основывалась здѣсь не на одной разсудочности, не только мыслилась, но п чувствовалась,—была не однимъ познаніемъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, п жизнью, въ чемъ п заключалась восточная цѣльность сравнительно съ западною односторонностью. Поэтому п въ Россіи православная церковь, управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, никогда не имѣла притязанія насильственно управлять ихъ волею, приобрѣтая власть свѣтскую, не стремилась быть государствомъ, какъ п государство, въ свою очередь, смѣренно сознавая свое мірское назначеніе, никогда не сознавало себя „святымъ“ въ смыслѣ сопрониканія п свѣтскости, какъ „Священная римская имперія“.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ самою слабою стороной славянофильскаго ученія. Не говоря уже о томъ, что здѣсь мы находимъ массу доктринерства въ видѣ подогнанія во что-бы то ни стало историческихъ фактовъ подъ теорію, построенную на метафизической почвѣ, не говоря о явномъ патріотическомъ пристрастіи, сквозящемъ въ каждомъ камнѣ этой фалстастической постройки, не мало отпугивали отъ славянофиловъ ихъ прославленіе византіиства п слишкомъ ужъ усердное подливаніе всюду деревяннаго масла. Это была со стороны славянофиловъ чисто доп-кихотская борьба противъ всеобщаго теченія п духа ихъ времени.

Теперь мы обратимся къ болѣе свѣтлымъ сторонамъ этого ученія, которыми славянофилы были обязаны преимущественно историческимъ трудамъ К. Аксакова. П здѣсь вы найдете не мало п доктринерства, п мечтательнаго идеализма, но сквозь всѣ

эти недостатки, свойственные людямъ, находящимся на метафизической почвѣ, проглядываютъ истины, добытыя путемъ серьезныхъ научныхъ изысканій, и вмѣстѣ съ тѣмъ горячее увлеченіе великими идеями, движущими современнымъ человечествомъ.

### III.

Въ то время, какъ западные государства, по мнѣнію славянофиловъ, сложились путемъ завоеванія, насилія, вражды, русское государство было основано добровольнымъ признаніемъ власти. При такихъ условіяхъ не нужна оказалась никакая гарантія; она есть зло; гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра. Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ внутренняго на это желанія. Вся сила—въ нравственномъ убѣжденіи. Такимъ образомъ, русское государство—это основанный на довѣренности союзъ народа съ властью, земли съ государствомъ. Народъ пахалъ, промышленялъ, торговалъ, поддерживая государство деньгами, въ случаѣ нужды становясь подъ знамена. Государь являлся первымъ хранителемъ земли. Въ основѣ этого порядка стоялъ общинный бытъ народа, что составляло рѣзкое отличіе отъ Запада, гдѣ въ основѣ лежалъ родовый бытъ, который повелъ къ созданію всюду сильныхъ и полномочныхъ аристократій. Въ Россіи-же аристократіи не было и не могло быть, ибо боярство не было наследственно: это было сословіе служилое, составлявшее дружину государеву и пользовавшееся за свою службу помѣстьями и вотчинами. Общины-же представляли собою союзъ людей, отказывавшихся отъ своего эгоизма; личность здѣсь не теряется, но, отказываясь отъ своей исключительности для согласія общаго, она находитъ себя въ высшемъ, очищенномъ видѣ въ согласіи равномѣрно самоотверженныхъ личностей. Выраженіе совокупной нравственной дѣятельности общины есть совѣщаніе, имѣющее цѣлью общее согласіе; отсюда вытекаетъ начало единогласія при рѣшеніяхъ общины, противоположное началу большинства, насильственному, обладающему лишь физическимъ преимуществомъ.

Но подъ общинами К. Аксаковъ разумѣлъ не одну только сельскую общину въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Онъ полагалъ общинное начало и въ древнихъ городахъ съ ихъ вѣчами, и въ областяхъ, составлявшихъ удѣльные княжества, а позже все московское царство составляло одну обширную общину, добровольно покорявшуюся государямъ и заявлявшую свое мнѣніе въ земскихъ соборахъ, причемъ мнѣніе это никогда не имѣло законодательной принудительной силы, а было лишь свободнымъ проявленіемъ общественнаго разума: наша мысль такова, а тамъ какъ угодно будетъ государю.

Изъ всего этого прямо вытекаетъ отрицательный взглядъ славянофиловъ на реформы Петра и на весь такъ называемый петербургскій періодъ. Они обвиняли Петра не только въ томъ, что онъ перекрапывалъ русскую жизнь по чуждымъ ей началамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нарушилъ союзъ земли съ государствомъ, пересталъ слушать голосъ земства, а совершалъ свои реформы насильственно, деспотически.

Во всемъ этомъ безспорно много утопическаго и фантастическаго. Конечно, донетія Руси далеко не представляла собою такого идиллическаго рая, какой рисуютъ

славянофилы. Только крайнее ослѣпленіе отвлеченною доктриной могло отрицать на Западѣ всякое проявленіе альтруистическихъ стремленій, а въ русской жизни не видѣть элементовъ той-же холодной и мертвящей разсудочности и формализма. Но все-таки слѣдуетъ отдать справедливость въ тѣхъ великихъ заслугахъ, которыя оказали славянофилы своему отечеству, какъ въ научномъ отношеніи, такъ и соціально-нравственномъ. Какъ-бы ни заблуждались они, воображая русскій народъ богонзбраннымъ, предназначеннымъ совершить великій подвигъ возрожденія Европы, все-таки слѣдуетъ воздать имъ честь, что эту богонзбранность они полагали въ очень хорошихъ вещахъ, и все ученіе ихъ было проникнуто тѣми великими и гуманными идеями, которыя носились въ воздухѣ и готовились обновить русскую жизнь.

Такъ, отрицаніе аристократизма въ древней Руси не было у нихъ одною сухою научною формулою. Все ученіе ихъ было проникнуто живымъ демократическимъ духомъ. Выше всего въ славянскомъ племени ставили они миролюбіе, пристрастіе къ земледѣлію и отвращеніе къ воинственнымъ набѣгамъ, и, какъ результатъ всего этого, они выставляли смиреніе, скромность, стремленіе къ простотѣ и правдѣ въ жизни при полномъ отсутствіи кичливости, рисовки и наружнаго блеска.

«Если братство народовъ,—разсуждалъ Хомяковъ,—если чувства правды и добра—не призракъ, но сила животворная и вѣчная, то нравственное главенство въ будущемъ принадлежитъ не германцамъ—завоевателямъ и аристократамъ, но славянамъ—земледѣльцамъ и разночинцамъ».

А вотъ что говоритъ Ив. Кирѣевскій въ своей статьѣ: *О характерѣ просвѣщенія Европы*:

«На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности; ее могли порицать духовные, въ противность обычнымъ понятіямъ, но въ общемъ мнѣніи она была почти добродѣтелью. Ей не уступали, какъ слабости, но напротивъ гордились ею, какъ завиднымъ преимуществомъ. Въ средніе вѣка народъ съ уваженіемъ смотрѣлъ на наружный блескъ, окружающій человѣка, и свое понятіе объ этомъ наружномъ блескѣ благоговѣнно сливалъ въ одно чувство съ понятіемъ о самомъ достоинствѣ человѣка. Русскій человѣкъ больше золотой парчи придворнаго уважалъ лохмотья юродиваго. Роскошь проникла въ Россію, но какъ зараза отъ сосѣдей. Въ ней измѣнялись, ей поддавались какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религіозную, но и нравственную, и общественную».

Въ свою очередь и К. Аксаковъ говоритъ въ своей статьѣ о русской исторіи:

«Русская исторія въ сравненіи съ исторіей Запада Европы отличается такою простотою, что приведетъ въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ. Русскій народъ не любитъ становиться въ красивые позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной фразы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ насъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ повсе небольшую роль; принадлежность личности необходимо гордости, а гордости и всей обольстительной красоты ей и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кропавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго цегольскаго драматизма страстей».

Въ то-же время изъ того положенія славянофильскаго ученія, что въ союзѣ земли съ властью землѣ принадлежитъ неотъемлемое право свободнаго выраженія мнѣнія, прямо простекала горячая приверженность славянофиловъ къ свободѣ слова устнаго и печатнаго, и они при каждомъ удобномъ случаѣ смѣло и самоотверженно отстаивали эту свободу, платясь за это запрещеніями ихъ изданій и другими невзгодами.

Что они далеко не были слѣпыми приверженцами *statu quo*, объ этомъ можно судить по знаменитой запискѣ К. Аксакова: *О внутреннемъ состояніи Россіи*, поданной въ 1855 году черезъ гр. Блудова только-что вступившему тогда на престолъ Императору Александру II.

Въ запискѣ этой, излагая все то-же свое ученіе о добровольномъ союзѣ власти съ землею, Аксаковъ между прочимъ заявляетъ:

«Начала русскаго гражданскаго устройства не были нарушены со стороны народа (ибо это его коренныя народныя начала), но были нарушены со стороны правительства. То-есть правительство вмѣшалось въ нравственную свободу народа, стѣснило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло такимъ образомъ изъ душевредный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человѣческое достоинство народа и наконецъ, обозначившійся упадкомъ нравственныхъ силъ въ Россіи и общественнымъ развращеніемъ. Впереди-же этотъ деспотизмъ угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и паденіемъ Россіи на радость враговъ ея, или-же искаженіемъ русскихъ началъ въ самомъ народѣ, который, не находя свободы нравственной, захочетъ наконецъ, свободы политической, прибѣгнетъ къ революціи и оставитъ свой истинный путь. И тотъ, и другой исходъ—ужасный, ибо тотъ и другой—гибельны: одинъ—въ матеріальномъ и нравственномъ, другой—въ одномъ нравственномъ отношеніи».

Но не одну свободу слова отстаивали славянофилы; съ одинаково горячимъ сочувствіемъ и участіемъ относились они и ко всѣмъ реформамъ прошлаго царствованія, начиная съ крестьянской и кончая вопросомъ о свободѣ женщинъ. Замѣчательно, что согласно своему ученію женскій вопросъ они въ свою очередь поставили на традиціонную почву. Такъ, уже въ статьѣ своей о былинахъ Владимірова цикла К. Аксаковъ между прочимъ говоритъ:

«Женщины былинъ часто носятъ кюки, панцири, кольчуги, также выѣзжаютъ въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ никогда не уступаетъ мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросиньи Королевишны, супруги великаго князя Владиміра, отличавшейся влюбчивымъ сердцемъ. Такова жена Ставра боярина, Василиса Микულიшна. Прибавимъ въ дополненіе къ этой мужественности женщинъ образъ совершенно русскій Царь-Дѣвицы; вспомнимъ преданія объ Амазонкахъ, о чешской Власкѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиною независимость и равныя права съ мужчиною даже въ ратномъ дѣлѣ, совершенно уничтожаетъ тѣмъ самымъ всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у славянъ».

Наконецъ не мѣшаетъ обратить вниманіе еще на одну черту славянофиловъ, — правда мелкую и нѣсколько даже комическую, но которую исторія конечно не забудетъ поставить на видъ, — именно ту самую страсть паряжаться въ національныя костюмы, надъ которою такъ потѣшались петербургскіе оппортунисты, что даже славянофильская мурмолка вошла въ пословицу. Не пужно забывать, что страсть эта проявлялась въ такое время строгаго бородобритія, общей затянутости и подтянутости,



когда малѣйшее отступленіе отъ общепринятой формы возбуждало не только презрѣніе со стороны чопорныхъ хранителей свѣтскости, какъ *mauvais-ton*, но и вниманіе полиціи, какъ нѣчто подозрительное. Много нужно было мужества, чтобы въ тѣ времена являться среди московскихъ улицъ и салоновъ въ охабняхъ, высокихъ шапкахъ и съ пушистыми бородами, несмотря на всѣ толки, пасышки и полнейскія внушенія. Люди, проводящіе неуклонно свои принципы въ жизни до мелочей, всегда возбуждали сочувствіе въ каждомъ мыслящемъ человѣкѣ, и особенно заслуживаютъ этого сочувствія славянофилы, которые въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ одни только дерзали проявлять хотя какую-нибудь самостоятельность въ области мысли и въ области жизни.

#### IV.

Послѣ всего этого слѣдуетъ-ли удивляться тому погрому, какой пришлось пережить славянофламъ въ началѣ пятидесятихъ годовъ, и считать этотъ погромъ недоразумѣніемъ со стороны цензурнаго вѣдомства? Могло-ли это вѣдомство, не позволявшее Булгарину отзываться о правительственныхъ распоряженіяхъ даже съ похвальной стороны, допустить вдругъ свободное проявленіе такого рѣшительнаго и полного отрицанія всѣхъ современныхъ порядковъ, до котораго не доходили западники, въ особенности въ образѣ оппортунистовъ того времени? Здѣсь отрицались не тѣ или другія злоупотребленія власти или ея излишества, а цѣлый историческій періодъ со всѣмъ созданнымъ имъ строемъ жизни. Нѣтъ ничего послѣ этого удивительнаго, что когда въ 1852 году вышелъ первый выпускъ *Московскаго Сборника*, въ которомъ славянофилы впервые выступили съ полнымъ и систематическимъ изложеніемъ своего ученія, министерство народнаго просвѣщенія тотчасъ-же обратило вниманіе на „предосудительность направленія“ этого *Сборника*, причемъ особенное неодобреніе заслужила статья И. В. Кирѣвскаго: *О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи*, и было сдѣлано распоряженіе представлять рукописи славянофиловъ, предназначавшіяся для слѣдующихъ трехъ томовъ *Сборника*, въ Петербургъ, въ главное управленіе цензуры, а вслѣдъ затѣмъ было постановлено не разрѣшать выхода подобныхъ сборниковъ чаще, чѣмъ одинъ разъ въ годъ. Когда-же И. Аксаковъ въ началѣ слѣдующаго 1853 года внесъ въ московскій цензурный комитетъ программу трехъ предполагаемыхъ томовъ, затѣмъ и весь второй томъ въ рукописи, главное управленіе цензуры, куда все это было послано, нашло въ рукописи „не мало статей, которыя по предосудительности выраженныхъ въ нихъ мыслей, высказывающихъ недоброжелательство къ настоящему порядку вещей и косвенное неодобреніе предпринимаемыхъ правительствомъ мѣръ ко благу народному, не только не могутъ войти въ составъ второго тома *Московскаго Сборника*, но и вообще не могутъ быть допущены къ печатанію и должны быть подвергнуты строгому запрещенію“.

Особенное при этомъ вниманіе было обращено на статью Хомякова: *Нѣсколько словъ по поводу статьи Кирѣвскаго: О характерѣ просвѣщенія Европы*, и статьи И. Аксакова: *Богатыри времени великаго князя Владиміра по русскимъ сказаніямъ*. Статьи эти порицались цензурнымъ вѣдомствомъ главнымъ образомъ за

пхъ демократическій духъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ за то, что въ нпхъ „замѣтно какое-то недовольство настоящимъ образованіемъ, образомъ жизни и даже учрежденіемъ правительства, и высказывается стремленіе выставить нашъ древній русскій бытъ въ преувелчленно лучшемъ видѣ, какъ заслуживающій безусловно во всѣхъ отношеніяхъ одобренія и подражанія“.

Не ограничиваясь запрещеніемъ выпуска второго тома *Сборника*, администрація подвергла всѣхъ славянофилловъ строгому полицейскому надзору; Ив. Аксаковъ былъ лишенъ права когда-бы то ни было быть издателемъ или редакторомъ журнала, и всѣ статьи славянофилловъ продолжали отсылаться въ главное управленіе по дѣламъ печати.

Такъ продолжалось до новаго царствованія; но и съ наступленіемъ эпохи новыхъ вѣяній и либерализма, на славянофилловъ все-таки продолжали коситься, и рѣдкое изданіе ихъ оставалось безъ погромовъ. Такъ, большого труда стоило имъ выхлопотать въ 1858 г. дозволеніе на изданіе новаго журнала *Русская Бесѣда*, но и то И. Аксакову не было допущено подписываться въ качествѣ редактора. Въ 1859 г., правда, послѣ немовѣрныхъ хлопотъ, было дозволено И. Аксакову издавать еженедѣльную газету *Царусь*, но газета была запрещена на № 2, а взамѣнъ ея цензурное ведомство предлагало издавать *Пароходъ*, но съ тѣмъ, чтобы „идея о правѣ само-бытности развитія народностей, какъ славянскихъ, такъ и нпоплеменныхъ, не имѣла мѣста въ газетѣ и все, что относится до сего предмета, было-бы исключено“. Славянофилы не пожелали издавать газету на этихъ условіяхъ. Затѣмъ, въ 1861 году было разрѣшено И. Аксакову издавать еженедѣльную-же газету *День*, но съ тѣмъ, чтобы въ газетѣ не было политическаго отдѣла, и кромѣ того цензурѣ было предписано имѣть за газетою самое строгое наблюденіе; эти два обстоятельства конечно содѣйствовали тому, что газета могла удержаться до конца 1865 года, когда И. Аксаковъ самъ ее прекратилъ. Тѣмъ не менѣе въ первый-же годъ изданія газета навлекла на себя цѣлую бурю вслѣдствіе проекта полной свободы печати, напечатаннаго въ № 32, и перепечатки одного правительственнаго извѣщенія изъ *Инвалида* съ нѣкоторыми замѣчаніями отъ редакціи рѣзкаго характера. Послѣ № 34 *День* былъ пріостановленъ до 1 сентября того-же года, И. Аксаковъ-же лишенъ права быть отвѣтственнымъ редакторомъ, и это лишеніе продолжалось до конца года. Но наиболѣе бурное существованіе испытала газета *Москва*, которую Ив. Аксаковъ издавалъ съ 1 января 1867 г. по 21 октября 1868 г., и въ этотъ періодъ времени она получила девять предостереженій и три пріостановки.

## V.

Славянофиламъ не удалось выставить такихъ талантливыхъ и блестящихъ критиковъ, какихъ мы находимъ въ западническомъ лагерѣ, но тѣмъ не менѣе нельзя отрицать ихъ немалого вліянія на ходъ развитія нашей изящной литературы. Изъ славянофильскаго лагеря пошли первые пионеры въ народъ собирать пѣсни, сказки, пословицы, изучать обряды, повѣрья, міросозерцаніе и идеалы народа. Въ то же время славянофилы первые возстали на то поверхностное, высокобѣрно-барское-

отношеніе къ народу, какое господствовало въ литературѣ нашей въ пятидеся-  
тыхъ годахъ. Такъ, К. Аксаковъ въ *Московскомъ Сборникѣ* 1847 г. вотъ что  
говоритъ по поводу повѣсти кн. Одоевскаго изъ пародной жизни *Сиротинки*:

«Всегда съ невольнымъ, горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы  
такія повѣсти, гдѣ изображается (будто-бы изображается) панъ народъ; невыносимо  
тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совер-  
шенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторпано отъ народа,  
когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ заго-  
ворить снисходительно о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненно-великой  
тайны, по всей силѣ своей самобытности предстоящемъ передъ нами, легко и весело  
съ нимъ разставшимся. Писатель не трудится надъ тѣмъ, чтобъ узнать, понять его;  
для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стоитъ только снизойти написать  
о немъ. Противно лиждѣтъ, когда онъ, для вѣрнѣйшаго изображенія, прибѣгаетъ къ  
народному будто-бы отгѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его  
слуха черезъ переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая  
поддѣлка, особенно, когда пишутъ для народа,—оскорбительна».

Не говоря уже о такихъ писателяхъ, какъ Островскій и Писемскій, начавшихъ свое  
поприще на страницахъ *«Москвитянина»*, и потому, можно сказать, вышедшихъ  
прямо изъ славянофильскаго лагеря, но и всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ.  
не исключая такихъ западниковъ, какъ Некрасовъ и Тургеневъ, не мпновали хотя бы  
косвеннаго вліянія славянофильской критики, въ видѣ стремленія въ самобытности и  
народности. Такъ, напримѣръ, конечно, славянофиламъ обязанъ былъ Тургеневъ тѣмъ  
своимъ сужденіемъ о Рудинѣ, которое онъ высказываетъ словами Лежева:

«Несчастіе Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно  
большое несчастіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ  
насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ,—двойное горе тому,  
кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитъ—нуль,  
хуже нуля; ни народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ  
физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи».

Въ то-же время въ эстетическомъ отношеніи славянофилы одни только въ тече-  
ніе пятидесятихъ годовъ строго блюли завітъ конца сороковыхъ годовъ, постоянно  
ратуя за идейность и тенденціозность въ искусствѣ, требуя, чтобы художники были, въ  
то же время, пророками, обличителями и проповѣдниками высшихъ идеаловъ своего  
времени. Это требованіе осуществляли они и на практикѣ, являясь во всѣхъ своихъ  
художественныхъ произведеніяхъ, стихотвореніяхъ, драмахъ и повѣстяхъ неизмѣнными  
пропагандистами своихъ излюбленныхъ ученій; тоже самое проповѣдывали и въ тео-  
ріи—со своею обычною прямою и рѣзкостью. Такъ, К. Аксаковъ въ одной изъ своихъ  
критическихъ статей категорически заявляетъ:

«Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо  
таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ  
изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который,  
выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни стра-  
ненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной,  
когда при всякомъ даже поэтическомъ произведеніи явился вопросъ: что этимъ  
доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдованій, трудныя эпохи постиженій и  
рѣшеній общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха».

На этомъ основаніи К. Аксаковъ въслѣдствіи, привѣтствуя *Губернскіе очерки* Щедрина, между прочимъ говорилъ:

«И въ добрый часъ! Намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣютъ общественный интересъ — и вотъ главная причина ихъ успѣха! Мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементъ въ Россіи, и то, что *это—существенный элементъ литературы нашей*. Законное негодованіе, съ которымъ представлены всѣ общественныя искаженія, слышное даже тамъ, гдѣ авторъ повидимому въ сторонѣ, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ, и успѣхъ *Губернскихъ очерковъ* есть утѣшительное явленіе».

Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи рѣчь Хомякова, сказанная имъ на засѣданіи Общества любителей русскаго слова 4-го февраля 1859 года въ отвѣтъ на вступительное слово графа Льва Толстаго, который въ то время высказывалъ взгляды на искусство, діаметрально противоположныя нынѣшнимъ, и былъ рьяный приверженецъ теоріи чистаго искусства. Считаемъ не лишнимъ привести рѣчь Хомякова цѣлкомъ.

«Общество любителей русской словесности, включивъ васъ, графъ Левъ Николаевичъ, въ число своихъ дѣйствительныхъ членовъ, съ радостью привѣтствуетъ васъ, какъ дѣятеля чисто художественной литературы. Это чисто художественное направленіе защищаете вы въ своей рѣчи, ставя его высоко надъ всѣми другими временными и случайными направленіями словесной дѣятельности. Странно было бы, еслибъ общество вамъ не сочувствовало въ этомъ; но позвольте мнѣ сказать, что правота вашего мнѣнія, вами столь искусно изложеннаго, далеко не устраняетъ правъ временнаго и случайнаго въ области слова. То, что неизмѣнно, какъ самыя коренныя законы души, то безъ сомнѣнія занимаетъ и должно занимать первое мѣсто въ мысляхъ, побужденіяхъ и слѣдовательно въ рѣчи человѣка. Оно, и оно одно, передается поколѣніемъ поколѣнію, народомъ народу, какъ дорогое послѣдіе, всегда множимое и никогда не забываемое. Но съ другой стороны есть, какъ я имѣлъ уже честь сказать, постоянное требованіе самообличенія въ природѣ человѣка и въ природѣ общества, есть минуты, и минуты важныя въ исторіи, когда это самообличеніе получаетъ особенныя, неопровержимыя права и выступаетъ въ общественномъ словѣ съ большею опредѣленностью и съ большею рѣзкостью. Случайное и временное въ историческомъ ходѣ народной жизни получаетъ значеніе всеобщаго, всечеловѣческаго уже и потому, что всѣ поколѣнія, всѣ народы могутъ понимать и понимаютъ болѣзненные стоны и болѣзненную исповѣдь одного какого-нибудь поколѣнія или народа. Права словесности, служительницы вѣчной красоты, не уничтожаютъ правъ словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся цѣлительницею общественныхъ язвъ. Есть безконечная красота въ невозмутимой правдѣ и гармоніи души, но есть истинная, высокая красота и въ покаяніи, возстапавлиющемъ правду и стремящемъ человѣка или общество къ нравственному совершенству.

«Позвольте мнѣ прибавить, что я не могу раздѣлить мнѣнія, какъ мнѣ кажется, односторонняго германской эстетики. Конечно искусство вполнѣ свободно: въ самомъ себѣ оно находитъ оправданіе и цѣль. Но свобода художества, отвлеченно понятаго, нисколько не относится къ внутренней жизни самого художника. Художникъ — не теорія, не область мысли и мысленной дѣятельности: онъ—человѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, обличившимъ или зарождающимся стремленіями. По самой впечатлительности своей организаціи, безъ которой онъ не могъ-бы быть художникомъ, онъ принимаетъ въ себя и болѣе другихъ людей всѣ болѣзненныя, такъ-же какъ и ра-

достинья ощущенія общества, въ которомъ онъ родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, онъ невольно, словомъ, складомъ мысли и воображенія, отражаетъ современное въ его смѣси правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ея гармоническое спокойствіе. Такъ сливаются двѣ области, два отдѣла литературы, о которыхъ мы говорили; такъ писатель, служитель чистаго художества, дѣлается иногда обличителемъ даже безъ сознанія, безъ собственной воли и иногда противъ воли. Васъ самихъ, графъ, позволю я привести въ примѣръ. Вы идете вѣрно и неуклонно по сознанному и опредѣленному пути; но неужели вы вполне чужды тому направленію, которое назвали обличительною словесностью? Неужели хотя-бы въ качествѣ чахоточнаго ямщика, умирающаго на печкѣ, въ толпѣ товарищей, повидимому равнодушныхъ къ его страданіямъ, вы не обличали какой-нибудь общественной болѣзни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали отъ этой мозолистой безчувственности добрыхъ, но не пробужденныхъ душъ человѣческихъ? Да, и вы были, и вы будете обличителемъ. Идите съ Богомъ по тому прекрасному пути, который вы избрали,—идите съ тѣмъ-же успѣхомъ, которымъ вы увѣнчались до сихъ поръ, или еще съ большимъ, ибо вашъ даръ не есть преходящій и скоро исчерпываемый: повѣрьте, что въ словесности вѣчное и художественное постоянно принимаетъ въ себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что всѣ разнообразныя отрасли человѣческаго слова безпрестанно сливаются въ одно гармоническое цѣлое».

Согласитесь, что болѣе горячаго и краснорѣчиваго защитника теоріи искусства для жизни положительно не было въ русской литературѣ. Понятно, что вслѣдствіе всего этого группировавшійся вокругъ *Современника* кружокъ литераторовъ во второй половинѣ пятидесятихъ годъ находилъ себя болѣе солидарнымъ съ славянофилами, чѣмъ съ петербургскими оппортунистами того времени. Такъ, въ *Современникѣ* 1857 г., въ т. LXVI, въ *Замѣткахъ о журналахъ*, которыя въ то время велъ Чернышевскій, мы читаемъ слѣдующее сужденіе о славянофилахъ:

«Читатели, зная нашъ образъ мыслей, не могутъ конечно предполагать въ насъ особеннаго расположенія къ тѣмъ примѣсамъ славянофильской системы, которыя находятъ въ противорѣчій и съ идеями, выработанными современною наукою, и съ характеромъ нашего времени. Но мы повторяемъ, что выше этихъ заблужденій есть въ славянофильствѣ элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія. И если уже должно дѣлать выборъ, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, то отрицаніе современныхъ убѣжденій, которое часто покрывается эгидой вѣрности западной цивилизаціи, причемъ подъ западною цивилизаціею понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукою, и факты наиболѣе прискорбныя въ западной дѣйствительности, не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полною властью, личною».

## VI.

Но славянофильство въ свою очередь подобно западничеству 50-хъ годовъ не могло остаться въ томъ чистомъ видѣ, въ какомъ мы видѣли его въ ученіи первыхъ славянофиловъ. Реакція пятидесятихъ годовъ не замедлила и его подвергнуть своему растлѣвающему вліянію. Изъ него выдѣлился въ эту эпоху своего рода оппортунизмъ, такой-же безхарактерный, мутный и двуличный, какъ и петербургскій, и даже, какъ увидимъ ниже, имѣющій съ нимъ точки соприкосновенія. Такова была славянофильская

фракція, носившая первоначально прозвище *почвенниковъ*, а впоследствии, въ шестидесятые годы, получившая кличку *стрижей*.

Фракція эта въ пятидесятые годы группировалась вокругъ *Москвитянина*; впоследствии же, въ шестидесятые годы, она имѣла въ своемъ распоряженіи два петербургскіе журнала: *Время*, издававшееся съ 1861 по 1863 г., и *Эпоху* — съ 1864 по 1865 годъ. Оба журнала издавались Мнх. Достоевскимъ въ сообществѣ съ братомъ его Фед. Достоевскимъ. Но всѣ эти органы почвенниковъ не имѣли никакого успѣха, подобно оппортунистскимъ журналамъ, несмотря на участіе такихъ спланныхъ талантовъ, какъ Островскій и Писемскій въ *Москвитянина* и Ф. Достоевскій въ *Времени* и *Эпоху*.

Желая плыть по теченію, что и составляетъ суть всякаго оппортунизма, почвенники отказались отъ тѣхъ послѣдовательныхъ и крайнихъ выводовъ, которые, дѣлая славянофильство непопулярнымъ, тѣмъ не менѣе составляли всю оригинальность и, такъ сказать, цвѣтъ этого ученія. Такъ, они перестали выдвигать на первый планъ византизмъ и, продолжая считать православіе существеннымъ элементомъ русской самобытности, въ то-же время не выставляли на первый планъ требованія, чтобы государство превратилось въ церковь. вмѣстѣ съ тѣмъ, они отказались отъ основного положенія славянофиловъ, именно отъ предположенія просвѣтительной роли Россіи въ будущемъ, какъ осуществительницы тѣхъ великихъ, гуманныхъ идей, какія тщетно пытается осуществить Западная Европа. вмѣсто этой грандіозной миссіи, построенной на основахъ гегелевской философіи, они, основываясь якобы на новыхъ положительныхъ данныхъ, начали проповѣдывать, что каждая народность съ самаго начала своего существованія складывается въ особенный типъ вродѣ родовъ и видовъ животнаго царства, и подобно тому, какъ курица не можетъ превратиться въ гуся, такъ и каждая народность не въ состояніи отдѣлаться отъ своихъ особенностей. Такимъ образомъ по самому существу своему ученіе почвенниковъ въ отличіе отъ славянофильскаго, предвидѣвшаго въ будущемъ всемірно-историческій прогрессъ, является фаталистическимъ-консервативнымъ. Всякая солидарность народностей отрицается. Каждая народность развиваетъ свои самобытныя начала, отказаться отъ которыхъ не въ состояніи и передать которыхъ не можетъ, и единственнымъ отношеніемъ между народами является вѣчная борьба не на-животъ, а на-смерть различныхъ враждебныхъ началъ. Такова, напримѣръ, борьба Запада Европы съ Востокомъ, германскаго міра съ славянскимъ, которая не можетъ кончиться ничѣмъ инымъ, какъ лишь полнымъ уничтоженіемъ одного изъ этихъ двухъ враждующихъ міровъ.

Въ такомъ видѣ является это мрачное ученіе въ сочиненіяхъ главныхъ представителей его: П. Я. Чаплиевского — *Россія и Европа* и Н. Страхова — *Борьба Запада съ русской литературой* и проч. Нужно только вспомнить обстоятельства того времени, когда возникло это ученіе, эпоху всеобщаго разочарованія въ социальныхъ идеяхъ сороковыхъ годовъ, мрачной реакціи, подъ гнетомъ которой и подъ флагомъ націонализма таился глубокий раздоръ, разѣдавшій всю Европу; наконецъ, слѣдуетъ принять во вниманіе только что разгоравшуюся крымскую войну, и вы поймете, какъ подъ влияніемъ и впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ идеалистическое и гу-

манное славянофильство переродилось въ человѣкоуправительское ученіе почвенниковъ.

Но, направивъ по теченію свои взгляды въ общихъ ихъ основаніяхъ, почвенники и въ различныхъ частностяхъ не замедлили поступиться смѣлыми славянофильскими крайностями въ пользу господствовавшей реакціи. Основное положеніе ихъ ученія, гласящее, что народъ не въ силахъ освободиться отъ своихъ особенностей, дало имъ возможность подъ внѣшнимъ слоемъ наносныхъ вліяній искать эти особенности и въ личности Петра со всѣми его реформами, и въ послѣдующемъ развитіи интеллигенціи, и въ литературныхъ произведеніяхъ, начиная съ Кантемира и кончая беллетристами сороковыхъ годовъ. Такимъ образомъ и волки оказались сыты, и овцы цѣлы. Здѣсь уже мы не видимъ того радикальнаго отрицанія всего петербургскаго періода и оторванности отъ народа интеллигенціи, которое такъ пугало администрацію въ славянофилахъ. Всему воздается своя доля справедливости, и выходитъ въ концѣ-концовъ нѣчто крайне туманное, темное и противорѣчивое.

Главнымъ, наиболѣе талантливымъ и виднымъ критикомъ почвенниковъ былъ конечно Ап. Григорьевъ (р. въ 1822 г., ум. въ 1864 г.), хотя онъ нѣсколько отличался отъ позднѣйшихъ своихъ собратьевъ: Н. Стрхова, Данлевскаго и пр., въ томъ отношеніи, что стоялъ несравненно ближе къ славянофиламъ, чѣмъ они. Родомъ москвичъ (отецъ его былъ чиновникомъ московскаго магистрата), копчившій курсъ московскаго университета въ 1842 году по юридическому факультету, онъ лишь до 1847 года служилъ въ Петербургѣ въ сенатѣ, а затѣмъ переселился въ Москву въ 1847 году и жилъ въ ней безвыездно до 1857 года, преподавая законовѣдѣніе въ 1-й московской гимназіи и принимая близкое участіе въ редакціи *Москвитянина*. При такихъ условіяхъ жизни онъ имѣлъ возможность близко сойтись съ кружкомъ славянофиловъ и подчиниться ихъ вліянію.

И дѣйствительно, мы видимъ во всѣхъ его критическихъ статьяхъ то присутствіе живого демократическаго духа, которымъ были преисполнены всѣ лучшіе люди сороковыхъ годовъ и котораго тщетно будете вы искать у его послѣдователей. Это былъ человѣкъ, по самой натурѣ своей, честныхъ, гуманныхъ и вполне народныхъ инстинктовъ; всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, какъ-то: самодурство, праздность, высокомеріе, пзѣженность, первность, рисовка, всяческая ложь, распушенность, пзвращенность пмѣли въ немъ закятаго врага. И напротивъ того, идеалами его были искренность, простота, непосредственность, цѣльность и полнота всякаго жпзненного, *органическаго*, какъ онъ любилъ выражаться, явленія. Погоня его за народными идеалами доходила порою до комическаго донкихотства. Никогда конечно не забудется тотъ восторгъ, который заставилъ его при появленіи на сценѣ Любима Торцова разразиться въ *Москвитянина* нескладными стихами, воспѣвавшими этого героя, который

Стоитъ съ поднятой головой,  
Бурнусъ напхивъ обветшалый,  
Съ растрепанною бородой,  
Несчастный, пьяный, исхудалый,  
Но съ русской чистою душой.

Въ то-же время, какъ извѣстно, всѣ изображаемые въ произведеніяхъ словесности типы онъ дѣлилъ на два разряда: хищные и кроткіе, причемъ въ хищныхъ типахъ онъ видѣлъ отступленіе отъ живыхъ и естественныхъ народныхъ идеаловъ, нѣчто наносное, плодъ чуждыхъ, западныхъ вліяній, между тѣмъ какъ въ кроткихъ типахъ полагалъ воплощеніе чисто-русской души, пренсиоленной любви и смиренія. Поэтому онъ не совсѣмъ долюблялъ Лермонтова за его Печорина и въ то-же время преклонялся передъ повѣстями Бѣлкина, видя въ этомъ Бѣлкинѣ олицетвореніе кроткаго типа и побѣду Пушкина надъ всѣми прежними хищными идеалами, которыми онъ увлекался подъ вліяніемъ Байрона. Впослѣдствіи эту свою погоню за кроткими идеалами Ап. Григорьевъ простеръ до такой смѣлости, что когда вышелъ въ свѣтъ *Обломовъ* Гончарова, и всѣ увлекались героинею его Ольгою, видя въ то-же время въ женитбѣ Обломова на Агаѣѣ Ѳедосѣевнѣ нравственное паденіе его, Ап. Григорьевъ одинъ только изъ всѣхъ тогдашнихъ критиковъ дерзнулъ выступить съ глубокою правдой, которая конечно въ то время показалась всѣмъ верхомъ комическаго юродства. Такъ, въ его статьѣ по поводу *Дворянскаго инъзда*, въ *Русскомъ Словѣ* 1859 года, мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки:

«Герои нашей эпохи не Штольцъ Гончарова и не его Петръ Ивановичъ Адуевъ, да и героини нашей эпохи тоже не его Ольга, изъ которой подъ старость, если она точно такова, какою вопреки многимъ грандіознымъ сторонамъ ея натуры показывать намъ авторъ, выйдетъ прегрѣшительная барыня съ вѣчною и безпѣльною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ, Богъ знаетъ, чего-то. Я почти увѣренъ, что она будетъ умирать, какъ барыня въ *Трехъ смертяхъ* Толстого. Ужъ если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и незатемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агаѣю Ѳедосѣевну, не потому, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовитъ пироги, а потому что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга».

Эта-же самая демократическая жилка подъ вліяніемъ славянофиловъ привела его къ глубокой ненависти къ петербургскимъ оппортунистамъ и поклонникамъ чистаго искусства, которыхъ онъ называлъ диллетантами и ставилъ ниже даже всякаго рода печалуемыхъ имъ теоретиковъ. Такъ, въ *Русскомъ Мирѣ* 1860 г., въ статьѣ *Послѣ „Грозы“ Островскаго*, онъ между прочимъ говоритъ:

«Нельзя въ наше время отказать въ уваженіи и сочувствіи никакой честной теоріи, т.-е. теоріи, родившейся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ, и весьма трудно оправдать чѣмъ-либо диллетантское равнодушіе къ жизни и ея вопросамъ, прикрывающее себя служеніемъ какому-то чистому искусству. Съ теоретиками можно спорить, съ диллетантами—нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идоло-жертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многого стоитъ. Диллетанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами,—голосами почвы, мѣстностей, народностей, построеній нравственныхъ, въ созданіяхъ искусства, а они себѣ тинуть вѣчную нѣсенку про блага бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать гризломъ Зайда за неприличную тревожность ея созданій и манерою фламандской школы оправдывать пустоту



и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое намъ ровно ничего не стоитъ! Нѣтъ, я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху,— въ какую угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибелинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ, столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ даже до сего дня, ни мрачный инквизиторъ Кальдеронъ не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотѣтъ придать этому званію диллетанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка, въ эпохи разъединенія сознанія многихъ лицъ, утонченнаго чувства диллетантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массы... Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Поэты суть голоса массы, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ — организмовъ во времени и народовъ — организмовъ въ пространствѣ».

Но, примыкая всѣмъ этими лучшими сторонами своего мышленія къ славянофидамъ, Ап. Григорьевъ въ то-же время значительно отступаетъ отъ нихъ, и эти-то вотъ отступленія и составляютъ самые слабые пункты его взглядовъ, они-то и повели къ развитію ученія почвенниковъ и въ то-же время приблизили Ап. Григорьева и особенно его послѣдователей къ тѣмъ самымъ петербургскимъ оппортунистамъ, которыхъ онъ такъ неавидѣлъ, называя ихъ диллетантами.

Великое несчастіе Ап. Григорьева заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ увлекся нѣмецкою метафизикой, заблудился въ ея лабиринтахъ и остался въ нихъ навсегда, причемъ всѣ его несотъемлемые прекрасные инстинкты затемнились и расплылись въ мышленіи его въ туманныя, абстрактныя и противорѣчивыя формулы. Въ этомъ отношеніи судьба зло и ехидно подсмѣялась надъ нимъ; не обидно ли было, что онъ, всю жизнь непрестанно ратававшій за самостоятельность русской мысли и русскаго искусства, всю жизнь оставался подавленнымъ тяжелымъ гнетомъ непереваареннаго нѣмецкаго гелертерства; онъ, преклонявшійся передъ простотою и ясностью русской мысли, окончательнo утратилъ это драгоценное качество русскаго ума и сдѣлался способенъ писать не иначе, какъ темными, туманными абстрактно-философскими, безкопечно-длинными періодами на нѣмецкій образецъ, въ которыхъ порою трудно добраться какого-бы то ни было смысла, и изобрѣталъ къ тому же новыя, крайне неудачныя и курьезныя термины, вроде, напримеръ, *допотопныхъ талантовъ*, возбуждая этими терминами всеобщій хохотъ въ литературѣ?

Исходя изъ философіи Шеллинга, Ап. Григорьевъ искусство ставилъ выше всѣхъ прочихъ отраслей человѣческой дѣятельности, считая его лучшимъ изъ всѣхъ земныхъ дѣлъ, давалъ ему руководящую роль въ движеніи человечества, признавалъ за нимъ одинокое право и способность сказать „новое слово“. Идеалъ души человѣческой по его ученію всегда и вездѣ остается неизмѣненъ; но въ чистомъ и общемъ видѣ онъ не можетъ ни воплотиться, ни быть познаваемъ. Въ этомъ отношеніи намъ доступна только *цвѣтная* истина, какъ выражался Ап. Григорьевъ; ея выраженіе есть художество: отвлеченная, голо-логическая мысль всегда поспѣваетъ и судить жизнь уже, одностороннѣе. Только художествомъ могутъ быть вѣрно изображены, только созерцаніемъ и чувствомъ вполне поняты проявленія одного и того-же идеала въ различныхъ формахъ историческихъ эпохъ и народностей.

Такимъ образомъ искусство по самой сущности — *народно*. Творчество заклю-

чается главнымъ образомъ въ созданіи *типовъ*, т.-е. образовъ, представляющихъ опредѣленный, органически-цѣльный складъ душевной жизни, носящій на себѣ печать известной народности. Истинная критика должна опредѣлять, разяснять это типическое народное выраженіе идеаловъ въ искусствѣ. Связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, усматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, она углубляется въ самый жизненный вопросъ, и такую критику Ап. Григорьевъ называлъ *органическою* въ отличіе отъ *исторической* критики Вѣлинскаго, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе идеаловъ, которыми управляется жизнь, и отъ *эстетической*, совершенно отвлеченной отъ жизни.

Такой крайне идеалистическій взглядъ на искусство, видящій въ немъ высшую человѣческую дѣятельность, придающій ему руководящую роль въ видѣ выраженія народныхъ идеаловъ, казалось-бы совершенно согласовался съ теоріей искусства для жизни и совершенно шелъ въ разрѣзъ съ теоретиками чистаго искусства. Тѣмъ не менѣе, какъ это ни странно, онъ-то именно и привелъ почвенниковъ ко взглядамъ, во многихъ отношеніяхъ соприкасающимся со взглядами петербургскихъ оппортунистовъ-западниковъ, приверженцевъ чистаго искусства.

Требованіе, чтобы искусство олицетворяло идеалы жизни въ ихъ типическихъ народныхъ проявленіяхъ, прежде всего прямо отстраняетъ художниковъ отъ увлеченія какими-либо злобами дня; они должны проникать въ глубь народной жизни, отыскивая въ ней существенныя явленія, а не увлекаться преходящими модными вѣяніями времени. Но этого мало: воплощая народные идеалы, искусство должно примирять насъ съ жизнью. Поэтому высшее призваніе его заключается во всестороннемъ, объективно-безпристрастномъ и любовномъ изображеніи жизни. До такой высоты поэзія именно и достигаетъ въ художникахъ-геніяхъ, каковы Шекспиръ, Гете, Пушкинъ. Всякое же одностороннее изображеніе жизни, исключительно положительныхъ или отрицательныхъ ея элементовъ, есть уже отступленіе отъ истинной нормы искусства, уродство, фальшь. Ап. Григорьевъ не успѣлъ еще дойти до крайнихъ выводовъ этой теоріи и всякими философскими ухищреніями старался оправдать и пессимизмъ Байрона, и хищничество Лермонтова. Но позднѣйшіе почвенники, и особенно Н. Страховъ, дошли до полного отрицанія въ области искусства прони, сатиры и какого-бы то ни было отрицательнаго взгляда на жизнь и людей.

Такъ, въ своей статьѣ *Русская Литература* (Русск. Вѣстн. 1875 г., № 6), Н. Страховъ прямо говоритъ:

«Оно (т.-е. искусство) можетъ употреблять иронию, можетъ достигать въ этомъ пріемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на ироніи оно не можетъ. Гоголь, задумавъ въ *Мертвыхъ душахъ* изобразить полную картину русской жизни, конечно не имѣлъ никогда и въ мысляхъ ограничиться одною ироніей; его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части *Мертвыхъ душъ*) постепенно смирнить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серьезнымъ разсказомъ. Гоголь былъ человѣкъ восторженный, пламенно, кровно любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностью, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни. Гоголь, какъ извѣстно не смирившись съ задачею, за которую взялся съ такимъ воодушевленіемъ и увѣренностью. Онъ погибъ, мучительно усиливаясь жить другой тонъ и создать новыя лица...

«Но прямое отношеніе къ предметамъ,—говоритъ далѣе П. Страховъ,—которое началось съ ироніи Гоголя, не только однако-же не исчезло въ нашей литературѣ, а напротивъ продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалась отъ предмета; все больше и больше усиливая свое выраженіе, писатели стали безпрерывно употребить иронію гиперболическую, въ которой уже нѣтъ заботы о реальномъ изображеніи, а напротивъ вся потѣха заключается въ *искаженіи* реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается наконецъ до того, что переходитъ въ чистое *изумленіе*, то-есть въ рѣчи совершенно безсмысленныя и самую свою безсодержательностью выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. Въмѣсто ироніи явилось такъ сказать нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говоритъ. Такой пріемъ представляютъ произведенія Щедріна и Некрасова. Ихъ пріемы пришлись очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ которые вообще не любятъ прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ середины между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественною мѣрой свойства предметовъ, имъ кажется скучною и даже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присыпка перцу, что-нибудь язвительное или надрывающее. Поэтому они сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно иронизируютъ и сыплютъ циническими выраженіями безъ малѣйшаго повода».

Но въ предыдущей главѣ мы видѣли, что петербургскіе западники-оппортунисты съ своихъ эстетически-эпикурейскихъ точекъ зрѣнія пришли къ тѣмъ-же требованіямъ отъ искусства успокоивающаго и примиряющаго дѣйствія и въ то-же время безпристрастнаго и полного изображенія жизни, представляя образцомъ такой поэзіи того-же Пушкина. Послѣ этого вполнѣ понятно, что почвенники могли очень легко мириться съ петербургскими оппортунистами и появляться въ однихъ органахъ. Такъ, напримѣръ Ап. Григорьевъ помѣщалъ свои статьи не въ однихъ только славянофильскихъ и почвенныхъ органахъ, а также въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библиотекѣ для Чтенія*, *Русскомъ Словѣ*, гдѣ онъ былъ въ числѣ трехъ первоначальныхъ редакторовъ этого журнала; то-же слѣдуетъ сказать и о Страховѣ.

## VII.

Совершенно въ сторонѣ отъ почвенниковъ стоитъ Орестъ Оедоровичъ Миллеръ, этотъ наиболѣе вѣрный послѣдователь славянофильскихъ первоучителей. Ор. О. Миллеръ родился 4 авг. 1834 г. у чиновника таможеннаго вѣдомства Фридриха Миллера, проживавшаго въ Галсальѣ. Рано потерявъ родителей, Миллеръ былъ воспитанъ въ домѣ дяди Ивана Петровича Миллера и тетки Екатерины Николаевны, съ которою Миллеръ прожилъ до самой своей смерти въ 1884 году. Воспитаніе получилъ онъ блестящее, много путешествовалъ съ родными и по Россіи, и заграницей. Къ сожалѣнію воспитаніе это было совершенно изолировано отъ той струи жизни, по какой шла вся молодежь того времени, носило идеалистически-отвлеченный характеръ и къ тому-же въ немъ слишкомъ ужъ много было религіознаго элемента, въ видѣ безсѣдъ благочестивой телушки, странниковъ и богомолковъ, посѣщавшихъ часто домъ Миллера, впечатлѣній католическихъ процессій, которыя поражали воображеніе ребенка во время странствія его съ родными по юго-западнымъ городамъ, особенно

чается главнымъ образомъ въ созданіи *типовъ*, т.-е. образовъ, представляющихъ опредѣленный, органически-цѣльный складъ душевной жизни, носящій на себѣ печать пзвѣстной народности. Истинная критика должна опредѣлять, разяснять это типическое народное выраженіе идеаловъ въ искусствѣ. Связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, усматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, она углубляется въ самый жизненный вопросъ, и такую критику Ап. Григорьевъ называлъ *органическою* въ отличіе отъ *исторической* критики Вѣлинскаго, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе идеаловъ, которыми управляется жизнь, и отъ *эстетической*, совершенно отвлеченной отъ жизни.

Такой крайне идеалистическій взглядъ на искусство, видящій въ немъ высшую человеческую дѣятельность, придающій ему руководящую роль въ видѣ выраженія народныхъ идеаловъ, казалось-бы совершенно согласовался съ теоріей искусства для жизни и совершенно шелъ въ разрѣзъ съ теоретиками чистаго искусства. Тѣмъ не менѣе, какъ это ни странно, онъ-то именно и привелъ почвенниковъ ко взглядамъ, во многихъ отношеніяхъ соприкасающимся со взглядами петербургскихъ оппортунистовъ-западниковъ, приверженцевъ чистаго искусства.

Требованіе, чтобы искусство олицетворяло идеалы жизни въ ихъ типическихъ народныхъ проявленіяхъ, прежде всего прямо отстраняетъ художниковъ отъ увлеченія какими-либо злобами дня; они должны проникать въ глубь народной жизни, отыскивая въ ней существенныя явленія, а не увлекаться преходящими модными вѣяніями времени. Но этого мало: воплощая народные идеалы, искусство должно примирять насъ съ жизнью. Поэтому высшее призваніе его заключается во всестороннемъ, объективно-безпристрастномъ и любовномъ изображеніи жизни. До такой высоты поэзія именно и достигаетъ въ художникахъ-генияхъ, каковы Шекспиръ, Гете, Пушкинъ. Всякое же одностороннее изображеніе жизни, исключительно положительныхъ или отрицательныхъ ея элементовъ, есть уже отступленіе отъ истинной нормы искусства, уродство, фальшь. Ап. Григорьевъ не успѣлъ еще дойти до крайнихъ выводовъ этой теоріи и всякими философскими ухищреніями старался оправдать и пессимизмъ Байрона, и хищничество Лермонтова. Но позднѣйшіе почвенники, и особенно Н. Страховъ, дошли до полного отрицанія въ области искусства прониі, сатиры и какого-бы то ни было отрицательнаго взгляда на жизнь и людей.

Такъ, въ своей статьѣ *Русская Литература* (*Русск. Вѣстн.* 1875 г., № 6), Н. Страховъ прямо говоритъ:

«Оно (т.-е. искусство) можетъ употреблять иронию, можетъ достигать въ этомъ пріемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на ироніи оно не можетъ. Гоголь, задумавъ въ *Мертвыхъ душахъ* изобразить полную картину русской жизни, конечно не имѣлъ никогда и въ мысляхъ ограничиться одною ироніей; его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части *Мертвыхъ душъ*) постепенно смирнить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серьезнымъ разсказомъ. Гоголь былъ человекъ восторженный, пламенно, кровно любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностью, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни. Гоголь, какъ извѣстно не справился съ задачею, за которую взялся съ такимъ воодушевленіемъ и увѣренностью. Онъ погибъ, мучительно усиливаясь взять другой тонъ и создать новыя лица...

«Но прямое отношеніе къ предметамъ,— говоритъ далѣе П. Страховъ,— которое началось съ ироніи Гоголя, не только однако-же не исчезло въ нашей литературѣ, а напротивъ продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалилась отъ предмета; все болѣе и болѣе усиливая свое выраженіе, писатели стали непрерывно употребить иронію гиперболическую, въ которой уже нѣтъ заботы о реальномъ изображеніи, а напротивъ вся потѣха заключается въ *искаженіи* реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается наконецъ до того, что переходитъ въ чистое *шутименіе*, то-есть въ рѣчи совершенно безсмысленныя и самую свою безсодержательностью выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. Въмѣсто ироніи явилось такъ сказать нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говоритъ. Такой пріемъ представляютъ произведенія Щедріна и Некрасова. Ихъ пріемы пришлись очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ которые вообще не любятъ прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ середины между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественною мѣрой свойства предметовъ, имъ кажется скучною и даже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присыпка перцу, что-нибудь язвительное или надрывающее. Поэтому они сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно иронизируютъ и сыплютъ циническими выраженіями безъ малѣйшаго повода».

Но въ предыдущей главѣ мы видѣли, что петербургскіе западники-оппортунисты съ своихъ эстетически-эпикурейскихъ точекъ зрѣнія пришли къ тѣмъ-же требованіямъ отъ искусства успокоивающаго и примиряющаго дѣйствія и въ то-же время безпристрастнаго и полного изображенія жизни, представляя образцомъ такой поэтѣ того-же Пушкина. Послѣ этого вполне понятно, что почвенники могли очень легко мириться съ петербургскими оппортунистами и появляться въ однихъ органахъ. Такъ, напримѣръ Ап. Григорьевъ помѣщалъ свои статьи не въ однихъ только славянофильскихъ и почвенныхъ органахъ, а также въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библиотекѣ для Чтенія*, *Русскомъ Словѣ*, гдѣ онъ былъ въ числѣ трехъ первоначальныхъ редакторовъ этого журнала; то-же слѣдуетъ сказать и о Страховѣ.

## VII.

Совершенно въ сторонѣ отъ почвенниковъ стоитъ Орестъ Оедоровичъ Миллеръ, тотъ наиболѣе вѣрный послѣдователь славянофильскихъ первоучителей. Ор. О. Миллеръ родился 4 авг. 1834 г. у чиновника таможеннаго вѣдомства Фридриха Миллера, проживавшаго въ Гапсаль. Рано потерявъ родителей, Миллеръ былъ воспитанъ въ домѣ дяди Ивана Петровича Миллера и тетки Екатерины Николаевны, съ которою Миллеръ прожилъ до самой ея смерти въ 1884 году. Воспитаніе получилъ онъ блестящее, много путешествовалъ съ родными и по Россіи, и заграницей. Къ сожалѣнію воспитаніе это было совершенно изолировано отъ той струп жизни, по какой плыла вся молодежь того времени, носило идеалистически-отвлеченный характеръ и къ тому-же въ немъ слишкомъ ужъ много было религіознаго элемента, въ видѣ бесѣдъ благочестивой телушки, странниковъ и богомолковъ, посѣщавшихъ часто домъ Миллера, впечатлѣній католическихъ процессій, которыя поражали воображеніе ребенка во время странствія его съ родными по юго-западнымъ городамъ, особенно

въ Вильнѣ, наконецъ вліяніи бывавшихъ въ домѣ его родныхъ—вильнскаго митрополита, бывшаго тогда архимандритомъ, Платона и архіепископа литовскаго Іосифа. Особенно привязался мальчикъ къ Платону и подъ обаяніемъ этой привязанности развилось у него желаніе приобщиться къ православію, которое исповѣдовала обожаемая имъ „матушка“, какъ называлъ онъ свою тетку, чтѣ и произошло въ 1848 г., когда Миллеру было пятнадцать лѣтъ.

Въ 1851 году Миллеръ поступилъ въ с.-петербургскій университетъ на филологическій факультетъ. Это было самое глухое время въ русской жизни, и развитіе юноши въ университетскіе годы продолжало носить столь-же односторонній характеръ. „Мы не знали ни кутежа, ни какихъ-либо романтическихъ приключеній,—вспоминалъ впоследствии о своихъ университетскихъ годахъ Миллеръ,—насъ въ университетѣ занимали только наука, литература и искусство, понимаемая по жалуй слишкомъ отвлеченно, помимо непосредственной связи съ исторіей“...

Носясь такимъ образомъ постоянно въ сферѣ духовно-христіанскихъ идеаловъ. Миллеръ весьма естественно изъ всѣхъ русскихъ писателей наибольшую приверженность питалъ къ Жуковскому, написалъ даже стихи на его смерть и посвятилъ ему патристическую драму *Подвигъ матери*, которая въ 1854 году была поставлена имъ на сценѣ Михайловскаго театра. Въ 1852 году Миллеръ удостоился полученія золотой медали за сочиненіе о комедіяхъ Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и Шаховского, а въ 1855 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, сталъ готовиться по предложенію проф. Никитенко къ магистерскому экзамену, выдержавши который, онъ выступилъ въ свѣтъ въ 1858 году съ своей магистерской диссертациію *О нравственной стихіи въ поэзіи*.

Диссертация эта, разсматривавшая памятники поэзіи всѣхъ народовъ исключительно съ духовно-нравственной стороны, насколько они соотвѣтствуютъ христіанскимъ идеаламъ любви, кротости, смиренія и возвышенія духа надъ грѣшною плотью, появилась со своимъ ультра-религіознымъ духомъ какъ разъ въ такой моментъ, когда вся литература находилась въ вопиющемъ настроеніи, когда въ проповѣди самоотверженія и кротости готовы были видѣть нѣчто вроде оправданія крѣпостного права, а въ смиреніи — молчалинство, и понятно, что всѣ критики встали на-дыбы противъ злополучной диссертациі; авторъ былъ причисленъ къ самымъ отсталымъ ретроgrадамъ такимъ властителемъ думъ того времени, какъ Добролюбовъ въ *Современникѣ*, а вслѣдъ затѣмъ не менѣе сурово отнесся къ Миллеру въ *Атенѣ* Котляревскій.

Впечатленіе, произведенное этими рецензіями, было такъ сильно, что Миллеръ сдѣлался положительно опальнымъ человекомъ. Двери всѣхъ редакцій были для него закрыты, и на него точно легла печать литературнаго отверженія. Не только отвѣтъ Котляревскому, но и никакая другая статья его въ теченіе трехъ лѣтъ не принималась ни одною редакціею. Даже при личныхъ встрѣчахъ съ нѣкоторыми представителями тогдашняго литературнаго міра, отъ него просто отворачивались. Онъ до того началъ бояться своего имени, что, когда по поводу столѣтняго юбилея Миллера ему пришлось прочесть пять публичныхъ лекцій въ залѣ второй гимназіи, на входныхъ билетахъ было просто обозначено: „лекціи о Миллерѣ“, безъ объяв-

лепія пменн лекгора. И даже впослѣдствіи, приступивъ къ чтенію лекцій объ изученіи народнои словесности въ петербургскомъ университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента, въ ноябрѣ 1863 г., Миллеръ все еще опасался враждебной демонстраціи со стороны студентовъ.

Но всѣ эти опасенія были совершенно напрасны. Лекціи о Шплерѣ прошли мало того что благополучно; но публка встрѣтила оратора благосклонно, и онъ имѣлъ успѣхъ. Точно также все обошлось благополучно и при началѣ университетскаго курса, и между Миллеромъ и студентами сразу установились добрыя отношенія, которыя, укрѣпляясь съ каждымъ годомъ, сдѣлали его любимцемъ молодежи и самымъ популярнымъ профессоромъ въ университетѣ, благодаря его высокимъ нравственнымъ качествамъ, цѣльности его душевнаго склада, непоколебимой и непріятной вѣрности идеаламъ, гуманности въ отношеніи къ своимъ молодымъ слушателямъ, которымъ онъ никогда не отказывалъ ни въ добромъ совѣтѣ, ни въ поспѣшной помощи.

Къ тому-же, къ началу университетскаго курса Миллеръ значительно отрѣшился уже отъ своихъ ультра-мистическихъ взглядовъ на литературу; онъ успѣлъ къ этому времени познакомиться съ русскимъ народнымъ эпосомъ и съ сочиненіями славянофиловъ, въ ученіи которыхъ онъ увлекся самыми свѣтлыми ихъ сторонами, — именно народно-демократическими идеалами. Онъ пошелъ даже далѣе славянофиловъ, совершенно послѣдовательно рѣшивъ, что если становиться на почву отрицанія всякихъ чуждыхъ и наносныхъ вліяній и требовать вполне самостоятельнаго развитія, исходящаго изъ глубины народнаго духа, то слѣдуетъ отрицать благотворность и византийскаго вліянія. Нетерпимость, доходящая до фанатизма, мертвенность, предпочтеніе „буквы“ „духу“ закона, аскетизмъ, схоластика и цезаре-папизмъ, — все это по его словамъ тѣ теченія, которыя римско-языческая, разлагающаяся Византія, съ ея претензіей на міро-владычество, съ ея проповѣдью о подчиненіи божьяго Кесарю, обильною струею вливала въ свѣжіе мѣхи русской жизни, заражая ихъ миазмами и наполняя началами, чуждыми славянскои народности.

«Изъ Византіи, говоритъ Миллеръ, все болѣе и болѣе проникало къ намъ тотъ крайній аскетизмъ, который со своимъ рѣшительнымъ безучастіемъ въ текущей жизни вполне объяснялся въ ней тѣмъ, что именно лучшіе люди могли совершенно отчлвваться въ возможности совладать съ общественными недугами. Перенесенный въ нашу скорѣе непочатую, чѣмъ испорченную почву, на которой была стало быть вполне возможна борьба со зломъ, — аскетизмъ, не имѣя жизненныхъ основаній, дошелъ однако-же подражательно до такого крайняго развитія личности въ религіозной сферѣ, до такой, можно сказать, эгонистически-утилитарной заботливости собственно о своей душѣ, что это ужъ прямо подавляющимъ образомъ дѣйствовало на славянскую общинность и скорѣе совпадало съ западно-европейскимъ заслуживашемъ леновъ на небѣ».

Главными трудами Миллера считаются его докторская диссертация, появившаяся въ 1870 году, подъ заглавіемъ: *Сравнительно-критическія наблюденія надъ словеснымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. Илья Муромецъ и богатырство кievское*, и вышедшая въ 1874 г. первымъ изданіемъ книга *Русскіе писатели послѣ Гоюля*, содержащая въ себѣ десять публичныхъ лекцій, читанныхъ Милле-

ромъ въ ноябрѣ 1874 года въ с.-петербургскомъ собраніи художниковъ, съ цѣлью усиленія средствъ общества вспомошествованія студентамъ с.-петербургскаго университета, въ которомъ онъ состоялъ тогда товарищемъ предсѣдателя.

Въ книгѣ о былинахъ Мпллеръ сосредоточилъ около Илья Муромца пзслѣдованіе всѣхъ вообще кievскихъ былинъ. По массѣ собраннаго матеріала и сдѣланныхъ выводовъ ничего еще не появлялось у насъ равнаго по объему книгѣ Мпллера, которая по праву можетъ считаться единственнымъ до сихъ поръ полнымъ пзслѣдованіемъ русскаго былеваго эпоса. То обстоятельство, что, выйдя пзъ народа, Муромецъ рисуется въ самомъ идеальномъ свѣтѣ, дало Мпллеру основаніе назвать нашъ эпосъ *простонароднымъ* и отмѣтить какъ достояніе преимущественно простого народа. Отсюда вытекло у него положеніе о необходимости обновленія пзъ народа.

«Самъ собою, говоритъ онъ въ послѣдней главѣ, работою собственнаго ума народъ выработалъ ученіе о взаимной помощи и братской любви и, храня его въ своихъ сказкахъ подъ прозвищемъ *люности*, внесетъ его и въ литературу, и въ науку историческую, когда наконецъ наступитъ его пора». И далѣе: «новымъ, здоровымъ и трезвымъ, изъ жизни выходящимъ идеализмомъ литература наша проникается лишь тогда, когда въ ней проявятся связи съ народомъ, т. е. когда она изучитъ его глубоко, какъ онъ есть, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, а онъ получитъ возможность вносить въ нее свѣжіе соки, выдвигая изъ собственныхъ своихъ нѣдръ писателей, которые могли-бы развить далѣе, перелить въ новыя, современнѣйшія, просвященныя формы тѣ задатки глубокихъ и самобытныхъ пдей, какія таитъ онъ въ своемъ безыскусственномъ эпосѣ».

Эти самыя пдеи лежатъ въ основѣ и второго его труда *Русскіе писатели послѣ Гоголя*. Все развитіе русской литературы со временъ Петра онъ полагаетъ исключительно въ стремленіи освободиться отъ подчиненія западнымъ вліяніямъ и встать на самобытную народную почву, и въ степени этого освобожденія полагаетъ относительное достоинство произведеній русской словесности. Такъ напримѣръ, сравнивая Пушкина съ Лермонтовымъ, Мпллеръ замѣчаетъ:

«У Пушкина борьба своего собственнаго съ навѣяннымъ чужимъ успѣла завершиться и національные элементы его поэзіи приняли широкое міровое значеніе; у Лермонтова-же, въ силу его преждевременной смерти, борьба осталась незавершившеюся. До конца жизни мы видимъ у Лермонтова два перекрещивающіеся направленія: съ одной стороны онъ сильно подвергся вліянію Байрона, которое выразилось у него гораздо глубже, рѣшительнѣе, властнѣе, чѣмъ у Пушкина; но съ другой стороны, съ этимъ противнымъ боролось нѣчто другое — самобытное. Ошибочно мнѣніе тѣхъ, которые, не допуская въ Лермонтовѣ самобытности, говорятъ, что смерть постигла его во-время. Мы же, принимая во вниманіе силу его таланта, смѣемъ предположить, что самобытныя стороны взяли-бы верхъ надъ чужимъ».

Вотъ съ этой точки зрѣнія народной самобытности и разсматривалъ Мпллеръ всѣхъ русскихъ писателей. Лекціи въ с.-петербургскомъ университетѣ онъ читалъ до конца 1887 г., когда былъ уволенъ отъ занимаемой имъ каедры, съ назначеніемъ пенсіи въ 2,500 р. Въ 1889 г. 1-го іюня онъ умеръ скоропостижно.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I—Одичаніе общества и забвеніе всѣхъ пдѣй сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятихъ. Статья Пирогова: *Вопросы жизни*, какъ образецъ этого одичанія. II—Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три различныя теченія въ шестидесятые годы и два періода этой эпохи. III—Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Бѣлинскаго. Теорія В. Майкова. IV—Біографическія данныя о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго. V—Диссертация его: *Объ отношеніи искусства къ дѣйствительности*.

### I.

Не болѣе семи лѣтъ продолжалась реакція пятидесятихъ годовъ, а тѣмъ не менѣе общество успѣло въ этотъ короткій періодъ времени совершенно одичать. Какъ-то не вѣрилось, что-бы это было то самое общество, которое такъ недавно еще увлекалось критическими статьями Бѣлинскаго, лекціями Грановскаго и философскими трактатами Искандера. Сороковые годы казались чѣмъ-то такимъ уже отдаленнымъ, что приходилось воскрешать ихъ въ памяти людей, такъ недавно еще переживавшихъ эти годы, путемъ историческихъ статей, какъ какую-нибудь отдаленнѣйшую эпоху нашей исторіи.

Такое по крайней мѣрѣ значеніе имѣли статьи Н. Г. Чернышевскаго, печатавшіяся въ *Современникѣ* въ 1855 и 56-мъ годахъ, подъ заглавіемъ: *Очерки гоголевскаго періода*. Желая познакомить публику съ Бѣлинскимъ и съ его значеніемъ въ русской литературѣ и въ то-же время не осмѣливаясь назвать его по имени, а именую глухо авторомъ статей о Пушкинѣ, „критикомъ гоголевскаго періода“, Чернышевскій дѣлаетъ массу выписокъ изъ Бѣлинскаго, словно имѣя дѣло не съ знаменитымъ критикомъ, умершимъ всего 7 лѣтъ тому назадъ, а съ мало извѣстнымъ писателемъ, жившимъ по крайней мѣрѣ за сто лѣтъ до того времени.

Изъ всего движенія сороковыхъ годовъ сохранились въ обществѣ одни лишь смутныя и неопредѣленныя понятія о гуманности, гражданской честности и неподкупности; и въ то время, какъ старшее поколѣніе, допуская въ своей жизни массу компромиссовъ, держалось утонченнаго эстетическаго эпикуреизма, младшее ударилось въ суровый, аскетическій идеализмъ мистическаго, средневѣковаго характера.

До какой степени общество отставало въ то время отъ движенія европейской мысли, скальпинскій.

мы можемъ судить по статьѣ Н. И. Пирогова: *Вопросы жизни*, напечатанной въ *Морскомъ Сборникѣ*, въ 23-мъ т. 1856 года, и произведшей такую всеобщую и шумную сенсацию, что всѣ журналы наперерывъ прославляли эту статью, почти цѣлкомъ ее перепечатавали и ни одного голоса не послышалось, который рѣшился-бы обсудить ее критически и безпристрастно. Н. И. Пироговъ послѣ этой статьи сдѣлался во всѣхъ глазахъ однимъ изъ представителей новаго движенія, изъ хирурга превратился въ педагога и былъ сдѣланъ попечителемъ сначала одесскаго, а потомъ кievскаго округовъ.

Правда, сенсация, какую произвела статья Пирогова, обусловливалась тѣмъ, что она была напечатана въ официальномъ органѣ и представлялась какъ-бы новою правительственною программю воспитанія, шедшею совершенно въ разрѣзъ съ прежнею. Но восхищались ею не за одну только эту новую программу, а въ каждой строкѣ видѣли бездну премудрости, нѣчто крайне передовое и выходящее изъ ряду вонъ. И вѣдь что-же мы находимъ въ этой статьѣ?

Правда, въ основѣ ея лежала мысль, которая въ то время носилась въ воздухѣ, именно, что воспитаніе должно заключаться не въ узко-утилитарныхъ цѣляхъ, не въ томъ, чтобы готовить чиновниковъ, моряковъ, докторовъ, невѣсть, а чтобы, прежде всего, приготовить *человѣка*. Но подъ этимъ много-знаменательнымъ словомъ скрывалась въ статьѣ Пирогова идея вполне средне-вѣковая, аскетическая. Изъ дальнѣйшаго развитія статьи оказывалось, что узко-утилитарный характеръ воспитанія зависѣлъ отъ того, что въ обществѣ преобладало стремленіе къ земному счастью, и оно въ этомъ отношеніи все еще находилось на степенн язычества.

«Вспомнимъ еще разъ, говорилъ Пироговъ въ своей статьѣ, что мы—христіане, и слѣдовательно главною основою нашего воспитанія служить и должно служить Откровеніе. Всѣ мы съ дѣтства не напрасно-же ознакомились съ мыслью о загробной жизни, всѣ мы не напрасно-же должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему. Выпкая-же въ существующее направленіе нашего общества, мы не находимъ въ его дѣйствіяхъ ни малѣйшаго слѣда этой мысли. Во всѣхъ обнаруживаніяхъ по крайней мѣрѣ жизни практической и даже отчасти и умственной, мы находимъ рѣзко выраженное, матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служить идея о счастіи и наслажденіяхъ въ жизни земной».

Чтобы вывести общество наше изъ того опаснаго состоянія, какимъ представляется стремленіе къ земному счастью, существуетъ по мнѣнію Пирогова, единственный путь „приготовить насъ воспитаніемъ къ *внутренней* борьбѣ, непобѣдимой и роковой, доставивъ намъ всѣ способы и всю энергію выдерживать неравный бой“.

«Каковъ долженъ быть юный атлетъ, приготовляющійся къ этой роковой борьбѣ?—спрашиваешь Пироговъ и затѣмъ отвѣчаешь: первое условіе: онъ долженъ имѣть отъ природы хотя какое-нибудь притязаніе на умъ и чувство. Пользуйтесь этими благими дарами Творца, но не дѣлайте одаренныхъ безсмысленными поклонниками мертвой буквы, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета, сусудрыми приверженцами грубаго матеріализма, восторженными расточителями чувства и воли и холодными адептами разума».

«Все, что есть высокаго, прекраснаго на свѣтѣ, замѣчаешь Пироговъ въ другомъ мѣстѣ—искусство, вдохновеніе, наука,—не должно слишкомъ сродниться со вседневною жизнью; оно утратитъ свою первобытную чистоту, вырождается и запылится прахомъ».

Заботясь о томъ, чтобы юноши не сдѣлалсь суетными припрженцами грубаго матеріализма, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета и холодными адептами разума, Пироговъ вмѣстѣ съ тѣмъ оберегаетъ и женщинъ отъ ложныхъ шаговъ на гибельномъ пути эмансипаціи:

«Воспитаніе—говорить онъ—наряжая, выставляетъ ее (т. е. женщину) на-показъ для зѣвакъ, обставляетъ кулисами и заставляетъ ее дѣйствовать на пружинахъ, такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдаетъ эти пружины, а черезъ щели истертыхъ и изорванныхъ кулисъ она начинаетъ высматривать то, что отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено-ли, что ей тогда приходитъ на мысль пробовать самой, какъ ходить люди. Эмансипація—вотъ эта мысль. Паденіе—вотъ первый шагъ. Пусть многое останется ей неизвѣстнымъ. Она должна гордиться тѣмъ, что многого не знаетъ. Не всякій—врачъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язвы общества... Если женскіе педанты, толкуя объ эмансипаціи, разумѣютъ одно воспитаніе женщины,—онѣ правы. Если-же они разумѣютъ эмансипацію общественныхъ правъ женщины, то они сами не знаютъ, чего хотятъ».

Мы нарочно сдѣлали всѣ эти выдержки изъ статьи Пирогова, чтобы показать, какъ въ половинѣ пятидесятихъ годовъ мыслилъ одинъ изъ самыхъ передовыхъ вождей общества, человѣкъ, пользовавшійся всеобщимъ поклоненіемъ за необыкновенную чуткость и свѣтлость своихъ взглядовъ. Чего-же можно было требовать въ то время отъ темной и полубразованной массы?

## II.

Нѣтъ ничего послѣ этого мудренаго, что общество было застигнуто эпохою реформъ совершенно врасплохъ и не будучи ни мало подготовлено къ ней. Никакихъ опредѣленныхъ и сознательныхъ стремленій, никакой выработанной программы дѣйствій не было ни у кого и въ поминѣ. Это было чисто стихійное возбужденіе съ одной стороны пессимистическаго характера, съ другой—напротивъ того, поражавшее своимъ восторженнымъ оптимизмомъ. Въ то время, какъ пессимизмъ былъ слѣдствіемъ неудачъ крымской кампаніи и сознанія общей расшатанности и разстройства всей государственной системы, оптимизмъ возбуждался ежедневно не только предвкушеніемъ великихъ историческихъ событій, которыя готовились переживать, вродѣ освобожденія крестьянъ, земской и судебной реформъ, или широкаго открытія университетскихъ дверей для людей всѣхъ сословій, но и въ виду такихъ мелочей, какъ дозволеніе курить на улицахъ, упрощеніе или полное уничтоженіе разнаго рода униформъ, допущеніе ношенія бородъ и т. п. Каждый день приносилъ слухи о новыхъ реформахъ и преобразованіяхъ, иногда самые фантастическіе и пелѣные. То начинали толковать объ уничтоженіи чиновъ и орденовъ; на другой день переносили столпу изъ Петербурга въ Москву, на третій—готовились къ измѣненію стараго стіля на новый и т. п. Всѣ эти слухи и толки сильно электризовали толпу; и старъ, и младъ, убѣжденные сѣдинами генералы паравитъ со студентами наперерывъ либеральничали другъ передъ другомъ, пропикались гуманностью и неудержимымъ стремленіемъ къ прогрессу. Каждый день устраивалсь какіе-нибудь многочисленные сборища, то въ видѣ обсужденія преподаванія въ воскресныхъ школахъ или вообще педагогическихъ собраній, то студенческихъ сходокъ въ стѣнахъ университета, то ученыхъ юридическихъ диспутовъ вродѣ па-

примѣръ, пренія Костомарова съ Погодинымъ о происхожденіи Руси, и рѣдкое такое собраніе обходилось безъ какихъ-нибудь шумныхъ манифестацій и протестовъ.

Оживленіе это не замедлило отразиться и въ литературѣ. Она въ свою очередь исполнилась животрепещущаго содержанія. Журналы, какъ старые, такъ и вновь возникшіе, снова первымъ условіемъ своего существованія начали считать твердое и неуклонное проведеніе опредѣленнаго направленія. Правда, они всѣ непрерывно либерализовались, увлекаемые общимъ духомъ времени; въ равной степени были переполнены обвиненіями взяточничества и всякаго рода административныхъ злоупотребленій и публицистическими статьями, смѣло обсуждавшими предстоявшія реформы и поднимавшими новые вопросы; тѣмъ не менѣе каждый изъ крупныхъ органовъ проводилъ теперь какіе-нибудь излюбленные тенденціи. Такъ, вновь возникшій въ 1856 году *Русскій Вѣстникъ* подъ редакцію Каткова и Леоптьева съ самаго начала своего существованія и до 1862 года, былъ приверженцемъ аристократическаго представительства въ англійскомъ духѣ; *Современникъ* проповѣдывалъ демократическія идеи; *Отечественныя Записки* подъ редакцію Краевского и Дудышкина, равно какъ и угасавшая *Библиотека для Чтенія*, — продолжали проводить бюрократо-оппортунистическіе принципы. Славянофилы выпускали свои органы въ видѣ *Русской Бесѣды* и газеты *День*; наконецъ нѣсколько позже возникли органы оппортунистовъ-почвенниковъ: *Время* и *Эпоха*.

Что касается до газетъ, то онѣ значительно позже, лишь послѣ польскаго возстанія, съ 1863 года, въ свою очередь сдѣлались органами различныхъ направленій; до этого-же времени пользовались наибольшою популярностью лишь тѣ газеты, которыя давали болѣе всякаго рода разнообразныхъ свѣдѣній, каковы были: *С.-Петербургскія Вѣдомости*, *Сѣверная Пчела*, *Московскія Вѣдомости*, *Сынъ Отечества*.

Но одними политическими вопросами, въ виду совершившихся великихъ реформъ, далеко не исчерпывается движеніе шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь встрѣтился и сошлись въ одинъ потокъ три различныхъ движенія, чѣмъ и обуславливается необыкновенная бурность и смутность этой эпохи.

Такъ, рядомъ съ движеніемъ политическимъ и съ проникновеніемъ народными демократическими идеалами, мы видимъ философское движеніе въ видѣ воскресенія идей сороковыхъ годовъ и окончательнаго перехода мысли передового общества на реальную почву. Наконецъ въ то-же время при быстромъ распространѣніи образованности въ среднихъ и бѣдныхъ слояхъ общества началось перемѣщеніе центра тяжести общественнаго движенія изъ дворянскихъ слоевъ общества въ разночинныя, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ появленіе новыхъ идеаловъ, соответственныхъ этой средѣ, полную переработку всѣхъ этическихъ вопросовъ объ отношеніи личности къ семьѣ и къ обществу.

Эти три теченія такъ тѣсно и неразрывно переплетались другъ съ другомъ и такъ влияли одно на другое, что присутствіе ихъ мы видимъ во всѣхъ событіяхъ и фактахъ того времени. Такъ, философское движеніе припесло съ собою увлеченіе естественными науками и создало огромную переводную литературу, причемъ общество наше впервые ознакомилось съ твореніями такихъ великихъ умовъ Европы, какъ Маколей, Бокль, Спенсеръ, Дарвинъ, Льюисъ, Меленоттъ и пр., и пр., и это вело за собою освобожденіе

мысли отъ всѣхъ традиціонныхъ авторитетовъ, возбуждало критическое отношеніе ко всему, что до того времени казалось непркосновеннымъ и неподлежащимъ ни малѣйшему сомнѣнію, — а тѣмъ самымъ содѣйствовало къ свободной и раціональной переработкѣ всѣхъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ. Въ то-же время увлеченіе вопросами о народномъ благѣ, ведя за собою изученіе народной жизни и народныхъ идеаловъ, придавало демократическій характеръ не только стремленіямъ къ общественнымъ преобразованіямъ, но и выработкѣ личныхъ нравственныхъ идеаловъ.

Но какъ ни тѣсно было сопркосновеніе этихъ трехъ теченій и взаимное вліяніе ихъ другъ на друга, тѣмъ не менѣе, приглядываясь ближе и пристальнѣе къ жизни того времени, вы всегда будете въ состояніи отличить ихъ одно отъ другого. Такъ, среди массы общественныхъ и литературныхъ дѣятелей того времени вамъ ничего не стоитъ усмотрѣть, что одни, оставаясь метафизиками, наиболѣе увлекались политическими вопросами своего времени, другіе ставили на первый планъ вопросы философскіе, увлекались естествознаніемъ и славили наступленіе господства реализма; наконецъ, третьи болѣе всего увлекались вопросами этическими и моральными.

Но болѣе всего при этомъ заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что вся эпоха такъ называемыхъ шестидесятыхъ годовъ, занимающая собою десятилѣтіе, начиная съ 1855 года и по 1866-й — рѣзко распадается на два періода, гранью между которыми представляется освобожденіе крестьянъ. Такъ, мы видимъ, что до 1861 года движеніе имѣетъ характеръ преимущественно политическій. Все общество является увлеченнымъ вопросами общественнаго характера, во главѣ которыхъ стоитъ, конечно, освобожденіе крестьянъ. Въ литературныхъ сферахъ въ этотъ періодъ замѣчается рѣдкое единодушіе и солидарность. Демократы *Современника*, аристократы *Русскаго Вѣстника*, оппортунисты *Отечественныхъ Записокъ*, хотя и вступаютъ нерѣдко въ споры по разнымъ животрепещущимъ вопросамъ жизни вроде напримѣръ спора *Современника* съ *Экономическимъ Указателемъ* и *Русскимъ Вѣстникомъ* объ общинѣ; хотя сатирическіе блы въ видѣ *Искры* или *Свистка* въ *Современникъ* хлещутъ направо и налево, тѣмъ не менѣе вы не видите еще въ литературныхъ сферахъ того антагонизма и непримиримой розни, какіе возникли, начиная съ 1862 года. Совѣтъ той эпохи представляетъ эпоха шестидесятыхъ годовъ во второмъ своемъ періодѣ. Несмотря на то, что реформы продолжаютъ (земская, судебная), на первый планъ выступаютъ теперь вопросы философскіе и моральные, начинается выработка новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ. Въ обществѣ въ то-же время съ каждымъ годомъ развивается все болѣе и болѣе разнъ и антагонизмъ. Дѣлятся не только ужъ на партіи, враждебныя въ политическомъ отношеніи, причемъ *Русскій Вѣстникъ* и *Московскія Вѣдомости* рѣшительно выступаютъ на реакціонный путь, но вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ враждовать по философскимъ и моральнымъ вопросамъ.

Эти два періода шестидесятыхъ годовъ имѣли каждый своего представителя въ журналистикѣ и критикѣ. Вокругъ этихъ представителей группировались литературныя силы, и самые періоды носятъ ихъ названіе. Такъ, первый періодъ называютъ Добролюбовскимъ; второй — писаревскимъ. И дѣйствительно: Добролюбовъ и Писаревъ являются какъ-бы фокусами, въ которыхъ наиболѣе ярко сосредоточивается духъ и

характеръ обояхъ періодовъ. На этихъ двухъ представителяхъ критики шестидесятихъ годовъ мы съ особеннымъ вниманіемъ остановимся.

### III.

Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ дѣятельности Добролюбова, считаемъ не лишнимъ сдѣлать бѣглый обзоръ тѣхъ измѣненій критико-эстетическихъ взглядовъ и теорій, которыя совершались со смерти Бѣлинскаго и до начала дѣятельности Добролюбова.

Дѣло въ томъ, что какъ ни силенъ былъ разрывъ съ лучшими традиціями сороковыхъ годовъ въ началѣ пятидесятихъ годовъ, какъ ни велико было всеобщее забвеніе этихъ традицій при полномъ господствѣ оппортунистической критики съ ея возвращеніемъ къ теоріи чистаго искусства,—все-таки не прекращалась нѣкоторая маленькая живая струйка, журчащая втихомолку; оставались люди, которые не только ничего не забыли, но напротивъ того: имъ удалось значительно измѣнить эстетическіе взгляды и теоріи, господствовавшіе въ концѣ сороковыхъ годовъ, пересадить ихъ на почву положительнаго, реальнаго мышленія и такимъ образомъ подготовить дѣятельность Добролюбова.

Такая переработка эстетическихъ воззрѣній началась уже при жизни Бѣлинскаго, въ 1846 году, и первымъ новаторомъ является Валеріанъ Николаевичъ Майковъ, братъ извѣстнаго поэта Ап. Ник. Майкова, учившійся въ С.-Петербургскомъ университетѣ и окончившій курсъ со степенью кандидата юридическихъ наукъ въ 1842 году.

Мы видѣли, что уже Бѣлинскій установилъ въ критикѣ принципъ „искусства для жизни“, но этотъ принципъ въ статьяхъ великаго критика—словно впѣлъ въ воздухъ, такъ какъ въ эстетическихъ воззрѣніяхъ своихъ Бѣлинскій продолжалъ держаться старыхъ метафизическихъ теорій, не замѣчая, что онѣ по самому существу своему находились въ полномъ разладѣ съ новымъ принципомъ.

Въ самомъ дѣлѣ: сообразно этимъ теоріямъ, искусство имѣетъ совершенно особенную, свою самостоятельную область, вполне истерпявающую все его значеніе. Область эта—*прекрасное*. Какъ-бы мы затѣмъ ни опредѣляли, что такое *прекрасное*, сообразно различнымъ философскимъ системамъ, и каково отношеніе творчества поэта къ этому прекрасному, находится-ли прекрасное въ душѣ поэта и поэтъ силою творчества облакаетъ прекрасное въ матеріальные образы, идеализируя дѣйствительность, или-же прекрасное лежитъ въ самой дѣйствительности, заключается въ полномъ осуществленіи идеи въ чувственныхъ образахъ, и творчество поэта ограничивается лишь непосредственнымъ воззрѣніемъ, раскрытіемъ прекраснаго въ природѣ и жизни,—во всякомъ случаѣ утилитарный принципъ является въ полномъ противорѣчій со всѣми этими опредѣленіями. Съ ихъ точки зрѣнія вполне естественно кажется, будто онъ выводитъ искусство изъ его родной стихіи и навязываетъ ему совершенно чуждую роль, насилуетъ его въ самомъ его проявленіи, такъ какъ процессъ творчества, по самому существу непосредственный и непронзвольный, стремится обратить въ пѣчто разсудочно-предназначенное.

Бѣлинскій не обращалъ вниманія на это полное противорѣчіе старыхъ эстетическихъ теорій и утилитарнаго принципа; не замѣчалъ онъ и того, что эти старыя теоріи, вполне соотвѣтствовавшія прежнимъ эстетическимъ требованіямъ отъ искусства въ эпоху романтическихъ школъ, совершенно расходились съ новыми требованіями реальнаго искусства. Область искусства до такой степени успѣла къ тому времени раздвинуться, что требовались непмѣвѣрныя діалектическія натяжки, чтобы подвести подъ излюбленную идею прекраснаго многое, что производилось современнымъ искусствомъ, не говоря уже о томъ, что самое понятіе о прекрасномъ совершенно измѣнилось на почвѣ реальнаго мышленія.

Въ самомъ дѣлѣ, разъ рушилось прежнее метафизическое воззрѣніе, что все существующее есть ничто иное какъ діалектическое развитіе безусловной идеи, вмѣстѣ съ тѣмъ должно было рушиться и воззрѣніе на *прекрасное* какъ на соотвѣтствіе идеи и формы, но тогда что-же такое *прекрасное*? А съ другой стороны—исчерпывается-ли этимъ *прекраснымъ* область искусства? Какъ подвести подъ идею прекраснаго изображенія вродѣ Чичикова или Ноздрева? А если *прекрасное* далеко не исчерпываетъ всего, что творитъ искусство, то въ чемъ-же заключается его назначеніе, его роль? Отражать, списывать дѣйствительность во всемъ ея разнообразіи, добромъ и зломъ, прекрасномъ и безобразномъ? Но зачѣмъ?

Таковы вопросы, представившіеся всѣмъ умамъ, разставшимся съ прежними метафизическими теоріями и вступившими на реальную почву. Въ отвѣтъ на эти вопросы мы и видимъ въ литературѣ нашей первыя попытки пересадить эстетическія понятія на реальную почву и вмѣстѣ съ тѣмъ согласовать утилитарный принципъ искусства съ эстетическими воззрѣніями, вывести его прямо изъ нихъ. Валеріану Майкову принадлежитъ первая такая попытка. Суть его эстетическихъ воззрѣній, полнѣе всего выраженныхъ въ статьяхъ его о стихотвореніяхъ Кольцова (*От. Зап.* 1846 г., т. 49) и о романахъ В. Скотта (*От. Зап.* 1847 г., т. 51), заключается въ слѣдующемъ:

Когда мы наблюдаемъ окружающую насъ дѣйствительность, все, что мы видимъ, мы сравниваемъ съ собою, и все то, въ чемъ мы не усматриваемъ ни малѣйшаго сходства съ собою, что намъ поэтому совершенно ново, чуждо и непонятно, все это для насъ *занимательно*, мы стремимся *изучить* это невѣдомое, усвоить его, найти въ немъ общее съ нами; а разъ этого мы достигаемъ, предметъ открывается намъ съ другой своей стороны—*симпатичной*, т. е. все то, что мы находимъ въ немъ общаго съ нами, возбуждаетъ въ насъ сочувствіе.

«Поэтому, говоритъ Майковъ: каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины: къ первой относимъ мы все то, что нисколько не напоминаетъ намъ о собственной нашей природѣ—эта сторона любопытная, подстрекающая одну любознательность; ко второй—все то, что въ немъ есть общаго съ нами, человекомъ; это—сторона *симпатическая*, возбуждающая въ насъ *любовь*, сердечное кровное сочувствіе. Количественное различіе впечатлѣній, произведенныхъ на насъ тою и другою, заключается въ томъ, что любопытное влѣдетъ нами только въ силу своей новосты и дѣлается безразличнымъ тотчасъ-же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его, какъ угодно) вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если мы только сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать».

Изъ этого отличія замѣтательнаго отъ симпатичнаго простекаетъ отличіе науки отъ искусства. Все, что не возбуждаетъ въ насъ никакихъ эмоцій, а только одно любопытство, входитъ въ область науки; все-же симпатичное, въ чемъ мы находимъ частичку себя, все, что такъ или иначе относится къ намъ, что насъ волнуетъ, радуетъ, приводитъ въ негодованіе или пугаетъ, все это входитъ въ область искусства. Такимъ образомъ, „художественная мысль, по словамъ Майкова, зарождается въ формѣ любви или негодованія, и тайна творчества—въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатичной стороны. Иными словами, художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)“.

Такова эстетическая теорія В. Майкова. Первое ея достоинство заключается въ томъ, что она стоитъ вполне на реальной почвѣ и въ то-же время значительно расширяетъ сферу искусства согласно новымъ требованіямъ: сообразно ей сфера искусства заключается не въ одномъ только прекрасномъ, а въ изображеніи всего, что какъ-бы то ни было, относится къ намъ и возбуждаетъ въ насъ какія-бы то ни было эмоціи. Въ то-же время, и принципъ утилитаризма не только не стоитъ въ противорѣчій съ этою теоріею, а прямо вытекаетъ изъ нея. Искусство сообразно теоріи Майкова является не безцѣльнымъ списываніемъ дѣйствительности, а возведеніемъ ея въ міръ человѣческихъ интересовъ. Интересы-же бываютъ различные: узко-эгоистичные, грубо-матеріальныя, низменные, и высокіе общечеловѣческіе, альтруистическіе. Спору не можетъ быть, что съ какими-бы интересами ни имѣло дѣло искусство, оно остается искусствомъ, но неоспорно и то, что тѣмъ оно выше, достойнѣе и благотворнѣе, чѣмъ выше тѣ интересы, которымъ оно служитъ.

Къ сожалѣнію В. Майковъ не успѣлъ развить свою замѣчательную теорію вполне обстоятельно и всесторонне. Онъ умеръ раньше Бѣлинскаго, лѣтомъ въ 1847 году, купаясь въ прудѣ въ одной изъ окрестностей Петербурга. Но мысли, брошенныя имъ въ немногихъ оставшихся послѣ него статьяхъ, не затерялись во мглѣ послѣдовавшей реакціи и не замедлили принести свои плоды.

Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ дальнѣйшимъ попыткамъ перенести эстетическія воззрѣнія на реальную почву, припомнимъ еще одинъ эпизодъ, относящійся къ концу сороковыхъ годовъ и имѣющій, безъ сомнѣнія, тѣсное сродство съ этими попытками. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1847 года, въ 53 т., была помѣщена статья, посвященная разбору перевода В. Модестова курса эстетики Гегеля. Статья эта, неизвѣстно кому принадлежащая, написана очень тяжелымъ философскимъ языкомъ и отличается крайнею темнотою и сбивчивостію изложенія, простирающеюся до того, что во многихъ мѣстахъ вы не разберете даже, говоритъ-ли авторъ отъ себя или онъ приводитъ слова какого-либо нѣмецкаго эстетика, гдѣ кончается цитата и начиняетъ свои собственныя сужденія. Между прочимъ, вы находите въ статьѣ слѣдующее мѣсто, весьма замѣчательное по отношенію къ той новой эстетической теоріи, о которой будетъ рѣчь ниже:

«Точка зрѣнія умозрительной эстетики,—но преимуществу практическая: искусство существуетъ только потому, что въ природѣ нѣтъ истинно-прекраснаго. Кантодѣй-



ская и медичейская Венеры должны быть идеалами женской красоты; ландшафтная живопись должна очистить ландшафтъ отъ всего случайнаго. Между тѣмъ, искусство далеко не превосходитъ природу: вездѣ уступаетъ оно ей въ свѣжести и полнотѣ жизни. Въ этомъ-то смыслѣ, говоритъ Гете, всѣ формы искусства имѣютъ въ себѣ нѣчто ложное, даже самыя вѣрныя, самыя прочувствованныя. Пусть спроситъ себя каждый, не обращался-ли невольно его глаза въ трибунѣ во Флоренціи отъ Венеры медичейской на живыя, одушевленные формы прекрасныхъ женщинъ, разсматривавшихъ статую, на ихъ прелести — застѣнчивую улыбку; или, если это кажется слишкомъ грубымъ для нѣкоторыхъ набожныхъ душъ, спрашиваю, не лучше-ли во сто разъ, не гармоничнѣе-ли всякой прекраснѣйшей картины отзывается въ нашей душѣ Неаполитанскій заливъ въ своей очаровательной дѣйствительности? Но цѣль искусства и не заключается совсѣмъ въ такомъ неровномъ соперничествѣ. Оно есть языкъ, ни что болѣе, какъ языкъ, чувственное выраженіе нашихъ чувственныхъ мыслей, ощущеній и созерцаній <sup>1)</sup>. И только по той причинѣ, что это индивидуально-чувственное содержаніе не можетъ быть выражено никакимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ природы и жизни, только потому и говорить имъ искусство».

Въ 1847 году, когда появилась эта статья, на второмъ курсѣ филологическаго факультета с.-петербургскаго университета учился будущій видный дѣятель русской литературы, Николай Гавриловичъ Чернышевскій. Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, когда началъ онъ сотрудничать въ разныхъ журналахъ, и могла-ли статья эта принадлежать ему. Во всякомъ случаѣ, насъ поражаетъ представленная нами выдержка изъ статьи тѣмъ, что мысли, выраженные въ ней, во многомъ сходятся съ идеями, приведенными въ извѣстной диссертациі Н. Г. Чернышевскаго: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*. Диссертация эта составляетъ важный шагъ въ развитіи эстетическихъ идей въ разсматриваемый нами періодъ. Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ ней, сообщимъ краткія свѣдѣнія о жизни Н. Г. Чернышевскаго.

#### IV.

12

Николай Гавриловичъ Чернышевскій родился въ Саратовѣ 19-го іюня 1828 г. Отецъ его, Гавріилъ Ивановичъ, занимавшій сначала должность инспектора въ мѣстномъ духовномъ училищѣ, затѣмъ былъ священникомъ, еще съ конца тридцатыхъ годовъ избраннмъ въ санъ благочиннаго, а съ 1856 года занялъ мѣсто кафедральнаго протоіерея. Отлично зная языки греческій, латинскій и французскій, онъ обладалъ обширнымъ умомъ и добросовѣстнымъ отношеніемъ къ каждому дѣлу; честностью и сердечностью онъ снискалъ всеобщую любовь не только прихожанъ, но и всѣхъ кому доводилось сталкиваться съ нимъ въ жизни.

Какъ единственнаго сына, ребенка холли, нѣжили и осыпали всевозможными ласками и поощреніями. Въ благочестивой, мирной и скромной семьѣ онъ жилъ счастливо и беззаботно въ условіяхъ самыхъ благопріятныхъ для умственнаго развитія. Сверхъ отца и матери, болѣзненной женщины, Чернышевскій особенно привязанъ былъ къ своей двоюродной сестрѣ Любови Николаевнѣ. Страстная люб-

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

тельница чтенія, она читала и для себя, и для него, рассказывала ему, играла съ нимъ; онъ слушалъ ее съ увлеченіемъ и засыпалъ вопросами. Ей-же былъ обязанъ Чернышевскій и обученію грамотѣ; увлекла его Любовь Николаевна и музыкой: восприимчивый мальчкѣ выучился отъ нея играть на фортепіано.

Выучившись читать, онъ весь углубился въ чтеніе, употребляя на него всѣ свободные отъ ученья и отъ игръ съ товарищами часы. У отца его, какъ любителя чтенія, была значительная по тому времени библіотека, къ которой съ почтеніемъ относился даже Н. Ив. Костомаровъ, въ бытность свою въ Саратовѣ. Кромѣ того Чернышевскій пользовался книгами изъ библіотеки сосѣдей-помѣщиковъ, съ дѣтьми которыхъ былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ. Вообще, онъ бралъ книги, гдѣ только можно, и читалъ ихъ съ жадностью, нерѣдко выписывая изъ нихъ въ тетрадки, которыхъ у него было много. До какой степени въ немъ съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства была развита страсть къ чтенію, можно заключить изъ того, что онъ не разставался съ книгою и продолжалъ читать, сидя за обѣдомъ или ужинамъ, и эту привычку сохранилъ до смерти: впоследствии во время обѣда онъ обыкновенно читалъ газеты и журналы.

Считая излишнимъ отдавать сына въ духовное училище, Гавріилъ Ивановичъ самъ приготовилъ его къ поступленію въ семинарію, причемъ особенно налегалъ на древніе языки, такъ что Чернышевскій, еще до поступленія въ семинарію, могъ переводить нѣкоторыхъ классиковъ. Въ 1842 г. Чернышевскій былъ принятъ въ саратовскую семинарію, въ классъ реторики, на пятнадцатомъ году отъ рожденія. Въ это время, по словамъ товарища его А. Ив. Розанова, онъ былъ нѣсколько болѣе средняго роста, съ необыкновенно нѣжнымъ, женственнымъ лицомъ; волосы его были свѣтло-желтые, но волнистые, мягкіе и красивые; голосъ—тихій, рѣчь пріятная, вообще это былъ юноша, какъ самая скромная, симпатичная и невольно располагающая къ себѣ дѣвушка. Къ несчастью, онъ былъ крайне близорукъ; книгу или тетрадь держалъ всегда у самыхъ глазъ, а писалъ наклонившись къ самому столу.

Будучи бойкимъ, рѣзвымъ и разговорчивымъ со своими сверстниками и близкими знакомыми, Чернышевскій отличался особенной застѣнчивостью въ чужихъ домахъ, особенно мало ему знакомыхъ; въ гости его брали противъ желанія, и онъ обыкновенно сидѣлъ приюкомъ, храня глубокое молчаніе.

Поступивши въ семинарію, Чернышевскій согласно уставу, по которому ученикъ обязательно долженъ изучить одинъ живой языкъ, изъявилъ желаніе изучать два языка: французскій и татарскій. Къ изученію послѣдняго мальчкѣ былъ увлеченъ извѣстнымъ оріенталистомъ, гуманизмомъ и археологомъ Г. С. Саблуковымъ, который преподавалъ исторію въ саратовской семинаріи и былъ вхожъ въ домъ Гавріила Иззловича. Сверхъ того Чернышевскій занимался арабскимъ и еврейскимъ языкомъ, знаніе которыхъ было необязательно для учениковъ семинаріи.

Въ семинаріи Чернышевскій былъ крайне застѣпчивый, тихій и смѣрный, ни съ кѣмъ не рѣшаясь заговорить первымъ. Товарищи прозвали его дворянчкомъ, такъ какъ онъ и одѣтъ былъ лучше другихъ, и былъ сынъ извѣстнаго протоіерея, котораго уважало не только семинарское начальство, но даже архіерей и учителя считали за честь бывать у него въ домѣ. Кромѣ того Чернышевскій очень часто ѣздилъ въ

семинарію на лошади, что въ то время въ Саратовѣ считалось аристократизмомъ; поэтому чуть-ли не цѣлый годъ чуждался его и не рѣшался вступать съ нимъ въ разговоръ. Изъ всей семинаріи онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ только съ однимъ ученикомъ, М. Левицкимъ, который, какъ лучший ученикъ, сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Нравился Чернышевскому споры и рассказы Левицкаго. Но дружба эта ограничивалась стѣнами семинаріи, и какъ Чернышевскій ни просилъ его къ себѣ въ гости, Левицкій, бѣдный, неотесанный бурсакъ, не рѣшался идти къ нему, отговариваясь тѣмъ, что и одежда у него плохая, и онъ не умѣетъ обращаться въ обществѣ, въ особенности въ домѣ такого высокопоставленнаго лица, какимъ былъ отецъ Чернышевскаго. Вообще, товарищи неохотно посѣщали Чернышевскаго, и если нѣкоторые изрѣдка рѣшались зайти къ нему, долго не задерживались. Между тѣмъ Чернышевскій хотѣлъ сблизиться съ лучшими учениками и быть съ ними въ дружественныхъ отношеніяхъ. Жизнь семинаристовъ того времени была груба; но Чернышевскій не обращалъ на это никакого вниманія: для него дороги были бесѣды съ умными товарищами. Желая докончить о чемъ-нибудь разговоръ, Чернышевскій заходилъ иногда съ товарищами, любившими выпить, въ кабачокъ, гдѣ велъ съ ними дружескую бесѣду, отказываясь отъ водки, которою угощали его товарищи. Не найдя себѣ друга между семинаристами, Чернышевскій, будучи на 4 года старше своего двоюроднаго брата А. Н. Пышина, сдѣлался его другомъ, руководителемъ и воспитателемъ, передавалъ ему всѣ свои обширныя знанія.

Но это все было впоследствии, въ старшихъ классахъ семинаріи, въ младшихъ-же классахъ, не уступая товарищамъ въ физической силѣ, которую Чернышевскій успѣлъ развить съ дѣтства, игралъ съ дѣтьми по цѣлымъ часамъ на берегу Волги, онъ однако-же мало участвовалъ въ играхъ семинаристовъ, вѣчно чѣмъ-нибудь занимался и даже во время перемѣнъ почти никогда не видѣли его гуляющимъ по двору или корридору. Передъ нимъ постоянно на столѣ лежало нѣсколько тетрадокъ. Однѣ были записки преподавателей, въ другія онъ писалъ какія-нибудь замѣтки или дѣлалъ выписки изъ книгъ, такъ напримѣръ выписывалъ изъ лексикона Кривисберга цѣлыя фразы изъ Овидія и другихъ писателей. Когда-же товарищи обращались къ нему за разъясненіемъ какой-нибудь фразы, онъ бросалъ свои занятія и принимался переводить и объяснять грамматическія правила, весь погружаясь въ свои объясненія, притомъ прочитывалъ иногда наизусть цѣлыя главы Лактанція или другихъ классиковъ.

„Научныя свѣдѣнія его, по словамъ товарища Розанова, были необыкновенно велики: онъ зналъ языки латинскій, греческій, еврейскій, французскій, нѣмецкій, польскій и англійскій. Начитанность была необыкновенная. Между нашими преподавателями былъ пѣкто Г. С. Воскресенскій... Это былъ человѣкъ жестокой до зѣвства, но какъ преподаватель, лучший въ семинаріи... Заговорить бывало о чемъ-нибудь и спросить: не читалъ-ли кто-нибудь объ этомъ?— всѣ или молчатъ, или отвѣтятъ, что не читали. „Ну, а вы, Чернышевскій, читали?“—спросить онъ. Въ то время какъ Воскресенскій говорилъ и спрашивалъ, Чернышевскій по обыкновенію писалъ что-нибудь. Во время класса при наставникахъ онъ всегда дѣлалъ выписки изъ ле-

кспиковать, — это было его обыкновенное и непремѣнное занятіе. Пишетъ Чернышевскій, учитель спроситъ его и не повторяетъ вопроса; тотъ встаетъ и начинаетъ: „германскіи писатель NN говоритъ объ этомъ... французскій... англійскій“... Служаешь было и не можешь понять, откуда человекъ набралъ столько свѣдѣній? И такъ всегда: коль скоро о чемъ-нибудь не знаетъ никто, то и берутся за Чернышевскаго, а тотъ знаетъ ужъ непремѣнно. Многосторонностью знаній и обширностью свѣдѣній по св. Писанію, всеобщей гражданской исторіи, логикѣ, психологіи, литературѣ, исторіи, философіи и пр. онъ поражалъ всѣхъ насъ. Наставники наши считали удовольствіемъ поговорить съ нимъ, какъ съ человекомъ вполне уже развитымъ“.

Вообще Чернышевскій рѣзко выделялся изъ среды учениковъ и познаніями, и поведеніемъ. Въ 1847 г. онъ аттестованъ былъ такъ: „способностей отличныхъ, прилежанія ревностнаго, успѣховъ отличныхъ; поведенія весьма скромнаго“. Учителя были отъ него въ восторгѣ, особенно учитель словесности, который входилъ съ рапортомъ въ семинарское правленіе, донося ему о сочиненіяхъ Чернышевскаго, какъ о замѣчательныхъ и образцовыхъ.

Чернышевскій мечталъ изъ семинаріи поѣхать въ духовную академію и кончить тамъ курсъ со степенью бакалавра, но по совѣту одного родственника рѣшился поступить въ университетъ и въ ноябрѣ 1844 г. вышелъ изъ семинаріи. Инспекторъ семинаріи, Тихонъ, встрѣтивши мать его у кого-то въ гостяхъ, спросилъ ее:

— Что вы вздумали взять вашего сына изъ семинаріи? Развѣ вы не расположены къ духовному знанію?

На это Евгенія Егоровна отвѣчала:

— Самъ знаете, какъ унижено духовное званіе: мы съ мужемъ и порѣшили отдать его въ университетъ.

— Напрасно вы лишаете духовенство такого свѣтила, сказалъ ей инспекторъ.

Два года готовился Чернышевскій дома ко вступительному экзамену въ университетъ, упражняясь въ это время въ нѣмецкомъ языкѣ, при содѣйствіи нѣкоего колониста Б. Х. Грефа, который тоже готовился въ университетъ, а Чернышевскій въ свою очередь помогалъ ему въ изученіи латинскаго языка.

Мать Чернышевскаго сама отвезла нѣжно любимаго сына въ Петербургъ въ 1846 г., устроила его на квартирѣ, и Чернышевскій выдержалъ вступительный экзаменъ, получивъ изъ всѣхъ предметовъ по полному баллу и лишь по географіи тройку.

Втеченіи университетскаго курса Чернышевскій серьезно занимался древними языками, общою словесностью и изученіемъ славянскихъ нарѣчій, слушая лекціи Из. Ив. Срезневскаго, который приблизилъ его къ себѣ, очень любилъ и подъ его руководствомъ Чернышевскій составилъ словарь къ Ипатіевской лѣтописи, напечатанный въ прибавленіяхъ къ „Изв. II отд. акад. наукъ“ 1853 г.

Въ 1850 году Чернышевскій былъ выпущенъ 11-мъ кандидатомъ и оставленъ для занятій при университетѣ. Но въ 1851 году онъ уѣхалъ въ Саратовъ, куда тянула его любовь къ родителямъ. Тамъ онъ занялъ мѣсто учителя въ гимназій. Жизнь въ продолженіи всего пребыванія своего въ Саратовѣ онъ велъ крайне замкнутую, имѣя

сдвинувшимися друзьями отца съ матерью да кипки. Впрочемъ къ этому времени относится сближеніе его съ Н. И. Костомаровымъ, который какъ разъ въ это время проживалъ въ Саратовѣ.

Схоропивъ мать и затѣмъ жепившись, Чернышевскій въ январѣ 1854 года былъ перемѣщенъ въ Петербургъ во 2-й корпусъ, на должность учителя 3-го рода. Но педагогическая дѣятельность его продолжалась не долго, не болѣе трехъ, пяти лѣтъ, а затѣмъ Чернышевскій весь предался литературѣ. Литературныя связи онъ успѣлъ уже завязать на университетской скамьѣ, сблизившись черезъ Срезневскаго съ Ирип. Ив. Введенскимъ и посѣщая его среды. Но припималъ-ли онъ участіе въ журналисткѣ и писалъ-ли что-нибудь для печати въ университетскіе годы, мы не знаемъ. Въ 1853 году начали появляться его библиографическія статейки сначала въ *Отечественныхъ Запискахъ*, потомъ въ *Современникъ*; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ занялся и переводами романовъ. Такъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1854 года былъ помѣщенъ въ его переводѣ романъ Чарльза Ливера, *Семейство Доддсовъ*.

Работая безъ усталы, Чернышевскій въ то-же время готовилъ вышеупомянутую нами магистерскую диссертацию, которая хотя и была написана и одобрена совѣтомъ университета, но не была утверждена министромъ народнаго просвѣщенія, А. С. Норовымъ, была конфискована, и такимъ образомъ Чернышевскій, уже сдавшій магистерскій экзаменъ (1855 г.) и очень удачно защищавшій диссертацию на диспутѣ, не былъ удостоенъ степени магистра.

Вскорѣ послѣ этого эпизода съ диссертацией Чернышевскій сблизился съ редакціей *Современника* и сдѣлался постояннымъ и псключительнымъ сотрудникомъ этого журнала. Одно время, въ 1858 году, онъ былъ редакторомъ *Военнаго Сборника*, но это редакторство продолжалось недолго.

Дѣятельность его въ *Современникъ* распадается на два періода. Первый простирается до 1858 года. Въ это время Чернышевскій завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ журнала, велъ журнальныя замѣтки и сверхъ массы критическихъ статей по текущей литературѣ помѣстилъ на страницахъ *Современника* два крупные трактата: *Очерки Гоголевскаго періода* и *Дессинъ и его время*. Первый трактатъ посвященъ, какъ пзвѣстно, характеристикѣ Бѣлинскаго. Но и во второмъ трактатѣ, опредѣляя значеніе знаменитаго германскаго критика, Чернышевскій сравниваетъ съ нимъ аналогическое значеніе для насъ все того-же Бѣлинскаго.

Со вступленіемъ въ *Современникъ* Добролюбова, Чернышевскій предоставилъ ему вести критику въ журналѣ и самъ принялся за публицистику. Такъ, въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ *Современника* за 1858 годъ были напечатаны статьи: *Критика философскихъ предубѣждений противъ общиннаго владѣнія* и *О необходимости держаться умѣренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа*, вызвавшія оживленную полемику современныхъ экономистовъ. Въ 1859 г. Чернышевскій напечаталъ статью: *Экономическая дѣятельность и государство* и По поводу „Очерковъ Англии и Франціи“ Чичерина. Слѣдующій 1860 годъ ознаменовался обширною статьею: *Капиталъ и Трудъ* и въ томъ же году онъ приступилъ

къ печатанію перевода *Основаній политической экономіи* Милля съ пространными примѣчаніями, снискавшими ему громкую общеевропейскую извѣстность. Рядъ политико-экономическихъ статей и очерковъ, вызванныхъ текущими финансовыми и экономическими реформами и мѣропріятіями, печатался въ *Современникъ* также въ 1861 и 1862 годахъ.

Вмѣстѣ съ этимъ Чернышевскій съ самаго начала своего участія въ *Современникъ* удѣлялъ время для историческихъ переводовъ, компиляцій и оригинальныхъ статей. Такъ, въ 1856—57 годахъ въ *Современникъ* былъ напечатанъ рядъ статей подъ заглавіемъ: *Разсказы изъ исторіи Англій* (по Маколею). Съ начала шестидесятыхъ годовъ подъ редакціею Чернышевскаго началъ выходить переводъ *Всесмірной исторіи* Ф. Шлоссера, издававшійся Серпо-Соловьевичемъ. Кромѣ того перу Чернышевскаго принадлежитъ нѣсколько историко-публицистическихъ очерковъ и разсужденій: *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X* (1858 г.), *Кавеньякъ* (1858 г.), *Іюльская монархія* (60 г.), *Антропологическій принципъ въ философіи* (60 г.), *О причинахъ паденія Рима* (61 г.) и др.

Съ 1864 года литературная дѣятельность Чернышевскаго, какъ извѣстно, надолго прерывается. Лишь по возвращеніи на родину въ 1883 году онъ получилъ возможность снова заняться литературой и началъ третій періодъ своей дѣятельности. Понятно, онъ уже не могъ занять прежняго мѣста въ литературѣ и отдался почти всецѣло переводу на русскій языкъ *Всеобщей исторіи* Вебера. Изъ этого обширнаго сочиненія въ 15 томовъ, по 1000 страницъ въ каждомъ томѣ, Чернышевскій успѣлъ перевести, а Солдатенковъ напечатать—11 томовъ; двѣ трети 12-го тома также переведены Чернышевскимъ, причемъ къ послѣднимъ томамъ Чернышевскій въ формѣ введеній прикладывалъ оригинальные очерки по исторіи, а во 2-мъ изданіи 1-го тома помѣстилъ: *Очеркъ научныхъ понятій о возникновеніи обстановки человѣческой жизни и о ходѣ развитія человечества въ до-историческія времена*.

При такомъ гигантскомъ трудѣ Чернышевскій нашелъ еще время помѣстить въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* обширную научную статью подъ заглавіемъ: *Характеръ человѣческаго знанія* и, сверхъ того, напечаталъ въ *Русской мысли*: *Гимнъ Двѣмъ неба*, стихотвореніе подъ псевдонимомъ „Андреевъ“ (1885 г. № 7); *Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь*, подписанное Трансформистъ (1888, № 9); *Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова*, сообщенные Андреевымъ 1889, №№ 1, 2. Въ цѣломъ видѣ, въ отдѣльномъ изданіи эти матеріалы вышли уже послѣ смерти Чернышевскаго.

Жизнь, по словамъ саратовскихъ газетъ, въ это время онъ велъ замкнутую, уединенную; былъ съ головою погруженъ въ свои литературныя занятія, хотя въ обществѣ своихъ знакомыхъ отличался рѣдкимъ одушевленіемъ и говорливостью.

Страдалъ Чернышевскій давнишнимъ недугомъ—катарромъ желудка. Передъ смертью онъ лишился сознанія, долго и много бредилъ, иногда диктуя изъ Вебера. Кровоизліяніе въ мозгу положило конецъ его существованію. Къ величайшему утѣшенію родныхъ и самого покойнаго, послѣдніе мѣсяцы своей жизни ему пришлось провести въ родномъ Саратовѣ, куда онъ переселился какъ разъ въ годъ своей смерти. Чернышев-

скій умеръ вскорѣ послѣ этого переселенія, въ 12 ч. 35 м. ночи, съ 16 на 17-ое октября 1889 года.

V.

Минуя публицистическую дѣятельность Чернышевскаго, какъ не входящую въ составъ нашего обозрѣнія, мы ограничимся лишь его критическими статьями и начнемъ съ диссертациі, знакомящей насъ съ его эстетическими воззрѣніями.

Цѣль диссертациі заключается именно въ томъ, чтобы окончательно разрушить устарѣлыя эстетическія теоріи, построенныя на метафизическихъ основаніяхъ и намѣсто ихъ водворить новыя и исполнѣ реальныя. Поэтому авторъ прямо начинаетъ съ тщательнаго анализа идеи *прекраснаго*. Опровергая одно за другимъ старыя опредѣленія вроде тѣхъ, что „прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ“ или что „прекрасное есть единство идеи и образа“, Чернышевскій вмѣсто нихъ ставитъ свое, основанное на реальныхъ данныхъ.

«Ощущеніе, говоритъ онъ, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ,— свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа. Мы безкорыстно любимъ прекрасное, мы любимся, радуемся на него, какъ радуемся на милого намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразные, существа совершенно непохожія другъ на друга.

«Самое общее изъ того, что мило человѣку и самое милое ему на свѣтѣ—*жизнь*; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось-бы ему вести, какую любить онъ; потому и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое, уже по самой природѣ, своей ужасается гибели, небытія и любить жизнь. И кажется, что опредѣленіе: *«прекрасное есть жизнь»*; *прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ*; *прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни*»,—кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго».

Изъ такого опредѣленія прекраснаго прямо вытекаетъ тотъ выводъ, что прекрасное въ сферѣ искусства должно всегда уступать прекрасному въ самой жизни. Въ самомъ дѣлѣ, разъ прекрасное есть все то, въ чемъ наиболѣе проявляется жизнь, то можетъ-ли отраженіе этой жизни, какъ-бы оно ни было близко въ подлиннику, равняться съ самимъ оригиналомъ. Большая часть диссертациі именно и посвящена опроверженію старыхъ эстетическихъ теорій, утверждавшихъ, будто „идея прекраснаго, не осуществляемая дѣйствительностью, осуществляется произведеніями искусства“. Чернышевскій доказываетъ, что пѣтъ, это—неправда; прекрасное искусства всегда уступаетъ прекрасному дѣйствительности, — и это самая лучшая и наиболѣе обстоятельная часть диссертациі.

Далѣе затѣмъ, естественно, возникаетъ вопросъ, въ чемъ-же заключается назначеніе искусства, если оно оказывается совершенно беспильно и несостоятельно въ томъ, въ чемъ до тѣхъ поръ видѣли главное его призваніе, именно въ осуществленіи идеи

прекраснаго?— Но тутъ Чернышевскій выказываетъ поразительное непониманіе цѣлей и значенія искусства, полное отсутствіе всякой эстетической жилки, вслѣдствіе чего сбивается на совершенно ложный путь.

Такъ, по его мнѣнію, ближайшая цѣль искусства—воспроизводить дѣйствительность, но не для того, чтобы превосходить ее или хотя-бы равняться съ нею, но чтобы нѣсколько напоминать намъ о ней, помогать нашей памяти. Не всѣ могутъ каждый часъ любоваться моремъ: между тѣмъ фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе—и что бы оживить свои воспоминанія о морѣ, чтобы яснѣе представить его въ своемъ воображеніи, смотрятъ на картину, изображающую море.

Но подобное опредѣленіе искусства не только не объясняетъ намъ творческихъ процессовъ художника, но и эстетическихъ наслажденій простыхъ смертныхъ. Неужели Айвазовскій рисуетъ морскіе пейзажи съ тою-же холодною утилитарною цѣлью знакомить насъ съ моремъ и напоминать о немъ, съ какой ученый показываетъ свои туманныя картины допотопной флоры и геологическихъ формаций? Неужели въ свою очередь мы идемъ въ картинную галерею, словно въ какой-нибудь музей съ единственною цѣлью знакомиться съ чуждыми намъ предметами или-же припоминать давно невиданные? Какую-же роль играетъ тотъ творческій экстазъ, который побуждаетъ художника творить, и та сильная, доходящая порою до нервной дрожи и слезъ эмоція, которую мы ощущаемъ, когда любуемся изображеніемъ дѣйствительности, мимо которой не разъ проходили совершенно равнодушно?

Далѣе затѣмъ Чернышевскій выходитъ, новидимому, на широкую дорогу, когда слѣдующимъ образомъ раздвигаетъ область искусства:

«Обыкновенно говорятъ, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стѣсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекраснаго, то множество произведеній искусства не подойдутъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въ живописи не подходятъ подъ эти подраздѣленія картины домашней жизни, въ которыхъ нѣтъ ни одного прекраснаго или смѣшнаго лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою и т. д. Въ музыкѣ еще труднѣе провести обыкновенныя подраздѣленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдѣлу величественнаго; если пьесы, дышанція любовью или веселостью, причислимъ къ отдѣлу прекраснаго; если отъищемъ много комическихъ пѣсень, то у насъ еще остается огромное количество пѣсень, которыя по своему содержанію не могутъ быть безъ натяжки причислены къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ возвышенному, какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ вѣжливныя мечты? Но изъ всѣхъ искусствъ наиболѣе противится подведенію своего содержанія подъ тѣсныя рубрики прекраснаго и его моментовъ—поэзія. Область ея—всѣ область жизни и природы; точки зрѣнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ такъ-же разнообразны, какъ понятія мысли объ этихъ разнообразныхъ явленіяхъ; а мыслитель находитъ въ дѣйствительности очень многое, кромѣ прекраснаго, возвышеннаго и комическаго. Не всякое горе доходитъ до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэзіи не исчерпывается тремя извѣстными элементами, вѣдѣннымъ образомъ видѣтъ изъ того, что ея произведенія перестали вмѣщаться въ рамки старыхъ подраздѣленій. Что драматическая поэзія изображаетъ не одно трагическое или комическое, доказываютъ тѣмъ, что кромѣ комедій и трагедій должна была явиться драма. Вмѣсто эпоса, по преимуществу возвышеннаго, явился романъ съ безчисленными своими родами. Для большей части



нынешнихъ лирическихъ пьесъ не отыскивается въ старыхъ подраздѣленіяхъ главъ, которое могло-бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что не могутъ всего обнять три рубрики (мы говоримъ о характерѣ содержанія, а не о формѣ, которая всегда должна быть прекрасна).»

Все это какъ нельзя болѣе справедливо. Но далѣе затѣмъ Чернышевскій снова сходитъ съ правильной дороги. Повидимому онъ очень близко подходитъ къ В. Майкову въ своемъ далѣйшемъ и окончательномъ опредѣленіи искусства. Сфера искусства, по его словамъ, не ограничиваясь однимъ прекраснымъ, обнимаетъ собою все, что въ дѣйствительности (въ природѣ и жизни) интересуетъ человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка; общеприятное въ жизни—вотъ содержаніе искусства.

Но Майковъ рѣзко разграничивалъ сферу интереснаго въ смыслѣ *занимательнаго* отъ интереснаго въ смыслѣ *симпатичнаго*, близко касающагося насъ и возбуждающаго въ насъ различныя эмоціи, и на этомъ основаніи утверждалъ существенное различіе между наукою и искусствомъ. Чернышевскій-же не сдѣлалъ этого различія, слово *интересное* употребилъ въ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ, и въ результатѣ такого безразличія получилось тождество искусства съ наукою. Искусство, по мнѣнію автора, имѣетъ еще другое значеніе—объясненіе жизни, и въ этомъ смыслѣ оно ничѣмъ не отличается отъ разсказа о предметѣ; различіе только въ томъ, что искусство вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли, чѣмъ ученый трактатъ: подъ формою жизни мы гораздо легче знакомимся съ предметомъ, нежели когда находимъ сухое указаніе на предметъ. Романы Купера болѣе, нежели этнографическіе разсказы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью.

Но если искусство тождественно съ наукою и играетъ по отношенію къ ней лишь служебную роль иллюстрированія изучаемаго, въ такомъ случаѣ какую-же роль должна играть такъ называемая *творческая фантазія*? Изъ длиннаго опредѣленія этой роли на стр. 98, 99 и 100 мы видимъ, что Чернышевскій ничѣмъ не отличается ее отъ способности угадыванія, наведенія, комбинированія фактовъ и изолированія изображаемаго предмета отъ всего излишняго и непущнаго, присущей каждому талантливому ученому, который иногда на одной найденной челюсти опредѣляетъ цѣлый скелетъ животнаго. Но если мы и допустимъ, что подобная способность необходима для художественнаго творчества въ равной степени, какъ и для научныхъ изслѣдованій, то можно-ли все-таки сказать, чтобы въ ней одной заключалось все творчество? Но Чернышевскій словно чувствуетъ, что онъ всталъ на какую-то шаткую и колеблющуюся подъ нимъ почву и спѣшитъ оговориться, что предметъ его изслѣдованія—искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная дѣятельность поэта, потому было-бы неумѣстно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта къ матеріаламъ его произведенія.

Это отождествленіе искусства съ наукою и приданіе искусству служебной роли иллюстрированія научныхъ, философскихъ и публицистическихъ изысканій было роковою ошибкою, которая повела за собою весьма крупныя послѣдствія. Первымъ дѣломъ она вывела критику изъ той роли, которая наиболѣе ей свойственна, какъ цѣ-

нительницѣ художественныхъ произведеній, и которую критика исполнила съ такимъ блестящимъ успѣхомъ въ эпоху Бѣлинскаго. Теорія Майкова, если-бы она была вполне развита и утвердилась-бы въ литературѣ, нимало не сбивала-бы критику съ этой роли, напротивъ того, лишь расширяла-бы область ея сужденій и приговоровъ, такъ какъ сообразно этой теоріи критика должна была-бы опредѣлять не только эстетическія достоинства и недостатки произведенія, но также и большую или меньшую важность и значеніе тѣхъ жизненныхъ интересовъ, которые выражаются въ произведеніи.

Совсѣмъ нныя требованія для критики вытекаютъ изъ теоріи Чернышевскаго. Здѣсь критикъ, смотря на произведеніе, какъ на служебную иллюстрацію жизни, прежде всего опредѣляетъ, вѣрна-ли иллюстрація. Если не вѣрна, онъ ее отбрасываетъ въ сторону, не считая нужнымъ иногда и заикаться о такомъ произведеніи. Если-же иллюстрація вѣрна, онъ тотчасъ-же принимается по ней анализировать самые факты жизни, такъ что въ концѣ-концовъ критика является не критикою въ собственномъ смыслѣ этого слова, а рядомъ моральныхъ, этическихъ, публицистическихъ трактатовъ, изученіемъ жизни по художественнымъ произведеніямъ совершенно подобно тому, какъ анатомію и географію учатъ по атласамъ.

Такъ какъ вслѣдъ затѣмъ наступила бурная эпоха реформъ и подпятія цѣлаго ряда вопросовъ, то подобная критика пришлось какъ нельзя болѣе ко времени и кстати и была осуществлена въ блестящей дѣятельности Добролюбова.

Но затѣмъ теорія тождества науки и искусства и служебной роли послѣдняго по отношенію къ первой, воспринятая молодыми и незрѣлыми умами, послѣдовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полного отрицанія искусства, что мы и видимъ въ публицистахъ *Русскаго Слова*, съ Писаревымъ во главѣ.

Что касается до Чернышевскаго, то онъ первый подалъ примѣръ той публицистической критики, которая вытекала изъ его теоріи. По правдѣ сказать, критическія статьи его далеко уступаютъ статьямъ Добролюбова. Прежде всего вы видите въ нихъ отсутствіе того-же, чѣмъ хромаетъ и диссертация, т. е. эстетическаго, а слѣдовательно и критическаго чутія, и этотъ недостатокъ повелъ за собою рядъ вопіющихъ промаховъ. Такъ напримѣръ Чернышевскій очень пренебрежительно и враждебно отнесся къ драмѣ Островскаго *Бѣдность не порокъ* изъ чисто партійной вражды, и въ то-же время съ большимъ восторгомъ привѣтствовалъ появленіе рассказовъ Николая Успенскаго, усмотрѣвъ въ нихъ конецъ сентиментальной идеализаціи народа и начало реальнаго и трезваго отношенія къ нему, не замѣтивши въ то-же время всю поверхностность и грубость шаржей Николая Успенскаго.

Болѣе удачными критическими статьями Чернышевскаго являются или историко-литературнаго содержанія, каковы 'о Лессингѣ, *Очерки гоголевскаго періода*, характеристики Пушкина и Гоголя, или-же тѣ, въ которыхъ онъ, вѣрный своей теоріи, является не столько критикомъ, сколько публицистомъ. Такова напримѣръ статья его въ *Современникѣ* 1857 года въ т. LXIII *О губернскихъ очеркахъ Щедрина*, проводящая ту общую мысль, что нравственность человѣка зависитъ отъ общественныхъ порядковъ. Самою-же лучшею въ этомъ родѣ безспорно является статья въ *Атеней*

1858, № 3, *Русскій человекъ на rendez-vous*, по поводу повѣсти Тургенева *Ася*. Статья, по справедливости слѣдуетъ сказать, блестящая; но это вовсе не критика, а аллегорія, скрывающая подъ личиною разбора повѣсти Тургенева воззванію о скорѣйшемъ освобожденіи крестьянъ.

Чернышевскій является такимъ образомъ прямымъ предшественникомъ Добролюбова. Онъ не только внушилъ послѣднему свои эстетическія воззрѣнія, но и практически началъ то, что блистательно довершилъ Добролюбовъ. Послѣдній затмилъ своего учителя, и учитель смѣренно уступилъ ему мѣсто, переставши писать критическія статьи и выступивши на поприще публицистики и политической экономіи, болѣе свойственное характеру его таланта и качествамъ его холоднаго, діалектическаго и математическаго ума.



## ГЛАВА ПЯТАЯ.

I—Дѣтство и семинарскіе годы Ник. Ал. Добролюбова. II—Пребываніе его въ Педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь его. III—Философскіе и моральныя взгляды Добролюбова. IV—Эстетическія теоріи Добролюбова. Сѣмена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы. V—Публицистическій характеръ критики Добролюбова. VI—Двѣ категоріи его взглядовъ. VII—Противорѣчія Добролюбова, обусловливаемые двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова.

### I.

Ни одинъ изъ литературныхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ не представляетъ собою такого полного, цѣльнаго и, можно сказать, идеальнаго типа молодого поколѣнія конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, какъ Николай Александровичъ Добролюбовъ. Въ немъ по-истинѣ можно сказать воплотился его замѣчательный вѣкъ.

Родился Н. Ал. Добролюбовъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 24 янв. 1836 года. Отецъ его былъ священникъ нижегородской Николаевской церкви. Достатки у него были, судя по всему, очень скудные, а семейство большое, состояло изъ пяти дочерей и трехъ сыновей. Приходилось жизнь вести самую скромную, стѣсняясь во всемъ, и это отражалось конечно на бытѣ всей семьи. Поэтому картина дѣтства Добролюбова носитъ довольно мрачный колоритъ: монотонное, однообразное существованіе день за день въ полной замкнутости; томительная скука, особенно въ праздничные дни. Дома слушаніе вѣчныхъ жалобъ на безденежье, всеобщую подлость, прижимку и обиду; бракъ и попреки суроваго отца, срывавашаго на родныхъ всѣ свои невзгоды, а внѣ семьи чувство обиднаго отчужденія и высокомернаго презрѣнія со стороны свѣтскаго провинціального общества. Все это въ самомъ юномъ возрастѣ успѣло положить на чело будущаго критика печать суроваго и мрачнаго взгляда на жизнь.

Къ отцу Добролюбовъ былъ холоденъ и чувствовалъ невольное отчужденіе отъ него вслѣдствіе его строптивости; зато къ матери былъ привязанъ всею душою. „Отъ нея, писалъ онъ въ 1854 году, послѣ ея смерти, получилъ я свои лучшія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ дней моего дѣтства; къ ней лѣзло мое сердце, гдѣ бы я ни былъ, для нея было все, все, что я ни дѣлалъ“.

Матери былъ обязанъ Добролюбовъ и первыми шагами своего развитія. Уже трехъ лѣтъ съ ея словъ онъ заучилъ нѣсколько басенъ Крылова и прекрасно пропозосилъ ихъ передъ домашними и чужими. Мать-же выучила его и читать, и писать азбуку. Когда ему минуло 8 лѣтъ, для занятія съ нимъ были приглашены семинаристы, сначала Садовскій, потомъ Костровъ, и послѣдній занялся съ нимъ три года столь толково и успѣшно, что, однадцати лѣтъ Добролюбовъ былъ отданъ въ духовное училище, а черезъ годъ успѣлъ уже попасть въ четвертый, послѣдній классъ этого училища.

Здѣсь онъ съ перваго-же года обратилъ на себя общее вниманіе. Робкій, застѣнчивый мальчкѣ, нѣжный, барской наружности, съ мягкими руками въ то-же время онъ поразилъ всѣхъ бойкостью и находчивостью отвѣтовъ и начитанностью, необыкновенною для 12-ти-лѣтняго ребенка. Въ 1848 году онъ перешелъ въ семинарію и тамъ, чуждаясь товарищей, весь ушелъ въ книги, читалъ русскихъ авторовъ, ученыхъ сочиненія, журналы—и дома, и въ классахъ. Въ его упражненіяхъ по классу реторки и піитки постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителямъ словесности. Въ многихъ упражненіяхъ, какія были по исторіи всеобщей, была видна тоже начитанность. Въ среднемъ отдѣленіи семинаріи Добролюбовъ поражалъ громадными сочиненіями въ 30, 40, 160 писанныхъ листовъ по философскимъ темамъ, особенно объ ученіи отцовъ церкви и по русской церковной исторіи. Въ то-же время, уже на 14 году онъ началъ писать стихи и между прочимъ переводилъ Гопаціи.

Что касается внутренняго міра Добролюбова, то онъ обуславливался, съ одной стороны, впечатлѣніями всего, что приходилось читать въ то время юношѣ; съ другой стороны, всѣми обстоятельствами его жизни. Такъ, подъ вліяніемъ русскихъ классиковъ онъ по собственнымъ словамъ его „хотѣлъ походить на Печорина и Тамирапа, затѣмъ толковать, какъ Чацкій“ и въ то-же время, смотря съ презрѣніемъ и ненавистью на окружающую его губернскую жизнь, восклицалъ въ своемъ дневникѣ въ романтическомъ порывѣ: „все пошло, глупо, мелко, ничто не удовлетворяетъ порывовъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца“... Вместе съ тѣмъ подъ вліяніемъ, съ одной стороны, тягостныхъ условій домашней обстановки, съ другой — преобладанія религіознаго содержанія въ духовной школѣ, наконецъ и общественныхъ вѣяній, располагавшихъ молодежь того времени къ мистическимъ экзальтаціямъ, Добролюбовъ впалъ въ аскетизмъ и піитизмъ, выразившіеся въ безпощадныхъ нравственныхъ самобичеваніяхъ. Такъ, онъ ежедневно велъ въ дневникѣ своемъ списокъ своихъ грѣховъ съ благочестивыми укоризнами себя, обѣщаніями строго наблюдать за собою и исправляться и оканчивалъ эти сокрушенія словами: „Господи! Спаси мя, не остави мене погнбающа!“

Къ концу семинарскаго курса всѣ эти романтическіе порывы мало-помалу исчезли. Юноша взглянулъ вокругъ себя трезвымъ взглядомъ холодной и расчетливой положительности, созналъ, что только упорнымъ трудомъ, рассчитывая каждую минуту, онъ можетъ хоть чего-нибудь достигнуть, хотя въ сущности закалъ его характера

оставался тотъ-же самый, — и въ основѣ этого характера лежалъ все тотъ-же суровый аскетизмъ, перенесенный только съ романтико-религіозной на положительную и практическую почву. Такъ, онъ еще болѣе ушелъ въ свой научный трудъ. Выйдя затѣмъ изъ семинаріи за два года до окончанія курса, въ августѣ 1853 года, онъ отправился въ Петербургъ держать пріемный экзаменъ въ с.-петербургскую духовную академію, такъ какъ въ университетъ, несмотря на все свое желаніе, онъ не могъ поступить по невозможности родителей содержать его. Но въ Петербургѣ онъ узналъ о возможности поступить въ Педагогическій институтъ на казенный счетъ и воспользовался ею, удовлетворивъ такимъ образомъ до нѣкоторой степени своему желанію поступить въ свѣтское высшее заведеніе.

## II.

Въ институтѣ онъ конечно ужь вновь погрузился въ книги. „Онъ читалъ, читалъ всегда и вездѣ, по временамъ внося содержаніе прочитаннаго (хотя онъ и безъ того хорошо помнилъ) въ пишущуюся у него толстую въ алфавитномъ порядкѣ библіографическую тетрадь, — говоритъ одинъ товарищъ Добролюбова, въ своихъ воспоминаніяхъ объ институтскихъ годахъ его; — въ столѣ у него было столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыми въ первое время, онъ зарабатывалъ себѣ копейку, въ шкафѣ столько книгъ, что ящики въ столѣ и полки въ шкафѣ ломались“.

Но не въ одномъ этомъ погруженіи въ книги сказался аскетизмъ Добролюбова. Такъ, въ письмахъ къ товарищамъ онъ выказалъ полное невниманіе къ красотамъ столицы и отказался описывать ихъ, чѣмъ возбудилъ въ товарищахъ со всѣхъ сторонъ упреки въ гордости, невнимательности, въ томъ, что онъ корчитъ изъ себя очень умнаго человѣка, на котораго не дѣйствуетъ впечатлѣніе. вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на свои 18 лѣтъ, онъ гналъ отъ себя и преслѣдовалъ въ другихъ все радостное, свѣтлое, малѣйшее проявленіе безхитростнаго и беззаветнаго молодого веселья. „Странное дѣло, пишетъ онъ въ дневникѣ своемъ, нѣсколько дней тому назадъ я почувствовалъ въ себѣ возможность влюбиться; а вчера ни съ того, ни съ сего вдругъ мнѣ пришла охота учиться танцовать. Чортъ знаетъ, что это такое. Какъ-бы то ни было, а это означаетъ во мнѣ начало примиренія съ обществомъ. Но я падѣюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдѣлать что-нибудь, я долженъ по ублаживать себя, не дѣлать уступки обществу, а напротивъ держаться отъ него дальше, питать желчь свою...“

Въ этой выдержкѣ изъ дневника проглядываетъ не одинъ только аскетизмъ, но и нѣкоторое ожесточеніе, и это ожесточеніе наиболѣе усилилось въ молодомъ человѣкѣ, когда на него обрушилось нѣсколько тяжкихъ ударовъ судьбы. Не прошло и года со времени поступленія его въ институтъ, какъ умерла у него мать. Не успѣлъ онъ оправиться отъ этой дорогой и незамѣнимой утраты, какъ вслѣдъ за нею пошелъ

въ могилу и отецъ, оставивши семейство въ крайней нищетѣ и къ тому-же обремененное долгами. На рукахъ Добролюбова осталась семья изъ пяти сестеръ и двухъ братьевъ. Въ отчаяніи онъ намѣревался уже бросить институтъ и искать мѣсто уѣзднаго учителя на родинѣ, и едва отклонили его близкіе люди отъ этого намѣренія, представивши тѣ резоны, что все равно на скудное жалованье уѣзднаго учителя семью ему не прокормить, сестры-же и братья могутъ жить пока у родственниковъ и у нѣкоторыхъ прихожанъ, уважавшихъ его отца. Но Добролюбовъ былъ слишкомъ гордъ и не могъ допустить, чтобы родные его жили милостью другихъ, и вотъ онъ, сверхъ своихъ институтскихъ занятій, началъ давать уроки, доставать переводы и такимъ образомъ пріобрѣталъ деньги на содержаніе сестеръ и братьевъ. Эти занятія сверхъ силъ очень вредно вліяли какъ на здоровье, такъ и на расположеніе духа юноши. Сдержанное, холодное и тѣмъ болѣе мрачное ожесточеніе окончательно овладѣло имъ. Такъ, когда товарищъ встрѣтилъ его на желѣзной дорогѣ и спросилъ, что у него новаго, Добролюбовъ отвѣчалъ:— „Отецъ умеръ“ — и, по словамъ товарища, въ холодномъ тонѣ отвѣта, сказаннаго Добролюбовымъ съ язвительною улыбкою, послышалось проклятіе, посланное судьбѣ... Онъ смѣялся, сообщая эту грустную новость, но такъ смѣялся, что товарища его покоробило.

Таковъ былъ Добролюбовъ при началѣ своего литературнаго поприща; такимъ-же остался онъ и въ продолженіи всей своей недолгой жизни. Тотъ-же идеализмъ, не допускавшій ни малѣйшихъ уступокъ и примиреній, тотъ-же суровый ригоризмъ, отвергавшій всякое безцѣльное и беззавѣтное наслажденіе и требовавшій, чтобы всѣ помысленія человека были направлены въ сторону общественной пользы, та-же холодная, язвительная и беспощадная пронія,—проникаютъ всю дѣятельность Добролюбова до самой послѣдней статьи его. Созданный обстоятельствами личной жизни и духомъ времени, онъ сразу является передъ вами во весь свой ростъ, словно отчеканенный, и такимъ-же сходитъ въ могилу безъ малѣйшихъ измѣненій относительно убѣжденій, взглядовъ и требованій.

Уже въ началѣ 1855 года познакомился онъ и вошелъ въ сношеніе съ Н. Г. Чернышевскимъ, къ которому отправился съ тенденціозною повѣстью, изображавшею параллель воспитанія и жизни изнѣженнаго барченка и закаленнаго лишеніями бѣдняка. Чернышевскій прямо и положительно сказалъ Добролюбову, чтобы онъ не совался въ беллетристику, что онъ пишетъ не повѣсть, а крѣпку на сцены, имъ самимъ придуманная. Этотъ приговоръ окончательно направилъ Добролюбова на путь крѣпки и въ 1856 году, за годъ до окончанія курса въ Педагогическомъ институтѣ, были напечатаны въ *Современникѣ* первыя статьи его о *Собесѣдникѣ любителей русскаго слова* и разборъ *Акта главнаго педагогическаго института*. Статьи эти сразу обратили на себя вниманіе и начитанностью автора, и усвоеніемъ духа и всѣхъ результатовъ движенія сороковыхъ годовъ, и наконецъ сдержанностью, холодною пропіею, которую трудно было ожидать отъ 19-ти лѣтняго юноши. Но пия его пока оставалось неизвѣстнымъ, во избѣжаніе какихъ либо непріятностей въ институтѣ. Онъ долженъ былъ даже отложить свое сотрудничество въ *Современникѣ* до окончанія курса.

ограничившись послѣдній годъ пребыванія своего въ институтѣ помѣщеніемъ нѣсколькихъ педагогическихъ статей въ журналѣ Чумикова и Паульсона. И лишь по окончаніи курса, въ половинѣ 1857 года, началъ онъ свое постоянное сотрудничество въ *Современникѣ*, а въ концѣ 1858 года принялъ уже въ свое завѣдываніе отдѣлъ критики и библіографіи въ этомъ журналѣ.

Затѣмъ дальнѣйшая жизнь его, продолжавшаяся всего лишь три года, представляетъ собою одинъ неусыпный трудъ, прерываемый лишь нѣсколькими часами необходимого отдыха, причемъ о Добролюбовѣ буквально можно сказать, что отъ письменнаго стола онъ не отрывался. Однимъ словомъ, стоитъ взглянуть на количество написаннаго Добролюбовымъ въ эти три года, на четыре увѣсистые тома его сочиненій, чтобы понять, что это была за немовѣрная работа. Нѣтъ ничего удивительнаго, что слѣзъ молодого человѣка едва хватило на три года, причемъ въ послѣдній годъ своей жизни онъ припужденъ былъ часто отрываться отъ работы, борясь съ одолевавшею его болѣзнію, предпринять съ этою цѣлью путешествіе за-границу. Такимъ образомъ количество времени, въ которое написаны четыре тома его сочиненій, этотъ еще болѣе сокращается. Нѣтъ ничего удивительнаго, что 17-го ноября 1861 года его уже не стало. Непреклонно-суровый сподвижникъ нашего времени, онъ быстро сгорѣлъ, припеся свою молодую жизнь и всѣ свои силы на алтарь своего отечества и не вынеся изъ своего короткаго существованія ни одной живой радости, ни малѣйшаго проблеска счастья.

### III.

Что касается до міросозерцанія Добролюбова, до его общихъ философскихъ взглядовъ, то къ сожалѣнію мы не можемъ привести ни одного такого мѣста въ его сочиненіяхъ, въ которомъ взгляды эти выражались-бы съ полнотою и опредѣленностью. Живя въ такой моментъ, въ который все вниманіе людей было поглощено общественными вопросами, Добролюбовъ рѣдко впадалъ въ общія и отвлеченныя философскія разсужденія, и мы можемъ указать на весьма немногія его статьи, которыя могутъ дать приблизительныя понятія о его міросозерцаніи. Таковы: *Жизнь Магомета*, соч. Вашингтона Ирвинга (С. Д., т. I, стр. 614); *Буддизмъ, его догматы, исторія и литература*, соч. Васильева (С. Д., т. II, стр. 321). Обѣ эти статьи знакомятъ насъ съ религіозными воззрѣніями Добролюбова. Еще опредѣленнѣе выражается его реальное міросозерцаніе въ статьѣ *Органическое развитіе человека въ связи съ его умственною и нравственною дѣятельностью* (С. Д., т. II, стр. 21). Что касается индивидуально-нравственныхъ вопросовъ, которыми немало занимался Добролюбовъ, то въ основѣ его моральныхъ воззрѣній замѣчались всѣ тѣ противорѣчія, какія лежали въ духѣ его времени и условіяхъ его воспитанія. Такъ съ одной стороны онъ повидимому строго держался той нравственной теоріи, которая требуетъ, чтобы нравственные поступки человѣка не были однимъ лишь пассивнымъ послушаніемъ правиламъ морали, а выходили изъ глубины самаго духа человѣка, чтобы правила морали проникали всего человѣка, были его второю натурою



и исполненіе ихъ было для него наслажденіемъ, а не одною тягостью исполненія долга. Такъ въ статьѣ о Сташкевичѣ онъ говоритъ:

„У насъ очень часто превозносятъ добродѣтельнаго человѣка тѣмъ всестороннѣе, чѣмъ болѣе онъ припуждаетъ себя къ добродѣтели. Но, по нашему мнѣнію, холодныя послѣдователи добродѣтели, исполняющіе предписанія долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь къ добру, — такіе люди не совсѣмъ достойны пламенныхъ восхваленій. Эти люди жалки сами по себѣ. Ихъ чувства постоянно представляютъ имъ счастье не въ исполненіи долга, а въ нарушеніи его; по они жертвуютъ своимъ благомъ, какъ они его понимаютъ, отвлеченному припичу, который припичаютъ безъ внутренняго, сердечнаго участія. Поэтому они всегда несчастны отъ своей добродѣтели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчиваютъ тѣмъ, что ожесточаются противъ всего на свѣтѣ...

„Кажется, не того можно назвать истинно-нравственнымъ, кто только терпитъ надъ собою велѣнія долга, какъ какое-то тяжелое иго, какъ „нравственныя вериги“, а именно того, кто заботится *слить требованія дома съ потребностями внутренней сущности своею, кто старается переработать ихъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія, такъ чтобы они не только сдѣлались настоятельно необходимыми, но и составляли внутреннее наслажденіе...*

„Скажутъ, что въ подобномъ направленіи выражается очень сильно собственный эгоизмъ человѣка, и этому эгоизму какъ будто подчиняются всѣ другія, высшія чувствованія. Но мы спросимъ: кто-же когда-нибудь могъ освободиться отъ дѣйствія эгоизма, и какое наше дѣйствіе не имѣетъ эгоизма своимъ главнымъ источникомъ? Мы всѣ ищемъ себѣ лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастья. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это счастье. Есть конечно грубые эгоисты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое счастье въ грубыхъ наслажденіяхъ чувственности, въ униженіи передъ собою другихъ и т. п. Но вѣдь есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся успѣхамъ своихъ дѣтей, — тоже эгоистъ; граждаппш, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ — тоже эгоистъ; вѣдь вотъ онъ, именно онъ самъ, чувствуетъ удовольствіе при этомъ; вѣдь онъ не отрекся отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже если человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгоизмъ не оставляетъ его. Онъ отдастъ бѣдняку деньги, приготовленныя на прихоть; это значитъ, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что слѣдуетъ предписанію долга? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что тутъ уже дѣйствіе — не свободное, а припужденное; но и здѣсь все-таки есть эгоизмъ. Почему нибудь человекъ предпочитаетъ-же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушеніе долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя послѣдствія; за исполненіе-же

онъ надѣется награды, доброй славы и т. п. При внимательномъ разсмотрѣніи и окажется, что побужденіемъ дѣйствій формально-добродѣтельнаго чловѣка служить эгоизмъ очень мелкій, называемый проше тщеславіемъ, малодушіемъ и т. п. Право, хвалить за это нечего“.

Но рядомъ съ этими требованіями, чтобы нравственность естественно и непринужденно вытекала изъ глубины самаго чловѣческаго духа, вы видите въ самомъ Добролюбовѣ не малые задатки той самой доктринерской нравственности, противъ которой онъ столь горячо ратовалъ. Такъ въ дневникѣ его мы читаемъ слѣдующія строки:

„Дѣлать то, что мнѣ противно, я не люблю. Если даже разумъ убѣдитъ меня, что то, къ чему имѣю я отвращеніе, благородно и нужно, и тогда я сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, придать болѣе интереса для себя этому дѣлу—словомъ *развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютною справедливостію, не были противны и моему личному чувству*. Иначе, если я примусь за дѣло, для котораго я еще недовольно развитъ, и слѣдовательно не гоюсь, то, во-первыхъ, выйдетъ изъ него—„не дѣло, только мука“, а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумѣ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственною личностію отвлеченному понятію, за которое бьешься“.

Повидимому Добролюбовъ и въ этихъ словахъ ратуетъ все противъ той-же доктринерской нравственности. Но это лишь повидимому; по крайней мѣрѣ въ стремленіи *развивать себя до того, чтобы поступки, согласны съ абсолютною справедливостію, не были противны и личному чувству, если чловѣкъ чувствуетъ отвращеніе къ тому, что благородно и нужно*—вамъ представляется нѣчто заключающее въ себѣ весьма доктринерское. Благородное и нужное должно проистекать истинно и непосредственно изъ глубины чловѣческой природы, а не быть продуктомъ какого-то искусственнаго развитія. И къ тому-же гдѣ-же положите грань между развитіемъ себя до благороднаго и нужнаго—и приневоливаніемъ?

Въ другомъ-же мѣстѣ дневника вы ясно замѣчаете струю вполне уже доктринерскую:

„Жизнь, пишетъ Добролюбовъ, меня тянетъ къ себѣ, тянетъ неотразимо—бѣда, если я встрѣчу теперь хорошенькую дѣвушку, съ которою близко сойду—влюблюсь непремѣнно и сойду съюма на нѣкоторое время... Итакъ, вотъ она начинается жизнь—то... Вотъ время для разгула и власти страстей... А я, дурачокъ, думалъ въ своей педагогической и метафизической отвлеченности, въ своей книжной сосредоточенности, что уже я „пережилъ свои желанья и разлюбилъ свои мечты“. Я думалъ, что выйду на поприще общественной дѣятельности члмъ-то вроде Катона безстрастнаго или Зенона стоика. Но вѣрно жизнь возьметъ свое“.

Можете сами сообразить, насколько отвлеченно-доктринерскаго заключается въ этомъ аскетическомъ бѣгствѣ отъ жизни, боязни, чтобы она не взяла свое, изъ какихъ-бы прекрасныхъ идеаловъ не вытекали эти боязни и бѣгство. Что-же касается до *развитія себя до благородныхъ и высокихъ стремленій*, то это говорилось не спро-

ста. Этими словами Добролюбовъ платилъ особенную дань своему времени. Но объ этомъ мы поговоримъ еще ниже.

#### IV.

Эстетическія воззрѣнія Добролюбова не представляли чего-либо оригинальнаго. Въ болѣеи степени они сходились со взглядами Бѣлинскаго; отчасти-же Добролюбовъ подчинился и воззрѣніямъ Чернышевскаго. Такъ, подобно Бѣлинскому, онъ стоялъ за теорію искусства для жизни и отрицалъ эстетическую критику, прямо говоря въ своей статьѣ о *Наканунѣ*, что эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень и что малому знакомству съ чувствительными барышнями онъ долженъ тѣмъ, что не умѣетъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ; по подобно Бѣлинскому онъ отрицалъ въ то-же время и тенденціозное, надуманное творчество, требуя отъ него полной естественности и произвольности. Такъ, въ началѣ статьи своей *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ* онъ прямо говоритъ:

„Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подъ вліяніемъ известной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь-бы талантъ его былъ чутокъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ известной идеи не потому, что авторъ задался этою идеей при его созданіи, а потому что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собою. Такимъ образомъ напрямѣръ философія Сократа и комедія Аристофана въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ служатъ выраженіемъ одной и той-же идеи — разрушенія древнихъ вѣрованій; но вовсе нѣтъ надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себѣ именно эту цѣль для своихъ комедій: она достигается у него просто картиной правды того времени. Изъ его комедій мы рѣшительно убѣждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой мифологіи уже прошло; то-есть онъ практически приводитъ насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ доказываютъ философскимъ образомъ“.

Но этимъ и ограничивается тождество взглядовъ на искусство Добролюбова и Бѣлинскаго. Далѣе мы видимъ вліяніе Чернышевскаго. Такъ, Добролюбовъ подобно Чернышевскому разницу между художникомъ и мыслителемъ полагаетъ лишь ту, что одинъ мыслитъ конкретнымъ образомъ, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій и образовъ, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формулѣ. Существенной-же разницы между истиннымъ знаніемъ и истинною поэзіею по мнѣнію Добролюбова быть не можетъ.

Отсюда Добролюбовъ подобно Чернышевскому выводитъ второстепенное, служебное значеніе искусства. „По существу своему, говоритъ онъ въ статьѣ *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ*, литература не имѣетъ дѣятельнаго значенія, она только или предлагаетъ то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что дѣлается и сдѣлано.

Въ первомъ случаѣ она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ — изъ самыхъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ вообще говоря, литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что и какъ она пропагандируетъ.

Выдѣляя затѣмъ нѣсколько гениальныхъ поэтовъ вроде Шекспира, Данте, Гёте и Байрона, которые, служа полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ извѣстную эпоху, и съ этой высоты обозрѣвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, возвышались надъ служебною ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ дѣятелей, способствовавшихъ человѣчеству въ яснѣйшемъ сознаніи его живыхъ силъ и естественныхъ наклонностей, Добролюбовъ затѣмъ говоритъ: „что-же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невѣдомаго, не намѣчая новыхъ путей въ развитіи человѣчества, не двигая его даже и на принятомъ пути, они должны ограничиваться болѣе частнымъ спеціальнымъ служеніемъ: они приводятъ въ сознаніе массъ то, что открыто передовыми дѣятелями человѣчества, раскрываютъ и проясняютъ людямъ то, что въ нихъ живетъ еще смутно и неопредѣленно“...

Проводя далѣе все ту-же извѣстную намъ параллель между наукой и искусствомъ, Добролюбовъ прибавляетъ: „результатъ одинъ, и значеніе двухъ дѣятелей было-бы одно и то-же; но исторія литературы показываетъ намъ, что за немногими исключеніями литераторы обыкновенно опаздываютъ, подмѣчаютъ и рисуютъ возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. Зато впрочемъ они ближе къ понятіямъ массы и больше имѣютъ въ ней успѣха: они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется, между тѣмъ какъ метеоролого-астрономическихъ выкладокъ никто не хочетъ знать. Такимъ образомъ, говоритъ Добролюбовъ въ заключеніе, признавая за литературою главное значеніе пропаганды, мы требуемъ отъ нея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, именно „правды“.“

Въ этихъ опредѣленіяхъ роли и значенія литературы вы видите уже задатки того полного отрицанія искусства вмѣстѣ съ совѣтомъ беллетристамъ и поэтамъ запастись популяризациею естественныхъ наукъ, какое послѣдовало позже со стороны Писарева.

На болѣе твердой и самостоятельной почвѣ стоитъ Добролюбовъ, когда въ своихъ рѣчахъ о ничтожномъ вліяніи литературы онъ отправляется не отъ общихъ эстетическихъ основаній, а отъ общественныхъ условій русской жизни, въ видѣ хотя-бы безграмотности и необеспеченности массъ. Здѣсь онъ являлся въ свое время вполне поваромъ, произнося слѣдующія слова въ своей статьѣ *О степени участія народности въ развитіи литературы* (С. Д., т. I, стр. 563):

„Напрасно у насъ и громкое названіе *народныхъ* писателей: народу къ сожалѣнію вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковского, до высокихъ напевиі Державина и т. д. Скажемъ больше: даже

юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотѣ выучился; онъ долженъ заботиться о томъ, какъ-бы дать средства подмальнопу читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые ишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не малая! Она-то и служитъ причиною того, что литература доселѣ пѣбеть такой-ограниченный кругъ дѣйствія... Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы дѣйствуемъ и ищемъ за немногими исключеніями въ интересахъ кружка, болѣе или менѣе незначительнаго: оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ понятія и сочувствія носятъ характеръ парціальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные, то трактуются опять не съ обще-справедливой, не съ человѣческой, не съ народной точки зрѣнія, а непремѣнно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другого класса“...

Въ этихъ словахъ вы дѣйствительно слышите голосъ вѣка съ его неодолимою тягою къ пароду; въ нихъ выражается впервые возникшее горькое сознаніе по-истинѣ жалкаго значенія литературы, существующей для ничтожной интеллигентной горсти, которая утопаетъ въ несмѣтныхъ массахъ темнаго люда, борящагося съ нищетою и певѣжествомъ. Изъ этого-же великаго сознанія вытекла вполне естественная мысль, что даже и Пушкина нельзя назвать вполне народнымъ писателемъ. „Народность, говоритъ Добролюбовъ (т. I, стр. 599), понимаемъ мы не только какъ умѣнье изобразить красоты природы мѣстной, употребить мѣтное выраженіе, подслушанное у народа, вѣрно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина; лучшимъ доказательствомъ служитъ его *Русалка*. Но чтобы быть поэтомъ истинно-народнымъ надо больше: надо проникнуться народнымъ духомъ, прожить его жизнью, стать вровень съ нимъ, отбросить всѣ предразсудки сословія, книжнаго ученія и пр., прочувствовать съ тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ народъ—этого Пушкину не доставало“.

Подобное опредѣленіе народнаго писателя представляютъ собою самое вѣщее и великое откровеніе столь славной эпохи, какъ конецъ пятидесятыхъ годовъ, и такого лучшаго представителя этой эпохи, какимъ былъ Добролюбовъ.

#### У.

Изъ всѣхъ этихъ эстетическихъ взглядовъ Добролюбовъ и выводилъ критеріи своей критики, которую онъ называлъ *реальною*, по которой въ сущности была чисто публицистическая, иѣтъ дѣло съ анализомъ не самихъ произведеній, а тѣхъ фактовъ жизни, которые въ произведеніяхъ изображаются. Реальная критика, по мнѣнію Добролюбова, должна относиться къ произведенію художника точно такъ-же, какъ къ явленіямъ дѣйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную пору, собрать ихъ существенныя, характерныя черты; пе-

редъ ея судомъ стоятъ лица, созданные авторомъ, и ихъ дѣйствія: она должна сказать, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинить автора только за то, ежели впечатлѣніе это неполно, неясно, двусмысленно. Какъ скоро въ писателѣ-художникѣ признается талантъ, т. е. умѣнье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообъятны тѣ образы, которые имъ созданы. Для критика, по мнѣнію Добролюбова, тѣ только произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказала сама собою, а не по заранѣе придуманной авторомъ программѣ. Такъ, о *Тысячъ душъ* Писемскаго Добролюбовъ ничего не говорилъ, потому что по его мнѣнію вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣе сочиненной идее, и положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ невозможно, потому что отношеніе къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво...

Если подобные критеріи значительно суживали задачи критики въ истинномъ значеніи этого слова, предоставляя критику не обращать никакого вниманія на значительное большинство выходящихъ ежегодно произведеній и ограничиваться разсмотрѣніемъ лишь весьма небольшого числа такихъ, на вѣрность изображеній которыхъ можно положиться, зато для публициста открывалась широкая дорога анализировать жизнь и проводить свои общественныя идеи на основаніи произведеній первоклассныхъ художниковъ, а въ такихъ не было въ то время недостатка.

Добролюбовъ такъ и дѣлалъ, и лучшіе его критическіе этюды, каковы: *Темное царство*, *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*, *Что такое обломовщина*, *Когда-же придетъ настоящий день*—заключаютъ въ себѣ ничто иное, какъ глубокий и всесторонній анализъ существенныхъ сторонъ русской жизни.

Взгляды, проводимые Добролюбовымъ, можно раздѣлить на двѣ категоріи. Одни выходятъ изъ анализа тѣхъ патріархальныхъ отношеній, какія перешли къ намъ по наслѣдію отъ до-петровской старины и сохранялись въ жизни того времени во многихъ явленіяхъ и семейнаго, и общественнаго быта. Анализируя различныя степени и виды общественной деморализаціи того времени, Добролюбовъ ставилъ въ противоположность старымъ, отжившимъ началамъ новымъ.

Въ этомъ отношеніи выдающіяся статьи его представляютъ не одню только анализъ тѣхъ художественныхъ образовъ, фактовъ и взглядовъ, какіе авторъ находитъ въ разбираемыхъ произведеніяхъ. Содержаніе подобныхъ этюдовъ совершенно выходитъ изъ рамокъ критики въ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

Что касается до самихъ авторовъ и ихъ произведеній, то конечно они разсматриваются крайне односторонне; многое, что Добролюбову было не пужно въ его публицистическихъ видахъ, онъ смѣло опускалъ, другое подгонялъ искусственно къ прово-

димымъ имъ идеямъ. Все это ставилось ему неоднократно на видъ и въ укоръ, и совершенно справедливо, если смотрѣть на Добролюбова, какъ на критика. Но въ томъ именно и дѣло, что это былъ вовсе не критикъ, а публицистъ.

## VI.

Въ то время какъ въ первой категоріи взглядовъ Добролюбовъ стоялъ на почвѣ культурно-исторической, во второй категоріи—онъ анализировалъ жизнь еще глубже, становясь на экономическую почву, разбирая жизнь со стороны отношенія труда къ капиталу, людей закаленныхъ тяжкою борьбою за существованіе къ людямъ пнѣженнымъ и обезволеннымъ тунейдствомъ и праздноствіемъ, наконецъ—интеллигенціи къ народу.

Наиболѣе рѣзко и ярко взгляды эти выражаются въ статьѣ *Что такое обломовщина*. Произведя въ ней анализъ героя романа Гончарова, какъ помѣщичій типъ, возросшій на почвѣ крѣпостного права, Добролюбовъ вслѣдъ затѣмъ приводитъ поразившую свою смѣлостью аналогію между Обломовымъ и цѣлымъ рядомъ героев своего времени—Онѣгиннымъ, Печориннымъ, Бельтовымъ, Рудиннымъ. Конечно, если разсматривать всѣхъ этихъ героевъ, какъ художественные типы, принадлежавшіе къ различнымъ эпохамъ, вы увидите между ними болѣе различія, чѣмъ сходства. Но такъ какъ они всѣ принадлежатъ къ одной средѣ, развившейся на почвѣ крѣпостного права и деморализованной имъ, то понятно, что они должны сходиться между собою въ нѣкоторыхъ чертахъ, составляющихъ характеристическую особенность этой среды. „Обломовъ, говоритъ Добролюбовъ, есть наша прямая родина, ея владѣльцы—наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово (Обломовкѣ)“. Пріравнивая такимъ образомъ всю русскую интеллигенцію къ обломовскому типу, Добролюбовъ говоритъ:

„Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ челоуѣчества и о необходимости развитія личности—я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

„Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ—Обломовъ.

„Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о бесполезности *тихого шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ—Обломовъ.

„Когда я читаю въ журналахъ либеральныхъ выходы противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали,—я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

„Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ

нуждамъ человѣчества и втеченіе многихъ лѣтъ съ неуменьшающимъ жаромъ рассказывающихъ все тѣ-же самыя (а иногда и новыя) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода,—и невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

„Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствованіи и скажите: „вы говорите, что нехорошо то и то; что-же нужно дѣлать?“ Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство,—они скажутъ: „да какъ-же это такъ вдругъ“. Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что-же вы намѣрены дѣлать?—Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: „что дѣлать? Разумѣется покориться судьбѣ. Что-же дѣлать? Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами“... и пр. Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежитъ печать Обломовщины“.

Это мѣсто статьи Добролюбова даетъ намъ ключъ къ тому крайне скептическому отрицательному взгляду, какой постоянно проводилъ онъ въ продолженіи всей своей литературной дѣятельности,—на всеобщее возбужденіе и радужное настроеніе, замѣчаемое имъ въ обществѣ. Онъ постоянно указывалъ на непрочность и эфемерность всего этого движенія, возникшаго въ средѣ, которая по самому существу своему инертна и неспособна къ мало-мальски серьезному отношенію къ жизни. „Всмотритесь, говорилъ онъ постоянно, въ характеръ обличеній,—вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ которыхъ у Гоголи мечтаетъ о томъ, какъ „высшее начальство, узнавъ объ ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генераламъ“. „Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно“,—говорятъ всѣ обличители, не скупясь на сильныя эпитеты,—и вы думаете: вотъ молодцы-то, вотъ энергичскіе-то дѣятели!.. Погодите лемпожко: это въ нихъ говорятъ Собакевичъ, но Маниловъ не замедлитъ вступить въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится и мостикъ черезъ рѣчку, и огромный домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видѣть даже Москву“.

Въ противѣсъ этимъ отрицательнымъ качествамъ интеллигенціи Добролюбовъ постоянно выставлялъ народъ, въ которомъ однимъ онъ видѣлъ воплощеніе всѣхъ своихъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ и полагалъ единственную надежду на возрожденіе общества. Такъ, въ статьѣ *Черты для характеристики русскаго пролетариата* (т. 3, стр. 154) мы читаемъ слѣдующее многозначительное мѣсто:

«Общес разслабленіе, болѣзненность, неспособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризуютъ если не всѣхъ, то *большинство* нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они—такъ, что жить безъ того не могутъ и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они



такъ, что умереть лучше, и живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простаго человѣка: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужъ не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или ужъ если привижется, если рѣшится, то привижется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно желаннаго и глубоко задуманнаго. Если ужъ нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется сложа руки; но малою мѣрѣ онъ измѣнитъ все свое положеніе, весь образъ своей жизни, убѣжитъ, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто естественнымъ образомъ не переживетъ неудачи въ достиженіи цѣли, которая уже проникла въ существо его и сдѣлалась ему необходима въ жизни; если-же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазіи, онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служитъ для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простаго, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, бесполезная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды, жизнь подобная той, какую проводятъ, напримѣръ, игрушечкины господа и многіе другіе»...

Но не одну индивидуальную нравственность народа превозносилъ Добролюбовъ при каждомъ удобномъ случаѣ и но одну цѣльность и мощность натуры простаго человѣка противопоставлялъ онъ дряблости и развинченности интеллигентныхъ людей. Переходя отъ отдѣльных личностей къ народнымъ массамъ, онъ постоянно видѣлъ въ нихъ единственную могучую стихійную силу, на которую можетъ всегда положиться безсильная и ничтожная сама по себѣ интеллигенція. Онъ вѣрилъ, что эта необъятная сила можетъ воспринять вслѣдствіе однихъ жизненныхъ опытовъ и переполненія чюсла страданій. Такъ, въ статьѣ *Народное дѣло* (т. 4, стр. 71) онъ говоритъ:

«Говоря о народѣ, у насъ сожальютъ обыкновенно о томъ, что къ нему почти не проникаютъ лучи просвѣщенія, и что онъ поэтому не имѣетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя къ гражданской дѣятельности и проч. Сожалѣнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не даютъ намъ права махнуть рукой на народные массы и отчаяться въ ихъ дальнѣйшей участи. Не одно скромное ученіе подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болѣе или менѣе фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь—путь жизненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ безслѣдно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбежно, неотразимо. Факты жизни не пропускаютъ никого мимо; они дѣйствуютъ и на безграмотнаго крестьянскаго парня, и на отупѣвшаго отъ фухтелей кантониста, какъ дѣйствуютъ на студента университета... Дѣйствительный фактъ, отразившись въ практической жизни дѣятельнаго, рабочаго человѣка, породитъ тоже дѣйствительный фактъ, тогда какъ книжныя теоріи и предположенія образованныхъ людей можетъ быть такъ и останутся только теоретическими предположеніями».

Нужно-ли и говорить о томъ, что во всѣхъ подобныхъ сужденіяхъ Добролюбовъ является наиболѣе всего выразителемъ демократическихъ стремленій своей эпохи.

VII.

Но какъ ни сильна была логика Добролюбова и какою строгою послѣдовательностью ни отличались всѣ его взгляды, случалось и ему иногда измѣнять этой послѣдовательности и вступать въ невольныя противорѣчія, повинуваясь все тому-же духу своего вѣка. Мы ставили уже на видъ въ предъидущей главѣ, что движеніе шестидесятыхъ годовъ имѣло двойственный характеръ, что рядомъ съ движеніемъ соціально-политическимъ, заключавшимся въ демократизаціи мысли русской интеллигенціи и въ рядѣ реформъ, имѣвшихъ въ виду благо народныхъ массъ, шло движеніе чисто философское, въ видѣ перехода мысли передовыхъ людей съ метафизической почвы на реальную и всеобщаго стремленія къ умственному развитію и обогащенію знаніями. Въ умственномъ развитіи, просвѣщеніи видѣли въ то время такую-же панацею отъ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, какъ и въ реформахъ. Мы переживали въ это время почти ту-же самую безграничную вѣру въ царство разума, какою былъ преспокоенъ XVIII вѣкъ, и Добролюбовъ при всемъ своемъ скептическомъ отношеніи къ интеллигенціи съ ея отвлеченнымъ и мншурнымъ образованіемъ и при всей вѣрѣ въ непосредственныя силы народа невольно подчинялся всеобщему поклоненію разуму.

И вотъ мы видимъ, что рядомъ съ приравненіемъ всей интеллигенціи къ обломовскому типу, рядомъ съ цѣлою серіею убѣдительнѣйшихъ доказательствъ, что типъ Инсарова до сихъ поръ еще невозможенъ въ нашей жпзни, такъ какъ „наша общественная среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову“, мы видимъ въ статьѣ *Литературныя мелочи прошлаго года* первое выставленіе людей молодого поколѣнія противъ поколѣнія стараго, какъ новый общественный типъ *людей реальныхъ съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ*. И появленіе этого новаго типа объясняется Добролюбовымъ не въ связи съ какимъ-либо улучшеніемъ общественныхъ порядковъ, какъ мы могли-бы ожидать сообразно основнымъ взглядамъ Добролюбова на зависимость нравственности людей отъ условій ихъ быта, а однимъ только измѣненіемъ философскихъ идей. Такъ, по его мнѣнію молодые люди съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ потому отличаются спокойствіемъ и тихою твердостью, что „они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительною жпзнію. Отвлеченныя понятія замѣнились у нихъ новыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными напиримѣръ слѣдующимъ: *per cent mundus, fiat justicia*; „лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жпзни“; „лучше убить свое сердце, чѣмъ пзмѣнить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому“ и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имѣетъ значенія. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое существенное благо; эта точка зрѣнія

отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кроваго, живого родства съ человѣчествомъ, полное разумѣніе солидарности всѣхъ человѣческихъ отношеній между собою — вотъ тѣ внутренніе возбуждители, которые занимаютъ у нихъ мѣсто *принципа*. Ихъ послѣдняя цѣль — не совершенная, рабская вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесеніе возможно большей пользы человѣчеству“ . . .

Въ теоретической сферѣ все это конечно имѣло мѣсто; но слѣдовало-ли изъ этого, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ и въ практической сферѣ послѣдовали аналогическія измѣненія въ томъ смыслѣ, что молодое поколѣніе эпохи Добролюбова „не умѣло блестѣть и шумѣть“, чтобы „въ его голосѣ не было кричащихъ нотъ, а раздавались одни сильные и твердые звуки“; „нынѣшніе молодые люди, говорятъ Добролюбовъ, хотятъ вести правильную, серьезную игру, и потому считаютъ вовсе ненужнымъ съ перваго-же раза выводить слова и фразы, чтобы на третьемъ ходѣ дать шахъ и матъ королю. Они повѣрное рассчитываютъ, что это только повредитъ ихъ игрѣ, и потому подвигаются поспешно, заранее обдумавъ планъ атаки и безпрестанно слѣдя за всѣми движеніями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но ихъ образъ дѣйствій вѣрнѣе, хотя вначалѣ игра и не представляетъ ничего блестящаго и поразительнаго“.

Дѣйствительность въ скоромъ времени совершенно опровергла эти слова Добролюбова, и поколѣніе его отличилось именно тѣмъ, что вознамѣрилось кончить игру даже не на третьемъ, а сразу на первомъ ходѣ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ ни казалась непроходимой пропасть между старымъ и молодымъ поколѣніемъ на почвѣ философскаго міровоззрѣнія, не было причины существовать такой-же пропасти и въ практическихъ сферахъ сообразно всѣмъ теоріямъ Добролюбова и по пословицѣ — яблочко отъ яблоня далеко не падаетъ. Тѣмъ не менѣе, вся эта тирада Добролюбова очень многозначительна, такъ какъ служила протѣпкомъ того возвеличенія базаровскаго типа, какой послѣдовалъ нѣсколько лѣтъ спустя.

Такого-же рода противорѣчія встрѣтите вы и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ сочиненій Добролюбова. Такъ, въ IV главѣ статьи *Темное царство* онъ говоритъ между прочимъ: „Самодурство и образованіе—вещи сами по себѣ противоположныя, и потому столкновеніе между ними очевидно должно кончиться подчиненіемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образованіе сдѣлаетъ слугою своей прихоти, причемъ разумѣется останется прежнимъ невѣждою“.

Но разъ мы признали, что самодурство обуславливается извѣстнымъ порядкомъ жизни, какъ это явствуетъ изъ статьи Добролюбова, то нѣтъ никакого основанія полагать, чтобы оно могло быть сломлено путемъ одного образованія и чтобы самодуръ могъ перестать быть самодуромъ только потому, что проникнется началами образованности. Образованность, смягчая нравы, можетъ придать самодурству лишь болѣе уточненныя формы, какъ это мы и видимъ въ интеллигентныхъ классахъ и у насъ, и даже въ Западной Европѣ, но уничтожить самодурство очевидно можно лишь вырвавши это растеніе съ корнемъ и всахавши потомъ тщательно землю, на которой оно произросло.

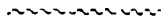
Такое-же противорѣчіе мы видимъ въ 1-й главѣ той-же статьи, гдѣ Добролюбовъ сомнѣвается, чтобы Бородинъ могъ великодушно простить измѣну любимой дѣвушки, и видитъ въ этомъ натяжку со стороны Островскаго на томъ основаніи, что „во всей міеѣ Бородинъ выставляется благороднымъ и добрымъ постариинному, послѣдній-же поступокъ его вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служить Бородинъ“. Здѣсь очевидно подразумѣется опять все то-же „развитіе“, „образованность“, которые одни только, какъ думали въ то время, могутъ дѣлать людей способными къ столь великодушнымъ поступкамъ, какъ женитьба на обезпеченной дѣвушкѣ. Но въ такомъ случаѣ, какое-же значеніе имѣютъ всѣ рѣчи Добролюбова о преимуществѣ народа передъ интеллигентными людьми относительно силы, чистоты и деликатности чувствъ простыхъ людей, способныхъ и любить, и ненавидѣть, и прощать съ большею непосредственностью и беззавѣтностью, чѣмъ интеллигентные люди?

Послѣ всего этого намъ должно быть вполне понятнымъ то вышеприведенное мѣсто изъ дневника Добролюбова, гдѣ онъ говоритъ о *развитіи себя* до благородныхъ и высокихъ стремленій. Этими словами Добролюбовъ въ свою очередь платилъ дань своему вѣку, воображая, что благородныя и высокія стремленія суть исключительный продуктъ умственного развитія, образованности, и люди темные, какъ скоты безсловесные, лишены какихъ-бы то ни было высокихъ и безкорыстно-честныхъ побужденій.

Но подобныя отступленія отъ преобладающихъ взглядовъ такъ мимолетны, что едва замѣтны, и принимать ихъ въ расчетъ не стоитъ, опредѣляя значеніе и характеръ дѣятельности Добролюбова, которая все-таки остается преимущественно публицистическая, и все-таки на первомъ планѣ во всѣхъ его статьяхъ стоитъ анализъ вліянія на личность общественной среды. Въ то-же время, если мы примемъ въ соображеніе разнохарактерность дѣятельности Добролюбова, то можно задать вопросъ, правильно-ли опредѣляется роль его въ русской литературѣ, какъ критика? Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только прочесть перечень его статей, чтобы убѣдиться, что это былъ писатель самый разносторонній. Рядомъ съ критическими статьями, вы найдете у него и педагогическія (*О значеніи авторитета въ воспитаніи; Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова; Речи и отчетъ, читанные въ торжественномъ собраніи московской практической академіи коммерческихъ наукъ; Всероссийскія иллюзіи, разрушаемыя розгами; Отъ дождя да въ воду*), и по внутреннимъ вопросамъ (*Литературныя мелочи прошлаго года; Народное дѣло; Любопытный пассажъ въ исторіи русской словесности*), и по внѣшней политикѣ (*По поводу одной очень обыкновенной исторіи; Пеностѣжкая странность; Изъ Турина; Отецъ Александръ Гаванинъ и его проповѣди*), и статьи полемическаго характера, стихотворенія элегическія, юмористическія, народныя и даже повѣсти, (напр. его рассказы *Дьяволъ въ Современникѣ* 1858 г., т. LIX).

Въ качествѣ сатирика, въ особенномъ сатирическомъ отдѣлѣ *Современника*, *Свистокъ*, онъ былъ безпощаднымъ обличителемъ и грозой всякой словесной мишуры, фразистости, напускнаго либерализма, скрывающаго подъ блестящею внѣшностью грубое азіатское варварство и закорузлое невѣжество. Вичъ его съ равною безпощад-

ностью обрушался какъ на жрецовъ чистаго искусства вродѣ Фета или Тютчева такъ и на тенденціозныхъ постовъ вродѣ Розенгейма, съ паоосомъ мнимой гражданской скорби обличавшихъ мелкихъ чпновниковъ за гривенникъ, взятый или съ просителя. Строгій приверженецъ во всѣхъ сферахъ жизни естественности, искренности и простоты, при глубокомъ и сгратномъ проникновеніи стремленіями къ общественной пользѣ, онъ требовалъ и отъ литературы тѣхъ-же качествъ. Таковъ былъ наиболѣе типическій и яркій представитель конца пятидесятихъ годовъ.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I—Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй періодъ шестидеся-  
тыхъ годовъ. Два полюса этого движенія. II—Значеніе *Русскаго Слова* и характеръ  
его сотрудниковъ. III—Дмитрій Ивановичъ Писаревъ. Характеристика личности. Дѣт-  
ство. IV—Гимназическіе и студенческіе годы Писарева. V—Послѣдній періодъ его  
жизни.

### I.

Мы говорили уже въ предыдущихъ главахъ, что движеніе шестидесятыхъ годовъ распадается на два періода рѣзкою гранью въ видѣ такого колоссальнаго событія, какъ освобожденіе крестьянъ: до 19-го февраля 1861 года характеръ движенія былъ исключительно-политическій, а затѣмъ оно принимаетъ характеръ индивидуально-нравственный и философскій. Рука объ руку съ разрушеніемъ послѣднихъ остатковъ метафизическаго міровоззрѣнія и съ установленіемъ новаго реальнаго мышленія идетъ выработка новыхъ нравственныхъ идеаловъ. Интеллигентное общество начинаетъ дѣлаться на партіи не только по тѣмъ или другимъ политическимъ взглядамъ и общественнымъ стремленіямъ, но и по философскимъ и этическимъ воззрѣніямъ. Такъ возникаетъ пресловутая рознь между старымъ поколѣніемъ и юнымъ, отцами и дѣтьми, причемъ вы напрасно стали-бы искать источника этой вражды въ какихъ-либо политическихъ несогласіяхъ, вродѣ того хотя-бы что молодое поколѣніе отстаивало-бы реформы, а старое имъ противодѣйствовало. Напротивъ того, всѣ совершившіяся реформы шестидесятыхъ годовъ и въ предначертаніи ихъ, и въ исполненіи были всецѣло дѣломъ людей сороковыхъ годовъ, отцовъ, которые мечтали о нихъ съ самой своей ранней юности и приняли горячее участіе въ ихъ осуществленіи. Споръ-же между поколѣніями шелъ объ идеализмъ и реализмъ, о старой системѣ семейной и личной нравственности, основанной на традиціяхъ, и о новой, проистекающей изъ новаго, реальнаго міровоззрѣнія и потребностей вѣка. Вслѣдствіе этого новаторы получили клички не какія-либо политическія, а чисто философскія. Само себя они называли реалистами, противники-же окрестили ихъ нигилистами...

Этотъ нравственно-философскій характеръ движенія второго періода шестидеся-  
тыхъ годовъ обуславливался двумя причинами. Первая причина заключалась въ томъ,

что масса интеллигенции, коснувшаяся до того времени, какъ мы выше видѣли, въ сферѣ традиціонныхъ взглядовъ и не шедшая далѣе метафизико-идеалистическихъ порывовъ и аскетическихъ идеаловъ, теперь, благодаря усилившейся въ концѣ пятидесятихъ годовъ переводческой дѣятельности, сразу познакомилась съ цѣлымъ рядомъ передовыхъ мыслителей Европы новаго реальнаго міровоззрѣнія, каковы: Ог. Контъ, Милль, Бокль, Льюисъ, Бюхнеръ, Молишотъ и пр. и пр. Каждого изъ этихъ столповъ европейской науки и мысли въ единственномъ числѣ было достаточно, чтобы произвести полный переворотъ въ умахъ людей того времени. И вотъ началось сильное броженіе въ видѣ переработки всѣхъ философскихъ и моральныхъ взглядовъ, увлеченія реализмомъ, естественными науками и такими этическими вопросами, какъ педагогическій, семейный, женскій и пр.

Вторая причина была общественно-экономическая. Освобожденіе крестьянъ совершенно измѣнило нравы интеллигентнаго круга. Въ то время какъ съ быстрымъ распространеніемъ образованности въ ряды интеллигенціи вошла масса разночинцевъ, мѣщанъ и вообще непьющаго люда, сами дворяне, особенно мелкопомѣстные, разоренные эмансипаціею, увидѣли себя въ безпомощномъ положеніи гораздо худшемъ, чѣмъ положеніе привыкшихъ къ труду и лишеніямъ разночинцевъ. Такимъ образомъ создавалась почти не существовавшая до того времени обширная среда интеллигентнаго пролетаріата, которая, сосредоточивая въ своихъ нѣдрахъ все умственное движеніе своего времени, по самымъ условіямъ своего существованія должна была выставить совершенно новые индивидуально-нравственные идеалы въ видѣ апофеоза труда, какъ основы нравственности въ оппозицію высокоумно-презрительному взгляду на трудъ, утвердившемуся на почвѣ крѣпостного права; въ видѣ утвержденія семьи на началахъ любви, солидарности, равноправности членовъ—вмѣсто принципа власти и безусловнаго подчиненія, составлявшаго основу прежней, патриархальной семьи.

Замѣчательно, что здѣсь, т. е. на почвѣ выработки новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ мы видимъ два совершенно противоположные полюса, находившіеся по отношенію другъ къ другу въ полномъ антагонизмѣ. Такъ съ одной стороны мы слышимъ раздающійся изъ разночинской среды протестъ противъ распущенности нравовъ на почвѣ крѣпостного права, ведущій къ строгому обузданію личности во всѣхъ ея извѣстныхъ прихотяхъ и похотяхъ. Стремленіе это, начало котораго мы замѣтили уже въ нѣкоторыхъ воззрѣніяхъ Добролюбова, породило новый аскетизмъ подъ кличкою „ригоризма“ и, какъ увидимъ ниже, ударяясь въ крайность, доходило до такихъ-же отрпацій самыхъ естественныхъ требованій человеческой природы, какія были подѣ стать средневѣковому аскетизму.

Съ другой-же стороны, мы видимъ напротивъ того развитіе сенсуализма, стремившася освободить личность отъ всѣхъ средневѣковыхъ традицій по нравственнымъ вопросамъ, проповѣдывавшаго полную свободу чувствъ и страстей и подчинявшаго личность однимъ только разумнымъ требованіямъ личной и общественной пользы.

Нужно-ли говорить о томъ, что въ то время, какъ аскетическое теченіе выходило изъ разночинско-мѣщанской среды людей, самымъ гнетомъ скудной жизни приученныхъ ко всякаго рода самообуздапіямъ; проповѣдь-же свободы чувствъ и

страстей напротивъ того была болѣе свойственна людямъ, воспитавшимся на почвѣ крѣпостного права, съ молокомъ матери воспринявшимъ наклонность къ легкимъ и свободнымъ нравамъ и привыкшимъ ни въ чемъ себѣ не отказывать.

## II—IV.

Весьма естественно, что распущенность нравовъ, возникшая на почвѣ крѣпостного права, не могла сразу исчезнуть вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ, а долго еще должна была заявлять о своемъ существованіи въ средѣ людей, вышедшихъ изъ помѣщичьихъ усадьбъ, пзвѣженныхъ стариннымъ барскимъ воспитаніемъ и не привыкшихъ въ чемъ-либо себѣ отказывать. Людямъ этимъ очень легко было найти оправданіе своей распущенности въ тѣхъ новыхъ освободительныхъ теоріяхъ нравственности, которыя стояли въ оппозиціи съ традиціонною, подавляющею природу человѣка моралью. Такимъ образомъ и возникъ сенсуализмъ, очень похожій на сенсуализмъ восемнадцатаго вѣка. Подобно тому какъ во Франціи въ эпоху регентства версальскіе щеголи, маркизы и вконты взапуски щеголяли другъ передъ другомъ новизной своихъ идей, зачитываясь Вольтеромъ и энциклопедистами и находя въ ихъ сочиненіяхъ полное оправданіе своего легкомысленнаго поведенія, ведшаго ихъ къ крайнему разоренію, а затѣмъ и подъ ножъ гильотины—тѣчто подобное видимъ мы и у насъ въ шестидесятые годы, съ тою разницею, что Вольтера замѣняли Фейербахъ и Бюхнеръ, а энциклопедистовъ—Бокль, Льюисъ, Фохтъ, Молешоттъ и пр. Точно такъ-же масса барскихъ сынковъ, заявляя себя новыми людьми, все поваторство свое выказывали въ цитатахъ изъ любимыхъ авторовъ, эффектною отрицаніемъ такъ называемыхъ „авторитетовъ“, пренебреженіемъ къ свѣтскимъ обычаямъ и приличіямъ и въ полной разнузданности какихъ-бы то ни было похотей и прихотей. Пожилые люди, воспитанные въ духѣ старыхъ понятій и традицій, съ ужасомъ принимали мнимымъ новымъ людямъ и влдѣли въ нихъ опасныхъ отрицателей, не замѣчая, что они—плоть отъ плоти и кость отъ кости ихъ, что они болѣе ничего, какъ лишь щеголяютъ своими смѣлыми рѣчами, но въ то-же время не только не имѣютъ ровно никакихъ мало-мальски опредѣленныхъ и сознательныхъ политическихъ стремленій и общественныхъ цѣлей, а напротивъ того принципиально отрицаютъ всякое служеніе обществу и активное отношеніе къ его требованіямъ и нуждамъ, изолируя личность и замыкая ее въ самое себя, во имя безусловной свободы каждаго человѣка слѣдовать своимъ личнымъ стремленіямъ.

Вотъ на этой-то почвѣ и сложился новый идеалъ просвѣщеннаго реалиста, отъ котораго ничего не требовалось, кромѣ того чтобы онъ, свободно слѣдуя внушеніямъ своего разума и сердца, устраивалъ свою личную жизнь и счастье на основаніи самыхъ новѣйшихъ раціональныхъ данныхъ, послѣднихъ словъ науки, и увлекалъ другихъ слѣдовать его благому примѣру.

Въ литературѣ это теченіе выдвинуло цѣлый рядъ писателей крайне легкомысленныхъ, легковѣсныхъ и поверхностныхъ, отличавшихся хлесткостью эффект-



ныхъ фразъ и смѣлостью самыхъ рискованныхъ выводовъ и парадоксовъ, при полномъ отсутствіи мало-мальски серьезнаго и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу и глубокаго вдумыванія въ него.

Всѣ подобныя писатели въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сгруппировались вокругъ *Русскаго Слова*, самое возникновеніе котораго было крайне знаменательно и характерно. Основатель его, покойный графъ Кушелевъ-Безбородко, послѣдняя отрасль знаменитаго аристократическаго рода, вполне олицетворялъ собою типъ просвѣщеннаго мецената въ родѣ увлеченныхъ философскимъ движеніемъ маркизовъ восемнадцатаго вѣка. Не имѣя никакого опредѣленнаго міровоззрѣнія, не примыкая ни къ какой партіи, онъ принималъ на свои рауты литераторовъ всѣхъ существовавшихъ въ то время лагерей и направленій: у него сходились такіе не имѣющіе ничего между собою общаго писатели, какъ А. Григорьевъ, Гр. Ев. Благосвѣтловъ, Вс. Костомаровъ, Вас. и Ник. Курочкины, Вс. Крестовскій и пр. Такой-же калейдоскопъ самыхъ разнородныхъ именъ представляло измышленное графомъ Кушелевымъ *Русское Слово* въ первый годъ его изданія, въ 1860 г. Это былъ не журналъ съ какимъ-либо опредѣленнымъ и строгимъ политико-литературнымъ направленіемъ, а періодически выходящій альбомъ самыхъ разнокалиберныхъ писателей. Лишь во второй годъ своего существованія, попавши въ руки Григорія Евлампіевича Благосвѣтлова, *Русское Слово* приобрѣло тотъ цвѣтъ и характеръ, которые придалъ журналу новый редакторъ, сгруппировавши вокругъ него юныхъ писателей племенно того сенсуальнаго теченія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь.

Наиболѣе яркимъ послѣдователемъ и полнымъ выразителемъ сенсуальнаго теченія былъ, какъ мы говорили уже выше, Дмитрій Ивановичъ Писаревъ, олицетворившій въ своей личности эпоху шестидесятыхъ годовъ такъ-же совершенно, какъ Добролюбовъ олицетворялъ эпоху второй половины пятидесятыхъ годовъ.

## V.

Люди, которые воображаютъ Писарева чѣмъ-то вроде Марка Волохова, ломатымъ пуглистомъ съ бурсацкою неуклюжестью, съ запоспывающими, безцеремонно грубыми и дерзкими сарказмами, глубоко заблуждаются. Это былъ джентльменъ съ головы до ногъ, съ изящными манерами, всегда безукорыпенно, а иногда и щеголевато одѣтый, владѣющій въ совершенствѣ иностранными языками. Однимъ словомъ, въ любой великосвѣтской гостиной его пріипяли-бы за своего, какъ человека во всѣхъ отношеніяхъ *comme-il-faut*.

Угнетенно вѣжливый по воспитанію, онъ и по натурѣ обладалъ мягкимъ, кроткимъ характеромъ, нѣжнымъ и любвеобильнымъ сердцемъ, простотою, тактомъ и отсутствіемъ малѣйшей аффектаціи и рисовки въ своемъ обращеніи съ людьми. Въ то-же время при всей этой кажущейся сдержанности, которая была ничѣмъ инымъ, какъ свѣтскою выправкою, онъ обладалъ такою прозрачною искренностью,

что уже въ дѣтствѣ его прозвали хрустальной коробочкой, въ которой трудно утаить что-бы-то ни было. Однимъ словомъ, изъ двухъ героевъ знаменитаго романа Тургенева Писаревъ болѣе подходилъ къ типу Аркадія, чѣмъ Базарова; единственно, что отличало его отъ Аркадія, это—тотъ гигантскій умственный аппаратъ, которымъ обладалъ Писаревъ, и главная сила котораго заключалась въ безошибочномъ анализѣ, съ какимъ относился онъ какъ ко всему окружающему, такъ и къ себѣ самому.

По обстоятельствамъ и складу своей жизни Дм. Ив. Писаревъ представлялъ полную противоположность сравнительно съ Добролюбовымъ и прочими писателями изъ разночинцевъ. Въ то время какъ тѣмъ каждый шагъ жизни давался не иначе какъ грудью, послѣ тяжелаго боя, и все, что окружало ихъ въ дѣтствѣ, ожесточало ихъ, дѣтство Писарева напротивъ того протекало тихо, мирно и радостно; все окружающее располагало къ безпрепятственному и полному развитію всѣхъ его силъ.

Родился онъ въ 1840 году на границѣ орловской и воронежской губерній верстахъ въ 30 отъ Ельца и въ 8 или 10 отъ Задонска, въ имѣніи Знаменскомъ, гдѣ и провелъ первыя пять лѣтъ своей жизни. Дальнѣйшіе-же годы дѣтства его протекали въ тульской губерніи, въ усадьбѣ Грунецъ, куда переселились родители его. Они принадлежали къ старому и зажиточному дворянскому роду. Семья была большая, состояла изъ множества дядей и тетокъ съ отцовской стороны. Дѣтей у Писаревыхъ было трое: сынъ Дмитрій и двѣ дочери, Вѣра и Екатерина. Домъ былъ какъ полная чаша; недостатка ни въ чемъ не было; гости не переводились, и жизнь въ домѣ Писаревыхъ текла такъ людно, шумно, весело и беззаботно, какъ и во всѣхъ зажиточныхъ помѣщичьихъ домахъ того времени. И въ свою очередь, какъ во всѣхъ подобныхъ домахъ, нравы семьи представляли удивительную смѣсь европеизма и азіатщины: на конюшняхъ шли расправы съ крѣпостными, въ дѣвчечьихъ—хлопали пощечины, зато въ гостиныхъ царилъ безукорызненный лоскъ свѣтскаго тона и чопорной порядочности. Впрочемъ слѣдуетъ отдать справедливость, что Писаревы были люди мягкіе и добродушные, и какихъ-либо выходящихъ изъ уровня свирѣпыхъ звѣрствъ Дм. Ив. Писаревъ свидѣтелемъ не былъ. Воспитаніе шло подъ руководствомъ матери, Варвары Дмитриевны, женщины вполне образованной и начитанной, но слишкомъ ужъ офранцузившейся. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что въ домѣ царилъ французскій языкъ, преобладали французскія книги. Дѣти подъ руководствомъ маэтри и иностраныхъ боннъ и гувернантокъ разомъ заговорили на трехъ языкахъ—русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ, и до такой степени усвоили эти языки, что даже играя объяснялись другъ съ другомъ по-французски и по-нѣмецки.

Съ четырехъ лѣтъ Писаревъ уже читалъ на трехъ языкахъ; въ то-же время всѣ свободныя минуты, вродѣ прогулокъ или вечернихъ бесѣдъ, мать наполняла предметными объясненіями и вообще очень форсированно занималась умственнымъ развитіемъ дѣтей, такъ что будучи шестилѣтнимъ мальчикомъ Писаревъ рассуждалъ обо всемъ какъ взрослый и поражалъ своимъ резонерствомъ. Въ то-же время онъ не

выказывалъ и малѣйшей склонности къ бѣганью, лазанью и вообще подвижнымъ играмъ, былъ неповоротливъ, вялъ, апатиченъ, по цѣлымъ часамъ сидѣлъ за книжкой или за раскрашиваньемъ картинокъ.

Какъ потому, что онъ былъ единственный сынъ въ семьѣ, такъ вслѣдствіе рано развернувшихся богатыхъ умственныхъ способностей, поражавшихъ всѣхъ окружающихъ, Писаревъ игралъ въ домѣ роль маленькаго божка: всѣ его желанія тотчасъ исполнялись, всѣ его ласкали, занимали и восхищались имъ, однимъ словомъ онъ былъ воплощеньемъ балованнаго ребенка.

Въ первоначальномъ обученіи Писарева, кромѣ матери и гувернантокъ, принималъ еще участіе дядя его со стороны матери, гостившій въ усадьбѣ у родныхъ и обучавшій мальчика исторіи, географіи, арифметикѣ и русской грамматикѣ; сынъ приходскаго священника готовилъ его въ древнихъ языкахъ, а деревенскій писарь обучалъ его чистописанію и передалъ ему свой прекрасный почеркъ.

Память у мальчика была огромная, усваивалъ онъ все преподаваемое очень легко быстро и безъ малѣйшаго труда, и такимъ образомъ одиннадцати лѣтъ онъ былъ уже подготовленъ къ третьему классу гимназіи. Одинъ изъ его дядей, жившій въ Петербургѣ, человекъ съ большими средствами, связями и положеніемъ въ обществѣ, согласился не только взять его жпть въ свое семейство, но и платить за него въ гимназію, и вотъ въ декабрѣ 1851 года мальчикъ былъ привезенъ въ Петербургъ, водворенъ въ домъ дяди и опредѣленъ въ третью гимназію, которая, какъ извѣстно, была единственною классическою въ то время въ Петербургѣ.

Въ гимназіи Писаревъ былъ постоянно однимъ изъ первыхъ учениковъ, кончилъ курсъ съ медалью и въ то-же время поражалъ товарищей своею пзящпою внѣшностью: всегда тщательно и безукоризненно чисто одѣтый, розовенькій, румяный, гладко причесанный и припомаженный, онъ производилъ впечатлѣніе вербнаго херувимчика или переодѣтой дѣвочки, и таковъ-же былъ во всѣхъ своихъ привычкахъ: кроткій, тихій, солидный, не принималъ онъ участія ни въ какихъ шалостяхъ, держался постоянно ото всѣхъ въ сторонѣ, учебники его содержались всегда въ незапятнанной чистотѣ, каждая тетрадка въ красивой радужной оберткѣ была непремѣнно снабжена пунцовымъ клякс-напиромъ на розовой ленточкѣ. Онъ и самъ въ статьѣ своей *Наша университетская наука* о своихъ гимназическихъ годахъ говоритъ слѣдующее: „я принадлежалъ въ гимназіи къ рязряду овецъ, я не злился и не унывалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ „преуспѣвающимъ“.

## VI.

Гимназическій курсъ кончилъ Писаревъ въ 1856 году, когда ему не было еще и шестнадцати лѣтъ. О принятіи его въ университетъ былъ поднятъ въ министерствѣ вопросъ, такъ какъ года его не выходили еще для поступленія въ высшее учебное заведеніе, между тѣмъ странно было-бы не принять юношу, кончившаго курсъ съ медалью, и его приняли на филологическій факультетъ, какъ исключеніе изъ постановленнаго правила.

Въ первомъ курсѣ университета Писаревъ продолжалъ еще быть все тѣмъ-же ребенкомъ: также былъ одѣтъ, какъ съ пголочкн, припомаженъ, приглаженъ лекціи записывалъ въ тѣхъ-же голубенькихъ пли радужныхъ тетрадочкахъ съ влякса-напирчками. Въ то-же время онъ поражалъ своихъ товарищей основательнымъ знаніемъ древнихъ языковъ, такъ какъ и полатыни, и погречески переводилъ à livre ouvert безъ малѣйшихъ затрудненій.

Университетъ конечно не замедлилъ нарушить и переработать ту дѣвственную неприкосновенность и ребячество, какія обнаруживалъ Писаревъ въ первый годъ своего курса. Отчасти подъ вліяніемъ университетской науки, болѣе-же всего вслѣдствіе сближенія съ новыми товарищами и, въ третьихъ, увлекаемый какъ разъ въ то время начинавшимся общественнымъ движеніемъ, — Писаревъ черезъ какой-нибудь годъ сдѣлался неузнаваемъ. Онъ возмужалъ, развернулся; съ одной стороны окунулся въ университетскую науку и по указанію одного изъ профессоровъ филологическаго факультета началъ читать Штейнталя и Гайма съ цѣлью приготовить статью о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ для *Студенческаго Сборника*. Въ то же время бушевалъ на студенческихъ сходкахъ и исторіяхъ, и принималъ горячее участіе какъ въ товарищескихъ спорахъ ночи напролетъ о самыхъ конечно важныхъ матеріяхъ, такъ и въ бѣшеныхъ молодыхъ попойкахъ.

Жить въ чопорномъ, великосвѣтскомъ домѣ своего дяди Писареву сдѣлалось тогда крайне стѣснительно, и онъ зимою въ 1857 году переселился къ своему другу Т., съ которымъ не задолго передъ тѣмъ сближился. Но не легко дался Писареву тотъ полный умственный и нравственный переворотъ, который пришлось ему переживать во время студенческихъ лѣтъ, начиная съ 1857 года и по 1861-й. Трудность эта въ особенности обуславливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что въ кружкѣ, въ который вошелъ Писаревъ, царилъ духъ ни мало не соответствовавшій естественнымъ влеченіямъ юноши, своеобразнымъ складу его характера. Проведя дѣтство среди живописной природы, въ полномъ довольствѣ и холѣ, онъ привыкъ свободно отдаваться каждому своему влеченію и чтобы каждое желаніе его тотчасъ-же удовлетворялось. И вдругъ нѣкоторые изъ самыхъ его заветныхъ желаній оказались неисполнимыми, онъ встрѣтилъ людей, которые далеко не относились къ нему съ тѣми поклоненіемъ и угожденіями, какими онъ постоянно былъ окруженъ въ родительскомъ домѣ; каждый поступокъ его подвергался строгой критикѣ. Такъ, онъ съ дѣтства уже былъ влюбленъ въ одну свою родственницу, Р. К., которая воспитывалась въ ихъ домѣ, и съ которою онъ вмѣстѣ выросъ; теперь эта страсть окончательно созрѣла въ немъ, но въ дѣвушкѣ онъ не нашелъ отвѣта, и она предложила ему въ отвѣтъ на его страстные признанія одну холодную родственную дружбу. Нѣкоторые изъ его товарищей, наклонные къ аскетическому ригоризму, порицали его за то, что онъ увлекается суетными и пустыми удовольствіями вроде билліарда, картъ и т. п.

Не менѣе того допмалъ Писаревъ старикъ Тр., въ домѣ котораго онъ поселился, отецъ его товарища Тр. Сильный духомъ старикъ, получившій въ жизни своей суровую спартанскую выправку, дослужившійся до адмиральскаго чина въ морской службѣ, псходившій когда-то нѣшкомъ всю Россію отъ Петербурга до Кавказа парочно ради прогулки и любознательности, чуждавшійся свѣта и людей и съ презрѣ-

ніемъ смотрѣвшій на людскія слабости, онъ не могъ выносить того легкаго, свѣтскаго лоска, который Писаревъ вынесъ изъ своей прежней обстановки. Каждый шагъ Писарева казался старику легкомысленнымъ, каждое слово поверхностнымъ и необдуманнымъ, и Писареву приходилось выдерживать цѣлый градъ сарказмовъ старика, иногда очень мѣткихъ и злыхъ, потому что старикъ обладалъ недюжиннымъ умомъ.

Но болѣе всего доставалось Писареву отъ товарищей—сокурсниковъ его, строгихъ спеціалистовъ и адептовъ чистой науки. Это были черствые педанты, которыми былъ наполненъ филологическій факультетъ, мрачные затворники, не признававшіе ничего въ жизни, кромѣ своей науки, на все смотрѣвшіе свысока и съ презрѣніемъ огосподившіеся, какъ къ легкомысленному диллетантизму, ко всей современной журналистикѣ, публицистикѣ и беллетристикѣ.

Писаревъ не мало снискалъ проницательныхъ порицаній и укоровъ уже тогда, когда онъ, желая сравниться со своими учеными товарищами, въ сокрушеніи, тщетно искалъ спеціальности и перебѣгалъ отъ одной филологической науки къ другой. Но эти порицанія обратились едва не въ проклятія, когда Писаревъ въ началѣ зимы 1858 года напечаталъ литературную работу въ журналѣ для дѣвицъ, издававшемся Крепкимъ и носившемъ заглавіе *Разсвѣтъ*. Писареву было поручено вести въ этомъ журналѣ библиографическій отдѣлъ, причемъ статьи его оплачивались по 30 р. за листъ, что доставляло ему въ мѣсяцъ рублей до 70. Писаревъ съ жаромъ принялся за эту работу и убѣдился вскорѣ, что въ ней—главное его призваніе.

„Я писалъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Наша унив. наука*,—свои жиденькія и невнятные статьи съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіею Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ передъ собою близкую и вполне доступную цѣль этого всматриванья и вдумыванья. Мнѣ было пріятно развивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполне понималъ, что я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался объяснить или доказать...“

Вмѣстѣ съ тѣмъ, ему пришлось для журнальной работы перечитать много разнообразныхъ книгъ и статей: Маколея, Прескотта, Мотлея, нѣсколько педагогическихъ разсужденій, нѣсколько путешествій (напр., *Фрегатъ Паллада* Гопчарова, по Америкѣ—Лакіера, по Африкѣ—Ливингстона), нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ (напр., *Химія вседневной жизни* Джонстона, *Исторія земной коры* Куторги, *Физическая географія* Гюйо, *Громъ и молнія* Араго).

И вотъ въ то время какъ товарищи цѣлый крестовый походъ подіяли противъ Писарева, доказывая ему, что не слѣдуетъ увлекаться журнальной работой, которая отводитъ человека отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и въ пагубный диллетантизмъ, одинъ годъ журнальной работы по словамъ Писарева принесъ больше пользы его умственному развитію, чѣмъ два года усиленныхъ занятій въ университетѣ и бібліотекѣ. Лѣто 1859 года было для него временемъ умственного кризиса. Всѣ понятія, остававшіяся въ умѣ его съ дѣтства, всѣ готовые сужденія, всѣ гипотезы, имѣющія тиранническое вліяніе на мысли и поступки людей,—все это заколыхалось и стало обнаруживать свою несостоятельность. Осенью 1859 года Писаревъ пріѣхалъ.

съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. „Опрокинувъ,—говоритъ онъ,— въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то Титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь; я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли“.

Въ этомъ увлеченіи, „олимпійскомъ сіяніи“, какъ пазывали въ то время товарищи восторженное состояніе духа Писарева, онъ замыслилъ изслѣдовать много о древне-греческой *мойрѣ*, напередъ рѣшивъ, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшіе олимпійскіе боги, по всей вѣроятности,—ничто иное, какъ неизвѣстная сила законовъ природы. Мѣсяца два онъ работалъ неутомимо; прочелъ восемь пѣсней Иліады въ подлинникъ, сдѣлалъ массу выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о мифологическихъ и теологическихъ понятіяхъ Гомера. Но за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія, апатіи, разрѣшившейся полнымъ умственнымъ разстройствомъ, принявшимъ характеръ маниакальнаго преслѣдованія. „Я дошелъ до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости,—повѣствуетъ Писаревъ о своей болѣзни,—и сталъ воображать себѣ, что меня мучаютъ, убьютъ или живого заруютъ въ землю. Скептицизмъ мой вышелъ изъ границъ и началъ отрицать существованіе дня и ночи. Все, что мнѣ говорили, все, что я видѣлъ, даже все, что я ѣлъ, встрѣчало во мнѣ непобѣдимое недовѣріе. Я все считалъ искусственнымъ и приготовленнымъ нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свѣтъ и темнота, луна и солнце на небѣ казались мнѣ декораціями и входили въ составъ общей громадной мистификаціи.“

Писарева помѣстили въ лечебницу доктора Штейна, гдѣ онъ и пробылъ четыре мѣсяца. По выздоровленіи, онъ провелъ лѣто 1860 года въ деревнѣ и, набравшись новыхъ силъ, воротился осенью въ столицу оканчивать университетскій курсъ. Въ этотъ годъ была задана студентамъ филологическаго факультета тема на соисканіе медалей *Объ Аполлоніи Тианскомъ*. Писаревъ задумалъ писать на эту тему. Мѣсяцъ былъ употребленъ имъ на чтеніе и выписки; въ ноябрѣ онъ началъ писать, а къ началу января кончилъ свой трудъ, разросшійся до пятнадцати печатныхъ листовъ и приведшій въ изумленіе профессора исторіи Касторскаго, когда тотъ узналъ, что диссертация писалась прямо набѣло, безъ малѣйшихъ поправокъ.

Писареву была присуждена за его трудъ серебряная медаль. Не огорчившись этимъ, онъ помѣстилъ диссертацию свою въ *Русскомъ Словѣ* лѣтомъ 1861 года и получилъ за нее до шестисотъ рублей. Это былъ первый выходъ его въ толстомъ журналѣ. Съ этихъ поръ онъ оставилъ *Разсвѣтъ* Крепнина и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Русскаго Слова*.

## VII.

Уже на послѣднемъ курсѣ университета, вмѣстѣ съ довершеніемъ полного нравственнаго и умственнаго переворота, совершенно измѣнилась и внѣшняя жизнь Писарева. Со всѣми прежними товарищами онъ безповоротно разорвалъ. Онъ тогда уже началъ проповѣдывать свою излюбленную теорію эгоизма и доказывать, что человѣкъ долженъ свободно и безотчетно отдаваться всѣмъ своимъ естественнымъ влеченіямъ, и

весь ушелъ въ журнальную работу, находя въ ней одной все свое призваніе и цѣль жизни. Товарищи въ его теоріи эгоизма увидѣли оправданіе всякихъ злодѣяній и, убѣдившись, что онъ навсегда похитилъ святую науку, предали его окончательной анафемѣ и отвернулись отъ него.

Онъ жилъ теперь уже не у Тр., а въ одномъ студенческомъ вертепѣ, гдѣ несмолкаемо днемъ и ночью шелъ дымъ коромысломъ отъ безкопечной оргіи, сопровождаемой хоровыми пѣснями, карточными спорами и пьяными скандалами. И вотъ среди этого шума и гама Писаревъ писалъ свои первыя статьи въ *Русскомъ Словѣ*, подтягивая въ то-же время поющимъ товарищамъ или урезонивая другихъ играть восемь въ червяхъ, а не семь. Дни и ночи не разгибая спины, сидѣлъ онъ такимъ образомъ за своими критическими работами: но эта кипучая дѣятельность, сопровождаемая столь-же кипучимъ разгуломъ, продолжалась недолго. Наступилъ 1862 годъ, мрачный для всѣхъ, роковой для многихъ, въ который и надъ Писаревымъ разразилась неожиданная катастрофа.

Нужно замѣтить, что передъ наступленіемъ этой катастрофы состояніе духа Писарева снова крайне омрачилось. Дѣвушка, которую онъ продолжалъ любить и которая передъ тѣмъ начала склоняться на его мольбы и подавать ему такія надежды, что онъ считался уже парфичнымъ женихомъ ея, вновь охладѣла къ нему и отказала ему въ своей рукѣ. Съ закрытіемъ *Русскаго Слова* вмѣстѣ съ *Современникомъ*, послѣдовавшимъ въ томъ-же году, Писаревъ остался безъ работы и безъ денегъ. Все это вмѣстѣ повергло его въ такое отчаянное настроеніе, въ которомъ человѣкъ шлетъ какіхъ-либо сильныхъ ощущеній и бываетъ готовъ на все. Ни по складу своихъ убѣжденій, ни по своей мягкой и кроткой натурѣ, Писаревъ, эта хрустальная коробочка, неспособная ничего утаивать, никогда не былъ расположенъ къ конспиративной дѣятельности. Это былъ писатель до мозга костей, учившій общество, но не замыкавшійся отъ него и не объявлявшій ему войны. Онъ не разъ выражался о себѣ и подобныхъ ему писателяхъ одного съ нимъ лагеря: „Мы—безумные дровосѣки, которые подпиливаемъ тотъ сукъ, на которомъ сами-же сидимъ. Ну, и конечно, когда концимъ свою работу, первые-же и полетимъ съ нимъ вмѣстѣ.“

Въ апрѣлѣ 1862 года вышла брошюра Шедо-Фероти, содержащая въ себѣ разборъ письма Герцена къ русскому лондонскому посланнику. Брошюра была крайне благонамѣренная, и потому допущена цензурою къ продажѣ. Писаревъ, въ качествѣ критика *Русскаго Слова*, написалъ рецензію на нее, но статья его не была пропущена цензурою и валялась у Писарева на письменномъ столѣ. Однажды къ нему пришелъ товарищъ по университету Баллодъ, человѣкъ мало ему знакомый, и разговаривая съ нимъ, увидѣлъ эту статью и заинтересовался ею. Узнавъ-же, что статья не была допущена цензурою, Баллодъ объявилъ Писареву, что у него имѣется тайная типографія, и очень было-бы желательно напечатать въ ней статью Писарева. Въ другое время Писаревъ можетъ быть и отклонилъ-бы подобное предложеніе мало знакомаго человѣка, не захотѣлъ-бы подвергаться риску изъ-за такыхъ пустяковъ, какъ брошюра Шедо-Фероти. Но, какъ мы сказали уже, онъ былъ въ такомъ отчаянномъ настроеніи духа, въ которомъ по дорожилъ ни жизнью, ни настоящимъ, ни будущимъ и пуждался въ какомъ-нибудь сильномъ первомъ потрясеніи.

И вотъ онъ обѣщался Баллоду написать другой разборъ брошюры Шедо-Фероти, болѣе соотвѣтственный подпольной печати, что онъ и исполнилъ. Разборъ былъ напечатанъ; но вскорѣ затѣмъ Баллодъ былъ арестованъ вмѣстѣ со своею типографіей, а 3-го іюля былъ арестованъ и Писаревъ.

Послѣдствія этого ареста извѣстны. Писаревъ былъ присужденъ къ пятилѣтнему заключенію въ крѣпости, но срокъ этотъ въ послѣдствіи былъ нѣсколько сокращенъ, и Писаревъ былъ освобожденъ въ 1866 году. Четыре года, проведенные имъ въ заключеніи, были въ то-же время годами большей части его литературной дѣятельности. До того времени онъ только-что успѣлъ выступить на литературное поприще и лишь расправлялъ свои крылья; послѣ заключенія, въ послѣдніе два года своей жизни онъ писалъ мало и не написалъ ничего замѣчательнаго; такъ что изъ Петропавловской крѣпости вышло все, чѣмъ Писаревъ прославился и въ чемъ выразилось его значеніе въ русской литературѣ.

По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ вскорѣ разошелся съ Благосвѣтловымъ, принимавшимъ послѣ закрытія *Русскаго Слова* журналъ *Дѣло*,—и началъ сотрудничать въ обновленныхъ Некрасовымъ *Отчественныхъ Запискахъ* съ 1868 года. Но дни его были уже сочтены. Лѣтомъ этого года онъ поселился вмѣстѣ со своею родственницею, Марьею Александровною Марковичъ (Марко Вовчокъ), на дачѣ въ Дубельнѣ, съ цѣлью укрѣпить нервы морскими купаньями. Но въ одинъ жаркій день, купаясь, онъ внезапно утонулъ отъ неизвѣстной причины, несмотря на то, что былъ отличнымъ пловцомъ. Трупъ его, привезенный въ Петербургъ, былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ.

---



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I—Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева. II—Отрицаніе Пушкина. III—Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базаровскаго типа. IV—Признаніе естественныхъ наукъ панацеею общественнаго прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія. V—Максимъ Алексѣевичъ Антоновичъ. VI—Николай Константиновичъ Михайловскій.

### I.

Литературная дѣятельность Писарева не ограничивается однимъ какимъ-либо определеннымъ и однороднымъ характеромъ. Она до такой степени разнородна, что ее слѣдуетъ разсматривать не иначе, какъ съ слѣдующихъ четырехъ сторонъ: во первыхъ Писаревъ является передъ нами выразителемъ тѣхъ рискованныхъ и парадоксальныхъ крайностей, до которыхъ послѣдовательно дошло движеніе шестидесятыхъ годовъ въ своихъ эстетическихъ взглядахъ, полемизируя съ метафизическими эстетиками и оппортунистами пятидесятыхъ годовъ. Во вторыхъ тотъ-же самый Писаревъ является проповѣдникомъ въ образѣ Базаровскаго типа именно того новаго идеала прогрессивныхъ реалистовъ, какой возникъ, какъ мы выше говорили, на почвѣ сенсуальнаго теченія. Въ третьихъ Писаревъ, какъ самъ олимпетворяющій въ себѣ этотъ идеалъ, является блестящимъ популяризаторомъ по части естественныхъ наукъ и всякихъ реальныхъ знаній. И наконецъ въ четвертыхъ онъ отличается поразительно глубокимъ и беспощадно-ѣдкимъ анализомъ какъ разбираемыхъ имъ произведеній, такъ въ особенности и изображаемой ими дѣйствительности.

Что касается до эстетическихъ воззрѣній Писарева, то надо правду сказать крайности, въ которыхъ обвѣпляется опъ, нѣсколько преувеличены его врагами. Прежде всего, половина отвѣтственности за нихъ слѣдуетъ спясть съ него, припавши во вниманіе, что у предшествовавшихъ ему критиковъ, у Чернышевскаго и у Добролюбова, мы видѣли уже задатки отрицательнаго отношенія къ искусству. Критики эти, подъ непосредственнымъ вліяніемъ которыхъ развивался Писаревъ, не ограничивались требованіемъ, чтобы писатели пропитались общественными интересами и въ своихъ произведеніяхъ проводили идею вѣка; по ихъ мнѣнію, искусство, по самому существу своему, играетъ второстепенную, ппзшую, служебную роль вспомогательнаго

средства для памяти, писать по отношенію къ публицистикѣ, психологіи или фило-софіи такое-же иллюстраціонное значеніе, какъ какіе-нибудь анатомическіе или гео-графическіе атласы.

Отъ такого воззрѣнія на искусство былъ одинъ шагъ до полного его отрицанія, что и совершилъ Писаревъ совершенно послѣдовательно и логически въ своей знаме-нитой статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора*, въ которой, какъ извѣстно, доказывая что Щедринъ—ничего болѣе какъ веселый и остроумный балагуръ и слѣдовательно поэтъ чпстаго искусства, онъ совѣтуетъ ему заняться естествознаніемъ: „пусть молъ читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣнѣ владѣть русскимъ языкомъ и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ, а Глуповъ давно пора бросить.“

«Не знаю, какъ другіе, говорятъ Писаревъ въ той-же статьѣ,—а я радуюсь увя-данію нашей беллетристики, и вижу въ ней очень хорошіе симптомы для будущей судьбы нашего умственного развитія. Поэзія въ смыслѣ стиходѣланія стала клониться къ упадку со времени Пушкина; при Гоголѣ романисты или вообще прозаики заняли въ литературѣ то высшее мѣсто, которое занимали поэты; съ этого времени стихо-творцы сдѣлались чѣмъ-то вродѣ литературныхъ башмобузовъ, плохо воору жен-ныхъ, безсильных и неспособныхъ оказать регулярному войску никакого серьезнаго содѣйствія; теперь стиходѣланіе находится при послѣднемъ издыханіи, и конечно этому слѣдуетъ радоваться, потому что есть надежда, что уже ни одинъ дѣйстви-тельно умный и даровитый человѣкъ нашего поколѣнія не истратитъ своей жизни на пронизываніе чувствительныхъ сердецъ убійственными ямбами и анапестами. А кто знаетъ, какое великое дѣло—экономія человѣческихъ силъ, тотъ пойметъ, какъ важно для благосостоянія всего общества, чтобы всѣ его умные люди сберегли себя въ цѣлости и пристроили всѣ свои прекрасныя способности къ полезной работѣ. — Но одержавши побѣду надъ стиходѣланіемъ, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство въ литературѣ; первый ударъ нанесъ этому господству Бѣлинскій; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть зна-менитымъ писателемъ, не сочинивши ни поэмы, ни романа, ни драмы. Это было великимъ шагомъ впередъ, потому что добрые земляки наши выучились читать критическія статьи и понемногу приготовились такимъ образомъ понимать разсужденія по вопросамъ науки и общественной жизни. Когда эти разсужденія сдѣлались воз-можными, тогда Добролюбовъ и Чернышевскій стали продолжать дѣло Бѣлинскаго...

«Теперь оттѣсненіе на задній планъ беллетристики и искусства вообще произведено: въ послѣднее пятилѣтіе не было рѣшительно ни одного чисто литературнаго успѣха; чтобы не унать, беллетристика принуждена была прислониться къ текущимъ инте-ресамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетристическія произведенія, обращающія на себя вниманіе общества, возбуждали говоръ единственно потому, что касались какихъ-нибудь интересныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ намъ примѣръ: *Подводный камень*, романъ,—стоящій по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имѣетъ громкій успѣхъ, а *Дмитіево, отрочество и юность* графа Л. Толстого, вещь замѣчательно хорошая по тонкости и вѣрности психологическаго анализа, читается холодно и проходитъ почти не замѣченною. Теперь пора бы сдѣлать еще шагъ впе-редъ: недурно было-бы понять, что серьезное изслѣдованіе, написанное ясно и увле-кательно, освѣщаетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбежными уклонами отъ главнаго сюжета. Впрочемъ, этотъ шагъ сдѣлается самъ собою и можетъ быть онъ уже наполовину сдѣланъ»....

Но подобное крайнее и рѣшительное отрицаніе искусства по существу у самого Писарева вы найдете лишь въ одной вышеозначенной статьѣ, да и въ ней не болѣе двухъ, трехъ мѣстъ отличающихся такою-же рѣзкостью. Эти мѣста представляютъ собою кульминаціонную точку отрицанія искусства не только въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ вообще, но и въ воззрѣніяхъ самого Писарева, и ему самому такъ трудно было удержаться въ этой точкѣ, на самомъ такъ сказать остріѣ шипля, что въ той-же самой статьѣ уже онъ тотчасъ-же отступаетъ назадъ, скользнуть внизъ и дѣлаетъ уступку въ пользу искусства:

«Разумѣется,—говоритъ онъ,—здѣсь, какъ и вездѣ, не слѣдуетъ увлекаться педантическимъ ригоризмомъ: если въ самомъ дѣлѣ есть такіе человѣческіе организмы, для которыхъ легче и удобнѣе выразить свои мысли въ образахъ, если въ романѣ или въ поэмѣ они умѣютъ выразить новую идею, которую они не сумѣли-бы развить съ надлежащею полнотою и ясностью въ теоретической статьѣ, тогда пусть дѣлаютъ такъ, какъ имъ удобнѣе; критика сумѣетъ отыскать, а общество сумѣетъ принять и оцѣнить плодотворную идею, въ какой-бы формѣ она ни была выражена. Если Некрасовъ можетъ высказываться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи; если Тургеневъ умѣетъ только изобразить, а не объяснить Базарова, пусть изображаетъ; если Чернышевскому удобно писать романъ, а не трактатъ по фیزیологіи общества, пусть пишетъ романъ; этимъ людямъ есть что высказать, и потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ и не остается въ накладе. Это даже хорошо, если такіе люди излагаютъ свои идеи въ безлеитристической формѣ, потому что окончательный шагъ все-таки еще не сдѣланъ, искусство для нѣкоторыхъ читателей и особенно читателейницъ все еще сохраняетъ кое-какіе блѣдныя лучи своего ложнаго ореола...»

Въ статьѣ-же своей *Нерешенный вопросъ* или *Реалисты* (какъ названа статья въ отдѣльномъ изданіи сочиненій Писарева) онъ дѣлаетъ еще шагъ назадъ и уже не условно, какъ въ только-что приведенной цитатѣ, а прямо отказывается отъ полнаго отрицанія искусства:

«Послѣдовательный реализмъ,—говоритъ онъ,—безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги» или историку: «пеки кулебяки», но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей специальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не дастъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою или длинною книгою, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посоветовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки...»

И ниже въ той-же статьѣ мы встречаемъ слѣдующее опредѣленіе, что такое истинный полезный поэтъ, уже не подлежащій тому безусловному отрицанію, какому подверглись въ статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора* всѣ поэты безъ исключеній:

«Истинный полезный поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполнѣ глубокий смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непременно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непременно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе, говоритъ Бернс; я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки...»

Представляя далѣе характеристики Гёте и Гейне для того, чтобы показать, что такие истинные полезные поэты, Писаревъ затѣмъ весьма естественно чувствуетъ необходимость затушевать свое отступленіе и примирить эти опредѣленія съ прежнимъ безусловнымъ отрицаніемъ искусства, и вотъ какъ производитъ онъ это примиреніе:

«Литературные противники нашего реализма,—говоритъ онъ:—простодушно убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько филантропическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ все то, изъ чего нельзя изготовить обѣда, сшить платье или выстроить жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они конечно должны были ожидать, что мои размышленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать въ себѣ безконечныя упреки Шекспиру, Гёте, Гейне и другимъ подобнымъ негодяямъ, за трату драгоцѣннаго времени на непроизводительныя занятія. Они ожидали вѣроятно что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ не Шекспиръ, Гёте не Гёте, чертъ мнѣ—не братъ, всѣ дураки и знать никого не хочу. Такому направленію умозрѣній они были-бы несказанно рады, потому что разумѣется подобная премудрость не поколебала-бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, когда они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ косолапымъ манеромъ,—имъ сдѣлается очень досадно и они начнутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чертиковъ и теперь по неволѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

«И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось, и мнѣ не приходится раскаиваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я соизволялъ г. Щедрина заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увиданіе нашей бедлетистики, какъ символъ возростающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю то-же самое и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанности ругать Шекспира, Гёте, Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль и только мысль можетъ передвигать и обновить весь строй человеческой жизни; все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить...»

II.

Мы нарочно напечатали курсивомъ послѣднія слова только-что приведенной цитаты, потому въ нихъ мы видимъ главный ключъ ко всѣмъ сужденіямъ Писарева о современныхъ и прежнихъ русскихъ писателяхъ, и ключъ этотъ, сколько вы можете судить по этимъ словамъ, заключается ни въ чемъ иномъ, какъ именно въ той существенной задачѣ, которою обуславливается различіе новаго періода нашей литературы отъ стараго. Мы неоднократно уже ставили на видъ, что задача эта въ томъ именно и заключалась, чтобы поставить русское искусство, въ томъ числѣ и поэзію, на одной высотѣ съ западнымъ не по одной только художественности, но и по идейному содержанію. Объ этомъ мечталъ Бѣлинскій, хлопоталъ Добролюбовъ и это-же самое выставляетъ на первый планъ Писаревъ, характеризуя, какъ истинныхъ полезныхъ поэтовъ Гёте и Гейне, писателей дѣйствительно наиболѣе всего богатыхъ идейнымъ содержаніемъ своихъ произведеній.

Изъ этого-же прямо и послѣдовательно проистекалъ и отрицательный взглядъ Писарева на Пушкина. Взглядъ этотъ лежалъ всецѣло въ духѣ вѣка, опять таки въ тѣхъ-же требованіяхъ отъ искусства серьезнаго идейнаго содержанія, которымъ не могъ удовлетворить Пушкинъ, какъ представитель стараго періода русской литературы,—періода выработки формъ и чистой художественности. Задатки отрицательнаго отношенія къ Пушкину мы видимъ уже у Бѣлинскаго, этого перваго провозглашателя новаго періода русской литературы. Такъ, въ самомъ началѣ своихъ статей о Пушкинѣ онъ говоритъ:

«По мѣрѣ того, какъ зарождались въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце полновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни,— всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія, какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видѣ: это уже не поэтъ, безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ и для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣетъ значеніе эстетическое и значеніе историческое, словомъ поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, который, болѣе или менѣе, удовлетворится и будетъ удовлетворяться имъ, а другою, 'большою и значительнѣйшею стороною вполне удовлетворившій своему настоящему, которое онъ вполне выразилъ и которое для насъ—уже прошедшее...»

Еще болѣе рѣзкое и опредѣленное сужденіе объ утратѣ Пушкинымъ значенія для опередившаго его времени въ виду новыхъ требованій отъ искусства вы встрѣтите въ пятой статьѣ Бѣлинскаго о Пушкинѣ въ слѣдующихъ словахъ:

«Какъ-бы то ни было, но по своему возрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая уже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ апатизма, неукротимое

стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мысленіе сдѣлалось теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болезненные вопросы настоящаго».

Очень можетъ быть, что и Писаревъ не пошелъ-бы далѣе подобныхъ относительныхъ взглядовъ на значеніе Пушкина, которые онъ кое-гдѣ и высказывалъ, соглашаясь съ Бѣлинскимъ, что Пушкинъ все-таки имѣлъ историческое значеніе, такъ какъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *новой кружкѣ* и о *бобровомъ воротникѣ*, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о *фіалахъ* и *хламидахъ*. Но тутъ замѣталось одно обстоятельство, которое именно и вывело Писарева далеко пзъ этихъ предѣловъ историческаго безпристрастія. Обстоятельство это заключалось въ томъ, что оппортунисты пятидесятихъ годовъ и теоретики чистаго искусства въ свою очередь были чужды мало-мальски объективно-спокойнаго и безпристрастнаго взгляда на значеніе поэзіи Пушкина. Они относились къ Пушкину не такъ какъ къ прочимъ поэтамъ прежняго времени, ставили его внѣ какой-бы то ни было исторической оцѣнки и предавали ему безусловное значеніе, какъ своего рода богу поэзіи. Ему молились и вмѣстѣ съ тѣмъ его выставляли какъ знамя партіи,—прічемъ наиболѣе высоко ставились именно такія стороны поэзіи Пушкина, которыя были менѣе всего симпатичны и за которые именно и считалъ Пушкина отжившимъ уже Бѣлинскій. Стороны эти мало того что наиболѣе прославлялись, но ставились въ укоръ всѣмъ послѣдовавшимъ писателямъ новой натуральной школы.

Вотъ этотъ именно крайне пристрастный, вышедшій пзъ всѣхъ границъ здраваго смысла культъ Пушкина и обращеніе великаго поэта въ какой-то боевой таранъ въ борьбѣ со всѣми новыми литературными вѣяніями и вызвалъ столь-же крайнюю и слѣпую оппозицію. Уже задолго до извѣстной статьи Писарева *Пушкинъ и Бѣлинскій*, произведшей такую сенсацію, замѣчалось во всей массѣ молодого поколѣнія сильное охлажденіе къ Пушкину, выражавшееся въ предпочтеніи ему Лермонтова. Писаревъ раздѣлялъ со своими сверстниками это охлажденіе и по своей увлекающейся натурѣ перенялъ въ своей статьѣ черезъ край. Главная ошибка статьи этой заключалась въ полномъ отсутствіи всякой исторической перспективы какъ при разборѣ различныхъ произведеній Пушкина, особенно Евгенія Онѣгина, такъ и при оцѣнкѣ общаго значенія поэзіи Пушкина. Произведенія великаго поэта рассматриваются въ ней такъ, какъ будто они вышли только-что вчера, и крѣпка имѣла право предъявлять къ нимъ современныя требованія. Но еще разъ повторяемъ, ошибка эта зависѣла отъ того, что и противники въ свою очередь толковали о значеніи Пушкина не историческомъ, для его времени, а по отношенію къ ихъ современности, упирая и топчась въ грязь во имя Пушкина съ его пресловутою художественною объективностью и елейностью всю современную литературу.

И какъ ни велики крайности отрицаній Пушкина, до которыхъ дошелъ Писаревъ въ своей статьѣ, какъ ни коробятъ васъ въ ней разныя излишнія и грубыя рѣзкости, все-таки слѣдуетъ принять въ соображеніе, что Писаревъ не былъ одинокимъ, пропавшимъ все это. Его окриляло именно то охлажденіе къ Пушкину, которое раздѣляли

съ нимъ всѣ его сверстники. Замѣчательно въ этомъ отношеніи было чутье его, — чутье всѣхъ писателей, которые являются выразителями чувствъ и думъ, разлитыхъ въ массахъ: обрушивши всѣ свои критическіе громы на одного Пушкина, Писаревъ ни однимъ словомъ не обмолвился о Лермонтовѣ. Онъ какъ-бы чувствовалъ, что такое-же отрицательное отношеніе къ Лермонтову не встрѣтитъ равнаго сочувствія въ людяхъ его поколѣнія и не будетъ столь популярно, и чутье не обмануло его: дѣйствительно — попытки сотрудника Писарева по *Русскому Слову*, Зайцева, развѣчивать точно такъ-же Лермонтова не имѣла, какъ извѣстно, ни малѣйшаго успѣха.

### III.

Въ качествѣ моралиста и проповѣдника новыхъ идеаловъ Писаревъ, какъ мы сказали уже, является представителемъ сенсуальнаго теченія шестидесятыхъ годовъ. Съ самыхъ первыхъ статей своихъ и до смерти онъ всегда оставался чистопробнымъ индивидуалистомъ, выставляя на первый планъ прогрессъ личности путемъ самосовершенствованія, причемъ прогрессъ этотъ онъ ставилъ въ зависимость отъ двухъ условій: во-первыхъ чтобы личность была безгранично свободна въ своихъ стремленіяхъ и страстяхъ, повинувась лишь влеченіямъ ума и сердца, и во-вторыхъ чтобы она развивала свой умъ въ духѣ реального мышленія путемъ изученія естественныхъ наукъ и приобрѣтенія положительныхъ знаній.

Мы видѣли, что и Добролюбовъ, и Чернышевскій выводили нравственность изъ эгоизма и ратовали противъ насильственнаго подчиненія человѣка нравственному долгу. Но тѣмъ не менѣе высшимъ нравственнымъ идеаломъ все-таки они считали самопожертвованіе личности общей пользѣ, требуя лишь, чтобы это самопожертвованіе происходило изъ свободнаго стремленія къ нему человѣка, безъ всякихъ приневоливаній.

У Писарева-же, какъ сенсуалиста, на первомъ планѣ стоитъ стремленіе къ наслажденію, къ тому, чтобы провести жизнь какъ можно пріятнѣе, въ чемъ онъ и полагаетъ свою теорію эгоизма. Такъ, въ одной изъ первыхъ статей своихъ *Стоячая вода* онъ такъ опредѣляетъ эгоизмъ:

«Эгоизмъ, т. е. любовь къ собственной личности ставитъ цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно — это уже подсказываютъ каждому его наклонность, его личный вкусъ. Стало быть внутри понятія эгоизма открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошие, и дурные люди; эгоистъ — человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдовательно онъ дѣлаетъ только то, чего ему хочется, или другими словами остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу, ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно, въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и не одинъ человѣкъ не имѣетъ права пододвинуть это естественное и живое разнообразіе подъ какую-нибудь придуманную или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствіе нравственнаго принужденія — вотъ единственный существенный признакъ эгоизма...».

Вмѣстѣ съ освобожденіемъ отъ внутренняго насильственнаго подчиненія нравственному долгу, личность должна позаботиться освободиться и отъ всякихъ внѣшнихъ насилій со стороны общества. Гнетъ общества по мнѣнію Писарева надъ личностью такъ-же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если-бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣсняя свободы своихъ сосѣдей и членовъ своего семейства, тогда конечно были-бы устранены причины многихъ несчастій и страданій.

И Добролюбовъ, и Чернышевскій проповѣдывали освобожденіе личности пзъ-подъ внѣшняго гнета, но гнетъ этотъ они видѣли въ дурныхъ общественныхъ условіяхъ, и освобожденіе личности полагали въ переработкѣ этихъ условій общими дружными усиліями. Писаревъ же подъ гнетомъ подразумѣвалъ различные предразсудки, устарѣлые свѣтскіе обычаи и приличія; освобожденіе-же отъ нихъ возлагалъ исключительно на одну энергію и волю отдѣльной личности.

«Тѣ условія,—говоритъ онъ въ той-же статьѣ,—при которыхъ живетъ масса нашего общества,—такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попытаете на чемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшается въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, пересуживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашею доброю волею, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будутъ досаждаютъ вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если-же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое слагается у насъ изъ очень неблагоприятныхъ матеріаловъ, то васъ право скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подивятся или даже ужаснутся, но потомъ видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эксцентричности ваши идутъ себѣ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погибшаго человѣка и такъ или иначе оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое вниманіе...»

Итакъ, вотъ основа нравственнаго идеала, выставляемаго Писаревымъ: это личность—самоосвободившаяся отъ всѣхъ нравственныхъ законовъ и принциповъ и свободно отдавшаяся своимъ страстямъ и похотямъ съ цѣлью извлечь изъ жизни такое количество разумныхъ наслажденій, какое только можетъ вмѣстить человѣческая природа. Именно этотъ самый идеалъ усматриваетъ Писаревъ въ тургеневскомъ Базаровѣ и прославляетъ его за это.

«Итакъ, — говоритъ онъ въ своей статьѣ *Базаровъ* — Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ. Имъ управляетъ только личная прихоть или личные расчеты. Ни надъ собою, ни оиъ себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ—силы огромны.—Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ!—слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодѣй, уродъ! браните болше, преслѣдуйте его сатирой и эпиграммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, кострами инквизиціи и толпами палачей; и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его въ смиртъ на удивленіе почтенной публикѣ. Если базаровщина—болѣзнь, то



она болѣзнь нашего времени, и се приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно—это ваше дѣло; а остановить—не остановите; это—та-же холера...»

Какъ истому сенсуалисту, одно только не нравится Писареву въ Базаровѣ: за-чѣмъ онъ отрицаетъ обаяніе красотъ природы и тѣмъ уменьшаетъ количество наслажденій въ жизни человѣка. Писаревъ видитъ въ этомъ своего рода идеализмъ и аскетизмъ.

«Вооружась противъ идеализма,—говоритъ онъ,—и разбивая его воздушные замки, Базаровъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться и къ какой мѣркѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природою—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій.»

#### IV.

Но одною свободою отъ всѣхъ внутреннихъ и вѣшнихъ стѣсненій не исчерпывается еще идеалъ Писарева. Вторымъ условіемъ личнаго самосовершенствованія Писаревъ ставитъ, какъ мы говорили выше, умственное развитіе въ духѣ реализма путемъ пріобрѣтенія естественнонаучныхъ, положительныхъ знаній. Въ этомъ отношеніи Писаревъ выказываетъ строгую послѣдовательность до конца, полагая единственное спасеніе міра въ распространеніи базаровскаго типа свободомыслящихъ и просвѣщенныхъ реалистовъ, и отрицая все и вся, что къ этому типу не подходитъ. Въ послѣдовательности этой онъ доходитъ до такой смѣлости, что не останавливается передъ отрицаніемъ даже какихъ бы то ни было нравственныхъ или умственныхъ достоинствъ того самаго народа, передъ которымъ въ то время преклонялись всѣ безъ исключеній:

«Реалистъ—мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Реалисты*. Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалистами могутъ быть въ настоящее время только представители умственного труда. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи чернорабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди ничто иное какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ человѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—туманное пятно, изъ котораго вырабатываются новые міры, но о которомъ до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ—это въ настоящее время почти немыслимо, а въ Россіи при нашихъ допотопныхъ пріемахъ и орудіяхъ работы еще болѣе немыслимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ.

«Такимъ образомъ, самый реальный трудъ, приносящій самую осязательную и неоспоримую пользу, остается ни въ области реализма, ни въ области практическаго разума. Въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ обще-

человѣческой мысли. Что-жь намъ дѣлать съ этими подвалами? Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственной труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда онъ прямо или косвенно клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы.»

При такомъ презрительномъ, чисто барскомъ воззрѣніи на народъ, какъ безмысленный агломератъ живыхъ машинъ, чуждыхъ всякой умственной и нравственной жизни, очень понятно, что Писаревъ не могъ иначе, какъ отрицательно, отнестись къ статьѣ Добролюбова *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*. Возвеличеніе Катерины Добролюбовымъ должно было показаться Писареву крайне дикимъ и неосновательнымъ. Какой-же лучъ свѣта въ темномъ царствѣ можно предполагать въ невѣжественной суевѣрной героинѣ *Грозы*, дрожавшей передъ каждымъ мало-мальски свободнымъ и самостоятельнымъ шагомъ и несъумѣвшей найти никакого исхода изъ своей неволи, какъ лишь въ волнахъ Волги. — Развѣ таковы бываютъ настоящіе „лучи“?

«Умная и развитая личность, говоритъ Писаревъ, сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,—все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду человѣческой рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ по крайней мѣрѣ уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка,—а людямъ очень полезно уважать то, что дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодежь, кто способенъ любить идею кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ быть начать новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ такимъ образомъ обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если они внушатъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притѣсняли,—то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлаютъ въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ ихъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ приѣмовъ. Такъ вотъ какіе должны быть «лучи свѣта» — не Катеринѣ чета».

Наконецъ мы замѣчаемъ у Писарева ту-же характеристическую черту, которая отличаетъ всѣхъ моралистовъ-индивидуалистовъ, а именно, ставя на первый планъ самосовершенствованіе личности, они затѣмъ и общественный прогрессъ выводятъ прямо изъ этого личнаго самосовершенствованія, такъ что общественный прогрессъ сводится у нихъ къ простому количественному размноженію носителей ихъ идеала.— Подобно тому, какъ Гоголь полагалъ, что крѣпостное право само собою парализируется по мѣрѣ того, какъ всѣ помѣщики проникнутся духомъ благочестія, какое онъ проповѣдывалъ, подобно тому, какъ гр. Л. Толстой мечтаетъ о воцареніи царства небснаго на землѣ, какъ только каждый человѣкъ постигнетъ евангельскую истину, такъ и Писаревъ былъ убѣжденъ, что на землѣ не замедлитъ воцариться рай, какъ только все человѣчество обратится въ трезвыхъ реалистовъ базаровскаго типа.

«Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми,—говоритъ онъ въ заключеніе статьи *Цѣнны невиннаго юмора*, если наши агрономы, фабриканы и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вмѣстѣ съ тѣмъ выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймутъ, что выгоды и пріятныя увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманивать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будутъ уходить за границу, не будутъ тратиться на безумную роскошь, не будутъ ухлопываться на бесполезныя сооруженія, а будутъ прилагаться именно къ тѣмъ отраслямъ народной промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содѣйствіи. Это будетъ дѣлаться такъ потому, что капиталисты во-первыхъ будутъ правильно понимать свою выгоду, а во-вторыхъ будутъ находить наслажденіе въ полезной работѣ. Это предположеніе можетъ показаться идиллическимъ, но утверждать, что оно—неосуществимо, значитъ утверждать, что капиталистъ—не человѣкъ и даже никогда не можетъ сдѣлаться человѣкомъ. Что касается до меня, то я рѣшительно не вижу резона, почему сынъ капиталиста не могъ-бы сдѣлаться Базаровымъ или Лопуховымъ, точно такъ-же какъ сынъ богатаго помѣщика сдѣлался Рахметовымъ. Для того чтобы подобныя превращенія были возможны и даже обыкновенны, необходимо только чтобы въ нашемъ обществѣ постоянно поддерживалась та свѣжая струя живой мысли, которую вносятъ къ намъ зарождающееся естествознаніе. Если всѣ наши капиталы, если всѣ умственныя силы нашихъ образованныхъ людей обратятся на тѣ отрасли производства, которыя полезны для общаго дѣла, тогда разумѣется дѣятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будетъ возрастать постоянно, и качество его мозга будетъ улучшаться съ каждымъ десятилѣтіемъ. А если народъ будетъ дѣятеленъ, богатъ и уменъ, то что можетъ помѣшать ему сдѣлаться счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ»...

Въ этихъ *идиллическихъ предположеніяхъ*, какъ выражается самъ Писаревъ, онъ не былъ одинокимъ, а представлялся выразителемъ тысячъ людей одного съ нимъ типа, которые лишь на видъ казались такими рѣшительными и страшными отщепенцами, а на самомъ дѣлѣ ни къ чему не стремились, какъ лишь къ мирному прогрессу путемъ распространенія естественно-научныхъ знаній.

Увлекаясь естественными науками и видя въ распространеніи естественно-научныхъ знаній панацею ото всѣхъ общественныхъ золъ, Писаревъ весьма естественно изъ всѣхъ литературныхъ и журнальныхъ отраслей особенно высоко ставилъ популяризацию наукъ. Мы видѣли, что даже Щедрина онъ совѣтовалъ бросить писать сатиры и сдѣлаться популяризаторомъ. И смѣемъ думать, что это не была со стороны Писарева одна прона и полемическая выходка. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ совершенно серьезно популяризацию естественно-научныхъ знаній ставилъ неизмѣнно выше какихъ-бы то ни было беллетристическихъ произведеній и искренне вѣрилъ, что въ будущемъ искусство сдѣлается ничѣмъ инымъ, какъ именно популяризацией науки. Такъ, въ концѣ своей статьи *Реалисты*, распространяясь о великомъ значеніи популяризаціи, онъ прямо говоритъ:

«Популяризаторъ непременно долженъ быть художникомъ слова, и высшая, прекраснѣйшая, самая человѣческая задача искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы слитая съ наукою и посредствомъ этого сліянія дать наукѣ такое практическое могущество, котораго она не могла-бы пріобрѣсти исключительно своими собственными  
скаблеческѣй.

средствами. Наука даетъ матеріалъ художественному произведенію, въ которомъ все— правда и все—красота; самая смѣлая фантазія не можетъ ничего подобнаго придумать. Такія художественныя произведенія человѣкъ создастъ еще впоследствии, когда онъ много поумнѣетъ и еще очень многому выучится; но робкія попытки, превосходныя для нашего времени, существуютъ въ этомъ родѣ и теперь»...

И далѣе затѣмъ онъ излагаетъ по пунктамъ правила, которыя должны соблюдать хорошіе популяризаторы, желающіе принести своими популярными статьями истинную пользу. Правила эти—столь замѣчательны, что до сихъ поръ они должны служить руководствомъ для каждаго, кто занимается популяризацией какихъ-либо знаній.

Не ограничиваясь однимъ восхваленіемъ популяризаціи знаній и предписаніемъ правилъ для нея, Писаревъ какъ извѣстно и самъ усердно послужилъ этому дѣлу, и въ теченіе своей литературной дѣятельности представилъ цѣлый рядъ блестящихъ популярныхъ статей по естествознанію и исторіи, которыя и теперь еще читаются молодежью съ большимъ увлеченіемъ.

Но какъ мы сказали выше, всѣмъ этимъ не исчерпывается значеніе Писарева въ нашей литературѣ. Своими эстетическими отрицаніями, проповѣдью базаровскаго типа и популяризацией естественно-научныхъ знаній,—онъ выразилъ лишь тотъ историческій моментъ, въ который развернулась его литературная дѣятельность. Все это были одни лишь молодыя, преходящія увлеченія, и если-бы ими одними исчерпывалась вся дѣятельность Писарева, то сочиненія его кромѣ развѣ нѣсколькихъ популярныхъ-компилятивныхъ статей конечно давно были-бы забыты. Но въ его критическихъ статьяхъ вы найдете нѣчто стоящее неизмѣнно выше его молодыхъ увлеченій и что никогда не потеряетъ свою цѣну. Это именно—блестящій и чуткій критическій талантъ, вооруженный могучимъ, смѣлымъ и безпощаднымъ анализомъ. Этотъ анализъ стоитъ по нашему мнѣнію на одной высотѣ съ добролюбовскимъ и составляетъ главное достоинство критическихъ статей Писарева. Онъ будитъ молодой умъ, заставляетъ вглядываться вокругъ себя пытливымъ взоромъ, сразу раскрываетъ передъ неопытными глазами массу лжи, дѣланности и возмутительнаго зла въ такихъ явленіяхъ жизни, которыя примелькались, и не только не отвращаютъ отъ себя, но кажутся даже чѣмъ-то похвальнымъ и доблестнымъ, и, въ концѣ концовъ, вполне разрушаетъ всѣ дѣтскія радужныя иллюзіи. Таково дѣйствіе такихъ статей, какъ *Стоячая вода, Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ, Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова, Романъ кисейной барышни, Подростающая гуманность, Погибіи и погибающіе, Борьба за жизнь, Старое барство* и пр. Статьи эти до сихъ поръ читаются съ большимъ увлеченіемъ и несомнѣнною пользою и долго еще не будутъ забыты.

## V.

Подъ вліяніемъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева русская критика передового лагеря движенія до сихъ поръ сохраняетъ публицистическій характеръ разсмотрѣнія художественныхъ произведеній съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго значенія и анализа воспроизводимыхъ ими фактовъ съ цѣлью рѣшенія тѣхъ или другихъ общественныхъ вопросовъ или проведенія какихъ-либо

политическихъ пдей. Какъ на наиболѣе выдающихся по своей талантливости и занимавшихъ въ различное время первое мѣсто въ пореволюціонной журналистикѣ изъ всѣхъ послѣдовавшихъ по смерти Добролюбова и Писарева критиковъ мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на двухъ: Максима Алексѣевича Антоновича и Николая Константиновича Михайловскаго.

М. Ал. Антоновичъ родился 27-го апрѣля 1835 г. въ Ылопольѣ, харьковской губерніи. Онъ былъ сынъ дьячка. Учился въ харьковской семинаріи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1855 году и поступилъ въ петербургскую духовную академію, откуда вышелъ въ 1859 году кандидатомъ богословія. Изъ сообщенныхъ Антоновичемъ автобіографическихъ свѣдѣній, напечатанныхъ въ словарѣ С. А. Венгерова, мы видимъ, что „главнымъ образомъ духовная жизнь студентовъ слагалась подъ вліяніемъ текущей журналистики. Новыя вѣянія, широкою волною хлынувшія на все русское студенчество вообще, захватили и студенчество академическое. Будущіе богословы не только зачитывались *Современникомъ*, они пропикали тайкомъ въ Публичную Библіотеку и тамъ добывали Kraft und Stoff Бюхнера и даже *Жизнь Иисуса* Давида Штрауса. Выпускъ 1859 года, къ которому принадлежалъ Антоновичъ, не далъ ни одного монаха“.

Будучи на 4-мъ курсѣ, Антоновичъ отнесъ въ *Современникъ* статью, подобравши въ ней коллекцію современныхъ проповѣдей, въ которыхъ только и можно было пайти, что „восплачьте, братія“, „плачьте, люди, день и ночь“, „рыдайте, грѣшники“ и т. д. Статья была сдана на просмотръ Добролюбову; онъ нашелъ сюжетъ мало-интереснымъ, но изложеніе ему понравилось, и онъ предложилъ Антоновичу написать что-нибудь хотя-бы тоже изъ знакомой ему церковной сферы, но вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное и для всей публики. Результатомъ этого предложенія явилась неподписанная статья о книгѣ Щапова *Расколъ старообрядчества* (*Совр.* 1859 г., № 10), въ которой начало придало Добролюбовымъ. Съ тѣхъ поръ Антоновичъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Современника*; сначала писалъ статьи о книгахъ философскаго содержанія, со смертию-же Добролюбова въ 1861 г. перешелъ на критическій отдѣлъ, а съ 1863 г., послѣ ареста Чернышевскаго, ему было предложено редактированіе этого отдѣла.

Уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, при Добролюбовѣ и Чернышевскомъ, Антоновичъ обратилъ на себя вниманіе своими философскими статьями, каковы: *Современная философія* (по поводу философскаго лексикона Гогоцкаго), *Два типа современныхъ философовъ* (по поводу *Трехъ бесѣдъ о современномъ значеніи философіи* П. Л. Лаврова), *О Гегелевской философіи* (по поводу книги Тайна — Гегель и его время), *Современная фізіологія и философія* (о Физіологій обыденной жизни Льюиса), по наибольшее впечатлѣніе произвелъ онъ своею критикою *Отцовъ и дѣтей* Тургенева въ № 3 *Современника* за 1862 годъ, подъ заглавіемъ *Асмодей нашего времени*. Статья эта конечно далеко не удовлетворитъ насъ, если мы будемъ смотрѣть на нее съ точки зрѣнія идеала истинной художественной критики и искать въ ней всесторонняго разбора романа Тургенева. Она носитъ, какъ и большинство критикъ того времени прогрессивнаго лагеря, исключительно публицистическій характеръ, и сравненіе романа Тургенева съ *Асмодеемъ* Асоченскаго конечно сдѣлано не въ серьезъ.

а есть лишь рѣзкій полемическій приѣмъ, имѣющій цѣлью повалить врага однимъ ударомъ. Но статья Антоновича вѣдь и написана была не для изслѣдователей таланта Тургенева, учителей словесности и ихъ учениковъ и не для потомства; это была боевая статья, требуемая обстоятельствами времени, и она достигла своей цѣли. Нужно взять во вниманіе ту вредную разлагающую сенсацію, какую произвелъ романъ Тургенева въ русскомъ обществѣ, восторгъ реакціонеровъ, положительно поднявшихъ головы послѣ появленія романа, въ которомъ передовое молодое поколѣніе, жаждущее свѣта и блага, было изображено въ видѣ нигилистовъ, безсмысленно отрпцающихъ все и вся, на каждомъ шагѣ сами себя противорѣчащихъ и попадающихъ въ глупые просакы. Обиднѣе всего было то, что значительная часть самого молодого поколѣнія не поняла той пощечины, какая ей была дана Тургеневымъ, и начала искать своего идеала въ образѣ Базарова, и въ числѣ такихъ не раскусившихъ оскорбленія было вдругъ свѣтило молодой критики въ лицѣ Писарева, начавшаго носиться со своимъ базаровскимъ типомъ. Статья Антоновича въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ была необходимымъ отпоромъ противъ восторженныхъ овацій оперявшейся реакціи; разобравши всѣ несообразности романа Тургенева и доказавши, что Базаровъ есть клевета на молодое поколѣніе, Антоновичъ умѣрилъ восторги противниковъ и открылъ глаза тѣмъ изъ своихъ единомышленниковъ, которые желали видѣть.

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ статья Антоновича впервые вполне ясно опредѣлила тотъ антагонизмъ, какой таился въ средѣ прогрессивнаго лагеря между фракціею народниковъ *Современника* и естественниковъ *Русскаго слова*. Между обоими журналами возникаетъ съ этого момента ожесточенная полемика, которая велась не изъ одной только вражды двухъ конкурирующихъ журналовъ и вовсе не была лишь личнымъ турниромъ Антоновича съ Писаревымъ и Зайцевымъ изъ-за того, кому занимать первое мѣсто въ критикѣ,—а именно борьбою двухъ фракцій: вся молодежь того времени раздѣлилась на два лагеря—на приверженцевъ *Современника* и *Русскаго Слова*. Полемическіе фельетоны Антоновича, подписанные *Постороннимъ сатирикомъ*, читались точно такъ-же нарасхватъ, какъ и отвѣты и отругиванья на нихъ сотрудниковъ *Русскаго Слова*. Въ ожесточеніи борьбы много было сказано излишняго съ обѣихъ сторонъ; противники доходили до такого самозабвенія, что принципиальную полемику замѣняли площадною руганью не совсѣмъ хорошаго тона; это роняло партію въ глазахъ противниковъ. Но приверженцы обѣихъ фракцій прощали своимъ друзьямъ всѣ излишества, отлично понимая, что не въ нихъ главная суть, и къ тому-же находясь съ своими вождями на одной степени грубости русской культуры.

Во всякомъ случаѣ борьба *Современника* съ *Русскимъ Словомъ* имѣетъ значеніе въ русской литературѣ вовсе не такое маловажное, какъ это кажется многимъ, и она ждетъ еще своей исторіи. Прекращеніе обоихъ журналовъ—*Современника* и *Русскаго Слова* въ 1866 году положило конецъ этой борьбѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ оно положило конецъ и обаянію ея героевъ. Вообще 1866 годъ былъ кризисомъ въ передовомъ лагерѣ, послѣ котораго прежніе представители критики и полемики сходятъ со сцены, а на сцену выступаютъ новые. Писаревъ сразу какъ-то стушевался, войдя въ обновленные *Отечественныя записки*, и вскорѣ умеръ, а Анто-

новичъ, разорвавъ съ Некрасовымъ, въ свою очередь потерялъ свой прежній престижъ.

Разрывъ Антоновича съ Некрасовымъ—явленіе сложное, обуславливается разными причинами и не пришло еще время для всесторонняго и сторпческаго разсмотрѣнія его. Мы обратимъ лишь вниманіе вотъ на какое бросающееся въ глаза обстоятельство, составляющее по нашему мнѣнію внутреннюю флософію этого факта. Замѣчательно здѣсь то странное противорѣчіе, что тотъ-же самый Антоновичъ, который нападалъ на „вслухихъ“ *Слова* преимущественно за ихъ политическій индифференцизмъ и преслѣдованіе однихъ индивидуально-правственныхъ идеаловъ, самъ въ своей распрѣ съ Некрасовымъ всталъ на ту-же индивидуально-нравственную почву. Съ этой точки зрѣнія онъ былъ вполне правъ, такъ какъ дѣйствительно послѣ всего того, что онъ писалъ о Краевскомъ въ *Современникъ*, входить съ нимъ въ какія-бы ни было сдѣлки и тѣмъ болѣе сотрудничать въ издаваемомъ имъ журналѣ—могло нравственно претить Антоновичу, казаться ему и постыднымъ, и унижательнымъ. Правъ онъ былъ передъ своею совѣстью и въ томъ отношеніи, что разъ усвоивъ идеалъ кооперативнаго труда, онъ не соглашался вступать въ какой-либо журналъ иначе какъ на правахъ полномочнаго создателя. Но онъ не принялъ при этомъ во вниманіе политическихъ условій даннаго момента и не сообразилъ, что еслибы всѣ прочіе сотрудники *Современника* подобно ему заботились лишь о нравственной чистотѣ и вѣрности своимъ идеаламъ, партія его была-бы лишена всякой возможности имѣть свой органъ, и общество гораздо болѣе выиграло отъ перехода *Отечественныхъ Записокъ* къ Некрасову, чѣмъ если-бы среди него осталось нѣсколько талантливыхъ писателей безъ дѣла, и имъ только и оставалось-бы, что въ сознаніи своего нравственнаго совершенства вертѣть палецъ вокругъ пальца.

И замѣчательно, что разъ вступивъ на индивидуально-нравственную почву, Антоновичъ въ самой жизни своей не замедлилъ весьма послѣдовательно осуществить тотъ самый базаровскій типъ, который нѣкогда проповѣдывалъ Писаревъ и надъ которымъ онъ такъ беспощадно потѣшался:—онъ совершенно отрѣшился отъ литературнаго движенія и весь ушелъ въ запятія естественнымъ наукамъ, увлекшись геологіею, и изучивши эту науку до такой спеціальности, что въ 1871 г. ему удалось сдѣлать довольно важное открытіе Дѣвонской формаціи по берегамъ зап. Двины.

Участіе-же его въ различныхъ литературныхъ органахъ было послѣ 1866 года очень рѣдко, случайно и мимолетно.

## VI.

Послѣ Антоновича, вмѣстѣ съ переходомъ *Отечественныхъ Записокъ* подъ редакцію Некрасова, первое мѣсто въ критикѣ занялъ Николай Константиновичъ Михайловскій.

Михайловскій родился 1842 году 15-го ноября въ г. Мещовскѣ, калужской губерніи, въ бѣдной дворянской семьѣ. Воспитывался онъ въ Горномъ корпусѣ, по окончилъ тамъ полнаго курса. Литературное поприще свое онъ началъ въ 1862 году, въ

томъ-же *Разсвѣтъ* Кремина, гдѣ выступилъ впервые и Д. И. Писаревъ.—Затѣмъ статьи его встрѣчаются въ *Современномъ Обозрѣніи* Тиблена, въ альманахѣ *Невскій сборникъ*, изд. въ 1867 г. В. Курочкинымъ, въ *Недѣль* 1868 года. Въ *Отечественныя Записки* онъ былъ приглашенъ въ 1869 году и дебютировалъ статьямп: *Что такое прогрессъ* (Герб. Спенсеръ, Собраніе сочиненій), въ №№ 2, 9 и 11 1869 г. *По поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ* въ № 4 и 5 того-же года, *Аналогическій методъ въ общественной наукѣ* № 7 и пр. Изъ философо-публицистическихъ статей его позднѣйшаго времени упомянемъ какъ наиболѣе замѣчательныя—*Теорія Дарвина и общественная наука* (От. З. 1870 г., №№ 1, 3 и 1871 г., № 1), *Органъ, недѣлимое, общество* (1870, № 12), *Замѣтки о Дарвинизмѣ* (1871, № 12), *Что такое счастье* (1872, № 3, 4), *Борьба за индивидуальность, соціологическіе очерки* (1875, № 10, 1876 г. №№ 1, 3, 6), *Вольница и подвижники, историческія параллели* (1877, № 1), *Герои и толпа* (1882, № 1, 2, 5). Изъ литературно-критическихъ статей его наиболѣе выдаются *Суздальцы и Суздальская критика* (1870, № 4), *Десница и шуйца гр. Л. Толстого* (1875, №№ 5, 6, 9), *Жестокій талантъ* (о Ф. Достоевскомъ) (1882, № 10), *О Тургеневѣ* (1884, № 9), *О Глѣбѣ Успенскомъ* (1883, № 12 и передовая статья къ полному собранію сочиненій Гл. Успенскаго, изд. 2-е Ф. Павленкова), *О Щедринѣ* (въ *Русск. Вѣд.* 1889 г.), *Ник. Вас. Шелгуновъ*—вступительная статья къ собранію „Сочиненій Н. Шелгунова“ (изд. Ф. Павленкова 1890 г.) и пр. Сверхъ того рядъ критико-литературныхъ фельетоновъ въ *От. Запискахъ* и *Сѣв. Вѣстникѣ* подъ псевдонимами: Профанъ, Иванъ Непомнящій, Темкинъ.

Чтобы понять значеніе Михайловскаго какъ философа, публициста и критика, нужно взять во вниманіе тотъ моментъ, въ который онъ выдвинулся,—конецъ шестидесятыхъ годовъ.—Это было время, въ которое мы вступали въ новую фазу современной эпохи. Реформы шестидесятыхъ годовъ были почти всѣ уже совершены, и въ общественной жизни наступилъ моментъ полного затишья. Бойцы, нѣкогда ожесточенно боровшіеся, хотя и продолжали смотрѣть другъ на друга враждебно, но ограничивались рѣдкою, вялою перестрѣлкою, считали убитыхъ и раненыхъ, отдавали отчетъ въ запятыхъ и потерянныхъ позиціяхъ и отдыхали. Въ большинствѣ общества чувствовалось тяжелое изнеможеніе; хотя всеми ощущался смутный страхъ при видѣ падающей реакціи, но самый этотъ страхъ былъ какой-то вялый и апатичный, да и самая реакція была въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи, пугливо оглядывалась назадъ въ перѣшности, дѣлать или не дѣлать новые шаги впередъ. Но при всеобщемъ затишьѣ общественной жизни эпоха тѣмъ не менѣе представляла сильное умственное броженіе, являвшееся результатомъ всего пережитаго. Все старое міросозерцаніе, начиная съ патріархальныхъ взглядовъ на міръ Божій нашихъ предковъ и кончая метафизическими умствованіями сороковыхъ годовъ, было окончательно расшатано, повержено, и приверженцы этого міросозерцанія отгрызались уже по какимъ-либо научнымъ или логическимъ доводамъ, а лишь грязными инсинуаціями криминальнаго свойства: не въ силахъ будучи возражать, они только и дѣлали, что кричали караулъ, сваливая въ одну кучу вмѣстѣ съ молодыми, здоровыми и свѣжими отпрысками новыхъ идей всевозможныя заблужденія, возникавшія ежеминутно на почвѣ умственной псе-



зрѣлости и нравственной распушенности нашего общества. И къ тому-же не они одни дѣлали это сваливаніе въ одну кучу всего, что не принадлежало къ ихъ завѣтнымъ преданіямъ: куча эта и безъ нихъ существовала во всемъ своемъ хаотическомъ безобразіи. Самы приверженцы новаго міросозерцанія безразлично сваливали въ одну грудку все, въ чемъ замѣчалась хотя тѣнь протеста противъ гнилого и отжившаго, будь этотъ протестъ самый неосмысленный и нелѣпый. Однимъ словомъ, это была эпоха полной умственной анархіи. Новыя реальныя идеи проповѣдывались и принимались по большей части въ видѣ прекрасныхъ, но тѣмъ не менѣе отрывочныхъ афоризмовъ безо всякой систематической связи и зрѣлой философской выработки. Сначала каждый такой афоризмъ принимался съ громкими рукоплесканіями съ одной стороны, и съ криками ужаса—съ другой, и чѣмъ круче и смѣлѣе онъ ставился, тѣмъ болѣе возбуждалъ шума, а подъ конецъ дѣло дошло до того, что въ хаотической кучѣ нельзя уже было ничего разобрать—истинно прогрессивнаго отъ ложнаго, пшеницы отъ плевелъ, и въ самомъ прогрессивномъ лагерѣ началось кулачное право, присущее каждой анархіи, въ которомъ, какъ это всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, своя своихъ не познаша и побиша. Полемика *Современника* съ *Русскимъ Словомъ*, Антоновича съ Писаревымъ, Зайцевымъ и Благосвѣтловымъ—была однимъ изъ яркихъ проявленій этого кулачнаго права. Конечно не обоюдными ругательствами, площадною бранью, не взаимными успіями повергнуть другъ друга въ грязь можно было распутать всю эту путаницу взаимныхъ недоразумѣній. Здѣсь прежде всего былъ необходимъ свѣтъ знанія и философско-систематической мысли. Въ подобное-то смутное время какъ нельзя болѣе кстати было появленіе публициста, который обладалъ-бы сильнымъ, яснымъ, философски развитымъ и снабженнымъ богатою начитанностью умомъ,—публициста, который припалъ-бы на себя трудную и неблагоприятную обязанность расчистить хаотическую кучу отъ всего накопившагося въ ней мусора, собрать все что было въ ней драгоценнаго и облечь его въ стройную философскую систему. Такимъ желаннымъ публицистомъ и явился Михайловскій.

На Михайловскаго часто сѣтовали за преобладаніе въ его статьяхъ философскаго элемента, за то что онъ дѣйствуетъ болѣе на развитіе ума, чѣмъ на возбужденіе сердца и воли, что онъ—человѣкъ кабинетной мысли, а не практическаго дѣла, философствуетъ и обсуждаетъ, вмѣсто того чтобы встать во главѣ движенія практическимъ руководителемъ и пр. и пр. Но всѣ подобныя сѣтованія совершенно излишни и обнаруживаютъ лишь непониманіе ни характера, ни потребностей времени, въ которое началась литературная дѣятельность Михайловскаго. Во главѣ какого пракческаго движенія могъ встать Михайловскій въ такое время, когда не представлялось вокругъ ничего ни побуждающаго, ни допускающаго двигаться, а между тѣмъ въ виду была очень почтенная и необходимая работа систематизаціи новыхъ идей,—работа, отъ которой зависѣла вся будущность лагеря, къ которому Михайловскій принадлежалъ. И вотъ онъ принялся за эту работу, и въ первыхъ-же своихъ статьяхъ обнаружилъ въ себѣ человѣка, вполне способнаго совершить ее по всѣмъ своимъ какъ умственнымъ, такъ и нравственнымъ качествамъ.

Главная сила таланта Михайловскаго заключается именно въ глубокомъ, ясномъ, философски-воспитанномъ умѣ, обладающемъ при богатой эрудиціи непреодолимою

діалектикою, всеразлагающимъ анализомъ и своеобразнымъ остроуміемъ, отличающимся не мпшурнымъ блескомъ какихъ-либо кунштштюковъ и каламбурцевъ, основанныхъ на внѣшней игрѣ словъ, а на способности выставять различныя нелѣпости и безобразія во всемъ ихъ абсурдѣ чисто флософскимъ путемъ. Убійственный огонь критическихъ и полемическихъ статей Михайловскаго вскорѣ-же послѣ появленія почтеннаго публициста на литературномъ поприщѣ сдѣлался страшнымъ не для однихъ записныхъ и заклятыхъ враговъ его лагеря, но и для многихъ мнимыхъ друзей, которые были въ глазахъ Михайловскаго вреднѣе самихъ враговъ въ томъ отношеніи, что портили дѣло, запутывая умы и безъ того не твердые въ мышленіи, тѣмъ что подъ знаменемъ прогрессивныхъ идей и передовыхъ западныхъ авторитетовъ подносили русской публикѣ всякое гнилье. Желая очистить лагерь отъ этихъ мнимыхъ друго-враговъ (какъ выразился въ одной своей статьѣ Михайловскій), онъ, не ограничиваясь ими, предалъ глубокому анализу и западные авторитеты, чтобы и въ нихъ очистить пшеницу отъ плевелъ и научить русскую публику обращаться къ нимъ критически, не принимая каждое ихъ слово на вѣру. Его статьи о Спенсерѣ, о Дарвинѣ и вообще по соціологіи имѣютъ не одно только публицистическое значеніе, а представляютъ цѣнный вкладъ въ науку, и если-бы ихъ перевести на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, онѣ не замедлили-бы доставить автору ихъ общеевропейскую извѣстность.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I—Общая характеристика школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ; ея отношеніе къ вѣку и значеніе. II—Ив. Сер. Тургеневъ, какъ глава этой школы; происхожденіе Тургенева; его родители. III—Дѣтство; университетское образованіе; путешествіе за границу послѣ университета. IV—Первые шаги на литературномъ поприщѣ. Стихотворенія и первыя антиромантическія повѣсти. V—*Записки охотника*. Ссылка. Дальнѣйшіе факты жизни Тургенева до его смерти. VI—Характеристика самаго цвѣтущаго періода дѣятельности Тургенева. VII—Романъ *Отцы и дѣти* и характеристика четвертаго послѣдняго періода дѣятельности Тургенева. VIII—Общее значеніе Тургенева какъ художника. Его политическія и эстетическія воззрѣнія.

### I.

Самымъ крупнымъ явленіемъ въ области изящной литературы въ разсматриваемую нами эпоху является безъ сомнѣнія школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Школа эта, представляющая цѣлую плеяду могучихъ талантовъ, обогатившихъ русскую литературу несмѣтнымъ количествомъ первостепенныхъ произведеній, безспорно является замѣчательнѣйшимъ явленіемъ не только въ русской жизни, но и въ обще-европейской. Нѣтъ ничего удивительнаго, что Европа въ настоящее время взапуски переводитъ на всѣ свои языки произведенія этой школы, и чѣмъ болѣе ихъ переводитъ, тѣмъ болѣе удивляется ихъ совершенству, восхищается ихъ художественностью, проникается ихъ идейнымъ содержаніемъ, подражаетъ имъ,—и вообще ставитъ ихъ въ ряду высшихъ проявленій европейскаго искусства. Въ произведеніяхъ этихъ Европа увидѣла уже не одинъ младенческій лепетъ пробуждающагося генія, не одно только болѣе или менѣе талантливое отраженіе ея европейскихъ думъ, чувствъ и образовъ, а нѣчто зрѣлое, самостоятельно пережитое, органически произросшее на своей собственной почвѣ и къ тому-же глубоко проникнутое такими высокими и гуманными идеями, которыми представляются заветною святынею всего человѣчества.

Этимъ своими достоинствами школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ и все великое, обязана тому, что она представляетъ собою явленіе крайне сложное,—соединеніе въ одномъ всепоглощающемъ синтезѣ нѣсколькихъ теченій, которые до того времени текли врозь и каждое само по себѣ страдало односторонностью.

Такъ прежде всего въ этой школѣ какъ нельзя болѣе органически и счастливо

соединились два теченія того времени: съ одной стороны пушкинская объективность, художественная созерцательность всего, что было въ русской жизни поэтичнаго, съ другой отрицательно-сатирическая струя натуральной гоголевской школы, обращавшей главное вниманіе на несовершенства русской жизни. Нужно-ли и говорить о томъ, что каждое изъ этихъ теченій само по себѣ страдало крайнею односторонностью. Пушкинская художественная созерцательность, которой такъ восхищались наши оппортунисты, могла обогатить русскую литературу рядомъ произведеній въ духѣ чистаго искусства, художественныхъ и поэтическихъ, но имъ не доставало-бы того живого общественнаго значенія, которое имѣютъ произведенія беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Въ свою очередь отрицательно-сатирическое теченіе натуральной школы лишло-бы произведенія беллетристовъ сороковыхъ годовъ ихъ чарующихъ художественныхъ красотъ, придаю-бы имъ тотъ слишкомъ сухой, черствый характеръ, какой имѣютъ обязательныя произведенія конца пятидесятихъ годовъ. Соединеніе-же обоихъ теченій въ произведеніяхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ повело за собою тотъ прекрасный результатъ, что русская жизнь въ этихъ произведеніяхъ рисуется всесторонне, какъ во всѣхъ ея мрачныхъ и отрицательныхъ явленіяхъ, такъ и въ прекрасныхъ и поэтическихъ. При всемъ различіи въ индивидуальныхъ качествахъ и чертахъ тѣхъ или другихъ беллетристовъ этой школы произведенія ихъ имѣютъ много сходнаго между собою въ томъ отношеніи, что отъ большинства ихъ въ одинаковой степени пахнетъ деревней, благоуханіемъ широкихъ луговъ, пашень и тѣнистыхъ садовъ, окружавшихъ старинныя помѣщичьи усадьбы; во всѣхъ нихъ вы найдете массы ландшафтовъ сельской природы и цѣлую галлерею женскихъ типовъ,—однѣ другого плѣнительнѣе и граціознѣе; большинство ихъ претисполнено вмѣстѣ съ тѣмъ юмора, иногда саркастически горькаго, большею-же частью добродушно-веселаго, чисто народно-русскаго.

Но этимъ соединеніемъ двухъ теченій русской поэзіи не ограничилась школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Въ ней не замедлило отразиться и то соціально-нравственное движеніе, то броженіе идей, какое мы видѣли въ передовыхъ интеллигентныхъ слояхъ нашего общества въ сороковые и пятидесятыя годы. Такъ какъ движеніе это совершалось подъ вліяніемъ французской литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ послѣдней-же наиболѣе всего передовыя идеи вѣка выражались въ школѣ романтиковъ, въ главѣ которыхъ стояли Викторъ Гюго и Жоржъ-Зандъ, то эти два писателя наибольшее вліяніе оказали на беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но необходимо поставить на видъ, что вліяніе это было чисто умственное и нравственное, а отнюдь не художественное; беллетристы сороковыхъ годовъ прониклись лишь тѣми гуманными и демократическими идеями, которыя проповѣдывали любимые ихъ беллетристы, но въ то-же время остались чужды того восторженнаго идеализма, которымъ проникнуты произведенія французскихъ романтиковъ, и избѣгли воплощеній новыхъ идеаловъ въ различные фантастическіе образы, какіе мы находимъ въ произведеніяхъ Виктора Гюго и Жоржъ-Зандъ. Здѣсь вліяли съ одной стороны врожденныя сѣвернымъ народамъ трезвость мысли и склонность къ натурализму; съ другой—то реальное направленіе, по которому безвозвратно пошла русская литература подъ вліяніемъ Пушкина и Гоголя.—При такихъ условіяхъ вліяніе фран-

цузскихъ романтиковъ на нашихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ выразилось въ томъ, что, проникшись ихъ идеалами, они на основаніи этихъ идеаловъ приступили къ анализу русской жизни, который и составляетъ главную силу и достоинство школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

Мы уже говорили выше, что анализъ всѣхъ основъ современныхъ обществъ, который составляетъ преобладающее явленіе XIX вѣка во всей Европѣ, по необходимости долженъ былъ въ нашей литературѣ принять наиболѣе рѣшительный, интенсивный характеръ, такъ какъ намъ нечего было жалѣть, сохранять, не передъ чѣмъ останавливаться; дѣйствительность была слишкомъ мрачна, такъ и бросалась въ глаза массою самыхъ безобразныхъ явленій. А тутъ еще присоединилась реакція пятидесятихъ годовъ, когда эти безобразныя явленія усилились и количественно, и качественно, а въ то-же время по всей Европѣ водворилась безпросвѣтная мгла, которой не видѣли психода.

При такихъ условіяхъ анализъ отрицательныхъ сторонъ русской жизни принялъ въ произведеніяхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ еще болѣе мрачный и развѣдающій характеръ. Они утратили ту бодрость духа и жизнерадостность, какая отличаетъ многія первыя ихъ произведенія, писанныя до 1848 года, и напротивъ того исполнились скептическаго взгляда на жизнь и людей подъ-часъ вполне пессимистическаго характера. Привычка анализировать, разлагать явленія жизни и обращать главное вниманіе на отрицательныя ихъ стороны дошла до того, что подобно Гоголю беллетристы сороковыхъ годовъ утратили способность изображать идеальные типы. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ (Искаровъ, Штольцъ) отличаются одинаковою неудачей: идеальные типы выходятъ у нихъ не живыми людьми, а отвлеченными фигурами, крайне натянутыми, безжизненными и неестественными. Это-же преобладаніе въ беллетристѣхъ сороковыхъ годовъ скептическаго анализа и отрицательнаго отношенія къ жизни повело къ тому, что въ шестидесятыя годы, когда наступила эпоха новыхъ людей, новыхъ идей и идеаловъ, когда восторженные послѣдователи этого движенія ожидали отъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, что они не замедлятъ встать во главѣ его, облечутъ въ величественныя и блестящія образы новыя идеалы, беллетристы обманули всеобщія ожиданія: они всѣ отнеслись и къ новому движенію и къ новымъ людямъ съ тѣмъ-же скептическимъ отрицаніемъ, съ какимъ привыкли относиться ко всѣмъ явленіямъ жизни.

Всѣ они были вслѣдствіе этого обвинены въ пзмѣнѣ, репегатствѣ, но это совершенно неправильно и напрасно. На самомъ дѣлѣ пзмѣнилось время, пзмѣнились требованія, беллетристы-же сороковыхъ годовъ напротивъ того оттого именно и встали въ разладъ съ движеніемъ, что ни мало не измѣнились, а остались тѣми-же, чѣмъ были и прежде. Здѣсь произошло удивительное *qui-pro-quo* въ томъ отношеніи, что пенсиривные скептики и отрицатели бросили обвиненіе въ отрицаніи и пичилизмѣ горячимъ энтузіастамъ, требовавшимъ положительнаго и восторженнаго отношенія къ ихъ идеаламъ, стремленіямъ и дѣйствіямъ.

Беллетристы сороковыхъ годовъ въ этомъ отношеніи заслуживаютъ тѣмъ большаго снисхожденія, что ихъ скептически - отрицательное отношеніе къ жизни имѣло отнюдь не какой-либо отвлеченный и безцѣльный характеръ отрицанія ради отри-

цанія, а напротивъ того глубокой гражданской, демократической смыслъ. Главнымъ образомъ они обрушивались на тѣ пороки и слабости русской интеллигенціи, какіе развились на почвѣ крепостного права и даровой паразитной жизни на счетъ труда крестьянъ. При этомъ они преслѣдовали не одни только варварскія и звѣрскія злоупотребленія крепостнымъ правомъ, но осмѣивали постоянно нравственное растлѣніе въ видѣ безхарактерности, нервной развѣченности, разлада словъ и дѣлъ, сластолюбія, тщеславія, рисовки, какое замѣчалось въ лучшихъ, передовыхъ и самыхъ гуманныхъ представителяхъ помѣщичьей среды. Въ этомъ отношеніи безпощадный анализъ ихъ имѣетъ мало того что громадное значеніе во всемъ ходѣ общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ, онъ поражаетъ васъ глубокою и безпримѣною въ исторіи искренностью самобичеванія. Можно сказать, что въ лицѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ лучшихъ своихъ представителей, цѣлый слой общества, передовой и господствовавшей до того времени, всенародно покааялся во всѣхъ своихъ протеческихъ грѣхахъ, во всѣхъ наследственныхъ порокахъ и предалъ себя полному отрпцанію, и, повторяя мѣткое выраженіе Писарева, беллетристы сороковыхъ годовъ болѣе чѣмъ кто-либо изъ современныхъ имъ писателей уподоблялись дровосѣкамъ, безстрашно подплывавшимъ тотъ самый сукъ, на которомъ сидѣли.

Этимъ своимъ подвигомъ они безспорно заслужили ту всемірную славу, какой нынѣ пользуются.

## II.

Во главѣ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ по всѣмъ правамъ,—и по общирности таланта, и по высотѣ своего философскаго образованія, и по широтѣ захвата русской жизни, и по разнообразію содержанія своихъ произведеній, и по ихъ общественному значенію, и наконецъ по высотѣ ихъ чарующей художественности,—ставится Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Ив. Сер. Тургеневъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, вышедшему изъ Золотой Орды и нерѣдко упоминаемому въ исторіи съ XVI-го вѣка. Отецъ Тургенева, Сергѣй Николаевичъ, служилъ въ елисаветградскомъ кирасирскомъ полку и женился въ Орлѣ на дочери богатаго помѣщика, Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Первымъ плодомъ этого брака былъ старшій братъ Тургенева, Николай; вторымъ былъ Иванъ, родившійся черезъ два года послѣ старшаго, 28 октября 1818 года, въ Орлѣ, гдѣ стоялъ полкъ его отца.

Вскорѣ послѣ рожденія сына Ивана отецъ его вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника и поселился въ имѣніи своей жены, селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ, въ десяти верстахъ отъ Мценска, орловской губерніи. Тамъ провелъ Тургеневъ первые годы своего дѣтства. Но мало свѣтлыхъ впечатлѣній вынесъ онъ изъ этихъ дѣтскихъ лѣтъ. Семейство Тургеневыхъ представляло собою весьма рѣзко выраженный типъ старинныхъ помѣщичьихъ нравовъ. Ни одна хоть сколько-нибудь ибжная, сердечная чорта не смягчала суровости этихъ нравовъ, всецѣло основанныхъ на строгомъ и безпощадномъ деспотизмѣ, тяготѣвшемъ не только надъ крепостными слугами, но и надъ младшими членами семьи. Всѣ ежеминутно трепетали въ домѣ, и каждый день, каж-

дый часъ ждали какой-нибудь жестокой расправы. Прибавьте къ этому, что и въ самыхъ нѣдрахъ семьи таился непримиримый разладъ: отецъ Тургенева, типъ котораго изображенъ въ романѣ *Первая любовь*, не любилъ жены, будучи значительно моложе ея и женившись на ней по расчету. „Матушка моя, — повѣствуетъ Тургеневъ въ этомъ романѣ — вела печальную жизнь: безпрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не въ присутствіи отца; она очень его боялась, а онъ держался строго, холодно, отдаленно. Я не видалъ человека болѣе пзысканно-спокойнаго, самоувереннаго и самовластнаго! Къ тому-же онъ отличался атлетическою фігурою и медвѣжьей сплюю.

Что касается матери Тургенева, то портретъ ея въ свою очередь изображенъ имъ въ повѣсти *Пунинъ и Бабуринъ*. Она была очень несчастна въ дѣтствѣ и юности. Сначала въ домѣ матери она терпѣла отъ отчима, который ненавидѣлъ ее, заставлялъ подчиняться своимъ капризамъ, билъ ее, унижалъ и срывалъ на ней свой буйный хмѣль. Когда-же ей минуло 16 лѣтъ, и онъ началъ преслѣдовать ее иначе, грозясь подвергнуть жестокому истязанію въ случаѣ неблагоклонности, во избѣжаніе позора Варвара Петровна должна была бѣжать изъ дома отчима и искать пріюта въ домѣ дяди. Но и здѣсь ей было не легче: дядя былъ человекъ суровый и скупой, держалъ ее въ ежовыхъ рукавицахъ, и она жила почти взаперти въ Спасскомъ. Послѣ смерти его она вышла замужъ, будучи уже за тридцать лѣтъ, и не нашла въ мужѣ ни любви, ни нѣжности; онъ внушалъ ей одинъ страхъ и мучительную ревность вслѣдствіе частыхъ измѣнъ.

Зато когда онъ умеръ, и она осталась единственною наследницею огромнаго имущества, она, какъ это часто бываетъ съ натурами долго находившимися подъ гнетомъ, почувствовала жажду власти, начала проявлять ее на всемъ вольномъ просторѣ и обратилась въ неукротимую самодурку съ развипченными нервами, вѣчными капризами и фантастическими причудами. Всѣ ходили передъ нею на цыпочкахъ и трепетали. Стукъ ножей или ключей въ сосѣдней комнатѣ выводилъ ее изъ себя, и при малѣйшемъ возраженіи она впадала въ истерику. Самодурство ея доходило до того, что однажды она запретила своимъ домашнимъ праздновать пасху и не велѣла звонить въ церкви въ колокола. Нужно-ли и говорить о томъ, какъ терпѣли отъ нея слуги и крестьяне, когда даже сыновей своихъ она вооружала противъ себя своимъ деспотизмомъ. Только съ совершеннолѣтіемъ они эмансипировались изъ-подъ ея ига, встали на ноги и потребовали полнаго освобожденія изъ-подъ ея опеки не только нравственнаго, но и матеріальнаго. Но и тутъ, желая все-таки удержать колеблющуюся власть надъ ними, она прибѣгла къ грубому обману: подарила имъ нѣмнѣію и въ то-же время отдала тайный приказъ вывезти изъ этихъ мѣстъ весь хлѣбъ и тѣмъ обезцѣпить ихъ. И дошло дѣло до того, что ея любимецъ, которымъ она наиболѣе гордилась, котораго баловала и души не чаяла, Иванъ Сергѣевичъ обратился къ ней со словами страшнаго приговора: — „Кого ты не мучаешь? Всѣхъ! — говорилъ онъ. — Кто возлѣ тебя свободно дышетъ? Кто возлѣ тебя счастливъ? Вспомни только Полякова, Агафью... всѣхъ, кого ты преслѣдовала, ссылала, всѣ они могли-бы любить тебя, всѣ-бы готовы были жизнь за тебя отдать, если-бы... а ты всѣхъ убиваешь несчастными!“

Вотъ какія вынесъ Тургеневъ изъ своего дѣтства впечатлѣнія, сдѣлавшія его непримиримымъ врагомъ крѣпостного права. Рисуя въ *Запискахъ Охотника* различные самодурства помѣщиковъ надъ своими безотвѣтными крѣпостными, Тургеневъ могъ писать прямо на основаніи собственныхъ воспоминаній о людяхъ ему близкихъ; такъ въ повѣсти *Муму* рассказанъ эпизодъ, случившійся въ родительскомъ домѣ Тургенева.

### III.

Воспитаніе Тургенева шло по обычаю того времени подъ присмотромъ безпрестанно мѣнявшихся гувернеровъ и учителей—швейцарцевъ и нѣмцевъ, дядекъ и мамокъ. Въ воспитаніи главную роль играли языки, французскій и нѣмецкій, которыми Тургеневъ научился въ раннемъ дѣтствѣ. На русскій языкъ обращали мало вниманія. Учителемъ, который впервые заинтересовалъ мальчика произведеніемъ русской литературы, былъ крѣпостной камердинеръ его матери, читавшій ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ *Rossiadu* Хераскова, подобно Пушкину, повторяя каждый стихъ сначала „на-черно“ скороговоркою, а потомъ „на-бѣло“ громогласно, съ необыкновенною торжественностью.

Въ началѣ 1827 года Тургеневы, въ видахъ дальнѣйшаго воспитанія дѣтей, переселились въ Москву, гдѣ купили себѣ домъ на Самотекѣ. Тургеневъ былъ отданъ сначала въ частный пансіонъ Вейденгамера, а потомъ жплъ одно время пансіонеромъ-же у директора Лазаревского института, Краузе, который училъ его англійскому языку. Кромѣ того къ университетскому экзамену готовилъ Тургенева извѣстный поэтъ Ив. Петр. Клюшниковъ, въ то время очень еще молодой студентъ.

Въ 1833 году, будучи всего 15 лѣтъ отъ роду, Тургеневъ поступилъ на словесный факультетъ московскаго университета. Но здѣсь онъ пробылъ всего одинъ годъ. Старшій его братъ поступилъ на службу въ гвардейскую артиллерию въ Петербургъ; туда-же переѣхала и вся семья, такъ что и Тургеневу пришлось перейти въ петербургскій университетъ въ 1834 году; въ томъ-же году скончался его отецъ.

Не много вынесъ Тургеневъ изъ петербургскаго университета, гдѣ лучшимъ профессоромъ въ то время былъ М. Ст. Куторга, а затѣмъ изъ наиболѣе выдающихся были: Н. Ал. Плетневъ, А. В. Искитенко и А. А. Фшшеръ. Живя въ Петербургѣ и посѣщая университетскія лекціи, Тургеневъ вмѣстѣ съ тѣмъ бралъ и частные уроки по древнимъ языкамъ у преподавателя Петроавловской школы Вальтера, который въ продолженіе двухъ лѣтъ (1835—37) читалъ съ нимъ Горация, Тацита, Оукидиды, Софокла и другихъ классиковъ. Но свидѣтельству Вальтера, молодой Тургеневъ былъ необыкновенно прилежнымъ ученикомъ. Онъ ревностно писалъ задаваемые ему сочиненія и работалъ съ усердіемъ настоящаго нѣмецкаго студента. Уроки давались съ необыкновенною аккуратностью; одно только могло прервать ихъ,—это охота, къ которой Тургеневъ съ молодости сильно пристрастился и которая въ продолженіе многихъ десятковъ лѣтъ была для него любимымъ развлеченіемъ.

Въ 1836 году Тургеневъ кончилъ университетскій курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента (курсъ въ то время былъ трехлѣтній), а въ слѣдующемъ 1837 г.



выдержалъ экзаменъ на степень кандидата. Уже на III курсѣ университета Тургеневъ началъ производить первые опыты по изящной словесности, конечно сначала стихами. Такъ онъ написалъ фантастическую драму пятистопными ямбами подъ заглавіемъ „Стеніо“,—произведеніе, по отзыву самого Тургенева, „совершенно цѣлѣное, въ которомъ съ дѣтскою неушѣlostью выражалось рабское подражаніе Байроновскому Манфреду“. Тургеневъ представилъ свою піесу на разсмотрѣніе Плетневу, который отечески поборанилъ студента за то, что онъ тратитъ время на такіе пустяки; но при этомъ все-таки замѣтилъ, что въ молодомъ авторѣ „что-то есть“, обладалъ его и пригласилъ на свои литературныя вечера. Обрадованный юноша отдалъ Плетневу нѣсколько стихотвореній, изъ которыхъ тотъ выбралъ два и годъ спустя (1838) напечаталъ безъ подписи автора въ Пушкинскомъ *Современникѣ*. Въ первомъ изъ нихъ воспѣвался старый дубъ: „это — первая моя вещь, явившаяся въ печати“—говоритъ Тургеневъ въ *Воспоминаніяхъ*.

Окончивъ университетскій курсъ, Тургеневъ весною 1838 года отправился въ Берлинъ „доучиваться“. Онъ ѣхалъ, какъ всѣ ѣздили въ то время, моремъ въ Штеттинъ на пароходѣ „Николай I“, который сгорѣлъ въ виду Травемюнде, причѣмъ жизнь Тургенева подверглась опасности. Вотъ что говоритъ онъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ* о пребываніи въ Берлинѣ.

«Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 г. отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за-границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который-бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ,—посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я прожилъ (въ два періода) около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, назову: въ теченіе перваго года—И. Станкевича, Грановскаго, Фролова; въ теченіе втораго—стоимъ извѣстнаго послѣдствія М. Бакунина. Я занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, полученное въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ латинскія древности у Цуленга, исторію греческой литературы у Бока, а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую, которыми зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ.»

Къ этой эпохѣ относится выработка какъ міросозерцанія вообще, такъ и политическихъ убѣжденій Тургенева. Масса новыхъ живыхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ поѣздки за-границу, нѣмецкая наука и сближеніе съ такими людьми, какъ Бакунинъ, Станкевичъ, Грановскій, не могли не содѣйствовать тому духовному перевороту, который изъ молодого барчука, преданнаго всѣмъ традиціямъ дѣтства, сдѣлалъ борца за свободу. Вотъ какъ характеризуетъ самъ Тургеневъ этотъ многознаменательный переворотъ:

«Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ, полоса помѣщичья, крѣпостная, не представляли ничего

такого, что могло-бы удержать меня. Напротивъ почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надобно было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дорогѣ, либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ «нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ,—я все-таки очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда.

«Мнѣ и въ голову не можетъ придти осуждать тѣхъ изъ моихъ сверстниковъ, которые другимъ болѣе отрицательнымъ путемъ достигли той свободы, того сознанія, къ которымъ я стремился. Я хочу только заявить, что я другого пути передъ собою не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня вѣроятно неоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ пменемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я покаялся никогда не примиряться. Это была моя аннибалловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. И на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить...».

#### IV.

Въ 1841 году, вернувшись изъ заграницы, Тургеневъ поѣхалъ въ Москву держать экзаменъ на магистра философіи, но это оказалось невозможнымъ, такъ какъ кафедръ философіи въ Москвѣ не было. Не оставляя мыслей объ ученой карьерѣ, Тургеневъ поѣхалъ въ Петербургъ, но здѣсь ему пришлось неожиданно махнуть рукою на свои мечты и поступить (1842 г.) чиновникомъ особыхъ порученій въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ Л. А. Перовскаго. Это произошло вслѣдствіе размолвки съ матерью, весьма ограничившей средства къ его существованію.

Въ канцеляріи Тургеневъ занимался не столько службою, сколько чтеніемъ романовъ Жоржъ Занда и писаніемъ стиховъ. Это былъ романтическій періодъ его жизни, въ который Тургеневъ, корча изъ себя байроповскаго героя и заслуживъ за это отъ Герцена прозвище „позера“, удивлялъ петербургское общество самыми эксцентрическими выходками и необузданно-смѣлыми рѣчами. Въ это-же время въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали являться мелкія стихотворенія его, а въ началѣ 1843 года Тургеневъ напечаталъ отдѣльною книжкою поэму *Параша*, подписавъ ее буквами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовцовъ).

*Параша* обратила на себя вниманіе публики, и Бѣлинскій посвятилъ ей обширную статью, въ которой призналъ въ Тургеневѣ необыкновенный поэтический талантъ, вѣрную наблюдательность, глубокую мысль, изящную и тонкую прозію, а что наиболѣе знаменательно—призналъ сына нашего времени, носящего въ груди своей всю скорби и вопросы его.

И дѣйствительно, несмотря на всѣ увлеченія Тургенева въ это время романтическими идеалами, вась поражаетъ въ „Парашѣ“ реальное чутье русской жизни, и поэма является развѣчаніемъ тѣхъ самыхъ романтическихъ идеаловъ, которымъ Тургеневъ поклонялся. Судя по поэтическому началу, *Параша*, особенно-же плѣни-

тельному образу героини, о которой самъ авторъ говоритъ, что, какъ ему казалось, „*ей суждено страданій въ жизни испытать не мало*“, можно было думать, что авторъ изобразить цѣлый рядъ ужасныхъ романтическихъ страданій. Ожиданія эти еще болѣе подтверждались встрѣчею Параша съ героемъ при необыкновенныхъ романтическихъ обстоятельствахъ, и самимъ героемъ, въ которомъ читатель могъ вообразить себѣ нѣчто вроде Печорппа или Евгенія Олѣгина. И вдругъ поэма кончается самымъ прозаическимъ сватовствомъ и помѣщичьимъ бракомъ, и когда авторъ встрѣтилъ своихъ героевъ четыре года спустя, онъ нашелъ, что романтическій герой „какъ-то странно потолстѣлъ“, а идеальная Параша въ свою очередь обратилась въ самую прозаическую Прасковью Николаетовну, и жизнь ея катилась, „какъ ручеекъ извилистый и плавный“, и разочарованный авторъ проникновенно восклицаетъ:

Но—Боже! То-ли думалъ я, когда,  
Исполненный нѣмого обожанья,  
Ея душѣ я предрекалъ года  
Святого, благодатнаго страданья!  
Съ надеждами разставшись навсегда,  
Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ,  
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту  
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ  
Глядѣлъ, какъ на любимую звезду...  
И что-жъ? Я былъ обманутъ такъ невинно,  
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,  
Что въ истинѣ своихъ желаній я  
Сталъ сомнѣваться, милые друзья...

Вотъ въ этой именно прониц, въ этомъ сведеніи поэтически-романтическихъ образовъ къ пошлой прозѣ помѣщичьяго прозябанія и ожирѣнія на даровыхъ хлѣбахъ и заключалось то новое, что дѣлало Тургенева „сыномъ своего времени, носящимъ въ груди своей скорби и вопросы его“.

Такими-же новыми вѣяніями исполнены и всѣ прочія произведенія Тургенева этого времени. Такъ, въ poemѣ *Разговоръ* (1845 г.) Тургеневъ изобразилъ свое молодое поколѣніе, людей сороковыхъ годовъ въ сопоставленіе съ людьми стараго поколѣнія, двадцатыхъ годовъ. Здѣсь мы видимъ уже то самое раздѣленіе людей на Донъ-Кихотовъ и Гамлетовъ, которое проходитъ черезъ всѣ произведенія Тургенева и впоследствии было формулировано имъ въ публичной лекціи, читанной имъ въ Петербургѣ въ 1860 году. Поколѣніе двадцатыхъ годовъ съ его жаждой кипучей дѣятельности и непосредственной отдачею всѣмъ своимъ страстямъ и стремленіямъ представляется передъ вами въ полномъ контрастѣ съ людьми сороковыхъ годовъ, изъѣденными горькими рефлексіями, исполненными сомнѣній и холоднаго отчаянія.

Накопецъ, въ poemѣ *Андрей* (1845 г.), лишь по стихотворной формѣ отличающейся отъ мелкихъ повѣстей Тургенева вроде хотя-бы *Фауста*, авторъ затрогиваетъ впервые ту тему отношенія свободной любви къ семейному долгу, къ которой такъ часто обращались беллетристы сороковыхъ годовъ.

Что касается мелкихъ стихотвореній, появившихся втеченіи сороковыхъ годовъ, то большинство ихъ представляютъ тѣ картины природы, которыми такъ славился скальчичевскій.

Тургеневъ въ продолженіи всей своей дѣятельности. Въ стихотворной формѣ эти картины получаютъ еще большую силу, прелесть и колоритность.

Вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ *Царани* Тургеневъ сошелся съ Бѣлинскимъ, познавъ его оригинальностью и независимостью своихъ воззрѣній, и оказалъ ему большое содѣйствіе въ уясненіи философіи Гегеля; съ другой стороны вліяніе Бѣлинскаго, о которомъ Тургеневъ до самой смерти сохранялъ благоговѣйную память, окончательно опредѣлило дальнѣйшее направленіе дѣятельности Тургенева. Въ то-же время сошелся Тургеневъ и съ молодыми литераторами, группировавшимися вокругъ Бѣлинскаго, — К. Д. Кавелинымъ, Н. А. Некрасовымъ, И. А. Гончаровымъ, Д. В. Григоровичемъ, И. И. Панаевымъ, П. В. Анненковымъ и пр.

Первымъ появившимся въ свѣтъ прозаическимъ произведеніемъ Тургенева былъ драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи изъ испанской жизни, подъ заглавіемъ *Пеосторожность* (*От. Зап.* 1843 г. № 10). Въ слѣдующемъ году тамъ-же была напечатана первая повѣсть его *Андрей Колосовъ*. Въ *Петербургскомъ Сборникѣ*, изд. Некрасовымъ (1846), кромѣ юмористической поэмы въ стихахъ *Помѣщикъ*, была помѣщена повѣсть *Три портрета*; въ первой-же книжкѣ *От. Зап.* 1847 г. появилась повѣсть *Бретеръ*.

Въ повѣсти *Андрей Колосовъ* Тургеневъ значительно шагнулъ впередъ отъ своего вѣка, изобразивши въ своемъ „необыкновенномъ“ героѣ разночинца съ непосредственною и свободною отдачею страсти, скорѣе подлѣтъ шестидесятымъ годамъ, чѣмъ сороковымъ. Оттого можетъ быть повѣсть эта и прошла почти незамѣченною въ свое время.

Въ остальныхъ-же двухъ повѣстяхъ мы видимъ тоже стремленіе изъ-подъ мншурной оболочки романтическаго типа обнаружить печальную и убогую русскую дѣйствительность. Такъ напримѣръ, чѣмъ не герой въ байроновскомъ духѣ Лучиновъ, одаренный необыкновенной силой воли, страстный и расчетливый, терпѣливый и смѣлый, скрытный до чрезвычайности и очаровательно, обаятельно любезный? Но при всѣхъ этихъ эффектныхъ качествахъ, вы видите вдругъ такой мелкій и черствый эгоизмъ и такую душевную низость, какія никакъ не пристали ни къ какимъ романтическимъ героямъ. Въ самомъ дѣлѣ, свойственно-ли такимъ героямъ воровство отцовскихъ денегъ или сваливаніе на другое лицо своего обольщенія сироты и затѣмъ убійство на дуэли почти безоружнаго человѣка ради прикрытія семейнаго позора. Сквозь романтическую оболочку такъ и сквозитъ здѣсь низкій нравственный уровень русской дворянской среды XVIII-го вѣка.

О *Бретерѣ* и говорить нечего. Пропливающий кровъ ближнихъ изъ-за пустяковъ въ своихъ непрерывныхъ дуэляхъ, хищный герой этой повѣсти съ первой-же страницы и до послѣдней обнаруживаетъ мелко самолюбивую, грубо циническую и дрянную душошку армейскаго бурбона.

## У.

Всѣ эти первые опыты, равно какъ и относительный успѣхъ ихъ въ публикѣ, далеко не удовлетворяли Тургенева, и онъ готовъ былъ бросить писательство и са-

мую Россію, какъ вдругъ общее вниманіе публики было привлечено небольшимъ рассказомъ *Хорь и Калинычъ*, напечатанномъ въ первой книжкѣ возобновленнаго Некрасовымъ *Современника* въ 1847 году, на очень скромномъ мѣстѣ въ отдѣлѣ *Смѣси*. Всѣ заговорили о талантливомъ, проникнутомъ глубокою симпатіею къ мужику, рассказѣ неизвѣстнаго автора; каждый старался узнать имя писателя, ссылавшагося подъ таинственными инициалами Т. Л.

Этотъ неожиданный успѣхъ возвратилъ Тургенева къ литературѣ и побудилъ его продолжать свои *Записки охотника*, а вотъ, начиная съ 1847 года по 1851 г., слѣдуетъ въ *Современникѣ* цѣлый рядъ рассказовъ, извѣстныхъ подъ этимъ заглавіемъ и вышедшихъ въ началѣ 1852 года отдѣльнымъ изданіемъ. Писаны *Записки охотника* за-границею, куда Тургеневъ уѣхалъ въ 1848 г., послѣ смерти Бѣлпискаго, чтобы никогда болѣе не возвращаться на родину,—такое мрачное впечатлѣніе производила на Тургенева тогдашняя русская дѣйствительность.

Въ *Запискахъ охотника* Тургеневъ повернулъ на совершенно новую дорогу и приступилъ къ исполненію своей аннпбаловской клятвы. Не говоря уже о художественномъ значеніи *Записокъ охотника*,—онѣ представляютъ замѣчательный историческій памятникъ своего времени и въ смыслѣ протеста противъ крѣпостного права“. Конечно нечего и искать въ *Запискахъ охотника* ни рѣзкаго и страстнаго политическаго памфлета, какимъ представляется *Путешествіе* Радищева, ни хотя-бы саркастическаго тона сатиры Щедрина. Это было-бы совершенно не въ характерѣ тургеневскаго творчества, въ которомъ всегда преобладали мягкіе, кроткіе и нѣжные тоны, да и къ тому-же мало-мальски рѣзкій и громкій протестъ былъ-бы немислимъ при той крайней строгости, до какой дошла русская цензура послѣ 1848 года. *Записки охотника* представляются какъ-бы продолженіемъ *Мертвыхъ душъ* Гоголя; это—эпопея, не имѣющая, повидимому, никакой иной предвзятой цѣли, какъ лишь развернуть передъ вами широкую картину русской провинціальной жизни, преимущественно помѣщиковъ и крестьянъ, съ одной стороны—въ массѣ мелкихъ, повседневныхъ, будничныхъ ея явленій, съ другой—въ поэтическихъ мотивахъ и образахъ. Тутъ вы найдете на каждомъ шагѣ тѣ очаровательныя описанія русской природы, какими всегда славился Тургеневъ, рядъ эпизодовъ, пепмѣющихъ нпкакпхъ отношеній къ крѣпостному праву, каковы напр. *Уздный лекарь*, *Мой сосѣдъ Радиловъ*, *Однодворецъ Овсяниковъ*, *Татьяна Борисовна и ея племянникъ*, *Гамлетъ Щиrowsкаго ульда* и пр.

Тѣмъ не менѣе отъ *Записокъ охотника* повѣяло на читателей совершенно новымъ духомъ, которымъ проникнуты онѣ отъ первой страницы до послѣдней.—Это былъ духъ гуманности и искренней любви къ угнетенному мужику. Въ то время какъ у большинства помѣщиковъ, изображенныхъ въ *Запискахъ*, преобладаютъ отрицательныя черты; крестьяне напротивъ того представляютъ рядъ весьма симпатичныхъ типовъ. Вывода такіа личности, какъ Хорь и Калинычъ, Ермолай и Мельничиха, Касьянъ съ Красивой мечи, Бирюкъ, Яковъ-турокъ въ *Пльцахъ*, пакопецъ, хотя-бы и крестьянскія дѣти въ *Блѣжинномъ луи*—авторъ тѣмъ уже протестовалъ противъ крѣпостного права, что, заглядывая въ душу всѣхъ этихъ дѣтей народа, находилъ въ ней тѣ-же радости и страданія, что и у всѣхъ прочихъ людей и, выстѣ съ

тѣмъ, выводилъ ихъ не въ примѣръ симпатичнѣе п цѣльнѣе стоящихъ тутъ-же рядомъ съ ними помѣщиковъ. Въ этомъ отношеніи даже и *Бѣжинъ мугъ*, эта чисто-художественная картинка, изображающая почную бесѣду деревенскихъ дѣтей въ табунахъ лошадей, производила на читателей тоже впечатлѣніе отрицанія крѣпостного права: прочтя эту картинку, читатель всею душою привязывался къ изображеннымъ въ ней дѣтямъ и ему жутко становилось при мысли, что въ этихъ симпатичныхъ деревенскихъ ребятахъ растутъ будущіе рабы, вся жизнь которыхъ могла быть изломана по прихоти какого-нибудь Пѣночкина. Однимъ словомъ, читая *Записки охотника*, русскіе читатели впервые видѣли въ мужикахъ не двуногое рабочее стадо, а живыхъ людей, братій своихъ по человѣчеству и пріучались любить этихъ братій и принимать горячее участіе въ ихъ участи.

Не даромъ выходъ *Записокъ* отдѣльнымъ изданіемъ возбудилъ сильное неудовольствіе въ оффиціальныхъ сферахъ, которыя въ то время были проникнуты крѣпостничествомъ. Въ литературныхъ кружкахъ ходилъ въ то время слухъ, будто московскій цензоръ, кн. Львовъ, былъ отставленъ отъ должности именно за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе *Записокъ охотника*. И до того времени начальство косилось на Тургенева за долговременное пребываніе за границей, особенно въ Парижѣ, и, къ тому же, въ 1848 году, а также и за его близкія отношенія къ лицамъ, которыя давно уже были на дурномъ счету. *Записки охотника* подлили масла въ огонь, и незначительный случай послужилъ каплей, переполнившей гнѣвъ начальства. Въ мартѣ 1852 г. появилось въ *Московскихъ вѣдомостяхъ* письмо Тургенева по случаю смерти Гоголя, не пропущенное передъ тѣмъ петербургскою цензурою, и вотъ по жалобѣ Мусинъ-Пушкина Тургеневъ былъ посаженъ на мѣсяцъ „на съѣзжую“. Тургеневу угрожало очень печальное заточеніе, если-бы судьба не послала ему спасительницу въ лицѣ двухъ дочерей надзиравшаго за нимъ пристава, оказавшихся почитательницами его таланта. Онѣ обрадовались случаю лично съ нимъ познакомиться и упросили своего отца дать ему пріютъ въ ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и провелъ время своего ареста, написавши на досугѣ *Муму*,—и такимъ образомъ повѣсть, по своему содержанію представляющая самый рѣзкій протестъ противъ крѣпостного права, оказалась написанною на „съѣзжей“.

По освобожденіи отъ ареста, Тургеневъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ деревню Спасское, — „безъ права выѣзда“. Изъ наиболѣе замѣчательныхъ произведеній, написанныхъ имъ въ деревнѣ, были *Два пріятеля* и *Затишье*.

Въ концѣ 1854 года Тургеневъ былъ освобожденъ отъ своей ссылки при содѣйствіи А. К. Толстого и А. О. Смирновой, и въ 1855 г. уѣхалъ за-границу. Еще въ 1845 году онъ познакомился въ Петербургѣ съ знаменитой уже тогда артисткой Поляпой Вярдо-Гарсія, и съ тѣхъ поръ до самой смерти оставался въ самыхъ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ съ ея семействомъ. Послѣ временной разлуки вслѣдствіе ссылки онъ снова поспѣшилъ къ нимъ. Выражаясь собственными его словами, онъ „прикрѣпился“ къ этимъ людямъ и, навсегда оставшись холостякомъ, прожилъ съ ними половину своей жизни. Мы не будемъ далѣе подробно вдаваться во вѣщнія подробности жизни Тургенева, такъ какъ съ этой поры жизнь его вполне сложилась

въ определенное русло и не представляетъ какихъ-либо выдающихся фактовъ. Зиму проводилъ онъ обыкновенно въ Парижѣ, а лѣто частью въ орловской губерніи, въ своемъ имѣніи, частью въ Баденъ-Баденѣ, гдѣ въ Тригартенталѣ находилась вилла Віардо, и гдѣ Тургеневъ въ 1865 году построилъ свою собственную виллу, и жилъ въ ней до половины 1870 года. Подъ конецъ-же своей жизни онъ проводилъ лѣто въ Буживалѣ близъ Парижа, на собственной дачѣ рядомъ съ дачею Віардо. Изъ его посѣщеній Россіи, подъ конецъ жизни очень рѣдкихъ, наиболее замѣчательнъ пріѣздъ его въ Россію въ концѣ февраля 1879 года съ цѣлью, какъ самъ шутилъ говорилъ: „мприться съ русской публикой и молодежью“. Тургеневъ встрѣтилъ тогда рядъ восторженныхъ овацій въ Москвѣ и Петербургѣ со стороны публики на цѣломъ рядѣ публичныхъ чтеній, на которыхъ онъ участвовалъ, читая преимущественно *Записки охотника*. Второй замѣчательный его пріѣздъ былъ въ іюнѣ 1880 года на открытіе Пушкинскаго памятника въ Москвѣ. Здѣсь на долю Тургенева выпали такіа почести и оваціи, которыя далеко оставили за собою чествованіе его въ 1849 году. Московскій университетъ, въ торжественномъ засѣданіи въ день открытія памятника Пушкину, избралъ Тургенева въ число своихъ почетныхъ членовъ; въ собраніи общества любителей русской словесности и на литературныхъ чтеніяхъ Тургенева встрѣчали бурными долго неумолкаемыми рукоплесканіями. Такъ-же восторженно была встрѣчена и привѣтствована его рѣчь о Пушкинѣ на торжествѣ открытія памятника. Нѣтъ сомнѣнія, что эти дни были лучшими въ его жизни. Онъ и самъ сознавалъ это, выбирая для чтенія на литературномъ вечерѣ стихотворенія: *Опять на родинѣ* и *Послѣдняя туча разсыпанной бури...*

Затѣмъ пріѣздъ Тургенева въ Россію въ 1881 г. былъ послѣднимъ въ его жизни. Уже съ этого года стали появляться первые симптомы той мучительной болѣзни, которая свела его въ могилу. Болѣзь эта, какъ потомъ оказалось, была ракомъ въ позвоночномъ хребтѣ. Не поддаваясь діагнозу первыхъ знаменитостей парижскаго медицинскаго міра, она развивалась медленно, не непрерывно, и причиняла Тургеневу такіа страданія, которыя онъ могъ выносить только благодаря своему атлетическому сложенію и наркотическимъ средствамъ, которыя приходилось употреблять чаще и чаще. Нужно удивляться тому мужеству, съ какимъ Тургеневъ, пригвожденный къ своему смертному одру, не только выносилъ свои адскія страданія, но въ промежуткахъ минутныхъ облегченій не переставалъ писать свои послѣдніа предсмертныа произведенія. Въ понедѣльникъ 22 августа, въ 2 часа пополудни, его не стало.

Черезъ два дни послѣ смерти тѣло Тургенева было перевезено изъ Буживала въ Парижъ, гдѣ 24 августа въ русской церкви происходило отпѣваніе, на которомъ присутствовало большинство бывшихъ въ то время русскихъ: посолъ князь Н. В. Орловъ, члены посольства, литераторы, художники, какъ русскіе, такъ и иностранцы и учащаяся въ Парижѣ молодежь. 19-го сентября тѣло Тургенева было отправлено въ Россію и прибыло въ Петербургъ 27-го, въ который день и происходила процессія перенесенія тѣла Тургенева на Волково кладбище и погребенія его тамъ на счетъ города,—процессія, по своей грандіозной торжественности, представлявшая нѣчто необычайное въ лѣтописяхъ петербургской жизни.

VI.

Разсматривая литературную дѣятельность Тургенева, мы остановились на 1855 годѣ, когда онъ уѣхалъ послѣ ссылки за-границу. Съ этого года начинается, какъ извѣстно, возрожденіе русской жизни, эпоха реформъ и либеральнаго движенія. Съ этого-же года можно считать эпоху полного расцвѣта литературной дѣятельности Тургенева. Въ этотъ періодъ талантъ Тургенева достигъ до наибольшей высоты, и онъ создалъ все самое замѣчательное и болѣе всего его прославившее. Такъ, въ 1855 году появилась повѣсть его *Яковъ Пасынковъ*, въ 1856—*Рудинъ* и *Фаустъ*, въ 1858—*Ася*, въ 1859—*Дворянское гнѣздо*, въ 1860—*Наканунъ* и *Первая любовь*. Въ томъ-же 1860 г., въ 1-й книжкѣ *Современника* была напечатана знаменитая статья его *Гамлетъ и Донъ-Кихотъ*, бросающая яркій свѣтъ какъ на характеръ всѣхъ его типовъ, такъ и на внутреннія пружины фабулъ его повѣстей и романовъ. Наконецъ, въ началѣ 1862 года въ *Русскомъ Вѣстникѣ* былъ напечатанъ знаменитый романъ его *Отцы и дѣти*.

Перечисливши эти произведенія, мы обозначили все, чѣмъ наиболѣе увѣковѣчили Тургеневъ свою литературную дѣятельность. Однихъ только этихъ произведеній было-бы вполне достаточно для той славы, которою онъ пользовался при жизни, и для той высокой памяти, которую оставилъ по себѣ. Каждое изъ этихъ произведеній было откровеніемъ основъ тогдашней русской жизни. Различіе всѣхъ этихъ произведеній отъ произведеній перваго періода дѣятельности Тургенева (*Записокъ охотника*) заключалось въ томъ, что прежде онъ главное вниманіе обращалъ на народъ, относительно-же интеллигенціи ограничивался развѣнчаніемъ романтическихъ типовъ или-же отношеніями помѣщиковъ къ крѣпостнымъ; теперь же онъ занялся исключительно изображеніемъ нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, произведенныхъ вліяніемъ крѣпостного права при отсутствіи какой-бы то ни было живой и увлекающей общественной дѣятельности. Ключъ къ пониманію внутреннихъ пружинъ всѣхъ этихъ произведеній кроется, какъ мы выше сказали, въ рѣчи Тургенева о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ. Въ этой рѣчи Тургеневъ прямо говоритъ, что „въ этихъ двухъ типахъ воплощены двѣ коренныя противоположныя особенности человѣческой природы—оба конца той осп, на которой она вертится, что „всѣ люди принадлежатъ болѣе или менѣе къ одному изъ этихъ двухъ типовъ, что почти каждый изъ насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета“, „правда,—прибавляетъ къ этому Тургеневъ,—въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ, но и Донъ-Кихоты не перевелись“.

Различіе-же этихъ двухъ типовъ, какъ явствуетъ изъ статьи, заключается въ томъ, что Донъ-Кихотъ выражаетъ собою вѣру, преданность идеалу, энтузіазмъ самопожертвованія, тогда какъ Гамлетъ — представитель апализа; анализъ-же, по мнѣнію Тургенева, прежде всего,—эгоизмъ, а потому безвѣріе; сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ не щадитъ и самого себя; сознастъ свою слабость, по всякое самосознаніе есть сила—отсюда происходитъ его пропія, въ противоположность энтузіазму Донъ-



Кихота, — отсюда-же его слабохарактерность, нерѣшительность въ дѣйствіяхъ, неспособность беззавѣтно отдаваться своимъ влеченіямъ.

Нужно-ли говорить о томъ, что вѣкъ сороковыхъ годовъ—вѣкъ по преимуществу аналѣза, былъ по самому своему существу вѣкъ Гамлетовъ, не говоря уже о растлевающемъ вліаніи крѣпостного права. Не даромъ Тургеневъ сказалъ: что „въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ“. И дѣйствительно передъ нами проходятъ въ пропзведеніяхъ Тургенева, въ видѣ героевъ своего времени и среды цѣлый рядъ Гамлетовъ, начиная съ юноши, олицетворяющаго собою сороковые годы въ поэмѣ *Разговоръ съ Гамлета Щиrowsкаго узда* и Веретьева въ *Затѣишь*, — этой талантливой натуры, погубившей свою молодость и жизнь въ пьянствѣ и безпутномъ, праздноиъ шатаніи. Таковъ Рудинъ, этотъ центральный типъ сороковыхъ годовъ, человекъ, котораго все призваніе заключается въ сѣяніи просвѣтительныхъ словъ, но оказывающій въ то-же время полную несостоятельность во всѣхъ своихъ попыткахъ осуществленія этихъ словъ на дѣлѣ и постыдное малодушіе передъ каждымъ мало-мальски рѣшительнымъ шагомъ, человекъ одной головы, не способный ничеио сдѣлать самъ, потому что въ немъ натуры, крови не было.—Таковъ Лаврецкій—этотъ, въ свою очередь, центральный типъ не только лучшаго человека помѣщичьей среды, но и вообще интеллигентнаго славянина, — человекъ въ высшей степени симпатичный, исполненный кротости, нѣжной гуманности и добродушія, но въ то-же время не вносящій въ жизнь ни малѣйшей активности, пассивно отдающійся обстоятельствамъ, какъ щепка, носимая бурнымъ потокомъ.

Таково и большинство послѣдующихъ героевъ Тургенева, начиная съ героя Аси и кончая Саннинымъ въ *Вешнихъ водахъ* и Литвиновымъ въ *Дмѣи*. Не даромъ Тургеневъ въ *Наканунѣ* заставляетъ воскликнуть Шубина: „нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все—либо мелюзга, грызуны, гамлетикъ, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя! А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самихъ себя изучили, шупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ что я молъ чувствую, вотъ что я думаю. Полезное, дѣльное занятіе!“

„Но и Донъ-Кихоты не перевелись“, — говорилъ Тургеневъ въ своей вышеозначенной рѣчи; встрѣчаете вы въ его пропзведеніяхъ и нѣсколько Донъ-кихотовъ, хотя очень рѣдко.—Тургеневскихъ Донъ-Кихотовъ можно раздѣлить на два разряда: одни изъ нихъ взяты непосредственно изъ русской жизни;—это такіе Донъ-Кихоты, какихъ только могла выработать русская жизнь, таковы: Андрей Колосовъ, Яковъ Пасынковъ, Пуяинъ и нѣсколько типовъ непосредственно выросшихъ изъ русской почвы и тѣсно съ нею сливающихся, — „черноземныхъ сплъ“, какъ называетъ ихъ Тургеневъ; таковы: Волющевъ и Уваръ Ивановичъ (въ *Наканунѣ*).

Къ другого рода Донъ-Кихотамъ принадлежатъ типы, сочиненные Тургеневымъ а priori, по соображеніямъ, съ предвзятою цѣлью изобразить Донъ-Кихотовъ въ противоположность Гамлетамъ, и подобные типы страдаютъ искусственностью, неестественностью, нѣкоторою даже отвлеченностью. Таковъ Инсаровъ въ *Наканунѣ*, знакомясь съ которымъ читатель принужденъ лишь на слово вѣрить автору, что онъ—человекъ дѣла; между тѣмъ все геройство его въ романѣ проявляется лишь въ грубой трагич-

комической сценѣ съ нѣмцемъ, хотя Тургеневъ въ своей автобіографіи увѣряетъ, что сюжетъ для *Наканунъ* онъ взялъ изъ жизни, приводитъ даже фактъ, какъ ему досталась тетрадка нѣкоего помѣщика Каратѣева, въ которой было изложено истинное происшествіе, совершенно подобное рассказанному въ *Наканунъ*, причемъ роль Инсарова игралъ болгаринъ Катрановъ, — лицо нѣкогда весьма извѣстное и до сихъ поръ не забытое на родинѣ; — но это все еще болѣе подтверждаетъ апріорное созданіе Тургеневымъ типа Инсарова, тѣмъ болѣе что и самъ онъ говоритъ, что въ тетрадкѣ лишь бѣглыми штрихами было намѣчено то, что составило потомъ содержаніе *Наканунъ*, и что исторія была въ ней передана искренно, хотяумѣло.

Въ такой-же мѣрѣ искусственъ и неестественъ и Соломинъ въ *Нови* съ его практической оппортунистической прогрессивностью.

## VII.

Мы приблизились къ роковому кризису въ литературной дѣятельности Тургенева, ознаменовавшемуся появленіемъ его въ 1862 году романа *Отцы и дѣти*. Надо замѣтить, что уже въ 1860 году Тургеневъ разошелся съ Некрасовымъ и со всѣмъ кружкомъ литераторовъ, группировавшихся вокругъ *Современника*, находя взгляды ихъ слишкомъ крайними, а въ 6-й книжкѣ *Современника* 1860 года редакція сочла нужнымъ сдѣлать слѣдующее заявленіе: „Нашъ образъ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что онъ пересталъ одобрять его. Намъ стало казаться, что послѣднія повѣсти г. Тургенева не такъ близко соотвѣтствуютъ нашему взгляду на вещи, какъ прежде, когда и его направленіе не было такъ ясно для насъ, да и наши взгляды не были такъ ясны для него. Мы разошлись. Такъ-ли? — ссылаемся на самого г. Тургенева“.

Вслѣдствіе этого разрыва романъ *Наканунъ* былъ уже напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и тамъ-же въ февральской книжкѣ 1862 году появился романъ *Отцы и дѣти*.

И въ своихъ воспоминаніяхъ, и въ своихъ письмахъ Тургеневъ стоитъ на томъ, что въ лицѣ Базарова онъ и не думалъ писать каррикатуру на молодое поколѣніе и относиться къ нему отрицательно. Такъ въ письмѣ къ г. Случевскому 14-го апрѣля 1862 г. онъ прямо говоритъ:

«Базаровъ все таки подавляетъ всѣ остальные лица романа (Катковъ находилъ, что я въ немъ представилъ апоэсозъ *Современника*). Приданныя ему качества — не случайныя. Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое — тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до мозги костей. А вы не находите въ немъ хорошихъ сторонъ. *Stoff und Kraft* онъ рекомендуетъ именно какъ популярную, т. е. пустую книгу; дуэль съ П. П. именно введена для нагляднаго доказательства пустоты элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преувеличенно-комически; а какъ-бы онъ отказался отъ нея: вѣдь П. П. его побилъ-бы. — Базаровъ по моему постоянно разбиваетъ П. П., а не наоборотъ, и если онъ называется нигилистомъ, то надо читать: революционеромъ. То, что сказано объ Аркадіи, о реабилитированіи отцовъ и т. д., показываетъ только — виноваты! — что меня не поняли. *Вся моя поэзія направлена противъ дворянства, какъ передового класса*. Вглядитесь въ лица П. И., П. П. и Аркадія. Слабость и вялость, и ограниченность.

эстетическое чувство заставило меня взять именно *хороших* представителей дворянства, чтобы тѣмъ пѣрнѣе доказать мою тему: если слѣвки плохи, что-же молоко?»

И дѣйствительно, нельзя отрицать въ Базаровѣ положительныхъ качествъ, которыми и увлекся Писаревъ, найдя въ Базаровѣ полное олицетвореніе молодого поколѣнія. Тѣмъ не менѣе все-таки отношеніе Тургенева къ Базарову далеко не такое, какого ожидали и требовали люди увлеченные движеніемъ 60-хъ годовъ; только выведя идеальную личность вродѣ Инсарова, Тургеневъ могъ удовлетворить этимъ требованіямъ; романъ-же во всѣхъ его деталяхъ и въ цѣломъ былъ пренебреженъ той прощью, того скептицизма, съ какими относился Тургеневъ и прежде ко всѣмъ выводимымъ имъ героямъ, начиная съ Рудина, и вотъ въ этомъ заключалась главная вина его передъ своимъ вѣкомъ, какъ онъ и самъ въ этомъ сознается въ своей статьѣ по поводу *Отцовъ и дѣтей*:

«Вся причина недоразумѣній,—говоритъ онъ,—вся, какъ говорится, «бѣда» состояла въ томъ, что воспроизведенный мною базаровскій типъ не успѣлъ пройти чрезъ постепенные фазисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литературные типы. На сего долю не пришлось—какъ на долю Онѣгина или Печорина—эпохи идеализаціи, сочувственнаго вознесенія. Въ самый моментъ появленія *новаго* человѣка—Базарова—авторъ отнесся къ нему критически и объективно. Это многихъ сбilo съ толку—и кто знаетъ! въ этомъ была, быть можетъ, если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ по крайней мѣрѣ столько-же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы».

Вмѣстѣ съ тѣмъ ошибка Тургенева заключалась и въ томъ еще, что онъ не признавалъ въ новыхъ людяхъ, изображенныхъ въ лицѣ Базарова, энтузіастовъ со всѣми достоинствами и недостатками людей этого сорта; а напротивъ того они показались ему скептиками, отрицателями, и онъ окрестилъ ихъ зловѣщимъ прозвищемъ *нигилистовъ*, изъ-за котораго и загорѣлся весь сыръ-боръ, какъ онъ и говоритъ самъ объ этомъ въ той-же статьѣ:

«Выпущеннымъ мною словомъ «нигилизмъ» воспользовались тогда многіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ. Не въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было употреблено мною это слово; но какъ точное и уместное выраженіе проявившагося историческаго факта: оно было превращено въ орудіе доноса, безповоротнаго осужденія—почти въ клеймо позора».

Главная-же причина всей этой роковой ошибки заключалась въ томъ, что, начиная съ 1855 года, Тургеневъ большею частью жилъ за-границею и бывалъ въ Россіи лишь урывками и на весьма непродолжительное время. Онъ слѣдилъ издали за движеніемъ шестидесятыхъ годовъ, но не переживалъ его непосредственно въ самомъ его руслѣ, и вотъ мало-по-малу онъ началъ утрачивать присущее ему чутье русской дѣйствительности. Всѣ лучшія произведенія его до романа *Наканунъ* изображаютъ дореформенную Русь сороковыхъ годовъ, которую онъ изучилъ еще въ молодости. Когда-же русское общество начало быстро преобразовываться подъ вліяніемъ реформъ шестидесятыхъ годовъ, и нравы начали совершенно измѣняться, Тургеневъ не имѣлъ возможности слѣдить внимательно за этимъ измѣненіемъ, живя за-границею, и вмѣсто того чтобы творить, непосредственно беря изъ дѣйствительности свои образы, ему при-

плось руководствоваться зачастую отвлеченными соображеніями, догадками. Главный недостаток *Отцовъ и дѣтей* заключался въ томъ, что большинство молодежи не узнало себя въ Базаровѣ, исключая развѣ одного Писарева, да и тотъ, взявши тургеневскаго Базарова за исходную точку, создалъ своего собственнаго Базарова.

Это обстоятельство слѣдуетъ взять во вниманіе и при обзорѣ всей послѣдующей дѣятельности Тургенева, которая съ каждымъ годомъ послѣ того все болѣе и болѣе теряла ту живую и непосредственную связь съ теченіемъ русской жизни, какую она имѣла въ сороковые и пятидесятые годы. Такъ, подъ живымъ впечатлѣніемъ того fiasco, который потерпѣлъ романъ его *Отцы и дѣти*, онъ написалъ *Довольно* (1864), въ которомъ выразилъ вся обиду и горечь, причиненныя ему разладомъ съ русскимъ обществомъ изъ-за этого романа. Но не одинъ капризъ обиженнаго художника, рѣшившагося оставить свое поприще, слышится въ этомъ произведеніи. Оно преисполнено разочарованія жизнью въ общемъ ея смыслѣ, и въ немъ вы видите задатки того пессимистическаго настроенія, которое все болѣе и болѣе развивалось въ Тургеневѣ подъ конецъ жизни.

Это пессимистическое настроеніе еще съ большею силою выразилось въ романѣ *Дымъ* (1867), въ которомъ Тургеневъ смотритъ, какъ на дымъ и миражъ, на всю русскую жизнь, со всѣмъ ея движеніемъ, партіями, кружками; особенно-же достается въ этомъ романѣ русскимъ эмигрантамъ въ Лондонѣ, которыхъ Тургеневъ шаржируетъ до того открыто, что напримѣръ Огаревъ изображенъ подъ весьма прозрачнымъ псевдонимомъ Губарева.

Далѣе затѣмъ въ этомъ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Тургенева наиболѣе выдаются *Вѣшніе воды* (1871), повѣсть, въ которой Тургеневъ вновь воротился къ старой темѣ цвѣтущаго періода своей дѣятельности—къ изображенію безхарактернаго помѣщика, и романъ *Новъ* (1876)—эта послѣдняя попытка встать au courant русской жизни, изобразивши движеніе семидесятыхъ годовъ, но попытка эта еще разъ показала всю невозможность изображать новые типы и явленія жизни, живя за-границею и не изучая этихъ типовъ и явленій непосредственными наблюденіями. Какъ великій художникъ Тургеневъ создалъ нѣчто весьма правдоподобное и живое, проведя въ то-же время въ романѣ свою излюбленную тенденцію гамлетства и донкихотства. Но молодые люди семидесятыхъ годовъ еще менѣе узнали себя въ выведенныхъ типахъ, чѣмъ поколѣніе шестидесятыхъ годовъ—въ Базаровѣ. Неусиѣхъ *Нови*, въ видѣ массы отрицательныхъ критическихъ отзыовъ, произвелъ на Тургенева снова весьма болѣзненное впечатлѣніе и еще болѣе омрачилъ духъ его.

Въ промежуткѣ между вышеупомянутыми произведеніями этого періода Тургеневъ написалъ массу мелкихъ разсказовъ—*Призраки* (1863), *Собака* (1866), *Исторія лейтенанта Ергунова* (1866), *Бригадиръ* (1866), *Несчастная* (1868), *Странная исторія* (1869), *Стеной король Лиръ* (1870), *Стукъ-стукъ-стукъ...* (1870), *Пегасъ* (1871), *Конецъ Чертопанова* (1872), *Пунинъ и Бабушкинъ* (1874), *Живыя мощи* (1875), *Часы* (1875), *Стучатъ* (1875), *Сонъ* (1876), *Разсказъ отца Алексѣя* (1877). Наконецъ на смертномъ одрѣ онъ написалъ *Пѣснь торжествующей любви* (1881), *Клару Милнчъ* (1882), *Стихотворенія въ прозѣ* (1882) и *Пожаръ на морѣ* (1883). Всѣ эти произведенія, въ худо-

жественномъ отношеніи болѣе или менѣе совершенныя, болѣе или менѣе вапоминающія прежняго Тургенева, далеко копечпо не имѣютъ того значенія, какъ произведенія первыхъ трехъ періодовъ его дѣятельности. Въ нихъ Тургеневъ жилъ такъ сказать прошлымъ, тѣмъ запасомъ впечатлѣній, какой онъ успѣлъ собрать въ лучшіе годы своей жизни.

## VIII.

Въ качествѣ художника Тургеневъ представляетъ собою безспорно первую величину среди беллетристовъ сороковыхъ годовъ и является достойнымъ преемникомъ Пушкина, ученикомъ котораго онъ всегда себя считалъ. Но ученикъ при всемъ влияніи учителя сумѣлъ выработать свой самостоятельный тургеневскій стиль и въ свою очередь вызвалъ массу подражателей, оставивъ послѣ себя глубокой слѣдъ въ русской литературѣ. Тургеневъ можно сказать создалъ русскую художественную новеллу, доведя ее до крайняго совершенства по изяществу и стройности изложенія и расположенія частей, по безыскусственной простотѣ и полному реализму.

Своеобразность стиля Тургенева заключается въ необыкновенной мягкости и нѣжности тоновъ, при нѣкоторой туманности колорита, напоминающей воздухъ и небо средней полосы Россіи. Вы не найдете у Тургенева ни одной рѣзкой и крупной черты, ни одной яркой краски. Изображаемые предметы не вдругъ предстаютъ передъ вами во весь ихъ ростъ, а медленно вырисовываются въ массѣ мелкихъ деталей со всѣми тончайшими оттѣнками. Наболѣе прославился Тургеневъ въ художественномъ отношеніи своими ландшафтами, разсѣянными по всѣмъ его произведеніямъ, изображающими преимущественно природу его родины — средней Россіи.

Рядомъ съ этимъ не меньшимъ мастерствомъ и художественною прелестью отличался всегда Тургеневъ при изображеніи и анализѣ разныхъ перипетій нѣжной страсти, и въ этомъ отношеніи онъ слылъ всегда знатокомъ женскаго сердца. Ему придавали нерѣдко спеціальныи эпитетъ „пѣвца любви“. Наконецъ рядомъ съ мужскими типами, героями своего времени, произведенія Тургенева представляютъ цѣлую галерею русскихъ женщинъ сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, изображенныхъ въ совершенствѣ постигнутаго гениальномъ. Такіе типы, какъ Наташа въ *Рудинѣ*, Лиза въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*, Елена въ *Наканунѣ*, Ася, сдѣлались нарицательными кличками въ одномъ ряду съ Татьяною и Ольгою Пушкина. Замѣчательно въ тоже время, что, какъ и у всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, женщины въ произведеніяхъ Тургенева стоятъ неизмѣримо выше мужчинъ, и онѣ только одни представляютъ собою вполне реальныя положительные типы въ произведеніяхъ Тургенева. Очень часто онѣ словно нарочно для того и выводятся во всей своей нравственной высотѣ, чтобы оттѣнить собою ничтожество выводимыхъ рядомъ съ ними героевъ. Въ чемъ заключается загадочная причина подобнаго преимущества, какое оказывали беллетристы сороковыхъ годовъ женщинамъ передъ мужчинами, — мы не беремся объ этомъ судить, такъ какъ причина эта для насъ непонятна.

Но не въ одномъ художественномъ, — и въ умственномъ отношеніи Тургенева слѣдуетъ поставить во главѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Готовясь къ ученой кар-

рьерѣ, онъ умѣлъ встать во главѣ движенія въ качествѣ образованнѣйшаго человѣка сороковых годовъ и начитаннѣйшаго человѣка того времени, усвоившаго вполне обстоятельно гегелевскую философію, составлявшую тогда послѣднее слово европейскаго прогресса. И если онъ не успѣлъ въ послѣдствіи усвоить новое, положительное міросозерцаніе, то во всякомъ случаѣ всегда оставался свободнымъ мыслителемъ, отрѣшившимся отъ всѣхъ традиціонныхъ предразсудковъ грубаго невѣжества.

Подъ конецъ жизни, съ начала шестидесятыхъ годовъ, впервые начали проявляться въ его произведеніяхъ задатки пессимизма. Такъ уже въ *Наканунѣ* онъ поразилъ всѣхъ пессимистическою фразою вполне шопенгауэровскаго характера, въ родѣ того, что имѣемъ-ли мы право на жизнь и не есть-ли уже то, что мы живемъ—преступленіе, за которое мы должны нести наказаніе въ нашей жизни? Этотъ пессимизмъ, какъ мы выше замѣтили, окончательно выразился въ произведеніяхъ *Довольно* и затѣмъ въ *Стихотвореніяхъ въ прозѣ*. Источникъ этого пессимизма слѣдуетъ искать во всемъ прошломъ Тургенева, начиная съ отроческихъ впечатлѣній дѣтства, съ растлевающего вліянія реакціи пятидесятыхъ годовъ и кончая всею массою жизненнаго опыта съ тѣми литературными неудачами, какія потерпѣлъ Тургеневъ во второй половинѣ своей жизни. Не надо при этомъ забывать, что самый тотъ духъ анализа и скептицизма, какой проникаетъ всю школу беллетристовъ сороковыхъ годовъ, прямо ведетъ къ пессимизму, какъ и всякій скептицизмъ.

По общественнымъ своимъ убѣжденіямъ Тургеневъ всегда былъ и оставался свободомыслящимъ приверженцемъ мирнаго прогресса съ демократическою тягою къ народу. Будучи западникомъ, онъ, подобно Герцену и многимъ другимъ людямъ сороковыхъ годовъ, проникался и нѣкоторыми идеями славянофильства, причемъ въ одинаковой степени постигалъ и отрицалъ недостатки и крайности какъ западниковъ такъ и славянофиловъ... „Я,—говоритъ Тургеневъ въ своей статьѣ о Базаровѣ,—коренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ зывелъ въ лицѣ Панишина (въ *Дворянскомъ гнѣзді*) всѣ комическія и пошлыя стороны западничества и заставлялъ славянофила Лаврецакаго „разбить его на всѣхъ пунктахъ“. И, наоборотъ, въ *Дымѣ* вы найдете рядъ не менѣе сильныхъ филиппикъ противъ славянофиловъ.

Въ качествѣ эстетика Тургеневъ всегда былъ строгимъ реалистомъ. Такъ, въ статьѣ по поводу *Отцовъ и дѣтей* онъ говоритъ: „Не однажды слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я въ моихъ произведеніяхъ „отправляюсь отъ идеи“ или „провожаю идею“, иные меня за это хвалили, другіе напротивъ порицали; со своей стороны я долженъ сознаться, что никогда не покушался „создавать образъ“, если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣнивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большою долею свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой я-бы могъ твердо ступать ногами“... И ниже въ той-же статьѣ, обращаясь къ молодымъ писателямъ со своими старческими совѣтами, онъ говоритъ: „Нужно постоянное общеніе съ средою, которую беремся воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неутомимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій—и наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе!..“

Этим эстетическими взглядами объясняется и тотъ фактъ, что Тургеневъ въ шестидесятыхъ годахъ очень не жаловалъ французскую литературу въ лицѣ В. Гюго, Дюма, Бальзака, но десять лѣтъ спустя онъ является въ Парижѣ уже другомъ Флобера. Ожье, Додэ и Гонкуровъ, покровителемъ Золя и Мопассана и ставитъ французскую беллетристику на первомъ мѣстѣ въ современныхъ западно-европейскихъ литературахъ. Онъ нашелъ даже время и охоту перевести въ 1877 г. двѣ повѣсти Флобера. Такой поворотъ во мнѣніяхъ Тургенева о французской литературѣ объясняется водареніемъ въ ней съ конца шестидесятыхъ годовъ натуралистической школы, родственной Тургеневу по всѣмъ его русскимъ традиціямъ и распространенію которой во Франціи онъ много содѣйствовалъ и словомъ, и примѣромъ. Сами французскіе писатели новой школы признаютъ, что Тургеневъ имѣлъ на нихъ очень сильное вліяніе, и эстетическіе взгляды его были для нихъ своего рода откровеніемъ. Въ бесѣдахъ съ представителями новѣйшаго натурализма, онъ доказывалъ имъ необходимость отказаться отъ устарѣлыхъ романтическихъ формъ, отъ романовъ съ придуманными фантастическими и учеными комбинаціями и интригами и съ манекэнами вмѣсто живыхъ людей, и требовалъ, чтобы писатели воспроизводили жизнь, ничего кромѣ жизни. Романъ, говорилъ онъ, есть самая новѣйшая форма художественной литературы, и въ настоящее время, когда литературный вкусъ начинаетъ очищаться, слѣдуетъ отбросить всѣ пошлые приемы, упростить и возвысить это искусство, которое должно быть *исторіей жизни*. Ложь, лицемеріе, септиментальность и трескучая риторика имѣли въ немъ рѣшительнаго противника; но проповѣдуя натурализмъ, онъ никогда не переступалъ извѣстнаго предѣла, строго осуждая тѣ крайности, въ которыя впадаютъ французскіе натуралисты.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.—Родители и воспитатели Ивана Александровича Гончарова и его дѣтство. II.—Воспитаніе школьное и университетское.—Служба.—Первые литературные опыты.—Знакомство съ литературными кружками.—Выходъ въ свѣтъ *Обыкновенной исторіи*. III.—Среда, влиявшая на умственное развитіе Гончарова и складъ его таланта.—Различіе качествъ этого таланта отъ тургеневскаго. IV.—Дальнѣйшіе факты его жизни.—Путешествіе кругомъ свѣта.—*Фрегатъ Паллада*. V.—*Обломовъ*. VI.—*Обрывъ* и остальные его сочиненія.

### I.

Какъ ни были общи всѣмъ беллетристамъ сороковыхъ годовъ тѣ обозначенныя нами въ началѣ предыдущей главы характеристическія особенности, которыя связывали всѣхъ этихъ писателей въ одну школу, эта общность не мѣшала каждому изъ нихъ имѣть свою рѣзкую и опредѣленную индивидуальность, свое міросозерцаніе, идеалы, свой характеръ и приемы творчества, однимъ словомъ свою личную, авторскую физіономію, не только не похожую на физіономію сотоварищей, но представлявшую иногда въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ полную съ ними противоположность. Поэтому при изученіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ большую пользу можетъ оказать сравненіе ихъ между собою, при которомъ съ особенною рельефностью должны выступить особенности каждого изъ корифеевъ этой школы.

И въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна та почти полярная противоположность, какая замѣчается между Тургеневымъ и Гончаровымъ. Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ литературной дѣятельности Ивана Александровича Гончарова, считаемъ необходимымъ сообщить выдающіеся факты жизни его.

Отецъ Ив. Ал. Гончарова былъ однимъ изъ зажиточныхъ симбирскихъ купцовъ. Семейство его проживало въ Симбирскѣ въ большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы.

«Домъ у насъ былъ, говоритъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаціяхъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, имѣвшихъ поблизости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: подкормы, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Сюда лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки, все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и вскаческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня».



Вотъ среди этой благодати и родился Ив. Ал. Гончаровъ 6-го іюля 1812 года. Въ произведеніяхъ каждаго писателя, если вы и не найдете прямыхъ біографическихъ свѣдѣній, то во всякомъ случаѣ до извѣстной степени отражаются духъ, характеръ и многія черты среды и обстановки дѣтскихъ лѣтъ писателя. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что въ *Снѣ Обломова* изображена жизнь, похожая на ту, какую наблюдалъ Гончаровъ въ дѣтствѣ въ родительскомъ домѣ. Онъ впрочемъ и самъ говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

«По пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той-же «обломовщиной», какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣже большею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колонками, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крашвой, безконечные заборы; тѣже деревянные тротуары съ недостающими досками, таже пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Все улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телега или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій. Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными сторами и жалюзи, на сонныя фзіономіи сидящихъ по домамъ или попадающихъ на улицѣ лица. «Намъ нечего дѣлать!»—зѣвая, думаетъ кажется всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: «мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ».

Но конечно было-бы ошибочно предполагать, чтобы Гончаровъ свою Обломовку съ фотографическою точностью списалъ-бы со своего родительскаго дома. Было въ немъ кое-что и не совсѣмъ обломовское.

Дѣтей у Гончаровыхъ былъ четверо: двое сыновей и двѣ дочери. Отца Гончаровъ лишился рано, когда ему было три года, но ему вполне замѣнилъ родного отца крестный, отставной морякъ, поселившійся въ домѣ Гончаровыхъ и сжившійся съ нѣмъ семействомъ. Это былъ въ свое время передовой человекъ, массонъ, находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ декабристами; умный, образованный, живой, онъ былъ въ Симбирскѣ предметомъ всеобщей любви и уваженія, и около него собиралось лучшее симбирское общество.

«Якубовъ (какъ называетъ его въ своихъ воспоминаніяхъ Гончаровъ) былъ крестнымъ отцомъ насъ четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца, онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ нашей семьѣ, потому принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя нами, пришилъ насъ подъ свое крыло, а мы прижились къ нему дѣтскими сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ лучшимъ совѣтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія. Якубовъ былъ вполне просвѣщенный человекъ. Образование его не ограничивалось техническими познаніями въ морскомъ дѣлѣ, приобретенными въ морскомъ корпусѣ. Онъ дополнялъ его непрестаннымъ чтеніемъ по всѣмъ отраслямъ знанія, не жалѣлъ денегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, брошюръ. Какъ бывало прочитасть въ газетѣ объявленіе о книгѣ, которая по заглавію покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требованіе въ столицу. Романовъ, и вообще беллетристику, онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы болѣе понаслышкѣ. Выписывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

«Мать наша, благодарная ему за трудную часть впитыхъ на себя заботъ о нашемъ воспитаніи, взяла на себя всѣ заботы о его житьѣ-бытьѣ, о хозяйствѣ. Его дворни,

повара, кучера слились съ нашей дворней подъ ея управленіемъ—и мы жили однимъ общимъ домоу. Вся матеріальная часть пала на долю матери, отличной, опытной хозяйки. Интеллектуальныя заботы достались ему.

«Мать любила насъ не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабому потворствѣ и угодливости дѣтскимъ капризамъ и которая портитъ дѣтей. Она умно любила, слѣдя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ, и съ строгой справедливостью распредѣлила свою симпатію между всѣми нами четырьмя дѣтьми. Она была взыскательна и не пропускала безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно если въ шалости крылись зерна будущаго порока. Она была неумолима. За-то Петръ Андреевичъ Якубовъ, заступавшій намъ мѣсто отца, былъ отецъ-баловникъ.... Бывало напалишь что-нибудь: влѣзешь на крышу, на дерево, увяжешься съ уличными мальчишками въ сосѣдній садъ, или съ братомъ заберешься на колокольню—она узнаетъ и пошлетъ человѣка привести шалуна къ себѣ. Вотъ тутъ-то и спасаешься въ благодѣтельный флигель, къ «крестному». Онъ уже знаетъ въ чемъ дѣло. Является человѣкъ или горничная съ зовомъ:—Пожалуйте къ маменькѣ! — «Пошелъ» или «пошла вонъ!» — лаконически командуетъ морякъ. Гнѣвъ матери между тѣмъ утихаетъ и дѣло ограничивается выговоромъ вмѣсто дранья ушей и стоянія на колѣняхъ, что было въ наше время весьма распространеннымъ средствомъ смирять и обращать шалуновъ на путь правый....

«По мѣрѣ того, какъ онъ старѣлся, а я приходилъ въ возрастъ, между мной и имъ установилась—съ его стороны передача, а съ моей—живая воспріимчивость его серьезныхъ техническихъ познаній въ чистой и прикладной математикѣ. Особенно ясны и неопѣненны были для меня его бесѣды о математической и физической географіи, астрономіи, вообще космогоніи, потомъ навигаціи. Онъ познакомилъ меня съ картою звѣзднаго неба, наглядно объяснялъ движеніе планетъ, вращеніе земли, все то, чего не умѣли или не хотѣли сдѣлать мои школьные наставники. Я увидѣлъ ясно, что они были дѣти передъ нимъ въ этихъ техническихъ преподаваемыхъ мнѣ наукъ урокахъ. У него были нѣкоторые морскіе инструменты: телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между книгами у него оказались путешествія всѣхъ кругосвѣтныхъ плавателей съ Кука до послѣднихъ временъ.

«Я жадно поглощалъ его рассказы и зачитывался путешествіями. «Ахъ, если-бы ты сдѣлалъ хоть четыре морскія кампаніи (морскою кампаніею считается каждыя полгода, проведенныя въ морѣ), то-то-бы порадовалъ меня!»—говаривалъ онъ часто въ заключеніе нашихъ бесѣдъ. Я задумывался въ отвѣтъ на это: меня тогда уже тянуло къ морю или по крайней мѣрѣ къ водѣ. Если-бы онъ предвидѣлъ, что со временемъ я сдѣлаю пять кампаній—да еще кругомъ свѣта!... Поддаваясь мистицизму, можно пожалуй подумать, что не одинъ случай только далъ мнѣ такого наставника для будущаго моего дальняго странствованія. Впрочемъ помимо этого меня нерѣдко манили куда-то въ даль широкіе разливы Волги со множествомъ плавающихъ какъ лебеди бѣлыхъ парусовъ. Я цѣлые часы мечтательно еще ребенкомъ вглядывался въ эту широкую целену водъ.

«И по пріѣздѣ въ Петербургъ во мнѣ уживалась страсть къ водѣ. Рассказы-ли «крестнаго» вмѣстѣ съ прочитанными путешествіями, или широкое раздолье вожскихъ водъ, не знаю что, но только страстишка къ морю жила у меня въ душѣ. Гуляя по Васильевскому острову, я съ наслажденіемъ заглядывалъ на иностранныя суда и нюхалъ запахъ смолы и пеньковыхъ канатовъ. Я прежде всего поспѣшилъ по пріѣздѣ въ Петербургъ посѣтить Кронштадтъ и осмотрѣть тамъ море и все морское.

Принимая во вниманіе это благотворное вліяніе просвѣщеннаго, гуманнаго и передоваго человѣка своего времени на горячо любимаго имъ крестника, слѣдуетъ замѣтить сверхъ того и то очень важное обстоятельство дѣтскихъ лѣтъ Гончарова, что въ

домѣ родителей его если и господствовали патріархальныя нравы со всею ихъ освященною вѣками рутиню, но они далеко не имѣли такого мрачнаго и жестокаго характера, какой мы видѣли въ семьѣ Тургенева.

Крестнаго своего Гончаровъ рисуетъ человѣкомъ вспыльчивымъ, но никогда не исполнявшимъ тѣ угрозы, которыя вырывались у него при вспышкахъ мпутнаго гнѣва. — Мать его, судя по всѣмъ даннымъ, въ свою очередь при всей строгости своей была женщина мягкая и добродушная. Однимъ словомъ Гончаровъ не вынесъ пзъ дѣтства такихъ тяжелыхъ, ожесточающихъ воспоминаній, какія вынесъ Тургеневъ, и это одно дѣлаетъ между ними очень важное и существенное различіе.

## II.

Элементарное образованіе Гончаровъ получилъ въ различныхъ городскихъ частныхъ пансіонахъ, между прочимъ у одного священника, жившаго по сосѣдству въ имѣніи княгини Хованской и содержавшаго особенный пансіонъ для дѣтей мѣстныхъ дворянъ. Это былъ человѣкъ весьма образованный, окончившій курсъ въ казанской духовной академіи, обладавшій притомъ щеголеватой внѣшностью и хорошими манерами. Женатъ онъ былъ на француженкѣ, которая преподавала воспитанникамъ мужа свой отечественный языкъ. При этомъ оригинальномъ пансіонѣ Гончаровъ нашелъ и небольшую разрозненную библіотеку, въ которой попался ему въ руки путешествія Кука и Крашенникова, Мунго-Парка и Палласа, Карамзинъ и Голковъ, Ролленъ и Милль, произведенія Нахимова и Расина, Ломоносова, Державина, Фонъ-Визина и Тасса; рядомъ съ дѣтскими нравоучительными разсказами Беркэя, Телемакомъ Фенелопа, — мрачныя романы Ратклифъ, „Саксонскій разбойникъ“ рядомъ съ томкомъ „Ключа къ таинствамъ природы“ Экартсгаузена, Бова Королевичъ и Еруслапъ Лазаревичъ. Все это было поглощено воспримчивымъ умомъ ребенка огуломъ, и можно представить себѣ, какую путаницу все это подворило въ талантливой головкѣ мальчика.

Въ 1822 году, 10 лѣтъ отъ роду, его отвезли въ Москву для дальнѣйшаго образованія и помѣстили въ одно изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Такимъ образомъ уже съ десятилѣтняго возраста началась для Гончарова жизнь внѣ семейнаго очага; домой съ этихъ поръ пріѣзжалъ онъ лишь на лѣто, остальное-же время проводилъ въ столицѣ. Прюдожая среди ученья читать чтó ни попадо, онъ успѣлъ до университета еще познакомиться съ французскими беллетристами, перевелъ даже на русскій языкъ романъ Ев. Сю-Артанюль, отрывокъ котораго былъ помѣщенъ въ *Телескопѣ* 1832 г.

Къ поступленію въ университетъ Гончаровъ былъ готовъ уже въ 1830 году, но такъ какъ въ этотъ годъ по случаю холеры университетъ былъ закрытъ, то ему пришлось держать вступительный экзаменъ въ 1831 году. По собственнымъ словамъ его онъ въ это время зналъ порядочно пофранцузски, понѣмецки, отчасти поанглійски и полатыни; переводилъ Корнеля Непота „à livre ouvert“. Не задолго до вступительнаго экзамена изъ министерства народнаго просвѣщенія получилось предписаніе требовать отъ вступающихъ въ словесное отдѣленіе знанія греческаго языка, что привело въ пемалое смущеніе Гончарова. „Я и другіе, говорятъ онъ въ своихъ воспо-

минаніяхъ, кто поступалъ въ словесное отдѣленіе, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложивъ все прочее, напустились на грамматику и синтаксисъ, и съ этимъ скуднымъ, пріобрѣтеннымъ съ грѣхомъ по-поламъ запасомъ, явился на экзаменъ. Много воды подплъ этотъ греческой языкъ въ мои теплыя надежды. Но все обошлось благополучно...

Послѣ я услышалъ, что начальство не желало затруднять вступленіе въ университетъ изъ-за греческаго языка, и предоставило экзаменовать изъ послѣдняго снисходительно, такъ какъ его включили въ программу вступительнаго экзамена поздно“...

Въ университетѣ Гончаровъ пробылъ весь тогдашній трехъ-годичный курсъ, слѣдовательно до 1834 года, слушая Надеждина, Каченовскаго, Шевырева и пр. При общемъ составѣ профессоровъ филологическаго факультета въ московскомъ университетѣ того времени, не много могъ вынести Гончаровъ изъ пройденнаго курса, и къ тому-же къ сожалѣнію онъ не примкнулъ ни къ одному изъ студенческихъ кружковъ, бывшихъ въ московскомъ университетѣ какъ разъ въ это время, — ни къ кружку Станкевича, ни къ кружку Герцена. Тѣмъ не менѣе университетской курсъ все-таки прошелъ для Гончарова не безслѣдно, какъ онъ самъ объ этомъ замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „Университетскій officialный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ виду своихъ товарищей словесниковъ, я не забывалъ профессоровъ и ихъ указаній. Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которыя преподавали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора“...

Что касается до общаго міросозерцанія, то Гончаровъ во время окончанія университетскаго курса въ 1834-мъ году былъ конечно самымъ пламеннымъ и сентиментальнымъ романтикомъ. Это была именно эпоха наибольшаго развитія романтизма среди молодежи. Вѣлинскій какъ разъ въ этотъ самый годъ началъ свою литературную дѣятельность, и въ Москвѣ начали печататься первыя его статьи, исполненныя восторженнаго идеализма. Поклоненіе Пушкину дошло въ это время до своего апогея, и рядомъ съ этимъ молодежь носилась съ идеалами Шиллера, боготворила Гофмана, что не мѣшало ей зачитываться и Марлинскимъ.

Но выходъ изъ университета Гончаровъ поѣхалъ на родину, гдѣ сразу охватила его родная обломовщина. „Меня охватило, говоритъ онъ, какъ паромъ, домашнее баловство. Многие изъ читателей конечно испытали сладость возвращенія послѣ долгой разлуки къ роднымъ и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего нибудь: все давно готово, предусмотрено. Кромѣ семьи старые слуги съ нянькой во главѣ смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда—и всѣ не паглядятъ на меня“.

Цѣлый годъ прожилъ онъ на родинѣ на подножномъ корму, не совѣмъ впрочемъ въ праздности, такъ какъ вскорѣ по пріѣздѣ онъ былъ зачисленъ на мѣсто секретаря въ губернаторскую канцелярію, и такъ какъ черезъ годъ губернаторъ былъ

отозванъ въ Петербургъ, то и Гончаровъ поѣхалъ виѣстѣ съ нимъ туда (1835) со всею его канцелярією.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, Гончаровъ поступилъ на службу по министерству финансовъ сначала переводчикомъ, потомъ столоначальникомъ. Съ этихъ поръ начинается весьма важный періодъ его жизни окончательной формировки его нравственного и умственного міра и полного развитія таланта. Къ сожалѣнію мы ничего не можемъ сообщить объ этомъ періодѣ, какъ лишь такія скудныя свѣдѣнія, что въ свободные отъ службы часы Гончаровъ занимался переводами изъ Шиллера, Гёте (прозы), Вилкельмана, а также англійскихъ романовъ. Писалъ-ли онъ что-либо оригинальное въ первые пять лѣтъ своего пребыванія въ Петербургѣ, хотя-бы лишь для себя, въ видахъ развитія таланта, мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній. Но въ началѣ сороковыхъ годовъ, по его собственнымъ словамъ (въ статьѣ *Лучше поздно чѣмъ никогда*), задумывался уже и писался романъ *Обыкновенная исторія*. По содержанию-же этого романа мы можемъ судить, что къ началу сороковыхъ годовъ Петербургъ успѣлъ уже сдѣлать съ Гончаровымъ тоже, что сдѣлалъ онъ около того же времени съ Бѣлинскимъ и героемъ романа Гончарова, Александромъ Адуевымъ, т. е. обломать крылья мечтательной фантазіи, и взбалмошнаго, сентиментальнаго провинціального романтика превратить въ реалиста черезчуръ уже, какъ увидимъ ниже, трезваго. Гончаровъ самъ въ статьѣ *Лучше поздно чѣмъ никогда* такими словами связываетъ первый романъ со своею личностью:

„Когда я писалъ *Обыкновенную исторію*, я конечно имѣлъ въ виду и себя и многихъ подобныхъ мнѣ, учившихся дома или въ университетѣ, жившихъ по затѣшамъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и притомъ отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашнего очага, со слезами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ *Обыкновенной исторіи*) и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургъ“.

Когда писалась *Обыкновенная исторія*, Гончаровъ вращался уже въ литературныхъ кружкахъ. Такъ онъ успѣлъ сблизиться съ семействомъ Майковыхъ и, по словамъ Н. И. Панаева, много содѣйствовалъ въ развитіи таланта А. П. Майкова, будущаго поэта, тогда еще подававшаго большія надежды подростка. Въ томъ-же семействѣ бывалъ нѣкто Солопицынъ, богатый и прекрасно образованный человекъ, занимавшійся воспитаніемъ Майковыхъ по искренней дружбѣ, связывавшей его съ семействомъ. Солопицынъ былъ страстнымъ охотникомъ до всякихъ домашнихъ торжествъ, предпріятій и затѣй, и потому, желая вѣроятно поощрить своихъ юныхъ воспитанниковъ къ занятіямъ литературою, видя въ нихъ склонность къ этому, онъ задумалъ издавать въ домашнемъ кружкѣ Майковыхъ небольшой журналъ, прінявъ на себя переплетеніе и переписываніе его номеровъ. Въ этомъ-то журнальцѣ появились и первые литературные опыты Гончарова въ видѣ двухъ небольшихъ тщательно отдѣланныхъ эпизодическихъ рассказовъ юмористическаго содержанія.

Въ 1846 году Гончаровъ познакомился съ Бѣлинскимъ и съ кружкомъ молодыхъ литераторовъ, группировавшихся вокругъ него и въ слѣдующемъ году составившихъ редакцію *Современника*. И вотъ, въ 1847 году, въ первыхъ книжкахъ возобновленнаго *Современника* была напечатана *Обыкновенная исторія*, сразу привлекая общее вниманіе и снискавшая автору громадный успѣхъ среди читающей публики.

Въ слѣдующемъ-же 1848 году тоже въ *Современникъ* былъ напечатанъ небольшой очеркъ изъ чиновничьяго быта *Иванъ Поджабринъ*.

### III.

Мы говорили уже выше, что Гончарову не удалось сойтись въ университетѣ ни съ однимъ изъ существовавшихъ въ то время кружковъ. Почти прямо со школьной скамьи пріѣхавши въ Петербургъ зеленымъ и прекраснодумнымъ романтикомъ вроде Адуева, онъ подобно герою своему сразу окунулся въ чиновничій міръ холодныхъ и черствыхъ практическихъ дѣльцовъ въ духѣ дядюшки Петра Ивановича Адуева. Это была та самая среда бюрократическаго оппортунизма, о которой мы не разъ уже говорили въ этой книгѣ, среда не чуждая либерализма въ самой умѣренной дозѣ, ратовавшая противъ крѣпостного права и стремившаяся къ европейскому прогрессу на буржуазной основѣ и съ англійскими порядками. Героемъ этой среды и ея воплощеніемъ является именно Петръ Ивановичъ Адуевъ, въ которомъ Гончаровъ видитъ „слабое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, нерутиннаго, а *живого дѣла* въ борьбѣ со всероссійскимъ застоємъ“. Это „живое дѣло“ заключается въ томъ, что достигши значительнаго положенія въ службѣ, Адуевъ, будучи директоромъ, тайнымъ совѣтникомъ, сдѣлался вдругъ заводчикомъ. „Тогда, замѣчаетъ Гончаровъ объ этомъ обстоятельствѣ, отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ это была смѣлая новизна, чуть не *униженіе* (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца не было лестно“.

Итакъ, вотъ каковы были руководители Гончарова. Въ то время, какъ Тургеневъ, войдя въ кружокъ Бѣлинскаго, вмѣстѣ съ послѣднимъ отрѣшался отъ романтизма путемъ философскаго мышленія и усвоенія широкихъ общественныхъ идеаловъ, Гончаровъ тотъ-же самый процессъ совершалъ подъ вліяніемъ тайныхъ совѣтниковъ, державшихъ дѣлаться заводчиками.

Это не замедлило отразиться какъ на міросозерцаніи Гончарова, такъ и на характерѣ самаго его творчества. По міросозерцанію своему Гончаровъ рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, особенно отъ Тургенева, тѣмъ что у него вы и тѣни не увидите того скептическаго взгляда на жизнь и людей, тѣхъ философскихъ „рефлексій“, какими преисполнены всѣ прочіе беллетристы этой школы. Взгляды Гончарова напротивъ того отличаются средневѣковою непосредственностью, опредѣленностью и ясностью, и въ этомъ отношеніи онъ болѣе всего приближается по своему міросозерцанію къ Гоголю. Онъ не столько апатизируетъ жизнь, старается заглянуть въ глубь ея, сколько созерцаетъ ее во всемъ ея наружномъ, виѣшнемъ разнообразіи. Эта-то непосредственность созерцанія при полномъ отсутствіи анализа и была причиною того опредѣленія таланта Гончарова, которое сдѣлалъ Бѣлинскій при появленіи *Обыкновенной исторіи*, что Гончаровъ „поэтъ, художникъ и больше ничего“, что „у него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ

нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ: „кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона“, и что „изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство—и тѣмъ самымъ успѣваютъ“...

Изъ этого непосредственнаго созерцанія жизни при полномъ отсутствіи всякаго анализа протекаютъ два главныхъ свойства творчества Гончарова, наиболѣе рѣзко отличающія его отъ Тургенева. Тургеневъ рѣдко вдается въ подробныя описанія вѣшнихъ аксессуаровъ жизни. Даже при изображеніи героевъ рассказовъ своихъ, онъ ограничивается обыкновенно самыми главными, наиболѣе выдающимися чертами и старается поскорѣе проникнуть въ глубь жизни, опредѣлить философскій внутренній смыслъ изображаемаго предмета или личности. У Гончарова-же напротивъ того преобладаетъ въ изображеніяхъ вѣшняя пластика, стремленіе обрисовывать предметы во всѣхъ ихъ разнообразныхъ и мелкихъ подробностяхъ. Этимъ своимъ качествомъ онъ опять-таки наиболѣе подходитъ къ Гоголю, который славился именно своею страстью вдаваться въ „фламандской кухни пестрый соръ“ и въ тину мелочей и дразгъ повседневной жизни.

Рядомъ съ этою особенностью мы видимъ другую совершенно противоположную, по которой въ свою очередь выходила изъ отсутствія анализа и которую Гончаровъ и на этотъ разъ раздѣлялъ вмѣстѣ съ Гоголемъ: именно страсть къ широкимъ обобщеніямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, анализъ потому уже чуждъ бываетъ широкихъ обобщеній, что стремится разлагать жизнь на ея составные элементы. Поэтому образы Тургенева—крайне конкретны. Вы не можете указать ни на одинъ изъ созданныхъ имъ типовъ, чтобы типъ полнѣе и всесторонне обнималъ людей сороковыхъ годовъ. Для изученія этихъ людей вы должны взять цѣлый рядъ выведенныхъ имъ характеровъ въ повѣстяхъ и романахъ, писанныхъ въ различное время,—и Рудина, и Лаврецкаго, и Веретьева, и Литвинова,—и сами уже потрудитесь найти нѣчто общее между всѣми этими героями, порою мало похожими одинъ на другого. У Гончарова-же въ лицѣ Райскаго изображены люди сороковыхъ годовъ въ ихъ наиболѣе типическихъ и общихъ чертахъ, и Райскій вполне выражаетъ собою все поколѣніе Гончарова и Тургенева.

Въ *Обыкновенной исторіи* уже успѣли ярко выступить всѣ эти особенности творчества Гончарова. Здѣсь мы считаемъ нелишнимъ прежде всего указать на вотъ какое обстоятельство, ускользавшее до сихъ поръ отъ вниманія всѣхъ писавшихъ объ этомъ романѣ Гончарова: именно—несмотря повидному на вполне органическое появленіе этого романа изъ вѣяній чисто русской жизни, замѣчается тѣмъ не менѣе нѣкоторое отдаленное сходство между этимъ романомъ и *Орасомъ* Жоржъ-Зандъ. Примите при этомъ въ соображеніе то обстоятельство, что *Орасъ* появился въ свѣтъ въ 1841 г. и былъ повнкою какъ разъ въ то самое время, когда Гончаровъ задумалъ свою *Обыкновенную исторію*. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что задумавъ былъ этотъ романъ подъ сильнымъ впечатлѣніемъ *Ораса*, и это впечатлѣніе сказалось въ немъ до известной степени. Конечно между дѣйствіями Ораса и Адуева большая разница въ томъ отношеніи, что оба героя живутъ въ совершенно различной средѣ: одинъ въ сво-

бодной странѣ, въ которой кипѣла политическая жизнь, другой въ Россіи николаевской эпохи; одинъ вслѣдствіе этого могъ увлекаться политикою и биться на баррикадахъ, а другого только и занимали, что одни вещественные знаки невещественныхъ отношеній. Тѣмъ не менѣе между ними вы замѣчаете не мало родственныхъ чертъ. Романъ Жоржъ-Зандъ имѣлъ въ свое время совершенно такое-же значеніе во французской жизни, какое *Обыкновенная исторія* имѣла въ нашей. Онъ въ свою очередь въ лоскъ положилъ тѣхъ золотушныхъ и малокровныхъ юношей дворянской и буржуазной среды, которые являлись изъ провинцій въ столицы для устройства карьеры съ самыми гордыми и высокими мечтами подъ вліяніемъ романтическихъ идеаловъ тридцатыхъ годовъ, облакались въ какой-нибудь чайльдъ-гарольдовскій плащъ и мнили себя избранниками, имѣвшими право презирать все, стоящее вокругъ нихъ, но въ концѣ концовъ выказывали полную несостоятельность въ самыхъ простыхъ и элементарныхъ отношеніяхъ къ людямъ и мирились съ самою пошленькою дѣйствительностью со всею ея грязью. Орасъ, сынъ небогатаго буржуазнаго семейства, подобно Александру Адуеву пріѣзжаетъ изъ провинціи учиться на послѣднія деньги, сколоченныя родителями изъ ихъ скромныхъ избытковъ, поступаетъ конечно ужъ на юридическій факультетъ, мечтая сдѣлаться впослѣдствіи политическимъ дѣятелемъ, но мало занимается науками и вообще книгами, чувствуя себя слишкомъ великимъ героемъ для того, чтобы снпзойти до такихъ низменностей какъ зубреніе законовъ и изученіе крючкотворства. Наконецъ послѣ длиннаго ряда пошлостей и глупостей, оказавшись плохимъ политикомъ, плохимъ товарищемъ и не менѣе плохимъ любовникомъ, онъ мирится на прозаической роли зауряднаго провинціального адвоката и средней руки публициста въ рядахъ оппозиціи.

Сдѣлавши эру во Франціи, романъ Ж.-Зандъ не могъ не подѣйствовать какъ своего рода пробуждающій и отрезвляющій ударъ грома и на нашего пламеннаго романтика въ лицѣ Ив. Ал. Гончарова. *Обыкновенная исторія* и явилась какъ выраженіе этого отрезвленія. — Уже въ этомъ романѣ вмѣстѣ со всѣми другими особенностями творчества Гончарова мы видимъ еще одну, которая неизмѣнно повторяется во всѣхъ послѣдующихъ романахъ его. Особенность эта въ свою очередь имѣетъ совершенно архаическій, средневѣковой характеръ. Подобно тому, какъ средневѣковой человѣкъ мыслилъ непременно контрастами, рядомъ съ раемъ въ его воображеніи рисовался адъ, рядомъ съ свѣтлымъ ликомъ ангела — мрачный образъ сатаны, и этотъ дуализмъ отражался различнымъ образомъ въ средне-вѣковомъ искусствѣ, такъ и у Гончарова въ каждомъ романѣ вы встрѣтите на главномъ планѣ параллель двухъ противоположныхъ типовъ: рядомъ съ типомъ отрицательнымъ типъ положительный, составляющій его противовѣсъ и отгѣняющій его. — Такъ и въ *Обыкновенной исторіи*, выведя на сцену въ лицѣ взбалмошнаго романтика Александра Адуева російскаго Ораса, Гончаровъ захотѣлъ непременно въ противовѣсъ ему поставить трезваго и разсудительнаго реалиста и при непосредственности своего міросозерцанія онъ не сталъ долго ломать голову надъ пзымшленіемъ положительнаго типа, какъ мучались надъ подобнымъ дѣломъ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, а взялъ перваго появившагося подъ руку тайнаго совѣтника съ буржуазными наклонностями наживать капиталы коммерческими предпріятіями и состряпалъ изъ него положитель-



ный типъ „трезваго реалиста“. Вотъ что говоритъ самъ Гончаровъ о незатѣйливой философіи своего романа:

«Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя только что начинавшая ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, каррикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзіи, праздности, — семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напримѣръ, любви съ *желтыми цытатами* старой дѣвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д.

«Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности — къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабыя проблески новой зары, чего-то трезваго, дѣловаго, нужнаго. Первое, т. е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника — и оттого онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе. Второе, т. е. трезвое сознание необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ — но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развитія — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльных лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника....

«Адуевъ, читаемъ мы ниже, кончилъ какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занявъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился; словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается «обыкновенная исторія».

#### IV.

Воздавши первымъ своимъ романомъ дань своей юности и осмѣявши ея романтическія увлеченія въ образѣ Александра Адуева, Гончаровъ припаялся за другой романъ, далеко уже не столь субъективный и въ которомъ творчество его проявилось во всей могучей силѣ и въ полномъ расцвѣтѣ. — Надо впрочемъ замѣтить, что два остальные романа Гончарова: *Обломовъ* и *Обрывъ*, вышедшіе въ свѣтъ десять лѣтъ спустя одинъ послѣ другого, были задуманы и даже писались почти разомъ. Такъ мы видимъ, что въ *Иллюстрированномъ Альбомѣ при Современникѣ* 1848—49 гг. былъ помѣщенъ уже *Сонъ Обломова*. Въ слѣдующемъ-же 1849 году задуманъ и *Обрывъ*, суди по словамъ самого Гончарова въ его воспоминаніяхъ.

«Романъ, говоритъ онъ, былъ задуманъ въ 1849 г., когда я, послѣ 14-ти-лѣтняго отсутствія пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу. Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій тогда патріархальный бытъ и вмѣстѣ новыя обѣга, смѣсь молодого со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончить *Обломова*, котораго написана была первая часть, а остальные глѣздились въ головѣ»....

Въ 1852 году Гончаровъ, при посредствѣ А. С. Норова, получилъ предложеніе отъ морского министерства отправиться въ кругосвѣтное плаваніе, въ качествѣ секретаря при адмиралѣ Путятинѣ для заключенія торговаго трактата съ Японіей. Гончаровъ

согласился на это предложеніе и отправился кругомъ свѣта на фрегатѣ Паллада. Результатомъ долгаго и труднаго плаванія, сначала по морямъ кругомъ свѣта, потомъ черезъ всю Сибирь, были сначала путевыя письма, печатавшіяся въ разныхъ журналахъ, а затѣмъ и полное описаніе всего путешествія, изданное Гончаровымъ въ 1856 и 1857 годахъ въ двухъ томахъ подъ заглавіемъ *Фрегатъ Паллада*.

Путевыя письма не мѣшали Гончарову заниматься и обоими романами, которые онъ возплъ вокругъ свѣта, какъ онъ выражается, „въ головѣ и въ программѣ, небрежно написанной на клочкахъ—и говорилъ, рассказывалъ, читалъ вслухъ всѣмъ, кому попало, радуясь своему запасу“.

По изданіи *Фрегата Паллады*, Гончаровъ отправился за-границу и тамъ на водахъ въ Маріенбадѣ кончилъ въ 1857 году своего *Обломова*, и „тогда-же, по его словамъ, „прямо изъ Маріенбада поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ-трехъ пріятелей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только что написанныя въ уединеніи на водахъ три послѣднія части *Обломова*, за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ-же лицамъ. Послѣ того весь отдался *Обрыву*, который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ нашемъ просто подъ именемъ *Художника*\*.

Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ о *Фрегатѣ Паллада*. Замѣтимъ здѣсь кстати, что при страсти, свойственной всѣмъ людямъ сороковыхъ годовъ ко всякаго рода художественнымъ описаніямъ, особенно ландшафтамъ и разнымъ бытовымъ картинамъ, никогда не процвѣтали у насъ въ такой степени путевые очерки, письма и впечатлѣнія, какъ въ сороковые и пятидесятыя годы. Изъ особенно выдающихся такого рода литературныхъ памятниковъ упомянемъ: *Письма объ Испаніи* В. Боткина, *Путевыя письма изъ Италіи* П. Ковалевскаго, печатавшіяся въ концѣ пятидесятихъ годовъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но во главѣ всѣхъ этихъ произведеній по его художественному значенію слѣдуетъ поставить *Фрегатъ Паллада*. Здѣсь во всей своей силѣ проявилось самое лучшее качество таланта Гончарова, именно мастерство изобразительности, исполненной живой, осязательной пластичности и детальности.—Картины тропической природы, африканскихъ и индѣйскихъ портовъ, гдѣ останавливался фрегатъ и передъ наблюдательными взорами художника развертывалась яркая пестрая жизнь, совершенно чуждая всему, къ чему привыкли его взоры, словно какъ-бы какого-то фантастически-сказочнаго характера,—все это представляетъ собою нѣчто единственное по своему совершенству и художественной высотѣ во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Но какія волшебныя картины мы раскрываемъ передъ нами въ книгѣ Гончарова, вы видите передъ собою писателя, горячо любящаго свою родину со всею бѣдностью и тусклостью ея сѣверной природы; ни на минуту не забываетъ онъ своей Россіи, и книга его полна всякаго рода остроумныхъ и мѣткихъ сравненій и сопоставленій картинъ или правотъ чуждыхъ странъ съ родными.—Въ то-же время ни на минуту не покидаетъ Гончарова его добродушный, веселый юморъ боллетриста натуральной школы; чудеса тропическихъ странъ не мѣшаютъ ему наблюдать нравы окружающихъ его русскихъ моряковъ, раздѣлявшихъ съ нимъ его плаванье, начиная съ высшихъ чиновъ до представленнаго къ нему депѣшикомъ Фаддеева; каждое изображенное лицо здѣсь мало того что живетъ и ды-

шетъ передъ вами, но и является въ высшей степени типичнымъ, и повседневная жизнь фрегата рисуется передъ вами во всѣхъ ея деталяхъ.

Встрѣчаются въ книгѣ и такія страницы, которыя показываютъ, что при всѣхъ тѣхъ чудесахъ, какія представлялись глазамъ Гончарова во время его плаванія, голова его не переставала быть сильно занята путешествовавшимъ вмѣстѣ съ нимъ *Обломовымъ*. Такъ напримѣръ въ первой-же главѣ *Фрегата Паллады* вы видите замѣчательную въ художественномъ отношеніи параллель англичанина и русскаго барина, въ которой рядомъ съ машинно-образнымъ энергичнымъ джонъ-булемъ съ поразительною рельефностью рисуется передъ вами типъ рыхлаго, лѣниваго, безпечнаго, не дорожащаго ни временемъ, ни деньгами русскаго помѣщика.

## V.

Наконецъ въ 1858 году былъ напечатанъ въ *Отечественныхъ Запискахъ Обломова*. Нужно было жить въ то время, чтобы понять, какую сенсацию возбудилъ этотъ романъ въ публикѣ и какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ онъ на все общество. Мало того, что онъ какъ бомба упалъ въ интеллигентную среду какъ разъ во время самаго сильнаго общественнаго возбужденія, за три года до освобожденія крестьянъ, когда во всей литературѣ проповѣдывался крестовый походъ противъ сна, инерціи и застоя, все общество приглашалось бодро и энергично стремиться впередъ по пути прогресса, и романъ всѣми своими образами вторилъ этому призыву, — въ немъ сразу прозрѣли нѣчто болѣе, чѣмъ одно служеніе злобѣ дня, нѣчто существенное и глубоко проникающее въ тайники русской жизни. Довольно сказать, что никто не могъ читать романъ, относясь къ типу Обломова вполне объективно, каждый непремѣнно тотчасъ-же примѣнялъ этотъ типъ къ себѣ и находилъ въ своей личности то тѣ, то другія обломовскіе черты. Это происходило оттого, что въ романѣ этомъ даръ обобщеній дошелъ въ авторѣ до своего апогея. Обломовъ отнюдь не одинъ только развѣшійся на почвѣ крѣпостного права помѣщичій типъ, — это типъ племенной, захватывающій въ себѣ черты, свойственныя русскимъ людямъ безотносительно къ тому, къ какому они принадлежатъ сословію или званію. Добролюбовъ въ этомъ отношеніи былъ какъ нельзя болѣе правъ, когда въ своей знаменитой статьѣ по поводу романа Гончарова приравниалъ къ Обломову всѣхъ героевъ времени, начиная съ Онегина и Печорина и кончая Бельтовымъ и Руднымъ. Онъ могъ-бы еще и далѣе вести свою параллель и найти обломовскія черты во всѣхъ когда-либо выведенныхъ въ литературѣ характерахъ.

И въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ лѣнью, доходящею до того, что человекъ не въ силахъ не только дѣлать какое-либо дѣло, но даже и наслаждаться, рядомъ съ барскою пѣзженностью, болѣзненною трусливостью и неспособностью къ мало-мальски энергическому шагу — всѣми этими чертами, обуславливающимися рабовладѣльческимъ растленіемъ, вы видите въ Обломовѣ и такія качества, въ которыхъ не можете отказать всѣмъ русскимъ людямъ вообще, не исключая и такихъ, которые никогда крестьянами не владѣли. Таково напримѣръ полное отсутствіе какой-либо инициативы, готовность слѣпо, безпрекословно и пассивно подчиниться первому энергическому при-

заву и натиску, голубиная кротость и мягкодушіе, исключаящія всякій мало-мальски энергическій отпоръ противъ какихъ-либо покушеній на личныя наши свободу, счастье и благосостояніе. Кто изъ насъ не надѣялся на русское авось, не выказывалъ беззавѣтную безопасность передъ неминуемою бѣдою, не пропускалъ счастья мимо рта, играя въ какія-нибудь бпрюльки въ то время, какъ слѣдовало ковать желѣзо, пока оно было горячо. Въ этомъ отношеніи типъ Обломова, еще разъ повторяю, далеко выходитъ изъ рамокъ барскихъ типовъ: это типъ племенной и можно даже сказать общечеловѣческой, одинъ изъ тѣхъ вѣковѣчныхъ типовъ, каковы напримѣръ Донъ-Кихотъ, Донъ Жуанъ, Гамлетъ и т. п.

Но возвысившись безсознательно, одною стихійною силою своего творчества до такой высоты, Гончаровъ въ то-же времени въ качествѣ мыслителя остался все тѣмъ-же бюрократическимъ оппортунистомъ и средневѣковымъ дуалистомъ. — Ему непременно нужно было въ противовѣсъ Обломову поставить энергическаго и дѣятельнаго человѣка. Художественное чутье подсказывало ему въ то-же время (подобно тому, какъ и Тургеневу въ его *Наканунѣ*), что искать такого человѣка въ русской жизни было-бы напрасно, и къ тому-же разъ русскій человѣкъ выведенъ въ романѣ въ видѣ Обломова, то какъ-же могъ онъ въ то-же самое время заключать въ себѣ черты, противоположныя обломовскимъ; это было-бы полное противорѣчіе, что сознавалъ и самъ Гончаровъ. Такъ въ своей статьѣ *Лучше поздно* онъ прямо говоритъ: „Изображая лѣнь и апатію во всей ея широтѣ и закоснѣлости какъ стихійную русскую черту, и только одно это, я, выставивъ рядомъ русскаго-же, какъ образецъ энергіи, знанія, труда, вообще всякой силы, впалъ-бы въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою, г. е. со своею задачею — изображать застой, сонъ, неподвижность. Я разбивалъ-бы цѣлость одной избранной мною для романа стороны русскаго характера“.

И вотъ онъ избралъ нѣмца, руководствуясь при этомъ слѣдующими соображеніями: „Я взялъ родившагося здѣсь и обрусѣвшаго нѣмца и нѣмецкую систему неизмѣннаго, бодрого и практическаго воспитанія. Обрусѣвшіе нѣмцы (напримѣръ остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнью и, нѣтъ сомнѣнія, сольются когда-нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни — и несправедливо, и нельзя. Они вносятъ во всѣ роды и виды дѣятельности прежде всего свое терпѣніе, persévérance своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ-бы ни было — въ арміи, во флотѣ, въ администраціи, въ наукѣ, словомъ, всюду — они служатъ съ Россіей и Россіи и большей частью становятся ея дѣтьми“.

Созданный такимъ образомъ путемъ не стихійнаго творчества, подымавшаго всегда Гончарова на недосыгаемую высоту, а логическихъ соображеній, Штольцъ и вышелъ крайне мертвеннымъ, дѣлапнымъ, отвлеченнымъ, въ чемъ критика неоднократно упрекала Гончарова. Выѣстъ съ тѣмъ критика находила въ романѣ недостатокъ дѣйствія и вслѣдствіе этого крайнюю растянутость. Дѣйствительно трудно и придумать было-бы болѣе энергическое дѣйствіе въ романѣ, въ которомъ главный герой только и дѣлаетъ, что лежитъ на диванѣ и мечтаетъ, а другому при всей энергичной натурѣ только и остается, что выжидать, когда героиня Ольга разочаруется въ Обломова; и обратится къ нему.

Но важнѣе этой вялости въ развитіи сюжета то обстоятельство, что онъ въ то же время представляется просто на-просто неестественнымъ. Дѣло въ томъ, что Обломовъ своею широкою и яркою типичностью совершенно выступаетъ изъ рамокъ романа и разрушаетъ всю иллюзію сюжета. Съ самой первой страницы онъ является передъ нами слишкомъ ужь Обломовымъ, чтобы такая идеальная русская дѣвушка съ столь чуткою душою и страстными стремленіями къ дѣятельности какъ Ольга могла хоть на минуту увлечься имъ. Какъ она и Штольцъ могли такъ долго возиться съ нимъ и сразу не раскусить, что онъ безнадеженъ? Единственная героиня, вполне подходящая къ Обломову, является во образѣ Агафіи Матвѣевны, и съ нею одной Обломовъ только и могъ сойтись во всей своей жизни. Въ такомъ случаѣ не было-бы романа? Но развѣ мыслить какой-бы то ни было романъ въ жизни Обломова? Подобно безсмертнымъ типамъ вроде Плюшкина, Собакевича или Ноздрева Обломову слѣдовало стоять передъ читателями во весь свой ростъ въ видѣ великаго и вѣковѣчнаго портрета.—Обломовъ-же въ качествѣ героя романа такой дѣвушки какъ Ольга является вопіющею натяжкой.

## VI.

По возвращеніи изъ кругосвѣтскаго плаванія Гончаровъ снова поступилъ на государственную службу столоначальникомъ по министерству финансовъ, но вскорѣ, именно въ 1858 году, перешелъ въ министерство народнаго просвѣщенія въ цензурное вѣдомство. Въ 1862 году ему было поручено редактированіе оффиціальной *Сѣверной Почты*. Въ 1873 году, дослужившись до полной пенсіи и генеральскаго чина, онъ вышелъ въ отставку и до сихъ поръ проживаетъ преимущественно въ Петербургѣ.

Въ 1868 году появился наконецъ на страницахъ *Вѣстника Европы* послѣдній романъ Гончарова *Обрывъ*. Судя по всему, это было самое любимое дѣтище Гончарова. Задуманный почти въ одно время съ *Обломовымъ*, романъ этотъ писался и обрабатывался вдвое дольше чѣмъ *Обломовъ*, т. е. почти двадцать лѣтъ, и въ своей статьѣ *Лучше поздно* авторъ посвящаетъ этому роману болѣе число страницъ.

Но съ *Обрывомъ* произошло то, что часто случается въ жизни: самое любимое и самое лелѣемое дѣтище не оказалось въ то-же время и лучшимъ, и романъ далеко не произвелъ на публику того потрясающаго впечатлѣнія, какъ *Обломовъ*; напротивъ того, публика встрѣтила его холодно, а въ нѣкоторыхъ кружкахъ отнеслась къ нему и прямо враждебно. Такъ какъ онъ былъ задуманъ двадцать лѣтъ тому назадъ и между его началомъ и концомъ протекла цѣлая эпоха, произведшая полный переворотъ во всѣхъ взглядахъ и правахъ общества, то нѣтъ-ничего мудренаго, что романъ явился какъ-бы анахронизмомъ, никого не трогавшимъ, не задѣвавшимъ за живое. Довольно сказать, что для того, чтобы ввести его хоть сколько нибудь въ струю современности, авторъ долженъ былъ совершенно измѣнить и переделывать одинъ изъ его типовъ, но этимъ онъ не только не достигъ того чего хотѣлъ, но еще болѣе испортилъ романъ. Безъ этой переделки передъ нами былъ-бы романъ въ духѣ сороковыхъ го-

довъ, лишь нѣсколько запоздалымъ своимъ появленіемъ; передѣлка-же окончательно искажала его содержаніе и всю фабулу.

Тѣмъ не менѣе въ романѣ вы все-таки найдете рядъ первостепенныхъ достоинствъ. Хотя въ немъ и нѣтъ ни одного такого колоссальнаго по своему захвату типа какъ Обломовъ, тѣмъ не менѣе даръ обобщеній все-таки не покинулъ автора, и въ романѣ встрѣчаются нѣсколько типовъ во всякомъ случаѣ замѣчательныхъ. Таковъ прежде всего типъ Райскаго, въ лицѣ котораго изображены люди сороковыхъ годовъ такъ полно, всесторонне и рельефно, какъ нигдѣ въ литературѣ. Авторъ чувствовалъ и признавалъ значеніе этого типа въ своемъ произведеніи и потому болѣе всего распространялся о немъ въ своей статьѣ *Лучше поздно*. Райскій, по его словамъ, „герой слѣдующей, т. е. переходной эпохи, это—проснувшійся Обломовъ“... натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова:

«Райскій талантливъ—но приготовительная школа для таланта, трудная, требующая всего человѣка, для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима, и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ. Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго и порывается ратовать за всѣ тѣ большія и меньшія свободы, приближеніе которыхъ чуялось въ воздухѣ. Но только порывается... Онъ, если не спитъ пообломовски, то едва лишь *проснулся*—и хотя знаетъ, что дѣлать, *но не дѣлаетъ*»...

Не менѣе типична вышла у Гончарова бабушка. Правда, претензіи у автора при изображеніи этого типа были очень велики. Вотъ что говорятъ онъ объ этихъ претензіяхъ:

«Я писалъ съ русской старой хорошей женщины или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени—коллективно, не думая ни о какой параллели, должно быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее,—у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они: «За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Маропенька и бабушка, а за ними стояла и сильно ихъ влекла къ себѣ еще другая испанская фигура, другая великая бабушка—Россія!»

«Вотъ что отразилось или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то по крайней мѣрѣ вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается голыше въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!»

Такимъ образомъ, какъ видите, въ лицѣ бабушки авторъ мечталъ изобразить чуть-что не всю Россію или по крайней мѣрѣ „старую консервативную русскую жизнь“. Но такое широкое и всеобъемлющее обобщеніе автору не удалось, изъ бабушки его вышла все-таки не болѣе какъ бабушка; тѣмъ не менѣе типъ этотъ во всякомъ случаѣ замѣчательнъ, какъ олицетвореніе лучшей старой женщины, какаю только могла прозрости на почвѣ патріархальнаго быта. Она составляетъ въ этомъ отношеніи полную параллель съ дѣдушкою Багровымъ въ *Семейной хроникѣ* С. Аксакова.

Далѣе затѣмъ не менѣе замѣчательны типы Вѣры и Маропеньки, въ лицѣ которыхъ Гончаровъ, подражая Пушкину, изобразившему въ *Евгеніи Онегинѣ* два основ-

ные типа русских женщин его времени, Татьяну и Ольгу, в свою очередь вывелъ подобные-же два основные типа, возросшіе на почвѣ патриархальнаго помѣщичьяго быта, — Марешнюку съ ея пассивною натурою, слѣпо подчиняющуюся всѣмъ старымъ преданіямъ своей среды и живущую исключительно одною растительною жпзнью, и Вѣру — натуру въ высшей степени активную, страстную, независимую, рвущуюся всѣми силами своей души изъ тенетъ стараго патриархальнаго гнета къ свѣту, на путь свободной и самостоятельной жизни.

Что касается до Софьи Бѣловодовой, то Гончаровъ самъ сознается въ ея несостоятельности.

„Здѣсь, говоритъ онъ въ той-же статьѣ *Лучше поздно*, я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Бѣловодовой. Я не зналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполне права. Это скучное начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замыселъ, — показало, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего кромѣ претензіи не вышло изъ этой затѣи“.

Но еще болѣе несостоятельнымъ представляется типъ Марка Волохова своею грубою каррикатурностью и сочиненностью. Гончаровъ самъ признается, что когда онъ задумывалъ романъ, въ его воображеніи вмѣсто Марка Волохова мелькалъ другой образъ, вполне соответствовавшій тому времени.

«Еще я долженъ сказать, говоритъ онъ, что въ первоначальномъ планѣ *Обрыва*, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный по неблагонадежности подъ присмотръ полиціи выключенный изъ службы или изъ школы либераль за грубость, за неповиновеніе начальству, зато наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или пропрется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало лѣтъ тридцать тому назадъ.

Но какъ романъ развивался вмѣстѣ со временемъ и новыми явленіями, то лица конечно принимали въ себя черты и духъ времени и событій. Отъ этого и предположенный зародышъ *неблагонадежнаго* превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862 году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо...».

И ниже Гончаровъ выражаетъ свое крайнее изумленіе, какъ молодое поколѣніе могло приписать Волохова на свой счетъ. „Волоховъ, восклицаетъ онъ, — будто-бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ — и туда уложило всѣ силы! Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы!“ Новое поколѣніе, по мнѣнію Гончарова, олицетворяется въ его романѣ въ личности Тушина, Волоховъ-же представлялъ собою олицетвореніе „новой лжи“.

«Волоховъ, говоритъ онъ, не социалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикаль и кандидатъ въ демагоги; онъ съ почвой празднои теоріи безусловнаго отрицанія готовъ перейти къ дѣйствию — и перенесетъ-бы, если-бы у насъ могла демагогія выразиться явче и перейти къ дѣйствию, т. е. если-бы у насъ была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернаціональнаго подземнаго работа и т. п. Онъ и пошелъ-бы на это поле работать — искренне, потому что я излѣкъ не авантюриста,

бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а—съ его точки зрѣнія—честнаго, т. е. искренняго человѣка, неслучнаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ—условіе успѣха. Не умысленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе и Вѣру, и другихъ. Плута всѣ узнали-бы разомъ и отвернулись-бы отъ него...».

Но если допустить, что и въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ Марка Волохова изображено не все молодое поколѣніе, а одни только, какъ выражается Гончаровъ, «демократы и демагоги», то и эти люди, какъ-бы они по мнѣнію автора ни заблуждались, какъ-бы ни ложны были ихъ ученія, —далеко въ дѣйствительности не представляли изъ себя такихъ каррикатурныхъ квазимодо какимъ парадпруеть въ романѣ Маркъ Волоховъ, и такимъ образомъ главный *corpus delicti* остается во всей своей силѣ: какъ могла влюбиться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная?

Въ отвѣтъ на этотъ *corpus delicti* Гончаровъ говоритъ:

«Мнѣ дѣлали этотъ упрекъ именно въ то самое время, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей жертву за жертвой и наводило почти панику на общество. Упрекаютъ за то, что я записалъ явленіе, явно совершавшееся, какъ будто небывальщину! Развѣ женщины пренебрегали сближеніемъ съ этими оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями «новой силы», «новаго дѣла», идеала какого-то «громаднаго будущаго?» Развѣ многія изящныя красавицы не пошли за ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ одни родителей, другія—мужей и—еще хуже—дѣтей? Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры? Какія это женщины?—скажутъ мнѣ. — Всякія!—отвѣчу я. Не однѣ падшія или готовыя къ паденію бросились въ омутъ — нѣтъ. Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій—изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга,—на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ прямого скромнаго дѣла, отъ трудныхъ семейныхъ обязанностей?»

Все это прекрасно. Но какъ ня были грубоваты герои, въ дѣйствительности увлекавшіе разныхъ Вѣръ на свои чердаки, между грубоватостью Назарова и грубою каррикатурностью Марка Волохова большое разстояніе. А главное дѣло въ томъ, что по собственнымъ словамъ Гончарова дѣйствительные герои *увлекали разныхъ Вѣръ на свои чердаки*, и увлекали не одною только силою чувственности, а и своими ученіями, которыя какъ-бы ни казались ложными писателямъ сороковыхъ годовъ и въ томъ числѣ Гончарову, тѣмъ не менѣе обаятельно дѣйствовали на юныя сердца, и прежде чѣмъ Вѣра упала-бы въ объятія Марка Волохова, у нея должны были-бы радикально измѣниться всѣ ея взгляды и на жизнь, и на отношенія къ окружающимъ людямъ. Такъ именно всегда происходило въ дѣйствительности во всѣхъ тѣхъ явленіяхъ, о которыхъ говоритъ Гончаровъ. Между тѣмъ въ романѣ этого нѣтъ, и въ этомъ заключается величайшая ошибка со стороны автора. Маркъ Волоховъ по отношенію къ Вѣрѣ является только обольстителемъ, не думая увлекать ее на какіе-либо чердаки, и въ этомъ отношеніи онъ является вполнѣ вѣрнымъ первоначальному замыслу романа, когда на его мѣстѣ долженъ былъ парадировать «неблагонадежный» человѣкъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ конечно ужъ съ печоринскимъ пошибомъ, т. е. являвшійся донъ-жуаномъ, обольщавшимъ и бросающимъ провинціальныя барышени,



не внося въ ихъ жизнь и понятій никакого новаго содержанія. Но таковы-ли были люди шестидесятыхъ годовъ даже хотя-бы и тѣ, которыхъ Гончаровъ именуетъ „представителями новой лжи?“

Но и Тушинъ, олицетворяющій въ романѣ лучшую часть молодого поколѣнія и являющійся представителемъ новой правды, нельзя сказать чтобы былъ удаченъ. Онъ является такимъ-же дѣланнымъ, сочиненнымъ и слѣдовательно мертвеннымъ какъ и Штольцъ, такую-же и роль играетъ въ романѣ параллельнаго контраста.

Однимъ словомъ, какъ философія романа, такъ и всѣ выведенныя въ немъ новыя пореформенныя явленія русской жизни стоятъ ниже всякой критики. И единственно чѣмъ цѣненъ романъ Гончарова,—это картинами старой, дореформенной помещичьей жизни, въ которыхъ Гончаровъ является все тѣмъ-же крупнымъ художникомъ—съ одной стороны широкимъ обобщителемъ, съ другой—жанристомъ, исполненнымъ свойственнаго ему чисто русскаго, добродушнаго юмора.

Характеристикою *Обрыва* мы можемъ покончить обзоръ литературной дѣятельности Гончарова. Все то немногое, что вышло въ свѣтъ, *Литературный вечеръ* (1877), *Милліонъ терзаній* (1871). *Замѣтки о личности Бюлинскаго* (1874), *Лучше поздно, чѣмъ никогда*, *Воспоминанія*, *Смри*, заключая въ себѣ бѣдншія или меньшія достоинства, свойственныя таланту Гончарова, въ то же время ничего не прибавили къ славѣ его, не играли какой-либо роли въ русской литературѣ и не оставили въ ней хотя сколько-нибудь рѣзкаго слѣда.

Значеніе Гончарова въ нашей литературѣ основывается лишь на трехъ его большихъ романахъ, а изъ этихъ романовъ наиболѣе возвелъ его второй, и Гончаровъ навсегда будетъ читаться въ нашей литературѣ, главнымъ образомъ, какъ творецъ *Обломова*.



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

I.—Графъ Левъ Николаевичъ Толстой въ отличіи его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Дѣтскіе и юношескіе годы его до севастопольской кампаніи включительно.—II.—Характеристика его произведеній этого періода его жизни.—III.—Увлеченіе прогрессомъ конца пятидесятихъ годовъ и первыя сомнѣнія въ немъ и въ европейской цивилизаціи вообще. Произведенія петербургскаго періода его жизни.—IV.—Гр. Толстой въ деревнѣ. Его педагогическая дѣятельность; педагогическія статьи и начало полнаго отрицанія и скептицизма во всемъ окружающемъ.—V.—Пятнадцать лѣтъ жизни послѣ женитьбы. Раздвоеніе. Романъ *Война и миръ*.—VI.—Душевный переворотъ на пятидесятомъ году его жизни. Связь этого переворота съ прежнимъ теченіемъ мыслей гр. Толстого. Результаты переворота.—VII.—Романъ *Анна Каренина*. Теолого-мистическія сочиненія гр. Толстого и прочія произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни.

### I.

Въ то время какъ въ Тургеневѣ мы видимъ западника и либерала съ нѣсколько краснымъ оттѣнкомъ, въ Гончаровѣ — представителя буржуазныхъ и оппортунистическихъ идеаловъ петербургскихъ дѣльцовъ и бюрократовъ, гр. Толстой рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ одной съ нимъ школы тѣмъ, что въ произведеніяхъ его глубже и сплѣнѣ чѣмъ всѣхъ у нихъ выразился духъ времени какъ въ отрицательномъ, такъ и положительномъ отношеніяхъ, — въ отрицательномъ отношеніи, такъ какъ ни у одного изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ апалпзъ и скептицизмъ, присущіе этой школѣ, не доходили до такой крайней степени по своей безпощадной послѣдовательности, глубинѣ и радикальности; въ положительномъ отношеніи — ни одинъ изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ не приблизился въ такой степени къ демократическимъ и народнымъ идеаламъ, какъ превосходившій ихъ по своей аристократичности гр. Л. Толстой. Тургеневъ съ рѣдкимъ безпристрастіемъ и прозорливостью ставилъ гр. Толстого цѣлою головою выше всѣхъ прочихъ своихъ соотечественниковъ, называлъ его слономъ и великимъ писателемъ земли русской. И дѣйствительно вышеозначенными особенностями своимъ гр. Толстой обязанъ именно тому, что принадлежитъ къ числу тѣхъ гениальныхъ натуръ, въ душѣ которыхъ каждое впечатлѣніе жизни вызываетъ глубокой и неизгладимый слѣдъ. Малѣйшій диссонансъ и противорѣчіе, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, отзываются въ

нихъ болѣзненною мукою. Пылпвый п ни на мнугу не успокаивающійся умъ ихъ постоянно стремится проникнуть въ сущность вещей. Вслѣдствіе этого въ глубинѣ ихъ души лежатъ постоянно тяжелая тоска, п вмѣстѣ съ тѣмъ мысль ихъ питетъ неустойчивую наклонность погружаться въ какія-нибудь мистическія бездны. Они словно нарочно бывають созданы для того, чтобы носить въ себѣ всѣ скорби своего вѣка п быть искупительными жертвами за своихъ современниковъ, хотя-бы въ томъ только отношеніи, что имъ приходится болѣть за ихъ своею вѣчно страдающею душою.

Но при всей гениальности гр. Толстой не могъ все-таки далеко уйти отъ своего вѣка, среды п сверстниковъ.— Большая послѣдовательность въ скептицизмѣ п отрицаніи привела его лишь къ тому, что онъ не могъ ни съ чѣмъ помириться въ окружающей его жизни, ни на чемъ успокоиться, какъ мирлись п успокаивались вѣкторые изъ его современниковъ, но въ то-же время онъ не въ силахъ былъ дойти до той высоты развитія, па которой онъ могъ-бы предвидѣть обѣтованную землю впередп. И погъ, будучи не въ состояніи долго оставаться въ торрпчелліевой пустотѣ скептицизма п отрицанія, не предугадывая ничего впереди, онъ бросился назадъ—искать идеаловъ п успокоенія въ вѣроученіяхъ древняго Востока. Тамъ онъ весьма естественно ничего не могъ найти кромѣ однихъ личныхъ идеаловъ самосовершенствованія. Онъ не обратилъ вниманія, что человечество не даромъ прожило послѣ того около двухъ тысячъ лѣтъ п, хотя-бы въ лицѣ немногихъ передовыхъ людей, дошло до идей коллективизма, неизвѣстнаго мудрецамъ древняго Востока. Гр. Толстому тѣмъ естественнѣе было увлечься ветхими идеалами личнаго самосовершенствованія, что юность его протекала именно въ такую эпоху, когда идеалы личнаго самосовершенствованія стояли па первомъ планѣ п составляли всю суть русскаго прогресса. Въ этомъ п заключается та ахиллесова пята гр. Толстого, которая привела его ко всѣмъ заблужденіямъ послѣднихъ лѣтъ его литературной дѣятельности.

Гр. Л. Н. Толстой родился въ 1828 году 28 августа въ селѣ Ясная Поляна, крапивненскаго уѣзда тульской губерніи. Мать свою, урожденную княжну Марью Николаевну Волконскую, онъ потерялъ, когда ему не было еще п двухъ лѣтъ, п первыми его воспитательницами п паставницами были Т. А. Ергольская, дальняя родственница Толстыхъ п графиня А. Н. Остенъ-Сакенъ, тетка его по отцу. Въ 1837 году, когда Толстому было девять лѣтъ, вся семья переѣхала въ Москву, п вскорѣ затѣмъ умеръ отецъ его, Николай Ильичъ. Послѣ смерти отца Толстой съ братомъ Дмитріемъ п сестрой Марією снова переѣхали въ деревню, а братъ его Николай остался при графинѣ А. И. Остенъ-Сакенъ п посѣщалъ московскій университетъ. Черезъ три года, со смертью графини опека перешла къ теткѣ по отцу гр. Толстого, П. И. Юшковой, жившей въ Казани, куда переселился и гр. Толстой. Въ 1843 г. онъ поступилъ въ казанскій университетъ на филологическій факультетъ, но пробылъ на этомъ факультетѣ всего одинъ годъ, такъ какъ при переходѣ изъ перваго курса па второй былъ сръзанъ профессоромъ русской исторіи, поссорившимся передъ тѣмъ съ его домашними, п сверхъ того получилъ сдипицу изъ пѣмцакаго, несмотря па то что зналъ пѣмецкій языкъ лучше всѣхъ однокурсниковъ. Тогда онъ принужденъ былъ перейти па юридическій факультетъ, гдѣ пробылъ два года п въ 1848 г. держалъ экзаменъ па кандидата въ с.-петербургскомъ университетѣ.

„Буквально ничего не зная, сообщает онъ въ своей статьѣ *Воспитаніи и образованіи* (см. сочин. гр. Л. Н. Т., т. 4, стр. 134), и буквально началъ готовиться за недѣлю до экзамена. Я не спалъ ночи и получалъ кандидатскіе баллы изъ гражданскаго и уголовнаго права, готовясь пзъ cadaго предмета не болѣе недѣли“.

Сдавши кандидатскій экзаменъ, гр. Толстой переѣхалъ въ Ясную Поляну и здѣсь прожилъ до 1851 года. Въ этомъ году онъ поступилъ юнкеромъ въ 44-ю батарею 20-й артиллерійской бригады. Батарея эта стояла на Терекѣ въ станицѣ Старо-Медовской. Здѣсь гр. Толстой пробылъ четыре года до начала турецкой войны. По всѣмъ этимъ даннымъ вы можете судить, что онъ былъ вполне деревенскимъ жителемъ. По крайней мѣрѣ пзъ первыхъ 29 лѣтъ своей жизни онъ провелъ въ городахъ не болѣе пяти лѣтъ, да и тѣ неполныя. — А затѣмъ двадцати трехъ лѣтъ, поступивши на службу, онъ перешелъ на лопоще болѣе роскошной кавказской природы, и ему пришлось переживать тревоги и всѣ сильныя впечатлѣнія военной, боевой жизни. Надо полагать, что кавказская природа и боевая жизнь, полная приключеній и разнообразныхъ столкновеній съ людьми, дѣйствуя на воображеніе молодого человека, не мало способствовали къ развитію его таланта. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что четыре года пребыванія его на Кавказѣ были годами пробужденія его творчества и первыхъ опытовъ, обратившихъ на него вниманіе и печати, и публики. Такъ въ это время были написаны пмъ: *Дѣтство*, *Набѣдъ*, *Отрочество*, *Утро помѣщика*, *Казакъ*.

Во время турецкой кампаніи гр. Толстой былъ прикомандированъ къ штабу князя М. Д. Горчакова при дунайской арміи. Въ 1855 году получилъ командованіе горной батареей, принималъ участіе въ сраженіи при Черной, 4 августа, былъ при штурмѣ Севастополя 27 августа; плодомъ этого участія въ севастопольской войнѣ и явились военные рассказы: *Севастополь въ декабрь 1854 года*, *Севастополь въ май 1855 года*, *Рубка лѣса* и *Севастополь въ августъ 1855 года*. Тогда-же были пмъ созданы шуточные стихотворныя легенды Севастополя, которыя общій голосъ приписываетъ гр. Толстому.

## II.

Уже въ этихъ первыхъ произведеніяхъ гр. Толстого вы видите задатки того развѣдающаго, глубокаго анализа, которымъ отличаются позднѣйшія его произведенія. Такъ напрямѣръ возьмите вы хотя-бы первыя его произведенія *Дѣтство* и *Отрочество* (*Юность*, составляющая ихъ продолженіе, относится къ концу уже пятидесятихъ годовъ). Какою юношескою свѣжестью вѣетъ отъ нихъ; сколько обаятельной, чарующей поэзіи находите вы въ описаніи красотъ природы, дѣтскихъ впечатлѣній, игръ, симпатій и антипатій ребенка. И тѣмъ не менѣе вдумайтесь внимательнѣе во все изображенное въ его цѣломъ, и вы убѣдитесь, какая безпощадная пропія таится въ этихъ произведеніяхъ. Читая ихъ, вы видите, какъ шагъ за шагомъ изъ ребенка, исполненнаго самыхъ прекрасныхъ задатковъ, вырабатывается пошлый, тщеславный фатъ и совершенно пустопорожній копитель неба. Васъ поражаетъ здѣсь полная изолированность ребенка отъ жизни взрослыхъ, совершенная отчужденность его отъ интересовъ семьи. Онъ не участвуетъ ни въ какихъ трудахъ

взрослых, радостяхъ и печаляхъ. Передъ нимъ мать иставиваетъ въ слезахъ при видѣ легкомыслія отца, губящаго семейство, и сходитъ въ могилу обманута, униженная, оскорбленная, почти брошенная въ деревенскомъ захолустьѣ; все это остается совершенно пезамѣченнымъ ребенкомъ, безъ малѣйшаго протеста или простого вопроса о томъ, что дѣлается вокругъ него.

Изолированный такимъ образомъ отъ жизни, ребенокъ является предоставленнымъ полной умственной и нравственной праздности. У него возникаютъ на каждомъ шагѣ очень живые вопросы по поводу всего окружающаго, но никто не заботится дать на нихъ отвѣты; вмѣсто этого мальчика забиваютъ рутинною школьною дрессировкою, ученіемъ французскихъ и нѣмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ и историческихъ фактовъ съ докучною хронологіей. Не находя пищи и содержанія извнѣ, умъ юноши начинаетъ пожирать самого себя, углубляется въ рядъ отвлеченнѣйшихъ вопросовъ, и строитъ различныя гипотезы и теоріи въ духѣ стоицизма, эпикуреизма или-же путается въ безысходномъ скептицизмѣ. Въ нравственномъ мірѣ героя вы видите тоже отвлеченное, фантастическое содержаніе за недостаткомъ реального. Не приученный ни къ какому труду, успѣшное совершеніе котораго удовлетворяло-бы его самолюбію, юноша щелчетъ этого удовлетворенія, воображая себя олицетвореніемъ разныхъ величественныхъ пидеаловъ; но дѣйствительность на каждомъ шагѣ разрушаетъ подобныя иллюзіи, и мальчикъ вдругъ начинаетъ себя чувствовать самымъ ничтожнымъ и жалкимъ, стыдится за каждое свое самое простое слово и движеніе.

Результатомъ подобнаго противоестественнаго воспитанія, которому подвергается большинство юношей привилегированныхъ классовъ, и является полное отсутствіе всякаго внутренняго содержанія, неудержимое стремленіе къ вѣшнему блеску и вмѣсто какихъ-бы то ни было нравственныхъ основаній и правилъ соблюденіе одного свѣтскаго комъ-пль-фотства при напыщенномъ презрѣніи и венависти ко всему не комъ-пль-фотному. Иронія гр. Толстого съ особенною силою обнаруживается, когда онъ показываетъ, что даже такой религіозный актъ какъ говѣнье въ подобнаго рода герояхъ не можетъ ограничиться однимъ безхитростнымъ чувствомъ благоговѣнія и смиренія передъ божествомъ, а непременно соединяется съ рисовкою и любованіемъ собою, и здѣсь гр. Толстой впервые поражаетъ насъ въ сценѣ съ извозчикомъ тѣмъ сопоставленіемъ извращеннаго, и умственно, и нравственно, изломавшагося и изломавшагося барства съ простотою, цѣльностью и здравымъ смысломъ народа. Въ восклицаніи извозчика: „А что, баринъ, ваше дѣло господское!..“ — вы видите уже передъ собою того самаго гр. Толстого, величіе котораго и впоследствии заключалось главнымъ образомъ въ подобнаго рода сопоставленія.

Всѣ прочія произведенія гр. Толстого этого періода представляютъ собою изображеніе дальнѣйшей судьбы того самаго умственно и нравственно извращеннаго героя, воспитаніе котораго изображено въ *Дѣтствѣ*, *Отрочествѣ* и *Юности*. Такъ на первомъ планѣ мы видимъ повѣсть *Утро помѣщика*, представляющую отрывкомъ изъ неоконченнаго романа *Русскій помѣщикъ*. Въ этой повѣсти впервые проявлялось все различіе гр. Толстого отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Какъ Тургеневъ, такъ и Гончаровъ выставляли обыкновенно безхарактерность героевъ помѣщичьей среды главнымъ образомъ по отношенію къ любимымъ жен-

щинамъ, лишь вскользь и мимоходомъ упомяная о всѣхъ прочихъ фактахъ ихъ жизни. Въ то-же время они предполагали, что не всѣхъ поголовно развращаетъ среда, являются въ ней люди очень порядочные и полезные, вроде Волинцева, Лежнева, и даже возможны такіе идеальные герои, какъ Штольцъ и Тушинъ. Гр. Толстой въ своихъ первыхъ рассказахъ совсѣмъ не имѣетъ дѣла съ любовью и рисуетъ своихъ героев въ столкновѣніи ихъ съ различными слоями общества, преимущественно-же съ народомъ, изображаетъ ихъ совершающими дѣло жизни. Въ то-же время онъ идетъ гораздо далѣе прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ въ томъ отношеніи, что изображаетъ не одни только пороки и недостатки, свойственные людямъ помѣщичьей среды, а обращаетъ вниманіе на ложность самаго общественнаго положенія ихъ и показываетъ, что и при всѣхъ моральныхъ совершенствахъ, при всемъ энергическомъ стремленіи къ добру и пользѣ, всѣ условія ихъ жизни и отношенія къ людямъ столь ненормальны, что самыя почтенныя и энергическія успія или парализуются, или-же, что еще хуже, превращаются въ попраніе человѣческихъ правъ, и вмѣсто добра и пользы получается вредъ и зло.

Надо полагать, что и всѣ повѣсти этого времени: *Утро помѣщика*, *Казаки*, равно и написанныя впоследствии — *Альбертъ и Люцернъ*, если не заключаютъ въ себѣ въ буквальномъ смыслѣ автобіографическихъ фактовъ, во всякомъ случаѣ навѣяны не одними объективными наблюденіями, а личными тяжкими опытами; авторъ ихъ пережилъ и перестрадалъ.

Невольно чувствуется вамъ самъ гр. Толстой въ князѣ Нехлюдовѣ, пріѣхавшемъ изъ университета въ деревню на лѣтнія вакаціи, и въ письмѣ къ теткѣ излагающемъ свои радужныя фантазіи о священныхъ обязанностяхъ заботиться о счастьи семисотъ человѣкъ, за которыхъ онъ долженъ будетъ отвѣчать Богу. Нужно было самому пережить все разочарованіе князя Нехлюдова, убѣдившагося, что онъ не только не способенъ оказать какую-либо пользу своимъ крестьянамъ, но всѣ его успія обращаются въ ничто или приносятъ имъ одинъ вредъ, — чтобы изобразить подобное разочарованіе юнаго помѣщика въ такой ужасной правдѣ. Развѣ не слышите вы душевныхъ стонѣвъ самого автора, стонѣвъ, напоминающихъ вамъ послѣдующую много лѣтъ спустя *Исповѣдь*, въ слѣдующихъ размышленіяхъ Нехлюдова:

«Гдѣ-же мои мечты! вотъ ужъ больше года, что я ищу счастья на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣтъ, я просто не доволенъ собою! Я недоволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я, не испытанъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все то, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? Образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Если-бъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, если-бъ я видѣлъ благодарность.... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, безпомощность! Я даромъ трачу лучшіе годы жизни...»

Очень возможно, что самое отпращиваніе на Кавказъ и поступленіе тамъ на службу было прямымъ результатомъ подобнаго рода разочарованія самого автора. Но и здѣсь ждалъ его рядъ новыхъ разочарованій, изображенныхъ въ повѣсти *Казаки*. Герой

этой повѣсти Оленинъ послѣ цѣлаго ряда безплодныхъ порывовъ—свѣтской жизни, службы, хозяйства, музыки, которыми, по словамъ Толстого, онъ отдавался настолько лишь, насколько они не связывали его, и отъ которыхъ спѣшилъ поскорѣе отдѣлываться, какъ только начиналъ чутъ приближеніе труда и мелочной борьбы съ жизнью, расточивъ половину имущества и надѣлавъ долговъ, въ одинъ прекрасный день вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что вся окружающая его жизнь и собственная его искусственна, недѣла, исполнена призрачности и лжи и что необходимо сразу разорвать съ нею и начать новую жизнь, простую, естественную, на лонѣ природы, въ въ средѣ ея дѣтей, непосредственно наивныхъ, цѣльныхъ и перастленныхъ цивилизаціею.—И вотъ онъ съ этою цѣлію опредѣлился юнкеромъ въ кавказскую армію.

«Уѣзжая изъ Москвы, читаемъ мы въ повѣсти, онъ находился въ томъ счастливомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что онъ прежде не хотѣлъ жить *хорошенько*, но что теперь съ выѣздомъ его изъ Москвы начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаяній, а навѣрное будетъ только одно счастье...

«Чѣмъ дальше, читаемъ мы ниже, уѣзжалъ Оленинъ отъ центра Россіи, тѣмъ дальше казались отъ него всѣ его воспоминанія, и чѣмъ ближе подѣзжалъ къ Кавказу, тѣмъ отраднѣе становилось ему на душѣ. Уѣхать совсѣмъ и никогда не пріѣзжать назадъ, не показываться въ общество, приходило ему иногда въ голову. «А эти люди, которыхъ я здѣсь вижу,—не люди; никто изъ нихъ меня не знаетъ, и никто никогда не можетъ быть въ Москвѣ въ томъ обществѣ, гдѣ я былъ, и узнать о моемъ прошедшемъ». И совершенно новое для него чувство свободы отъ всего прошедшаго охватывало его между этими грубыми существами, которыхъ онъ встрѣчалъ по дорогѣ и которыхъ не признавалъ людьми наравнѣ со своими московскими знакомыми. Чѣмъ грубѣе былъ народъ, чѣмъ меньше было признаковъ цивилизація, тѣмъ свободнѣе онъ чувствовалъ себя....»

И вотъ Оленинъ окончательно отрѣзалъ себя отъ цивилизаціи и поселился на лонѣ роскошной, дѣвственной природы, въ казачьей станицѣ, среди народа въ одно и то же время и земледѣльческаго, и грубо воинственнаго, потомковъ раскольниковъ, бѣжавшихъ нѣкогда отъ преслѣдованій на берега Терека, сохранившихъ вѣру и языкъ предковъ, но въ своихъ правахъ, понятіяхъ и обычаяхъ слѣвшихся съ абреками, съ которыми постоянно дрались, что не мѣшало имъ въ тоже время скрещиваться съ врагами браками. Онъ проводилъ всѣ дни въ охотѣ, въ бесѣдахъ съ старымъ казакомъ Ерошкою, и вдругъ на него нашло просіяніе весьма характерное, которое мы просимъ читателей внимательно прочесть отъ первой строки до послѣдней:

«И ему ясно стало, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а просто такой-же комаръ или такой-же фазанъ или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него: — «Такъ-же какъ они, какъ дядя Ерошка, поживу, умру. И правду онъ говоритъ: только трава вырастетъ».

«Да что-же, что трава вырастетъ?—думалъ онъ дальше: все надо-жить, надо быть счастливымъ; потому что я только одного желаю—счастья. Все равно, что-бы я ни-былъ: такой-же зѣбрь какъ и всѣ, на которомъ трава вырастетъ, и больше ничего, или я рамка, въ которой поставилъ часть единаго Божества: все-таки надо жить наилучшимъ образомъ. Какъ-же надо жить, чтобы быть счастливымъ. и отчего я не былъ

счастливы прежде?» И онъ началъ вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Онъ самъ представился себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно. И все онъ смотрѣлъ вокругъ себя на просвѣчивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовалъ себя такимъ-же счастливымъ, какъ и прежде. «Отчего я счастливъ, и зачѣмъ я жилъ прежде?»—подумалъ онъ. «Какъ я былъ требователемъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья!». И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. «Счастье—потъ что!—сказалъ онъ самъ себѣ:—счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть—она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія-же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, не смотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскопилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить. «Вѣдь ничего для себя не нужно, все думалъ онъ отчего-же не жить для другихъ?»

Не правда-ли всѣ эти размышленія буквально тождественны съ тѣми „просіяніями“ и „озареніями новымъ свѣтомъ“, какія мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ гр. Толстого послѣднихъ лѣтъ? Такимъ образомъ уже въ 1852 году бродили въ головѣ гр. Толстого тѣ самыя мысли, появленіе которыхъ впослѣдствіи онъ приписывалъ гораздо позднѣйшему періоду своей жизни. Впрочемъ находимъ мы здѣсь и весьма существенную разницу. Въ 1852 году онъ не думалъ, что стоить только дойти до подобныхъ мыслей и проникнуться ими, чтобы и дѣйствительно возродиться къ новой жизни. Онъ понималъ еще тогда, что отъ прекрасныхъ мыслей и словъ до дѣла очень далеко, и что несостоятельность людей вроде Оленина зависѣла не отъ тѣхъ или другихъ взглядовъ на жизнь, а отъ самой ихъ натуры, искаженной условіями жизни, и поэтому Оленинъ, несмотря на всѣ свои „просіянія“, остается все тѣмъ-же ветхимъ человѣкомъ, котораго носить въ себѣ, и приходитъ къ горькому опыту, что всѣ попытки его переродиться, слиться съ непосредственными дѣлами народа, людьми труда и борьбы, и жить для другихъ—ничего не приносятъ этимъ людямъ, кромѣ вреда и горя, онъ совсѣмъ пасуетъ передъ ними при своемъ обширномъ образованіи, и ему остается идти своей натуральной дорогой, т. е. опредѣлиться въ штабъ, что онъ и дѣлаетъ въ заключеніе повѣсти.

Такую-же мрачную и безнадежную параллель между привилегированными людьми и дѣлами народа проводитъ гр. Толстой и въ своихъ военныхъ разсказахъ. Здѣсь такъ-же, рядомъ съ напускною аффектаціею мишураго героизма, подъ внѣшнею оболочкою котораго скрывается часто самая негероическая трусость, рядомъ съ тщеславнымъ хвастовствомъ, съ какимъ мнимые герои разсказываютъ о своихъ небывалыхъ подвигахъ, васъ поражаетъ простое, непритворное, спокойное и въ то-же время степенно-серьезное отношеніе къ своему дѣлу нижнихъ чиповъ. Не напрашиваясь на героизмъ и не помышляя о немъ, они-то и являются истинными героями: отъ нихъ зависитъ исходъ каждаго сраженія, они всегда находятся ближе къ смерти, ихъ болѣе падаетъ, и въ то-же время они спокойнѣе самыхъ отчаянныхъ храбрецовъ встрѣчаютъ смерть и



выстъ съ тѣмъ имъ не приходитъ и въ голову хвастаться и тщеславиться своимъ мужествомъ.

Очерки севастопольской войны имѣютъ и другое важное достоинство: они представляютъ первое иолнѣ реальное отношеніе искусства къ военнымъ дѣйствіямъ; здѣсь впервые они изображаются во всей своей прозаичности такъ какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ того ореола браанныхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ разсказахъ хвастливыхъ очевидцевъ и въ пропзведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашего литературы. Чтобы понять, какой громадный шагъ сдѣлало въ этомъ отношеніи искусство, слѣдуетъ рядомъ съ очерками гр. Толстого поставить хотя-бы описаніе *Полтавской битвы* Пушкина или *Бородино* Лермонтова. У Толстого вы не найдете и слѣда такихъ ужасающихъ батальныхъ картинъ, чтобы рука бойцовъ колотъ устала и ядрамъ пролетать мѣшала гора кровавыхъ тѣлъ. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой имѣлъ полное право сказать въ концѣ первыхъ своихъ очерковъ севастопольской войны:

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны... Герой-же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда“.

### III.

Въ 1856 году, по окончаніи войны, гр. Толстой вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ Петербургѣ, какъ и во всей Россіи, въ этотъ годъ только что начиналось то пробужденіе и оживленіе общества, которое предшествовало эпохѣ реформъ и вызвало ихъ. Въ столицу въ это время съѣзжались со всѣхъ концовъ Россіи литераторы, словно разсѣянные предшествовавшими бурями птицы. Восторженныя рѣчи, полныя свѣтлыхъ надеждъ, не смолкали. Въ этотъ хаосъ всеобщаго ликования вмѣшался и гр. Толстой. Онъ явился въ столицу въ двойномъ ореолѣ—и какъ восходящее литературное свѣтило, и какъ севастопольскій герой. Съ одной стороны онъ не замедлилъ познакомиться и подружиться съ передовыми и первостепенными литераторами того времени—Тургеневымъ, Гончаровымъ, Некрасовымъ, Островскимъ, Григоровичемъ, Дружининымъ и прочими. Они приняли его какъ своего, лѣстили, превозносили его пропзведенія. Въ то-же время, по его словамъ (въ романѣ *Декабристы*), онъ „на себѣ испыталъ, какъ Россія умѣетъ вознаграждать истинныя заслуги. Сильные міра сего всѣ искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обѣды, настоятельно приглашали его къ себѣ для того, чтобъ узнать отъ него подробности войны, разсказывали ему свои чувствованія“.

Подъ впечатлѣніемъ всеобщаго ликования и гр. Толстой не замедлилъ увлечься общимъ восторгомъ и радужными надеждами. Этотъ моментъ и разумѣетъ онъ въ своей *Исповѣди*, когда говоритъ:

«Мы всё тогда были убеждены, что намъ нужно говорить и говорить, писать, печатать — какъ можно скорѣе, какъ можно больше, что все это нужно для блага человѣчества. И тысячи насъ, отрицая, ругая одинъ другого, всё печатали, писали, поучая другихъ. И не замѣчая того, что мы ничего не знаемъ, что на самый простой вопросъ жизни: что хорошо, что дурно,—мы не знаемъ, что отвѣтить,—мы всё, не слушая другъ друга всё вразъ говорили, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга съ тѣмъ, чтобъ и мнѣ потакали и меня хвалили, иногда-же раздражался другъ противъ друга точно такъ, какъ въ сумасшедшемъ домѣ.

«Тысячи работниковъ дни и ночи изъ послѣднихъ силъ работали, набирали, печатали миллионы словъ, и почта развозила ихъ по всей Россіи, и мы все еще больше учили и никакъ не успѣвали всему научить, и все сердились, что насъ мало слушаютъ.

«Ужасно странно, но теперь мнѣ понятно. Настоящимъ душевнымъ разсужденіемъ нашимъ было то, что мы хотимъ какъ можно больше получать денегъ и похвалъ. Для достиженія этой цѣли мы ничего другого не умѣли дѣлать, какъ только писать книжки и газеты. Мы это и дѣлали. Но для того, чтобы намъ дѣлать столь бесполезное дѣло и имѣть увѣренность, что мы—очень важные люди, намъ надо было еще разсужденіе, которое-бы оправдало нашу дѣятельность. И вотъ у насъ было придумано слѣдующее: все, что существуетъ, то разумно. Все-же, что существуетъ, все развивается. Развивается все посредствомъ просвѣщенія. Просвѣщеніе-же измѣряется распространеніемъ книгъ, газетъ. А намъ платять деньги и насъ уважаютъ за то, что мы пишемъ книги и газеты, и потому мы—самые полезные и хорошіе люди».

Дѣйствительно литература находилась въ то время въ большомъ почетѣ, писателямъ вездѣ было первое мѣсто, ихъ чуть не носили на рукахъ, и вѣра въ просвѣщеніе, прогрессъ были безграничны; у всѣхъ и каждого эти слова безпрестанно были на устахъ. Выше же всего и ставилось, и цѣнилось художественное творчество, и на художниковъ дѣйствительно смотрѣли какъ на пророковъ, каждое вѣщее слово которыхъ подвергалось безчисленнымъ критическимъ комментаріямъ во всѣхъ журналахъ. Что гр. Толстой и самъ раздѣлялъ эту вѣру, объ этомъ можно судить по его вступительной рѣчи 4 февраля 1859 г. на засѣданіи *Общества любителей русскаго слова*, при принятіи его въ члены этого общества,—рѣчи, въ которой онъ защищалъ высоту, чистоту и неприкосновенность искусства отъ всѣхъ преходящихъ и суетныхъ злобъ дня и возбудилъ, какъ мы выше видѣли, громовый протестъ со стороны Хомякова.

Но надо полагать, что гр. Толстой жилъ въ это время какою-то раздвоенною жизнью. Увлекаясь вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ вѣрою въ прогрессъ и литературнымъ движеніемъ, въ глубинѣ души онъ оставался все такимъ-же скептикомъ и пессимистомъ. — Въ *Исповѣди* своей онъ говоритъ, что уже „на второй и въ особенности на третій годъ онъ сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости своей вѣры въ прогрессъ и сталъ ее изслѣдовать“. „Кромѣ того, говоритъ онъ ниже, усомнившись въ истинности самой вѣры писательской, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы этой вѣры, писатели были люди безправственные и въ большинствѣ люди плохіе, ничтожныя по характерамъ,—много хуже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и военной жизни,—но самоувѣренные и довольные собой, какъ только могутъ быть довольны люди совѣмъ свитые или такіе, которые и не знаютъ, что такое свитость. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понималъ, что вѣра эта—обманъ“.

Въ сочиненіяхъ-же гр. Толстого этого періода мы слѣда не находимъ этой самой вѣры. Такъ онъ продолжалъ казнить все того-же своего нравственно несостоятельнаго героя, князя Нехлюдова, и въ 1856 г. были написаны мрачныя *Записки Маржера*, гдѣ эта казнь является буквально смертною. Къ тому-же 1856 году относится и повѣсть *Два гусара*, не менѣе мрачная по своему содержанію, такъ какъ представляетъ паралель двухъ поколѣній графскаго рода, и вы видите то страшное нравственное вырожденіе въ дворянской средѣ, какое особенно сильно проявилось втеченіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Въ слѣдующемъ 1857 году гр. Толстой поѣхалъ за-границу, и зрѣлище европейскаго прогресса не только не привело его въ восторгъ, а, напротивъ того, еще болѣе омрачило духъ его. Онъ не замедлилъ предать этотъ прогрессъ своему разлагающему анализу, и отъ его пытливыхъ глазъ не укрылись тѣ страшныя противорѣчія, какія таились въ пѣдрахъ европейской цивилизаціи и смущали всѣхъ мыслящихъ людей: при успѣхахъ знанія и промышленности, при ослѣпительномъ наружномъ блескѣ,—масса нищеты, невѣжества, варварства и грубаго безчеловѣчія. Впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ этой первой поѣздки за-границу, были выражены въ произведеніи, относящемся къ этому году *Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова—Люцернъ*. Князя Нехлюдова глубоко поразили тотъ фактъ, что седьмого іюля 1857 года въ Люцернѣ, передъ отелемъ Швейцергофомъ, въ которомъ останавливаются самые богатые люди, странствующій нищій пѣвецъ въ продолженіе получаса пѣлъ пѣсни и игралъ на гитарѣ. Около ста человѣкъ слушали его. Пѣвецъ три раза просилъ дать ему что-нибудь. Ни одинъ человѣкъ не далъ ему ничего и многіе смѣялись надъ нимъ.

«Вотъ событіе, восклицаетъ онъ, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событіе значительное и серьезное и имѣетъ глубочайшій смыслъ, чѣмъ факты, записываемые въ газетахъ и исторіяхъ. Что англичане убили еще тысячу китайцевъ за то, что китайцы ничего не покупаютъ на деньги, а ихъ край поглощаетъ звонкую монету; что французы убили еще тысячу кабилловъ за то, что хлѣбъ хорошо родится въ Африкѣ и что турецкій посланникъ въ Неаполѣ не можетъ быть жидъ и что императоръ Наполеонъ гуляетъ пѣшкомъ въ Plombières и печатно увѣряетъ народъ, что онъ царствуетъ только по волѣ своего народа,—это все слова, сокрывающія или показывающія давно извѣстное; но событіе, происшедшее въ Люцернѣ 7-го іюля, мнѣ кажется, совершенно ново, странно и относится не къ вѣчнымъ дурнымъ сторонамъ человеческой природы, но къ извѣстному эпохѣ развитія общества. Это фактъ не для исторіи дѣлій людскихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи.

«Отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются путешествующіе, самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ обществѣ на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло? Отчего эти люди, въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ горячо заботящіеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ въ Индіи, о распространеніи христіанства и образованія въ Африкѣ, о составленіи общества исправленія всего человѣчества, не находятъ въ душѣ своей чистого персбытнаго чувства человѣка къ человѣку? Неужели нѣтъ этого чувства, и мѣсто его заняли тщеславіе, честолюбіе и корысть, руководящія этихъ людей въ ихъ палатахъ, митингахъ и общест-

вахъ? Неужели распространіе разумной себелюбивою ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціей, уничтожаетъ и противорѣчитъ потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершенно преступленій? Неужели народы, какъ дѣти, могутъ быть счастливы однимъ звукомъ слова равенство?...»

Такимъ образомъ вотъ уже когда въ гр. Толстомъ вѣра въ прогрессъ, цивилизацію начала сильно колебаться, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ вопросѣ „отчего развитіе, гуманные люди, способные въ обществѣ на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердчнаго чувства на личное доброе дѣло?“ — вы видите уже поворотъ на путь личнаго самосовершенствованія, на который впоследствии окончательно выступилъ гр. Толстой. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ это же время онъ разочаровался и во всемъ томъ шумномъ общественномъ движеніи, какимъ была преисполнена русская жизнь передъ реформами, уединился въ своей Ясной Полянѣ и занялся тамъ личнымъ самосовершенствованіемъ, лепя идеалъ просвѣщеннаго и гуманнаго барина-хозяина, чуждающагося какъ свѣтской суеты, такъ и всѣхъ общественныхъ теченій, живущаго въ деревнѣ въ неусыпныхъ сельско-хозяйственныхъ трудахъ и заботахъ и въ тѣсномъ общеніи съ народомъ. Идеалъ этотъ, воплотивъ вытекавшій изъ его личнаго общественнаго положенія, равно какъ изъ всѣхъ его вкусовъ и наклонностей, онъ стремился осуществить въ продолженіи всего средняго періода своей жизни, воплощая его впоследствии неоднократно въ типахъ вроде Петра Безухова и Левина. Первое-же воплощеніе мы видимъ въ относящемся къ 1859 году романѣ *Семейное счастье*, въ героѣ этого романа Сергѣѣ Михайловичѣ, который, въ объясненіи своемъ въ любви своей героинѣ, категорически выражаетъ этотъ идеалъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Я прожилъ много, и мнѣ кажется, что нашелъ то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь въ нашей деревенской глуши съ возможностью дѣлать добро людямъ, которымъ такъ легко дѣлать добро, къ которому они не привыкли; потомъ трудъ, трудъ, который кажется, что приноситъ пользу, потомъ отдыхъ, природа, книга, музыка, любовь къ близкому человѣку—вотъ мое счастье, выше котораго я не мечтаю. А тутъ сверхъ всего этого другъ, семья можетъ быть, и все, что только можетъ желать человѣкъ».

Что касается до произведеній его, относящихся къ этому времени, то, кромѣ выше-означенныхъ, мы можемъ упомянуть еще слѣдующія. Къ 1856 году относится маленькій рассказъ *Мысль*, въ 1857 году—*Амбертъ*. 1858 годъ почему-то не ознаменовался ни однимъ произведеніемъ гр. Толстого и представляетъ пробѣлъ въ его художественной дѣятельности. Зато 1859 годъ ознаменовался кромѣ рассказа *Три смерти*, романомъ *Семейное счастье*. Въ 1860 году была написана повѣсть изъ народнаго быта *Поликушка*, которою гр. Толстой занялся дабы какъ эмансипація, такъ и входившей въ то время въ моду беллестриктикѣ изъ народнаго быта. Наконецъ къ 1861 году относится рассказъ *Холстомеръ*.

#### IV.

Вообще нужно замѣтить, что какъ ни отрицательно относился гр. Толстой къ движенію своего времени, какъ ни заперся отъ него въ деревенскую глушь, чуткая,

впечатлительная натура его никакъ не могла противостоять тѣмъ или другимъ вѣяніямъ времени, и на каждое онъ отзывался. Такъ, въ то время, какъ все вниманіе общества устремилось на народъ, изучать его, сближаться съ нимъ, учить его—сдѣлалось кровною обязанностью всѣхъ и каждого, обратилось въ повальную эпидемію, всюду начали заводиться воскресныя и сельскія школы, и гр. Толстой въ свою очередь увлекся этимъ общественнымъ движеніемъ. Съѣздивъ даже еще разъ за границу съ цѣлью изучить школьное дѣло и, по возвращеніи въ Ясную Поляну, завелъ тамъ сельскую школу и началъ издавать педагогическій журналъ *Ясная Поляна*. Какъ методы преподаванія въ ясно-полянской школѣ, такъ и всѣ школьные порядки отличались большою оригинальностью и совершенно выходили изъ обычной школьной рутины, что возбуждало оживленную полемику въ педагогическихъ сферахъ того времени, которую гр. Толстой поддерживалъ въ своемъ ясно-полянскомъ журналѣ, развивая свои взгляды на обученіе дѣтей и народа въ цѣломъ рядѣ педагогическихъ статей, каковы: *О народномъ образованіи, О методахъ обученія грамотѣ, Проектъ плана устройства народныхъ училищъ, Кому у кою учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ*. Во всѣхъ этихъ статьяхъ, рядомъ съ мыслями парадоксальными, вы встрѣчаете рядъ идей, поражающихъ васъ своею глубиною, самобытностью и неоспоримою истинностью.

1862 годъ ознаменовался въ жизни Гр. Толстого женитьбою на дочери московскаго доктора Берсъ, Софьѣ Андреевнѣ.

Между тѣмъ то раздвоенное состояніе духа, о которомъ мы выше говорили, не покидало гр. Толстого и въ ясно-полянскомъ уединеніи послѣ женитьбы. Съ одной стороны—мы видимъ самое живое отношеніе къ вѣяніямъ времени, сказавшееся и въ стремленіи сближаться съ народомъ, и въ ясно-полянской школѣ, и въ статьѣ *Воспитаніе и образованіе*, вызванной студенческими беспорядками 1861 года, въ которой гр. Толстой становится на самую радикальную точку зрѣнія въ своихъ педагогическихъ воззрѣніяхъ, отрицаетъ всецѣло нравственное воспитаніе, какъ насліе одной личности надъ другою, и въ силу этого отрицаетъ всѣ существующія учебныя заведенія отъ низшихъ до высшихъ со всѣми ихъ программами и порядками, требуя полной свободы преподаванія въ видѣ школъ, въ которыхъ каждый, кому угодно, передавалъ-бы тѣ знанія, какія имѣетъ, или въ видѣ публичныхъ лекцій.

«Говорить, читаемъ мы, наука носитъ въ себѣ воспитательный элементъ (Ergziehendes Element) — это справедливо и несправедливо, и въ этомъ положеніи лежитъ основная ошибка существующаго парадоксальнаго взгляда на воспитаніе. Наука есть наука, и ничего не носитъ въ себѣ. Воспитательный-же элементъ лежитъ въ преподаваніи наукъ, въ любви учителя къ своей наукѣ и въ любовной передачѣ ея, въ отношеніи учителя къ ученику. Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбятъ и тебя, и науку, и ты воспитаешь ихъ; но самъ не любящий ее, то сколько-бы ты ни заставлялъ учить, наука не произведетъ воспитательнаго вліянія. И тутъ опять одно мѣрило, одно спасеніе, опять та-же свобода учениковъ слушать или не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его воспитательное вліяніе, то-есть имъ однимъ рѣшить, знаютъ-ли онъ и любятъ-ли свою науку».

Проповѣдуя такимъ образомъ полный переворотъ всего учебнаго дѣла и не оставляя

въ немъ камня на камнѣ, казалось, гр. Толстой уже этимъ самымъ становился впереди всѣхъ самыхъ рьяныхъ прогрессистовъ. И вдругъ одновременно тотъ-же самый гр. Толстой въ своей полемикѣ съ Евг. Марковымъ, въ статьѣ *Прогрессъ и опредѣленіе образованія* на страницахъ *Русскаго Вѣстника* (1864 г. № 5), доходитъ до полного отрицанія прогресса, далеко въ этомъ отношеніи оставляя позади тѣ идеи, которыя онъ высказывалъ въ *Люцернѣ*. Общаго закона движенія впередъ человѣчества, по его мнѣнію, нѣтъ, какъ то намъ доказываютъ неподвижные восточные народы; <sup>9</sup>/10 того-же самаго европейскаго народа, будто-бы находящагося въ процессѣ прогресса, сознательно ненавидятъ прогрессъ и всѣми средствами стараются противодѣйствовать ему. У насъ вѣрятъ въ прогрессъ образованное дворянство, образованное купечество и чиновничество—классы незанятые, по выраженію Бокля; не вѣрятъ въ прогрессъ и враги его—мастеровые, фабричные, крестьяне, земледѣльцы и промышленники, люди занятые прямою физическою работою—классы занятые.

Утверждая далѣе, что всѣ блага прогресса, созданныя наукою, какъ электричество и пр., приносятъ пользу лишь небольшой горсти людей привилегированныхъ, девяти десятымъ-же человѣчества не только никакой пользы не приносятъ, но и служатъ прямо ко вреду, онъ и литературу относитъ къ той-же категоріи.

«Литература, говоритъ онъ, такъ-же, какъ и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа. Есть *Современникъ*, есть *Современное Слово*, есть *Современная Литература*, есть *Русское Слово*, *Русскій Миръ*, *Русскій Вѣстникъ*, есть *Время*, есть *Наше Время*, есть *Орелъ*, *Звѣздочка Гирлянда*, есть *Грамотей*, *Народное Чтеніе* и *Чтеніе для народа*, есть извѣстные слова въ извѣстныхъ сочетаніяхъ и перемѣщеніяхъ, какъ заглавія журналовъ и газетъ, и всѣ эти журналы твердо вѣрятъ, что они *проводятъ* какія-то мысли и направленія. Есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, несмотря на давность существованія, неизвѣстны, ненужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣлаемыхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе *Бориса Годунова* Пушкина или исторію Соловьева, надобно этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не прививается и не привьется народу, надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усумнятся въ этомъ. Какое-же благо получаетъ народъ отъ литературы? Библій и святцевъ до сихъ поръ народъ не имѣетъ дешевыхъ. Другія-же книги, которыя западаютъ къ нему, только обличаютъ въ его глазахъ глупость и ничтожество ихъ составителей; деньги и работа его тратятся, а выгоды отъ книгопечатанія,—вотъ уже сколько времени прошло, — мы не видимъ ни малѣйшей для народа. Ни пахать, ни дѣлать квасъ, ни плести лапти, ни рубить срубы, ни пѣть пѣсни, ни даже молиться, не учиться и не научиться народъ изъ книгъ. Всякій добросовѣстный судья, неодолимый врагъ прогресса, признается, что выгоды книгопечатанія для народа не было....» и т. д.

Въ этомъ констатированіи тщеты прогресса, что прогрессъ существуетъ для немногихъ во вредъ большинству, гр. Толстой сходится, повидимому, съ социалистами, но только повидимому. Существенная разница заключается въ томъ, что социалисты самого прогресса не отрицаютъ, а напротивъ того, указывая на фактъ неравнаго его распри-

дѣленія, требовали, чтобы къ благамъ прогресса были допущены равномѣрно всѣ классы общества. Гр. Толстой же вывелъ изъ того-же факта полное отрицаніе всякаго коллективнаго прогресса и допускаетъ одно личное самосовершенствованіе. „Общій вѣчный законъ, говоритъ онъ: написанъ въ душѣ всякаго человѣка. Законъ прогресса или совершенствованія написанъ въ душѣ cadaго человѣка и, только вслѣдствіе заблужденія, переносится въ исторію. Оставаясь личнымъ, этотъ законъ плодотворенъ и доступенъ каждому; перенесенный въ исторію, онъ дѣлается праздною, пустою болтовней, ведущей къ оправданію каждой безсмыслицы и фатализма“.

Такимъ образомъ, какъ видите, уже въ 1862 году въ отрицаніи своемъ гр. Толстой дошелъ до тѣхъ самыхъ геркулесовыхъ столповъ, въ какихъ онъ пребываетъ и днесъ. Не доставало лишь положительныхъ идеаловъ въ духѣ древнихъ восточныхъ мудрецовъ.

#### V.

Спрашивается теперь, какъ-же могъ продолжать писать гр. Толстой, разъ онъ додумался не только до безполезности, но даже и до вреда всей русской литературы? Это только и можно объяснить тою раздвоенностью, въ которой онъ въ то время находился и о которой онъ говоритъ въ своей исповѣди слѣдующее:

«Новыя условія счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками въ продолженіи этихъ пятнадцати лѣтъ, я все-таки продолжалъ писать. Я вкушалъ уже соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей».

Тѣмъ не менѣе, благодаря именно этой непослѣдовательности гр. Толстого, Россія была обязана ему созданіемъ въ эти пятнадцать лѣтъ наиболѣе совершенныхъ и лучшихъ произведеній.

Такъ вскорѣ послѣ женитьбы гр. Толстой задумалъ романъ *Декабристы*, главными дѣйствующими лицами котораго должны были быть люди двадцатыхъ годовъ, но онъ успѣлъ въ то время написать лишь три главы этого романа. Стараясь воссоздать время декабристовъ, онъ невольно переходилъ мысленно къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать; семья, воспитаніе, общественныя условія избранныхъ нимъ лицъ; наконецъ, онъ остановился на времени войны съ Наполеономъ, и изобразилъ его въ романѣ *Война и миръ*, въ концѣ котораго видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года.

Начатый въ 1864 году, романъ *Война и миръ* печатался въ *Русскомъ Вѣст-*

никъ съ 1865 года и въ 1869 году опъ явился уже въ свѣтъ въ полномъ своемъ составѣ. Это лучшее произведеніе гр. Толстого, въ которомъ художественное творчество его дошло до своего апогея, собственно говоря—не столько романъ, сколько колоссальная эпопея, обнимающая русскую жизнь начала нынѣшняго столѣтія въ ея сосредоточеніи въ то время въ великосвѣтскихъ слояхъ общества во всѣхъ ея проявленіяхъ, начиная съ такихъ крупныхъ историческихъ событій, какъ Лейпцигская битва и пожаръ Москвы, и кончая мелкими, повседневными фактами общественной, частной и семейной жизни. Къ сожалѣнію эта эпопея не имѣетъ такихъ строгихъ цѣлостности и стройности, которыя могли-бы поставить ее на одномъ ряду со всѣми высочайшими произведеніями искусства. Она распадается на три элемента, далеко не равнаго достоинства. Первый элементъ—самый высокій и безукоризненный,—это непосредственно-художественный. Вездѣ, гдѣ гр. Толстой въ своемъ безсмертномъ произведеніи только живописуетъ, не приводя никакихъ философскихъ или моральныхъ идей, онъ доходитъ порою до гениальнаго величія. Такія мѣста романа, какъ пожаръ Москвы, Бородино и всѣ батальныя картины, какъ смерть Андрея Болконскаго, катанье на тройкахъ зимою въ деревнѣ, дѣтскіе романы—производятъ потрясающее впечатлѣніе образовъ въ художественномъ отношеніи почти всѣхъ великихъ, точно какъ будто передъ вами разстилаются безсмертныя полотна великихъ живописцевъ эпохи возрожденія, и глядятъ на васъ съ этихъ полотенъ изображенныя на нихъ вѣковѣчныя фигуры, блестя своею божественною красотою. Не менѣе поражаетъ васъ въ романѣ рядъ типовъ, псчерпывающихъ все содержаніе великосвѣтской среды изображаемой эпохи. Почти всѣ, такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и пр. несколько не менѣе существенны, чѣмъ типы *Мертвыхъ душъ*, и могутъ служить такими-же кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ и пр. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. Всѣхъ ихъ можно раздѣлить на четыре разряда. Одинъ изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ, представляютъ крайнюю степень разстлѣнія; это римляне послѣдняго періода имперіи, приближаться къ которымъ опасно, потому что для нихъ ничего не стоитъ ради личныхъ выгодъ лишить васъ не только чести или обезпеченія, но даже самой жизни. Самые страшные изъ нихъ тѣ, которые при всей своей внутренней чудовищности сохраняютъ извѣстную долю сдержанности, такта, изворотливости, умѣютъ даже надѣвать на себя личины различныхъ добродѣтелей, каковы, напримѣръ князь Курагинъ. Не менѣе ужасенъ и Долоховъ со своею отчаянною дерзостью, стальными первами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ. Въ лицѣ Долохова гр. Толстой окончательно развѣчиваетъ тотъ демоническій типъ, который въ тридцатые и сороковые годы былъ въ такомъ ореолѣ. Долоховъ—это почти тотъ-же Печоринъ, но вмѣсто удивленія возбуждающій подлиннымъ перомъ гр. Толстого одно отвращеніе. Большаго спсхожденія заслуживаютъ типы вродѣ Апатолія Курагина и сестры его Елены Безухой въ томъ отношеніи, что животныя инстинкты до такой уже степени заглушаютъ въ нихъ и разумъ, и волю, что по большей части они дѣлаются жертвами своего разврата.

«И чѣмъ болѣе я вникалъ въ ихъ жизнь, говоритъ онъ, тѣмъ болѣе я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года, и со мною



случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только стала противна мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ балаболомъ. И понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія-же трудящагося народа, творящаго жизнь, представлялся мнѣ единственнымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принять его.... И понялъ, что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не бессмысленна и зла, а потому уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить о жизни всего человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ, не думать о себѣ, любить другихъ,—это одно средство, «чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ....»

Ко второй категоріи принадлежатъ карьеристы вроде Бориса Друбцакаго, Берга — выслуживающіеся и наживающіеся. Приглашенные, припомаженные, умѣренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имѣютъ видъ порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не болѣе человѣчности, чѣмъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдѣлаютъ вамъ безъ нужды зла, но и добра отъ нихъ не ждите. Ихъ дружба и любовь опредѣляются личными интересами; въ то-же время въ своихъ служебныхъ видахъ они не любятъ бывать въ обществѣ людей, не только стоящихъ ниже ихъ, но и равныхъ, и предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, гдѣ низкопоклонничая и услуживая, втираются въ довѣріе, незаметно становятся на равную ногу и лѣзутъ еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много человѣчности: они способны безкорыстно любить и увлекаться, способны подъ вліяніемъ минуты на высокій подвигъ, но въ то-же время—это взрослые дѣти съ безмятежными дѣтскими вѣрованіями и воззрѣніями на міръ, слѣпо отдающіяся настоящей минутѣ, вѣчно жаждущія широкаго веселья, счастья. Если жизнь иногда и угоститъ ихъ горькою минутою, стоитъ погладить ихъ по головкѣ и поднести имъ новую игрушку, и они много утѣшаются и опять довольны и веселы. Если подвернутся обстоятельства, нарушающія неприкосновенность ихъ дѣтскихъ воззрѣній, они слѣпо гонятъ отъ себя прочь сомнѣнія и считаютъ какъ-бы преступленіемъ допустить въ себя малѣйшую самостоятельность мысли.

Къ четвертой категоріи относятся люди размышляющіе, анализирующіе, резонирующіе, разбившіе въ себѣ высшія умственные и нравственные стремленія путемъ чтенія и размышленій. Таковы князья Болконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, таковъ Пьеръ Безухій. Но такъ какъ они продолжаютъ стоять въ тѣхъ-же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то цѣли, которыя они себѣ ставятъ, не вытекаютъ естественно изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить пустоту жизни, и какъ такіе цѣли ни прекрасны бываютъ въ теоріи, осуществленныя или обращаются въ ничто, или вмѣсто добра приносятъ неожиданное зло тѣмъ людямъ, къ которымъ относятся. Однимъ словомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тою-же нехлюдовщиною. — И какъ это мы находимъ въ прочихъ произведеніяхъ гр. Толстого, здѣсь точно также для болѣе рельефнаго представленія нравственной

несостоятельности своей излюбленной нехлюдовщины гр. Толстой дѣлаетъ свои геніальныя сопоставленія героевъ съ людьми массъ, живущихъ непосредственною жизнью. Такъ мпшурное геройство князя Андрея пасуетъ передъ истиннымъ и простымъ въ своемъ безсознательномъ величіи геройствомъ артиллериста Тушина, такъ всѣ отвлеченныя и мистическія философствованія Пьера Безухова представляются бессмысленными и дрянными бреднями передъ свѣтлымъ міровоззрѣніемъ и здравымъ народнымъ смысломъ Каратаева.

Вторымъ элементомъ романа *Война и миръ* представляется историческая философія его, первоначально влетававшаяся въ самый текстъ романа и сильно отягощавшая его художественное содержаніе, а затѣмъ отдѣленная въ видѣ второй части произведенія.

Происхожденіе этого историко-философскаго трактата объясняется очень просто. Задумавши писать историческій романъ, изображающій жизнь цѣлой эпохи, полной къ тому-же важными историческими событіями, гр. Толстой необходимо приступилъ къ изученію ея по различнымъ памятникамъ, мемуарамъ, біографіямъ и сочиненіямъ европейскихъ и русскихъ историковъ. Такое изученіе раздвинуло умственный горизонтъ гр. Толстого, открывши ему новыя области жизни и мысли, и вотъ въ головѣ его начался умственный процессъ, поглотившій всѣ его силы. Путемъ этого процесса онъ додумался до такихъ историко-философскихъ истинъ, которыя давно уже были открыты до него, но онъ ихъ снова открылъ для самого себя и весьма естественно вообразилъ при этомъ, что истины эти должны быть новостью и для всего человѣчества. — Такова наприимѣръ идея причинности историческихъ событий и съ другой стороны вліяніе на нихъ массовыхъ движеній, увлекающихъ за собою отдѣльныя личности, которыя, какъ-бы ни казались геніальны и самостоятельны въ своей дѣятельности, слѣпо подчиняются коллективной волѣ народовъ.

Здѣсь, какъ и во всѣхъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ гр. Толстого, излагаемыхъ тяжелымъ языкомъ съ безпрестанными повтореніями и распространеніями, — мы встрѣчаемъ ту же амальгаму глубокихъ и смѣлыхъ истинъ и рискованныхъ парадоксовъ, основанныхъ на произвольныхъ и спорныхъ категорическихъ афоризмахъ. Непривычка къ философскому мышленію ведетъ къ тому, что гр. Толстой не можетъ удержаться въ строго научныхъ и реальныхъ предѣлахъ, смѣшиваетъ причинность историческихъ событий съ пѣлесообразностью, и изъ всего изъ этого выходитъ у него теорія историческаго фатализма, причемъ онъ и самъ не замѣчаетъ, въ какое логическое противорѣчіе впадаетъ онъ: считая отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія, основывающійся на произвольномъ управленіи народами и царями волею божествъ, онъ самъ проводитъ тотъ-же взглядъ, замѣняя лишь личную волю челоѣкообразныхъ божествъ древняго міра предопредѣленіями какихъ то таинственныхъ, безусловныхъ силъ, безличныхъ и между тѣмъ сознательно разумныхъ. „На вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событий, говоритъ онъ, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ міровыхъ событий предопредѣленъ свыше, зависятъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событий есть только вѣшнее, фактивное“.

Третій елементъ, еще болѣе портящій романъ, заключается въ той мистической экзальтаціи, которая окончательно обуяла гр. Толстого въ половинѣ сепидесятихъ годовъ, но начало которой мы видимъ уже во второй половинѣ шестидесятихъ годовъ, когда онъ дописывалъ свой романъ *Война и миръ*. Экзальтація эта особенно ярко выразилась въ эпизодѣ вліянія на Пьера Безухова Каратаева.

Увлеченіе Пьера простыми людьми послѣ бородинскаго сраженія стоитъ совершенно на реальной почвѣ. Вполнѣ естественно, что запутавшійся въ омутѣ свѣтской пустоты, разочарованный и нравственно надломленный Пьеръ могъ увлечься зрѣлищемъ простыхъ и сильныхъ людей, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, безъ всякаго хвастовства и напускнаго геройства смотрѣвшихъ въ глаза смерти; понятно, что онъ долженъ былъ ясно почувствовать, въ сравненіи съ правдой, простотой и силой этихъ людей ощущеніе своей ничтожности и лживости и проникнуться стремленіемъ *войти въ эту общую жизнь въсьмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаютъ ихъ такими...* Подобныя мысли и чувства мы видѣли уже и у другихъ героевъ Толстого, начиная съ Оленина въ *Казакахъ*.

Не менѣе естественно выведенъ и типъ Каратаева. Простой, гуманный, одаренный художественною натурою и теплымъ сердцемъ, много испытавшій въ жизни, — Каратаевъ самъ по себѣ являлся-бы весьма живою и удачно очерченною личностью въ романѣ, если-бы гр. Толстой не возвелъ его на пьедесталъ, представивъ въ немъ какого-то вдохновеннаго глашатая народной мудрости, исполненной неизреченныхъ глубинъ, чуть что не живое олицетвореніе божественной правды и благодати. Вліяніе его на Пьера было столь сильно по словамъ автора, что Пьеръ совершенно переродился: онъ самъ исполнился кроткой терпимости и благодушія, подъ обаяніемъ которыхъ во всеѣ сталъ видѣть Бога, все ему показалось ведущимъ ко благу, все люди сдѣлались его друзьями и незамѣтно для самихъ себя почувствовали потребность повѣрить ему все свои сокровенныя тайны. „Нѣтъ, говоритъ Пьеръ, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотнаго человѣка-дурачка“.

И Оленинъ, какъ мы видѣли, получилъ подобное-же просіяніе и позналъ, въ чемъ заключается истинное счастье подъ вліяніемъ сближенія съ казаками, но онъ не могъ переродиться вслѣдствіе одного этого сознанія и остался прежнимъ Оленинымъ, въ чемъ и заключается преимущество *Казаковъ* сравнительно съ послѣднею частью *Войны и мира*, гдѣ авторъ утратилъ уже прежнее реальное чутье и былъ готовъ увѣривать, что человѣкъ способенъ породиться и переродиться вслѣдствіе одного лишь измѣненія строя мыслей въ головѣ.

## VI.

По окончаніи *Войны и мира* гр. Толстой снова занялся педагогіей. Въ 1870 году была имъ написана *Азбука* и нѣсколько книгъ для чтенія.

Въ 1873 году появилось въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо о самарскомъ голодѣ. Въ 1874 году надѣлала не мало шума статья *О народномъ образованіи*, напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ* и возбуждавшая горячую полемику скаличенскій.

въ педагогическихъ сферахъ, особенно со стороны приверженцевъ нѣмецкой педагогикъ, противъ которыхъ наиболѣе ратуетъ гр. Толстой въ своей статьѣ.

Около того-же времени, — въ 1873 году, гр. Толстой задумалъ романъ *Анну Каренину*, который печатался въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ 1874 по 1876 годъ.

Къ этому-же времени относитъ гр. Толстой въ своей *Исповѣди* и тотъ радикальный переворотъ въ своихъ мысляхъ, который обратилъ его изъ беллетриста въ автора богословскихъ трактатовъ. Но тутъ представляется намъ съ перваго взгляда совершенно непонятное и странное противорѣчье между *Исповѣдью* и свидѣтельствомъ, находимымъ нами на страницахъ всѣхъ предыдущихъ сочиненій гр. Толстого.

Въ самомъ дѣлѣ въ *Исповѣди* гр. Толстой говоритъ, что хотя вѣра въ прогрессъ была поколеблена въ немъ уже до женитьбы, но и послѣ женитьбы, впродолженіи 15 лѣтъ, т. е. почти до конца семидесятыхъ годовъ, онъ продолжалъ жить прежнею безпечною жизнью. Вся жизнь его сосредоточилась въ это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Несмотря на то, что онъ считалъ писательство пустяками впродолженіи этихъ 15 лѣтъ, онъ все-таки продолжалъ писать. „Я вкусилъ уже, говоритъ онъ, соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей“.

И только по прошествіи пятнадцати лѣтъ начали вдругъ находить на него минуты недоумѣнія, остановокъ жизни, какъ будто онъ не зналъ, какъ ему жить, что дѣлать, началъ спрашивать — зачѣмъ это? къ чему? а потомъ? а мнѣ что за дѣло? терялся и впадалъ въ недоумѣніе. Минуты эти, учащаясь, обратились наконецъ въ одно сплошное отчаянье; онъ почувствовалъ, что онъ не можетъ жить, началъ бояться жизни, у него возникло стремленіе избавиться отъ нея, и онъ едва удерживался отъ самоубійства.

Тогда онъ началъ искать смысла жизни въ наукахъ, въ философіи, въ вѣрованіяхъ окружающихъ его свѣтскихъ людей, но нигдѣ не находилъ отвѣта. Наконецъ онъ сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками и тутъ только онъ уразумѣлъ, что если онъ хочетъ жить и понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла ему надо не у тѣхъ, которые его потеряли и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь.

Такова была сущность переворота, который произошелъ съ гр. Толстымъ, когда ему было около пятидесяти лѣтъ. Между тѣмъ что-же показываютъ намъ его сочиненія? Уже въ „Казакахъ“, повѣсти написанной въ 1852 году, когда гр. Толстому было всего 24 года, онъ высказалъ буквально тѣ-же самыя мысли и въ тѣхъ-же выраженіяхъ относительно того, въ чемъ заключается истинное счастье, и далѣе затѣивъ эти-же самыя идеи все болѣе и болѣе развивавшіяся и усложнявшіяся мы видимъ и въ *Люцернѣ*, и въ педагогическихъ статьяхъ его, а въ *Войнѣ и мирѣ* дѣло идетъ прямо уже о переворотѣ, пережитомъ Пьеромъ Безухимъ, совершенно аналогичномъ съ тѣмъ, который самъ гр. Толстой испыталъ десять лѣтъ спустя послѣ появленія *Войны и мира*. Правда, что въ *Исповѣди* гр. Толстой даетъ намъ

какъ-бы ключъ къ объясненію этой загадки, говоря что переворотъ давно уже готовился въ немъ и задатки его всегда въ немъ были. Но только онъ, какъ памъ кажется, слишкомъ умаляетъ значеніе этихъ задатковъ и слишкомъ раздуваетъ самый переворотъ. Не съ одними скромными задатками пылал мы дѣло во всѣхъ вышеприведенныхъ цтатахъ пзъ его сочиненій, а съ полнымъ выраженіемъ почти тѣмъ-же словами тѣхъ самыхъ идей, которыя гр. Толстого приписываетъ перевороту.

Судя по характеру этихъ идей, надо полагать, что онѣ были заронены въ него въ университетскіе еще годы тѣмъ броженіемъ социальныхъ идей, которымъ ознаменовалась вторая половина сороковыхъ годовъ. Затѣмъ идеи эти безсознательно для него самого зрѣли въ мозгу его вмѣстѣ съ вѣкомъ, найдя для своего развитія богатую почву въ геніальныхъ способностяхъ гр. Толстого и весьма благопріятныя условія въ движеніи шестидесятыхъ годовъ. Идеи эти, приведя гр. Толстого къ полному отрицанію интеллигентной, паразитной жизни со всею европейскою цивилизаціею и прогрессомъ, и возбудили въ немъ стремленіе къ слитію съ народомъ. Но вѣдь таковы именно и были результатъ всего движенія шестидесятыхъ годовъ. Къ нему склонились всѣ мало-мальски послѣдовательные и смѣлые умы. Обратите вниманіе, что гр. Толстой относитъ свой переворотъ какъ разъ къ половинѣ семидесятыхъ годовъ, именно къ той эпохѣ, когда во всемъ русскомъ обществѣ началось эпидемическое стремленіе идти въ народъ, такъ что и этимъ своимъ переворотомъ гр. Толстой заплатилъ дань вліянію времени.

Изъ всего изъ этого ясно слѣдуетъ, что мы пыѣмъ здѣсь дѣло вовсе не съ какимъ-либо переворотомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Это былъ особеннаго рода умственный и нравственный кризисъ, заключавшійся въ томъ, что между тѣмъ какъ гр. Толстой на склонѣ лѣтъ пресытился своею обеспеченною и счастливою жизнью со всѣми ея благами, идеями, которыя бродили въ немъ вирожденіе долгихъ лѣтъ, подъ вліяніемъ этого пресыщенія и вліянія времени вдругъ выяснились, обострились, получили новую, яркую окраску; началось подведеніе итоговъ всей прожитой жизни; явилось сознаніе полного противорѣчія этой жизни съ идеями. Вмѣстѣ съ тѣмъ гр. Толстой почувствовалъ страшную душевную пустоту при видѣ полного опроверженія всѣхъ тѣхъ боговъ, которымъ онъ прежде моллся, въ видѣ цивилизаціи, прогресса, культа истины и красоты, боговъ, завѣщанныхъ ему въ свою очередь сороковыми годами. Необходимо было чѣмъ-нибудь наполнить эту пустоту, замѣнить старыхъ боговъ новыми.

Но заплативши дань вліянію вѣка, гр. Толстой сразу сейчасъ-же и разошелся съ нимъ, какъ только зашелъ вопросъ о новыхъ положительныхъ идеалахъ. Кажалось-бы, въ *Исповѣди* своей онъ вполне ясно даетъ намъ разумѣть, что слиться съ народомъ и усвоить пониманіе его жизни и его вѣру въ жизнь можно только отрѣшившись отъ прежней паразитной жизни и начавши трудиться, какъ трудится народъ. Гр. Толстой не остановился на этомъ общемъ неоспоримомъ положеніи. Онъ пошелъ далѣе въ своемъ стремленіи слиться съ народомъ. Такъ какъ всѣ положительные знанія развились на почвѣ паразитизма и не давали отвѣтовъ на вопросы о сущности жизни, то гр. Толстой началъ огуломъ отрицать всѣ ихъ поголовно, начиная съ астрономіи и кончая химіею и медициной. Такъ какъ народъ черпалъ всѣ свои познанія изъ единствен-

ныхъ источниковъ въ видѣ различныхъ ученій древнихъ восточныхъ мудрецовъ, то гр. Толстой въ свою очередь устремился къ изученію и толкованію этихъ самыхъ источниковъ, предполагая, что въ нихъ только и можно обрѣсти истинное познаніе смысла жизни. Наконецъ, — что всего прискорбнѣе, — въ немъ окончательно развилась и утвердился тѣ зачатки индивидуализма, какіе мы видѣли у него и прежде: отвергнувши всякій коллективный общественный прогрессъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что единственное развитіе и улучшеніе человѣческаго рода заключается въ личномъ нравственномъ самосовершенствованіи каждаго человѣка въ отдѣльности. Изъ этого положенія и вытекли послѣдовательно и идея непротивленія злу насиліемъ, и отрпцаніе какъ всякихъ общественныхъ реформъ, такъ и выработанныхъ исторіею общественныхъ функцій; наконецъ въ *Крейцеровой сонатѣ* мы видимъ отрпцаніе послѣдняго общественнаго звена — семьи и проповѣдь безбрачія во что бы ни стало, хотя-бы осуществленіе подобнаго противоестественнаго идеала грозило уничтоженіемъ человѣческаго рода.

## VII.

Въ романѣ *Анна Каренина*, писанномъ какъ разъ во время переворота, вы видите уже рѣзкое отраженіе его. На самой первой страницѣ поражаетъ васъ грозный эпиграфъ „Мнѣ отмщеніе — и Азъ воздамъ“, придающій всему роману какой-то правоучительно-теологическій характеръ. Правда, что авторъ какъ-бы совсѣмъ забываетъ объ этомъ эпиграфѣ, когда начинаетъ излагать романъ. Въ немъ воскресаетъ художникъ и беллетристъ сороковыхъ годовъ, и увлекаясь чисто художественными цѣлями, онъ рисуетъ великосвѣтскую жизнь нашего времени во всѣхъ ея деталяхъ, выводитъ массу характеровъ и типовъ, подобно какъ и въ *Войнѣ и мирѣ*, псчерпывающихъ представителей большого свѣта, что называется, до-гла. Правда и то, что въ самомъ развитіи сюжета авторъ совсѣмъ расходится съ своимъ эпиграфомъ, такъ какъ не говоря уже томъ, что эпиграфъ этотъ, прилагаемый къ обыденному и мелкому свѣтскому адюльтеру принимаетъ характеръ похода на муху съ обухомъ, авторъ опять таки какъ художникъ реалистъ представляетъ намъ такую естественную и фатальную неотвратимость въ развитіи страсти своихъ героевъ, что у васъ невольно рождается мысль, за что-же воздавать тутъ какое то отмщеніе?

Тѣмъ не менѣе романъ, стоящій на рубежѣ кризиса, отражаетъ въ себѣ какъ прежній, такъ и новый порядокъ мыслей гр. Толстого. Такъ мы видѣли уже выше, что послѣ удаленія въ деревню и женитьбы до самаго переворота гр. Толстой въ душѣ своей продолжалъ лелѣять выходящій изъ его личной жизни и положенія въ обществѣ идеаль культурнаго барина-хозяина, живущаго въ деревнѣ въ полной изолированности отъ всѣхъ вѣяній общества. Сообразно этому идеалу культурно-московскаго абсентизма онъ дѣлитъ и всѣхъ героевъ своего романа на правыхъ и лѣвыхъ, считая ихъ настолько устойчивѣе, положительнѣе, насколько крѣпче они стоятъ на своей культурной почвѣ и менѣе увлекаются какими-нибудь суетными свѣтскими страстями и похотями или-же эфемерными вѣяніями дня. Такъ направо стоятъ — Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, семья князей Щербачкиныхъ и дворянинъ Свижскій; на лѣво всѣ

прочія дѣйствующія лица. Здѣсь и Сергій Ивановичъ Кознышевъ, со своимъ искусственнымъ увлеченіемъ славянскимъ вопросомъ, и Метровъ, мѣряющій русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій, и Алексѣй Александровичъ Каренинъ — бюрократическая машина съ безцвѣтными оловянными глазами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей, и набожная графиня Лидія Ивановна, великосвѣтская сектантка съ черствымъ сердцемъ; и княжна Бетси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, державшимся одною рукою за дворъ, чтобы не спуститься до полусвѣта; и князь Степанъ Аркадьевичъ Облонскій — эпикуреецъ и сластолюбецъ съ погъ до головы, разоряющій семейство мотовствомъ и оскорбляющій жену невѣрностью. Здѣсь и Николай Левинъ со своею безпутною жлзнью сбившагося съ круга забулдыги, здѣсь наконецъ и преступный осквернитель чужого ложа графъ — Алексѣй Кириловичъ Вронскій съ сообщницей по прелюбодѣянію, Анною Аркадьевною Карениною, которые, какъ наиболѣе сошедшіе съ культурной почвы и отдавшіеся свѣтской суетѣ, и являются въ романѣ жертвами небеснаго отмщенія.

Но въ то время какъ весь романъ построенъ еще на сторонѣ идеалѣ въ духѣ московскаго барскаго абсентизма, конецъ романа носитъ уже яркіе слѣды того переворота, который успѣлъ уже совершиться въ авторѣ къ этому времени. Здѣсь гр. Толстой заставляетъ своего героя Левина, не довольствуясь уже своимъ прежнимъ идеалами, пережить тотъ самый переворотъ, который совершился только что въ немъ; и описанъ этотъ переворотъ гораздо обстоятельнѣе и подробнѣе, чѣмъ въ *Войнѣ и мирѣ* подобный-же переворотъ съ Пьеромъ Безухимъ.

Послѣ романа *Анна Каренина* гр. Толстой сдѣлалъ еще попытку продолжать свою чисто-художественную дѣятельность въ видѣ возвращенія къ своимъ прежде задуманнымъ *Декабристамъ*, но онъ ограничился однимъ новымъ варіантомъ первыхъ двухъ главъ. Бродившія въ немъ мистико-теологическія идеи влекли его на новый путь, и вотъ онъ принимается за критику богословія, за переводъ и толкованіе Евангелія. Въ 1883 году появляется въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо о народной переписи. Далѣе слѣдуетъ: *Исповѣдь*, *Въ чемъ моя вѣра*, *Такъ что-жь намъ дѣлать*, *Въ чемъ счастье*, *Изъ воспоминаній о перемени* и пр.

Всѣ эти сочиненія, привлекая гр. Толстому массу приверженцевъ и послѣдователей, образовавшихъ что-то вроде релігіозной секты, въ то-же время привели въ немалое недоумѣніе и уныніе здравомыслящихъ почитателей таланта гр. Толстого, усматривавшихъ во всѣхъ этихъ мистико-теологическихъ умствованіяхъ паденіе и утрату великаго таланта земли русской. Сравнивали даже участь гр. Толстого съ участью Гоголя, хотя такая аналогія далеко не выдерживаетъ критики, такъ какъ у гр. Толстого рядомъ съ мыслями, въ которыхъ онъ отдаетъ долгъ обскурантизму и мракобѣсію нашего времени, вы встрѣчаете свѣтлыя идеи, которыя далеко опережаютъ нашъ вѣкъ своею смѣлою и послѣдовательною демократичностью.

Не ограничиваясь однимъ трактатомъ, излагающимъ его новыя идеи и новую вѣру, гр. Толстой въ послѣдніе годы, начиная съ 1881 г., написалъ цѣлый рядъ маленькихъ повѣстей для народа, напечатанныхъ крайне дешевыми брошюрками фирмы *Посредникъ*, общества для распространенія дешевыхъ народныхъ книгъ, учреж-

деннаго друзьями и приверженцами гр. Толстого. Таковы: *Чѣмъ люди живы*, *Богъ правду любитъ*, *да не скоро скажетъ*, *Упустишь огонь не потушишь*, *Свѣчка*, *Два старика*, *Гдѣ любовь, тамъ и Богъ*, комедія *Винокуръ* и пр. Всѣ эти рассказы, при всей своей простотѣ и прекрасномъ языкѣ, производятъ на васъ непріятное впечатлѣніе обиліемъ въ нихъ чудеснаго элемента, въ чемъ обнаруживается искусственная поддѣлка подъ народныя легенды и сказки. Предвзятость и тенденціозность сквозятъ въ нихъ изъ каждой строки.

Но словно потухающая лампа, художественный талантъ гр. Толстого два раза ярко вспыхивалъ и въ послѣднее десятилѣтіе его дѣятельности, т. е. втеченіе восьмидесятихъ годовъ. Такъ къ половинѣ восьмидесятихъ годовъ относится рассказъ его *Смерть Ивана Ильича*. Въ 1887 году была напечатана драма изъ народной жизни: *Власть тьмы или ноготокъ увязъ—всей птичкѣ пропасть*. Въ обоихъ этихъ произведеніяхъ, при всей ихъ тенденціозности въ духѣ новаго ученія гр. Толстого, дивный талантъ его ярко прорывается и очаровываетъ насъ такъ-же, какъ онъ очаровывалъ и въ прежнихъ, лучшихъ его твореніяхъ.





## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

I—Дѣтство и воспитаніе Федора Михайловича Достоевскаго. II—Жизнь до ссылки. III—Ссылка.—Женитьба.—Возвращеніе.—Изданіе журналовъ. IV—Остальная жизнь до смерти. V—Отличіе Достоевскаго отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ по міросозерцанію и характеру творчества. VI—Сложность сюжетовъ.—Психіатрической анализъ.—Жестокость.—Преобладающіе типы. VII—Два періода его литературной дѣятельности и характеръ cadaго періода.—Проблески свѣта среди реакціоннаго мрака.

### I.

Если въ каждомъ изъ разсмотрѣнныхъ нами беллетристовъ сороковыхъ годовъ мы нашли много индивидуальныхъ особенностей, то Федоръ Михайловичъ Достоевскій, къ характеристикѣ котораго мы приступаемъ, еще рѣзче отличается отъ всѣхъ ихъ, почти совсѣмъ выходитъ изъ рамокъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ и занимаетъ свое особенное мѣсто въ литературѣ.

Главными причинами этого отличія во-первыхъ представляется то обстоятельство, что въ то время, какъ большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ, будучи выходцами изъ *деревень*, принадлежатъ къ рухлому помѣщичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически-нервнымъ сыномъ *города*; а во-вторыхъ въ то время, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ къ вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата.

Отецъ Достоевскаго, Михаилъ Александровичъ, былъ штабъ-лекаремъ, служившимъ въ московской Маріинской больницѣ, мать, Марья Федоровна, была дочь московскаго купца Нечаева. Семейство у Михаила Андреевича было большое, всего дѣтей было у него семеро, причемъ Ф. М. Достоевскій былъ второй сынъ по старшинству, родившійся послѣ перваго, Михаила, 30 октября 1821 года.—Казенная квартира при больницѣ, въ которой Достоевскій родился и провелъ дѣтство, состояла всего изъ двухъ комнатъ, передней и кухни, и въ этой-то маленькой квартиркѣ ютилась вся многочисленная семья. Нравы царили въ ней строго-религіозные и патріархальныя, но смягченные высшимъ образованіемъ главы семьи. Дѣтей не стѣсали, не били, и единственное наказаніе заключалось въ томъ, что отецъ вспылитъ и броситъ съ ними заниматься.

Не обошлось правда дѣтство Достоевскаго и безъ деревни. Въ 1831 году родители его приобрѣли имѣніице въ тульской губерніи, въ каширскомъ уѣздѣ, въ 150 в. отъ Москвы. Въ эту-то деревню каждою раннею весною мать переселялась съ дѣтми на все лѣто. Деревня, по словамъ самого Достоевскаго, „оставила въ немъ глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь“ и все въ ней „было полно для него самыми дорогими воспоминаніями“. Тѣмъ не менѣе все-таки впечатлѣнія городской жизни наиболѣе, какъ увидимъ ниже, опредѣлили характеръ творчества Достоевскаго и его произведеній.

Первоначальнымъ обученіемъ дѣтей занималась мать. Затѣмъ въ домъ ходили два учителя: дьяконъ изъ Елизаветинскаго института преподавалъ Законъ Божій; преподаватель того-же института Н. Ив. Сушардъ давалъ уроки французскаго языка. У Сушарда была приготовительная школа для приходящихъ. Туда были отданы два старшіе сына для приготовленія къ среднему заведенію; латинскимъ-же языкомъ занимался съ ними самъ отецъ.

Въ 1834 году Достоевскій вмѣстѣ съ старшимъ братомъ былъ отданъ въ славившійся въ то время въ Москвѣ пансіонъ Л. Ив. Чермака. Это было закрытое заведеніе, изъ котораго дѣти отпускались лишь на праздники и каникулы. Оно отличалось рационально-гуманнымъ отношеніемъ къ дѣтямъ и подборомъ преподавателей. Въ высшемъ классѣ здѣсь преподавали даже профессора университета—Д. М. Перевозчиковъ по математикѣ, И. И. Давыдовъ по словесности и др.

У родителей Достоевскаго по вечерамъ часто устраивались семейныя чтенія, на которыхъ присутствовали и дѣти. Читались—*Исторія государства російскаго Карамзина*, *Письма русскаго путешественника и повѣсти*, біографія Ломоносова Кс. Полевого, сочиненія Державина, Жуковскаго, романы Загоскина, Лажечникова, сказки казака Луганскаго и пр.

Съ поступленіемъ въ пансіонъ кругъ чтенія Достоевскаго расширился: братья начали доставать тамъ массу книгъ. Достоевскій болѣе всего предпочиталъ путешествія. Въ то-же время читалъ онъ Вальтеръ-Скотта, знакомился съ Пушкинымъ, зачитывался и романами Нарѣжнаго и Вельтмана.

Въ началѣ 1837 г. Достоевскій потерялъ мать. Въ томъ-же году отецъ повезъ двухъ старшихъ сыновей въ Петербургъ для помѣщенія ихъ въ Инженерное училище. Достоевскому было тогда 15 лѣтъ. Вотъ какъ въ *Дневникъ писателя* (1876 г. № 1) описываетъ онъ эту поѣздку и свое душевное состояніе въ то время.

„Былъ май мѣсяцъ, было жарко. Мы ѣхали на долгихъ, почти шагомъ и стояли на станціяхъ часа по-два, по-три. Помню, какъ надоѣло намъ наконецъ это путешествіе, продолжавшееся почти недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали о чемъ-то ужасно, обо всемъ „прекрасномъ и высокомъ,“—тогда это словечко было еще свѣжо и выговаривалось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ прекрасныхъ словечекъ! Мы вѣрили чему-то страстно, и хотя мы оба отлично знали все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтахъ. Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по-трп. и даже дорогой, а я непрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ венеціанской жизни. Тогда всего два мѣсяца передъ тѣмъ скончался Пушкинъ, и мы дорогой сговарива-

лись съ братомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, тотчасъ-же сходятъ на мѣсто поединка и пробраться въ бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидѣть ту комнату, въ которой онъ испустилъ духъ“...

По пріѣздѣ въ Петербургъ дѣтей помѣстили въ приготовительный пансіонъ К. Ф. Костомарова, и съ начала учебнаго года Достоевскій былъ зачисленъ въ Инженерное училище, но лишь одинъ: братъ его Михаилъ не былъ принятъ по болѣзненности.

Поступленіе въ спеціальное училище, въ которомъ преобладали прикладныя науки. на общес-же образованіе и развитіе мало обращалось вниманія, оказало огромное вліяніе на всю жизнь Достоевскаго и на весь складъ его міросозерцанія. Безъ сомнѣнія этому обстоятельству болѣе всего былъ онъ обязанъ тѣмъ консерватизмомъ, съ которымъ упорно, въ продолженіи всей жизни сохранялъ свои дѣтскія вѣрованія.

При литературныхъ наклонностяхъ, обнаружившихся уже въ Достоевскомъ, понятно, что не могъ онъ особенно усердно заниматься сухими предметами училища. Отбывая кое-какъ экзамены и въ 1838 г. засѣвши на второй годъ въ одномъ изъ курсовъ, Достоевскій, вѣчно замкнутый въ себя, задумчивый и угрюмый, мало сближавшійся съ товарищами, дни и ночи просиживалъ за книгами и первыми своими литературными опытами. Зато втеченіе курса онъ успѣлъ познакомиться сверхъ русскихъ классиковъ съ Гете, Шпллеромъ, Гофманомъ, В. Гюго, Ж. Зандъ, Бальзакомъ и пр. Подъ вліяніемъ Пушкина онъ принялся писать драму *Борисъ Годуновъ*. Въ то-же время сильное впечатлѣніе, произведенное на него нѣмецкою трагическою актрисою Лили Лёве въ драмѣ *Марія Стюартъ*, побудило Достоевскаго обработать эту трагическую тему по своему, для чего онъ тщательно принялся за приготовительное чтеніе и до 1842 г. ревностно занимался драмою, сдѣлавъ нѣсколько набросковъ ея.

Между тѣмъ отецъ Достоевскаго скончался въ 1839 г. Опекуномъ дѣтей сдѣлался мужъ сестры Достоевскаго, Карелинъ. Въ 1843 году Достоевскій кончилъ полный курсъ, выпущенъ на дѣйствительную службу и зачисленъ при с.-петербургской инженерной командѣ съ употребленіемъ при чертежной инженернаго департамента.

## II.

По выходѣ изъ училища началась холостая, цыганская и полная лишений жизнь Достоевскаго. Нельзя сказать, чтобы онъ не былъ обезпеченъ. Вѣстѣ съ казеннымъ жалованьемъ и высылками денегъ опекуномъ изъ Москвы, Достоевскій могъ располагать 5000 р. асс. въ годъ. Но онъ былъ крайне непрактиченъ, деньги уходили у него сквозь пальцы съ неимоверною быстротою и онъ вѣчно сидѣлъ безъ гроша денегъ и кругомъ опутанный долгами. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чертой его характера, проходящею сквозь всю его жизнь: вѣчно до гробовой доски онъ жаловался на безденежье, хлопоталъ о займахъ, авансахъ и никакъ не могъ свести концы съ концами. Вообще это былъ человѣкъ увлекающійся, съ сильными страстями, не любившій ни въ чемъ себя отказывать; въ молодости-же сверхъ того имѣлъ пристрастіе къ игрѣ, особенно къ биліардѣ.

Матеріальное положеніе Достоевскаго сдѣлалось еще конечно хуже, когда въ 1844 году онъ вышелъ въ отставку, такъ какъ инженерная служба претила ему и

совершенно расходилась съ его литературными наклонностями. Приходилось замѣнить ее переводами Ж. Зандъ для издателей, съ платою по 25 р. асс. за листъ. По выходѣ въ отставку Достоевскій засѣлъ за свой первый романъ *Бѣдные люди*. — Въ маѣ 1845 года романъ былъ окончательно написанъ и Достоевскій черезъ своего школьнаго товарища Григоровича передалъ его Некрасову, который собирался въ то время издавать сборникъ. Въ *Дневникъ писателя* (1877 г. № 1) Достоевскій подробно вспоминаетъ о томъ восторгѣ, съ которымъ Некрасовъ и Григоровичъ, прочитавши романъ его, прибѣжали къ нему ночью, и какъ потомъ Некрасовъ передалъ романъ Бѣлинскому съ восклицаніемъ: „Новый Гоголь явился!“, на что Бѣлинскій строго замѣтилъ: „У васъ Гоголь-то какъ грибы растутъ“, но когда прочиталъ самъ романъ, то въ волненіи воскликнулъ: „Приведите, приведите его скорѣе!..“

Романъ еще не выходилъ въ свѣтъ (онъ вышелъ въ началѣ 1846 года, будучи напечатанъ въ *Петербургскомъ сборникѣ* Некрасова), какъ Достоевскій успѣлъ уже приобрести лестную извѣстность въ литературныхъ кружкахъ. „Ну, братъ, пишетъ Достоевскій къ брату своему Михаилу 16 іюля 1845 г., — никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такого апогея, какъ теперь. Всюду почтеніе немовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездною народа самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить его своимъ посѣщеніемъ, а графъ Соллогубъ рветъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Панаевъ объявилъ ему, что есть талавъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. Соллогубъ обѣжалъ всѣхъ и, зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: „Кто этотъ Достоевскій? *Гдѣ мнѣ достать Достоевскаго?* Краевскій, который никому въ усь не дуется и рѣжетъ всѣхъ на пропащую, отвѣчаетъ ему, что Достоевскій не захочетъ вамъ сдѣлать чести и осчастливить васъ своимъ посѣщеніемъ. Оно и дѣйствительно такъ: аристократиска теперь становится на ходули и думаетъ, что уничтожить меня величіемъ своей ласки. Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли, что Достоевскій то-то сказалъ, Достоевскій то-то хочетъ дѣлать. Бѣлинскій любитъ меня какъ нельзя болѣе. На-дняхъ воротился изъ Парижа поэтъ Тургеневъ (ты вѣрно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнѣ такою привязанностью, такою дружбой, что Бѣлинскій объясняетъ ее тѣмъ, что Тургеневъ влюбился въ меня...“

Изъ хвастливаго тона этого письма можно судить, какъ вскружилась голова у молодого писателя отъ столь быстрого успѣха. Какъ человѣкъ крайне увлекающійся, Достоевскій не могъ скрыть и сдержать въ должныхъ границахъ разыгравшагося самолюбія, впалъ въ заносчивость, вслѣдствіе чего отношенія его къ Бѣлинскому, Некрасову и всему кружку *Современника* сдѣлались натянутыми и окончательно испортились. И дѣйствительно мы видимъ, что послѣ *Бѣдныхъ людей* лишь *Романъ въ девяти письмахъ* былъ напечатанъ въ № 1 *Современника* за 1847 г. *Ползунковъ* въ *Иллюстрированномъ альманахѣ*, изд. Некрасовымъ и Панаевымъ въ 1848 г. Остальные-же произведенія перваго періода дѣятельности Достоевскаго (до ссылки) всѣ появились на страницахъ *Отч. Записокъ*: *Двойникъ* въ 44 т. 1846 г., *Господинъ Прохарчинъ* въ 48 т. 1846 г., *Хозяйка* въ т. т. 54 и 55—1847 г., *Слабое сердце* въ 56 т. 1848 г., *Чужая жена* въ 56 т. 1848 г., *Рев-*

новый мужъ въ 61 т. 1848 г., *Елка и свадьба* въ 60 т. 1848 г., *Бѣлые ночи* въ 61 т. 1848 г., *Неточка Незванова* въ 62, 64 т. 1849 г. и наконецъ *Маленькій герой*, написанный въ 1849 г., былъ помещенъ въ тѣхъ-же *Отеч. Записк.* послѣ уже ссылки въ августѣ 1857 года.

Охлажденію къ кружку *Современника* не мало конечно способствовало и различіе въ убѣжденіяхъ, которое тогда уже начало обнаруживаться между Достоевскимъ и кружкомъ. Увлечшись вслѣдствіе своихъ бесѣдъ и споровъ съ Бѣлинскимъ политическими и социальными идеями, господствовавшими въ кружкѣ, Достоевскій въ то-же время упорно отстаивалъ свои религіозные взгляды, и вслѣдствіе этого члены кружка начали смотрѣть на него, какъ на человѣка отсталого. Этимъ разладомъ въ убѣжденіяхъ объясняется, что въ обзорѣнн русской литературы за 1847 годъ съ безпощадною рѣзкостью напавши на новую повѣсть Достоевскаго *Хозяйка*, найдя, что въ этой повѣсти Достоевскій пытается помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, Бѣлинскій, между прочимъ, весьма многозначительно смѣется надъ занятіемъ героя повѣсти, Ордынова, наукою. „Изъ словъ и дѣйствій Ордынова, говоритъ онъ, не видно, чтобы онъ занимался какою-нибудь наукою, но можно догадываться изъ нихъ, что онъ сильно занимался *кабаистикой, чернокнижіемъ, — словомъ, чаромутіемъ.* Но вѣдь это не наука, а сущій вздоръ; но тѣмъ не менѣе она положила на Ордынова свою печать, т. е. сдѣлала его похожимъ на поврежденнаго и помѣшаннаго“.

Разойдясь съ кружкомъ *Современника*, Достоевскій сблизился съ Бекетовымъ и С. Д. Яновскимъ, и продолжая увлекаться социализмомъ, поселился вмѣстѣ съ друзьями на общую квартиру на началахъ ассоціаціи. „Наконецъ, пишетъ онъ брату, и предложилъ жить вмѣстѣ. Нанялась квартира большая и всѣ пздержки по всѣмъ частямъ хозяйства, все не превышаетъ 1,200 р. ассигнаціямъ съ человѣка въ годъ... Такъ велики благодаренія ассоціаціи“...

Вскорѣ онъ вошелъ въ дуровскій кружокъ фурьеристовъ, самый умѣренный изъ всѣхъ кружковъ петрашевцевъ. По утвержденію Милюкова въ кружкѣ этомъ „не было никакихъ чисто революціонныхъ замысловъ“. Дуровцы возставали на строгость тогдашней цензуры, крѣпостное право, административныя злоупотребленія, но мало помышляли о перемѣнѣ формы правленія, слѣдуя въ этомъ отношеніи ученію Фурье и его послѣдователей, не придававшихъ никакого значенія политическимъ переворотамъ.

Впрочемъ, когда однажды зашелъ споръ о средствахъ освобожденія крестьянъ и на замѣчаніе Достоевскаго, что „народъ нашъ не пойдетъ по стопамъ европейскихъ революціонеровъ“, кто-то возразилъ, „ну, а если-бы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе, какъ черезъ возстаніе, то Достоевскій воскликнулъ: „такъ хотя-бы черезъ возстаніе!..“

Но это запальчивое восклицаніе было ничѣмъ болѣе, какъ лишь минутною экзальтаціей; въ общемъ-же Достоевскій былъ весьма далекъ отъ какихъ-бы то ни было революціонныхъ замысловъ, восторженно декламировалъ стихи Пушкина о паденіи рабства „по мановенію царя“ и настаивалъ на томъ, что всѣ социалистическія теоріи не имѣютъ для насъ никакого значенія, что въ общинѣ, въ артели и круговой поруцѣ давно уже существуютъ основы болѣе прочныя и нормальныя, чѣмъ всѣ мечтанія

Сенъ-Симона и его школы, и что жизнь въ Икарійской коммунѣ или фаланстерѣ представляется ему ужаснѣе и противнѣе всякой каторги.

Тѣмъ не менѣе 23-го апрѣля 1849 года Достоевскій былъ арестованъ вмѣстѣ со всѣми прочими петрашевцами, заключенъ въ крѣпость и подвергся военно-полевому суду по обвиненію въ томъ, что онъ „принималъ участіе въ разговорахъ о строгости цензуры и на одномъ собраніи въ мартѣ 1849 г. прочелъ полученное изъ Москвы отъ Плещеева письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, потомъ читалъ его на собраніяхъ у Дурова и отдалъ для списанія копіи Момбелли. На собраніяхъ у Дурова слушалъ чтеніе статей, зналъ о предположеніи завести типографію и у Спѣшневца слушалъ чтеніе „Солдатской бесѣды“.

Военно-полевой судъ, какъ извѣстно, приговорилъ всѣхъ петрашевцевъ, въ томъ числѣ и Достоевскаго, къ казни чрезъ разстрѣляніе, и этотъ ужасный приговоръ былъ прочтенъ осужденнымъ 22-го декабря 1849 г., заставивши ихъ двадцать минутъ прожить подъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что чрезъ нѣсколько минутъ ихъ не станетъ. Но по Высочайшему повелѣнію смертная казнь была отмѣнена, и участь осужденныхъ была смягчена въ различныхъ степеняхъ. Такъ относительно Достоевскаго окончательная резолюція заключалась въ ссылкѣ на каторгу на четыре года, а потомъ въ рядовые.

Въ рождественскій сочельникъ Достоевскій былъ отправленъ въ Сибирь. *Маленькій герой* было послѣднимъ произведеніемъ этого періода жизни Достоевскаго, написаннымъ уже въ крѣпости, и затѣмъ литературная дѣятельность его прервалась на многіе годы.

### III.

Снабженный Евангеліемъ, подареннымъ ему женами декабристовъ, которыя въ Тобольскѣ посѣтили въ острогѣ петрашевцевъ и напутствовали ихъ своимъ благословеніемъ на предстоящую имъ каторгу, Достоевскій былъ водворенъ въ острогъ, гдѣ онъ и отбылъ всѣ четыре года своего наказанія. Въ *Запискахъ изъ мертвого дома* Достоевскій подробно описываетъ свою жизнь въ омскомъ острогѣ и всѣ ея впечатлѣнія. Мы считаемъ излишнимъ передавать ихъ. Замѣтимъ только, что на міросозерцаніе и мышленіе Достоевскаго каторга произвела крайне подавляющее и неблагоприятное впечатлѣніе. Правда при постоянныхъ изъ дня въ день сношеніяхъ со своими сотоваршцами по каторгѣ, онъ имѣлъ возможность близко сойтись съ народомъ, познать его, но вмѣстѣ съ тѣмъ опъ вполне пропитался духомъ того мистицизма, который свойственъ темнымъ и безграмотнымъ людямъ. Его собственное міросозерцаніе, какъ мы говорили выше, стояло на степеняхъ дѣтскихъ вѣрованій. Каторга еще болѣе укрѣпила ихъ, приучивъ его видѣть въ нихъ основу народнаго духа и русской жизни. Прибавьте ко всему этому полное отчужденіе отъ литературы; при одной книжкѣ не пропало въ острогѣ. Впродолженіе трехъ лѣтъ опъ ничего не имѣлъ въ рукахъ, кромѣ одной библіи, и по его словамъ, „читая по необходимости одну библію, онъ явнѣе и глубже могъ познать смыслъ христіанства“.

Лишь въ послѣдній годъ, при новомъ илацъ-маіорѣ, положеніе Достоевскаго зна-

чительно улучшилось. „Въ городѣ, говоритъ онъ, между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишніе школьные товарищи. Я возобновилъ съ ними сношенія. Черезъ нихъ я могъ имѣть больше денегъ, могъ писать на родину и даже имѣть книги. Трудно отдать отчетъ о томъ странномъ и вмѣстѣ вознущающемъ впечатлѣніи, которое произвела во мнѣ первая прочитанная мною въ острогѣ книга. Это былъ номеръ одного журнала. Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ... особенно бросался я на статью, подъ которой находилъ имя знакомаго, близкаго прежде человека... Но уже звучали и новыя имена... Я съ жадностью спѣшилъ съ ними познакомиться и досадовалъ, что у меня такъ мало книгъ въ виду... Прежде-же, при прежнемъ плацъ-майорѣ, даже опасно было носить книги въ каторгу“...

Вмѣстѣ съ тѣмъ и здоровье Достоевскаго значительно пошатнулось во время каторги. Онъ съ дѣтства страдалъ нервными, и передъ арестомъ нервы его были настолько уже расшатаны, что въ 1846 году онъ былъ близокъ къ душевной болѣзни, и лишь попеченіямъ друзей своихъ, Бекетова и Яновскаго, онъ приписываетъ излеченіе отъ нея. Уже тогда по ночамъ пахнулъ на него тотъ *мистическій ужасъ*, который онъ подробно описалъ въ романѣ *Униженные и оскорбленные*, появлялись прѣзрѣдка и припадки эпилепсін. Въ Сибирь болѣзнь его окончательно развилась и дошла до такой степени, что не было уже возможности и ему самому не убѣдиться въ ея настоящемъ характерѣ.

По окончаніи срока каторги, 2-го марта 1854 года, Достоевскій былъ зачисленъ рядовымъ въ сибирскій линейный № 7 батальонъ; 1-го-же октября 1855 г. былъ произведенъ въ прапорщики съ оставленіемъ при томъ-же батальонѣ. Положеніе его значительно улучшилось съ прекращеніемъ каторги. Онъ былъ на свободѣ, безъ цѣней, получилъ возможность имѣть уединеніе, отсутствіе котораго болѣе всего терзало его въ острогѣ; сталъ вести переписку съ родными и друзьями, принялся и за перо. Такъ будучи въ Сибирѣ, онъ написалъ *Дядюшкинъ сонъ* и *Село Степанчиково* и тогда уже задумалъ *Записки изъ мертваго дома*. Въ то-же время ему пришлось пережить собственный романъ, очень измучившій его и нравственно, и физически, но кончившійся бракосочетаніемъ въ Кузнецкѣ 6-го марта 1856 г. съ вдовою Маріей Дмигріевной Исаевой.

Наконецъ послѣ большихъ и долговременныхъ хлопотъ и ходатайствъ Достоевскій получилъ разрѣшеніе выѣхать изъ Сибирѣ въ Европейскую Россію и поселиться въ Твери. Билетъ на проѣздъ выданъ былъ ему 30-го іюля 1859 г., и передъ осенью онъ былъ уже въ Твери; зимою-же того-же года было ему разрѣшено жить въ столицахъ.

Получивши полную свободу, Достоевскій, увлекаемый общественнымъ движеніемъ, дошедшимъ въ то время до своего апогея, не могъ ограничиться одною беллетристикою, и въ слѣдующемъ-же году вмѣстѣ съ братомъ Михаиломъ замыслилъ журналъ *Время*, который и началъ выходить съ начала 1861 года.

Какъ направление *Времени*, такъ и составъ сотрудниковъ (Ап. Григорьевъ, Страховъ и пр.) свидѣлствуютъ достаточно о томъ строгѣ міросозерцанія, который въ это время сложился у Достоевскаго и затѣмъ послѣдовательно развивался въ продолженіе всей остальной жизни. Это было то полу-славянофильское, полу-западническое ученіе, аденты котораго носили названіе почвенниковъ, и которое, какъ мы вп-

дѣли уже въ III главѣ, впервые выражалось въ Москвитянинѣ, имѣя своимъ родоначальникомъ и первымъ представителемъ Ап. Григорьева. Теперь въ главѣ этой партіи всталъ Достоевскій, и ему-то именно и принадлежитъ кличка ея, такъ какъ выраженія мы *оторвались отъ своей почвы*, намъ слѣдуетъ *искать своей почвы*, были любимыми оборотами Достоевскаго и встрѣчаются уже въ первой статьѣ его во *Времени*.

Насколько горячее и дѣятельное участіе принялъ Достоевскій въ новомъ журналѣ, видно изъ того, что съ первой-же книжки сталъ печататься романъ его *Униженные и оскорбленные*, и одновременно съ нимъ втеченіе 1861 и 62 гг. были напечатаны во *Времени* *Записки изъ мертвого дома*. Сверхъ того, Достоевскій взялъ на себя критическій отдѣлъ, который открылъ статью: *Рядъ статей о русской литературѣ, введеніе*. Кромѣ того, онъ принималъ участіе въ другихъ трудахъ по журналу, въ составленіи книжекъ, въ выборѣ и заказѣ статей, а въ первомъ номерѣ взялъ на себя и фельетонъ, который порученъ былъ Минаеву, но не понравился Достоевскому, и онъ наскоро написалъ свою статью подъ заглавіемъ *Сновидѣнія въ стихахъ и прозѣ*, вставивъ въ нее всѣ стихотворенія, которыми былъ пересыпанъ фельетонъ Минаева. Такого труда не выдержалъ расшатанный организмъ Достоевскаго, и на третій мѣсяцъ онъ заболѣлъ.

Зато журналъ имѣлъ значительный по тому времени успѣхъ. Въ первомъ-же 1861 г. у него было 2.300 подписчиковъ; на второй-же годъ болѣе 4.000. Этотъ успѣхъ доставилъ Достоевскому возможность въ 1862 г. сдѣлать первую свою поѣздку за-границу, результатомъ которой были *Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ*, напечатанныя въ № № 2 и 3 *Времени* за 1863 годъ.

Но дни *Времени* были сочтены. Журналъ, какъ извѣстно, сгубила статья Страхова *Роковой вопросъ* въ № 4 *Времени*, написанная по поводу польскаго возстанія такъ неловко, безтактно и темно, что администрація поняла ее совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ, и журналъ былъ воспрещенъ тотчасъ-же по выходѣ № 4.

Этотъ погромъ не помѣшалъ Достоевскому лѣтомъ въ 1863 г. совершить вторичную поѣздку за-границу, далеко не столь удачную, какъ первая. Будучи отъ природы игрокомъ, онъ не могъ не соблазниться рулеткою въ одномъ изъ германскихъ городковъ; но въ то время какъ въ первую поѣздку онъ выигралъ 11,000 франковъ, во вторую напротивъ того проигрался до тла и остался безъ гроша, такъ что друзья принуждены были занимать для него деньги въ счетъ будущей его работы въ редакціи *Библіотеки для чтенія*. Результатомъ этого эпизода былъ написанъ имъ впоследствии, какъ увидимъ ниже, романъ *Игрокъ*.

Слѣдующій годъ былъ для Достоевскаго еще болѣе несчастнымъ: во первыхъ онъ потерялъ въ этомъ году двухъ самыхъ близкихъ ему людей: жену и брата Михаила, а во вторыхъ ему пришлось пережить прискорбную неудачу съ новымъ журналомъ, предпринятымъ вмѣстѣ *Времени*, *Эпохой*.

Журналу этому не повезло съ самого начала. Разрѣшеніе его вышло такъ поздно, что объявленіе объ его изданіи могло появиться лишь 31-го января 1864 года. Достоевскій въ это время былъ въ Москвѣ у постели умиравшей жены и самъ больной, такъ что не успѣлъ ничего написать; всѣ сотрудники были въ разбродѣ. Братъ Достоевскаго Михаилъ дѣйствовалъ вяло, измученный предшествовавшими волненіями и уже



носившій въ себѣ ту болѣзнь, которая скоро должна была свести его въ могилу. И вотъ лишь къ началу апрѣля, когда подписка на періодическіе журналы давно кончилась, явилась на свѣтъ *Эпоха*, въ видѣ двойной книжки за разъ, январьской и февральской.

Такъ потянулась *Эпоха* и дальше: вяло, неопратно, запаздывая книжками. Сверхъ того, смерть Михаила Достоевскаго, 10-го іюня, принудила редакцію на два мѣсяца задержать изданіе до утвержденія цензурнымъ вѣдомствомъ новаго редактора въ лицѣ Ап. Ус. Порѣцкаго.

По смерти жены и брата, Достоевскій дѣятельно принялся за изданіе журнала, стараясь всячески вогнать книжки въ срокъ. Въ послѣдніе мѣсяцы 1864 года редакція выпускала по двѣ книжки въ мѣсяцъ, такъ что январь 1865 г. вышелъ уже 13 февраля, а февраль въ мартѣ. Несмотря на это, въ первый годъ журналъ успѣлъ уже такъ плохо рекомендовать себя, что на 1865 г. едва набралось 1,300 подписчиковъ, число, съ которымъ журналъ, обремененный сдѣланными затратами, выдержать не могъ. Послѣ февральской книжки въ редакціи не оказалось ни копѣйки денегъ, никакой возможности платить сотрудникамъ, за бумагу, въ типографію. Все разсыпалось и разлетѣлось; семейство Михаила Достоевскаго осталось безъ всякихъ средствъ, а Достоевскій остался съ огромнымъ долгомъ въ 15 тысячъ.

Этимъ фіаско съ *Эпохой* закапчивается цѣлая полоса въ жизни Достоевскаго, періодъ журнальной дѣятельности, и начинается новая полоса созданія большихъ романовъ.

#### IV.

Лѣтомъ 1865 въ концѣ іюня Достоевскій уѣхалъ за-границу, а осенью возвратился въ Петербургъ и оставался здѣсь весь 1866 годъ. Это было самое тяжелое время въ его жизни. Большой, одинокій, притѣсняемый кредиторами, обремененный заботами о семьѣ покойнаго брата, онъ долженъ былъ наизягать всѣ силы, чтобы вывернуться изъ тяжелаго финансоваго положенія, почесть можетъ быть, что плодомъ такихъ успѣй и были романы такихъ большихъ размѣровъ, какихъ до того времени Достоевскій еще не создавалъ. Такъ втеченіе 1868 года онъ написалъ лучшій свой романъ *Преступленіе и наказаніе*, который началъ печататься въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ января 1866 г.

Въ томъ-же году, все съ тою-же цѣлью выпутаться изъ долговъ, Достоевскій продалъ Стелловскому право напечатать полное собраніе своихъ сочиненій за 3,000 рублей съ написаніемъ особаго ненапечатаннаго еще нигдѣ романа. Срокъ доставки этого романа былъ обозначенъ въ контрактѣ. Вотъ тогда Достоевскій и началъ писать задуманный еще въ 1863 году романъ *Идиотъ*. Но видя, что не поспѣетъ, если будетъ писать обыкновеннымъ порядкомъ, онъ пригласилъ къ себѣ stenograфку. Къ нему явилась незнакомая дѣвушка, рекомендованная книгопродавцемъ П. М. Ольхипнымъ, Анна Григорьевна Спиткина, которой суждено было стать его женою. Свадьба Достоевскаго съ нею состоялась 15-го февраля 1867 г. Отъ этого брака было четверо дѣтей, изъ которыхъ въ живыхъ послѣ Достоевскаго осталось лишь двое: дочь Любовь и сынъ Федоръ.

Вскорѣ послѣ свадьбы Достоевскій съ женой поѣхалъ за-границу, гдѣ они оставались до 1871 года, переѣзжая изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, болѣе-же всего проживя въ Дрезденѣ. Въ эти четыре года были написаны Достоевскимъ романы: *Идиотъ*, напечатанный въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1868 г., *Вѣчный мужъ* въ *Зарѣ* 1870 г. и *Бѣсы*—въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1871—2 гг.

Не видя выхода изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, и въ то-же время чувствуя, что имъ стало совершенно невыносимо болѣе оставаться за-границею, Достоевскіе рѣшились наконецъ вернуться въ Петербургъ 8-го іюня 1871 г.

Послѣднее десятилѣтіе своей жизни Достоевскій провелъ въ Петербургѣ, отлучаясь изъ него лишь на лѣтніе мѣсяцы, которые онъ проводилъ съ семьей по большей части въ Старой Руссѣ; въ 1874—1875 же годахъ они прожили тамъ и зиму. Это была та зима, въ которую Достоевскій писалъ *Подрослика*, романъ, напечатанный въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1875 г. Когда дѣла поправились, Достоевскій нашелъ удобнымъ даже купить себѣ въ Старой Руссѣ домъ, куда регулярно семья и переѣзжала въѣсто дачи. Самъ-же Достоевскій уѣзжалъ иногда на іюль и августъ въ Эмсъ для леченія.

Такимъ образомъ мы видимъ, что жизнь Достоевскаго принимала подъ конецъ полную правильность и опредѣленность, изъ скитальческой превратилась въ совершенно осѣдлую. Вообще характеръ этого періода—болѣе порядка и опредѣленности во всѣхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ, отсутствіе всякихъ передрыгъ и переворотовъ, и все болѣе и болѣе улучшавшееся денежное положеніе. 1873-й годъ ознаменовался редактированіемъ *Гражданина*, по предложенію кн. Мещерскаго. Достоевскій получалъ за это 250 р. въ мѣс., сверхъ платы за статьи. Въ 1876 году Достоевскій началъ издавать *Дневникъ писателя*—нѣчто вродѣ ежемѣсячной газетки, наполненной сплошь его собственными статьями преимущественно политическаго содержанія, въ виду возникшей въ то время сербско-турецкой войны; но среди нихъ проскальзывали порою и беллетристическія вещи (*Кроткая*), а также статейки публицистическія и автобіографическія. *Дневникъ Писателя* имѣлъ большой успѣхъ. За 1876 годъ у него было 1,982 подписчика, и кромѣ того въ розничной продажѣ каждый номеръ расходился въ 2,000 до 2,500 экз. Нѣкоторые нумера потребовали 2-го и 3-го изданія. Въ 1877 году было около 3,000 подписчиковъ и столько-же расходилось въ розничной продажѣ. Одинъ номеръ, выпущенный въ 1880 г. въ августѣ и содержавшій въ себѣ рѣчь о Пушкинѣ, напечатанъ въ 4,000 экз. и разошелся въ нѣсколько дней. Было сдѣлано новое изданіе въ 2,000 экземпляровъ и разошлось безъ остатка. *Дневникъ* на 1881 г. печатался въ 8,000 экз. и имѣлъ въ январѣ, прежде выхода перваго нумера, 1,074 подписчика. Всѣ 8,000 были распроданы въ дни выноса и погребенія. Сдѣлано было второе изданіе въ 6,000 экз. и разошлось безъ остатка.

Послѣдній годъ жизни Достоевскаго ознаменовался тѣмъ шумными и полными энтузіазма оваціями, которыми почтила его публика во время открытія пушкинскаго памятника, послѣ произнесенія имъ рѣчи на публичномъ засѣданіи общества любителей россійской словесности, 8-го іюня 1880 г. Рѣчь эта снискала ему такую популярность, какою онъ не пользовался въ продолженіе всей своей жизни. Онъ былъ окруженъ письмами и визитами; со всѣхъ концовъ Петербурга и краевъ Россіи къ

нему безпрерывно приходили съ выраженіями поклоненія, съ просьбами о помощи, съ вопросами, съ жалобами на другихъ и съ возраженіями противъ него.

Во вторую половину 1880 г. онъ кончилъ *Братьевъ Карамазовыхъ* и составилъ *Дневникъ писателя*, единственный выпускъ за 1880 г., августъ. Въ этомъ выпускѣ онъ помѣстилъ рѣчь свою о Пушкинѣ, обставивъ ее поясненіями и отвѣтами на поднявшіяся противъ нея возраженія. Въ концѣ года было объявлено, что *Дневникъ* будетъ выходить на слѣдующій 1881 годъ. Январскій нумеръ уже печатался и былъ почти уже готовъ въ выходу, но дни Достоевскаго уже были сочтены. Послѣднія девять лѣтъ своей жизни онъ страдалъ эмфиземой вслѣдствіе катарра дыхательныхъ путей. Смертельный исходъ этой болѣзни произошелъ отъ разрыва легочной артеріи, вслѣдствіе чего, начиная съ 25-го января, у Достоевскаго нѣсколько разъ повторилось кровотеченіе изъ горла, и 28-го января 1881 года въ 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часовъ вечера его не стало.

Похороны его, 1-го февраля, отличались большою торжественностью; за гробомъ при несмѣтномъ количествѣ народа шествовали 42 депутаціи съ вѣнками. Погребенъ былъ онъ 2-го февраля на кладбищѣ Александровской лавры.

#### V.

Мы уже говорили выше, что Достоевскій рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ своимъ міросозерцаніемъ, такъ и характеромъ своего творчества. Что касается до міросозерцанія, то воспитанный подобно всѣмъ прочимъ писателямъ его школы на почвѣ соціальнаго движенія сороковыхъ годовъ, въ кружкахъ петрашевцевъ, впоследствии подъ вліяніемъ ссылки и затѣмъ новыхъ литературныхъ связей онъ мало-по-малу втянулся въ кружокъ почвенниковъ, сталъ во главѣ ихъ и подъ конецъ жизни обратился въ пстаго славянофила и мистика. Въ этомъ превращеніи, равно въ мистическихъ теоріяхъ, которыя Достоевскій проповѣдывалъ въ своемъ *Дневникѣ* и затѣмъ въ романахъ, начиная съ *Преступленія и наказанія*, находятъ нѣчто общее съ превращеніемъ и ученіями гр. Л. Толстого. На первый взглядъ какъ будто это и такъ. Оба писателя, вслѣдствіе глубокаго разочарованія въ европейскомъ прогрессѣ и признанія въ интеллигентномъ русскомъ обществѣ нравственной и умственной несостоятельности, пришли къ отчаянію, изъ котораго единственнымъ выходомъ для нихъ явилось проникновеніе живою вѣрою народныхъ массъ, и оба въ этой вѣрѣ увидѣли единственную возможность слиться съ народомъ. Оба писателя, проникаясь все болѣе и болѣе духомъ христіанскаго ученія, пришли къ отрицанію всякаго активнаго вѣдѣтельства въ общественную жизнь съ цѣлью матеріальнаго и нравственнаго улучшенія общаго благосостоянія, причемъ у гр. Толстого эта пассивность выразилась въ теоріи непротивленія злу насиліемъ, а у Достоевскаго — въ теоріи нравственнаго возвышенія и очищенія путемъ страданій, что въ сущности одно и тоже: въ чемъ-же и выражается непротивленіе злу, какъ не въ безропотномъ перепесеніи всѣхъ причиняемыхъ имъ страданій?

Тѣмъ не менѣе между гр. Л. Толстымъ и Достоевскимъ существуетъ глубокое различіе. Въ гр. Л. Толстомъ мы видимъ полное отсутствіе какого-бы то ни было

консерватизма и преданности традиціямъ. Онъ относится ко всѣмъ ученіямъ съ безусловною свободою мысли и, подвергая ихъ смѣлой критикѣ, выбираетъ изъ нихъ лишь то, что ему по душѣ и соотвѣтствуетъ внушеніямъ его разума. Онъ пстыи индивидуалистъ до мозга костей. Ему дѣла нѣтъ до общества, до отечества и его судьбы. Если-бы онъ усмотрѣлъ, что для самосовершенствованія личности необходимо полное распаденіе государства, онъ не постоялъ-бы и за этимъ; да отчасти онъ и предполагаетъ нѣчто подобное, ратуя противъ такихъ функцій, какъ суды, войско, безъ которыхъ немислимо существованіе государствъ. Подъ народными массами онъ подразумеваетъ не одинъ русскій народъ, а производительныхъ труженниковъ на всемъ земномъ шарѣ безъ различія національности, а подъ вѣрою, которую онъ ищетъ въ средѣ этихъ труженниковъ, онъ разумѣетъ не какія либо религіозныя вѣрованія, а вѣру въ разумность и цѣлесообразность жизни и всего сущаго, ставя эту вѣру въ зависимость отъ живого и здороваго труда.

Достоевскій-же является напротивъ того общественникомъ. Свобода и самосовершенствованіе личности мало его заботятъ. Личность по его ученію должна лишь смириться и безропотно принести себя въ жертву отечеству, ради исполненія той миссіи, какую предопредѣлено совершить Россія, какъ народу богопозбранному. Миссія эта заключается въ осуществленіи на землѣ истиннаго христіанства въ православіи, которому остается вѣрепъ и преданъ русскій народъ, и слиться съ народомъ можно только однимъ путемъ: подобно ему съ тою-же безпредѣльною преданностью и вѣрою исповѣдовать православіе, въ которомъ все спасеніе, какъ для всего міра въ его цѣломъ, такъ и для каждой личности.

Что-же касается до характера творчества Достоевскаго, то, какъ мы выше уже замѣтили, онъ вполне опредѣляется тѣми двумя обстоятельствами, что Достоевскій былъ сынъ города и интеллигентный пролетарій, и въ этомъ заключается все различіе его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Различіе это сказывается въ самыхъ вышнихъ формахъ его произведеній. Мы не видимъ въ нихъ той изящной стройности, классической законченности, отдѣланности и отчеканенности, какія васъ поражаютъ въ произведеніяхъ Тургенева, Гончарова и гр. Л. Толстого. Напротивъ того, онѣ поражаютъ васъ своею неуклюжестью, растянутостью, отсутствіемъ (маломальски строгой отдѣлки, требующей безграничнаго досуга. Видно что онъ писалъ съ поспѣшностью, въ срокъ, человѣкомъ, который вѣчно нуждался, путаясь въ долгахъ и не въ силахъ будучи сводить концы съ концами. До отдѣлки ли было ему, когда подъ часъ онъ не имѣлъ времени хотя-бы перечитать написанное. Мы видѣли, что поспѣшность работы заставляла его иногда прибѣгать къ стенографіямъ и диктовать свои произведенія. Этимъ объясняется и превосходство Достоевскаго передъ прочими беллетристами одной съ нимъ школы относительно количества написаннаго. Дѣйствительно, никто изъ нихъ (кроме развѣ одного Писемскаго) не написалъ такъ много.

Въ то-же время поражаетъ васъ въ произведеніяхъ Достоевскаго полное отсутствіе тѣхъ художественныхъ элементовъ, какими такъ богаты прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ: не найдете вы въ нихъ ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ духъ сценъ любви, свиданій, поцѣлуевъ, ни кружащихъ го-

лову читателей обворожительных женских типовъ, чѣмъ такъ богатъ и славенъ Тургеневъ, а за нимъ Гончаровъ и гр. Толстой. Достоевскій принципиально отрицалъ всѣ подобныя художественныя картины, потѣшаясь въ *Бѣсахъ* надъ Тургеневымъ въ лицѣ писателя Кармазинова съ его страстью изображать поцѣлуй не такъ, какъ они происходятъ у всего человѣчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться въ ботаникѣ, при этомъ на небѣ непременно долженъ быть какой-то фіолетовый оттѣнокъ, котораго конечно никто никогда не примѣчалъ изъ смертныхъ, а дерево, подъ которымъ усѣлась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжеваго цвѣта и т. д.

Но не одни художественныя красоты отсутствуютъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, а вообще они бѣдны пластичностью, детальностью. Достоевскій не любилъ вдаваться въ подробности и обрисовывать предметы со всѣхъ сторонъ, и описательный элементъ играетъ въ произведеніяхъ его послѣднюю роль. Знакома съ дѣйствующими лицами и героями своихъ романовъ, Достоевскій хотя и перечисляетъ главные ихъ примѣты, но вы съ трудомъ по этимъ примѣтамъ составляете себѣ понятіе объ ихъ наружности. Въ то-же время герои его отличаются крайнимъ многословіемъ, говорятъ рѣчи подѣ-часъ страницъ въ двѣ, въ три, но при этомъ всѣ подѣ-рядъ безъ всякаго различія выражаются языкомъ и слогомъ самого автора.

И вотъ уже въ этомъ пренебреженіи ко внѣшности, въ этомъ отсутствіи созерцательности, воспитываемой жизнью на лонѣ природы и однообразіемъ деревенскаго житія-бытія, — мы видимъ нервнаго сына города.

## VI.

Сюжеты произведеній Достоевскаго въ свою очередь представляютъ рѣзкое отличие. Произведенія прочихъ беллетристовъ отличаются въ этомъ отношеніи крайнею простотою и односложностью; дѣйствующихъ лицъ выводится мало, иногда не болѣе двухъ, трехъ, четырехъ, и вся интрига заключается обыкновенно въ соперничествѣ двухъ любовниковъ и въ вопросѣ о томъ, котораго изъ нихъ героиня удостоитъ своей любви. Совсѣмъ не то видимъ мы у Достоевскаго. Сюжеты произведеній его отличаются сложностью и запутанностью; дѣйствующихъ лицъ выводится масса; читая эти произведенія, вы словно слышите гулъ толпы, и передъ вами разворачивается городская жизнь со всею ея суетою и непрерывными сложными и непредвиденными столкновениями и отношеніями между собою людей, скученныхъ въ тѣснотѣ и смрадѣ городскихъ стѣпъ. При этомъ Достоевскій не ограничивался однимъ великосвѣтскимъ салономъ или-же интеллигентными кружками среднихъ классовъ общества; онъ любилъ водить читателей въ городскія трущобы, въ вертепы нищеты и разврата, и какъ истый сынъ города, онъ мало того что отлично изучилъ эти трущобы и вертепы, но и проникся ихъ мрачною поэзіею. Не вдаваясь въ описанія красоты природы, онъ очень часто разворачиваетъ передъ вами много рода ужасающія картины, отъ которыхъ у васъ мурашки ползутъ по спинѣ; это въ особенности Петербургу свойственныя картины городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда всѣ, у кого есть

какъ, а лишь безпріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодѣтыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрымъ снѣгомъ, пронизываемыя вѣтромъ и погруженныя въ какія-нибудь полубезумныя грезы. Въ этомъ отношеніи романы Достоевскаго принадлежатъ не къ жоржъ-зандовскому типу, какъ у прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, а скорѣе къ типу романовъ Диккенса съ ихъ подобнаго-же рода мрачною поэзіею городскихъ вертеповъ, скрывающихъ во мракѣ ненастныхъ ночей невѣдомо какія страданія и преступленія.

Наконецъ мы подошли къ главному и наиболѣе существенному качеству творчества Достоевскаго, именно тому психіатрическому анализу, который въ большинствѣ его романовъ стоитъ на первомъ планѣ и представляетъ главную ихъ силу и достоинство.

Извѣстный психіатръ д-ръ Чижъ, разобравшій произведенія Достоевскаго съ точки зрѣнія своей науки, удивляется той научной вѣрности, съ какою Достоевскій изображаетъ душевно-больныхъ. По мнѣнію его, почти четверть дѣйствующихъ лицъ у Достоевскаго душевно-больные (въ *Братьяхъ Карамазовыхъ* — шесть, въ *Преступленіи и наказаніи*, *Бѣсахъ* — по четыре, въ *Идиотѣ*, *Подросткѣ* и *Хозяйкѣ* — по три, въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ* — два и наконецъ почти во всѣхъ по одному). На основаніи наблюденій такихъ специалистовъ, какъ Пинель, Эскироль, Гюпленъ, Гризингеръ, Ламброзо и Крафтъ-Эбингъ, д-ръ Чижъ доказываетъ, что Достоевскій былъ великимъ психопатологомъ, что онъ художественнымъ прозрѣніемъ опередилъ даже точную науку и многое изъ него перейдетъ несомнѣнно въ учебники психіатріи. Къ числу такихъ замѣчательностей д-ръ Чижъ относитъ совершенно правильно и мастерски объясненныя и развитыя: эпилептическую ауру (Мышкинъ), старческое слабоуміе (старикъ Сокольскій и князь К.), нравственное помѣшательство (Раскольниковъ и Свидригайловъ, Смердяковъ и Иванъ Карамазовъ), противоположеніе страсти и аффекта (во многихъ лицахъ, напримѣръ въ Дмитріѣ Карамазовѣ), галлюцинаціи (Иванъ Карамазовъ), противоположенія аффекта и настроенія (Сокольскій, Алексѣй Раскольниковъ), истерію, извращеніе прихотей, навязчивыя идеи (Лиза Хохлакова), связь религіозности и половыхъ влеченій, наследственность, значеніе пьянства и т. д.

Это преобладаніе психіатрическаго анализа и вѣрность изображенія душевно-больныхъ, обуславливая<sup>сь</sup> конечно прежде всего личною наклонностью Достоевскаго къ нервнымъ болѣзнямъ, въ то-же время въ свою очередь представляются характернымъ качествомъ писателя, взлелѣяннаго городомъ и прошедшаго большую часть жизни въ городскихъ стѣнахъ. Встрѣчаются психическія болѣзни и въ деревняхъ, но нужно-ли и говорить о томъ, что самымъ главнымъ вмѣстилищемъ и гнѣздомъ вырожденія и всякаго рода психическихъ заболѣваній представляются города и особенно тѣ вертепы нищеты, въ которые такъ любилъ заглядывать Достоевскій.

Отсутствіемъ примиряющаго и смягчающагося душу вліянія природы, преобладаніемъ напротивъ того раздражающихъ и безъ того уже болѣзненные нервы впечатлѣній городской суеты можно объяснить и ту жестокость, какую обнаруживаетъ Достоевскій въ своемъ психическомъ анализѣ, и на которую очень мѣтко ука-

зываетъ Михайловскій въ своей статьѣ *Жестокій талантъ*. Дѣйствительно только крайне раздраженными и вѣчно натянутыми нервами и можно объяснить страсть Достоевскаго мучить читателя, мало того что изображая самыя тяжелыя и ужасныя въ психическомъ отношеніи положенія выводимыхъ лицъ, но и преувеличивая эти положенія, доводя ихъ до послѣдней крайности и безвыходности, подолгу останавливаясь на нихъ и медленною художественною пыткой словно съ какимъ-то сладострастіемъ жестокости вымучивая всѣ нервы читателей.

Въ заключеніе общей характеристики Достоевскаго слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что при всемъ обилии выводимыхъ дѣйствующихъ лицъ и кажущемся ихъ разнообразіи, всѣ они сводятся къ весьма немногимъ типамъ, которые лишь съ небольшими варіаціями повторялись во всѣхъ его произведеніяхъ.

Такъ вѣрный ученію почвенниковъ и особенно представителя ихъ Ап. Григорьева, Достоевскій въ основѣ большинства своихъ произведеній ставитъ одинъ изъ двухъ противоположныхъ типовъ: 1) типъ *кроткій* человѣка любвеобильнаго, полного самоотверженія, готоваго все простить, все оправдать, гуманно отнестись къ измѣнѣ любимой дѣвушки и продолжать любить ее, устранивая даже ея бракъ съ другимъ и т. п.; таковы напр. Ростаневъ въ романѣ *Село Степанчиково*, герой *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, князь Мышкинъ въ *Идиотъ* и пр.; 2) типъ *хищный* — эгоиста исполненнаго страстей, не знающаго удержа своимъ похотямъ и не останавливающегося ни передъ какими божескими и человѣческими законами; таковы Ставрогинъ въ *Бьсахъ*, Дмитрій Карамазовъ и пр.

Въ свою очередь и женщины Достоевскаго раздѣляются на подобные-же два противоположныя типа: съ одной стороны *кроткій* — типъ женщины, обладающей нѣжными, любящимъ до самозабвенія женскимъ сердцемъ — таковы: Нелли и Наташа въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, мать Раскольниковъ и Соня въ *Преступленіи и наказаніи*, Хроменькая въ *Бьсахъ*, Нечочка Незванова, жена Макара Ивановича въ *Подросткѣ*; съ другой стороны рисуются передъ нами въ свою очередь *хищныя* типы своенравныхъ, обаятельныхъ и властныхъ до жестокости женщины, каковы: Полина въ *Ироктѣ*, Настасья Филипповна въ *Идиотъ*, Грушенька и Катерина Ивановна въ *Братьяхъ Карамазовыхъ* и Варвара Петровна въ *Бьсахъ*.

Часто повторяется также типъ развратнаго циника, для котораго законъ не писанъ и который не останавливается ни передъ чѣмъ для удовлетворенія своихъ самыхъ низменныхъ, иногда и противоестественныхъ страстей, таковы: князь-отецъ въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, Свидригайловъ въ *Преступленіи и наказаніи*, Осдоръ Петровичъ Карамазовъ.

Наконецъ не менѣе часто повторяется типъ бѣднаго чиновника, дошедшаго до послѣдней степени самоуниженія и обезличенія, но тѣмъ не менѣе сохраняющаго въ душѣ образъ Божій и чувство человѣческаго достоинства. Таковъ Дѣвушкинъ въ *Бѣдныхъ людяхъ*, Вася Шумиловъ въ *Слабомъ сердцѣ*, Мармеладовъ въ *Преступленіи и наказаніи* и пр.

VII.

По идейному содержанію литературная дѣятельность Достоевскаго раздѣляется на два періода подобно какъ у Тургенева и большинства нѣкоторыхъ другихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ: періодъ прогрессивный до половины шестидесятыхъ годовъ, а затѣмъ до конца жизни—агрессивный и реакціонный.

Въ произведеніяхъ перваго періода вы и тѣни еще не находите ни славянофилочувственныхъ ученій, ни мистицизма, ни того отрицательнаго взгляда на передовое общественное движеніе, какой Достоевскій усвоилъ впослѣдствіи. Они имѣютъ совершенно такой-же характеръ и духъ, какими отличается и вся беллетристика сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ: тотъ-же натурализмъ подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя и тотъ-же скептическій анализъ русской жизни, исполненный отрицательнаго отношенія къ растроенному крѣпостнымъ правомъ барству и гуманнаго—къ низшей братіи, ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ. Аскетически суровый въ своемъ служеніи проводимымъ идеямъ, страстно и всецѣло отдававшійся имъ и избѣгавшій отвлекаться отъ нихъ въ созерцательность какихъ-либо поэтическихъ красотъ жизни, Достоевскій въ произведеніяхъ перваго періода еще интенсивнѣе, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, выражалъ идеи, которыя волновали въ то время передовые умы.

Макаръ Дѣдушкинъ, скрывающій подъ смѣшною наружностью и рубашками гоголевскаго Акакія Акакіевича столько любви, нѣжности и высокаго самоотверженія, раздвоившійся Голядкинъ, прозрѣвшій въ своемъ двойникѣ весь тотъ омутъ опошленія и оподленія, которымъ угрожало ему засасывающее болото чиновничьей жизни, музыкантъ Ефимовъ—геній-самородокъ, искалѣченный крѣпостнымъ правомъ до безпримысленаго пьянства и сумашествія и пр. и пр., всѣ подобные типы производили потрясающее впечатлѣніе на общество и сливались въ одинъ гармоническій аккордъ съ стихотвореніями Некрасова, съ *Записками Охотника*, съ *Антономъ Горемыкой* Григоровича, съ *Любимомъ Торцовымъ* Островскаго.

Иногда Достоевскій отклонялся въ этотъ первый періодъ своей дѣятельности отъ существенныхъ свойствъ своего таланта, составлявшихъ главную силу его,—именно отъ серьезнаго и временами мучительнаго психическаго и психіатрическаго анализа и ударялся въ юморъ, очевидно подъ вліяніемъ Гоголя. Таковы его рассказы: *Чужая жена и мужъ подъ кроватью*, *Скверный анекдотъ*, *Крокодилъ*. Но произведенія эти показываютъ намъ, что юморъ не былъ свойственъ его таланту. По крайней мѣрѣ въ произведеніяхъ этихъ поражаетъ васъ съ одной стороны искусственная и затѣйливая водевильность сюжетовъ, съ другой—крайняя напряженность и дѣланность смѣха, вслѣдствіе чего смѣхъ Достоевскаго не имѣетъ и слѣда той заразительности, какую обладаютъ истинные юмористы рода Гоголя.

Прерванная ссылкой дѣятельность Достоевскаго расцвѣла съ новою силою послѣ освобожденія, во второй половинѣ пятидесятихъ годовъ, и втеченіе десяти лѣтъ сохраняла еще все тотъ-же характеръ, какой имѣла и до ссылки, несмотря на то, что Достоевскій стоялъ уже въ это время во главѣ почвенниковъ и издавалъ съ братомъ *Время* и *Эпоху*. Талантъ Достоевскаго достигъ въ то время своего апогея,



и періодъ этотъ, сверхъ романа *Униженные и оскорбленные*, ознаменовался лучшимъ изъ всѣхъ произведеній Достоевскаго *Записками изъ мертвого дома*.

*Записки изъ мертвого дома* и по содержанію, и по духу своему рѣзко отличаются отъ всѣхъ прочихъ произведеній Достоевскаго и стоятъ сочерженно особнякомъ. Они одни были-бы способны увѣковѣчить память Достоевскаго, если-бы онъ ничего не написалъ болѣе, и напротивъ того значеніе его сразу наполовину-бы уменьшилось, если-бы онъ не написалъ *Записокъ изъ мертвого дома*. Здѣсь не найдете вы ничего такого, чѣмъ отличаются не всегда выгодно для себя прочія произведенія Достоевскаго: ни запутаннаго, сложнаго и искусственно придуманнаго сюжета, ни преобладавша психіатрическаго анализа, доходящаго до крайняго терзанія нервовъ читателей, ни излишней растянутости и неуклюжести. Все здѣсь дышетъ неподкрашенной правдой, простотой и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокимъ проникновеніемъ въ душу народа. Каждая подробность здѣсь у мѣста, каждый эпизодъ поражаетъ васъ какъ рядъ великихъ прозрѣній въ основы народной жизни. Все вмѣстѣ составляетъ стройную, законченную и величавую эпопею каторги, какую могъ создать лишь художникъ, самъ пережившій ее и на своихъ ногахъ вынесшій каторжные кандалы.

Въ то-же время вы не видите здѣсь и тѣни тѣхъ доктринъ, къ которымъ пришелъ Достоевскій впоследствии. Все произведеніе проникнуто одною лишь тою высокою гуманностью, въ духѣ которой Достоевскій воспитался въ кружкахъ сороковыхъ годовъ. Такъ напримѣръ вмѣсто того нравственно оздоравливающаго вліянія, какое Достоевскій приписывалъ впоследствии каторгѣ, вы найдете здѣсь взглядъ на каторгу совершенно противоположный:

«Я сказалъ уже, читаемъ мы въ первой главѣ, что продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи, и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ себя совершенно правыми. Это фактъ. Конечно тщеславіе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ сказать, что выслѣдилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и прочелъ въ нихъ сокровенное отъ всего свѣта? Но вѣдь можно-же было во столько лѣтъ хоть что-нибудь замѣтить, поймать, уловить въ этихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, которая-бы свидѣтельствовала о внутренней тоскѣ, о страданіи. Но этого не было, положительно не было. Да, преступленіе, кажется, не можетъ быть осмыслено съ данныхъ, готовыхъ точекъ зрѣнія, и философія его нѣсколько по труднѣе, чѣмъ полагаютъ. Конечно, остроги и система насильныхъ работъ не исправляютъ преступниковъ; они только его наказываютъ и обезпечиваютъ общество отъ дальнѣйшихъ покушеній злодѣя на его спокойствіе. Въ преступникъ-же остроги и самая усиленная каторжная работа развиваютъ только ненависть, жажду запрещенныхъ наслажденій и страшное легкомысліе. Но я твердо увѣренъ, что знаменитая келейная система достигаетъ только ложной, обманчивой наружной цѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ человѣка, энсвируетъ его душу, ослабляетъ ее, пугаетъ ее и потомъ нравственно иссохшую мумію, полусумашедшаго представляетъ какъ образецъ исправленія и раскаянія. Конечно преступникъ возставшій на общество ненавидитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его виноватымъ. Къ тому-же онъ уже потерялъ отъ него наказаніе, а чрезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ, скитавшимся. Можно судить наконецъ съ такихъ точекъ зрѣнія, что чуть-ли не придется оправдать самаго преступника...».

*Записки из мертвого дома* писались въ то время, когда Достоевскій не былъ еще въ Петербургѣ и не подвергался вліянію кружка, въ который онъ попалъ. Но затѣмъ вліяніе это не замедлило обнаружиться во время издательства журналовъ сначала въ видѣ полемики *Времени* съ *Современникомъ*, въ которой Достоевскій принялъ дѣятельное участіе; такъ въ своей статьѣ:—*Г.—Бовъ о вопросѣ объ искусствѣ*, напечатанной въ журналѣ *Время* въ № 2 1861 г., Достоевскій, вооружаясь противъ Добролюбова, отстаивалъ доктрину чистаго искусства, несмотря на то, что его собственная литературная дѣятельность во всемъ ея составѣ рѣзко противорѣчила той доктринѣ. Въ то-же время въ № 1 *Времени* за тотъ-же годъ, въ своемъ *Введеніи* и *Пяти статьяхъ о русской литературѣ*, Достоевскій высказалъ впервые взгляды въ духѣ славянофильскаго ученія, причемъ Достоевскій оказался стоящимъ ближе къ чистымъ славянофиламъ, чѣмъ къ тѣмъ самымъ почвенникамъ, въ главѣ которыхъ онъ стоялъ и которые обязаны были ему своею кличкою.

«Да, мы вѣруемъ, говоритъ онъ въ этой статьѣ, что русская нація—необыкновенное явленіе въ исторіи всего человѣчества. Характеръ русскаго народа до того не похожъ на характеры всѣхъ современныхъ европейскихъ народовъ, что европейцы до сихъ поръ не понимаютъ его и понимаютъ въ немъ все обратно. Всѣ европейцы идутъ къ одной и той-же цѣли, къ одному и тому-же идеалу; это безспорно такъ. Но всѣ они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны другъ къ другу до непримиримости, и все болѣе и болѣе расходятся по разнымъ путямъ, уклоняясь отъ общей дороги. Повидимому каждый изъ нихъ стремится отыскать общечеловѣческій идеалъ у себя, своими собственными силами и потому всѣ вмѣстѣ вредятъ сами себѣ и всему дѣлу...

Съ нами согласятся, что въ русскомъ характерѣ замѣчается рѣзкое отличіе отъ европейскаго, рѣзкая особенность, что въ немъ по преимуществу выступаетъ способность высоко-синтетическая, способность всепримиримости, всечеловѣчности. Въ русскомъ человѣкѣ нѣтъ европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Онъ со всѣмъ уживается и во все вживается. Онъ сочувствуетъ всему человѣческому внѣ различія національности, крови и почвы. Онъ находитъ и немедленно допускаетъ разумность во всемъ, въ чемъ хоть сколько-нибудь есть общечеловѣческаго интереса. У него инстинктъ общечеловѣческій...»

Но подобныя идеи, высказанныя имъ впоследствии въ рѣчи на пушкинскомъ празднествѣ, при всей своей метафизической гадательности и фантастичности не вліяли пока на содержаніе и характеръ дѣятельности Достоевскаго; къ тому-же они не заключали въ себѣ ничего реакціоннаго. Вполнѣ реакціонное направленіе обнаружилось въ Достоевскомъ лишь въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, т. е. почти одновременно съ Тургеневымъ и Гончаровымъ подъ вліяніемъ общей реакціи, наступившей съ 1863 года.

Къ сожалѣнію первое произведеніе, въ которомъ обнаружился реакціонный духъ, былъ романъ *Преступленіе и наказаніе*, лучшій изъ всѣхъ его романовъ, второй шедевръ послѣ *Записокъ мертвого дома*. Талантъ Достоевскаго въ этомъ романѣ вновь достигъ своего апогея, блеснувъ яркимъ свѣтомъ.

По глубокому психіатрическому и психологическому анализу *Преступленіе и наказаніе* достойно было-бы стоять въ числѣ первыхъ и лучшихъ памятниковъ европейскаго искусства XIX вѣка. Но къ прискорбію на всѣхъ благомыслящихъ лю-

дей онъ произвелъ страшное впечатлѣніе тѣмъ, что Достоевскій преступленіе своего героя Раскольниковъ обусловливаетъ вдругъ вліяніемъ новыхъ идей, якобы оправдывающихъ всевозможныя преступленія ради цѣлей, съ которыми они совершаются; не менѣе поражаетъ въ романѣ развязка его въ видѣ нравственнаго возрожденія Раскольниковъ подъ вліяніемъ каторги...

Въ слѣдующемъ романѣ *Бѣсы* реакціонное направленіе сказалось еще рѣзче. Въ основѣ сюжета этого романа взять, какъ извѣстно, Нечаевскій процессъ, и въ романѣ выведенъ рядъ молодыхъ людей радикальнаго направленія въ видѣ такихъ нравственныхъ чудовищъ, что Достоевскій въ этомъ отношеніи далеко оставилъ за собою и Тургенева, и Гончарова, обнаружилъ еще болѣе поверхностное знаніе по наслышкѣ той среды, которую онъ взялся изобразить.

Тѣмъ не менѣе далеко нельзя сказать, чтобы реакціонное направленіе вполне овладѣло Достоевскимъ. Закваска гуманныхъ идей сороковыхъ годовъ была такъ сильна въ немъ, что временами она давала себя знать, и во всѣхъ послѣднихъ произведеніяхъ Достоевскаго, равно какъ и въ *Дневникѣ писателя*, рядомъ съ славянофильскими и мистическими разглагольствованіями, словно оазисы въ степи, прорываются внезапно взгляды и образы, поражающіе васъ своею свѣтлостью и глубиною. Такъ напримѣръ реакціонное направленіе не мѣшало Достоевскому до самой смерти быть горячимъ приверженцемъ женскаго движенія. Въ майскомъ выпускѣ *Дневника* за 1876 годъ онъ восторженно заявляетъ, что въ русской женщинѣ заключена „одна наша огромная надежда, одинъ изъ залоговъ нашего обновленія“.

«Возрожденіе русской женщины, говоритъ онъ, въ послѣднія двадцать лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, откровенный и безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушилъ уваженіе, по крайней мѣрѣ заставилъ задуматься, не взирая на нѣсколько поразительныхъ неправильностей, обнаружившихся въ этомъ движеніи. Теперь однако уже можно свести счеты и сдѣлать безбоязненный выводъ. Русская женщина цѣломудренно пренебрегла препятствіями, насмѣшками. Она твердо объявила свое желаніе участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій челоѣкъ въ эти послѣднія десятилѣтія страшно поддался разпрату стяжанія, цинизма, матеріализма; женщина-же осталась гораздо болѣе сего вѣрна чистому поклоненію идеѣ, служенію идеѣ. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣніе и представила примѣръ величайшаго мужества...».

Въ то-же время мы видимъ, что Достоевскій въ большей степени, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, сознавалъ тотъ демократическій духъ, который составляетъ сущность всего движенія нашего времени. Такъ возвеличивая съ своихъ славянофильскихъ точекъ зрѣнія Россію надъ Европою, онъ основывалъ свои доводы не на одномъ только противоположеніи русскаго православія и западнаго католицизма, а между прочимъ и на томъ, что въ то время какъ въ Европѣ демократизмъ развивается въ обездоленныхъ массахъ пролетаріевъ и нищихъ и встрѣчая оппозицію въ правящихъ классахъ, подтачивается западными государствами, у насъ наоборотъ: демократическими стремленіями все болѣе и болѣе пропитываются интеллигентные классы.

«Правда, говоритъ онъ въ томъ-же выпускѣ *Дневника*, много въ теперешнихъ

демократическихъ заявленійхъ и фальши, много и журнальнаго плутовства; много увлеченій, напримѣръ, въ преувеличеніи нападокъ на противниковъ демократизма, которыхъ къ слову сказать у насъ теперь очень мало. Тѣмъ не менѣе честность, безкорыстіе, прямота и откровенность демократизма въ большинствѣ русскаго общества не подвержены уже никакому сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи мы можетъ-быть, представили или начнемъ представлять собою явленіе еще не объявлявшееся въ Европѣ, гдѣ демократизмъ до сихъ поръ и повсемѣстно заявилъ себя еще только снизу, еще только воюетъ, а побѣжденный (будто-бы) верхъ до сихъ поръ даетъ страшный отпоръ. Нашъ верхъ побѣжденъ не былъ, но верхъ самъ сталъ демократиченъ или вѣрнѣе народенъ, и кто-же можетъ отрицать это? А если такъ, то согласитесь сами, что нашъ демось ожидаетъ счастливая будущность. И если въ настоящемъ еще многое несприглядно, то по крайней мѣрѣ позволительно питать большую надежду, что временныя невзгоды демоса неперемѣнно улучшатся подъ неустаннымъ и непрерывнымъ вліяніемъ впредь такихъ огромныхъ началъ (ибо иначе и назвать нельзя), какъ *всеобщее демократическое настроеніе и всеобщее согласіе* на то всѣхъ русскіхъ людей, начиная съ самаго верху. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и выразился, что нашъ демось доволенъ, и «чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ удовлетворенъ». Что-же, въ это трудно не вѣрить.

Хотя-бы вы и не соглашались вполне съ подобными взглядами Достоевскаго относительно мнимаго превосходства Россіи передъ Европою по части демократизма, который мы усвоили отъ той-же Европы и притомъ вовсе не отъ обездоленныхъ низовъ, а изъ книгъ передовыхъ мыслителей, тѣмъ не менѣе Достоевскій остается тысячу разъ правъ въ томъ отношеніи, что дѣйствительно общее проникновеніе демократизмомъ всей русской интеллигенціи до самыхъ ея верховъ составляетъ существенное отличіе нашего времени, и въ сочувствіи Достоевскаго этому факту конечно никто не станетъ подозрѣвать что-либо реакціонное. Напротивъ того, мы видимъ, что въ минуты подобныхъ просвѣтленій Достоевскій становился въ полное противорѣчіе со всѣми своими реакціонными взглядами. Такъ и въ настоящемъ случаѣ онъ вѣритъ, что нашъ демось ожидаетъ счастливая будущность и что временныя невзгоды его неперемѣнно улучшатся совершенно вопреки своей теоріи, что страданія и невзгоды очищаютъ человѣка и возвышаютъ его нравственность и что чѣмъ болѣе кто пострадаетъ, тѣмъ вѣрнѣе спасется.

---

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

I—Сергій Тимофѣевичъ Аксаковъ. II—Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. III—Александръ Теофилактовичъ Писемскій. IV—Михаилъ Васильевичъ Авдѣевъ. V—Женщины-беллетристки: Надежда Дмитриевна Хвоцинская. Надежда Степановна Соханская (Кохановская).

### I.

Къ четыремъ рассмотрѣннымъ нами корифеямъ, представляющимъ звѣздами первой величины въ созвѣздіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, пользовавшимся горячимъ поклоненіемъ современной публики и оказавшимъ на нее самое сильное вліяніе, примыкаетъ нѣсколько писателей, бывшихъ въ свою очередь въ большей или меньшей степени популярными и уважаемыми, хотя и далеко не достигшими той общенвропейской славы, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Л. Толстой и О. Достоевскій.

Такъ большимъ успѣхомъ въ продолженіе сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ пользовался Сергій Тимофѣевичъ Аксаковъ, сочиненія котораго нѣкоторыми наиболѣе горячими поклонниками были превозносились до того, что авторъ ихъ ставился даже на одну степень съ Гомеромъ, Шекспиромъ и В. Скоттомъ. Но и менѣе увлеченные критики причисляли Аксакова къ числу первостепенныхъ и классическихъ русскихъ писателей.

Дѣятельность Аксакова распадается на два періода до такой степени различныя между собою, что онъ не принадлежитъ даже къ двумъ смежнымъ эпохамъ. Аксаковъ представляетъ собою единственный и исключительный экземпляръ писателя, который прямо и непосредственно отъ ложнаго классицизма, минуя романтизмъ, перешагнулъ къ натурализму гоголевской школы.

По возрасту онъ былъ значительно старше не только всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, но и самихъ основателей этой школы—Пушкина и Гоголя, принадлежа къ поколѣнію начала девятнадцатаго столѣтія. Родился онъ 20 сентября 1791 года въ Уфѣ и подобно всѣмъ людямъ того времени очень рано началъ и учиться, и жить. Въ 1801 году онъ былъ уже въ гимназіи, а въ 1805 году, т. е. 14 лѣтъ,—въ только-что открытомъ казанскомъ университетѣ. „Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ воспоминаній, не потому, что онъ (университетъ) былъ еще молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому,

что я былъ еще молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью моею природы. Во всю жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ“.

„Въ началѣ 1807 г., говоритъ Аксаковъ въ другомъ мѣстѣ, я оставилъ казанскій университетъ и получилъ аттестатъ съ прописаніемъ такихъ наукъ, какія я зналъ только понаслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали. Этого мало: въ аттестатѣ было сказано, что въ нѣкоторыхъ я „оказалъ значительные успѣхи“, а нѣкоторыми „занялся съ похвальнымъ прилежаніемъ“.

Кончивши такимъ образомъ 16-ти лѣтъ курсъ университета, въ 1808 г. Аксаковъ опредѣлился уже на службу переводчикомъ комиссіи составленія законовъ и находился на этомъ мѣстѣ до 1811 года. Въ эти три года пребыванія въ Петербургѣ онъ познакомился и сблизился съ Шишковымъ, такъ какъ уже на скамьѣ университета увлекался его націонализмомъ, не долюбивалъ Карамзина и восторгался *Разсужденіемъ о новомъ и старомъ слогѣ* и *Прибавленіями* къ нему. „Эти книги совершенно свели меня съ ума, рассказываетъ онъ, я увѣровалъ въ каждое ихъ слово, какъ въ святыню. Русское мое направленіе и враждебность ко всему иностранному укрѣпились сознательно, а темное чувство національности выросло до исключительности“.

Затѣмъ съ 1811 года до 1826 г. Аксаковъ нигдѣ не служилъ, исключительно предавшись литературнымъ занятіямъ. Уже на школьной скамьѣ, въ гимназій и университетѣ, Аксаковъ пописывалъ въ рукописныхъ журналахъ, издаваемыхъ имъ съ товарищами; но болѣе всего пристрастился онъ къ театру, увлеченный успѣхомъ на различныхъ домашнихъ спектакляхъ, а также и въ декламаторскомъ искусствѣ. Въ 1812 г. онъ перевелъ *Филактета* стихами для бенефиса Шушерина. Въ то-же время страсть къ театру сблизила его съ кружкомъ московскихъ театраловъ (Ф. О. Кокоскинъ, Шаховскій, Верстовскій, Загоскинъ, Писаревъ и др.), въ которомъ господствовали ложно-классическіе вкусы и поклоненіе Буало. Подъ этимъ вліяніемъ Аксаковъ написалъ нѣсколько „пѣсенъ, басенъ, эпиграммъ, посланій, переводилъ сатиры Буало, а также комедіи Мольера (*Школу мужей* въ 1819 г. и *Скупого* въ 1828 г.).

Въ 1816 году Аксаковъ женился на дочери генерала Заплатина. Въ 1820 г. за переводъ 10-ой сатиры Буало былъ удостоенъ избранія въ члены „Общества любителей россійской словесности“, а въ 1827 г. министръ народнаго просвѣщенія Шишковъ опредѣлилъ своего друга цензоромъ въ московскій цензурный комитетъ. На этомъ мѣстѣ Аксаковъ служилъ до 1834 года, омрачивши свое имя въ качествѣ цензора мало того что строгаго, но пристрастнаго и несправедливаго, такъ какъ онъ, мпрволя своимъ, безошадно въ то-же время преслѣдовалъ въ лицѣ Н. Ал. Полевого своего литературнаго врага, вымарывая въ *Московскомъ Телеграфѣ* не только вещи, которыя онъ считалъ нецензурными, но и недобрительные отзывы о своихъ пріятеляхъ и литературныхъ партпзанахъ.

Затѣмъ съ 1834 года по 1839 годъ Аксаковъ служилъ инспекторомъ, а затѣмъ директоромъ въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, а въ 1839 году вышелъ окончательно въ отставку.

Вѣченіе тридцатыхъ годовъ въ умственной жизни Аксакова совершился радикальный переворотъ, которымъ онъ былъ обязанъ тому обстоятельству, что между тѣмъ какъ прежніе его друзья-театралы одни умираютъ, другіе разживаются, онъ сближается съ новыми людьми,—Павловымъ, Погодинымъ, Надеждинымъ, а затѣмъ подпадаетъ подъ вліяніе и своего сына Константина. Но самымъ главнымъ виновникомъ переворота, происшедшаго съ Аксаковымъ, было знакомство съ Гоголемъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Аксакову было уже за сорокъ лѣтъ.

Вліяніе Гоголя сказалось уже въ очеркѣ *Буря*, написанномъ Аксаковымъ въ 1833 г. для альманаха Максимовича *Денница*. Въ этомъ очеркѣ Аксаковъ впервые сошелъ съ ложно-классическихъ ходуль и обратился къ живой, непосредственной дѣйствительности и личнымъ воспоминаніямъ. „Хотя прошло уже шесть лѣтъ, какъ я оставилъ оренбургскій край, рассказываетъ онъ, но картины лѣтней и зимней природы его были свѣжи въ моей памяти. Я вспомнилъ страшныя зимнія метели, отъ которыхъ и самъ бывалъ въ опасности и даже одинъ разъ ночевалъ въ стогѣ сѣна; вспомнилъ слышанный мною рассказъ о пострадавшемъ обозѣ и написалъ *Буря*.“

Но лишь съ выходомъ въ отставку, съ 1840 года Аксаковъ принялся серьезно за тотъ литературный трудъ, который увѣковѣчилъ его: онъ началъ набрасывать *Семейную хронику*, отрывки изъ которой были напечатаны въ *Московскомъ Сборникѣ* 1846 г. Въ 1847 г. появились его *Записки объ уженіи рыбы*; въ 1852 г. *Записки ружейнаго охотника оренбургской губерніи*; въ 1855 *Разказы и воспоминанія охотника*; въ 1856 году появилась въ полномъ видѣ *Семейная хроника*. Наконецъ въ 1858 г. *Дѣтскіе годы Багрова внука*.

Здоровье Аксакова начало страдать лѣтъ за двѣнадцать до кончины. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ темной комнатѣ, и непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ разстроилъ свой организмъ, лишись при томъ одного глаза. Бодрость впрочемъ никогда не покидала его, даже въ послѣдніе годы жизни, когда болѣзнь его развивалась болѣе и болѣе и заставляла его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ былъ живъ и впечатлителенъ попрежнему; ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма опасный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія; но онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ. Послѣднее лѣто провелъ онъ на дачѣ близъ Москвы и, несмотря на ужасную болѣзнь, имѣлъ силу въ рѣдкія минуты облегченія наслаждаться природою и диктовать новыя свои произведенія, которыя ничѣмъ не напоминаютъ того, въ какія тяжелыя минуты они созданы. Сюда принадлежитъ *Собіраніе бабочекъ*, вышедшее въ свѣтъ уже послѣ его смерти въ *Братинѣ*,—сборникъ въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которымъ онъ особенно интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ переехалъ въ городъ и всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни помощь лучшихъ врачей, ни заботы семьи не могли спасти его жизни. Однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и написалъ статью *Зимнее утро, Встрѣчу съ мартинистами*, послѣднее изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся въ *Русской Бесѣдѣ* 1859 г. и повѣсть *Патану*, которая напечатана въ томъ-же журналѣ. Весною не оставалось уже надежды, и онъ умеръ 30-го апрѣля 1859 года.

Произведенія Аксакова замѣчательны прежде всего тѣмъ, что здѣсь вы не найдете и слѣда того, что называется творческою фантазіею, вымысломъ.

Все изображаемое авторъ бралъ непосредственно изъ жизни или изъ своей замѣчательной памяти, и все искусство его заключалось въ поразительной вѣрности дѣйствительности и художественной изобразительности предметовъ со всѣми малѣйшими ихъ деталями и оттѣнками, что обличало въ Аксаковѣ наблюдательность, выходившую изъ ряда обыкновеннаго.

При такихъ качествахъ таланта Аксаковъ наиболѣе прославился въ трехъ отношеніяхъ: во-первыхъ онъ является первостепеннымъ пейзажистомъ своего времени. Если вообще школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ славилась изображеніями красотъ природы и преимущественно сельскихъ ландшафтовъ, то Аксакову безспорно принадлежитъ въ ней въ этомъ отношеніи первое мѣсто. При безыскусственной простотѣ и непосредственности, при полномъ отсутствіи всякой вычурности и предвзятаго желанія блеснуть какимъ-либо эффектомъ, ландшафты его поражаютъ васъ въ двухъ отношеніяхъ,—съ одной стороны своими мельчайшими деталями, а съ другой — тѣмъ величественнымъ ансамблемъ, въ какой художнику удастся соединить эти детали. Очарованіе, производимое ландшафтами Аксакова, зависитъ конечно во многомъ и отъ того, что въ нихъ описывается по большей части оренбургскій край, столь богатый своею живописною природою и дарами ея.

Во-вторыхъ Аксаковъ замѣчателенъ, какъ создатель совершенно новаго и оригинальнаго животнаго эпоса, подобнаго которому не было еще ни въ одной литературѣ. Это не тотъ завѣщанный древностью животный эпосъ, въ которомъ звѣрямъ приписываются разныя человѣческія слабости и пороки, и подъ вѣшнимъ видомъ животныхъ въ поэмахъ и басняхъ пародируютъ тѣ-же люди, причемъ авторъ преслѣдуетъ непремѣнно какую-нибудь правоучительную или сатирическую цѣль. Животный эпосъ, созданный Аксаковымъ въ его запискахъ охотника и объ ужении рыбы, замѣчателенъ именно тѣмъ, что звѣри, птицы и рыбы здѣсь изображаются совершенно объективно въ ихъ дѣйствительныхъ правахъ, привычкахъ, однимъ словомъ во всей ихъ звѣриной жизни безъ какихъ-бы то ни было дидактическихъ цѣлей, изъ единственнаго стремленія художественно изобразить и вѣрно передать массу разнообразныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ страстнымъ охотникомъ изъ своихъ многолѣтнихъ наблюдений надъ жизнью и правами звѣрей. Тутъ не знаешь, чему и дивиться: той-ли художественной полнотѣ, мѣткости и детальности, съ какими художникъ изображаетъ каждую породу встречаемыхъ животныхъ, схватывая все ея характеристическіе признаки, или поразительному богатству языка, владѣя которымъ авторъ съумѣлъ для каждой детали, для cadaго малѣйшаго оттѣнка прибрать особенное слово и выраженіе.

Въ третьихъ не менѣе замѣчателенъ Аксаковъ, какъ мемуаристъ и бытописатель въ свою очередь первостепенный и ни съ кѣмъ несравнимый. Въ его *Семейной хроникѣ* старая русская помещица жизнь рисуется передъ вами во всѣхъ своихъ малочныхъ подробностяхъ и со всѣми своими характеристическими особенностями, съ такою ясностью и поразительностью, какъ будто самъ авторъ переживалъ все то, что онъ рассказываетъ о дѣдахъ и отцахъ. Рядомъ съ детальностью васъ пора-



жають здѣсь п умѣнье схватить, выставить на первый планъ и подчеркнуть наиболѣе характеристическія черты старой русской жизни.

Въ то-же время передъ вами рисуется цѣлая галлерей портретовъ людей прошлаго столѣтія, которые мало того что поражаютъ васъ живостью художественнаго изображенія, но и своею типичностью, обличающею въ авторѣ умѣнье и здѣсь въ свою очередь обратить ваше вниманіе на черты наиболѣе характеристическія, существенныя и общія людямъ изображаемаго вѣка. Въ особенности выдаются типы дѣдушки Багрова и Куралесова. Недаромъ они сдѣлались нарицательными кличками наряду съ лучшими типами Гоголя.

## II.

Въ свою очередь беллетристомъ съ преобладающею склонностью къ пейзажу и описательному жанру является Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ.

Григоровичъ родился 19 марта 1822 г. въ симбирской губерніи, въ деревнѣ на Волгѣ. Родители его были дворяне. Первые десять лѣтъ своей жизни онъ провелъ на родинѣ, на лонѣ природы. Затѣмъ былъ отданъ въ одинъ изъ частныхъ пансіоновъ въ Москвѣ, а оттуда поступилъ въ Инженерное училище и былъ товарищемъ и однокашникомъ съ О. Достоевскимъ. Здѣсь въ немъ развилась страсть къ живописи и до такой степени увлекла его, что въ послѣдній годъ пребыванія въ училищѣ онъ совсѣмъ не занимался науками.

Оставивъ училище въ 1840 году, Григоровичъ поселился на Васильевскомъ острову и течение двухъ лѣтъ почти безвыходно пробылъ въ академіи художествъ, занимаясь въ рисовальномъ классѣ.

Но судьба не судила ему сдѣлаться художникомъ: вслѣдствіе крайней слабости зрѣнія, онъ принужденъ былъ оставить любимое занятіе, хотя потомъ всю жизнь принималъ горячее участіе въ судьбахъ русской живописи и много лѣтъ былъ даже секретаремъ общества поощренія художниковъ.

На литературу натолкнуло Григоровича случайное знакомство съ Плюшаромъ, который въ то время издавалъ сборникъ *Переводникъ* или *Сто одна повѣсть и сорокъ сороковъ анекдотовъ*. — Въ этомъ сборникѣ было помѣщено нѣсколько переводовъ съ французскаго Григоровича. Это было въ 1843 году, и лишь въ слѣдующемъ 1844 году появились первые оригинальные рассказы Григоровича въ *Литературной газетѣ* — *Театральная карета* и *Собачка*, и тамъ-же помѣстилъ онъ *Обзоръ выставки въ академіи художествъ*.

Съ Некрасовымъ Григоровичъ познакомился уже въ 1841 году. Въ 1845-же въ *Физиологій Петербурга*, сборникѣ издаваемомъ Некрасовымъ, были напечатаны два рассказа Григоровича — *Петербургскіе шарманишки* и *Лотерейный билетъ*. Всѣ эти рассказы были вполне въ духѣ жанра натуральной школы; съ одной стороны вы встрѣтите въ нихъ отрицательное отношеніе къ великосвѣтскимъ и бюрократическимъ нравамъ столицы съ претензіею на юморъ, съ другой-же — сочувственное и исполненное гуманности отношеніе къ всему загнанному и обездоленному, ютящемуся въ столичныхъ углахъ и трущобахъ. Не лишеныя талантовъ, эти повѣсти въ то-же

время далеко не заключали въ себѣ той яркости, оригинальности и силы, чтобы привлечь къ себѣ вниманіе публики и сразу поставить писателя на высоту. Григоровичъ былъ замѣченъ, но мало выдѣлялся изъ массы повѣствователей того времени въ духѣ натуральной школы.

Болѣе громкая извѣстность и популярность Григоровича началась съ 1847 года, послѣ того какъ въ декабрьской книжкѣ *Отеч. записокъ* была напечатана повѣсть его *Деревня*, а въ *Современникѣ* 1847 г. *Антонъ Горемыка*. Этими рассказами Григоровичъ попалъ, что называется, въ самый живой нервъ того времени, когда общій интересъ былъ возбужденъ пароднымъ и преимущественно крестьянскимъ бытомъ, и само правительство подымало вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Обѣ повѣсти Григоровича, особенно послѣ восторженного отзыва о нихъ Бѣлинскаго, были причислены къ самымъ выдающимся литературнымъ явленіямъ своего времени и читались нарасхватъ.

Этотъ успѣхъ поощрилъ Григоровича писать изъ народнаго быта и кромѣ многихъ небольшихъ рассказовъ — *Пахарь*, *Свѣтлое Христово воскресенье*, *Въ ожиданіи паромъ*, *Смедовская дама*, онъ написалъ два большіе романа изъ крестьянской жизни — *Переселенцы* и *Рыбаки*. Здѣсь мы прежде всего должны по возможности если не разрушить со всѣмъ, то во всякомъ случаѣ значительно ограничить тотъ предразсудокъ, укоренившійся относительно рассказовъ изъ народнаго быта Григоровича съ легкой руки Добролюбова, будто Григоровичъ совсѣмъ не зналъ народа; увлекшись-же рассказами изъ крестьянской жизни Ж. Занда изображалъ, по образцу этихъ рассказовъ, русскихъ крестьянъ болѣе похожими на французскихъ пейзажъ, чѣмъ на русскихъ мужиковъ.

Предразсудокъ этотъ укоренился подъ впечатлѣніемъ позднѣйшихъ крупныхъ романовъ Григоровича изъ народнаго быта: *Рыбаковъ* и *Переселенцевъ*. Въ романахъ этихъ вы дѣйствительно видите много искусственнаго, дѣланнаго, сочиненнаго. Такъ напримѣръ автору, чтобы написать объемистый романъ, необходимо было составить сложный сюжетъ съ любовной интригой, ревностями, разочарованіями, препятствіями и всѣми перипетіями нѣжныхъ страстей. Но какъ-ни много наблюдалъ Григоровичъ народъ, онъ все таки зналъ его не настолько, чтобы изображать любовныя исторіи среди крестьянъ въ ихъ натуральномъ видѣ и психической правдѣ, тѣмъ болѣе, что наблюдать мужиковъ ему приходилось преимущественно въ ихъ общественной жизни, какъ они проявляютъ себя въ кабакахъ, на базарахъ, на сходкахъ, на деревенскихъ праздникахъ, въ объясненіяхъ съ господами или бурмистрами, но конечно ему никогда не приходилось видѣть, какъ любятъ парня и дѣвки, какъ они при этомъ цѣлуются и что говорятъ на тайныхъ свиданіяхъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ заставлялъ выводимую въ романѣ молодежь изъясняться въ любви, томиться, страдать, ревновать и великодушничать совершенно такъ-же, какъ это все дѣлалось въ то время въ помѣщичьихъ усадьбахъ подъ вліяніемъ чтенія французскихъ романовъ. Такимъ образомъ любящіеся парня и дѣвки и вышли у него вродѣ пейзажъ романовъ Ж. Занда. — Но и въ большихъ романахъ Григоровича встрѣтите массу второстепенныхъ лицъ, стариковъ, не занимающихся любовными интригами, которые изображены какъ нельзя болѣе реально и являясь передъ вами чисто-

кровными русскими мужиками, нисколько на французскихъ пейзажъ не похожи. Что-же касается до мелкихъ разсказовъ Григоровича, то къ нимъ вышеозначенный предразсудокъ никакого отношенія имѣть не можетъ. Въ разсказахъ этихъ все до послѣдней степени натурально, просто и непосредственно взято изъ жизни, начиная съ сюжетовъ и кончая дѣйствующими лицами и массою деревенскихъ сценъ, наполняющихъ разсказы. Что можетъ быть неестественнаго и похожего на французское пейзажное, напримѣръ, хотя-бы въ личности захудалаго мужичонка Антона горемыки, который принужденъ ради уплаты оброка продавать на ярмаркѣ послѣднюю лошадепку, да и ту у него уводить конокрады, или въ изображеніи спротки скотницы Акулины, которую баринъ насильно выдалъ замужъ въ богатую семью, думая сдѣлать ей этимъ благодѣяніе, а ее тамъ заклевали до смерти. Здѣсь все до послѣдней черточки какъ нельзя болѣе правдиво, во всемъ передъ вами здѣсь „Русь живетъ и Русью пахнетъ“. Однимъ словомъ не даромъ Бѣлинскій былъ въ восхищеніи отъ этихъ разсказовъ, и конечно этотъ въ высшей степени чуткій къ малѣйшей фальши критикъ не могъ-бы не замѣтить ея и въ разсказахъ Григоровича, если-бы въ нихъ дѣйствительно русскіе мужики были похожи на французскихъ пейзажовъ.

Въ гораздо большей степени обращаетъ на себя вниманіе въ деревенскихъ разсказахъ Григоровича вотъ какое обстоятельство: какія-бы ни изображалъ авторъ мрачныя и несчастныя приключенія съ его горемычными героями, повидимому желая возбудить въ читателяхъ сочувствіе и участіе къ угнетенному и угнетенному народу и протестуя противъ крѣпостнаго права, вы чувствуете, что авторъ въ этомъ отношеніи лишь платитъ дань своему времени, на самомъ-же дѣлѣ совѣсть не это болѣе всего занимаетъ и увлекаетъ. Онъ является передъ вами вовсе не публицистомъ и не психологомъ, а прежде всего художникомъ, живописцемъ. На первомъ планѣ всюду у него описаніе, картина, ландшафтъ: то изображеніе внутренности какой-нибудь убогой избы, то покривившагося плетня, то сцены у кабака въ духѣ деревенскаго жанра, то явленія природы, грозы, осенней непогоды, распутицы и т. п. Сюжеты разсказовъ являются при этомъ словно будто не болѣе какъ лишь рамками, въ которыхъ авторъ развертываетъ передъ вами цѣлую вереницу ландшафтовъ и картинокъ деревенскаго жанра. И надо отдать справедливость Григоровичу, какъ пейзажистъ и изобразитель *мнѣмней* дѣйствительности Григоровичъ является первостепеннымъ мастеромъ. Всѣ описанія его отличаются ясностью, отчетливостью, яркимъ, сочнымъ окраскомъ. Читая нѣкоторыя изъ нихъ, вамъ кажется, что ничего не стоило-бы сейчасъ-же воскресить ихъ на полотнѣ. Однимъ словомъ, не даромъ Григоровичъ началъ свое служеніе искусству съ живописи. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ призванъ былъ болѣе живописцемъ, чѣмъ поэтомъ, и какъ пейзажистъ занимаетъ первое мѣсто послѣ С. Аксакова.

Совѣсть другое приходится сказать относительно юмора, которому Григоровичъ въ свою очередь старался всегда заплатить обильную дань подобно большинству беллетристовъ сороковыхъ годовъ, подъ вліяніемъ Гоголя. Юморъ очевидно не принадлежитъ къ числу врожденныхъ качествъ таланта Григоровича и потому вездѣ, гдѣ онъ является въ его произведеніяхъ, производитъ на васъ непріятное впечатлѣніе чего-то напряженнаго, дѣланнаго, неестественнаго. Особенно грѣшитъ въ этомъ отношеніи

обширный романъ Григоровича *Проселочная дорога*, (1852 г.), въ которомъ изображается старый помѣщичій бытъ. Григоровичъ построилъ этотъ романъ совсѣмъ безъ интриги, на одномъ чистомъ юморѣ, а потому онъ принадлежитъ къ числу самыхъ неудачныхъ произведеній Григоровича; дочитать его до конца — дѣло большого труда, и рѣдко кто на это покушается.

Очень возможно, что именно преобладаніе описательнаго, живописнаго элемента въ талантѣ Григоровича и недостатокъ глубокаго проникновенія въ явленія жизни были причиною, что послѣ десяти лѣтъ литературной дѣятельности, періода крайне плодovitаго, въ который Григоровичъ успѣлъ написать большую часть имъ созданнаго, онъ вдругъ прекратилъ свою дѣятельность и словно стушевался, когда настали горячіе годы реформъ, и отъ писателей начали требовать серьезнаго, идейнаго содержанія. Когда-же волна общественнаго движенія упала, и настала эпоха новой реакціи, подобной пятидесятымъ годамъ, Григоровичъ вновь вынырнулъ въ послѣднее время съ своими повѣстями *Акробаты благотворительности*, *Гутанерчевый мальчикъ*. Но все-таки надо отдать справедливость Григоровичу, онъ до сихъ поръ остается однимъ изъ немногихъ людей сороковыхъ годовъ, не выронившихъ изъ рукъ знамени, которое держали въ своей юности, не поспѣшавшихъ встать въ открытую вражду съ движеніемъ шестидесятыхъ годовъ и людьми младшаго поколѣнія и не обратившихся изъ вождей прогресса въ поборниковъ мрака и застоя. Онъ остался чистымъ и незапятнаннымъ, и это одно зачтется ему въ большую заслугу!

### III.

Но увы, нельзя сказать того-же самаго объ Алексѣѣ Осеофлактовичѣ Писемскомъ, начавшемъ свое литературное поприще очень громко и блестяще, и кончившемъ весьма печально.

Родители Писемскаго были небогатые дворяне костромской губерніи, чухломскаго уѣзда.

«Прослуживъ лѣтъ тридцать въ дѣйствующей арміи, рассказываетъ Писемскій въ своей автобіографіи, отецъ мой уже въ чинѣ маіора нашелъ возможность побывать на родинѣ, т. е. въ костромской губерніи, которая отстояла отъ Кавказа на двѣ тысячи почти верстъ; но онъ тѣмъ не менѣе большую часть пути совершилъ въ сопровожденіи четырехъ денщиковъ верхомъ, находя ѣзду въ экипажѣ совершенно для себя непріятною и очень безпокойною. На родинѣ ему пришлось жениться на моей матери, изъ довольно достаточнаго семейства Шиловыхъ. Отцу моему въ это время было лѣтъ сорокъ пять, а матери тридцать семь. Плодомъ этого брака между прочими дѣтьми былъ и я, родившійся въ 1820 году, 10-го марта, въ усадьбѣ Раменье. Четверо дѣтей, бывшихъ передо мною, померли, а равно померли и бывшіе послѣ меня пять человѣкъ. Если позволительно дѣтямъ произносить судъ надъ родителями, то я могу такимъ образомъ опредѣлить моего отца и мою мать. Отецъ мой въ полномъ смыслѣ былъ военный служака того времени, строгій исполнитель долга, умѣренный въ своихъ привычкахъ до нуризма, человѣкъ неподкупной честиности въ смыслѣ денежномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сурово-строгій къ подчиненнымъ, — наши крѣпостные люди его трепетали, но только дураки и лѣнтяи, а умныхъ и дѣльныхъ онъ даже баловалъ иногда....

«Мать моя была совершенно иныхъ свойствъ: нервная, мечтательная, тонко-умная

и при всей недостаточности воспитанія прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она за исключеніемъ весьма умныхъ глазъ была нехороша, и по поводу ея наружности покойный отецъ мой, когда я былъ еще студентомъ, имѣлъ со мной такого рода бесѣду:—«Скажи мнѣ, Алексѣй, отчего это мать твою, чѣмъ дольше живетъ, тѣмъ красивѣе становится?»—«Оттого, папенька, что у мамашеньки много душевной красоты, которая съ годами все больше и больше выступаетъ».—Отецъ согласился со мной».

Первые десять лѣтъ Писемскій провелъ въ Ветлугѣ, куда отецъ его былъ опредѣленъ отъ комитета о раненыхъ городничими. Затѣмъ онъ жилъ въ деревнѣ, куда переселились его родители. Особенно рѣзвъ и шаловливъ онъ не былъ, но всегда любилъ устраивать игры въ попы, въ лошадики, пахалъ грядки, сидѣлъ на лабазѣ, подстерегая медвѣдя. Умственное развитіе Писемскаго совершалось незатѣйливо.

«Учиться, повѣстствуетъ онъ, меня особенно не нудили, да я и самъ не очень любилъ учиться; на зато читать и читать особенно романы любилъ до страсти; до четырнадцатилѣтняго возраста я уже прочелъ, въ переводѣ разумеется, большую часть романовъ В. Скотта, Донъ-Кихота, Фоблаза, Жильблаза, Хромого бѣса, Серапионовыхъ-братевъ, Гофмана, персидскій романъ Хаджи-Баба; дѣтскихъ-же книгъ я всегда терпѣть не могъ и, сколько припоминаю теперь, всегда ихъ находилъ очень глупыми.

«Наставники у меня были очень плохи, и все русскіе. Въ дѣтствѣ я кромѣ латинскаго языка никакому новому языку не учился, что мнѣ впоследствии приносило большой вредъ. Тщетно я въ гимназіи и университетѣ старался ознакомиться съ французскимъ и нѣмецкимъ языками, которымъ впрочемъ въ нѣкоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило года, какъ я забывалъ языки. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность къ языкамъ, къ исторіи и къ естественнымъ наукамъ; тогда какъ къ наукамъ философскимъ, къ математикѣ, къ метафизикѣ, къ логикѣ, эстетикѣ, этикѣ я весьма склоненъ».

Въ 1834 году, т. е. когда Писемскому было четырнадцать лѣтъ, его отдали въ костромскую гимназію, во второй классъ. „Учиться тамъ я началъ, говоритъ онъ, понятливо и довольно прилежно, но гораздо большую стяжалъ себѣ славу на актерскомъ поприщѣ“. Страсть къ театру, которую сохранилъ онъ на всю жизнь, пробудилась въ немъ подъ вліяніемъ гимназиста Стайновскаго, старшаго его годами и представленнаго къ нему чѣмъ-то вродѣ тьютора. Стайновскій затѣялъ поставить *Казаки стихотворца*, и въ немъ-то Писемскій весьма удачно сыгралъ комическую роль Прудіса.

Въ пятомъ классѣ Писемскій былъ признанъ учителемъ словесности прекраснымъ стилистомъ, въ шестомъ—написалъ уже повѣсть *Черкешенку*, а въ седьмомъ еще большую повѣсть *Чугунное кольцо*. Повѣсть эта была написана во вкусъ Марлинскаго. Писемскій посылалъ ее въ столичныя редакціи, которыя однако-же не приняли ея.

Въ 1840 году Писемскій кончилъ курсъ гимназіи и опредѣлился въ московскій университетъ на математическую факультетъ. Но здѣсь онъ весьма мало занимался науками, большую часть времени посвящалъ чтенію, упражненію въ декламаторскомъ искусствѣ, въ которомъ Писемскій всегда былъ большимъ мастеромъ, и любительскимъ спектаклямъ.—Слава о немъ какъ о превосходномъ чтецѣ Гоголя и объ исполненіи

имъ роли Подколесина, не уступающемъ Щепкину, разнеслась по всей Москвѣ, и избранное московское общество стекалось на любительскіе спектакли и чтенія почитать и послушать Писемскаго. Что касается до математическихъ наукъ, то все влияніе ихъ на Писемскаго заключалось въ томъ, по его словамъ, что „будучи фразеромъ, и въ этомъ случаѣ благодарю Бога, что избралъ математическій факультетъ, который сразу-же отрезвилъ меня и сталъ приучать говорить только то, что самъ ясно понимаешь“.

„Научныхъ свѣдѣній, говоритъ онъ далѣе: изъ моего собственнаго факультета и приобрѣлъ немного, но зато познакомился съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гете, Корне-лемъ, Распиномъ, Ж. Ж. Руссо, Вольтеромъ, В. Гюго и Ж. Зандомъ сознательно и оцѣ-нилъ русскую литературу“.

Надо полагать, что знакомство Писемскаго съ Вольтеромъ и Руссо было очень по-верхностное, такъ какъ мы замѣчаемъ, что онъ раздѣляетъ одну участь съ Ѳ. До-стоевскимъ: тотъ-же крайній недостатокъ философскаго образованія и вслѣдствіе этого полную нетронутость мышленія. До самой смерти Писемскій продолжалъ коснѣть въ традиціонныхъ вѣрованіяхъ и міросозерцаніи мало отличавшемся отъ міросозерцанія людей, стоявшихъ на самомъ низкомъ уровнѣ развитія. Оттуда и происходили въ Пи-семскомъ, подобно тому какъ и въ Достоевскомъ, расположеніе къ квасному патріотизму, склонность видѣть гибель въ каждомъ мало-мальски самостоятельномъ движеніи мыслей.

Въ 1844 г. Писемскій кончилъ курсъ со степенью дѣйствительнаго студента и поѣхалъ въ провинцію на службу.

«На моемъ успѣхѣ въ 1844 г. въ роли Подколесина, говоритъ онъ въ своей авто-біографіи, кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мнѣ предстояли горе и необходимость служить: отецъ мой уже померъ, мать пораженная его смертью была разбита параличемъ и лишилась языка, средства къ существованію были весьма небольшія. Все это понимая, я впалъ по приѣздѣ моемъ въ деревню въ меланхолію и ипохондрію, изъ какой спасла меня любовь. Еще ранѣе того, во время моего гимна-зическаго и университетскаго воспитанія, я влюбился идеально въ моихъ кузень, изъ которыхъ первая описана въ лицѣ Софи, въ *Взбаломученномъ морѣ*, а вторая въ лицѣ Марп въ *Людяхъ сороковыхъ годовъ*; по вышесказанной любви была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена впервыхъ въ романѣ моемъ *Боярщина*, въ отношеніяхъ Эльчанинова къ Аниѣ Павловнѣ, и потомъ вто-рой разъ въ *Людяхъ сороковыхъ годовъ*, въ отношеніяхъ Вихрова къ Фатѣевой. Но жизнь и родные не удовлетворились этимъ моимъ блаженствомъ, какъ неудовлетво-рилась имъ моя собственная совѣсть, тѣмъ болѣе что написанный мною тогда романъ *Боярщина*, какъ протестъ противъ брака, былъ прямо прихлопнутъ цензурой, значить надежда на авторство могла тогда показаться сумашествіемъ, и потому я рѣшился по-первыхъ посвятить себя службѣ, а потомъ жениться, избравъ для этого дѣвушку совершенно ужь не кокетку, изъ семьи хорошей, но небогатой. Счадѣя наша совер-шилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною въ *Взбаломучен-номъ морѣ* въ лицѣ Евпраксии, которой сверхъ того приданъ въ романѣ названіе ледешка».

Въ лицѣ жены своей, Екатерины Павловны, Писемскій сдѣлалъ необыкновенно удачный выборъ. Всѣ знающіе ее въ одинъ голосъ отзываются о пей, какъ о женщинѣ самыхъ рѣдкихъ достоинствъ. „Эта пріятная женщина, рассказываетъ Анненковъ,

умѣла успокаивать болѣзненную мнительность Писемскаго и освободила не только его отъ заботъ по хозяйству и воспитанію дѣтей, но что важнѣе—освободила его и отъ своего вмѣшательства въ его личную интимную жизнь, тоже исполненную капризовъ и порывовъ; она-же и переписала на своемъ вѣку по крайней мѣрѣ двѣ трети всѣхъ его сочиненій съ черновыхъ орпгиналовъ, представлявшихъ всегда страшно запачканную макулатуру изъ кривыхъ строчекъ, курпныхъ каракуль и черпильныхъ пятенъ“.

Первое мѣсто служенія Писемскаго была костромская палата государственныхъ имуществъ, а потомъ втеченіе двухъ лѣтъ онъ служилъ въ московской палатѣ того-же вѣдомства. Затѣмъ онъ поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ костромскому губернатору (князю Суворову). Въ 1849 году Писемскій былъ назначенъ ассесоромъ костромскаго губернскаго правленія и прослужилъ въ этой должности до 1853 года. Съ этого года и до 1859 года онъ служилъ въ Петербургѣ по министерству удѣловъ. Затѣмъ, послѣ семилѣтней отставки, въ 1866 году онъ опять поступилъ на службу совѣтникомъ въ московское правленіе, гдѣ дослужился до старшаго совѣтника. Наконецъ въ 1874 году окончательно вышелъ въ отставку въ чинѣ надворнаго совѣтника.

Первое произведеніе Писемскаго, романъ *Боярынина*, принятый въ *Отчественныя Записки*, былъ, какъ мы уже видѣли изъ словъ самого Писемскаго, прихлопнутъ цензурой въ 1847 году, увидѣвшей въ немъ протестъ противъ брака. Писемскій и самъ, не противорѣча этому приговору цензуры, какъ-бы соглашается съ нимъ. Очень возможно, что находясь подъ вліяніемъ Ж. Зандъ, подобно всѣмъ своимъ современникамъ, Писемскій мечталъ провести подобную тенденцію въ своемъ романѣ, но на самомъ дѣлѣ никакой тенденціи не провелъ, такъ какъ въ первомъ-же романѣ, несмотря на всѣ постороннія вліянія, явился вполне самобытнымъ писателемъ, и художественное творчество помимо воли его повело его совсѣмъ въ другую сторону: онъ оказался слишкомъ безнадежнымъ пессимистомъ для того, чтобы провести какую-бы-то ни было тенденцію. Въ самомъ дѣлѣ, какую-же тенденцію можно вывести изъ романа, сюжетъ котораго заключается въ томъ, что героиня сначала вышла замужъ поневолѣ за собразованнаго, грубаго и дикаго бурбона, не могла съ нимъ ужиться, бросила его, сойдясь съ молодымъ человекомъ высшаго образованія, но и въ немъ пришлось ей горько разочароваться, такъ какъ онъ оказался нкуда негодною тряпкою, и ей оставалось только умереть въ чахоткѣ.

Неудача съ *Боярыниною* не охладила Писемскаго къ литературнымъ трудамъ, и въ 1848 году былъ напечатанъ въ *Сынѣ Отчества* маленькій рассказъ его *Нина*. Затѣмъ приглашенный въ *Москвитянина*, онъ прижкнулъ къ почвепикамъ и съ ними перешелъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ въ *Библиотекку для Чтенія*, гдѣ онъ былъ утвержденъ редакторомъ послѣ Дружинина. Начиная съ 1850 года, слѣдуетъ непрерывный рядъ его произведеній въ *Москвитянина* и другихъ журналахъ: *Тюфякъ*, *Бракъ по страсти*, *Комикъ*, *Инокондрихъ*, *Богатый женихъ*, *Питерчицкъ*, М.-г. *Батмановъ*, *Раздѣлъ*, *Лыпий*, *Фонфаронъ* и пр. Въѣщомъ-же творческой дѣятельности является обширный романъ *Тысячи душъ*, напечатанный въ *Библиотеккѣ для Чтенія* въ 1858 году. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ Писемскій является по-

помѣнно тѣмъ-же самымъ, какъ и въ первомъ своемъ романѣ, безъ малѣйшихъ измѣненій и какихъ-либо шаговъ впередъ или назадъ. Его опредѣляли обыкновенно, какъ трезваго реалиста, чуждаго какой-бы то ни было идеализаціи, говорили при этомъ, что рисуетъ дѣйствительность во всей ея грязи и пошлости, онъ доходитъ порою до цинизма въ своихъ изображеніяхъ, при этомъ упрекали его въ отсутствіи идеала и вѣры въ прогрессъ.

Первымъ и самымъ главнымъ качествомъ Писемскаго является безнадежный пессимизмъ, но совершенно не тотъ философскій пессимизмъ, который присущъ и Тургеневу, и гр. Л. Толстому, и нѣкоторымъ другимъ беллетристамъ сороковыхъ годовъ; послѣдніе, сомнѣваясь въ окружающей дѣйствительности и современныхъ людяхъ, видѣли все-таки возможность иной дѣйствительности и иныхъ людей. Отнимите у пессимизма его Weltschmerz и всѣ романтическіе порывы къ лучшему, и вы получите тотъ циническій пессимизмъ практическаго буржуа, который столько навидѣлся въ своей жизни всевозможныхъ мерзостей, что утратилъ всякую вѣру въ человѣка, въ возможность какихъ-либо безкорыстныхъ высокихъ влеченій, за которыми не скрывалась-бы какая-нибудь грязь и пошлость, и ему остается лишь разоблачать всѣ эти явленія, кажущіяся свѣтлыми и отрадными, раскрывая всю ихъ низменность.

Пишущій эти строки самъ своими ушами слышалъ отъ Писемскаго одинъ весьма непечатный афоризмъ, смыслъ котораго заключается въ томъ, что какъ земля вокругъ своей оси, весь міръ вращается вокругъ половыхъ влеченій, все отъ нихъ происходитъ, все къ нимъ сводится, и что-бы ни творилось на землѣ высокаго и благороднаго, все это совершается ради нихъ. Въ этомъ афоризмѣ выражается вся философія Писемскаго и внутреннее содержаніе всѣхъ его произведеній, если только мы его неможемъ расширять въ томъ отношеніи, что единственно, что движетъ человѣчествомъ и составляетъ внутренній нервъ всей исторіи, это стремленіе всячески нѣжить и холить свое бrenное тѣло, и всѣ высокіе подвиги сводятся въ концѣ концовъ къ тому-же плотоугодію.

Если мы къ этому присоединимъ конкретность изображеній Писемскаго, обиліе выводимой грязи и подѣ-часъ циническую смѣлость въ ея изображеніи, то намъ невольно бросится въ глаза, что Писемскій имѣетъ много общаго съ современными французскими натуралистами: онъ предупредилъ и предсказалъ ихъ своими произведеніями.

Подобно большинству беллетристовъ сороковыхъ годовъ Писемскій не преминулъ написать нѣсколько произведеній изъ народнаго быта, таковы: *Питершиксъ*, *Львій*, *Плотничья артель*, *Горькая судьбина*, *Батька*. Знаніе народнаго быта Писемскій обнаружилъ замѣчательное; языкъ дѣйствующихъ лицъ поражаетъ васъ своею живостью и вѣрностью народному говору. Но въ то-же время и здѣсь Писемскій остался неизмѣненъ: онъ не льститъ народу, не идеализируетъ его и вмѣстѣ съ тѣмъ не выставляетъ его несчастнымъ для возбужденія къ нему участія читателей, а изображаетъ всѣ его пороки съ тѣмъ-же откровеннымъ протоколлизмомъ, какой вы найдете у Золя въ его „*La terre*“ или-же во *Власти тьмы* гр. Л. Толстого. Замѣчательно, что драма *Горькая судьбина*, при всемъ своемъ колоссальномъ успѣхѣ, раздѣляла одну участь съ *Власти тьмы* въ томъ отношеніи, что многіе были недовольны слишкомъ реальнымъ изображеніемъ убійства ребенка почти на самой сценѣ.



Но какъ ни велики были слава и популярность Писемскаго, уже въ концѣ пятидесятихъ годовъ литературная репутація его начала колебаться, и въ литературныхъ кружкахъ начали поспѣть смутные слухи о томъ, что Писемскій съ пѣною у рта говорить о всемъ движеніи шестидесятихъ годовъ и готовится писать романъ съ цѣлью положить въ немъ въ лоскъ молодое поколѣніе. Безъ сомнѣнія эти слухи и были причиною той холодности, съ которою были встрѣчены въ *Современникѣ* и романъ *Тысяча душъ*, неудовольствіи даже критическаго отзыва, и драма *Горькая судьбина*. Писемскій дѣйствительно находился въ то время въ крайне озлобленномъ настроеніи. Если такіе философски-образованные люди какъ Тургеневъ не могли ясно и вѣрно осмыслить массу новыхъ народившихся явленій, то что-же удивительнаго, что человѣкъ, опиравшійся въ своемъ мышленіи на одинъ только темный и неопредѣленный здравый смыслъ народа и ничего не видѣвшій вокругъ себя кромѣ агломерата пошлости и грязи, потерялся въ томъ вихрѣ всевозможныхъ противорѣчій, какой представляло собою движеніе шестидесятихъ годовъ.

Въ концѣ 1861 года Писемскій открыто заявилъ себя противникомъ движенія, начавши писать фельетоны въ *Библіотекѣ для Чтенія* подъ псевдонимомъ Никиты Безрылова, въ которыхъ между прочимъ насмѣшливо отозвался противъ процѣтавшихъ въ то время литературныхъ чтеній и воскресныхъ школъ. Фельетоны эти возбудили противъ себя цѣлую бурю въ либеральномъ лагерѣ, и особенно обрушились на нихъ въ *Искрѣ*. Писемскій былъ потрясенъ до глубины души этими нападками на него и отвѣчалъ на нихъ въ *Библіотекѣ для Чтенія* столь оскорбительно, что издатель *Искры*—Курочкинъ и Степановъ, вызвали Писемскаго на дуэль, которая впрочемъ не состоялась.

Это еще болѣе раздражило и озлобило Писемскаго, и вотъ въ 1863 году появился романъ его *Взбаломученное море*, возбудившій противъ себя всеобщее негодованіе и ожесточеніе во всѣхъ либеральныхъ слояхъ общества.

Нельзя сказать, чтобы въ романѣ Писемскаго была проведена реакціонная тенденція вродѣ позднѣйшихъ романовъ въ этомъ родѣ Вс. Крестовскаго и Б. Маркевича. Нельзя также сказать, чтобы Писемскій искажалъ дѣйствительность, представляя ее въ каррикатурномъ видѣ умышленно или вслѣдствіе плохого ея изученія, какъ это мы видимъ напримѣръ у Гончарова въ его Маркѣ Волоховѣ. Писемскій остался какъ пельза болѣе вѣреть себѣ въ томъ отношеніи, что собралъ всю ту грязь, которую видѣлъ вокругъ себя, и все движеніе шестидесятихъ годовъ изобразилъ исключительно только съ этой грязной стороны, ничего не признавая въ немъ, кромѣ одной мпнутной мутн взбаломученнаго моря русской жизни, какъ и самъ говоритъ онъ въ послѣсловіи къ своему роману:

«Не мы виноваты, что въ быту нашемъ много грубости и чувственности, что такъ называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не дѣлать... или дѣла тьпзоръ. что, не цѣня и не прислушиваясь къ нашей главной народнои силѣ, *здравому смыслу*, она кидается на нервный-же фосфорическій свѣтъ, гдѣ-бы и откуда ни мелькнулъ онъ, и дѣтски вѣрить, что въ немъ вся сила и спасеніе!

«Въ началѣ нашего труда, при раздаваніи насъ около насъ со всѣхъ сторонъ говорятъ, шумѣ, трескѣ, ясное предчувствіе говорило намъ, что это не буря, а только рыба и

пузыри, отчасти надутые извнѣ, и отчасти появившіеся отъ поднявшейся снизу разной дряни. Событія какъ нельзя лучше оправдали наши ожиданія.

Нужно-ли и говорить о томъ, что при реальности и вѣрности дѣйствительности, хотя вѣрности крайне односторонней,—въ политическомъ отношеніи романъ Писемскаго былъ въ неизмѣримой степени вреднѣе для всѣхъ друзей русскаго прогресса, чѣмъ если-бы Писемскій нагаль въ немъ въ три короба. Ложь не замедлила-бы опровергнуть и оклеветанная правда восторжествовала-бы съ новою силою; но романъ тѣмъ и ужасенъ, что онъ глубоко правдивъ, обнаруживая всѣ тѣ язвы, какія коренились въ движеніи того времени, но къ сожалѣнію однѣ только язвы, какъ будто весь организмъ его родины былъ сплошь изъѣденъ безысходной гангреной. Вредъ такого крайняго пессимизма усугубляется тѣмъ еще, что въ художественномъ отношеніи это самое сильное произведеніе изъ всего написаннаго Писемскимъ, и по жизненности и вѣрности типовъ, и по сложности сюжета съ самымъ широкимъ захватомъ всей русской жизни, и по тому животрепещущему интересу, съ которымъ онъ читается, и по силѣ производимаго впечатлѣнія. Видно, что Писемскій положилъ въ него всю свою душу, сконцентрировалъ весь тотъ опытъ, какой вынесъ изъ своей жизни.

Это было послѣднее властное и вліятельное слово, какое сказалъ Писемскій, и этимъ словомъ литературная дѣятельность его сразу вся исчерпалась. Послѣ того онъ многое еще написалъ; такъ напримѣръ, четыре объемистые романа—*Люди сороковыхъ годовъ* (1869), *Въ водоворотъ* (1871), *Мѣщане* (1877) и *Массоны* (1878), массу драматическихкихъ пьесъ—каковы: *Подкопы*, *Вааль*, *Просвѣщенное время*, *Финансовый гений*, *Самоуправцы*, *Бывые соколы*, *Поручикъ Гладковъ*. Но всѣ эти произведенія представляютъ собою лишь блѣдную тѣнь прежняго Писемскаго; они охотно читались, раскупались, имѣли минутный сценическій успѣхъ, но проходили безслѣдно, не производя никакого вліянія, никакихъ критическихъ обсужденій или разговоровъ.

Послѣдніе годы своей жизни Писемскій провелъ въ Москвѣ. Онъ былъ обезпеченъ, жилъ въ своемъ собственномъ домѣ на Поварскомъ; но состояніе его духа было очень печально. Онъ отъ природы былъ расположенъ къ ипохондріи и крайней мнительности. Подъ старость-же лѣтъ подъ вліяніемъ того погрома, который онъ пережилъ по выходѣ *Взбаломученнаго моря*, горькаго сознанія увяданія своего творчества и общественнаго невниманія, хандра его принимала съ каждымъ годомъ все большіе и большіе размѣры, и вмѣстѣ съ тѣмъ усиливались его старанія заглушить тоску виномъ. Особенно сильно запылъ онъ послѣ внезапной смерти нѣжно любимого сына Николая, застрѣливашагося отъ неизвѣстной причины. Къ нравственнымъ недугамъ со временемъ присоединились и тѣлесныя. Смерть второго сына, Павла, профессора московскаго университета, окончательно доканала Писемскаго; онъ умеръ 21-го января 1881 г.

#### IV.

Михаилъ Васильевичъ Авдѣевъ родился въ 1821 г. въ Оренбургѣ. Отецъ его уральскій казакъ, человекъ зажиточный и занимавшій видныя мѣста въ яицкомъ

войскѣ, вышелъ изъ него, недовольный новыми порядками, и поступилъ въ гражданскую службу. Однимъ изъ первыхъ учителей Авдѣева былъ сосланный въ Оренбургъ извѣстный польскій писатель Тома Занъ, другъ Мицкевича и основатель виленьскаго патріотическаго общества *Филаретовъ*. Затѣмъ Авдѣевъ учился въ гимназіи въ Уфѣ, а окончилъ образованіе въ корпусѣ путей сообщенія, откуда онъ былъ выпущенъ поручикомъ въ 1842 г., и отправился на службу въ Нижній-Новгородъ, а въ 1852 году въ чинѣ капитана вышелъ въ отставку. Во время крымской войны онъ былъ выбранъ начальникомъ дружины оренбургскаго ополченія, а въ шестидесятыхъ годахъ былъ членомъ крестьянскаго по дѣламъ присутствія.

Послѣ выхода въ отставку Авдѣевъ поселился въ доставшейся ему отъ отца деревнѣ, въ весьма живописной гористой мѣстности стерлитамакскаго уѣзда; здѣсь онъ проживалъ большую часть года, пріѣзжая въ столицы лишь на зимніе мѣсяцы. Въ 1862 г. онъ былъ сосланъ въ Пензу; но черезъ годъ ему дозволено было уѣхать за-границу, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ, близко сойдясь съ Тургеневымъ, съ талантомъ котораго онъ чувствовалъ въ себѣ наиболѣе средства. Умеръ Авдѣевъ въ Петербургѣ 1-го февраля 1876 г.

Талантъ Авдѣева былъ очень небольшой, произведенія его не блещутъ яркими художественными достоинствами ни оригинальностью. Онъ бралъ либеральною гуманностью своихъ чувствъ и симпатій и ловкимъ умѣньемъ попадать въ самый фарватеръ общественнаго теченія. Разъ чувствуя себя въ этомъ фарватерѣ, онъ смѣло отдавался теченію, сочинялъ романъ или повѣсть по соответствующему шаблону, выводя нѣсколько героевъ, повидимому самыхъ современныхъ, но въ сущности стереотипныхъ и сочиненныхъ, какъ и въ цѣломъ каждое произведеніе его оказывалось всегда сочиненнымъ и надуманнымъ. Тѣмъ не менѣе романы его производили въ свое время очень живое впечатлѣніе, благодаря животрепещущимъ темамъ, мастерству разсказа и развитія сюжета, приправленнаго умными и резонными разсужденіями. Два-же раза въ своей литературной дѣятельности ему удалось затронуть самыя чувствительныя нервы общественнаго настроенія, что и выдвинуло его впередъ.

Въ первый разъ большую сенсацію произвели три повѣсти его, напечатанныя въ *Современникѣ* 1849, 51 и 52 гг. — *Варинька*, *Записки Тамирина* и *Ивановъ*, изданныя потомъ отдѣльно въ 1852 г. подъ общимъ названіемъ *Тамиринъ*. Это было какъ разъ такое время, когда и въ жизни, и въ литературѣ окончательно развѣнчивались всѣ романтическіе идеалы и въ томъ числѣ печоринскій типъ, когда Тургеневъ въ цѣломъ рядѣ произведеній показывалъ всю нравственную несостоятельность и ничтожество различнаго рода провинціальныхъ Гамлетовъ и Донъ-Жуановъ, а Гончаровъ смѣялся надъ порывами Александра Адуева; въ это самое время Авдѣевъ выступилъ со своимъ Тамиринымъ какъ нельзя болѣе кстати и сразу приобрѣлъ извѣстность столь лестную, что имя Тамирина сдѣлалось кличкою для всѣхъ выдохшихся провинціальныхъ Печориныхъ того времени и очень часто встрѣчалось на страницахъ журналовъ въ критическихъ статьяхъ и обзорѣніяхъ.

Второй разъ Авдѣеву удалось попасть въ самую жилку эпохи девять лѣтъ спустя, когда въ *Современникѣ* 1860 года былъ напечатанъ романъ его *Подводный камень*. Это было какъ разъ въ такой моментъ, когда только что былъ под-

нять женскій и семейный вопросы, когда у всѣхъ на устахъ были горячія разсужденія о вредѣ и гнусности семейнаго деспотизма, о необходимости полной свободы чувствъ и объ избавленіи женщины отъ ея вѣковаго рабства. Романъ Авдѣева, изображающій свободную измѣну жены по добровольному согласію великодушнаго мужа, пришелся обществу какъ нельзя болѣе по душѣ и возбудилъ сенсацію, несмотря на то, что казалось-бы тема романа вовсе не блистала особенною новизною: она была сколкомъ съ извѣстнаго романа Ж. Занда „Jasque“ и не разъ уже разрабатывалась въ нашей литературѣ, такъ напримѣръ и въ *Кто виноватъ?* Искандера, и въ *Полиньякъ Саксъ* Дружинина. Но въ романѣ Авдѣева публику подкупило именно ловкое умѣнье автора подать старое кушанье подъ самымъ современнымъ и свѣжимъ соусомъ.

Но только два раза и удалось Авдѣеву сдѣлаться героемъ дня. Третья попытка его въ этомъ родѣ потерпѣла полное нѣмство. Это было въ концѣ уже шестидесятыхъ годовъ, когда женскій вопросъ съ почвы свободы чувствъ успѣлъ перейти на почву труда, когда всѣ реформы были уже совершены и земство только что открыло свою дѣятельность. Въ это время Авдѣевъ выступилъ съ новымъ большімъ романомъ *Между двухъ огней*, напечатаннымъ въ *Совр. Обзор.* 1868 г.

Здѣсь выставленъ былъ новый герой, дѣятельный землецъ Камышинцевъ, сходящійся послѣ разныхъ перипетій съ новою женщиною, занимающейся самостоятельнымъ трудомъ въ качествѣ сельской учительницы, Анной Барсуковой. Но романъ этотъ не произвелъ никакаго впечатлѣнія на публику и не имѣлъ успѣха.

Новый человѣкъ оказался очень старымъ, все тѣмъ-же бонвиваномъ и донъ-жуаномъ сороковыхъ годовъ съ благородными порывами при полномъ неумѣньи осуществлять и доводить ихъ до конца и при отсутствіи всякой стойкости; настоящіе-же новые люди, если и не оказались осмѣяны благодушнымъ авторомъ съ тою злобою, съ какою въ то время относились къ нимъ сверстники его, во всякомъ случаѣ остались непоняты имъ и поставлены въ тѣни и полномъ пренебреженіи.

Поставивъ своего обветшалаго героя, представляющаго какую-то неопредѣленную амальгаму Лаврецаго и Калпновича, между двухъ огней, т. е. между реакціонерами и радикалами, Авдѣевъ не замедлилъ и самъ встать между тѣхъ-же двухъ огней съ своимъ романомъ, такъ какъ въ то время какъ критики лѣваго лагеря негодовали на Авдѣева за то, что онъ возвелъ въ героя такого пошляка какъ Камышинцевъ, критики праваго лагеря—изъявляли недовольство за слишкомъ мягкое отношеніе къ „нигилистамъ“ со стороны Камышинцева и самого автора.

Провалившись такимъ образомъ на служеніи новымъ злостямъ дня, оказавшимся и для Авдѣева такою-же *terra incognita*, какъ и для всѣхъ его сверстниковъ, Авдѣевъ вновь вернулся къ старой темѣ, снискавшей ему наиболѣе лавровъ, именно свободной любви, и написалъ нѣсколько повѣстей въ этомъ родѣ—*Магдалина* (*Дѣло*, 1869 г., № 1), *Сухая любовь* (*Дѣло*, 1870 г., № 10), *Шестрѣмъкая жизнь* (*Отч. Зап.*, 1870 г., № 1), но эпоха увлеченія вопросомъ о свободной любви давно прошла, и Авдѣевъ снискалъ лишь этими своими произведеніями эпитетъ „спеціалиста по брако-разводнымъ дѣламъ“.

Послѣдняя крупная вещь его—романъ *Въ сороковыхъ годахъ* былъ напечатанъ

въ *Вѣстникъ Европы* за 1876 годъ уже послѣ его смерти. Очень слабый въ художественномъ отношеніи и не задѣвающій уже никакихъ злобъ дня, какъ это явствуетъ и изъ его заглавія, романъ этотъ любопытенъ лишь въ историческомъ отношеніи, такъ какъ въ немъ между прочимъ изображенъ кружокъ Бѣлинскаго и особенно Герценъ.

V.

Такъ какъ романы беллетристовъ сороковыхъ годовъ особенно неотразимое сильное вліяніе оказали на русскихъ женщинъ, воспитавши цѣлое поколѣніе поборницъ женской эмансипаціи и піонерокъ на пути женской самостоятельности, то нѣтъ ничего мудренаго, что въ русской литературѣ, начиная съ конца сороковыхъ годовъ и до нашего времени, возникъ цѣлы йрядъ женщинъ-писательницъ въ духѣ этой школы. Такъ, въ пятидесятые годы пользовалась извѣстностью романистка, писавшая подъ псевдонимомъ Стапцкая, — урожденная Авдотья Яковлевна Брянская (дочь извѣстнаго актера Як. Брянскаго), а по мужьямъ Панаева и Головачева, обратившая на себя вниманіе романомъ *Семейство Тальниковыхъ*, напечатанномъ въ *Иллюстрированномъ Альманахѣ*, приложенномъ при *Современникѣ* 1848 года, при жизни еще Бѣлинскаго, а затѣмъ написавшая въ сотрудничествѣ съ Некрасовымъ два обширные романа *Три страны свѣта* и *Мертвое озеро*. Позже, въ 60-хъ и 70-хъ годахъ печатались въ разныхъ журналахъ романы Марка Вовчка (Марьи Александровны Марковичъ, урожденной Вилевской, о которой будетъ рѣчь въ слѣдующей главѣ), Смирновой, Лѣтневой, и пр. Всѣ произведенія этихъ писательницъ представляютъ одну и тотъ-же характеръ подражанія тургеневскому жанру, т. е. содержаніе ихъ главнымъ образомъ основано на анализѣ любви, на почвѣ помѣщичьихъ нравовъ.

Изъ всѣхъ-же беллетристокъ послѣднихъ сорока лѣтъ большую самостоятельность выказала, а посему большею пользою пользуется почетомъ и наибольшаго заслуживаетъ вниманія Надежда Дмитріевна Хвощинская, на которой мы и остановимся.

Надежда Дмитріевна Хвощинская, по мужу Заіончковская, а по псевдониму В. Крестовскій, родилась въ 1825 году 20 мая въ Рязани, гдѣ служилъ ея отецъ сначала по вѣдомству коннозаводства, а затѣмъ окружнымъ начальникомъ по министерству госуд. имущ. Хвощинская воспитывалась дома, рано обнаружила любовь къ литературѣ и начала писать стихи. Въ *Литературной газетѣ* за 1847 годъ, въ № 38, были помѣщены впервые ея шесть стихотвореній съ надписью полного имени. Затѣмъ стихотворенія ея начали появляться въ *Пантеонѣ*, *Репертуарѣ*, *Отчественныхъ Запискахъ*, а въ 1853 г. въ *Пантеонѣ* (№ 1—3) была напечатана повѣсть ея въ стихахъ *Деревенскій случай*, вышедшая потомъ отдѣльной книгой.

Первое прозаическое сочиненіе Хвощинской была повѣсть *Анна Михайловна*, напечатанная въ № 6 *Отчественныхъ Записокъ* за 1850 г. и впервые подписанная уже не собственнымъ именемъ Хвощинская, какъ предыдущія вещи, а псевдонимомъ В. Крестовскій. Подъ обаяніемъ успѣха Хвощинская въ 1852 г. отправилась въ Петербургъ, и это былъ ея первый выѣздъ изъ Рязани и первое посѣщеніе столицы, гдѣ она встрѣтила самый радушный пріемъ. Вслѣдъ затѣмъ началась непрерывная дѣятельность Хвощинской. Произведенія за произведеніемъ печатались преимущественно въ *Отчествен-*

ныхъ *Запискахъ*, иногда и въ другихъ журналахъ: *Пантеонъ*, *Русскомъ Вѣстникѣ*, *Вѣстникѣ Европы* и пр. Упомянемъ главныя и наиболѣе выдающіяся изъ ея повѣстей и романы: *Сельскій учитель* (1850), *Искушеніе* (1852), *Кто жъ остался доволенъ* (1853), *Испытаніе* (1854), *Послѣднее дѣйствіе комедіи* (1856), *Свободное время* (1856), *Баритонъ* (1861), *Въ ожиданіи лучшаго* (1861) *Два памятныхъ дня* (1868), *Первая борьба* (1869), *Большая медвѣдица* (1870—71), *На вечеръ* (1876), *Альбомъ, группы и портреты* (1874—77) и пр.

Скромная, робкая и застѣнчивая, она до самой смерти сохраняла типъ провинціалки; не любила большого общества, толпы, предпочитая уединеніе и тѣсный кружокъ друзей. Почти всю жизнь прожила она въ Рязани въ небольшомъ домицѣ, доставшемся ей отъ родителей, кормя своими трудами старушку мать и убогую сестру. Когда онѣ померли и Хвощинская осталась одна, она переѣхала въ Петербургъ, гдѣ и прожила послѣдніе годы своей жизни въ сообществѣ съ г-жою М-ой, съ которою находилась въ тѣсной дружбѣ. Петербургскій климатъ пришелся ей не понутру; она схватила воспаленіе въ легкихъ, которое приняло хроническую форму, но у нея не было средствъ даже и для переѣзда на дачу и послѣдніе два, три года прожила она безвыездно въ городѣ, медленно угасая и борясь въ то-же время съ удручающею нуждой. Лишь весной 1889 года она переѣхала на дачу въ Старый Петергофъ, но уже для того только, чтобы помереть—8-го іюня ея не стало; 10-го іюня она была похоронена на старо-петергофскомъ Тропецкомъ кладбищѣ.

Литературную дѣятельность Хвощинской можно раздѣлить на два періода. Первый періодъ обнимаетъ первое десятилѣтіе ея дѣятельности съ 1850 года по 1861 годъ. На всѣхъ произведеніяхъ этого періода отражается съ одной стороны реакція пятидесятихъ годовъ, съ другой—замкнутая провинціальная жизнь писательницы. Не говоря уже о томъ, что въ нихъ изображаются исключительно одни нравы провинціального бомонда, дѣйствіе не выходитъ изъ семейной сферы и въ то-же время вѣсь поражаетъ узость міросозерцанія автора. Это романы губернскихъ баловъ, пикниковъ и усадебныхъ развлеченій. Преобладающими типами являются здѣсь мать семейства въ видѣ коварной интриганки, съ молодую кокетку, а подъ старость суровая ханжа и нервная тиранка, держащая весь домъ въ ежовыхъ рукавицахъ, производящая ежедневно чувствительныя нервныя сцены съ истериками и выдающая дочерей за первыхъ попавшихся соискателей ради поправленія разстроенныхъ финансовъ; добрякъ отецъ, ни во что не входящій, съ молодца украшавшійся рогами, а подъ старость выдерживающій ежедневно истерики своей супруги, покоряющійся безусловно ея непоколебимой волѣ и оплакивающій судьбу дочерей, выдаваемыхъ за пегодиевъ; типъ изнѣженнаго, избалованнаго селадона съ высокими фразами о чувствахъ, объ обязанностяхъ и вполне несостоятельнаго на дѣлѣ, оказывающагося и коварнымъ другомъ, и безхарактернымъ любовникомъ; типъ сынка, обезличеннаго и доведеннаго до послѣдней степени идиотизма подъ гнетомъ материскаго деспотизма, соединеннаго съ баловствомъ,—словомъ Митрофанушки нашего времени; рядъ молодыхъ дѣвушекъ простыхъ, добрыхъ, способныхъ глубоко и беззавѣтно полюбить, но совершенно обезличенныхъ и доведенныхъ до пассивнаго повиновенія; наконецъ рядъ старыхъ дѣвъ, обездоленныхъ, терпящихъ вѣчныя попреки и поношенія, тщетно ищущихъ любви и участія въ людяхъ.

Главное достоинство всѣхъ этихъ произведеній — задушевная теплота тона и гуманное участіе ко всѣмъ угнетеннымъ и обиженнымъ. Живо и глубоко чувствуя всѣми своими нервами одуряющую ложь пошлой жизни свѣтскаго досуга, постигнувъ всю грязь провинціальнаго сплетенія, тщеславія, зависти и мелкой злобы, весь давящій и обезличивающій гнетъ семейнаго деспотизма, Хвоцинская изображаетъ эту печальную дѣйствительность во всей ея безобразной наготѣ, не жалѣя красокъ, не жалѣя анализа крайне утонченнаго, подчасъ вполне микроскопическаго. Каждый ея романъ это потрясающая драма, въ концѣ которой у васъ разрывается сердце при видѣ какой-нибудь безотвѣтной жертвы этой ужасающей среды, или въ видѣ молодой дѣвушки, судьбою которой родители распоряжаются какъ имъ угодно, тщетно рыдающей у ногъ ихъ въ мольбахъ о счастьи; или старой дѣвы, представляющей мишенью для плоскихъ насмѣшекъ высокомерныхъ благодѣтелей, пріютившихъ ее изъ жалости, и праздныхъ селадоновъ, приходящихъ къ нимъ въ гости; или молодой дамы, вдовы, которую какой-нибудь пошлый свѣтскій хлыщъ и волокита позволяетъ себѣ компрометировать безнаказанно въ глазахъ свѣта, и она не знаетъ, куда дѣться ей подъ гнетомъ гнусныхъ клеветъ и сплетенъ, обрушивающихся на нее со всѣхъ сторонъ въ праздное, пустое общество.

Но при всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ романовъ Хвоцинской, величайшій недостатокъ ихъ заключается въ томъ, что писательница, не останавливаясь на одномъ отрицаніи, снѣшить усюючить читателей, выводивъ рядъ свѣтлыхъ явленій, положительныхъ типовъ, но тутъ-то именно и сказывается узость нравственнаго кругозора писательницы. Идеальность положительныхъ типовъ Хвоцинской заключается обыкновенно въ томъ, что писательница надѣляетъ ихъ добродѣтелями въ духѣ прописной морали вроде постоянства въ любви и дружбѣ, гуманности къ низшимъ, честности въ денежныхъ расчетахъ. Но изъ-подъ всѣхъ этихъ качествъ такъ и проглядываютъ филистерство, узкая ограниченность мѣщанской посредственности, а подчасъ и жалкая тряпичность. Особенно любила часто Хвоцинская отбѣнять свѣтскую среду людьми несвѣтскаго покроя, бѣдняками, труженниками. Но всѣ эти бѣдные труженники являются у Хвоцинской въ свою очередь подъ личиною идеальныхъ совершенствъ жалкими пошляками, которые терпятъ тысячу всевозможныхъ оскорбленій со стороны свѣтскихъ хлыщевъ, и не только хлыщамъ проходятъ все это безнаказанно, но идеальныхъ бѣдняковъ какой-то магнитъ такъ и тянетъ непременно въ ту самую свѣтскую среду, гдѣ имъ нѣтъ мѣста.

Романъ *Большая медведица* стоитъ на рубежѣ второго періода дѣятельности Хвоцинской. Содержаніе этого романа построено уже не на исключительно семейной, а на общественной почвѣ движенія шестидесятыхъ годовъ; является попытка изобразить новую женщину, стремящуюся на путь труда и общественнаго блага. Но тѣмъ не менѣе встрѣчаете вы въ романѣ не мало дореформенной закваски въ видѣ хотябы идеализаціи безкорыстнаго провинціального чиновника, старика Багрянскаго съ его домостроевскою моралью.

Въ дальнѣйшихъ-же своихъ произведеніяхъ Хвоцинская вполне уже встала на новый путь, почти совсѣмъ отрѣшившись отъ всѣхъ своихъ прежнихъ недостатковъ.

Къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ этого второго періода ея дѣятельности относятся: *Первая борьба* и *Альбомъ, группы и портреты*.

Главное содержаніе всѣхъ этихъ произведеній заключается въ мрачной картинѣ того паденія нравовъ и общаго оношленія, какія замѣчаются въ русскомъ обществѣ семидесятыхъ годовъ послѣ подъема его въ шестидесятые годы. Преобладающими типами являются здѣсь люди павшіе, не выдержавшіе борьбы за правду, соблазненные матеріальными благами жизни и измѣнившіе горячимъ убѣжденіямъ и порывамъ своей юности. Особенное мастерство проявляетъ при этомъ Хвощинская въ изображеніи двуличныхъ лицемѣровъ, повидимому такихъ безкорыстно честныхъ, гуманныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ порядочныхъ при первомъ поверхностномъ знакомствѣ съ ними, а при ближайшемъ съ ними столкновеніи оказывающихся малодушными, подлыми и безсердечно низкими эгоистами.

Надежда Степановна Соханская, извѣстная въ публикѣ подъ псевдонимомъ Гохановской, родилась 17 февраля 1825 г.; умерла въ 1884 г. Она замѣчательна тѣмъ, что это единственная русская писательница, которая была глубоко, до мозга костей, проникнута славянофильскими тенденціями съ примѣсью узкаго фанатичнаго консерватизма въ духѣ допетровскихъ традицій и домостроевской морали. Это сгубило ея талантъ, во всякомъ случаѣ замѣчательный и сильный. Какую-бы повѣсть ея вы ни начали читать (лучшія изъ нихъ *Послѣ обѣда въ гостяхъ*, *Гайка*), въ каждой васъ поразитъ рядомъ съ глубокимъ знаніемъ народной жизни, вопіющія натяжки и искаженія дѣйствительности ради того, чтобы во что бы ни стало подогнать сюжетъ къ прославленію священной старины и пропитать его запахомъ деревяннаго масла. И чѣмъ болѣе писала она, тѣмъ болѣе и болѣе подливала деревяннаго масла въ свои повѣсти, пока не дописалась наконецъ до *Недавней встрѣчи*, въ которой нѣтъ ни образовъ, ни лицъ, а вы найдете лишь цѣлый потокъ мистическихъ разглагольствованій о суетѣ міра сего въ духѣ *Переписки съ друзьями* Гоголя. Впрочемъ литературная дѣятельность ея длилась не болѣе десяти лѣтъ, въ продолженіе шестидесятыхъ годовъ. Въ теченіи же семидесятыхъ и восьмидесятыхъ она не появлялась въ печати и имя ея было почти забыто.

---



## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

I—Преобладаніе беллетристики изъ народнаго быта. Идеалистически-сентиментальное позрѣніе на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Марко-Вовчокъ. II—Смѣшно-отрицательное отношеніе къ народу. Николай Васильевичъ Успенскій и Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ. III.—Оффиціальное изученіе народнаго быта. Сергѣй Васильевичъ Максимовъ. Григорій Петровичъ Данилевскій. IV—Павелъ Ивановичъ Мельниковъ. V—Начало объективнаго изученія народнаго быта. Павелъ Ивановичъ Якушкинъ.

### I.

Прямымъ и непосредственнымъ результатомъ демократизаціи русской мысли и тяги къ народу было образованіе втеченіе разсматриваемаго нами періода отдѣльной, самостоятельной отрасли беллетристики изъ народнаго быта, по обширности и своеобразности которой вы не найдете ничего подобнаго въ западныхъ литературахъ. Если появлялись на Западѣ романы и повѣсти изъ народнаго быта, то они или представлялись дѣломъ случая и преслѣдовали тѣ психологическія и художественныя цѣли, какія господствовали въ современной имъ литературѣ, каковы напр. были романы изъ сельской жизни Ж. Зандъ и Дж. Эллиотъ. Если вы и найдете тамъ писателей, специально посвятившихъ свою дѣятельность изображенію народнаго быта, каковы напримѣръ Ауэрбахъ и Эркманъ Шатріанъ, то и подобные писатели вовсе не являются объективными и безпристрастными изслѣдователями народнаго быта, а преслѣдуютъ свои особенныя политическія цѣли и сообразно имъ изображаютъ народъ въ томъ видѣ, въ какомъ имъ требуется, то идеализируя его, то напротивъ того изображая въ самыхъ мрачныхъ и грязныхъ краскахъ (напр. „La terre“ Золя).

Совсѣмъ не то мы видимъ у насъ въ Россіи въ послѣднія сорокъ лѣтъ. Не одинъ, не два, а десятки появляются писателей, посвятившихъ свою дѣятельность изображенію народнаго быта, изъ которыхъ многіе представляются чисто сподвижниками: отправляются въ народъ специально для изученія его, по цѣлымъ годамъ странствуютъ изъ села въ село, собирая былины, пѣсни, сказки, изучая обряды, весь бытъ народа, стараются проникнуть въ его экономическія и социальныя основы и постигнуть народную душу и народные идеалы, подвергаясь при этомъ всякаго рода преслѣдованіямъ и опасностямъ и буквально жертвуя животомъ своимъ.

Вслѣдствіе этого стремленія къ изученію народнаго быта, увлекшаго можно сказать всю интеллигенцію, беллетристика этого рода в теченіе сорока лѣтъ своего существованія успѣла пережить цѣлую исторію, вмѣщающую въ себѣ нѣсколько фазъ развитія. Такъ первая фаза относится къ концу сороковыхъ годовъ и началу пятидесятихъ, и представителями ея являются тѣ самые беллетристы сороковыхъ годовъ, дѣятельность которыхъ мы разсматривали въ предыдущихъ главахъ. Мы видѣли, что всѣ они заплатили свою лепту разсказамъ изъ народнаго быта. Во главѣ ихъ слѣдуетъ поставить Тургенева съ его *Записками охотника*. За нимъ слѣдуетъ Григоровичъ, дѣятельность котораго только что была разсмотрѣна нами въ предыдущей главѣ. Гр. Л. Толстой, не говоря уже о крестьянахъ, мѣщанахъ и прочихъ людяхъ изъ низшихъ слоевъ общества, которыхъ вы найдете во всѣхъ его произведеніяхъ, особенно въ *Севастопольскихъ разсказахъ*, *Казакахъ* и *Войнѣ и мирѣ*, написалъ два произведенія специально изъ народнаго быта—*Поликушка* и *Власть тьмы*. У Достоевскаго масса типовъ изъ народной среды выведена въ самомъ лучшемъ и здоровомъ произведеніи его *Запискахъ изъ мертвого дома*. Гончаровъ, никогда не касавшійся крестьянскаго быта, такъ какъ не имѣлъ возможности изучить его, тѣмъ не менѣе въ своихъ произведеніяхъ изобразилъ нѣсколько типовъ дворовыхъ слугъ, а во *Фрегатѣ Палладѣ*—матросовъ.

Первый починъ въ изученіи народнаго быта принадлежалъ такимъ образомъ писателямъ изъ помѣщичьяго класса, и это было какъ нельзя болѣе естественно. Въ интеллигенціи сороковыхъ годовъ, главнымъ образомъ сосредоточивавшейся въ дворянскомъ классѣ, помѣщики ближе всего стояли къ народу. Но близость эта была чисто внѣшняя и къ тому-же рабовладѣльческая; помѣщики не имѣли возможности войти во внутреннія условія народнаго быта, проникнуть въ душу народа и его идеалы. Ихъ отдѣляла отъ народа цѣлая бездна того недоверія и затаенной вражды, которую питали крестьяне къ барамъ, не исключая и самыхъ гуманныхъ изъ нихъ.

Это отразилось и въ большинствѣ произведеній изъ народнаго быта беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Характеры, типы и эпизоды, выводимые въ этихъ произведеніяхъ, носятъ слишкомъ конкретный характеръ; все это имѣетъ видъ случайно подмѣченнаго и схваченнаго изъ жизни. *Касьянъ изъ Красивой Мечи*, *Хорь*, *Камыньчъ*, *Яковъ рядчикъ* и пр., и пр. стоятъ одиноко передъ вами, вовсе не составляя какихъ-либо собирательныхъ типовъ, въ которыхъ мы видѣли-бы представителей народныхъ массъ. Изображаются подобныя конкретныя характеры преимущественно съ ихъ психологической стороны и въ ихъ личной жизни. До такой степени беллетристы сороковыхъ годовъ были мало еще знакомы съ внутренними условіями народной жизни, что въ произведеніяхъ ихъ вы не видите и слѣда той мірской, общинной жизни, какою живетъ нашъ народъ. Главное общественное значеніе этихъ произведеній заключалось или въ изображеніи тѣхъ страданій и невзгодъ, какія выноситъ народъ подъ гнетомъ крѣпостнаго права не только отъ дурныхъ, но и отъ хорошихъ помѣщиковъ, или-же въ выведеніи симпатичныхъ и положительныхъ типовъ крестьянъ съ цѣлью убѣдить читателей, что мужики представляютъ собою вовсе не двуногій вьючный скотъ, почти что не имѣющій образа и подобія человѣческаго, а—такіе-же люди, какъ и мы, также чувствуютъ, мыслятъ, страдаютъ отъ обидъ и лишеній и стремятся къ лучшему, а

встрѣчаются между ними и такіа идеальныя личности, подобныхъ которымъ вы не встрѣтите въ интеллигентныхъ классахъ.

Къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ по характеру разсказовъ изъ народнаго быта примыкаетъ и Марко-Вовчокъ (М. А. Марковичъ), о которой мы упоминали въ предыдущей главѣ. Разсказы ея появились впервые въ 1859 году на малороссійскомъ языкѣ и тотчасъ-же были переведены самимъ авторомъ на русскій языкъ и напечатаны въ лучшихъ и наиболѣе распространенныхъ тогдашнихъ журналахъ. Въ томъ-же 1859 году другая коллекція украинскихъ разсказовъ М. Вовчка была переведена И. С. Тургеневымъ, издана отдѣльною книжкою и удостоилась весьма лестнаго отзыва Добролюбова, который посвятилъ въ *Современникъ* этимъ разсказамъ цѣлую статью.

Разсказы М. Вовчка наиболѣе подкупили и критику, и публику тѣмъ, что явившись въ такое время, когда всѣ умы были увлечены предстоящей крестьянской реформой, они вполне удовлетворяли злобѣ дня, такъ какъ содержаніе большинства ихъ было посвящено изображеніямъ страданій крѣпостныхъ подъ гнетомъ помѣщиковъ. Къ тому-же, пользуясь свободой тогдашней цензуры, М. Вовчокъ не пожалѣла самыхъ мрачныхъ красокъ для угнетателей и самыхъ яркихъ для угнетенныхъ и по силѣ и рѣзкости протеста превзошла все, что до того времени появлялось въ этомъ родѣ. Многіе видѣли въ ней русскую Бичеръ-Стоу, и сочиненія ея выдержали втеченіе шестидесятихъ годовъ три изданія.

Но слава М. Вовчка закатилась съ такою-же быстротою, съ какою и разгорѣлась. Если въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ смотрѣли сквозь пальцы на слабыя стороны ея разсказовъ благодаря отчасти ихъ политическому содержанию, отчасти тому, что народный бытъ былъ еще въ то время мало извѣстенъ, то десять, пятнадцать лѣтъ спустя, они утратили всякое обаяніе, и тогда выступили наружу существенныя ихъ недостатки: самое поверхностное знаніе народнаго быта, при полномъ отсутствіи живыхъ, реальныхъ красокъ въ изображеніяхъ его, довольство однимъ общими, стереотипными чертами, какія только можно узнать изъ чтенія народныхъ пѣсенъ и сказокъ, и выходящая изъ всѣхъ предѣловъ плаксивая сентиментальность. Нельзя отказать Марко Вовчку въ талантѣ, но это талантъ крайне субъективный, болѣе лирическій, чѣмъ эпическій, обнаруживающій подчасъ способность къ очень тонкому психическому анализу, но стоящій въ то-же время всецѣло на романтической почвѣ вымысла. Поэтому самыми лучшими, и теперь еще неутратившими своего значенія, являются сказки Марко Вовчка,—таковы: *Сказка о девяти братьяхъ разбойникахъ и о десятой сестрицѣ Галѣ, Невольница, Медведь, Кармелюкъ, Маруся* и т. п. Благодаря тому, что это сказки,—вы не требуете отъ нихъ живого и реального изображенія народнаго быта и миритесь съ ихъ сентиментальностью, подобно тому какъ не ставите вы въ вину тѣхъ-же качествъ *Ундинѣ* Жуковского. Въ то-же время вы не можете не признать неотъемлемаго ихъ достоинства: того гуманнаго и демократическаго духа, которымъ онѣ проникнуты.

М. Вовчокъ впрочемъ и сама повидному со временемъ сознала, что изображенію народнаго быта вовсе не слѣдо. Втеченіе шестидесятихъ и семидесятихъ годовъ она написала нѣсколько повѣстей и романовъ изъ интеллигентныхъ слоевъ общества, но

произведенія эти, нынѣ почти забытыя, ничѣмъ не выделяются изъ уровня посредственности. Самыя лучшія изъ нихъ являются *Замиски причетника*, поразившія публику такимъ знаніемъ быта сельскаго духовенства, какого трудно было ожидать отъ женщины дворянскаго класса, равно какъ и такую объективность, какой въ прежнихъ ея разсказахъ не замѣчалось.

## II.

Въ противовѣсъ идеалистически-сентиментальному воззрѣнію на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ явились беллетристы, выразившіе совершенно противоположное отношеніе къ нему, которое мы назовемъ смѣхотворно-отрицательнымъ. Мы не можемъ иначе объяснить это странное отношеніе къ мужику въ такую эпоху, когда тяга къ народу и сочувствіе ему были всеобщими, какъ послѣднею отрыжкою вѣками укоренившагося въ помѣщичьемъ кругу высокоумно-презрительнаго взгляда на народъ, совершенно аналогичнаго воззрѣнію на крестьянъ польскихъ пановъ, какъ на *исовое быдло*.

Въ то время какъ на сценѣ Александринскаго театра представителемъ такого отношенія къ народу выступилъ Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ, потѣшавшій публику своими смѣхотворными разсказами изъ народнаго быта, въ литературѣ мы видимъ двухъ беллетристовъ, подвизавшихся на томъ-же поприщѣ: Николая Васильевича Успенскаго и Василя Алексѣевича Слѣпцова.

Николай Васильевичъ Успенскій родился въ 1837 году въ тульской губерніи, въ ефремовскомъ уѣздѣ. У его дѣда, сельскаго дьячка чернскаго уѣзда, было трѣ сына, изъ которыхъ у сына Василя Яковлевича, священника въ ефремовскомъ уѣздѣ, родился Николай, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, а у сына Ивана, секретаря палаты государственныхъ имуществъ, родился Глѣбъ, сдѣлавшійся впоследствии еще болѣе знаменитымъ изобразителемъ народнаго быта.

Н. Успенскій воспитывался въ тульской семинаріи и затѣмъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ былъ въ медико-хирургической академіи, откуда перешелъ въ с.-петербургскій университетъ, но курса тамъ не кончилъ. Этимъ Н. Успенскій былъ обязанъ конечно тому литературному успѣху, какой онъ пріобрѣлъ, будучи еще въ академіи. Втеченіе 1857—58 гг. была напечатана въ *Современникѣ* цѣлая серія его разсказовъ: *Поросянокъ*, *Хорошее житіе*, *Сцены изъ сельскаго праздника*, *Грушка*, *Змѣй*, и популярность его столь быстро возросла, что когда въ 1861 г. были изданы Некрасовымъ 24 его разсказа отдѣльнымъ изданіемъ въ 2-хъ томахъ, Чернышевскій написалъ въ *Современникѣ* весьма лестную для автора статью — *Не начало-ли перемѣны*, въ которой указалъ на ту особенность разсказовъ Н. Успенскаго, что между тѣмъ какъ до того времени народъ изображался въ идеализованномъ видѣ ради возбужденія сочувствія къ нему, Н. Успенскій первый началъ писать о народѣ правду безъ всякихъ прикрасъ.

Но это было заблужденіе, не замедлившее въ скоромъ времени обнаружиться. *Изображеніе безъ прикрасъ* подъ перомъ Н. Успенскаго оказалось изображеніями, мало того что весьма поверхностными и случайными, но къ тому-же и пересоленными

въ противоположную сторону. Однимъ словомъ вся философія этихъ рассказовъ выразилась въ слѣдующихъ словахъ *Дерсенскихъ писемъ* его.

«Бѣдность и невѣжество русскаго крестьянина принели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужого труда; онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ».

Въ силу этого воззрѣнія въ рассказахъ Н. Успенскаго народъ представляется въ невообразимо безобразномъ видѣ; каждый мужикъ непремѣнно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какихъ и свѣтъ не производилъ; каждая баба такая пдіотка, это ума помраченіе. Вообще очерки Н. Успенскаго это случайно схваченныя изъ жизни сценки и анекдоты въ видѣ какого-нибудь разговора на постояломъ дворѣ, разсказа проѣзжаго мужика, купца или бабы. Словомъ все, что удавалось Н. Успенскому мелькомъ увидѣть или услышать, все это онъ такъ и передавалъ, въ томъ сыромъ и конкретномъ видѣ, въ какомъ оно представлялось глазамъ его, съ единственною цѣлью показать, какъ русскій мужикъ невѣжественъ, дикъ, смѣшонъ, какъ онъ загнанъ и забитъ, какъ тонетъ въ грязи невѣжества, суевѣрій, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человѣческаго образа и подобія въ герояхъ Н. Успенскаго одуряютъ васъ, когда вы читаете его очерки. Вы видите передъ собою людей, которые въ жизни своей ничѣмъ болѣе не руководствуются, какъ только грубою, скотскою чувственностью, ни къ чему не стремятся, какъ лишь нажить копѣйку или спустить ее въ кабакъ; да и въ этихъ стремленіяхъ что шагъ ступать, то сдѣлаютъ какую-нибудь невообразимую глупость.

При такомъ характерѣ рассказовъ понятно, что популярность Н. Успенскаго не могла быть продолжительна. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ онъ былъ совсѣмъ уже забытъ. И затѣмъ вырожденіе по крайней мѣрѣ двадцати лѣтъ велъ ужасающую жизнь крайней нищеты и безпробуднаго пьянства. Случалось ему зачастую ночевать въ почтовыхъ домахъ Москвы и Петербурга, случалось собирать подаяніе, играя на гармоникѣ и забавляя разсказами пародныхъ сценъ публику въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ. Въ его бездомныхъ скитаніяхъ сопровождала его дочь, десятилѣтняя дѣвочка, которую онъ переодевалъ иногда въ костюмъ мальчугана и заставлялъ плясать подъ звуки гармоникки. Наконецъ въ 1889 г. 26 октября онъ зарѣзался въ Москвѣ, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобную жизнь.

### III.

Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду. Отецъ его, Алексѣй Васильевичъ, былъ помѣщикъ и владѣлъ 1,500 десятинами земли и 250 душъ саратовской губ., сердобскаго уѣзда. Онъ служилъ въ харьковскомъ уланскомъ полку, дѣлалъ турецкую и польскую кампаніи. Въ бытность свою въ гродненской губерніи женился на дочери древней польской фамиліи, Жозефинѣ Адамовнѣ Вельбутовичъ-Поклопской. Впослѣдствіи онъ перешелъ въ новороссійскій драгунскій полкъ въ Воронежѣ, гдѣ и родился первенецъ Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ, въ

1836 г. 17 июля. Спустя годъ по его рожденіи, отецъ его вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ родителямъ со своимъ семействомъ въ Москву, гдѣ былъ зачисленъ въ московскую комиссаріатскую комиссію.

Слѣпцовъ былъ любимцемъ всей семьи, особенно матери, для которой оставался кумиромъ до смерти. Съ ранняго дѣтства показывалъ онъ большія умственныя способности. Цара всегда былъ кроткаго и тихаго, сердца мягкаго, такъ что не могъ выносить, когда его сверстники мучили животныхъ или мухъ.

Всегда съ дѣтства онъ былъ красивъ; постоянно занятъ былъ разнаго рода издѣліями, и въ послѣдствіи, бывши уже писателемъ, изучалъ столярное и слесарное ремесла. Самъ выучился пяти лѣтъ читать; былъ набоженъ въ дѣтствѣ и семилѣтъ собрался въ монастырь, надъ чѣмъ въ послѣдствіи смѣлся. Когда ему минуло 8 лѣтъ, родители въ Москвѣ взяли къ себѣ гимназиста 5-го класса готовить его въ гимназію. Но гимназистъ не умѣлъ пріохотить мальчика къ наукамъ, особенно къ латыни, такъ что тотъ плакалъ, заучивая латинскую грамматику. Родители перемѣнили учителя и взяли студента Апурина, который такъ хорошо преподавалъ, что латынь стала любимымъ занятіемъ Слѣпцова. Французскимъ языкомъ занималась съ нимъ мать, а нѣмецкимъ бабка по матери. Десяти лѣтъ Слѣпцовъ поступилъ во 1-й классъ 1-й московской гимназіи. Спустя 1½ года, отецъ Слѣпцова получилъ въ наслѣдство имѣніе въ саратовской губ. въ сердобскомъ уѣздѣ, деревню Александровку или Дубовку, и семейство переехало туда, взявши съ собою и Василия Алексѣевича. Затѣмъ его помѣстили въ дворянскій институтъ въ Пензѣ, по окончаніи курса въ которомъ отвезли юношу въ Москву. Въ это время была крымская кампанія, и родные посоветовали помѣстить Слѣпцова въ одинъ изъ полковъ дѣйствующей арміи. Василий Алексѣевичъ было согласился, купилъ программу и началъ готовиться въ полкъ, но попалъ въ общество студентовъ, перемѣнилъ свое намѣреніе и сталъ готовиться въ московскій университетъ, гдѣ и выдержалъ экзаменъ на медицинскій факультетъ.

Но вскорѣ знакомство съ профессоромъ Китарой и Далемъ отвлекло его далеко отъ медицины. Ему было предложено отъ этнографическаго отдѣла Императорскаго географическаго общества пойти путешествовать съ котомкой во Владиміръ на Клязьмѣ для описанія тамошнихъ фабрикъ и строившейся въ то время французами желѣзной дороги. Слѣпцовъ съ удовольствіемъ принялъ предложеніе профессоровъ и отправился. Это и положило начало его ознакомленію съ народнымъ бытомъ.

Писать онъ началъ рано, еще въ пензенскомъ пансіонѣ, сначала конечно ужъ стихами. Затѣмъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ онъ сотрудничалъ въ *Русской Речи* у графини Е. В. Салліасъ, потомъ въ *Сѣверной числѣ* и *Атенѣ*. Въ это время онъ женился въ Москвѣ на Языковой, имѣлъ отъ нея сына, который умеръ, и дочь Валентину. Но онъ не сошелся характеромъ съ женою и разстался съ нею. Въ то-же время онъ получилъ наслѣдство послѣ отца, но такъ какъ никогда не любилъ деревенскаго хозяйства, то и продалъ имѣніе своему брату, а самъ уѣхалъ въ Петербургъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ начался полный расцвѣтъ его литературной дѣятельности. Онъ сошелся съ кружкомъ *Современника*, куда былъ приглашенъ въ постоянные сотрудники съ обязательствомъ писать исключительно въ этомъ журналѣ, а послѣ ареста Чернышевскаго съ 1864 года до закрытія *Современника* въ 1866 году

раздѣлялъ созданіе и соредакторство *Современника* съ Н. А. Некрасовымъ, Г. З. Елсѣевымъ, М. А. Антоновичемъ, А. И. Пыпинымъ и Ю. Г. Жуковскимъ. Популярность его въ передовыхъ кружкахъ шестидесятыхъ годовъ во все это время была очень велика, и особенно много поклонницъ имѣлъ онъ среди женщинъ. Этимъ былъ обязанъ Василій Алексѣевичъ прежде всего, конечно, своей весьма счастливой наружностью. „Наружность Слѣпцова, говоритъ г-жа Головачева въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ, была очень эффектная и отличалась изяществомъ; у него были великолѣпные черные волосы, небольшая борода, тонкія и правильныя черты лица; когда онъ улыбался, то видны были необыкновенной бѣлизны зубы. Цвѣтъ лица былъ матово-блѣдный. Онъ былъ высокъ, строенъ и одѣвался скромно, но тщательно“. Всѣ оставшіеся послѣ него портреты не передаютъ и въ сотой долѣ его красоты, замѣчательной всѣмъ ансамблемъ стройно-изящной, гибкой фигуры его, непередаваемою игрою души въ тонкихъ чертахъ его лица, остроуміемъ, гениальнымъ умѣньемъ во время насмѣшки, во время заставить заплакать, незаметно вкрасѣться въ душу собесѣдницы и сразу покорить сердце ея задумчивѣйшимъ топомъ рѣчи.

Ко всему этому онъ былъ до мозга костей артистъ, и эта артистическая жилка проявлялась въ немъ во всѣхъ мелочахъ его жизни: и въ одеждѣ, и въ томъ комфортѣ, которымъ онъ себя окружалъ, и въ страсти ко всевозможнымъ изящнымъ вещичкамъ. Случалось, что, идя мимо Милютиныхъ лавокъ, онъ вдругъ увлекался какими-нибудь необыкновенно изящнымъ яблочкомъ и покупалъ его, но не для того чтобы тотчасъ съѣсть, а положить на письменный столъ и любоваться его красотой.

«Надо замѣтить, говоритъ г-жа Головачева, что и въ мелочахъ онъ способенъ былъ увлекаться. Онъ придумалъ заказать токарю для своего письменнаго стола березовые подсвѣчники, покрытые лакомъ, носивъ съ своимъ изобрѣтеніемъ, показывая колоритнымъ знакомымъ эти подсвѣчники, и былъ очень доволенъ, если кто-нибудь просилъ его заказать такіе-же подсвѣчники или канделябры. Слѣпцовъ самъ давалъ токарю рисунки и слѣдилъ за его работой, а когда токарь взялся въ лѣтнемъ помѣщеніи приказничьяго клуба украсить танцевальное зало люстрами изъ березы, то Слѣпцовъ до такой степени былъ озабоченъ, какъ будто самъ вѣдалъ этотъ заказъ. Каждый день онъ бѣгалъ къ токарю, наблюдалъ за его работой, давалъ совѣты, дѣлалъ рисунки».

Будучи артистомъ на всѣ руки, онъ былъ и хорошимъ актеромъ, и режиссеромъ, и великолѣпно пѣлъ народныя пѣсни подъ аккомпаниментъ балалайки. Страсть собирать народныя пѣсни и наблюдать народные нравы соединялась въ немъ съ умѣньемъ сблизиться съ народомъ.

«Гдѣ-бы Слѣпцовъ ни поселялся въ меблированной квартирѣ, говоритъ г-жа Головачева, прислуга чувствовала къ нему особенное расположеніе и всѣми силами старалась угодить ему. Вообще у Слѣпцова въ голосѣ было что-то ласкающее, такъ-что люди изъ простого класса изъ самыхъ мрачныхъ и молчаливыхъ дѣлались съ нимъ разговорчивыми до откровенности. Я очень любила слушать, когда Слѣпцовъ бесѣдовалъ съ кѣмъ-нибудь изъ этого класса людей; съ каждымъ изъ нихъ у него былъ особенный слогъ, который совпадалъ съ языкомъ какого-нибудь мастерового, мужика-работача или торговки-бабы. Онъ такъ умѣлъ шутить съ ними, что они отъ души смѣялись».

Вотъ эти-то всѣ качества и привлекали къ Слѣпцову тогдашнія женщины. Мою о

немъ, какъ о писателѣ, стоявшемъ во главѣ женскаго вопроса, покровитель женщинъ, принимавшемъ горячее участіе въ пріисканіи имъ работы и помогающемъ устриваться, — далеко распространилась по всѣмъ провинціямъ, и къ Слѣпцову являлись постоянно массы искательницъ новыхъ путей, но многія изъ нихъ, познакомившись съ нимъ, безумно влюблялись въ него. Такимъ образомъ сердечные романы его не прекращались.

«Все они, по словамъ г-жи Головачевой, были кратковременные и оканчивались всегда непріятнымъ для него образомъ. — Онъ не могъ выносить ревности, а ему попадались именно женщины очень ревнивыя. Слѣпцовъ не хотѣлъ притворяться и обманывать и выводилъ женщинъ изъ себя тѣмъ, что сохранялъ полное хладнокровіе въ бурныхъ сценахъ ревности. Онъ былъ такъ набалованъ побѣдами, что едва успѣвалъ покончить романъ съ одной женщиной, какъ являлись другія въ него влюбленныя. Слѣпцовъ не придавалъ большого значенія скоровоспалительной любви въ женщинахъ и имѣлъ неосторожность всегда это высказывать, чѣмъ конечно женщины оскорблялись и считали его за самаго сухого эгоиста».

Трудно рѣшить, любилъ-ли онъ хотя одну изъ тѣхъ многочисленныхъ женщинъ, которыя добивались его благосклонности, но при всемъ томъ далеко нельзя было назвать его сухимъ эгоистомъ, какъ это дѣлалось въ понятномъ раздраженіи отвергнутой имъ любовницы. Онъ искренно и безавѣтно увлекался женскими вопросамъ, и это тѣмъ болѣе увеличивало его привлекательность и популярность среди женщинъ. Самъ не зная, куда преклонить голову, ютясь по неблпрованнымъ комнаткамъ и не имѣя гроша за душою, онъ вѣчно хлопоталъ объ устройствѣ нуждающихся женщинъ и о доставленіи имъ работы. Знаменитая знаменская коммуна была одною изъ попытокъ въ этомъ родѣ, имѣвшей цѣлью устроить дешевое общежитіе. Не ограничиваясь этимъ, Слѣпцовъ устраивалъ въ пользу женщинъ музыкально-литературные вечера, спектакли, публичныя лекціи и т. под. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ втеченіе двухъ лѣтъ онъ занимался устройствомъ любительскихъ спектаклей въ художественномъ клубѣ. Но въ началѣ семидесятыхъ годовъ здоровье его было такъ уже разстроено и силы надорваны, что онъ принужденъ былъ совсѣмъ оставить литературную дѣятельность, и уѣхалъ лечиться на Кавказъ; послѣдніе годы жизни онъ проживалъ то на Кавказѣ, то на родинѣ близъ Сердобска, тщетно борясь съ болѣзью и медленно угасая. Въ 1878 году 23 марта онъ покончилъ со своею жизнью въ Сердобскѣ, на рукахъ у имѣю любимой матери. Похоронили его въ Сердобскѣ-же на городскомъ кладбищѣ.

Какъ писатель талантливый, Слѣпцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додумывался порою Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гуманнѣе по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что въ очеркахъ его на первомъ планѣ стоитъ не безцѣльное обличеніе пресловутаго „исвѣжества мужика“, какъ у Н. Успенскаго, а стремленіе показать, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ къ крестьянину нашему администрація, совершенно чуждая его быту. Но въ очеркахъ Слѣпцова вы видите тоже отсутствіе типовъ и психическаго анализа, какъ и у Н. Успенскаго, тоже ограниченіе случайными сценами, мелькомъ схваченными на большой дорогѣ. Отношенію администраціи къ быту крестьянина — это громадный вопросъ, требующій глубокаго изученія народнаго быта; не забудьте, что этия отношенія обуславливаются не одно ко-



мическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. Слѣпцовъ ограничился одною комическою стороною; да и для нея онъ выбиралъ постоянно такіе рѣдкіе, случайные факты, которые имѣютъ почти анекдотическій характеръ: то онъ выставилъ мужика, который заплатилъ деньги писарю, чтобы его поскорѣе высѣкли (см. рассказъ *Ночлегъ*); то изображалъ, въ какой просакъ попались крестьяне при встрѣчѣ высокой особы вслѣдствіе того, что свиньи испугали лошадей этой особы (рассказъ *Свиньи*); то, какъ крестьяне пьянаго приняли за мертваго и что изъ этого вышло. Все это пренеполнено комизма; вы хотите, читая повѣсти Слѣпцова; при мастерскомъ чтеніи на литературныхъ вечерахъ Слѣпцовъ производилъ фуроръ не сколько не менѣе Горбунова, но кромѣ смѣха ничего изъ этихъ рассказовъ вы не выносите. Факты, выставляемые Слѣпцовымъ, слишкомъ мелочны и случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, тѣмъ болѣе, что гонимая за комизмомъ, Слѣпцовъ впадаетъ на каждомъ шагу въ утрировку и шаржъ, вслѣдствіе чего очерки его еще болѣе теряютъ значеніе истинныхъ фактовъ народной жизни. Такую утрировку видите вы напримѣръ въ рассказѣ *Свиньи*, гдѣ Слѣпцовъ заставляетъ крестьянъ вѣрить, что будутъ ѣздить на людяхъ, и рассказываетъ, какъ подъ влияніемъ этихъ слуховъ бабы начали бить горшки и всякую посуду. Столь-же утрирована въ *Мертвомъ тѣлѣ* сцена, гдѣ мужики въ первый разъ увидѣли мнимаго мертвеца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги и не рѣшаются подойти къ нему.

Главное зло смѣхотворно-отрицательныхъ очерковъ изъ народнаго быта заключалось въ томъ, что они представляли собою обоюдоострое оружіе, появляясь въ самую роковую минуту освобожденія крестьянъ. Они имѣли цѣлью внушить читателямъ, до какого печальнаго положенія былъ доведенъ мужикъ крѣпостнымъ правомъ. Но факты, выставляемые ими, могли служить въ то-же время и отличными доказательствами необходимости того-же самаго крѣпостнаго права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опирались въ своихъ доводахъ въ пользу крѣпостнаго права, и смѣхотворно-отрицательные очерки доставляли отличный матеріалъ для нихъ. Читая эти очерки, они еще болѣе убѣждались, что предоставленные самимъ себѣ крестьяне погибнутъ отъ своей глупости, чуть не съѣдятъ другъ друга. „О какомъ-же тутъ народномъ самоуправленіи толкуете вы, имѣли полное право они возразить, прочитавши рассказъ Н. Успенскаго *Хорошее житье*, коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кромѣ взаимнаго разоренія крестьянъ посредствомъ оштіи другъ друга?“

Нѣтъ ничего мудренаго, что при всеобщемъ все болѣе и болѣе возрастающемъ стремленіи къ народу подобное чисто барское отношеніе къ нему свысока не могло имѣть прочнаго успѣха, и смѣхотворно-отрицательные очерки лишь мелькнули въ литературѣ нашей, быстро смѣнившись рассказами изъ народнаго быта, болѣе серьезными и правдиво-безпристрастными.

Въ то время, какъ Н. Успенскій, какъ мы говорили, быстро утратилъ свою популярность и сошелъ съ литературнаго поприща, почти всѣми позабытый, Слѣпцовъ-же обратился къ болѣе свойственному его таланту изображенію интеллигентнаго быта и написалъ повѣсть *Трудное время* (1865), которая представляется его шедевромъ и

въ свое время надѣлала не мало шума. Въ повѣсти этой превосходно изображенъ въ лицѣ героя ея Щетинина новый народившійся типъ пореформеннаго помѣщика-пріобрѣтателя буржуазнаго склада; съ большою глубиною и захватывающимъ самымъ живымъ современныя струны интересомъ развитъ романъ героини повѣсти Марьи Николаевны; наконецъ съ блестящимъ юморомъ изложены сцены земскаго собранія, этого въ то время еще новаго и едва народившагося явленія нашей жизни. Вообще эта повѣсть составляетъ весьма цѣнный вкладъ въ сокровищницу нашей литературы и заставляетъ сожалѣть о преждевременной утратѣ весьма недюжиннаго таланта въ лицѣ В. А. Слѣпцова.

### III.

Въ сторонѣ отъ этихъ двухъ взаимно противоположныхъ и уничтожающихъ другъ друга отношеній къ народу — сентиментально-идеалистическаго и смѣхотворно-отрицательнаго, на той-же дворянской почвѣ мы видимъ особенное отношеніе — административно-бюрократическое. Нужно-ли говорить о томъ, что правительство всегда было заинтересовано въ наиболѣе точномъ и всестороннемъ изученіи народныхъ массъ, подлежащихъ его управленію, и эта потребность особенно сдѣлалась существенною въ пятидесятые и шестидесятые годы, когда массы эти начали давать чувствовать себя и когда возникъ и назрѣлъ цѣлый рядъ вопросовъ, касающихся ихъ благосостоянія. Не наше дѣло говорить о всѣхъ тѣхъ официальныхъ и неофициальныхъ обществахъ, коммиссіяхъ, экспедиціяхъ и командировкахъ, какія возникали въ различныя времена, существуютъ и нынѣ съ цѣлью изученія народа съ разныхъ его сторонъ, интересующихъ администрацію въ тѣхъ или другихъ правительственныхъ видахъ. Мы упомянемъ лишь о тѣхъ фактахъ этого рода, которые отразились такъ или иначе въ литературѣ. Наибольшую энергію въ собираніи этнографическихъ свѣдѣній оказало послѣ крымской кампаніи морское министерство, пригласившее къ содѣйствію ему въ этомъ отношеніи нѣсколько извѣстныхъ въ то время литераторовъ и устроившее нѣсколько командировокъ на окраины Россіи. Такъ въ то время какъ Гончаровъ былъ отправленъ въ кругосвѣтное плаваніе на фрегатѣ Паллада, Писемскій былъ посланъ въ Астрахань на побережье Каспійскаго моря и результатомъ этого путешествія были *Путевые очерки* его, — въ неизмѣримой степени плодотворныѣ были командировки извѣстнаго беллетриста и этнографа Сергѣя Васильевича Максимова и Григорія Петровича Данилевскаго.

Сергѣй Васильевичъ Максимовъ родился въ 1831 году, въ посадѣ Парфентьевѣ костромской губерніи, кологривского уѣзда. Отецъ его былъ почтмейстеромъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ мѣстномъ народномъ училищѣ; изъ высшихъ заведеній былъ въ московскомъ университетѣ и медико-хирургической академіи. Первые его этнографическіе очерки обратили на себя вниманіе въ литературныхъ сферахъ, и ободренный этимъ успѣхомъ Максимовъ отправился для собиранія матеріала странствовать пѣшкомъ по владимірской и вятской губерніямъ, и результатомъ этихъ странствій былъ рядъ очерковъ, напечатанныхъ въ *Библіотекѣ для чтенія*, въ 1871-мъ-же году изданныхъ отдѣльно, подъ общимъ заглавіемъ *Лѣсная глушь*. Послѣ крымской кампаніи онъ былъ командированъ морскимъ министерствомъ на сѣверъ

Европейской Россіи, и результатомъ этого путешествія была пзвѣстная книга его *Годъ на съсертъ*, заключающая массу драгоцѣнныхъ свѣдѣній о народной жизни прибрежій Бѣлаго моря и Печорскаго края, — не только этнографическихъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но соціально-политическихъ и психологическихъ. Полученная, полубеллетристическая книга эта представляется весьма почтеннымъ вкладомъ въ дѣло изученія народной жизни, и у каждаго интересующагося этимъ предметомъ она должна занимать первое мѣсто. Географическое общество удостоило этотъ трудъ малой золотой медали. Вслѣдъ затѣмъ онъ исполнилъ еще двѣ командировки отъ морского министерства; 1) въ Сибирь и на Амуръ, результатомъ чего были сочиненія его *На востокъ и Сибирь и каторга* и 2) въ 1862 году по Уралу и берегамъ Каспійскаго моря. Съ 1868 года онъ объѣхалъ по порученію географическаго общества семь губерній: псковскую, смоленскую, моголевскую, витебскую, вилепскую, гродненскую и мивскую, результатомъ чего была извѣстная книга его *Бродячая Русь*. Изъ позднѣйшихъ работъ его заслуживаютъ вниманія множество очерковъ и описаній, помѣщенныхъ въ *Живописной Россіи*. изданіи Вольфа, статьи *Наше двугорье* въ шестомъ томѣ *Нови* и пр.

Григорій Петровичъ Данилевскій родился 14 апрѣля 1829 года въ имѣніи своей тетки по отцу Анны Ивановны Антоновой, въ селѣ Данпловкѣ пзюмскаго уѣзда харьковской губерніи. Дѣтскіе годы онъ провелъ частью въ змѣевскомъ имѣніи дѣда, селѣ Припидѣ близъ Донца, частью въ смежномъ отцовскомъ имѣніи, селѣ Петровскомъ.

Отецъ Данилевскаго Петръ Ивановичъ, бывшій уланъ и затѣмъ помѣщикъ погруженный въ сельское хозяйство, умеръ рано, 36 лѣтъ, когда сыну пошелъ десятый годъ. Мать — Екатерина Григорьевна, урожденная Купчинава, была весьма симпатичнаго, общительнаго и мягкаго характера. Страстно любя литературу и музыку, она съ тридцатыхъ годовъ выписывала лучшіе русскіе журналы, давая первую умственную пищу старшему сыну Григорію. Первоначальное образованіе Данилевскій получилъ дома, подъ руководствомъ домашней учительницы Евг. Н. Пчелкиной и нѣкоего Пеша. Затѣмъ кончилъ курсъ сперва въ московскомъ дворянскомъ институтѣ (бывшемъ университетскомъ институтѣ), а затѣмъ въ с-петербургскомъ университетѣ, отсюда въ 1850 году вышелъ кандидатомъ юридическаго факультета по камеральному отдѣленію. Будучи студентомъ, въ 1848 году онъ получалъ серебряную медаль за сочиненіе на конкурсѣ отъ философскаго факультета о Пушкинѣ и Крыловѣ. Съ 1850 по 1856 годъ Данилевскій служилъ по министерству народнаго просвѣщенія чиновникомъ особыхъ порученій при А. С. Норовѣ и П. А. Вяземскомъ. Въ это время онъ посѣтилъ Финляндію, Крымъ, работалъ по порученію министра Шорова въ архивахъ монастырей харьковской, курской и полтавской губерній, и командированный отъ археологической комиссіи по плану историка Устрялова, описалъ на мѣстѣ урочища, гдѣ происходилъ полтавскій бой.

Въ 1856 году Данилевскій былъ командированъ морскимъ министерствомъ на югъ Россіи, съ цѣлью описанія побережья въ Азовскаго моря, Днѣпра и Дона. Выйдя въ 1857 году въ отставку, онъ женился на дочери изюмскаго помѣщика Юліи Егоровнѣ Замятиной, и двадцать лѣтъ жилъ въ харьковской губерніи, частью въ родовомъ имѣніи отца с. Петровскомъ, частью въ имѣніи жены — Екатериновкѣ, изрѣдка путешествуя то за границей, то по Россіи.

Въ 1858 и 1859 гг. Данилевскій служилъ по выборамъ депутатомъ харьковскаго комитета по улучшенію быта помѣщичьихъ крестьянъ. Въ 1863 году въ качествѣ частнаго лица по порученію министра народнаго просвѣщенія Головинна онъ посѣтилъ и описалъ около двухсотъ народныхъ школъ харьковской губерніи. Въ первое трехлѣтіе существованія земства съ 1865 по 1869 г. Данилевскій прошелъ службу по выборамъ члена змѣвскаго училищнаго совѣта, гласнаго харьковскаго губернскаго земскаго собранія и члена харьковской земской управы, гдѣ втеченіе этихъ лѣтъ завѣдывалъ попечительнымъ отдѣломъ управы, народными школами губерніи, ея больницами, пріютами и проч. Въ 1867 и 1870 гг. онъ былъ избранъ почетнымъ мировымъ судьей змѣвскаго уѣзда.

По выходѣ изъ службы по земству Данилевскій предполагалъ заняться адвокатурой и въ 1868 году былъ указомъ сената утвержденъ присяжнымъ повѣреннымъ харьковскаго судебного округа. Но въ это время въ Петербургѣ возникла мысль объ изданіи *Правительственнаго Вѣстника*. Данилевскій по приглашенію Л. С. Макова получилъ въ этой газетѣ въ январѣ 1869 года мѣсто помощника главнаго редактора, которое онъ занималъ 13 лѣтъ, по августъ 1881 года, когда онъ былъ назначенъ главнымъ редакторомъ *Правительственнаго Вѣстника*. Это мѣсто онъ занималъ до своей смерти (6-го декабря 1890 г.), состоя также членомъ совѣта главнаго управленія по дѣламъ печати съ 1882 года.

На литературное поприще Данилевскій вступилъ въ 1846 году стихотвореніемъ *Славянская вина*, которое было напечатано въ *Иллюстраціи* 1846 года. Первые опыты его заключались въ рядѣ стихотворныхъ переводовъ изъ Байрона, Шпллера, Лонгфелло, Новалиса, Мицкевича и Шекспира. Между прочимъ онъ перевелъ драмы *Ричардъ III* и *Цимбелинъ* (*Библ. для Чт.* 1850 и 1851 гг.). Затѣмъ онъ издалъ рядъ стихотворныхъ украинскихъ сказокъ. Наибольшую-же популярность пріобрѣлъ романами *Былые въ Новороссіи*, *Былые воротились*, *Воля*, которые появились подъ псевдонимомъ Скавронскаго во *Времени* и въ *Эпохѣ* 1862 и 1863 гг. Явившись подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ освобожденія крестьянъ, романы эти нравились публикѣ не однимъ только сказочнымъ интересомъ замысловатыхъ и запутанныхъ сюжетовъ, но и гуманнымъ отношеніемъ къ народу, чуждымъ какъ излпшней идеализаціи, такъ и того казенно-оффиціальнаго взгляда, какой господствуетъ въ бюрократическихъ сферахъ, и какими проникнуты напримѣръ романы Мельникова. Вмѣстѣ съ тѣмъ бытовые романы Данилевскаго перечислены массою интересныхъ этнографическихъ свѣдѣній, собранныхъ авторомъ какъ во время своихъ странствій по Россіи, такъ и на земской службѣ. Такъ, читая романъ *Былые въ Новороссіи*, вы знакомитесь съ тою важною ролью, какую играли новороссійскія степи въ эпоху крѣпостного права, какъ постоянное убѣжище для крестьянъ, толпами бѣжавшихъ отъ помѣщичьяго гнета и вслѣдствіе своей безправности въ качествѣ бѣглыхъ подпадавшихъ здѣсь подъ новое ярмо эксплуататоровъ, долго пользовавшихся этою безправностью и закабалявшихъ ихъ въ еще болѣе тяжкое рабство, доходившее порою до права на жизнь и смерть. Въ нестрыхъ правахъ обитателей южныхъ степей и въ ихъ бытѣ, исполненномъ потрясающаго, порою даже и кроваваго драматизма, авторъ видитъ нѣчто подобное нравамъ восточныхъ штатовъ Сѣверной Америки; но если и дѣйствительно южныя степи шли для

Россіи въ свое время такое же эмиграціонное значеніе, какъ Америка для Европы, то надо признаться все-таки, что въ романахъ Данилевскаго открывается передъ нами Америка совершенно своеобразная, болѣе въ азіатскомъ, чѣмъ въ американскомъ духѣ.

Заплативши дань изображенію народнаго быта своими первыми романами, Данилевскій на долгое время замолчалъ, и послѣ одиннадцатилѣтняго перерыва выступилъ съ романомъ *Девятый валъ* (въ *В. Езр* 1874 г.), исполненнымъ своеобразнаго этнографическаго интереса, но совсѣмъ уже въ другомъ родѣ: романъ этотъ любопытенъ изображеніемъ быта женскихъ монастырей во всей его подпогоной. А затѣмъ черезъ пять лѣтъ Данилевскій выступилъ на поприще исторической беллетристики; по объ этомъ родѣ дѣятельности почтеннаго беллетриста намъ придется говорить отдѣльно въ своемъ мѣстѣ.

#### IV.

Въ одномъ ряду съ вышеозначенными представителями оффиціальнаго изученія народнаго быта свое мѣсто занимаетъ Павелъ Ивановичъ Мельниковъ. П. И. Мельниковъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода, вышедшаго съ Дона. Отецъ его Иванъ Ивановичъ былъ начальникомъ нижегородской жандармской команды. Въ 1818 г. онъ женился на дочери нижегородскаго исправника П. И. Сергѣева, Аннѣ Павловнѣ, и 22 октября 1819 года родился у нихъ первенецъ, котораго они въ честь дѣда назвали Павломъ. Такимъ образомъ Мельникова по отцу и по матери можно считать полнейскаго происхожденія. Дѣтство Мельниковъ провелъ по большей части въ городѣ Семеновѣ, гдѣ послѣдніе годы своей жизни служилъ его отецъ. Мельниковъ былъ крайне впечатлительный мальчикъ, чутко прислушивавшійся ко всему окружающему его. Онъ лежалъ въ ноябрѣ 1825 года въ горячкѣ, наѣвшись ледяныхъ сосулекъ, когда пришла вѣсть о кончинѣ императора Александра. Въ домѣ поднялся плачь, вопль. Плакала даже вся прислуга. Весь этотъ переполохъ усилилъ болѣзнь выродившаго мальчика, и докторъ выговаривалъ его родителямъ, что они не уберегли эту впечатлительную натуру отъ горестной для всѣхъ вѣсти. Докторъ этотъ былъ никто иной, какъ Карлъ Ивановичъ Гекторъ, врачъ наполеоновской арміи, плѣненный въ 1819 году подъ Краснымъ и присланный на житье въ Нижвій Новгородъ, гдѣ принялъ русское подданство и получилъ дипломъ на званіе штабъ-лекаря въ семеновскомъ уѣздѣ. Онъ лечилъ въ домѣ родителей Мельникова и сверхъ того обучалъ послѣдняго французскому языку, и ему былъ обязанъ Мельниковъ знаніемъ этого языка.

Вообще, несмотря на небольшіе недостатки, родители Мельникова не жалѣли средствъ для образованія своихъ дѣтей. Болѣе-же всего былъ обязанъ Мельниковъ первоначальнымъ образованіемъ матери, которая любила литературу и исторію, сама много читала и сына пріучила къ чтенію. У десятилѣтняго Мельникова были уже толстыя тетради, въ которыхъ по линейкамъ переписывалъ онъ Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго, Дельвига. Въ 1829 году Мельниковъ поступилъ въ нижегородскую гимназію, пребываніе въ которой Мельникова ознаменовалось лишь однимъ значительнымъ эпизодомъ его жизни. Въ Нижнемъ былъ въ то время театръ, введенный еще

при Екатеринѣ княземъ Шаховскимъ. Наглядѣвшись на представленія, дававшіяся въ немъ, гимназисты вздумали устроить свой театръ. Въ пустой башнѣ нижегородскаго кремля они устроили театръ, разумѣется безъ декораций и костюмовъ.

«Это было не безъ пользы для насъ, рассказываетъ Мельниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ: многіе изъ насъ наизусть выучили Эдипа въ Аоннахъ, Фингала, Дмитрія Донскаго, и хотя у насъ не было руководителя, однако мы сдѣлали немалые успѣхи въ декламации... Но только одно лѣто разыгрывали мы трагедію Озерова. Башня понадобилась гарнизонному начальству подъ цейгаусъ, и баталіонный командиръ, придя ее осматривать, засталъ насъ во время представленія *Поликсены*. Драматическую труппу, подъ присмотромъ солдатъ, отравили къ директору, а башню заперли. Съ нами расправились, по тогдашнему обычаю, довольно круто. Изъ ребяческой нашей шалости сдумали раздуть страшную исторію. Въ городѣ рассказывали вещи не содѣяныя, будто мы, одиннадцати и двѣнадцати лѣтніе мальчики, составили опасный заговоръ для инспроверженія существующаго порядка. Одна нижегородская барыня К. поѣхала въ это время въ Казань и тамъ стала рассказывать о нашемъ злумышленіи. Изъ учебнаго округа предписано было разобрать дѣло какъ можно строже, и съ нами въ другой разъ распорядились круто. Всего замѣчательнѣе то, что раздувать эту исторію учитель словесности Св., по понятіямъ котораго мы должны были въ первомъ классѣ, десяти-одиннадцати лѣтъ, выучить логику Кизеветтера, а потомъ по Кошанскому изучить всѣ тропы и безчисленныя фигуры; все-же остальное въ глазахъ его было или вздоръ да пустяки или вольнодумство.

«Двукратная расправа не истребила въ насъ страсти къ драматическимъ представленіямъ. Мы перенесли сцену изъ запертой башни въ домъ одного товарища Крупенина, искренняго вѣрнаго друга моего дѣтства и юности. Домъ отца Саши былъ на Петропавловской и Кладбищенской улицѣ, съ маленькимъ садомъ, густо засаженнымъ грушами, яблонями, вишнями, въ которомъ я провелъ такъ много часовъ золотой юности... Тамъ-то въ мезонинѣ стали мы разыгрывать трагедіи, сначала Озерова, а потомъ и собственнаго издѣлія. Большой успѣхъ имѣлъ *Муамедъ II*, трагедія, сочиненная Крупенинымъ, въ которой я игралъ византійскую царевну Ирину, а десяти-лѣтній братъ мой Ѳеодоръ пажу греческаго. Я тоже написалъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ *Вильгельмъ Оранскій*, но она не имѣла успѣха.

Кончивши гимназическій курсъ въ 1834 году, 15-ти лѣтъ, Мельниковъ поступилъ на филологическій факультетъ въ казанскій университетъ, гдѣ кончилъ курсъ со степенью кандидата въ 1837 году. Мать Мельникова не дожила до окончанія сыномъ университета, скончавшись въ 1835 г., а отецъ умеръ въ 1837 г., такъ что по выходѣ изъ университета Мельниковъ предоставленъ былъ самому себѣ.

Какъ казеннокоштный студентъ, онъ обязанъ былъ отслужить определенное число лѣтъ по учебному вѣдомству, но какъ окончившій съ отличіемъ курсъ, онъ по выдержаніи экзаменовъ, послѣ акта 18-го іюня 1837 г., оставленъ былъ жить въ университетѣ и готовился къ поѣздкѣ за границу. По словамъ его ученика, профессора К. И. Бестужева-Рюмина, министерство прочло Мельникова на кафедрѣ славянскихъ нарѣчій. Но неожиданная катастрофа помѣшала всѣ обстоятельства жизни магистранта. На одной изъ студенческихъ попоекъ Мельниковъ до того увлекся, что казанскій попечитель М. Н. Мусинъ-Пушкинъ призвалъ его къ себѣ, и въ наказаніе назначилъ уѣзднымъ учителемъ въ Шадринскъ (пермской губерніи), куда онъ тотчасъ-же былъ отправленъ подъ конвоемъ солдатъ. Но въ Перми онъ узналъ, что гнѣвъ положилъ на милость и оставилъ его въ этомъ городѣ, опредѣливши на службу

въ тамошнюю гимназію старшимъ учителемъ исторіи и статистики. Въ февралѣ-же 1889 г. ему была поручена должность учителя французскаго языка въ высшихъ классахъ гимназій; но въ томъ-же году къ новому учебному семестру онъ былъ переведенъ въ Нижній учителемъ исторіи и статистики и былъ въ этой должности до 21 мая 1846 года.

Артистическая натура Мельникова не была создана для педагогическаго поприща и искала исхода въ болѣе широкой дѣятельности. Будучи въ Перми, онъ успѣлъ уже объѣхать нѣкоторые заводы приуральскаго края, собиралъ свѣдѣнія о немъ, знакомился съ бытомъ русскаго народа, „лежа у мужика на полатахъ“, какъ говаривалъ онъ, и положилъ первые задатки къ полному его изученію. Всѣ эти поѣздки дали ему возможность начать рядъ статей для народившагося въ 1839 году новаго журнала *Отечественныя Записки*. Мельникову только что исполнилось 20 лѣтъ, когда въ ноябрьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* былъ напечатанъ первый трудъ его *Дорожныя записки*. Переходъ въ Нижній-Новгородъ, сближеніе тамъ съ мѣстнымъ архіепископомъ Іаковомъ, знатокомъ исторіи и раскола, надѣлявшимъ Мельникова рѣдкими рукописями и матеріалами, указывавшимъ на тѣ мѣстные архивы, гдѣ ими можно пользоваться, наконецъ съ 1840 года знакомство съ гр. Д. Н. Толстымъ, а потомъ съ М. Погодинымъ и В. Далемъ,—увлекли окончательно Мельникова скромнаго поприща-гимназическаго учителя на широкій путь литературной дѣятельности.

Въ 1841 г. Мельниковъ женился на небогатой помѣщицѣ Лидіи Николаевнѣ Бѣлокопытовой, и въ томъ-же году 8 апрѣля былъ утвержденъ въ званіи корреспондента археологической комиссіи.

«До 1847 г., говоритъ Мельниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, живя въ Нижнемъ-Новгородѣ и занимаясь русскою исторіей, я сталъ изучать расколъ и раскольниковъ. Моемъ занятіямъ способствовали два обстоятельства: поѣздки по нижегородскому Заволжью, напоенію раскольниками, и знакомство съ книжниками на нижегородской ярмаркѣ.

«Въ Заволжѣ, именно въ семеновскомъ уѣздѣ, было у меня маленькое доставшееся послѣ матери имѣніе; крестьяне, жившіе въ немъ, были всѣ до единаго раскольники поповщинской секты. Они были раскольники «записные», т. е. значившіеся пзтари по книгамъ земскаго суда раскольниками; дѣды ихъ платили двойные оклады. Поэтому они были избавлены отъ притѣсненій полиціи и поповъ... Въ Казанцовѣ я прежде всего познакомился съ раскольниковымъ бытомъ; неподалеку отъ деревни (верстахъ въ трехъ) былъ раскольниковій скитъ Конелевскій (поповщинскій). Здѣсь я познакомился съ скитскими жителями. Старшина моего селенія, Иванъ Петровъ, умный, грамотный и довольно развитой человекъ, большой начетчикъ и сынъ начетчика, пользовался уваженіемъ отъ своихъ и чужихъ крестьянъ-раскольниковъ. Съ нимъ много мы толковали о расколѣ. Бывало, когда пріѣдетъ Иванъ Петровъ въ Шижій, цѣлые вечера проводили мы съ нимъ, говоря о расколѣ.

«Съ 1840 г. директоромъ на нижегородской ярмаркѣ былъ гр. Д. Н. Толстой, бывшій послѣдствіемъ губернаторомъ казужскимъ, воронежскимъ и директоромъ департамента исполнительной полиціи (въ шестидесятихъ годахъ). Мы съ нимъ находились въ дружескихъ отношеніяхъ. Онъ занимался исторіею русской церкви, хорошо зналъ церковный уставъ и изучалъ расколъ. Черезъ него я познакомился съ Дем. Вас. Пискаревымъ, съ Боднаковымъ, съ Морозовымъ и другими раскольниками, торговавшими на ярмаркѣ старопечатными и старописменными книгами и иконами. У

нихъ бывало много раскольниковыхъ рукописей; они скупали ихъ у приписанныхъ и продавали въ Москвѣ раскольникамъ и М. П. Погодину. Покупать рукописи было не по моимъ средствамъ, но торговцы давали мнѣ ихъ на прочесть. Я много читалъ, дѣлалъ выписки. Въ 1841 году пріѣхалъ въ Нижній-Новгородъ Погодинъ и познакомился со мной. Мы съ нимъ осматривали нижегородскія древности, ярмарку; онъ накупилъ книгъ для своего древле-хранилища и просилъ меня, какъ постоянного нижегородскаго жителя, присматривать для него на ярмаркѣ и въ городѣ у Головастикова, тоже торговца старыми книгами и иконами, «рѣдкостныя вещи». Года четыре я занимался этимъ дѣломъ и еще болѣе познакомился съ раскольниковскою литературою».

Вскорѣ его знанія по расколу обратили на себя вниманіе начальства, особенно когда онъ предложилъ двѣ ужасныя мѣры для пскорененія раскола: 1) повсюду, гдѣ раскольники живутъ вмѣстѣ съ православными, отдавать въ рекруты послѣднихъ и 2) отдавать въ кантонисты дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ, совершенныхъ бѣглыми попами, пастырями безпоповщинскихъ сектъ или по родительскому благословенію. Эти предложенія такъ поправились въ тогдашнихъ административныхъ сферахъ, что въ 1847 г. онъ былъ приглашенъ на службу княземъ Мих. Ал. Урусовымъ, тогдашнимъ нижегородскимъ губернаторомъ и получилъ 8-го апрѣля этого года мѣсто чиновника особыхъ порученій.

Мы не имѣемъ нужды останавливаться подробно на продолжительной служебной дѣятельности Мельникова при пяти министрахъ. Скажемъ только въ общихъ чертахъ, что наиболѣе всего эта дѣятельность заключалась въ исполненіи предписаній начальства и командировокъ съ цѣлью преслѣдованія раскольниковъ. Кромѣ того въ 1863 году Мельниковъ исполнялъ должность редактора по внутреннему отдѣлу въ органѣ министерства—*Сѣверной почтѣ*.

Въ общемъ служебная дѣятельность Мельникова, нельзя сказать, чтобы оставила по себѣ вполнѣ свѣтлыя воспоминанія. Какъ исполнитель воли пославшихъ, онъ выказывалъ въ преслѣдованіи раскольниковъ болѣе жестокаго усердія, чѣмъ гуманности или хотя-бы законнаго безпристрастія. Такъ мы видимъ, что даже біографъ его Усовъ, при всемъ панегирическомъ характерѣ отношенія къ Мельникову, не могъ вполнѣ оправдать дѣйствій его по отношенію къ знакомому его нижегородскому книгопродавцу Головастикову, магазинъ котораго онъ посѣщалъ и пользовался собранными тамъ рѣдкими и драгоценными остатками нашей старины. Обыскъ въ домѣ и лавкѣ Головастикова былъ произведенъ Мельниковымъ съ такою энергіею, что Головастикова обратилась съ жалобою министру, а затѣмъ сенату на „причиненіе ей убытка въ капиталѣ, на осрамленіе въ народной публикѣ ея дома и семейства, на ущербъ здоровья ея и ея дочери, на тяжкую себѣ обиду“, и просила возвратить ей отобранное чиновникамъ у нея имущество и поступить съ ними „по точной силѣ уложенія о наказаніяхъ“.

Но просьбы Головастиковой остались неудовлетворенными. „Въ эту эпоху преслѣдованія раскола, замѣчаетъ при этомъ біографъ, усиленныхъ розысковъ епископовъ и священниковъ австрійскаго наставленія, Мельниковъ даже въ своемъ излишнемъ усердіи при обыскѣ у Головастиковой оказался вѣроятно правымъ и передъ своимъ начальствомъ, и передъ правительствующимъ сенатомъ“.



Впервые на поприще беллетристики Мельниковъ выступилъ въ 1840 году, когда въ № 52 *Литературной газеты* появился рассказъ его: *О томъ, кто такой былъ Эльдифоръ Перфильевичъ и какія приоткровенія дѣлались въ Черноградѣ къ его именинамъ*; подписано П. М-п-к-въ. Въ № 80 было помѣщено продолженіе этой повѣсти уже за подписью П. И. Мельниковъ. Написанная въ духѣ натуральной школы съ претензіею на юморъ и подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя, повѣсть эта была столь слаба, что авторъ самъ былъ ею очень недоволенъ и въ письмѣ къ брату писалъ: „Никогда не прощу себѣ, что я напечаталъ такую гадость; если-бы можно, я собралъ-бы все листки *Литературной газеты* не только на Кубани, но и по всей Великой, Малой и Вѣлой Россіи и все-бы ихъ въ печку. Я еще мало знаю людей, чтобы писать повѣсти, и даю тебѣ и себѣ честное слово не писать ни стиховъ, ни прозы до тѣхъ поръ, пока не узнаю жизнь лучше“.

Мельниковъ сдержалъ это слово: двѣнадцать лѣтъ не принимался за беллетристику, и лишь въ 1852 году въ № 8 *Москвитянина* появилась повѣсть его *Красильниковы*, впервые за подписью Андрей Печерскій. Повѣсть имѣла большой успѣхъ, и все журналы отозвались о ней съ похвалою. Затѣмъ послѣ новаго перерыва въ пять лѣтъ, въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1857 года появился рассказъ его *Старые годы*, и затѣмъ вѣщеніе 1857 и 1858 годовъ послѣдовало цѣлый рядъ рассказовъ—*Понурковъ*, *Дядюшка Поликартъ*, *Медвѣжій уголъ*, *Непрелѣтный*, *Бабушкины рассказы*. Все эти произведенія упрочили извѣстность Мельникова, какъ одного изъ лучшихъ писателей въ числѣ второстепенныхъ. Самыми-же главными его шедеврами были два объемистые романа, печатавшіеся въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и вышедшіе потомъ отдѣльными изданіями—*Въ тѣсахъ* въ 1872—73 годахъ и *На юрахъ* въ 1875 и 1880 гг.

Въ романахъ этихъ нечего конечно и искать какихъ-либо художественныхъ достоинствъ, равно какъ и внутренней, психологической правды. Быть позволскихъ раскольниковъ, составляющій содержаніе этихъ романовъ, изображается въ нихъ съ одной внѣшней, этнографической стороны, причемъ какъ фабула романовъ, такъ и все развитіе ихъ сюжетовъ отличаются тою придуманностью, мѣстами мелодраматичностью, какую вы найдете во всехъ романахъ, написанныхъ не съ художественными цѣлями, а ради нагляднаго сообщенія какихъ-либо историческихъ или этнографическихъ фактовъ. Къ тому-же официально чиновничья точка зрѣнія на раскольниковъ отразилась во многихъ мѣстахъ этихъ романовъ. Тѣмъ не менѣе по массѣ крайне интересныхъ и живыхъ свѣдѣній о жизни раскольниковъ, являющихся результатомъ многолѣтнихъ трудовъ и наблюденій автора и взятыхъ не изъ книгъ, а изъ самой дѣйствительности, романы эти представляются драгоценными пособіями для изученія пароднаго быта и до сихъ поръ читаются съ большою пользою и интересомъ.

Романомъ *На юрахъ* завершилась литературная дѣятельность Мельникова. Последнія главы этого романа Мельниковъ, разбитый параличемъ, не могъ уже самъ дописать, а принужденъ былъ диктовать. Умеръ онъ 1 февраля 1883 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ домѣ своемъ на Петропавловской улицѣ.

V.

Наибольшій-же интересъ къ изученію народнаго быта и міросозерцанія въ дворянскихъ слояхъ общества обнаружился въ славянофильскихъ кружкахъ. Здѣсь впервые началось систематическое и всестороннее изученіе народа безъ какихъ-бы то ни было административныхъ цѣлей, безъ прелвзятой идеализаціи его съ одной стороны, и безъ высокоумнаго глумленія съ другой,—изученіе въ истинномъ смыслѣ научное, такъ какъ къ народу начали здѣсь относиться, какъ къ предмету неизвѣстному, подлежащему изслѣдованію и о которомъ слѣдуетъ воздерживаться высказывать какія-бы то ни было преждевременныя сужденія, прежде чѣмъ не будетъ собрана масса фактовъ.— Начались эти изученія съ собиранія былинъ, пѣсенъ, сказокъ, пословицъ и т. п., причемъ одинъ изъ старшихъ славянофиловъ, П. Кирѣевскій, приобрѣлъ извѣстность наиболѣе всего своими сборниками народной поэзіи. По его слѣдамъ пошли столь-же извѣстные собиратели Рыбниковъ и Безсоновъ.

Но не только глубокое проникновеніе въ народную душу, но даже и собираніе пѣсенъ или изученіе обычаевъ и обрядовъ оказалось по весьма понятнымъ причинамъ неудобно совершать изъ ученыхъ кабинетовъ и помѣщичьихъ усадебъ. Необходимо было идти въ народъ, вращаться среди него, да мало еще этого: снужтъ заслужить его довѣріе въ такой мѣрѣ, чтобы онъ не только какую-нибудь пѣсенку пропѣлъ, но распоясался и открылъ свою душу. Естественно, что изъ славянофильскихъ кружковъ, особенно изъ того кружка молодыхъ литераторовъ, который группировался въ пятидесятые годы вокругъ *Москвитянина*, вышли первые ходоки въ народъ и были совершены первые опыты опрошенія ради приобретенія довѣрія народа и слитія съ нимъ.

Первымъ такимъ ходокомъ въ народъ и пионеромъ опрошенія является Павелъ Ивановичъ Якушкинъ, личность въ высшей степени замѣчательная какъ своими сочиненіями, такъ и яркою типичностью и цѣльностью своего характера.

П. И. Якушкинъ родился въ 1820 году въ усадьбѣ Сабуровѣ, Малоархангельскаго уѣзда, орловской губерніи, въ дворянской семьѣ, съ достаточными матеріальными средствами. Отецъ его, Иванъ Андреевичъ, служилъ въ гвардіи, вышелъ въ отставку поручикомъ и жилъ постоянно въ деревнѣ. Хотя семья Якушкиныхъ успѣла лишиться отца далеко до времени совершеннолѣтія самаго старшаго брата Александра, тѣмъ не менѣе она осталась на рукахъ матери, которая пользовалась общимъ, глубокимъ уваженіемъ, внушаемымъ ея безконечной добротой, свѣтлымъ умомъ и сердечностью. Она владѣла въ то-же время тактомъ опытной хозяйки, и имѣла, оставшееся послѣ мужа, не только не разстроилось, но было приведено въ наилучшее состояніе. Благодаря этому, Прасковья Фадеевна имѣла возможность воспитать шестерыхъ сыновей въ орловской гимназіи и затѣмъ тремъ изъ нихъ (Александру, Павлу и Виктору) открыть дорогу къ высшему образованію.

Уже въ гимназіи Якушкинъ обращалъ на себя вниманіе своею мужиковатостью, небрежностью въ костюмѣ и полнымъ неумѣньемъ соблюдать интеллигентную, благопристойную и сообразную съ его дворянскимъ званіемъ внѣшность. Особенно своими

непослушными вихрами „убивалъ онъ господина директора“, и какъ ни стригли эти вихры, они постоянно торчали во всѣ стороны къ ужасу начальства. Къ тому-же начальству непріятно было возиться съ волосами Якушкина и потому еще, что каждый разъ при постриженіи его онъ „грубо оправдывался такими мужицкими словами, что во всѣхъ классахъ помпиралъ со смѣху“.

Такимъ образомъ страсть къ простопародности формировалась у Якушкина еще въ школѣ, и учитель нѣмецкаго языка Функендорфъ не иначе называлъ его, какъ *мужицка чучелка!*

Въ 1840 году Якушкинъ поступилъ въ московскій университетъ на математическій факультетъ, слушалъ его довольно успѣшно и былъ уже на четвертомъ курсѣ, когда знакомство съ М. П. Погодинымъ и П. В. Кирѣевскимъ совершенно измѣнило всю его судьбу. Узнавъ, что Кирѣевскій собираетъ народныя пѣсни, Якушкинъ записалъ одну и отправилъ къ нему съ товарищемъ, нарядившимся лакеемъ. Кирѣевскій выдалъ за эту пѣсню 15 р. асс. Якушкинъ повторилъ еще два раза этотъ опытъ, и получилъ отъ Кирѣевского приглашеніе познакомиться. Пѣсни были неподдѣльно народныя. Чуткій къ способностямъ Якушкина, Кирѣевскій задалъ ему такую работу, которая пришлась ему столь по душѣ, что заставила его бросить почти оконченный курсъ: именно отправилъ его для изслѣдованія въ сѣверныя поволжскія губерніи, — разомъ на ту дорогу, на которой Якушкинъ получилъ свою литературную извѣстность. Якушкинъ взвалилъ на плечи лубочный коробъ, набитый офенскимъ товаромъ на крестьянскую руку, цѣнностью не больше десяти рублей, взялъ въ руки аршинъ и пошелъ подъ этимъ видомъ торговца-сумочника на изслѣдованіе народности и для изученія и записыванія пѣсенъ.

И съ самыхъ тѣхъ поръ всю жизнь пространствовалъ Якушкинъ, признавъ способъ пѣшаго хожденія самымъ удобнымъ и обязательнымъ для себя. Образъ странника былъ любезенъ и дорогъ ему сколько по привычкѣ, столько-же и по исключительности положенія въ средѣ народа, гдѣ страннику, захожему человѣку великъ почетъ и уваженіе. Съ особенною любовью вспоминалъ онъ и рассказывалъ о тѣхъ случаяхъ, когда его покормили молочкомъ, яичницу сдѣлали, какъ около Новгорода попалъ онъ на рыбныя тони, гдѣ отобрали ему ловцы самой лучшей крупной рыбы на уху или въ другомъ мѣстѣ старушка дала страннику копѣчку на дорогу, какъ случалось нападать ему на большія угощенія, гдѣ иной разъ сажали даже на почетныя мѣста въ переднемъ углу, по нигдѣ денегъ не брали.

Въ одно изъ такихъ странствій Якушкинъ заразился натуральной оспой, заболѣлъ и свалился въ первомъ попавшемся деревенскомъ углу; здоровая натура его выдержала болѣзнь, несмотря на всѣ неблагоприятныя условія, отсутствіе врача и всякой разумной и цѣлесообразной помощи. Зато лицо его было сильно изуродовано болѣзью. Опушенное длинной бородой, при длинныхъ волосахъ, оно иногда пугало жепщинъ и дѣтей при уединенныхъ встрѣчахъ и возбуждало подозрительность въ полицейскихъ.

Присоедините къ этому необыкновенный костюмъ Якушкина: полукрестьянскій, полумѣщанскій, причемъ наряднымъ платьемъ на выходъ была черная суконная поддевка и высокіе сапоги съ папускомъ безъ галошъ; въ дорогу сверху надѣвался полубубокъ, по-  
скабиневскій.

даренный какимъ-нибудь добрымъ пріятелемъ. Сначала водилась сумка, потомъ завелся какой-то чемоданчикъ, но былъ потерянъ и смѣнился разъ навсегда узелкомъ изъ подручнаго платка. Въ узелкѣ этомъ между бѣльемъ хранилось нѣсколько листиковъ списанной бумаги, нечитанная книжка, карандашникъ отъ случайно подвернувшагося человѣка; на случай частное письмо редакціи *Русской бесѣды*, предложеніе географическаго общества, котораго онъ былъ членомъ—корреспондентомъ (удостоился серебряной медали). Паспортъ былъ давно потерянъ; потеряно было и удостовѣреніе мѣстнаго становаго объ этой потерѣ. Одинъ изъ братьевъ выхлопоталъ ему копію съ этого удостовѣренія, Якушкинъ и ее потерялъ; взята была копія съ копій. Вотъ этотъ-то документъ и служилъ для удостовѣренія его личности. Въ этомъ заключался главный источникъ всѣхъ недоразумѣній, встрѣчавшихся съ Якушкинымъ во время странствій, непріятностей, осмотровъ, задержекъ, арестовъ и высылкъ. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ подобнаго рода приключеній былъ надѣлавшій не малаго шума арестъ Якушкина псковскою полиціею въ 1859 году, и цѣлая литературная полемика, завязавшаяся потомъ между нимъ и псковскимъ полиціймейстеромъ, Гемпелемъ, по этому поводу. Въ тѣ горячіе годы всякаго рода протестовъ и обличеній вся литература приняла рьяное участіе въ этой полемикѣ, и публика съ пожирающимъ интересомъ слѣдила за нею.

Находчивый, остроумный, независимый Якушкинъ не стѣснялся ни передъ кѣмъ рѣзать правду въ глаза, не боясь наживать враговъ на каждомъ шагу и не унимаясь послѣ самыхъ строгихъ взысканій. Ему нечѣмъ было дорожить, нечего терять, безсребренничество его доходило до полного отсутствія всякой собственности кромѣ вышеозначеннаго узелка съ двумя-тремя перемѣнами бѣлья и того, что на немъ было. О денежныхъ вознагражденіяхъ за печатный трудъ онъ не условливался; довольствовался тѣмъ, что дадутъ, никогда не жаловался и не сѣтовалъ. О деньгахъ вспоминалъ лишь тогда, когда были крѣпко нужны: сквозили сапоги и промокали ноги, сползала съ головы шапка, слѣзала съ плечъ свитка, да и объ этомъ надо было ему напомнить и кому-нибудь похлопотать. Хорошо вознаграждаемый изрѣдка литературнымъ гонораромъ, онъ, любя угощаться, любилъ угощать, владѣлъ замѣчательною способностью терять деньги, а уцѣлѣвшія раздавать, кто въ нихъ нуждался. Умеръ онъ безъ гроша въ карманѣ и умирая имѣлъ полное право выговорить пользовавшему его врачу: „Припоминая все мое прошлое, я ни въ чемъ не могу упрекнуть себя“.

Къ обидамъ и огорченіямъ онъ былъ мало чувствителенъ, и когда его обижали, говорилъ про обидчика:

— Стало быть такъ надо. Видно онъ лучше меня про то знаетъ, если говоритъ мнѣ прямо въ глаза.

Столь-же хладнокровно встрѣчалъ онъ неудачи, невзгоды и промахи. Когда ему старались внушить, что онъ самъ въ чемъ-нибудь виноватъ, и спрашивали, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ, онъ добродушно отвѣчалъ обыкновенно на это: „Чтобы смѣшнѣе было“. Всегда хладнокровенъ, всегда беззаботенъ, счастливъ и доволенъ собой, всегда не отъ міра сего, онъ, по весьма мѣткому замѣчанію С. В. Максимова, „былъ безпеченъ до того, какъ будто надѣялся жить вѣчно, а жить торопился такъ, какъ будто предстояло ему умереть завтра“.

Къ друзьямъ онъ смѣло и увѣренно приходилъ во всякое время, не справляясь съ часами дня и ночи, но придя на почлегъ ни за что не ложился на предлагаемую кровать или кушетку, а располагался на полу, гдѣ-нибудь въ уголку, подложивши подъ голову полѣно.

Политика мало занимала Якушкина. Ко всѣмъ литературнымъ направленіямъ онъ относился съ полнымъ индифферентизмомъ, и во всѣ редакціи входилъ съ одинаковымъ добродушіемъ, не обращая вниманія на ихъ взаимную вражду. Смѣна и назначеніе новыхъ должностныхъ лицъ въ Россіи его не радовали и не печалили: онъ махалъ рукою и говорилъ „это все едино“. Формы правленія для него были всѣ безразличны— „какъ народъ похочетъ, такъ и устроится“, говаривалъ онъ. Въ то-же время всѣ симпатіи Якушкина были на сторонѣ рабочихъ людей,—особенно батраковъ, фабричныхъ, и вообще голытьбы, которую по его словамъ, „хозяева заморить готовы, и могутъ заморить, если тѣ сами въ свой разумъ не придутъ и не узнаютъ, какъ они нужны“. Идеаломъ общественнаго устройства была въ его воображеніи всеобщая, гигантская артель, вмѣщающая въ себѣ всю Россію.

При такомъ образѣ мыслей онъ не могъ ни въ какомъ случаѣ быть политически опаснымъ, тѣмъ не менѣе эксцентрическая внѣшность и невожатость на языкъ сгубили его. Въ 1865 году на макарьевской ярмаркѣ въ Нижнемъ Новгородѣ былъ случайный съѣздъ нѣсколькихъ литераторовъ (П. И. Мельникова, В. П. Безобразова, И. А. Арсеньева, П. Д. Боборыкина и др.), и по этому случаю тогдашній ярмарочный голова А. П. Шиповъ, человѣкъ образованный, извѣстный своею разностороннею общественною дѣятельностью и глубокими симпатіями къ литературѣ и экономическимъ наукамъ и самъ авторъ многихъ ученыхъ трактатовъ, устроилъ большой обѣдъ по подпискѣ, въ которомъ принялъ участіе всѣ пменитые кунцы и пріѣзжіе на обѣдъ литераторы. Въ числѣ обѣдающихъ былъ и Якушкинъ. Подпивши, онъ сдѣлалъ во время рѣчи В. П. Безобразова рѣзкое замѣчаніе мѣшавшему рѣчи стукомъ ложки И. А. Арсеньеву. Затѣмъ онъ оборвалъ въ буфетѣ адъютанта, мѣстнаго жандармскаго штабъ-офицера Перфильева,—тотъ пожаловался тогдашнему ярмарочному генералъ-губернатору Огареву, представивъ Якушкина въ видѣ опаснаго смущающаго пародъ агитатора. Его арестовали и отправили въ Петербургъ; а оттуда выслали въ Орелъ къ матери. Тамъ онъ пробылъ недолго и взмолился друзьямъ своимъ: „Избавте мать отъ меня. Сколько я могу понимать, хотѣли высылкой сюда показать меня, но наказали мать. Войдите-же въ положеніе ни въ чемъ неповинной, честной и доброй старушки, обязанной видѣть передъ собой ежедневно потеряннаго сына“.

Прошеніе его, поданное начальству объ этомъ предметѣ, было уважено: онъ былъ переведенъ съ орловской губерніи въ астраханскую. Здѣсь онъ проживалъ подъ административнымъ надзоромъ въ Красномъ Ярѣ и Енотаевскѣ. Здоровье его было крайне разстроено и полною всякихъ невзгодъ и потрясеній странническою, безпріютною жизнью, и излишнимъ пристрастіемъ къ чарочкѣ. Относительно исцѣлительнаго обстоятельства онъ могъ смѣло заявить, что сполна его никто иной, какъ самъ пародъ, въ безчисленныхъ кабакахъ Россійской имперіи, гдѣ онъ записывалъ пѣсни, которыя трудно было выудить у русскаго человѣка безъ чарочки водки, по нельзя было также только поить, а не пить самому, становясь съ мужиками на равную ногу.

Смерть застигла его въ Самарѣ, въ городской больницѣ, на рукахъ пзвѣстнаго писателя-публициста и врача Португалова въ 1872 году. Умеръ онъ съ тою-же добродушною безпечностью, съ какою прожилъ всю забубенную жизнь свою, съ любимую пѣсенкою на устахъ:

Мы и пѣть будемъ, и играть будемъ,  
А смерть придетъ, умирать будемъ!

Похоронила его съ большимъ почетомъ и теплыми надгробными словами та небольшая горсть интеллигенціи, какая въ то время случилась въ Самарѣ.

Дѣятельность Якушкина распадается на два періода. Въ первомъ періодѣ онъ является лишь собесѣдателемъ народныхъ пѣсенъ. Пѣсни эти печатались первоначально въ *Лѣтописяхъ Русской литературы и древности* (1859 года), въ сборникѣ *Утро* (1859 года) и *Отечественныхъ Запискахъ* (1860 года). Отдѣльно они были издапы: 1) въ 1860 году подъ заглавіемъ *Русскія пѣсни, собранныя П. И. Якушкинымъ* и 2) въ 1865 году подъ заглавіемъ *Народныя пѣсни изъ собранія П. Якушкина*. Сборники эти въ свое время были привѣтствованы всею литературою и оцѣнены по достоинству. Когда Якушкинъ напечаталъ свое собраніе пѣсенъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*,—собраніе это сдѣлалось предметомъ цѣлой литературы. О немъ явились обстоятельные и очень лестные отзывы въ *Извѣстіяхъ академіи наукъ*, въ *Журналъ министерства народнаго просвѣщенія* и пр.

Самостоятельная-же беллетристическая дѣятельность Якушкина началась лишь въ концѣ пятидесятихъ годовъ рядомъ путевыхъ писемъ изъ новгородской и псковской губ., изъ устюжскаго уѣзда, изъ орловской, черниговской, курской, астраханской гг., печатаемыхъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, начиная съ 1859 года и въ 1861 годъ, (лишь путевыя письма изъ астраханской были напечатаны въ *Отечественныхъ Запискахъ* значительно позднѣе, именно въ 1868 и 1870 гг.). Въ 1863 г. былъ напечатанъ въ *Современникѣ* рассказъ *Великъ Богъ земли русской*; затѣмъ появился *Бунтъ на Руси*—очеркъ I въ *Современникѣ* 1866 г., очеркъ II въ *Новомъ Времени* 1880 г., *Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ*, въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1868 г., *Небывальщина* въ *Современникѣ* 1865 г. и въ *Искрѣ* за 1864—1865 гг., *Презняя рекрутчина и солдатская жизнь* въ прибавленіи къ *Русскому Инвалиду* 1864 г., *Мужицкій годъ* въ *Искрѣ* 1865 г., *Изъ рассказовъ о крымской войнѣ* въ *Современникѣ* 1864 г.

Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ П. И. Якушкина конечно вы не видите и слѣда художественнаго творчества. Они представляютъ рядъ фотографій, цѣлкомъ спятыхъ съ дѣйствительности во время многочисленныхъ странствій Якушкина по лицу земли русской, носятъ поэтому характеръ случайныхъ наблюденій, наскоро записанныхъ въ памятную книжку и затѣмъ получившихъ кое-какую спѣшную литературную обработку. Тѣмъ не менѣе они драгоцѣнны тѣмъ, что представляютъ совершенно иное отношеніе къ народу, чѣмъ какое было до ихъ появленія. Здѣсь вы видите уже не идеализацію народа и не глумленіе надъ нимъ, а совершенно объективное и безпристрастное отношеніе наблюдателя, глубоко постигшаго и народную жизнь, и народное міросозерцаніе, его живую душу. При всей случайности наблюденій изображаемые факты

поражаютъ васъ своею характерностью и типичностью, и въ одномъ этомъ умѣньѣ схватывать и передавать существенное обнаруживается передъ вами знатокъ народной жизни. Вы не найдете здѣсь какихъ либо замѣчательныхъ характеровъ и оригинальныхъ мужицкихъ типовъ; зато отлично рисуется здѣсь то, что тщетно вы будете искать въ беллетристикѣ пзъ народнаго быта сороковыхъ годовъ—именно собирательный голосъ народа, сливающийся въ общемъ хорѣ крестьянскаго міра. Нечего и говорить о томъ, что языкъ выводимыхъ Якушкинымъ мужиковъ идеально безукоризненъ. Вы не найдете въ немъ и слѣда какой-либо утрировки или-же выраженій слишкомъ интеллигентно-литературныхъ для мужика. Однимъ словомъ съ Якушкина беллетристика пзъ народнаго быта выступаетъ на совершенно новую почву, и онъ стоитъ во главѣ этого поворота, если не представителемъ его, то во всякомъ случаѣ первымъ пионеромъ.

Что касается содержанія разсказовъ Якушкина, то они всѣ носятъ исключительно общественный характеръ, соотвѣтственный тѣмъ горячимъ злобамъ дня и великимъ событіямъ, во время которыхъ они появлялись. Такъ въ разсказѣ *Великъ Богъ земли русской*—собранны факты народной жизни, слухи и разговоры, предшествовавшіе крестьянской реформѣ и возбужденные ея ожиданіемъ; въ разсказѣ *Крестьянскіе бунты* изображаются всѣ тѣ недоразумѣнія и смуты, какія послѣдовали послѣ эмансипаціи; въ разсказѣ *Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ* изображено вліяніе на крестьянъ тѣхъ бюрократо-полицейскихъ порядковъ, въ какіе облечено данное пмъ послѣ освобожденія самоуправленіе и т. д.



## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

I—Беллетристы-народники изъ разночинцевъ и внесеніе ими новаго духа въ изображенія изъ народнаго быта. Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ и его дѣтство. II—Юность Рѣшетникова до пріѣзда въ Петербургъ. III—Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни. *Подлиповцы* и прочія его сочиненія. IV—Александръ Ивановичъ Левитовъ. Факты и обстоятельства его жизни. V—Сравненіе Левитова съ Рѣшетниковымъ. *Степные очерки* Левитова. VI—Характеръ и содержаніе послѣдующихъ его произведеній.—VII—Николай Ивановичъ Наумовъ. Его жизнь и сочиненія.

### I.

По мѣрѣ того какъ образованіе распространялось въ массахъ общества и центръ умственнаго движенія перешелъ изъ дворянской среды въ разночинскую, въ литературные сферы къ концу пятидесятихъ годовъ, какъ мы говорили уже, произошелъ большой наплывъ новыхъ силъ изъ разночинцевъ. Эти новыя силы, подчиняясь духу времени, еще съ большею энергіею, чѣмъ всѣ писатели старшаго поколѣнія, принялись за изученіе народа, вмѣстѣ съ тѣмъ внесли совершенно новый духъ въ беллетристику изъ народнаго быта и обусловили своимъ появленіемъ новый періодъ ея развитія.

Правда что со стороны художественныхъ формъ, техники, произведенія беллетристовъ-разночинцевъ представляютъ шагъ назадъ по сравненію съ произведеніями беллетристовъ сороковыхъ годовъ, значительно уступая имъ въ стройности, завершенности, въ умѣньши заинтересовать читателя и приковать его вниманіе и т. п. Они представляются по большей части неконченными, необработанными, неуклюжими очерками, эскизами, набросками, иногда безъ всякаго сюжета и фабулы, одними хаотическими нагроможденіями сырыхъ матеріаловъ.

Этотъ регрессъ въ техническомъ отношеніи обуславливался многими причинами. Несомнѣнно вліяло здѣсь отчасти то пренебреженіе, съ какимъ въ шестидесятые годы смотрѣли на художественность, но болѣе всего дѣйствовало то обстоятельство, что большинство разночинцевъ, учившихся на мѣдныя деньги и являвшихся на литературное поприще самоучками, не получившими правильнаго и систематическаго литературнаго образованія, едва грамотными, въ то-же время не имѣли и послѣдствіи возможности прилагать тщательныя условія къ развитію своихъ талантовъ и къ выработкѣ изящ-



ныхъ формъ. Всѣмъ имъ приходилось вѣчно бороться съ нищетою и потому спѣшить работою, не имѣя времени не только художественно отдѣлывать написанное, но и перечитывать его. Едва написавши двѣ-три первыя главы разсказа, авторъ несъ ихъ уже въ редакцію журнала, чтобы заручиться авансомъ, а тамъ вдругъ работа прерывалась то болѣзною, то цензурными условіями, и произведеніе оставалось неконченнымъ, забываясь для новыхъ столь-же неудачныхъ попытокъ.

Тѣмъ не менѣе отъ произведеній молодыхъ беллетристовъ-разночинцевъ повѣяло совсѣмъ инымъ духомъ, и въ нихъ мы видимъ отношеніе къ народу, до того времени небывалое. Вы не найдете уже здѣсь ни излишней идеализаціи народа, ни напротивъ того глумленія надъ нимъ, ни этнографо-бюрократической сухости изученія народа со стороны, ни плаксивой сентиментальности. Прежде всего въ произведеніяхъ разночинцевъ поражаетъ васъ трезвая, нелицепріятная правда, соединенная съ глубокимъ знаніемъ внутреннихъ основъ народной жизни какъ въ ея частномъ, семейномъ бытѣ, такъ и общественномъ, мірскомъ. Видно, что авторы близко стояли къ народу, и не только наблюдали его жизнь, но во многихъ отношеніяхъ и сами ее переживали.

Беллетристика этого рода представляетъ въ свою очередь два періода. Въ первомъ періодѣ, втеченіе шестидесятыхъ годовъ, жизнь народа разсматривалась преимущественно по отношенію ея къ жизни другихъ слоевъ общества, причемъ главное вниманіе обращалось на политико-экономическія и соціальныя условія народнаго быта, на необеспеченность народныхъ массъ, безправность ихъ и эксплуатацію со стороны купцовъ, кулаковъ и всякаго рода проходивцевъ, наживающихся на его счетъ. Во второмъ-же періодѣ, втеченіе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, главное вниманіе начали обращать на внутреннія основы крестьянскаго быта, на его вѣковѣчные устои въ видѣ общины и на идеалы, составлявшіе существенное отличіе деревенскаго человѣка отъ городского.

Въ первомъ періодѣ изъ всѣхъ беллетристовъ народниковъ наиболее выдаются три писателя: Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ, Александръ Ивановичъ Левитовъ и Николай Ивановичъ Наумовъ. Имъ-то мы и займемся въ настоящей главѣ.

О. М. Рѣшетниковъ родился въ Екатеринбургѣ, пермской губерніи, 5-го сентября 1841 года. Отецъ его сначала былъ дьячкомъ, затѣмъ, женившись на дочери дьякона, поступилъ въ почталыоны, но жилъ съ женою плохо, испивая горькую чашу, такъ что когда братъ его переехалъ въ Пермь съ семействомъ, мать Рѣшетникова вскорѣ ушла къ нимъ. Въ Пермь она пришла во время страшнаго пожара и такъ была этимъ испугана, что заболѣла и умерла; 9-ти мѣсячный мальчикъ ея остался на попеченіи диди и теткы; отца-же своего Рѣшетниковъ въ первый разъ увидѣлъ уже десяти лѣтъ отъ роду.

Родственники, на рукахъ которыхъ остался сирота, были люди крайне бѣдные, угнетенные ярмомъ каторжной службы по почтовому вѣдомству, и нравы царили у нихъ грубые и звѣрскіе. Рѣшетниковъ-же съ первыхъ дней дѣтства оказался мальчикомъ бойкимъ, веселымъ, рѣзвымъ, впечатлительнымъ. И вотъ, желая ему добра, родственники пачали немедленно-же выбивать изъ него эту рѣзвость. Въ автобіографической повѣсти *Между людьми* Рѣшетниковъ подробно и обстоятельно рисуетъ

картины своего дѣтства, и мы видимъ, что его били положительно за все, и притомъ всѣ, кто хотѣлъ и считалъ нужнымъ. Дядя принесъ лубочную картинку и сталъ разсматривать; мальчикъ потянулъ ее къ себѣ и разорвалъ пополамъ. „За это дядя меня такъ ударилъ, что я ударился головой объ полъ, изъ рта пошла кровь“. Каждый разъ, когда онъ брался за „Священную исторію“, картинки которой привлекали его, онъ непремѣнно получалъ ударъ этой-же книжкой въ голову. Чтобы отдѣлаться отъ нея, онъ засунулъ ее въ печку; книгу вытащили, „но за это, говоритъ Рѣшетниковъ, дядя долго дралъ меня ремнемъ“. Вздумаетъ онъ чистить сапоги дядѣ и старается до тѣхъ поръ, пока тетка не выхватитъ изъ рукъ его щетки и не ударитъ ею по головѣ... „Песъ“, „ножевое востріе“, „балбесъ“, „безрогая скотина“, — такъ и сыпались на него со всѣхъ сторонъ, и иначе его не называли. Такое обхожденіе развило неукротимую злость въ богатой натурѣ мальчика, и онъ началъ мстить своимъ гонителямъ въ выдумываніи удивительнѣйшихъ мерзостей: то засунетъ въ квашню или кадку съ водою дохлую кошку, то измажетъ въ грязи развѣшенное сушиться бѣлье, вытащитъ кранъ изъ самовара, заброситъ его черезъ заборъ и самоваръ распаяется и т. п. Онъ сдѣлался божескимъ наказаніемъ цѣлому двору, всеобщимъ врагомъ, и ему не было другого имени, какъ „воръ“, „поганая рожа“; его вихры, уши и щеки сдѣлались всеобщимъ достояніемъ; били и ругали его всѣ, и онъ ругалъ всѣхъ, запуская камнями, кусался, билъ враговъ „по лицу“ и не уставалъ изобрѣтать имъ новыя пытки.

Въ 1851 году, десяти лѣтъ, Рѣшетникова отдали въ бурсу, и къ бѣтью воспитателей и сосѣдей прибавилось бѣтѣе школьное. Переносить все это стало невозможнымъ, и мальчикъ рѣшился бѣжать. Онъ ушелъ на колокольню и просидѣлъ на ней весь день, и на ночь убѣжалъ на рѣку и тамъ ночевалъ. „Поутру, говоритъ Рѣшетниковъ, я ходилъ какъ помѣшанный отъ голоду“. Въ какомъ-то рыбацьемъ шалашѣ нашелъ онъ пол-ковриги хлѣба, взялъ его себѣ, а въ лодкѣ провертѣлъ дыру, распласталъ неводъ, обрѣзалъ нѣсколько удочекъ. Затѣмъ сѣлъ въ чью-то чужую лодку и сталъ грести вверхъ, но силы были слабы, лодку несло внизъ и пришло къ берегу. Тутъ его настигла погоня: вслѣдъ за мѣщаниномъ, набросившимся на него и начавшимъ его тузить по чему попало, явилась цѣлая флотилія бурсаковъ, его связали и безжалостно поволокли въ бурсу, награждая палочными ударами. По возвращеніи-же въ бурсу бѣглецу была задана такая баня, послѣ которой онъ пролежалъ два мѣсяца въ лазаретѣ.

Тѣмъ не менѣе, какъ только вышелъ изъ лазарета, Рѣшетниковъ опять бѣжалъ. На этотъ разъ онъ отправился на Мотовиловку, — заводъ, отстоящій отъ Перми версты за три. Бурсацкій сюртукъ свой онъ бросилъ въ воду, чтобы не узнали, вымазалъ лицо, рубашку, панталоны и пошелъ по заводскимъ кабакамъ и домамъ просить Христа-ради. Долго онъ шатался между рабочими, которые давали ему кровъ и кормили его. „Много, говорятъ онъ, увидѣлъ я здѣсь хорошаго. Миѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ“. Но какъ человѣкъ бродящій, безъ пристапца, попалъ онъ къ нищимъ, которые насильно таскали его съ собою, заставляли плясать, поили водкой. Бывали минуты, когда онъ кричалъ и просилъ встрѣчныхъ, чтобы кто-нибудь спасъ его отъ нихъ, но никто не давалъ помощи. „И Богъ знаетъ, что было-бы со мною, вспоминаетъ онъ, если-бы не спасла меня одна

женщина“. Женщина эта, часто бывавшая у дяди въ городѣ, узнала бѣглеца и привела домой. „Дѣло пзвѣстное, что было послѣ этого“, заканчиваетъ Рѣшетниковъ исторію этого послѣдняго побѣга, намекая на неизбежное дранье.

Послѣ этого онъ болѣе не покушался уже на побѣги. На него напала полная апатія, равнодушіе ко всему и къ наукѣ, и къ поркѣ. Онъ словно окаменѣлъ, и теперь, когда приходила пора порки, заботился лишь отдѣлаться тѣмъ, что старался стать въ концѣ шеренги предназначенной къ сѣченью, потому что къ концу ея сторожъ уставлялъ, или-же давалъ сторожу гривенникъ, который зарабатывалъ, занимаясь въ почтовой конторѣ составленіемъ крестьянскихъ писемъ, что тоже не мало помогло ему узнать народный бытъ. Отъ учителей онъ отдѣлывался тоже своего рода взятками: отправлялъ даромъ благодаря дядѣ письма, доставлялъ письма на домъ, а главное таскалъ для нихъ тайкомъ съ почты газеты, но за это обстоятельство очень дорого пришлось ему заплатить. Таская газеты и конверты, онъ по прочтеніи ихъ учителямъ имѣлъ обыкновеніе забрасывать ихъ черезъ сосѣдній заборъ въ снѣгъ; бывали случаи, что онъ со страху забрасывалъ туда пакеты, не разсматривая и не читая ихъ и въ числѣ такихъ-то печатанныхъ пакетовъ забросилъ одинъ весьма важный манифестъ 1855 года. Дѣло было нешуточное, впрочемъ розыскали, предали формальному суду. Дѣло тянулось два года и кончилось тѣмъ, что Рѣшетникова сослали въ Солкамскій монастырь на покаяніе.

## II.

Трехмѣсячное пребываніе Рѣшетникова въ монастырѣ очень печально отразилось въ жизни его. Онъ быстро сошелся съ монахами и подружился съ ними тѣмъ скорѣе и тѣснѣе, что они не били его, не оскорбляли за прошлое, относились къ нему, какъ къ равному, и даже смотрѣли, какъ на человѣка болѣе развитого, чѣмъ онъ. Но нравы въ монастырѣ были весьма распущенные. „Въ Солкамскѣ, говорятъ Рѣшетниковъ, я въ одну недѣлю позналъ нечестіе монаховъ, какъ они пьютъ вино, ругаются, ѣдятъ говядину, ходятъ по почамъ, ломаютъ ворота“. Подъ конецъ пребыванія въ монастырѣ Рѣшетниковъ съ каждымъ днемъ все болѣе привязывался къ своимъ новымъ знакомымъ. „И такъ я чудно и весело проводилъ время съ монахами, говорятъ онъ; они меня поили пивомъ, и я часто приходилъ домой пьянымъ. Да и всѣ меня любили сердечно, и я тоже питалъ свою любовь къ нимъ. Иногда обѣдалъ и спалъ въ кельяхъ. Словомъ очень весело я проводилъ время съ доброю братією и въ особенности тогда, какъ пили пиво“. По словамъ-же Рѣшетникова пиво это обыкновенно настаивалось на табакѣ. И къ такому чисто адскому напитку привыкалъ шестнадцатилѣтній мальчикъ. Такимъ образомъ вотъ когда уже положено было начало той болѣзни, которая свела Рѣшетникова въ преждевременную могилу.

Курьезнѣе всего, что рядомъ съ пристрастіемъ къ вину Рѣшетниковъ вынесъ изъ монастыря аскетизмъ и мистицизмъ весьма мрачнаго свойства и долго находился подъ его вліяніемъ; доходило дѣло до того, что онъ мечталъ даже покончить жизнь въ монастырѣ. Такъ когда дядя въ шутку сказалъ ему, что женить его на одной дѣвушкѣ, которая ему нравилась, Рѣшетниковъ писалъ въ своихъ замѣткахъ по этому

поводу: „я не могу взять за примѣръ женщинъ, и не могу соблазниться примѣромъ ихъ. Богъ знаетъ, что я имѣю усердіе къ Его великой церкви и въ вѣкъ буду стремиться къ Его церкви, и будетъ время, когда я уйду въ монастырь въ уединеніе и тамъ буду молиться Небесной Невѣстѣ, Пресвятой Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи“.

Вообще втеченіе 1857 и 1858 годовъ онъ только и дѣлалъ, что читалъ книги духовнаго содержанія и предавался благочестивымъ размышленіямъ какъ въ письмахъ къ друзьямъ, такъ и въ своихъ замѣткахъ. Жилъ онъ между тѣмъ снова въ домѣ дяди. Отдали его опять въ то-же училище и снова въ первый классъ; его уже не били, но и нельзя сказать, чтобы обращались съ нимъ ласково. Въ 1859 году воспитатели его переѣхали въ Екатеринбургъ, гдѣ дядя получилъ мѣсто помощника почтмейстера. Рѣшетниковъ помѣстился на частной квартирѣ. Оставшись на свободѣ, онъ какъ будто ожилъ; вмѣсто разсужденій о непостижимомъ въ запискахъ идутъ живые очерки лицъ, съ которыми ему пришлось жить, описанія городскыхъ происшествій, пожаровъ (во время пожаровъ въ Пермь въ 1859 году онъ занимался по ночамъ караулить дома, за что получалъ 20 коп., и нажилъ отъ этой работы рубль двадцать копѣекъ). На досугѣ-же онъ ѣздилъ рыбачить за Каму, гдѣ съ простымъ народомъ проводилъ цѣлыя ночи. „Часто въ это время, говоритъ Рѣшетниковъ, случалось, что я, спя въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь въ даль; глаза останавливались, въ головѣ чувствовалась тяжесть и вертѣлись слова: какъ-же это? отчего это? И въ отвѣтъ—ни одного слова. Очнешься—и плюнешь въ воду. Начнешь удить и думаешь: ахъ, если-бы я былъ богатъ, я-бы накупилъ книгъ много, много... Я-бы все выучилъ“..

25 іюля того-же года Рѣшетниковъ кончилъ курсъ уѣзднаго училища и „получилъ аттестатъ съ отличными, хорошими, и изъ арифметики и геометріи достаточными успѣхами“, послѣ чего онъ отправился къ дядѣ въ Екатеринбургъ и опредѣлился въ уѣздный судъ (29 іюня 1859 года) съ жалованьемъ по 3<sup>р.</sup> въ мѣсяцъ. Продолжая жить въ домѣ дяди, Рѣшетниковъ въ свободныя минуты началъ пописывать, и первыми произведеніями его были стихотворная поэма *Приговоръ* въ трехъ частяхъ и драма въ шести дѣйствіяхъ то же стихами *Палачъ*. Оба эти первыя произведенія, конечно до послѣдней степени слабыя, носятъ еще сильныя задатки мистицизма.

Въ 1860 г. Рѣшетниковъ получилъ мѣсто въ томъ-же уѣздномъ судѣ помощникомъ столоначальника чернорабочаго стола. Это обстоятельство сдѣлало его болѣе самостоятельнымъ, и въ то-же время онъ созналъ сразу всю свою отвѣтственность. „Мнѣ страшно казалось, рассказываетъ онъ, рѣшать участь человѣка, и я сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывать въ разные мѣста, читалъ разные копѣи, резстры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывалъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не заперто, узналъ здѣсь многое“.

Такимъ образомъ Рѣшетниковъ пополнилъ свое знакомство съ народомъ, узнавъ изъ канцелярскихъ бумагъ всю подневольность простого человѣка и зависимость его отъ мелкаго начальства, и у него тогда уже возникло стремленіе приносить этому народу пользу посредствомъ литературнаго труда. Сильное вліяніе на Рѣшетникова въ этомъ отношеніи оказалъ одинъ мастеровой екатеринбургскаго мѣстнаго двора. Онъ очень любилъ Рѣшетникова, знакомилъ его съ бытомъ рабочаго человѣка, совѣтовалъ ему жить честно, не лжаться съ пьянчужками и взяточниками. Освободившись подѣ

этими вліяніями совсѣмъ отъ своего мистицизма, Рѣшетниковъ началъ писать произведенія обличительнаго характера,—каковы были— *Черное озеро*, *Дѣловые люди* и пр., въ бумагахъ его не сохранившіяся.

По мѣрѣ того какъ въ Рѣшетниковѣ укрѣплялось сознаніе, что съ помощью своихъ писаній онъ можетъ сдѣлать полезное, уѣздный судъ и Екатеринбургъ стали ему надобѣдать, и у него явилось неодолимое стремленіе уѣхать въ Пермь и тамъ служить: тамъ можно читать книги, тамъ у него школьные товарищи, тамъ наконецъ проживала та самая дѣвушка, которою онъ два года назадъ „не хотѣлъ соблазниться“, а теперь избавившись отъ аскетизма, снова любилъ такъ, какъ любилъ еще ребенкомъ.—Но не малаго труда стоило ему какъ переѣхать въ Пермь, такъ и устроиться тамъ; пришлось выдержать тяжелую и долгую борьбу съ дядей; затѣмъ въ Перми долго не давали ему мѣста, чему сильно препятствовали съ одной стороны то, что онъ былъ нѣкогда подѣ судомъ, а съ другой его обличительныя сочиненія, слухъ о которыхъ распространился по Перми, такъ какъ *Черное озеро* онъ посылалъ въ *Пермскія губернскія вѣдомости*.

Лишь въ іюнѣ 1861 года онъ наконецъ добился мѣста канцелярскаго служителя казенной палаты. „Меня посадили, пишетъ Рѣшетниковъ, въ регистратуру. Вся моя работа не умственная, а машинная, состоить въ записываніи входящихъ бумагъ, подпискахъ на конвертахъ, отправляемыхъ изъ палаты и печатаніи ихъ. Эта работа обременительна одному и при полученіи пяти или шести рублей жалованья кажется вдвое обременительной. Для ума-же никакой пищи“.

Какую нищету терпѣлъ онъ во все время пребыванія въ Перми, мы можемъ судить по слѣдующему относящемуся къ тому времени бюджету его: „за квартиру 1 р. 50 к. На говядину, 30 ф. по 3 к. за фунтъ—90 коп. Хлѣба на 60 коп. и молока на 60“.— „Буду жить, замѣчаетъ онъ, какъ Богъ велѣлъ“. Терпя такую нужду, Рѣшетниковъ переживалъ въ то-же время свою первую любовь къ той дѣвушкѣ, о которой мы выше говорили. Любовь эта конечно была несчастна. Дѣвушка нашла жениха, болѣе обезпеченнаго, и Рѣшетникову только и осталось, что погрузиться всецѣло въ литературный трудъ, что онъ и не замедлилъ сдѣлать. Въ Перми у него нашлось нѣсколько судей его литературныхъ трудовъ и совѣтниковъ; какой-то сослуживецъ Т. и редакторъ губернскихъ вѣдомостей П., которые все болѣе и болѣе направляли его на тотъ путь, на который онъ выступилъ въ своихъ *Подмитовцахъ*. Такъ въ это время онъ написалъ рассказъ изъ заводской жизни, подѣ заглавіемъ *Скрипачъ*, и драму *Раскольникъ*. Правда, драма эта была написана еще стихами и въ ней являлись еще слѣды монастырскаго мистицизма, но здѣсь вы встрѣчаете массу недовольныхъ типовъ изъ простонародья и рабочаго класса; заводскіе нравы, которымъ отдано въ драмѣ двѣ трети мѣста, изображены ярко, правдиво. Въ побужденіяхъ, руководящихъ этимъ народомъ въ побѣгахъ съ завода въ лѣсъ къ раскольнику,—все реально, просто, безъ малѣйшей примѣси чего-нибудь изъ области сверхъ-естественнаго, однимъ словомъ Рѣшетниковъ впервые является здѣсь тѣмъ, чтó онъ есть.

Послѣ неудачи въ любви пусто и одиноко стало Рѣшетникову въ Перми, и онъ началъ помышлять о Петербургѣ. Въ переселеніи въ столицу сильное содѣйствіе оказалъ ему пріѣхавшій въ Пермь ревизоръ, у котораго онъ занимался на дому

перепискою бумагъ. Ревизоръ полюбилъ его, и цѣня, какъ хорошаго писца и способнаго чиновника, обѣщалъ перевести его въ Петербургъ, что и исполнилъ въ слѣдующемъ году. Весною 1863 года Рѣшетниковъ получилъ письмо отъ своего благодѣтеля съ разрѣшеніемъ ѣхать и обѣщаніемъ мѣста, и въ началѣ августа 1863 года онъ былъ уже въ Петербургѣ.

### III.

Въ Петербургѣ въ свою очередь Рѣшетникову долго пришлось мыкать горе. Хотя по протекціи ревизора онъ и получилъ занятія въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ, но жалованья ему пришлось получать всего 9 рублей. Жилъ онъ поэтому въ коморкѣ рядомъ съ кабакомъ и чтобы какъ-нибудь сводить концы съ концами, сталъ писать небольшіе очерки въ *Сѣверную пчелу*. Платили ему за нихъ мало и неаккуратно. Одинъ изъ сослуживцевъ, братъ литератора и потому нѣсколько знакомый съ литературнымъ дѣломъ, надумалъ его снести только что написанныхъ *Подмиовцевъ* въ редакцію *Современника*. Рѣшетниковъ такъ и сдѣлалъ, присоединивъ къ рукописи письмо къ Некрасову, въ которомъ между прочимъ писалъ:

«Такихъ людей, какъ подмиовцы, въ настоящее время еще очень много не только въ чердынскомъ уѣздѣ пермской губ., мѣстности самой глухой и дикой, но и въ смежной съ нею—вятской, вологодской и архангельской. Зная хорошо жизнь этихъ бѣдняковъ, потому что я 20 лѣтъ провелъ на берегу рѣки Камы, по которой весной мимо Перми плывутъ тысячи барокъ и десятки тысячъ бурлаковъ, — я задумалъ написать бурлацкую жизнь, *съ цѣлью хоть сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ*. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь въ этомъ очеркѣ невозможное для пропуска. По моему написать все это иначе—значитъ говорить противъ совѣсти, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... Вы не повѣрите, я даже плакалъ, когда передо мной очерчивался образъ Пилы во время его мученій».

Какъ бы то ни было, но напечатанные въ №№ 3 и 4 *Современника* за 1864 годъ *Подмиовцы* сразу обратили на себя вниманіе публики и открыли молодому писателю доступъ во всѣ редакціи. Читатели *Современника* съ пожравшимъ интересомъ прочитали этотъ неуклюжій, тяжелый по формѣ рассказъ, написанный дубовымъ, топорнымъ языкомъ, состоящимъ сплошь изъ коротенькихъ, обрывистыхъ фразъ. Ужасомъ преполнились сердца всѣхъ народолюбцевъ при видѣ поразительныхъ картинъ нищеты подмиовцевъ, ихъ упорной борьбы съ голодною смертію и невыносимыхъ страданій. Никто не воображалъ, что въ нѣдрахъ богоспасаемой Россіи могли существовать дикари, подобно неграмъ сѣверо-американскихъ штатовъ обращенные въ вьючный скотъ. Между тѣмъ рассказъ подкупалъ своею несомнѣнною правдивостію. Передъ читателями былъ не опытный, хитроумный художникъ, которому ничего не стоитъ и присочинить ради эффекта, а безыскусственный самоучка, едва справляющійся съ литературными формами и языкомъ, пишущій лишь для того, чтобы объявить всенародно какъ страдаютъ подмиовцы и помочь имъ этимъ кличемъ. И дѣйствительно вышло нѣчто въ русской литературы небывалое: не повѣсть, не рассказъ, къ какимъ публика привыкла, а именно докладъ, въ полномъ смыслѣ протоколъ; хотя и слышались въ каждой строкѣ тѣ самыя затаенныя слезы, о которыхъ писалъ Рѣшетниковъ Некрасову, тѣмъ не

менше авторъ ни малѣйшаго успѣія не обнаружилъ, чтобы разжалобить читателей этими слезами. До послѣдней строки онъ остался все такъ-же невозмутимо спокоенъ, сухъ и лакопиченъ, какъ будто рассказывалъ о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, ни мало не трагическихъ.

Далѣе затѣмъ Рѣшетниковъ написалъ цѣлыхъ два толстыхъ томища, содержащихъ 124 листа компактной печати. И всѣ эти рассказы отличаются однимъ и тѣмъ-же характеромъ: такъ-же они неуклюжи, страшно растянуты, исполнены мелкихъ, повода совершенно ненужныхъ деталей и потому довольно тяжелы въ чтеніи, и всѣ они заключаютъ въ себѣ неизмѣнно одно и то-же содержаніе: именно—какъ голодаютъ, холодаютъ, терпятъ всевозможныя мытарства, обиды и оскорбленія бѣдные люди, пробивая себѣ дорогу хоть къ самому маленькому обезпеченію. Наиболѣе выдающимся изъ всѣхъ этихъ произведеній являются: *Ставленникъ*, *Между людьми*, *Глумовы*, *Гдѣ лучше? Свой хлѣбъ*.—Повѣсть *Между людьми* носитъ характеръ, какъ мы уже говорили, автобіографическій; здѣсь авторъ почти изо дня въ день рассказавъ всю свою жизнь и особенно дѣтскіе годы со всѣми ихъ обстоятельствами. Въ романѣ *Свой хлѣбъ* въ свою очередь рассказана, по словамъ самого Рѣшетникова, жизнь одного очень близкаго ему лица. Пріимая во вниманіе это непосредственное списываніе съ дѣйствительности со всѣми подробностями и безъ малѣйшихъ ухищреній, можно смѣло сказать, что Рѣшетниковъ былъ истиннымъ протоколистомъ въ гораздо большей степени, чѣмъ эту кличку присвоиваютъ себѣ французскіе натуралисты. Это былъ грубый и необработанный самородокъ, непосредственно цѣльный, какъ въ своихъ произведеніяхъ, такъ и въ самой жизни. Тяжкія обстоятельства жизни положили на него неизгладимую печать, съ которою онъ сошелъ и въ могилу.

«Онъ былъ угрюмъ, говоритъ его біографъ Гл. Ив. Успенскій, неразговорчивъ, не общителенъ, порою грубъ... Отъ всѣхъ онъ сторонился, смотрѣлъ полкомъ, ко всему и всѣмъ былъ подозрителенъ; рѣдко-рѣдко добродушная улыбка освѣтитъ это угрюмое лицо... Никакихъ блестящихъ фразъ онъ не говорилъ, а если принимался рассказывать что-нибудь, то рѣчь его касалась всегда предметовъ наобыденнѣйшихъ, была длинна, расплывалась въ мелочахъ и утомляла тѣмъ болѣе, что Рѣшетниковъ говорилъ монотонно, «себѣ подъ носъ», не выпуская изъ зубъ коротенькой трубочки, отчего каждое слово отдѣлялось паузой. Наблюдатель уходилъ ли съ тѣмъ, чтобы потомъ, при появленіи новаго произведенія О. М., удивляться по прежнему—смѣшенію въ этомъ «совершенно обыкновенномъ человѣкѣ» великаго и малаго»...

Подобно тому какъ въ своихъ сочиненіяхъ Рѣшетниковъ былъ не художникомъ, а словно добровольнымъ ходакомъ по народнымъ дѣламъ, такъ и въ самую жизнь онъ старался вносить тоже участіе къ народу и заботы объ оказаніи ему вслѣдственной помощи:

«Въ бумагахъ О. М., говоритъ біографъ его, мы нашли много подлинныхъ доказательствъ этой истинной любви къ человѣку. Вотъ записки о какомъ-то пропавшемъ мальчикѣ: съ обозначеніемъ примѣтъ, выписанныхъ изъ газеты на случай, не удастся ли найти его; вотъ ненапечатанная статья о дурной привычкѣ чернорабочихъ, старавшаяся кого-то убѣдить, что простому народу нуженъ свѣжій воздухъ и т. д. Между этими бумагами особенно интересно прошеніе, адресованное О. М.—чемъ къ соб. оберъ-полицеймейстеру. Въ прошеніи этомъ Рѣшетниковъ рассказываетъ слѣдующее: подумалось ему пойти однажды въ концертъ; прочитавши афишу и не замѣтивъ, что она

вчерашня, старал, онъ отправился въ дворянское собраніе, гдѣ, вѣроятно, въ это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустилъ Ѳ. М. въ подъѣздъ; онъ пошелъ въ другой—и тамъ не пустили, «прогнали прочь», по собственному его выраженію. Ѳ. М. разсердился и отвѣтилъ, на него прикрикнули:—Куда ты лѣзешь? кто ты такой?—«Мастеровой!» отлѣчалъ Ѳ. М. Результатомъ такого отвѣта было то, что Рѣшетниковъ ночевалъ въ части, откуда вышелъ весь избитый, безъ денегъ и кольца. «Довожу объ этомъ до свѣдѣнія вашего п-ства, писалъ онъ въ прошеніи. Я ничего не ищу. Я только объ одномъ осмѣливаюсь утруждать васъ, чтобы пристава, квартальные, ихъ подчаски и городовые не били народъ... Этому «народу» и такъ придется много получить всякой всячины...»

Жизнь его значительно улучшилась послѣ пріобрѣтенія литературной извѣстности. Онъ вскорѣ женился на одной своей землячкѣ, такъ-же какъ и онъ круглой сиротѣ, бывшей въ Петербургъ на *свой хлѣбъ*. Онъ имѣлъ теперь и средства, и досугъ для пополненія своего крайне недостаточнаго образованія. Изъ оставшихся послѣ смерти его бумагъ и записокъ видно, что ни на одну минуту не покидало его желаніе научиться, развить себя. Онъ читалъ книги дѣлалъ изъ нихъ извлеченія. Но часы его недолгой жизни были уже сосчитаны. Губительный порокъ, пріобрѣтенный имъ въ монастырѣ, ежедневно подтачивалъ его силы и тщетно боролся онъ съ нимъ: съ каждымъ днемъ онъ все болѣе и болѣе захватывалъ несчастнаго въ свои когти. 9 марта 1871 г. онъ умеръ на тридцатомъ году жизни, отъ отека легкихъ, оставивъ послѣ себя жену и двоихъ дѣтей.

#### IV.

Александръ Ивановичъ Левитовъ былъ родомъ тамбовецъ. Отецъ его былъ бѣдный сельскій священникъ. Родился Левитовъ въ 1842 году, и дѣтство его прошло въ самой бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличавшейся отъ обстановки любого крестьянина средняго достатка. Изъ массы воспоминаній, о дѣтскихъ годахъ, разбѣянныхъ въ разныхъ сочиненіяхъ Левитова, мы видимъ, что дѣтство его протекло такъ тоскливо, монотонно и однообразно, какъ только могло оно протечь въ степной деревенской глуши, въ домѣ сельскаго попа. Только и было отраднаго въ этой жизни, что обаяніе южной степной природы, положившей глубокой, неизгладимый слѣдъ на всю жизнь и дѣятельность Левитова. „Дѣти раздольныхъ полей, вспоминаетъ Левитовъ свое дѣтство въ одномъ изъ своихъ очерковъ, мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды“. Изъ всѣхъ сосѣднихъ сельскихъ ребятишекъ особенно подружился Левитовъ съ одной дѣвочкой, которая такъ къ нему привязалась, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже вступить въ законный бракъ, когда вырастутъ большіе.

«Отецъ принялся между прочимъ учить меня грамотѣ, рассказывалъ Левитовъ, которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни разлучала меня съ дѣвочкой. Я бесполезно проводилъ мучительно длинные и жаркіе лѣтніе дни, сидя надъ азбукой и тоскуя о знакомомъ огородѣ. Его веселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо покрывавшее его, представлялись мнѣ гораздо виднѣе, чѣмъ всѣ эти азбучные азы и титлы; а черномазая дѣвочка съ своими длинными волосами, съ яс-



ными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затемняла глаза мои, такъ что они очень плохо знакомились съ раскрашенными яркою краскою картинами въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ приохотить меня къ грамотѣ.

Послѣ цѣлаго ряда руготни и истязаній отецъ мальчика, видя, что безъ дѣвочки ученье не идетъ въ голову сына, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанию отца, и писать и читать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ Ста четырехъ священныхъ исторій съ картинами они перешли къ Четымъ Минемъ.

«Цѣлый годъ, поѣствуетъ Левитовъ, кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о приобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные примѣры мучениковъ и мученицъ закаляли наши головы страстнымъ истомляющимъ желаніемъ идти куда-нибудь и прославить святое имя Христова по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были ни что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ Четыхъ Минемъ. Но Четы-Минемъ была скоро прочитана. Еще памъ откуда-то досталъ отецъ божественныхъ книгъ. Однажды услышалъ наши разговоры дьяконскій сынъ, семинаристъ... Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать, была *Графъ-Монтекристо*. Послѣ Монтекристо мы перечитали всѣ историческія сказки Дюма, а потомъ семинаристъ, пріѣхавъ черезъ годъ уже на дѣтнія пакаціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова «Христоматію». Онъ терпѣливо и охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ *Басурманомъ*, весело смѣялись съ Киршей, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную предель Пушкина и мрачно-величавое уныніе Лермонтова».

Всѣ факты дѣтства Левптова представляютъ его въ видѣ крайне болѣзненнаго и нервно-впечатлительнаго ребенка, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фанстастическими грезами подъ вліяніемъ чтенія Четей-Минемъ и слушанія сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обиліи была преполнена среда, окружавшая мальчика. Въ играхъ съ сверстниками онъ конечно не былъ запѣвалой и предводителемъ. Отсутствіе физическихъ силъ вмѣстѣ съ пламенною экзальтаціею и грѣзами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ дѣлали его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ и реально мыслящихъ степныхъ мальчугановъ какимъ-то особеннымъ существомъ, не то блаженненькимъ, не то баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозывали не иначе, какъ дворянчкомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена того мрачнаго ожесточенія противъ людской неправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному, — составлявшаго главную сущность поэзіи Левптова. Уѣздная бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

Какъ уѣздное духовное училище, такъ и семинарія оставили въ Левптовѣ тѣмъ болѣе мрачное воспоминаніе, что онъ постоянно былъ впродолженіи ученія между двухъ огней: товарищи колотили его за то, что онъ былъ тщедушенъ, слабъ, не былъ въ состояніи давать сдачи, а также пзъ зависти къ необыкновеннымъ его успѣхамъ; наставники же понавидѣли его за то, что „были лишены всякой возможности представить вниманію гг. ревизоровъ болѣе представительнаго и красиваго премьера“. — Лишь по прошествіи двухъ лѣтъ пребыванія его въ семинаріи горизонтъ жизни Ле-

вптова прояснѣлъ, когда онъ подружился съ однимъ своимъ товарищемъ. „Мы, повѣствуетъ Левитовъ, состроили себѣ изъ двухъ нашихъ маленькихъ физическихъ силъ одну, о которую разбивались всѣ остальные, а нравственныя силы къ намъ обоимъ сами пришли“.

Друзья начали зачитываться Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ, Диккенсомъ, Теккереемъ. Это общее чтеніе имѣло тѣ послѣдствія, что на семнадцатомъ году Левитовъ покинулъ семинарію, будучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отправиться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ средствъ ему пришлось совершить это путешествіе въ пятьсотъ верстъ пѣшкомъ. Придя въ Москву, онъ началъ слушать лекцій въ университетѣ и готовится къ вступительному экзамену. Эта была повидимому лучшая эпоха его жизни. Онъ попалъ въ Москву и въ университетъ въ самое горячее время общественнаго оживленія передъ реформами. Послѣ страшной семинарской каторги началась для него полная надеждъ и мечтаній, горячихъ споровъ и разумнаго чтенія жизни въ студенческомъ кружкѣ (въ которомъ вмѣстѣ съ Левитовымъ былъ Кельсиевъ). Выдержавши вступительный экзаменъ, Левитовъ не остался въ московскомъ университетѣ, а переехалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ въ медико-хирургическую академию. Здѣсь жизнь его потекла также дѣятельно, разумно и оживленно, какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческими занятіями онъ отдавалъ весь досугъ свой чтенію и изученію какъ русскихъ такъ и иностранныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Но печальный случай измѣнилъ все; Левитовъ былъ запутанъ въ какія-то исторіи, исключень изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ—въ Шенкурскѣ, потомъ въ Вологдѣ.

Шенкурская и вологодская эпохи тяжело отразились на всей жизни Левитова. Вдали отъ интеллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ нищетою, среди уѣзднаго общества тонущаго въ матеріализмъ, Левитовъ окончательно ожесточился, одичалъ и сжился съ тѣми низкими слоями общества, пзобразителемъ жизни которыхъ онъ является. Въ то-же время скука, праздность, лишенія и уныніе вмѣстѣ съ заразительнымъ примѣромъ окружавшей его среды развили и ожесточили въ немъ тотъ порокъ (пьянство), задатки котораго были положены уже во время семинарской жизни.

Если можно добромъ помянуть этотъ періодъ его жизни, то развѣ за то, что въ это время онъ серьезно приступилъ къ литературнымъ трудамъ, и уже въ Шенкурскѣ были начаты имъ *Стенные очерки*, а съ переѣздомъ въ Вологду онъ въ состояніи былъ окончить нѣкоторыя изъ начатыхъ работъ и послать въ Москву въ редакцію одного журнала. Въ 1861 году Левитовъ возвратился въ Москву по обыкновенію пѣшкомъ, безъ гроша денегъ. Чтобы не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее путешествіе, онъ припужденъ былъ останавливаться въ селеніяхъ, занимался писать въ волостныхъ правленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы.

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе его въ литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала въ журналахъ: *Зритель*, *Развлеченіи*, *Русской тѣчи*, потомъ во *Времени*, *Современникѣ*, *Библіотекѣ для чтенія*, *Искрѣ*, *Недѣль* и др. Къ этому-же времени относится и знакомство его съ разными литературными дѣятелями того времени, напримѣръ съ Ап. Григорьевымъ, который привѣтствовалъ его появленіе на литературисе поприще и поощрялъ начинавшій талантъ.

Дальнѣйшая жизнь Левитова носилъ все тотъ-же скитальческій характеръ. Это была не жизнь въ пестромъ смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанное маяніе и постепенное угасаніе. Литературный трудъ плохо обезпечивалъ бѣднягу, къ тому-же онъ спѣшилъ обзавестись семьею, чѣмъ еще болѣе отягчилъ и безъ того нерадостную жизнь свою. Можно положительно сказать, что человѣкъ этотъ никогда не зналъ, что значить имѣть свой домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя-бы самую убогую. Онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странникомъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ маленькій чемоданчикъ, и съ этимъ чемоданчикомъ скитался по меблированнымъ комнатамъ, но столпчнымъ чердакамъ и подваламъ. Къ тому-же онъ не могъ не только примкнуть къ одному какому-либо изданію и сдѣлаться постояннымъ его сотрудникомъ, но и укорениться въ одной изъ столицъ: поживетъ въ Москвѣ годикъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, и начинаетъ тяготиться московскою жизнью: „здѣсь все начинается плѣсневѣть, говоритъ онъ раздраженно своимъ близкимъ, — тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или сопьешься...“ Ыдетъ въ Петербургъ: тамъ въ сущности то-же самое: подвалчики, чердачки, борьба съ нищетою, да еще къ тому и убійственный климатъ, подъ вліяніемъ котораго у Левитова ожесточается кашель, начинается кровохарканье, грудная боль; онъ ѣдетъ опять въ Москву — поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ ждетъ его все та-же убогая, сырая, холодная комнатка гдѣ-нибудь въ захолустьѣ и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями смрадной, удушливой физической и нравственной атмосферы столпчоньей жизни и тщетными порываніями стеника въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей. Такъ жестоко страдалъ, томился и вянулъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригрѣтый въ суетѣ столпчоньей жизни. Тоска по родинѣ и тщетныя порыванья въ родной край „на наследственную полосу“ проходить по всѣмъ сочиненіямъ Левитова.

— Я усталъ, говорилъ онъ однажды собрату своему по перу, Нефедову: — мнѣ необходимъ отдыхъ. Здѣсь, въ Москвѣ или въ Петербургѣ, объ этомъ нечего и думать... Довольно будетъ ужъ съ меня *столицей*-то: слава Богу, въ загромокъ-то достаточно таки онѣ паклали мнѣ... Ахъ, братъ, на родину какъ тянетъ, если-бы ты зналъ!... Стариковъ моихъ живыхъ ужъ нѣтъ — не хватило у нихъ силъ, мочи перенести горе; мой Шенкурскъ убилъ и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться со стариками... Теперь остались только сестра и братъ. Хоть-бы на нихъ взглянуть!“

И вотъ не въ силахъ будучи за пенніемъ средствъ попасть на родину и желая быть къ ней хоть поближе, онъ началъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Рязскѣ. „Рязскъ, говорилъ онъ, вѣдь это уже почти что моя родина: отъ Рязска до Козлова по желѣзной дорогѣ, а тамъ рукой подать — мое село“. Съ большими мытарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ: въ августѣ 1866 г. уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: „много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но говоря по совѣсти, они положительнѣе блѣднѣютъ передъ такой великой глушью, какъ мое поступленіе учителемъ въ Рязскъ“. На рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Также неудачна была попытка его посѣтить родину и въ 1870 г. Въ іюнѣ этого года онъ писалъ Нефедову: „Ѣду на родину. Накопецъ-то сбылся мой давниш-

нія мечты и желанія: я увижу родину!“ Но пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и вмѣсто родины ему пришлось поселиться близъ Ваганьковского кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозь крышу дождь, и опять пошла жизнь полная страданій и лишеній.

Посѣтивъ въ послѣдній разъ Петербургъ въ 1871 году, Левитовъ затѣмъ безвыѣздно провелъ послѣдніе годы въ Москвѣ. Зимой онъ проживалъ гдѣ-нибудь у Драгомиловскаго моста въ подвалѣ или у Ваганьковского кладбища; лѣтомъ переселялся въ какую-нибудь подгородную деревню и Петровское-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться чаще и чаще. Литературныя его работы шли тихо; лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ *Грамотей* и носитъ заглавіе *Аховскій посадъ*. Главнымъ если не единственнымъ средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть; зловѣщій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть (въ ночь со 2-го на 3-е января 1877 г.) пришлось ему, какъ умираютъ бездомные и безпріютные странники, закинутые въ чуждальную сторону: въ казенно-черствой обстановкѣ университетской клиники.

## V.

Приступая теперь къ характеристикѣ произведеній Левитова, мы можемъ употребить тотъ-же сравнительный методъ, которымъ руководствовались при опредѣленіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, тѣмъ болѣе, что въ настоящемъ случаѣ методъ этотъ самъ какъ-бы напрашивается намъ, обѣщая привести насъ къ богатымъ результатамъ. Въ самомъ дѣлѣ: трудно представить себѣ двухъ писателей, которые будучи однородными по предмету своихъ произведеній,—изображенію народа,—въ то-же время представляли-бы такую полную противоположность относительно характера своихъ талантовъ, какъ Рѣшетниковъ и Левитовъ. Рѣшетниковъ является передъ нами типомъ сѣвернаго писателя: холодный, сдержанный, лаконичный, онъ не скупится на внѣшнія детали изображаемой дѣйствительности, порою совершенно тонетъ въ нихъ, забывая о сути дѣла, но въ то-же время идеально объективенъ; даже въ автобіографическихъ своихъ произведеніяхъ онъ сумѣлъ объективировать самого себя и рассказывать самыя потрясающія и ужасныя событія своей жизни съ невозмутимою флегмою обрусѣлаго финна. Слогъ его сухъ и сжатъ; ни малѣйшаго художественнаго аксессуара, яркаго эпитета или смѣлаго сравненія не найдете вы у него, ни малѣйшаго лирическаго одушевленія или подъема, ни одной картины природы или изображенія женской красоты.

Левитовъ наоборотъ представляетъ собою типъ южнаго беллетриста по яркости колорита во всѣхъ его изображеніяхъ, по преобладанію живой, пламенной, прихотливой фантазіи, по страстности, лиричности и крайней субъективности. Слогъ его своею музыкальностью, пѣвучестью, принимающею въ лирическихъ и патетическихъ мѣстахъ почти стихотворные размѣры, напоминаетъ слогъ Гоголя: такіе-же безконечно-длинные и закрученные періоды, оснащенные массою картинныхъ и затѣйливыхъ

эпитетовъ, метафоръ и уподобленій. Въ тоже время одною изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза особенностей Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы: ни одного очерка не обходится у Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривалось между собою или даже съ героини стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ одномъ очеркѣ, онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака въ одномъ степномъ селѣ, въ образѣ пропившагося, обнищалаго старичокки и заставляетъ это бревно произносить цѣлые монологи о кабачныхъ посяпте-ляхъ, садившихся на немъ калякать между собою, а подъ конецъ бревно это, возмутившись сценами, происходившими возлѣ кабака, „приподнялось съ земли, гнѣвно за-сверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожная пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ небу взвилась и всего его затуманила“. Въ другомъ-же мѣстѣ (*Вѣрное средство отъ разоренія*) онъ заставляетъ разговари-вать между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ одного купеческаго дома въ Москвѣ, и статуи произносятъ цѣлые сатирическіе монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ.

Самая форма его произведеній не представляетъ собою ни тѣни чего-либо строго обдуманнаго, правильно расположеннаго, стройнаго. Она не подходитъ ни къ одному извѣстному виду беллетристики; это какія-то безформенныя лиро-эпическія импро-визаціи. Каждая такая импровизація, носящая названіе повѣсти, разсказа, очерка, представляетъ разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и воплей наболѣвшей души. Все это въ пестромъ хаосѣ тѣснится, словно спѣша и едва поспѣвая другъ за другомъ и смѣняясь съ такою-же капризною произвольностью, какъ смѣ-няются сны или грезы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы на-конецъ добраться. И всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой цѣли, съ тою-же произвольностью, съ какою въ головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣняются другими, заноса его иногда не вѣсть въ какую область. Левитову напримѣръ хочется изобразить горе сапожника или отставнаго солдата, но начиняетъ онъ рѣчь не иначе, какъ съ самого себя, изображая свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизого, (обычный его псевдонимъ), и вотъ онъ рассказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариываетъ въ хмѣльномъ чаду съ едва мигающими фонарями. Передъ вами разворачивается картина этого хмѣльного чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ развѣдающихъ думъ, сѣтованій, и вдругъ среди этой страшной иглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется въ видѣ во-споминаній дѣтскихъ лѣтъ стенная картина, блестящая яркими красками и отрад-нымъ, теплымъ колоритомъ, а далѣе опять мракъ, снѣжныя сугробы, свѣцовыя грезы бѣлой горячки, а на слѣдующей-же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается жѣткимъ, сильнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простодушно веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ видно, что авторъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о размѣрахъ и соответствіи частей своего про-

изведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранее, куда она его занесетъ.

Что касается до содержанія произведеній Левитова, то понятно, что человѣкъ, прожившій жизнь такъ безотрадно какъ онъ, вынесшій изъ нея такъ много горя и слезъ, долженъ былъ наибольшее вниманіе обращать на мрачныя стороны жизни и особенно близко принимать къ сердцу всяческое горе ближнихъ, чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно это мы и видимъ въ произведеніяхъ Левитова. Онъ вполне справедливо озаглавилъ одно изъ изданій своихъ очерковъ *Горе селъ, деревень и городовъ*. Въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ Левитова мы видимъ пѣвца народнаго горя во всѣхъ его многообразныхъ видахъ: горя нищеты, семейнаго раздора, горя невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, горя обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, безпомощнаго спотства и безчеловѣчнаго надруганья грубой силы надъ слабостью и пр., и пр. Словомъ это то самое горе-злосчастье, которое народъ воспѣваетъ въ своихъ пѣсняхъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда схорониться доброму молодцу: ни въ пескахъ сыпучихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Подобно тому какъ Гоголь, пріѣхавши изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего скитальчества по Петербургу и труднаго пробыванія дороги въ грусти по родинѣ писалъ свои *Вечера на хуторѣ*, такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни родного края, о которомъ вспоминалъ въ пеннурской глуши, и результатомъ этихъ воспоминаній были *Степные очерки*. Эти лучшія произведенія Левитова блещутъ особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красотъ степной природы, всѣхъ малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массы личныхъ воспоминаній дѣтства разсѣяны по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ лугамъ и лѣсамъ и живущихъ одною жизнью съ окружающею природою. И въ то-же время каждая мелкая черточка выведена съ горячею, нѣжною любовью и блещетъ слезами падрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чуждадьную сторону.

Но при всемъ этомъ общее впечатлѣніе, какое вы выносите изъ *Степныхъ очерковъ*, сводится все къ тому-же всеобщему горю, которое одно только и видитъ Левитовъ во всей его окружающей жизни. Повсюду передъ вами льются слезы непокрытой нищеты и горькаго покинутаго спотства, повсюду какая-нибудь безжалостная сила ломается надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья-нибудь молодая, только что расцвѣтающая жизнь. Передъ вами проходятъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце то обстоятельство, что всѣ эти драмы вовсе не имѣютъ въ основѣ своей какую-бы то ни было роковую, систематическую борьбу: передъ вами развертывается картина дикаго, чисто средневѣковаго нестройства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и бессмысленный случай, то такіе невмѣняемые факторы, какъ суевѣрія, грубость нравовъ и культуры и т. п. Вы видите, что въ этой средѣ ни чья жизнь, ни чье благосостояніе не обезпечены; никто не можетъ поручиться, что завтра-же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ враговъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, въ

родѣ волка, который съѣстъ ребенка, и всего ужаснѣе, что гроза эта разражается нежданно—негаданно изъ-за самыхъ по видимому пустыхъ и ничтожныхъ поводовъ.

## VI.

Заплативши дань своей роднѣ *Степными очерками*, Левитовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей скитальческой жизни по неблагоустроеннымъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обѣихъ столицъ въ рядѣ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1874 г. подъ названіемъ *Горе сель, дорогъ и городовъ* (выдающіеся очерки этого изданія: *Безпечальный народъ, Петербургскій случай, Фигуры и троны о московской жизни, Московскія уличныя картины, Поссейный день* и пр.) и въ изданіи 1875 г. подъ заглавіемъ *Горе сель, дорогъ и городовъ*.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другою категоріею сочиненій Левитова, рѣзко отличающеюся отъ категорій степныхъ рассказовъ и не имѣющею съ нею ничего общаго. Какъ ни много мрачныхъ красокъ собрано въ *Степныхъ очеркахъ*, но они все-таки смягчаются нѣсколько обаяніемъ степной природы и присутствіемъ цѣльныхъ, сплывшихъ и положительныхъ характеровъ, на которыхъ отдыхаетъ сердце ваше. Црою авторъ какъ-бы на время совершенно забываетъ о пародномъ горѣ, увлекаясь какимп-нибудь воспоминаніями дѣтства, бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда-же вы приметесь читать *Жизнь московскихъ закоулковъ*, вы должны припомнить извѣстную надпись на вратахъ Дантова ада: „оставь за собою всякую надежду“.

Начать съ того, что вмѣсто юности исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкой и съ непрерывнымъ проклятійемъ на устахъ ожесточенный голякъ, утратившій всякія надежды въ своей неудавшейся жизни. Отъ словца на зло вамъ съ зубнымъ скрежетомъ сплывитъ набрасывать картины одна другой мрачнѣе, чудовищнѣе и безнадежнѣе и въ то-же время какъ будто тщеславится передъ вами своею одинокою безучастною ищетою, своими отрепеніи и безпробуднымъ пьянствомъ. Рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ-же планѣ не выставилъ самого себя голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ и петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду въ рваномъ пальтишкѣ и непримѣнно изъ кабака въ кабакъ.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но это не то горе *Степныхъ очерковъ*, которое идетъ размыкаться въ лѣсъ дремучій и тамъ успокаивается на лонѣ ласкающей природы, разливается въ звучной пѣснѣ на все село или находитъ исходъ въ кельѣ Божьей невѣсты, послушницы. Это—горе, безвыходно и безучастно задыхающееся въ смрадѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ, стоны и вопли котораго безслѣдно исчезаютъ въ шумѣ и гамѣ столичной суеты, горе, находящее себѣ единственный исходъ въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ пенстовымъ взвизгиваніемъ и бѣшеною пляскою трепака и общею кровавою потасовкою въ мутномъ чаду похмѣлья. Поэтому очерки этой категоріи представляютъ нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ кабачныхъ поноесъ и потасовокъ и являются

какъ-бы специально посвященными изображенію народнаго пьянства. Созерцаніе этого пьянства виѣстъ съ личнымъ участіемъ въ немъ словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ жизни и поэзіи Левитова. „Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ, говоритъ онъ въ очеркѣ *Крымъ*:—ожели вамъ это понравится; но вѣдь я зачѣмъ пришелъ въ Крымъ? Я пришелъ въ Крымъ съ тою цѣлю, чтобы смотрѣть цѣлую ночь много-различныя виды нашего русскаго горя; чтобы, смотря на эти виды, провести всю ночь въ болѣзненномъ нутрѣ сердца, не могущаго не сочувствовать сценамъ людскаго паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣснуясь больною душой, которая видитъ, что и она такъ-же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа“.

Въ личностяхъ, выводимыхъ въ этихъ очеркахъ, вы не найдете уже тѣхъ непосредственно цѣльныхъ, народно-типическихъ характеровъ, какіе проходятъ передъ вами въ *Степныхъ очеркахъ*. Это все люди надломленные, перемолотые и стерты до полной безличности въ мытарствахъ столичной жизни, искаженные иногда до потери всякаго человѣческаго образа, опустившіеся до чудовищнаго разврата. Про Левитова нельзя въ этомъ отношеніи сказать, чтобы онъ льстилъ народу, идеализировалъ его: онъ изображалъ народъ непосредственно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельствами паденіи.

Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболѣе страшныхъ трущобныхъ типовъ и самыхъ сокровенныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки *Крымъ*, *Грачевка*, *Безмечальный народъ*, *Не спятъ—не жнутъ*, *Посейный день*. Всѣ эти очерки облпчаютъ въ Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ трущобахъ, куда кромѣ него не приходилось заглянуть ни одному еще наблюдателю народныхъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь они болѣе тщательно обработаны въ техническомъ отношеніи и не столь растянуты, ихъ можно было-бы причислить къ числу первостепенныхъ произведеній русской литературы, хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они представляются вполне своеобразными и въ высшей степени замѣчательными явленіями ея.

Субъективный элементъ въ очеркахъ этой категоріи присутствуетъ въ болѣе большихъ размѣрахъ, чѣмъ въ *Степныхъ очеркахъ*. Встрѣчаются очерки, въ которыхъ элементъ этотъ преобладаетъ вполне и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ этихъ вполне субъективныхъ очерковъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго горя, а дѣлаетъ различныя сопоставленія нравовъ и понятій, господствующихъ въ народной средѣ, съ гуманными высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сопоставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора разбиваются о грубую и грязную дѣйствительность, полную мрака, невѣжества. Таковы *Фигуры и троны о московской жизни* или *Счастливые люди*. Въ этихъ очеркахъ въ образѣ самого автора рельефно выступаетъ передъ вами типъ тѣхъ беллетристовъ-народниковъ шестидесятыхъ годовъ, представителемъ которыхъ является Левитовъ. Вышедши изъ народа, вынеси на своихъ плечахъ его страданія и живя до конца дней своихъ непосредственно его



жизнью, беллетристы эти не идеализировали народъ, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали „неотразимымъ вздоромъ“ туманныя фантазіи народниковъ-славянофиловъ вроде Ап. Григорьева, олицетворенныхъ Левитовымъ въ типѣ учителя въ очеркѣ *Счастливые люди*. Это сознаніе „неотразимаго вздора“ происходило конечно изъ того реальнаго опыта, который открылъ имъ всѣ вѣковыя язвы, всю вѣковую грязь, которая вѣлпсь въ народъ подъ вліяніемъ тяжелыхъ условій его жизни втеченіе многихъ столѣтій!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознаніе: увидя народъ не такимъ, какимъ-бы имъ хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, они исполнились глубокою, безысходною скорбію о всѣхъ его язвахъ и страданіяхъ, и въ то-же время дѣйствительность представившаяся имъ совершенно ошеломила ихъ и обезкуражила. Въ уныніи и отчаяніи опустили они руки, тоскливо восклицая: во чтѣ-же послѣ этого вѣрить?... Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что дѣлать?... И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвеніи вина и смерти.

## VII.

Николай Ивановичъ Наумовъ родился 16 мая 1838 года въ Tobольскѣ. Отецъ его былъ сынъ дьякона изъ села Самарова Березовскаго округа; служилъ сначала въ городѣ Омскѣ прокуроромъ, а потомъ въ Томскѣ совѣтникомъ губернскаго правленія. Чтѣ было большою рѣдкостью въ тѣ времена, да еще въ Сибирѣ,—человѣкъ онъ былъ безукоризненной честности, чему былъ обязанъ благотворному вліянію на него декабристовъ, въ кружокъ которыхъ онъ попалъ въ молодости. Вслѣдствіи этой честности главы семьи всегда жила въ страшной бѣдности. Матери Наумовъ лишился семи лѣтъ, и послѣ смерти ея росъ одинокимъ, заброшеннымъ ребенкомъ, не имѣя товарищей, не зная дѣтскихъ игръ. Любимое его времяпрепровожденіе было уходить вечеромъ въ какую-нибудь темную комнату и, забывшись въ уголокъ, слушать вой зимней вьюги. Читатъ мальчикъ научила еще мать съ пяти лѣтъ. Вся библіотека его въ это время заключалась въ басняхъ Крылова, которыя мальчикъ читалъ съ утра до ночи, пока не выучилъ наизусть. Первою книгою послѣ басенъ, которую онъ прочелъ, былъ Юрій Милославскій Загоскина, который увлекъ его до такой степени, что былъ прочитанъ пять разъ, благодаря блестящей памяти, многія мѣста онъ выучилъ наизусть. Затѣмъ, пристрастясь къ чтенію, онъ началъ читать все, чтѣ ему попадалось подъ руки: и *Еруслана Лазаревича*, и *Гуака*, и Четив-Миннеп, и Библию, и Исторію Карамзина. Восьми лѣтъ онъ уже зналъ наизусть чуть не всего Пушкина. Но это пристрастіе къ чтенію не обошлось мальчику дешево: отъ неподвижной жизни и сидѣнія за книгою съ утра до ночи у него испортилось пищевареніе и разлилась желчь. Позвавъ былъ врачъ и мальчику было безусловно запрещено чтеніе. Тогда онъ прибѣгъ къ хитрости: наворачивавъ у старухи няньки огарковъ отъ сальныхъ свѣчей, онъ уходилъ будто-бы спать, а самъ, когда въ домѣ все засыпало, принимался за свое любимое занятіе.

Но самую лучшую школою мальчика, обратившею все вниманіе его на страданія народа, была сама жизнь.

«Судьбѣ угодно было, рассказываетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ о дѣтствѣ, любезно сообщенныхъ имъ намъ специально для этой книги, чтобы съ самаго ранняго дѣтства я видѣлъ однѣ только печальныя картины человѣческихъ страданій. Домъ нашъ въ г. Омскѣ выходилъ окнами на площадь передъ крѣпостнымъ валомъ. Лѣтомъ обыкновенно съ 11 часовъ утра на этой площади производили ученіе солдатамъ, и тутъ-же ихъ сѣкли и розгами, и палками и шомполами отъ ружей. Далеко разносились крики терзаемыхъ жертвъ. На этой-же площади гоняли сквозъ строй и солдатъ, и преступниковъ. Я и теперь безъ содрганія не могу вспомнить этихъ сценъ. Я плакалъ, забивался въ подушки, чтобы не слышать барабаннаго боя и раздражающихъ душу криковъ. По ночамъ со мною часто дѣлался послѣ подобныхъ картинъ жаръ и бредъ, и меня укладывали иногда на нѣсколько дней въ постель. Когда меня отдали въ ученіе къ учителю Ксенофону Трифоновичу (фамиліи его не помню),—онъ былъ унтеръ-офицеръ и учитель полубатальона кантонистовъ,—здѣсь я опять видѣлъ тѣ-же картины страданій этихъ несчастныхъ дѣтей кантонистовъ, которыхъ сѣкли безчеловѣчно за самые ничтожныя поступки, напримѣръ за оторвавшуюся у куртки пуговицу, морили голодомъ и т. п.

«Въ эти ранніе годы я хотя безсознательно сталъ уже ненавидѣть всякое насиліе. Много мнѣ способствовалъ къ развитію этой ненависти жившій у насъ въ кучерахъ сосланный въ Сибирь по волѣ помѣщика старикъ Памфилъ. Это былъ добрый, умный и честный крестьянинъ тамбовской губерніи. Онъ былъ крѣпостной человѣкъ Тютчева. Былъ избранъ въ своемъ селѣ въ старосты. Миръ уполномочилъ его идти къ барину въ Питеръ съ жалобой на злоупотребленія и притѣсненія управляющаго, и за это былъ наказанъ 500 ударами розогъ и сосланъ въ Сибирь. Онъ жилъ у насъ около 20 лѣтъ. Памфилъ былъ мастерской рассказчикъ. Рѣчь его была плавная, образная, пересыпаемая пословицами, остротами, прибаутками. Я заслушивался его рассказами о житѣй-бытѣ крестьянъ, о нагломъ насиліи и произволѣ какіе совершаютъ надъ ними помѣщики, обирая у крестьянъ послѣднее для того, чтобы проживать и проигрывать въ карты. Сцены изъ его рассказовъ, какъ отрывали дѣтей у отца и матери, продавая ихъ другому помѣщику или проигрывая ихъ въ карты, производили на меня потрясающее впечатлѣніе.

Наумову шелъ 9-й годъ, когда отца его перевели на службу въ Томскъ. По приѣздѣ туда мальчика отдали въ гимназію. Онъ вошелъ въ гимназію весьма развитымъ ребенкомъ сравнительно съ сверстниками и съ первыхъ-же дней пріобрѣлъ не только любовь товарищей, но и неограниченную власть надъ ними. Онъ увлекалъ ихъ, рассказывая имъ все прочитанное. Когда какой-нибудь учитель не приходилъ въ классъ, дверь въ классъ запиралась, ученики садились по мѣстамъ; Наумова торжественно садили на учительское кресло и просили рассказать что-нибудь. Въ классѣ водворялась мертвая тишина, и Наумовъ принимался рассказывать или какой-нибудь эпизодъ изъ прочитаннаго имъ рассказа, или изъ исторіи, и пужно было видѣть, какъ эти шалуны, постоянно наказываемые учителями за невниманіе и шалости во время уроковъ, жадно слушали все, что говорилось имъ. Это подтверждается еще съ большею обстоятельностью г. Идрищевымъ въ его „Воспоминаніяхъ о томской гимназіи“ (см. *Сиб. Сборн.* 1888 г., вып. I).

«У насъ, говоритъ онъ, былъ любимецъ товарищъ, Николай Ивановичъ Наумовъ; впоследствии замѣчательный беллетристъ и писатель. Будучи развитѣ другихъ, онъ много читалъ и обладалъ даромъ рассказывать,—*Королеса Марко, Монсарз, Три Мушкетера* составляли канву его рассказовъ, но также увлекательно онъ рассказывалъ иногда и историческія событія изъ прочитаннаго имъ аббата Милота. Когда

надоѣдало «давать масло», мы сажали его на столъ и цѣлымъ классомъ его слушали. Тогда среди буйной толпы слышно было, какъ пролетитъ муха. Мнѣ приходилось жалѣть впоследствии, что наши наставники не обладали этимъ секретомъ сосредоточивать вниманіе».

Но немного вынесъ Наумовъ изъ гимназій при крайне плохомъ составѣ и начальства ея, и учителей. Къ тому-же онъ не пошелъ далѣе младшихъ классовъ. Онъ былъ въ третьемъ классѣ, когда отецъ его вышелъ въ отставку съ 20 рублями въ карманѣ. Онъ рассчитывалъ скоро получить пенсію, но выдача ея затянулась на три года, и три года семья принуждена была терпѣть самую ужасающую нищету. Часто, приходя изъ гимназій голодный, мальчикъ не имѣлъ чего поѣсть. Въ домѣ порою не было сальной свѣчи, и ложились спать засвѣтло; по нѣсколькимъ дней зимою сидѣли въ топленной комнатѣ. Мальчикъ бѣгалъ въ гимназію зимой въ одной холодной шинелишкѣ, безъ калошъ, вмѣсто чулковъ обматывая ноги писчею бумагою, и надевая на нихъ сапоги иногда съ отпавшими подошвами. Наконецъ онъ совсѣмъ обпоснелся, и послѣ оскорбительно грубаго замѣчанія инспектора насчетъ его одежды отецъ принужденъ былъ взять его изъ гимназій. Вскорѣ затѣмъ, не желая быть въ тягость семьѣ, Наумовъ поступилъ въ военную службу юнкеромъ. Жизнь съ солдатами много способствовала ему къ изученію ихъ быта. Онъ писалъ имъ письма къ роднымъ и читалъ получаемыя ими письма. Во время службы онъ сошелся съ однимъ офицеромъ А. А. Зерцанновымъ. Это былъ человѣкъ умный, развитой, много читавшій. Наступила уже эпоха реформъ и чаяній. Юноша читалъ первые статьи Добролюбова и Чернышевскаго, *Губернскіе очерки* Щедрина. Вѣлпнскій былъ изученъ имъ почти паизустъ. Чувствуя скудость своихъ знаній и тяготясь этимъ, Наумовъ кончилъ тѣмъ, что вышелъ въ отставку и поѣхалъ въ Петербургъ въ университетъ. Это было въ 1860 году. Наумовъ началъ посѣщать лекціи, надеясь постепенно подготовиться и сдать гимназическій экзаменъ. Но въ 1861 году университетъ былъ закрытъ. Наумовъ не избѣгъ ареста въ числѣ прочихъ студентовъ того времени, участвовавшихъ въ демонстраціяхъ. Затѣмъ нечего было и думать о продолженіи ученія. Надо было добывать паущинный хлѣбъ, и Наумовъ устремился на литературное поприще.

Первый разсказъ его изъ солдатскаго быта подъ названіемъ *Случай изъ солдатской жизни* Наумовъ написалъ будучи еще юнкеромъ и послалъ его изъ Томска въ *Восмный Сборникъ*, гдѣ онъ былъ напечатанъ въ іюльской книжкѣ 1858 г. подъ псевдонимомъ Карзунова.

Въ 1862 году въ журналѣ Погосскаго *Народная бестѣда* былъ помѣщенъ разсказъ изъ солдатскаго быта *Письмо* и въ *Искрѣ*—юмористическія сцены *Горсбличителю* и нѣсколько мелкихъ статей юмористическаго-же содержанія.

Затѣмъ литературная дѣятельность его почти не прерывалась до 1884 года, когда тяжкая нужда заставила литературнаго пролетарія, уже обремененнаго семействомъ, бросивъ неро, искать обезпеченія па службѣ, и онъ отправился па родину въ Маріинскъ па должность непремѣннаго члена па крестьянскія дѣла.

Лучшія изъ его произведеній изданы въ различное время въ трехъ сборникахъ подъ слѣдующими заглавіями: 1) *Сила соломѣ ломить*, 2) *Въ тиломъ омутъ* и

3) *Въ забытомъ краю*. Всѣ рассказы Наумова по типу своему вполне принадлежатъ къ беллетристичѣ пзъ народнаго быта шестидесятыхъ годовъ, т. е. представляютъ рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ бѣдствій, притѣсненій, наглыхъ обпраній со стороны властей и капиталистовъ и полнаго безправія. Особенность рассказовъ Наумова заключается въ томъ, что онъ пмѣетъ дѣло съ сибирскими крестьянами. Сибирскіе крестьяне отличаются отъ европейскихъ тѣмъ, что они значительно развитѣе, отважнѣе и предприимчивѣе. Не надо забывать, что Сибирь не знала крѣпостнаго права. Но зато здѣсь гораздо ранѣе, чѣмъ въ Европейской Россіи развились такіе экономическіе порядки, которые у насъ назрѣваютъ лишь нынѣ, на нашихъ глазахъ, въ началѣ-же шестидесятыхъ годовъ, тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ, были еще почти совсѣмъ незамѣтны. Такова новая сельская буржуазія въ видѣ кулаковъ, всякаго рода промышленниковъ и скупщиковъ, опутывающихъ народъ сѣтью наглаго ростовщичества и закабаляющихъ его подъ нго новаго крѣпостнаго права, еще болѣе ужаснаго вслѣдствіе своей экономической неодолимости. Въ Сибири подобныя пауки, сосущіе народную кровь, уже издавна успѣли всюду растянуть свои хитроумныя паутины и являются въ видѣ крупныхъ капиталистовъ миллионеровъ, пользующихся въ своемъ краѣ тѣмъ болѣе безграничнымъ могуществомъ, что такая далекая окраина, какъ Сибирь, до которой едва касались реформы шестидесятыхъ годовъ и въ которой до сихъ поръ сохраняются старые суды, всегда представляла широкій просторъ для всякаго рода административнаго произвола и вопіющихъ злоупотребленій. Вслѣдствіе всего этого картины народнаго безправія и безпомощности подъ гнетомъ безсердечной эксплуатаціи денежной мощи въ рассказахъ Наумова пмѣютъ особенную выпуклость и драматичность, далеко превышающія подобныя качества рассказовъ прочихъ беллетристовъ шестидесятыхъ годовъ пзъ народнаго быта Европейской Россіи. Этимъ и объясняется то сильное, потрясающее впечатлѣніе, какое въ свое время они производили. Прибавьте къ этому вѣрность народнаго быта и говора, обличающую въ Наумовѣ большого знатока народной жизни, и свойственную таланту его теплую, хватающую за сердце задушевность,—таковы качества, дѣлающія Наумова и до сихъ поръ однимъ пзъ выдающихся писателей въ ряду беллетристовъ-народниковъ. Какъ на лучшіе его рассказы укажемъ на слѣдующіе: *У Перевоза* (Совр. 1863 г., № 11). *Деревенскій аукціонъ* (Искра 1866 г.), *Деревенскій торгашъ* и *Юродивая* (Дѣло 1871 г.), *Тинь да гладь* (От. Зап. 1873 г.). *Умалишенный*, *Куда не кинь—все клинъ*, *Паутина* (въ Дѣлѣ 1878 г.) и проч.

---

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

I—Глѣбъ Ивановичъ Успенскій и Николай Николаевичъ Златовратскій какъ представители новой и послѣдней фазы беллетристики изъ народнаго быта. Дѣтство и юность Гл. Ив. Успенскаго и неблагопріятныя условія первыхъ десяти лѣтъ его творчества. II—Общій характеръ творчества Гл. Успенскаго и характеристика перваго, разночиннаго, періода его дѣятельности. III—Переходное состояніе и вступленіе во второй періодъ дѣятельности, мужицкій. IV—Гл. Успенскій въ качествѣ разрушителя иллюзій въ воззрѣніяхъ интеллигенціи на народъ. V—Гл. Успенскій у источника. *Власть земли* и значеніе очерковъ, группирующихся вокругъ этого произведенія. VI—Биографическія свѣдѣнія о Златовратскомъ. VII—Характеристика сочиненій Златовратскаго и выводимыхъ изъ нихъ типовъ.

### I.

Выше мы уже говорили, что въ семидесятые годы беллетристика народнаго быта вступила въ новую фазу своего развитія, болѣе тщательнаго, основательнаго и глубокаго изученія народа, когда перестали уже довольствоваться съ одной стороны апріорною идеализаціею народа на основаніи нѣсколькихъ демократическихъ идей, и съ другой стороны—поверхностною правдою конкретныхъ фактовъ, выводимыхъ съ цѣлью возбудить въ обществѣ участіе къ народнымъ страданіямъ и негодованіе къ тяготящимъ надъ нимъ неправдамъ. Въмѣсто этого явилось стремленіе къ постиженію основныхъ началъ народной жизни, къ такимъ выводамъ и обобщеніямъ, которые давали-бы ключъ къ пониманію жизни народа въ ея сущности, во всей ея сложности, въ ея такъ сказать массовыхъ проявленіяхъ, являющихся историческимъ продуктомъ, дѣломъ вѣковъ. Во главѣ этой новой фазы народной беллетристики стоятъ два писателя: Глѣбъ Ивановичъ Успенскій и Николай Николаевичъ Златовратскій.

Съ тѣхъ поръ какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя всеобщее вниманіе, какъ двѣ крупнѣйшія силы современной литературы, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ-бы два противоположные полюса воззрѣній на народъ,—отрицательный и пессимистическій со стороны Гл. Успенскаго и положительный, оптимистическій со стороны Н. Златовратскаго. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей находили даже тайную, замаскированную полемику, которую они вели между собою, не имѣя возможности выступить другъ противъ друга открыто, такъ какъ печатались въ одномъ журналѣ. Даже и молодые читатели ихъ раздѣлялись на

два лагеря: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго, причемъ первые обвиняли Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаго въ чемъ-то вродѣ скрытаго крѣпостничества. На самомъ-же дѣлѣ оба эти писателя при всемъ своемъ антагонизмѣ, зависящемъ отъ особенностей ихъ талантовъ, различными путями пришли къ одной и той-же цѣли. Въ то время какъ Гл. Успенскій своимъ разлагающимъ, чисто прудоновскимъ анализомъ, вооруженнымъ безпощаднымъ юморомъ разрушалъ всѣ накопившіяся съ сороковыхъ годовъ апріорныя иллюзіи, которыя мѣшали видѣть народъ въ его истинномъ свѣтѣ и во всей нелицепріятной правдѣ, Н. Златовратскій на развалинахъ этихъ иллюзій возвелъ новое зданіе, показавши намъ уже не воображаемые, а дѣйствительныя, подлинныя положительныя начала народной жизни, о которыхъ до тѣхъ поръ никому и не снилось.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій родился (14-го ноября 1840 года) въ Тулѣ, и какъ мы уже видѣли (см. гл. XIII), былъ сынъ секретаря казенной палаты и двоюродный братъ Николая Успенскаго. Тамъ-же въ Тулѣ учился онъ до 1856 года въ мѣстной гимназіи, а курсъ кончилъ въ Черниговской гимназіи въ 1861 г. Послѣ того поступилъ въ с.-петербургскій университетъ, затѣмъ перешелъ въ московскій, но вышелъ некончивши курса. Воспоминанія о дѣтскихъ и юношескихъ годахъ вынесъ онъ самыя мрачныя.

«Вся моя личная жизнь, говоритъ онъ въ одной весьма краткой автобіографіи своей, вся обстановка моей личной жизни до 20-ти лѣтъ, обрекала меня на полное затмѣніе ума, полную погнѣбель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдѣляла отъ жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакалъ безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходитъ. Не помню, чтобы до 20 лѣтъ сердце у меня было когда-нибудь на мѣстѣ. Вотъ почему, когда насталъ 61 годъ, взять съ собою «въ дальнюю дорогу» что-нибудь изъ моего *прошлаго* было рѣшительно невозможно—ровно нечего, ни капельки; напротивъ, для того чтобы *жить* хоть какъ-нибудь, надобно было непремѣнно до послѣдней капли *забыть все* это прошлое, истребить въ себѣ всѣ вифдренныя имъ качества. Нужно было еще перетерпѣть все то разореніе невольной неправды, среди которой пришлось жить мнѣ годы дѣтскіе и юношескіе, надо было потратить годы на эти непрестанныя похороны людей, среди которыхъ я выросъ, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что «не тѣ времена». Самая безропотность погибавшихъ людей, явное сознаніе, что все, что въ нихъ есть и чѣмъ они жили—неправда и ложь, и безпомощность ихъ, уже одно это прямо убѣждало людей моего возраста и обстановки жизни, что изъ *прошлаго* нельзя и не надо, и не возможно оставить въ себѣ даже самомалѣйшаго воспомнанія; ничѣмъ отъ этого *прошлаго* нельзя было и думать руководиться въ томъ новомъ, которое «будетъ», но которое рѣшительно еще неизвѣстно. Слѣдовательно начало моей жизни началось только *послѣ забвенія моей собственной біографіи*, а затѣмъ и личная жизнь, и жизнь литературная стали созидаться по мнѣ одновременно *собственными средствами*»...

Литературную дѣятельность Гл. Успенскій началъ въ 1866 году рядомъ очерковъ, извѣстныхъ подъ общимъ заглавіемъ *Провы Растеряевой улицы* и помѣщавшихся на страницахъ *Современника*, но съ самаго начала ея ему пришлось подвергнуться всѣмъ тѣмъ враждебнымъ условіямъ, о которыхъ было говорено въ предыдущей главѣ и которыя мѣшали беллетристамъ-разночинцамъ тщательно работать и доканчивать свои произведенія.

«Времена, пережитыя русскою журналистикою за послѣднія 20 лѣтъ, говоритъ Гл. Успенскій въ предисловіи къ изданію сочиненій его 1883 г., были преполнены всевозможныхъ случайностей, безпрестанно разстраивавшихъ правильное ея теченіе и развитіе. Мои очерки много пострадали отъ этихъ невзгодъ журнальнаго дѣла, чисто по внѣшнему отношенію. Правда, аргументъ нечего было въ нихъ искоренять: цензурныя бѣды обрушивались не на такого рода литературныя явленія. Но въ общемъ поворотѣ ничто не можетъ оставаться нетронутымъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти очерки вышли-бы рельефнѣе, полнѣе и осмысленнѣе, если-бы журнальная жизнь была устойчивѣе и представители печати могли чувствовать себя спокойнѣе.

«Укажу на одинъ примѣръ. *Правы Растеряевой улицы*, задуманныя мною въ 1866 г., только что начали печататься въ *Современникѣ* (№№ 2-й и 3-й 1866 г.). какъ журналъ этотъ былъ закрытъ. Продолженіе этихъ очерковъ, пріготовленное для *Современника*, должно было явиться въ Сборникѣ *Лучъ*, изданномъ редакціей *Русскаго Слова*, которое также было прекращено, причемъ все, что имѣло связь съ очерками, напечатанными въ *Современникѣ*, надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть,—для того, чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ «сдѣлана» иная обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той-же серіи рассказовъ печаталось въ журналѣ *Женскій Вѣстникъ*, такъ какъ тогда (66 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть *Растеряева улица*, со своими пьяницами «саножниками и мастеровщиной», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому развитію, женскому вопросу*. При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличію, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-жь было дѣлать? Я ихъ умылъ и пріодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше...

«Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли-бы пристать начинающіе писатели,—ничего тогда на-лицо не было. Все удручало васъ и дѣлало одинокимъ. А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни,—требовало отъ литературы, — и имѣло на это право, — многосложной и внимательной работы.

«Такимъ образомъ какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновлявшаяся жизнь требуетъ большихъ дарованій и задала имъ огромныя задачи,—дѣлали то, что незначительная способность написать «рассказъ» или «очеркъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ не нужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда, и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, «кой-какъ», появляясь въ видѣ «отрывковъ» безъ начала и конца...

Такія-же жалобы на одиночество встрѣчаемъ мы и въ его вышеупомянутой автобіографіи:

«Одиночество, говоритъ онъ, было полное. Съ крупными писателями я не имѣлъ никакихъ связей, а мои товарищи—люди старшіе меня лѣтъ на десять—почти всѣ безъ исключенія погибали на моихъ глазахъ, такъ какъ пьянство было почти чѣмъ-то неизбежнымъ для тогдашняго талантливаго человѣка. Всѣ эти подверженныя силушной гибели люди были уже извѣстны въ литературѣ, и жили они въ наше время, когда можно на полной свободѣ «плѣнить своимъ искусствомъ свѣтъ»—они-бы написали много изящныхъ произведеній; но захватила ихъ новая жизнь такая, что завтрашній день не могъ быть даже и предвидѣнъ—и талантливые люди почувствовали, что имъ не угнаться за толпой, начинающей жить безъ всякихъ литературныхъ традицій, должны были чувствовать въ этой отживавшей толпѣ свое полное одиночество. Сколько ни проиллюстрировалъ въ поэмахъ, романахъ—«они» даже и

не почувствуютъ... Сливавшихся съ кругу талантливейшихъ людей было множество, начиная съ такой потрясающей въ этомъ отношеніи фигуры, какъ П. И. Якушкинъ. Въ такомъ видѣ въ пору были «опохмѣлиться», «очухаться», очувствоваться и какая ужъ тутъ «литературная школа!» Похвалы въ пьяномъ видѣ было много; посуловъ еще больше, анекдотовъ—видимо-невидимо, и такъ чтобы ото всего этого повеселѣть—нѣтъ, этого не скажу. Даже малѣйшихъ опредѣленныхъ взглядовъ на общество, на народъ, на цѣли русской интеллигенціи ни у кого рѣшительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

«Несомнѣнно народъ этотъ былъ душевный, добрый и глубоко талантливый; но питьевая драка, питьевая болѣзнь, похмѣлье и вообще разслабленное состояніе, извѣстное подъ названіемъ «послѣ вчерашняго», занимало въ ихъ жизни слишкомъ большое мѣсто. Не было у нихъ читателя, они писали неизвѣстно для кого и хвалили только другъ друга. Одиночество талантливыхъ людей вело ихъ къ трактирному оживленію и шуму. Ко всему этому надо прибавить, что въ годы 1863—1868 все въ журнальномъ мірѣ падало, разрушалось, валялось. *Современникъ* сталъ тусклъ и упалъ во мнѣніи живыхъ людей, отводя по полкнигѣ на бесплодные литературныя распри, а потомъ и былъ закрытъ. Закрыто и *Русское Слово*, и вообще всѣ маломальски видные дѣятели разбрелись, *исчезли*. Начали появляться какія-то темныя изданія съ темными издателями... Одинъ изъ нихъ напримѣръ, когда пришли описывать его за долги, сталъ на глазахъ пристава ѣсть овесъ, прикинувшись помѣшаннымъ (Артабалеvскій). Когда наконецъ въ 1868 г. основались новыя *Отечественныя записки*, первые годы въ нихъ тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконецъ дѣло не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить въ неустановившемся и неудобномъ обществѣ большей частью до послѣдней степени изломанныхъ писателей (съ новыми я едва встрѣчался еще), не было никакой возможности, и я уѣхалъ за-границу...»

## II.

Вотъ подъ вліяніемъ какихъ мрачныхъ и неблагопріятныхъ условій развивался талантъ Гл. Успенскаго. Условія эти отразились не только на формѣ его произведеній, на отрывочности ихъ и отсутствіи художественной обработки, но и на самомъ содержаніи. Первое, что васъ поражаетъ въ нихъ, это полное отсутствіе спокойной художественной созерцательности, стремленія нарисовать что-бы ни было изъ одного артистическаго увлеченія, однимъ словомъ того, что называется „чистымъ искусствомъ“. Не найдете вы въ этихъ очеркахъ ни одного ландшафта, ни одного изображенія женской красоты, ни въ какомъ-бы то нибыло отношеніи поразительнаго сюжета. Строгій чисто подвижническій аскетизмъ въ этомъ отношеніи проникаетъ всѣ произведенія Гл. Успенскаго, побуждая его до такой степени сторониться отъ малѣйшаго художественнаго аксессуара, что въ послѣднемъ изданіи своихъ произведеній (1889) онъ нашелъ нужнымъ еще болѣе сжаться. По крайней мѣрѣ г. Михайловскій въ своей статьѣ объ Успенскомъ, приложенной къ изданію, говоритъ, что просматривая сочиненія Гл. Успенскаго, онъ не находилъ въ нихъ то отдѣльной фразы или яркаго слова, которое онъ хорошо помнитъ, а то и цѣлой картинки, и что вычеркнуты главнымъ образомъ „смѣшныя“ вещи...

Подобный художественный аскетизмъ происходитъ вовсе не изъ какой-либо предвзятой эстетической теоріи, а лежитъ въ самой природѣ г. Гл. Успенскаго. Ключъ



къ этому аскетизму заключается въ тѣхъ словахъ автобіографіи писателя, гдѣ онъ говоритъ, что до 20 лѣтъ онъ плакалъ безпрестанно, не зная отчего это происходитъ, и что до 20 лѣтъ сердце у него никогда не было на мѣстѣ. Такимъ образомъ — эта была слишкомъ потрясенная и встревоженная душа, которой было вовсе не до какихъ-либо художественныхъ красотъ. И притомъ не до двадцати только лѣтъ душа Гл. Успенскаго оставалась въ такомъ положеніи: она и потомъ въ продолженіе всей послѣдующей жизни продолжала быть не на мѣстѣ въ вѣчныхъ порывахъ къ свѣту, къ *источнику*, какъ выразился Гл. Успенскій, въ вѣчныхъ поискахъ правды, живой души, цѣлостности человѣческой природы, въ вѣчной скорби о больной совѣсти интеллигентнаго русскаго человѣка. Не принадлежа къ числу такихъ ультра-субъективныхъ художниковъ, которые вѣчно возятся съ своею личностью и спѣшатъ возвѣщать міру о каждомъ своемъ мимолетномъ ощущеніи, тѣмъ не менѣе Гл. Успенскій не принадлежитъ и къ числу тѣхъ объективнѣйшихъ писателей, которые подолгу выносятъ свои художественные образы, являющіеся плодами ихъ спокойныхъ наблюденій надъ окружающею ихъ внѣшнею жизнью и не имѣющіе никакого кровнаго сродства съ жизнью ихъ собственнаго сердца. Гл. Успенскій всегда въ продолженіе все своей дѣятельности глубоко страдалъ своими художественными образами; онъ постоянно волновался, кипятился всѣмъ тѣмъ, что представлялось его глазамъ; все это тотчасъ-же всецѣло овладѣвало его душою, дѣлалось жизнью его собственнаго сердца и все это онъ спѣшилъ излить въ образахъ видимому вполне объективныхъ, но въ то-же время имѣвшихъ въ его глазахъ непосредственное, кровное сродство съ жизнью его души, такъ какъ въ нихъ-то именно эта жизнь и заключалась, какъ онъ и самъ свидѣтельствуютъ о томъ въ концѣ своей автобіографіи, говоря:

«Все-же, что накоплено мною «собственными средствами» въ опустошенную забвеніемъ прошлаго совѣсть,—все это пересказано въ моихъ книгахъ, пересказано поспѣшно, какъ пришлось, но пересказано все, *чѣмъ я жилъ лично*. — Такимъ образомъ *вся моя новая біографія послѣ забвенія старой пересказана почти изъ дня въ день въ моихъ книгахъ. Больше у меня ничего въ жизни личной не было и нѣтъ...*»

Ужъ одно это достаточно свидѣтельствуетъ о томъ, что въ лицѣ Гл. Успенскаго отнюдь не является исключительно беллетристъ - народникъ, который ѣздитъ лѣтомъ по деревнямъ и записываетъ смѣшныя сцены и разговоры, которыя потомъ и изображаетъ въ своихъ очеркахъ, какъ представляютъ себя Гл. Успенскаго люди, мало знакомые съ его произведеніями. Напротивъ того, мы видимъ, что въ первые десять лѣтъ своей дѣятельности онъ вовсе не является изображателемъ народнаго быта въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Проведя дѣтство и юность въ городахъ и продолжая вращаться въ нихъ, онъ не зналъ еще деревенской жизни и мужика; въ произведеніяхъ этого перваго періода его дѣятельности, простирающагося съ 1866 года до второй половины семидесятыхъ годовъ, изображаются жители русскихъ городовъ, передъ вами развертывается „картина нравовъ русской провинціальной разночинной толпы“, какъ онъ выражается въ предисловіи къ изданію его сочиненій въ 1883 году.

И дѣйствительно по всей справедливости онъ можетъ быть названъ въ произведеніяхъ этого періода пѣвцомъ разночинцевъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Начинаетъ Гл. Успенскій въ *Ирравлахъ Растеряевой улицы* съ мелкихъ

провинціальних мѣщанъ, ютящихся въ ветхихъ домишкахъ по окраинамъ уѣздныхъ городишекъ, борящихся съ холодомъ, съ голодомъ, съ *прижимкою*, топящихся въ водкѣ неприглядную тьму и тоскливую монотонность провинціального прозябанія и проявляющихъ при всемъ внѣшнемъ компзмѣ пхъ фигуръ крайне нравственное паденіе и поправіе всего человѣческаго въ остервененіи борьбы за существованіе (личность Прохора Порфиряча), или-же напротивъ того энергическій протестъ души, проснувшейся подѣ обаяніемъ новыхъ вліяній и устремившейся къ свѣту и правдѣ (Михайль Ивановичъ въ *Разореніи*); затѣмъ онъ переходитъ къ разночинной интеллигенціи, въ лицѣ семейства Птициныхъ и Павла Ивановича Шапкина изображаетъ мрачную, полную потрясающаго трагизма картину разоренія и безпомощной гибели той самой *невольной неправды*, о которой онъ говоритъ въ своей автобіографіи, что ему пришлось жить среди нея дѣтскіе и юношескіе годы и тратить пхъ „на непрестанныя похороны людей, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибавшіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что „не тѣ времена“... Справивши по этимъ людямъ поминки въ своемъ *Разореніи*, Гл. Успенскій перешелъ наконецъ къ типамъ передовой разночинной интеллигенціи, захваченной новыми вѣяніями и тщетно ищущей приложенія своихъ молодыхъ силъ, въ горячихъ стремленіяхъ къ народному благу разбивающихся о всевозможные подводные камни провинціальной пучины... Таковы *Наблюденія одного льнтяя*, *Тише воды, ниже травы* и проч.

### III.

Въ 1871 году Гл. Успенскій, какъ выше мы видѣли, уѣхалъ за-границу. „За-границей, пишетъ онъ въ своей біографіи, я былъ два раза; въ 1871 г., послѣ коммуны, причемъ видѣлъ избитый и прусскими и коммунарскими бомбами и пулями городъ, видѣлъ какъ приговариваютъ къ смерти сапожниковъ и башмачниковъ; въ другой разъ я прожилъ тамъ подъ-рядъ два года, по временамъ только пріѣзжая въ Россію. Въ это время я былъ въ Лондонѣ. Я мало писалъ объ этомъ, но многому поучился, много записалъ добраго въ мою душевную родословную книгу навсегда... Затѣмъ прямо изъ Парижа (1876 г.) я поѣхалъ въ Сербію и въ Пештѣ встрѣтилъ нашихъ. И объ этомъ я *мало* писалъ, но много передумалъ и навѣки много опять-таки, взялъ въ свою душевную родословную“...

Это было переходное время (1871—1877), въ которое Гл. Успенскій писалъ дѣйствительно мало, и хотя все, что писалъ онъ въ эти годы, отличается его обычнымъ юморомъ и умѣньемъ проникать въ суть каждаго изображаемаго явленія жизни и мѣтко нѣсколькими штрихами очерчивать его во всѣхъ его наиболѣе характеристическихъ особенностяхъ (таковы относящіеся къ этому времени *Письма изъ Сербіи*), но наиболѣе плодотворная и сенсаціонная дѣятельность ждала его вперед. Она началась съ того момента, когда отъ разночинца онъ перешелъ къ мужику.—Это произошло тотчасъ-же послѣ сербской войны. „Затѣмъ, говоритъ онъ въ своей автобіографіи, подлинная правда жизни повлекла меня къ *источнику*, т. е. къ мужику. По несчастію я попалъ въ такіе мѣста, гдѣ *источники* видно не было... Деньги

привалила въ эти мѣста, и я видѣлъ только, до чего можетъ дойти бездушный мужикъ при деньгахъ. Я здѣсь втеченіе полутора года не зналъ ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народъ. Я писалъ о томъ, какая опъ свинья, потому что онъ дѣйствительно творилъ преподлѣйшія вещи“...

Надо замѣтить, что мѣсто, о которомъ говоритъ здѣсь Гл. Успенскій, былъ одинъ изъ уѣздовъ самарской губерніи, гдѣ Гл. Успенскій по рекомендаціи одного очень богатаго помѣщика взялъ на себя обязанность завѣдывать крестьянскою ссудо-сберегательною кассою, и такимъ образомъ имѣлъ возможность, не ограничиваясь одними наблюденіями посторонняго человѣка, войти въ непосредственныя сношенія съ крестьянскимъ міромъ, и хотя Гл. Успенскій видитъ несчастье въ томъ, что онъ попалъ въ такой край, гдѣ вмѣсто искомаго источника ему пришлось наблюдать, какія способности преподлѣйшія вещи творить мужикъ, но въ сущности это было величайшее счастье для всей послѣдующей дѣятельности Гл. Успенскаго. Это обстоятельство прямо повело къ тому, что прежде чѣмъ Гл. Успенскій добрался до источника, т. е. до настоящаго мужика, являющагося неискалѣченнымъ тлетворными условіями жизни непосредственнымъ произведеніемъ природы, онъ долженъ былъ освободиться отъ тѣхъ иллюзій, которыми жили его современники, начиная съ сороковыхъ годовъ, иллюзій, которыя Левитовъ успѣлъ уже окрестить неотразимымъ вздоромъ. Этотъ самый неотразимый вздоръ въ видѣ апріорнаго представленія мужика то въ видѣ вмѣстилища всѣхъ добродѣтелей, то наоборотъ—въ видѣ бессмысленнаго чудовища—глубоко оставался вѣдреннымъ въ головахъ людей семидесятыхъ годовъ. И вотъ какъ разъ въ то время, когда эти люди, ослѣпленные вышеозначенными иллюзіями, очертя голову ринулись въ народъ, Гл. Успенскій словно холодной водой окатилъ русское общество рядомъ очерковъ, въ которыхъ, отважно ринувшись противъ общаго теченія, началъ разоблачать русскаго мужика во всей его неподкрашенной правдѣ.

Какъ глубоко иллюзіи эти врослись въ самого Гл. Успенскаго и какъ дорого пришлось ему разставаться съ ними, объ этомъ мы можемъ судить по его очерку *Черная работа*, помѣщенному въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1879 г., въ № 5, и въ которомъ Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на свое новое поприще. Въ очеркѣ этомъ, произведшемъ въ свое время громкую сенсацію, несмотря даже на то, что онъ былъ помѣщенъ въ малой книжкѣ, опредѣленно и ясно высказываются тѣ мотивы, которые побудили автора идти по новой дорогѣ. Начинается онъ тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ „тоскою, доходящею до физической боли“. Эта тоска заставила его бѣжать изъ деревни „если не навсегда, то на нѣкоторое время“, а въ послѣдній день „эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой безплодной муки достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда“, и несмотря на страшный бурапъ, который ему пришлось вынести дорогою. Что-же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ посильно бѣжать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между иллюзіями или, какъ называетъ ихъ авторъ, азбучными истинами, съ которыми онъ пріѣхалъ въ деревню, и тѣми конкретными фактами, которые обступили его въ деревенской жизни.

«Адское душевное состояніе, говорить онъ, долженъ пережить всякій, кто только повинуюсь даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь, попробуетъ... ну, просто хотъ только пожить въ деревнѣ... Слагается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревенсю фактовъ, въ которыхъ, по нашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбежныѣ тѣхъ цѣфирныхъ истинъ, какими учить васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно, изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самадѣйшей нити. Ниже читатель, наприимѣръ, увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія, теперь-же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день на-дѣется, что вотъ-вотъ получатся четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стеариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ, нѣчто неожиданное и невозможное и онъ до нѣкоторой степени только пойметъ, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать всякій, кто смотритъ на деревню такъ, «какъ должно» по его мнѣнію, смотрѣть на нее»...

### III.

И вотъ передъ нами является рядъ очерковъ, въ которыхъ изображаются именно такого рода вопіющіе факты деревенской жизни, которые рушатъ всѣ тѣ иллюзіи, какія авторъ называетъ табличкою умноженія. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте только, какое ошеломляющее впечатлѣніе долженъ былъ произвести очеркъ *Черная работа*, въ которомъ изображены три сосѣднія деревни, одна—господская, а двѣ остальные казенныя, и вдругъ вопреки всѣмъ теоретическимъ ожиданіямъ оказалось, что крестьяне господской деревни, наиболѣе угнѣтенные крѣпостнымъ правомъ являются не въ примѣръ и трудолюбивѣе, и нравственнѣе крестьянъ искони жившихъ на полной свободѣ. Далѣе затѣмъ послѣдовалъ очеркъ *Малыя ребята*, въ которомъ интеллигентный человѣкъ нарочно поселяется въ деревню съ педагогическою цѣлью подвергнуть дѣтей оздоровляющему ея вліянію и съ ужасомъ бѣжитъ изъ нея, когда въ результатѣ педагогическаго опыта дѣти его узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать, получали нѣкоторую крѣпость нервовъ, пріучившихся быть нечувствительными во многихъ весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ получили какую-то сынь, требующую серьезнаго леченія, и наконецъ пріобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ.

Еще болѣе долженъ былъ смутить и ужаснуть читателей очеркъ *Не въ привычку дѣло* (въ изданіи онъ озаглавленъ *Чудакъ - баринъ*), въ которомъ изображается интеллигентный человѣкъ, Михаилъ Михайловичъ, который отправился въ деревенскую глушь „трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ пажитыя общимъ трудомъ, должны быть достоиніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ пскрепно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей“.

Но крестьяне, не понявши всѣхъ его высокихъ цѣлей, отнесли къ нему какъ къ чудаку-барину, начали, поддакивая его словамъ и потворствуя его барскимъ пистинкамъ, обирать его со всѣхъ сторонъ и кончилось дѣло тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ убилъ всѣ свои капиталы и въ концѣ-концовъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Онъ является такимъ образомъ передъ читателемъ однимъ изъ тѣхъ первыхъ пионеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, не только не зная его, но и сами неподготовленные къ тому дѣлу, за которое принимались, не умѣвшіе вполне отрѣшиться отъ того наслѣдственного праха, который накопился на ихъ существѣ вѣками. Поэтому здѣсь схваченъ авторомъ вопросъ гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однѣхъ иллюзіяхъ, а о тѣхъ существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отдѣляютъ глубокою пропастью отъ народа даже и такихъ благомыслящихъ господъ, какъ герой этого очерка.

Далѣе затѣмъ въ рядѣ очерковъ мы встрѣчаемъ микроскопическій анализъ, развертывающій передъ нами весьма мрачную картину деревенской жизни. Такъ мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки допускаютъ непризнанныхъ стариковъ, вдовъ и воспитываютъ изъ ихъ деревенскихъ злодѣевъ, обращающихся въ конокрадовъ и поджигателей, на которыхъ сельскій міръ, допустившій на свою голову развѣтъ такихъ чудовищъ, обрушается съ безпощаднымъ самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе въ свою очередь оказывается маразмомъ. Никакой общественной силы въ немъ нѣтъ и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе-бы вопросы или проекты „оздоровленія“, „образованія“, „поднятія народной нравственности“—ни подымались въ обществѣ,—въ деревнѣ изъ ихъ образуются другія уже грустные слова: „по гривеннику“, „по двугривенному“, „по полтинѣ“, и вся умственная дѣятельность крестьянина занята такимъ образомъ почти только одной заботой: достать денегъ.

«Обведя, говоритъ Гл. Успенскій въ очеркѣ *Люди и нравы современной деревни*, вокругъ Москвы кругъ, радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, опредѣлится именно этимъ стремленіемъ — «добыть денегъ», только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться, къ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочность деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьяниномъ желаніе—уйти куда нибудь, желаніе какъ-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ условій крестьянской среды объясняется все-таки-же необходимостью добывать все больше и больше денегъ».

Но страшнѣе всего какъ для настоящаго, такъ и въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла-бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михайловъ Михайловичей, отчасти вслѣдствіе слѣпного вѣкового недовѣрія, отчасти отъ неумѣлости самихъ Михайловъ Михайловичей подойти къ народу и заставить слушать себя, и послѣдніе обращаются въ глазахъ крестьянъ въ какихъ-то гороховыхъ шутовъ и дойныхъ коровъ. а иногда во что-нибудь и похуже,—въ это время единственнымъ умственнымъ руководителемъ народа является кулакъ.

«Мы охотно вѣримъ, говоритъ Гл. Успенскій въ очеркѣ *Деревенская неурядица*, въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди деревенской массы личностей эксплуатирующихъ массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а лезва, органическій недугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничество, а въ томъ, что ничего другого хотя мало-малыски равнозначущаго по разработкѣ и техникѣ деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно усѣвшееся и усовершенствованное въ отношеніи положимъ самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Существуетъ-ли словомъ какое-нибудь явленіе прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какимъ-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человѣку вылившемуся въ кулака надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно геніальныя способности, и въ то-же время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ—не выразилось. Что же значитъ это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непривѣтливымъ и разорительнымъ для самого народа путемъ?

«Замѣчательна, говоритъ авторъ ниже въ томъ-же очеркѣ: въ біографіи всякаго такого человѣка еще слѣдующая небезынтересная черта. Человѣкъ, какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой расчетъ сокрушить этого ненавистника. Но на дѣлѣ-же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ злорадства иной разъ говоритъ себѣ: «По-о-смотришь! Какъ-то вы на волѣ-то поживете! Какъ заберетъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда—узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что такой-то нажалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И невольно чувствуетъ симпатію, конечно все-таки считая нагрѣвателя канальею. Канальей его считаютъ и мужики, но развѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которою онъ напимѣръ ожегъ чемадуrowsкаго и балабаевскаго барина?... «Ужь и развязная-же только башка у шельмы!» Такимъ образомъ, при кличкахъ нарицательныхъ: «шельма», «плутъ», «пройдоха», «каналья» и т. д., тому-же человѣку сопутствуютъ—и ничуть не въ меньшемъ количествѣ—и похвалы: «ловко!» «отлично!» «геніально оплелъ!» «молодчина!» и т. д.—похвалы, основанныя, какъ видите, ужь на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится настолько же хищничествомъ, насколько и нравственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніе, которое по множеству причинъ не можетъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй и почтеннымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человѣка теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно во имя сочувствія и даже пожалуй невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно всѣ сферы общества), сила кулака велика и у мужиковъ, и у баръ, и у начальства. Онъ всѣхъ знаетъ»

онъ понимаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Опъ поэтому и столбъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежитъ первенствующая роль и въ деревенской дѣйствительности. Дѣлїя кулака—самыя крупныя и замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленій современной деревенской улицы—мораль кулацкая. А такъ какъ подростающее деревенское поколѣніе, какъ и то, которое отживаетъ, учится жить и думать такъ, какъ учить дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего противодѣйствующаго ей, то мы, положиа руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣніе воспитывается главнымъ образомъ только кулацкою моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобилїи принимаетъ впечатлѣнїя даваемая кулацкою дѣйствительностью и невольно, безъ протеста подчиняется ея морали.

Вотъ въ какомъ мракѣ крошѣшномъ рисовалъ Гл. Успенскій деревню подъ впечатлѣніемъ вынесеннымъ имъ изъ самарской губерніи.

## V.

Но онъ не въ сплахъ былъ остановиться на одномъ отрицательномъ отношенїи къ народу и поѣхалъ въ другіе мѣста искать болѣе свѣтлыхъ и отрадныхъ впечатлѣнїй. „Мнѣ нужно было знать, говорятъ онъ въ своей автобіографїи, источникъ всей этой хитроумной механики пародной жизни, о которой я не могъ допскаться никакого простаго слова и нигдѣ. И вотъ изъ шумной, полупьяной, развратной деревни забрался въ лѣсъ новгородской губерніи, въ усадьбу, гдѣ жила только одна крестьянская семья. На моихъ глазахъ дикое мѣсто стало оживать подъ сохой пахаря, и вотъ я тогда въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйствительно одну *подлинную важную черту въ основахъ жизни русскаго народа* — именно власть земли...“

Это житїе въ лѣсу новгородской губерніи происходило лѣтомъ 1881 года, и результатомъ его и былъ знаменитый очеркъ его, представляющій высшую точку его творчества — *Власть земли*, появившійся въ № 1 *Отечественныхъ Записокъ* 1882 года. Выставивъ въ этомъ очеркѣ крестьянина Ивана Петрова, который, получивши хорошее и вполне обезпечивающее его мѣсто на желѣзной дорогѣ, излѣнивается, спивается и доходитъ до крайпей деморализаціи, и вновь исправляется и дѣлается примѣрнымъ мужикомъ, едва только возвращается въ деревню, авторъ говоритъ:

„Такимъ образомъ оказывается, что воля, свобода, легкое житїе, обилїе денегъ. т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему напротивъ крайнее разстройство, до того, что онъ дѣлается вродѣ свиньи.“

„Подобную несообразность со всѣми табличками умноженїй“ авторъ и объясняетъ тѣмъ, что онъ называетъ „властью земли“.

„Тайна эта, говоритъ онъ: — по-истинѣ огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастїяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и всел, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленїемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучїи и кроткїи типъ, покуда надъ нимъ царитъ власть земли“

покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность послушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца, словомъ до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь съ головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красный фонарь—и лицо Демона перестало быть краснымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыми она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобъ онъ забылъ «крестьянство»—и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерпанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хошь».

« У земледѣльца, говоритъ ниже Гл. Успенскій, нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые-бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь—тюрьмы или розогъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобъ только сейчасъ-же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля, не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человѣкъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться,—тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *легкость* существованія, благодаря которой Селяниновичъ могъ сказать: «меня любить мать сыра земля». И точно любитъ: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣлкомъ, но зато онъ и не отвѣчаетъ ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ велитъ его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти—онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ, а главное, какое счастье не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать себѣ интересовъ и ощущеній, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—долженъ сидѣть дома, ведро—долженъ идти косить, жать и т. д. Ни за что не *отвѣчалъ*, ничего не *придумывалъ*, человѣкъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую повидному никакого результата (что выработаютъ, то и съѣдятъ), но имѣющую результатъ именно въ самой себѣ. Для чего растеть этотъ дубъ? какаѣ ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и въ концѣ концовъ кормить желудями свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растетъ*, просто зеленѣетъ, такъ, самъ не зная зачѣмъ То-же самое и жизни крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ—это и есть жизнь, интересъ жизни, а результатъ—нуль».

Но не только крестьянинъ въ своей личной семейной жизни приравнивается Гл. Успенскимъ къ типу чисто растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданною не имъ самимъ а тою-же властію земли.



«Если вы поймаете галку, говоритъ Ингасовъ въ разсказѣ *Безъ своей воли*,— рассмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воли? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка—геніальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется всеобъятнымъ... А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ... Неповѣдимыми путями предугазано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ «пучить», и въ концѣ-концовъ получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ миллионы разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устранивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственнаго ума, а такъ... И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна, гармонична, красива, *просто такъ*.

Общественные порядки, поражающіе послѣдователей въ крестьянскомъ бытѣ, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей, говоритъ онъ во *Власти земли*, по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятки», которые посылаются стерляднымъ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба—сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ, и ходяковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества» и, подойдя къ заколу, которые ставятъ рыбники поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мірской сазаній сходъ съ страшной стремительностью устремляется на заколъ и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многіе погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются».

Однимъ словомъ и въ общественномъ отношеніи крестьянскій міръ, то, что называется *община*, представляетъ собою чисто зоологическій типъ, нѣчто вродѣ пчелинаго улья или муравейника.

Вотъ къ какимъ богатымъ и важнымъ результатамъ привело Гл. Успенскаго изученіе народнаго быта. Нужно только припомнить буколическихъ крестьянъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ или-же звѣроподобныхъ мужиковъ Н. Успенскаго, чтобы судить о томъ, какой колоссальный шагъ былъ сдѣланъ Гл. Успенскимъ въ знаніи народа. Образы и идеи, проведенные имъ въ очеркахъ, написанныхъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, вполне стоятъ на высотѣ послѣднихъ словъ науки. Въ самомъ дѣлѣ, что такое представляетъ собою наша крестьянская община? Это вѣдь ничто иное, какъ именно тотъ типъ первобытнаго общества, которымъ по свидѣтельству науки начинали всѣ народы. Въмѣстѣ съ тѣмъ наука свидѣтельствуетъ намъ, что у всѣхъ народовъ, въ началѣ ихъ исторіи, традиціонный умъ, подобный пчелиному инстинкту, преобладаетъ надъ личнымъ. Не даромъ у всѣхъ народовъ сохраняются мѣны о золотомъ вѣкѣ, когда человѣкъ былъ чистъ и невиненъ душою, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался заветамъ отцовъ и дѣдовъ; не было

тогда на землѣ ни ссоръ, ни кровопролитій; всѣ люди соединялись въ общемъ союзѣ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противоположныя, которыя рисуютъ намъ этихъ самыхъ ангеловъ золотого вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными титанами, окруженными легендарными чудовищами и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей своей противоположности подобные мнѣя одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда люди, слѣпо повинаясь вѣлѣніямъ природы и традиціямъ, подобно крестьянамъ Гл. Успенскаго, совершали въ одно и то-же время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, были и ангелами золотого вѣка, и звѣрями эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, появленіе на сцену героя и своевольнаго человѣка,—и есть то, что въ мнѣяхъ представляется въ видѣ паденія золотого вѣка. Какъ только дерзкій умъ человѣка возмущился противъ заветовъ старины, первобытная гармонія золотого вѣка рушилась, начались смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ началась *исторія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смягченіе нравовъ—*цивилизція*; люди перестали быть ангелами золотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестали быть и звѣрями.

Нужно-ли и говорить о томъ, что все сказанное нами о Гл. Успенскомъ далеко не обнимаетъ всей его плодотворной и разносторонней литературной дѣятельности. Мы обозначили лишь общій ея ходъ и намѣтили наиболѣе выдающіеся и бросающіеся въ глаза пункты ея, а за всѣмъ тѣмъ остается многое, что не вошло въ наше обозрѣніе, потому что, являясь навѣяннымъ случайными и временными впечатлѣніями жизни, представляетъ собою единичныя проявленія творчества писателя, стоящія внѣ главнаго теченія его дѣятельности; таковы напримѣръ: *Вольные казаки*, *Скучающая публика*, *Письма съ дороги*, *Живыя цифры*, *Мимоходомъ* и пр. Какъ писатель крайне впечатлительный и живой, Гл. Успенскій не упускаетъ изъ виду ни одного явленія мало-мальски поразительнаго въ какомъ-бы то ни было отношеніи, чтобы тотчасъ-же не воспроизвести его и въ то-же время не обсудить со всѣхъ сторонъ. Поэтому произведенія его, особенно послѣднихъ лѣтъ, и представляютъ въ себѣ такъ много публицистическаго элемента, далеко выходящаго изъ художественной области.

## VI.

Николай Николаевичъ Златовратскій какъ со стороны отца, такъ и со стороны матери былъ духовнаго происхожденія: всѣ прадѣды его, а также и многіе близкіе родственники принадлежали къ низшему сельскому духовенству, отчего въ семьѣ его никогда не прерывалась связь съ селомъ. Дѣдъ его по отцу служилъ дьякономъ въ церкви при Золотыхъ Воротахъ (во Владимірѣ губернскомъ), откуда произошла и фамилія *Златовратскаго*; мать его была дочь священника въ г. Вязникахъ, Чернышева. Но отецъ не пошелъ по духовной части, а по окончаніи курса въ мѣстной семинаріи сдѣлался письмоводителемъ при дворянскомъ собраніи.

Родился Златовратскій во Владимірѣ въ 1845 году 4 декабря. Воспитателями его съ самаго ранняго дѣтства были семинаристы, дядья по отцу и по матери, и другіе на-

хлѣбники изъ бѣдныхъ деревенскихъ родственниковъ, постоянно жившіе въ ихъ домѣ. Десяти лѣтъ онъ былъ отданъ въ мѣстную гимназію, гдѣ развитіе его шло очень неправильно, порывами и скачками: въ нѣкоторыхъ классахъ онъ оставался по нѣскольکو лѣтъ. Но къ концу курса сталъ болѣе сознательно относиться къ ученью. На это имѣли вліяніе слѣдующія обстоятельства: во-первыхъ, прежніе воспитатели, дядя Златовратскаго, окончивъ семинарскій курсъ, поступили одинъ въ московскій университетъ, другой—въ с.-петербургскій педагогическій институтъ. Возвращаясь на каникулы домой, они привозили съ собой въ провинціальную глушь много оживляющихъ впечатлѣній. А во-вторыхъ наступило горячее и живое время реформъ.

Отецъ Златовратскаго въ качествѣ письмоводителя при губернскомъ предводителѣ дворянства усиленно работалъ при губернскомъ комитетѣ по разработкѣ вопросовъ и матеріаловъ, относившихся къ экономическому положенію народа. Оживленіе, внесенное этимъ періодомъ въ жизнь провинціи, не могло не вліять на настроеніе всей интеллигенціи,—и вотъ при содѣйствіи и участіи наиболѣе развитыхъ дворянъ Златовратскій отецъ открылъ публичную библіотеку, подъ которую отвели ему помѣщеніе въ зданіи дворянскаго собранія.

Живой и воспріимчивый мальчикъ не замедлилъ конечно вѣдриться въ эту библіотеку и началъ проводить въ ней все свободное время, помогая отцу въ выдачѣ книгъ для чтенія, въ составленіи каталоговъ, а между дѣломъ проглатывая и самъ книгу за книгою. Увлеченіе отца Златовратскаго развитіемъ просвѣщенія на родинѣ не ограничилось этимъ. Ободренный успѣхомъ библіотеки и общимъ оживленіемъ онъ началъ мечтать объ открытіи во Владимірѣ первой частной типографіи и объ изданіи мѣстнаго органа *Владимірскаго вѣстника*. Въ развитіи этихъ плановъ особенно содѣйствовали ему дядя Златовратскаго, окончившіе къ тому времени курсъ. Въ изданіи, между прочимъ, предполагалось участіе Н. А. Добролюбова, бывшаго близкимъ другомъ одного изъ дядей (только что поступившаго учителемъ словесности въ Рязань), съ которымъ онъ вмѣстѣ учился въ педагогическомъ институтѣ. Добролюбовъ иногда навѣщалъ проѣздомъ въ Нижній на родину домъ Златовратскихъ.

Но не суждено было сбыться не только этимъ мечтамъ, но и все что было начато быстро рушилось съ выборомъ новаго предводителя дворянства, съ которымъ отецъ Златовратскаго не сошелся. Ему было отказано отъ мѣста, библіотека была изгнана изъ дароваго помѣщенія и должна была закрыться. Семья, къ тому времени уже многочисленная, очутилась въ безвыходномъ положеніи. Для нея настало тяжкое время, доведшее ее до полнаго разоренія, тѣмъ болѣе что одинъ изъ дядей умеръ вскорѣ вслѣдъ за Н. А. Добролюбовымъ, а черезъ нѣсколько времени умеръ и другой.

Въ это время Златовратскій кончалъ курсъ. Склонность къ писательству проявилась въ немъ еще въ гимназіи: онъ писалъ стихи, издавалъ рукописный журналъ, увлекался театромъ и даже написалъ цѣлую драму изъ народнаго быта и посвятилъ ее одной актрисѣ, поразившей его игрою Катерины въ *Грозы*;—однимъ словомъ продолжалъ все то, что продолжаютъ всѣ даровитые юноши въ гимназическіе годы.

Но особенно сильный слѣдъ изъ всѣхъ юношескихъ впечатлѣній оставили въ Златовратскомъ лѣтнія поѣздки по деревнямъ. Сначала онъ ѣздилъ съ матерью или отцомъ къ родственникамъ; затѣмъ въ качествѣ ученика землемѣро-таксаторскихъ

классовъ при гимназіи на землемѣрные работы по введенію уставныхъ грамотъ и наконецъ въ качествѣ репетитора на кондипціи къ помѣщикамъ (изъ которыхъ многіе были мировыми посредниками). На этихъ кондипціяхъ Златовратскій рассчитывалъ заработать хоть сколько-нибудь денегъ для поѣздки въ Москву и Петербургъ.

Отчаявшись поступить студентомъ въ московскій университетъ, гдѣ онъ пробылъ годъ вольнослушателемъ, Златовратскій вынужденъ былъ поступить въ с.-петербургскій технологическій институтъ. Съ этихъ поръ началась для него самостоятельная борьба съ жизнью за кусокъ хлѣба, за ученье, въ поспѣхахъ за призваніемъ, — борьба, оказавшаяся, по собственнымъ словамъ его, выше его силъ.

Однажды въ поспѣхахъ за работой онъ сдѣлался случайнымъ корректоромъ въ газетѣ *Сынъ Отечества*. Это было вѣрнымъ толчкомъ, заставившимъ Златовратскаго попробовать свои силы въ печатной литературѣ. Въ 1866 году онъ снесъ въ *Искру* къ В. С. Курочкину свой первый небольшой очеркъ изъ народнаго быта *Падежь скота*. Онъ былъ напечатанъ и послужилъ началомъ цѣлаго ряда такихъ очерковъ, исключительно посвященныхъ народному быту, главнымъ образомъ изъ времени освобожденія. Печатались они въ *Искрѣ* и *Будильникѣ* (подъ редакціей Н. Степанова) преимущественно, также въ *Недѣль* и другихъ изданіяхъ болѣею частью подъ псевдонимами (наиболѣе извѣстный псевдонимъ *Маленькій Щедринъ*).

Но какъ развитіе, такъ и писательство Златовратскаго шло очень неровно, порывами, иногда прекращаясь на цѣлыя годы, причемъ, по собственнымъ словамъ его, онъ часто отчаявался въ своемъ призваніи, впадалъ въ уныніе, а жизнь голаго пролетарія рѣдко дарила ему минуты духовнаго просвѣтленія. Однимъ словомъ жизнь его носила вполне тотъ-же самый характеръ, какой мы видимъ у всѣхъ прочихъ народниковъ-разночинцевъ. Въ концѣ концовъ, по словамъ его, такое его положеніе грозило ему окончательной гибелью, самымъ разрушительнымъ образомъ сказавшись на его здоровьѣ. Возвращаться въ семью онъ не рѣшался, такъ какъ она и безъ того была удручена нуждою, — и только когда хроническая болѣзнь окончательно свалила его, онъ рѣшился уѣхать въ провинцію, гдѣ отецъ его въ то время служилъ мелкимъ чиновникомъ въ окружномъ судѣ.

Несмотря на быстро развивавшуюся болѣзнь, пребываніе въ домѣ отца благотворно подѣйствовало на нравственное состояніе Златовратскаго. Здѣсь въ тиши провинціи онъ могъ отдохнуть физически и нравственно, пополняя собственное образованіе, занимаясь воспитаніемъ сестеръ, сходясь съ окружающею молодежью и простымъ народомъ, уѣзжая по лѣтамъ въ деревню къ бѣднымъ родственникамъ. Въ это время была имъ задумана и написана первая большая работа *Крестыяне-присяжные*. Помѣщеніе этой повѣсти въ *Отечественныхъ Запискахъ* (1874 года № 12) окончательно опредѣляло дальнѣйшую судьбу Златовратскаго. Оно выдвинуло его впередъ и поставило въ первомъ ряду молодыхъ беллетристовъ сверстниковъ его.

## VII.

Мы уже говорили выше, что между Златовратскимъ и Успенскимъ всегда усматривался антагонизмъ, обуславливавшійся тѣмъ, что писатели эти представляютъ

полярную противоположность относительно другъ друга. И дѣйствительно, въ то время какъ преобладающею силою таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, беспощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Златовратскій хоть-бы разъ улыбнулся: скорбѣть или радуется,—онъ постоянно находится въ одномъ и томъ-же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порою доходитъ у него до эпического пафоса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что-то вроде гекзаметра. Между тѣмъ какъ у Успенскаго тщетно вы будете искать какихъ-либо ландшафтовъ и художественныхъ аксессуаровъ, онъ является въ этомъ отношеніи самымъ строгимъ ригористомъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ; у Златовратскаго напротивъ того художественный элементъ далеко не находится въ пренебреженіи: онъ рѣдко вдаётся въ разсужденія, говоритъ и доказываетъ преимущественно образами, любитъ изображать деревенскую природу и въ своихъ ландшафтахъ отличается немалымъ мастерствомъ. Наконецъ не пренебрегаетъ онъ и внѣшнею отдѣлкою произведеній, которыя вовсе не имѣютъ того отрывочнаго, клочковатаго вида какъ у всѣхъ предыдущихъ разсмотрѣнныхъ нами беллетристовъ-народниковъ: каждое отличается законченностью и стройностью.

Однимъ словомъ между Златовратскимъ и Успенскимъ то-же самое различіе, какъ между Шпллеромъ и Гете, Пушкинымъ и Гоголемъ, вообще между тѣми вѣковѣчными двумя типами творчества, изъ которыхъ одинъ имѣетъ болѣе наклонности созерцать положительныя стороны человѣческой жизни, а другой — отрицательныя. Въ то время какъ Успенскій всюду усматриваетъ противорѣчія, отступленія отъ идеаловъ и нормъ и вѣчно имѣетъ дѣло съ какою-нибудь больною совѣстью, Златовратскій напротивъ того ищетъ тѣ общественныя и нравственныя устои, на которыхъ могло-бы успокоиться его тревожное сердце, вѣчно жаждущее осуществленія правды.

Эти общественныя и нравственныя устои по мнѣнію Златовратскаго заключаются въ двухъ вѣкахъ созданныхъ народомъ формахъ общегіи: общинѣ и артели, съ ихъ индивидуально-нравственными идеалами единенія въ духѣ мира, любви и братской солидарности какъ въ трудахъ, такъ и въ пользованіи ихъ продуктами. Въ этихъ формахъ все спасеніе и единственная возможность осуществленія нравственныхъ идеаловъ, обрѣтенія душевнаго равновѣсія и счастья; внѣ-же ихъ если не опошленіе, то вѣчное томленіе, неудовлетворенность жизнью, угрызненія и въ результатѣ гибель.

Изъ такого міросозерцанія прямо проистекаетъ тотъ отрицательный, пессимистическій взглядъ, съ какимъ смотритъ Златовратскій на всю русскую интеллигенцію, не исключая и самыхъ лучшихъ ея представителей, взглядъ, который вы найдете во всѣхъ его произведеніяхъ, изображающихъ привилегированные классы, таковы *Золотыя сердца*, *Скиталецъ*, *Семья Кремлевыхъ*, *Господа Каравасовы*, *Гетманъ* и пр. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ интеллигентные люди изображаются въ видѣ какихъ-то отбившихся отъ стада и заблудшихъ овецъ и единственное живое, чіо авторъ усматриваетъ въ исторіяхъ изъ нихъ, самыхъ лучшихъ, — это тщетныя усилія слѣпцы съ пародомъ и такимъ образомъ какъ-бы вернуть потерянный рай.

Этотъ потерпѣвшій интеллигентнымъ людьми, но сохраняемый пародомъ при всѣхъ его внѣшнихъ невзгодахъ рай и изображается Златовратскимъ во всѣхъ его разсказахъ изъ народнаго быта, которые группируются главнымъ образомъ подъ двумя заглавіями

*Деревенскія будни* (отд. изд. въ 1882 г.), и *Устои, исторія одной деревни, повесть въ четырехъ частяхъ* (изд. въ 1884 г.).

Мы уже говорили выше, что пдя двумя совершенно разлпчными путями, Гл. Успенскій и Златовратскій пришли къ однимъ и тѣмъ-же выводамъ и въ концѣ концовъ начали говорить почти одно и то-же, употребляя лишь различные термины. Гл. Успенскій, какъ мы видѣли, вывелъ такое общее заключеніе о жизни мужика, что находясь подъ властью земли, мужикъ преданъ общиннымъ началамъ деревенской жизни совершенно инстинктивно, безсознательно, какъ пчела порядкамъ своего улья, и какъ только выдѣляется изъ-подъ власти земли и общины и начинаетъ жить своимъ умомъ, выказываетъ полную нравственную несостоятельность. Златовратскій, хотя и ничего не говоритъ о власти земли, но точно также полагаетъ нравственныя устои въ беззавѣтномъ подчиненіи мужика вѣками созданнымъ общиннымъ порядкамъ, причемъ и у Златовратскаго оказывается, что мужикъ до тѣхъ поръ и сохраняетъ свою нравственную цѣльность и безмятежность, пока пребываетъ въ предѣлахъ умственной непосредственности; а какъ только въ немъ пробуждается умъ-разумъ, онъ начинаетъ критически относиться къ окружающей его жизни, разсуждать, однимъ словомъ дѣлается *умственнымъ* мужикомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ у него является стремленіе обособиться, начать жить своею личною жизнью, — тутъ-то и слѣдуетъ лишеніе рая, утрата прежней нравственной цѣлостности, паденіе.

Въ то время какъ Гл. Успенскій представилъ это явленіе въ рѣзкомъ конкретномъ фактѣ спитія мужика, отбившагося отъ земледѣлія и получившаго возможность легко зарабатывать деньги на желѣзной дорогѣ, Златовратскій въ своихъ *Устояхъ* изобразилъ нѣсколько общихъ и существенныхъ типовъ выдѣленія личнаго начала, игравшихъ большую роль въ русской исторіи. Таковъ напримѣръ типъ Сысоя Строгаго. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатого мужика. Когда тестъ умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ держали работника или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что они не чувствовали необходимости „тянуть изъ себя жилы“, работали сколько требовалось, и такимъ образомъ Строгій имѣлъ много досуга, освободившаго его изъ-подъ непосредственной власти земли и дававшего ему возможность раскинуть умомъ. Результатомъ этого раскидыванія умомъ была умственная „блажь“, „меланхолія“. Строгій неожиданно пришелъ къ выводу: „надо быть справедливымъ, потому—все виноваты. А всему причиною вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ“. И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ и причтъ, и писарь, и учитель, то водки имъ къ изумленію гостей онъ не подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою „меланхолію“, онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый спій кафтанъ, выходилъ на задъ своей избы, становился на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстаивалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ „мірскихъ чаяхъ“, въ „мірскихъ четвертяхъ и полуведрахъ“. „Не товарищъ, говорилъ онъ, пускай безъ меня снаиваютъ народъ-то, съ вами здѣсь не споешься, а сопьешься“ и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или мо-

настырь; онъ и самъ началъ подумывать объ отъѣздѣ въ городъ. „Меланхолія“ его развилась въ какой-то тупой индифферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше бѣдствовали дергачи, тѣмъ Строгій все больше и больше уходилъ отъ „міра“.

„Замежуется и не размежуется во вѣки вѣковъ“, говорилъ онъ и бросилъ обработывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совѣтъ осердились и стали Строгаго допирать систематически, начали навязывать ему различные общественныя должности. Тогда онъ совѣтъ рѣшилъ уѣхать въ городъ и записаться тамъ въ мѣщане.

Рядомъ съ типомъ Строгаго стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра въ видѣ сына Пимана Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу Пиману какимъ-то образомъ удалось научить своего сына грамотѣ, и вотъ онъ билъ челомъ барину, желая избавить сына отъ очереди и чтобъ баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, парень ему понравился, а чрезъ нѣсколько лѣтъ вся Вальковщина была въ рукахъ Бориса и стала приносить барину неслыханные доходы; онъ всю ее вдругъ поднималъ на ноги; цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ на работы, страстно любя смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятныя труды и въ одинъ, два дня совершали такія дѣла, какихъ хватило-бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно: что отданная въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова. Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Но въ то время вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перепутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: „Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Бориса мы его... Жить не стало отъ страха!..“ взмолились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-же мы виноваты?.. Коли бояться, значить есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улыбнулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо. — А! Теперь я знаю... Въ чемъ ты виноватъ! сказалъ онъ, и къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, высккъ своего собственнаго бурмистра... Говорилъ, что баринъ на другой-же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ; онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спустя лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубахѣ, въ плисовой поддевкѣ и штапахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщины, но крестьянскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ окна избы тесинами,—и снова исчезъ изъ Дергачей съ женою и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, течение десяти лѣтъ, онъ разъ пять по прежнему неожиданно являлся въ свою заштѣпелѣзую избу,—то съ женою и сыномъ, то съ однимъ сыномъ,—расколачивалъ окна,—и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плисовыхъ шапоровахъ, казакинахъ и кумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грызли орѣхи, угощались и угощали народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло

было зимой, они закупали статного жеребца со всей сбруей и саними, рыскали по всей Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пускали, что называется, пыль въ глаза всей дергачовской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа лошадь и сбруя спускались опять за безцѣнокъ,—п странная семья исчезала года на два. Много конечно ходило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовали о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани откупавшимъ огромные рыбныя участки, собиравшаго артель до 200—300 человекъ рыбаковъ, то видѣли его подъ Самарой, вытаскивавшего потонувшій пароходъ; то сплавливавшего цѣлые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это неизмѣнно во главѣ огромной массы рабочаго народа, который опять сгоняли въ лапы отца съ сыномъ словно какія-то невидимыя силы... А отецъ съ сыномъ ухорски и беззавѣтно царпилъ надъ нею... Часто послѣ одной изъ такихъ «операций» въ ихъ рукахъ скоплялись огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, проповѣ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ другою половиною въ родные Дергачи.

Оба эти типа, какъ Строгій, такъ и Борисъ, не представляютъ въ сущности ничего новаго собою; это — два вида первоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгіе населили русскіе города и были родоначальники всѣхъ купеческихъ родовъ, какіе только существуютъ на Руси; Борисы породили массу удалыхъ головъ, начиная съ новгородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями *Мертваго Дома* Достоевскаго.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется третій типъ выдѣленія личнаго начала, главный герой *Устоевъ* Петръ Вонифатьевичъ Волкъ. Это типъ совершенно уже новый, небывалый доселѣ въ деревенской жизни. Петръ не отрѣшается отъ міра, не отчуждается, а стремится встать во главѣ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала *умственности*, сознаніе своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ земляки гордятся, ждутъ отъ него спасенія, а онъ сознаетъ свое призваніе спасти своихъ односельчанъ.

Умственностью своею Петръ былъ обязанъ тому обстоятельству, что крестный отецъ его Строгій, когда ему было 16 лѣтъ, отвезъ его въ Москву и пристроилъ подручнымъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К°. Здѣсь онъ попалъ въ интеллигентный кружокъ, въ нравственной состоятельности котораго горько разочаровался; тѣмъ не менѣе изъ всѣхъ своихъ столичныхъ мытарствъ вынесъ новыя идеалы, заключавшіеся во-первыхъ въ противопоставленіи *умственности* пассивному разгильдяйству и темнотѣ людей традиціонной рутины, и во-вторыхъ въ сознаніи личнаго достоинства въ противоположность смиренія и припигженія. На каждомъ шагу у него такъ и срывался съ языка фраза, вродѣ: „*Умному человеку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо! Умному человеку вездѣ ходъ!*“... Въ то-же время на слова тетюшки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что *куда намъ, старикамъ, эти форсы*, онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросать смиренство-то да припигженье... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы хуже другихъ? Нужно тоже и свою гордость имѣть!..

Но при всемъ томъ непривлекательномъ видѣ, въ какомъ рисуется фигура этого новаго человека деревни, тѣмъ не менѣе Петръ является однимъ изъ героевъ, кото-



рыхъ можно встрѣтить не мало въ европейской исторіи. Постоянно, когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традиціи и пробуждалось чувство человѣческаго достоинства, являлись на сцену подобные мрачные, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ приниженныхъ массъ, во имя идеала „умственности“ готовые отрицать и своихъ, и чужихъ. Но хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилого, но и живого, здороваго, составлявшаго корни самаго существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что въ продолженіе послѣднихъ 200 лѣтъ во имя царства разума и освобожденія личности отъ средневѣковыхъ традицій были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ земледѣльческихъ классахъ.

Такимъ-же прямолинейнымъ, одностороннимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Несмотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ устоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергаческомъ мірѣ. Послѣ-же того, какъ онъ приобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ „хозяйственными“ мужиками и женился на дочери Пимана Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиною; но настоящимъ заправителемъ волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостного писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей „умственности“ на полной волюшкѣ. Во имя своего прямолинейнаго идеала онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Неечастнымъ свихнувшимся бѣднякамъ, запьянствовавшимъ и разорившимся не было отъ него никакой пощады; по слухамъ, онъ даже сѣкъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ „высудилъ“ для міра при помощи непремѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить по прежнему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить ее на участки и давать во временное пользованіе только „настоящимъ“ хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Борпса. Къ чернотѣ присоединились всѣ старинные люди общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Борпса вошли въ союзъ съ чернотой, начали поить ее водкою. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Возмущенный „продажной“, какъ онъ называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ присталъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ сына его Борпса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра. Пимана обругали „старымъ дуракомъ“, но ничего отъ него не добились. Петръ-же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видано, чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе; услыхавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь міръ „дураками“, и пораженный поднявшейся общей безтолочію, въ которой онъ не понималъ какъ разобраться, отказался отъ дѣлъ и самовольно уѣхалъ въ Москву...

Изъ всего этого можно судить, что Златовратскій вовсе не идеализируетъ дере-

венскую жизнь и мужика, въ чемъ его нѣкоторые заподозривали. Подобно Гл. Успенскому онъ ставитъ на видъ, что нравственные устои деревни покоятся на истинно-тивной и неразсуждающей вѣрности традиціямъ и совершенно чужды того сознательно-разумнаго отношенія къ нимъ, при которыхъ только и возможно ихъ развитіе. „Умственность“—же, т. е. начало сознанія и критики вело до сихъ поръ не къ усовершенствованію и развитію самихъ устоевъ, а къ стремленію выдѣлиться изъ нихъ на почву эгоистическаго индивидуализма городской жизни.

Разсмотрѣнными нами въ трехъ послѣднихъ главахъ писателями далеко не исчерпывается вся беллетристика народнаго быта. Мы намѣтили лишь главные фазы въ ея развитіи и разсмотрѣли дѣятельность такихъ писателей, которые или спеціально посвятили себя этому предмету, или проявили себя какъ-нибудь особенно ярко и самобытно въ этой отрасли беллетристики. А затѣмъ намъ остается поставить на видъ, что рѣдкій изъ писателей послѣднихъ тридцати лѣтъ не касался народнаго быта хоть мелькомъ и мимоходомъ. Такъ напр. найдете вы рассказы изъ народнаго быта у Салтыкова въ его *Губернскихъ очеркахъ* (*Отставной солдатъ Пименовъ, Пахомовна, Арикушка, Старецъ*). Ал. Потѣхинъ писалъ не только мелкіе рассказы, но и обширные романы: *Около денегъ* (*Вѣстн. Евр.* 1877 г.). П. Засодимскій помѣстилъ въ *Отеч. Зап.* 1874 г. въ свою очередь большой романъ *Хроника села Смурина*. Изъ новѣйшихъ писателей не мало касаются народнаго быта В. Короленко, А. Эртель, Мачтетъ, Каронинъ, Дмитриева. Но обо всемъ этомъ будетъ сказано при разсмотрѣніи дѣятельности упомянутыхъ писателей въ своемъ мѣстѣ.

---

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

I—Беллетристы-публицисты. Ихъ дѣленіе по партіямъ. Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ, какъ представитель демократической партіи. Дѣтскіе годы его и воспитаніе.— II—Ссылка, возвращеніе, служба, женитьба и редакторская дѣятельность. III—Черты его характера. Послѣдующіе годы и смерть. IV—Первый дореформенный характеръ его литературной дѣятельности. Губернскіе очерки. V—Второй періодъ современный реформамъ. Помпадуры и помпадурши. Исторія одного города. VI—Третій періодъ—пореформенный—шестидесятые и семидесятые годы. Ташкентцы, Дневникъ провинціала, Голоплевы. VII—Трагическій элементъ въ позднѣйшихъ сатирахъ Салтыкова. VIII—Четвертый періодъ восьмидесятыхъ годовъ. Мелочи жизни. Сказки. Пошехонская старина.

### I.

Сильный подъемъ духа въ эпоху реформъ и всеобщее увлеченіе вопросами политическими и социальными не замедлили отразиться въ литературѣ созданіемъ совершенно особенной отрасли беллетристики, которая называлась обыкновенно тенденціонной; правильнѣе-же назвать ее слѣдуетъ публицистической, такъ какъ слова тенденція, тенденціозный слишкомъ уже опошлены, и къ тому-же подъ ними подразумѣвается нечто искусственное, предвзятое, надуманное, между тѣмъ какъ въ беллетристикѣ, о которой теперь идетъ у насъ рѣчь, мы встрѣчаемъ много такого, что вовсе этого обвиненія не заслуживаетъ, такъ какъ является вполне естественно и органически вытекшимъ изъ духа времени безъ какихъ-бы то ни было преднамѣренностей со стороны авторовъ. Названіе-же публицистической болѣе подходитъ къ этого рода беллетристикѣ, такъ какъ, созданная общественнымъ движеніемъ своего времени, она вполне выражаетъ собою современный духъ и борьбу различныхъ партій и проводитъ тѣ идеи и взгляды на жизнь и на различные современные явленія, какіе соотвѣтствуютъ партіи, къ которой принадлежитъ тотъ или другой писатель.

Отдѣляя публицистическую беллетристику отъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ, я вовсе не хочу этимъ сказать, чтобы между двумя отраслями не было ничего общаго, никакихъ точекъ соприкосновенія, или чтобы беллетристы сороковыхъ годовъ не преслѣдовали никакихъ общественныхъ цѣлей. И у беллетристовъ сороковыхъ годовъ мы видѣли не мало произведеній, глубоко проникнутыхъ общественными скамичевскій.

интересамъ. Но беллетристы сороковыхъ годовъ далеко не столь всецѣло отдавались этимъ интересамъ, какъ беллетристы-публицисты шестидесятыхъ годовъ: ихъ занималъ вмѣстѣ съ тѣмъ и психологическій анализъ, и чистая художественность въ пушкинскомъ духѣ. Въ тоже время въ міросозерцаніи большинства ихъ мы видѣли тотъ пессимистическій скептицизмъ, который составляетъ главную ихъ особенность. Наконецъ при всемъ увлеченіи общественными интересами, беллетристы сороковыхъ годовъ были чужды строгой опредѣленности и выдержанности въ партіонномъ отношеніи. Они или совсѣмъ не принадлежали ни къ какой партіи, какъ напримѣръ Гончаровъ или Л. Толстой, или-же колебались, переходя отъ одной партіи къ другой, порою-же стараясь совмѣщать самыя противоположныя и непримиримыя теченія, какъ Тургеневъ, Писемскій, Достоевскій. Беллетристы-же публицисты всецѣло отдаются общественнымъ вопросамъ, и вопросы эти ставятся въ ихъ произведеніяхъ на первый планъ. Любовь и психическій анализъ напротивъ того занимаютъ самое скромное и второстепенное мѣсто; ландшафты природы въ свою очередь играютъ чисто декоративную роль. Порою-же дѣло обходится и безъ любви, и безъ психическаго анализа, и безъ ландшафтовъ, и отъ первой страницы до послѣдней все произведеніе занято одною политикою. Въ тоже время каждый романистъ является приверженцемъ одной какой-либо партіи и въ неуклонномъ служеніи своей партіи и пропагандированіи ея принциповъ видитъ главное значеніе и достоинство своей литературной дѣятельности. Сообразно этому и публицистическую беллетристику можно раздѣлить на три рода: демократическую, умѣренно-либеральную и консервативную.

Во главѣ демократической беллетристики стоятъ великій писатель, составляющій главную гордость и честь нашей эпохи и наиболѣе глубоко и полно ее выражающій — Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ. Сверстникъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ и начавшій свою дѣятельность въ одно время съ ними, онъ значительно опередилъ ихъ, вставши во главѣ движенія шестидесятыхъ годовъ и такимъ образомъ вмѣстѣ въ своей личности двѣ эпохи, сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, соединивъ скептический анализъ предшествующей эпохи съ духомъ отважнаго протеста послѣдующей.

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ родился 15-го января 1826 года въ селѣ Спасъ-Уголь, калязинскаго уѣзда, тверской губерніи. Родители его были довольно богатые мѣстные помѣщики, о древности рода которыхъ нечего распространяться, такъ какъ самая фамилія Салтыковыхъ — одна изъ самыхъ распространенныхъ, общеизвѣстныхъ и непрестанно повторяющихся въ исторіи чуть не со временъ Іоанна Грознаго, — достаточно свидѣтельствуетъ о родовитости нашего безсмертнаго сатирика, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о татарскомъ происхожденіи его предковъ.

Проведя первые годы своей жизни въ сельскомъ уединеніи, на полномъ барскомъ привольѣ, среди простора полей, Салтыковъ семи лѣтъ, въ самый день рожденія, 15-го января 1833 года былъ посаженъ за азбуку, причемъ первымъ наставникомъ его по обычаю того времени былъ свой-же крѣпостной человѣкъ, живописецъ Павелъ. Но у этого перваго наставника „изъ народа“ мальчикъ занимался не болѣе года, а затѣмъ поступилъ подъ руководство своей старшей сестры Надежды Евграфовны, вышедшей изъ московскаго Екатерининскаго института въ 1834 году, и ея подруги по институту Авдотьи Петровны Василевской, поступившей въ домъ Салтыковыхъ въ

жачествѣ гувернантки. Кромѣ этихъ двухъ дѣвицъ священникъ села Заозерья Иванъ Васильевичъ преподавалъ мальчику сверхъ закона Божія латинскій языкъ по грамматикѣ Кошанскаго и студентъ Троицкой духовной академіи Матвій Петровичъ Салтыковъ два года сряду проживалъ въ имѣніи Салтыковыхъ на лѣтнихъ вакаціяхъ, подготавливая его къ экзамену. Подготовленіе это было настолько успѣшно, что въ августѣ 1836 года, когда Салтыкову было уже 10 лѣтъ, онъ могъ быть принятъ въ третій классъ шестикласснаго московскаго дворянскаго института, только что преобразованнаго въ то время изъ университетскаго пансіона.

Московскій дворянскій институтъ имѣлъ привилегію отправлять каждые полтора года своихъ отличнѣйшихъ учениковъ въ царскосельскій лицей, гдѣ они поступали на казенное содержаніе. Привилегіи этой удостоился и Салтыковъ, и, пробывъ два года въ московскомъ дворянскомъ институтѣ, онъ былъ въ 1838 году переведенъ въ лицей, въ то время находившійся еще въ Царскомъ Селѣ.

Судя по всему, порядки въ лицей въ то время были очень строгіе и начальство всѣ усилія употребляло, чтобы вывѣтрить изъ лицея традиціонный духъ Кунцина и Пушкина. Но бороться съ этимъ духомъ было чрезвычайно трудно, особенно въ виду свѣжей еще могилы Пушкина, умершаго всего годъ назадъ такою трагическою и обаятельною для юношества смертію. Какъ ни преслѣдовало начальство стихотворство, но рѣдкій мальчикъ мало-мальски талантливый и воспріимчивый не мечталъ о славѣ Пушкина и не дѣлался поэтомъ съ перваго-же класса лицея. Это обстоятельство и было причиною съ одной стороны ранняго пробужденія страсти къ литературной дѣятельности въ Салтыковѣ, съ десятилѣтняго возраста, т. е. съ перваго-же класса лицея, а съ другой — столь-же ранняго предубѣжденія противъ него начальства. Такъ мы видимъ, что не мало доставалось ему за стихотворство и чтеніе книгъ не только со стороны администраціи училища, начиная съ гувернеровъ, но и со стороны учителя русскаго языка Гроздова. Эти преслѣдованія оправдывались и обострялись тѣмъ, что стихи Салтыкова не всегда конечно были невнятнаго и сентиментальнаго характера, и тщетно пряталъ ихъ мальчикъ въ рукава куртки и даже за голенища; запретные стихи находились, — и слѣдовала кара вмѣстѣ со сбавкою балла изъ поведенія. Достаточно сказать, что продолженіе всего пребыванія въ лицей онъ при 12-ти балльной системѣ никогда не получалъ изъ поведенія больше 9-ти, не исключая и послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ передъ выпускомъ, когда всѣмъ сплошь ставился полный баллъ. Поэтому въ аттестатѣ, полученномъ Салтыковымъ, значится „при довольно хорошемъ поведеніи“, а это показываетъ, что средній баллъ въ поведеніи за послѣдніе два года былъ ниже восьми. Правда что здѣсь участвовали не одни стихи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ называемыя „грубости и шалости“: то пуговица оказывалась разстегнутою или совсѣмъ потерянною, то треуголка надѣта съ бока, а не по формѣ (что было необыкновенно трудно и составляло цѣлую науку), то юноша былъ пойманъ съ напирской во рту и т. п.

Но во 2-мъ классѣ не было уже такихъ строгостей относительно чтенія и стихотворства. Воспитанникамъ дозволялось даже выписывать на свой счетъ журналы, и они подписывались на *Отечественныя Записки*, *Библіотеку для чтенія*, *Сынъ Отечества*, *Маякъ* и *Revue Etrangère*. Что-же касается до стихотворства, то въ

каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина; такъ въ XI-мъ — Пушкиннымъ былъ В. Р. Зотовъ, который печаталъ свои стихи въ *Маякъ*, и издатель Бурчокъ не въ шутку провозгласилъ его вторымъ Пушкиннымъ; въ XII—Пушкиннымъ былъ Н. П. Семеновъ; въ XIII—М. Е. Салтыковъ; въ XIV—В. П. Гаевскій и т. д. Журналы читались воспитанниками съ жадностью, особенно конечно *Отечественныя Записки*, а въ нихъ наибольшее вліяніе оказывали на юношей критическія статьи Бѣлинскаго.

Первое стихотвореніе Салтыкова *Лира* появилось въ *Библіотекѣ для чтенія*, въ 1841 году, за подписью С—въ. Въ слѣдующемъ, 1842 году, появилась въ томъ-же журналѣ другая его піеса: *День жизни*, помѣченная только первой буквой его фамиліи. Ко времени пребыванія въ лицей относятся и всѣ остальные стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ *Современникѣ* уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 гг. Но это были послѣднія его стихотворенія; съ выходомъ изъ лицея онъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкиннымъ. Впослѣдствіи-же онъ даже и не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замѣть разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они по его мнѣнію сумасшедшіе люди.

— Помилуйте, — объяснялъ онъ, — развѣ это не сумасшествіе — по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать во что-бы то ни стало въ размѣренныя рѣзанные строчки? Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ-бы вдругъ ходить не иначе какъ по разостланной веревочкѣ, да непременно еще на каждомъ шагу присѣдая.

Конечно это была не болѣе какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія.

## II.

Въ 1844 году Салтыковъ кончилъ курсъ лицея, уже переименованнаго въ Александровскій и переведеннаго въ Петербургъ на Каменноостровскій проспектъ. Вышелъ онъ съ чномъ X класса, т. е. въ черной половинѣ своего курса, составлявшаго меньшинство, такъ какъ въ курсѣ, состоявшемъ изъ 23 воспитанниковъ, 15 выпущено деватымъ классомъ и лишь 8 десятымъ. По окончаніи курса Салтыковъ поступилъ на службу въ канцелярію военнаго министерства при графѣ Чернышевѣ.

Подобно Пушкину первые три года по выходѣ изъ лицея Салтыковъ очень бурно и разсѣянно справлялъ „праздникъ жизни, молодости годы“. По своей страсти все представлять въ комическомъ видѣ, не щадя и самого себя, Салтыковъ разсказывалъ о себѣ нѣсколько анекдотовъ изъ этого періода своей жизни, которые по своей крайней курьезности вполне совпадаютъ съ жанромъ его сатиры.

Но этотъ праздникъ молодости продолжался недолго и кончился не менѣе печально, чѣмъ и у Пушкина. Въ 1847 году Салтыковъ опять выступилъ на литера-

турное поприще въ новомъ уже видѣ, въ качествѣ не стихотворца, а прозаика. Первые его опыты въ этомъ родѣ были помѣщены въ *Отечественныхъ Запискахъ*, именно—въ ноябрѣ 1847 г. *Противорѣчія* и въ мартѣ 1848 г. *Запутанное дѣло*. Въ произведеніяхъ этихъ вы видите очень еще бѣдные зачатки той сатирической соли, какая развилась въ послѣдующихъ произведеніяхъ Салтыкова. Во-первыхъ въ тѣ мрачныя времена было не до сатиры, а во-вторыхъ Салтыковъ находился, очевидно, подъ вліяніемъ тѣхъ социальныхъ идей, какія бродили въ то время въ кружкахъ петербургской интеллигенціи, и въ вышеозначенныхъ произведеніяхъ его преобладаютъ рефлексіи въ духѣ этихъ идей. Строгая цензура того времени пропустила безпрепятственно оба разсказа, несмотря на то что второй, *Запутанное дѣло*, появился въ мартѣ 1848 года, когда въ правительственныхъ сферахъ начиналась уже паника подъ первымъ впечатлѣніемъ только-что разразившейся февральской революціи. Въ публикѣ первые разсказы Салтыкова, надо полагать, не произвели ни малѣйшей сенсаціи, и критика ихъ почти не замѣтила.

Между тѣмъ въ продолженіе 1848 г., подъ впечатлѣніемъ французской революціи, обратившейся въ общеевропейскую, обнаружился рѣшительный поворотъ въ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ въ сторону крайней реакціи. Возникло дѣло Петрашевскаго, былъ учрежденъ Бутурлинскій комитетъ, какъ высшее цензурное вѣдомство, наблюдавшее не только надъ общественною прессою, но и надъ казенною, и имѣвшее право дѣлать замѣчанія и выговоры отъ Высочайшаго имени даже министрамъ. И надо было случиться, чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замѣчаніе, данное министру гр. Чернышеву за цензурныя несправности въ *Русскомъ Инвалидѣ*, находившемся подъ редакціею барона Корфа. Надо полагать, что это обстоятельство, вооруживъ гр. Чернышева противъ литераторовъ, повліяло на то суровое отношеніе, какое встрѣтилъ Салтыковъ, когда обратился къ начальству съ просьбою объ отпускѣ для поѣздки на праздники къ родителямъ. Въмѣсто полного разрѣшенія отпуска министръ, до котораго вѣроятно дошли слухи о литературныхъ опытахъ его подчиненнаго, потребовалъ, чтобы онъ представилъ свои сочиненія. Салтыковъ представилъ свои два разсказа, напечатанные въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Министръ поручилъ Н. Кукольнику, служившему въ свою очередь въ военномъ министерствѣ, написать о нихъ ему докладъ. Заклятой врагъ натуральной школы и *Отечественныхъ записокъ*, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ видѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что столь опасный человѣкъ, какъ Салтыковъ, служитъ въ его министерствѣ, и тотчасъ-же препроводилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ. Оттуда докладъ былъ переданъ въ III отдѣленіе, и вотъ въ одинъ прекрасный день передъ квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка съ жандармомъ и ему объявлено было повелѣніе тотчасъ-же ѣхать въ Вятку. Здѣсь встрѣчается нѣкоторое противорѣчіе въ тѣхъ свѣдѣніяхъ, какія мы имѣемъ объ этомъ фактѣ со словъ самого Салтыкова. Принимая во вниманіе, что разсказъ *Запутанное дѣло* появился въ мартовской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* и что Салтыковъ значится переведеннымъ въ вятское губернское правленіе 19-го мая 1848 года, надо полагать, что высылка его произошла не позже апрѣля. Между тѣмъ Салтыковъ многимъ лицамъ, въ томъ числѣ и пишущему эти строки, неоднократно

кратко рассказывалъ, что увезли его изъ Петербурга столь поспѣшно, что онъ едва успѣлъ сложить въ чемоданъ свои пожитки и долженъ былъ сѣсть на тройку въ легкой шубенкѣ, едва достаточной для петербургскаго схода, а между тѣмъ, какъ нарочно, въ то время онъ былъ болѣнь болѣзною, требовавшей, чтобы онъ сидѣлъ въ жарко-натопленной комнатѣ и особенно остерегался холода. Лишь по снисходительности жандарма брату Салтыкова было дозволено, приобрести на скорую руку шубу вполне годную для далекаго путешествія на перекладныхъ, нагнать путешественника уже за шлиссельбургской заставой и избавить его отъ опасности замерзнуть дорогою.

Болѣе семи лѣтъ, до ноября 1855 г., пробылъ Салтыковъ въ Вяткѣ, служа сначала въ палатѣ губернскаго правленія, потомъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, и наконецъ совѣтникомъ губернскаго правленія. Въ 1855 году Салтыковъ былъ переведенъ на службу въ Петербургъ, а въ слѣдующемъ 1856 году женился на Елизаветѣ Аполлоновнѣ Болтиной, отъ которой послѣ смерти его осталось двое дѣтей, сынъ Константинъ и дочь Елизавета. Государственную службу онъ продолжалъ до 1868 года, когда окончательно вышелъ въ отставку съ мѣста вице-губернатора въ Рязани.

Съ 1856 года начинается и литературная популярность Салтыкова, которую онъ сразу приобрѣлъ послѣ первыхъ-же своихъ *Губернскихъ очерковъ*, помѣщенныхъ нѣ во вновь возникшемъ и въ то время весьма либеральномъ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Въ журналѣ этомъ онъ сотрудничалъ до 1860 года, когда перешелъ въ *Современникъ*, гдѣ вскорѣ сдѣлался создателемъ Некрасова, вмѣстѣ съ тремя другими близкими сотрудниками *Современника*. Сотрудничество его въ *Современникѣ* продолжалось до закрытія этого журнала въ 1866 году. Затѣмъ въ 1868 году онъ вступилъ въ *Отечественныя Записки* вслѣдъ за переходомъ этого журнала въ аренду къ Некрасову. Здѣсь онъ, будучи уже въ отставкѣ, неустанно работалъ вплоть до закрытія *Отечественныхъ Записокъ* въ 1884 году, причемъ съ 1878 года, т. е. со смертію Некрасова, былъ утвержденъ ответственнымъ редакторомъ этого журнала.

### III.

Среди людей, мало знавшихъ М. Евгр. Салтыкова, ходили въ обществѣ баснословные слухи о его мнѣмыхъ суровости, жесткости и даже бранчивости, съ какими онъ, будто-бы, обращался съ людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которыхъ въ первый разъ видѣлъ. Вслѣдствіе этихъ слуховъ начинающіе авторы, впервые являвшіеся въ редакціи журналовъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, со своими скромными начинаніями, сильно потрунивали и робѣли. Но эти слухи крайне преувеличены. Дѣйствительно, его лицо носило по большей части суровое и нѣсколько даже мрачное выраженіе, а въ первомъ голосѣ очень часто слышались ноты болѣзненной раздражительности, что могло пугать каждаго непривычнаго человѣка. Но все это не мѣшало ему быть человѣкомъ въ сущности крайне добрымъ, съ мягкимъ и даже пѣжкимъ сердцемъ, неспособнымъ отказывать въ чемъ-либо людямъ и оставаться безучастнымъ къ ихъ нуждамъ. Случалось часто, что обращались къ нему за авансомъ сотрудники, забравшіе по мало уже денегъ и потерявшіе повидному



всякое право на новые авансы. Салтыковъ выходилъ изъ себя въ такихъ случаяхъ. Грозный голосъ его начиналъ раздаваться по всѣмъ комнатамъ редакціи: „Это невозможно!—кричалъ онъ—это чортъ знаетъ, что такое!.. Мы и безъ того роздали безвозвратно до 30 тысячъ! Что-же съ нами будетъ наконецъ, чѣмъ-же это кончится?“ и т. д. И кончалось всегда тѣмъ, что, накричавшись вдоволь, онъ бралъ листъ бумаги и писалъ ордеръ въ контору о выдачѣ сотруднику суммы, которую тотъ просилъ. Пишущему эти строки случалось слышать отъ провинціальныхъ чиновниковъ, служившихъ подъ его начальствомъ, что начальникъ онъ былъ рѣдкій; какъ ни робѣли порою отъ его повидимому грозныхъ окриковъ, но никто его не боялся, а напротивъ того всѣ очень любили его за то, что онъ входилъ въ нужды каждого мелкаго чиновника и былъ крайне снисходителенъ ко всѣмъ ихъ слабостямъ и недостаткамъ, которые не приносили прямого вреда службѣ. Точно также и въ редакціяхъ мелкіе служители вроде конторщиковъ и метранпажей прямо говорили: „Что намъ Мих. Евграфовичъ! Онъ только такъ, кричитъ, а мы его нисколько не боимся!“ Да еще бы и бояться имъ было его, когда разъ при пишущемъ эти строки былъ такой случай, что онъ съ ужаснымъ гнѣвомъ набросился на метранпажа за то, что тотъ слишкомъ скоро набралъ весь отданный въ типографію матеріалъ книжки и явился просить новаго матеріала. „Чего вы торопитесь?—кричалъ Салтыковъ:—ѣдите вы что-ли рукописи? Ему не успѣешь дать рукопись, ужъ у него и готово! Да что вы въ недѣлю хотите набрать всю книжку, что-ли? Родить мнѣ прикажете для васъ рукописи? Набрали, такъ и ждите теперь, а отъ меня вы больше ничего раньше недѣли не получите, ничего!... Убирайтесь!..“ Понятно, что слушая такіа рѣчи, метранпажъ едва удерживался отъ смѣха.

Страхъ, который внушалъ Салтыковъ робкимъ людямъ, происходилъ главнымъ образомъ отъ двухъ его достоинствъ: отъ крайняго примодушія и нервнаго отвращенія ко всему пошлому, фальшивому и неискреннему. Какъ только онъ видѣлъ что-либо подобное, его тотчасъ-же начинало коробить, онъ не могъ не высказать человѣку въ глаза того впечатлѣнія, которое тотъ на него производитъ, и высказать со всѣмъ тѣмъ саркастическимъ остроуміемъ, которымъ онъ славился. Не гнѣвъ его былъ страшенъ, а скорѣе именно тѣ шуточки, которыми онъ способенъ былъ уничтожить собеседника. Поэтому очень было опасно посылать его о чемъ-либо ходатайствовать въ высшія инстанціи. Всегда могло кончиться тѣмъ, что вмѣсто того, чтобы распутать какое-нибудь пустое недоразумѣніе, Салтыковъ не вытерпитъ и наговоритъ чего-нибудь такого, что наживетъ себѣ новыхъ враговъ и еще болѣе запутаетъ дѣло.

Но зато, если Салтыковъ усматривалъ въ человѣкѣ природный умъ, честность и искренность, онъ дѣлался съ такимъ человѣкомъ крайне мягокъ, деликатенъ, любезенъ и вполне откровененъ. Въ обществѣ-же Салтыковъ былъ блестящимъ собесѣдникомъ. Довольно сказать, что онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ писателей, которые говорятъ, какъ пишутъ, и когда вамъ приходилось его слушать, разговоръ его производилъ на васъ буквально такое-же впечатлѣніе, какое вы выносили изъ его произведеній, съ тою къ тому-же разницею, что въ разговорной рѣчи онъ не стѣснялся никакими цензурными и иными условіями, и это былъ уже не эзоповскій языкъ нѣкоторыхъ его сатиръ. Особенно блисталъ онъ искусствомъ однимъ, двумя

словами, часто по одному какому-нибудь чисто ви́шнему признаку очертить какую-нибудь личность въ самомъ комическомъ видѣ, въ то-же время чрезвычайно вѣрно. Такъ напримѣръ объ одномъ случайномъ посѣтителѣ редакціи, котораго онъ не долюбивалъ, онъ сдѣлалъ однажды такое замѣчаніе: — „Ну, что такое ЛѢ! На немъ и штаны-то сидятъ, какъ на покойникѣ!“ И этимъ однимъ словомъ онъ опредѣлилъ не только покрой брюкъ, но и всѣ умственные и нравственные качества писателя.

Какъ редакторъ беллетристическаго отдѣла, Салтыковъ представлялъ изъ себя нѣчто незамѣнимое. Довольно сказать, что онъ не ограничивался однимъ только правильнымъ выборомъ для журнала изъ всего доставляемаго въ редакцію матеріала: онъ самъ создавалъ беллетристику. Одно лишь произведеніе весьма крупныхъ талантовъ оставались имъ нетронутыми. Съ произведеніями второстепенныхъ и посредственныхъ беллетристовъ онъ не церемонился и, подвергая ихъ самой тщательной обработкѣ, дѣлалъ порою неузнаваемыми. Люди, не знавшіе о тѣхъ операціяхъ, какія производилъ Салтыковъ надъ разсказами второстепенныхъ беллетристовъ, особенно-же такъ пазываемыми „лѣтними“, приходили въ удивленіе порою, отчего это тѣ самые писатели, которые подъ редакціею Салтыкова помѣщаются весьма недурные разсказы, въ другія изданія приносятъ вещи, оказывающіяся ниже всякой критики и совершенно неудобныя для печатанія. Мало-мальски умные беллетристы не обижались при видѣ, какъ патріархально-отеческая рука редактора сглаживаетъ и сравниваетъ всѣ шероховатости и недостатки ихъ юныхъ твореній, и выносили изъ его редакторской работы богатые уроки для себя. Но конечно встрѣчались и самолюбивые недотроги, требовавшіе, чтобы ни одного слова не было измѣнено или выкинуто изъ ихъ великихъ твореній и вставляли на дыбы. Я никогда не забуду, какъ одна сентиментальная романстка прибѣжала къ сотруднику Салтыкова съ горькими жалобами на него и разразилась самыми отчаянными рыданіями. Дѣло оказалось въ томъ, что она желала окончить романъ свой смертью героини отъ чахотки, а Салтыковъ взялъ вдругъ да и сочеталъ героиню съ героемъ законнымъ бракомъ.

Жилъ Салтыковъ особенно подъ конецъ жизни весьма замкнутою жизнью въ тѣсномъ кругу нѣсколькихъ друзей, чуждаясь въ то-же время литературныхъ знакомствъ. Лѣто онъ проводилъ то въ своемъ Монгероз, въ окрестностяхъ Ораніенбаума, пока не продалъ его, то гдѣ-нибудь на дачѣ, изрѣдка уѣзжалъ за границу, куда-нибудь на воды по совѣту врачей, но онъ терпѣть не могъ заграничныхъ путешествій и всегда съ большою неохотою приготовлялся къ нимъ. За-границею имъ овладѣвала смертельная скука и тоска по родинѣ, и онъ возвращался изъ своей поѣздки гораздо раньше, чѣмъ предполагалъ уѣзжая.

Здоровье его впервые пошатнулось въ 1875 г. Онъ заболѣлъ тогда такими сильными припадками ревматизма, что лишился ногъ, и тогда-же доктора признали въ немъ органической порокъ сердца.

Уѣхалъ онъ за границу лѣтомъ въ 1875 г. почти въ безнадежномъ состояніи, и всѣ думали, что его скорѣе не стапегъ, но опытные доктора, въ томъ числѣ г. Бѣлоголовый, утверждали, что онъ можетъ прожить еще лѣтъ десять со своею болѣзнію. И дѣйствительно, возвратился онъ изъ заграницы въ слѣдующемъ году почти совсѣмъ

здоровымъ, бодрымъ и на ногахъ, и лишь непрестанный кашель и одышка свидѣтельствовалъ о болѣзни сердца, подтачивавшей его жизнь.

Особенный ударъ былъ нанесенъ ему закрытіемъ *Отечественныхъ Записокъ* въ апрѣлѣ 1884 года. Сбитый со своей боевой позиціи, глубоко оскорбленный въ своихъ гражданскихъ чувствахъ и всѣхъ лучшихъ человѣческихъ инстинктахъ, Салтыковъ послѣ того быстро началъ клониться къ могилѣ. До того времени онъ былъ настолько еще силенъ и бодръ, что выходилъ изъ дома и дѣлательно велъ редакторское дѣло. Послѣ-же 1884 года онъ настолько ослабѣлъ, сдѣлался немощенъ и хилъ, что не только не выходилъ нигде изъ своей квартиры, но и по комнатѣ еле-еле двигался. При такомъ крайнемъ разстройствѣ всего организма ему пришлось еще перенести крупозное воспаленіе легкихъ осенью въ 1886 году, и эта болѣзнь, едва не уложившая его въ могилу, окончательно сломила его силы.

И тѣмъ не менѣе онъ работалъ, можно поистинѣ сказать, до послѣдняго вздоха, и было нѣчто въ высшей степени трогательное и величественное въ образѣ этого изможденнаго, окруженнаго лекарствами старца, который не выпускалъ пера изъ дрожащихъ и костенеющихъ рукъ, и продолжая выпускать произведеніе за произведеніемъ, умиралъ въ полномъ смыслѣ этого слова вопиющъ на полѣ битвы. Такъ за нѣсколько дней до смерти онъ показывалъ посѣтителямъ полусинюсанный листъ, съ отчаяніемъ заявляя, что рука его отказывается болѣе работать, и онъ не въ сплахъ продолжать начатой работы. Это были тѣ самыя *Забытыя слова*, о которыхъ онъ собирался напомнить своимъ соотечественникамъ. Передъ самою смертью онъ успѣлъ составить планъ изданія полного собранія своихъ сочиненій и энергически хлопоталъ объ изданіи его. Въ этихъ хлопотахъ онъ и скончался 30-го апрѣля 1889 года.

Вотъ, начиная съ 1856 и по 1889 годъ, какія сочиненія были имъ изданы отдѣльно, предварительно конечно напечатанныя въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ:

1) *Губернскіе очерки*, 2 тома; 2) *Сатиры въ прозѣ* 1 т.; 3) *Невинные рассказы* 1 т.; 4) *Исторія одного города* 1 т.; 5) *Признаки времени и Письма о провинціи* 1 т.; 6) *Господа ташкентцы* 1 т.; 7) *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ* 1 т.; 8) *Помпадуры и Помпадуриши* 1 т.; 9) *Благонамѣренныя рѣчи* 2 т.; 10) *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*, 1 т.; 11) *Сказки и рассказы* 1 т.; 12) *Убѣжище Монрепо* 1 т.; 13) *Господа Головлевы* 1 т.; 14) *Письма къ тетенькѣ* 1 т.; 15) *За рубежомъ* 1 т.; 16) *Современная идиллія* 1 т.; 17) *Недоконченныя бесѣды*; 18) *Пошехонскіе рассказы* 1 т.; 19) *Пестрѣя нѣсьма* 1 т.; 20) *Мелочи жизни* 1 т.; 21) *Двадцать три сказки* 1 т.; 22) *Пошехонская старина* 1 т.

#### IV.

Мы уже неоднократно говорили, что въѣкъ Салтыкова былъ въѣкомъ, когда литературою овладѣли высокіе идеалы демократизма, осуществленію которыхъ мы обязаны реформами шестидесятихъ годовъ, когда всѣ писатели поголовно ратовали противъ паразитизма, праздности и нравственной распушенности, какія развились на почвѣ

крѣпостного права, и проповѣдывали активное отношеніе къ общественной жизни, неусыпный трудъ на общую пользу и сначала лишь гуманное отношеніе къ низшей братіи, а затѣмъ и слитіе съ народомъ, проникновеніе его идеалами.

Могъ-ли Салтыковъ, писатель отличавшійся всегда тонкою чуткостью къ каждому вновь возникавшему вѣянію времени, остаться въ сторонѣ отъ движенія и не увлечься имъ?

И дѣйствительно, уже первыя произведенія его *Противорѣчія* и *Запутанное дѣло* являются глубоко проникнутыми именно тѣми самыми идеями, которыя бродили въ передовыхъ кружкахъ сороковыхъ годовъ и которыми увлекались въ то время всѣ молодые литераторы подъ сильнымъ вліяніемъ статей Бѣлинскаго. Читая эти произведенія, особенно-же *Запутанное дѣло*, въ которомъ въ первый разъ талантъ Салтыкова обнаружился во всеоружіи своего беспощаднаго смѣха, вы такъ и видите на каждой страницѣ вѣянія того времени,—эпохи натуральной школы, „литературы угловъ и подваловъ“. Вѣяніе это сказалось и въ лицѣ главнаго героя *Запутаннаго дѣла* Ивана Самойловича Мичулина, сына мелкопомѣстнаго дворянина, пріѣхавшаго въ столицу искать счастья и очутившагося голоднымъ пролетаріемъ, тщетно стучавшимся во всѣ двери... „Всѣ, рѣшительно всѣ оказывались съ хлѣбомъ, всѣ при мѣстѣ, всѣ увѣрены въ своемъ завтра, одинъ онъ былъ будто лишній на свѣтѣ; никто его не хочетъ, никто въ немъ не нуждается...“ „Россія—государство обширное,—считается авторъ надъ своимъ героемъ,—обильное и богатое,—да человѣкъ-то глупъ, мретъ себѣ съ голоду въ обильномъ государствѣ!“

И вотъ мы встрѣчаемъ въ рассказѣ много такого, что можно было встрѣтить у каждаго молодого писателя того времени: развѣ не напоминаютъ напримѣръ стихотворенія Некрасова *Бѣду-ли ночью по улицѣ темной* тѣ страницы въ *Запутанномъ дѣлѣ*, гдѣ описываются думы героя о томъ, что было-бы съ нимъ, если-бы онъ женился на Надѣ? А его скитанія по Петербургу, его горячечныя грезы и безвременная смерть развѣ не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что въ то время писалъ Ѳ. Достоевскій?

Но на самомъ главномъ планѣ стоитъ здѣсь конечно смѣхъ, и въ этомъ отношеніи Салтыковъ въ первомъ-же своемъ произведеніи явился тѣмъ *l'enfant terrible*, какимъ онъ впослѣдствіи неоднократно являлся, осмѣивая тѣ самые передовые кружки, среди которыхъ вращался. Тутъ случился своего рода запутанное дѣло и прискорбное недоразумѣніе: Салтыковъ былъ высланъ по подозрѣнію въ соприкосновенности къ петрашевцамъ за такія свои произведенія, въ которыхъ именно эти самые петрашевцы и были весьма зло осмѣяны. Въ самомъ дѣлѣ, кто-же какъ не петрашевцы были осмѣяны въ лицѣ кандидата философіи Вольфганга Антоныча Необахтера и недоросля изъ дворянъ поэта Алексѣя Звонскаго съ ихъ безкопечными словопреніями о томъ, довольно-ли одной любви, или-же любовь потому, а прежде всего должно послѣдовать разрушеніе, и что эстетическое чувство есть то чувство, которымъ въ высшей степени обладаетъ художникъ, а художникъ есть тотъ смертный, который въ высшей степени обладаетъ эстетическимъ чувствомъ.

Во имя чего-же обличалъ Салтыковъ кружки, къ которымъ самъ принадлежалъ, и такимъ образомъ побилъ своихъ? Вдумываясь въ смыслъ разсказа, мы видимъ,

что передовые кружки осмѣяны здѣсь на основаніи тѣхъ самыхъ идей, которыя этими же кружками и проводились, во имя идеаловъ, къ которымъ стремилась такъ повидимому горячо молодежь того времени. Салтыкова поразило то обстоятельство, что все это движеніе совершалось на вполнѣ отвлеченной, теоретической почвѣ, ограничиваясь одними философскими преніями и бравурными восклицаніями; что все это были взнѣженные баричи, готовые на словахъ заключить въ объятія все человѣчество, а на дѣлѣ ни одинъ изъ нихъ не протянулъ руку братской помощи умиравшему съ голоду человѣку, когда онъ обратился съ мольбою о спасеніи.

Ссылка оказала великую услугу Салтыкову въ томъ отношеніи, что познакомила съ внутреннею жизнью Россіи и съ народомъ. Ему пришлось прожить въ провинціи какъ разъ тѣ семь лѣтъ реакціи, когда дореформенная жизнь дошла до крайняго разложенія, почти до полной анархіи и когда внутреннія язвы, разъѣдавшія государство, вскрылись и обнаружались во всей ужасающей мерзости. Плодомъ этого долготѣняго пребыванія въ провинціи и получились *Губернскіе очерки*, которымъ Салтыковъ былъ обязанъ началомъ своей популярности и которые послѣ севастопольской кампаніи встали во главѣ обличительной литературы, возникшей въ эпоху реформъ и заполонившей всю прессу.

Но между этою обличительною литературою и *Губернскими очерками* лежитъ цѣлая пропасть. Здѣсь дѣло заключается не въ личностяхъ, злоупотреблявшихъ властію, и не въ одномъ смѣхѣ надъ всякаго рода взяточниками и казнокрадами. Передъ вами раскрывается мрачная картина всеобщаго безправія и грабежа, которые невыносимымъ гнетомъ дожились на народѣ. И вотъ именно присутствіе народа и его невыносимыхъ страданій, которыя вы чувствуете въ каждомъ разсказѣ, даже и тамъ, гдѣ о народѣ ничего не говорится, придаетъ *Губернскимъ очеркамъ* глубокое общественное значеніе.

И къ тому-же не одни только злоупотребленія и возмутительныя злодѣйства Порфиріевъ Петровичей, Фейеровъ, Томилыныхъ, Ижбурдиныхъ, Пересѣчкиныхъ et tutti quanti возмущаютъ автора *Губернскихъ очерковъ*. Его приводитъ въ ужасъ растлѣвающее вліяніе провинціальной жизни во всей ея сложности на самыхъ лучшихъ людей, повидимому весьма далекихъ отъ всякой мысли о зализаніи въ карманъ ближняго.

«О провинція!—восклицаетъ онъ,—ты растлѣваешь людей, ты истребляешь всюкую самостоятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, самую способность желать! Ибо можно-ли назвать желаніями тѣ мелкія вожденія, исключительно направленные къ матеріальной сторонѣ жизни, къ доставленію крошечныхъ удобствъ, которыя имѣютъ то неопредѣленное достоинство, что устраняютъ всякій поводъ для тревогъ души и сердца? Какаѣ возможности развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно суживается? Какаѣ возможности мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль? Когда вмѣстѣ съ тѣмъ все вокругъ него свидетѣлствуетъ о благахъ жизни, все призываетъ къ ней, тогда нѣтъ возможности не пробуждаться даже самой сонной натурѣ. Воображеніе работаетъ, самолюбіе страдаетъ, закипитъ въ сердцѣ, и вотъ совершаются тѣ великіе подвиги ума и воли человеческой, которымъ такъ искренно дивится покорная генію толпа. Что нужды, что приготовительныя работы къ нимъ смочены слезами и кровавыми потомъ; что нужды, что не одно бытіе можетъ проклятіе сорвалось съ устъ труженика, что горьки были его

исканія, горьки нужды, горьки обманутыя надежды: онъ жить въ это время, онъ ощущать себя человѣкомъ, хотя и страдать...

«Да, жалко, по-истинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Незамѣтно, мало по малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкрадывается мятунка-лѣнь и такъ крѣпко сомнѣтъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругомъ: вѣдь живутъ-же добрые люди, и живутъ весело,—ну и самъ станешь жить весело.

«О, вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которыхъ заставляютъ жить, и которые заставляютъ жить другихъ,—завидую вамъ! И если когда-нибудь придется вамъ горько и усомнитесь въ вашемъ счастьи, вспомните, что есть иной міръ, міръ зловоній и болотныхъ испареній, міръ сплетенъ и жирныхъ кулебякъ—и горе вамъ, если вы тотчасъ не поспѣшите подчинить удовольствіе вѣчному истцу вашей жизни—обществу!»

Но наиболѣе ярко и опредѣленно выразились въ *Губернскихъ очеркахъ* идеалы Салтыкова въ томъ глубокомъ сочувствіи народу, которымъ пропитаны всѣ посвященные ему строки. Здѣсь смолкаетъ всякій смѣхъ и начинается область скорби и преклоненія передъ великостью и святостью душъ простого человѣка.

«Я вообще чрезвычайно люблю нашъ прекрасный народъ,—говоритъ онъ въ своемъ разсказѣ *Богомолцы, странники и прощаніе*, — и съ уваженіемъ смотрю на свѣжіе и благодущные типы, которыми кишитъ народная толпа. Конечно, мы съ вами, мсье Бусракинъ, или съ вами, мсье Озорникъ, слишкомъ хорошо образованы, чтобы приходить въ непосредственное соприкосновеніе съ этими мужиками, отъ которыхъ пахнетъ печенымъ хлѣбомъ или кислыми овчинами, но издали поглядѣть на этихъ загорѣлыхъ, коренастыхъ чудаковъ мы готовы съ удовольствіемъ. Я даже съ гордостью сознаюсь, что когда на театрѣ авторъ выводитъ на первый планъ русскаго мужичка и рекомендуетъ ему отхватать въ присядку, или-же собравъ на сцену достаточное число опрятно одѣтыхъ дѣвицъ въ тѣлогрѣяхъ, заставляютъ ихъ оглашать воздухъ звуками русской пѣсни, я чувствую, что въ сердцѣ моемъ дѣлается внезапный приливъ, а глаза застилаются туманомъ, хотя конечно въ камаринской ничего нѣтъ унылаго.

«*Grands dieux!*»—говорю я себѣ, выходя изъ театра. Какъ мы однако-жъ выросли, какъ возмужали: давно-ли русскій мужичекъ, *cet ours mal léché*, являлся на театральную помость затѣмъ только, чтобы прокричать заветную фразу вродѣ: «идемъ!», «обѣжимъ!» или-же отплысать гдѣ-то у воды полунспанскій танецъ—и вотъ теперь онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, семенитъ ногами и кувыркается на самой авансценѣ и оглашаетъ воздухъ неистовыми криками своей пѣсни! «*Grands dieux!* Какъ мы выросли!...»

Но эта тирада полна еще пропіи, направленной противъ чуждавшейся еще въ то время народа интеллигенціи, а вотъ другая, въ которой мы видимъ вполне уже серьезно сочувственное отношеніе къ народу со всѣми его вѣрованіями. Такъ, описывая какой-то церковный праздникъ, Салтыковъ говоритъ:

«И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня во всей ея непорочности душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достойному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ся гонору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. На

иски вѣтъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до моего слуха долетаетъ все тоже тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ:

Придетъ мать—весна красна,  
Лузья, болота разольются;  
Древа листьями одѣнутся,  
И запоютъ птицы райски  
Архангельскими голосами;  
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,  
Меня мать прекрасную покинешь!

— Нѣтъ, не покину!—готовъ я воскликнуть вмѣстѣ съ Осафемъ царевичемъ:

Разгуляюсь я во пустынѣ, во зеленой во дубравѣ,  
Насмотрюсь я во пустынѣ на различные цвѣты.

И вотъ результатами этого сочувствія народу, уваженія къ его благодушнымъ типамъ и глубокой скорби при видѣ его многотрадальческой жизни и явились такіе рассказы, какъ *Аринушка*, *Старецъ*, *Миша* и *Ваня*, *Развеселое житіе*, въ которыхъ благоговѣнно смолкалъ смѣхъ Салтыкова и душа его смиралась и умиралась.

#### У.

Салтыковъ отнюдь не принадлежитъ къ числу такихъ писателей, которые сразу опредѣляются и въ продолженіе всей своей многолѣтней литературной дѣятельности носятъ одинъ и тотъ-же неизмѣнный характеръ, какъ относительно формъ, такъ и содержанія ихъ произведеній. Талантъ крайне чуткій къ малѣйшему измѣненію общественныхъ настроеній и вѣній, Салтыковъ не упускалъ изъ вида ни одного изъ такихъ измѣненій; до самой смерти онъ не переставалъ жить вмѣстѣ со своимъ вѣкомъ и впереди своихъ современниковъ. Поэтому сатиры его сообразно различнымъ поворотамъ русской жизни совершенно измѣнялись и по тону, и по содержанію, и ихъ нельзя иначе разсматривать, какъ въ связи со всѣми этими поворотами, дѣли на періоды, соответствующіе имъ.

Такъ *Губернскими очерками* вполне исчерпывается періодъ дореформенный; въ очеркахъ этихъ Салтыковъ заплатилъ обильную дань тому общественному разложенію, какое предшествовало крымской войнѣ. Дальнѣйшія сатиры, слѣдующія за *Губернскими очерками*, носятъ совершенно уже иной характеръ. Въ нихъ въ свою очередь сатирикъ столь-же ярко отразилъ эпоху „возрожденія“, слѣдующую послѣ крымской войны со всею ея безтолковою суматохою и фразистостью. Вся соль этихъ сатиръ заключается въ томъ, что какъ ни много было шуму и гаму въ то время, какъ ни кричали о прогрессѣ, неустаннымъ движеніи впередъ, необходимости существенныхъ измѣненій, всѣ эти призывные крики не мешали людямъ топтаться на одномъ мѣстѣ, и всѣ измѣненія были чисто призрачными, а старо-русская жизнь неизмѣнно оставалась тою-же самою.

Эта старо-русская жизнь олицетворена Салтыковымъ въ городѣ Глуховѣ, въ которомъ во всякое время, когда угодно, тишина и благораствореніе воздуховъ, и даже

среди бѣла дня, когда, какъ извѣстно, въ Вавилонѣ происходило столпотвореніе, Глуповъ откликнулся на зовъ жизни только тѣмъ, что собаки, спавшія доселѣ у воротъ, свернувшись калачикомъ, стали потягиваться и повилывать хвостами. Таково врожденное свойство обитателей Глупова, ихъ грѣхъ первородный: не могутъ они шевелиться, отяжелѣли. Начальствующие отдыхаютъ въ объятіяхъ секретарей, помощники—въ объятіяхъ крѣпостного права, купцы—въ объятіяхъ единоторжія и надувательства. И можете себѣ представить, что должно было сдѣлаться съ Глуповымъ, когда мирное и блаженное существованіе его, заключающееся въ вѣчномъ снѣ и пищевареніи, внезапно нарушилось слухами о „возрожденіи“. Эти слухи внесли страшную смуту въ среду „хорошихъ людей“ Глупова и произвели всеобщій переполохъ; каждый началъ стонать за свою шкуру и впдѣть въ грядущемъ чуть-что не свѣтопреставленіе.

Глуповъ еще загодя блѣднѣлъ и трясся при словѣ *возрожденіе* и все про себя шепталъ: „Господи! ахъ, кабы да мимо!“ Еще загодя, при малѣйшемъ шорохѣ онъ махалъ онучами и шугалъ, какъ шугаетъ баба птичника, завидѣвъ въ небѣ коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ ввѣренныхъ ей цыплятъ. „Чѣмъ наша жизнь не красна!“ говоритъ онъ потихоньку: „или пуховки у насъ не толсты? или ватрушки наши не сдобны?“

При такихъ условіяхъ развѣ могъ возродиться и исполниться новой жизни Глуповъ? Всѣ пзмѣненія, какія произошли въ его сонномъ существованіи, заключались лишь въ томъ, что онъ выставилъ цѣлый сонмъ клеветниковъ. Пораженные неожиданными для нихъ явленіями, глуповцы прежде всего искали объяснить ихъ себѣ чисто внѣшнимъ образомъ. Имъ все казалось, что тутъ дѣйствуютъ какіе-то зачинщики и подстрекатели, безъ тайныхъ козней которыхъ все шло-бы какъ по маслу. Такъ напримѣръ господинъ Сидоровъ утверждалъ, что начало всей смуты положилъ Егорка Лысый, а госпожа Антонова божилась и клалась, что переимѣна въ характерѣ сновидѣній ключницы Матрены произошла именно съ тѣхъ поръ, какъ эта подлая тварь снюхалась съ подлецомъ Юнкой. Ударъ Ерыгинъ пошелъ въ этомъ случаѣ еще дальше. Когда до его свѣдѣній дошелъ слухъ о подобной смутѣ, онъ даже не далъ себѣ труда разобрать, въ чемъ было дѣло, но просто на просто приказалъ отодрать пятокъ или десятокъ зачинщиковъ.

«Помни, говоритъ при этомъ сатирикъ, что Глуповъ не можетъ не клеветать, потому что онъ возрождается. Возрожденіе вызвало въ немъ новыя страсти и новыя понятія, но прежде всего вызвало ненависть къ самому возрожденію. Хотя это повидимому противорѣчіе, но оно разрѣшается очень просто. Еще не остылъ въ Глуповѣ потъ прежней, горшечной еще жизни; еще не перегорѣлъ внутри его старый хламъ накопленный тамъ вѣками; онъ все еще прежній, ветхій Глуповъ, который такъ забавлялъ тебя своимъ оригинальнымъ міросозерцаніемъ... Странно было-бы, если-бы онъ покопчалъ со своимъ пропалымъ, не поговоривъ немного, песневѣжничавъ хоть ради очищенія совѣсти!»

Но не одинъ старый Глуповъ возсталъ противъ реформъ. Самые приверженцы ихъ и пионеры возрождались лишь на словахъ, только и дѣлая что разсыпаясь въ праздныхъ словозверженіяхъ. Въ сатпрахъ *Скрсжетъ зубовный*, и *Новый Нарциссъ*



или влюбленный въ себя, Салтыковъ осмѣялъ современныхъ витій, расплывавшихся потокомъ либеральныхъ разглагольствованій. Все содержаніе нашего краснорѣчія, — по его словамъ, — это во первыхъ стараніе не войти въ слишкомъ явное противорѣчіе съ грамматикой и сантаксисомъ; во вторыхъ желаніе убѣдить всѣхъ и каждого, что ничто человѣческое намъ не чуждо; и въ третьихъ — стремленіе, хоть какъ-нибудь, хоть бокомъ, пріобщиться къ общему современному направленію идей. Словомъ, чтобы опредѣлить характеръ нашего витійства однимъ терминномъ, можно назвать его размазисто — стыдливо — пустопорожнимъ. Съ такимъ мало разнообразнымъ сбродомъ мы могли съ грѣхомъ пополамъ составлять только вступленія или предисловія, но за то въ искусствѣ предисловія въ самое короткое время сдѣлали столько успѣховъ, что едва-ли не обогнали на этомъ поприщѣ всѣ народы земного шара.

Такимъ образомъ Глуповъ не умеръ, но и не возродился, а только переимѣнилъ форму, внѣшность, и въ сущности остался все тѣмъ-же Глуповымъ. Вмѣсто староглуповцевъ народились новоглуповцы, но они отличаются отъ прежнихъ лишь наружностью: прежній „хорошій“ человѣкъ былъ неряшливъ и неумытъ, частенько даже несло отъ него словно морскими травами; новоглуповецъ напротивъ того безукоризенъ и чистъ, какъ кристалъ. Прежній былъ невѣжественъ и грубъ, новый утонченъ и образованъ, въ карты-же ни-ни, исторій съ рылами, микитками и подсазками удаляется, biceps употребляетъ лишь благороднымъ манеромъ, т. е. душитъ шампанское и презираетъ очищенную, и только къ айmons обнаруживаетъ прежнее ехидное пристрастіе. За то прямъ какъ аршинъ, поджаръ какъ собака, высокоинтеренъ какъ семинаристъ, дерзокъ какъ губернаторскій камердинеръ и загадоченъ, какъ тотъ хвойный лѣсъ, который отъ истоковъ Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитаго океана.

«Въ сущности, и старый, и новый глуповецъ, говоритъ Салтыковъ, руководится однимъ и тѣмъ-же правиломъ: «травы не мять, цвѣтовъ не рвать и птицъ не пугать», но на практикѣ, но въ способѣ проведенія этого правила въ жизни между ними замѣчается ощутительная разница. Старый глуповецъ видѣлъ эти слова написанными на доскѣ и выполнялъ ихъ, не разсуждая. Новый глуповецъ не только выполняетъ, но и резонируетъ, не только резонируетъ, но и любитъ самимъ собою. Онъ возводитъ исполненіе правила въ принципъ, и въ этомъ принципѣ находитъ достаточно содержанія для наполненія всей своей жизни. И горе тому, кто затронетъ ново-глуповца въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ; горе тому, кто отнесется легко къ этой послѣдней святынѣ его сердца; онъ въ одну минуту налаетъ столько, сколько не успѣли налать его достославные предки въ продолженіи многихъ столѣтій; онъ загрызетъ, онъ докажетъ цѣлому міру, что и въ Глуповѣ могутъ зародиться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва способна производить сорпанцовъ исполнительности...

«Глуповское міросозерцаніе, глуповская закваска жизни находятся въ агоніи — это несомнѣнно. Но агонія всегда сопровождается предсмертными корчами, въ которыхъ заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этихъ ужасныхъ попытокъ древне-глуповскаго міросозерцанія удержаться на старой почвѣ служатъ ново-глуповцы. Въ лицѣ ихъ она празднуетъ свою послѣднюю, бессмысленную нахханазію, въ лицѣ ихъ она псчерпываетъ послѣднее свое содержаніе; въ лицѣ ихъ она торжественно и окончательно заявляетъ міру о своей несостоятельности.»

Таковы основныя мотивы тѣхъ публицистическихъ сатиръ, какія писалъ Салты-

ковъ во все время совершавшихся реформъ. Это была беспощадная критика общественнаго движенія эпохи, проникавшая въ самую суть исторически-сложившихся основъ русской жизни, производившая самое отрезвляющее вліяніе на молодые умы, разгоряченные совершавшимися великими событіями и воображавшіе, что русскій прогрессъ безпредѣленъ.

Не ограничиваясь характеристикой современныхъ правовъ Глупова, Салтыковъ обращается къ исторіи въ намѣреніи прослѣдить развитіе этихъ нравовъ генетически, и въѣномъ сатиры разсматриваемаго нами періода является *Исторія одного города*. Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ этому произведенію, намъ необходимо обратить вниманіе на одно весьма существенное свойство таланта Салтыкова, именно на его страсть къ широчайшимъ обобщеніямъ.

Салтыкова неоднократно обвиняли въ памфлетизмѣ, и рѣдкое произведеніе его обходилось безъ того, чтобы не искали въ немъ изображеній тѣхъ или другихъ общепзвѣстныхъ дѣятелей. Но категорически заявляемъ, что обвиненіе это лишено всякаго основанія. Салтыковъ самъ постоянно отказывался, чтобы въ его сатирахъ были выведены тѣ или другія лица, на которыя ему указывали, и дѣлалъ это не публично и не передъ людьми, съ которыми не желалъ быть откровеннымъ, а въ самыхъ интимныхъ, пскренныхъ бесѣдахъ. И дѣйствительно, разсматривая его произведенія, мы видимъ, что очень часто творческій процессъ его начинался отъ одной личности, ею возбуждался и приводился въ движеніе; но никогда онъ на этой конкретной личности не останавливался, а непремѣнно приходилъ къ какому-нибудь самымъ широкимъ обобщеніямъ, причемъ порою обобщенія эти доходили до такой широты, что не въ силахъ были вмѣститься въ одинъ художественный образъ. Тогда творчество Салтыкова, какъ вздувшійся отъ чрезмѣрныхъ дождей потокъ, выходило изъ береговъ художественности, и сатирикъ начиналъ выставлять отвлеченныя, безплотныя категоріи, подводя подъ нихъ явленія самыя разнородныя. Мы видимъ уже подобныя безплотныя обобщенія въ такихъ категоріяхъ, какъ староглуповцы и новоглуповцы. Другой поразительный подобнаго-же рода примѣръ представляется намъ въ сатирахъ, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*. Первою рубрикою этихъ сатиръ служатъ шесть главъ, носящихъ названіе *Господа Молчалины*. По одному этому заглавію вы можете судить, что Салтыковъ отправляется здѣсь отъ извѣстнаго грибоѣдовскаго типа. Но онъ не останавливается на немъ. У Грибоѣдова Молчалинъ является опредѣленнымъ типомъ пресмыкающагося чиновника карьериста, и вы не смѣшаете его ни съ Фамусовымъ, ни со Скалозубомъ, ни тѣмъ болѣе—съ Чацкимъ. Салтыковъ-же усматриваетъ молчалинскія черты въ большинствѣ общества. Цѣлыя массы подобно Молчалипу только и помышляютъ объ устройствѣ семейной обстановки, жертвуя совѣстью и честью, подвергая себя добровольному мученичеству въ видѣ надругательства надъ нимъ какого-нибудь самодура. Массы говорятъ: „моя хата съ краю,—ничего не знаю“ и пусть кровь льется потоками и человѣчество грязнеть въ пучинѣ духовной нищеты,—ни до чего имъ нѣтъ дѣла. Умывая руки въ крови, они утѣшаютъ себя тѣмъ, что они лишь исполнители, творятъ волю пославшихъ ихъ. Такимъ образомъ въ массахъ вы видите вѣчное раздвоеніе семейной и общественной нравственности, при чемъ главы семей всѣ усиленнѣе

употребляютъ, какъ-бы дѣти не узнали, какою цѣною покушается ихъ благосостояніе, боясь увидѣть въ нихъ грозныхъ судей.

«Молчалины, — говоритъ Салтыковъ, — отнюдь не составляютъ исключительной особенности чиновничества. Они кишатъ вездѣ, гдѣ существуетъ забитость, приниженность, вездѣ, гдѣ чувствуется невозможность скоротать жизнь безъ содѣйствія «обстановки». Русскія матери (да и никакія въ цѣломъ мірѣ) не обязываются рождавать героевъ, а потому масса сыновъ человѣческихъ невольнымъ образомъ придерживается въ жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «лбомъ стѣны не прошибешь». И такъ какъ пословица эта сверхъ того въ практической жизни подтверждается восклицаніемъ: «въ бараній рогъ согну!»), примѣненіе котораго сопряжено съ очень солидною болью, то понятно, что въ извѣстные историческіе моменты Молчалины должны во всѣхъ профессіяхъ составлять не очень яркіи, но тѣмъ не менѣе несомнѣнно преобладающій элементъ.»

Вотъ эту страсть къ широкимъ обобщеніямъ не слѣдуетъ опускать изъ виду, читая и *Исторію одного города*. Въ произведеніи этомъ болѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было ищутъ и находятъ изображенія различныхъ историческихъ личностей. Но это такое-же заблужденіе, какъ и исканіе портретовъ во всѣхъ прочихъ сатирахъ Салтыкова. Здѣсь даже болѣе чѣмъ гдѣ либо мы имѣемъ дѣло съ самыми широкими обобщеніями, олицетворяющими въ одномъ образѣ порою цѣлыя эпохи.

Стоитъ лишь образить, что исторія не есть одна лишь галлерей историческихъ дѣятелей. За ними стоитъ общество, толпа, народъ, которые хотя и не принимаютъ столь замѣтнаго участія въ исторіи, какъ историческіе герои, тѣмъ не менѣе каждый индивидуумъ кладетъ свою лепту, а изъ этихъ лептъ нарастаютъ горы. Мы видимъ по крайней мѣрѣ, что каждая эпоха имѣетъ свой характеръ, присущій не однимъ выдающимся дѣятелямъ, но и массамъ. То, что совершалось въ данный историческій моментъ въ Петербургѣ, находило подражателей въ любомъ Глуховѣ. Поэтому въ исторіи Глухова слѣдуетъ видѣть не одно *замаскированіе* русской исторіи, а ея такъ сказать *микрокосмъ*. Если-бы можно было написать исторію любого изъ русскихъ городовъ—Ярославля, Костромы, Кашина или Калязина со всѣми мелкими подробностями повседневной жизни, навѣрное въ каждомъ городѣ отразилась-бы всероссійская исторія. Такимъ образомъ, хотя Беневоленскій и напоминаетъ Сперанскаго, а Угрюмъ Бурчеевъ даже по созвучію—Аракчеева, по въ вѣкъ Сперанскаго и Аракчеева каждый городничій походилъ либо на Сперанскаго, либо на Аракчеева, и не изъ одного подражанія, а потому, что каждая эпоха имѣетъ свои преобладающіе типы, и если художнику удастся схватить одинъ изъ нихъ, то выдающаяся историческая личность будетъ въ такой-же мѣрѣ походила на него, какъ и масса современныхъ ей людей.

И тѣмъ болѣе слѣдуетъ принимать все это во вниманіе, что въ *Исторіи одного города*, какъ и въ сатирахъ Щедрина, извѣстныхъ подъ заглавіемъ *Помпадуръ и помпадурши*, главная соль сатиры Щедрина обращается вовсе не на выводимыхъ градоначальниковъ и помпадуровъ съ ихъ помпадуршами. Вовсе не для того выставлены ихъ сатирикъ такими уродливыми, безобразными и карикатурными, чтобы въ нихъ опять полагалъ альфу и омегу всѣхъ бѣдъ и золъ русской жизни. Болѣе всего бичуетъ онъ толпу обывателей, забытыхъ, униженныхъ, пресмыкающихся глуховцевъ.

чуждыхъ всякой инициативы и самостоятельности и вѣчно являющихся однимъ и тѣмъ-же безсловеснымъ, подловато-угодливымъ Молчаливымъ. Вотъ противъ этой-то чисто азіатской инертности и направлены болѣе всего блчи щедринаской сатиры.

## VI.

Но вотъ прошли шестидесятые годы со всей ихъ суматохою; совершились всѣ главныя реформы; опустились волны общественнаго движенія; началось всеобщее изнеможеніе, разочарованіе, затишье. Но подъ наружнымъ тепломъ наступившей реакціи тлѣлъ жгучій огонь, и невидимо, неслышно совершался весьма важный экономическій переворотъ, явившійся прямымъ результатомъ совершенныхъ реформъ и особенно освобожденія крестьянъ. Такъ мы видимъ, что наиболѣе сильное вліяніе эта реформа имѣла на дворянскій классъ, бытъ котораго былъ потрясенъ до самыхъ своихъ основаній. Всѣ прежніе ресурсы безпечальнаго житія исчезли безвозвратно. Приходилось мало того что устраиваться по новому, но придумывать новыя теоріи для оправданія смысла самаго существованія дворянъ, какъ особеннаго класса. Какъ писатель крайне чуткій къ уловленію существеннаго нерва каждой эпохи, Салтыковъ сейчасъ-же понялъ, въ чемъ заключается главный вопросъ времени, и этому вопросу посвятилъ всѣ свои силы. Онъ оставилъ теперь въ сторонѣ и самодурствующихъ помпадуровъ, и непробудно спящихъ глуповцовъ, и всѣ свои перуны устремилъ на сбитыхъ съ панталыку культурныхъ людей, стремившихся устроиться по новому, по возможности сытно, весело и безъ труда, и съ какимъ-нибудь вновь придуманнымъ апломбомъ, который оправдывалъ-бы эти новыя срыванія цвѣтовъ удовольствія.

И дѣйствительно мы видимъ, что всѣ произведенія этого третьяго періода его литературной дѣятельности семидесятыхъ годовъ, и *Господа Ташкентцы*, и *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*, и *Убѣжище Монрепо*, и *Благонамѣренныя рчи*, главнымъ образомъ изображаютъ культурныхъ людей въ ихъ отыскиваніи новыхъ путей паразитства. Такъ однимъ изъ самыхъ модныхъ и заурядныхъ въ семидесятые годы путей къ поправленію финансовыхъ обстоятельствъ была тяга въ Ташкентъ, гдѣ мерещились культурнымъ людямъ золотыя горы. Отъ взоровъ Салтыкова не укрылась эта тяга, и онъ мало того, что заклеилъ русскихъ пионеровъ пасажденія въ Азіи европейской цивилизаціи позорнымъ именемъ ташкентцы, но по своему обыкновенію обобщилъ это прозвище, примѣнивъ его ко всѣмъ культурнымъ людямъ, ничего не имѣющимъ за душою кромѣ одного ненасытнаго аппетита, — такимъ образомъ и появилась серія сатиръ подъ заглавіемъ *Господа Ташкентцы*, причемъ въ введеніи въ эти очерки Салтыковъ говоритъ:

«Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни общества минуты, когда Ташкентъ пасивно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ быть именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку возможность располагать своими движеніями... Потихоньку, милостивые государи, потихоньку! Можетъ

быть это «нѣчто зарождающееся», «нѣчто намекающее» и дѣлаетъ особенно нестерпимою боль, при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что-же кому за дѣло до этого? Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? Развѣ они умяляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, хотя-бы въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи, нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ водится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися—сколько людей все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!..

«Я конечно былъ-бы очень радъ, если-бы могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вотъ издыхающій Ташкентъ! Но, увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то-же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, всюду сюрриризмъ! Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и пошлыхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «пооди! задавлю!» и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «пооди! задавлю!» Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоценныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло-бы упразднить дурное безъ заушенія, безъ возгласовъ, обещающихъ задавить. Миѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся, окрѣпшій. Пожалуй, я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ, въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ не правы въ своей безпачежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Но типы ташкентцевъ далеко не исчерпываютъ собою всѣхъ сбившихся съ пути культурныхъ людей. Ташкентцы, готовые ради снисканія куска пирога совершать какія угодно злодѣйства—люди энергическіе и хищные, а такихъ всегда бывало меньшинство. Большинство-же культурныхъ людей втеченіе семидесятыхъ годовъ принадлежало къ мягкому и рыхлому типу помѣщиковъ, которые, не думая о завтрашнемъ днѣ, продали послѣднія выкупныя свидѣтельства и, спуская свои наследственные усадьбы Деруповымъ, безслѣдно исчезали во мракѣ нищеты и разоренія. Сопрательнымъ типомъ подобныхъ прожигателей жизни является герой *Дневника провинціала* Прокопъ, этотъ русскій Фальстафъ, необузданный обжора, пьяница и сластолюбецъ, являющійся въ Петербургъ изъ провинціи „прожигать жизнь“ и вмѣстѣ съ тѣмъ изыскивать средства для этого прожиганія.

Во второй главѣ *Дневника провинціала* Щедринъ проводитъ весьма знаменательную параллель между жгизнерадостностью дѣдушки Матвѣя Ивановича и тщетными усиліями „прожигать жизнь“ его жалкихъ потомковъ, при чемъ не приводящими ихъ кромѣ пресыщенія и разочарованія.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Ивановича, читаемъ мы, ошѣнили и убѣдились, что у насъ отъ *нашего* прапа не осталось ни капельки. Собрація наши малолюдны: мы не пикируемся, потому что и имитировать на манеръ французовъ не имѣемъ повода, а какимъ образомъ пикироваться на новый манеръ, еще не придумали. Съ другой стороны, мы не срываемъ скатертей съ сервированныхъ столовъ и не улаживаемся потрясеніями доморожденныхъ Паланекъ, потому что это слишкомъ дорого: чтобы понять хотя призракъ тѣхъ удовольствій, которыми пользовались наши французы

мы должны ѣхать въ Петербургъ и тамъ въ складчину по два рубля съ рыла облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но вѣдь Шнейдерша—достояніе общаго, а при общедоступности доставляемаго ею удовольствія, кто же изъ насъ можетъ сказать: это моя Шнейдерша! какъ бывало говаривалъ Матвѣй Ивановичъ: «это моя Палашка!» Дѣдушкѣ Матвѣю Ивановичу было надъ чѣмъ повластвовать, и онъ понималъ себя въ этомъ отношеніи не пятымъ колесомъ въ колесницѣ и не отставнымъ козы барабанщикомъ. Смотритъ онъ напримѣръ на дѣвку Палашку, какъ она кувыркается, и въ то-же время если не формулируетъ, то всѣмъ существомъ сознаетъ: «я съ этой Палашкой, что хочу, то и сдѣлаю, хочу—косу обстригу, захочу—за Антипку пастуха замужъ выдамъ...

«Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Ивановича, лишены такого сорта оживляющихъ эпизодовъ.—*Мы курицы не можемъ сдѣлать зла!* та parole! говорилъ мнѣ на-дняхъ мой другъ Сенья Бирюковъ:—объясни-же мнѣ, ради Христа, какого рода роль мы играемъ въ природѣ?»

Таковы темы большинства сатиръ семидесятыхъ годовъ. Въ каждой изъ нихъ представляется пореформенный помѣщикъ въ разныхъ отношеніяхъ къ новой жизни, заставшей его врасплохъ и увлекающей его своимъ роковымъ теченіемъ. Здѣсь вы не видите уже той желчи и негодованія, какія преобладали въ сатирахъ первыхъ двухъ періодовъ. Господствующимъ чувствомъ является здѣсь ѣдкая горечь, хандра. Скорбь автора носитъ здѣсь субъективный характеръ. Смѣясь сквозь слезы надъ своими героями въ ихъ тяжелой борьбѣ съ новыми условіями жизни, авторъ оплакиваетъ и свою собственную участь, которую раздѣляетъ съ героями, принадлежа къ одной съ ними средѣ. Такія сатиры какъ *Убѣжище Монрепо* имѣютъ автобіографическій характеръ, являясь плодами не однихъ наблюденій, а личныхъ опытовъ, выстраданныхъ самимъ авторомъ.

Шедевромъ этого третьяго періода литературной дѣятельности Салтыкова являются *Господа Головлевы*. Многіе ставятъ это произведеніе на равнѣ съ *Мертвыми душами* по изображенію существенныхъ и самобытныхъ чертъ русской жизни и по типичности выставляемыхъ личностей. Другіе утверждаютъ, что если-бы забылись всѣ прочія произведенія Салтыкова, потерявши обаяніе современности и вдохновившихъ ихъ злобъ дня, *Господа Головлевы* одни останутся незабвенными, такъ какъ въ нихъ Салтыковъ возвысился надъ всѣми окружавшими его преходящими явленіями и дошелъ до высшаго творческаго экстаза общечеловѣческихъ обобщеній. По крайній мѣрѣ типъ Іудушки смѣло можно поставить рядомъ съ лучшими типами европейскихъ литературъ, каковы Гартуфъ, Донъ-Кихотъ, Гамлетъ, Лиръ и т. п. Даже самые ожесточенные враги Салтыкова, и тѣ преклоняются передъ этимъ произведеніемъ, объясняя высоту его именно отсутствіемъ въ немъ тенденціозности.

Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ *Господа Головлевы* были всецѣло навѣяны тѣмъ-же зломъ дня. Они вполне входятъ въ тотъ хоръ, каковыя являются всѣ сатиры Салтыкова семидесятыхъ годовъ. Они были вызваны ничѣмъ инымъ, какъ тщетными попытками осмыслить праздное существованіе сбитыхъ со всѣхъ прежнихъ путей героевъ его навязываніемъ имъ совершенно несвойственной имъ роли охранителей и распространителей сложившейся яко-бы вѣками въ ихъ средѣ своеобразной русской культуры. Отсюда вытекло и прозвище „культурные люди“, явившееся какъ разъ въ

это время въ московскихъ литературныхъ кружкахъ. Посмѣявшись вѣдаль и надъ этимъ прозвищемъ и надъ тою ролью, какая навязывалась ташкентцамъ и Прокопамъ, Салтыковъ въ концѣ-концовъ вознамѣрился показать, какова была пресловутая вѣковая „культура“, охранять и насаждать которую призывались ташкентцы и Прокопы. Результатомъ такого замысла и явились *Господа Головлевы*, произведение, въ которомъ вы находите изображеніе старинной, дореформенной помѣщичьей семьи во всемъ ужасающемъ безобразіи нравственной распущенности, отсутствія всякихъ духовныхъ интересовъ и полного разложенія подъ личиною цинически-наглаго лицемерія. Вотъ какую культуру васъ призываютъ охранять и насаждать, сказалъ Салтыковъ этимъ своимъ лучшимъ безсмертнымъ сочиненіемъ.— Однимъ словомъ *Господа Головлевы* играютъ по отношенію ко всемъ прочимъ сатирамъ третьяго періода дѣятельности Салтыкова такую-же роль заключительнаго слова и вѣнца, какую занимаетъ *Исторія одного города* по отношенію къ двумъ первымъ періодамъ, къ произведеніямъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ.

## VII.

Здѣсь мы считаемъ какъ нельзя болѣе умѣстнымъ обратить вниманіе на такой элементъ таланта Салтыкова, котораго мы до сихъ поръ не касались еще и который, представляясь не менѣе существеннымъ, чѣмъ сатирико-комическій, до сихъ поръ остается мало оцѣненнымъ. Именно—элементъ трагическій.—И дѣйствительно, элементъ этотъ былъ упущенъ изъ виду не только критиками враждебнаго лагеря; но и критики дружественнаго направленія долгое время не замѣчали тѣхъ горькихъ слезъ, какія прорывались порою сквозь смѣхъ Щедрина. Стоитъ вспомнить Писарева съ его „*Цветами невиннаго юмора*“.

Это зависѣло конечно отъ того, что въ первые два періода дѣятельности Салтыкова смѣхъ значительно преобладалъ въ его сатирахъ надъ слезами. Съ одной стороны само время, крайне оживленное, располагало болѣе къ смѣху, чѣмъ къ плачу. Съ другой стороны и самъ сатирикъ былъ моложе. Понятно, что чѣмъ болѣе живетъ человекъ, глубже всматривается въ жизнь и болѣе выноситъ изъ нея горькихъ опытовъ, тѣмъ болѣе является у него склонности къ трагизму. Поэтому и у Салтыкова въ позднѣйшихъ сатирахъ, относящихся къ семидесятымъ и восьмидесятымъ годамъ, мы видимъ болѣе трагическаго элемента, чѣмъ въ *Губернскихъ очеркахъ* или *Дневникъ провинціала*.

Этому соотвѣтствовалъ и характеръ семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ. Можно было осмѣивать Прокоповъ, пока они обжирались и проѣдали послѣднія выкупныя свидѣтельства, ташкентцевъ, пока они были болѣе смѣшны, чѣмъ страшны, и Молчалиныхъ, пока разладъ словъ и дѣлъ, будирующія фразы на языкѣ и молчалипское смупроумудріе на дѣлѣ вели лишь къ смѣшному искаженію образа и подобія Божія. Но въ семидесятые годы стало уже не до смѣху: мрачные тоны жизни сгустились. Передъ Прокопами, успѣвшими все проѣсть, разверзлись грозныя пропасти. Ташкентцы начали возбуждать не одни смѣхъ, но и ужасъ. Молчалипы-же познали грозныхъ и нелицепріятныхъ судей въ лицѣ своихъ подросшихъ дѣтей. И вотъ изъ-подъ

пера Салтыкова начали выступать безутѣшныя слезы, появился рядъ очеіковъ, въ которыхъ черная какъ ночь хандра доходитъ мѣстами до безпадежнаго отчаянія. Это не байроновское разочарованіе, не тотъ скептическій пессимизмъ, какой вы встрѣтите въ современной французской беллетристикѣ. Салтыковъ никогда не доходилъ до потери вѣры въ человѣческую природу вообще; онъ лишь оплакивалъ печальную судьбу своихъ современниковъ, влачащихъ жалкое существованіе, ничѣмъ не отличающееся отъ одиночнаго заключенія въ сыромять, вонючемъ подвалѣ, и которые, куда ни обзѣрываются, всюду находятъ подъ погами разверзавшіяся бездны, грозившія безславною и позорною гибелью. Такимъ образомъ это отнюдь не трагизмъ высокыхъ, типическихъ страстей и экстраординарныхъ сцѣпленій враждебныхъ обстоятельствъ; не тотъ однимъ словомъ трагизмъ, который читатели созерцаютъ съ спокойнымъ духомъ, радуясь за свою участь и соображая, что мало-ли чего не бываетъ на свѣтѣ, но онъ изъ своей скромной и незамѣтной жизни, со своею умѣренностью и аккуратностью, конечно застрахованы отъ подобныхъ ужасовъ. Ничуть не бывало! Салтыковъ раскрываетъ намъ трагическое въ самой прозаической жизни, сплошь сотканной изъ мелочей и дразгъ, и читатель съ ужасомъ убѣждается, что никто отъ этого трагическаго не застрахованъ, и самъ онъ является главнымъ героемъ и жертвою совершающейся въ его жизни трагедіи.

Такъ напримѣръ возьмите вы хотя-бы такую сатиру, какъ *Похороны*, въ которой раскрывается передъ нами трагизмъ жизни современнаго русскаго писателя. Мало того, что все это хватающее васъ за сердце описаніе литературныхъ похоронъ въ цѣломъ исполнено мрачнаго трагизма, но въ рѣдкой фразѣ, взятой въ отдѣльности, не таится особенная трагедія, не раскрываются передъ вами надрывающіе душу, исполненные горькой правды факты, примелькавшіеся намъ въ жизни. Возьмите для примѣра хотя-бы такой фактъ, что хоронили Коршунова *„на счетъ семидесяти пяти рублей, которые ассигновалъ литературный фондъ, предварительно впрочемъ удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и „не предаваясь“*. Обратите вниманіе на это хмурое октябрьское небо, на горсть провожавшихъ сотрудниковъ, которымъ *всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ-будто каждый думалъ: „вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!“*

«Чувство безконечной отчужденности и наготы, читаемъ мы, свладѣвало псякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везуть какого-то отщепенца, до котораго никому изъ «публики» дѣла нѣтъ (а онъ именно для «публики» то и жилъ, и ради «публики» безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и спонхъ-то не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» ужъ давно основались съ могилами. Даже больше чѣмъ просто «отщепенство» тутъ видѣлось: казался, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не исполнѣ безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ!»

А далѣе затѣмъ сколько надрывающаго душу заключается въ мартирологъ Коршунова, въ которомъ каждый средней руки писатель увидитъ свою собственную жизнь и вслѣдъ съ безсмертнымъ старикомъ воскликнетъ въ горькомъ отчаяніи: «Читатель, русскій читатель! Защити!..»



Не менѣе трагиченъ разсказъ *Дворянская хандра*, въ которомъ мы имѣемъ дѣло съ трагедіей современнаго интеллигентнаго культурнаго человѣка. Всю жизнь онъ питался надеждами и всюду „совался“.

«Къ чему я не примазывался! говорить онъ:—въ какомъ «хорошемъ» дѣлѣ не предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были мои личными кровными вопросами!.. Наконецъ однако мы надоѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій—любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все пэмѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не пэмѣнились и продолжали высказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобы отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насилие... Что было потомъ, лучше не вспоминать... замѣна вчерашняго лихорадочнаго «сованія» сегодняшнимъ оцѣненіемъ, это—болѣе нежели неожиданности: это полный переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ—все разомъ упразднено. Сколько могучаго презрѣнія долженъ почувствовать человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота! Вѣдь онъ все тотъ-же: дѣятельный, преданный, одушевленный и вдругъ... За что?.. за что? поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія, напрасныхъ укоровъ, безсильнаго юпота слышится въ одномъ этомъ вопрсѣ!..»

И вотъ культурному человѣку осталось лишь возвратиться въ дѣдовскую усадьбу и поселится въ ней навсегда, но не затѣмъ, чтобы просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недопмокъ или хозяйничать,—просто чувствовалось потребность за-живо пмѣть гробъ. И современная усадьба своимъ разрушеніемъ, заброшенностью и безжизненнымъ уединеніемъ вполне соответствовала понятію о гробѣ.

Вотъ подобное-то вполне трагическое замуравливаніе себя за-живо въ гробъ интеллигентнымъ культурнымъ человѣкомъ, познавшимъ свою ненужность въ жизни, и составляетъ все содержаніе этого по истинѣ гробового разсказа. Всего ужаснѣ здѣсь та пропасть, которая отдѣляетъ подобнаго живого мертвеца отъ крестьянъ, окружающихъ гробъ его.

«Я изнываю отъ тоски, говорить онъ, отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а мужикъ думаетъ: «вотъ оно хорошее-то житье!» и думаетъ правильно, потому что его то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богомазамъ,—этимъ присяжнымъ изобразителямъ адскихъ мученій,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобы достойнымъ образомъ воспроизвести это житье! Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтить съ нетерпѣніемъ, скажетъ: «уйди! не мѣшай!» Что-же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ-же отвѣтъ: «уйди! не мѣшай!» Онъ не приметъ его за личію только потому, что вообще ничего непрямого, показательнаго не разумѣетъ, а просто-на-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное «сопаніе», только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно-примѣненное. «И сѣи тебя топино—а ты лѣзешь!» Да, лучше уже не «соваться» и сидѣть смиренно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать!»

Развѣ это не самая ужасная трагедія, присущая массѣ интеллигентныхъ, куль-

турныхъ людей? *Лининіс люди* — это вѣчная болячка русской жизни. Наконецъ, вотъ вамъ и чиновничья трагедія въ разсказѣ *Больное мѣсто*. Старикъ Разумовъ, чиновникъ средней руки, всю жизнь теръ трудовую лямку; наконецъ вышелъ въ отставку съ хорошей пенсіей и чиновъ тайнаго совѣтника, но не совсѣмъ по своей охотѣ: его скосырнулъ съ мѣста новый начальникъ Губошлеповъ безъ всякаго повода, а просто такъ, чтобы показать, что онъ человѣкъ „системы“. Разумовъ вернулся на родину, купилъ домикъ на Прохожей улицѣ, устроилъ, ухитрилъ себѣ гнѣздо на славу и думалъ: „Вотъ теперь-то начнется настоящій покой!“ И дѣйствительно, „покой“ начался, но не совсѣмъ тотъ, на который рассчитывалъ Разумовъ. Начался „покой“ одиночнаго заключенія, подавляющій, преполненный безразсвѣтной мглы, тотъ „покой“, который, однажды захвативъ человѣка, окружаетъ его непроницаемой стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. Сидитъ человѣкъ за этой стѣной и ни о чемъ другомъ не мыслить, какъ лишь о томъ, что и въ немъ самоѣ, и внѣ его все кончилось...

Но не въ этомъ заключается главная трагедія въ жизни Разумова, а въ сынѣ Степанѣ, котораго онъ любилъ, лелѣялъ и тщательно воспитывалъ, потому что въ немъ видѣлъ единственную радость и счастье своей жизни. И вдругъ въ этомъ сынѣ ему пришлось найти грознаго судію всего его служебнаго поприща. Онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что онъ „мухи не обидѣлъ“ въ продолженіе всей своей службы и всегда дѣлалъ „дѣло“ по „сущей совѣсти“. Но въ массѣ „клочковъ“, которые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно такихъ, которые для однихъ оканчивались нравственной обидой, для другихъ — матеріальными ущербами. Конечно, эти ущербы и обиды въ мнѣніи Разумова прикрывались представленіемъ о „вышемъ интересѣ“ („такъ быть должно“), но бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представленіе на вѣру и даже не пытался анализировать его составныя части. Едва ли впрочемъ слова эти значили что-нибудь больше простаго „приказанія“.

Это раздвоеніе оффиціальнаго и частнаго человѣка не обошлось даромъ Разумову. Оно привело сына его Степу къ тому, что въ одинъ прекрасный день передъ юношей встала слѣдующая диллема: прервать ли съ своими кровными убѣжденіями, или съ отцомъ. Но любовь отца, ласки его, которыя онъ всю жизнь рассыпалъ передъ нимъ, его отеческія заботы и попеченія о единственномъ дѣтищѣ, — все это дѣлало разрывъ слишкомъ жестокимъ и невозможнымъ. И чтобы вырваться изъ этого лабиринта, Степѣ открылась одна дорога: самоубійство.

Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ уже не такую безкровную трагедію, какъ предыдущія, а настоящую — кровавую. Здѣсь передъ нами раскрывается одно изъ тѣхъ многочисленныхъ юныхъ самоубійствъ, которыя въ продолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ составляли самое заурядное явленіе жизни, и когда читаете вы эту трагедію, въ свою очередь вамъ конечно не до смѣха.

Мы указали лишь на три наиболѣе рѣзкіе образца трагическаго элемента въ сатирахъ Салтыкова. Но ими не исчерпываются проявленія этого элемента, и читатель самъ безъ труда въ обиліи найдетъ ихъ въ произведеніяхъ двадцати послѣднихъ лѣтъ Салтыкова.

VIII.

Сатиры Салтыкова, написанныя в течение восьмидесятих годов, составляют четвертый и последний период его литературной деятельности. Характер этих произведений в свою очередь значительно отличается от прежних, что обуславливается опять-таки духом времени и возрастом автора. Восьмидесятые годы были временем полного общественного затишья, когда жизнь начала однообразно и монотонно течь день за днем, бѣдная выдающимися событиями. Ничто уже болѣе в такой степени не волновало, не увлекало, не выводило изъ себя, какъ это было прежде. Понятно, что и характеръ, и тонъ сатиръ Салтыкова значительно измѣнились: на мѣсто саркастичнаго, желчнаго смѣха прежнихъ произведений, является теперь величаво-эпическое, степенное созерцаніе, то исполненное глубокой скорби, то возвышающееся до восторженнаго пафоса. Однимъ словомъ передъ вами уже не юноша и не человѣкъ въ цвѣтъ лѣтъ, котораго все волнуетъ и возмущаетъ и который къ тому-же живетъ въ такую горячую эпоху, когда событія быстро снѣшались одно за другимъ, и онъ едва успѣваетъ отзывать на нихъ въ сатирѣ, фельетонахъ, ловящихъ настоящій моментъ. Бывали годы, когда написанная въ мартѣ мѣсяцѣ сатира Щедрина въ сентябрѣ теряла уже обаяніе современности и являлась чѣмъ-то опоздавшимъ. Совсѣмъ не то мы видимъ теперь: не снѣшила общественная жизнь, не для чего было снѣшить и умудренному опыту старцу.

Ужъ одно то обстоятельство, что вниманіе его, вмѣсто того чтобы поглощаться новыми фактами, привлекалось повторяющимися изо дня въ день, привычными, придавало сатирамъ его 80-хъ годовъ еще болѣе обобщающій характеръ. Сатирикъ еще болѣе чѣмъ прежде началъ постигать значеніе въ жизни мелочей, трагическое вліяніе ихъ на судьбу человѣка, въ болѣе степени фатально-неизбѣжное, чѣмъ крупныя катастрофы и титаническая борьба.

«Ахъ, эти мелочи! — восклицаетъ теперь сатирикъ, — какъ чесоточный зудень впиваются они въ организмъ человѣка и точатъ и жгутъ его. Сколько псевдоимпозантныхъ «союзныхъ» опутало человѣка со всѣхъ сторонъ... Сколько каждый индивидуумъ ухитрился придумать лично для себя всякихъ стѣсненій! И всему этому, и пришедшему извнѣ, и придуманному ради удовлетворенія личной мнительности, онъ обязывается послужить, т. е. отдать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ свободной минуты для плодотворнаго труда... Мелочи, мелочи, мелочи — заполнили всю жизнь!»

И вотъ Салтыковъ пишетъ рядъ скорбныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ *Мелочи жизни*, въ которыхъ показываетъ на людяхъ самыхъ разнородныхъ слоевъ общества, начиная съ великосвѣтскихъ питомцевъ привилегированныхъ заведеній и кончая мужикомъ и городскимъ пролетаріемъ, трагическое значеніе въ жизни мелочей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ творческая фантазія Салтыкова, неотвлекаемая конкретными фактами разныхъ злобъ дня, начинаетъ созерцать жизнь въ ея общихъ и существенныхъ элементахъ, присущихъ не одной русской жизни, а вполне общечеловѣческихъ. Результатомъ такихъ созерцаній и являются «Сказки», въ которыхъ Салтыковъ

выступает сатирикомъ не одной только русской современной жизни, а человѣческой жизни вообще въ ея вѣковомъ укладѣ и теченіи, и обнаруживаетъ такое глубокое знаніе человѣческаго сердца, которое ставитъ его на одномъ ряду съ самыми великими писателями Европы.

Сказки Салтыкова можно раздѣлить на три разряда. Однѣ изъ нихъ заключаютъ фабулы, взятая прямо изъ русской дѣйствительности безъ всякихъ приносокъ. Таковы: *Обманищикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель*, *Игрушечнаго дѣла людишки*, *Недреманное око*, *Дуракъ*, *Сосѣди*, *Деревенскій пожаръ*, *Повѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ*. Другія носятъ характеръ животнаго эпоса, басней; наконецъ двѣ сказки, — *Христова ночь* и *Рождественская сказка*, — переполнены религіознаго пафоса и представляютъ своего рода profession de foi автора. Эти двѣ сказки заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія, что составляютъ противоположный, полярный полюсъ относительно всѣхъ остальныхъ. Если-бы онѣ не были написаны, остальные сказки давали-бы поводъ предполагать, что Салтыковъ подъ конецъ жизни сдѣлался безнадежнымъ скептикомъ и пессимистомъ, утративъ всякую вѣру въ людей и въ возможность торжества правды когда-бы то ни было, и въ основѣ всей жизни поставилъ неумолимо жестокой законъ борьбы за существованіе, признавши его фатальную и жестокую неизбежность. Такъ напримѣръ возьмите вы хотя-бы такіа соображенія въ сказкѣ *Бѣдный волкъ*:

«Однако-жъ не по своей волѣ волкъ такъ жестокъ, а потому что комплекція у него каверзная; ничего онъ кромѣ мясного ѣсть не можетъ. А чтобы достать мясную пищу, онъ не можетъ иначе поступать, какъ живое существо жизни лишитъ. Однимъ словомъ, *обязывается* учинять злодѣйство, разбой.

«Нелегко ему пропитаніе его достается. Смерть-то вѣдь никому не сладка, а онъ именно только со смертию ко всякому лѣзетъ. Поэтому, кто поспѣетъ, самъ отъ него обороняется, а иного, который самъ защищаться не можетъ, другіе обороняютъ. Частенько-таки волкъ голодный ходитъ, да еще съ помятыми боками вдобавокъ. Сядетъ онъ въ ту пору, подниметъ рыло кверху и такъ пронзительно воетъ, что на версту кругомъ у всякой живой твари отъ страха да отъ тоски душа въ пятки уходитъ. А волчица его еще тоскливѣе подвываетъ, потому что у нея волчата, а накормитъ ихъ нечѣмъ.

«Нѣтъ того звѣря на свѣтѣ, который не ненавидѣлъ-бы волка, не проклиналъ-бы его. Стономъ стонетъ весь лѣсъ при его появленіи: «Проклятый волкъ! убійца! душегубъ!» И бѣжитъ онъ впередъ да впередъ, голову повернуть не смѣетъ, а въ догонку ему: «разбойникъ, живорѣзъ!» Уволокъ волкъ съ мѣсяцъ тому назадъ у бабы овцу—баба-то и о сию пору слезъ не осушила: «проклятый волкъ! душегубъ!» А у него съ тѣхъ поръ маковой росинки въ пасти не было: овцу-то сожралъ, а другую зарѣзать не пришлось... И баба воетъ, и онъ воетъ... Какъ тутъ разберешь?

«Говорить, что волкъ мужика обездоливаетъ; да вѣдь и мужикъ тоже обездоленъ, куда лютѣ бываетъ! И дубьемъ-то онъ его бьетъ, и изъ ружья въ него палитъ, и волчьи ямы роетъ, и капканы ставитъ, и облавы на него устраиваетъ. «Душегубъ, разбойникъ!» только и раздается про волка въ деревняхъ: «последнюю корову зарѣзалъ, остатнюю овцу уволокъ!» А чѣмъ онъ виноватъ, коли иначе ему прожить на свѣтѣ нельзя?

«И убьешь-то его, такъ проку отъ него нѣтъ. Мясо—несгодное, шкура—жесткая, не грѣетъ. Только и корысти-то, что пидоволь надъ нимъ, проклятымъ, потѣшишься да па пилю живьемъ подымешь: «пускай, гадина, капля по каплѣ кровью исходитъ!»

«Не может волкъ, не лишиа живота, на свѣтѣ прожить—вотъ въ чемъ бѣда! Но вѣдь онъ того не понимаетъ. Если его злодѣемъ зовутъ, такъ вѣдь и онъ зоветъ злодѣями тѣхъ, которые его преслѣдуютъ, убиваютъ, убиваютъ. Развѣ онъ понимаетъ, что своею жизнью другимъ жизнямъ вредъ наноситъ? Онъ думаетъ, что живеть—только и всего. Лошадь тяжело возитъ, корова даетъ молоко, овца—волну, а онъ—разбойничаетъ, убиваетъ. И лошадь, и корова, и овца, и волкъ—все живутъ, каждый по своему».

Та-же философія фатальности всеобщаго взаимнаго пожиранія еще болѣе ярко выставляется въ сказкѣ *Карась-идеалистъ*, который жестоко посрамляется со своими мечтами о томъ, что справедливость восторжествуетъ, сильные не будутъ тѣснить слабыхъ, богатые—бѣдныхъ, объявится такое общее дѣло, въ которомъ все рыбы свой интересъ будутъ имѣть и каждая свое дѣло будетъ дѣлать, и онъ такія слова знаетъ, что любая щука отъ нихъ въ одну минуту въ карася превратится. Въ отвѣтъ на все его мечты ершь окачиваетъ его холодной водой, развивая ту-же философію, какую мы видимъ въ *Бѣдномъ волкѣ*.

— Слушай, дурья порода! говорятъ онъ: ѣдятъ-то развѣ «за что»? Развѣ потому ѣдятъ, что казнить хотятъ? ѣдятъ потому, что ѣсть хочется, только и всего. И ты, чай, ѣшь: не по-пусту носомъ-то въ нѣтъ роешься, а ракушекъ вылавливаешь. Имъ, ракушкамъ, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамонъ съ утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую онѣ вину передъ тобой сдѣлали, что ты ихъ ежеминутно казнишь? Помнишь, какъ ты намеднишь говорилъ: «Вотъ кабы все рыбы между собою согласились!..» А что, если-бы ракушки между собой согласились—сладко-ли бы тебѣ, простофилю, тогда было?

«Вопросъ былъ такъ прямо и такъ непріятно поставленъ, что карась сконфузился и слегка покраснѣлъ.

— Но ракушки вѣдь это... пробормоталъ онъ смущенно.

— Ракушки—ракушки, а караси—караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями—щуки. И ракушки ни въ чемъ неповинны, и караси невиноваты, а и тѣ, и другіе должны отвѣтъ держать. Хотя сто лѣтъ объ этомъ думай, а ничего другого не придумаешь...»

И какъ-бы въ доказательство этой жестокой правды, карась былъ проглоченъ щукой, едва лишь произнесъ свое завѣтное слово: „Знаешь-ли ты, что такое добродѣтель?“

Совершенно противоположную философію содержатъ *Христова ночь* и *Рождественская сказка*. Здѣсь на-смѣну жестокой правды борьбы за существованіе и взаимной вражды является вѣковѣчная правда божественной любви, и авторъ проникается ею до глубины души. Такъ въ сказкѣ *Христова ночь* представляется пасхальная ночь. Послѣ тоскливаго сѣвернаго ландшафта, въ которомъ авторъ обращаетъ вниманіе на печать спротивности, заброшенности и убожества, лежащую и на застывшей равнинѣ, и на безмолвующемъ проселкѣ, обращаетъ вниманіе и на то, какъ все сковано, безпомощно и безмошно, словно задавлено невидимой, по грозной кабалой, онъ повѣствуетъ, какъ внезапно ошла окрестность при звонѣ колоколовъ и безчисленныхъ огней, озарившихъ шпиль церкви. По дорогѣ потянулись вереницы деревенскаго люда: впереди шли люди сѣрые, замученные жизнью и пищей; за ними поодаль слѣдовали въ праздничныхъ одеждахъ деревенскіе богачи, кулаки и прочіе властелины деревни. Но вскорѣ толпы утопили въ глубинѣ проселка, замеръ въ воздухѣ послѣд-

ній ударъ призывнаго благовѣста, и все опять торжественно смолкло. Глубокая тайна почуялась въ этомъ внезапномъ перерывѣ начавшагося движенія, какъ будто за наступившимъ молчаніемъ надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрожденіе. И точно: не успѣлъ еще заалѣть востокъ, какъ желаемое чудо совершилось. Воскресъ поруганный и распятый Богъ! воскресъ Богъ, къ Которому искони огорченныя и негодующія сердца вопіють: „Господи! Поспѣшай!“

Воскресшій Богъ сначала благословилъ землю и воды, звѣрей и птицъ и сказалъ имъ, что онъ принесъ весну, тепло и свѣтъ, что онъ напитаеъ и напоитъ птицъ и звѣрей и наполнитъ природу ликоваіемъ... „Вы не судимы, обратился онъ къ тварямъ, ибо выполняете лишь то, что вамъ дано отъ начала вѣка...“

Благословивши природу, Воскресшій обратился къ людямъ. Первыми вышли навстрѣчу къ Нему люди плачущіе, согбенные подъ нгомъ работы и загубленные нуждою. И когда Онъ сказалъ имъ: „миръ вамъ!“ — то они наполнили воздухъ рыданіями и пали ницъ, молчаливо прося объ избавленіи. И вотъ Онъ привѣтствовалъ ихъ за то, что они чистыми сердцами беззавѣтно увѣровали въ Него потому только, что проповѣдь Его заключаетъ въ себѣ правду, безъ которой вселенная представляетъ собою выѣстлище погубленія, адъ кроиѣшный. Люби Бога и люби ближняго, какъ самого себя—вотъ эта правда во всей ея ясности и простотѣ, и она наиболѣе доступна не богословамъ и начетчикамъ, а именно имъ, простымъ и удрученнымъ сердцамъ. Они вѣрятъ въ эту правду и ждутъ ея пришествія. И вотъ Спаситель возвѣстилъ имъ, что хотя никто не предвидитъ впередъ, когда пробьетъ ихъ часъ, но Онъ уже приближается. Пробьетъ этотъ желанный часъ, и явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма. И они свергнутъ съ себя нго тоски, горя и нужды, которое удручаетъ ихъ.

Затѣмъ, увидѣвши толпу богатѣевъ, міроѣдовъ, жестокихъ правителей, татей и т. п., Спаситель остановился и передъ ними, и порицая ихъ за то, что зло наполнило все содержаніе ихъ жизни, Онъ виѣстъ съ тѣмъ возвѣстилъ, что и передъ ними онъ открылъ путь ко спасенію. Этотъ путь—судъ ихъ собственной совѣсти. Она раскроетъ передъ ними прошлое ихъ во всей его наготѣ; оно вызоветъ тѣни погубленныхъ ими и поставитъ ихъ на стражѣ у изголовья ихъ. Скрежетъ зубовъный наполнитъ дома ихъ, жены не признаютъ мужей, дѣти—отцовъ. Но когда сердца ихъ засохнутъ отъ скорби и тоски, когда ихъ совѣсть переполнится, какъ чаша, не могущая виѣстити переполняющей ее горечи—тогда тѣни погубленныхъ примирятся съ ними и откроютъ имъ путь ко спасенію. Не будетъ тогда ни татей, ни душегубцевъ, ни издоямцевъ, ни ханжей, ни неправедныхъ властителей, и всѣ одинаково возвеселятся за общою трапезою обителя Его.

Наконецъ, Спаситель, увидя повѣсившагося въ отчаяніи предателя, повелѣлъ ему сойти съ дерева и, предавши проклятію, обрекъ его на вѣчное страпствіе. И ходитъ онъ доднесъ по землѣ, разсѣвая смуту, пзмѣну и рознь.

Такою-же философіею проникнута и *Рождественская сказка*. Философія эта, обнаруживая сокровенные идеалы Салтыкова, въ то-же время служитъ прекраснымъ противовѣсомъ тому ложному пониманію евангельскаго ученія, какое обнаруживали въ послѣднее десятилѣтіе нѣкоторые наши писатели. Здѣсь мы видимъ не проповѣдь мертваго застоя, рабскаго уничиженія и оправданія пассивнаго отношенія съ господ-

ствующему злу тою противоестественною теорією, будто страданіе очищаетъ нашу душу и посему каждый смертный безропотно долженъ переносить нго его. Напротивъ того, великое ученіе представляется здѣсь именно въ такомъ видѣ, какъ понимаетъ его народъ, а народъ понимаетъ его конечно лучше, чѣмъ всѣ наши суемудрые умники. И въ этой солидарности съ народомъ въ пониманіи ученія Христова заключается, между прочимъ, значеніе Салтыкова, какъ писателя постигнѣ народнаго.

*Писемскою стариною* заканчивается дѣятельность Салтыкова, и это было довершеніе исполнѣ достойное этой великой дѣятельности. Въ этомъ предсмертномъ произведеніи Салтыковъ словно будто очистился, отрѣшился отъ всѣхъ преходящихъ злобъ дня и суеты, и углубившись въ давно прошедшіе годы, въ величаво-спокойной, исполненной высоко-христіанской любви и гуманности эпопеѣ воспроизвелъ помѣщичій бытъ эпохи крѣпостного права, какъ до сихъ поръ никто еще его не воспроизводилъ. Эта полу-автобіографическая, полу-художественная хроника находитъ себѣ блѣдное подобіе развѣ что въ семейной хроникѣ С. Аксакова, но конечно у благодушнаго С. Аксакова вы не встрѣтите и тѣни ни того глубокаго проникновенія въ основы изображаемаго быта, ни того знанія человѣческаго сердца, ни той горькой и неліцепріятной правды.

---

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

I—Николай Герасимовичъ Помяловскій. Его дѣтство, воспитаніе и семинарскіе годы. II—Остальные годы его жизни. III—Характеристика его сочиненій: *Очерки бурсы*, *Мѣщанское счастье*, *Молотовъ*, *Братъ и сестра*, *Портчане*. IV— Возникновеніе идеалистической школы беллетристики *Русскаго слова*, причины ея развитія и особенности ея. Алексѣй Константиновичъ Шеллеръ. Главные факты его жизни. V — Характеристика его произведеній. VI—Прочіе представители этой школы: Павелъ Владиміровичъ Засодимскій. Николай Ѳедотовичъ Бажинъ. Игнатій Васильевичъ Ѳедоровъ Омулевскій). VII—Константинъ Михайловичъ Станюковичъ. Дмитрій Константиновичъ Гирсъ.

### I.

Изъ молодыхъ беллетристовъ-публицистовъ демократическаго лагеря первое мѣсто безспорно занимаетъ Николай Герасимовичъ Помяловскій. Онъ былъ петербуржецъ. Отецъ его, дьяконъ мало-охтенской кладбищенской церкви, былъ человекъ кроткій и гуманный, такъ что въ родительскомъ домѣ Помяловскій не испыталъ и тѣни деспотизма, и тѣмъ тяжеле было переносить ему иго бурсы. Родился онъ въ 1835 г. Первыми товарищами дѣтства его были охтяне, съ которыми онъ участвовалъ на разныхъ сходкахъ и играхъ. Близость рѣки и рыболовный промыселъ охтянъ рано развили въ Помяловскомъ любовь къ рыбной ловлѣ, которую онъ сохранилъ до смерти. Цѣлыми днями проводилъ онъ или на гонкахъ съ удочкой въ рукахъ, или на тоняхъ, толкуя съ пріятелями-рыболовами. Съ сверстниками онъ сходилъ мало и больше придерживался взрослыхъ. Мальчикъ онъ былъ здоровый, бойкій и смелый. Не мало вліяли на него кладбище, гробы, покойники, погребальныя шествія, цѣніе панихидъ, и конечно эти впечатлѣнія онъ былъ обязанъ своимъ мрачно-скептическимъ гамлетизмомъ, который онъ подъ кличкою „кладбищенство“ изобразилъ въ одномъ изъ героевъ своихъ, Череванинѣ.

Грамотѣ выучилъ Помяловскаго самъ отецъ. Потомъ онъ былъ отданъ въ какую-то дешевую школу на Охтѣ, по пробылъ въ ней не болѣе четырехъ мѣсяцевъ. Когда-же мальчику минуло восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ александровское духовное училище, и начались для него долгіе годы той каторги, какую онъ изобразилъ потомъ въ своихъ *Очеркахъ бурсы*. Особенное автобіографическое значеніе имѣетъ четвертый очеркъ *Бѣгуны и спасенные*, гдѣ подъ именемъ Караса авторъ изобразилъ



самого себя. По этому очерку можно судить, сколько мученій долженъ былъ перенести новичекъ въ первые дни своего пребыванія въ бурсѣ, когда товарищи старались обколотить его, запугать и превратить въ бурсака. Плохо пришлось-бы ребенку, если-бы за него не вступился и не принялъ его подъ свое покровительство нѣкій Силычъ, находившійся въ дружбѣ со старшимъ братомъ Помяловскаго. Подъ этой защитой Помяловскій могъ встать на ноги, оглядѣться и мало-по-малу самъ превратился въ бурсака. Крайне впечатлительный по природѣ, подъ гнетомъ этого вѣчнаго мордобитія и всеобщаго безначалія, онъ сдѣлался осмотрителемъ, недоувѣрчивъ и на каждого глядѣлъ, какъ на разбойника, могущаго придушить его. Учиться сталъ онъ плохо, и въ слѣдующемъ классѣ проспидѣлъ вмѣсто двухъ четыре года. Учителя сперва жестоко сѣкли его, а потомъ и сѣчь перестали. Всего Помяловскаго высѣкли въ бурсѣ, по его словамъ, четыреста разъ, такъ что впослѣдствіи онъ частенько задавалъ вопросъ: „пересѣченъ я или недосѣченъ?“ Кромѣ того ему чуть не каждый день приходилось стоять на колѣняхъ, быть безъ обѣда и пр. Но онъ мужественно выносилъ всѣ эти мученія, а учиться все-таки не сталъ. Съ поркой онъ потомъ свыкся, колѣнъ не жалѣлъ: „на этихъ мѣстахъ, говаривалъ онъ, у меня слоновая кожа выросла, потѣшайся, сколько хочешь, мнѣ все равно“, но одного наказанія выносить онъ не могъ — неувольненія въ городъ, съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ всегда субботняго дня, и начальство пользовалось этимъ средствомъ, чтобы заставить его учиться.

Восемь лѣтъ пробылъ Помяловскій въ училищѣ, и въ 1851 году перешелъ въ александровскую семинарію. Здѣсь онъ имѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ лучшую обстановку: и болѣе сносную одежду и столъ, и розги лишь въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ. Семинарская схоластика не особенно увлекала живого мальчика, зато тѣмъ болѣе пристрастился онъ къ чтенію, читая все, что ни попадалось подъ руки, начиная съ сонника и пѣсенника до романовъ Воскресенскаго включительно. Въ старшемъ классѣ былъ затѣянъ наиболѣе дѣльными товарищами рукописный журналъ, который назывался *Семинарскимъ Листкомъ* и выходилъ разъ въ недѣлю тетрадями отъ 3-хъ до 5-ти листовъ мелкаго письма. Большая часть статей въ *Листкѣ* принадлежала конечно Помяловскому, который помѣщалъ ихъ подъ псевдонимомъ „Тамбовскій Семинаристъ“. И уже тогда обнаружилась у него склонность къ широкимъ и всеобъемлющимъ планамъ. Такъ онъ рассчитывалъ, что *Листокъ* черезъ весь курсъ пройдетъ, что общими силами издатели выяснятъ идеалъ семинариста, узнаютъ свои силы, заведутъ корреспондентовъ во всѣхъ другихъ семинаріяхъ. Эти мечты оправдывались тѣмъ общимъ оживленіемъ, какое охватило весь классъ: товарищи выписали въ складчину газету, чтобы слѣдить за политикой; но почамъ устраивались домашніе театры, танцы, музыка и попойки. Но это продолжалось недолго. Произошла какая-то исторія, вслѣдствіе которой было исключено восемь человекъ лучшихъ и наиболѣе воспримчивыхъ товарищей. Прочіе упали духомъ; на всѣхъ нашла апатія. *Листокъ* тоже началъ падать и на 7-мъ выпускѣ прекратился. Въ этомъ выпускѣ Помяловскій помѣстилъ начало своего разсказа *Махиловъ*, который произвелъ огромное впечатлѣніе на классъ и обнаружилъ впервые въ авторѣ проблески весьма недюжиннаго таланта.

Въ 1857 году Помяловскій кончилъ курсъ семинаріи, ничего не выписавъ изъ

своего четырнадцатилѣтняго ученія кромѣ множества текстовъ, безсвязныхъ отрывковъ разныхъ наукъ, блужданія въ схоластически-мистическихъ умствованіяхъ, мрачнаго озлобленія и ожесточенія послѣ всѣхъ перенесенныхъ истязаній и несправедливостей и губельной привычки къ вину. По окончаніи курса онъ поселился у матери и принялся за обученіе своего маленькаго брата. „Самъ погибъ“, говорилъ онъ, „но брату погибнуть не дамъ и въ бурсу не пушу! Я расскажу ему все, до чего додумался: человѣкомъ можетъ быть сдѣлаю!“ Съ жаромъ ухватился онъ за эту мысль, сталъ читать педагогическія сочиненія, ломая голову надъ разными теоріями воспитанія; пересматривая критически разные учебники и не видя въ нихъ настоящаго смысла, онъ дошелъ до того, что началъ самъ писать учебникъ географіи, и написалъ по этому предмету до десяти листовъ. Въ свободное время онъ поглощалъ всевозможные книги и журналы, занимался частными уроками, участвовалъ въ хорѣ любителей въ Симеоновской церкви, ѣздилъ съ причтомъ о рождествѣ и о пасхѣ слышать Христа, читалъ съ дьячками по покойникамъ и проч.

Между прочимъ написалъ онъ въ то-же время и нѣсколько педагогическихъ статейъ и беллетристическихъ очерковъ. Одинъ изъ такихъ очерковъ *Вуколъ* онъ снесъ въ редакцію *Журнала для воспитанія* Чумикова. Очеркъ былъ не только напечатанъ подъ псевдонимомъ Герасимова, но Чумиковъ пригласилъ Помяловскаго быть сотрудникомъ журнала. Поощренный успѣхомъ, Помяловскій вскорѣ напечаталъ и другой свой очеркъ *Долбня*, но онъ не жаловалъ этого очерка, считалъ его неудавшимся.

## II.

Такъ прошло два года съ окончанія курса, а Помяловскій все еще оставался безъ мѣста. Родственники, не придававшіе значенія его литературнымъ занятіямъ, уговаривали его пристроиться хоть на дьяконское мѣсто, чтобы имѣть возможность поддерживать семейство. Помяловскій не выразилъ особенно энергическаго протеста, и родные отыскиали ему невѣсту съ дьяконскимъ мѣстомъ, но невѣста, прослыхавъ, что женихъ иногда попиваетъ, отказала ему. Ему отыскиали другую невѣсту въ Царскомъ Селѣ и уговорили отправиться на смотрины. Жениха снарядили въ дорогу, одѣли его во фракъ и отправили къ царкосельскому вокзалу, но съ половины дороги онъ сбѣжалъ. Невѣста подождала его нѣсколько времени, и дала слово другому. Послѣ этого его болѣе не тревожили. Да и самъ онъ съ каждымъ днемъ чувствовалъ менѣе и менѣе призванія къ духовному званію. И къ тому-же умственное развитіе его дѣлало большіе и большіе успѣхи, направляя его совсѣмъ въ другую сторону. Проводя дни и ночи за книгами, съ особеннымъ вниманіемъ читалъ онъ *Современникъ*, каждой книжки ожидая какъ праздника. Статьи Чернышевскаго и Добролюбова онъ перечитывалъ по нѣскольку разъ, вдумываясь въ каждую фразу, но особенно сильнымъ толчкомъ въ своемъ развитіи онъ былъ обязанъ университету. Это было именно такое время, когда весь Петербургъ ломился въ двери университета и наполнялъ его аудиторіи. Общимъ теченіемъ былъ увлеченъ и Помяловскій и пошелъ въ университетъ послушать. Попалъ онъ на лекцію Стасюлевича, когда тотъ читалъ о значеніи биб-

лейскихъ пророковъ въ исторіи развитія человѣчества. Какъ шальной верпудся онъ съ лекціи. Наплывъ новыхъ свѣдѣній, новыя мысли, свѣжіи свободный говоръ университетской молодежи, все это глубоко потрясло чуткую натуру Помяловскаго, и онъ сдѣлался ревностнымъ посѣтителемъ университета. Въ эти дни онъ ходилъ, какъ полуномѣшавный, не ѣлъ, не спалъ, — борьба въ головѣ началась страшная. Отъ этой борьбы онъ исхудалъ, ослабѣлъ, его никто не могъ узпаты. Съ большимъ рвеніемъ принялся онъ поглощать книги, съ цѣлью разуръшить во что-бы то ни стало проклятыя сомнѣнія, но нелегко было отдѣлаться ему отъ мистцизма, глубоко вифдрпвагося въ немъ долгими годами семинарскаго воспитанія. Приходилось разбивать пунктъ за пунктомъ каждую сторону этой мистикп, и каждая мысль отрывалась съ болью послѣ жестокой, усиленной борьбы. Зато, когда борьба совершилась и новыя пдеи одолѣли, съ жаромъ кинулся Помяловскій въ водоворотъ общественнаго движенія, которое было въ то время въ самомъ разгарѣ. Въ октябрѣ 1860 года съ компаніей студентовъ-пріятелей поступилъ онъ преподавателемъ въ воскресную школу на Шлссельбургской дорогѣ, причемъ по своей увлекающейся натурѣ не замедлилъ весь уйти въ это дѣло, и подобно тому, какъ при изданіи семинарскаго *Листка*, и теперь началъ онъ строити самыя широкіе планы. Онъ мечталъ, что всѣ воскресныя школы соединятся между собою, заведутъ отдѣльный листокъ, гдѣ будутъ печататься болѣе замѣчательныя факты, пріемы преподаванія, статистическія и этнографическія свѣдѣнія; наконецъ будутъ издаваться отдѣльныя брошюры, разныя практическія компіляціи изъ болѣе полезныхъ и интересныхъ для народа книгъ, изъ которыхъ составитя потомъ народная библіотека и проч.

Оригинальный методъ преподаванія Помяловскаго обратилъ на себя вниманіе Тимаева, наблюдавшаго за преподавателемъ въ школѣ по порученію попечителя учебнаго округа. Тимаевъ познакомилъ его съ инспекторомъ Смольнаго института Ушинскимъ, и тотъ предложилъ ему уроки въ институтѣ. Назначена была пробная лекція. Помяловскій прочелъ ее удачно, причемъ требовалъ, чтобы воспитанницы не пиѣли при себѣ экземпляровъ *Дѣтскаго Мира*, а разсказывали прочитанное изъ этой книги со словъ учителя. Но придя на слѣдующій урокъ, онъ увидѣлъ, что книги розданы воспитанницамъ на руки, и они вызубрили урокъ слово въ слово. Помяловскій повторилъ свое распоряженіе; на третьей лекціи — опять то-же самое. Говорилъ онъ объ этомъ Ушинскому, — не помогло, и Помяловскій больше на лекцію не пошелъ, несмотря на то, что плата за урокъ ему обѣщана была хорошая, а онъ нуждался въ то время до того, что приходилось зарабатывать деньги перепискою.

Это бѣдственное матеріальное положеніе прекратилось лишь съ появленіемъ въ февральской книжкѣ *Современника* 1861 года *Мыцанскаго счастья*. Произведение это, обративъ на себя вниманіе публики и критики въ лицѣ Д. И. Писарева, посвятившаго ему одну изъ самыхъ блестящихъ своихъ статей *Романъ кисейной барышни*, сразу выдвинуло Помяловскаго въ рядъ лучшихъ беллетристовъ своего времени. Онъ познакомился съ Чернышевскимъ и прочими членами редакціи, пріобрѣлъ много и другихъ постороннихъ литературныхъ знакомствъ, его хвалили, льстили ему въ глаза. Къ сожалѣнію, получивши за повѣсть такія деньги, какихъ у него до того времени никогда не было въ рукахъ, Помяловскій съ толпою пріятелей съ радости закутилъ до бѣлой скамичевскій.

горячки и долженъ былъ поступить въ Обуховскую больницу, гдѣ, пролежавъ около мѣсяца, началъ писать повѣсть *Молотовъ*, которая была напечатана въ октябрьской книжкѣ *Современника* за 1861 годъ. Повѣсть эта довершила извѣстность и репутацію автора. Онъ завелъ обширный кругъ знакомства; всѣ редакціи непрерывно приглашали его къ себѣ; ему пришлось даже побывать въ нѣкоторыхъ великосвѣтскихъ гостиницахъ, отъ которыхъ впрочемъ онъ скоро отшатнулся по своей слишкомъ несвѣтской и мрачной бурсацкой натурѣ.

Матеріальное положеніе его въ свою очередь значительно улучшилось. Онъ сталъ получать опредѣленное денежное обезпеченіе отъ редакціи *Современника*; впрочемъ это не избавило его отъ нужды: онъ мало дорожилъ деньгами и не зналъ имъ цѣны. Получивъ гонораръ, онъ торопился скорѣе изтратить его; давалъ нищимъ по пяти рублей, извозчикамъ по три; подвернется пріятель, — хоть все бери, а потомъ самъ идетъ доставать рубльшико въ долгъ. Сойдясь болѣе или менѣе близко съ массою пишущей братіи, онъ и здѣсь не замедлилъ проявить свою организаторскую жилку, неоднократно сказывавшуюся въ немъ въ созданіи широкихъ замысловъ. Такъ онъ проповѣдывалъ идею общиннаго литературнаго труда, мечталъ организовать общество писателей для изслѣдованія разныхъ сторонъ общественнаго быта. „Я, говорилъ онъ, напримѣръ возьму на свою долю всѣхъ петербургскихъ пищиковъ, буду изучать ихъ бытъ, привычки, языкъ, побужденія къ ремеслу и все это описывать въ точныхъ картинахъ; другой возьметъ мелочныя лавочки для такихъ-же изученій, третій — пожарную команду и т. д. Всѣ добытыя свѣдѣнія будемъ помѣщать въ особомъ, реальномъ журналѣ, устроенномъ на общихъ началахъ, и изъ этихъ свѣдѣній, взятыхъ цѣлкомъ изъ жизни, впоследствии явится довольно полная картина нашего петербургскаго быта“. Сочувствіе къ этому проекту Помяловскій встрѣтилъ во многихъ, но далѣе этого сочувствія дѣло не пошло.

Вообще въ послѣдніе два года своей жизни, какъ-бы предчувствуя свою близкую смерть, онъ обнаруживалъ необычайную энергію въ самой разпородной дѣятельности: онъ брался за все, посѣщалъ публичныя лекціи, участвовалъ въ литературныхъ чтеніяхъ, ѣздилъ по прежнему въ воскресную школу, гдѣ одно время былъ даже распорядителемъ по педагогической части, спорилъ въ комитетѣ воскресныхъ школъ, принималъ участіе въ составленіи букваря для этихъ школъ и пр. Онъ даже пробовалъ быть крпикомъ, и по смерти Добролюбова принялся было по предложенію редакціи *Современника* за разборъ романа Ахшарумова *Чужое имя*, но не кончилъ этого разбора.

Въ то-же время не съ меньшей энергіею занимался онъ своими беллетристическими работами, обезсмертившими его имя. Такъ втеченіе тѣхъ-же двухъ лѣтъ онъ написалъ всѣ свои знаменитыя *Очерки бурсы*, *Портчане*, обдумывалъ и набросалъ нѣсколько сюжетъ большого романа *Братъ и Сестра*. Пережитый имъ въ жизни романъ натолкнулъ его на планъ новаго романа *Каникулы* или *Гражданскій бракъ*, въ которомъ онъ намѣревался изобразить невинную, нѣсколько экзальтированную дѣвушку, попавшую въ общество людей вродѣ Ситниковыхъ и Кукшиныхъ. Эти люди отуманили ее напыщенными фразами, не давъ никакого положительнаго понятія о жизни и соблазнили ее вступить въ такъ называемый гражданскій бракъ. Помяловскій былъ намѣренъ

показать тотъ грязный цинизмъ, какой прикрывали эти мнимые прогрессисты своими громкими фразами.

— „На насъ клеветаютъ, говорилъ онъ, и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого поколения сняли то щитно, которое кладутъ на него эти лица. Всякая сила вызываетъ непремѣнно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судить объ оригиналахъ и пріобрѣтаетъ недовѣрчивость къ нимъ. Надо доказать имъ, что они не—наши, что наши стремленія—не тѣ. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что она—дѣло чести нашей“.

Но и этимъ всѣмъ не ограничивались литературные замыслы Помяловскаго. Такъ во цѣлымъ недѣлямъ пролежалъ онъ отъ родныхъ и знакомыхъ, проживая гдѣ-то на Сѣнной, въ самомъ центрѣ петербургскихъ трущобъ, въ какихъ-то отвратительныхъ катакомбахъ, съ нищими, при одномъ разсказѣ о которыхъ ужасъ бралъ его пріятелей. Онъ знакомился и кутилъ съ этими лицами, изучалъ ихъ съ психологической точки зрѣнія, испытывалъ ихъ прошлое, попадалъ вмѣстѣ съ пріятелями даже на съѣзжую.

— Зато, говорилъ онъ, такими пейзажами я до того укрѣпилъ свои нервы, что могу спокойно смотрѣть на самый отвратительный цинизмъ и анализировать его. Это, братъ, очень поучительно. Вотъ ужъ я выставлю эти картинки на показъ нашему обществу,— пусть полюбуются.

И онъ задумывалъ написать романъ, въ которомъ предполагалъ изобразить свои наблюденія надъ подопками петербургскаго населенія.

Но дни его были сочтены. Удивительно, какъ онъ могъ обнаруживать такую энергическую дѣятельность среди почти безпробуднаго запоя. Надо замѣтить при этомъ, что пьянство его носило самый мрачный характеръ. Вино нисколько не веселило его и не разсѣвало той гнетущей тоски, которою былъ пренесполненъ этотъ надломленный и ожесточенный человекъ. „Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями, по словамъ біографа его Н. А. Благовѣщенскаго, выражалось его опьяненіе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало начнетъ онъ будто нарочно представлять передъ собою непріятныя для него личности и припоминаетъ все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбиралъ эти призраки, призывалъ на нихъ всевозможныя проклятія, сплплся вѣрить, что они рано или поздно будутъ отомщены...“

— Проклятые! шепчетъ онъ бывало, задыхаясь отъ злости. Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мои надежды! — И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала; онъ готовъ былъ сейчасъ-же бѣжать и мстить... Тяжело было глядѣть на эти страданія, на эти холодныя, нелегко выдавливаемые слезы ..“

При такой жизни, представлявшейся горящею въ двухъ концахъ свѣчкой, силы Помяловскаго были настолько надломлены, что достаточно было ничтожнаго повода для смертнаго исхода. Такъ въ сентябрѣ 1863 г. послѣ сильнаго припадка delirium tremens, продолжавшагося нѣсколько дней, у него открылась какая-то опухоль и

затѣмъ образовался нарывъ, по вскрытіи котораго въ клиникѣ медико-хирургической академіи, обнаружилась гангрена, и 5-го октября 1863 года его не стало.

### III.

Преждевременная смерть Помяловскаго была по-истинѣ невознаградимою потерей въ русской литературѣ, такъ какъ, не боясь впасть въ преувеличеніе, мы можемъ смѣло сказать, что она измѣнила дальнѣйшее развитіе беллетристики изъ интеллигентнаго быта. Въ лицѣ Помяловскаго литература наша потеряла крупный талантъ, который не замедлилъ-бы наложить печать могучаго вліянія на эту отрасль беллетристики и дать ей направленіе болѣе правильное, чѣмъ то, какое она вскорѣ послѣ его смерти приняла.

Когда говорятъ о Помяловскомъ, то на первый планъ ставятъ его *Очерки бурсы*, и было время, когда его иначе и не называли, какъ авторомъ *Очерковъ бурсы*. Но считать эти очерки шедевромъ Помяловскаго и полагать въ нихъ главное его литературное достоинство неправильно. Это заблужденіе произошло отъ того, что очерки произвели на общество такое потрясающее впечатлѣніе крупнаго скандала, что отодвинули на второй планъ всѣ прочія произведенія Помяловскаго. И дѣйствительно, чтобы понять сенсацию ихъ, нужно только взять въ соображеніе, что они явились въ самый разгаръ общественнаго движенія, когда рядомъ со всѣми прочими вопросами на первый планъ былъ поставленъ вопросъ педагогическій, когда рушилась вся цѣлкомъ старая система воспитанія, основанная на оупляющей долбнѣ и деморализующихъ тѣлесныхъ истязаніяхъ, когда вмѣстѣ съ гимназіями преобразовывались и корпуса, и институты. И вдругъ молодой беллетристъ, самъ прошедшій всю каторгу семинарскаго курса, въ рядѣ картинъ, при всей сжатости исполненныхъ яркихъ, поразительныхъ красокъ и неотразимаго реализма, раскрылъ передъ обществомъ ту горькую истину, что сословіе, которое по самому своему призванію должно было подавать примѣръ христіанскаго смиренія, кротости и любви по отношенію къ малымъ, ихъ-же царствіе небесное, напротивъ того далеко превзошло въ безчеловѣчной жестокости и черствости всѣхъ гражданскихъ педагоговъ дореформенной эпохи. И къ тому-же дѣло шло здѣсь не о какой-нибудь провинціальной глуши, а объ учебныхъ заведеніяхъ, находящихся у всѣхъ на виду въ столицѣ. Понятно, что очерки произвели впечатлѣніе бомбы, внезапно упавшей среди смятенной толпы. Тѣмъ не менѣе главное литературное значеніе Помяловскаго заключается все-таки не въ нихъ, а въ прочихъ произведеніяхъ его.

Таковы повѣсти *Мѣщанское счастье* и *Молотовъ*. Въ этихъ повѣстяхъ впервые выступилъ передъ нами тотъ новый, только что народившійся герой времени, который явился на сцену всѣмъ прежнимъ героямъ и отличался отъ нихъ тѣмъ, что въ то время, какъ прежніе—Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Бельтовъ и прочіе,—носили въ себѣ черты барскаго происхожденія, новый герой олицетворялъ въ себѣ ту мѣщанскую, разночинскую среду, изъ которой онъ вышелъ. Такимъ и является передъ нами Молотовъ въ обоихъ названныхъ романахъ. Но этого мало однако, что герой этотъ впервые появился въ повѣстяхъ Помяловскаго, за два года до Назарова и типовъ

романа *Что дѣлать*, но никогда потомъ не изображался онъ съ такимъ живымъ чутіемъ его сущности, съ такимъ глубокимъ пониманіемъ, съ такою трезвою и неприхотливою правдою. Впослѣдствіи беллетристика наша раздвоилась въ пониманіи этого типа, и въ то время какъ писатели одного лагеря начали топтать его въ грязь, другіе напротивъ того идеализировали и расписывали самыми радужными красками. Даже Тургеневу своего Базарова удалось какъ-то сразу и возвысить, и унизить паче мѣры.

Молотовъ является единственнымъ воплощеніемъ реальнымъ и ни въ какую сторону не утрированнымъ мыслящимъ пролетаріемъ-разночинцемъ шестидесятыхъ годовъ. Авторъ не скрылъ его истинныхъ достоинствъ въ видѣ выносливости въ борьбѣ съ нищетою и всякими невзгодами жизни и несокрушимой энергіи и стойкости въ стремленіи выбиться въ люди и завоевать хоть сколько-нибудь прочное и независимое положеніе. Но не скрылъ онъ и недостатковъ новаго героя, являющихся результатами вліянія среды и общественного положенія его, каковы — щепетильная плебейская гордость, обнаруживающаяся то въ видѣ застенчивости, замкнутости и недоверія къ людямъ, то напускной развязности и чрезмѣрной грубости; преждевременная разсудочность, расхолаживающая молодые горячіе порывы и придающая юношѣ видъ резонпружущаго старца, что въ особенности обнаружилось въ Молотовѣ въ той черствости, съ какою онъ отнесся къ любви кисейной барышни; наконецъ, какъ результатъ усталости послѣ длиннаго ряда годовъ, исполненныхъ тяжелой борьбы, мы видимъ въ Молотовѣ стремленіе отдохнуть подъ мирнымъ кровомъ мѣщанскаго счастья, признавши въ себѣ единственное призваніе *честно наслаждаться жизнью*, — результатъ, заставившій Помяловскаго воскликнуть въ концѣ повѣсти: „Эхъ, господа, что-то скучно!...“

Рядомъ съ Молотовымъ парадипруетъ Череванпнъ, и въ этомъ типѣ авторъ вывелъ тотъ второй элементъ разночинства, который онъ носилъ въ себѣ рядомъ съ молотовскимъ. Писатели наши, выводившіе героевъ времени, обыкновенно какъ-бы раздвигались въ своихъ произведеніяхъ, олицетворяя свою среду и время въ двухъ противоположныхъ типахъ, элементы которыхъ лежали въ самой натурѣ творцовъ. Такъ Ленскій стоитъ рядомъ съ Онѣгиннымъ, Круциферскій съ Бельтовымъ, Грушницкій съ Печоринымъ, Обломовъ съ Штольцемъ. Также относится и Череванпнъ къ Молотову. Въ противоположность активной жизнерадостности послѣдняго Череванпнъ съ его мрачнымъ кладбищенствомъ представляется олицетвореніемъ пассивнаго гамлетизма. Это тотъ самый бѣсъ развѣдающаго анализа, который мѣшалъ Помяловскому отдаться подобно Молотову непосредственно влеченіямъ жизни и подтачивалъ его силы, заставляя въ концѣ концовъ мучительную тоску, навѣваемую его кладбищенскими внушеніями.

Если приложить во вниманіе тѣ отрывки изъ задуманнаго романа *Братъ и сестра*, какіе дошли до насъ, исполненные такой-же трезвой правды и столь-же глубокаго анализа, то намъ стапетъ совершенно понятенъ тотъ незамѣтный пробѣлъ, какою образовался въ нашей литературѣ вслѣдствіе преждевременной смерти Помяловскаго. Это былъ единственный въ то время талантъ, который обладалъ всѣми свойствами для того, чтобы изобразить рядъ современныхъ новыхъ типовъ въ истинномъ ихъ свѣтѣ

и въ безпристрастной, трезвой правдѣ, и нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ увлекъ-бы за собою на этотъ путь всѣхъ молодыхъ беллетристовъ. Съ утратой этой силы беллетристика не была въ состояніи удержаться на этомъ пути, и какъ мы уже сказали, ударила съ одной стороны въ идеализацію, съ другой — въ каррикатурность, и за исключеніемъ одного только Рязанова въ *Трудномъ времени* А. Слѣпцова, люди шестидесятыхъ годовъ остались безъ такихъ современныхъ имъ портретовъ, которые были-бы вполне на нихъ похожи.

Многознаменательнъ въ этомъ отношеніи и тотъ планъ романа *Гражданскій бракъ*, который былъ созданъ Помяловскимъ передъ смертью. Мысль отдѣлать пшеницу отъ плевелъ и рядомъ съ истинными поборниками прогресса разоблачить пустозвонныхъ фразеровъ и растленныхъ баричей, прикрывавшихъ глубокую деморализацію подъ блестящею внѣшностью передовыхъ идей, — была безспорно блестящая мысль, исполненіе которой представляло насущную потребность того момента, и конечно не въ примѣръ было-бы плодотворнѣе, если-бы за олицетвореніе этой мысли принялся писатель прогрессивнаго лагеря и къ тому-же обладавшій талантомъ, преисполненнымъ такого трезваго реализма, какъ Помяловскій. Но смерть помѣшала ему исполнить это важное дѣло, и за него принялись писатели враждебныхъ лагерей, смѣшавшихъ пшеницу съ пшеницею безразлично въ одну кашу и начавшихъ забрасывать грязью всѣхъ передовыхъ людей безразлично.

Въ заключеніе слѣдуетъ обратить вниманіе еще на одинъ рассказъ, правда, незаконченный, но въ свою очередь свидѣтельствующій о весьма крупномъ талантѣ Помяловскаго — именно *Портчане*, изображающій бытъ и нравы охтянъ. Помяловскій, какъ мы видѣли изъ его біографіи, никогда не былъ въ деревнѣ и народа не изучалъ; тѣмъ не менѣе такой это былъ могучій талантъ, что и въ пригородныхъ охтянахъ онъ съумѣлъ прозрѣть тѣ чисто народныя черты и тотъ духъ, какой присущъ всѣмъ русскимъ людямъ безъ исключенія, и рассказъ Помяловскаго производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы читаете какую-то былинку. Такимъ образомъ, нѣтъ сомнѣнія, что и беллетристика народнаго быта утратила въ лицѣ Помяловскаго одного изъ своихъ крупнѣйшихъ представителей.

#### IV.

Главная причина того, что публицистическая беллетристика демократическаго лагеря въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сошла съ реальнаго пути и ударила въ идеализацію, заключалась въ томъ индивидуальномъ-нравственномъ характерѣ, который какъ мы уже неоднократно говорили, приняло общественное движеніе тотчасъ же по совершеніи главныхъ реформъ, когда вниманіе общества перестало исключительно поглощаться политическими и реформаціонными вопросами.

Вмѣсто того, чтобы заниматься главнымъ образомъ изслѣдованіемъ существовавшихъ общихъ условій и порядковъ жизни, на первый планъ начали ставить личное поведеніе отдѣльнаго индивидуума, умственное и нравственное содержаніе его, сообразно которому пыллыггентные люди раздѣлились на два чисто философо-моральные лагеря, — стараго и молодого поколѣнія. Подъ новыми людьми начали подразумѣвать



не просто только приверженцевъ новыхъ идей, а осуществителей въ личной жизни новыхъ нравственныхъ идеаловъ, и въ то время Чернышевскій представлялъ образцы этихъ новыхъ идеаловъ въ герояхъ своего романа *Что дѣлать*, Писаревъ же въ свою очередь началъ пропагандировать своихъ трезвыхъ реалистовъ въ образѣ Базарова.

Вотъ подъ вліяніемъ этого индивидуально-нравственного броженія, и преимущественно статей Писарева, и образовалась группа молодыхъ беллетристовъ - идеалистовъ, подвизавшаяся преимущественно на страницахъ сначала *Русскаго Слова*, потомъ *Дѣла*. Во всѣхъ ихъ произведеніяхъ, романахъ, повѣстяхъ, этюдахъ и очеркахъ вы найдете одно и то-же міровоззрѣніе: населеніе всего земного шара раздѣляется у нихъ рѣзкою демаркаціонною линіей на двѣ половины: съ одной стороны рисуется передъ вами тонущій въ глубокомъ и грубомъ невѣжествѣ задавленный и ограбленный народъ, съ другой — парадируетъ эксплоатирующее народъ всякаго рода филлистерство, начиная съ растленного барства и кончая буржуазією и кулачествомъ. Въ сторонѣ отъ этихъ двухъ враждебныхъ элементовъ стоятъ доблестные поспителі новыхъ идей, воплощенные идеалы, призванные для спасти народъ изъ когтей филлистеровъ, или погибнуть. При этомъ одни изъ беллетристовъ, согласно съ Писаревымъ, полагали, что воплощенные идеалы образуются исключительно путемъ умственного развитія и изученія естественныхъ наукъ; другіе-же считали ихъ избранными натурами, отъ самаго рожденія какъ-бы predeterminedъ быть носителями новыхъ идей, а потому съ самыхъ первыхъ шаговъ рѣзко выдѣлявшимися отъ всѣхъ окружавшихъ ихъ обыкновенныхъ смертныхъ. Одни, вполне вѣрные романтическимъ традиціямъ, думали, что пользоваться благосостояніемъ и наслаждаться счастьемъ могутъ одни филлистеры, избранныя-же натуры и поспителі идеаловъ непремѣнно должны терпѣть, страдать и гибнуть въ неравной борьбѣ, и это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока просвѣщеніе не разольется въ массы и избранныя натуры не будутъ такимъ рѣдкимъ изолированнымъ явленіемъ, какъ пылъ, а сдѣлаются сплоченною силою. Другіе-же, опять-таки согласно отчасти съ Писаревымъ, отчасти съ Чернышевскимъ, думали напротивъ того, что и избранные люди имѣютъ право наслаждаться жизнью; они только должны смѣло прервать со всѣми предразсудками, сплотиться въ дружный союзъ, изолироваться отъ непросвѣщенныхъ филлистеровъ и преподать пошлой толпѣ внушительные примѣры истиннаго и разумнаго счастья.

Наиболѣе и выдающіеся по своему таланту, и плодовитымъ представителямъ этой беллетристической школы является Александръ Константиновичъ Шеллеръ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ А. Михайлова.

А. К. Шеллеръ родился 30-го іюня 1838 года въ С.-Петербургѣ. Отецъ его былъ эстонецъ изъ Аренсбурга; съ дѣтства попавшій въ столицу, онъ воспитывался въ театральномъ училищѣ и былъ камеръ-музыкантомъ при Императорскихъ театрахъ. Самъ будучи человекомъ образованнымъ, онъ позаботился и сыну дать основательное образованіе. А. К. Шеллеръ воспитывался сначала дома, подъ надзоромъ вѣжно-любимой матери, потомъ кончилъ курсъ въ Анненской школѣ, и въ 1857 году поступилъ вольнослушателемъ въ с.-петербургскій университетъ, гдѣ и оставался до осени 1861 года, т. е. до закрытія университета. Во время университетскаго курса Шел-

леръ около года провелъ за границею въ качествѣ домашняго секретаря графа Ө. М. Апраксина, и этимъ временемъ онъ воспользовался для пополненія и усовершенствованія своего образованія.

По выходѣ изъ университета Шеллеръ заплатилъ дань всеобщему увлеченію того времени педагогіей и основалъ замѣчательную по своему устройству школу для бѣдныхъ дѣтей, въ которой дѣти учились за ничтожную плату,—90 копѣекъ въ мѣсяцъ. Учениковъ набралось до сотни, и школа успѣшно существовала до конца 1863 года, когда вмѣстѣ съ наступившимъ поворотомъ въ правительственныхъ сферахъ, ознаменовавшимся прежде всего закрытіемъ воскресныхъ школъ, учебное начальство отнеслось недовѣрчиво и къ школѣ Шеллера,—она должна была видоизмѣниться и утратила свой первоначальный строй.

1863—64 гг. Шеллеръ провелъ за-границей, тщательно заботясь о пополненіи своего образованія и занимаясь изученіемъ тѣхъ соціальныхъ вопросовъ, которые въ то время занимали всѣ передовые умы. Писать онъ началъ очень рано. Первые стихи были имъ написаны еще отрокомъ. Въ печати-же появился онъ впервые въ 1863 году, когда въ октябрьской книжкѣ *Современника* были напечатаны четыре его стихотворенія. Затѣмъ въ *Современникѣ*-же въ 1864 г. былъ напечатанъ первый романъ его *Гнилыя болота*, обратившій на себя общее вниманіе и доставившій ему извѣстность. Въ 1865 году появился въ *Современникѣ* второй романъ *Жизнь Пупова*, и хотя романъ этотъ менѣе понравился публикѣ и обнаружилъ вполнѣ тѣ недостатки, какіе свойственны всѣмъ произведеніямъ Шеллера, тѣмъ не менѣе извѣстность его была окончательно упрочена. Онъ былъ приглашенъ къ участію въ *Русскомъ Словѣ* въ качествѣ редактора по иностранному отдѣлу; а послѣ закрытія *Русскаго Слова* принялъ на себя общую редакцію *Дня* и посвятилъ этому журналу лучшіе годы своей жизни до октября 1877 года. Въ этотъ-же самый періодъ Шеллеръ временно принималъ участіе въ редактированіи *Недѣли*, послѣ того какъ этотъ журналъ перешелъ отъ кружка *Отечественныхъ Записокъ* въ руки г-жи Конради. Здѣсь между прочимъ были помѣщены его очерки подъ общимъ названіемъ: *Пролетаріатъ во Франціи*, изданные впоследствии отдѣльной книгой. Съ 1877 года Шеллеръ принялъ на себя редактированіе *Живописнаго Обозрѣнія*, чѣмъ онъ занимается и понынѣ.

Эти редакторскія работы не мѣшали ему выпускать одинъ романъ за другимъ. Таковы были: *Въ разбродѣ*, *Господа Обносковы*, *Старыя инѣзда*, *Хлѣба и зрѣлицъ*, *Безпечальное житіе*, *Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ*, *Чужіе грѣхи*, *Надъ обрывомъ*, *И молотомъ, и золотомъ*, *Пророкъ*, *На разныхъ берегахъ*, *Мужъ и жена*, *Первая любовь*, *Голь*, *Лыжины* и т. д.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Шеллеръ не переставалъ заниматься вопросами соціальными и педагогическими, и результатами этихъ занятій былъ цѣлый рядъ публицистическихъ и историческихъ статей, каковы: *Ассоціаціи во Франціи, Германіи и Англіи*, *Образованіе въ Европѣ и Америкѣ*, *Наши дѣти*, (всѣ эти статьи помѣщены были въ *Днь*), *Смутное время анабаптизма* (*Русская Мысль* 1886) и *Секты въ Америкѣ* (*Живописное Обозрѣніе* 1885 г.). Неоконченнымъ по независящимъ отъ автора причинамъ остался трудъ его *Народное образованіе въ Россіи*, дове-

денный до 1812 года. Но главнымъ трудомъ, которому Шеллеръ и теперь еще постоянно посвящаетъ всѣ свои досуги, слѣдуетъ считать *Исторію коммунизма*, надъ которою онъ работаетъ уже много лѣтъ сряду, предполагая издать его въ трехъ объемахъ томахъ.

Наконецъ никогда не оставлялъ онъ и стихотворныхъ работъ, причемъ хотя онъ и не обнаружилъ особенно сильнаго и оригинальнаго таланта, во всякомъ случаѣ многія изъ его произведеній не лишены поэтичности и общественнаго смысла. Особенно полезенъ онъ, какъ хорошій переводчикъ западныхъ поэтовъ, причемъ любимѣйшимъ поэтомъ его, изъ котораго онъ болѣе всего переводилъ, былъ венгерскій поэтъ Петефи.

## V.

Романы Шеллера, при всемъ честномъ и безкорыстномъ увлеченіи автора передовыми идеями своего вѣка и безукоризненно прогрессивномъ содержаніи, носятъ одинъ существенный недостатокъ, свойственный всей школѣ беллетристовъ-публицистовъ, воспитанныхъ критикомъ Писарева и развившихъ свои таланты на страницахъ *Русскаго Слова* и *Дѣла*:—они страдаютъ крайней книжностью. Въ нихъ не замѣтно ни тяжкихъ опытовъ, выносимыхъ писателями лично изъ жизни, ни непосредственныхъ наблюденій надъ живой дѣйствительностью. Все это труды кабинетные, искусственно надуманные, сочиненные болѣе или менѣе мастерски по готовымъ шаблонамъ, созданнымъ западною и русскою беллетристикою. Такъ напримѣръ, въ Шеллерѣ замѣтно увлеченіе англійскими романистами, особенно Диккенсомъ, и вы найдете въ его романахъ какъ дѣйствующія лица, скомпонованныя по образцу персонажей романовъ Диккенса, такъ и цѣлыя сцены и драматическія положенія. Вообще же въ большинствѣ его романовъ вы встрѣтите неизмѣнно однѣ и тѣ-же стереотипныя личности, до послѣдней степени истрепанныя беллетристикою. Таковы напримѣръ—злодѣй романа высокій, смуглый, съ оловянными, леденящими глазами, помѣщикъ-крѣпостникъ и деспотъ, отъ котораго въ ужасѣ разбѣгаются всѣ домашніе, какъ только онъ входитъ въ комнату; онъ разлучаетъ влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъ въ гробъ жену и чуть не засѣкаетъ розгами идеальнаго героя романа. Злодѣйка романа является въ видѣ бабушки или тетушки, съ княжескимъ гербомъ на каретѣ, занятая вѣчно своей родословной, бредящая свѣтскими приличіями и презирающая чернь. Она своимъ тлетворнымъ вліяніемъ готова погубить героя, сдѣлать изъ него свѣтскаго шалопая, но когда герой вопреки всѣмъ этимъ усиліямъ озаряется свѣтомъ прогресса, бабушка, разорвавшаяся и всѣми забытая, умираетъ на рукахъ тѣхъ, которыхъ она прежде презирала. Далѣе слѣдуютъ комисаріатскій чиновникъ—взяточникъ и низкопоклонникъ, пресмыкающійся передъ высшими, падшій съ низшими, помышляющій лишь о чинахъ, наградахъ и взяткахъ, и кончающій обыкновенно тѣмъ, что попадаетъ подъ судъ послѣ крымской кампаніи, лишается всего благосостоянія и начинаетъ злобно шипѣть противъ молодого поколѣнія и всѣхъ новыхъ порядковъ; петербургская кумушка—мѣщанка или чиновница низшаго сорта, подобострастная ко всему мѣтущему въсь и деньги, жадная ко всякаго рода пода-

камъ, готовая ограбить наслѣдниковъ умершаго богатаго родственника, безчеловѣч-  
ная къ дочерп или невѣсткѣ и склонная въ каждомъ движеніи и шагѣ молодого че-  
ловѣка или дѣвушки подозрѣвать какія-нибудь грязныя побужденія; свѣтскій шало-  
пай, паркетный шаркуня, любитель пикниковъ и рысаковъ, кончающій разореніемъ  
отца, воровствомъ, тюрьмою или самоубійствомъ. Къ этимъ главнымъ слѣдуетъ при-  
соединить нѣсколько второстепенныхъ типовъ, столь-же однообразныхъ и стереоти-  
пныхъ; таковы напримѣръ пошлые учителя стараго времени, неизмѣнно въ каждомъ  
романѣ таскающіе за волосы учениковъ, изрыгающіе ругательства въ родѣ „ослы“,  
„сволочь“, и пьющіе горькую; учителя новаго пошпа, исполненные либеральнаго духа  
и устремляющіе героевъ на путь прогресса; нѣмцы, являющіеся постоянно сухими, без-  
душными формалистами и проч., и проч. Таковы отрицательные типы романовъ Шел-  
лера. Что-же касается положительныхъ типовъ, то они являются въ романахъ Шел-  
лера конечно уже безусловно идеальными людьми, подающими челоуѣчеству образцы  
вполнѣ раціональной жизни; причемъ Шеллеръ ухитрился изображать ихъ въ одно и то-  
же время и какъ-бы отъ самаго рожденія предопредѣленными быть выразителями идеа-  
ловъ и выстѣ съ тѣмъ какъ-бы дѣлающимися идеальными людьми лишь впоследствии  
путемъ развитія. Такъ напримѣръ Шуповъ на *десятомъ году* поднялъ цѣлую бурю  
противъ родителей по поводу собранія ими съ крестьянъ оброка, сопоставивъ мяг-  
кое обращеніе умершей матери съ слугами и подаваніе ею мпlostыни нищимъ съ  
фактомъ собранія оброка, и до такой степени разошелся мальчикъ: — „не хочу брать  
оброка, мамаша сама давала нищимъ, я — наслѣдникъ!“ что былъ высѣченъ отцомъ до  
полусмерти. Послѣ порки *десятилтній мальчикъ* былъ согласенъ на другую такую-  
же порку, лишь-бы не припуждали его просить прощенія у дяди, котораго онъ возне-  
навидѣлъ и оскорбилъ за то, что тотъ не заступился за крестьянъ, и кончилась эта  
исторія тѣмъ, что тотъ-же *десятилтній мальчикъ* послѣ всего этого погрома вос-  
пылалъ страстью — учиться, развиваться.

Такъ-же точно былъ выпоротъ своимъ отчимомъ Бубновымъ герой романа *Въ  
разбродѣ*, Теплицинъ, и въ свою очередь послѣ порки на *десятомъ году* загорѣлся  
страстью учиться, развиваться. У него былъ дядя, капитанъ Хлопко, морякъ, передѣ-  
лаппый съ англійскихъ нравовъ на русскіе; онъ рассказывалъ мальчику эпизоды  
изъ исторіи и изъ своихъ кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя безспорно подобные раз-  
сказы имѣли свое развивательное вліяніе, но во всякомъ случаѣ трудно себѣ предста-  
вить, чтобы у десятилтняго мальчика могло быть психическое настроеніе, которое у  
обыкновенныхъ смертныхъ является не ранѣе восемнадцатилѣтняго возраста:

«Невеселая паша жизни: притѣсненія, постоянное одиночество или бесѣды съ та-  
кими идеалистами, какъ дядя, навели меня на мысли, что и меня ждутъ впередъ  
страданія, что я долженъ приготовиться къ нимъ, и я, экзальтированный до край-  
ности, сталъ развивать въ себѣ физическія силы и пробовать свою выносливость. Меня  
радовало, если мнѣ удавалось поднять что-нибудь тяжелое или справиться въ борьбѣ  
съ Гаврюшкой. Помню, что я однажды въ эту зиму взялъ горячій уголь въ руки и  
держалъ его до тѣхъ поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ катились  
слезы, моя ладонь болѣла очень долго, но я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ,  
вспоминая о Іоаннѣ Гусѣ. Меня стали особенно привлекать такія зрѣлища, какъ рѣ-  
заніе куръ, и хотя мнѣ было очень жалко бѣдныхъ хохлушекъ, но и не убѣгалъ я

смотрѣлъ до конца на ихъ казнь, помнилъ, что дядя рассказывалъ о многихъ людяхъ, падающихъ въ обморокъ при видѣ крови».

Въ романѣ *Жизнь Пупова* есть герой плебейскаго происхожденія, Колька, который, въ свою очередь, поражаетъ васъ въ десятилѣтнемъ возрастѣ глубокомыслиемъ соціальныхъ взглядовъ. Такъ, онъ создаетъ цѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ воровства: „по его соображеніямъ слѣдовало работать, цѣлый день работать, бумаги писать въ должности, сапоги или платье шить дома,—все работать и на заработанные деньги нанимать маленькую, самую маленькую комнатку и жить одному, не имѣя дѣтей, одѣваться просто, ну, совсѣмъ просто, вотъ какъ мужики одѣваются“...

Такимъ образомъ, вотъ уже въ какомъ возрастѣ являются въ современныхъ намъ трезвыхъ реалистахъ ихъ идеалы честнаго труженничества и чуждой малѣйшей роскоши, спартанской жизни! Въ томъ-же самомъ возрастѣ они начинаютъ уже и протестовать противъ истязаній не только людей, но и животныхъ:

— Одного я не понимаю, серьезно и задумчиво говорилъ онъ мнѣ однажды:— за что это собакъ и лошадей мучаютъ?

— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька, отвѣчалъ я.—Ты самъ-же мнѣ говорилъ...

— Людей! Такъ люди души свои за это за самое спасутъ. Вотъ и я теперь, если-бы умеръ, такъ святымъ-бы сталъ, съ нѣжной улыбкой промолвилъ онъ полусути. — А у собакъ и лошадей души нѣтъ».

Въ силу всего этого, читая романъ Шеллера, вы невольно заинтересовываетесь судьбою героя, соображая, что если герой съ такихъ малыхъ лѣтъ проявляетъ уже столь необыкновенные задатки и такъ неудержимо стремится на путь прогресса, то что-же съ нимъ будетъ потомъ?

Но читаете вы дальше и съ каждой страницей убѣждаетесь, что гора рождаетъ мышь. Въ половинѣ романа уже Шеллеръ, какъ-бы совсѣмъ забывая, какихъ онъ намѣревался представить намъ великаповъ, начинаетъ насъ убѣждать, что герои его—обыкновеннѣйшіе смертные, какъ мы съ вами; что они вовсе и не думали питать въ себѣ идеалы съ самаго рожденія, а должны до нихъ достигнуть путемъ долгаго искуса, соединеннаго съ цѣлымъ рядомъ испытаній и страданій, опасностей сбиться съ прямого пути и дѣйствительныхъ заблужденій. И въ этихъ заблужденіяхъ герои наши оказываются такими иногда тряпичными, что какая-нибудь полоумная тетушка способна бываетъ направить ихъ на дорогу ипалочайства, и если они не свертываютъ окончательно на эту дорогу, то благодаря вовсе не ихъ стойкому нравственному сопротивленію, а чисто вѣшнимъ случайнымъ обстоятельствамъ вроде того, что тетушка разоряется, уѣзжаетъ или умираетъ. Но какъ-бы то ни было, въ концѣ романа герои наконецъ просвѣтляются—такъ новыми идеалами въ духѣ честнаго труженничества и трезваго реализма, въ осуществленіи этихъ идеаловъ находятъ мирную пристань отъ всѣхъ жизненныхъ бурь и невзгодъ и начинаютъ блаженствовать во вседовольствѣ и совершенствѣ.

Но начинаете вы всматриваться въ этихъ вседовольныхъ и всесовершенныхъ героевъ, и съ удивленіемъ видите, что и Прохоровы, и Теплицины, и Пуповы и пр. являются фотографическими снимками съ Молотова Помяловскаго, съ тою только раз-

пищею, что Помяловскій нисколько не скрываетъ рядомъ съ достоинствами недостатковъ своего героя; Шеллеръ-же самые эти недостатки идеализируетъ, смотря какъ на нѣчто весьма похвальное, какъ на своего рода змѣнную мудрость на то обстоятельство, что герои его не лѣзутъ въ настоящіе герои, а кротко сходятъ со сцены для того, чтобы „начать мирную, быть можетъ, буржуазную жизнь съ трудомъ изъ-за куска хлѣба“.

## VI.

На одномъ ряду съ Шеллеромъ стоятъ три писателя одной съ нимъ школы, хотя въ меньшей степени талантливые и не столь плодовитые, но въ то-же время чуждые той буржуазности и мѣщанства, какія обнаруживаетъ Шеллеръ въ своихъ произведеніяхъ. Это — чистокровные идеалисты до мозга костей; неподкупно-честныя, чистыя, прозрачно-искреннія цѣльныя натуры, вполне сливающимся съ своими произведеніями и въ нѣкоторой степени оправдывающія свою идеализацію безукоризненною вѣрностью принципамъ впродолженіе всей жизни, исполненной тяжкаго труда и безысходной борьбы съ нищетою. Таковы: Павелъ Владиміровичъ Засодимскій, Николай Федотовичъ Бажинъ и Инокентій Васильевичъ Федоровъ (Омулевскій).

Павелъ Владиміровичъ Засодимскій родился въ 1843 году 1-го ноября въ Великомъ Устюгѣ вологодской губерніи въ небогатой дворянской семьѣ. Дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ и въ уѣздномъ городѣ Никольскѣ, похожемъ на деревню. У его отца была большая библіотека, и не помня себя неграмотнымъ, Засодимскій съ шести лѣтъ читалъ все, что попадалось въ руки: Пушкина, Державина, Жуковского, Де-Фое, Плутарха, переводные романы съ разныхъ языковъ. Десяти лѣтъ онъ владѣлъ языками французскимъ, нѣмецкимъ и польскимъ. Въ 1856 г. поступилъ въ вологодскую гимназію своекоштнымъ пансіонеромъ. По окончаніи курса въ ней въ 1863 году, онъ поступилъ вольнослушателемъ на юридическій факультетъ с.-петербургскаго университета. Но за неимѣніемъ средствъ былъ принужденъ въ 1865 году оставить университетъ, и съ тѣхъ поръ и до настоящаго дня онъ ведетъ полвую труда и тяжелыхъ лишений жизнь интеллигентнаго пролетарія. Сначала онъ пробавлялся уроками: такъ въ 1865 г. ѣздилъ на кондичіи въ пензенскую губернію, а въ 1872 году ему было поручено устроить и вести сельскую школу въ новгородской губерніи, боровичскаго уѣзда. Онъ устроилъ и велъ школу втеченіе трехъ мѣсяцевъ, но вынужденъ былъ оставить дѣло по независящимъ отъ него обстоятельствамъ, и съ тѣхъ поръ ничѣмъ болѣе, кромѣ литературныхъ трудовъ, не занимался.

Печататься Засодимскій началъ въ 1867 году, пославши въ редакцію *Голоса* воззваніе къ русскому обществу въ защиту болгаръ, написанное подъ впечатлѣніемъ корреспонденцій о турецкихъ звѣрствахъ при подавленіи возстанія. Въ этомъ-же году было напечатано въ *Иллюстрированной газетѣ* нѣсколько его стихотвореній. Затѣмъ въ 1868 году были напечатаны въ *Днѣ* повѣсти его *Грѣшница*, *Волчиха*, въ 1870 году *А ей весело—она смѣется*, *Темныя силы* и пр. Наибольшее вниманіе со стороны публики и критики заслужилъ большой романъ его изъ народной жизни *Хроника села Смурина*, напечатанный въ *Отчественныхъ Запискахъ* 1874 г.

подъ псевдонимомъ Вологодина. Затѣмъ изъ наиболѣе крупныхъ его произведеній замѣчательны романъ *Стенныя тайны*, печатавшійся въ *Русскомъ Богатствѣ* 1880 года и *По градамъ и весямъ*, появившійся въ *Наблюдатель* за 1885 г.

Несмотря на то, что и у Засодимскаго главные герои его произведеній нѣсколько идеализированы и шаблонны, въ романахъ и повѣстяхъ во всякомъ случаѣ замѣчается болѣе жизни и наблюдательности, чѣмъ у Шеллера; даже и *Хроники села Смуринна* нельзя отказать въ нѣкоторомъ знаніи народной жизни, хотя и здѣсь главный герой, кузнецъ Кряжевъ, основатель производительной артели въ родной деревнѣ, нѣсколько смахивая на Пьера Гюгенена Жоржъ-Занда, является проблематичнымъ: мы можемъ только сказать, что подобные крестьяне въ русской деревнѣ возможны; въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ они можетъ быть и часто будутъ встрѣчаться, нынѣ-же они крайне сомнительны.

Наибольшаго-же уваженія П. Вл. Засодимскій заслуживаетъ въ качествѣ усерднаго сотрудника дѣтскихъ журналовъ, каковы *Дѣтское чтеніе*, *Игрушечка*, *Родникъ*. Здѣсь идеализація, соединяясь съ врожденной ему задушевностью, какъ нельзя болѣе уместна, и его дѣтскіе рассказы, собранные впоследствии въ два отдѣльных изданія: *Задушевные рассказы*, 2 тома, изданіе Павленкова, и *Бывальщина и сказки*, изданія Девріена, представляютъ собою лучшее, что только существуетъ въ нашей дѣтской литературѣ по беллетристичѣ.

Николай Федотовичъ Бажинъ родился въ Вяткѣ 23-го іюня 1843 г. Отецъ его былъ военный, вслѣдствіе чего и сынъ учился въ воронежскомъ кадетскомъ корпусѣ, изъ котораго вышелъ въ 1862 г. Писать началъ девяти лѣтъ и во время крымской войны, будучи въ младшемъ классѣ корпуса, сочинялъ патріотическіе стихи. Печататься началъ въ 1864 г., когда въ *Русскомъ Словѣ* была помѣщена повѣсть его *Стенпанъ Рулевъ*, за подписью Холодовъ. Затѣмъ послѣдовали *Чужіе между своими*, *Житейская школа*, *Скорбная аллея* и *Три семьи*—все эти повѣсти были напечатаны въ *Русскомъ Словѣ* за 1865 г., занявши 8 книжекъ журнала.—Затѣмъ Бажинъ перешелъ въ *Дѣло*, гдѣ продолжалъ печатать романы и повѣсти (*Изъ огня да въ полымя* 1867 г., *Исторія одного товарищества* 1869 г. и пр.). Кроме того въ 1879 году онъ велъ въ *Дѣлѣ* библіографическій отдѣлъ и писалъ *Очерки современной журналистики* за подписью—ипъ, а съ 1880 г. по 1887 г. былъ редакторомъ беллетристическаго отдѣла въ этомъ журналѣ.

Кромѣ своихъ героевъ по образцу царевскаго Базарова, идеализируя ихъ и возстругаясь ими не менѣе всѣхъ прочихъ беллетристовъ этой школы, Бажинъ внесъ въ свои произведенія еще одинъ элементъ, чуждый его товарищамъ, именно—плаксивую, чисто карамзинскую сентиментальность, чѣмъ въ особенности отличаются позднѣйшія его повѣсти, помѣщенные въ *Дѣлѣ*. Въ этихъ своихъ рассказахъ, описывая различные злосчастія своихъ скорбныхъ героевъ, которые не могутъ шага сдѣлать въ жизни безъ того, чтобы съ ними не приключилось какихъ-нибудь самыхъ ужасныхъ нещастій, авторъ такъ и заливается слезами отъ первой страницы до послѣдней.

Инокентій Васильевичъ Оедоровъ, болѣе извѣстный въ литературѣ подъ псевдо-

нпомъ Омлевскій, какъ мы и будемъ его называть, прежде всего замѣчательнъ тѣмъ, что это былъ единственный писатель въ Россіи, родившійся въ Камчаткѣ, въ Петровскомъ портѣ. Отецъ его служилъ псправникомъ. Родился онъ въ 1836 г. Мальчику было семь лѣтъ, когда отецъ въ 1842 г. переѣхалъ съ семействомъ въ Иркутскъ. Онъ былъ человѣкъ зажиточный, купилъ въ Иркутскѣ доходный домъ на Большой улицѣ и сверхъ того получалъ порядочную пенсію отъ своей камчатской службы. Въ свое время мальчикъ былъ отданъ въ Иркутскую гимназію, но курса не кончилъ и, вышедши изъ шестого класса, опредѣлился на службу. Но недолго пришлось ему и служить. Началась эпоха возрожденія, и шумъ движенія, дойдя и до мѣстъ столь отдаленныхъ, какъ Иркутскъ, увлекъ юношу въ Петербургъ, гдѣ въ концѣ пятидесятихъ годовъ опредѣлился онъ въ с.-петербургскій университетъ вольнослушателемъ по юридическому факультету. Но лекціи въ университетѣ Омлевскій слушалъ не болѣе одного или двухъ лѣтъ, и въ 1860 году онъ является уже сотрудникомъ *Искры* и другихъ сатирическихъ листковъ. Началась для него кочующая и бездомная жизнь литературнаго богемы. Онъ скитался по Россіи, служилъ даже нѣкоторое время чиновникомъ особыхъ порученій въ Вяткѣ при губернаторѣ. Отецъ сначала поддерживалъ его существованіе небольшими высылками денегъ, но видя, что сынъ бросилъ университетъ и совсѣмъ закружился, прекратилъ субсидіи и началъ принимать мѣры черезъ знакомыхъ, чтобы вытребовать сына обратно въ Иркутскъ, что и удалось ему сдѣлать въ 1863 г. Проживъ два года вновь подъ родительскимъ кровомъ, Омлевскій написалъ нѣсколько незначительныхъ очерковъ, которые были напечатаны въ сборникѣ Н. С. Щукина подъ заглавіемъ *Сибирскіе рассказы*, участвовалъ даже въ какой-то мѣстной газеткѣ *Амуръ*. Въ началѣ 1865 года Омлевскій снова уѣхалъ въ Петербургъ, и этотъ годъ былъ разсвѣтомъ его литературной дѣятельности. Въ *Русскомъ Словѣ* въ то время печатался его романъ *Шагъ за шагомъ* (изданный потомъ отдѣльно въ 1870 году подъ заглавіемъ *Свѣтлово*), а затѣмъ начался печататься новый романъ *Попытка не пытка*, но не суждено было автору кончить его, какъ въ жизни его произошелъ переломъ, сразу оборвавшій только что разгорѣвшуюся дѣятельность. Привлеченный къ отвѣтственности за какія-то неосторожныя выраженія, Омлевскій долго содержался въ крѣпости, а потомъ по рѣшенію суда—въ Лптовскомъ замкѣ. Не успѣлъ онъ оправиться отъ долгаго заключенія, какъ въ 1874 году его постигла сильная глазная болѣзнь, и онъ едва не ослѣпъ. Всѣ эти передраги повергли его въ крайнюю нищету, доходившую нерѣдко до полного голода. Къ тому-же и родители его въ это время обнищали. Домъ, составлявшій главный ресурсъ ихъ доходовъ, сгорѣлъ въ 1868 году, и они переселились въ маленькій домикъ, который купили гдѣ-то на окраинѣ города.

Въ 1879 году, вскорѣ послѣ женитьбы, Омлевскій отправился на родину, узнавъ о смерти отца, по дома предстало ему страшное зрѣлище: онъ вѣхалъ въ Иркутскъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда весь городъ былъ объятъ пламенемъ. Отъ родительскаго дома не осталось и слѣда; едва отыскалъ онъ мать свою, но вскорѣ разошелся съ нею и нанялъ за 10 рублей крошечную комнатку съ тоненькою перегородкою, за которою вѣчно бранились хозяева. Здѣсь съ беременною женой, а затѣмъ съ ребенкомъ онъ проживалъ безъ всякихъ средствъ. Потрясенный всѣми этими невзгодами,



въ отчаяніи опъ запылъ и дошелъ до такого болѣзненнаго состоянія, что пошалъ въ Кузнецовскую больницу. Затѣмъ оправившись кое-какъ, онъ продалъ мѣсто, гдѣ стоялъ сгорѣвшій домикъ его родителей, и уѣхалъ навсегда съ родины въ Петербургъ. Здѣсь, тщетно борясь со своимъ недугомъ и съ безъисходною нищетою, онъ умеръ 26 декабря 1883 года.

Сибиряки чтятъ въ лицѣ Омелевскаго наиболѣе всего единственнаго своего сибирскаго поэта. Но стихотворенія его, изданныя передъ самой смертью автора, въ концѣ 1883 года, подъ заглавіемъ *Пѣсни жизни*, при всей поэтичности нѣкоторыхъ, изъ нихъ, лишены всякой оригинальности и не представляютъ ничего выдающагося, и для русской публики въ широкомъ смыслѣ этого слова Омелевскій все-таки памятенъ лишь какъ авторъ романа *Свѣтловъ*. Романъ этотъ наполовину автобіографическій, въ которомъ авторъ подъ видомъ дѣтства своего главнаго героя „позобразилъ“ свои собственныя воспоминанія первыхъ лѣтъ жизни до выхода изъ гимназіи, въ свое время произвелъ большую сенсацію, и молодежь зачитывалась имъ въ продолженіе шестидесятихъ и семидесятихъ годовъ.—Критикѣ нечего было дѣлать съ романомъ Омелевскаго, такъ какъ онъ не заключалъ въ себѣ никакихъ художественныхъ достоинствъ и не говорилъ никакого новаго слова.—Но герои романа, Свѣтловъ и всѣ его пріятели и пріятельницы, при всей идеализаціи и скроенности по обыкновенному шаблону того времени, подкупали юныхъ читателей такимъ подмывающимъ энтузіазмомъ, какого не находили въ произведеніяхъ прочихъ романистовъ этой школы. Это была особенность Омелевскаго. Чѣмъ-то бодрящимъ, зовущимъ впередъ, сулящимъ въ будущемъ нѣчто радужно-свѣтлое, вѣетъ на васъ отъ каждой страницы романа.—Какъ-то не вѣрится, чтобы такой романъ могъ написать человѣкъ, прожившій столь несчастную жизнь. Прпавши это во вниманіе, понятно становится то обаяніе, какое имѣлъ этотъ романъ въ свое время.

## VII.

Константиппъ Михайловичъ Станюковичъ родился въ Севастополѣ въ 1844 году, въ дворянскомъ семействѣ. Отецъ его былъ адмиралъ. Образованіе Станюковичъ получилъ сначала въ казескомъ корпусѣ, потомъ въ морскомъ. Въ 1860 году онъ былъ посланъ въ кругосвѣтное плаваніе, и пробылъ въ плаваніи три года. Въ 1863 году начальникъ эскадры Тихаго океана послалъ его изъ Сингапура въ С.-Петербургъ къ генералъ-адмиралу и морскому министру курьеромъ съ бумагами, и вернулся такимъ образомъ изъ кругосвѣтнаго плаванія Станюковичъ черезъ Китай и Сибирь.

Черезъ годъ по возвращеніи изъ плаванія молодой мичманъ, желая всецѣло посвятить себя литературѣ, подалъ въ отставку. Его не выпускали безъ согласія отца; между тѣмъ старый адмиралъ, мечтавшій, что сынъ сдѣлаетъ такую-же карьеру, какъ и отецъ, не соглашался, и только послѣ рѣшительной телеграммы сына отвѣчалъ лаконической телеграммой: „Противъ теченія плыть не могу. Согласенъ“. Тогда только Станюковича уволили съ чиномъ лейтенанта.

Съ 1865 по 1866 годъ Станюковичъ былъ сельскимъ учителемъ во владимірской

губерніи, въ селѣ Чаадаевѣ, муромскаго уѣзда. Отправился онъ туда, желая ближе познакомиться съ народнымъ бытомъ. Въ 1867 году онъ женился.

Литературную дѣятельность Станюковичъ началъ въ 1863 году *Очерками морского быта*, помѣщенными въ *Морскомъ Сборникѣ*. Затѣмъ онъ началъ помѣщать рассказы и очерки въ другихъ журналахъ,—въ *Эпохѣ*, *Искрѣ*, *Будильникѣ* и писалъ фельетоны общественной жизни въ *Женскомъ Вѣстникѣ* и газетѣ *Гласность*.

Въ 1871 г. написалъ комедію *На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ*. Пропущенная цензурою, одобренная и взятая актеромъ Зубровымъ для бенефиса, пьеса эта была запрещена по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ наканунѣ самаго представленія 27 октября 1871 г. вслѣдствіе того, что въ ней усмотрѣнъ памфлетъ противъ желѣзнодорожниковъ, и носились слухи, что запрещеніе состоялось вслѣдствіе особенныхъ стараній разныхъ желѣзнодорожныхъ дѣльцовъ. Два раза потомъ возобновлялись просьбы о допущеніи пьесы на сцену, но оба раза напрасно. Пьеса была напечатана въ 1872 г. въ *Дѣлѣ*.

Тамъ-же были напечатаны романы Станюковича — *Безъ исхода* (1873 г.), *Два брата* (1880 г.), *Омутъ* (1881 г.) и пьеса *Родственники* (1878 г.). Съ 1876 г. по 1884 г. Станюковичъ былъ постояннымъ сотрудникомъ *Дѣла*, гдѣ писалъ фельетоны подъ названіемъ *Картинки общественной жизни* и *Письма знатныхъ иностранцевъ* подъ псевдонимомъ *Откровеннаго писателя*. Съ 1877 по 1878 г. помѣщалъ фельетоны въ газетѣ *Новости* подъ псевдонимомъ *Цименъ*. Затѣмъ перешелъ въ газету *Молва* (1879 г.) и *Порядокъ* (1880—1881 гг.); въ *Молву* между прочимъ напечатанъ былъ романъ его *Наши Нравы*.

Съ 1881 года онъ былъ соредакторомъ въ журналѣ *Дѣло*; въ слѣдующемъ году взялъ журналъ въ аренду, а въ 1883 г. приобрѣлъ его въ собственность. Но въ 1885 г. былъ отправленъ въ томскую губернію.

Въ томской губ. Станюковичъ не прерывалъ своей литературной дѣятельности. Такъ въ *Вѣстникѣ Европы*, *Сѣверномъ Вѣстникѣ* и *Русской Мысли* были напечатаны его *Морскіе рассказы*. Въ то-же время онъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ *Сибирской газеты*, гдѣ между прочимъ былъ напечатанъ романъ его *Не стоишь отдаленныя мѣста*. Въ 1888 году онъ вернулся изъ ссылки.

Что касается до характера его произведеній, то лишь первыя изъ нихъ (*Безъ исхода*, *Два брата*) можно причислить къ школѣ тенденціозной беллетристики *Русскаго Слова*. Впослѣдствіи онъ освободился отъ вліянія этой школы и вступилъ на путь исполнѣ реальной беллетристики, чуждой всякой идеализаціи и подгонки фактовъ дѣйствительности подъ какія-либо излюбленныя тенденціи. Особенное достоинство имѣютъ въ этомъ отношеніи его *Морскіе рассказы*, исполненные живого бытового интереса и рельефно, мастерски очерченныхъ типовъ русскихъ моряковъ.

То-же слѣдуетъ сказать и о Дмитріѣ Константиновичѣ Гирсѣ (р. въ 1836 году, воспитывался въ 1-мъ Кадетскомъ корпусѣ, состоялъ въ военной службѣ; въ 1878 и 1879 годахъ издавалъ газету *Русская Правда*, умеръ въ 1886 году декабря 2-го). Литературную извѣстность онъ получилъ съ 1868 года, когда въ *Отечественныхъ Запискахъ* началъ печататься романъ его *Старая и юная Россія*, во-

который сразу выдвинулъ его, произведя большую сенсацию. Но Гпрсь не могъ кончить своего очень широко задуманнаго романа, многіе годы тщетно трудясь надъ нимъ и возбуждая разныя пелѣныя толки своею неудачею. Произошло-же это по той простой причинѣ, что когда Гпрсь началъ свой романъ, онъ находился еще подъ сильнымъ вліяніемъ критики Писарева и задумалъ свой романъ въ духѣ все той-же тенденціозной школы *Русскаго Слова*.

Но онъ былъ слишкомъ художникъ, чтобы быть въ состояніи вполне подчинить свое творчество проводимымъ тенденціямъ, и уже въ *Старой и юной Россіи*, рядомъ съ ходульною тенденціозностью (вродѣ напримѣръ героя романа, строго располагающаго по часамъ всѣ свои занятія и отправленія и вообще изображающаго собою новаго человека въ духѣ писаревскаго Базарова) вы встрѣтите нѣсколько живыхъ бытовыхъ чертъ русской жизни. Но по мѣрѣ того, какъ онъ продолжалъ свой романъ, онъ все болѣе и болѣе отрѣшался отъ вліянія школы, и наконецъ ему стало просто претить подчинять свое творчество подъ заранѣе придуманный планъ романа. Вся работа неминуема должна ему была опостылѣть и рухнуть. Онъ пережилъ ее.

Тогда Гпрсь снова принялся за безхитростные бытовые рассказы въ родѣ тѣхъ *Записокъ военнаго*, которыми онъ началъ свое литературное поприще на страницахъ *Русскаго вѣстника*. Таковы были *Калифорнскій рудникъ*, *Подъ дамокловымъ мечемъ* и пр. Въ рассказахъ этихъ обнаруживается весьма недюжинный талантъ, и они въ свое время читались публикою съ большимъ интересомъ.



## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

I Общая характеристика тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря. Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ. Факты его жизни и характеристика его литературной дѣятельности. — II Евгенийъ Львовичъ Марковъ; его жизнь и романы. — III Василій Ивановичъ Немировичъ-Данченко, какъ путешественникъ, романистъ и поэтъ. — IV Сергій Николаевичъ Терпигоревъ. — И. Саловъ. — V Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ. Николай Александровичъ Лейкинъ.

### I.

Тенденціозные беллетристы либеральнаго лагеря не могли составить особенной беллетристической школы; по крайней мѣрѣ мы видимъ, что среди нихъ не явилось ни одного столь крупнаго таланта, который выдѣлялся-бы своею оригинальностью и увлекъ-бы за собою всѣхъ прочихъ писателей одного съ нимъ лагеря. Къ тому-же въ этомъ не было и надобности, такъ какъ умѣренно-либеральная беллетристика была уже создана школою беллетристовъ сороковыхъ годовъ, большинство которыхъ были именно умѣренные либералы, и послѣдующимъ писателямъ либеральнаго лагеря, явившимся на литературное поприще втеченіе шестидесятыхъ годовъ, оставалось только поддерживать традиціи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, приурочивъ ихъ къ потребностямъ новаго времени и строго согласовавъ съ либеральными принципами.

Такъ и поступили либеральные беллетристы шестидесятыхъ годовъ. — Произведенія ихъ и по своимъ формамъ, и по развитію сюжетовъ, и по преобладающимъ типамъ остаются вѣрны школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ и въ особенности слѣдуютъ по стопамъ Тургенева: таже склонность къ сельскимъ пейзажамъ; тотъ-же психическій анализъ, то-же стремленіе въ фокусѣ романа поставить болѣе или менѣе увлекательный женскій типъ и сюжетъ произведенія развить въ видѣ турнира нѣсколькихъ соперниковъ руки и сердца идеальной красавицы. Но въ то-же время у либеральныхъ беллетристовъ шестидесятыхъ годовъ вы не встрѣтите уже того разлагающаго скептицизма, ведущаго то къ томной меланхоліи, то къ безнадежному пессимизму, какой мы видѣли у беллетристовъ сороковыхъ годовъ; не найдете вы и той реакціонной петеримости къ новымъ вѣяніямъ, въ какую впали всѣ подрядъ беллетристы сороковыхъ годовъ, разойдясь съ движеніемъ шестидесятыхъ годовъ. — Вѣря въ торжество своихъ принциповъ, либеральные беллетристы шестидесятыхъ

годовъ свѣтло смотрятъ вокругъ себя и на будущее, и произведенія ихъ поэтому исполнены жизнерадостности. Относясь отрицательно ко всему отжившему и реакціонному, они въ тоже время съ соболѣзнованіемъ смотрятъ на всѣ противоположныя крайности, и далеки отъ того, чтобы набрасываться на эти крайности съ такимъ ожесточеніемъ, какъ ихъ предшественники; они относятся къ нимъ снисходительно или какъ къ увлеченіямъ незрѣлой юности, или какъ къ печальнымъ результатамъ вѣками накопившагося ожесточенія.—Героями ихъ являются уже не безхарактерные и изнѣженные баричи, Рудины и Обломы, а просвѣщенные питомцы высшихъ учебныхъ заведеній, обладающіе сверхъ того лоскомъ свѣтскаго воспитанія, энергическіе административные, земскіе или сельско-хозяйственные дѣятели, вся мудрость которыхъ заключается въ томъ, что вѣрные своимъ либеральнымъ принципамъ, они ловко умѣютъ пройти между сцилою и харпбдою двухъ крайнихъ лагерей и въ концѣ романа въ равной степени восторжествовать и надъ правыми, и надъ лѣвыми. Нужно ли и говорить о томъ, что героиня романа, изображаемая со всѣми обольстительными атрибутами тургеневскихъ женщинъ, отдаетъ имъ вмѣстѣ съ пальмою первенства и руку, и сердце, и всѣ свои помыслы.

Однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и наиболѣе плодовитымъ беллетристомъ этого лагеря является Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ. Онъ родился въ Нижнемъ-Новгородѣ 15 августа 1836 года въ богатой дворянской семьѣ и получилъ поэтому, живя при матери въ домѣ дѣда, вполне дворянское воспитаніе, т. е. съ дѣтскихъ лѣтъ онъ зналъ уже иностранные языки и упражнялся въ музыкѣ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что вслѣдствіе этого, поступивъ въ нижегородскую гимназію, при своихъ блестящихъ способностяхъ онъ все время былъ однимъ изъ первыхъ учениковъ, причемъ уже во время гимназическаго курса обнаружился въ немъ беллетристическій талантъ, и одинъ изъ его рассказовъ обратилъ на даровитаго юношу вниманіе гимназическаго начальства, какъ на обѣщающее въ будущемъ нѣчто недюжинное.

По окончаніи гимназическаго курса въ 1853 году, Боборыкинъ поступилъ въ казанскій университетъ на камеральный отдѣлъ юридическаго факультета. Здѣсь онъ увлекся естественными науками, особенно химіей, и со второго курса началъ работать въ химической лабораторіи подъ руководствомъ А. М. Бутлерова. Въ то-же время онъ перевелъ извѣстный нѣмецкій учебникъ химіи Лемана, изданный года три спустя М. О. Вольфомъ. Увлеченіе химією побудило Боборыкина перейти въ дерптскій университетъ, гдѣ втеченіе пяти лѣтъ онъ прослушалъ полный курсъ медицинскаго факультета, кромѣ того успѣлъ составить учебникъ къ физіологической химіи и перевести вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Бакстомъ руководство физіологіи Дюндерса.

Боборыкину оставалось лишь сдать экзаменъ на степень доктора, что онъ не замедлилъ-бы сдѣлать, но одно обстоятельство сразу измѣнило всю судьбу его жизни. Надо замѣтить, что творческіе инстинкты не могли вполне заглушиться учеными занятіями молодого студента, и среди нихъ онъ успѣлъ написать три драмы—*Фантазеръ*, *Ребенокъ* и *Однодворецъ*. Последняя была напечатана въ 1860 году въ *Библіотекѣ для чтенія*. Это было первое появленіе въ свѣтъ нарождающагося таланта, и этотъ литературный успѣхъ такъ вскружилъ голову двадцати четырехъ лѣтняго

юноши, что онъ совѣтъ бросилъ медицину и университетъ, и въ декаб. 1860 г. пріѣхалъ въ Петербургъ, рѣшившись посвятить всѣ силы литературѣ. Здѣсь первымъ дѣломъ онъ записался вольнослушателемъ въ с.-петербургскій университетъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ приготовился къ экзамену на получение степенн кандидата администра- тивныхъ наукъ. Вскорѣ затѣмъ Боборыкинъ получилъ въ наслѣдство имѣніе въ нижегородской губерніи, и это наслѣдство доставило ему возможность пріобрѣсти въ 1863 году въ собственность журналъ *Библіотеку для чтенія*. Это былъ крайне рискованный и легкомысленный шагъ, вполне извиняемый молодостью Боборыкина (ему было въ это время 27 лѣтъ), тѣмъ не менѣе тяжело отозвавшійся въ послѣдующей жизни его. *Библіотека для чтенія* въ это время была журналомъ совѣтъ умиротворяющимъ, съ самымъ ограниченнымъ числомъ подписчиковъ, переходившихъ отъ одной редакціи къ другой, потерявшимъ всякій *raison d'être*. Если тщетныя усилія такого опытнаго журналиста, какъ Дружининъ, и такого громкаго имени, какъ Ипсемскій, не были въ состояніи поднять журналъ, то что-же могъ сдѣлать молодой писатель, въ то время мало еще извѣстный, мало опытный въ журнальномъ дѣлѣ, не являвшійся представителемъ какого-либо опредѣленнаго и вліятельнаго литературнаго кружка, и къ тому-же въ такое время, когда *Современникъ* подавлялъ всю журналистику того времени и съ нимъ не въ состояніи была выдержать борьбу даже такая прочно-установившаяся фирма, какъ *Отечественныя Записки* подъ редакціею Дудышкина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такихъ условіяхъ Боборыкину пришлось не болѣе трехъ лѣтъ издавать и редактировать *Библіотеку для чтенія*, и затѣмъ на-вѣки похоронить журналъ Сенковского. Единственную пользу изъ всего этого дѣла извлекъ для себя Боборыкинъ развѣ ту, что его литературная репутація окончательно упрочилась, да и этимъ онъ былъ обязанъ не столько самому издательству, сколько помѣщенію на страницахъ *Библіотеки* двухъ своихъ романовъ — *Въ путь-дорогу* и *Земскія силы*, причемъ послѣдній романъ былъ не оконченъ вслѣдствіе прекращенія журнала. Но зато вся тяжесть журнальнаго банкротства легла на Боборыкина, и въ продолженіе десяти лѣтъ пришлось ему раздѣлываться съ долгами путемъ тяжелыхъ литературныхъ трудовъ, и лишь полученное въ 1873 году послѣ смерти отца новое наслѣдство освободило его окончательно отъ послѣдствій крушенія *Библіотеки для чтенія*.

Вызванная этою невзгодою жизни необходимость писать какъ можно болѣе и посему какъ можно скорѣе, обратилась въ послѣдствіи въ привычку, и Боборыкинъ поражаетъ своихъ современниковъ и количествомъ, и разносторонностью своихъ литературныхъ трудовъ; такъ онъ является не только въ качествѣ беллетриста творцомъ объемистыхъ романовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и драматургомъ, и театральнымъ критикомъ, и корреспондентомъ, и публицистомъ. Страсть къ театру побудила его, не ограничиваясь писаніемъ пьесъ и рецензій, выступать неоднократно лекторомъ по декламации, и въ 1872 году онъ издалъ цѣлый трактатъ о театральномъ искусствѣ. Замѣчательно въ то-же время, что было-бы совершенно ошибочно, принимая во вниманіе столь обильную и разпородную производительность Боборыкина, предполагать, чтобы это былъ осыдлый и усидчивый кабинетный труженикъ, дни и ночи проводящій надъ работою. Напротивъ того, обладая впечатлительнымъ и живымъ

темпераментомъ, Боборыкинъ отличается крайнею подвижностью: онъ рѣдко проживаетъ въ одномъ городѣ болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, всю жизнь проводитъ въ вѣчныхъ разъѣздахъ и путешествіяхъ, горячо интересуясь и увлекаясь всякою новизною и модою. Однимъ словомъ, это типъ газетнаго фельетониста и корреспондента.

Эти свойства характера и условія жизни Боборыкина отражаются и въ его произведеніяхъ. И въ нихъ въ свою очередь Боборыкинъ является не художникомъ-творцомъ, строго обдумывающимъ свои произведенія и тщательно ихъ отдѣлывающимъ и отчеканивающимъ, а именно фельетонистомъ, вѣчно торопящимся написать къ извѣстному сроку столько-то листовъ или строкъ. Поэтому вы не найдете у него ни серьезно обдуманныхъ и строго исполненныхъ и законченныхъ сюжетовъ, ни широкихъ типовъ и обобщеній. Читая романы Боборыкина, вы вѣчно путаетесь въ массѣ вставныхъ эпизодовъ среди несмѣтной толпы выведенныхъ на сцену лицъ, изъ которыхъ половина представляются для развитія сюжета совершенно ни къ чему ненужными, и въ заключеніе всего дѣйствіе романа обрывается порою вслѣдствіе совершенно неожиданныхъ случайностей, производя такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ не зналъ, какъ ему свести концы съ концами и отдѣлаться отъ читателей и прибѣгнулъ къ первой пришедшей въ голову развязкѣ. Въ то-же время дѣйствующія лица произведеній Боборыкина являются фотографическими снимками съ живыхъ лицъ, причемъ авторъ безъ церемоній выводитъ своихъ знакомыхъ и лицъ общепознанныхъ со всею обстановкою ихъ жизни, такъ что въ каждомъ романѣ его кто-нибудь узнается и являются двѣ-три личности, сильно скандализованныя и недовольныя тѣмъ, что авторъ, изобразивъ ихъ съ такою вѣрностью, что всѣ ихъ узнали въ романѣ, заставилъ ихъ въ то-же время продѣлывать такіе романы, а порою и неблагоприятныя поступки, въ которыхъ въ дѣйствительности они вовсе не грѣшны.

Но при этой фельетонности и фотографичности романовъ Боборыкина, надо отдать ему справедливость, никто изъ современныхъ русскихъ писателей не способенъ въ такой степени схватить настоящій моментъ жизни, именно тотъ самый живой нервъ, который играетъ и бьется сегодня, и это опять-таки обусловливается тѣмъ, что Боборыкинъ по самой природѣ своей созданъ быть фельетонистомъ. Въ каждомъ романѣ его изображается обыкновенно то, чѣмъ живетъ общество наше сегодня, и рядъ произведеній его можетъ служить художественною летописью всѣхъ тѣхъ вѣяній, которыя пережило наше общество въ концѣ пятидесятихъ годовъ, изображенныхъ въ романѣ *Въ путь-дорогу*, и до сегодня.

Мы не имѣемъ возможности перечислить здѣсь всѣхъ его произведеній, такъ какъ въ такомъ случаѣ намъ пришлось-бы помѣстить цѣлый каталогъ весьма почтенныхъ размѣровъ. Мы упомянемъ лишь о нѣкоторыхъ романахъ его, наиболѣе выдающихся и въ свое время поправившихся публикѣ. Таковы: *Жертва вчерняя*, *Солідный добродѣтель*, *Дьяволы*, *Докторъ Цибулька*, *Въ усадьбѣ и на порядкѣ*, *Китай-городъ*, *Изъ новыхъ*, *На ущербѣ* и проч.

Дѣятельность Боборыкина можно раздѣлить на два періода. Въ первомъ періодѣ, втеченіе шестидесятихъ и семидесятихъ годовъ, Боборыкинъ слѣдовалъ традиціи беллетристовъ сороковыхъ годовъ и принадлежалъ къ тургеневской школѣ. Не внося никакого новаго элемента или слова въ отечественную литературу и не въ спячъ

будучи выйти на какой-либо самобытный путь, тѣмъ не менѣе онъ неуклонно держался тѣхъ путей, которые были проложены въ русской литературѣ его наиболѣе талантливыми предшественниками.

Но втеченіе восьмидесятихъ годовъ Боборыкинъ нѣсколько свернулъ съ этой проторенной дороги и къ сожалѣнію въ ущербъ самому себѣ. Частое пребываніе въ Парижѣ, въ то-же время тотъ шумъ, какой подняли въ послѣднее десятилѣтіе французскіе натуралисты, и въ особенности Золя, не могли не увлечь слишкомъ впечатлительную и поддающуюся чуждымъ вліяніямъ натуру Боборыкина. И вотъ въ немъ развилась крайняя парижеманія, вродѣ той, какою болѣли наши предки, петиметры восемнадцатаго столѣтія, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ударился въ подражаніе французскимъ натуралистамъ, ихъ манерамъ письма, протокольной детальности внѣшнихъ мелочей жизни, отправленія анализа съ исключительно одной фізіологической точки зрѣнія, страсти къ черезчуръ смѣлымъ описаніямъ альковнымъ тапнъ и т. п.

И дѣйствительно всѣ его произведенія послѣднихъ лѣтъ, начиная съ романа *Китай-городъ*, появившагося въ *Вѣстникѣ Европы* въ началѣ восьмидесятихъ годовъ, поражаютъ васъ своею микроскопическою детальною, фізіологичностью и мѣстами скабрзностью. — Прежде героемъ произведеній Боборыкина былъ просвѣщенный и либеральный дворянинъ съ великосвѣтскими манерами, во всѣхъ отношеніяхъ комилфотный, но при всемъ своемъ европейскии лоскъ не перестающій быть русскимъ баринномъ, вѣрнымъ во всѣхъ своихъ привычкахъ старо-русскимъ культурнымъ традиціямъ. Теперь-же онъ онъ началъ выводить порою кривлякъ, вся цѣль жизни которыхъ заключается въ томъ, чтобы осуществить въ своей особѣ живое подобіе парижскихъ хлыщей, и въ силу этого они только и дѣлаютъ на страницахъ романовъ Боборыкина, что шикуютъ самыми модными костюмами и только что изобрѣтенными парижскимъ бомондомъ словечками, и вѣчно фыркаютъ, сравнивая парижскую культурность съ русскимъ варварствомъ. Весьма желательно, чтобы талантливый беллетристъ, освободившись отъ этого увлеченія, вновь воротился на свой прежній путь, на которомъ онъ подвизался съ такимъ успѣхомъ.

## II.

Менѣе талантливымъ и плодовитымъ, но не менѣе типичнымъ представителемъ либерально-тенденціозной беллетристики является Евгеній Львовичъ Марковъ. Онъ родился въ 1835 г. въ щигровскомъ уѣздѣ курской губерніи, и въ свою очередь принадлежитъ къ старинному дворянскому роду. Отецъ его былъ воспитанникомъ извѣстной муравьевской „школы колоновожатыхъ“, послужившей началомъ военной академіи, служилъ въ свитѣ Александра I, былъ товарищемъ Пестеля, Муравьева, Бобринцевыхъ-Пушкиныхъ и друг. декабристовъ; мать — дочь суворовскаго генерала Фонъ-Гана. Марковъ воспитывался въ харьковской, а потомъ въ курской гимназіи. Кончивъ затѣмъ курсъ въ харьковскомъ университетѣ въ 1857 году, втеченіе двухъ лѣтъ онъ путешествовалъ за-границею, слушал лекціи въ различныхъ заграничныхъ и русскихъ университетахъ. Затѣмъ онъ занялся педагогической дѣятельностью: втеченіе полуторыхъ лѣтъ онъ былъ учителемъ, а затѣмъ 4½ года занималъ мѣсто инспек-



гора въ тульской гимназіи; съ 1865-же и по 1870 г.,—директора симферопольской гимназіи. Проведя затѣмъ годъ за-границей, онъ посвятилъ себя земской дѣятельности, поселившись въ деревнѣ и разнообразя свою деревенскую жизнь лишь ежегодными путешествіями по Россіи, за-границей и въ болѣе отдаленныя страны: такъ въ послѣднее время онъ путешествовалъ по Египту, Сиріи и Америкѣ.

Въ качествѣ земскаго дѣятеля, онъ былъ избираемъ и губернскимъ, и уѣзднымъ гласнымъ, былъ предсѣдателемъ земской управы въ своемъ уѣздѣ и непремѣннымъ членомъ по крестьянскому управленію. Между прочимъ онъ является однимъ изъ главныхъ основателей въ Курскѣ земской учительской школы и реального училища. Въ 1881 и 82 годахъ онъ былъ приглашенъ правительствомъ къ участию въ „комиссіяхъ свѣдущихъ людей“ по вопросамъ штейному и переселенческому, и по окончаніи работъ комиссій былъ назначенъ въ числѣ шести человекъ защищать проектъ комиссій передъ государственнымъ совѣтомъ. Въ послѣднее время онъ занимаетъ мѣсто управляющаго дворянскимъ и крестьянскимъ банкомъ въ Воронежѣ.

Литературный талантъ пробудился въ Марковѣ очень рано, и уже десяти лѣтъ онъ писалъ стихи. Печататься-же началъ съ 1858 года, когда въ *Русскомъ Вѣстникѣ* появился маленькій рассказъ его *Ушанъ* и полемическая статья противъ профессора Ешевскаго. Литературная дѣятельность его, хотя и далеко не столь плодотворная какъ Боборыкина, въ свою очередь разносторонняя: такъ, не ограничиваясь одною беллетристикою, онъ писалъ и критическія, и публицистическія статьи, и очерки своихъ путешествій (каковы *Очерки Крыма*, *Очерки Кавказа*, а также очерки путешествій по Швеціи, Италіи, Востоку и пр.). Изъ большихъ критическихъ этюдовъ извѣстны—о Тургеневѣ, гр. Л. Толстомъ, Некрасовѣ, Островскомъ, Достоевскомъ, Добролюбовѣ, Эм. Золя, Додэ, Гейне, Ауэрбахѣ и пр. Съ 1876 по 1880 г. Евг. Марковъ принималъ дѣятельное участіе въ *Голосѣ* въ качествѣ критика и публициста, а съ 1879 по 1881 г. велъ критическій отдѣлъ въ *Русской рѣчѣ*.

Въ качествѣ критика онъ не представлялъ чего-либо выдающагося и оригинальнаго и, не отличаясь особенною широтою воззрѣній, оставался вѣрнымъ старымъ эстетическимъ теоріямъ чистаго искусства, причемъ, врагъ всякихъ крайностей, тѣмъ не менѣе онъ столь фанатично исповѣдывалъ свои эстетическія теоріи, что дошелъ до полного отрицанія Некрасова, природное дарованіе котораго и чутье народнаго духа были по его мнѣнію заглушены вредными вліяніями тѣхъ политическихъ кружковъ, въ которыхъ онъ вращался.

Въ качествѣ романиста онъ болѣе всего извѣстенъ своимъ романою *Черноземныя поля*, напечатанномъ въ *Днѣ* въ теченіе 1876 и 1877 годовъ. Позже были написаны имъ менѣе обратившіе на себя вниманіе—*Берегъ моря* и *Барчуки*. Въ совершенную противоположность Боборыкину, который, какъ мы видѣли, является въ своихъ романахъ рьянымъ западникомъ, смотрящимъ на русскую жизнь съ точки зрѣнія парижской культуры, Евг. Марковъ въ своихъ романахъ смотритъ съ народнической точки зрѣнія: онъ до извѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣчитъ ихъ и разстлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы, можетъ спасти человека, возстановивъ равновѣсіе его силъ и давъ имъ благотвор-

ный исходъ. Мысль эта является основою всѣхъ беллетристическихъ произведеній Евг. Маркова. Такъ въ *Черноземныхъ поляхъ* героемъ въ лицѣ Суровцева является именно одинъ изъ тѣхъ прекраснѣйшихъ гуманныхъ и либерально-эпегическихъ помѣщиковъ, какіе, какъ мы выше уже говорили, парадпрують во всѣхъ беллетристическихъ произведеніяхъ этого лагеря. Нѣтъ сомнѣнія, что и по своему характеру, и по обстоятельствамъ жизни Суровцевъ напоминаетъ нѣсколько самого автора; подобно автору романа онъ проходитъ сквозь строй ученой и затѣмъ общественной дѣятельности; сначала читаетъ лекціи, потомъ служитъ по земству, выводитъ оспу изъ уѣзда, чуть не сгораетъ во время пожара; наконецъ терпитъ фіаско въ своей земской дѣятельности и благодушно успокаивается на скромномъ сельско-хозяйственномъ трудѣ, оказывая посильной помощи окружающему сельскому люду, идиллическихъ наслажденій природы и любовныхъ объятій избранницы сердца, Наденьки, которая въ свою очередь отличается тѣмъ, что возросла и воспиталась на родной почвѣ, въ деревнѣ, въ спасительныхъ традиціяхъ старо-русской жизни, въ сферѣ практическаго добра и дѣятельной любви къ окружающимъ людямъ; однимъ словомъ—это роскошный самородокъ, благоухающій сельскій цвѣтокъ, исполненный богатыхъ силъ и жизни, свободно расцвѣтшій на чистомъ деревенскомъ воздухѣ, подъ горячимъ лучами солнца, въ отличіе отъ тѣхъ махровыхъ, но хилыхъ и щедушныхъ оранжерейныхъ растений, какія произрастаютъ въ городскихъ теплицахъ. Такова философія *Черноземныхъ полей*, этого шедевра Маркова, проводимая и въ прочихъ произведеніяхъ его. Главный же недостатокъ всѣхъ его произведеній заключается въ чрезмѣрной растянутости всѣхъ сценъ и описаній при крайней бѣдности сюжета и отсутствіи быстроты и жизни въ его развитіи. Большой любитель сельской природы, Марковъ черезчуръ уже злоупотребляетъ обиліемъ пейзажей, къ тому-же при своемъ прекраснѣйшемъ часто вдается въ приторную сентиментальность, и тогда начинаетъ напоминать Карамзина не только чувствительно торжественнымъ тономъ, но и самымъ риторико-напыщеннымъ языкомъ.

### III.

Василій Ивановичъ Немпровичъ-Данченко родился на Кавказѣ, въ Тифлисѣ, въ 1848 году. Дѣтство провелъ онъ, слѣдуя за отцомъ въ его военныхъ походахъ, въ горахъ Дагестана, гдѣ тогда кипѣла война, и въ Грузіи, гдѣ находился полкъ его отца. Затѣмъ въ самомъ юномъ возрастѣ судьба кинула его изъ жаркаго юга на самый отдаленный сѣверъ, на Сѣверный океанъ, Мурманъ, Норвегію, Лапландію, Бѣлое море. И всю дальнѣйшую жизнь ему пришлось проводить въ непрестанныхъ странствіяхъ. Такъ въ 1875 году онъ объѣхалъ Волгу и Каспійское море, а на возвратномъ пути поднялся по Камѣ въ пермскую губернію, гдѣ по рѣкѣ Косвѣ, Чусовой и другимъ взслѣдовалъ самыя глухія захолустья Урала. Въ 1876 году онъ посѣтилъ нѣсколько монастырей и описалъ ихъ своеобразный бытъ. Въ слѣдующемъ году Немпровичъ-Данченко отправился на театръ военныхъ дѣйствій корреспондентомъ и оставался тамъ до конца военныхъ дѣйствій, принявши участіе въ дѣлахъ при Парапатѣ, въ бомбардированіи Журжева, въ переходѣ черезъ Дунай у Зимницы, въ

дѣлахъ 9-го, 10-го и 11-го августа на Шибкѣ, 30-го августа подѣ Плевной, 12-го октября подѣ Кадыкюмѣ, въ дѣлахъ на Зеленыхъ горахъ въ отрядѣ Скобелева, въ зимѣ переходѣ черезъ Балканы, въ сраженіи подѣ Шибкою 28-го декабря, въ занятіи Адрианополя и т. д. до Санъ-Стефано и заключенія предварительнаго мира. Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ онъ оказалъ большую храбрость, за что сверхъ другихъ отличій получилъ солдатскій георгіевскій крестъ. Послѣ войны, вернувшись въ Петербургъ, онъ не долго усидѣлъ на мѣстѣ и отправился сначала въ Крымъ и на Кавказъ, потомъ въ Грецію и Европейскую Турцію, причемъ вторично объѣхалъ Болгарію и Сербію, на нѣсколько мѣсяцевъ поселился въ Венгрію, на обратномъ пути еще разъ объѣхалъ Румынію. Въ 1881 году Немировичъ-Данченко посѣтилъ Египетъ, въ 1882 году Адриатическое поморье. Вслѣдъ затѣмъ онъ путешествовалъ по Испаніи и Марокко, Италіи и Алжиру, по Голландіи и Германіи и пр. И по сей день ведетъ онъ все ту-же кочевую жпзнъ, разъѣзжая по бѣлу свѣту и рѣдко останавливаясь гдѣ-бы то ни было на одинъ, на два мѣсяца.

Вниманію публики впервые привлекъ онъ именно какъ путешественникъ своими статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1874 года подѣ заглавіемъ *За Сѣвернымъ полярнымъ кругомъ, очерки Мурманскаго берега*. Вслѣдъ затѣмъ въ томъ-же году въ *Вѣстникъ Европы* появился его *Соловки*, описаніе правовъ и быта иноковъ Соловецкаго монастыря; эти въ высшей степени интересные очерки, въ которыхъ Соловецкій монастырь представляется въ видѣ своеобразной религіозно-промышленной общины совершенно въ народномъ духѣ, окончательно упрочили извѣстность Немировича-Данченко. Вслѣдъ затѣмъ появился его путевые очерки *Лапландія и лапландцы, Страна холода, По Волгѣ*. Но наиболѣе прославили его и были его шедевромъ военныя корреспонденціи, помѣщаемыя во время войны въ разныхъ газетахъ и затѣмъ изданныя отдѣльно подѣ заглавіемъ *Годъ войны*. Переведенная на всѣ европейскіе языки, книга эта пользуется европейской извѣстностью. Изъ позднѣйшихъ его путевыхъ очерковъ извѣстны *Даль* (поѣздка по Югу). *Въ юстяхъ* (поѣздка по Кавказу), *Послѣ войны* (поѣздка по Болгаріи), *Святая гора, Крестыанское царство*.

Во всѣхъ этихъ путевыхъ очеркахъ Немировичъ-Данченко является передъ нами не только увлекательнымъ рассказчикомъ, умѣющимъ подмѣчать и подчеркивать все существенное и завлекать читателей разнообразіемъ содержанія, но и художникомъ, владѣющимъ и горячимъ воображеніемъ, и прекраснымъ языкомъ. Особеннымъ мастерствомъ отличаются всѣ его пейзажи, блещущіе живымъ, яркимъ красками, вполне воскрешающіе передъ вами изображаемую природу во всѣхъ ея особенностяхъ, какъ роскошнаго, пламеннаго юга, такъ и холоднаго, безжизненнаго сѣвера.

Сверхъ путевыхъ очерковъ Немировичъ-Данченко написалъ рядъ романовъ, повѣстей и мелкихъ рассказовъ для дѣтей, для народа, святочныхъ и т. п. Таковы романы его *Гроза, Плевна и Шибка, Впередъ, Цари биржи, Кулисы, Въ ежесѣхъ рукавицахъ, Монахъ, Исповѣдь женщины, Семья богатырей* и пр.

Романы Немировича-Данченко стоятъ ниже его путевыхъ очерковъ и хотя читаются съ большимъ интересомъ и не лишены художественныхъ достоинствъ, но имъ сильно вредитъ излишняя пылкость воображенія автора, приводящая его къ

различнаго рода преувеличеніямъ, пересаливаніямъ, заставляющая очень часто впадать въ эффектный, но выходящій изъ реальныхъ рамокъ мелодраmatизмъ.

Гораздо выше и въ художественномъ, и въ идейномъ отношеніи его мелкіе рассказы изъ народнаго и военнаго быта, изданные въ 1889 году подъ заглавіемъ *Незамѣтные герои*, а также изъ *Святочныхъ рассказовъ* его, изданныхъ въ 1890 г., такія вещи, какъ *Забывшій рудникъ*, *Махмудкины дѣти*, *Богданъ Шибкинъ*. Своею захватывающею за сердце задушевною, гуманною и реальною правдою, исполненною глубокаго смысла, рассказы эти безспорно составляютъ украшеніе нашей литературы.

Накопецъ замѣчательнѣе Немпровичъ-Данченко и какъ поэтъ. Стихотворенія его, появившіяся въ продолженіе всей его литературной дѣятельности въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ и изданныя потомъ отдѣльно, если и не представляютъ какой-либо оригинальности, во всякомъ случаѣ при неоспоримой поэтичности замѣчательны тѣмъ, что Немпровичъ-Данченко—одинъ изъ тѣхъ немногихъ поэтовъ, среди появившихся втеченіе сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, которые остались вѣрны лучшимъ традиціямъ шестидесятихъ годовъ. Большинство стихотвореній Немпровича-Данченко исполнено серьезнаго идейнаго содержанія и въ то-же время чуждо какъ безцѣльной созерцательности, такъ и малодушнаго пессимизма.

#### IV.

Сергѣй Николаевичъ Терпигоревъ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ Сергѣй Атава, родился 12 мая 1841 г. въ селѣ Никольскомъ, тамбовской губ., усманскаго уѣзда. Родители его были дворяне. Уже въ гимназіи началъ онъ подписывать; въ печати-же появился въ 1861 году, когда въ журналѣ *Русскій міръ* былъ помѣщенъ рассказъ его *Черствая доля*. Восемь лѣтъ спустя, въ 1869 г., была напечатана въ *Отеч. Зап.* комедія его *Смѣяніе*. Постоянная-же литературная дѣятельность его началась съ 1880 года, когда въ *Отечественныхъ Запискахъ* начался печататься рядъ очерковъ его, изданныхъ въ 1881 году отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Оскуднѣніе*. Очерки эти имѣли такой успѣхъ, что несмотря на появленіе отдѣльнаго изданія тотчасъ-же послѣ печатанія въ столь распространенномъ журналѣ, какъ *Отечественныя Записки*, въ одинъ годъ оно было распродано, и въ слѣдующемъ 1882 году явилось новое изданіе, разошедшееся съ неменьшею быстротою. Причина такого успѣха очерковъ Терпигорева заключалась въ томъ, что они какъ нельзя болѣе соответствовали назрѣвшей злобѣ дня. Въ то время только что успѣлъ вполнѣ выясниться и овладѣть всѣми умами тревожный вопросъ о всеобщемъ дворянскомъ объединеніи, являвшемся роковымъ послѣдствіемъ отнятія крѣпостнаго права. Мы видѣли, что и Салтыковъ, втеченіе всѣхъ пятидесятихъ годовъ, посвящалъ свои произведенія главнымъ образомъ тому-же вопросу. И вотъ тѣ самые печальные факты борьбы за существованіе цѣлаго сословія, которые у Салтыкова выразились въ шпорохъ, часто совершенно отвлеченныхъ обобщеніяхъ, подхватилъ остроумный талантливый рассказчикъ и началъ иллюстрировать обобщенія Салтыкова въ рядѣ конкретныхъ, фотографическихъ очерковъ. Достоинство этихъ очерковъ заключается въ ихъ несомнѣнной

правдивости и прозрачной искренности. Хотя у автора никогда не было недвижимаго имѣнія, тѣмъ не менѣе очерки его производятъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы бесѣдуете съ кающимся дворяниномъ, который, не щадя живота, ни своего, ни присныхъ, съ полною откровенностью исповѣдывается передъ вами во грѣхахъ, унаслѣдованныхъ имъ отъ отцовъ и дѣдовъ, и за которые ему приходится терпѣть наказаніе, отвѣтствуя какъ за себя, такъ и за всѣхъ своихъ предковъ. Въ изображеніяхъ различныхъ способовъ и попытокъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни и открыть новые источники беззаботнаго и привольнаго существованія безъ всякаго труда, читатели найдутъ цѣлый рядъ фактовъ и болѣе или менѣе крупныхъ скандаловъ, которые у всѣхъ были на глазахъ и въ свѣжей памяти, что еще болѣе увеличивало интересъ очерковъ и обуславливало ихъ успѣхъ.

Подъ впечатлѣніемъ успѣха *Оскудѣнія* Терпигоревъ былъ приглашенъ М. М. Стасюлевичемъ писать воскресные фельетоны въ только что начавшей издаваться имъ новой газетѣ *Порядокъ*; но недолго оставаясь сотрудникомъ этой газеты, Терпигоревъ перешелъ въ *Новое Время*, и вотъ въ продолженіи десяти лѣтъ онъ каждое воскресенье пишетъ небольшіе фельетоны въ этой газетѣ, и эти фельетоны, равно отдѣльныя статьи, появляющіяся въ *Нови*, въ *Историческомъ Вѣстникѣ* и пр., представляютъ по большей части все ту-же скандальную хроникку дворянскаго легкомыслія. Фельетоны свои Терпигоревъ время отъ времени собираетъ въ отдѣльныя изданія: такъ въ 1885 году вышла *Желтая книга—сказаніе о новыхъ князьяхъ и старыхъ князьяхъ*, позже *Пестрядь*, *Потрешенныя тѣни* и проч.

Съ 1877 года начали появляться въ *Отечественныхъ Запискахъ* повѣсти И. Салова. Таковы были *Мельница купца Чесалкина*, *Грызунъ*, *Астидъ*, *Арендаторъ*, *Ольшанскій баринъ*; позже въ *Русской мысли* и другихъ періодическихъ изданіяхъ: *Иванъ Огородниковъ*, *Четыре времени года*, *Дѣвичьи грѣзы* и пр. Это одинъ изъ самыхъ талантливыхъ беллетристовъ нашего времени, наиболѣе вѣрный традиціямъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ и усвоившій характеръ гургуевскихъ произведеній. Такъ напримѣръ однимъ изъ обычныхъ приемовъ въ развитіи сюжетовъ въ очень многихъ его повѣстяхъ являются походы охотника, подвергающагося во время своихъ скитаній всевозможнымъ неожиданнымъ встрѣчамъ и приключеніямъ. Вы не найдете у него никакихъ претензій на высшее, обобщающее и проникающее въ глубокіе тайники жизни художественное творчество. Это безпретенціозный рассказчикъ-фотографъ, изображающій все то, что бросается ему въ глаза и поражаетъ его въ окружающей его деревенской жизни. Рисуя деревенскую жизнь во всемъ обаяніи ея, какое производитъ красоты природы въ соединеніи съ прелестями лѣтняго деревенскаго *far-niente* въ видѣ различныхъ рыбныхъ ловлей, охотъ и т. н., и контрастъ съ этою мирною идиллическою стороною И. Салова раскрываетъ передъ нами всю ту одуряющую, возмутительную неурядицу людскихъ отношеній, характеризующую наше безотрадное время. Передъ вами безконечною вереницею тянутся современныя герои деревенской безтолочи въ видѣ всякаго рода мірошниковъ, проходивцевъ, безсердечныхъ пауковъ, разставляющихъ повсюду сѣти черствой наживы, и вы только и слышите одни жалобные стоны несчастныхъ мухъ, попадающихъ въ эти сѣти. Обиженная, ободранная, голодающая деревня; обветшавшая барская усадьба съ зако-

лоченными объемами; поруганная женщина; разбитая и стертая съ лица земли чья-нибудь молодая жизнь, и надъ всѣмъ этимъ плотоядный, дикій и наглый хохотъ разжирѣвшаго Колупасва—вотъ обычные, преобладающіе мотивы разсказовъ И. Салова.

Мрачное, безотрадное впечатлѣніе, производимое разсказами И. Салова, еще болѣе усугубляется фотографичностью его таланта. Вы видите рядъ снимковъ съ конкретной дѣйствительности, несомнѣнно вѣрныхъ и живыхъ; они возмущаютъ васъ до послѣдней крайности, но тщетно ждете вы, чтобы авторъ освѣтилъ ихъ какимъ-нибудь философскимъ анализомъ, чтобы вы могли видѣть какъ причины раскрывающихся передъ вами явленій, такъ и исходъ изъ нихъ,—какой-бы ни было, но непременно исходъ, и вы чувствуете безконечное томленіе, точно ходите по больничной палатѣ, смотрите, какъ вокругъ васъ люди корчатся и стонутъ въ ужасныхъ мученіяхъ, и между тѣмъ вы не знаете, будетъ-ли конецъ этимъ мукамъ и какой именно,—выздоровленіе или смерть?

Къ довершенію всего у Салова есть еще одна особенная манера, которою онъ усугубляетъ мученія своихъ читателей: въ самый такой моментъ повѣсти, когда разыгрывается трагедія и читатель весь поглощенъ жалостью и ужасомъ,—тутъ-то Саловъ и пускается обыкновенно въ изображеніе подллическихъ сторонъ деревенской жизни. Тамъ гдѣ-нибудь за горою челоуѣка душатъ и онъ бьется въ предсмертныхъ судорогахъ, а авторъ ведетъ вдругъ читателя на рыбную ловлю и показываетъ, какъ кротко луна смотрится въ тихое, зеркальное озеро, какъ купаются въ немъ плакучія вербы, застывшія въ безмолвномъ снѣ, какъ радостно сверкаетъ разведенный костеръ, а возлѣ костра ожидаетъ рыболововъ непзмѣнная водочка съ разнообразными закусочками, и при этомъ разумѣется ужъ ведутся безконечные разговоры съ анекдотами о всякаго рода необыкновенныхъ происшествіяхъ. Саловъ въ этомъ отношеніи въ своемъ родѣ жестокий талантъ.

## У.

Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ родился въ Петербургѣ 3-го декабря 1819 г., воспитывался въ царскосельскомъ лицѣ, гдѣ кончилъ курсъ въ 1839 г. и поступилъ на службу въ канцелярію военнаго министерства. Въ 1845 году вышелъ въ отставку и посѣщалъ сначала университетъ, затѣмъ рисовальные классы академіи художествъ. Литературную дѣятельность свою Ахшарумовъ началъ подъ псевдонимомъ Чернова повѣстью *Двойникъ*, напечатанною въ № 1. *Отеч. Зап.* 1850 года. Изъ дальнѣйшихъ произведеній его наиболѣе выдаются: *Чужое имя*, романъ (*Р. В.* 1861 г.), *Мудреное дѣло* (*Эпоха* 1864 г.), *Натурищица* (*Отеч. Зап.* 1866 г.), *Граждане тѣса* (*Вс. Тр.* 1867 г.), *Концы въ воду* (*Отеч. Зап.* 1872 г.) и пр.

Являясь сверстникомъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, Ахшарумовъ значительно отличается отъ нихъ по характеру и строю своихъ произведеній. Такъ вы не найдете у него ни той простоты сюжетовъ, ни той художественности, какими отличаются большинство произведеній беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Сюжеты романовъ и повѣстей Ахшарумова всегда бывають крайне затѣйливы, запутаны, мелодраматичны; иногда въ основѣ ихъ лежитъ уголовный процессъ (*Концы въ воду*); иногда-же авторъ впадаетъ въ крайнюю фантастичность (*Двойникъ*, *Натурищица*). Журналы съ охотою помѣ-

щают произведенія Ахшарумова, такъ какъ и до сихъ поръ еще существуетъ масса читателей, любящихъ въ романѣ болѣе всего сказочную занимательность сюжета; но особеннаго значенія романы Ахшарумова никогда не имѣли и никакого яркаго слѣда въ литературѣ они послѣ себя не оставляютъ.

Сверхъ своихъ романовъ Ахшарумовъ написалъ массу критическихъ статей и замѣчательно при этомъ, что въ то время, какъ въ своихъ произведеніяхъ онъ не обнаруживалъ никакихъ особенныхъ художественныхъ достоинствъ, всю жизнь онъ ратовалъ за чистое искусство, начиная съ первой своей критической статьи *Поработеніе эстетики*, въ которой онъ вооружился надъ водарившимся въ то время утилитаризмомъ въ искусствѣ и кончая безцвѣтными и вялыми статьями во *Всемирномъ трудѣ*, въ которыхъ онъ продолжалъ отстаивать все то же свое крайне обветшалое эстетическое знамя.

Николай Александровичъ Лейкинъ вышелъ изъ купеческой среды. Его родъ состоитъ въ петербургскомъ купечествѣ съ 1781 года и ведетъ свое начало изъ любимовскаго уѣзда, ярославской губ. Отецъ Лейкина, Александръ Ивановичъ, торговалъ шелковыми товарами въ Гостинномъ дворѣ; мать—Любовь Ивановна Иванова, происходила изъ крестьянскаго сословія, и оба они были довольно образованные люди. Отецъ цитировалъ даже строфы изъ *Евгенія Онегина* и *Горя отъ Ума*, мать очень любила романы Диккенса. Лейкинъ родился въ Петербургѣ 8 декабря 1841 года, и воспитаніе получилъ въ реформатскомъ училищѣ, курсъ котораго кончилъ въ 1858 году съ прекраснымъ знаніемъ нѣмецкаго языка и съ любовью къ естественно-научнымъ занятіямъ. Нѣмецкимъ языкомъ онъ владѣлъ настолько, что въ училищѣ сочинялъ цѣлыя пьески по-нѣмецки (также и на русскомъ), которые и разыгрывались въ ученическихъ спектакляхъ. По выходѣ изъ училища, Лейкинъ помогалъ отцу въ торговлѣ, служилъ приказчикомъ и въ кладовой иностранныхъ товаровъ Боненблюста, а затѣмъ въ петербургскомъ страховомъ обществѣ лѣтъ пять. Послѣ этого онъ преданъ литературѣ, которую любилъ съ дѣтства. Первымъ печатнымъ произведеніемъ Лейкина было стихотвореніе *Кольцо*, появившееся въ *Русскомъ Мирѣ* Героглифова, а затѣмъ появился первый его рассказъ *Гробовщики* въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ* за 1861 г. Затѣмъ Лейкинъ началъ сотрудничать въ *Искрѣ*. Это сблизило его съ Курочкиными, Василиемъ и Николаемъ, и Курочкины, въ особенности-же Николай, имѣли самое благотворное вліяніе на развитіе таланта Лейкина. По крайней мѣрѣ конечно этому вліянію былъ обязанъ Лейкинъ тѣмъ, что на всю жизнь онъ остался безукоризненно честнымъ писателемъ, направлялъ свой юморъ лишь на обличенія темныхъ сторонъ русской жизни, невѣжества и самодурства, и ни разу не обмолвился ни однимъ фальшивымъ звукомъ.

Кромѣ *Искры* Лейкинъ печатался и въ прочихъ періодическихъ журналахъ того времени, какъ-то: въ *Библіотекѣ для Чтенія* Боборыкина, въ *Современникѣ* Некрасова и въ *Отечественныхъ Запискахъ* Краевского. Къ этому періоду относятся два крупныя его произведенія—*Апраксинцы* и *Биржевыя артельщики*. Въ 1869 году Лейкинъ сотрудничалъ въ *Петербургскомъ Листкѣ*, гдѣ помѣстилъ повѣсть *Кусокъ хлѣба*, а въ 1871 г. въ журналѣ *Библіотека* появился одинъ изъ лучшихъ его романовъ *Христова невеста*. Вскорѣ послѣ того онъ перешелъ въ

*Петербургскую Газету*, гдѣ помимо сценъ, фельетоновъ и маленькихъ разсказовъ Лейкинъ печаталъ рядъ историческихъ изслѣдованій о народныхъ праздникахъ. *Петербургскую Газету* Лейкинъ одно время покинулъ было, перейдя въ *Петербургскій Листокъ*, но затѣмъ снова возвратился черезъ шесть мѣсяцевъ, и съ тѣхъ поръ не покидаетъ этой газеты. Сверхъ упомянутыхъ уже нами наибольшаго вниманія заслуживаютъ слѣдующія произведенія: *Наши забавники*, юмористическіе разсказы, *Шуты гороховые*, картинки съ натуры, *Неунывающие россияне*, разсказы и картинки съ натуры, *Стукинъ и Хрустальниковъ*, романъ изъ жизни биржевыхъ дѣятелей, *Сатиры* и *Нимфа*, тоже романъ и пр.

Кромѣ Курочкиныхъ, безъ сомнѣнія не малое вліяніе на развитіе таланта Лейкина имѣли комедіи Островскаго, и подъ ихъ впечатлѣніемъ Лейкинъ выступилъ обличителемъ гостинодворскаго и апраксинскаго темнаго царства въ pendant замоскворѣцкому. Но конечно у Лейкина вы не найдете и тѣни того глубокаго проникновенія въ изображаемый бытъ, какъ у Островскаго: драматической стороны этого быта для Лейкина не существуетъ. Это талантъ по преимуществу комическій. Лейкинъ изображаетъ одни смѣшныя стороны купеческихъ нравовъ, обращая главное вниманіе на внѣшнюю ихъ грубость и некультурность. Къ тому-же главный недостатокъ Лейкина заключается въ отсутствіи чувства художественной мѣры, вслѣдствіе чего онъ слишкомъ злоупотребляетъ врожденнымъ своимъ остроуміемъ и комизмомъ, утрируя, пересаливая, впадая въ балаганный шаржъ и грубую каррикатурность. Очень часто выѣзжаетъ онъ исключительно на одномъ коверканіи иностранныхъ словъ и названій предметовъ высшаго образованія его невѣжественными героями.

Не мало мѣшаетъ правильному развитію и проявленію таланта Лейкина необычайная плодовитость его. Не считая десяти пьесъ, которыя съ успѣхомъ шли на Императорскихъ и частныхъ театрахъ, число его произведеній превышаетъ уже семь тысячъ. Эта по истинѣ чудовищная производительность не мѣшала Лейкину въ одно время съ успѣхомъ подвизаться на сценѣ въ качествѣ актера подъ псевдонимомъ Водянова. Сверхъ того онъ издаетъ и редактируетъ сатирическій журналъ *Осколки*, и состоя гласнымъ въ думѣ, принимаетъ участіе въ различныхъ комписіяхъ. Понятно, что ему не достаетъ времени ни обдумывать, ни обрабатывать свои произведенія, а остается, что называется, валить съ плеча, до дна исчерпывая одинъ и тотъ-же источникъ—нравы купечества Гостинаго и Апраксина дворовъ. Понятно, что изо дня въ день, изъ года въ годъ вы находите у Лейкина неизмѣнно одни и тѣ-же лица самодуровъ тятенекъ, ихъ полоумныхъ и забитыхъ половинокъ, придурковатыхъ сынковъ, кутилъ и развратниковъ исподтишка, и купеческихъ дочекъ, вѣчно спящихъ у косяcataго окошечка и дѣлающихъ глазки проезжающимъ мимо офицерамъ. Все отличіе одного разсказа отъ другого заключается въ томъ, что тѣ-же неизмѣнныя личности изображаются, смотря по временамъ года и злобамъ дня, то на гуляньѣ, то на крестинахъ, то на свадьбѣ, то на масленицѣ на блинахъ, то на художественной выставкѣ, то въ заграничномъ путешествіи и т. п. Тѣмъ не менѣе нельзя отказать Лейкину въ талантѣ исполнѣ самобытномъ и оригинальномъ. Онъ создалъ свой собственный комическій юморъ, который конечно умретъ вмѣстѣ съ нимъ и тѣми правами, изображенію которыхъ онъ посвятилъ свою дѣятельную жизнь.

~~~~~


ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

I — Общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаблонъ. II — Викторъ Петровичъ Ключниковъ. III — Николай Семеновичъ Лѣсковъ. IV — Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій. V — Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ. — Василій Григорьевичъ Авсѣенко. — Константинъ Ѳеодоровичъ Головинъ. — Василій Петровичъ Авенариусъ.

I.

Начало консервативной беллетристики относится къ 1862 году, то-есть возникла эта беллетристика какъ разъ вмѣстѣ съ первыми симптомами реакціи, обнаружившимися послѣ студенческихъ исторій 1861 года, пожаровъ 1862 года и вмѣстѣ съ польскимъ возстаніемъ. Первыми образцами этой беллетристики русская литература была обязана все той-же плеядѣ сороковыхъ годовъ, отъ которой ведетъ свое начало и либеральная беллетристика. Починъ принадлежитъ Тургеневу съ его *Отцами и дѣтьми*; вслѣдъ за тѣмъ выступилъ Писемскій со своимъ *Взбаломученнымъ моремъ*; затѣмъ Достоевскій провелъ консервативно-реакціонныя идеи въ своихъ романахъ *Преступленіе и наказаніе* и *Бѣсы*; наконецъ Гончаровъ провелъ тѣ-же идеи въ своемъ романѣ *Обрывъ*.

Отчасти подъ вліяніемъ этихъ литературныхъ корифеевъ, отчасти подъ давленіемъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе усиливавшейся реакціи, мало-по-малу образовалась цѣлая школа реакціонной беллетристики, не замедлившая выработать для своихъ романовъ опредѣленный шаблонъ, вполне соответствовавшій проводимымъ этою школою идеямъ. — При этомъ беллетристы реакціоннаго лагеря, подвизавшіеся по большей части на страницахъ *Русскаго Вѣстника*, до такой степени всѣ подрядъ пѣли постоянно въ одинъ голосъ и оставались неизмѣнно вѣрными своему шаблону, что нѣтъ ничего легче начертать стереотипный планъ реакціоннаго романа, и можно быть увѣреннымъ, что большинство подобнаго рода романовъ, вышедшихъ въ послѣднія 10 лѣтъ, какъ разъ подходитъ подъ этотъ шаблонъ.

Такъ въ то время, какъ въ беллетристикѣ радикальнаго лагеря аристократическіе и вообще дворянскіе классы представлялись обыкновенно въ умственномъ отношеніи отсталыми, а въ нравственномъ — изнѣженными, растленными, выѣстланными всевозможныхъ пороковъ и золъ, идеальными-же представителями прогресса и спасите-

лими отечества—рисовались бѣдные разпочипцы, выходцы если не прямо изъ народа, то изъ близъ него находящихся слоевъ,—въ романахъ реакціоннаго лагеря мы видимъ какъ разъ наоборотъ: аристократическіе и дворянскіе классы рисуются въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ; въ нихъ однимъ полагается залогъ спасенія расшатаннаго общества, поскольку они остаются вѣрными исконнымъ, старорусскимъ культурнымъ традиціямъ; представители-же движенія, всѣ увлекшіеся новыми идеями шестидесятыхъ годовъ, изображаются въ видѣ безпашанныхъ отрицателей нигилистовъ, отвергающихъ религію, семью, собственность, государство, нагло смѣющихся надо всѣмъ святымъ и завѣтнымъ и посему готовыхъ на всякое преступленіе ради матеріальныхъ выгодъ, которыя у нихъ скрываются подъ либеральными и прогрессивными фразами.

Въ силу подобной тенденціи, неизбѣнно проводимой въ каждомъ реакціонномъ романѣ, на первомъ планѣ рисуется обыкновенно герой охранитель — красивый, статный, съ изысканно-свѣтскими манерами. Если онъ не князь и не графъ, то во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ очень древнему дворянскому роду и рѣдкій романъ обходится безъ хотя одной главы, посвященной характеристикѣ предковъ и разбору по листочкамъ генеалогическаго древа героя. Характера герой долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро отважнаго, немного, пожалуй, вспыльчиваго. Убѣжденіями проникнуть онъ конечно ужъ самыми благоразумными и спасительно-консервативными, и всѣ силы души его стремятся къ борьбѣ съ неправдою и зломъ на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности, въ особенности-же охранитъ Россійской имперіи.

Еще до своего служебнаго поприща онъ начинаетъ уже спасать отечество въ какой-нибудь либеральной гостинио губернскаго города, разразившись тирадой о паденіи современныхъ правовъ, о томъ, что лягушки никогда не могутъ замѣнить того божественнаго уноенія, какое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранною прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ любить все изящное и любить родину паче жизни. Подобная рѣчь возбуждаетъ всеобщій смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чья-нибудь глубокія снѣи очи загуманиваются томною задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и загораются живымъ участіемъ, когда герою мимоходомъ среди споровъ удастся сбить съ толку отрицающаго гимназиста или до такой степени опѣшпть и сконфузить хвастливаго пана Бзексержинскаго, что панъ, схвативши свой конфедератку, быстро улетываетъ, кляня злобою и обѣщаясь мстить герою до смерти.

Затѣмъ обыкновенно герой опредѣляется на государственную или земскую службу въ качествѣ мирового посредника, судобнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь начинается уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Зло это представляется въ двоякомъ конечно видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной во образѣ пана Бзексержинскаго, который подъ предлогомъ служенія своей отчизнѣ на самомъ дѣлѣ только о томъ и помышляетъ, какъ-бы ему ехидно отомстить герою романа за понесенную въ присутствіи синеокой дѣвы обиду; 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, который изображается въ романахъ не иначе какъ папурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды, возмущающихъ крестьянъ, подсовывающихъ въ карманы героя возмутительныя про-

жизни, посягающих наконец на самую жизнь героя,—и все это не по собственному побуждению, а под влиянием все той-же польской интриги. В борьбе со всеми этими псхадіями ада герой бывает оклеветанъ и попадаетъ подъ судъ; его отравляютъ; нѣсколько разъ истекаетъ онъ кровью отъ нанесенныхъ ранъ, но въ концѣ концовъ все-таки выходитъ сухимъ изъ воды, побѣдя и посрами вокругъ себя все и вся: и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Варіаціи составляютъ тѣ современные событія, которыя стоятъ на первомъ планѣ. Если авторъ главное вниманіе обращаетъ на польскую интригу, онъ посылаетъ героя въ западный край, и тотъ тамъ геройствуетъ на славу; если-же романпстъ направляетъ на панургово стадо, то герой ѣдетъ въ Петербургъ въ самый разгаръ движенія шестидесятыхъ годовъ и вращается здѣсь въ различныхъ студенческихъ, нигилистическихъ или литературныхъ кружкахъ; или-же отправляется за-границу, сталкивается тамъ съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути спасаетъ отъ гибели какого-нибудь юнца, выбросивши за бортъ парохода пукъ прокламацій, которыя юный спутникъ везъ неблагоразумно въ отечество.

Въ перемежку между всеми этими общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя. Въстѣ со всеми героическими качествами онъ конечно уже обладаетъ и даромъ покорять женскія сердца. Женщины взапуски влюбляются въ него съ первой встрѣчи, и у героя обыкновенно въ большинствѣ романовъ проходятъ три вида любви: одна любовь имѣетъ игривый и скабресный характеръ; предметомъ ея является или роскошная губернаторша въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычнаго друга, съ которой герой, не любящій осквернять чужихъ супружескихъ ложей, вовсе не думалъ близко сходиться, но совершенно случайно ему пришлось ночевать съ нею въ двухъ смежныхъ комнатахъ, и онъ сдѣлался печальною жертвою ея страстности. Другая любовь, вспыхивающая внезапно, какъ ураганъ, доводящая героя до высшаго экстаза страстности и повергающая его въ крайнее изнеможеніе и нравственное ослѣпленіе, это—любовь къ какой-нибудь юной полькѣ. вродѣ сестры пана Вексержипскаго, а не то къ росіянкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей какой-нибудь кровавой смертью, положимъ хоть на баррикадѣ во время осады Парижа. Наконецъ третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но зато впоследствии самая глубокая, истинная и безконечная, это—любовь къ той синееокой дѣвѣ, которая, въ репандѣ герою, представляетъ собою типъ коренной русской женщины, стремящейся къ семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной къ какимъ-либо мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой во всехъ отношеніяхъ идеальной своей суженой герой почиваетъ отъ всехъ своихъ тревоженій и, уставши охранять отечество собственною грудью, посвящаетъ остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

Къ этому ко всему слѣдуетъ присоединить неудержимую, чисто какую-то лакейскую страсть изображать въ обольстительномъ свѣтѣ великосвѣтскіе правы, балы, рауты, придворные выходы и приемы, нарядные обѣды, пирушки золотой молодежи и пр., пр.,—страсть, побудившая Достоевскаго обозвать писателей этого рода «коленкоровыхъ тапашекъ безнозядными Ювеналами».

II.

Но прежде чѣмъ выработался подобнаго рода шаблонъ, реакціонный романъ окончательно застылъ въ немъ, онъ пережилъ переходный періодъ въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, составляющій мостъ отъ реакціонныхъ романовъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ къ беллетристичѣ *Русскаго Вѣстника* семидесятыхъ годовъ. Дѣло въ томъ, что прогрессивныя идеи шестидесятыхъ годовъ не сразу уступили свое господство противоположнымъ имъ реакціоннымъ принципамъ. Было время, когда люди, рѣшительно склонившіеся на путь реакціи, все еще оставались до извѣстной степени вѣрны идеямъ шестидесятыхъ годовъ и ратовали противъ партіи движенія во имя именно этихъ самыхъ идей, отрицая не самое движеніе, а тѣ безобразныя формы, какія оно приняло вслѣдствіе того, что люди съ одной стороны не понимали тѣхъ идей, за которыя ратовали, не доразвившись еще до нихъ, а съ другой — были слишкомъ искалѣченными дурными условіями прежнихъ порядковъ.

Такимъ первымъ обличителемъ демократовъ съ ихъ-же точки зрѣнія явился Викторъ Петровичъ Ключниковъ. Родомъ изъ дворянъ, онъ родился 10-го марта 1841 года въ смоленской губерніи, въ гжатскомъ уѣздѣ. Дѣтство провелъ въ Москвѣ. Воспитывался первоначально въ частномъ пансіонѣ; затѣмъ въ 1851 году поступилъ въ 4-ю московскую гимназію, преобразованную въ это время изъ бывшаго дворянскаго института. Втеченіе гимназическаго курса пользовался руководствомъ нѣкоторыхъ членовъ кружка Станкевича, напримѣръ поэта Красова, преподававшаго русскую словесность, и др. Кончивши гимназическій курсъ съ золотою медалью, Ключниковъ въ 1857 году поступилъ въ московскій университетъ по естественному отдѣленію физико-математическаго факультета. По окончаніи курса въ 1861 году со степенью кандидата, Ключниковъ уѣхалъ въ свое имѣніе харьковской губерніи, сумскаго уѣзда, гдѣ провелъ лѣто и осень выѣстѣ съ своимъ дядей, поэтомъ сороковыхъ годовъ, И. П. Ключниковымъ, имѣвшимъ сильное вліяніе на ходъ его развитія. Въ 1862 году, вернувшись въ Москву, онъ поступилъ на службу въ 8-й департаментъ правительствующаго сената. Прослуживъ здѣсь около года помощникомъ секретаря, Ключниковъ занялся педагогическою дѣятельностью, а затѣмъ вскорѣ совсѣмъ оставилъ службу и всецѣло посвятилъ себя литературѣ. Въ 1864 году былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* первый романъ его *Марсво*, обратившій на себя вниманіе публики и доставившій автору извѣстность. Послѣ того Ключниковъ занялся при редакціи *Русскаго Вѣстника* переводами, преимущественно съ англійскаго языка (такъ бѣлая часть романа Диккенса *Нашъ общій другъ* переведена имъ). Въ 1866 году напечатанъ былъ имъ въ *Литературной библіотекѣ*, второй романъ *Болшіе корабли* не имѣвшій уже успѣха и мало обратившій на себя вниманія.

Въ концѣ 1868 года Ключниковъ пріѣхалъ въ Петербургъ по приглашенію покойнаго издателя *Зари* В. В. Кашперова, и состоялъ постояннымъ сотрудникомъ этого журнала до 1870 года, когда былъ утвержденъ редакторомъ только-что основаннаго журнала *Ива*. Съ этого времени Ключниковъ окончательно отдался редакторской дѣятельности: до 1876 года въ журналѣ *Ива*, а затѣмъ по составленію

шемуся подъ его редакціею *Всенаучному* (энциклопедическому) словарю. Въ 1880 г. Ключниковъ вернулся въ Москву и былъ сотрудникомъ *Московскихъ Вѣдомостей*. Съ 1883 по 1886 годъ завѣдывалъ *Русскимъ Вѣстникомъ*, а съ 1887 года снова сталъ редакторомъ *Нивы*. Сверхъ вышеупомянутыхъ романовъ, кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ рассказовъ и статей, преимущественно по искусству, Ключниковъ написалъ двѣ повѣсти для дѣтей: *Друная жизнь* (1865 г.) и *Государь-отрокъ* (1880 г.)

Воспитаніе въ идеалистическомъ духѣ людьми сороковыхъ годовъ не замедлило сказаться въ произведеніяхъ Ключникова. Вѣрный демократическимъ идеямъ этой эпохи, онъ тѣмъ не менѣе не могъ оцѣнить прямо изъ сороковыхъ годовъ вышедшее движеніе шестидесятыхъ годовъ, такъ какъ въ движеніи этомъ искалъ не одного осуществленія завѣтныхъ стремленій своихъ отцовъ и дальнѣйшаго развитія ихъ идей, а идеальныхъ людей, у которыхъ дѣло ни на одну іоту не расходилось-бы съ словомъ и въ каждомъ своемъ поступкѣ они неизмѣнно осуществляли-бы свои идеалы и принципы. Отсутствіе такихъ воплощенныхъ идеаловъ въ жизни и привело Ключникова къ полному отрицанію всего движенія шестидесятыхъ годовъ. Такъ въ романѣ *Марево* героиня Нина является дочерью одного изъ передовыхъ людей сороковыхъ годовъ, вокругъ котораго, по словамъ автора, какъ вокругъ центра, группировалось одно время все мыслящее въ Россіи. Непонятый своимъ вѣкомъ, не найдя никакого исхода своимъ стремленіямъ, онъ зачахъ и умеръ на рукахъ дочери, въ которую вложилъ весь пылъ своихъ неудовлетворенныхъ, осмѣянныхъ стремленій: „Если ты пойдешь по пути, завѣщенному тебѣ отцомъ, ты будешь его мстителемъ, потому что въ тебя вложены великія силы... Если ты пойдешь противъ отца, я не осужу тебя; свобода прежде всего; но неужели моя Нина пойдетъ противъ отца...“

И вотъ Нина вступаетъ въ вихрь современнаго движенія и въ толпу приверженцевъ этого движенія не изъ одного увлеченія модными идеями, а ради исполненія завѣщанія отца, какъ мстительница за его погубленную жизнь; но рядъ тяжелыхъ опытовъ приводитъ ее къ горькому разочарованію и убѣжденію, что все движеніе представляется ничѣмъ инымъ, какъ маревомъ, миражемъ, а поборники его—рядъ вопіющихъ противорѣчій высокихъ идей съ дрянными или низкими поступками.

«Всѣ формы жизни, гоноритъ она, прошли передо мною; всѣ направленія дѣятельности сталкивались вокругъ меня, ломал и уничтожал другъ друга; я увлекалась то тѣмъ, то другимъ, но приступить не могла ни къ одному. Какъ только я осматривалась въ новомъ положеніи настолько, что затаспанная ложь, не чуждая ни одной партіи, начинала мнѣ скучать черезъ декоративную выфинность, я чувствовала себя разбитою, уничтоженною, замирала на время для жизни, замыкалась въ самой себѣ. Я не проклинала прежнихъ товарищей, я молча удалялась отъ нихъ; они честили меня измѣнницей святому дѣлу и прочими кличками, къ которымъ только теперь я совершенно равнодушна,—только теперь, когда всѣ стремленія мои разбиты дѣйствительностію, когда я разочаровалась въ себѣ и во всемъ, за что жертвовала собою. Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались мнѣ поборниками правды, добра, свободы, всего не потеряннаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насколько эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ сталъ коршунъъ тащить другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видѣла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ—звучный предлогъ для возвышеній однихъ тирановъ на счетъ другихъ; я знаю всѣ ихъ средства къ

достиженію цѣли самой низкой, прикрытой маской національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тѣмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры до времени. Это было послѣднею гирею на колеблющіеся вѣсы... Нѣтъ словъ выразить презрѣнія, нѣтъ мѣрки для ненависти, которая почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ отвернулась назадъ... Тамъ, за мною осталась Вѣрочка, сперва творившая себѣ потѣху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ; тамъ наконецъ накопилась мелюзга, уже въ сравненіи съ которою эти дѣти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высотѣ, изломанная, искалѣченная, безъ всякой охоты къ жизни, безъ всякой вѣры въ будущность...»

Отвергнувши такимъ образомъ все современное движеніе вслѣдствіе нравственной несостоятельности приверженцевъ его, Ключниковъ подобно Писемскому почилъ на испоконныхъ народныхъ началахъ въ духѣ квасного патріотизма и домостроя, олицетвореніемъ вѣрности которымъ и является герой романа Русановъ, скроенный вполне по вышеозначенному шаблону всѣхъ консервативныхъ романовъ.

III.

Рядомъ съ Ключниковымъ такимъ-же обличителемъ новыхъ людей во имя ихъ-же плей является передъ нами *Николай Семеновичъ Лѣсковъ*, долгое время бывший болѣе извѣстнымъ публикѣ подъ псевдонимомъ *М. Стебницкаго*. Онъ происходитъ изъ дворянской семьи; родился 4-го февраля 1831 въ селѣ Гороховѣ, орловской губерніи и уѣзда; дѣтскіе-же годы провелъ въ другомъ селеніи той-же губерніи, пронскаго уѣзда, с. Панинѣ. Воспитаніе получилъ онъ въ орловской гимназіи. Оспротѣвъ шестнадцатилѣтнимъ юношей, рано принужденъ онъ былъ содержать себя тяжкимъ трудомъ, терпя нужду и всякія невзгоды, такъ какъ все имущество, оставшееся послѣ отца, сгорѣло въ эпоху большихъ орловскихъ пожаровъ сороковыхъ годовъ. Сперва онъ служилъ недолго на государственной службѣ, потомъ на частной, требовавшей частыхъ разъѣздовъ. Эти разъѣзды дали ему возможность близко познакомиться съ бытомъ всѣхъ сословій, вынести массу самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Обогащенный такимъ образомъ знаніемъ жизни и владѣвшій отъ природы недюжиннымъ талантомъ, Лѣсковъ, выступивъ на литературное поприще въ 1860 году, быстро пріобрѣлъ литературную извѣстность. Исполняя разнообразныя литературныя работы, онъ вращался въ самыхъ передовыхъ и либеральныхъ кружкахъ, и никто не подозрѣвалъ въ немъ будущаго гонителя того самаго движенія, приверженцемъ котораго онъ въ то время являлся. До сихъ поръ сохранилась еще фотографическая карточка, на которой Лѣсковъ является снятымъ вмѣстѣ съ Д. Д. Минаевымъ. Но нѣсколько неосторожныхъ словъ по случаю петербургскихъ пожаровъ 62-го года, оброненныхъ въ фельетонѣ въ *Сѣверной пчелѣ*, словъ самихъ по себѣ совершенно невинныхъ, по не совсѣмъ тактичныхъ, подняли страшную бурю въ то горячее и тревожное время. Вся крайняя пресса накинута на Лѣскова, какъ на подстрекателя полиціи и толпы противъ учащейся молодежи, какъ на отступника, перекинувагося въ противный лагерь. Началась положительная травля; имя Стебницкаго сдѣлалось чуть не браннымъ словомъ. Этотъ неожиданный инцидентъ такъ потрясъ Лѣскова и въ концѣ

концовъ ожесточилъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлался перебѣжчикомъ, и первымъ результатомъ озлобленія былъ романъ *Некуда*, появившійся въ 1865 году.

Самое заглавіе романа показываетъ, что онъ носитъ тотъ-же общій характеръ разочарованія движеніемъ, какъ *Взбаломученное море* Писемскаго, какъ *Марево* Ключникова и *Дымъ* Тургенева. Если движеніе это ни что иное, какъ мыльные пузыри, марево, дымъ, то, конечно, лучшимъ людямъ дѣться *некуда*—россійская земля сошлась для нихъ клиномъ: все старое никуда не годится, новое несостоятельно,—остается ложиться въ хладныя могилы. Лѣсковъ употребилъ буквально тѣ-же приемы, что и Ключниковъ: на первый планъ выдвинуты нѣмъ два положительные типа: идеальный социалистъ Райнеръ и столь-же идеальная социалистка Лиза Бахарева. Подобно Иннѣ, Райнеръ воодушевленъ смертью своего отца, разстрѣляннаго швейцарскаго революціонера. Разочаровавшись въ европейской жизни, Райнеръ ѣдетъ въ Россію, предполагая найти въ ней самородный социализмъ, коренящійся на чисто-народной почвѣ, но находитъ толпу растленныхъ нигилистовъ. Въ отчаяніи кидается онъ въ польское возстаніе, предполагая тамъ обрѣсти искомый социализмъ; но и тамъ не находитъ, и кончаетъ жизнь плѣномъ и разстрѣляніемъ. Съ своей стороны Лиза Бахарева, непонятая и угнетенная въ семейной жизни, ждетъ выхода изъ нея въ современномъ движеніи, бросается въ толпу тѣхъ-же коварныхъ нигилистовъ; но разочаровавшись въ нихъ, не знаетъ, куда преклонить голову, находитъ, что дѣться *некуда*, и томится жаждою труда, не зная за что приняться, пока зрѣлище смерти Райнера не потрясаетъ всей ея природы, и тогда, поверженная на смертный одръ, она умираетъ въ кругу благонамѣренныхъ друзей своихъ, оплакавшихъ въ ней несчастную жертву современнаго движенія.

Подобно герою романа Ключникова Русанову благонамѣренные друзья Лизы ссвѣщаютъ въ себѣ съ здравымъ смысломъ всевозможныя доблести патристическія и семейныя. Такъ напримѣръ, описывая свадьбу Жени Главацкой, Лѣсковъ не преминулъ упомянуть, какъ сообразно съ праотеческими обычаями къ дѣвственной кровати Жени была смѣло и твердо приставлена другая кровать, какъ монахиня Теокиста, похаживая по спальнѣ, то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ; какъ затѣмъ молодая жарко молилась съ монахиней о ниспосланіи брака честна и соблюденіи ложа нескверна, и затѣмъ авторъ объявляетъ, что мы не имѣемъ права далѣе оставаться въ этой комнатѣ, и тѣмъ заканчиваетъ картину благонамѣннаго и благочестиваго брака. Но этимъ только и ограничивается сходство романовъ Стебницкаго и Ключникова.

Далѣе мы видимъ радикальное ихъ различіе въ томъ отношеніи, что Ключниковъ въ своемъ романѣ остается въ предѣлахъ художественнаго творчества: онъ изобразилъ одни общіе типы. Лѣсковъ-же вывелъ въ своемъ романѣ рядъ портретовъ живыхъ людей, по большей части общезвѣстныхъ, участвовавшихъ въ движеніи того времени и лично ему знакомыхъ. Такъ многіе узнали въ романѣ возбуждавшую въ то время большую сенсацию *знаменскую коммуну*, Слѣпцова и пр. Самыя герои *Некуда* Лиза Бахарева и Райнеръ (извѣстный въ то время вращавшійся среди кружковъ Артуръ Бенн),—въ свою очередь портреты живыхъ людей. Но изображенные лица увидѣли себя въ крайне каррикатурномъ видѣ. Масса длинныхъ слуховъ и безобразныхъ

сплетень, ходившихъ въ то время въ взволнованномъ обществѣ, воспроизведены Лѣсковымъ въ его романѣ, какъ несомнѣнныя истины. Все это приводитъ романъ на степень желчнаго и злобнаго политическаго памфлета, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ встрѣтилъ въ литературѣ и въ мало-мальски мыслящихъ кругахъ общества дружное негодованіе. Послѣ выхода въ свѣтъ романа Лѣсковъ подвергся новымъ порицаніямъ и нападеніямъ со стороны всей либеральной прессы. Это еще болѣе озлобило его. Онъ разразился массою всякаго рода и беллетристическихъ, и публицистическихъ статей, очерковъ, повѣстей, воспоминаній, характеристикъ самаго памфлетически-жолчнаго, необузданно-злобнаго характера. Наконецъ онъ дописался до романа *На ножахъ*, появившагося въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Въ романѣ этомъ озлобленіе автора доходитъ положительно до бѣшенства, до галлюцинацій. Нигилисты рисуются здѣсь экстрактами всѣхъ семи смертныхъ грѣховъ. Это чудовищя, помышляющія лишь о наживѣ, и ради нея готовы на самыя ужасныя злодѣянія. Самыя заглавія частей показываютъ вамъ, какія неистовые ужасы изображаются въ романѣ: 1) *Болъ врача ищетъ*, 2) *Бездна призываетъ бездну*, 3) *Кровь*, 4) *Мертвый узелокъ*, 5) *Темныя силы*, 6) *Черезъ край*.

По счастью одними политическими памфлетами не ограничивается литературная дѣятельность Лѣскова. Онъ написалъ массу повѣстей и рассказовъ, чуждыхъ политическихъ тенденцій, и въ этихъ рассказахъ обнаружилъ весьма недюжинный талантъ и разностороннее знаніе русской жизни. Особенно въ этомъ отношеніи славится романъ его *Соборяне*, знакомящій насъ весьма обстоятельно съ бытомъ сельскаго духовенства. Большую сенсацію возбудили вышедшія въ свѣтъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ *Архіерейскія мелочи*, рядъ бытовыхъ картинъ, обличающихъ нѣкоторыя весьма темныя стороны быта нашей высшей духовной іерархіи.

Очерки эти возбудили такую-же бурю въ консервативномъ лагерѣ, какую романъ *Некуда* произвелъ въ либеральномъ. Авторъ и въ правительственныхъ сферахъ впалъ въ немилость. Въ послѣднее время онъ пишетъ произведенія, чуждыя какихъ-либо опредѣленныхъ политическихъ тенденцій, и остается на нейтральной почвѣ то исторической, то бытовой беллетристики. Между прочимъ онъ пристрастился къ Прологамъ и очень часто почерпаетъ изъ нихъ сюжеты, которые обрабатываетъ въ археологическомъ стилѣ, стараясь подражать языку и манерѣ этой повѣствовательной литературы первыхъ вѣковъ христіанства.

IV.

Далѣе слѣдуютъ писатели, отличающіеся полнымъ отрицаніемъ всего движенія шестидесятыхъ годовъ, причемъ одни изъ нихъ отрицаніе свое основываютъ на началахъ оффиціального патріотизма, другіе-же проповѣдуютъ аристократическія тенденціи въ московскомъ духѣ.

Изъ числа первыхъ самымъ выдающимся является Всеволодъ Владиміровичъ, Крестовскій. Онъ родился 11 февраля 1840 г. въ кievской губерніи, таращанскаго уѣзда, въ имѣніи своей бабушки, селѣ Малая Березайка. Здѣсь-же протекло его дѣтство и онъ получилъ первоначальное образованіе. Въ 1850 году онъ былъ отвезенъ

въ Петербургъ и опредѣленъ въ 1-ю гимназію, по окончаніи курса въ которой въ 1856 году, поступилъ въ петербургскій университетъ на филологическій факультетъ, но пробылъ въ университетѣ не болѣе двухъ лѣтъ и вышелъ изъ второго курса, увлеченный первыми литературными успѣхами.

До 1868 года Вс. Крестовскій занимался и существовалъ исключительно литературными трудами; въ началѣ-же этого года внезапно поступилъ юнкеромъ въ 14-й уланскій полкъ, черезъ два года былъ произведенъ въ корнеты, а въ 1871 году — командированъ въ Петербургъ для составленія *Исторіи Ямбургскаго полка*, гдѣ вскорѣ произведенъ въ поручики. Затѣмъ въ самомъ началѣ 1874 г., когда *Исторія Ямбургскаго уланскаго полка* была написана и отпечатана, составивши большой томъ въ 54 листа, онъ былъ представленъ Государю Императору и Августѣйшему Шефу полка Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Александровнѣ, незадолго до ея бракосочетанія. Въ награду за этотъ трудъ онъ былъ переведенъ въ лейбъ-гвардіи уланскій Его Величества полкъ тѣмъ-же чиномъ, въ который онъ былъ произведенъ 20-го января 1874, а въ 1877 году, состоя при штабѣ главнокомандующаго въ качествѣ исторіографа войны, онъ сдѣлалъ весь послѣдній турецкій походъ, причемъ переходилъ Балканы и былъ въ Адрианополѣ. Въ настоящее время Крестовскій состоитъ при штабѣ гвардейскаго корпуса и проживаетъ въ Петербургѣ.

Писать Крестовскій началъ съ четвертаго класса гимназій, причемъ небольшое сочиненіе его на заданную тему — *Вечеръ послѣ грозы* — обратило на себя вниманіе гимназическаго начальства и въ томъ числѣ учителя словесности В. И. Водовозова, который не замедлил приблизить къ себѣ талантливаго мальчика, и безъ сомнѣнія благотворному вліянію этого опытнаго педагога былъ обязанъ Крестовскій первыми шагами развитія своего таланта. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что втеченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ пребыванія въ гимназій Крестовскій конечно подъ руководствомъ своего наставника перевелъ почти половину *Оды* и всю книгу *Эподы* Горация, четыре первыхъ пѣснь *Энеиды* и цѣлый рядъ стихотвореній Гейне, изъ которыхъ многія впослѣдствіи явились на страницахъ разныхъ журналовъ, — и это были годы наиболѣе почтенной и плодотворной литературной дѣятельности В. Крестовскаго, въ неизмѣримой степени полезнѣйшей, чѣмъ вся остальная его дѣятельность въ періодъ зрѣлости.

Первыми печатными произведеніями Крестовскаго были переводъ оды Горация къ *Хлору*, помѣщенный въ *Общезанимательномъ Вѣстникѣ* на 1857 годъ и напечатанный тамъ-же стихотворный рассказъ *Безъ дочери*. Первый прозаическій рассказъ Крестовскаго былъ помѣщенъ въ *Иллюстраціи* за 1858 годъ. Затѣмъ въ *Русскомъ Мирѣ* и *Библіотекѣ для чтенія* на 1859 годъ были напечатаны двѣ повѣсти его: *Любовь дворовыхъ* и *Не первый и не послѣдній*, въ *Свѣточѣ* 1860 г. — повѣсть *Бѣсенокъ*, во *Времени* 1861 г. — рассказъ *Помѣнее, но милое созданіе*, въ 1860 г. — повѣсти *Пчельникъ* и *Сфинскъ* — въ *Русскомъ Словѣ* и пр. Одновременно во всѣхъ почти періодическихъ изданіяхъ выходила масса его стихотвореній, оригинальныхъ и переводныхъ.

Всѣ эти произведенія Вс. Крестовскаго по остались незамѣченными публикою и доставили автору извѣстность, какъ писателя несомнѣнно талантливаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ

всѣ они подъ-рядъ отличаются поверхностностью и легкомысліемъ. Очевидно было, что, плывя по теченію, В. Крестовскій не вѣзывался въ него глубоко, а скользилъ по поверхности. Обо всѣхъ тревожившихъ въ то время общество вопросахъ онъ судилъ скандачка, придавая имъ видъ беззавѣтной пошлости, такъ напримѣръ въ женскомъ вопросѣ онъ ничего не видѣлъ кромѣ одной эмансипаціи чувственности, и вслѣдствіи этого въ началѣ шестидесятыхъ годовъ наиболѣе прославился воссимвліеніемъ и въ стихахъ, и въ прозѣ разнаго рода погибшихъ, но милыхъ созданій, начиная съ древне-греческихъ гетеръ и кончая современными гризетками. Такую-же легковѣсность обнаружилъ В. Крестовскій и въ первомъ своемъ большомъ произведеніи—*Петербургскихъ трущобахъ*, романъ, печатавшемся въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ 1864-го по 1867 годъ, и изданномъ потомъ отдѣльно въ 1867 г. подъ заглавіемъ *Петербургскія трущобы, книга о сытыхъ и голодныхъ, романъ въ шести частяхъ, четыре тома*. Нужно-ли и говорить о томъ, что тема романа, которую, какъ мы видѣли выше, намѣчалъ уже Помяловскій, оказалась совершенно и не по таланту, и не по средствамъ автора. Онъ и не думалъ предпосылать ему то основательное и глубокое изученіе петербургской жизни во всѣхъ ея слояхъ, какого требовала подобная тема; собравши налету кое-какія свѣдѣнія и факты, В. Крестовскій написалъ романъ совершенно въ духѣ французскихъ бульварныхъ романовъ съ запутанною интригою и разными мелодраматическими ужасами.

То насмѣшливое и нѣсколько презрительное отношеніе, какое встрѣтили произведенія В. Крестовскаго въ либеральныхъ кружкахъ, раздражили его самолюбіе, озлобили его. Онъ отшатнулся отъ этихъ кружковъ, и съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сближался съ людьми реакціоннаго образа мыслей. Съ поступленіемъ-же въ военную службу В. Крестовскій окончательно вступилъ въ ряды реакціонеровъ, и вотъ въ 1869 г. въ *Русскомъ Вѣстникѣ* появился романъ его въ трехъ частяхъ *Панурово стадо*, а въ 1874 году тамъ-же былъ напечатанъ романъ *Дѣя силы*, составляющій продолженіе *Панурова стада*. Оба романа вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1875 г. подъ общимъ заглавіемъ *Кровавый пухъ*.

Нужно-ли и говорить, что и эти романы отличаются тою-же поверхностностью и легковѣсностью, какъ и прочія произведенія В. Крестовскаго. Самое заглавіе перваго романа показываетъ, какъ смотрѣлъ В. Крестовскій на все движеніе шестидесятыхъ годовъ: онъ отрицалъ въ немъ всякую самостоятельность и самобытность, всякую органическую связь съ процессомъ развитія русской мысли и считалъ всецѣло искусственнымъ вліяніемъ польской интриги. И въ свою очередь, какъ и въ *Петербургскихъ трущобахъ*, вы ничего не найдете въ политическихъ романахъ Крестовскаго, кромѣ нагроможденія мелодраматическихъ ужасовъ.

V.

Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ родился въ С.-Петербургѣ въ 1822 году. Образованіе получилъ въ Одессѣ въ ришельевскомъ лицѣ, въ 1842 году поступилъ на службу въ с.-петербургскую палату государственныхъ имуществъ. Мы не будемъ перечислять всѣхъ его служебныхъ постовъ, наіе онъ занималъ въ своей многолѣтней

службѣ до 1874 года, когда въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и въ званіи камергера онъ былъ въ 24 часа уволенъ со службы при министерствѣ народнаго просвѣщенія, заподозрѣнный въ любостяжаніи, обнаруженномъ имъ въ содѣйствіи Ѳ. П. Баймакову при покупкѣ *С. - Петербургскихъ Вѣдомостей*. Умеръ онъ 18 ноября 1884 года отъ аневризма. Въ романахъ своихъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны *Четверть вѣка назадъ*, *Переломъ* и *Бездна* (послѣдній романъ остался неконченнымъ за смертью автора), Б. Маркевичъ въ большей степени, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы этой школы, обнаруживалъ холопскія благоговѣніе и илѣніе передъ всѣмъ великосвѣтскимъ, надъ чѣмъ такъ зло посмѣялся Ѳ. Достоевскій въ своемъ *Дневникѣ*. На первомъ планѣ во всѣхъ этихъ романахъ парадпрують князья и графы, расуясь конечно ужь самыми доблестными хранителями культурныхъ традицій.

Впрочемъ это охраненіе не мѣшаетъ сіятельнымъ героямъ Б. Маркевича очень усердно заниматься по части клубнички, и авторъ съ немалымъ вождедѣніемъ изображаетъ амурныя и адюльтерныя шалости ихъ, что придаетъ романамъ Б. Маркевича характеръ какого-то слюняваго селадопства. Къ этому слѣдуетъ еще присоединить бюрократическую казенную точку зрѣнія на всѣ явленія русской жизни, оцѣнивающую людей по табели о рангахъ, а дѣла ихъ по уголовному кодексу, — и вы составите полное понятіе объ этой особеннаго рода беллетристикѣ, прямо и всецѣло вышедшей изъ сферы канцелярій и бюрократическихъ салоновъ.

Василій Григорьевичъ Авсѣенко родился 5-го января 1842 г. въ московской губ. въ дворянской семьѣ. Въ 1852 г. поступилъ въ 1-ю петербургскую гимназію, гдѣ подъ вліяніемъ В. И. Водовозова и соревнуя товарищамъ Вс. Крестовскому и Ал. Кускову, рано началъ пописывать стишки, изъ которыхъ одно впоследствии появилось безъ его вѣдома въ *Модномъ магазинѣ* Софьи Мей подъ псевдонимомъ В. Порошилова. Но кончить гимназическій курсъ пришлось ему въ 1-й кievской гимназіи, такъ какъ отецъ его переселился вслѣдствіе болѣзни въ Кіевъ. Въ 1859 году Авсѣенко поступилъ на филологическій факультетъ кievскаго университета и въ 1862 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, имѣлъ намѣреніе посвятить себя профессорской дѣятельности по кафедрѣ всеобщей исторіи. Защитивъ pro venia legendi разсужденіе *Итальянскій походъ Карла VIII и его послѣдствія для Франціи*, съ осени 1863 г. онъ началъ читать лекціи новой исторіи въ качествѣ приватъ-доцента. Но, какъ объясняетъ Авсѣенко въ своихъ воспоминаніяхъ, непріятныя отношенія факультета и обусловленное этимъ незначительное количество слушателей уже черезъ полгода заставили его отказаться отъ профессорской дороги, и онъ всецѣло посвятилъ себя литературной дѣятельности, которую началъ, будучи еще студентомъ, съ 1860 года, и въ 1863 году былъ уже помѣщенъ рядъ большихъ историческихъ статей его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и *Отечественныхъ Запискахъ*. Съ 1864-го по 1866 годъ Авсѣенко былъ ближайшимъ помощникомъ В. И. Шульгина по веденію только-что основаннаго тогда *Кіевлянина*, а временами и главнымъ руководителемъ этой газеты, производившей въ то время почти такую-же сенсацию, какъ и *Московскія Вѣдомости*, причемъ авторъ многихъ передовыхъ статей, громившихъ разные измы, былъ именно Авсѣенко.

Въ 1865 году Авсѣенко подъ псевдонимомъ В. Порошилова напечаталъ въ *Рус-*

скомъ *Вѣстникъ* свою первую повѣсть *Буря*, за которою послѣдовалъ небольшой рассказъ *Тронутые*, въ фельетонахъ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* 1866 года.

Въ 1869 г. Авѣенко сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ возникшей тогда *Зари* Каширева, гдѣ помѣстилъ рядъ повѣстей, романовъ и критическихъ статей. Съ прекращеніемъ *Зари* онъ перешелъ съ 1871 г. въ *Русскій Миръ*, гдѣ велъ критическій фельетонъ подъ пипціалами А. О. и напечаталъ нѣкоторые рассказы.

Въ то-же время втеченіе семидесятыхъ годовъ появился рядъ критическихъ статей его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ инициаломъ А. Кроме того Авѣенко принималъ также участіе въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, *Гражданинѣ*, *Кружозортѣ* и *Всемирной Иллюстраціи*, а въ 1883 г. взялъ на аренду *С.-Петербургскія Вѣдомости*, во главѣ которыхъ стоитъ и понынѣ.

Въ критическихъ статьяхъ своихъ Авѣенко наиболѣе прославился своимъ самымъ рьянымъ мракобѣсіемъ. Онъ доходилъ до полного отрицанія всей современной русской литературы кромѣ небольшой горсти беллетристовъ *Русскаго Вѣстника*, не останавливаясь при этомъ даже и на такихъ именахъ, какъ Некрасовъ и Салтыковъ. Съ особеннымъ ожесточеніемъ нападалъ онъ на беллетристовъ-народниковъ, Рѣшетникова, Левптова и Гл. Успенскаго за то, что черезъ нихъ вся русская литература провоняла мужикомъ и отрѣшилась отъ пушкинскихъ традицій художественныхъ изображеній утонченныхъ нравовъ культурныхъ классовъ.

Замѣчательно при этомъ, что въ качествѣ беллетриста Авѣенко постоянно стоялъ въ полномъ противорѣчій со своими критическими воззрѣніями. Правда, въ своихъ романахъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны *Млечный путь* (*Русскій Вѣстникъ* 1875 — 1876 годъ) и *Скрежетъ зубовъ* (*Русскій Вѣстникъ* 1878 годъ), онъ изображалъ исключительно одни культурные классы, но вовсе не въ томъ поэтическомъ ореолѣ, какъ этого требовалъ отъ беллетристовъ въ качествѣ критика и даже безъ того молитвеннаго млѣнія передъ великосвѣтскостью, какое обнаруживалъ В. Маркевичъ. Напротивъ того и великосвѣтскіе, и бюрократическіе нравы рисуются въ его романахъ самыми мрачными красками, представляютъ картину полного разложенія.

Въ этомъ отношеніи Авѣенко представляетъ замѣчательный въ своемъ родѣ примѣръ того разлада, который часто обнаруживаютъ писатели, обладающіе несомнѣнными талантами, когда они отдаются своимъ художественнымъ инстинктамъ, и творчество неудержимо ведетъ ихъ къ созданію образовъ, зависящихъ отъ впечатлѣній жизни, а не отъ тѣхъ или другихъ исповѣдуемыхъ доктринъ.

Такой-же разладъ обнаруживаетъ и Константинъ Ѳедоровичъ Головинъ, пишущій подъ псевдонимомъ Орловскаго. Опъ выступилъ на литературное поприще повѣстью *Серьезные люди*, напечатанною въ № 2 *Русскаго Вѣстника* за 1878 г., и затѣмъ втеченіе десяти послѣднихъ лѣтъ кромѣ всего прочаго озпаменовалъ свою литературную дѣятельность двумя большими романами *Внѣ колеи* и *Молодежь*. Въ обоихъ этихъ романахъ вы видите ту же двойственность, какъ и въ произведеніяхъ Авѣенки: теоретически авторъ повидному остается вполне вѣренъ реакціоннымъ стремленіямъ своего лагеря, между тѣмъ какъ изображаемые факты сами по себѣ говорятъ вамъ

нѣчто совершенно противоположное и приводятъ къ выводамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ воззрѣніемъ автора.

Какъ на менѣ замѣчательныя по талантливости автора, но тѣмъ не менѣ пропавшія въ свое время нѣкоторую сенсацію, укажемъ на повѣсти Василя Петровича Авенаріуса, появившіяся въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ — *Современная идиллія* и *Повѣтрие*, изданныя подъ общимъ заглавіемъ *Бродячія силы* (родился Авенаріусъ въ 1839 г. въ Царскомъ селѣ, воспитывался въ 5-й петербургской гимназіи, кончивши курсъ которой въ 1857 г., въ 1861 г. получилъ въ СПб. университетѣ степень кандидата естественныхъ наукъ. Нынѣ состоитъ на службѣ въ Собств. Его Имп. Велич. Канц. по учрежденіямъ Императ. Маріи). Вышеозначенныя повѣсти замѣчательны тѣмъ, что авторъ все движеніе шестидесятыхъ годовъ свелъ въ нихъ исключительно на одну сенсуальную почву, т. е. предположилъ, что все оно исчерпывается одною разнузданною эмансипаціею чувственности, и вслѣдствіе этого повѣсти Авенаріуса, и особенно *Повѣтрие*, исполнены такой грубой скабрёзности, какая не бывала еще въ нашей литературѣ со временъ Баркова. Довольно сказать, что авторъ самъ устыдился грязныхъ порывовъ своего очевидно разстроеннаго воображенія и въ отдѣльномъ изданіи своихъ произведеній сократилъ нѣкоторыя слишкомъ ужъ откровенныя подробности.

Впослѣдствіи Авенаріусъ обратился на путь дѣтской беллетристики, и на этомъ поприщѣ дѣятельность его имѣла болѣе солидный и почтенный характеръ. Такъ онъ составилъ сводныя былины и пѣдалъ ихъ подъ заглавіемъ *Книга о кievскихъ богатыряхъ*; издавалъ дѣтскія сказки свои и чужія, написалъ повѣсть, напечатанную въ *Родникѣ* 1885 г. *Отроческіе годы Пушкина* и пр.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

I—Два періода историческаго романа въ Россіи. Характеристика перваго періода. Движеніе исторіографіи въ шестидесятыя годы, подготовившее второй періодъ. II—Историческія повѣсти и романы Николая Ивановича Костомарова. III — *Князь Серебряный* Алексѣя Константиновича Толстого. *Война и миръ* Л. Н. Толстого. *Два портрета* И. С. Тургенева. *Старые годы* П. И. Мельникова. Историческіе романы Г. П. Данилевскаго, Даниіла Лукича Мордовцева и Евгенія Петровича Карновича. IV — Романы Е. Ан. Салиаса-де-Турнемира. Характеристика любочнаго историческаго романа и представитель его Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ.

I.

Возникшая въ тридцатыхъ годахъ подъ вліяніемъ романтическаго движенія на Западѣ и особенно подъ сильнымъ впечатлѣніемъ романовъ Вальтеръ-Скотта историческая беллетристика такъ привилась въ нашей литературѣ, что въ продолженіе пятидесяти лѣтъ успѣла пережить два періода своего процвѣтанія, рѣзко отличающіеся одинъ отъ другого.

Первый періодъ—эпоха романовъ Загоскина, Лажечникова, Н. Кукольника, Р. Зотова и пр. вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру и духу того времени, въ которое жили эти романисты.

Русская исторіографія въ то время только что возникла, и русскіе писатели, не исключая Пушкина, находились еще подъ сильнымъ вліяніемъ Карамзина, глядѣли на всѣ историческія событія нашего отечества съ его исключительно государственной точки зрѣнія. Правда, и въ то время были немаловажныя попытки выйти изъ рабскаго подчиненія взглядамъ Карамзина и приступить къ историческимъ изслѣдованіямъ съ болѣе широкимъ и смѣлымъ кругозоромъ. Но одни изъ этихъ попытокъ, каковы напримѣръ историческіе труды професоровъ Каченовскаго и Погодина, ограничиваясь кропотливою критикою разныхъ спеціально-научныхъ вопросовъ, не шли далѣе аудиторій и не имѣли большого вліянія на публику и на ея литературныхъ представителей. Не могъ освободить ее отъ рабскаго подчиненія взглядамъ Карамзина и Н. Ал. Полевой своей *Исторіей русскаго народа*, такъ какъ онъ въ свою очередь слишкомъ подчинялся идеямъ и доктринамъ западныхъ историковъ и не представилъ какихъ-либо новыхъ взглядовъ, которые свидѣтельствовали бы о самостоятельныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ съ его стороны. Славянофильская школа находилась еще въ заро-

дышѣ и не успѣла ни вполне развитъ, ни тѣмъ болѣе высказать свои оригинальныя идеи. Ко всему этому надо взять во вниманіе суровость цензурныхъ условій тридцатыхъ годовъ. Кругъ историческихъ изслѣдованій въ то время былъ еще крайне ограниченъ. Доступъ въ различные государственные архивы очень затруднителенъ. Обо многихъ историческихъ фактахъ только и можно было имѣть свѣдѣнія изъ однихъ сомнительныхъ иностранныхъ источниковъ, но и подобныя свѣдѣнія приходилось держать про себя, потому что обо всѣхъ мало-мальски щекотливыхъ историческихъ фактахъ безусловно запрещалось даже и упоминать. Русская исторія кончалась въ то время царствованіемъ Петра I. Дозволялось кое-что сообщать о владѣтельствѣ князя Меншикова и его внезапномъ низверженіи, о царствованіи Анны Иоанновны и о регентствѣ Бирона, но съ большою осторожностью. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что романъ Лажечникова *Ледяной домъ* хотя и былъ пропущенъ первымъ изданіемъ, но дальнѣйшія изданія были уже невозможны, и онъ долгое время считался книгою запрещенною. Наконецъ даже и тѣ событія, рѣчь о которыхъ допускалась въ печати, нельзя было обсуждать съ мало-мальски самостоятельной точки зрѣнія, которая хоть сколько-нибудь расходилась съ тѣмъ казеннымъ патріотизмомъ, который вмѣнялся въ священную обязанность каждому русскому писателю.

При такихъ условіяхъ возникшій въ тридцатые годы русскій историческій романъ не могъ представить почти ничего хоть сколько-нибудь классически-замѣчательнаго. Только такими гениальными талантами, какъ Пушкинъ и Гоголь, удалось подарить русскую литературу двумя-тремя образцами исторической беллетристики высокаго достоинства, стоящими совершенно особнякомъ. Въ общемъ-же историческій романъ тридцатыхъ годовъ, со всѣхъ сторонъ стѣсненный, обрѣзанный и подведенный подъ ранжиръ трехъ пресловутыхъ девизовъ того времени, представляетъ изъ себя нѣчто весьма жалкое. Онъ изображалъ лишь нѣкоторыя дозволенныя эпохи болѣе или менѣе отдаленнаго времени, напримѣръ эпоху крещенія Руси (*Аскольдова могила* Загоскина), Іоанна III (*Басурманъ* Лажечникова), Самозванцевъ (*Юрій Милославскій* Загоскина), войну Петра I со Шведами (*Послѣдній новикъ* Лажечникова) и пр. Объ историческихъ событіяхъ упоминалось лишь вскользь, или-же они рассказывались по Карамзину, высокимъ слогомъ съ дѣланымъ патрістическимъ одушевленіемъ. Нравы и всѣ аксессуары прошлой жизни при недостаткѣ у авторовъ археологическихъ свѣдѣній изображались въ самыхъ общихъ чертахъ и очень часто совершенно неврѣно.

Большая-же часть страницъ подобныхъ романовъ наполнялась обыкновенно исторіею сентиментальной любви двухъ, трехъ стереотипно добродѣтельныхъ героевъ, которые подвергались всевозможнымъ ужаснымъ приключеніямъ, нѣсколько разъ умирали и вновь воскресали, чтобы къ концу романа сочетаться законнымъ бракомъ. При такомъ развитіи сюжетовъ историческіе романы тридцатыхъ годовъ пріобрѣтали вполне романтически-сказочный характеръ. Публика зачитывалась ими, но истинные знатоки литературы и критики ставили ихъ весьма невысоко, и очень понятно, что съ развитіемъ и утвержденіемъ въ нашей литературѣ реализма, и подъ вліяніемъ критики Вѣлипскаго подобный историческій романъ долженъ былъ пасть, что и не замедлило съ нимъ случиться. Втеченіе пятидесятихъ годовъ онъ совсѣмъ исчезъ съ лите-

ратурной арены, тѣмъ болѣе, что при острой реакціи первой половины пятидесятихъ годовъ онъ не мыслилъ былъ даже и въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ представлялся въ тридцатые и сороковые годы.

Но не смотря на то, что втеченіе пятидесятихъ годовъ повидимому взоры всей интеллигенціи были слишкомъ прикованы къ настоящему, чтобы интересоваться прошлымъ, такъ какъ въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ общее вниманіе было поглощено страшною эпохою крымской войны, а затѣмъ наступила эпоха возрожденія, вопросовъ и реформъ,—казалось-бы совсѣмъ въ это время было не до исторіи; несмотря на все это пятидесятие годы, вѣстѣ со всѣми возрожденіями, представляютъ собою и возрожденіе русской исторіографіи. Одни труды С. М. Соловьева и затѣмъ Н. И. Костомарова ознаменовали цѣлый переворотъ въ этой области. Не говоря уже о томъ, что центръ тяжести, если только можно такъ выразиться, историческихъ изслѣдованій совершенно измѣняется, и теперь на самомъ дѣлѣ главнымъ предметомъ изученія дѣлается не одно государство, а народъ со всѣми его вѣрованіями, понятіями, нравами, стремленіями, симпатіями и антипатіями, вѣстѣ съ тѣмъ не замедлили значительно раздвинуться самыя рамки исторіи: получилась возможность говорить о такихъ событіяхъ и фактахъ, о которыхъ прежде нельзя было и заикнуться. Особенно сильно подвинулось впередъ изученіе близкаго къ намъ XVIII вѣка. Кромѣ того, что государственныя архивы сдѣлались доступнѣе, и самое изданіе историческихъ памятниковъ начало встрѣчать менѣе затрудненій и препятствій. Съ шестидесятихъ годовъ начали издаваться періодическія изданія, специально посвященныя печатанію историческихъ матеріаловъ, каковы *Русскій Архивъ* съ 1863 г., *Русская Старина* съ 1870 г., *Историческій Вѣстникъ*, съ 1880 г. *Кіевская Старина* съ 1882 г. и пр. Въ изданіяхъ этихъ начали печататься массы записокъ, воспоминаній, автобіографій, писемъ историческихъ лицъ и т. п. До какой степени въ самомъ обществѣ былъ возбужденъ живой интересъ къ историческому прошлому Россіи, можно судить по тому, какъ весь интеллигентный Петербургъ сошелся на диспутъ Костомарова съ Погодинымъ въ мартѣ 1860 г. по такому спеціальному вопросу, какъ происхожденіе Русн, по тому, какая толпа лицъ всѣхъ званій, половъ и возрастовъ стекалась на лекціи Костомарова въ с.-петербургскомъ университетѣ, наконецъ и по тому, что несмотря на конкуренцію разомъ четырехъ историческихъ журналовъ, всѣ они существуютъ, имѣя тысячи подписчиковъ и принося издателямъ немалый доходъ.

Понятно, что вслѣдствіе такого сильнаго движенія исторіографіи и общаго интереса къ русской старинѣ историческій романъ возродился къ новой жизни и въ продолженіе сепидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ составилъ обширную отрасль беллетристики, въ количественномъ отношеніи значительно превышающую всѣ прочія.

II.

Но если въ количественномъ отношеніи современный историческій романъ представляетъ собою нѣчто монструозное и положительно заполняетъ русскую литературу, нельзя сказать, чтобы онъ въ такой-же степени процвѣталъ и въ качественномъ

отношеніи. Если новый историческій романъ превышаетъ въ чемъ-либо старый (тридцатыхъ годовъ), то развѣ лишь въ большемъ разнообразіи относительно выбора темъ, въ болѣе свободѣ въ изображеніи историческихъ картинъ и эпизодовъ и въ проведеніи тѣхъ или другихъ взглядовъ, наконецъ въ лучшемъ знаніи археологій, нравовъ и быта различныхъ эпохъ. Но, какъ сейчасъ увидимъ, новый романъ недалеко ушелъ отъ стараго относительно крайне легкомысленнаго отношенія къ историческимъ фактамъ, отсутствія строгаго разграниченія исторической достовѣрности отъ поэтическаго вымысла, а главное дѣло въ наклонности къ поверхностности, скороспѣлости и въ концѣ концовъ къ спекулятивной лубочности. И что всего грустнѣе, Николай Ивановичъ Костомаровъ, стоящій во главѣ новаго періода исторіографіи и главный виновникъ переворота въ ея развитіи, первый подалъ примѣръ легкомысленнаго отношенія къ исторіи въ области беллетристики.

Обладая отъ природы нервнымъ темпераментомъ и богатою фантазією, доводившею его до галлюцинацій, страстный любитель музыки и всѣхъ искусствъ, Н. И. Костомаровъ постоянно обнаруживалъ наклонность къ художественному творчеству. Каждое изученіе тѣхъ или другихъ историческихъ эпохъ приводило его къ попыткамъ воспроизвести изучаемыя эпохи въ художественныхъ формахъ. Такъ еще на университетской скамьѣ, прочтя повѣсти Квнтки, *Вечера на хуторѣ близъ Диканки* и *Тараса Бульбу* Гоголя, думы и пѣсни, изданныя Максимовичемъ, онъ увлекся мало-россійскою старинною и уже въ 1838 году издалъ драматическое произведеніе въ 5 дѣйствіяхъ *Савва Шамый*. Печальный эпизодъ своей жизни въ видѣ внезапнаго ареста передъ самою свадьбою, заключенія и наконецъ ссылки въ Саратовъ Костомаровъ ознаменовалъ драмою изъ древней римской жизни *Кремуцій Кордъ* (напечатанною въ 1862 г). Не отличаясь художественными достоинствами, драма эта любопытна по тѣмъ автобіографическимъ намекамъ, какія въ ней встрѣчаются. Прежде всего мы находимъ здѣсь посвященіе „забвенной А. Л. К. на память 14-го мая 1847 года“. Это, очевидно, намекъ на случайное свиданіе Костомарова съ своей невѣстой во время пребыванія въ крѣпости. Главнымъ героемъ является римскій историкъ Кремуцій Кордъ, котораго обвиваютъ въ восхваленіи въ своей исторіи *Брута* и *Кассія*. Любимецъ Тиверія Сеяппъ, въ лицѣ котораго авторъ подразумеваетъ Дуббельта, заставляетъ историка признаться въ небываломъ преступленіи: въ томъ, что онъ имѣлъ въ виду взволновать умы своимъ сочиненіемъ, и обращается къ нему съ такою рѣчью: „Послушай, мой добрый другъ, прими мой искренній совѣтъ. Увертки твои ни къ чему не послужатъ, увѣряю тебя. Лучше всего смѣренно признайся своему государю, что ты виноватъ и жалѣешь о томъ, что написалъ. Можешь сказать, что это случилось невольно, отъ увлеченія, а вовсе не отъ злонамѣренности. Увѣряю тебя, что все это тебѣ простится: цезарь милосердъ съ тѣми, кто искренно повергаетъ къ стопамъ его свои заблужденія“. Въ одномъ монологѣ Кремуцій Кордъ говоритъ: „Погибнуть въ цвѣтѣ лѣтъ, не успѣвъ даже и отвѣдать наслажденій жизни, погибнуть тогда, когда впереди улыбалась мнѣ слава, ожидала любовь!“ Тутъ очевидно опять намекъ на личную жизнь автора. Въ засѣданіи сената по дѣлу Кремуція Корда одинъ изъ сенаторовъ говоритъ: „Сенатъ вправѣ осудить сочиненіе Кремуція Корда на публичное сожженіе, какъ въ высшей степени безнравственное и возбуждающее къ безначалію и не-

довольству, вмѣнить эдпламъ въ непремѣнную обязанность *отобрать экземпляры этой книги у частныхъ лицъ и въ лавкахъ* и предупредить всѣхъ гражданъ, что скрывшіе у себя это сочиненіе подвергнутся наказанію; самого-же автора представить волѣ императора, прося однако его величество, чтобы Кремуцій Кордъ *былъ лишенъ средствъ вредить общественному спокойствію зловердными сочиненіями на будущее время*“. Тиверій одобряетъ это мнѣніе. Сенатъ признаетъ оправдательную рѣчь Кремуція Корда недостаточною; осуждаетъ сочиненіе на сожженіе, а автора предаетъ волѣ императора, прося его принять мѣры къ тому, чтобы у него была отнята возможность вредить обществу распространеніемъ подобныхъ мыслей какъ письменно, такъ и *словесно*. Очевидно, тутъ цѣлый рядъ намековъ на исторію съ диссертацией Костомарова и на кару, постигшую его за основаніе Кирилло-меоодіевскаго братства.

Далѣе затѣмъ изученіе бунта Стеньки Разина привело Костомарова къ созданію повѣсти *Сынъ*, рисующей нравы и бытъ русскаго общества въ XVII вѣкѣ, а изученіе эпохи и личности Іоанна Грознаго ознаменовалось романомъ *Кудеяръ*, напечатанномъ въ *Вѣстникѣ Европы* 1875 года. Въ повѣсти *Сынъ* Костомаровъ строго держится въ предѣлахъ исторической достовѣрности, и здѣсь ученый элементъ преобладаетъ надъ художественнымъ, вслѣдствіе чего повѣсть эта нѣсколько суховата. Вообще нужно сказать, что хотя Костомаровъ и не былъ лишенъ художественности, но его все-таки нельзя назвать художникомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова: онъ былъ имъ лишь настолько, насколько это нужно историку, чтобы характеристики его были картинны и воспроизводили историческія личности и событія въ ихъ истинномъ свѣтѣ и колоритѣ. Къ тому-же замѣчательную особенность представляетъ художественный талантъ Костомарова въ томъ отношеніи, что онъ проявлялся гораздо полнѣе и живѣе въ устномъ изложеніи, чѣмъ въ письменномъ. Кто слышалъ лекціи Костомарова, которыя онъ читалъ въ с.-петербургскомъ университетѣ въ 1859—1861 годахъ, согласится съ этимъ. Художественности его лекцій много помогала дикція, а главное дѣло — неподражаемое умѣнье читать историческіе памятники, выражая самымъ тономъ голоса духъ ихъ. Въ устахъ Костомарова архаическій, мертвый языкъ памятниковъ словно какъ-бы воскресалъ и дѣлался живою, выразительною, иногда и художественно-живописною разговорною рѣчью. Когда эти самыя лекціи приходилось потомъ читать въ письменномъ изложеніи, онъ терялъ по крайней мѣрѣ половину своего обаянія. Эта живописность чтеній Костомарова и привлекала на лекціи его несмѣтную толпу слушателей, заставляя современниковъ ставить имя его наряду съ именами Прескотта, Маколея и Тьерри.

Вотъ этою-то способностью обнаруживать историческую художественность болѣе въ устномъ изложеніи, чѣмъ въ письменности и обусловливается сухость и тяжеловѣсность повѣстей Костомарова. Но въ то время, какъ повѣсть *Сынъ* своею научною строгостью представляетъ во всякомъ случаѣ интересъ исторической иллюстраціи, нельзя того-же самаго сказать о *Кудеярѣ*. Лишь преклопнымъ возрастомъ автора (ему было 58 лѣтъ) можно объяснить тотъ грѣхъ, что онъ слишкомъ дозволилъ разгуляться своей богатой фантазіи и выступилъ за предѣлы вѣрности историческимъ фактамъ. Правда, въ романѣ очень живо и картинно рисуется передъ нами эпоха Іоанна Грознаго въ моментъ перелома въ его царствованіи, передъ смертью царицы

Авастасіи. Наболѣе ярко очерчены Іоаннъ Грозный, Анастасія, Курбскій и князь Дмитрій Ивановичъ Впшневецкій. Адашевъ и Сильвестръ довольно блѣдны и туманны. Но главнымъ пятномъ романа является герой его Кудеяръ, въ изображеніи котораго Костомаровъ совершилъ буквально такое-же преступленіе передъ исторіею, какимъ отличился Рафаилъ Зотовъ въ своемъ романѣ *Таинственный монахъ*. Совершенно подобно тому, какъ этотъ самый таинственный монахъ Іона, оказывающійся потомъ гетманомъ Дорошенкою, мало того что является геніемъ романической интриги и держитъ въ своихъ рукахъ всѣ нити сюжета, но оказывается, что и всѣ историческія событія первой половины царствованія Петра, начиная со стрѣleckихъ бунтовъ и кончая пзвѣсною Мазею, совершились по инициативѣ этого самаго Іоны, имъ были измыслены и направлены.—Такую-же роль присвоиваетъ Костомаровъ своему герою Кудеяру. Это—загадочная личность, не помнящая ни рода, ни племенн; онъ былъ найденъ казакими ребенкомъ въ татарскомъ аулѣ, съ крестомъ на шеѣ, показывавшемъ что ребенокъ—христіанинъ. Татаринъ, у котораго нашли ребенка, объявилъ, что его взяли татары изъ московской земли. Онъ выросъ потомъ среди казаковъ, женился на дочери казака Тишенко, Настѣ, и прибылъ въ Москву въ войскѣ Впшневецкаго.

Когда вы читаете первыя главы романа, передъ вами въ лицѣ Кудеяра рисуется безобразная грудa мяса, обладающая непомѣрною силою при полномъ отсутствіи чего-либо человѣческаго: это грубый атлетъ, одаренный лишь способностью ломать подковы и вывертывать столбы и въ то-же время исполненный непомѣрной тупостью, которою отличаются всѣ подобнаго рода атлеты. Таковъ Кудеяръ не только въ сценѣ убійства сына, прижитаго Настею во время плѣна, но и въ Александровской слободѣ онъ является столь-же слѣпымъ и бессмысленнымъ орудіемъ казней Іоанна, который въ концѣ концовъ кругомъ одурачилъ его и насильялся надъ нимъ со всею своею сатанинскою проміею. И вдругъ этотъ неотесанный чурбанъ, болѣе похожій на стѣнобитное орудіе, чѣмъ на живого человека, является передъ вами геніемъ удалой, всепокоряющей хитрости, двигаетъ царствами и войсками, возбуждаетъ такое удивленіе въ разбойникахъ, что тѣ считаютъ его колдуномъ и безусловно покоряются его волѣ. Мало этого: оказывается, что всѣ событія эпохи Грознаго исходятъ отъ Кудеяра. Царь пошелъ въ походъ на Девлетъ-Гирея, потому что Кудеяръ нашелъ свою Настю, и въ этомъ событіи Іоаннъ предвидѣлъ повелѣніе свыше. Девлетъ-Гирей пошелъ на Москву и сжегъ ее—опять таки потому, что этого хотѣлъ Кудеяръ въ отмщеніе Іоанну за смерть своей жены. Въ заключеніе романа Костомаровъ прямо говоритъ: „Москва, отстроившаяся послѣ сожженія, *причиненнаго ей злобой Кудеяра*, не разъ послѣ того испытывала и пожары, и нашествія иноземцевъ“. Іоаннъ казнилъ князя Владимира Андреевича со всею семьей опять—таки не почему иному, какъ потому, что Кудеяръ мучилъ народъ именовъ князя. Даже новгородцевъ топилъ въ Волховѣ Іоаннъ пошелъ не почему иному, какъ для того, чтобы на нихъ выместить свой гнѣвъ на Кудеяра. Но и этого всего мало: въ концѣ концовъ всепильный Кудеяръ является пкѣтимъ пнымъ какъ сыномъ Василія III, рожденнымъ отъ Соломоніи вскорѣ по заключеніи ея въ монастырь!..

Такимъ образомъ въ своемъ *Кудеярѣ* Костомаровъ воскресилъ то безцеремонное искаженіе исторіи и произвольную игру съ историческими фактами, которыя были скалпчевскіи.

простительны въ эпоху Рафаила Зотова, но представляются положительно необъяснимыми при томъ громадномъ шагѣ, какой сдѣлала историческая наука въ эпоху шестидесятыхъ годовъ, да и къ тому-же подъ перомъ виновника этого шага. А между тѣмъ авторитетъ Костомарова освятилъ подобный способъ отношенія къ исторіи, и историческіе беллетристы, въ особенности-же третьестепенные мастера лубочныхъ издѣлій взапуски пустились сочинять свою собственную исторію, заставляя вымышленныхъ героев потрясать царствами и судьбами Европы и Россіи.

III.

Въ 1861 году былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* романъ Алексѣя Константиновича Толстого (біографическія свѣдѣнія о немъ смотри ниже—въ отдѣлѣ поэтовъ) — *Князь Серебряный*, изъ эпохи Іоанна Грознаго. — Романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ и разошелся въ нѣсколькихъ изданіяхъ, тѣмъ болѣе что втеченіе шестидесятыхъ годовъ онъ былъ почти единственнымъ представителемъ исторической беллетристики. По правдѣ сказать, романъ этотъ принадлежитъ къ числу весьма немногихъ произведеній этого рода, отличающихся какъ художественностью, такъ и добросовѣстностью изученія исторической эпохи. Авторъ отъ первой страницы до послѣдней остается вѣренъ историческимъ фактамъ, не проводитъ никакихъ предвзятыхъ тенденцій, не дѣлаетъ никакого ложнаго освѣщенія. Однимъ словомъ это одинъ изъ немногихъ историческихъ романовъ, который можетъ быть прочтенъ съ интересомъ и безъ вреда.

Въ 1867 году появился въ томъ-же *Русскомъ Вѣстникѣ* знаменитый романъ Л. Н. Толстого *Война и миръ*, представляющій шедевръ его. Мы подробно говорили объ этомъ романѣ при обзорѣ дѣятельности его автора, и теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о его значеніи спеціально какъ историческаго романа.

Представляя рядъ гениальныхъ картинъ нравовъ и быта русскихъ дворянъ и великосвѣтскаго общества начала XIX вѣка, а также отдѣльных историческихъ эпизодовъ войны двѣнадцатаго года, въ цѣломъ романъ въ историческомъ отношеніи имѣетъ много слабыхъ сторонъ. Во-первыхъ сильно вредитъ ему та истинно-фаталистическая теорія, съ точки зрѣнія которой авторъ смотритъ на изображаемые имъ историческіе факты. Въстѣ съ тѣмъ портреты нѣкоторыхъ историческихъ личностей, напримѣръ Наполеона, Кутузова, Сперанскаго, изображены съ предвзятою тенденціозностью, и потому односторонне и невѣрно. Тѣмъ не менѣе романъ Л. Толстого произвелъ такое всевластное вліяніе на всю разсматриваемую нами отрасль беллетристики, что ни одинъ изъ историческихъ беллетристовъ не былъ въ силахъ избавиться отъ этого вліянія въ бытовыхъ и батальныхъ картинахъ, въ изображеніяхъ портретовъ дѣйствующихъ лицъ былаго времени, и даже въ развитіи сюжетовъ.

Не преминулъ заплатить свою лепту исторической беллетриктъ И. С. Тургеневъ повѣстью *Два портрета*, въ которой, не вдаваясь въ изображеніе какихъ-либо историческихъ фактовъ, тѣмъ не менѣе очень живо и рельефно представилъ эпизодъ изъ усадебныхъ нравовъ XVIII вѣка.

Рядомъ съ этою повѣстью Тургенева мы можемъ поставить разсказъ П. И. Мельни-

кова *Старые годы*, какъ еще болѣе воиющую картину дикаго варварства, господствовавшаго въ XVIII вѣкѣ среди помѣщичьихъ нравовъ подъ вѣшнымъ покровомъ европейской цивилизаціи.

Гр. Данилевскій послѣ своихъ этнографическихъ романовъ посвятилъ свою литературную дѣятельность также историческому роману. Какъ наиболѣе выдающіяся его произведенія этого рода извѣстны романы: *Мировичъ* (1879 г.), *Сожженная Москва* (1885—1886 гг.) и *Черный годъ* (1888 г.). Въ романѣ *Мировичъ* изображается извѣстный эпизодъ изъ царствованія Екатерины,—попытка Мировича совершить coup d'état, возведя на престолъ злосчастнаго шлисельбургскаго узника, Іоанна VI. Романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ; онъ не лишенъ художественности, но въ немъ одинъ существенный недостатокъ, свойственный, еще разъ повторяемъ, многимъ русскимъ историческимъ романамъ—безцеремонное отношеніе къ историческимъ фактамъ. Такъ мы видимъ, что Данилевскій допускаетъ такіа сближенія между собою современныхъ историческихъ личностей, которыя очень сомнительны и очевидно представляютъ плодъ его поэтическаго вымысла. Мировичъ напримѣръ оказывается маю того что знакомымъ съ Ломоносовымъ, но Ломоносовъ является первымъ подстрекателемъ Мировича къ его роковой попыткѣ, стоившей ему головы. Второю подстрекательницею является отставная придворная дѣвѣца Поликсена Пчелкина, въ которую былъ влюбленъ Мировичъ и которая по отношенію къ нему разыгрываетъ роль злого духа честолюбія вродѣ Маринны Мппшекъ. Оказывается, что по ея-же анонимному письму Петръ III задумалъ свое посѣщеніе заключеннаго принца. Мировичу самому ничего-бы и въ голову не пришло подобнаго, если-бы не Ломоносовъ и не Поликсена. Опъ былъ правда очень честолюбивый юноша, но шелъ своимъ рутиннымъ путемъ и былъ не болѣе какъ гулякою и страстнымъ игрокомъ и такимъ счастливымъ, что съ кѣмъ-бы онъ ни садился играть, обыгрывалъ впухъ и прахъ, до пшочки, золото такъ и липлось въ его карманъ. Такъ, будучи еще кадетомъ, онъ обыгралъ корпуснаго начальника князя Езупова, за что былъ псклоченъ изъ корпуса и отосланъ солдатомъ въ пѣхоту, въ заграничную армію и выслужился тамъ во время семилѣтней войны. Потомъ въ австерін у Дрезденши, тогдашнемъ притонѣ кутящей золотой молодежи, онъ обыгралъ братьевъ Орловыхъ. Однимъ словомъ Данилевскому ничего не стоило сближать между собою историческіа личности и ставить ихъ въ такіа отношенія, въ какія только ему было угодно. А подъ конецъ романа творческая фантазіа его разгуливается до того, что онъ рассказываетъ, какія впечатлѣнія воспринимала голова Мировича послѣ уже того, какъ была отдѣлена отъ туловища.

Романъ *Сожженная Москва* былъ написанъ подъ сильнымъ вліяніемъ *Войны и мира* Л. Толстого, что наиболѣе сказалось въ главныхъ моментахъ романа (пожаръ Москвы, илѣнъ героя, приговоръ къ растрѣлянію, путешествіе русскихъ плѣнныхъ съ отступавшими французскими войсками и опасность быть подстрѣленнымъ въ дорогѣ и пр.). Но при всемъ этомъ неотразимомъ вліяніи романа Л. Толстого, въ *Сожженной Москвѣ* вы найдете нѣчто такое, чего въ *Войнѣ и мирѣ* нѣтъ и что составляетъ какъ-бы добавленіе къ великой эпопее графа Толстого.

Дѣло въ томъ, что гр. Л. Толстой въ своихъ романахъ изображалъ русскихъ жен-

щипъ исключительно въ предѣлахъ ихъ женской спеціальности. Русская женщина является передъ нами подъ перомъ гр. Л. Толстого лишь какъ самоотверженная жена, хлопотливо оберегающая свой домашній очагъ, готовая ради его сохраненія великодушно простить и прикрыть всѣ грѣхи своего невѣрнаго мужа, или какъ любящая мать, проливающая сладкія или горькія слезы надъ колыбелью своего младенца, или какъ сестра милосердія, дни и ночи до послѣдняго истощенія силъ проводящая надъ постелью тяжело раненаго и умирающаго. Однимъ словомъ, гр. Л. Толстой показалъ намъ русскую женщину во всѣхъ ея національныхъ преимуществахъ, безгранично любящую, самоотверженною, мечтательно стремящуюся къ высокимъ и широкимъ идеаламъ, цѣломудренно-стыдливою даже въ моменты своихъ грѣшныхъ паденій и самую чувственность постоянно стремящуюся освятить какою-нибудь нравственнымъ долгомъ. Но по миролюбивой, незлобивой натурѣ своей, онъ просмотрѣлъ одну изъ замѣчательныхъ сторонъ русской женщины: именно способность въ рѣдкія минуты сильныхъ нравственныхъ подъемовъ духа, — въ эпохи общественныхъ погромовъ или частныхъ семейныхъ трагедій, смѣло выходить изъ узкаго круга женской доли, проникаться воинственнымъ духомъ совершенно мужского характера и посрамлять мужчипъ отважнымъ героизмомъ. Мы видимъ по крайней мѣрѣ, что въ народныхъ былинахъ, сказкахъ, въ исторіи проходитъ передъ нами цѣлая вереница воинственныхъ женщинъ, начиная съ тѣхъ удалыхъ паѣздницъ, которыя дрались въ чистомъ полѣ съ могучими богатырями, со св. Ольги, съ ея безпощадною местию за смерть своего мужа, и кончая тѣми героинями 1812 года, вроде дѣвицы Александры Дуровой, которыя принимали храброе участіе въ отечественной войнѣ въ рядахъ нашихъ войскъ.

Героиня романа Данилевскаго, Аврора Крамалина, является передъ нами именно одною изъ подобныхъ героинь войны 1812 года, безъ изображенія которыхъ эта эпоха является неполною, какъ-бы она ни была хорошо обрисована.

Романъ *Черный годъ* принадлежитъ къ числу самыхъ слабыхъ произведеній Данилевскаго. Изображая пугачевскій бунтъ, романъ этотъ ничего не прибавляетъ ко всѣмъ прочимъ изображеніямъ этого событія, въ неизмѣримой степени талантливѣйшимъ. Личность Пугачева представлена крайне невѣрно, съ чисто административно-казенной точки зрѣнія въ видѣ мелкаго и ничтожнаго бродяги-душегубца, возвысившагося лишь благодаря поднявшему его на высоту народному движенію и немедленно упавшему съ этой высоты, какъ только это движеніе угмонилось. Дѣйствующія лица очень часто говорятъ изысканно книжнымъ языкомъ нашего времени, употребляя выраженія, въ XVIII вѣкѣ немыслимыя; въ общемъ романъ крайне растянутъ и скученъ.

Изъ писателей старшаго поколѣнія однимъ изъ самыхъ плодovitыхъ поставщиковъ историческихъ романовъ является Данилъ Лукичъ Мордовцевъ. Онъ родился въ слободѣ Даниловкѣ, въ землѣ войска Донского, 7 декабря 1830 года, кончилъ курсъ въ с.-петербургскомъ университетѣ въ 1854 году. Прежде чѣмъ выступить на поприще историческаго романа, Д. Л. Мордовцевъ приобрѣлъ почетную извѣстность въ шестидесятыхъ годахъ своими изслѣдованіями по исторіи Малороссіи, Польши и пугачевщины. Изъ числа сочиненій этого періода дѣятельности особенно выдаются *Самозванецъ Іоаннъ* (Р. В. 1860), *Выдержка изъ исторіи Польши 1770—1772 гг.* (Р. В. 1863), *Паденіе Польши* (Р. В. 1862), *Обличительная митера-*

тура въ первыхъ русскихъ журналахъ и стисненіе гласности (1769—1775), *О русскихъ школьныхъ книгахъ XVI в.*, *Самозванцы*, *Малороссійскій литературный сборникъ*, *Гайдамачина* и др. Историческіе романы и повѣсти началъ онъ писать во второй половинѣ своей литературной дѣятельности, на склонѣ уже лѣтъ. Перечислить всѣ его труды по этой части нѣтъ никакой возможности, такъ ихъ много. Наболѣе выдается изъ нихъ романъ *Идеалисты и реалисты*, изображающій довольно живо эпоху Петра и проливающій на нее весьма свѣтлый взглядъ. Вообще нельзя отказать Мордовцеву въ талантѣ, въ основательномъ знаніи исторіи и въ добросовѣстномъ отношеніи къ историческимъ фактамъ, но къ сожалѣнію плодовитость сильно вредитъ качеству его произведеній. Они не создаются, не пишутся, а пекутся какъ блины, и при этой скороспѣлости производятъ впечатлѣніе крайней небрежности. Къ тому-же большой недостатокъ автора составляетъ манерность, отсутствіе простоты и естественности, страсть оригинальничать, балагурить, и какъ результатъ этого—неудержимая болтливость, выходящая порою изъ всѣхъ предѣловъ.

Въ *Отечественныхъ Запискахъ* семидесятыхъ годовъ и прочихъ изданіяхъ обращали на себя вниманіе также обширныя историческія хроники Евгенія Петровича Карновича, преимущественно изъ исторіи XVIII в. Е. П. Карновичъ родился въ 1822 г., воспитывался въ педагогическомъ институтѣ, курсъ котораго кончилъ въ 1844 году. Нѣсколько лѣтъ занимался педагогіей въ качествѣ учителя греческаго языка въ калужской гимназій. Затѣмъ перешелъ на административную службу при виленскомъ генералъ-губернаторѣ Бишковѣ, который сдѣлалъ его правителемъ канцеляріи. Въ 1859 году онъ женился въ Вильнѣ, и вышедши по семейнымъ обстоятельствамъ въ отставку, переѣхалъ въ Петербургъ и посвятилъ себя литературѣ.

Въ 1860 году въ *Современникѣ* начали печататься его рассказы изъ польской старины, а затѣмъ стали появляться его работы и въ прочихъ журналахъ: въ *Русской Старинѣ*, *Историческомъ Вѣстникѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*, въ *Русской Мысли*, *Нови* и пр. Съ основанія *Голоса* Карновичъ сдѣлался постояннымъ его сотрудникомъ по внутренней политикѣ. Въ 1875 году былъ редакторомъ *Биржевыхъ Вѣдомостей*. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ издавалъ даже свой собственный журналъ *Отголоски*, но безъ успѣха. Умеръ онъ 25 октября 1885 года въ Петербургѣ отъ удара. Смерть застала его за работой.

Историческія хроники Карновича — *Мальтійскій орденъ*, *Замѣчательныя и загадочныя личности XVIII в.*, *Замѣчательныя богатства въ Россіи* и пр. не имѣютъ ни малѣйшей претензіи на какую-бы то ни было художественность; это вовсе не романы и повѣсти. Вы не найдете здѣсь никакихъ сюжетовъ, интригъ и вымышленныхъ героевъ, а одинъ только безинтересный пересказъ историческихъ фактовъ въ повѣствовательной формѣ. Единственное достоинство этихъ работъ — безукоризненная добросовѣстность и вѣрная, довольно живая передача событій.

IV.

Изъ историческихъ беллетристовъ, принадлежащихъ къ болѣе молодому поколѣнію, наибольшимъ талантомъ отличается графъ Евгеній Андреевичъ Саліась-де-Турнемиръ.

Онъ былъ сынъ извѣстной писательницы сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ Е. В. Салиасъ (Евгеніи Туръ). Родился въ 1841 г. и получилъ блестящее образованіе; чуть не съ пеленокъ пришлось ему вращаться въ литературномъ и артистическомъ кругу, такъ какъ въ домѣ матери его сходились всѣ корифеи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, какъ литературные, такъ и по всѣмъ прочимъ искусствамъ. Кромѣ тщательнаго домашнего образованія подѣ руководствомъ и надзоромъ матери, онъ уже въ дѣтствѣ совершалъ продолжительныя путешествія за-границею. Въ январской книжкѣ *Библіотеки для чтенія* 1863 г. слѣдовательно, когда ему было 22 года, появилась первая его повѣсть *Ксанъ чудная*, посвященная матери и подписанная Вадимъ. Вслѣдъ затѣмъ въ различныхъ журналахъ появились повѣсти *Тьма*, *Манжажа* и *Еврейка*. Всѣ эти повѣсти были написаны вполне въ духѣ чистаго искусства, причемъ авторъ находился подѣ сильнымъ вліяніемъ Тургенева и старался подражать ему въ описаніяхъ природы и женскихъ типовъ. Талантъ его былъ замѣченъ; особенно понравились его *Путевые очерки Испаніи*. Смолкнувши затѣмъ на долгое время, онъ появился вновь въ литературѣ уже въ началѣ семидесятихъ годовъ съ романомъ *Пугачевцы*, отрывки котораго подѣ заглавіемъ *Бѣгуны и Земцы и нѣмцы* были первоначально напечатаны въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, а затѣмъ въ 1874 году появился въ полномъ видѣ, въ отдѣльномъ изданіи и подѣ собственнымъ пменемъ гр. Салиаса. Автору пришлось не мало поработать надѣ произведеніемъ своимъ, порыться по архивамъ, поѣздить по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ происходилъ пугачевскій бунтъ. Романъ произвелъ сенсацию, очень понравился публикѣ и доставилъ автору всеобщую извѣстность. И дѣйствительно, нельзя отказать ему въ талантливости. Вы найдете въ немъ отдѣльныя мѣста, написанныя съ большимъ мастерствомъ; такова напр. картина казанскаго общества предѣ возстаніемъ, броженіе въ народѣ и начало смуты, взятіе Казани, портреты Бибикова, Рейнсдорпа, Суворова, Фреймана. Но въ цѣломъ романъ представляетъ существенныя недостатки. Нечего и говорить о томъ, что гр. Салиасъ не могъ избѣгнуть подчиненія вліянію гр. Л. Толстого, и оно сказывается во многихъ типахъ и сценахъ романа. Напр. въ pendantъ парѣ Долохова съ англійчанномъ, что онъ сидя на подоконникѣ выпьетъ бутылку рома, у Салиаса Ахлатскій бьется объ закладъ съ Туровскимъ, что взѣдетъ на конѣ по лѣсамъ строящейся колокольни до самаго креста. Въ pendantъ съ описаніемъ Л. Толстого болѣзни князя Андрея съ горячечнымъ бредомъ и мистическими размышленіямъ, у Салиаса въ такомъ-же родѣ бредитъ и размышляетъ Иванъ Хвалынскій, раненный подѣ Оренбургомъ. Подобно Пьеру Иванъ Хвалынскій по выздоровленіи почувствовалъ въ себѣ возрожденіе, новыя мысли и взгляды на все окружающее. Въ романѣ Толстого Пьеръ замышляетъ убить Наполеона, у Салиаса—Параня мечтаетъ убить Пугачева. У Толстого разстрѣливаютъ поджигателей, и Пьеръ съ ужасомъ ждетъ такой-же участи; у Салиаса разстрѣливаютъ захваченныхъ пугачевцевъ и въ свою очередь съ ужасомъ смотритъ на это Иванъ Хвалынскій, ожидая, что и его разстрѣляютъ и т. п. Главный-же существенный недостатокъ романа гр. Салиаса заключается въ томъ, что авторъ вполне подчинился московской беллетристической школѣ и произведеніе его написано совершенно по тому вышеозначенному шаблону, по которому писалось большинство романовъ этой школы.

Такъ на первомъ планѣ рисуется передѣ нами все тотъ-же герой *Русскаго Вѣст-*

ника, гордый, непреклонно-твердый, храбро-отважный охранитель князь Данило Радвоничъ Хвалынскій, генеалогическому древу котораго гр. Салиасъ посвящаетъ три страницы, причемъ мы подробно узнаемъ весь родъ Хвалынскихъ, начиная съ татарина Хаванъ-Атр-Мира, плѣннаго Іоанномъ Грознымъ въ Казани, переведеннаго въ Москву и положившаго начало славному роду князей Хвалынскихъ. Послѣ участія въ турецкомъ походѣ, князь Данило, на пути въ отцовскую усадьбу Азгаръ, заѣзжаетъ къ одному отцовскому знакомому, богатому помѣщику, оцальному московскому боярину Артемію Никитичу Соколь-Уздальскому, съ генеалогическимъ древомъ котораго гр. Салиасъ въ свою очередь знакомитъ насъ еще съ болѣе подробностями.

Соколь-Уздальскій играетъ въ романѣ роль нигилиста XVIII вѣка, участвуетъ въ разныхъ тайныхъ обществахъ, распространяетъ прокламаціи и сѣетъ смуту, подготавливая пугачевскій бунтъ. Князь Данило, какъ только пріѣзжаетъ къ нему, сейчасъ-же и начиняетъ свое донъ-кихотское поприще въ духѣ московскихъ тенденцій, сѣбялаясь съ этимъ коварнымъ крамольникомъ своего времени. Простившись затѣмъ съ Уздальскимъ, на пути въ Азгаръ онъ случайно сталкивается съ клеветомъ Уздальскаго, мѣщаниномъ Долгополовымъ, везшимъ на Волгу пачки прокламацій, и арестуетъ его съ полиціею. Затѣмъ проѣздомъ черезъ Казань князь попадаетъ на губернаторскій балъ и въ ужасѣ видитъ, что зала наполнена плѣнными конфедератами и танцуютъ, о ужасъ, мазурку! Къ довершенію ужаса князь встрѣтилъ въ лицѣ Яна Бжезинскаго того самаго поляка, который при штурмѣ краковской цитадели едва не убилъ его, ранивъ ударомъ сабли въ плечо. Князь конечно не замедлилъ поссориться съ своимъ прежнимъ врагомъ, воспользовавшись тѣмъ предложеньемъ, что Янъ Бжезинскій, приглашая даму на танецъ, нечаянно поставилъ локоть недалеко отъ лица князя. Ихъ сейчасъ-же розняли, но князь вымолвилъ, смѣясь сухо и отходя: — „Добро, завтра я соберу моихъ лихачей и его какъ жидъ выпорю нагайками на дому!“

Не обходится такимъ образомъ романъ и безъ коварной польской интриги. Оказывается въ концѣ концовъ, что пугачевскій бунтъ всецѣло былъ созданъ ею. Самозванцемъ явился не прямо Пугачевъ, а нѣкій Вячеславъ, внукъ мятежнаго Соколь-Уздальскаго, рожденный отъ племянника его Алексѣя и польки Людвиги, креатура польской интриги. Пугачевъ-же сдѣлался самозванцемъ лишь впоследствии, когда казакъ, будучи недоволенъ гуманностью Вячеслава и его отвращеніемъ отъ кровожадности, рѣшился отдѣлаться отъ него; этимъ и воспользовался Пугачевъ: при помощи казака Чикп, ночью въ степи онъ убилъ Вячеслава, бросилъ трупъ его въ рѣку и объявилъ себя Петромъ III.

Положивши начало пугачевского бунта, коварная польская интрига не дремала и во все его продолженіе: такъ Янъ Бжезинскій отправился въ войско Пугачева, сдѣлался главнымъ подоучникомъ, устроилъ ему артиллерию на саняхъ, а братъ его Казиміръ, хитрый іезуитъ, держалъ въ рукахъ пяти настоящей польской интриги, велъ огромную переписку съ разными европейскими дворами, съ Турціей и польскими іезуитами и въ концѣ концовъ собственноручно отравилъ Бибикова, когда тотъ началъ одолаживать мятежниковъ.

Такое-же тенденціозное взмышленіе фактовъ обнаружилъ гр. Салиасъ и во всѣхъ

прочихъ своихъ многочисленныхъ историческихъ романахъ, каковы: *Петербургское дѣйство*, *Поэтъ Державинъ*, *Братья Орловы*, *Моръ*, *Принцесса Володимірская*, *Бригадирская внучка*, *Аракчеевскій сынокъ* и пр. пр. Разница только та, что романъ *Путичевцы* былъ во всякомъ случаѣ плодомъ многолѣтняго труда, и въ немъ авторъ явился во всей силѣ своего таланта. Прочіе-же романы представляютъ легкомысленную и поверхностную скороспѣлую стряпню, въ которой вы найдете все, что угодно, кромѣ исторической правды.

Вообще съ легкой руки Салиаса историческій романъ подъ конецъ сѣмидесятыхъ годовъ вступилъ въ новую фазу своего существованія, въ которой пребываетъ и до сего дня. Именно—съ одной стороны онъ принялъ характеръ реакціонной тенденціозности и узко-національнаго самохвальства, съ другой—сдѣлался продуктомъ не художественнаго творчества, а шарлатанской спекуляціи скороспѣлаго борзописанья, благодаря легковѣрію толпы, не вникающей глубоко въ историческую достовѣрность и довольствующейся лишь сказочными сюжетами. При такихъ условіяхъ историческій романъ совершенно вышелъ изъ области изящной словесности, потерялъ всякое литературное значеніе и обратился въ стереотипно-лубочныя издѣлія, украшающія иллюстрированныя изданія вродѣ *Нивы* и *Всемирной Иллюстраціи* на ряду съ полтипажами, шарадами и шахматными партіями. Мало-по-малу выработался даже для него свой шаблонъ, по которому ничего не стоитъ стряпать историческіе романы, какъ пироги, цѣлыми сотнями: во главѣ романа непременно благонамѣренный герой, преисполненный патріотизма и посрамляющій русскою доблестью всѣ языцы, а также и отечественныхъ крамольниковъ, затѣмъ нѣсколько боевыхъ сценъ въ жанрѣ гр. Л. Толстого, рутинная любовь, проходящая черезъ всѣ части, а если у автора хватаетъ фантазіи, то читатель долженъ быть приведенъ въ удивленіе, узнавши изъ романа, что главными виновниками крупнѣйшихъ событій всемірной исторіи являются вовсе не тѣ историческія личности, о которыхъ повѣствуютъ Гервинусъ или Шлоссеръ, а невѣдомый никому Сергій Горбатовъ.

Представителемъ этого лубочнаго историческаго романа является старшій сынъ знаменитаго историка С. М. Соловьева, Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ. Онъ родился въ Москвѣ 1-го января 1849 г. и получилъ высшее образованіе въ московскомъ университетѣ, кончивъ курсъ юридическаго факультета въ 1870 году со степенью кандидата правъ. Затѣмъ онъ переселился въ Петербургъ и поступилъ на службу во II отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи.

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ начали появляться въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ—*Русскомъ Вѣстникѣ*, *Зарѣ*, *В. Европы* и пр. его стихи и повѣсти. Между прочимъ въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* и *Русскомъ Мирѣ* онъ помѣстилъ рядъ критическихъ статей въ духѣ искусства для искусства. Первая историческая повѣсть его появилась въ *Нивѣ* 1878 г.—*Княжна Острожская*. Затѣмъ послѣдовали романы—*Юный Императоръ* (*Нива* 1877), *Кавитанъ гренадерской роты* (*Истор. библ.* 1878), *Царь-Дѣвица* (*Нива* 1878), *Касимовская невеста* (*Нива* 1879), *Навожденіе* (*Русскій Вѣстникъ* 1870) *Сергій Горбатовъ* (*Нива* 1881), *Вольтеріанецъ* (*Нива* 1882) и пр.

Значеніе и достоинство всѣхъ этихъ произведеній считаемъ вполне опредѣленнымъ тою характеристикою шаблоннаго историческаго романа, какая была нами только-что представлена. Находимъ въ то-же время совершенно излишнимъ перечислять всѣхъ безчисленныхъ сподвижниковъ Соловьева, такихъ-же какъ и опъ лубочныхъ исторіографовъ мелкой прессы, ежедневно вновь появляющихся и безслѣдно исчезающихъ. •



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

I—Новая беллетристическая школа, вызванная реакціею семидесятыхъ годовъ, и ея особенности. II—Андрей Осиповичъ Новодворскій. III—Біографическія свѣдѣнія о жизни Всеволода Михайловича Гаршина. IV—Характеристика его произведеній.

I.

Движеніе шестидесятыхъ годовъ кончилось, какъ извѣстно, мрачною реакціею, обнаружившеюся не въ однѣхъ правительственныхъ сферахъ, но и во всемъ обществѣ и наиболѣе развѣвшейся во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ. вмѣсто прежнихъ ликований и порываній впередъ явились всеобщая апатія, уныніе, разочарованіе. Глухое недовольство и раздраженіе господствовали во всѣхъ классахъ общества и во всѣхъ партіяхъ. Въ то время, какъ одни были недовольны совершившимися реформами, находя ихъ слишкомъ превысившими требованія жизни, преждевременными и даже гибельными, другіе напротивъ того находили ихъ недостаточными, урѣзанными, лишь вполнину удовлетворившими потребностямъ края и только раздражившими общественныя аппетиты. И между тѣмъ, какъ первые, если не въ силахъ были отмѣнить реформы, то болѣе или менѣе успѣшно предприняли всевозможныя мѣры къ урѣзанію и парализованію ихъ, другіе ничѣмъ не въ силахъ были противодѣйствовать этому, кромѣ безплодныхъ попытокъ, приводившихъ къ новымъ репрессаліямъ, которыя порождали еще болѣе уныніе и отчаяніе.

Уменьшеніе пульса общественной жизни сказывалось во всемъ: и во всеобщемъ равнодушіи, съ какимъ принимались самыя возмутительныя и постыдныя новости дня, которыя въ прежнее время навѣрное встрѣтили-бы общій взрывъ негодованія и протеста, и въ полномъ отсутствіи какихъ-бы то ни было высокихъ порывовъ и подъёмовъ духа, а если что и встрѣчалось подобное, то или подымалось на смѣхъ, или-же отъ него отстранялись, какъ отъ чего-то нарушавшаго общій покой и апатію, а потому и песноснаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ явился и новый герой времени, совершенно непохожій на всѣхъ прежнихъ. Окончательно сошли со сцены и отважный Инсаровъ, и гордый и ликующій своимъ отрицаніемъ Базаровъ, и практическій Соломинъ; мѣсто ихъ всѣхъ занялъ „кающійся дворянинъ“, но собственно говоря, это было не столько „кающійся“, сколько „обнищавшій“ дворянинъ. Изъ полуразрушенныхъ усадебъ, изъ голодныхъ

дворянскихъ семей, проѣвшихъ всѣ выкупныя свидѣтельства, вышло новое поколѣніе. худосочное, тщедушное, словно несущее на своихъ плечахъ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ и обреченное расплачиваться за нихъ. Трагичность лучшихъ представителей этого поколѣнія заключалась не въ однихъ неодолимыхъ внѣшнихъ препятствіяхъ къ осуществленію поставленныхъ вѣкомъ идеаловъ, но и въ внутреннихъ, коренящихся въ нихъ самихъ, въ видѣ унаслѣдованныхъ отъ предковъ пороковъ и слабостей, развившихся на почвѣ крѣпостного права. Въ то время какъ общественныя стремленія и нужды призывали этихъ людей къ упорной борьбѣ и совершенію высокихъ подвиговъ, имъ очень часто приходилось сознавать, что они неспособны даже къ самому заурядному труду ради снисканія насущнаго хлѣба для себя и для своихъ голодающихъ семей. И вотъ мы видимъ, что одни изъ нихъ ударились въ мрачный пессимизмъ чисто гамлетическаго характера, доведившіи ихъ до безнадежнаго отчаянія и самоубійствъ, которыя особенно сдѣлались часты въ этотъ періодъ, когда сплошь и рядомъ лишали себя жизни не только взрослые юноши, но и гимназисты, мотивируя свой роковой шагъ то отвращеніемъ отъ жизни, то сознаниемъ своего безсилія бороться съ обстоятельствами; другіе-же махали рукой на всѣ идеалы и высокія стремленія, предавались теченію, и старались забыться и утопить свою совѣсть въ угарѣ чувственныхъ наслажденій, что было имъ тѣмъ легче, что они отъ отцовъ и дѣдовъ наслѣдовали наклонность ко всяческимъ чревоугодіямъ. Однимъ словомъ—гамлетическій пессимизмъ и сепсуализмъ, являющіеся неизмѣнными спутниками всѣхъ реакціонныхъ, сумерочныхъ эпохъ, не замедлили проявиться во всей своей силѣ въ концѣ семидесятихъ годовъ.

Всѣ эти условія создали особеннаго рода беллетристическую школу, возникшую во второй половинѣ семидесятихъ годовъ и вполнѣ развившуюся втеченіе восьмидесятихъ годовъ. Первое, что васъ поражаетъ въ писателяхъ этой школы,—это возрожденіе художественности, страсть къ красотѣ образовъ и формъ, тщательной, щеголеватой отдѣлкѣ произведеній въ техническомъ отношеніи. Никто изъ авторитетныхъ и вліятельныхъ критиковъ не проповѣдывалъ культа чистаго искусства, тѣмъ не менѣе мы видимъ, что даже Гаршинъ, который менѣе чѣмъ кто-либо могъ быть заподозрѣнъ въ этомъ культѣ, тщательно отдѣлывалъ свои произведенія. и по изяществу формъ, по языку они представляютъ безукоризненное совершенство. Эта реставрація художественности, поэзіи, красоты стоитъ навѣрное въ тѣсномъ отношеніи съ паденіемъ волны общественнаго движенія, которая до того времени уносила въ свой водоворотъ писателей и не давала имъ ни времени, ни охоты прилаживать и прихорашивать свои произведенія и кокетничать красотой формъ.

Суть-же этой беллетристической школы заключается въ томъ, что выводимые ею герои постоянно выражаютъ собою одинъ изъ двухъ вышеозначенныхъ элементовъ: или—или сомнѣвающіеся въ себѣ самихъ мрачные гамлеты-пессимисты съ развѣшенными перьями, или-же махнувшие на все рукой сепсуалисты. Духъ этихъ двухъ элементовъ проникаетъ и самыя произведенія ихъ авторовъ. Конечно не у каждаго беллетриста мы видимъ разомъ преобладаніе обоихъ элементовъ. Такъ напримѣръ у чистаго сердца и цѣломудреннаго Гаршина вы конечно и тѣмъ не найдете чего-либо сепсуальнаго, но у всѣхъ прочихъ писателей этой школы вы встрѣтите въ большей или меньшей степени склонность къ сладострастнымъ

сценамъ, и въ особенноти въ этомъ отношеніи отличается, какъ мы ниже увидимъ, Іер. Іер. Яспинскій (Максимъ Бѣлинскій). Наклонность къ сладострастнымъ, а иногда даже и прямо скабрезнымъ сценамъ побудила даже критику предполагать вліяніе на всѣхъ этихъ беллетристовъ французской натуралистической школы, и преимущественно Золя. Но очень возможно, что русскіе молодые писатели вполне самостоятельно пришли къ тому-же результату, какъ и французскіе натуралисты, подъ вліяніемъ одного и того же духа времени.

II.

Первый, обратившій на себя вниманіе и выдвинувшійся изъ этой группы молодыхъ беллетристовъ, былъ Андрей Осиповичъ Новодворскій, произведенія котораго печатались подъ псевдонимомъ А. Осиповичъ. Онъ родился въ 1853 году въ Кіевской губерніи, липовецкаго уѣзда. Отецъ его былъ мелкій дворянинъ, захудалый шляхтичъ, безъ всякихъ средствъ къ существованію кромѣ службы, дававшей ему 200 р. въ годъ на мѣстѣ смотрителя провіантскаго магазина. У него было много дѣтей, такъ что жалованья на содержаніе семьи не хватало, и Новодворскій въ раннемъ дѣтствѣ позналъ, что такое нужда. Когда во время ревизіи залежавшаяся мука браковалась, и смотритель обязанъ былъ на свой счетъ замѣнять ее новой, своей, въ домѣ всѣ плакали, а отецъ, слишкомъ честный, чтобы подобно другимъ смотрителямъ спекулировать казенной мукой, впадалъ въ мрачное уныніе и съ тоскою смотрѣлъ на подрастающихъ дѣтей. Дѣла Новодворскихъ нѣсколько поправились лишь тогда, когда мать получила въ наслѣдство домъ, а отцу пришла идея заняться хозяйствомъ и удалось взростить и выгодно продать нѣсколько быковъ. Это обстоятельство помогло Новодворскому поступить въ Немировскую гимназію.

Гимназія дала Новодворскому очень немного. Онъ съ горечью вспоминалъ о порядкахъ, какіе были заведены начальствомъ для обрусенія края, и неохотно говорилъ объ учителяхъ, коверкавшихъ молодое поколѣніе, поощрявшихъ шпионство и этимъ путемъ насаждавшихъ патріотизмъ. Какъ и весьма многіе изъ нашихъ даровитыхъ людей, Новодворскій былъ обязанъ своему развитію собственнымъ усиліямъ, а главнымъ образомъ чтенію. Лѣтъ 15 — 16 онъ былъ уже очень вліятельнымъ юношей; товарищи не только относились къ нему съ уваженіемъ, но и видѣли въ немъ чуть не идеаль.

Гимназическій курсъ Новодворскій окончилъ въ 1870 году, семнадцати лѣтъ. Отецъ его умеръ, когда онъ былъ еще въ низшихъ классахъ, и дѣла его родныхъ пришли въ такое разстройство, что мать и сестры нерѣдко голодали. Съ 13 лѣтъ пришлось мальчугану заботиться о поддержаніи семьи учительствомъ. Въ Немировѣ онъ считался первымъ репетиторомъ и зарабатывалъ иногда до 50 руб. въ мѣсяцъ, — но это рѣдко. По большей-же части юношѣ приходилось класть массу каторжнаго труда для пріобрѣтенія самаго мизернаго гонорара. Были предприниматели, которые брали къ себѣ учениковъ и приглашали заниматься съ ними Новодворскаго, платя ему гроши, а сами получали взрядныя суммы. Объ одномъ изъ такихъ барышниковъ онъ всю жизнь вспоминалъ съ особеннымъ отвращеніемъ. Какую страшную нужду

терпѣть Новодворскій въ продолженіе всей своей жизни, объ этомъ можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ его дневника:

«Голоды! Когда ты оставишь меня? Вѣчный физическій или душевный голоды!.. Да будь хоть семь пядей во лбу, и если тебя бросить въ бездонное болото, ты такъ-же прекрасно потонешь, какъ самый слабый смертный! Вши такъ-же преспокойно могутъ заѣсть нищаго рабочаго, какъ заѣли-бы Гете, если-бы у него не было бѣлья, платья и жратвы... Грязь! «Это злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но она произнесена въ другое время; она выпалась у меня, какъ стонъ больной души, а потому я поставилъ ее въ ковычки, какъ изреченіе. Это было шесть лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы; не ѣлъ двое сутокъ, и въ такомъ видѣ пріѣхалъ въ Винницу. До дому оставалось 45 в., которыя надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ. Дождь, грязь, слякоть. Со мною не было вещей, но зато, можно сказать, и штановъ не было, потому что тѣ тончайшія лѣтнія панталоны, что были на мнѣ, въ смыслѣ удобства можно было признать равными нулю; кромѣ того ботинки (тоненькія, помню, ботинки), шинелишка и башлыкъ. Безъ отдыха по этой дорогѣ я прошелъ тридцать верстъ, и зато потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ».

Тяжеле всего, какъ видно изъ его дневника, пришлось ему въ бытность домашнимъ учителемъ и гувернеромъ у какихъ то графовъ. Въ головѣ его начинала даже мелькать мысль о самоубійствѣ. Обстановка была несносная, тонкія и политичныя отношенія и рядъ мелкихъ оскорбленій, облеченныхъ въ весьма вѣжливую форму. „Мечтаешь о подвигахъ, а тутъ приходится вести такую мелочную борьбу, что просто безгласность возбуждаетъ“, пишетъ Новодворскій. Комнату ему дали возлѣ птичника, а затѣмъ перевели въ сырую квартиру. „Всю осень и зиму въ этой комнатѣ ни разу не топили. Я изображаю такимъ образомъ просто приборъ для осушки негоднаго помѣщенія своимъ дыханіемъ и уничтоженія міазмовъ своимъ бѣднымъ легкимъ“... Въ гимназій Новодворскій былъ здоровъ и силенъ, какъ атлетъ, и его студенческую палку не всякій могъ поднять, но въ то время здоровье его уже сильно разстроилось. Тогда ему было 23 года, а онъ уже выглядѣлъ 35-ти лѣтнимъ.

Такая сокрушающая нужда не помѣшала однако-же ему слушать лекціи на математическомъ факультетѣ въ Кіевѣ, а въ 1876 г. онъ пробрался въ Петербургъ и въ 1877 году дебютировалъ своею первою повѣстью Эпизодъ изъ жизни *ни павы, ни вороны*, напечатанною въ іюньской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ*. Повѣсть эта обратила на себя всеобщее вниманіе, провинція зачитывалась ею. Литературный трудъ нѣсколько улучшилъ его матеріальное положеніе. Жилъ онъ въ послѣднее время по его собственнымъ словамъ „роскошно“. Эта роскошь заключалась въ томъ, что весь учительскій заработокъ въ количествѣ 30, 40 р. онъ могъ тратить на себя, а литературный гонораръ отсылалъ роднымъ, и жилъ въ крошечныхъ комнаткахъ, платя за нихъ отъ 10 до 15 рублей въ мѣсяцъ, а обѣдалъ въ кухмистерскихъ за 40 копѣекъ.

Вотъ какъ характеризуетъ его авторъ его некролога І. І. Яспнскій:

«Конечно, надломленный жизнью, онъ сурово относился къ счастливымъ, которымъ судьба не была мачихой, и поэтому многіе находили его сухимъ, черствымъ человекомъ. Одна барыня-сибиритка заговорила съ нимъ о любви, какъ съ литераторомъ, который долженъ только понимать страданія и бѣдъ чужихъ сердецъ. Онъ сказалъ ей въ отвѣтъ: «сударыни, вы съ жиромъ бѣситесь». Всякое витѣшное проявленіе (сентиментальности, посторига) передъ картиной или вообще художественнымъ произве-

деніемъ онъ обрывалъ съ такой-же грубостью. Это не потому, чтобы онъ былъ чуждъ такихъ восторговъ — онъ напирѣлъ любилъ картины и даже самъ хорошо рисовалъ — а потому что ему казалось уродливымъ явленіемъ расходовать нравственную эмоцію на то, что можно назвать низшимъ родомъ нравственнаго наслажденія и въ то-же время игнорировать высшій родъ «этихъ наслажденій». «Ничто не можетъ быть выше нравственной красоты, говорилъ онъ: — и мы живемъ въ такое время, когда красота эта достигаетъ идеала. Восторгъ передъ этой красотой поглощаетъ всѣ другіе восторги».

«Но если онъ былъ грубоватъ и сухъ съ людьми, которыхъ не считалъ своими и которыхъ художническая прозорливость позволяла ему видѣть насквозь со всѣми ихъ мелкими, себялюбивыми побужденіями, зато онъ былъ нѣженъ и деликатенъ съ друзьями, которыхъ впрочемъ у него было немного. Горячее сердце его было открыто для нихъ, какъ и его убогій кошелекъ. Я никогда не зналъ болѣе обязательнаго и теплаго человѣка, какъ покойный Андрей Осиповичъ. Искренній и прямой, онъ никогда не лукавилъ съ людьми, былъ безукоризненно чистъ и умѣлъ беззавѣтно пріизывать къ себѣ.

«Въ его манерѣ говорить, ходить, одѣваться, кланяться чувствовался южанинъ, нѣсколько застѣнчивый, но полный юмора, потому что тонкая наблюдательность и умѣнье схватывать смѣшныя стороны даннаго положенія никогда не покидали его, и даже когда онъ молчалъ, по его свѣтлымъ глазамъ можно было видѣть игру этого органическаго юмора, отъ котораго онъ не могъ отдѣлаться. На югѣ, на правомъ и на лѣвомъ берегу Днѣпра, можно нерѣдко встрѣтить людей весьма похожихъ на Андрея Осиповича, у которыхъ внутренніе терзанія и цѣлыя душевныя драмы прикрываются юморомъ, даже каламбуромъ. Это ужъ особенность расы. Нѣкоторые, читая рассказы Андрея Осиповича, полагали, что ему стоила большихъ трудовъ его манера писать. Но я зналъ хорошо этого человѣка и утверждаю, что напротивъ ему стоило большихъ трудовъ не писать въ этой манерѣ, когда ему совѣтывали сохранить юморъ, придающій такой блескъ его произведеніямъ, воздержаться отъ каламбурничанья, ибо каламбуръ всегда антихудожественъ.

«Обладая большой начитанностью и широкимъ умомъ, Андрей Осиповичъ при томъ талантѣ, который несомнѣнно отличаетъ его произведенія, могъ-бы выработать изъ себя съ теченіемъ времени крупную литературную силу. Но жестокая борьба за жизнь черезчуръ рано погасила этотъ благородный талантъ».

1878—1880 гг. были особенно губительны для здоровья Новодворскаго. Онъ перенесъ два тифа и сталъ кашлять. Зловѣщіе признаки чахотки, которую онъ считалъ „легощкимъ бронхитомъ“, появились въ серединѣ лѣта 1881 года, когда онъ поѣхалъ на дачѣ въ крошечной комнаткѣ съ сквознымъ вѣтромъ и течью. Онъ поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ дождь (фигурпрющій въ предсмертномъ рассказѣ его *Исторія*) промочилъ его до костей и онъ уже серьезно простудился, такъ что, снова появившись въ августѣ въ Петербургѣ, испугалъ друзей своимъ чахоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ за-границу, съ тѣмъ чтобы не возвращаться на родину: 2 апрѣля 1882 года онъ умеръ въ Ниццѣ на двадцать девятомъ году, въ крайней нищетѣ въ казенной больницѣ и въ полномъ одиочествѣ.

Мы уже говорили выше, что [первый-же рассказъ Новодворскаго — *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны* обратилъ на себя общее вниманіе и заставилъ видѣть въ авторѣ блестящую надежду. И дѣйствительно, отъ него сразу повѣяло на всѣхъ чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ и главное дѣло — совершенно новымъ. Сама форма произведенія з того поражала своею оригинальностью и какъ-бы полнымъ разрывомъ съ завѣщан-

ными традиціями. Она совершенно отступала отъ прилизанной, прикрашенной и припомаженной беллетристической формы, созданной сороковыми годами. Бездна южно-русского юмора, смѣлое введеніе въ разсказъ не только классическихъ литературныхъ типовъ (Печорина, Рудина, Базарова и пр.), но и самого Тургенева, котораго авторъ заставлялъ разговаривать съ героемъ его *Нови*, Соломпинымъ, безпрестанныя то лирическія, то юмористическія отступленія и прихотливое изложеніе, слѣдующее болѣе полету фантазіи и игрѣ сцѣпляющихся мыслей, чѣмъ внѣшнему развитію сюжета, все это напоминаетъ гейневскую прозу, и читатель отдыхалъ отъ монотонной рутинны приѣвшагося ему стараго беллетристическаго изложенія, расположеннаго по разъ установленному рутинному порядку.

Но главное значеніе разсказовъ Новодворскаго заключается въ томъ, что здѣсь юное поколѣніе устали лучшаго своего представителя открыло намъ всѣ свои муки и сомнѣнія, чѣмъ оно живетъ и къ чему оно стремится. Особенно въ этомъ отношеніи замѣчательны два первые разсказа: *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны* и *Карьера*. Въ обоихъ разсказахъ рисуется передъ вами одинъ и тотъ-же герой, отъ лица котораго ведется рѣчь; но надо замѣтить, что во второмъ разсказѣ герой этотъ изображенъ гораздо рельефнѣе и освѣщенъ правильнѣе и сознательнѣе. Когда Новодворскій писалъ *Эпизодъ*, онъ хотя и вѣрно представлялъ себѣ типъ своего героя, какъ художникъ, но, какъ мыслитель, очевидно не успѣлъ вполне осмыслить его и сознать его мѣсто въ жизни. Вслѣдствіе этой смутности сознанія онъ создалъ цѣлую теорію „ни павства ни воронства“, подъ которую подвелъ всѣхъ и вся: и своего героя, и самого себя, и другого героя изъ народа, Печерицу, и даже самого Бѣлинскаго.

„Ни павство ни воронство“ всѣхъ этихъ личностей по мнѣнію Новодворскаго заключалось въ томъ, что они отъ одного берега отстали, а къ другому не пристали. Но если это и можетъ быть примѣнимо къ героямъ Новодворскаго, то совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ чѣмъ къ Бѣлинскому,—именно въ томъ, что въ то время какъ жизнь внушала имъ новые идеалы и поставила ихъ въ новыя экономическія условія, натура ихъ оставалась старая, не только не соотвѣтствующая новымъ идеаламъ и условіямъ, но совершенно имъ противоположная.

Вся бѣда для нихъ заключалась въ томъ, что въ то время какъ они по завѣту отцовъ и дѣдовъ были воспитаны для дворянскаго благодушія, всѣ условія, необходимыя для этого благодушія, были отъ нихъ отпаты. Крестьянъ отобрали; послѣднія выкупныя свидѣтельства были прожиты; поля пачали заростать бѣлоусомъ, усадьбы ветшать, службы разваливаться; сады превратились въ непролазныя чащи; наконецъ всѣмъ этимъ завладѣлъ Деруновъ,—и семья героевъ нашихъ быстро дошла до послѣдней степени нищеты.

«Мы, повѣствуетъ герой *Карьеры*, прожили послѣдніи крохи, оставшіеся послѣ отца, и быстро скатились по наклонной плоскости разоренія. Новая квартира обходилась намъ по рублю въ мѣсяцъ. Это была половина избы какого-то отставнаго унтера, представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединенныя не дверью, а промежутокъ между кухонною печью и выступомъ противоположной стѣны. Первая отъ входа поступила въ мое владѣніе, вторую заняли мать съ сестрами. У меня было оконце, и у нихъ оконце...»

И это была нищета гораздо ужаснѣе той, какую терпятъ обыкновенно люди низшихъ слоевъ общества. Тѣ хоть что-нибудь умѣютъ дѣлать и для нихъ больше представляется возможности найти хоть самый скудный кусокъ хлѣба. Здѣсь-же вы видите полную растерянность, неумѣнье ни за что взяться, ни въ чемъ найтись, и въ концѣ концовъ безвыходное отчаянье. Люди простого класса способны съ собою-то распорядиться самимъ, обшить себя, обмыть и т. п., а здѣсь привыкли, чтобы за нихъ все дѣлали другіе, и потому теперь по шею тонутъ въ грязи. Но зато попадаетъ имъ случайно въ руки лишній грошъ въ видѣ какой-нибудь подачки или заложенной у еврея фамильной брошки, сейчасъ-же этотъ послѣдній грошъ ставится ребромъ, и въ то время какъ забываютъ о необходимости заштопать безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на столѣ являются конфекты и всякія фантифлюшки.

А что-же дѣлаютъ въ это время молодые представители рода, наши герои? Они занимаются благороднымъ дѣломъ: лежатъ на диванѣ и мечтаютъ о широкой дѣятельности. При этомъ, несмотря на то, что малые кончили уже курсъ гимназій, они не чувствуютъ ни малѣйшаго призванія къ какому-нибудь дѣлу; для нихъ рѣшительно все равно, за что-бы ни принятыся, и въ ихъ мечтахъ о дѣлѣ ихъ занимаетъ не самое дѣло, а ихъ собственная фигура, блистающая на героическомъ пьедесталѣ. Это одинъ изъ существенныхъ міазмовъ, какіе бродятъ въ крови героевъ по завѣщанію отцовъ и дѣдовъ. Они никакъ не могутъ вообразить такого порядка вещей и такого дѣла, чтобы собрались люди изъ любви къ самому дѣлу, а не къ пьедесталу, чтобы они уважали и любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не пресмыкающихся передъ нами рабовъ, чтобы дѣйствовали любовно, сообща, по взаимному совѣту, настолько-же подчиняя своей волѣ товарища брата, насколько сами подчиняясь ему. Для нихъ необходимо, чтобы они гордо возвышались надъ толпою и тысячи народа повиновались ихъ голосу, а на нихъ съ восторгомъ любовались-бы женскія очи.

Но одною этою гангреною не ограничивается дѣло. Отцы и дѣды завѣщали своимъ потомкамъ еще одинъ міазмъ, преобладающій въ ихъ организмѣ и съѣдающій ихъ, а именно: необузданное сластолюбіе и чревоугодіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стимуломъ всѣхъ мыслей и дѣлъ является юбка. Куда-бы ни забросила ихъ судьба, они тотчасъ-же первымъ дѣломъ оглядываются вокругъ себя, ищутъ-ли гдѣ вблизи подходящаго сюжета для романа, а если возможно, то и для нѣсколькихъ. Что-бы они ни предприняли, въ концѣ концовъ оказывается, что это или дѣлается спеціально ради побѣды надъ непреклоннымъ женскимъ сердцемъ, или-же роковымъ путемъ сводится все къ той-же неизмѣнной любовной интрижкѣ. Надо замѣтить при этомъ, что любовь принимаетъ въ глазахъ подобныхъ героевъ характеръ какого-то мало сказать возвышеннаго дѣла, — священнодѣйствія. Благородная героиня никогда не спустится до того, чтобы признаться, что она жаждетъ одной любви; нѣтъ, она жаждетъ дѣла, жертвы. А у героя помышленія нѣтъ о томъ, чтобы срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, онъ подвиговъ, мученичества жаждетъ! И подъ всею этою напыщенной риторикой высокихъ стремленій у этихъ господъ скрывается самая низменная чувственность. До какой степени развращено и изгажено обыкновенно бываетъ ихъ воображеніе, объ этомъ мы можемъ судить по герою *Карьеры*. Случайно на улицѣ въ

Петербургѣ онъ познакомился съ дѣвушкой, которая подобно ему пріѣхала учиться, голодала и тщетно искала уроковъ. Бѣдняжка нѣсколько дней уже не ѣла и находилась въ такомъ изнеможеніи, что герой съ трудомъ дотащилъ ее до своей коморки и уложилъ на свою постель. Она начала метаться, бредить, и у нея очевидно начался голодный тифъ. И вотъ мы читаемъ:

«Она забормотала какую-то бессмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я растегнулъ ей юбку, снялъ башмаки, чулки, сильно заштопанные на носкахъ и съ влажными желтыми пятнами на подошвахъ, вытеръ досуха худыя, почти дѣтскія ноги и прикрылъ ихъ одѣяломъ».

Однимъ словомъ, герой сдѣлалъ то, что былъ обязанъ сдѣлать каждый порядочный и не зачерствѣлый человѣкъ. Но онъ и тутъ, у постели умирающей, не забылъ своихъ клубничныхъ грезъ и къ вышеприведенной тирадѣ прибавилъ слѣдующія слова: „т. е. продѣлалъ все то, что при другихъ обстоятельствахъ могло-бы составить весьма пикантную страницу романа“.

Рядомъ съ такою кошупственной фразою сопоставьте разсужденіе героя *Эпизода* о преимуществѣ бѣлыхъ женскихъ чулковъ передъ цвѣтными для возбужденія въ мужчинѣ страсти,—и вы поймете, чѣмъ наполнены головы героевъ Новодворскаго.

И вотъ эти-то герои, испакощенные всяческими и физическими, и нравственными міазмами, завѣщанными предками, рѣшаются наконецъ, повинувшись духу времени, сжечь за собою корабли, свергнуть съ себя ветхаго человѣка и отъ риторики перейти къ самому дѣлу, и даже не къ какому-нибудь головоломно-хитрому или высокому дѣлу, а лишь къ азбукѣ дѣла: дерзаютъ впрячься въ трудовую лямку рабочаго человѣка. Но тутъ комедія превращается въ трагедію. Здѣсь подводится роковой, окончательный итогъ всей жизни героевъ. Какъ герои они не могутъ избрать какую-нибудь сообразную ихъ истощеннымъ силамъ работу, а сразу рѣшются на что-нибудь вроде тасканія десятипудовыхъ кулей или бревенъ,—ну и конечно дѣло кончается самымъ постыднымъ фiasco, какимъ ознаменовалъ свое подвижничество герой *Карьеры*, и затѣмъ начинаются муки отчаянія и помышленія о самоубійствѣ.

Вотъ передъ вами разгадка столь многихъ удивленныхъ выстрѣловъ, раздававшихся такъ часто втеченіе восьмидесятихъ годовъ. Они являются прямымъ результатомъ отрезвленія отъ самообольщенія пьедесталами героевъ Новодворскаго, отчаяннаго сознанія полной несостоятельности. Герои успѣли постыдно убѣжать отъ всего, что призывало ихъ: убѣжали отъ родныхъ, взывавшихъ къ нимъ о помощи, убѣжали отъ женщинъ, которыя полюбили ихъ, убѣжали отъ ученья, убѣжали отъ дѣла, оказавшагося имъ не по силамъ,—и чтоже оставалось имъ дѣлать, какъ не бѣжать отъ самой жизни?

Но въ послѣдніе годы своей недолгой литературной дѣятельности были у Новодворскаго попытки изображать типы молодого поколѣнія много рода, болѣе положительные, цѣльные и отрадные, вышедшіе изъ иной среды, не столь растленной. Уже въ *Карьерѣ* вывелъ онъ героя совсѣмъ иного закала въ видѣ Стремиллина, съ его характерною кличкою зюльки, являющагося истителемъ за поруганную честь любимой дѣвушки. Въ разсказѣ *Романъ* подобный-же типъ въ лицѣ Алешки очерченъ болѣе полно; въ то время, какъ Стремиллинъ представленъ въ одномъ отрицательномъ видѣ:

мстителя, здѣсь тотъ-же герой является передъ вами и съ положительной стороны, въ качествѣ спасителя молодой и неопытной дѣвушки отъ гибельнаго увлеченія пошлякомъ. Но и здѣсь этотъ типъ лишь отмѣченъ и далеко не является передъ вами во весь ростъ, въ полномъ и всестороннемъ изображеніи, подобно тому какъ рисуются типы несостоятельныхъ героевъ.

Въ послѣднихъ-же повѣстяхъ Новодворскаго *Мечтатели* и *Исторія* хотя и изображаются въ свою очередь положительные герои, но герои эти рисуются въ еще большемъ туманѣ, вслѣдствіе того что авторъ дѣлалъ неосуществимыя по цензурнымъ условіямъ попытки изображать своихъ героевъ въ самыхъ ихъ дѣйствіяхъ. Но дѣйствій-то этихъ онъ и не могъ представить. Герои мало того что совершаютъ свои главные поступки гдѣ-то за кулисами, а авторъ словечка не молвитъ о томъ, что они такое тамъ дѣлаютъ, но иногда они и совсѣмъ не выходятъ на сцену, какъ напр. въ *Мечтателяхъ* невѣдомый, но тѣмъ не менѣе самый главный герой—Псевдонимовъ.

III.

Одновременно съ Новодворскимъ выступилъ на литературное поприще Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ, столь-же преждевременно окончившій свою жизнь, но еще болѣе талантливый и оставившій послѣ себя еще болѣе яркій слѣдъ въ нашей литературѣ.

Гаршинъ родился 2-го февраля 1855 года въ екатеринославской губерніи, въ бахмутскомъ уѣздѣ, въ имѣніи его бабки А. С. Акимова. Отецъ его былъ мелкій помещикъ на военной службѣ. Вслѣдствіе этого Гаршину съ самаго пѣжнаго дѣтства пришлось много постранствовать, перебивать въ самыхъ разнообразныхъ мѣстностяхъ Россіи. Деревни екатеринославской губерніи, Харьковъ, Старобѣльскъ, Петербургъ, Петрозаводскъ,—вотъ какія разнообразныя воспоминанія оставило дѣтство Гаршину. Уже съ первыхъ лѣтъ жизни онъ обнаруживалъ многія качества, характеризовавшія его и въ зрѣломъ возрастѣ: былъ такъ-же добръ, мягокъ, кротокъ, всѣмъ любимъ, проявлялъ ту-же способность увлекаться. Наслушавшись въ домѣ отца рассказовъ о походахъ и войнахъ, онъ четырехъ лѣтъ рѣшился идти на войну, принялся за сборы, прощался съ родными, горько плача, и большого труда стоило отвлечь его отъ этой идеи. Вообще-же внѣшнія условія дѣтской жизни Гаршина были далеко не изъ благоприятныхъ: ребенкомъ еще пришлось ему перенести многое такое, что выпадаетъ на долю лишь немногихъ. Это имѣло большое вліяніе на складъ его характера, многія особенности котораго онъ самъ объяснялъ именно этими печальными фактами своего дѣтства. Грамотѣ научился онъ на пятомъ году и принялся за чтеніе всѣхъ книгъ, какія попадались ему подъ руки, не исключая нумеровъ *Современника*, гдѣ, будучи восьми лѣтъ, онъ читалъ романъ *Что дѣлать* Чернышевскаго. Когда ему минуло девять лѣтъ, въ 1864 году, онъ былъ привезенъ матерью въ Петербургъ и опредѣленъ въ первый классъ с.-петерб. 7-й гимназіи (нынѣ 1-е реальное училище). Учился онъ хорошо и оставилъ самыя пріятныя воспоминанія въ своихъ учителяхъ и воспитателяхъ. Товарищи въ свою очередь души въ немъ не чаяли, и онъ среди нихъ приобрѣлъ много дру-

зей, съ которыми до смерти поддерживалъ самыя задушевные отношенія. Виродоложеніи гимназическаго курса Гаршинъ обнаруживалъ большую страсть къ естествознанію. Особенно лѣтомъ въ деревнѣ онъ весь отдавался своей любви къ природѣ, вѣчно возился съ лягушками, ящерицами и жуками, собиралъ гербаріи и т. п.

Впѣшнія условія жизни Гаршина и въ гимназическіе годы оставались мало благоприятными. Дѣло доходило до того, что напримѣръ въ 1868 году Гаршинъ, тогда тринадцати-лѣтній еще мальчикъ, долженъ былъ одинъ, безъ провожатыхъ отправиться изъ Старобѣльска въ Петербургъ къ началу занятій въ гимназіи. Впрочемъ съ этого времени условія жизни его улучшились, такъ какъ онъ устроился въ симпатичной семьѣ одного изъ своихъ товарищей, В. Н. Афанасьева. Скоро, благодаря другому товарищу В. М. Латкину, онъ нашелъ доступъ въ семью А. Я. Герда, которому, какъ онъ самъ выражался, онъ былъ обязанъ болѣе чѣмъ кому-либо другому въ дѣлѣ своего умственнаго и нравственнаго развитія. По переходѣ въ шестой классъ Гаршинъ былъ принятъ въ пансіонъ на казенный счетъ.

Въ старшихъ классахъ гимназіи Гаршинъ все болѣе и болѣе уходилъ въ книги. Онъ составилъ даже вѣстѣ съ нѣсколькими товарищами что-то вродѣ общества образованія бібліотеки: на членскіе взносы и добровольныя пожертвованія пріобрѣтались всевозможныя книги самыми экономическими способами, и друзья сами переплетали ихъ. Въ то-же время Гаршинъ началъ уже и подписывать, участвуя въ гимназическихъ рукописныхъ журналахъ, издававшихся его товарищами.

Въ концѣ 1872 года, когда Гаршинъ былъ уже въ седьмомъ классѣ, его впервые постигъ сведшій его впоследствии въ могилу душевный недугъ, возросшій до такой степени, что родные должны были помѣстить его въ больницу св. Николая. Болѣзнь шла crescendo и въ началѣ 1873 года онъ былъ уже настолько боленъ, что къ нему не пускали навѣщавшихъ его. Иногда на него находили минуты просвѣтлѣнія и онъ вспоминалъ все, что дѣлалъ въ періоды безумія. Но мало-по-малу здоровье его оправилось. Когда онъ былъ взятъ изъ больницы, у него оставались лишь нервные припадки по ночамъ. Помѣщенный въ лечебницу д-ра Фрея, онъ окончательно выздоровѣлъ лѣтомъ 1873 года.

Окончивши затѣмъ курсъ гимназіи въ 1874 году, Гаршинъ поступилъ въ горный институтъ. Къ этому времени относится знакомство его съ кружкомъ художниковъ (И. Е. Рѣпнымъ, Н. А. Ярошенко, М. Е. Малышевымъ и проч.), дружбу съ которыми онъ сохранилъ до смерти. Это знакомство много содѣйствовало развитію въ Гаршинѣ художественнаго вкуса и пониманія живописи, которые онъ обнаружилъ въ нѣсколькихъ статьяхъ своихъ о художественныхъ выставкахъ. Курсовыми предметами онъ занимался лишь настолько, насколько это требовалось, и всецѣло отдался мысли сдѣлаться писателемъ. Онъ писалъ много, но истреблялъ все написанное, будучи недоволенъ своими работами. Но въ 1876 году онъ рѣшился таки выступить въ печати, и написалъ маленькій рассказъ, которому впрочемъ не придавалъ значенія, равно и статьямъ о художественныхъ выставкахъ, появившихся вскорѣ за тѣмъ въ *Новостяхъ*, и считалъ начало своей литературной дѣятельности съ 1877 года.

Но вотъ разразились грозныя событія на Балканскомъ полуостровѣ, началась сербская война; наше общество было сильно возбуждено, начались сборы пожертвованій

всякаго рода, потянулись со всѣхъ концовъ добровольцы. Юноша отъ природы крайне впечатлительный и съ чрезвычайно чуткою совѣстью, постоянно высказывавшій кровное убѣжденіе свое объ обязанности для каждаго принять на себя долю общаго бѣдствія, представляемаго войной, Гаршинъ едва могъ воздержаться отъ участія въ сербской войнѣ, благодаря лишь тому, что былъ на очереди по всеобщей воинской повинности. Зато, когда появился манифестъ о войнѣ съ Турціею, онъ не могъ долѣе терпѣть: бросялъ переходные экзамены со второго на третій курсъ и отправился въ дѣйствующую армію съ товарищемъ своимъ В. Н. Афанасьевымъ. Въ Клишиневѣ онъ поступилъ рядовымъ въ 138-й болховской пѣхотный полкъ и черезъ день выступилъ въ походъ.

Гаршину пришлось принять участіе въ двухъ дѣлахъ съ турками. Первое было небольшою стычкою, послѣ которой были посланы войска для уборки и погребенія труповъ. И здѣсь-то былъ найденъ среди труповъ живымъ солдатъ того-же болховскаго полка, который четыре дня оставался на полѣ сраженія съ перебитыми ногами, безъ пищи и воды. Этотъ случай и послужилъ темой для перваго разсказа Гаршина *Четыре дня*, который онъ началъ сочинять уже во время похода, сильно потрясенный имъ. Вторымъ дѣломъ, въ которомъ участвовалъ Гаршинъ, было сраженіе при Аясларѣ, описанное имъ въ *Новостяхъ*. Въ реляціи объ этомъ сраженіи сказано, что „рядовой изъ вольноопредѣляющихся В. Гаршинъ примѣромъ личной храбрости увлекъ впередъ товарищей въ атаку, во время чего и раненъ въ ногу“.

Препровожденный съ другими ранеными въ Баку, Гаршинъ затѣмъ 4-го сентября былъ доставленъ въ Харьковъ, гдѣ и провелъ время выздоровленія, до конца декабря, въ домѣ матери. Въ первые-же дни по пріѣздѣ въ Харьковъ онъ принялся за обработку разсказа *Четыре дня*, начатаго еще въ Болгаріи. Разсказъ былъ посланъ въ *Отечественныя Записки* и появился въ № 10 этого журнала за 1877 годъ, произведя всеобщую сенсацію, благодаря какъ своему содержанію изъ военныхъ событій, которыя въ то время всецѣло поглощали вниманіе общества и волновали его, такъ и блестящему таланту автора, который былъ сразу признанъ и оцѣненъ и публикой, и критикой.

Окриленный этимъ успѣхомъ и пріѣхавши въ Петербургъ, Гаршинъ съ жаромъ принялся какъ за пополненіе своего образованія (чтеніемъ и университетскими лекціями, которыя онъ слушалъ втеченіе полугода), такъ и за новыя литературныя работы. Такъ втеченіе послѣдующихъ двухъ лѣтъ, съ 1878 по 1880 годы, имъ написаны были *Очень маленькій романъ*, *Происшествіе*, *Трусъ*, *Встрѣча*, *Художники*, *Attalea princeps*, *Ночь*. Впродолженіи всего этого времени здоровье его было относительно цвѣтуще, исключая лѣтнихъ мѣсяцевъ, когда его посѣщали припадки мучительной меланхоліи. Но посѣтившіе его припадки въ 1879 году уже не прекращались какъ обыкновенно зимою, и къ веснѣ 1880 года разразились кризисомъ возврата его душевной болѣзни. Болѣзнь эта обнаружилась тѣмъ, что вслѣдъ за покушеніемъ на представителя верховной распорядительной комиссіи гр. Лорисъ-Меликова, Гаршинъ явился ночью къ послѣднему, чтобы убѣдить его въ необходимости „примиренія“ и „всепрощенія“. Будучи допущенъ къ графу, онъ долго бесѣдовалъ съ нимъ. Графъ отнесся къ нему какъ къ больному и отпустилъ его. Затѣмъ Гаршинъ уѣхалъ изъ Петербурга въ Москву, и начался безцѣльный скитаніи его то въшкомъ, то верхомъ.

изъ одной губерніи въ другую, причемъ онъ неизвѣстно зачѣмъ посѣщалъ гр. Л. Толстого въ Ясной полянѣ, родителей критика Писарева. Все это онъ совершалъ въ полномъ помѣшательствѣ, пока увѣдомленные обо всемъ этомъ родственники не настигли его, не увезли въ Харьковъ и не препроводили въ больницу умалишенныхъ на Сабуровой дачѣ. Пробывши здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, Гаршинъ былъ перевезенъ въ Петербургъ въ лечебницу д-ра Фрея. Здѣсь онъ оправился отъ помѣшательства, но все-таки представлялъ собою человѣка совершенно разбитаго и физически, и нравственно. Въ такомъ видѣ его привезли къ роднымъ въ Харьковъ, а отсюда взялъ его дядя В. С. Акимовъ въ свое имѣніе, д. Ефимовку въ херсонской губерніи, возлѣ Днѣпровско-Бугскаго лимана.

Въ деревнѣ этой Гаршинъ прожилъ съ конца 1880 г. до весны 1882 года. Мѣсто это крайне уединенное, вполнѣ подходило къ состоянію больного по отсутствію всякихъ рѣзкихъ впечатлѣній, полному спокойствію и степному раздолью. Къ тому-же родственники, у которыхъ жилъ Гаршинъ, были крайне добры къ нему, и онъ всегда вспоминалъ съ удовольствіемъ о своемъ житіи въ этой прекрасной семьѣ. Онъ велъ самый регулярный образъ жизни, правильно питался, ходилъ и ѣздилъ по окрестностямъ, катался зимою на конькахъ по лиману. При такихъ условіяхъ весною въ началѣ 1882 г. онъ былъ уже настолько здоровъ, что могъ написать свою прелестную сказочку *То, чего не было*, для дѣтей А. Я. Герда, задумавшихъ издавать рукописный дѣтскій журналъ *Маленькій корабль*.

Проживъ затѣмъ лѣто 1882 года въ имѣніи Тургенева Спасское-Лутовиново въ обществѣ семейства Я. П. Полонскаго, осенью Гаршинъ снова былъ въ Петербургѣ. Не рассчитывая жить литературными заработками, онъ сталъ искать постороннихъ занятій, сначала поступилъ въ помощники управляющаго торговою частью Анноловской ипсчебумажной фабрики, и въ слѣдующемъ году получилъ мѣсто секретаря съѣзда представителей желѣзныхъ дорогъ. Въ слѣдующемъ-же 1883 году 11 февраля онъ женился на слушательницѣ жепскихъ врачебныхъ курсовъ Надеждѣ Михайловнѣ Золотиловой.

Съ этого времени жизнь его повидному вполнѣ входитъ въ норму и устранивается. Въ семейномъ отношеніи Гаршинъ чувствуетъ себя такимъ счастливецомъ, что даже удивляется своему счастью, находя его исключеніемъ изъ matrimonialныхъ порядковъ. Кромѣ взаимной любви и соответствія характеровъ, большое значеніе имѣло для Гаршина то обстоятельство, что жена его была женщина-врачъ. Больной, онъ нуждался не только въ заботливомъ уходѣ, но и въ разумномъ медицинскомъ присмотрѣ. Матеріальныя заботы были сняты съ Гаршина, благодаря мѣсту, которое вознаграждая его въ разнѣрахъ вполнѣ достаточныхъ для покрытія скромныхъ его потребностей, отнимало у него весьма немого времени. Онъ могъ писать теперь, когда хотѣлъ. Съ жаромъ принялся онъ за работу. Къ этому времени относятся его рассказы *Заниски рядового Иванова*, *Красный цвѣтокъ*. Въ то-же время онъ задумалъ писать историческій романъ изъ эпохи Петра I и до самой смерти занимался приготовленіемъ матеріаловъ и историческими чтеніями для этой работы.

Но счастье его было непродолжительно. Только одинъ годъ послѣ болѣзни удалось ему прожить безъ возврата. Но уже съ 1884 года снова начала посѣщать его прежняя

меланхолія, ежегодно являвшаяся съ весною и проходившая лишь осенью. причемъ припадкн ея дѣлалась съ каждымъ разомъ продолжительнѣе и сильнѣе. При такихъ условіяхъ работать ему удавалось лишь въ зимніе мѣсяцы, да и то съ большимъ трудомъ. Въ послѣдніе четыре года своей жизни онъ только и успѣлъ написать повѣсть *Надежда Николаевна* и два разсказа: *Синаль* и *Гордый Аней*. Въ 1887 году болѣзнь посѣтила Гаршппа довольно поздно, среди уже лѣта, но зато не проходила болѣе; весною-же 1888 года обнаружались нѣкоторые признаки возврата помѣшательства. И вотъ во время сборовъ на Кавказъ, въ припадкѣ глубокой меланхоліи, Гаршппъ бросился въ пролетъ лѣстницы дома, въ которомъ онъ жплъ, и 24 марта его не стало.

IV.

Въ одномъ изъ писемъ къ своимъ друзьямъ, 1-го мая 1885 г., слѣдовательно за три года до смерти, когда большинство его произведеній было уже написано, Гаршппъ, сѣтуя на неудачу своей повѣсти *Надежда Николаевна*, между прочимъ такъ опредѣляетъ свой талантъ: „для меня прошло время страшныхъ отрывочныхъ воплей, какихъ-то „стиховъ въ прозѣ“, какими я до сихъ поръ занимался: матеріалу у меня довольно и нужно изображать не свое я, а большой внѣшній міръ“.

Судя по этимъ словамъ, можно думать, что всѣ произведенія Гаршппа отлпчаются крайнею субъективностью. Но это не совсѣмъ вѣрно. Если у Гаршппа и пайдется не мало произведеній, въ которыхъ онъ имѣетъ дѣло очевидно съ своею собственною личностью, съ своимъ думамъ, сомнѣвіямъ и рефлексіямъ, каковы: *Четыре дня*, *Трусъ*, *Ночь*, *Красный цвѣтокъ*, *Attalea princeps* и *То, чего не было*; зато наберется не менѣе и такихъ, въ которыхъ онъ является вполне отрѣшпвшимся отъ себя. Очевидно ничего общаго съ его личностью не имѣютъ произведенія: *Встрѣча*, *Происшествіе*, *Деньщикъ и офицеръ*, *Записки рядового Иванова*, *Медвѣди*, *Надежда Николаевна* и *Гордый Аней*. Гораздо точнѣе мы опредѣлимъ отличіе Гаршппа отъ прочихъ беллетристовъ его школы, если скажемъ, что во всѣхъ его произведеніяхъ какъ крайне субъективныхъ, такъ и вполне объективныхъ мы видимъ бѣдность эпическаго элемента. Гаршппъ дѣйствительно имѣлъ очень мало дѣла съ внѣшнимъ міромъ. Но не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ вѣчно возплся съ самимъ собою, а въ томъ, что всегда пренебрегалъ внѣшнею обрисовкою лицъ и предметовъ, детальною, и вмѣстѣ съ тѣмъ типичностью выводимыхъ лицъ, а больше всего обращалъ вниманіе на внутренній міръ своихъ героевъ, на то, что они передумывали, перечувствовали, переживали въ своей душѣ.

Это вѣчное копаніе во внутреннемъ мірѣ героевъ обусловливается съ одной стороны душевною болѣзнію Гаршппа; съ другой же—вполнѣ соотвѣтствуютъ духу времени, въ которое писался всѣ его произведенія, эпохи тоскующихъ, раздвоенныхъ людей съ больною совѣстью, усомнившихся и въ себѣ самихъ, и во всемъ окружающемъ, путающихся въ непримиримыхъ противорѣчіяхъ.

Обратите вниманіе, что въ разсказахъ Гаршппа люди цѣльные, способные беззавѣтно отдаваться страсти и наслаждаться жизнью, являются въ тоже время вполне

по шляхам. Таковы напримѣръ благодуществующій инженеръ въ разсказѣ *Встрѣча*, Дѣдовъ въ разсказѣ *Художники*. Герои-же мало-мальски симпатичные, къ которымъ лежитъ сердце автора и которые высказываютъ его собственные думы, являются постоянно раздвоенными и рефлектирующими Гамлетами. Это совершенно согласуется съ дѣленіемъ людей на два разряда, какое дѣлаетъ Гаршинъ въ своемъ письмѣ къ Латышну 9 декабря 1883 г., высказывая здѣсь очевидно завѣтный свой взглядъ на людей вообще и на самого себя:

«Всѣ люди, говорятъ онъ, которыхъ я зналъ, раздѣляются (между прочими дѣленіями, которыхъ конечно множество: умные и дураки, Гамлеты и Донъ-Кихоты, лѣнтяи и дѣятельные и проч.) на два разряда, или вѣрнѣе распредѣляются между двумя крайностями: одни обладаютъ хорошимъ, такъ сказать, самочувствіемъ, а другіе—сквернымъ. Одинъ живетъ и наслаждается всякими ощущеніями: ѣсть—онъ радуется, на небо смотритъ—радуется. Даже низшія фізіологическія отправления совершаетъ съ видимымъ удовольствіемъ. Придетъ изъ ватерклозета и говоритъ: «ну, братъ, да и хорошо-же я и пр.». Это я не разъ слыжалъ, да навѣрно и вы тоже. Словомъ, для такого человѣка самый процессъ жизни—удовольствіе, самое сознаніе жизни—счастье. Вотъ какъ Платоша Каратаевъ. Такъ ужъ онъ устроенъ, и я не вѣрю ни Толстому, ни кому иному, что такое свойство Платоши зависитъ отъ міросозерпанія, а не отъ устройства. Другіе-же совсѣмъ напротивъ: озолоти его, онъ все брюзжитъ; все ему скверно; успѣхъ въ жизни не доставляетъ никакого удовольствія, даже если онъ исполнѣ на-лицо. Просто человѣкъ неспособенъ чувствовать удовольствія, — неспособенъ да и все тутъ...»

Тоже самое слѣдуетъ сказать и о всѣхъ лучшихъ герояхъ Гаршина. Они въ свою оче редь оказываются неспособны чувствовать удовольствія. Все это подрядъ раздвоенные, рефлектирующие Гамлеты. Такимъ Гамлетомъ является даже герой *Четырехъ дней*, повидному менѣе всѣхъ другихъ подходящий къ этому типу. Но крайней мѣрѣ мы видимъ, что онъ шелъ на войну, какъ истый Лаэртъ, сознательно и добровольно, увлеченный идеею. Онъ не понималъ даже, въ сплу чего окружающіе смѣялись надъ его военнымъ задоромъ и называли его юродивымъ. Но и онъ обратился въ Гамлета, испытавъ, что такое война на самомъ дѣлѣ. Вотъ онъ лежитъ въ кустахъ, раненый, забытый, рядомъ съ трупомъ турка, котораго передъ тѣмъ убилъ, и тутъ, среди мукъ нестерпимой боли отъ ранъ, пожирающей жажды и отчаянья, его начинаютъ преслѣдовать цѣлый рядъ скептическихъ рефлексій и о жестокой безсмысленности войны вообще, и тѣмъ болѣе безсмысленности его собственнаго убійства.

Еще въ болѣе степени Гамлетомъ является передъ нами герой *Труса*. Извѣстія съ поля войны производятъ на него потрясакщее впечатлѣніе.

«Первы, спрашиваетъ онъ себя, что-ли у меня такъ устроены, только военными телеграммами, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны. ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало; а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятдесятъ убитыхъ, сто изувѣченныхъ—это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстіе о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутреннихъ дѣла, разграб-

леннаго убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныя дѣла съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, никто не обращаетъ вниманія?»

Отъ подобныхъ общихъ соображеній онъ переходитъ къ своей личности:

«Куда-же дѣнется твое «я»? спрашиваетъ онъ: мы всѣмъ существомъ протестуемъ, противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человѣкъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги да аудиторіи, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать новую работу, трудъ любви и правды; я наконецъ, привыкшій смотрѣть на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла—я вижу все мое зданіе, спокойствіе разрушеннымъ, а самого себя напаяливающимъ на плечи то самое рубище, дыры и нитки котораго я сейчасъ только-что разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ никакой физической свободы располагать своимъ тѣломъ».

Далѣе затѣмъ приходятъ ему вдругъ въ голову сомнѣнія въ своей храбрости:

«Быть можетъ, думаетъ онъ: всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоитъ-ли дѣйствительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ-ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?»

Но герой началъ припоминать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи—правда немногіе—въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости.

«Тогда, говоритъ онъ, я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало-быть, не смерть пугаетъ меня».

Но уклониться отъ предстоящей участи, воспользовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то-же время на службѣ, герой не былъ въ состояніи; его претило прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, а во-вторыхъ что-то неподчиняющееся опредѣленію сидѣло у него внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему уклониться отъ войны. „Не хорошо“ —говорилъ ему внутренній голосъ.

Этотъ внутренній голосъ потомъ ясно сформировался передъ нимъ устами одной знакомой барышни Марьи Петровны:

«Они (т. е. другіе), сказала она, тоже не пошли-бы, если-бы могли, но они не могутъ, а вы можете... Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые пожалеютъ послать знакомаго человѣка на войну. Я не беру на себя рѣшить: можетъ быть, это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ!»

И онъ пошелъ, своего рода „невольникъ чести“, умирать подъ непріятельскими пулями безъ малѣйшаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу несправедливой ему войны.

Съ поля войны Гаршинъ ведетъ насъ въ художественныя студіи, въ своемъ разсказѣ *Художники*, но и здѣсь мы находимъ такое-же развитіе гамлетизма, отвле-

кающаго самыхъ талантливыхъ художниковъ отъ искусства совершенно подобно тому, какъ вопли мужественные люди получаютъ отвращеніе отъ войны. Дѣдовъ и Рябининъ—это тѣ-же Лазръ и Гамлетъ. Дѣдовъ въ своемъ родѣ цѣльный человѣкъ: онъ весь до мозга костей преданъ своему искусству, и кромѣ того въ самомъ искусствѣ—пейзажной живописи; внѣ этого конька ничего для него не существуетъ. Онъ понять не въ силахъ, какъ это можно сомнѣваться и задавать себѣ какіе-бы то ни было вопросы относительно значенія и цѣлей искусства. Для него искусство само въ себѣ и по себѣ составляетъ цѣлый міръ, въ которомъ заключены свои начало и конецъ, исходъ и цѣль.

Рябининъ-же весь пзѣденъ рефлексіями. Для него мало искусства въ самомъ себѣ; онъ безпрестанно спрашиваетъ себя, какое значеніе имѣетъ оно въ жизни и имѣетъ-ли какое-нибудь значеніе. Это происходитъ отъ той причины, что истинные художественные таланты вродѣ Рябинина—люди съ крайне чуткими, впечатлительными нервами, и какъ-бы они ни старались устраниваться отъ жизни,—жизнь со всѣми ужасами, гадостями и грязью непрестанно волнуетъ ихъ, бѣситъ, терзаетъ, вызываетъ на страшный бой. Нужно имѣть нервы Дѣдова, чтобы смотрѣть и не видѣть, слышать и не содрагаться, и при видѣ возмущающихъ зрѣлищъ ни о чемъ не думать, какъ лишь о красотѣ тоновъ неба, раскинушагося надъ людскими безобразіями. Рябининъ этого не можетъ, и вотъ въ немъ происходитъ мучительное раздвоеніе: жизнь тинетъ его въ одну сторону, искусство—въ другую. Онъ пытается поширить этотъ взглядъ, посвятивши искусство жизни, ишетъ картину, на которой изображаетъ весь испытанный имъ ужасъ при видѣ адской каторги рабочаго-котельщика, собственною грудью поддерживающаго на днѣ котла страшные удары молотомъ при утвержденіи заклепокъ. Картина выходитъ поразительная по своему страшному впечатлѣнію. Но ожидаемаго примпренія все-таки она художнику не приноситъ. Онъ представляетъ себѣ свою картину на выставкѣ, воображаетъ равнодушныя лица публики и пошлыя фразы на ея устахъ. А затѣмъ, какое-бы вопіющее содержаніе ни заключала въ себѣ картина, все равно неизбежная участь ея затеряться въ покояхъ какого-нибудь Саламатова или Утробина, гдѣ она будетъ играть такую-же роль украшеній роскоши, какъ стоящіе возлѣ нея канделябры. Чтобы выйти изъ этого ада сомнѣній, Рябинину остается одно: бѣжать отъ искусства, несмотря на всю свою любовь къ нему и могущественный талантъ, и онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается непосредственному дѣлу борьбы съ безобразіями жизни.

Затѣмъ обратимъ еще вниманіе на рассказъ *Ночь*, любопытный для насъ въ томъ отношеніи, что здѣсь изображается совершенно такой-же герой, какихъ мы видѣли въ рассказахъ Новодворскаго. Подобный герой рисуется здѣсь въ послѣдней фазѣ своей жизни, когда судьба успѣла уже поднести ему цѣлый рядъ горькихъ опытовъ и разочарованій, вслѣдствіе которыхъ онъ отрезвѣлъ отъ всѣхъ своихъ самообольщеній и, вхѣсто волпчественнаго полубога, созналъ въ себѣ ничтожѣйшаго пресмыкающагося червя и къ тому-же обманщика, шулера.

«Въ прошломъ имѣть опоры, говоритъ онъ себѣ, потому что все ложь, обманъ. И дгадь, обманывалъ я самъ и самого себя, не оглидывался... Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, рассказывающій о своихъ богатствахъ,

которыя гдѣ-то «тамъ» «не получены», но которыя есть, и занимающій деньги на-право и налѣво. Я всю жизнь долженъ самому себѣ. Теперь насталъ срокъ расчета — и я банкротъ, злостный, завѣдомый...»

Но само по себѣ это сознаніе не излечиваетъ еще героя отъ недуга самообожанія. У него все-таки не хватаетъ еще настолько мужества, чтобы честно сознавшись въ своей несостоятельности, смприться и подавить въ себѣ всякую гордыню, и даже сознавая себя ничтожнѣйшимъ изъ ничтожнѣйшихъ, онъ продолжаетъ красоваться передъ собою въ гордомъ величіи, изъ своего самоуничиженія устранивая пышную мантію, въ которую драпнуется. Даже падая съ пьедестала, онъ и не помышляетъ о томъ, что ударить въ грязь лицомъ. Правда, онъ банкротъ, но отъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ хуже другихъ; это показываетъ только, что и всѣ банкроты, а онъ во всякомъ случаѣ цѣлою головою выше человѣческаго рода, потому что люди, будучи банкротами, не сознаютъ этого и продолжаютъ пресмыкаться, а онъ созналъ и желаетъ честно отдѣлаться отъ жизни. И вотъ на прощанье съ жалкимъ человѣческимъ родомъ онъ пишетъ письмо, въ которомъ излагаетъ, „что умираетъ спокойно, потому что жалѣть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ — если только онъ дѣйствительно любилъ кого-нибудь, а не притворялся передъ самимъ собою, что любитъ, — не въ состояніи удержать его жизнь, потому что „выдохлись“. Да и не выдохлись, „нечему было выдохаться“, а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понялъ ихъ; что онъ понялъ и себя, понялъ, что и въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дѣлалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по неимѣнію злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми. Что тѣмъ не менѣе онъ не считаетъ себя хуже „остающихся лгать до конца дней своихъ“, и не проситъ у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣніемъ къ людямъ, не меньшимъ, чѣмъ къ самому себѣ. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма:— Прощайте, люди! прощайте кровожадные, кривляющіеся обезьяны!“

Но пустить себѣ пулю въ лобъ ему не удалось. Давно всѣмъ извѣстно, что подобнымъ людямъ, хотя и свойственно приходитъ къ мысли о самоубійствѣ, но приводить ее въ дѣйствіе бываетъ очень трудно. Онъ и не замѣтилъ, какъ просидѣлъ въ своей комнатѣ, въ креслѣ, собираясь раздѣлаться съ жизнью, всю ночь до разсвѣта. Наконецъ начали звонить къ завтрашнему. Звукъ колокола пробудилъ его отъ мрачнаго раздумья.

«Колоколь», говоритъ авторъ, сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго, узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, беспязныя, и всѣ какъ будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что ясно видѣлъ самого себя. Те перь-же почувствовалъ, что въ немъ есть и другая сторона, та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души».

Однимъ словомъ воспоминаніи дѣтства воскресли въ немъ совершенно простой души, простой, безхитростный, чуждый развѣдающихъ рефлексій, но чуждый и узкаго эгоизма, когда „онъ думалъ именно то, что думалъ, любилъ отца и зналъ, что любитъ“.

«Вѣдь есть-же мѣръ, воскликнулъ онъ подѣ обаяніемъ всѣхъ тѣхъ воспоминаній, колоколъ напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить, и такъ любить, какъ любятъ дѣти... Обратиться и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значитъ, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродна съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное Я, которое какъ глисть сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи».

Это были однимъ словомъ тѣ старые, но вѣчно новые народныя демократическіе идеалы, которые были чужды ему до сей поры, но которые теперь наполнили сердце его невѣдомымъ восторгомъ.

«Онъ почувствовалъ, что не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло — онъ не зналъ, да въ эту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ».

Но къ сожалѣнію, это великое сознаніе явилось къ нему слишкомъ поздно. Не говоря о томъ, что запасъ нравственныхъ силъ его былъ уже истощенъ, но и физическія силы до такой степени были надломлены, что гдѣ-же было думать ему о страданіяхъ за другихъ, когда онъ не въ состояніи былъ вынести и того восторга, которымъ преисполнился; новое вино не удержалось въ старыхъ мѣхахъ; съ героемъ произошло нѣчто вроде разрыва сердца, и онъ тутъ-же и умеръ, не дожидая до утра.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну особенность, замѣчающуюся въ большинствѣ произведеній Вс. Гаршина; именно на страсть его къ кровавымъ катастрофамъ. Не говоря уже о *Четырехъ дняхъ*, гдѣ онъ заставляетъ своего героя четыре дня томиться жаждою и мучительною болью раны и въ то же время созерцать быстрое разложенье трупа убитаго имъ-же врага, вспомните только концы *Труса*, *Происшествія*, *Краснаго цѣпка*, *Сигнала*, *Надежды Николаевны*. Однимъ словомъ трагическое лежало въ крови Гаршина, и быть можетъ эта страсть къ ужасному была предчувствіемъ его собственной трагической смерти.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

I — Іеронимъ Іеронимовичъ Ясинскій. II — Михаилъ Ниловичъ Альбовъ. III — Казиміръ Станиславовичъ Баранцевичъ. IV — Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій (Каронинъ). Александръ Ивановичъ Эртель. Григорій Александровичъ Мачтетъ. V — Владиміръ Галактіоновичъ Короленко. VI — Ігнатій Николаевичъ Потапенко. VII — Д. Н. Маминъ (Сибирякъ). Д. Голицынъ (Муравлинъ). Антонъ Павловичъ Чеховъ. Валентина Іововна Дмитріева. Александра Александровна Виницкая. Ольга Шапиръ. Марія Всеволодовна Крестовская.

I.

Іеронимъ Іеронимовичъ Ясинскій родился въ Харьковѣ 18 апрѣля 1850 года. Отецъ его, въ свое время не безызвѣстный на Югѣ адвокатъ, происходилъ изъ польской семьи, предки которой были однако русскіе. Мать, Ольга Максимовна Бѣльнская, была малороссіанка, дочь полковника, одного изъ героевъ Бородинской битвы. Грамотѣ Ясинскій научился четырехъ лѣтъ отъ роду, и когда ему было 6 лѣтъ, прочелъ множество книгъ изъ библіотекъ отца, главнымъ образомъ медицинскихъ. Мать заставляла его читать религіозныя книги, но вмѣстѣ съ тѣмъ, любя поэзію и зная наизусть Лермонтова, она и сыну внушила свою страсть, и съ десяти лѣтъ мальчикъ началъ писать стихи. Учился онъ въ черниговской гимназіи, а затѣмъ въ университетѣ св. Владиміра въ Кіевѣ на естественномъ факультетѣ. Обстоятельства помѣшали ему добиться кандидатскаго диплома, и онъ, выйдя изъ университета, поступилъ на государственную службу, занявъ мѣсто помощника секретаря въ черниговскомъ губернскомъ акцизномъ управленіи. Послѣ этого онъ былъ секретаремъ черниговской губернской земской управы, причемъ редактировалъ *Земскій сборникъ*. Оставивъ скоро и эту службу, онъ всецѣло посвятилъ себя литературѣ.

Умственное развитіе Ясинскаго шло, судя по его воспоминаніямъ, крайне неправильно и односторонне. Гимназія, а затѣмъ университетъ заглушили тѣ художественныя инстинкты, какіе были въ немъ пробуждены въ раннемъ дѣтствѣ вліяніемъ матери и часто посѣщавшаго домъ ихъ украинскаго поэта Воробзны. Къ тому-же юность Ясинскаго протекла во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ, какъ разъ въ такое время, когда идеи Писарева всецѣло господствовали въ кружкахъ молодежи.

«Была полоса въ жизни молодой интеллигенціи, говорить Ясинскій въ № 163 *Зари* 1884 г., когда искусство отрицалось, красоту считали пустякомъ и отвѣты на «проклятые вопросы» искали въ курсахъ политической экономіи. И я стоялъ въ этой полосѣ, мнѣ казалось, что время будетъ безвозвратно потеряно, если я возьму романъ и прочитаю его. Я почти не зналъ Тургенева, не зналъ Гончарова, не зналъ Льва Толстого, не говоря уже о заграничныхъ романистахъ и поэтахъ. Но я зналъ, т. е. читалъ Милля, Бокля, Спенсера, Дарвина, Маркса и множество другихъ умныхъ книжекъ. Долженъ сказать, что жизнь казалась мнѣ ужасно скучной. Это потому, что я самъ скучалъ, задыхаясь въ пыльной атмосферѣ кабинетной учености. И не я одинъ. У меня былъ товарищъ, который былъ еще болѣе ревностнымъ отрицателемъ, чѣмъ я. Онъ ничего не признавалъ, кромѣ физиологій. Но какъ разъ наканунѣ экзамена онъ увлекся *Похожденіями Рокамболя*, и торжественно провадился, получивъ изъ физиологій двойку! Слава Богу, мнѣ тоже не удалась карьера ученаго — благодаря Льву Толстому.

«Я до-сихъ-поръ не могу забыть ошеломляющаго впечатлѣнія, которое произвела на меня *Анна Каренина*. Точно волшебная панорама, развернулась передо мною жизнь цѣлаго общественнаго слоя, трепещущая избыткомъ крови, мяса, залитая яркимъ свѣтомъ, полная изумительныхъ художественныхъ подробностей,—жизнь, передъ которою всѣ курсы политической экономіи, физиологій, психологій не стоятъ по моему выѣденнаго лѣнца. Вотъ гдѣ истинная наука, подумалъ я, проникнутый благоговѣніемъ къ имени художника».

Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, выступивъ на литературное поприще уже въ 1870 г. въ *Кіевскомъ Вѣстникѣ*, *Кіевскомъ Телеграфѣ* и другихъ провинціальныхъ изданіяхъ, Ясппскій въ первое десятилѣтіе своей литературной дѣятельности является по преимуществу авторомъ серьезныхъ статей по естественнымъ наукамъ. Такимъ мы видимъ его и въ *Кіевскомъ Телеграфѣ*, который редактировалъ въ 1876 году, и позже въ *Газетѣ Гатицука*, которую тоже редактировалъ онъ по перѣздѣ въ Москву, въ журналѣ *Природа и Охота*, гдѣ велъ научныя обзоры, и въ *Словѣ*, гдѣ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ также по научному отдѣлу. Въ качествѣ беллетриста онъ обратилъ на себя вниманіе лишь въ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда началъ писать подъ псевдонимомъ Максима Бѣлинскаго сначала мелкіе рассказы, а впослѣдствіи и романы въ *Словѣ*, *Пчелѣ*, *Кругозорѣ*, *Будильникѣ*, *Развлеченіи* и наконецъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Прежде всего произведенія Ясппскаго, особенно мелкіе рассказы его первого періода, поражаютъ васъ тщательною техническою отдѣлкою; всѣ они словно отчеканены. Въ то-же время они носятъ рѣзкій характеръ южно-русскаго типа: не говоря уже о томъ, что въ большинствѣ произведеній Ясппскаго рисуется передъ вами южно-русская провинціальная жизнь, и даже въ столицахъ изображаются по большей части южане,—произведенія Ясинскаго отличаются тѣмъ яркимъ солнечнымъ колоритомъ и цвѣтистымъ языкомъ, пзобилюющимъ подѣ-часъ весьма рискованными эпитетами и метафорами, чѣмъ отличаются произведенія всѣхъ южно-русскаихъ писателей, начиная съ Гоголя. Въ произведеніяхъ-же позднѣйшихъ начала проявляться еще одна южно-русская особенность—обиліе лиризма.

Въ то-же время, несмотря на то, что Ясппскій обладаетъ страстью къ живописи и занимается ею на досугѣ, въ литературныхъ произведеніяхъ своихъ онъ не отличается опредѣленностью и рельефностью рисунка, изображенія его рисуются въ во-

ображеніи читателя тускло и расплывчато. Выводимыя лица крайне эскизны и конкретны. Вы положительно не встрѣтите у него ни одного характера, который вѣзался-бы въ вашу память, какъ обобщающій типъ. При такой крайней фотографичности и самые сюжеты повѣстей и романовъ Ясинскаго случайны и эпизодичны.

При такихъ качествахъ таланта вы не встрѣтите у Ясинскаго какого-либо героя времени, какъ у Новодворскаго или Гаршина, а цѣлый рядъ мелкихъ и ничтожныхъ провинціальныхъ фатовъ и пошляковъ, и на нихъ-то авторъ и показываетъ разладъ словъ и дѣлъ и нравственную несостоятельность, составлявшіе, какъ мы выше видѣли, печальный удѣлъ эпохи, въ которую развернулась дѣятельность нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Рѣдкій рассказъ Ясинскаго обходится безъ такого рода фатовъ, мнящихъ себя героями прогресса, но превращающихся въ пошлыхъ чиновниковъ, говорящихъ одно, а дѣлающихъ нѣчто совсѣмъ противоположное. Мы уже говорили, что преобладающимъ элементомъ Ясинскаго является сенсуализмъ, какъ относительно содержанія его произведеній, то есть анализа этого печальнаго явленія нашей современной эпохи, такъ и относительно самаго духа произведеній его, то есть авторъ не могъ отнестись къ изображаемымъ явленіямъ съ полною объективностью и безучастіемъ: онъ самъ въ нѣкоторыхъ своихъ произведеніяхъ невольно проникся до извѣстной степени тѣмъ сенсуализмомъ, съ какимъ имѣетъ дѣло, изображаетъ его слишкомъ реально, смакуя совершенно такъ-же, какъ это дѣлаютъ французскіе натуралисты. Этимъ преобладаніемъ сенсуальнаго элемента въ произведеніяхъ Ясинскаго объясняется и то, что онъ болѣе всѣхъ другихъ молодыхъ беллетристовъ былъ одно время подчиненъ вліянію Золя и вообще французскихъ натуралистовъ.

Сенсуализмъ рассказовъ Ясинскаго заключается въ томъ, что желая показать разладъ словъ и дѣлъ въ своихъ герояхъ, авторъ постоянно прибѣгаетъ къ одному и тому-же сюжету, — именно къ адюльтеру въ различныхъ его варіаціяхъ: то герой его обольщаетъ невинную дѣвушку и затѣмъ бросаетъ на произволъ судьбы, то наоборотъ онъ не обольщаетъ дѣвушки, когда она сама падаетъ въ его объятія, а малодушно предоставляетъ ее въ жены нелюбимаго ею существа, то отецъ семейства бросается изъ семейнаго ада въ объятія первой встрѣченной на дорогѣ юрлдиной нищенки и малодушно игнорируетъ ее, приживши съ ней ребенка, то обольстительная хитрляжка въ видѣ новой Далилы силою чаръ своей красоты и нѣжныхъ объятій склоняетъ героя отъ революціоннаго пути на дорогу мирнаго семейнаго счастья подъ вліяніе вишенъ и черешенъ, — то герой предпочитаетъ дебелую губернаторшу юной Фанничкѣ и дѣлается презрѣннымъ альфонсомъ и пр., и пр.

Въ то-же время натуралистическій протоколлизмъ въ духѣ Золя и фотографичность произвели то, что въ нѣкоторыхъ романахъ Ясинскаго были признаны портреты живыхъ лицъ, и такіа произведенія невольно приняли характеръ насквильныхъ. Эта насквильность тѣмъ болѣе бросается въ глаза въ подобнаго рода произведеніяхъ, что при всемъ своемъ пристрастіи къ протоколizmu и при всѣхъ ратоваціяхъ за чистое искусство у Ясинскаго вы встрѣтите часто тенденціозность, да не одну простую, а сугубую. Одна изъ нихъ принадлежитъ не самому автору, а лежитъ въ изображаемыхъ явленіяхъ жизни, другую-же авторъ искусственно вноситъ въ свои произведенія и портреты ихъ, освящая свои образы совершенно фальшиво.

Этою искусственно вносимою тенденцію Ясинскій обязанъ той реакціи, какою произошла въ немъ послѣ увлеченія писаревскими тенденціями и естественными науками. Когда эти увлеченія поостыли и Ясинскій весь отдался своему природному влеченію, онъ не ограничился тѣмъ, чтобы отвергнувши писаревское отрицаніе искусствъ, осмыслить отношеніе реальнаго мышленія къ вопросу объ искусствѣ, какъ это сдѣлалъ другіе его сверстники, а кипулся изъ одной крайности въ другую, и какъ прежде опъ отрицалъ искусство, такъ теперь во имя искусства онъ началъ отрицать и реализмъ, и позитивизмъ, и науку. Да мало еще того, что въ глазахъ его физиологія, политическія экономіи не стоятъ и выѣденнаго яйца передъ искусствомъ, но онъ предположилъ, что и въ нравственномъ отношеніи не только реальное мышленіе, но и всякая наука къ добру не ведутъ. Въ силу этого въ произведеніяхъ Ясинскаго по большей части если выводится художникъ, то непременно рисуется въ идеальномъ свѣтѣ; ученый-же выходитъ всегда огляисленнымъ негодяемъ и пошлякомъ. Особенно не жалуетъ Ясинскій медиковъ, и эта ненависть доходитъ у него до того, что въ повѣсти *Вьюрочка* онъ заставляетъ героя ни съ того, ни съ сего травить ни въ чемъ не повиннаго акушера собакой.

Пока непродолжительную еще, всего десятилѣтнюю дѣятельность Ясинскаго можно раздѣлить на три періода.—Первый періодъ представляетъ начало его художественной дѣятельности съ 1879 по 1882 годъ. Здѣсь мы видимъ массу мелкихъ рассказовъ, легкихъ эскизовъ и очерковъ, представляющихъ какъ-бы пробу пера. Читая ихъ, мы видимъ оригинальный талантъ, но не успѣвшій еще ни установиться, ни опредѣлиться. Тѣмъ не менѣе эти первые рассказы дышатъ свѣжестью и самобытностью; въ нихъ нѣтъ еще и тѣни золаизма; нѣтъ и той чрезмѣрности сенсуализма, какая у Ясинскаго явилась впоследствии. Однимъ словомъ, талантъ здѣсь хотя и находится еще въ зачаточномъ состояніи, но является самимъ собою, безъ какихъ-бы то ни было чуждыхъ и наносныхъ вліяній.

Второй періодъ, начиная съ 1882 г. простирается до 1885 г. Здѣсь Ясинскій начинаетъ создавать уже болѣе обширныя и сложныя эпопеи, таковы: *Молодые востокъ*, *Болотный цвѣтокъ*, *Спящая красавица* и пр. Талантъ его замѣтно развивается, растетъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ этотъ періодъ замѣчаются наиболѣе подчиненіе Золя и развитіе сенсуализма, заставлявшего Ясинскаго безпрестанно вдаваться въ грязныя скабрзности.

Наконецъ съ 1885 г. Ясинскій замѣтно вступаетъ на новый путь. Вліяніе Золя становится въ каждомъ годѣ слабѣе, и Ясинскій мало того что дѣлается опять самимъ собою, но у него являются новыя, не замѣчавшіеся прежде элементы, напримѣръ, лиризмъ, бывший прежде очевидно подъ гнетомъ папускнаго протоколизма, яркая художественность и поэтичность нѣкоторыхъ его образовъ и описаній. Въ то-же время Ясинскій дѣлается значительно сдержаннѣе и скромнѣе по части сенсуализма и скабрзностей.—Какъ на наиболѣе выдающіяся произведенія, относящіяся къ этому времени, укажемъ на *Петербургскую повѣсть*, *Городъ мертвыхъ*, *Добрая фея*, *Путеводная звѣзда*, *Иринархъ Плутарховъ*, *Пророкъ*, *Трашки*, *Антикварій*, *Свѣтъ погасъ* и пр.

II.

Михаилъ Нпловичъ Альбовъ родился въ Петербургѣ 8-го ноября 1851 года. Отецъ его былъ діаконъ церкви почтоваго департамента, мать—полудворянскаго рода. Альбовъ лишился ея, когда ему было полтора года, тѣмъ не менѣе художественный талантъ онъ получилъ безъ сомнѣнія наслѣдственно отъ нея, такъ какъ, по рассказамъ, она писала стихи и хорошо рисовала. Грамотѣ Альбовъ научился довольно рано, чему былъ обязанъ теткѣ, Т. М. Башмаковой. Первая прочитанная имъ книга была *Робинзонъ*, въ котораго мальчикъ былъ влюбленъ безъ памяти, буквально имъ бредилъ. Затѣмъ мѣсто его занялъ *Давидъ Копперфильдъ*, котораго онъ перечитывалъ безконечное число разъ. Третьею любимую книжкой его были *Мертвыя души* Гоголя, причемъ Чпчиковъ имѣлъ для мальчика обаяніе со стороны кочеванія, и ему очень хотѣлось имѣть его „бричку“, чтобы развѣзжать, куда вздумается. Въ перемежку онъ читалъ все, что попадалось подъ руки, и жилъ постоянно въ мірѣ, наполненномъ лицами прочитанныхъ книгъ, въ чаду мечтательныхъ грезъ, чему способствовало полное одиночество, въ которомъ онъ росъ.

Десяти лѣтъ отдалъ Альбова во 2-ю петербургскую гимназію, гдѣ со второго уже класса мальчикъ началъ пописывать. Первая попытка его была начало „юмористической“ повѣсти *Расстрепалкинъ*, навѣянной похождениями Чичикова; была даже тамъ и знаменитая бричка. За нею послѣдовало множество повѣстей, гдѣ фигурировали испанцы и итальянцы. Такъ между прочимъ онъ написалъ романъ *Англійскій матросъ*, сколокъ съ *Монтекристо* и *Лондонскихъ тайнъ*, причемъ дѣйствіе происходило одновременно въ Англію, Испанію, Америкѣ, и была даже изображена испанская инквизиція. Когда-же ему было 13 лѣтъ, онъ написалъ разсказецъ въ формѣ дневника, подъ заглавіемъ *Записки подвального жилища* и послалъ ее по почтѣ въ *Петербургскій листокъ* Ильи Арсеньева. Разсказъ былъ напечатанъ, авторъ былъ конечно на седьмомъ небѣ, цѣлый день ходилъ какъ въ чаду, но этотъ быстрый и преждевременный успѣхъ имѣлъ очень дурныя послѣдствія; произошло то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: мальчикъ совсѣмъ бросилъ заниматься ученіемъ, началъ получать единицы и двойки, застрѣвалъ въ каждомъ классѣ по два года, а въ четвертомъ остался даже на третій годъ и вслѣдствіе этого долженъ былъ оставить гимназію.

Первое время онъ весь былъ подавленъ своею бѣдою, сознаніемъ своей негодности. Но мало-по-малу успокоился и снова принялся за свои литературные труды. Тогда-же (1866) онъ написалъ большую часть своей первой большой повѣсти *На новую дорогу*, напечатанную позднѣе у того-же Ильи Арсеньева. Въ 1867 году Альбовъ поступилъ въ четвертый классъ пятой гимназіи, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1873 году. Съ 1873 по 1879 годъ онъ находился на юридическомъ факультетѣ петербургскаго университета, причемъ съ лѣта 1877 по весну 1878 г. находился въ дунайской арміи въ качествѣ брата милосердія, причемъ необходимыя для этого фельдшерскія познанія онъ пріобрѣлъ на открывшихся весной 1877 года курсахъ первой помощи

решеннымъ. По выходѣ изъ университета Альбовъ всецѣло посвятилъ себя литературной дѣятельности.

Первымъ произведеніемъ, замѣченнымъ публикою и критикою и выдвпнувшимъ автора, была повѣсть *День итога*, напечатанная въ *Словѣ* 1879 г. № 1 и 2. Повѣсть эта написана очевидно подъ сильнымъ вліяніемъ Ф. Достоевскаго. Вы найдете здѣсь цѣлыя страницы, отъ которыхъ на васъ такъ и вѣетъ романомъ *Преступленіе и наказаніе*: таковы сны на яву и галлюцинаціи героя Глазкова, его полоумныя скитанія по городу, связь съ нѣжною сердцемъ и прпвязчивою швейкою Катсю Ершовой и высокоумное обращеніе съ нею; сама — эта Катя Ершова напоминаетъ Союю Мармеладову.

Но нельзя отказать Альбову и въ нѣкоторой оригинальности относительно обрисовки героя; онъ въ этомъ отношеніи всталъ на вполне самостоятельную почву. Герой Достоевскаго Раскольниковъ гигантъ въ сравненіи съ мизернымъ Глазковымъ. Раскольниковъ является передъ нами вполне человекомъ шестидесятихъ годовъ и на немъ лежитъ печать своего вѣка. Человѣкъ начитанный, увлекающійся разными широкими теоріями, онъ обладаетъ въ то-же время могучею волею, стремящеюся осуществить какъ можно скорѣе его увлеченія. Раскольниковъ совершилъ свое ужасное преступленіе не съ какою-либо цѣлью, какъ лишь чтобы однимъ рискованнымъ шагомъ завоевать счастье, и притомъ не одно личное, но и счастье своихъ близкихъ. При этомъ природа его была настолько могуча, что превозмогла весь тотъ маразмъ, который ему пришлось пережить послѣ совершенія преступленія и полученнаго за него наказанія; не къ самоуниженію привели его обрушившіяся надъ нимъ нравственныя и юридическія кары, а къ возрожденію къ новой жизни честнаго труда на благо родины.

Совсѣмъ инымъ является передъ нами Глазковъ. Это все тотъ-же страдающій дворянскими недугами разнузданнаго самолюбія, развитыя нервы и нравственнаго безсилія герой реакціонной эпохи, какихъ мы видѣли и у Новодворскаго, и у Гаршина. Ни энергіи въ стремленіи къ разъ намѣченной цѣли жизни, ни упорства въ борьбѣ съ препятствіями — мы не замѣчаемъ у него и слѣда. Первый толчекъ въ жизни въ видѣ нераздѣленной любви — приводитъ Глазкова въ полное отчаяніе: узнавъ, что милая его предпочла ему другого и выходитъ замужъ, онъ летитъ тотчасъ-же домой и сжигаетъ въ нечѣтѣ всѣ свои тетради, студенческія записки, диссертацию на медаль, и затѣмъ. читаемъ мы, онъ „ни о чемъ болѣе не думалъ, ни о чемъ не жалѣлъ и ничего не хотѣлъ; все въ немъ умерло, точно камнемъ придавилось!“... И начался безмысленныя скитанія по городу или лежанье на диванѣ по цѣлымъ днямъ, галлюцинаціи, сны наяву, мечты о Нирванѣ и самоуничтоженіи... Но въ состояніи подобнаго маразма опъ далеко былъ отъ чувства угнетенія и самоуничиженія, какими терзался подобный ему неудачникъ въ любви тургеневскій Чулкатурпня. Напротивъ того, Глазковъ не переставалъ красоваться на гордомъ пьедесталѣ, и съ презрѣніемъ изпрая съ него на жалкихъ смертныхъ, находящихъ счастье въ возвышеніи на какой-нибудь вершочекъ, проповѣдывалъ имъ *блаженство поклониться себѣ*. Это блаженство самопоклоненія герой нашелъ въ скачкѣ съ Николаевского моста въ Неву, — единственномъ смѣломъ поступкѣ въ своей жизни, хотя и на этотъ рѣшительный шагъ опъ отважился послѣ долгихъ колебаній.

Вообще нужно замѣтить, что гамлетическій, рефлексивный элементъ играетъ большую роль въ произведеніяхъ Альбова. Онъ встрѣчается и въ самомъ обширномъ, но не законченномъ его романѣ *До пристани*, и въ *Рясѣ*, и въ *Главахъ изъ недописанной повѣсти*, и въ рассказѣ *Какъ горѣли дрова*, въ которомъ вновь выступаетъ передъ вами во весь ростъ такой-же герой, какъ и Глазковъ, съ тою только разницей, что онъ вовсе не является такимъ-же неудачникомъ, какъ послѣдній. Напротивъ того, онъ не имѣетъ поводомъ ни какихъ поводовъ быть недовольнымъ жизнію: обеспеченъ настолько, что можетъ каждый день обѣдать въ порядочномъ ресторанѣ, каждый вечеръ зимою проводить въ любомъ театрѣ или клубѣ, а лѣтомъ — въ какомъ-нибудь загородномъ кафе-шантанѣ. Его томитъ, правда, тоска одиночества холодной жизни, но и тутъ, по видимому, судьба его не обидѣла: онъ былъ знакомъ съ семействомъ одного южанина съ студенческихъ еще временъ, проводя однажды лѣто въ этомъ семействѣ на лѣтнихъ копидіяхъ. Потомъ онъ снова встрѣтилъ въ Петербургѣ отца и дочь, которая выросла и сдѣлалась красавицей. Герой почувствовалъ нѣчто вроде влеченія къ дѣвушкѣ; она тоже нельзя сказать, чтобы была къ нему вполне равнодушна. Отецъ ея съ своей стороны уговаривалъ его бросить постылый Петербургъ и ѣхать къ нимъ на югъ, въ деревню. Однимъ словомъ, все шло, какъ по маслу. И вдругъ на пути къ несомнѣнному счастью, верстъ за 15 до цѣли, герой, сойдя съ поѣзда желѣзной дороги, остановился на постояломъ дворѣ, разложилъ передъ собою ворохъ невѣдомо какихъ-то писемъ, думалъ надъ ними, думалъ, затѣмъ сжегъ ихъ дотла, пришелъ внезапно къ убѣжденію, что онъ окончательно уже искалѣченъ городской жизнью и неспособенъ къ семейному счастью съ людьми простыми, здоровыми и чуждыми всего того, чѣмъ себя мучаютъ и калѣчатъ въ каменныхъ стѣнахъ — и застрѣлился.

Рядомъ съ этимъ субъективно-рефлексивнымъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ таланта Альбова, составляющимъ, такъ сказать, святая святыхъ его души, мы встрѣчаемъ въ его произведеніяхъ въ обиліи и элементъ чисто объективный. Онъ обнаруживаетъ немалое мастерство и въ изображеніи внѣшнихъ явленій жизни, причемъ въ рисункахъ его преобладаютъ мелкія детали и нюансы; въ этомъ отношеніи Альбовъ принялъ манеру протоколизма французскихъ натуралистовъ, подъ вліяніемъ которыхъ отчасти находится. Самыми лучшими его произведеніями объективнаго характера считаются: *До пристани*, *Невѣдомая улица*, *Конецъ невѣдомой улицы*, *Ряса*, *Тоска*. Къ сожалѣнію, кругъ его внѣшнихъ наблюденій очень узокъ. Онъ ограничивается одною петербургскою жизнью, но и въ ней знаетъ лишь бытъ мѣщанства и духовенства. Попытки изображать великосвѣтскихъ людей, обнаруженные имъ въ романѣ *До пристани*, вышли крайне неудачны; всѣ такія изображенія страдаютъ стереотипностью.

Этою узостью круга наблюденій русской жизни и бѣдностью матеріаловъ можно объяснить тотъ фактъ, что Альбовъ въ большой степени чѣмъ всѣ его сверстники подчиняется вліянію французскихъ натуралистовъ. Во всѣхъ произведеніяхъ его, кромѣ развѣ *Дней итога*, нѣтъ нѣтъ да и пахнетъ на васъ то Золя, то Флоберомъ, то Поль-Алексисомъ, то Гюп-де-Мопассаномъ. Даже отъ *Конца невѣдомой улицы*, произведенія, которое считается шедевромъ Альбова по глубинѣ и силѣ психическаго анализа, пахнетъ „Ассомуаромъ“ Золя и тѣми картинками преобразования стараго Шаржа въ

новый съ широкими бульварами и прямыми роскошными улицами, — картинами, которыми встретите вы во многих произведеніяхъ Золя.

III.

Казиміръ Станиславовичъ Баранцевичъ, какъ мы видимъ въ его автобіографической запискѣ, напечатанной въ критико-біографическомъ словарѣ С. А. Вепгерова, родился 22-го мая 1851 г. въ Петербургѣ, отъ отца-поляка и матери-француженки. Родъ его (герба Лелива, отъ котораго между прочимъ происходятъ графы Ржевускіе) дворянскій, очень древній. Дѣдъ его, принимавшій участіе въ польскомъ возстаніи 31 года, былъ повѣшенъ въ присутствіи жены и двухъ малолѣтнихъ сыновей. Несмотря на это, отецъ Баранцевича служилъ чиновникомъ въ комиссіи погашенія государственныхъ долговъ и за время пребыванія въ Петербургѣ почти совершенно обрусѣлъ, охотно заводилъ знакомства среди русскихъ и пристрастился къ чтенію русскихъ книгъ почти до потери зрѣнія. Страсть къ чтенію перешла и къ сыну. Читая научился мальчикъ самъ, безъ азбукъ, по клочкамъ печатной бумаги, припоспимой изъ лавочки, не болѣе пяти или шести лѣтъ. Семь или восемь лѣтъ онъ зачитывался *Сыномъ Отечества* и затѣмъ Пушкинымъ, надъ которымъ просиживалъ дни и ночи, и подъ вліяніемъ этого чтенія девяти лѣтъ написалъ героическую поэму *Понятовскій*. Одновременно съ этимъ развилась у мальчика страсть къ рисованію и музыкѣ. Вслѣдъ за Пушкинымъ онъ читалъ все, что попадалось подъ руку — Жоржъ-Зандъ, Брамбеуса, Купера, Майнъ-Рида, В.-Скотта, Диккенса, Теккерея, Шекспира и пр. Всѣ тогдашніе журналы въ свою очередь прочитывались имъ обязательно.

Въ 1862 году Баранцевичъ поступилъ въ 1-й классъ второй гимназіи и первые два года учился педурно, получалъ даже похвальные листы, но съ переходомъ въ третій классъ сталъ учиться хуже и хуже, зато читалъ до олуренія. Пользуясь черезъ отца библіотекою шипстерства финансовъ, онъ не довольствовался одною беллетристикою и читалъ книги самаго разнообразнаго содержанія, не исключая и медицинскіхъ. Въ то-же время не переставалъ писать стихами и прозою. Такъ между прочимъ онъ написалъ поэму въ пекрасовскомъ жанрѣ *Забитая деревня*. Подружившись съ товарищемъ Альбовымъ, они урывками, между уроками, писали *Путешествіе на луну*; кромѣ того Баранцевичъ началъ писать двѣ повѣсти: одну шведскую, другую африканскую. Затѣмъ у обоихъ возникла мысль издавать журналъ *Съверный закатъ*, но почему-то дѣло не уладилось, и въ то время, какъ Альбовъ сталъ издавать *Зарницу*, Баранцевичъ приступилъ къ изданію *Волны*, но на десятомъ номерѣ *Волны* попала въ руки учителя латинскаго языка и прекратилась. Дальше 4-го класса Баранцевичъ не пошелъ. „Противна мнѣ была, рассказываетъ онъ, гимназическая наука, въ головѣ бродили другіе планы“. Побывавши нѣсколько разъ у тетки въ деревнѣ, въ псковской губерніи, Баранцевичъ, подъ вліяніемъ тогдашняго броженія, журнальных статей и толковъ о народѣ, въ свою очередь принялся народничать: бродить по деревнямъ, слѣпаться съ мужиками, крестить у нихъ ребятъ, пить съ ними водку, ходить на покосъ; щеголялъ при этомъ въ высокихъ сапогахъ и красной рубашкѣ, завелъ даже полушубокъ, въ которомъ потомъ разгуливалъ по Петербургу. Передъ родными онъ въ то-же время дѣлалъ видъ, будто готовится въ университетъ въ вольнослушатели.

Между тѣмъ семейство Баранцевичей спльно обѣднѣло, такъ какъ мать по случаю болѣзни должна была закрыть мастерскую, которая обеспечивала семью. Пришлось всѣмъ бѣдствовать, поселившись въ маленькой квартиркѣ, въ пятомъ этажѣ. Когда-же зимою 1870 г. умеръ отецъ, положеніе семьи сдѣлалось безвыходнымъ. Баранцевичъ принужденъ былъ искать мѣста. Два года бѣгалъ онъ по Петербургу, хлопоталъ, подавалъ прошенія, кланялся, прѣсиль. Наконецъ поступилъ въ контору какого-то подрядчика, который обращался съ нимъ чрезвычайно скверно, грубо, платя въ мѣсяцъ 35 р. и страшно обременяя работой.

Занимаясь его дѣлами, Баранцевичъ какъ-то удосуужился урывками передѣлать романъ А. Толстого *Князь Серебряный* въ драму бѣлыми стихами, подъ названіемъ *Оп-ричина*. Драма эта въ октябрѣ 1873 г. была поставлена на Александринскомъ театрѣ въ бенефисъ актера Виноградова, шла 5 или 6 разъ и дала автору около 600 рублей.

Около этого времени Баранцевичъ сошелся съ крестьянской дѣвушкой, Дарьей Николаевной Алексѣевой, полюбилъ ее, но видаться приходилось ему рѣдко, тѣмъ болѣе что мать и слышать не хотѣла о намѣреніи его жениться, и онъ могъ исполнить это намѣреніе лишь послѣ смерти матери въ 1873 г. Онъ жилъ въ это время на Лиговкѣ у какого-то кондуктора, въ мерзѣйшей конурѣ, гдѣ подъ непрестанную руготню пьянство и потасовки хозяевъ написалъ свою первую вещь, которая называлась: *Одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ*, но онъ не рѣшился отправить ее ни въ одинъ изъ толстыхъ журналовъ, и послѣ многихъ мытарствъ по разнымъ мелкимъ изданіямъ, повѣсть пшла наконецъ пріютъ въ какомъ-то мелкомъ сборникѣ приложеній къ *Гражданину* кн. Мещерскаго. Это было въ томъ-же 1873 году.

Послѣ женитьбы матеріальное положеніе Баранцевича конечно не улучшилось, а еще болѣе ухудшилось: пошли дѣти, между тѣмъ ему пришлось длинный рядъ годовъ сидѣть на 40 р. жалованья, которыя онъ получалъ въ качествѣ конторщика „Русскаго строительнаго общества“, а между тѣмъ литературный трудъ плохо вознаграждалъ его, тѣмъ болѣе, что и писать ему было некогда. Лишь въ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда появилась въ *Словѣ* повѣсть его *Порванные струны* въ 1878 году, онъ былъ замѣченъ, и произведенія его начали появляться въ крупныхъ періодическихъ изданіяхъ. Но и въ настоящее время, будучи отцомъ шестерыхъ дѣтей, онъ не можетъ отказаться отъ мѣста въ 1-мъ товариществѣ петербургскихъ конножелѣзныхъ дорогъ, гдѣ служба его начинается въ шесть часовъ утра и заключается въ раздачѣ кондукторамъ катушекъ съ билетами, не можетъ отказаться и отъ газетной работы, размѣнивающей его талантъ на мелочи и не дающей ему ни времени, ни силъ сосредоточиться на болѣе серьезныхъ и крупныхъ предпріятіяхъ.

Не даромъ Баранцевичъ и родился въ одномъ городѣ съ Альбовымъ, и воспитывался въ одной гимназій, и съ дѣтства ихъ связали тѣсныя узы товарищества и дружбы: въ ихъ талантахъ мы видимъ много общаго. Баранцевичъ не даромъ въ своемъ разсказѣ *Муть* заставляетъ одного изъ своихъ героев, художника, говорить о проклятой петербургской мутѣ, которая лежитъ гнетомъ на творческой фантазій и мѣшаетъ развитію таланта. *Мутное небо и мутные люди*, — этими словами вполне опредѣляются и содержаніе, и колоритъ обоихъ писателей; и Баранцевичъ не уступаетъ Альбову въ мрачности своихъ разсказовъ. Рѣдкій разсказъ его обходится безъ

больныхъ, умирающихъ, безъ гробовъ, кладбищъ, могилъ, монотоннаго шума дождя и воя осенняго вѣтра, задувающаго и безъ того едва мерцающіе фонари на утопающихъ въ грязи улицахъ петербургскихъ окраинъ и т. п.

Изображаются г. Баранцевичемъ по большей части люди, изнемогающіе подъ бременемъ жизни, недугующіе душевно и тѣлесно, умирающіе, и конечно ужъ преждевременно. Въ одномъ разсказѣ мужъ съ уныніемъ и ужасомъ наблюдаетъ, какъ постепенно таетъ и разрушается подъ гнетомъ нужды нѣжно любимая имъ жена, въ другомъ — мать хоронитъ блуднаго, но все-таки любимаго сына; въ третьемъ товарищъ везетъ въ больницу своего сожителя, внезапно захворавшаго тифомъ, и затѣмъ хоронитъ его. Картины всякаго рода смертей отличаются въ разсказахъ Баранцевича большимъ мастерствомъ, самую тщательной отдѣланностью и ужающими, ледящими душу подробностями. Авторъ, словно какой-то злой духъ, своего рода Мефистофель, паритъ надъ головами своихъ читателей и не даетъ имъ ни на одну минуту забыться свѣтлыми иллюзіями. Онъ мало того что не вѣритъ въ возможность хоть сколько-нибудь прочнаго счастья, но оно въ его глазахъ по самому своему существу представляется чѣмъ-то въ высшей степени преступнымъ; оно, по его мнѣнію, немислимо безъ забвенія святыхъ заветовъ юности, безъ узкаго и черстватаго эгоизма, безъ отступничества, и эта преступность его искупляется лишь тѣмъ, что оно недолговѣчно.

Походитъ на Альбова Баранцевичъ и крайнею бѣдностью и узостью сферы наблюдений. Мало сказать, что сфера эта ограничивается одною столицею, но и въ пей онъ по большей части изображаетъ одинъ только сѣренскій, разночинный и мѣщанскій слой столичнаго населенія, который гнѣздится въ дешевенькихъ меблированныхъ комнатахъ, увеселяется въ грязныхъ извозничьихъ трактирчикахъ капорскимъ чайкомъ, прокишимъ пивомъ и раздражительнымъ, свисающимъ, шипящимъ и трещающимъ звукамъ трактирнаго органа. Иногда онъ покушается, правда, проникать и въ болѣе высшіе слои общества, но съ одной стороны, подобныя изображенія составляютъ исключеніе, а съ другой онъ является въ нихъ писателемъ далеко не столь компетентнымъ и стоящимъ на твердой почвѣ, какъ въ изображеніяхъ мѣщанъ и всякаго рода разночинцевъ.

Но у Баранцевича найдете вы и кое-какія особенности относительно Альбова. Такъ Альбовъ болѣе натуралистиченъ, чѣмъ Баранцевичъ; онъ не покушается на созданія какихъ-либо идеальныхъ образовъ и ограничивается микроскопическимъ анализомъ обыденной, относительной дѣйствительности. Баранцевичъ-же остается въ душѣ несправнымъ романтикомъ; у него часто вы встрѣтите попытки изображать не только идеальное, но и фантастическое, каковы напр. разсказы: *Дебютъ*, *Иракъ*, *Горсточка родной земли*, *Воспоминанія* и проч.

Вѣстѣ съ тѣмъ, если у Баранцевича вы не найдете того микроскопическаго и мѣстами паталогическаго анализа, какимъ отличается Альбовъ, за то у Альбова нѣтъ ни того юмора, ни того лиризма, какіе въ свою очередь составляютъ лучшія качества таланта Баранцевича.

Наиболѣе крупнымъ произведеніемъ Баранцевича являются *Чужакъ*, романъ, напечатанный въ *Устолѣ* въ 1882 году, въ которомъ въ лицѣ героя Радунцева авторъ заплатилъ дань своей школѣ, изобразивъ все того-же нравственно несостоятельнаго

героя; затѣмъ—*Раба*, романъ панечатанный въ *Дѣль* 1887 г. и изданный отдѣльно въ 1888 г. Затѣмъ слѣдуетъ масса мелкихъ разсказовъ и очерковъ, печатаемыхъ въ различныхъ періодическихъ органахъ и потомъ издающихся отдѣльно въ видѣ небольшихъ сборниковъ; нося какое-нибудь общее заглавіе. Таковы сборники *Подъ игомъ*, Сиб. 1885 г., *Цорванныя струны*, Сиб. 1886 г., *Маленькіе разказы*, Сиб. 1887, *Новые разказы*, Сиб. 1889 г., *Старое и новое*, Сиб. 1890 г.

IV.

Всѣ рассмотрѣнные нами беллетристы-пессимисты не идутъ далѣе сознанія несогласности ихъ собственной личности; ихъ отрицаніе поэтому носитъ характеръ исполнѣ субъективный. Но реакціонный пессимизмъ не замедлилъ пойти дальше: съ субъективной почвы онъ перешелъ на объективную, обобщилъ свое отрицаніе въ томъ смыслѣ, что началъ отрицать не одно только нравственное ничтожество обидѣвшаго барина, но огуломъ всю интеллигенцію. Такимъ образомъ въ концѣ семидесятыхъ и началѣ восьмидесятыхъ годовъ образовалась особенная доктрина псевдо-народниковъ, прямолинейное ученіе, отдѣлявшее непродолимою пропастью городъ отъ деревни, полагавшее въ интеллигентномъ человѣкѣ непоправимое нравственное банкротство, скопище самыхъ ужасныхъ пороковъ, а въ мужикѣ напротивъ того сокровищницу всякихъ всевозможныхъ добродѣтелей. Въ слѣдствіе своей прямолинейности псевдо-народники нерѣдко возвеличивали въ идеалъ даже такіе остатки патриархальныхъ и крѣпостныхъ нравственныхъ принциповъ, какіе если и господствуютъ до сихъ поръ въ крестьянской средѣ, то очевидно, какъ нѣчто отжившее, подлежащее отпаденію или полной переработкѣ, чѣмъ и сами крестьяне видимо тяготеютъ и только не могутъ сразу отрѣшиться. Ученіе гр. Л. Толстого съ его пессимистическими взглядами на общеевропейскій прогрессъ и признаніемъ единственнаго спасенія человѣчества въ оздоравливающихъ душу и тѣло сельскихъ трудахъ еще болѣе раздуло эту доктрину.

Явилось и нѣсколько беллетристовъ, подчинившихся этой доктринѣ и выражающихъ ее въ своихъ произведеніяхъ. Таковъ Петропавловскій, извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ Каронинъ. Онъ выступилъ на литературное поприще въ концѣ семидесятыхъ годовъ массою небольшихъ разсказовъ на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*, и первоначально былъ не болѣе, какъ скромный и безпретенціозный фотографъ народнаго быта, изображавшій деревенскіе нравы исполнѣ безхитростно, не претендуя ни на какія обобщенія, выводы, философію. Правда, онъ былъ нѣсколько одностороненъ въ своихъ изображеніяхъ, такъ какъ изображалъ исключительно одни захудалыя деревушки и мужиковъ, дошедшихъ до послѣдней степени нищеты и разоренія. Но онъ былъ въ полномъ правѣ въ этой своей односторонности, такъ какъ во-первыхъ никто не можетъ воспрепятствовать художнику изображать такіе факты, которые болѣе всего вдохновляютъ его, а во вторыхъ очень можетъ быть, что это такіе именно факты, которые преобладаютъ въ настоящее время въ народной жизни, стоятъ на первомъ планѣ и прежде всего просятся подъ перо.

Но Каронинъ не остановился на этой объективной почвѣ. Къ концу восьмидесятыхъ годовъ онъ оставилъ скромное поприще безхитростной фотографіи и, увлекшись псевдо-

народнической доктринѣю, началъ подгонять подъ нее дѣйствительность, изображая нравственно растлѣнныхъ и разочарованныхъ героев интеллигентной среды, приходящихъ въ различнымъ соприкосновеніи съ деревенскими людьми, посрамляющихся ими и впадающихъ въ полное отчаяніе. Таковы повѣсти г. Коронина послѣдняго времени — *Мой міръ* (*Русская Мысль*, 1888 г.), *На границахъ челоѣка* (*Русская Мысль*, 1889 г.), *Борская колонія* (*Русская Мысль*, 1890 г.).

На тотъ-же путь псевдонародничества склонился въ послѣднее время и Александръ Ивановичъ Эртель, который въ свою очередь началъ съ очерковъ пзъ народнаго быта: вполне объективныхъ, печатавшихся въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ на страницахъ *Вѣстника Европы* и впослѣдствіи изданныхъ отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Записки степняка*. Какъ въ этихъ *Запискахъ степняка*, такъ и въ нѣкоторыхъ послѣдующихъ произведеніяхъ, напримѣръ *Волхонская барышня*, Эртель преслѣдовалъ однѣ художественно-психологическія цѣли, подражая отчасти Тургеневу, и не выражалъ никакой опредѣленной тенденціи. Но съ 1887 года и онъ въ свою очередь началъ проводить въ своихъ произведеніяхъ нѣчто среднее между псевдонародническимъ и ученіемъ Л. Толстого. Такова его повѣсть *День пары* (*Русская Мысль*, 1887 г.), въ которой проводится параллель интеллигентнаго челоѣка и мужика по отношенію къ вопросу о свободѣ любовной страсти; и еще болѣе тенденціями гр. Л. Толстого проникнутъ обширный романъ его *Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и враги*, печатавшійся въ *Русской Мысли* 1889 года. Здѣсь вы находите изображеніе судьбы двухъ молодыхъ людей, героев романа, пзъ которыхъ одинъ, Ефремъ, несмотря на то, что происходитъ пзъ народа, войдя въ колею обычнаго развитія учащейся молодежи, отдѣлился отъ родной среды, разорвалъ съ нею всякую связь и когда вернулся на родину, то оказался совсѣмъ чуждымъ челоѣкомъ и погибъ жертвой своей революціонной гордыни; другой-же герой Николай нигдѣ не учился, нкуда изъ деревни не уѣзжалъ и поэтому остался прикрѣпленъ къ почвѣ, сохранивъ живую связь съ народомъ. Правда, что и онъ каждый разъ какъ подвергался вліянію прогрессивныхъ идей, терилъ подъ ногами эту почву, дѣлалъ ложные шаги, заблуждался и былъ близокъ къ гибели, отъ которой спасало его лишь вліяніе такихъ непосредственныхъ и любвеобильныхъ людей, какъ столяръ Иванъ Федотычъ, играющій въ романѣ по отношенію къ Николаю буквально такую-же роль нравственнаго возродителя, какую Каратаевъ играетъ по отношенію къ Пьеру Безухому.

Хотя и родственное съ этими двумя писателями, но въ то-же время и нѣчто особенное представляетъ собою Григорій Александровичъ Мачтетъ. Онъ обратилъ на себя вниманіе нѣсколькими прелестными очерками пзъ сибирской жизни, каковы: *Вторая правда*, *Мы побѣдили*, *Мірское дѣло*. Очерки эти полны глубокой правды и художественности и оставляютъ послѣ себя глубокое впечатлѣніе. Не представляется никакого сомнѣнія, что авторъ въ этихъ очеркахъ ничего не сочинилъ, а безхитростно изображаетъ то, что самъ видалъ и слышалъ. Но и Мачтетъ въ свою очередь не могъ удержаться на этой объективной почвѣ безпристрастнаго изученія народнаго быта. Онъ тоже раздѣлялъ родъ челоѣческой непроходимой пропасти на двѣ стороны, но съ тою только разницею, что для своего дѣленія онъ взялъ не различіе интеллигенціи и народа,

а иной критерій: онъ составилъ себѣ такое-же прямолинейное понятіе о человѣческой жизни, какое мы видѣли въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ писаревской школы, т. е. что жизнь во всѣхъ слояхъ и уголкахъ земного шара исчерпывается безъисходною борьбою честныхъ людей и безпардонныхъ подлецовъ. Весь родъ человѣческій такимъ образомъ дѣлится у Мачтета на волковъ и козлищъ, между которыми ничего нѣтъ общаго, ни малѣйшихъ точекъ соприкосновенія, кромѣ одного необузданнаго желанія волковъ пожрать невинныхъ и беззащитныхъ овечекъ. Никто не будетъ конечно оспаривать, что жизнь представляетъ борьбу различныхъ враждебныхъ элементовъ; но большая разниця, — элементы и люди, и было бы въ высшей степени ошибочно предполагать, чтобы каждый человѣкъ совмѣщалъ въ себѣ одинъ какой-либо простой элементъ. Но Мачтетъ элементы отождествляетъ съ людьми, и весь родъ человѣческій представляетъ въ его глазахъ безъисходную борьбу лакействующихъ подлецовъ, наживающихся путемъ ползанья и пресмыканья передъ вышшими, и угнетенными рыцарями неподкупной честности. Особенно рѣзко выражена Мачтетомъ подобная тенденція въ романѣ его *Изъ недавняго прошлаго*, напечатаннаго въ №№ 4 и 5 *Сѣвернаго Вѣстника* за 1886 г. и затѣмъ вышедшаго отдѣльно въ собраніи его сочиненій подъ заглавіемъ *И одинъ въ полѣ воинъ*. Дѣйствіе этого романа происходитъ въ юго-западномъ краѣ въ послѣдніе годы крѣпостного права. Герой романа, отъ лица котораго ведется разсказъ, является представителемъ лакействующихъ подлецовъ и рисуется въ самыхъ черныхъ краскахъ мелодраматическимъ пзвергомъ. Будучи ребенкомъ, онъ шага не могъ ступить безъ того, чтобы на кого-нибудь не донести, не оклеветать человѣка и не погубить его. Такъ вокругъ него и валялись жертвы его паскудства. Панъ, которому онъ принадлежалъ, былъ самый свирѣпый панъ, по герой своимъ доносамъ сѣмѣлъ вкрасться въ его довѣренность. Сначала онъ донесъ на своего двоюроднаго брата, Остапа, который явился въ деревню дезертиромъ изъ арміи, потомъ донесъ на жену пана, шепнувъ ему о ночномъ свиданіи ея въ саду съ любовникомъ, далѣе разстроилъ бракъ своей сестры Гали, чуть не довелъ ее до самоубійства, а потомъ сосваталъ за ненавистнаго ей старика, старосту Кондрата, а много ея Оедю довелъ до того, что его какъ поджигателя отдали не взычетъ въ солдаты. Наконецъ, панъ сдѣлалъ его главнымъ управляющимъ всѣхъ своихъ имѣній, а онъ въ благодарность за это сдѣлался любовникомъ его жены, той самой пани, на которую прежде донесъ своему господину. Однимъ словомъ, — передъ вами злодѣй съ головы до ногъ, и къ довершенію всего такой отчаянный лицемеръ, что всѣ свои злодѣйства расписываетъ въ самыхъ оболъстительныхъ краскахъ, какъ подвиги необыкновенныхъ добродѣтелей. Всѣ окружающіе нещадятъ его, задаютъ ему жестокия потасовки, на которыя онъ смотритъ, какъ на страданіе за правду.

Вотъ въ какомъ грубо лубочномъ видѣ рисуется въ романѣ Мачтета происхождение кулака, причемъ авторъ совсѣмъ упускаетъ изъ виду, что если-бы кулаки были дѣйствительно такими страшлищами, считаться съ ними было бы гораздо легче, чѣмъ это бываетъ на самомъ дѣлѣ, при обаятельномъ вліяніи ихъ на односельчанъ, которые при всей ихъ эксплуатаціи готовы оказываются при случаѣ поголовно встать и идти за ними, куда имъ угодно.

V.

Но конечно далеко не все молодые беллетристы поголовно ударились въ субъективный пессимизмъ или-же пропнулись псевдонародническими тенденціями и идеями гр. Л. Толстого. Нѣсколько болѣе или менѣе спланныхъ талантовъ осталось въ сторонѣ отъ этого общаго теченія, и идутъ своимъ собственнымъ вполне самостоятельнымъ путемъ. Таковъ прежде всего Владиміръ Галактіоновичъ Короленко, писатель, котораго смѣло можно поставить во главѣ современной беллетристики, какъ по силѣ таланта, такъ и по богатству художественнаго матеріала, по широтѣ сферы наблюдательности, наконецъ по самому міросозерцанію, обнаруживающему человека, стоящаго вполне въ уровнѣ вѣка по своему образованію. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ никакихъ біографическихъ свѣдѣній о его личности. Но судя по его произведеніямъ, можно навѣрное опредѣлить, что передъ нами писатель, который возросъ не въ городской атмосферѣ, а на лонѣ природы, и притомъ подъ горячимъ солнцемъ юга. Все образы его такъ ярки и сочны, юморъ такъ веселъ и задумчивъ. Короленко любитъ рисовать сельскіе ландшафты, и они представляются не какими-нибудь искусственно-вклеенными заплатками, не декалькоманическими выѣсками, какъ это мы видимъ у нѣкоторыхъ беллетристовъ, а тѣсно сливаются съ рассказомъ, составляя неотъемлемую его принадлежность, дышатъ одною жизнью съ выводимыми людьми.

Въ то-же время мы видимъ въ Короленкѣ человека, очевидно бывалаго, извѣздившаго Россію вдоль и поперекъ, и поэтому богатаго опытомъ и наблюденіями жизни. проявляющимся въ роскошномъ, поражающемъ васъ разнообразіи его картинъ. Гдѣ только не переживаете вы вмѣстѣ съ авторомъ и кого только не встрѣтите, читая его произведенія: передъ вами раскроются и жизнь мелкаго городка Юго-Западнаго края, и дремучіе бory Полѣсья, и сибирская тайга съ ея 40-градусными морозами, и сахалинскія дебри, и лѣшіе, пріютившіеся въ развалинахъ стараго кладбища въ Княжъ-Городѣ, и полу-русскіе, полу-якутскіе обитатели тайги, и бѣглецы каторжники Сахалина, и завсегдатая сибирскихъ тюремъ въ видѣ разныхъ сектантовъ съ ихъ фантазмагорическими ученіями, непомнящіе родства бродяги и разбойничьи притоны подъ видомъ заповѣдей. Вы не встрѣтите у Короленка ни одного повторенія, ничего, что-бы вамъ хоть одною чертою напоминало нѣчто, читанное вами въ предшествовавшихъ произведеніяхъ того-же автора. Каждое произведеніе его представляетъ свой особенный міръ, вполне этимъ произведеніемъ исчерпывающійся. Въ то-же время Короленко не ограничивается однимъ блѣднымъ и едва намѣченными эскизами, чѣмъ отличаются весьма многіе изъ молодыхъ писателей: каждое выведенное имъ лицо представляетъ собою рельефноочерченный характеръ, каждая картина дорисована до конца и не требуетъ ни малѣйшей лишней черточки. Художественная полнота, законченность и гармоничность, составляющія рѣдкое въ наше время и дорогое качество, являются неотъемлемою принадлежностью всехъ рассказовъ Короленка.

Первое произведеніе Короленка, обратившее вниманіе публики и критики на автора, былъ *Сонъ Макара*, напечатанное въ № 3 *Русской мысли* 1885 года. Общій голосъ по прочтеніи этого произведенія былъ тотъ, что послѣ *Подпольцева* Рѣшетни-

кова ничего не появилось въ этомъ родѣ въ литературѣ нашей до такой степени сильнаго и поразительнаго. Разсказъ подкупаетъ не однимъ содержаніемъ своимъ, не одною сплю объективности, съ которою автору удалось изобразить дикаря-якута во всѣхъ мелочахъ его внѣшняго быта и внутренняго психическаго міра, не внеси туда ни капли своей авторской субъективности, но также и внѣшнюю форму, весьма рѣдкою въ наше время по выдержанности, отсутствію какихъ-либо излишнихъ подробностей и растянутостей, наконецъ по тому сильному лпризму, который въ концѣ разсказа совершенно неожиданно сразу захватываетъ васъ и освѣщаетъ передъ вами всѣ подробности разсказа свѣтомъ глубокой идеи, которая лежитъ въ произведеніи. Оригиналенъ и самый сюжетъ повѣсти, заключающійся въ путешествіи на „тотъ свѣтъ“ полу-якута, полу-русскаго дикаря, который, напившись пьянъ наканунѣ Рождества, заснулъ у себя дома, и ему пригрезилось, что онъ замерзъ въ тайгѣ, и затѣмъ давно умершій поппкъ Иванъ ведетъ его вродѣ Виргилія по загробнымъ мытарствамъ на судъ великаго Тойона. Въ этомъ путешествіи и затѣмъ судѣ Тойона и заключается вся суть разсказа, полная, еще разъ повторяемъ, глубокой бытовой и философской правды. Затѣмъ послѣдовалъ *Очерки сибирскаго туриста* въ первыхъ номерахъ *Свернаго Вѣстника* за 1885 г., въ которыхъ авторъ знакомитъ насъ съ нѣсколькими весьма любопытными типами сибирской жизни; по крайней мѣрѣ, на цѣлое столѣтіе отставшей отъ жизни Европейской Россіи. Читаете вы эти очерки, словно старый историческій романъ 30-хъ годовъ, съ разбойничьими притонами въ дремучихъ лѣсахъ, ночными нападеніями на трепещущихъ отъ ужаса путешественниковъ и всяческими необыкновенными, неожиданными и захватывающими духъ приключеніями на большихъ дорогахъ. Особенно мастерски описанъ типъ ямщика *убивцы*, съ его богатырскою физическою сплю, пытливымъ умомъ и нѣжно-гуманнымъ сердцемъ. При всѣхъ этихъ качествахъ понятно то мистическое обаяніе, какое производитъ онъ на разбойниковъ, внушая имъ суевѣрный ужасъ, такъ что они, убѣжденные, что никакая пуля его не возьметъ и ножъ сломается объ него, не смѣли нападать на проѣзжихъ, когда онъ правилъ тройкой. Его полная кровавыхъ приключеній жизнь и трагическая смерть и составляютъ главное содержаніе *Очерковъ*.

Въ-томъ же 1885 году въ № 10 *Русской Мысли* появилась повѣсть Короленка *Въ дурномъ обществѣ*, еще болѣе упрочившая извѣстность автора, какъ наиболѣе выдающійся талантъ изъ всѣхъ молодыхъ беллетристовъ. Фабула разсказа Короленка крайне проста и незамысловата, что не мѣшаетъ ей быть въ высшей степени поэтической. Героемъ является мальчикъ, сынъ мѣстнаго судьи въ небольшомъ городкѣ Юго-Западнаго края. Мать у него недавно умерла, а отецъ до такой степени предался горю, что совсѣмъ упустилъ изъ виду дѣтей, младшую дочку Соню, бывшую еще на рукахъ у няньки, и мальчика семн лѣтъ, который былъ предоставленъ вполне самому себѣ и скитался по городку безъ всякаго призора.

Маленькій городокъ имѣлъ свои историческія преданія. Въ немъ были развалины замка, въ которомъ обитали нѣкогда владѣльцы городка, польскіе графы, бывшіекогда-то богатыми, нынѣ захудалые. Потомки ихъ давно уже оставили жилище предковъ. Большая часть дукатовъ и всякихъ сокровищъ перешла за мостъ въ еврейскіи лачуги и послѣдніе представители славнаго рода выстроили себѣ прозаическое бѣлое зданіе въ

горѣ, подальше отъ города. Замокъ-же сдѣлался приютищемъ бездомнаго бродячаго населенія. „Живетъ въ замкѣ“, — эта фраза стала формулой для выраженія крайней степени нищеты и паденія. Когда нѣкій графскій официалистъ Янушъ, выхлопотавшій себѣ нѣчто вродѣ владѣтельной хартіи, при помощи полиціи изгналъ бездомныхъ обитателей замка, они переселились въ полуразрушенную уніатскую часовню, находившуюся неподалеку отъ замка, и въ подземные склепы заброшеннаго кладбища.

Авторъ изображаетъ нѣсколько типовъ этихъ обитателей жилищъ мертвецовъ — одинъ другого оригинальнѣе; и наиболѣе ярко рисуется передъ вами вождь босой команды Тыбурцій Дроба. У пана Тыбурція было двое дѣтей: сынъ Ванёкъ, мальчикъ высокій, тонкій, черноволосый, угрюмо шатавшійся по городу, заложивъ руки въ карманы и кидая по сторонамъ взгляды, сиуцавшіе сердца калачницъ, и дѣвочка Маруся, хиленькій рахитическій ребенокъ, угадавшій во мракѣ подземнаго жилища. Герой разсказа, шатаясь по городу безъ призора, вздумалъ однажды изъ дѣтскаго любопытства вмѣстѣ съ двумя уличными мальчишками-товарищами осмотрѣть внутренность уніатской часовни и тамъ совершенно неожиданно нашелъ дѣтей Тыбурція и познакомился съ ними. Описаніе внутренности заброшенной часовни, экскурсію дѣтей въ эту мрачную развалину, ихъ суевѣрнаго страха и панпческаго ужаса, — вершъ художественности и представляется однимъ изъ лучшихъ мѣстъ въ разсказѣ Короленко. Мальчикъ подружился съ дѣтьми нищаго бродяги. Они были голодны матеріально, мальчикъ-же, не пригрѣтый любовью и лаской ни одного близкаго человека и совершенно заброшенный, мучился духовнымъ голодомъ, и въ то время какъ онъ носилъ друзьямъ яблоки и всякую снѣдь, они платили ему дружескою привязанностью. Затѣмъ мальчикъ сошелся со всѣми обитателями склепа. Дружба эта составляла конечно тайну его отъ родныхъ. Когда-же родные проникли въ эту тайну, послѣдовала домашняя буря. Отецъ набросился на сына, требуя полнаго признанія. Мальчикъ геройски молчалъ. Трудно и предположить, что послѣдовало-бы далѣе, если-бы не явился Тыбурцій и не разгласилъ пану судъ, въ чемъ дѣло.

Не менѣе поразила небольшая повѣсть *Лесь шумитъ*, напечатанная въ № 1 *Русской Мысли* 1876 года, своимъ мрачнымъ содержаніемъ. Сюжетъ этой повѣсти относится къ эпохѣ крѣпостного права; дѣйствіе происходитъ въ Южной Россіи. Героями являются лѣсничій Романъ и добжачій Опанасъ Швидкій. Панъ, которому они оба принадлежали, насильно выдалъ замужъ крестьянку Оксану за Романа, въ то время, какъ ее любилъ Опанасъ, и затѣмъ самъ началъ ухаживать за нею. Тогда Опанасъ и Романъ сговорились и убили пана. Опанасъ затѣмъ, принявъ всю вину на себя, сдѣлался разбойникомъ, Романъ-же остался жить въ своей лѣсной хатѣ вмѣстѣ съ Оксаною въ полномъ согласіи, какъ ни въ чемъ ни бывало. Опанасъ изрѣдка заходилъ къ нимъ, чаще всего, когда Романа не бывало дома, — придетъ, поспитъ и пѣсню споетъ, и па бандурѣ сыграетъ. Случалось приходиться ему и съ товарищами, когда Романъ былъ дома, и послѣдній всегда принималъ его радушно, несмотря на то, что изъ двухъ дѣтей его одинъ былъ похожъ на него, а другой былъ вылитый Опанасъ. Но верхомъ совершенства, лучшимъ, что только было до сихъ поръ написано Короленкомъ, является *Сильной музыкантъ*, напечатанный въ № 6 *Русской Мысли* за 1886 годъ. Трудно представить себѣ сюжетъ болѣе простой и незамысловатой.

вый. Все содержаніе разсказа заключается въ томъ, что въ помещичьемъ семействѣ среднего состоянія въ Юго-Западномъ краѣ родился слѣпой мальчикъ; впоследствии изъ него образовался музыкантъ, и онъ женился безъ малѣйшихъ препятствій на подругѣ своего дѣтства. Все дѣйствіе разсказа совершается внутри героя и представляетъ собою картину его умственного и музыкальнаго развитія при условіи отсутствія чувства зрѣнія. Такимъ образомъ передъ вами чисто психологическій этюдъ, по самой своей отвлеченности рискующій быть сухимъ и скучнымъ. А между тѣмъ, едва начнете читать его, не оторветесь, пока не дочитаете до конца. Съ первой-же страницы въ вашу душу вторгается могучій потокъ поэзіи безъискусственной, простой, по силной, свѣжей, быющей ключемъ и благоухающей такою гуманностью и нравственною чистотою, что, прочтя разсказъ, вы чувствуете себя словно обновленнымъ; точно какъ будто въ вашу комнату влетѣлъ лучезарный призракъ, исполненный мира и любви, и открылъ вамъ такой глубокой смыслъ жизни, что она исполнилась въ вашихъ глазахъ новымъ, невѣдомымъ вамъ очарованіемъ, возвысилась въ своей цѣнѣ и между тѣмъ все грязное и дрянное, накопившееся въ нѣдрахъ вашей души, исчезло и разсѣялось, какъ дымъ. Вы встрѣчаете въ разсказѣ мѣста, которыя производятъ на васъ такое потрясающее впечатлѣніе, что вы едва удерживаетесь отъ рыданій, а между тѣмъ ничего особенно чувствительнаго нѣтъ въ этихъ мѣстахъ: описывается что-нибудь вроде того, какое впечатлѣніе произвела на слѣпца впервые услышанная народная пѣсня „Ой тамъ на горѣ, тай женці жнутъ“.

Сверхъ этихъ наиболѣе выдающихся произведеній Короленка были напечатаны въ разные времена слѣдующія, имѣвшіе меньшій успѣхъ, хотя и отмѣченные все тѣмъ-же высокимъ талантомъ: *Въ ночь подъ Святый Праздникъ, Старый звонарь, Прохоръ и студенты, Съ двухъ сторонъ, Павловскіе очерки*.

VI.

Игнатій Николаевичъ Потапенко родился въ декабрѣ 1856 года въ селѣ Федоровкѣ херсонской губерніи. Отецъ его былъ въ то время офицеромъ уланскаго полка, мать происходила изъ крестьянъ-малороссовъ. Впоследствии отецъ перешелъ въ духовное званіе и сдѣлался священникомъ. Первоначальной грамотѣ Потапенко научился дома; восьми лѣтъ былъ отданъ въ духовное училище въ Херсонъ, гдѣ засталъ бурсу стараго фасона, благами которой наслаждался втеченіе двухъ лѣтъ, былъ сѣченъ и всячески битъ и пр. Кончивъ духовную семинарію въ Одессѣ (общеобразовательный курсъ безъ двухъ богословскихъ классовъ), поступилъ въ новороссійскій университетъ, откуда перешелъ въ петербургскій на филологическій факультетъ. Но обладая хорошимъ голосомъ и увлекаясь музыкой, онъ оставилъ университетъ и поступилъ въ петербургскую консерваторію, которую и кончилъ по пѣнію, занимаясь также спеціальной теоріей.

Литературное поприще свое Потапенко началъ въ 1881 году, когда въ № 1 *Вѣстника Европы* былъ помѣщенъ первый очеркъ его *Феденька*, подписанный И. П. До 1886 года онъ помѣщалъ въ *Днѣ* и *Вѣстникъ Европы* небольшие разсказы,

петербургской литературной богемы, напечатанная въ № 8 *Вѣстника Европы* за 1885 годъ. Повѣсть эта положила начало пзвѣстности Потапенка. Затѣмъ съ 1886 и по 1890 годъ Потапенко работалъ въ одесскихъ газетахъ и жилъ въ Одессѣ. Въ 1890 году онъ вернулся въ Петербургъ и упрочилъ свою пзвѣстность двумя большими произведеніями, о которыхъ много говорили и писали—*На дѣйствительной службѣ* повѣсть, помѣщенная въ №№ 7 и 8 *Вѣстника Европы*, и *Здравыя понятія*—романъ, появившійся въ №№ 8, 9 и 10 *Сѣвернаго Вѣстника*. Въ томъ-же году появилась въ *Вѣстникѣ Европы*, въ № 9, повѣсть его *Секретарь ея превосходительства*, а въ *Артистѣ*—рассказъ *Проклятая Слава*. Въ томъ-же 1890 году вышло первое собраніе его сочиненій, издавное Ф. Ф. Павленковымъ.

Главная особенность таланта Потапенка, рѣзко отличающая его отъ всѣхъ прочихъ молодыхъ беллетристовъ,—чрезвычайно ясный и бодрый взглядъ на жизнь и людей, исполненный добродушно-незлобиваго оптимизма, совершенное отсутствіе того мрачно-унылаго, развѣдающаго скептицизма, какимъ пренеполнена современная беллетристика; вмѣстѣ съ тѣмъ отсутствіе и трагическихъ тоновъ, всего, что, омрачая духъ читателя, вызвало-бы въ немъ чувство тоски, недовольства жизнью. Чтобы не пзображалось въ произведеніи Потапенка, хотя-бы самыя ужасныя вещи, читатель выноситъ бодрящее чувство отрады, на душѣ у него становится свѣтло, и онъ готовъ бываетъ даже воскликнуть: а какъ-бы то ни было, все-таки хорошо на бѣломъ свѣтѣ!

Этого благодушнаго настроенія читателя Потапенко достигаетъ вовсе не тѣмъ, чтобы онъ пзображалъ жизнь въ однихъ розовыхъ краскахъ. Вы найдете у него тѣ-же общественныя язвы и непорядки, тѣ-же драматическіе и трагическіе мотивы, тѣхъ-же злыхъ и дрянныхъ людей, тѣхъ-же хищныхъ пауковъ, поѣдающихъ оплошныхъ и слабыхъ мухъ, какъ и во всей современной беллетристикѣ. Но только тамъ, гдѣ писатель съ преобладающею наклопностью къ трагизму, съ мрачными взглядами на жизнь и людей, парочко сгустить черныя краски, подчеркнуть то, что наиболее возмутительнаго въ изображаемомъ явленіи, чтобы у читателя застонало на душѣ. Потапенко-же не предлагаетъ ни малѣйшихъ успій, чтобы то или другое драматическое положеніе потрясло читателя; напротивъ того, у него всегда являются такіе вводные элементы, которые совершенно нейтрализуютъ драматизмъ: то въ злодѣй драмы онъ вселяетъ такія почтенныя качества, что читатель невольно мирится съ нимъ, тѣмъ болѣе что въ то-же время добродѣтельные и страдающіе люди выходятъ въ высшей степени комичны и тѣмъ какъ-бы заслуживаютъ свои страданія (такое впечатлѣніе мы выносимъ изъ романа *Здравыя понятія*); то добродѣтель настолько торжествуетъ въ заключеніе, а зло такъ безнощадно наказуется, что на радостяхъ при видѣ такого исхода читатель великодушно готовъ простить людямъ всѣ дѣязги, предшествовавшія столь вождѣленному концу.

Въ виду всего этого можно было-бы ожидать, что читатель долженъ выносить изъ произведеній Потапенка чувство неудовлетворенности, такъ какъ и чутые, и собственный опытъ должны подсказать читателю, что въ дѣйствительности далеко не все такъ благополучно кончается, и дурные люди гораздо отвратительнѣе, чѣмъ какъ они изображаются Потапенкомъ. Между тѣмъ читатель съ большимъ удовольствіемъ читаетъ

произведенія Потапенка, и не удовлетворяясь въ одномъ отношеніи, въ другомъ—напротивъ того—выносятъ чувство полнаго удовлетворенія и больше эстетическое удовольствіе. Это зависитъ оттого, что въ произведеніяхъ Потапенка есть еще одинъ элементъ, самый существенный въ его творчествѣ, преобладающій надъ всѣми другими,—это смѣхъ, юморъ.

И дѣйствительно, тѣ страницы произведеній Потапенка читаются съ наибольшимъ удовольствіемъ и наиболее врѣзываются въ вашу память, въ которыхъ авторъ осмѣиваетъ своихъ героевъ. Самое главное свойство крайне добродушнаго, но тѣмъ не менѣе очень мѣткаго и безопаднаго юмора Потапенка заключается въ томъ, чтобы, ловивши смѣшныя и глупыя стороны изображаемыхъ лицъ, въ то-же время обнаружить передъ вами всю нелѣпцу внутреннихъ противорѣчій, какія скрываются въ нихъ.

Нечего и говорить о такихъ произведеніяхъ, какъ *Святое искусство*, *Потынная исторія*, *Рыдкій праздникъ*, *Секретарь его превосходительства*, въ которыхъ юморъ, комизмъ царятъ безграницно, но даже и въ столь крупныхъ вещахъ, какъ *Здравыя понятія* и *На дѣйствительной службѣ*, задуманныхъ вовсе не ради одного смѣха, самыми прекрасными страницами являются опять-таки тѣ, гдѣ разгрызается юморъ автора; что за прелесть напримѣръ такіе комическіе типы современной молодежи, какъ Кремчатовъ, Вѣтвицкій, Оленкинъ, Мишуринъ; всѣ они какъ живые стоятъ передъ вами во всей своей несообразности и со всѣми своими умственными и нравственными противорѣчіями. А когда вы читаете повѣсть *На дѣйствительной службѣ*, изображающую молодого академика, прожѣнявшаго блестящую карьеру на скромный постъ сельскаго пастыря, мечтающаго осуществить высшій идеалъ своего призванія,—васъ болѣе занимаетъ не столько самый фактъ подвижничества отца Кирилла, сколько весь тотъ комическій переполохъ, который произвело это подвижничество въ озадаченномъ и сбитомъ съ толку припадѣ. Здѣсь въ свою очередь на каждой страницѣ вы натываетесь на массу типовъ и сценъ, которыя заставляютъ васъ хохотать отъ души, въ которыхъ юморъ автора такъ и прыщетъ изъ каждой строки.

VII.

Сверхъ всѣхъ вышеупомянутыхъ молодыхъ беллетристовъ не лишнимъ считаемъ указать на Мамина, подписывающагося также псевдонимомъ Сибиряка, беллетриста въ свою очередь стоящаго на вполне самостоятельной почвѣ. Это беллетристъ совершенно чуждый какихъ-либо опредѣленныхъ тенденцій, равно и художественныхъ претензій. Онъ стоитъ на почвѣ этнографіи, причемъ исключительная спеціальность его заключается въ изображеніи быта уральской западно-сибирской горной промышленности. Литературная плодовитость его неимовѣрна. Ежегодно во всѣхъ почти ежемѣсячныхъ журналахъ является по нѣскольку его романовъ, повѣстей, очерковъ и пр. Самымъ выдающимся произведеніемъ его считается романъ *Горное гнѣздо*, напечатанный въ первыхъ трехъ книжкахъ *Отечественныхъ Записокъ* за 1884 годъ и вышедшій затѣмъ отдѣльно.

Заслуживаетъ между прочимъ также вниманія князь Д. Голицынъ, появившійся въ 1884 году съ отдѣльнымъ изданіемъ эскизовъ и очерковъ подъ заглавіемъ *Убоиѣ*

и *нарядные*; а въ началѣ 1885 года вышелъ тоже отдѣльнымъ изданіемъ романъ *Теморъ*. Оба изданія были подписаны псевдонимомъ Муравлинъ, и сразу обратили на себя вниманіе публики и критики. Кн. Голицынъ явился въ своихъ произведеніяхъ въ своемъ родѣ специалистомъ, изображая исключительно нравы высшаго петербургскаго общества, и притомъ съ такихъ сторонъ, которыя не были еще въ достаточной степени затронуты литературою; именно со стороны физическаго и нравственнаго вырожденія аристократическихъ родовъ, сказывающагося въ разнаго рода психическихъ болѣзняхъ, наклонности къ самоубійству и всевозможныхъ нравственныхъ извращеніяхъ и порокахъ. Особенное мастерство при этомъ обнаружилъ онъ въ психическомъ анализѣ внутренняго міра слабоумныхъ и безвольныхъ князьковъ и психонатовъ съ ихъ фантастическою влюбчивостью въ заѣзжихъ артистовъ и т. п. Къ сожалѣнію творческаго матеріала хватило у кн. Голицына только лишь на два упомянутыя изданія. Всѣ дальнѣйшія его произведенія—романы—*Баба*, *Мракъ*, *Хворь*, *Около любви*, *Князь* представляютъ лишь варіаціи на однихъ и тѣхъ-же темахъ, и авторъ въ каждомъ своемъ новомъ романѣ началъ тянуть одну и ту-же нѣсню, лишь повторяя ее на разные лады. Къ тому-же крайняя скороспѣлость всѣхъ этихъ произведеній, писанье съ плеча при полномъ отсутствіи сколько-нибудь тщательной обработки, производятъ непріятное впечатлѣніе небрежнаго отношенія къ дѣлу и ставятъ произведенія кн. Голицына вѣ кругъ истинно низшихъ художественныхъ произведеній.

Ежедневныя газеты, равно какъ и иллюстрированныя еженедѣльныя изданія работали мало-по-малу особеннаго рода литературный жанръ мелкихъ рассказовъ, эскизовъ, очерковъ, словно нарочно по своей миниатюрности приуроченныхъ къ размѣрамъ газетныхъ столбцовъ, тяготящихся обширными произведеніями, которыя тянулись-бы въ десяткахъ нумеровъ. Содержаніе такихъ рассказовъ калейдоскопически разнообразное: на трехъ-четырехъ столбцахъ вы можете встрѣтить здѣсь то мелкую житейскую сценку, эпизодъ, анекдотъ, то трагедію, которой хватило-бы на большой романъ. Главное условіе подобнаго рода беллетристики—необыкновенная сжатость и краткость; все искусство и вся трудность заключаются въ томъ, чтобы выставить существенное и дать читателю возможность догадаться объ остальномъ. Самымъ главнымъ мастеромъ и, можно даже сказать, создателемъ такого жанра является Антонъ Павловичъ Чеховъ, начавшій свое литературное поприще во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ на страницахъ *Осколковъ*, *Петербургской Газеты* и *Новаго Времени*, и затѣмъ перешедшій на страницы *Старнаго Вѣстника*, гдѣ появились болѣе обширныя его произведенія: *Стень*, *Огни*, *Скучная исторія*. Средній успѣхъ имѣла также его комедія *Ивановъ*. Безчисленные рассказы, помѣщаемые въ разныхъ газетахъ, выходятъ время отъ времени отдѣльными сборниками, каковы *Юмористическіе рассказы* (Спб., 1887 г.), *Въ сумеркахъ* (Спб., 1887 г.), *Хмурые люди* (1890 г.).

Произведенія Чехова, при всей ихъ фельетонной скороспѣлости обнаруживаютъ очень сильный талантъ, блестятъ художественностью и юморомъ. Но въ нихъ одинъ существенный недостатокъ — полное отсутствіе какого-бы то ни было объединяющаго идейнаго начала. Авторъ весь отдается мимолетнымъ впечатлѣніямъ, спѣша поскорѣе выразить ихъ въ нѣсколькихъ стахъ газетныхъ строчекъ

Вслѣдствіе этого и выходитъ, что рядомъ съ потрясающею драмою, которою случается Чехову обмолвиться мимоходомъ, вы встрѣчаете у него рядъ анекдотовъ водевильнаго характера, не пишущихъ иной цѣли какъ лишь посмѣшить читателей газеты. Большія его произведенія — *Стень* и *Они*, въ свою очередь, отличаются тою-же калейдоскопичностью и отсутствіемъ пдейнаго содержанія; это не цѣльныя произведенія, а рядъ безсвязныхъ очерковъ, написанныхъ на живую нитку фабулы разсказа. Трудно сказать, газетная-ли скороспѣлая работа, не давая Чехову ни надѣ чѣмъ серьезно задуматься, выработала подобнаго рода поверхностность и безцѣльность его творчества, или же такой ужъ у него талантъ, который наиболѣе пригоденъ именно къ такого рода эфемернымъ работамъ.

Въ послѣднее десятилѣтіе появилось нѣсколько новыхъ женщинъ на поприщѣ беллетристики. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ Валентина Ювовна Дмитріева, не говоря о ея выдающемся талантѣ, уже тѣмъ однимъ, что это первая писательница на Руси, вышедшая прямо изъ народа. Отецъ ея былъ крѣпостной крестьянинъ Нарышкинъ. Она родилась въ 1859 году въ селѣ Воронинѣ балашовскаго уѣзда, саратовской губерніи; дѣтство провела въ деревнѣ, потомъ поступила въ 4-й классъ тамбовской женской гимназіи. По окончаніи курса служила въ сельскихъ учительницахъ и тутъ въ первый разъ начала писать корреспонденціи и небольшіе разсказы въ *Саратовскомъ справочномъ листкѣ* и *Саратовскомъ дневникѣ*. Въ 1878 г. пріѣхала въ Петербургъ, и поступила на врачебные курсы, гдѣ и окончила свое образованіе въ 1885 году. За это время были написаны ею слѣдующіе разсказы: *По душѣ да не по разуму* (*Мысль*, 80 г., IV), *Ахметкина жена* (*Рус. Бог.* 81 г., I), *Отъ совѣсти* (*Русск. М.* 82 г., III), *Въ тихомъ омутѣ* (*Дѣло*, 82 г., VI), *Въ разные стороны* (*Русск. М.* 83 г., III и IV), *Злая воля* (*Дѣло*, 83, IV—VIII), *Тюрьма* (*В. Евр.*, 87, VIII—X), *Своимъ судомъ* (*Сѣв. В.*, 88, I), *Доброволецъ* (*В. Евр.*, 89, IX—X).

Нужно ли и говорить о томъ, что происхожденіе изъ народа сказывается во всѣхъ произведеніяхъ Дмитріевой: всѣ они отличаются основательнымъ знаніемъ крестьянской жизни, мастерскимъ психическимъ анализомъ и глубокимъ общественнымъ смысломъ. Въ то-же время въ разсказахъ Дмитріевой поражаетъ васъ чисто мужское перо: полное отсутствіе всякой сентиментальности и той страсти вдаваться въ подробности разныхъ лепидетій страсти нѣжной, чѣмъ такъ грѣшитъ большинство женщинъ.

Обращаетъ на себя вниманіе также Александра Александровича Виницкая, произведенія которой, появившіяся втеченіе восьмидесятихъ годовъ, вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1886 г. У Виницкой талантъ небольшой, но симпатичный, къ сожалѣнію только весьма неровный. Когда вы читаете ея произведенія, на васъ изрѣдка словно солнце изъ-за тучъ блеснетъ страницъ, другая, исполненная искренней, неподдѣльной, порою даже довольно яркой художественности, но затѣмъ снова все померкнетъ передъ вами во мглѣ аффектаціи, экзальтаціи и фальши. Однимъ словомъ, читая произведенія Виницкой, вы встрѣчаете словно двухъ писательницъ, не пишущихъ ничего общаго между собою: одна изображаетъ жизнь такъ, какъ она есть, наглядно, просто, правдиво, мѣстами очень художественно; другая-же непременно во чтобы ни стало старается встать передъ вами на величественныя, трагическія ходули и начинаетъ напыливать, словно поддѣльный жемчугъ на нитку, ложь на ложь, фальшь на фальшь.

чтобы доказать вамъ, какъ люди злы и пошлы. Первой писательницѣ принадлежатъ такіе прекрасные рассказы, какъ *Наша Наташа*, *Старые знакомые*; второй— *Судьба*, *Улиткино дѣло*, *Ни дна, ни покрывки* и пр.

Любимѣйшею писательницею современной публики представляется также Ольга Андреевна Шапиръ (урожденная Кислякѣ), наиболѣе крупными произведеніями которой являются романы— *Безъ любви* и *Миниура*, и затѣмъ масса повѣстей— *Кандидатъ Куратовъ*, *Изъ семейной прозы*, *Дорогой цѣной*, *Бабье лѣто*, *На пороги жизни*,—напечатанныхъ въ различныхъ періодическихкихъ изданіяхъ, затѣмъ изданныхъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1888 году. Въ произведеніяхъ О. А. Шапиръ мы видимъ какъ-бы возвращеніе женской беллетристики къ сороковымъ и пятидесятымъ годамъ, по крайней ихъ спеціальности, такъ какъ они имѣютъ дѣло исключительно съ одними вопросами сердечными и семейными. Очертивши себѣ эту малевъкую сферу жизни, въ которой писательница чувствуетъ себя вполне компетентною, она затѣмъ игнорируетъ все остальное, не смотритъ ни направо, ни налево. Такъ мы видимъ, что всѣ герои Шапиръ что-то дѣлаютъ на общественномъ поприщѣ: или служатъ въ какой-нибудь канцеляріи, или хозяйничаютъ въ качествѣ помѣщиковъ, но хорошо-ли или дурно они это дѣлаютъ довольны или недовольны своею дѣятельностью, успѣшно или безуспѣшно совершаютъ свое призваніе, объ этомъ въ произведеніяхъ Шапиръ и не упоминается. Зато въ своей спеціальной сферѣ Шапиръ безукоризненна, и ея повѣсти и романы отличаются весьма тонкимъ и мастерскимъ анализомъ женской любви и разныхъ семейныхъ отношеній.

Такою-же спеціальностью отличается и молодая, недавно выступившая на литературное поприще беллетристка Марья Всеволодовна Крестовская. Первое произведеніе ея, романъ *Раннія грозы* появился въ 1887 году на страницахъ *Русскаго Вѣстника* и молодая писательница сразу обратила на себя общее вниманіе, какъ новый талантъ, обещающій въ будущемъ многое. Вниманіе это обуславливалось кромѣ достоинствъ перваго труда и нѣкоторыми побочными обстоятельствами: во первыхъ тутъ дѣйствовало совпаденіе имени Крестовской съ псевдонимомъ Хвощинской, а во вторыхъ она—дочь извѣстнаго писателя В. Крестовскаго и представляетъ рѣдкое явленіе наследственной передачи беллетристическаго таланта. Вслѣдъ затѣмъ въ 1889 году появилось отдѣльное изданіе ея сочиненій, гдѣ кромѣ *Раннихъ грозъ*, были напечатаны повѣсти: *Истѣтніе*, *Внѣ жизни*, *Уюлки театральнаго міра* и пр.

М. В. Крестовская раздѣляетъ участь, общую весьма многимъ писательницамъ и зависящую отъ особенностей женской жизни: крайнюю бѣдность наблюденій внѣшней жизни и преобладаніе психическаго анализа любовныхъ страстей и семейныхъ отношеній. Вслѣдствіе этого въ произведеніяхъ М. В. Крестовской вы видите полное отсутствіе внѣшней обрисовки предметовъ. Дѣйствующіи лица являются у нея не тщательно и рельефно вырисованными типами со всѣми ихъ индивидуальными особенностями, а неопредѣленными, стереотипными фигурами, причемъ все вниманіе писательницы обращено на внутреннія психическія особенности характеровъ. Но зато психическій анализъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Въ этомъ отношеніи произведенія М. В. Крестовской безукоризненны, и кромѣ того неотъемлемымъ достоинствомъ ея таланта представляется обиліе чувства, особенно сильно проявляющагося въ наиболѣе драматическаго и лирическаго.

скихъ мѣстахъ ея произведеній, читая которыя вы едва удерживаетесь отъ слезъ. Къ числу достоинствъ М. В. Крестовской относится также и отсутствіе чопорной искусственно-мертвой послѣдовательности въ расположеніи частей романа, что придаетъ ея произведеніямъ большую живость. Такъ, она знакомитъ васъ съ обстоятельствами жизни и прошлаго своихъ героевъ при удобномъ случаѣ, когда ей вздумается, не дѣлая изъ этого особенныхъ главъ.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

I — Александръ Николаевичъ Островскій, какъ создатель русской сцены. Дѣтство и юность его. II — Начало литературной дѣятельности и первый періодъ ея до эпохи реформъ. III — Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни; недостатокъ матеріальныхъ средствъ и несправедливости. Улучшеніе его положенія въ послѣдніе годы жизни. IV — Общая характеристика піесъ Островскаго: ихъ образцовая реальность, классическая простота и жизнерадостность. V — Разносторонность точекъ зрѣнія Островскаго на жизнь и сложность изображаемыхъ явленій. Отсутствіе односторонняго увлеченія какой-либо доктриной и слабость славянофильскаго вліянія въ пятидесятые годы. VI — Глубокое проникновеніе демократическимъ духомъ времени и отраженіе этого духа въ піесахъ перваго періода: *Не съ свои сами не садись, Бѣдность не порокъ*. Драма *Не такъ живи, какъ хочется*, какъ апогей славянофильскихъ вліяній.

I.

То обновленіе, которое мы видимъ во всѣхъ отрасляхъ нашей литературы, не могло не отразиться и на судьбахъ русской сцены, и мы видимъ, что здѣсь оно выразилось еще ярче чѣмъ гдѣ-бы то ни было, такъ какъ пятидесятые и шестидесятые годы ознаменовались въ исторіи нашего театра великимъ событіемъ созданія русской самобытной сцены.

Русская комедія существовала со временъ Сумарокова, и до сихъ поръ рядомъ съ Островскими постоянно ставятся, какъ великіе создатели русской комедіи, такіе имена, какъ Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь. Но какъ ни высоки сценическія творенія этихъ писателей, какія крупныя даны им заплатили они русскому театру, они все-таки не могутъ быть названы вполне правильно создателями его, потому что піесы ихъ являются какими-то оазисами, раздѣленными значительными промежутками времени и несоздавшими никакихъ прочныхъ школъ. Что касается до Фонъ-Визина, то онъ подарилъ русскому театру всего три комедіи, въ которыхъ хотя и прорывается не мало самобытнаго и оригинальнаго, но все-таки комедіи эти являются скроенными по образцамъ французской сцены, и вліяніе Мольера сильно сказывается въ нихъ на каждомъ шагѣ.

Горе отъ ума славится въ русской литературѣ скорѣе какъ гениальная общественная сатира, чѣмъ какъ образцовая комедія, и по своему типу она въ свою очередь носитъ характеръ французской сцены.

Что касается комедій Гоголя, то при всей ихъ гениальности, они не оставили послѣ себя ни одного послѣдователя и остались безъ подражателей. Въ тридцатые и сороковые годы обыденный репертуаръ русскаго театра составлялся изъ пьесъ, не имѣющихъ ничего общаго ни съ *Горемъ отъ ума*, ни съ *Ревизоромъ* или *Женитьбою*; послѣднія давались лишь изрѣдка и имѣли столь-же мало общаго съ большинствомъ пьесъ, ежедневно ставившихся на сценѣ, какъ мало общаго между душистымъ анапасомъ и seguidillo, подающимъ за однимъ и тѣмъ-же обѣдомъ. Щеголяя этими классическими пьесами, сцена пробавлялась ежедневно или переводами раздѣлительныхъ французскихъ мелодрамъ съ картонными злодѣями, убійствами, слезами и рыданіями, или-же патріотическими трагедіями съ оглушительными рычаніями трехъ-аршинныхъ трагиковъ, вроде Каратыгина I. Вполнѣ понятно становится та скорбь, которою былъ преисполненъ Гоголь при постановкѣ своего *Ревизора*, не найдя на сценѣ Александринскаго театра почти ни одного актера, который вполнѣ удовлетворительно сыгралъ-бы роль Хлестакова. Изъ этого вовсе не слѣдовало, чтобы на этой сценѣ не было ни одного талантливаго артиста. Но всѣ эти артисты были воспитаны совсѣмъ въ иномъ духѣ, для пьесъ.

Нужно было, чтобы появился спеціальный талантъ, который въ продолженіи сорока лѣтъ успѣлъ-бы поставить до пятидесяти пьесъ, т. е. болѣе, чѣмъ по одной пьесѣ въ годъ, для того чтобы, наполнивъ сцену своими произведеніями, произвести въ ней крайній переворотъ, совершенно преобразовать вкусы публики и создать новыхъ актеровъ, не имѣющихъ ничего общаго съ прежними.

И это совершилъ Александръ Николаевичъ Островскій.

А. Н. Островскій родился въ 1823 году въ Москвѣ. Отецъ его былъ однимъ изъ тѣхъ бѣдныхъ подьячихъ, занимающихся ходатайствами по дѣламъ замоскворѣцкаго купечества, типы которыхъ такъ часто встрѣчаются въ комедіяхъ Островскаго. Такимъ образомъ въ дѣтствѣ уже пришлось Островскому не только наблюдать, но и на своихъ близкихъ испытывать всю тяготу правовъ Замоскворѣчья. Но не одно Замоскворѣчье давало пищу чуткой наблюдательности ребенка и затѣмъ юноши. Нужно замѣтить, что несмотря на то, что Островскій былъ исключительно городской писатель, всю жизнь съ небольшими лишь перерывами прожившій въ Москвѣ, онъ былъ именно какъ москвичъ поставленъ въ весьма выгодныя условія для наблюденій русской жизни въ самыхъ разнообразныхъ ея слояхъ и историческихъ пластахъ. Москва тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ была по-истинѣ фокусомъ Россіи, вмѣщавшимъ въ своихъ стѣнахъ всѣ ея историческія и современныя особенности. Здѣсь сосредоточивалось въ эту эпоху высшее умственное движеніе интеллигентнаго общества, издавались лучшіе журналы: *Московский Телеграфъ*—Полевого, *Телескопъ*—Надеждина, позже *Московский Наблюдатель*, *Молва*. Здѣсь развивались кружки шеллистовъ,—Сталкеевича, Герцена, шли оживленные споры о судьбахъ Европы и Россіи на основаніи послѣднихъ словъ европейской философіи и науки. Тутъ-же, рядомъ съ этими интеллигентными верхами, жили въ своихъ дворцахъ бары во всей деревенской и степной простотѣ, окруженные многочисленными дворянскими крѣпостными и своими собаками, и беззастѣнчиво производили жестокія расправы на копящихся почти всенародно. Далѣе рядомъ съ чиновниками-бюрократами петербургскаго склада, ще-

голами и карьеристами, здѣсь гибздились чиновничьи типы и нравы московскихъ подъячихъ допетровской старины. Еще ниже, въ купеческихъ семьяхъ, тронутыхъ цивилизаціей, можно было наблюдать тотъ самый первоначальный процессъ вѣшняго обѣвропеиванья, какой въ дворянскихъ слояхъ совершался при Петрѣ. Наконецъ на самомъ низу сохранялся въ полной неперекосовенности тотъ самый домостроевскій порядокъ, какой имѣлъ мѣсто въ самые отдаленные вѣка допетровской Руси. Такимъ образомъ, проживая въ Москвѣ, Островскій видѣлъ Русь во всемъ ея историческомъ и современномъ разнообразіи.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Островскій былъ отданъ въ 1-ю московскую гимназію, и пзъ воспоминаній О. А. Бурдина (*В. Евр.* 1886, № 12) мы видимъ, что въ 1840 году, когда Островскій былъ семнадцати лѣтъ, на выпускѣ, онъ успѣлъ уже пристраститься къ театру. И это очень понятно, если взять во вниманіе то высокое мѣсто, какое занималъ въ то время московскій театръ. Это была лучшая сцена въ Россіи со всею своею труппою, среди которой славились такіе крупные таланты какъ Мочаловъ и Щепкинъ. Вся московская молодежь тогда бредила театромъ, дѣлилась на партіи, спорила и шумѣла пзъ-за тѣхъ или другихъ сценическихъ любимцевъ и любимицъ. Вспомните восторженный диамблъ театру, пропѣтый Бѣлинскимъ въ первой своей статьѣ, равно и прочія статьи его о московскихъ и петербургскихъ знаменитостяхъ.

Слѣдуя примѣру сверстниковъ, Островскій въ старшихъ классахъ гимназіи любилъ театръ и часто посѣщалъ его, и товарищи, по словамъ О. А. Бурдина, съ великимъ удовольствіемъ и интересомъ слушали его мастерскіе рассказы объ игрѣ Мочалова, Щепкина, Львовой-Синецкой и пр. Интересно было-бы знать, читалъ-ли Островскій въ то время статьи о театрѣ Бѣлинскаго. Во всякомъ случаѣ, если не въ то время, то позднѣе навѣрное запечатлѣлись въ памяти его мысли Бѣлинскаго объ отношеніи актера къ автору, заключающіяся въ томъ, что сценическое искусство онъ почитаетъ творчествомъ, а актера самобытнымъ творцомъ, а не рабомъ автора, что актеръ дополняетъ своею игрою идею автора, и въ этомъ дополненіи состоитъ его творчество, и что особенно въ комедіи актеръ иногда можетъ придать персонажу такія черты, о которыхъ авторъ и не думалъ, пересоздать роль, вдохнуть живую душу даже въ совершенно мертвыя и плохія созданія.

Что подобныя идеи руководили Островскаго въ его творствѣ, мы можемъ судить потому, что начиная съ первой пьесы его и до послѣдней, онъ постоянно пзбѣгалъ вырисовывать характеры и лица настолько, чтобы они были отчеканены до послѣдней черточки и актеру оставалось-бы быть лишь слѣпымъ исполнителемъ; напротивъ того, онъ оставлялъ на долю актера значительную степень довершенія роли и предоставлялъ полную свободу проявленію сценическаго творчества и выраженію индивидуальности. Въ этомъ отношеніи комедіи Островскаго представляютъ незамѣнимую школу и пробу для cadaго истиннаго сценическаго дарованія.

II.

Кончивши гимназическій курсъ въ началѣ сороковыхъ годовъ, Островскій посту-

пиль въ московскій университетъ на юридическій факультетъ, но курса не кончилъ по какимъ-то неприяностямъ, которыя у него вышли съ однимъ профессоромъ. По выходѣ изъ университета въ 1843 году Островскій поступилъ на службу въ коммерческій судъ и здѣсь имѣлъ возможность еще болѣе расширить кругъ своихъ наблюдений надъ жизнію замоскворѣцкихъ купцовъ. И вотъ черезъ четыре года мы видимъ уже первый дебютъ его на литературномъ поприщѣ: въ 1847 г., когда ему было около 25 лѣтъ, появилось первое произведеніе его *Картины семейнаго счастья въ Московскомъ Листкѣ*, издававшемся В. Н. Драшусовымъ. Эта картинка изъ купеческой жизни сразу обратила на себя вниманіе всей Москвы; о ней заговорили во всѣхъ литературныхъ кружкахъ, и на автора ея обратили вниманіе. Вскорѣ затѣмъ въ томъ-же *Листкѣ* было напечатано нѣсколько сценъ изъ комедіи *Свои люди сочтемся*, и это еще болѣе упрочило славу молодого драматурга. Опъ тогда-же оставилъ службу и весь предался литературѣ, сблизившись съ редакціей *Москвитянина* и найдя тамъ постоянныя занятія въ видѣ корректуры, составленія мелкихъ статейъ и переписки. Каждый день приходилось ему тогда ходить пешкомъ отъ Николы Воробьяна, у Яузскаго моста, на Дѣвичье поле,—пространство около шести верстъ, причемъ зарабатывалъ онъ не болѣе 15 р. въ мѣсяцъ, на которые и кормился, пользуясь отъ отца одною квартирой. „Это было тяжелое время,—вспоминалъ впоследствии Островскій,—но въ молодости нужда легко переносится“.

Въ *Москвитянинѣ* въ 1847 г. была напечатана въ цѣломъ видѣ комедія его, носившая, какъ извѣстно, первоначально заглавіе *Банкротъ*, и лишь по цензурнымъ соображеніямъ переименованная въ *Свои люди—сочтемся*. Когда Островскій прочелъ у Погодина эту піесу, Шевыревъ, обратясь къ слушателямъ, сказалъ: „Поздравляю васъ, господа, съ новымъ драматическимъ свѣтломъ въ русской литературѣ“. — „Я не помню, какъ я пришелъ домой,—говорилъ Островскій,—я былъ въ какомъ-то туманѣ и, не ложась спать, проходилъ всю ночь по комнатамъ,—такими сказочными словами мнѣ показался отзывъ Шевырева.“

Тѣмъ не менѣе новое драматическое свѣтило получило такую малость отъ Погодина за свою піесу, что потомъ Островскій стыдился и говорить о томъ, какъ ничтоженъ былъ гонораръ.

Піеса надѣлала много шума въ Москвѣ. Садовскій почти ежедневно читалъ ее въ обществѣ, и всѣ наперерывъ стремились послушать ее въ чтеніи знаменитаго артиста. По словамъ Садовскаго, извѣстный генералъ А. П. Ермоловъ, выслушавъ піесу, сказалъ: „она не написана, она сама родилась!“

Но московскіе купцы сильно оскорбились піесой, пожаловались Закревскому, который призналъ ее вредной и оскорбительной для цѣлаго сословія, допесь куда слѣдуетъ, и автора взяли подъ надзоръ полиціи, а о комедіи запретили говорить въ журналахъ.

Эта опала произвела повидному на Островскаго весьма угнетающее впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что съ 1847 г. по 1859 г. онъ произвелъ всего на всего одну небольшую піеску *Утро молодого человека*, а лишь въ 1852 г. появилась его *Будная невеста*, а въ 1853 г.— *Не въ свои сани не садись*.

Комедія *Не въ свои сани не садись* была первою піесой Островскаго, поставлен-

ною на сцену въ Москвѣ, въ бенефисъ Косицкой, а такъ какъ бенефисныя пьесы по авторскому положенію того времени поступали въ полную собственность дирекціи, то Островскій ни гроша не получилъ за свою піесу, несмотря на то, что она имѣла громадный успѣхъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, выдержавши сотни представленій. Не обошлась къ тому-же и эта піеса безъ цензурныхъ гоневій. Когда она была поставлена въ Петербургѣ, въ администраціи возбужденъ былъ вопросъ, не слѣдуетъ-ли снять ее со сцены, такъ какъ въ ней опозоривается дворянство пасчетъ купечества, и театральное чиноупничество сильно перетрусило, когда на первое представленіе явился самъ Императоръ со Своими Семействомъ. Но Императоръ Николай Павловичъ спасъ пьесу; она такъ ему понравилась, что онъ выразился о ней: „Очень мало пьесъ, которыя доставили-бы мнѣ такое удовольствіе,—се n'est pas une piéce, c'est une leçon“.

Вслѣдъ за тѣмъ была поставлена комедія *Бѣдная невеста*, за которую авторъ впервые получилъ отъ дирекціи единовременную плату въ 700 р.

Наконецъ въ 1854 г. появилась на сценѣ *Бѣдность не порокъ* и окончательно утвердила за Островскимъ славу первостепеннаго писателя: это была первая піеса, за которую онъ получилъ перспективную плату въ размѣрѣ двадцатой части отъ ²/₃ сбора.

Пьесой *Не такъ живи, какъ хочется*, написанной тоже въ 1854 году, завершается первый, дореформенный періодъ дѣятельности Островскаго. Періодъ этотъ распадается на двѣ серіи: въ двухъ первыхъ своихъ пьесахъ: *Семейной картинѣ* и *Банкротѣ* Островскій является еще послѣдователемъ чисто натуральной гоголевской школы, и всѣ образы его носятъ исключительно отрицательный характеръ, безъ малѣйшаго просвѣта. Совсѣмъ не то мы видимъ въ послѣдующихъ пьесахъ его, особенно въ комедіяхъ *Не въ свои сани не садись*, *Бѣдность не порокъ*, *Не такъ живи, какъ хочется*. Здѣсь видно до извѣстной степени подчиненіе вліянію московскаго славянофильства въ томъ отношеніи, что во всѣхъ этихъ пьесахъ вѣрность ископнымъ началамъ русской жизни торжествуетъ надъ различными отклоненіями отъ нея и представляется, какъ нѣчто положительное, желанное, иногда даже и въ поэтическомъ ореолѣ. Очевидно, что близость къ редакціи *Москвитянина* и то славянофильское движеніе, которое особенно сильно было въ Москвѣ въ пятидесятые годы, не остались безъ своего воздѣйствія на творчество Островскаго, и не даромъ критики того времени по отношенію къ Островскому раздѣлились на два враждебные лагеря, и въ то время, какъ московскіе критики, съ Ан. Григорьевымъ во главѣ, восхваляли Островскаго не только прозою, но и стихами за новое слово, которое онъ произнесъ въ русской литературѣ въ видѣ созданія чисто народнаго театра и вѣрности ископнымъ народнымъ началамъ, петербургскіе критики, считавшіе себя западниками, отвергали всякое значеніе его пьесъ, несмотря на тотъ громадный успѣхъ, который онѣ имѣли.

Замѣчательно, что и московская сцена была гораздо болѣе расположена къ Островскому, чѣмъ петербургская. Несмотря на то, что начальникъ репертуарной части въ Москвѣ, А. Н. Верстовскій, ворчалъ, что русская сцена „провоняла отъ подушниковъ Островскаго“, пьесы его не сходили со сцены и исполнялись съ тѣмъ высокимъ совершенствомъ и блестящимъ ансамблемъ, какими въ то время славился московскій театръ. Между тѣмъ въ Петербургѣ процвѣталъ въ то время Кукольникъ, мелоч-

драма и водеvilный репертуаръ; ставилась такая дребедень, какъ *Дѣтскій докторъ*, *Донъ-Сезарь-де-Базанъ*; артисты, за исключеніемъ Мартынова и нѣсколькихъ человѣкъ молодежи, относились къ Островскому холодно, и начальство неохотно ставило его пьесы, несмотря на большіе сборы, какіе онѣ давали.

III.

Съ наступленіемъ эпохи реформъ, послѣ крымской кампаніи, мы видимъ новую струю въ творчествѣ Островскаго. Наступившее движеніе не замедлило оказать свое вліяніе на него, и вотъ въ драмѣ *Въ чужомъ пиру похмѣлье*, относящейся къ 1856 году, является совершенно уже другая постановка, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ; отрицательныя явленія жизни являются здѣсь въ видѣ самодурства (въ этой драмѣ впервые употреблено слово самодуръ), обусловливаемого неограниченною властью капитала, и этимъ отрицательнымъ явленіемъ противопоставляется уже не чистота русской самобытности, а интеллигентный человѣкъ съ его неподкупною честностью и непоколебимымъ сознаніемъ своего человѣческаго достоинства. Далѣе слѣдуютъ такія драмы, какъ *Доходное мѣсто* (1856 г.), *Воспитанница* (1859 г.), очевидно прямо навѣянные тѣмъ броженіемъ, которое предшествовало крестьянской реформѣ. До какой степени сильное впечатлѣніе производили эти драмы въ чисто политическомъ отношеніи, можно судить по тому, что, несмотря на всю мягкость цензуры того времени, обѣ онѣ показались администраціи крайне опасными. *Доходное мѣсто* было запрещено наканунѣ перваго представленія и лишь въслѣдствіи вновь дозволено, *Воспитанница* въ свою очередь не была одобрена къ представленію, и когда Бурдинъ, хлопоча о ея дозволеніи, спросилъ у шефа жандармовъ Потапова, въ чемъ же вредное направленіе ея, Потаповъ отвѣчалъ:

— Въ насмѣшкѣ и издѣвательствѣ надъ дворянствомъ. Дворяне дѣйствуютъ патриотически, приносятъ огромныя жертвы, освобождаютъ крестьянъ, и за это-же погнѣшаются надъ ними.

Вслѣдствіи эта пьеса была дозволена лишь благодаря счастливому случаю. Именно былъ назначенъ исправляющимъ должность шефа жандармовъ генералъ Анненковъ, братъ П. В. Анненкова. Послѣдній, какъ другъ Тургенева, началъ хлопотать у брата о разрѣшеніи бывшей подъ запрещеніемъ пьесы Тургенева *Нахлебникъ*.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ генералъ Анненковъ, и не только эту, а всѣ тѣ, которыя ты признаешь нужными; только присылай поскорѣе, потому что я на этомъ мѣстѣ останусь не долго.

Въ 1859 году Островскій впервые нашелъ въ русской критикѣ достойную его произведеній обстоятельную оцѣнку въ извѣстныхъ статьяхъ Добролюбова *Темное царство*, и, надо полагать, что какъ вообще возбуждавшему творческія силы духу времени, такъ между прочимъ и статьямъ Добролюбова былъ обязанъ Островскій такою необычайною плодovitостью, какую онъ обнаружилъ въ 1860 году, который вполне можетъ быть названъ zenithомъ его литературной дѣятельности. Къ этому году относятся три пьесы его: *Старый другъ лучше новыхъ двухъ*, *Тяжелые дни* и главное дѣло—*Гроза*, это chef d'oeuvre творчества Островскаго, пьеса, которая одна могла-бы доставить неувядаемую славу драматургу.

Такая плодовитость обуславливается между прочимъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что незадолго до того Островскій обзавелся семьей, пошли дѣти, и нужды стали возрастать въ грозной пропорціи. Онъ работалъ безъ усталы: по цѣлымъ днямъ не разгибая спины. Расходы были такъ велики, что, едва кончивъ одну пьесу, онъ уже принимался за другую. Въ то-же время отношенія дирекціи къ нему становились все холоднѣе; явилось какое-то недоброжелательство, которое, по словамъ Ѳ. А. Бурдина, происходило вслѣдствіе отчужденности Островскаго отъ театральнаго начальства и нежеланія угождать. Пьесы его, дававшія полные сборы, снимались съ репертуара и замѣнялись переводными мелодрамами, на постановку которыхъ тратили большіе деньги, а на постановку пьесъ Островскаго не давали ничего.

Находясь въ подобныхъ условіяхъ, работая черезъ силу, оскорбленный нравственно, Островскій тогда уже утратилъ свое здоровье: и безъ того слабый организмъ его не вынесъ непосильной борьбы, и нервная система его была потрясена до основанія; началось сердцебіеніе, безотчетная пугливость, постоянное тревожное состояніе, отсутствіе сна и аппетита, а вслѣдствіе этого безспіе работать. Конечно въ связи со всѣмъ этимъ пьесы Островскаго шестидесятыхъ годовъ, начиная съ *Грозы*, носятъ преимущественно мрачный, трагическій характеръ; таковы: *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*, *Путники*, *Пучина*, *На бойкомъ мѣстѣ*, *На всякаго мудреца довольно простоты*.

Болезненность Островскаго дошла до того, что онъ рѣшился отказаться отъ театра. Вотъ что писалъ онъ Бурдину 27 септ. 1866 г.:

«Объявляю тебѣ по секрету, что я совсѣмъ оставилъ театральное поприще. Причины вотъ какіе: выгоды отъ театра я почти не имѣю, хотя всѣ театры въ Россіи живутъ моимъ репертуаромъ. Начальство театральное ко мнѣ не благоволитъ, а мнѣ ужъ пора видѣть не только благоволеніе, но и нѣкоторое уваженіе; безъ хлопотъ и поклонновъ съ моей стороны ничего для меня не дѣлается, а ты самъ знаешь, способенъ-ли я къ низкопоклонству; при моемъ положеніи въ литературѣ играть роли нѣчто кланяющагося просителя тяжело и унижительно. Я замѣтно старѣю и постоянно нездоровъ, а потому ѣздить въ Петербургъ, ходить по высокимъ дѣйствицамъ мнѣ ужъ нельзя. Повѣрь, что я буду имѣть гораздо больше уваженія, которое я заслужилъ и котораго стою, если развяжусь съ театромъ».

«Давши театру 25 оригинальныхъ пьесъ, я не добился, чтобы меня хоть мало отличили отъ какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мѣрѣ, я приобрѣту себѣ спокойствіе и независимость, вмѣсто хлопотъ и униженій. Современныхъ пьесъ больше писать не стану; я уже давно занимаюсь русской исторіей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопросъ: отчего я не ставлю своихъ пьесъ, я буду отвѣчать, что онѣ неудобны. Я беру форму *Юриса Годунова*,—такимъ образомъ постепенно и незамѣтно я отстану отъ театра».

И дѣйствительно, къ этому самому времени отпослется наибольшее увлеченіе Островскаго исторіей, выразившееся въ цѣломъ рядѣ историческихъ хроникъ: *Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ* (1862 г.), *Восвода* (1865 г.), *Дмитрій Самозванецъ*, *Василій Шуйскій* (1867 г.), *Тушино* (1867 г.), *Василиса Мелентевна* (1868 г.).

Къ концу шестидесятыхъ годовъ появился у Островскаго новый опасный конкурентъ въ видѣ оперетокъ, которыя заполнили наши сцены. Пьесы Островскаго стали

даваться еще рѣже; матеріальное положеніе его еще болѣе ухудшилось. Изъ его писемъ,—говоритъ Бурдинъ,—я видѣлъ, что настроеніе его духа стало еще мрачнѣе; тревога за семью и непосильный трудъ все болѣе и болѣе разстраивали его здоровье. Это было самое тяжелое время его жизни—время нужды и неоплатныхъ долговъ“.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ вступилъ Островскій въ семидесятые годы XIX столѣтія. Здѣсь ко всѣмъ невгодамъ присоединился ропотъ критиковъ на то, что онъ писался, повторяется, что новыя комедіи его далеко не имѣютъ прежней силы. Но если въ этомъ и была доля правды, и Островскому не суждено уже было написать ни одной столь сильной пьесы какъ *Свои люди* или *Гроза*, то все-таки сѣтованія рецензентовъ объ писаніи были преувеличены. Напротивъ того, до конца дней Островскій чутко присматривался ко всему, что его окружало, и представлялъ рядъ ужасающихъ картинъ того растлѣнія нравовъ, которое обуславливалось помѣщичьимъ разореніемъ и жаждою легкой наживы. Картины эти безспорно имѣютъ свое значеніе. Они составляютъ преобладающую струю въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Островскаго.

Подъ конецъ жизни матеріальное положеніе Островскаго значительно улучшилось съ того времени, какъ было утверждено общество русскихъ драматическихкихъ писателей, и Островскій былъ избранъ предсѣдателемъ его. Не было театра въ Россіи, гдѣ не давались-бы его пьесы, и, получая за нихъ хотя и небольшую плату, онъ все-таки съ частныхъ театровъ имѣлъ больше, чѣмъ съ казенныхъ.

Въ самое послѣднее время была образована комиссія для пересмотра старыхъ театральныхъ постановленій. Приглашенный въ эту комиссію, съ юношескимъ жаромъ принялся Островскій за работу для пользы страстно любимаго дѣла, цѣлые дни проводилъ за составленіемъ записокъ, историческихкихъ докладовъ, пресектовъ, по самой завѣтной мечтѣю его было устройство школы для драматическаго искусства. „Если я доживу до тѣхъ поръ,—говорилъ онъ,—то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: нынѣ отпускаешь раба твоего съ миромъ“.

И мечты его повидному осуществились въ послѣдній годъ его жизни: ему довѣренъ былъ московскій театръ и устройство театральной школы на предполагаемыхъ имъ основаніяхъ. Онъ сдѣлался наконецъ хозяиномъ русскаго театра, любимое дѣло было въ его собственныхъ рукахъ; ничто не мѣшало ему поставить его на надлежащую высоту: онъ устроитъ разсадникъ юныхъ талантовъ, очиститъ русскую сцену отъ плевалъ и подниметъ вкусъ публики!.. Сколько свѣтлыхъ надеждъ, какое ликование между артистами. Поставленные имъ пьесы: *Воевода* и *Марія Стюартъ*—возбудили восторгъ въ публикѣ, и на эти спектакли съ трудомъ доставали билеты. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали обновленія русской сцены.

Но дни Островскаго были уже сочтены. Переходъ отъ тихой кабинетной дѣятельности къ кипучей, гдѣ онъ ни минуты не имѣлъ отдыха и покоя, былъ не подъ силу изнеможенному организму. По словамъ пользовавшаго его доктора, А. А. Остроумова, онъ не успѣвалъ остывать и приходитъ въ нормальное положеніе, и это—при болѣзни сердца, удушѣ, ревматизмѣ.

„Посѣщая его почти каждый день, говорилъ О. А. Бурдинъ,—я видѣлъ, въ какомъ состояніи онъ возвращался со службы. Усталый, измученный, съ потухшимъ взглядомъ, онъ опускался въ кресло и въ продолженіи нѣкотораго времени не могъ вы-

молвить слова“. „Дай мнѣ оцѣниться, прійти въ себя,—начиналъ онъ,—я сегодня чуть не умеръ; мнѣ не хватало воздуха, нечѣмъ было дышать... ревматизмъ не позволялъ отъ болп пошевелить руками... народу, съ которымъ надо было объясняться, пропасть... потомъ доклады, я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ, — и вотъ видяшь, въ какомъ состояніи воротился домой...“

„Едва отдохнувъ,—продолжаетъ Бурдипъ,—онъ отправлялся въ театры, бдльшей частью посѣщая тотъ и другой; волновался тамъ, видя какія-нибудь неисправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ, тревожнымъ сномъ. Такова была его жизнь въ последнее время. Съ грустью каждый день я убѣждался, что онъ не только не работникъ, но и не жплецъ на бѣломъ свѣтѣ. Къ довершенію несчастія передъ самымъ отѣздомъ въ деревню онъ простудился, ревматическія боли усилились въ крайней степени; по цѣлымъ часамъ онъ не могъ пошевелиться, переносилъ ужасныя страданія. Докторъ объявлялъ, что нѣтъ болѣе никакой надежды, и черезъ три дня по пріѣздѣ въ деревню, 2-го іюня 1886 г. его не стало.“

IV.

Какъ и всѣ писатели сороковыхъ годовъ, Островскій ведетъ свое начало отъ Гоголя, но, подобно имъ, прямое происхожденіе отъ Гоголя нисколько не помѣшало ему создать свою особенную школу, и съ первыхъ-же своихъ піесъ онъ становится на совершенно самостоятельную почву. Піесы его, если и пишутъ что-либо общее съ гоголевскими комедіями, то развѣ только то, что содержаніе ихъ точно также берется изъ обыденной, сѣренькой русской жизни, изъ среды мелкаго люда. Но далѣе между ними ничего нѣтъ общаго. Піесы Гоголя представляются комедіями въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ и героемъ является въ нихъ смѣхъ автора, отъ начала до конца одинъ чистый смѣхъ, даже безъ тѣхъ незримыхъ слезъ, присутствіе которыхъ чувствуется во всѣхъ прочихъ произведеніяхъ Гоголя. Сюжеты гоголевскихъ комедій имѣютъ вполне анекдотическій характеръ; вся цѣль ихъ — въ достаточной мѣрѣ осмѣять дѣйствующія лица, наиболѣе рельефно выставить всѣ пошлыя стороны ихъ характера, а разъ эта цѣль достигается, герои сходятъ со сцены безъ малѣйшихъ измѣненій въ ихъ судьбѣ.

Совершенно не то мы видимъ у Островскаго. Въ большинствѣ его піесъ развиваются передъ вами тѣ или другія существенныя измѣненія въ судьбѣ героевъ, причемъ авторъ не только не смѣется надъ ними, а совсѣмъ отсутствуетъ въ своихъ піесахъ и дѣйствующія лица говорятъ и дѣйствуютъ словно помимо его воли, какъ-бы они говорили и дѣйствовали въ самой жизни.

Про Островскаго говорятъ, что онъ создалъ русскій театръ; но онъ сдѣлалъ неизмѣнно большее: онъ произвелъ всемірное явленіе, доведя реальную сцену до идеальнаго совершенства, показавши намъ, чѣмъ должна она быть, чтобы вполне заслуживать названія реальной. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что тутъ нѣтъ особенной заслуги со стороны Островскаго. Разъ всѣ искусства встали на реальную почву и на всѣхъ европейскихъ сценахъ преобладаютъ піесы, изображающія обыденную современную жизнь,—что же мудренаго, что Островскій пошелъ по общему теченію? Но

дѣло въ томъ, что возьмите самыя реальнѣйшія піесы, какія только существуютъ въ Европѣ, и вы увидите, какъ и въ нихъ, при всемъ ихъ реализмѣ, сильны еще старыя традиціи. Дѣйствующія лица, ихъ реплики, дѣйствія взяты непосредственно изъ жизни; но въ цѣломъ вы найдете болѣе или менѣе хитросплетенныя интриги, построенныя совершенно искусственно, въ видахъ проводимыхъ тенденцій, сценическихъ эффектовъ, занимательности и т. п. Ничего подобнаго не найдете вы у Островскаго. Сюжеты большинства его піесъ отличаются простотою истиннѣ классическою. Иногда вамъ кажется, что въ нѣкой піесѣ совсѣмъ нѣтъ никакого дѣйствія. Сцена идетъ за сценою, все такія обыденныя, будничныя, сѣренькія, и вдругъ совершенно незамѣтно разворачивается передъ вами потрясающая драма. Можно положительно сказать, что чередъ вамъ не дѣйствіе піесы разыгрывается, а сама жизнь течетъ по сценѣ своею медленною, незамѣтною струею. Точно какъ будто авторъ только всего и сдѣлалъ, что сломалъ стѣну передъ чужою квартирою и предоставилъ вамъ смотрѣть, что въ этой квартирѣ дѣлается.

При этомъ стремленіе къ изображенію жизни во всей ея неподкрашенной, трезвой привдѣ доходитъ у Островскаго до такого пуризма, что онъ скромно избѣгаетъ эффекта даже тамъ, гдѣ эффектъ самъ напрашивается подъ перо автора. Забудьте, что въ большинствѣ піесъ Островскаго занавѣсъ падаетъ не въ самый роковой и потрясающій моментъ піесы, какъ это обыкновенно дѣлаютъ драматурги, а немного спустя, во время самой обыденной сцены, чуть-что ни на полусловъ какого-нибудь второстепеннаго дѣйствующаго лица. Чтѣ стоило-бы напримѣръ Островскому закончить комедію *Свои люди* прощаніемъ Большова съ дѣтьми и словами: „не забудь насъ, бѣдныхъ заключенныхъ“, послѣ которыхъ онъ уходитъ съ Аграфеною Кондратьевною. Слушатели въ этотъ моментъ всѣ охвачены драматичностью этой сильной сцены: нигдѣ черствость такихъ героевъ, какъ Подхалюзинъ и Олимпиада Самсоновна, и безпомощное отчаянье стараго плута, который, вырвыши яму ближнимъ, самъ въ нее попалъ, не выступаютъ столь рельефно, какъ въ этой сценѣ, бросающей яркій свѣтъ на всю драму и являющейся ея послѣднимъ исходомъ. Но Островскій повелъ піесу далѣе и закончилъ ее комическою, правда, но ни мало не эффектною сценою Подхалюзина съ Ризположенскимъ и самымъ будничнымъ обращеніемъ Подхалюзина къ публикѣ: — „А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: мпlosti просимъ! Малаго ребенка пришлите— въ луковницѣ не обочтемъ“.

Или напримѣръ въ *Бѣдной невестѣ*—отчего-бы піесѣ не кончиться потрясающимъ финаломъ четвертаго дѣйствія. Пятое дѣйствіе, заключающее въ себѣ картину сговора, ничего не прибавляетъ къ піесѣ; заканчивается-же драма незатѣйливымъ разговоромъ глазѣющихъ на свадьбу бабъ. И вездѣ вы найдете подобные-же блѣдые, скромные финалы. Піесы Островскаго словно не оканчиваются, а прерываются, и авторъ какъ будто сознательно старается внушить вамъ, что въ жизни нѣтъ ни начала, ни конца, и не найдете вы въ ней ни одного момента, послѣ котораго смѣло можно было-бы поставить точку, такъ какъ далѣе слѣдовала-бы полная пустота.

Вторая не менѣе существенная особенность піесъ Островскаго заключается въ томъ, что они не подходятъ ни подъ одну извѣстную намъ сценическую рубрику. Правда, по старымъ традиціямъ Островскій называлъ свои піесы то драмами, то комедіями, но

въ сущности эти названія ни мало не соотвѣтствуютъ характеру пьесъ Островскаго. Добролюбовъ очень мѣтко называлъ ихъ *песами жизни*, и это названіе могло-бы по всей справедливости утвердиться за ними, если-бы не было нѣсколько тяжеловато. Еще правдлѣе можно было-бы назвать пьесы Островскаго вульгарнымъ словомъ *представленія*. Дѣйствительно онѣ ничего болѣе, какъ объективно-безпристрастныя представленія жизни безъ малѣйшаго побужденія что-либо осмѣять или оплакать, и въ свою очередь въ этомъ заключается ихъ идеальная реальность. Въ жизни вѣдь вы нигдѣ не найдете ни исключительно комическаго, ни исключительно трагическаго, не встрѣтите ни одного человѣка, который только и дѣлалъ-бы, что смѣшилъ васъ или заставлялъ ужасаться. Люди существуютъ изо дня въ день, опутанные разными мелочами и дразнами, причемъ высокое и низкое, великое и смѣшное перемѣшано бываетъ въ самомъ нестройномъ хаосѣ. Цѣль истинно реальной сцены заключается не въ томъ, чтобы непроницаемо стѣною отдѣлать различные контрасты жизни, какъ это дѣлала старинная сцена, а чтобы показывать намъ радужную игру жизни во всѣхъ прихотливыхъ комбинаціяхъ ея безконечно сложныхъ элементовъ. Это именно мы и видимъ въ пьесахъ Островскаго.

Нѣтъ никакой возможности подвести эти пьесы подъ одно какое-нибудь начало, вродѣ напримѣръ борьбы чувства съ долгомъ, коллизіи страстей, ведущихъ за собою фатальныя возмездія, антагонизма добра и зла, прогресса и невѣжества и пр. Это — пьесы самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ отношеній. Люди становятся въ нихъ, какъ и въ жизни, другъ къ другу въ различныхъ обязательныхъ условіяхъ, созданныхъ ихъ прошлымъ, или случайно сходятся на жизненномъ пути, а такъ какъ и характеры ихъ, и интересы антагонизируютъ, то между ними возникаютъ враждебныя столкновенія, исходъ которыхъ случаевъ и непредвидимъ, завися отъ самыхъ разнообразныхъ обстоятельствъ: въ однихъ случаяхъ естественно побѣждаетъ наиболѣе сильная сторона иногда къ общему благополучію, иногда къ общему несчастію и гибели. Но развѣ мы не видимъ въ жизни, что въ подобныхъ случаяхъ вдругъ вторгается иногда какой-нибудь новый и посторонній элементъ и рѣшаетъ дѣло совершенно иначе. Ничтожная случайность, произведя самую ничтожную перемѣну въ расположеніи духа героевъ драмы, можетъ повести за собою совершенно неожиданныя послѣдствія.

И дѣйствительно въ пьесахъ Островскаго, какъ и въ жизни, вы не предвидите, чѣмъ кончится дѣло, свадьбою или смертію. Такъ напримѣръ въ комедіи *Бѣдность не порокъ*, не явись Любимъ Торцовъ, непрощенный, негданный, не разсерди Коршупова и не растрогалъ сердца своего брата, и быть-бы Любови Гордѣевнѣ замужемъ за пенавистнымъ Коршуповымъ. Драма *Не въ свои сани* могла-бы и совсѣмъ не состояться, не подвергнись Вихоревъ съ его исканьемъ богатой невѣсты, и выпала-бы Авдотья Михайловна спокойно за Бородинна, къ которому ранѣе уже была неравнодушна. Въ драмѣ *Воспитанница* автору ничего не стоило-бы устроить сцену утопленія Надь въ прудѣ, и зрители были-бы потрясены трагическимъ финаломъ, но и здѣсь опъ ограничился по своему обыкновенію прозаическимъ финаломъ слѣдующаго рода:

Надя (съ отчаяніемъ). Ни помощниковъ, ни заступниковъ мнѣ не надо! не надо! не хватитъ моего терпѣнія, такъ прудъ-то у насъ не далеко.

Леонидъ (робко). Ну, я, пожалуй, уйду... только что она говоритъ! вы, пожалуйста, смотрите за ней. Прощайте (*идетъ къ дверямъ*).

Надя (асмьдъ ему громко). Прощайте! (*Леонидъ уходитъ*).

Лиза. Видно, правда пословица-то: кошкѣ—игрушки, а мышкѣ—слезки.

Такимъ образомъ авторъ является настолько добросовѣстнымъ передъ правдою, что простодушно отказывается рѣшить, какъ кончится драма, хватитъ ли не хватитъ героиня у Надп. И дѣйствительно подобнаго рода драмы, развивавшіяся на почвѣ крѣпостного права, рѣшались разнообразно: дворовыя дѣвушки, обольщенные барчатами и выданныя насильно замужъ за пьянаго лакея, когда и въ воду бросались, когда и покорялись своей участи. Могло-бы случиться и такъ, что Улавбекова, потрясенная всѣмъ происшедшимъ, умерла-бы, а Надя могла-бы запятъ ея мѣсто полновластной хозяйки, сдѣлавшись фавориткою Володи.

При такомъ взглядѣ на случайность возникновенія и исхода драмы, казалось-бы не можетъ имѣть и мѣста идея фатума, тяготящаго надъ судьбою героевъ. Тѣмъ не менѣе въ пьесахъ Островскаго вы найдете своего рода фатумъ, еще въ большей степени дѣлающій героевъ неотвѣтственными, чѣмъ фатумъ древней трагедіи. Фатумъ этотъ заключается въ томъ, что разъ извѣстная среда и масса условій создали тотъ или другой характеръ или типъ, человѣкъ фатально дѣйствуетъ въ рамкахъ этого типа, не можетъ дѣйствовать иначе и сознаетъ себя въ полномъ правѣ въ этомъ отношеніи. Обратите вниманіе, что у Островскаго чувствуютъ угрызения совѣсти одни безхарактерные герои вроде Кисельникова въ *Пучинѣ*. Настоящіе-же трагическіе злодѣи вроде Безсуднаго, Улавбековой, Кабановой считаютъ себя правыми передъ судомъ своей совѣсти послѣ самыхъ ужасныхъ поступковъ. Кабанова оказывается способна даже глумиться надъ трупомъ Катерины, убитой ея безчеловѣчнымъ деспотизмомъ, говоря сыну: „о ней и плакать-то грѣхъ“.

Этотъ глубоко-философскій взглядъ на невѣжественность людей, чисто евангельское „не вѣдаютъ-бо, что творятъ“, ведетъ Островскаго къ истинно олимпийскому высокому безпристрастію. Подобно Пимену Пушкина, Островскій „спокойно зрѣтъ на правыхъ и виновныхъ, не вѣдая ни жалости, ни гнѣва“. Въ этомъ сознаніи безотвѣтственности лицъ лежитъ глубоко-примпращающее начало, проникающее всѣ произведенія Островскаго. Не изъ одной пьесы, какъ-бы она мрачно ил кончилась, не выносите вы безусловно мрачнаго и безотраднаго чувства, вроде того, что правда всегда страдаетъ, а зло торжествуетъ, и что жизнь есть грязный аггломератъ пошлостей и гадостей; напротивъ того, всѣ дѣла человѣческія, со всею ихъ суею, страстями, пороками, пошлостями и мерзостями являются ничтожными частностями, сливающимися и ступевающимися въ красотѣ и гармоніи Божьяго міра, взятаго въ его цѣломъ. Такъ на замѣчаніе Лоопи, въ драмѣ *Грѣхъ да быда на кого не живетъ*, что ему все надоѣло и ничего не мило, слѣпой Архипъ отвѣчаетъ:

«Оттого тебѣ и не мило, что ты сердцемъ не покоенъ. А ты гляди чаще да больше на Божій міръ, а на людей-то меньше смотри; вотъ тебѣ на сердцѣ и легче станетъ. И ночи будешь спать, и сны тебѣ хорошіе будутъ сниться... Красенъ, Лоопя, красенъ Божій міръ! Вотъ теперь роса будетъ падать, отъ всякаго цвѣта духъ поидетъ; а тамъ звѣздочки зажгутся, а надъ звѣздочками, Лоопя, напѣтъ Творецъ милосердный. Кабы мы получше помнили, что Онъ милосердъ, сами были-бы милосерднѣе».

Прямой выводъ изъ такой философіи—свѣтлая жизнерадостность, не-смотря на всѣ невзгоды, гадости и ужасы, какіе творятся въ жизни, и этою жизнерадостностью проникнуты всѣ піесы Островскаго. Замѣчательно при этомъ, что словно для большей убѣдительности Островскій заставляетъ проповѣдывать свою жизнерадостность такихъ убогихъ людей, отъ которыхъ менѣе всего можно было-бы ожидать этого. Такъ мы видѣли, что о красотѣ Божьяго міра ратуетъ слѣпой Архипъ. Въ драмѣ-же *Трудовой хлебъ* нищій пропойца и неудачникъ Корпѣловъ послѣ того, какъ потерялъ единственную радость и утѣшеніе свое въ лицѣ Наташи, которая, выйдя замужъ, сдѣлалась уже чужая ему, и ничего ему болѣе не остается, какъ шататься изъ города въ городъ, прося подаенія, вдругъ разражается цѣлымъ гимномъ во славу жизни хотя-бы самой что ни на есть нищенской:

— Да развѣ жизнь-то мила только деньгами, развѣ только и радости, что въ деньгахъ? А птичка-то поетъ, чему она рада, деньгамъ, что-ли? Нѣтъ, тому она рада, что на свѣтѣ живетъ. Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь и бѣдпал, и горькая,—все радость. Озябъ, да согрѣлся,—вотъ и радость! Голоденъ, да накормили,—вотъ и радость. Вотъ я теперь бѣдную племянницу замужъ отдаю, на бѣдной свадьбѣ пировать буду, развѣ это не радость! Потомъ пойду по бѣлу свѣту бродить, отъ города до города, по курнымъ избамъ ночевать (*поетъ и пляшетъ*):

Пойду-ли по городу гулять.

Пойду-ли по Бѣжецкому,

Куплю-ли и покупку себѣ...

Это міровоззрѣніе жизнерадостное, всепрощающее и примиряющее васъ со всѣми частными преходящими злами и напастями, во имя вѣры въ вѣковѣчную премудрость, ведущую міръ ко всеобщему благу, составляетъ глубоко народную черту произведеній Островскаго, и одно это ставитъ его на недостижимую высоту.

V.

Мы уже говорили, что у Островскаго въ различные періоды его жизни замѣтно подчиненіе тѣмъ или другимъ литературнымъ направленіямъ. Но это слѣдуетъ принимать крайне условно. Направленія и вѣянія времени, которымъ подчинился Островскій, отражались въ піесахъ его лишь до нѣкоторой степени, и ни одному не отдавался онъ всецѣло, а шелъ своей самостоятельной дорогою, оставаясь непреклонно вѣренъ самому себѣ и повинаясь лишь призывамъ своего творчества, подобно магнитной стрѣлкѣ, которая какъ-бы ни отклонялась вправо или влево, никогда не забываетъ своего завѣтнаго полюса.

Этимъ завѣтнымъ полюсомъ для Островскаго была жизнь, представляющая рядъ явленій крайне относительныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сложныхъ. Островскій всегда памятовалъ, что явленія эти нельзя подводить подъ одну какую-нибудь иѣрку, что ничего не найдете вы въ жизни ни безусловно совершеннаго, ни безнадежно дурного, и то, что заслуживаетъ полного отрпцапія подъ однимъ угломъ зрѣнія, можетъ представиться совсѣмъ инымъ, если мы взглянемъ на это-же самое съ другой точки зрѣнія и сравнимъ сопоставленіяхъ. Такъ напримеръ та-же замоскворѣцкая жизнь съ точки зрѣнія просвѣщеннаго европееца можетъ представиться сплошнымъ аггломератомъ

непроходимаго невѣжества, дикой грубости нравовъ, возмутительнаго самодурства, наглаго надувательства и отсутствія малѣйшихъ понятій о чести, совѣсти, чувствѣ чело-вѣческаго достоинства. Но при всемъ этомъ могутъ быть приняты во вниманіе и многія инныя стороны того-же быта; напримѣръ, что сквозь всю грубую, закорюзлую кору его пробиваются здѣсь часто живые, горячіе ключи славянскаго добродушія, мягкости и любвеобилія, что наконецъ, если поставить эту среду рядомъ съ помѣщичьей средою той-же эпохи, первая, пожалуй, выиграла бы и по чистотѣ нравовъ, и по цѣльности характеровъ, и по богатству жизненной энергіи.

Вслѣдствіе стремленія Островскаго не упустить изъ вида тѣхъ разнородныхъ элементовъ, какіе входили въ изображаемыя имъ явленія жизни, и происходило то страпное явленіе, что многія піесы его производили неопредѣленное впечатлѣніе, смущавшее рецензентовъ, не знавшихъ, къ какому лагерю отнести писателя. Славянофиламъ не правилось, что Островскій ко многимъ явленіямъ относится также отрицательно. Какъ относились къ нимъ вся натуральная школа; западники подозрѣвали въ тѣхъ-же самыхъ піесахъ славянофильскія тенденціи. На самомъ-же дѣлѣ въ нихъ была одна только правда жизни въ тѣхъ сложныхъ комбинаціяхъ, въ какихъ эта правда существуетъ въ самой дѣйствительности.

И замѣчательно, что, по мѣрѣ того какъ Островскій жилъ и развивался, въ слѣдующихъ одна за другою піесахъ его вы встрѣчаете все большія и большія осложненія. Ни одного новаго направленія и вѣянія не опускалъ онъ изъ виду, и, какъ пчела, изъ каждого вновь расцвѣтающаго цвѣтка высасывалъ для себя одинъ медъ; бралъ изъ направленія лишь то, что было въ немъ наиболѣе жизненнаго, оставляя на долю другихъ пользоваться односторонностями и крайностями того или другого ученія.

Такъ въ первыхъ двухъ своихъ піесахъ *Семейная картина* и *Свои люди сочтемся* Островскій держался еще исключительно на почвѣ натуральной школы гоголевскихъ традицій. Отношеніе его къ изображеннымъ въ этихъ піесахъ московскимъ купеческимъ нравамъ является вполне отрицательнымъ; ни одного контраста, ни одного сопоставленія, оттѣнка, мало-мальски отрадной черточки, просвѣта, чего-либо примпращающаго вы не найдете еще здѣсь и слѣда. Нѣтъ ничего мудренаго, что піеса *Свои люди сочтемся* произвела самое безотрадное впечатлѣніе на современниковъ. что купечество было обижено, а начальство не допустило піесу на сцену.

Но послѣ 1847 года, когда появилась піеса *Свои люди* и до 1853 года—времени появленія *Не въ свои сани не садись*, утекло не мало воды, и въ эти годы Островскій успѣлъ проникнуться всѣми новыми вѣяніями, какія лежали въ духѣ того времени, и явился совсѣмъ инымъ, чѣмъ былъ въ первыхъ піесахъ. Правда, среди этихъ вѣяній не послѣднюю роль играло славянофильство, которому молодой драматургъ не могъ не подчиниться, особенно при близкихъ сношеніяхъ его съ московскимъ славянофильскимъ кружкомъ, группировавшимся вокругъ *Москвитянина*, но вліяніе это сказалось лишь въ томъ, что въ комедіи *Не въ свои сани не садись* наибольшую симпатію возбуждаютъ люди, негронутые западною цивилизаціею и остающіеся вѣрными старымъ, самобытнымъ укладамъ русской жизни; каковы: Русаковъ, Авдотья Максимовна, Бородкинъ. Противъ нихъ стоятъ Вихоревъ, Бропичевскій и Анна Федотовна, какъ представители западныхъ вліяній, и вносятъ въ семью Руса-

кова разладъ и растленіе. Русаковъ отзывается даже о своей дочери: „она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ, да могъ-бы попятъ, что это за душа... *душа у ней русская*“. Конечно, эта „русская душа“ должна была приводить въ восторгъ всѣхъ славянофиловъ того времени.

Точно также и въ комедіи *Бѣдность не порокъ* вы можете видѣть подобное-же сопоставленіе людей, пребывающихъ самобытно русскими, каковы Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя, Яша, Гуслинъ, а съ другой стороны Гордѣй Торцовъ съ его погоней за внѣшнею образованностью и модами подъ вліяніемъ обьевропеевшагося фабриканта Коршунова. Славянофильскія сердца въ свою очередь должны радоваться, внимая въ первомъ дѣйствіи слѣдующему разговору Размоляева съ Гуслинымъ о заморскомъ инструментѣ, въ то время не успѣвшемъ еще войти въ обще-народное употребленіе:

Гуслинъ. Эко, дуракъ! На что это гармонію-то купилъ?

Размоляевъ. Извѣстно на что—играть. Вотъ какъ... (*играетъ*).

Гуслинъ. Ну, ужъ, важная музыка... нечего сказать! Брось, говорятъ тебѣ.

А еще въ большій восторгъ должны были славянофилы приходиться при зрѣлищѣ во второмъ дѣйствіи справленія святокъ съ гаданьями, ряжеными, пѣніемъ подблюдныхъ пѣсень и слѣдующимъ разговоромъ Пелагеи Федоровны со своими гостями:

Пелагея Егоровна. Я, матушка, люблю по-старому, по-старому, по-старому... да по нашему, по русскому. Вотъ мужъ у меня не любитъ, что дѣлать, характеромъ такой вышелъ. А я люблю, я веселая... да... чтобы подчивать, да чтобы мнѣ пѣсни пѣли... я въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники.

1-ая юстля. Какъ, я посмотрю, матушка Пелагея Егоровна, нѣтъ того веселья, какъ прежде, какъ мы-то были молоды.

2-ая юстля. Нѣту, нѣту.

Пелагея Егоровна. Я молодая-то была первая затѣйница и попѣть и поплясать—ужь меня взяли... да что пѣсень знала! Ужъ теперь такихъ не поютъ.

1-ая юстля. Нѣтъ, не поютъ, все новыя пошли.

2-ая юстля. Да, да, вспоминаешь старину-то.

Но какъ ни радовались славянофилы, читая подобныя сочувственныя имъ мѣста, все-таки они не могли быть вполне довольными Островскимъ: они чувствовали, что не такъ сталъ-бы проводить ихъ тенденціи писатель, глубоко ими проникнутый и принадлежащій къ ихъ лагерю. Островскій не только не думалъ, чего они ждали, въ самомъ идеальномъ свѣтѣ изображать людей, вѣрныхъ старо-русскимъ самобытнымъ традиціямъ, но не упустилъ дурныхъ сторонъ и самыхъ этихъ традицій. Изъ этого и вытекло то сѣтованіе, которое было высказано на страницахъ *Русской Бесѣды* однимъ славянофильскимъ критикомъ, что у Островскаго „иногда недостаетъ рѣшительности и смѣлости въ исполненіи задуманнаго; ему какъ-будто мѣшаетъ *ложный стыдъ и робкія привычки, воспитанныя въ немъ натуральнымъ направленіемъ*. Оттого перѣдко онъ затѣетъ что-нибудь возвышенное и широкое, а память о натуральной мѣркѣ испугаетъ его замыселъ; ему-бы слѣдовало дать волю счастливому впушенію, а онъ какъ будто испугается высоты полета, и образъ выходитъ какой-то неподѣланный“...

скабичевскій.

VI.

Это отсутствіе односторонняго увлеченія какою-либо доктриною не мѣшало Островскому глубоко проникаться духомъ своего времени и принимать живое и горячее участіе въ демократическомъ движеніи шестидесятыхъ годовъ. И въ самомъ дѣлѣ, плебей по происхожденію и по натурѣ, могъ-ли Островскій не увлечься этимъ могучимъ духомъ и не сдѣлаться приверженцемъ новыхъ идеаловъ, выполнѣ соответствующихъ всѣмъ инстинктамъ его природы, всѣмъ симпатіямъ и антипатіямъ, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ. Эти самые идеалы проникають и пьесы его, составляютъ главный внутренній нервъ въ развитіи всѣхъ ихъ коллизій.

Но при этомъ, какъ истинно реальный писатель, никогда не упускавшій изъ вида жизни во всей ея сложности и относительности, Островскій не спѣшилъ воплощать эти идеалы въ безплотные образы просвѣщеннѣйшихъ демократовъ, обладающихъ всѣми возможными совершенствами. Напротивъ того, очень часто подъ радужною личиною высокихъ чувствъ и громкихъ фразъ онъ разоблачалъ весьма неказистыя качества героевъ, рисовавшихся передовыми свѣтилами прогресса. Въ то-же время онъ не упускалъ изъ вида свѣтлыхъ проблесковъ своихъ идеаловъ, откуда-бы они не исходили, изъ-подъ зипуна-ли на первый взглядъ грубаго и неотесаннаго купчины или изъ-подъ рубища бездомнаго бродяги-пропойцы.

Если мы примемъ во вниманіе эти идеалы Островскаго, то такія драмы, какъ *Не въ свои сани не садись* и *Бѣдность не порокъ*, въ которыхъ предполагается наибольшее подчиненіе славянофильскимъ тенденціямъ, сразу получаютъ въ глазахъ нашихъ совѣмъ иной и особенный смыслъ. Такъ въ драмѣ *Не въ свои сани не садись* является передъ нами борьба не столько старорусскихъ началъ съ западно-европейскими, сколько двухъ общественныхъ слоевъ, находящихся въ антагонизмѣ. Островскій какъ будто нарочно въ видахъ наибольшаго контраста выставилъ двухъ лучшихъ представителей Россійской буржуазно-купеческой среды. Пусть Русаковъ ничего болѣе, какъ торгашъ-тысячникъ, а Бородинъ—самый заурядный виноторговецъ,—во всякомъ случаѣ мы видимъ въ нихъ два качества, дѣлающихъ ихъ симпатичными во всѣхъ глазахъ: во-первыхъ на губахъ ихъ не обсохло то деревенское молоко, которымъ питались ихъ дѣды и отцы, и они сохранили еще гуманность, незлобивость, простоту и чистоту нравовъ, которыя характеризуютъ лучшихъ людей деревни. Въ тоже время—это люди энергическаго труда; всѣмъ своимъ благосостояніемъ они обязаны самимъ себѣ; они сознаютъ это и гордятся:

«Какъ остался я послѣ родителя семнадцати лѣтъ, говоритъ Бородинъ, всякое притѣсненіе терпѣлъ отъ родныхъ, и теперича, который капиталъ отъ тятеньки остался, я даже могъ рѣшиться всего капитала; все это я перенесъ равнодушно, и когда я пришелъ въ возрастъ, какъ должно,—не токма, чтобы я промоталъ или тамъ какъ прожилъ, а сами знаете, имѣю, можетъ быть, вдвое-съ, живу самъ по себѣ, своимъ умомъ, и никому уважать не намѣренъ».

И вотъ въ среду этихъ людей, гордыхъ тѣмъ, что они живутъ сами по себѣ, своимъ умомъ и никому уважать не намѣрены, вторгается человекъ иной среды, иныхъ

дравиль и принциповъ,—среды, въ которой псконн главнымъ содержаніемъ жизни считался не трудъ, а наслажденіе, на всякій-же трудъ смотрѣли, какъ на пѣчто крайне унизітельное и презрѣнное. Въ то время, какъ писалась эта пьеса, не было еще и вопроса о дворянскомъ разореніи; но Островскій предвидѣлъ уже это явленіе, живя въ замоскворѣцкой средѣ, въ которую тогда уже вторгались первые піонеры дворянскаго разоренія поправлять разстроенное состояніе жепптьбою на богатыхъ купеческихъ дочкахъ. Такимъ піонеромъ является Вихоревъ, обрисовывающійся съ головы до ногъ въ первой-же сценѣ пьесы, въ разговорѣ слуги его съ половымъ. Но какъ ни велико нравственное ничтожество подобнаго рода людей, они обладаютъ обыкновенно такою блестящею внѣшностью, выхоленною поколѣніями тунейдства,—что нужна вся опытность Русакова и закалъ Бородкина, чтобы не быть ослѣпленными и сразу познать имъ цѣну. Для такихъ-же неопытныхъ дѣвушекъ, какъ Авдотья Максимовна, воспитанныхъ въ старинныхъ домостроевскихъ началахъ, подобные копители неба постоянно являются демонами-обольстителями и сердцеѣдами, которымъ ничего не стоитъ придти, увидѣть и побѣдить. Ослѣпленіе Авдотьи Максимовны Вихоревымъ было однимъ изъ весьма часто встрѣчающихся въ русской жизни жепскихъ увлеченій новымъ, блестящимъ и загадочнымъ героемъ, совѣмъ не похожимъ на все прискупившее окружающее. А тутъ еще Арина Фодотовна, помѣшанная на благородствѣ и внѣшнемъ лоскѣ дворянской образованности. И вотъ завязалась одна изъ тѣхъ драмъ, которыя кончаются подчасъ весьма трагически.

Самою существенною сценою въ драмѣ, въ которой особенно рельефно выражается весь ея внутренній смыслъ, является разговоръ Вихорева съ Русаковымъ, въ которомъ Вихоревъ проситъ руки его дочери. Здѣсь раскрывается вся та непроходимая пропасть, какая раздѣляетъ этихъ людей. Обратите вниманіе на ту презрительную и язвительную пронию, которою проникнуто каждое слово Русакова. Это именно та самая пронія, которую каждый простой человѣкъ, чуждый тщеславія и гордый сознаніемъ, что онъ всѣмъ обязанъ самому себѣ, долженъ выказывать по отношенію къ промотавшемуся барину, только о томъ и помысляющему, какъ-бы поживиться на счетъ богатаго простака. Что-же касается Вихорева, то даже въ той сценѣ, гдѣ онъ гонитъ отъ себя Авдотью Максимовну, онъ не столь противенъ, какъ въ своемъ объясненіи съ Русаковымъ. Тамъ онъ играетъ въ открытую; здѣсь-же старается подольститься къ старику, и сквозь всѣ лстивыя рѣчи его вы чувствуете бездну несправимаго высокомерія. Онъ даже стакана чая не можетъ выпить безъ рисовки и безтактнѣйшихъ фразъ вродѣ ипжеслѣдующей: „впрочемъ, сколько я замѣтилъ, ужъ такой обычай у русскаго народа—подпивать. Я, знаете-ли, самъ человѣкъ русскій и, признаться сказать, люблю и уважаю все русское, особенно мнѣ нравится это гостепріимство, радушіе“. Что-же мудренаго, если подобными пошлостями Вихоревъ достигаетъ совершенно противоположнаго: выводитъ Русакова изъ себя, и тотъ его выпроваживаетъ со словами: „Приѣдетъ незаппый, непрошенпый, да еще и паругается надъ тобой! Провались ты совѣмъ!“

Послѣ всего этого вполне естественъ поступокъ Бородкина, рѣшающагося жениться на Авдотѣ Максимовнѣ, несмотря на ея пжѣну и позоръ, постигшій ее послѣ бѣгства съ Вихоровымъ, и совершенно напрасно Добролюбовъ видитъ здѣсь патижну, такъ какъ во всей пьесѣ Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по-ста-

ринному; послѣдній-же его поступокъ вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служить Бородинъ, и что авторъ хотѣлъ приписать этому лицу всевозможныя добрыя качества, и въ числѣ ихъ приписалъ даже такое, отъ котораго настоящіе Бородины, вѣроятно, отреклись-бы съ ужасомъ“.

Во-первыхъ ни изъ какихъ мѣстъ пьесы нельзя заключить, чтобы Бородинъ былъ благороденъ и добръ какъ-то „по-старинному“, а не „по-новому“. Онъ благороденъ и добръ просто потому, что такая ужъ натура у него честная, глубокая и любвеобильная; такія натуры можно встрѣтить въ самыхъ разнородныхъ слояхъ общества, независимо отъ степени образованности и новизны идей, но конечно въ средѣ Вихоревыхъ рѣже всего онѣ встрѣчаются.

А во-вторыхъ, что-же тутъ несообразнаго, что человекъ съ натурою Борокина принялъ подъ свою защиту страстно любимую дѣвушку? Неужели-же подобный великодушный поступокъ только и свойственъ высокообразованной средѣ, а среди людей простыхъ и темныхъ онъ немыслимъ? Но предполагать это, не значитъ-ли держаться взглядовъ Вихорева, который находилъ, что „есть-ли какая возможность говорить съ этимъ народомъ, ломить свое—ни малѣйшей деликатности!“ Но Островскій понинимому нарочно выставилъ контрастъ великодушія Борокина и грубаго, наглаго эгоизма Вихорева, чтобы показать, гдѣ слѣдуетъ искать истинной деликатности чувствъ, и это былъ первый рѣшительный и смѣлый выходъ его на путь народныхъ, демократическихъ идеаловъ.

Въ комедіи *Бѣдность не порокъ* мы не видимъ столь рѣзкаго столкновенія двухъ слоевъ общества. Дѣйствіе сосредоточивается здѣсь исключительно въ купеческой средѣ. Но и здѣсь въ основѣ лежитъ та-же чисто демократическая идея. Сюжетъ комедіи напоминаетъ массу народныхъ легендъ о двухъ братьяхъ: богатомъ и бѣдномъ. Раздѣлили братья поровну оставшееся послѣ отца имущество; но пошли разными путями: одинъ былъ жиловать и загребистъ, отцовское наслѣдіе приумножилъ вдвое и вчетверо и сдѣлался первымъ богачемъ въ городѣ; а другой былъ хотя и добръ, и торовать, но легкомысленъ; онъ вдался въ веселую и распутную жизнь, увлекся вѣншиимъ блескомъ и мишурою и все отцовское наслѣдство растратилъ. Казалось-бы, первый заслуживаетъ полной похвалы, а послѣдній порицанія, а между тѣмъ въ результатѣ вышло нѣчто совершенно противоположное: разжившійся братъ загордился, сдѣлался лютымъ тираномъ въ своей семьѣ и, высоко возмнивши о себѣ, окружилъ себя тлетворною роскошью, мечтая встать на дворянскую ногу. Разорившійся братъ, дойдя до послѣдней степени нищеты и униженія, обратившись въ базарнаго шута, питавшагося купеческими подачками за свое гаерство, раскаялся въ прежней безпутной жизни, и тѣ горькія испытанія, какія онъ перенесъ, довели его до свѣтлаго сознанія, что не богатство, не роскошь, но блескъ, а честный трудъ возвышаетъ человека.

«Снезли меня добрые люди въ больницу, говорятъ онъ, какъ сталъ я выздоравливать да въ разсудокъ пходить, хмѣли-то нѣтъ въ головѣ—страхъ на меня напалъ, ужасъ на меня палъ!.. Какъ я жилъ? Что я дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что кажется, умереть лучше. Такъ ужъ рѣшился, какъ совѣтъ выздоровѣю, такъ сходить Богу помолиться, да идти къ брату, пусть позмется хоть въ дворники. Такъ и сдѣлалъ. Бухъ ему въ ноги!.. Будь, говорю, вмѣсто отца: жилъ такъ и такъ, теперѣ хочу за умъ вѣстись.»

Но совершенно согласно всѣмъ народнымъ легендамъ въ этомъ родѣ, богатый и возгордившійся братъ гонить отъ себя бѣднаго, раскаявшагося родственника:

«А ты знаешь, говоритъ бѣдный братъ, какъ братъ меня принялъ? Ему, видишь, стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, облаškai я человекъ буду. Такъ нѣтъ, говоритъ, куда я тебя дѣну. Ко мнѣ гости хорошіе ѣздятъ, кушцы богатые, дворяне; ты, говоритъ, съ меня голову снимешь. По моимъ чувствамъ и понятіямъ мнѣ-бы совсѣмъ, говоритъ, не въ этомъ роду родиться. Я, видишь, говоритъ, какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ? Съ меня, говоритъ, и этого стыда довольно, а то еще тебя на шею навязать. Сразилъ ты меня, какъ громомъ!..»

На такой-же глубоко человѣчной морали народныхъ легендъ построена комедія и въ дальнѣйшемъ развитіи. Высокомѣрная гордыня богатаго брата, Гордѣя Торцова, доводитъ его до того, что онъ готовъ погубить свою единственную дочь, выдавши ее насильно замужъ за злого старика Коршунова, вколотившаго уже въ гробъ двухъ женъ; онъ и самъ близокъ къ гибели подъ тлетворнымъ вліяніемъ этого самаго Коршунова, который, разжигая въ немъ суетныя страсти, въ концѣ-концовъ обобралъ-бы его подобно тому, какъ онъ обобралъ уже и Любима Торцова. Спасителемъ его является тотъ самый нищій, оборванный и запивающій братъ, котораго онъ прогналъ изъ своего дома съ такою черствою безчеловѣчностью. Любимъ Торцовъ останавливаетъ его на краю пропасти и пробуждаетъ въ немъ совѣсть патетическою тирадою, которую безъ преувеличенія можно назвать гимномъ труда и бѣдности:

«Человѣкъ ты или звѣрь? Пожалѣй ты и Любима Торцова! (*становится на колѣни*). Братъ, отдай Любашу за Мишу—онъ мнѣ уголъ дастъ. Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то, да честно пожить. Вѣдь я народъ обманывалъ, просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ. Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я-бы человекъ былъ. Бѣдность—не порокъ».

Въ этой тирадѣ сосредоточена вся философія комедіи этой,—противопоставленіе честной, трудовой бѣдности противъ суетнаго и высокомернаго тщеславія нишурнымъ богатствомъ.

Послѣ комедіи *Бѣдность не порокъ*, въ 1854 г., Островскій написалъ народную драму изъ жизни XVIII столѣтія *Не такъ живи, какъ хочешь*, и въ этой драмѣ болѣе, чѣмъ во всемъ прочемъ онъ оказывается подчиненнымъ славянофильскимъ тенденціямъ. Этою драмою Островскій словно заплатилъ послѣдній долгъ тѣмъ доктринамъ, которыя вліяли на него въ молодые годы, чтобы окончательно освободиться отъ нихъ. Замѣчательно въ то-же время, что эта единственная драма Островскаго, которую можно назвать реакціонною, была написана какъ разъ въ послѣдній моментъ реакціи передъ самымъ разсвѣтомъ, когда вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ и самъ драматургъ готовился воскреснуть къ новой и болѣе широкой дѣятельности.

Въ самомъ дѣлѣ, въ драмѣ этой представляется торжество именно тѣхъ самыхъ мистико-аскетическихъ и домостроевскихъ идеаловъ, противъ которыхъ готова была возстать русская мысль. Вся драма переполнена тирадами въ самомъ мрачномъ духѣ семейнаго деспотизма вродѣ того, что „своевольщина-то и все такъ живетъ: на-

дѣлають дѣла, не спросясь у добрыхъ людей, а спросясь только у *вои своей дурацкой*, да потомъ и плачутся... извѣстно, по своей волѣ легче жить, чѣмъ по закону; *да своя-то воля въ пропасть ведетъ*". Тирады эти вкладываются въ уста такихъ людей, какъ Нилья, Агаонъ, Степанида, играющихъ въ драмѣ роль хранителей спасительныхъ традицій. Противъ этихъ кряжей стоятъ молодые, своевольные люди, вздумавшіе нарушить эти традиціи: такъ молодой купчикъ Петръ, вмѣсто того, чтобы честнымъ обычаемъ жениться на Дашѣ, съ благословенія родительскаго, увозитъ ее тайкомъ; затѣмъ охладѣваетъ къ ней, начинаетъ ухаживать за Грушей, дочерью со- держательницы постоялаго двора; жена его, узнавъ объ измѣнѣ мужа, бросаетъ его и бѣжитъ къ родителямъ. Но старыя традиціи не терпѣли, чтобы жена при какихъ-бы то ни было обстоятельствахъ могла разойтись съ мужемъ, и отецъ Даши, Агаонъ, оплакивая судьбу своей дочери, тѣмъ не менѣе вновь водворяетъ ее въ домъ мужа, говоря: „ты одно пойми, дочка моя милая, Богъ соединилъ, человѣкъ не разлучаетъ. Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ? Пойдемъ къ мужу!“...

Конецъ драмы вполне оправдываетъ спасительность старыхъ традицій. Отвергнутый любовницей, узнавшей, что онъ женатый уже человѣкъ, доведенный гульбой почти до гибели, Петръ очнувшись на краю проруби, съ раскаяніемъ возвратился къ своимъ пенатамъ и повалился въ ноги родителямъ Даши со словами: „вотъ до чего гульба доводитъ!“, а Агаонъ на это нравоучительно замѣтилъ своей дочери: „что, дочка, говорилъ я тебѣ?“

Это приторное примпреніе при звонѣ великопостнаго колокола съ пропзнесеніемъ сентенцій прописпой морали пропзводитъ на зрителей впечатлѣніе рѣзкаго диссонанса. Они никакъ не могутъ повѣрить, чтобы Петръ могъ сразу раскаяться и, бросившись въ объятія жены, сдѣлаться примѣрнымъ семьяниномъ тѣмъ болѣе, что совершенно иначе кончаются подобныя драмы въ жизни. Не даромъ и пословица сложена: повадился кувшинъ по воду ходить, тутъ ему и голову сложить. Поэтому драма является какъ-бы неоконченною; это одинъ лишь пзъ ея эпизодовъ; отъ Петра можно ожидать новыхъ загуловъ, какъ это всегда бываетъ съ подобными натурами—и мы вполне оправдываемъ Сѣрова, который, пзбравъ для своей оперы сюжетъ этой драмы, настоялъ на томъ, чтобы конецъ ея былъ измѣненъ въ либретто: чтобы драма завершилась убійствомъ Даши и имѣла такимъ образомъ законченность.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I—Переломъ въ творествѣ Островскаго съ наступленіемъ эпохи реформъ и увлеченіе прогрессивными идеями. Значеніе пьесъ *Въ чужомъ пиру похмѣлье* и *Не все коту масленица*, какъ похоронъ самодурства. Драма *Гроза* и противовѣст. ея съ драмою *Не такъ живи, какъ хочется*. II—Общее резюме всего вынескааннаго. Положительные типы Островскаго. III—Отрицательные типы. Универсальность изображенія русской жизни. Богатство языка. IV—Драматическая дѣятельность И. С. Тургенева и Писемскаго. Трилогия А. К. Толстого. Александръ Ивановичъ Пальмъ. V—Алексѣй Антиповичъ Потѣхинъ. VI—Н. Е. Чернышевъ. Николай Яковлевичъ Соловьевъ. Викторъ Александровичъ Крыловъ. Дмитрій Васильевичъ Аперкьевъ.

I.

Послѣ драмы *Не такъ живи, какъ хочется*, вмѣстѣ съ наступленіемъ новаго періода общественной жизни, Островскій вышелъ на новую дорогу. Въ слѣдующей-же пьесѣ *Въ чужомъ пиру похмѣлье*, относящейся къ 1856 году, является совершенно иной духъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ пьесахъ. Здѣсь снова мы видимъ противоположеніе двухъ слоевъ общества, но уже не положительныя стороны купеческой среды противопоставляются отрицательнымъ среды дворянской, какъ это было въ драмѣ *Не въ свои сани не садись*. Напротивъ того, купеческая среда изображена здѣсь въ наиболѣе рѣзкихъ и яркихъ недостаткахъ въ видѣ Тита Титыча Брускова, этого сложнаго типа, соединяющаго въ себѣ семейнаго деспота въ домостроевскомъ духѣ, необузданнаго самодура, сознающаго силу своего капитала и привыкшаго, чтобы передъ этою силой все преклонялось и падало ницъ и къ тому-же неотесаннаго дикаря, никогда и не слыхавшаго, что могутъ существовать такія вещи, какъ безкорыстіе, честность, чувство собственнаго достоинства и т. п. И вотъ противъ этого чудовища противопоставляется въ драмѣ среда интеллигентнаго пролетаріата, того самаго просвѣщеннаго разпочинства, какое въ то время становилось во главѣ умственнаго движенія.

Вся иллюзія комедіи, какъ извѣстно, заключается именно въ столкновеніи нравственной и просвѣтительной силы въ лицѣ Ивана Ксенофоптовича Иванова съ грубой, матеріальной и темной силой Брускова. Нравственно-просвѣтительная сила въ концѣ концовъ побѣждаетъ. Поступокъ Иванова производитъ на Брускова впечатлѣніе ослабительнаго луча свѣта, внезапно ворвавшагося въ ту мглу, которая окружала старика

съ колыбели. Онъ ошеломленъ этимъ свѣтомъ, потрясенъ, сбить со всѣхъ своихъ позицій. И еще-бы: въ первый разъ въ продолженіи всей жизни онъ встрѣчаетъ человѣка бѣднаго, живущаго честнымъ трудомъ, котораго ему ничего не стоитъ раздавить, и вдругъ этотъ ничтожный червякъ не преклоняется передъ его могуществомъ, отказывается отъ денегъ и честь считаетъ выше всякихъ своекорыстныхъ исканій. Онъ долго не вѣрять возможности существованія подобнаго рода необычайнаго явленія, смѣется надъ нимъ, какъ надъ ипражемъ, подозреваетъ здѣсь какой-нибудь подвохъ, но когда всѣ сомнѣнія разсѣиваются, онъ долго сидитъ въ глубокой задумчивости, совершенно потрясенный всѣмъ, что раскрылось передъ нимъ, и впервые яркій лучъ сознанія врывается въ него: „Деньги и все это—тлѣны, металлъ звенящій! Померь—все останется“. Въ этихъ словахъ выразилось то полное самоотрицаніе, на которое способенъ бываетъ русскій человѣкъ всякихъ положеній и степеней умственного развитія. Конечно, въ слѣдующей, заключительной сценѣ комедіи Брусковъ остается тѣмъ-же самодуромъ съ его восклицаніями: „не смѣйте со мной разговаривать“ и „я приказываю“,—но это показываетъ только, что мысли человѣка мѣняются гораздо скорѣе, чѣмъ привычки, привитыя ему воспитаніемъ. Довольно и того нравственного перелома, который заставляетъ Брускова отдѣлать сына и требовать, чтобы тотъ шелъ къ Иванову и кланялся ему въ ноги, прося руки его дочери. Это уже одно примиряетъ съ Брусковымъ, и зрители выносятъ изъ пьесы нравственное удовлетвореніе и даже особеннаго рода побѣдное ликованіе, вполне соответствующее той свѣтлой и бодрой эпохѣ, въ которую была написана эта драма.

Замѣчательно, что 15 лѣтъ спустя, въ 1871 году, Островскій вновь возвратился къ той-же темѣ—посрамленію самодурства: въ пьесѣ *Не все кому масленица*,—но мы видимъ большую разницу между этою пьесой и предыдущею. Видно, что не даромъ прошли 15 лѣтъ, и во многомъ измѣнились и эпоха, и точки зрѣнія автора на тотъ-же предметъ. Тотъ-же Брусковъ въ образѣ Ахова представленъ здѣсь уже не только патріархальнымъ самодуромъ въ нѣдрахъ семейства, а захваченъ гораздо шире, являясь наглымъ эксплуататоромъ рабочаго труда на экономической почвѣ: въ своемъ столкновеніи съ племянникомъ Ипполитомъ онъ бьется уже не домостроевскимъ кулакомъ, а рублемъ. Онъ по-прежнему величается, говоря, что „не одни, даже сотни людей въ нашихъ рукахъ, такъ какъ намъ собой не возноситься?“ и что „для нашего брата, ежели что захотѣлось, дорогого нѣтъ, а у вашей нищей братьи ничего завѣтнаго нѣтъ; все продажное“. Но во всякомъ случаѣ это величіе ошпанное. Аховъ уже не ждетъ, чтобы нищая братья шла къ нему, а самъ снисходитъ къ ней и идетъ въ ея бѣдную хижину.

Въ тоже время побѣда надъ самодурствомъ производится уже не нравственною силою вроде безкорыстія Иванова. Видно, что въ 15 лѣтъ была утрачена уже та свѣтлая вѣра во всепобѣждаемость нравственныхъ силъ, какою было преисполнено наше общество въ половинѣ пятидесятихъ годовъ. Если наивнаго дикаря Брускова можно было потрясти зрѣлищемъ человѣка, для котораго честь дороже денегъ, то смѣшно было-бы предполагать малѣйшую возможность нравственного пробужденія въ Аховѣ, который при видѣ племянника, готоваго зарѣзаться, заботится лишь о томъ, что „съ двора-то его сбыть-бы, а тамъ рѣжься сколько душей угодно“.

Поэтому и орудіями борьбы являются уже не высшаго порядка добродѣтели Иванова, а чисто боевыя силы, умъ и отвага, и Агнія возбуждаетъ своего жениха противъ Ахова, болѣе всего смѣясь надъ его трусостью. Возбуждаемый этими внушеніями, Ипполитъ, рѣшаясь на рискованную сцену самоубійства передъ Аховымъ, самъ считаетъ ее ничѣмъ инымъ, какъ „игрою ума“. Вынудивъ этого „игрою ума“ у Ахова заработанныя имъ 15,000, онъ въ тоже время не возбуждаетъ въ дядѣ никакой нравственной реакціи: Аховъ остается Аховымъ, и лишь, чувствуя себя побѣжденнымъ, видя, что его перестали и уважать, и бояться, какъ утопающій хватается за соломенку, старается удержать въ рукахъ хотя-бы внѣшнія прерогативы падшаго величія. Тѣ двѣ сцены, гдѣ Аховъ умоляетъ Ипполита почтить его старика и породственному поклониться ему въ ноги, а затѣмъ другая, гдѣ онъ предлагаетъ своимъ побѣдителямъ за большія деньги подвергнуться добровольному позору, чтобы хоть этимъ вознаградить себя за падшее величіе,—принадлежать къ величайшимъ откровеніямъ драматическаго творчества. Не менѣе глубокимъ смысломъ исполненъ послѣдній монологъ Ахова, въ которомъ самодурство поетъ свою лебединую пѣсню и хоронитъ само себя:

«Какъ жить? Какъ жить! Родства народъ не уважаетъ, богатству грубить смѣетъ! Дядя говоритъ: поклонись по родственному! Не могу. Ну, поклонись ты, нищій, хоть за деньги! — Не хочу. Умереть ужъ лучше поскорѣй, загодя. Все равно, нѣдѣ развѣ свѣтъ-то на такихъ порядкахъ долго простоить? А какъ отцы-то жили? Куда они дѣлись тѣ порядки старые, крѣпкіе? Развратъ что-ли въ мѣрѣ пошелъ? Такъ его и прежде, пожалуй, еще больше было! Бѣсъ что-ли промежду людей ходитъ, да смущаетъ ихъ? Отчего вы не лежите въ ногахъ у меня по старому, а я-же стою передъ вами весь обруганный безъ всякой моей вины».

Однимъ словомъ Аховъ—не Брусковъ, котораго можно было пронять зрѣлищемъ нравственной доблести и довести до сознанія, что деньги—тлѣнъ, металлъ звенящій; это—представитель закоренѣлаго самодурства, не способнаго ни на одну іоту поступиться своимъ ореоломъ, и ему остается лишь величественно удалиться со сцены, сѣтуя на всеобщее развращеніе, предрекая всеобщую гибель и проклиная всѣхъ окружающихъ, переставшихъ преклоняться и трепетать передъ нимъ.

Похоронивши самодурство, Островскій не замедлилъ въ лучшей своей драмѣ *Гроза* обрушиться на домостроевскіе идеалы и въ ихъ принципиальномъ смыслѣ. Драма *Гроза* представляетъ полный контрастъ сравнительно съ драмою *Не такъ живи, какъ хочется*. Въ то время, какъ тамъ людей губитъ отступленіе отъ домостроевскихъ принциповъ, ведетъ въ пропасть своя воля дурацкая, здѣсь наоборотъ раскрывается вся гибельность самихъ этихъ принциповъ: люди погибаютъ здѣсь именно оттого, что ихъ воля скована тяжкими оковами семейнаго деспотизма, и ихъ души въ вѣчная опека надъ ихъ нравственностью и каждымъ шагомъ.

Кабанова является въ этой драмѣ такою-же представительницею домостроевскихъ принциповъ, какъ Илья или Агафонъ въ драмѣ *Не такъ живи, какъ хочется*. Но отнюдь нельзя ставить въ одну категорію съ Дикимъ или Брусковымъ. У тѣхъ все ихъ самодурство исходитъ изъ жѣлканія съ деньгами, не имѣя никакихъ нравственныхъ основаній и выражается бессмысленнымъ афоризмомъ вроде: „я такъ

хочу, кто я? и моему ндраву не препятствуй!..“ По существу-же они люди совершенно безхарактерные, способные поддаваться самымъ разнороднымъ впечатлѣніямъ, не исключая порою и самыхъ великодушныхъ, и къ довершенію всего они трусы и тотчасъ-же дѣлаются тише воды, ниже травы, едва встрѣчаютъ мужественный отпоръ или призракъ опасности.

Совершенно не такова Кабанова. У нея постоянно на устахъ нравственныя сентенціи. Всѣ ея сужденія исполнены строгой логики, сбить съ которой ее нѣтъ возможности. Она не развратничаетъ, не самодурствуетъ, а строго блюдетъ долгъ свой и держитъ домочадцевъ въ страхѣ, потому что такъ подобаетъ по стародавнимъ праотческимъ завѣтамъ. Она фанатично вѣрится въ этотъ страхъ не ради самоуслаженія имъ, а потому что по ея незыблемому убѣжденію безъ этого страха всѣ сейчасъ-же совертятся съ пути и все развалится, и когда сынъ замѣчаетъ ей, что зачѣмъ-же Катеринѣ бояться его, довольно, что она его любитъ, Кабановой кажется, что сынъ ея совсѣмъ съ ума сіянулъ.

«Какъ зачѣмъ бояться? говоритъ она, какъ зачѣмъ бояться? Да ты рехнулся, что-ли? Тебѣ не станетъ бояться, меня и подавно. Какой-же это порядокъ-то въ домѣ будетъ? Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь. Али по вашему законъ ничего не значитъ? Да ужь коли ты такія дурацкія мысли въ головѣ держишь, ты-бы при ней-то по крайней мѣрѣ не болталъ, да при сестрѣ при дѣвкѣ; ей тоже замужъ идти: этакъ она твоей болтовни послушается, такъ послѣ мужъ-то намъ спасибо скажетъ за науку. Видишь ты, какой еще умъ-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить».

И до конца драмы Кабанова осталась вѣрна своей безпощадной логикѣ, не только ни на минуту не поколебалась, не раскаялась, осталась вполнѣ права въ своихъ собственныхъ глазахъ, а всѣ развернувшіяся событія еще болѣе утвердили ее въ ея убѣжденіяхъ. И въ самомъ дѣлѣ: развѣ невѣстка своей измѣной мужу не осквернила ея дома и не оправдала ея ненависти къ ней?— „Что сынокъ,—обратилась она къ Кабанову: куда воля-то ведетъ! Говорила я тебѣ, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!“ Развѣ не тѣмъ-же глазами смотрѣли-бы на поступокъ Катерины и Ильи, и Агафонъ, и не тѣмъ-же ли словами осудили-бы ее?

Но въ тоже время какая пропасть раздѣляетъ драмы *Не такъ живи и Грозу*. Въ первой—Илья и Агафонъ являются положительными типами, нравственными устоями, устраивающими счастье своихъ дѣтей сплотивъ тѣхъ самыхъ принциповъ, во имя которыхъ Кабанова губитъ своихъ домочадцевъ. Въ *Грозѣ* положительными началами, противоположающимися мрачнымъ, домостроевскимъ является семья Катерины, воспитавшая дѣвушку въ духѣ любви, гуманности и полной свободы.

«Такая-ли я была! вспоминаетъ Катерина: я жила, ни о чемъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, паряжала какъ куклу, работать не принуждала, что хочу бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкѣхъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ расскажу. Встану и бывало рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключокъ, умоюсь, принесу съ собою подицы и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полюю. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ и странницы, у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолковъ. А придемъ изъ церкви, сидимъ за какую-нибудь работу, больше но бархату золотомъ, а странницы

станутъ разсказывать: гдѣ они были, что видѣли, житія разные, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть могутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечерни, а вечеромъ опять разсказы да пѣніе. Таково хорошо было!..

Съ другой стороны, не менѣе положительнымъ началомъ драмы является самоучка-часовщикъ Кулигинъ, опять-таки разночинецъ съ его порывами къ знанію, свѣту, съ его жроткими, гуманнымъ, свободолюбивымъ и любвеобильнымъ сердцемъ. Онъ играетъ въ драмѣ роль хора древнихъ трагедій, выражая и общественное мнѣніе, и взгляды самого автора на представляемыя явленія жизни. Это одинъ изъ немногихъ случаевъ въ дѣятельности Островскаго, что онъ самъ является на сцену, произнося устами Кулигина свой собственный судъ надъ дѣйствующими лицами драмы.

II.

Резюмируя все, что мы сказали относительно содержанія пьесъ Островскаго, того міросозерцанія, которое пропикаетъ ихъ и составляетъ внутренній нервъ всѣхъ сюжетовъ, мы видимъ, что въ основѣ всѣхъ пьесъ Островскаго лежатъ демократическіе идеалы, принимая слово это не въ политическомъ смыслѣ приверженности къ общественнымъ формамъ, свойственнымъ демократическимъ принципамъ, а въ смыслѣ индивидуально-нравственномъ, бытовомъ. Вездѣ противопоставляется простота, незлобивость, честность, правдивость, отвага въ борьбѣ со зломъ и неунынное трудолюбіе — лѣни, распущенности, сластолюбію, безхарактерности, вѣшнему блеску при внутренней пустотѣ, рисовкѣ, наконецъ несбужданному своеволію и самодурству, какія гнѣздятся въ тѣхъ слояхъ общества, гдѣ основою жизни являются не трудъ, а „бѣшенныя деньги“, какъ мѣтко окрестилъ Островскій всѣ тѣ готовые ресурсы, которые словно съ неба сваливаются счастливымъ міра въ видѣ то наслѣдства, то даровыхъ наживъ всякаго рода.

Передъ нами проходитъ рядъ личностей глубоко симпатичныхъ, заставляющихъ васъ отдыхать душою и мириться съ жизнью. Но это отнюдь не воплощенные идеалы и не представители одной какой-либо излюбленной авторомъ среды, — не тѣ словомъ „новые люди“, которые изображались тенденціозною бедлетристикою то спасителями отечества, то напротивъ того влекущие Россію въ бездну. Эти люди самыхъ разнородныхъ слоевъ общества, далекіе отъ безусловнаго совершенства, иногда крайне смѣшныя и неуклюжіе. Тутъ встрѣтите вы не одиѣ только сильныя духомъ и волею личности, въ которыхъ жажда добра и свѣта преобладаетъ надо всѣмъ и которыя каждую минуту готовы пожертвовать жизнью за ближнихъ, — каковы напримѣръ — Марья Андреевна Незабудкина (*Будная невеста*), Анна Павловна Оброшенинова (*Путники*), Агнія Круглова (*Не все коту масленица*), Параша Курслѣпова (*Горячее сердце*), Геннадій Несчастливцевъ (*Лысь*) и пр. Сюда-же относятся и такіе запалыныя, забытыя, ничтожныя и въ высшей степени комическія личности, какъ Иванъ Ксенофоновичъ Ивановъ (*Въ чужомъ пиру похмѣлье*), Павелъ Прохоровичъ Оброшениновъ (*Путники*), этотъ московскій Трибюле, подобно герою В. Гюго скрывающій подъ личною униженіемъ шутства массу гордости, чувства человѣческаго достоинства и нѣжное, любвеобильное сердце; наконецъ, Іосифъ Наумичъ Корѣловъ съ

своимъ оптимизмомъ нищеты и Любимъ Торцовъ, просвѣтленный горькимъ опытомъ безпутной жизни. Всѣ эти герои, требующіе отъ актера тщательнаго грима, чтобы при одномъ появленіи ихъ на сцену публика расхохоталась-бы или ахнула отъ ужаса и состраданія при видѣ ихъ убожества,—въ концѣ концовъ глубоко трогаютъ зрителей своимъ душевнымъ величіемъ и посрамляютъ имъ тѣхъ сильныхъ міра, которые глумятся надъ ними и величаются въ своемъ гордомъ высокомеріи и закоружлой черствости своего сердца.

Островскій не останавливается и на этихъ смѣшныхъ но въ тоже время въ высшей степени трогательныхъ личностяхъ, а идетъ еще далѣе, доходитъ до такой поразительной смѣлости въ своемъ безпристрастномъ реализмѣ, взвѣшивающемъ явленія жизни не въ ихъ безусловномъ совершенствѣ, а, такъ сказать, удѣльнымъ вѣсомъ по отношенію другъ къ другу, что для него достаточно бываетъ иногда одного какого-нибудь положительнаго качества, вроде крупинцы здраваго смысла или-же энергіи и стойкости для того, чтобы личность, сама по себѣ вовсе не симпатичная, составляла противовѣсъ цѣлому ряду отрицательныхъ явленій, изображаемыхъ въ пьесѣ.

Таковъ напр. Ник. Борисовичъ Неуѣденовъ (*Праздничный сонъ до обѣда*). Передъ вами сидитъ грубый, неотесанный купчина въ простой русской рубахѣ и грызетъ орѣхи, разбивая ихъ булыжникомъ, который ему принесли со двора; говоритъ онъ всѣмъ напрямки, что про кого думаетъ, такъ и сыплетъ грубостями направо и налево. Въ своей семьѣ онъ навѣрное самый крутой самодуръ, вроде Кита Китыча Брускова. Но это не мѣшаетъ ему въ пьесѣ разыгрывать роль Правдина, и устами его говоритъ самъ авторъ, когда Неуѣденовъ резонируетъ по поводу тѣхъ прожившихся дворянчиковъ и всякаго рода стрекулистовъ, которые мечтаютъ поправить свое состояніе женитьбою на богатыхъ купчихахъ. Рѣчи его, полныя глубокой и жѣткой правды, заслоняютъ въ вашихъ глазахъ всѣ его антипатичныя стороны и дѣлаютъ его самымъ привлекательнымъ лицомъ пьесы.

Еще болѣе рѣзкій примѣръ представляетъ собою Савва Геннадіевичъ Васильковъ въ комедіи *Бышенины деньги*. Типъ совершенно новый въ нашей жизни, онъ самъ по себѣ еще болѣе антипатиченъ, чѣмъ всѣ самодуры пьесъ Островскаго, вмѣстѣ взятые. Съ самодурами васъ могла мирить до нѣкоторой степени широта русской натуры и способность въ роковой моментъ вдругъ очнуться отъ всѣхъ мерзостей, просвѣтлѣть и блеснуть поступкомъ, полнымъ великодушія и гуманности. Васильковъ-же—закаленный буржуа вполнѣ уже въ европейскомъ духѣ; у него каждый шагъ разсчитанъ въ видахъ и цѣляхъ наживы; никакое чувство не заставитъ его выйти изъ бюджета. Онъ и влюбляется въ Лидію не иначе, какъ разсчитывая въ тоже время, что у него особаго рода дѣла и ему нужно именно такую жену, блестящую и съ хорошимъ тономъ; въ тоже время въ самомъ разгарѣ увлеченія онъ разсуждаетъ: „хорошо еще, что у меня воля твердая, и я, какъ-бы ни увлекался, изъ бюджета не выйду. Ну, Боже мой! Эта строгая подчиненность бюджету не разъ спасала меня въ жизни“. Несмотря на то, что Лидія прямо объявляетъ ему, что не любитъ его, онъ все-таки женится на ней, все въ тѣхъ-же практическихъ разчетахъ, и наконецъ покоряетъ ее своей властью, пользуясь тою крайностью раззоренія, до какой доводитъ ее безпутное мотовство, дѣлаетъ ее своею рабою, заставляя ее измѣнить совершенно образъ жизни и служить его фипансовымъ

цѣлямъ, ради которыхъ онъ женился на ней. Страшное впечатлѣніе производитъ на насъ этотъ представитель нарождающейся силы, съ которой придется мѣряться по однѣмъ Лидіямъ; но въ тоже время такое отвратительное зрѣлище представляютъ всѣ эти Телятевы, Кучумовы, Глумовы, Чебоксаровы и прочіе герои среды, дошедшей до крайняго разложенія нравовъ, что Васильковъ кажется вамъ доблестнымъ героемъ среди всѣхъ этихъ личностей, — своего рода солью земли.

III.

Мы говорили уже выше, что всѣ изображаемые Островскимъ пороки онъ полагаетъ въ той порчѣ нравовъ, какая является на почвѣ даровыхъ хлѣбовъ. Какъ стремленіе захватить въ свои руки помимо труда „бѣшенныя деньги“, такъ и долгое пользованіе этими „бѣшенными деньгами“, влекутъ за собой въ равной степени самыя разнообразныя искаженія человѣческой природы. Купеческое самодурство является однимъ изъ наиболѣе грубыхъ, элементарныхъ, примитивныхъ видовъ нравственной порчи; это — первый шагъ на скользкомъ пути только-что успѣвшаго разбогатѣть простаго русскаго деревенскаго человѣка. Самодуръ — это дикарь, невзыскательный въ своихъ привычкахъ и требованіяхъ, у котораго все тщеславіе богатствомъ заключается въ то, что онъ не столько пользуется своими деньгами, сколько бросаетъ ихъ зря направо и налево.

Совсѣмъ въ иномъ видѣ рисуются въ пьесахъ Островскаго культурные люди, въ которыхъ нравственная порча является глубоко вѣдравшеюся до мозга костей, хотя она и скрывается тщательно подъ блестящею внѣшностью поверхностной образованности, утонченныхъ вкусовъ и изящныхъ манеръ. Здѣсь кишатъ песчатыя гниды самыхъ отвратительныхъ пороковъ, передъ которыми есѣ купеческія безобразія кажутся лишь глупыми шалостями дурновоспитанныхъ дѣтей. Поэтому и отношеніе Островскаго къ отрицательнымъ типамъ культурной среды представляется не въ примѣръ безпощаднаго. Не говоря уже о благодушномъ Русаковѣ, даже и такіе безобразники, какъ Большовъ или Прусаковъ могутъ казаться невинными ангелами сравнительно съ Уланбековой, съ ея жаднымъ и безпощаднымъ тиранствомъ подъ личиною лицемернаго призма, или Мурзавецкой, готовой во имя Господня снять съ ближняго послѣднюю рубашку; или Надеждой Антоновой Чебоксаровой, ради свисканія благъ земныхъ открыто и беззастѣнчиво торгующей честью своей дочери; или наконецъ Всеволодомъ Вячеславичемъ Глѣвышевымъ, которому ничего не стоитъ, несмотря на свои почтенныя сѣдины и высокое положеніе въ обществѣ, обезчестить спрота, и къ тому-же опекать нѣтъ родственницу и обратить ее въ содержанку. Здѣсь даже люди повидимому совершенно чистые, безкорыстные и исполненные высокихъ стремленій въ копѣйку копцовъ оказываются пикуда не годными тряпками по своему крайнему слабодушію, безхарактерности, нервной развинченности. Таковъ Жадовъ, въ лицѣ котораго Островскій предсказалъ грядущую судьбу всѣхъ тѣхъ молодыхъ тогда еще прогрессистовъ, которые въ 1856 году, — когда была написана комедія *Доходное мѣсто*, — выступали впередъ съ рьяными обличеніями взяточничества и казнокрадства, съ громкими криками о наступленіи новой эры въ общественной жизни, о возрожденіи, пробужденіи и

г. п. Островскій своею комедіею словно напутствовалъ ихъ, говоря: „Потпше, друзья, не бѣснуйте, не храбрите и не геройствуйте; все это вѣдь однѣ громкія фразы, отъ которыхъ до дѣла очень еще далеко. Чтобы быть истинными героями, необходимъ такой нравственный закалъ, котораго вы не имѣете; необходимо быть готову отказаться отъ всѣхъ земныхъ благъ, а вы если не честолюбивы и не сластолюбивы, то навѣрно же-нолюбивы; у васъ нѣжное сердце, готовое растаять при видѣ перваго смазливиенькаго личика и вы способны беззавѣтно увлечься этимъ личкомъ, не входя въ тщательный анализъ, что заключается подъ нимъ, и есть-ли тамъ какое-нибудь содержаніе. И вотъ, если вы по своей собственной инициативѣ не уступили-бы ни-на-іоту Юсовымъ и Бѣлогубовымъ, то подъ вліяніемъ предмета своей страсти не замедлите войти въ цѣлый рядъ сдѣлокъ съ совѣстью, — и Вишневскіе, Юсовы и Бѣлогубовы скоро убѣдятся, что вы вовсе не такъ страшны, какъ кажется, что вы — ихъ-же поля ягода“.

Такъ случилась и въ комедіи Островскаго. Жадовъ не выдержалъ того испытанія, съ какимъ соединяется честный и правый путь и пришелъ съ повинной головою къ дядюшкѣ Вишневскому просить доходнаго мѣста. И вотъ послѣдовалъ страшный хохотъ Вишневскаго, рокового и вѣщаго значенія котораго никто не появля въ пятидесяти годахъ, когда появилась пьеса. За все про все отвѣчалъ тогда одинъ Жадовъ, и люди утѣшали себя, что не всѣ-же Жадовы. Но время показало, что не къ одному Жадову, а къ цѣлому слою общества и поколѣнію относились слѣдующія слова Вишневскаго:

— Ха-ха-ха!.. Юсовъ! Вотъ они, герои-то! Молодой человѣкъ, который кричалъ на всѣхъ перекресткахъ про взяточниковъ, говорилъ о какомъ-то новомъ поколѣніи, идетъ къ намъ-же просить доходнаго мѣста, чтобы брать взятки! Хорошо новое поколѣніе! Ха-ха-ха!.. Вотъ, Юсовъ, помнишь, какой тонъ былъ! Какая увѣренность въ самомъ себѣ! Какое негодованіе къ пороку! (*Жадову, болѣе и болѣе разгорячался*): Не ты-ли говорилъ, что растетъ какое-то новое поколѣніе образованныхъ, чистыхъ людей, мучениковъ правды, которые обличаютъ насъ, закидаютъ насъ грязью? Не ты-ли? Признаюсь тебѣ, я вѣрнѣ. Я васъ глубоко ненавиждѣлъ... я васъ боялся. Да, не шутя. И что-жъ оказывается! Вы честны до тѣхъ поръ, пока не выдохлись уроки, которые вамъ вдолбили въ голову; честны только до первой встрѣчи съ нуждой! Ну, обрадовалъ ты меня, нечего сказать!.. Нѣтъ, вы не стоите ненависти — я васъ презираю!..

Такъ безпощадно отнесся Островскій къ лучшимъ людямъ культурной среды въ лицѣ своего героя Жадова.

Что касается вѣшняго содержанія пьесъ Островскаго, разнообразія изображаемыхъ явленій русской жизни, то когда мы будемъ перечитывать ихъ подъ-рядъ, насъ поразитъ необъятная широта захвата Островскимъ русской жизни, какъ въ ея настоящемъ, такъ и прошломъ, такая универсальность его въ этомъ отношеніи, до какой не доходилъ еще ни одинъ изъ нашихъ писателей, кромѣ развѣ Пушкина и графа Л. Толстого. Захотите вы отрѣшиться отъ настоящаго времени въ глубь прошлаго, — и вотъ передъ вами встанетъ древняя Русь, начиная съ до историческихъ мпическихъ временъ (*Сныурочка*) и кончая смутною эпохою междоусобицъ; проходитъ передъ нами и грозная личность Іоанна съ его свирѣпыми казнями и жеполубіемъ; и безпечный легкомысленный Дмитрій; и хитрый, злопамятный Шуйскій; передъ вами развертываются пьтриги и казни бояръ и мятежные крики разсвирѣпѣвшій московской черни,

и взрывъ народнаго энтузіазма, возбужденнаго великимъ нпжегородскимъ мясникомъ. и то всеобщее шатаніе и разложеніе нравовъ, какое предшествовало петровской реформѣ (*Воевода*).

Обратитесь вы къ современной жпзни,—и здѣсь поразятъ васъ еще большія пестрота и разнообразіе образовъ: какихъ только людей, характеровъ, нравовъ не встрѣтите вы въ этихъ десяти томахъ: тутъ и дворяне наживающіеся, и дворяне раззоряющіеся и проматывающіе послѣдніе крохи; и помѣщицы тпрапки на почвѣ крѣпостнаго права; и хозяйки въ духѣ матери Митрофаніи, хпщныя любостяжательницы подъ личиною ханжества; и купцы самодуры, напивающіеся до чертиковъ; и благодущные или суровые хранители домостроевскихъ завѣтовъ; и безсердечные, черствые столичные бюрократы, одѣтые съ гололки и тщеславящіеся своею строгою порядочностью; и грязные подъячіе, играющіе роль купеческихъ шутовъ; дѣльцы, прожигатели жпзни, столичные и провинціальныя, скряги, моты, странствующие актеры, нищіе мѣщане. едва не умирающіе съ голоду—однимъ словомъ, передъ вами вся наша современная жпзнь во всемъ ея пестромъ разнообразіи и безобразіи. Единственно, чего недостаетъ въ пьесахъ Островскаго,—крестьянъ въ ихъ сельскомъ бытѣ. Это обуславливается конечно тѣмъ, что Островскій прожилъ большую часть жпзни въ городѣ, мало былъ знакомъ съ деревенскою жпзнью и въ то-же время это былъ до такой степени непосредственный и строгій реалпстъ, что онъ изображалъ лишь-то, что ему удавалось хорошо изучить.

Наконецъ, не менѣе всего прочаго поражаетъ въ пьесахъ Островскаго и самый языкъ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица. Мало сказать, что это языкъ вполне естественный и всегда соотвѣтствующій выводимымъ личностямъ: по своей народности, образности, мѣткому, неподражаемому юмору и соли—языкъ Островскаго представляетъ богатѣйшую сокровищницу русской рѣчи. Мы можемъ въ этомъ отношеніи поставить въ одинъ рядъ лишь трехъ писателей: Крылова, Пушкина и Островскаго. Глубокую истину сказалъ Пушкинъ, что русскому языку слѣдуетъ учиться у московскихъ просвирень. Островскій на своемъ примѣрѣ какъ нельзя болѣе подтвердилъ это изреченіе, потому что у кого-же именно выучился онъ неподражаемому языку своихъ пьесъ, какъ не у московскихъ просвирень.

IV.

Къ величайшему сожалѣнію тѣ неблагопріятныя и стѣспительныя условія, въ какія была поставлена русская сцена вирожденіи всего разсматриваемаго нами періода и которыя, какъ мы видѣли выше, угнетающимъ образомъ вліяли на самого Островскаго, были главною причиною, что сцена не могла удержаться на той высотѣ, на которую пытался вознести ее покойный драматургъ своею плодотворною дѣятельностью. Лучшія литературныя силы не привлекались, а отвлекались отъ работы для театра, и вслѣдствіи этого весьма немного появилось втеченіи послѣднихъ пятидесяти лѣтъ на подмосткахъ нашихъ театровъ такихъ пьесъ, которыя хоть сколько нибудь могли-бы соперничать съ произведеніями Островскаго, и это немногое принадлежитъ перу писателей, дѣятельность которыхъ была посвящена инымъ отраслямъ литературы, и они лишь импоходомъ заплатили свою лепту театру.

Такъ изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ наиболѣе потрудился для сцены И. С. Тургеневъ, пьесы котораго составляютъ цѣлый томъ въ собраніи его сочиненій. И хотя онѣ далеко не представляются лучшими его произведеніями и въ дѣятельности его занимаютъ самое скромное мѣсто, это не мѣшаетъ многимъ изъ нихъ стоять въ первомъ ряду послѣ пьесъ Островскаго въ современномъ репертуарѣ. Такія пьесы, какъ *Нахлебникъ* (1848 г.), *Завтракъ у предводителя* (1849 г.), *Холостякъ* (1849 г.), *Мѣсяцъ въ деревнѣ* (1850 г.) *Провинціалка* (1851 г.) до сихъ поръ не сходятъ со сцены, доставляя актерамъ самыя благодарныя роли для выставленія своихъ талантовъ, а публикѣ—по тонкой художественности, сценичности и занимательности — самыя пріятныя и привлекательныя зрѣлища.

Писемскій въ свою очередь доставилъ русской сценѣ такую классическую пьесу, какъ *Горькая судьбина*, эта первая и до сихъ поръ пока еще единственная пьеса на русской сценѣ изъ крестьянскаго быта, въ которой русскій мужикъ вышелъ на сцену въ своемъ вполнѣ натуральномъ видѣ, безъ малѣйшей идеализаціи и какихъ-либо подкрашиваній. Послѣдній періодъ дѣятельности Писемскаго былъ ознаменованъ, какъ мы видѣли, нѣсколькими комедіями, въ которыхъ Писемскій казнилъ современныхъ дѣльцовъ и всякаго рода промышленниковъ по части легкой наживы; но эти пьесы, обнаруживши въ дѣятельности автора *Тысячи душъ* оскуденіе таланта, не долго удерживались на сценѣ.

Далѣе затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе извѣстная трилогія А. К. Толстого: *Смерть Іоанна Грознаго*, напечатанная въ № 1 *Отеч. Зап.* за 1866 годъ; *Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ* (*В. Евр.* № 5, 1868 г.) и *Царь Борисъ* (*В. Евр.* № 3, 1870 г.). Изъ этихъ трехъ трагедій была поставлена на сцену лишь первая—*Смерть Іоанна Грознаго* въ 1876 году и въ продолженіи всѣхъ семидесятихъ годовъ не сходила со сцены. Пьесы А. К. Толстого, обнаруживая глубокое изученіе изображаемой въ нихъ эпохи и ту вѣщную живописную художественность, какою славится А. К. Толстой во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ страдаютъ и тѣми недостатками, какіе мы можемъ замѣтить во всѣхъ русскихъ историческихъ драмахъ, не исключая *Бориса Годунова* Пушкина и хроникъ Островскаго: эпическая сторона преобладаетъ въ нихъ надъ драматическою; вмѣсто какихъ-либо потрясающихъ драматическихъ коллизій и захватывающаго вниманіе зрителей быстро развивающагося дѣйствія, передъ вами проходитъ рядъ бытовыхъ сценъ съ длинными разговорами. Вслѣдствіе этого отъ всѣхъ отъ нихъ вѣетъ археологическимъ и этнографическимъ холодомъ; ихъ пріятнѣе читать, чѣмъ видѣть на сценѣ, гдѣ они тяжеловаты, а мѣстами и скучноваты.

Однимъ изъ лучшихъ драматурговъ является Александръ Ивановичъ Пальмъ, приходящій къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ. Онъ родился въ 1823 году и въ концѣ сороковыхъ годовъ выступилъ на литературное поприще небольшими разсказами и стихотвореніями въ духѣ только что возникшей въ то время натуральной школы. Замѣшанный въ дѣло петрашевцевъ, Пальмъ былъ заключенъ въ крѣпость, и хотя судъ констатировалъ, что онъ участія въ разговорахъ не принималъ, тѣмъ не менѣе послѣ продолжительнаго содержанія въ казематѣ, Пальмъ, былъ переведенъ тѣмъ-же чиномъ изъ гвардіи въ армію безъ выслуги, и кара эта была снята съ него

лишь въ концѣ пятидесятихъ годовъ по ходатайству одного высокопоставленнаго лица.

Къ прерванной въ юности литературной дѣятельности А. И. Пальмъ возвратился лишь въ началѣ семидесятихъ годовъ и затѣмъ уже непрерывно продолжалъ ее до самой смерти 10 ноября 1885 года. Къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ его принадлежитъ по беллетристичѣ романъ *Слободинъ*, напечатанный въ *Вѣстникѣ Европы*, очень живо изображающій петербургскіе литературно-политическіе кружки сороковыхъ годовъ; изъ комедій-же наибольшимъ успѣхомъ пользовались пьесы *Старый баринъ* и *Нашъ другъ Неклюжевъ*; менѣе извѣстны—*Вольные люди*, *Гражданка*, *Петербургская саранча*. Какъ въ своихъ беллетристическихкихъ произведеніяхъ, такъ и въ комедіяхъ Пальмъ оставался вѣрнымъ всѣмъ традиціямъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ, и являясь знатокомъ старинной, дореформенной помѣщичьей жизни, не безъ мастерства выводилъ тѣ-же рыхлые и изнѣженные барскіе типы, изображеніемъ которыхъ занималась и вся та школа, къ которой онъ принадлежалъ.

Первымъ прямымъ послѣдователемъ Островскаго является Алексѣй Аптиповичъ Потѣхнинъ. Онъ родился въ Кинешмѣ костромской губерніи 1-го іюля 1829 года. Литературная дѣятельность его началась въ 1851 году статьею *Обенифистъ актера московскаго театра Шумскаго*. Первая журнальная статья появилась въ *Современникѣ* 1852 года—*Забавы и удовольствія въ городкѣ*. Затѣмъ онъ началъ печататься во всѣхъ тогдашнихъ журналахъ—*Современникъ*, *Отчественныхъ Запискахъ*, *Библиотекѣ для чтенія*, *Москвитини*, *Русскомъ Вѣстникѣ*, *Русскомъ Словѣ*, *Современномъ Обозрѣніи*, *Вѣкѣ*, *Русскомъ Мирѣ*. Изъ беллетристическихкихъ произведеній его извѣстны — *Казанская крестьянка*, *Братъ и сестра*, *Бурмистръ*, романы—*Крушинскій*, *Бѣдные дворяне* и *Около денегъ*.

Романъ *Бѣдные дворяне*, мастерски изображающій старинный помѣщичій бытъ и положеніе приживальщиковъ и шутовъ въ помѣщичьихъ усадьбахъ, представляется лучшимъ изъ всего написаннаго Потѣхнымъ. По своей объективности и глубокой реальной правдѣ онъ ни мало не уступаетъ *Проселочнымъ дорогамъ* Григоровича, съ которыми много имѣетъ общаго по содержанію. Менѣе удачны романы Потѣхнина изъ народнаго быта по причинамъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже.

Участіе Потѣхнина въ экспедиціи литераторовъ къ окраинамъ, предпринятой морскимъ министерствомъ въ 1856 году, о которой намъ неоднократно уже приходилось говорить, имѣло результатомъ нѣсколько этнографическихкихъ статей, каковы: *Рѣка Керженецъ*, *Ловля красной рыбы въ саратовской губерніи* и пр.

Первое драматическое сочиненіе А. А. Потѣхнина была драма *Судъ людской—не Божій*, поставленная на петербургской сценѣ 29-го апрѣля 1854 года. Слѣдующая затѣмъ драма *Шуба овечья—душа человѣчья*, передѣланная изъ повѣсти *Братъ и сестра*, напечатанная въ 1854 году, была дозволена для представленія на сценѣ черезъ 12 или 13 лѣтъ, въ 1866 или 1867 году. Комедія *Мишура*, напечатанная въ 1858 году, находилась подъ запрещеніемъ для постановки на сценѣ четыре года. Комедія *Отъзанный лопотъ* была дозволена для представленія на сценѣ въ 1865 году и послѣ тринадцати представленій запрещена. Комедія *Вакантное мѣсто*, напечатанная въ 1870 году, вовсе не была допущена на сцену. Комедія *Въ скабичевскій*.

мутной водѣ была дозволена къ представленію лишь подъ условіемъ многихъ выпусковъ и измѣненія нѣмецкихъ именъ и фамилій дѣйствующихъ лицъ на русскія.

По количеству написаннаго А. А. Потѣхинымъ изъ народнаго быта какъ въ беллетристической, такъ и въ драматической формахъ его можно было-бы считать народникомъ. Къ сожалѣнію, знаніе его народной жизни имѣетъ поверхностный характеръ: онъ отличный знатокъ всѣхъ внѣшнихъ подробностей народнаго быта: характеры, изображаемые имъ, вѣрны дѣйствительности, вышуклы и чужды стереотипности, рѣчи дѣйствующихъ лицъ совершенно натуральны относительно вѣрности народному говору. Но въ тоже время вы не найдете у Потѣхина и тѣни мало-мальски глубокаго проникновенія во внутреннія основы народной жизни. Напротивъ того, васъ поражаетъ странная двойственность въ этомъ отношеніи во всѣхъ его произведеніяхъ. Съ одной стороны въ нихъ повсюду преобладаютъ тенденціи демократическія, вполне въ духѣ времени. Образованные слои общества обрисовываются съ тѣхъ отрицательныхъ сторонъ, съ какихъ изображала ихъ вся беллетристика разсматриваемаго нами періода. Положительные типы, высокіе нравственные идеалы онъ ищетъ преимущественно въ народѣ. Но взгляните пристальнѣе и подумайте, какого рода нравственные идеалы навязываетъ Потѣхинъ народу, и вы увидите, что идеалы эти мало того, что въ духѣ прописной морали и молчалинскаго смиренномудрія, но зачастую даже въ узкословномъ духѣ, т. е. Потѣхинъ представляетъ себѣ идеальныхъ крестьянъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было-бы желательно, чтобы они были съ помѣщицѣй точки зрѣнія. Для доказательства этого расскажемъ содержаніе какихъ-нибудь на выдержку двухъ комедій Потѣхина изъ народнаго быта.

Такъ напримѣръ въ комедіи *Чужое добро въ прокъ не идетъ* изображена старинная домостроевская патриархальная семья, вроде тѣхъ, какія вы встрѣчаете въ комедіяхъ Островскаго. Старикъ крестьянинъ, содержатель постоялаго двора и ямской станціи на большой дорогѣ, человѣкъ зажиточный, расчетливый скопидомъ, держитъ всю семью въ ежовыхъ рукавицахъ и требуетъ, чтобы домочадцы безпрекословно исполняли его волю и работали на него какъ рабы. Между тѣмъ у него двое уже взрослыхъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, Михайло, человѣкъ уже женатый и въ свою очередь отецъ семейства, а младшій, Алексѣй, еще холостой. Михайло и Алексѣй—это тѣ-же Карлъ и Францъ Моръ шиллеровской драмы: идеально добродѣтельный Алексѣй является *plus royaliste que le roi* и доводитъ свою педантическую легальность до того, что отдаетъ отцу каждый гривенникъ полученный на водку, хотя отецъ вовсе этого не требуетъ; Михайло-же человѣкъ живой, страстный, увлекающійся, тяготеетъ гнетомъ отцовскаго деспотизма, постоянно мечтаетъ о раздѣлѣ; его тяготитъ жена, навязанная ему конечно насильно, ему хочется разгуляться по бѣлу свѣту, всего посмотреть и испытать! „Эхъ, говоритъ онъ:—кажись, кабы деньги, всего-бы этого насмотрѣлся, всякое-бы себѣ удовольствіе получилъ, да такихъ-бы лошадей себѣ накупилъ, что земля-бы подо мною дрожала... Просто, песи, вихорь-атаманъ разнеси ты мои косточки!“... Правда, грубы и матеріальны его мечты, но что-же дѣлать, если такова ужъ была обстановка, что не могла внушить ему болѣе высокихъ и разумныхъ стремленій? И въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами Михайло, онъ способенъ неизмѣнно болѣе возбудить въ насъ симпатію, чѣмъ Алексѣй,—этотъ пестукашъ, доведшій

обезличеніе до отсутствія всякаго живого стремленія, ничего не желающій, не смѣющій и смотрящій, какъ на великій грѣхъ, на каждый самостоятельный шагъ помимо отцовской воли. Тѣмъ не менѣе авторъ становится на сторону Алексѣя и выводитъ его добродѣтельнымъ героемъ драмы, положительнымъ, идеальнымъ типомъ, отгѣняющимъ собою отрицательный типъ развратнаго Михайлы. Къ тому-же, вмѣсто того чтобы вывести дѣйствіе вполне естественно изъ самаго драматическаго положенія лицъ, авторъ сочинилъ искусственную развязку въ видѣ внезапно свалившихся съ неба 30,000, обропанныхъ проѣзжимъ купцомъ. Михайло нашелъ деньги, но отецъ по праву родительской власти отнялъ ихъ у сына. Въ то время, какъ добродѣтельный Алексѣй постоянно твердилъ, что чужія деньги слѣдуетъ возвратитъ по принадлежности, отецъ его не очень-то желалъ идти по стезѣ добродѣтели и припряталъ деньги, а чтобы смирить и заставить молчать Михайлу, началъ выдавать ему по мелочамъ на кутежи. Дѣло кончилось тѣмъ, что Михайло, стакнувшись съ развращеннымъ чиповниченкой рѣшился по наущенію послѣдняго сплю отнять у отца деньги, а въ случаѣ сопротивленія пожалуй и убить его. Но добродѣтельный Алексѣй все это подслушалъ и донесъ отцу. Драма кончается умилительно: отецъ по просьбѣ все того-же добродѣтельнаго Алексѣя прощаетъ своего преступнаго сына, который обѣщаетъ исправиться и пребывать впредь въ полномъ повиновеніи родителю, и въ то-же время старикъ спѣшитъ отвезти по принадлежности деньги, надѣлавшія столько бѣды, удивившись, что чужое добро въ прокъ не идетъ.

Такую сощепцію въ духѣ прописной морали мы видимъ и въ драмѣ *Судъ людской, не Божій*. Довольно сказать, что вся драма основана на роковомъ дѣйствіи родительскаго проклятія. Крестьянская дѣвушка слюбилась съ парнемъ; парень посватался къ ней, но отецъ, крестьянинъ зажиточный и гордый, не согласился на бракъ дочери съ бѣднякомъ, а узнавши, что она уже слюбилась съ инымъ, презрѣлъ свое родительское проклятіе, которое такъ подѣйствовало на дѣвушку, что она упала въ обморокъ и померла. Отецъ спохватился, но поздно. Въ отчаяніи и сокрушеніи отправился онъ съ возлюбленнымъ дочерп въ Кіевъ на богомолье. На возвратномъ пути онъ встрѣтилъ на постояломъ дворѣ полупомѣшанную дѣвушку. Слѣдуетъ умилительная сцена: дѣвушка приходитъ въ себя, отецъ прощаетъ ее, милый предлагаетъ ей руку, но она отказывается ему на томъ основаніи, что во время сумасшествія ей сплился всѣ адскія муки, и она дала обѣтъ никогда съ милымъ не сходиться, а всю жизнь посвятить Богу и отцу.

Въ отчаяніи милый идетъ въ солдаты, а присутствующій при этомъ помѣщикъ Скрипунюкъ, утiram слезы, восклицаетъ: „Трогательная исторія! Именно наши крестьяне (*дѣлають въ воздухѣ неопредѣленное движеніе*) — удивительный народъ! Съ душой!..“

Такого рода маппловская сентиментальность въ духѣ прописной морали пронизываетъ всѣ произведенія А. А. Потѣхина изъ народнаго быта.

VI.

Изъ всѣхъ многочисленныхъ послѣдователей Островскаго, пьесы которыхъ, поя-

ляясь на русских сценахъ, столь-же быстро исчезаютъ безъ слѣда, считаемъ не лишнимъ указать лишь на двухъ драматурговъ, заслуживающихъ вниманія. Таковъ первый писатель и вмѣстѣ съ тѣмъ б. артистъ императорскихъ петербургскихъ театровъ И. Е. Чернышовъ, выступившій на литературное поприще въ 1858 году, когда на казенной сценѣ была поставлена первая пьеса его *Женихъ изъ домового отдѣленія*, имѣвшая крупный успѣхъ, благодаря какъ собственнымъ достоинствамъ, такъ и превосходной игрѣ Мартынова въ роли Ладыжкина. Не меньшимъ успѣхомъ пользовались дальнѣйшія пьесы его—*Не въ деньгахъ счастье*, поставленная на сценѣ александринскаго театра въ 1859 году, и *Испорченная жизнь*, произведшая не малую сенсацию въ публикѣ во время 1861—62 годовъ, такъ какъ въ ней былъ затрогнутъ самый жгучій вопросъ того времени, именнo женскій.

Но начатая столь блистательно литературная дѣятельность, подававшая благія надежды, прекратилась въ самомъ началѣ. Въ слѣдующемъ-же 1863 году 16 ноября Чернышева не стало; онъ умеръ всего лишь 30 лѣтъ. Написанная имъ передъ смертью пьеса *Чернышкіе и бѣленькіе* поставлена была много позже по смерти автора. Кромѣ указанныхъ пьесъ Чернышевымъ были написаны также пьесы: *Комедія изъ-за драмы*, *Отецъ семейства* (поставленная въ александринскомъ театрѣ въ 1860 году въ бенефисъ Мартынова) и комедія *Зачастую*.

Не меньшаго вниманія заслуживаетъ Николай Яковлевичъ Соловьевъ. Онъ родился въ 1845 году въ Казани. Отецъ его, архитекторъ, умеръ, когда мальчику было 7 лѣтъ. Въ 1861 году онъ кончилъ курсъ въ казанской гимназій и началъ слушать лекціи въ московскомъ университетѣ, но за неимѣніемъ средствъ долженъ былъ прекратить. Борясь съ горькою нуждою, единственную отраду онъ находилъ въ томъ, чтобы изрѣдка попасть въ театръ, гдѣ знаменитые актеры того времени—Садовскій, Шумскій и Самаринъ—производили на юношу такое потрясающее впечатлѣніе, что тогда уже онъ началъ слагать въ своемъ воображеніи пьесы, кое-что уже и писать, но нужда продолжала преслѣдовать его, и онъ былъ принужденъ взять мѣсто учителя въ калужской губерніи, и въ продолженіи шести лѣтъ пришлось ему тянуть учительскую лямку. Онъ такъ и заглохъ-бы въ глуши, если-бы не встрѣтился съ К. Н. Леонтьевымъ, который принялъ въ немъ участіе. Въ это время у Соловьева была уже написана вчерпѣ комедія *Женихъ Бѣлушина*. Комедія эта поправилась Леонтьеву, и онъ передалъ ее Островскому, который въ свою очередь пришелъ отъ нея въ восхищеніе, и значительно передѣлавъ ее, содѣйствовалъ къ постановкѣ ея на сцену. Соловьевъ пріѣхалъ въ Москву, и сближеніе его съ Островскимъ было настолько тѣсно, что онъ удостоился рѣдкой, исключительной чести: написать нѣсколько пьесъ совмѣстно съ Островскимъ. Таковы были кромѣ *Жениха Бѣлушина* пьесы *Счастливый день*, *Дикарка*, *Свѣтитъ да не грѣетъ*. И сверхъ того вполне самостоятельно были написаны Соловьевымъ: *На порогъ къ дѣду*, *Прославилась* и *Медовый мѣсяцъ*. Вѣрныя школы Островскаго, побуждающія по большей части провинціальный бытъ среднего дворянства, комедіи Соловьева не имѣютъ какого-либо выдающагося литературнаго значенія, но не лишены сценичности и смотрятся съ удовольствіемъ.

Совершенно особенное, самостоятельное значеніе въ современномъ репертуарѣ имѣетъ Викторъ Александровичъ Крыловъ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимъ

номъ В. Александрова. Писатель обладающій несомнѣннымъ талантомъ, онъ выступилъ на литературное поприще въ 1862 году, въ самый разгаръ движенія, нѣсколькими пьесами, исполненными широкаго захвата и общественнаго значенія, потерпѣлъ даже административную кару за безпощадную рѣзкость обличеній нѣкоторыхъ провинціальныхъ тузовъ. Такія произведенія его, какъ *Столбы*, *Земцы* и *Не ко двору*, доставили ему очень почтенную репутацію, и конечно они навсегда сохраняютъ свое значеніе въ исторіи нашей литературы, какъ лучшіе памятники того обличительнаго жара, какимъ въ пятидесятые и шестидесятые годы отличалась наша только что возникшая гласность. Кромѣ этихъ пьесъ, Крыловъ подарилъ нашей литературѣ прекрасный переводъ *Натана Мудраго* Лессинга, весьма добросовѣстно и съ научной обстоятельностью изданный съ подробными комментаріями и библиографическими указаніями.

Къ сожалѣнію В. А. Крыловъ не удержался на той высотѣ, на которую поставили его первыя пьесы, и выступилъ на скользкій путь театральнаго ремесленничества, начавши уже не создавать, а просто-на-просто стряпать пьесы, поставляя на сцену почти по-четыре пьесы ежегодно, такъ что втеченіи около 30 лѣтъ количество пьесъ его, подвизающихся на театральныхъ подмосткахъ, превышаетъ сотню. При такомъ скороспѣломъ, чисто фабричномъ производствѣ пьесъ нечего конечно и ожидать отъ нихъ какихъ-либо серьезныхъ литературныхъ достоинствъ. Въ большинствѣ ихъ В. Ал. Крыловъ является даже не сочинителемъ, а просто-на-просто передѣльвателемъ французскихъ пьесъ на русскіе нравы, воскресивши такимъ образомъ времена Загоскина и кн. Шаховского. Иныя-же пьесы, если не заимствованы съ иностранныхъ сценъ, то страдаютъ другимъ недостаткомъ: онѣ составляютъ продуктъ не свободнаго, возбуждаемаго самой жизнью творчества, а пишутся спеціально для тѣхъ или другихъ любимыхъ публикою актеровъ, причеи умышленно сочиняются такъ, чтобы въ нихъ были роли, благодарныя для этихъ сценическихъ корифеевъ, и вслѣдствіе этого пьесы долѣе удержались-бы на сценѣ. Изъ всѣхъ подобныхъ ремесленныхъ произведеній наиболѣе выдаются по своей сценичности и успѣху — такія пьесы, какъ *Въ духъ времени*, *Въ осадномъ положеніи*, *На хлѣбахъ изъ милости*, *Къ мировому*, *По духовному завѣщанію* и проч.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ упомянуть еще объ одномъ драматическомъ писателѣ, нѣкоторыя пьесы котораго хотя и не отличаются особенно высокими литературными достоинствами, тѣмъ не менѣе при низменности вкусовъ нашей публики имѣли успѣхъ. Это именпо Дмитрій Васильевичъ Аверкіевъ. Онъ родился 30-го сентября 1836 г. въ Екатеринодарѣ въ купеческомъ семействѣ и дѣтство провелъ до 9 лѣтъ въ домѣ одного дѣда въ Екатеринодарѣ, а потомъ у другого дѣда въ Петербургѣ. Учился Аверкіевъ въ петербургскомъ коммерческомъ училищѣ, по окончаніи курса котораго въ 1854 г. поступилъ въ с.-петербургскій университетъ, на естественпо-научный факультетъ, откуда вышелъ въ 1859 г. со степенью кандидата. Уже съ дѣтства Аверкіевъ возымѣлъ страсть къ театру, подъ вліяніемъ дѣда, который отпускалъ даже даромъ лѣсъ на постройку екатеринодарскаго театра. Затѣмъ уже въ университетѣ онъ писалъ комедіи, драмы и стихи; въ печати-же появился впервые въ началѣ 1860 г. въ качествѣ фельетониста подъ псевдонимомъ Рянова — въ *Рус-*

скомъ *Инвалидъ*, затѣмъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, писалъ театральныя рецензіи и с журналахъ. Первое драматическое произведеніе его, *Мамаево Побище*, появилось въ *Эпохѣ* 1864 г. Къ тому-же времени относится его либретто оперы Сѣрова *Ромьда*, ознаменовавшееся, какъ извѣстно, въ 1868 г. скандальнымъ процессомъ, такъ какъ Аверкіевъ требовалъ, чтобы Сѣровъ дѣлилъ съ нимъ перспективную плату.

Въ 1867 и 1868 годахъ появились пьесы—трагедія *Слѣбодѣ Неволѣ*, комедія въ стихахъ *Лѣтній* и другая тоже стихотворная комедія—*Терентій мужъ Дамилевичъ*. Въ томъ-же 1868 году въ бенефисъ Самойлова была поставлена его комедія *Фролъ Скобтѣвъ*. Но болѣе всего успѣха имѣла драма *Каширская Старина*: поставленная въ 1872 году на московской и петербургской сценахъ, драма эта обошла всѣ провинціальныя театры и до сихъ поръ дается по нѣскольку разъ въ зиму.

Принадлежа къ реакціонному лагерю, Аверкіевъ отличается крайнимъ фанатизмомъ и нетерпимостью, доходившими порою въ нѣкоторыхъ его публицистическихъ фельетонахъ до цинической готовности принести себя въ жертву на алтарь отечества, принявъ на себя обязанность палача. Слѣзная, ожесточенная неправда ко всему, на чемъ лежитъ хотя малѣйшій отпечатокъ европейской образованности и прогресса, унаслѣдованная по всей вѣроятности отъ семьи, вышедшей изъ раскольничьей среды, соединяется въ немъ съ узкимъ патріотизмомъ оффиціального характера и благоговѣніемъ передъ такъ называемою „священною стариною“. Онъ считаетъ себя въ своемъ родѣ народникомъ, но въ этомъ народничествѣ народомъ конечно и не пахнетъ, а заключается оно въ чисто археологической страсти къ до-петровскому быту, къ народнымъ пѣснямъ и обрядамъ и всему, что носитъ печать такъ называемой „самобытности“.

Драмы его подкупаютъ грубые вкусы толпы мелодраматическими трескучими эффектами, народными пѣснями и пѣлыми хороводами, но въ чтеніи онѣ не только лишены всякой художественности и снотворны, а мѣстами положительно курьезны, вслѣдствіе того что авторъ, увлекаясь археологическими пѣлями, заставляетъ своихъ героев говорить невообразимо исковерканнымъ языкомъ, которымъ яко - бы говорили наши предки. Вообще всѣ произведенія Аверкіева являются отнюдь не плодами свободного, естественнаго творчества, а представляютъ собою нѣчто дѣланное, сочиненное; отъ нихъ пахнетъ потомъ усиленаго труда, и вмѣстѣ съ тѣмъ отзывается чѣмъ-то вродѣ юродства блаженной памяти Тредьяковскаго.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

I. Дѣтство и юность Николая Алексѣевича Некрасова. II. Последующіе факты его жизни. III. Два элемента творчества Некрасова. Характеръ рефлексивнаго элемента. IV. Характеръ разночинно - народнаго элемента. V. Присутствіе обоихъ элементовъ въ стихотвореніяхъ изъ народнаго быта. Общій выводъ.

I.

Стихотворная поэзія разсматриваемаго нами періода, хотя и не имѣла такихъ гениальныхъ представителей, какъ гиганты предшествовавшей эпохи, Пушкинъ и Лермонтовъ, за то въ количественномъ отношеніи она представляетъ значительное обиліе болѣе или менѣе крупныхъ и сильныхъ талантовъ самаго разнороднаго характера. Всѣ направленія, лагеря и вѣянія времени не замедлили отразиться въ поэзіи послѣднихъ сорока лѣтъ и выставить своихъ пѣвцовъ и выразителей. Такъ мы видимъ, что прежде всего всѣ поэты этой эпохи раздѣляются на двѣ обширныя группы, сообразно тѣмъ двумъ эстетическимъ доктринамъ, которыя были завѣщаны сороковыми годами: на группу пѣвцовъ жизни, „гражданскихъ мотивовъ“, какъ выражались въ концѣ пятидесятихъ годовъ и на служителей чистаго искусства.

Во главѣ пѣвцовъ жизни первое мѣсто, какъ властитель думъ и чувствъ всей современной эпохи, безспорно занимаетъ Николай Алексѣевичъ Некрасовъ, съ котораго мы и начинаемъ разсмотрѣніе современной поэзіи.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ принадлежалъ къ помѣщичьему роду Ярославской губерніи, нѣкогда очень богатому, но потомъ обѣднѣвшему. Отецъ поэта Алексѣй Сергѣевичъ, служилъ въ арміи и не отличался поведеніемъ особеннымъ образованіемъ. Большую часть службы онъ состоялъ въ адъютантскихъ должностяхъ, постоянно разъѣзжая по имперіи и бывая часто то въ Кіевѣ, то въ Одессѣ, то въ Варшавѣ. Во время этихъ разъѣздовъ онъ случайно познакомился съ семействомъ богатаго польскаго магната Андрея Закревскаго и женился на старшей дочери его Александрѣ противъ воли родителей. Жизнь изнѣженной въ роскоши польской панны потянулась среди лишеній и дрязгъ походной жизни. Прострапствовавъ еще нѣсколько лѣтъ съ полкомъ, дослужившись до чина капитана, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи Ярославской губерніи и уѣзда, въ селѣ Грешневѣ, на почтовомъ тракѣ по Владимірской дорогѣ.

Н. Ал. Некрасовъ родился въ 1821 г. 22 ноября, въ подольской губерніи, въ Випиницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-то еврейскомъ мѣстѣчкѣ. Онъ очень рано началъ поминать себя. Но не веселыя картины дѣтства сохранились въ рано пробудившейся памяти его. Въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ, каковы напр. *Родина* и поэма *Несчастные*, поэтъ даетъ намъ ясное представленіе о грустныхъ картинахъ, вынесенныхъ имъ изъ родительскаго дома.

Началомъ умственнаго развитія Некрасовъ былъ обязанъ матери. Съ семилѣтнаго возраста началъ онъ писать стихи. Отъ матери онъ перешелъ къ учителямъ-семинаристамъ, а въ 1832 году былъ опредѣленъ въ ярославскую гимназію. Изъ подъ суроваго гнета родительскаго дома одиннадцатилѣтній мальчикъ пошелъ на безграничную свободу почти вполне самостоятельнаго жизни. Ученіе шло разумѣется незавидно. Особенно не удавались Некрасову древніе языки. Въ теченіи шести лѣтъ съ трудомъ достигнулъ онъ до пятаго класса, а тутъ еще примѣшались натянутыя отношенія къ начальству. Продолжая писать стихи, Некрасовъ написалъ нѣсколько сатиръ на товарищей и гимназическое начальство. Онѣ дошли до послѣдняго, и оставаться долѣе въ гимназіи было немисленно.

Тогда отецъ рѣшился послать сына (въ 1839 году) доканчивать ученіе въ Петербургъ, въ дворянскій полкъ (одинъ изъ тогдашнихъ корпусовъ). По прибытіи въ столицу Некрасовъ явился къ начальнику III корпуса жандармовъ, генералу Полозову съ рекомендательнымъ письмомъ отъ пріятеля отца, ярославскаго прокурора, Полозова-же; имъ былъ онъ представленъ Я. И. Ростовцеву, и дѣло было почти рѣшено. Но случайно онъ встрѣтился съ ярославскимъ товарищемъ, студентомъ Андреемъ Глушицкимъ, и тотъ вмѣстѣ съ двумя другими студентами, Ильенковымъ и Косовымъ, отговорили Некрасова отъ поступленія въ корпусъ и увлекли его поступить въ университетъ. Остановка была за вступительными экзаменами, такъ какъ Некрасовъ былъ слабъ въ древнихъ языкахъ и въ математикѣ; но Глушицкій познакомилъ его съ профессоромъ духовной семинаріи Д. И. Успенскимъ, и они вдвоемъ взялись приготовить Некрасова въ университетъ. Когда объ этомъ узналъ отецъ Некрасова, онъ воспылалъ сильнымъ гнѣвомъ и отписалъ ему, что если онъ не отложитъ намѣренія идти въ университетъ, пусть впередъ не рассчитываетъ ни на одну копѣйку родительской помощи.

И вотъ шестнадцатилѣтній мальчикъ очутился безъ всякихъ средствъ и положенія, съ 150 рублями въ карманѣ и съ паспортомъ „недоросля изъ дворян“, по которому Некрасовъ жилъ до конца дней. Онъ поселился съ какимъ-то неизвѣстнымъ товарищемъ на Малой Охтѣ; довольствоваться имъ приходилось не болѣе какъ 15 коп. въ сутки на брата, беря обѣдъ изъ какой-то ужасающей кухмистерской, о которой Некрасовъ съ ужасомъ вспоминалъ всю жизнь. Затѣмъ онъ переселился къ проф. Успенскому. Пріемнаго экзамена въ университетъ онъ не выдержалъ, сръзавшись изъ географіи, и былъ припужденъ поступить въ университетъ на филологическій факультетъ вольнослушателемъ.

Университетская жизнь Некрасова продолжалась съ 1839 по 1841 годъ. Матеріальное положеніе его во все это время было самое отчаянное: приходилось перебиваться кое-какъ грошовыми уроками и случайными журнальными работами. „Ровно

три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя-бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“... Силы Некрасова постоянно надрывались и наконецъ онъ сильно заболѣлъ. Докторъ, объясняя его болѣзнь голодаваніемъ, приговорилъ его уже къ смерти. Но молодой организмъ вынесъ болѣзнь, оставившую все таки свои слѣды на всю жизнь.

Матеріальное положеніе Некрасова еще болѣе было подорвано этой болѣзнію. Приходилось пользоваться милостью квартирныхъ хозяевъ, отставнаго унтеръ-офицера съ женою, у которыхъ онъ нанялъ квартиру по Разъѣзжей. Задолжалъ пять Некрасовъ во время болѣзни рублей сорокъ.

«Хозяинъ, рассказываетъ онъ, еще ничего, но хозяйка сильно беспокоилась, что я умру и деньги пропадутъ. За перегородкою постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконецъ въ одинъ прекрасный день ко мнѣ явился хозяинъ, объяснилъ свои опасенія съ полною откровенностію и просилъ меня написать ему расписку въ томъ, что я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и остальные вещицы. Я написалъ. Думаю: чего добраго, не стануть и хоронить, да и люди они были дѣйствительно бѣдные. Черезъ нѣсколько времени мнѣ стало однако лучше, и я вскорѣ настолько уже оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на Выборгскую сторону къ одному знакомому студенту-медику. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ засидѣлся до позднего вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью—въ октябрѣ или ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускаютъ,—говорятъ, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ. Что-же касается до моего долга, то хозяева считаютъ себя вполне удовлетворенными моимъ имуществомъ, которое я имъ оставилъ за долгъ, въ чемъ и выдалъ расписку. Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не сознавая куда и зачѣмъ, пробрался на Искскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, сжался надо мною и пригласилъ меня съ собою куда-то почевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народа. Все это были нищіе, которые собирались здѣсь почевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 коп.»

Рядомъ съ такой страшною нищетою и труппными сценами Некрасовъ впадалъ картины сытой роскоши, и самъ порою участвовалъ въ ея утонченныхъ цѣрахъ.

«Въ тѣ времена,—читаемъ мы въ біографіи Некрасова, помѣщенной въ VII т. *Русской Библиотеки* Стасюлевича,—преимущественно въ университетѣ сосредоточивалась молодежь изъ знати, и университетскіе товарищескіе кружки сближали въ себѣ не только состояніи и званія. Бѣдный молодой человѣкъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣсколько копѣекъ въ день, легко сближался съ юношами высшихъ и богатыхъ классовъ,—и не только сближался, но благодаря своимъ личнымъ талантамъ, способностямъ и всекому характеру, могъ даже переигрывать между ними; на студен-

ческихъ собраніяхъ и ширушкахъ, устраиваемыхъ въ то время на подобіе нѣмецкихъ кнейшовъ и коммершей, предводительствовалъ не тотъ, кто знатіе всѣхъ, но кто лучше дрался на эскадронахъ и рапирѣ, кто былъ мужественнѣе и физически ловчѣе. Въ такихъ-то веселыхъ и разгульныхъ товарищескихъ кружкахъ внезапно очутился провинціальный юноша, возросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впервые съ обыденною жизнію и нравами другихъ общественныхъ классовъ, которые безъ университетской жизни остались-бы ему извѣстными только по слухамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя деревенская, не осталась безъ вліянія въ будущемъ на поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а также на условія дальнѣйшей жизни: завязанныя имъ тогда связи сохранялись и впослѣдствіи; недостатки и слабыя стороны жизни высшихъ общественныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ рукъ — и хорошо знакомы».

При столь тяжелой борьбѣ за существованіе Некрасову нечего было и думать о правильномъ развитіи таланта. Почти сразу по пріѣздѣ въ Петербургъ, пятнадцати лѣтъ долженъ онъ былъ приняться за черныи литературный трудъ въ видѣ случайныхъ мелкихъ срочныхъ статей въ *Литературныхъ прибавленіяхъ къ Инвалиду* и *Литературной Газетѣ* А. Краевского, *Сынъ Отечества* Н. Л. Полевого, въ *Пантеонѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*; писалъ водевили для александринскаго театра, былъ поставщикомъ у книгопродавца Полякова азбукъ и сказокъ (таковы, напримѣръ, сказка *Баба-Яга*, лѣтъ черезъ тридцать вновь изданная по какому-то праву Печатнымъ съ громкимъ именемъ автора). По собственнымъ словамъ онъ написалъ въ своей жизни до трехсотъ печатныхъ листовъ прозы.

Особенно помогъ ему встать на ноги и избавиться отъ нищеты Григорій Францовичъ Венецкій, наставникъ-наблюдатель въ пажескомъ корпусѣ и преподаватель въ дворянскомъ полку. Онъ содержалъ приготовительный пансіонъ для поступающихъ въ корпуса, и, познакомившись гдѣ-то съ Некрасовымъ, предоставилъ ему занятія при своемъ пансіонѣ по всѣмъ русскимъ предметамъ. Это избавило юношу отъ прелестей почлеговъ подъ открытымъ небомъ. Венецкому-же былъ обязанъ Некрасовъ появленіемъ изданія своихъ дѣтскихъ стихотвореній подъ заглавіемъ *Мечты и звуки*. Матеріальное положеніе его въ 1840 году настолько улучшилось, что онъ могъ даже скопить нѣсколько деньжонокъ на это изданіе. Къ тому-же Венецкій склонилъ его приступить къ нему, обязавшись продать по билетамъ заранее рублей на пятьсотъ. Некрасовъ все-таки колебался, но было уже поздно отказываться отъ дѣла: Венецкій успѣлъ продать до сотни билетовъ, и деньги были прожиты. Некрасовъ обратился за совѣтомъ къ Жуковскому, который не совѣтовалъ ему выпускать изданіе, говоря, что онъ потомъ будетъ жалѣть объ этомъ; но такъ какъ было поздно, то Жуковский посоветовалъ ему по крайней мѣрѣ снять съ книги имя. Некрасовъ такъ и сдѣлалъ, и книга вышла лишь съ заглавными буквами его имени—Н. Н.

Изданіе Некрасова встрѣтило безпощадный отзывъ Бѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Это былъ одинъ изъ тѣхъ краткихъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждой книжкѣ тогдашнихъ журналовъ по поводу безпрестанно появлявшихся начинаній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ на славу Пушкина. Бѣлинскій въ своей рецензіи не входилъ вовсе и въ разборъ стиховъ Некрасова, а ограничивался нѣсколькими бѣглыми мыслями о томъ, какой промахъ дѣлаютъ люди не одаренные

поэтическимъ талантомъ, выступая на литературное поприще со стихами; проза для нихъ благодарнѣе стиховъ. Впрочемъ въ *Съверной Пчелѣ*, *Библиотекѣ для Чтенія* и *Современникѣ* Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе лестныя для себя рецензіи, находившія въ его стихахъ проблески таланта и возлагавшія на него надежды. Книга, розданая на комиссію въ разные магазины, не пошла, и въ послѣдствіи Некрасовъ самъ ее скупалъ и истреблялъ подобно Гоголю, поступавшему такимъ образомъ со своимъ *Гансомъ-Кюхельгартеномъ*.

II.

Съ 1841 по 1845 годъ слѣдуетъ важнѣйшій періодъ во всей жизни Некрасова, потому что въ продолженіи его окончательно сформировались всѣ его умственныя и нравственныя силы, и онъ является подъ конецъ его такимъ, какимъ оставался во всю послѣдующую жизнь. Къ сожалѣнію періодъ этотъ—самый темный въ биографическомъ отношеніи. Намъ извѣстно лишь, что продолжая жить литературнымъ трудомъ, онъ вращался въ самыхъ разнообразныхъ кружкахъ, великосвѣтскихъ, чиновныхъ, литературныхъ, театральныхъ, студенческихъ и пр. Къ этому-же времени относится и знакомство его съ кружкомъ Бѣлинскаго, который конечно и былъ главнымъ двигателемъ умственного развитія Некрасова, опредѣливши всю его дальнѣйшую литературную дѣятельность.

«Въ началѣ сороковыхъ годовъ, говоритъ объ этомъ И. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ, къ числу сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ* присоединился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензіи обратили на него вниманіе Бѣлинскаго, и онъ познакомился съ нимъ».

«Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Бѣлинскій понималъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ; но когда онъ прочелъ ему свое стихотвореніе *На дорожѣ*, у Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?

«Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотвореніе *Къ родинѣ* привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ вынулъ его изъ кармана и послалъ его въ Москву къ своимъ пріятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ друзей своихъ... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка».

Къ этому времени относится изданіе различныхъ литературныхъ сборниковъ, которые представляются какъ-бы подготовленіемъ Некрасова къ его издательско-журнальной дѣятельности. Таковы были *Статейки въ стихахъ безъ картинокъ*, изд. 1843 году, *Физиологія Петербурга*, изд. въ 1845 году, *Первое апрѣль*, изд. 1846 году и *Петербургскій Сборникъ* тоже въ 1846 году. Наконецъ въ 1848 году Некрасовъ въ компаніи съ Панаевымъ купилъ у Никитенко Пушкинскій *Современникъ*, который и началъ издаваться съ 1-го января 1847 года подъ его редакціею.

Журнальную дѣятельность Некрасова можно раздѣлить на три періода: первый

періодъ — отъ 1847 по 1855 годъ — представляется самой тяжелой эпохой, какъ въ журнальной дѣятельности его, такъ и въ самой жизни. Бѣлинскій умеръ въ 1848 г. Наступили годы реакціи. Ко всему этому присоединилась тяжелая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ частью ненормальной жизни въ молодости, частью — неустанной, изнурительной работы, такъ какъ въ это время весь журналъ лежалъ на его плечахъ. Лучшіе доктора, русскіе и иностранные, опредѣлили горловую чахотку и присудили его къ неизбежной смерти. Но все это оказалось лишь ложною тревогою. Профессоръ медико-хирургической академіи Шпулинскій объяснилъ болѣзнь совѣмъ иначе и предписалъ сообразно своему діагнозу леченіе, шедшее въ полный разрѣзъ съ мнѣніями знаменитостей, и выздоровленіе Некрасова, тщетно проведеннаго передъ тѣмъ зиму въ Римъ и забнувшего тамъ неимпозитно въ холодныхъ отеляхъ, пошло такъ быстро, что отъ интимной чахотки не осталось и слѣда, кромѣ нѣкоторой слабости голоса. А затѣмъ кончилась крымская война, началась эпоха либерализма и реформъ. *Современникъ* ожилъ: къ нему начали приливать новыя могучія литературныя силы, и количество подписчиковъ съ каждымъ годомъ начало возрастать тысячами.

Второй періодъ журнальной дѣятельности, съ 1856 по 1866 г. — былъ періодомъ наибольшаго развитія силъ и дѣятельности Некрасова. Умственный и нравственный горизонты поэта значительно раздвинулись подъ вліяніемъ того сильнаго движенія, какое началось въ обществѣ, и тѣхъ людей, которые окружали его.

Прежніе идеалы отбѣсняются новыми, и подобно тому, какъ Бѣлинскій не любилъ, когда ему напоминали о *Бородинской годовщинѣ* или *Менцелѣ*, такъ и Некрасовъ неохотно вспоминалъ о грѣхахъ юности, вроде романа *Три страны свѣта*. Это просвѣтленіе отразилось и въ творчествѣ поэта. Отъ горячаго, но крайне неопредѣленнаго протеста противъ пошлости, насилія и рабства онъ обращается теперь къ народному горю въ широкомъ и глубокомъ смыслѣ. Все лучшее и наиболѣе сильное написано имъ въ этотъ второй періодъ его журнальной дѣятельности: *Размышленіе у параднаго подъѣзда*, *Морозъ - Красный носъ*, *Коробейники*, *Желѣзная дорога*, *Крестыанскія дѣти* и пр. Въ тоже время не перестаетъ онъ принимать дѣятельное участіе и въ изданіи журнала: и своимъ руководствомъ, и своими практическими совѣтами, и связями, и наконецъ личными трудами. Такъ между прочимъ ему принадлежитъ мысль о приложеніи *Свистка* къ *Современнику*. Мысль эта явилась у него еще во время пребыванія въ Римѣ въ 1856 году. Ему тамъ часто попадалась въ руки одна изъ мѣстныхъ сатирическихъ газетъ и подъ впечатлѣніемъ ея онъ вознамѣрился завести *Свистокъ* при *Современникѣ*. Въ *Свисткѣ* этомъ было помѣщено не мало его сатирическихъ куплетовъ, въ томъ числѣ *Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ*, приписанная Добролюбову, которому принадлежатъ лишь примѣчанія къ этимъ куплетамъ. Въ тоже время и матеріальное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось лишь въ этотъ второй періодъ его жизни. Кромѣ успѣха *Современника* Некрасовъ по малу былъ обязанъ этимъ и изданію своихъ стихотвореній, которое было разрѣшено ему въ 1860 году, по ходатайству графа А. В. Адлерберга.

Прекащеніемъ *Современника* въ 1866 году кончается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два года переходнаго состоянія,

весьма тяжелаго. Съ 1868 года начинается третій періодъ, въ которомъ Некрасовъ является уже во главѣ *Отечественныхъ Записокъ*, и періодъ этотъ длится до его смерти.

Въ эти послѣднія десять лѣтъ своей жизни Некрасовъ былъ все также дѣятеленъ и бодръ духомъ, талантъ его стоялъ на той-же высотѣ и творчество его ознаменовалось рядомъ произведеній не уступающихъ прежнимъ—каковы: *Русскія женщины*, *Кому на Руси жить хорошо* и пр.; но въ тоже время физическія силы начали измѣнять ему съ каждымъ годомъ, онъ замѣтно старѣлъ, хилѣлъ, а въ послѣднія пять лѣтъ часто началъ и прихварывать.

Жизнь въ послѣдніе годы велъ онъ довольно однообразную. Зиму проводилъ въ своей городской квартирѣ на Литейной въ домѣ Краевского, въ которой онъ прожилъ лѣтъ двадцать. Зимой писалъ онъ весьма мало. Лѣтомъ уѣзжалъ или къ брату, въ Ярославское имѣніе послѣдняго, или въ Чудово, гдѣ онъ имѣлъ охотничью дачу. Тутъ-то обыкновенно среди сельской обстановки и природы и возбуждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдкая осень обходилась безъ того, чтобы по возвращеніи въ городъ, онъ не привозилъ чего-нибудь новаго, что читалъ обыкновенно друзьямъ и обрабатывалъ для печати, пока столпчая жизнь не втягивала его въ свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ охотѣ.

Первые признаки болѣзни, сведшей Некрасова въ могилу, появились уже въ началѣ 1875 года, но Некрасовъ все перемогался больше году, продолжая вести прежнюю жизнь и не обращая особеннаго вниманія на болѣзнь, которую приписывалъ геморроидальнымъ припадкамъ, и былъ увѣренъ, что они не представляютъ никакой серьезной опасности. Но къ веснѣ 1876 г. болѣзнь начала заявлять себя такъ сильно и мучительно, что потребовала уже серьезнаго леченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчинѣ, въ упорной борьбѣ со своею болѣзнію, а осенью долженъ былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и изнемогшій. Вернулся онъ изъ Крыма, гдѣ пользовалъ его докторъ Воткинъ, зимою въ Петербургъ и уже почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только прогуливаясь по комнатѣ. Жестокія нервныя боли, увеличиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 г. дошли до нестерпимыхъ, чисто адскихъ мукъ. Въ рѣдкія минуты успокоенія Некрасовъ не переставалъ слѣдить за литературою и жизнью, читалъ газеты, корректуры, писалъ свои послѣднія пѣсни. Единственнымъ отраднымъ утѣшеніемъ для него въ это время было скорбное участіе въ его болѣзни всего русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ дальнихъ ея участковъ, стекались къ нему письма, стихотворенія, телеграммы, выражавшія глубокое, искренное сочувствіе къ нему какъ къ поэту народной скорби вмѣстѣ съ пожеланіями избавленія отъ болѣзни и долготѣйшей жизни.

Около 20-го ноября стали появляться признаки изнурительной лихорадки, результатомъ которыхъ было то, что исхуданію и слабость еще болѣе увеличились, и 14-го декабря онъ сталъ уже несвязно говорить, лишился употребленія правой руки и ноги; 27-го же началась агонія, и вечеромъ въ тотъ-же день, 8-го часовъ 40 минутъ, его не стало.

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодевичьемъ монастырѣ. День былъ

ясный, но чрезвычайно морозный, и это конечно было главною причиною, что толпа шедшая за гробомъ, не превышала четырехъ тысячъ человекъ. Тѣмъ не менѣе похороны Некрасова все-таки представляли собою видъ торжественной и трогательной оваціи въ память почившаго поэта. Послѣ отпѣванія въ церкви Новодѣвичьяго монастыря было произнесено протоіереемъ Горчаковымъ надгробное слово съ глубокимъ чувствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ могилу и зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ словъ надъ могилою поэта, и затѣмъ толпа тихо разошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣчную память о своемъ дорогомъ поэтѣ.

III.

Ни объ одномъ писателѣ не составилось столько одностороннихъ, предразсудочныхъ взглядовъ, какъ о Некрасовѣ. Брали какой-нибудь одинъ изъ элементовъ его поэзіи, и по немъ судили обо всей его дѣятельности. Такъ напримѣръ, въ массѣ его произведеній вы конечно найдете нѣсколько такихъ, которыя написаны съ предвзятыми тенденціозными цѣлями: таковы хотя - бы разные сатирическіе куплеты, напечатанные въ *Свисткѣ* и другихъ изданіяхъ; но эти куплеты составляютъ такое незначительное меньшинство сравнительно со всѣмъ прочимъ написаннымъ Некрасовымъ, что было-бы въ высшей степени несправедливо по этимъ пьесамъ судить обо всей дѣятельности поэта. А между тѣмъ до сихъ поръ въ значительной массѣ публики сохраняется о Некрасовѣ мнѣніе, какъ о чемъ-то вродѣ русскаго Ювенала. Нѣтъ основанія отрицать совсѣмъ сатирической элементъ поэзіи Некрасова. Въ значительной дозѣ входитъ онъ въ массу произведеній, но все-таки это больше ничего, какъ элементъ и вполнѣ не исчерпывающій всей поэзіи Некрасова.

Если-же вы, откинувъ всѣ эти предвзятыя сужденія, начнете перебирать подъ-рядъ всѣ стихотворенія Некрасова,—вы болѣе и болѣе будете убѣждаться, что передъ вами поэтъ-лирикъ въ истинномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова, который въ большинствѣ случаевъ пѣлъ вполнѣ безхитростно, повинувшись лишь своей творческой фантазіи или нахлѣбавшему чувству, мало заботясь о строгой выдержкѣ и систематичности своихъ произведеній или о томъ, въ какой степени они выйдутъ содержательны и какое произведутъ впечатлѣніе. Сегодня его поразили размышленія у параднаго подъѣзда,—онъ пишетъ сатирѣ, исполненную гражданской скорби, а завтра онъ способенъ тѣмъ-же перомъ рассказывать вамъ о томъ, какъ „*долго не сдавалась Любушка сосѣдка*“. Сегодня подъ гнетомъ столичной суеты онъ вамъ передастъ свои скорбныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ несчастнаго, осенняго дня, а завтра подъ обаяніемъ сельскаго приволья подаритъ васъ трогательною буколическою идилліею, въ которой расскажетъ о крестьянскихъ дѣтяхъ, о дядѣ Мазаѣ съ зайцами или о своихъ впечатлѣніяхъ, навѣянныхъ вежкою, полуразрушенною сельскою церковью. Если большинство произведеній Некрасова однообразны по мрачному, тоскливому тону, зато по формѣ и содержанію они представляютъ самое пестрое разнообразіе. Подвести ихъ подъ какія-нибудь рубрики нѣтъ никакой возможности безъ крайнихъ натяжекъ. Нѣкоторые стихотворенія до того разнородны по содержанію и по стилю,

что можно приписать их разным поэтам. Такъ напримѣръ статочное-ли дѣло, чтобы одному и тому-же писателю могли принадлежать поэма *Русскія женщины* и дума *Сторона наша убогая*, элегантныя элегіи въ пушкинскомъ стилѣ, вроде *Да, наша жизнь текла мнѣжно*, и рядомъ съ ними пѣсня вроде *У людей-то въ дому—чистота, льгота*. Можно положительно сказать, что вся русская жизнь отразилась въ стихотвореніяхъ Некрасова въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, начиная великосвѣтскими салонами и клубами и кончая чердакомъ труженника, интеллигентнаго пролетарія или подваломъ мастерового, начиная барскою усадьбою и кончая полуразвалившюся хатою тетушки Ненны. При такомъ разнородномъ всеобъемлющемъ содержаніи своихъ произведеній Некрасовъ является отнюдь не пѣвцемъ какого-либо сословія, партіи, кружка, а однимъ изъ тѣхъ собирательныхъ лириковъ, которые отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ думы цѣлаго вѣка своей родной земли, которые выплакиваютъ въ своихъ звукахъ слезы всѣхъ своихъ современниковъ и соплеменниковъ. Въ этомъ заключается причина популярности Некрасова не только среди людей одного съ нимъ лагерь, но и въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго какихъ-либо партійныхъ увлеченій.

Но этого мало, что Некрасовъ въ своихъ произведеніяхъ воспѣлъ всѣ слои общества,—и другое и всестороннее значеніе музыки его заключается также и въ томъ, что онъ отразилъ въ своихъ стихотвореніяхъ всѣ тѣ элементы, броженіе которыхъ составляютъ суть разсматриваемаго нами періода. Какъ поэтъ переходной эпохи, отразившій въ своихъ стихахъ самые разнохарактерные мотивы своего времени, Некрасовъ далеко не представляетъ той цѣлостности и однородности, какія мы замѣчаемъ въ поэтахъ, вырастателяхъ духа и мотивовъ того тѣснаго интеллигентнаго слоя, къ которому они принадлежатъ, или съ другой стороны чѣмъ могъ-бы отличаться поэтъ, вышедшій прямо изъ народа и мало соприкасающійся съ высшими слоями общества, вроде Кольцова или Шевченко. Въ лирикѣ Некрасова вы постоянно замѣчаете присутствіе двухъ чловѣкъ, которые при всемъ своемъ тѣсномъ соприкосновеніи другъ съ другомъ, однакоже представляютъ значительную разнородность, порою даже и полное противорѣчіе. Такъ мы видимъ, что съ одной стороны лирика Некрасова, повинувшаяся духу времени, выражаетъ собою то пробужденіе совѣсти въ интеллигентномъ чловѣкѣ, которое послѣдовало въ концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятихъ годовъ, тѣ отрпцанія обветшалыхъ формъ жизни во имя новыхъ идеаловъ, горячіе порывы къ этимъ новымъ идеаламъ, протесты во имя ихъ, при горькомъ сознаніи надломленности, дряблости и безсилія сдѣлать хотя одинъ шагъ къ ихъ осуществленію.

Но поэзія Некрасова не исчерпывается однимъ рефлексивнымъ мотивомъ сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Взлелѣвши въ пѣдрахъ помѣщичьей среды, судьба словно преднамѣренно выкинула его потокомъ изъ нея и заставила его протянуть лямку разноразличія въ самомъ тяжеломъ ея видѣ—борьбы съ голодомъ изъ-за черстваго куска хлѣба,—и изъ его лиры поднялись совершенно особенныя, невѣдомыя звуки, съ которыми ничего общаго не имѣетъ рефлексивная лирика сороковыхъ годовъ. Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова, какъ всеобъемлющаго пѣвца своего народа и вѣка.

По порядку элементовъ, обратимъ сначала вниманіе на тѣ мотивы лирики Некрасова, въ которыхъ выражается рефлексивный духъ сороковыхъ годовъ. Здѣсь мы впе-

димъ въ лицѣ Некрасова мрачнаго пессимиста, и муза его вполне соответствуетъ тѣмъ эпитетамъ, которые онъ самъ къ ней приложилъ: является дѣйствительно музою мести и печали. Безпощадно бичуя всевозможные общественные пороки, гнѣздящіеся на почвѣ старыхъ порядковъ, поэтъ ни въ чемъ не находитъ утѣшенія и не видитъ никакого выхода изъ мрачнаго положенія вещей. Печально глядитъ онъ на свое поколѣніе и, замѣчая въ немъ полный разладъ словъ и дѣлъ, одѣвъ радужныя мечты при полномъ безсиліи къ осуществленію ихъ, восклицаетъ:

Покорись — о ничтожное племя,
Неизбѣжной и горькой судьбѣ!
Захватило насъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ:
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно.
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ часто мелькаетъ во многихъ его стихотвореніяхъ. Въ поэмѣ *Саша* онъ развивается въ цѣлый типъ вроде Рудина, и въ этой поэмѣ болѣе всего карается авторомъ именно все та же раздвоенность его поколѣнія, заключающаяся въ томъ, что

Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,
Только дающая силу и власть
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любить онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,
А доведись — комара не обидитъ!
Да говорятъ, что ему и любовь
Голову больше волнуется — не кровь!

Эти качества своего поколѣнія поэтъ принимаетъ нерѣдко и къ себѣ, говоря:

Я зато глубоко презираю себя,
Что живу, день за днемъ бесполезно губя;
Что я, силы своей не пытавъ ни на чемъ,
Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ,
И лѣниво твердя: я ничтоженъ и слабъ!
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;
Что, доживши кой-какъ до тридцатой весны,
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкалися ногъ,
Да и умникъ подъ-часъ позавидовать могъ!
Я зато глубоко презираю себя,
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,
А брожу дикаремъ — безирюстенъ и сирь,
И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,
А до дѣла дойдетъ — замираетъ рука!

Подобныя качества поэтъ прямо приписываетъ наслѣдственности и вліянію среды:

И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,

Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Но нѣс, что жизнь мою окутавъ съ первыхъ лѣтъ,
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ,
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!..

Съ такою-же скептической пронию относится Некрасовъ и къ своей музѣ. Сначала по его словамъ куда ретивъ былъ его Погасъ:

Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ...

Но недолго продолжалась эта смѣлость:

И что-жъ?.. мои слышавъ звуки,
Сочли ихъ черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой;

а поэту было тогда всего двадцать лѣтъ:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи
И ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія свои —
Душа пугливо отступала...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были его встрѣчи съ музой:

Украдкой бѣдная придетъ,
И шепчетъ пламенные рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ,
Зоветь то въ города, то въ степи
Завѣтнымъ умисломъ полна;
Но загремятъ внезапно цѣпи,—
И много скростся она...
Не вовсе я ея чуждался,
Но какъ боялся, какъ боялся!
Когда мой ближній утопалъ
Въ волнахъ существеннаго горя,—
То громъ небесъ, то ярость моря
Я благодушно воспѣвалъ.
Бичуя маленькихъ ворпшекъ,
Для удовольствія большахъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалою гордился ихъ.
Подъ игромъ лѣтъ душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И муза повсе отвернулась,
Презрѣнья гордаго полна!

Это рефлексивно-скептическое отношеніе къ жизни доходитъ порою до такихъ
скабичевскій.

предѣловъ, что та благодушно простая, страстная любовь къ народу и вѣра въ его сплы, которая проникаетъ многія стихотворенія Некрасова, словно покидаетъ его, и онъ восклицаетъ въ сокрушеніи:

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣніе безмѣрное
Только досаду родить...
Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,
Гдѣ-же твой идолъ сокрытъ?

Остается одна природа, и лишь на ея лонѣ ищетъ отдыха и утѣшенія измученное истерзанное сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ —
Заглуши эту музыку злости!
Чтобъ душа ощущала покой,
И прозрѣвшее око могло-бы
Насладиться твоей красотой!..

Но особенное преимущество отдавалъ поэтъ природѣ своей родины. Она производила на него наиболѣе исцѣляющее и умиротворяющее вліяніе, и во многихъ стихотвореніяхъ онъ относится къ ней съ страстною любовью и нѣжностью. Такъ въ стихотвореніи *Тихина* онъ прямо выражаетъ свое пристрастіе къ родной природѣ передъagnoземной. Припомнимъ также начало поэмы *Саша*, гдѣ отношеніе поэта къ родной природѣ выражается въ еще болѣе страстномъ порывѣ, исполненномъ любви и сокрушенія. Всѣ вышеприведенные мотивы вполне приравниваютъ Некрасова къ его сверстникамъ, поэтамъ и беллетристамъ сороковыхъ годовъ: та-же раздвоенность, тотъ-же безотрадный пессимизмъ, наконецъ и та-же любовь къ сельской природѣ, русскому ландшафту.

IV.

Но одними мотивами сороковыхъ годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова. Рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу звуковъ, дѣлающихъ его поэзію особенно дорогою для людей младшихъ поколѣній. Въ этихъ звукахъ и слѣда нѣтъ того унылаго пессимизма, о которомъ мы только что говорили. Здѣсь напротивъ того Некрасовъ является горячимъ энтузіастомъ, исполненнымъ ободряющей вѣры въ могучія силы народа и въ неизбежность побѣды свѣта надъ тьмою и правды надъ кривдою. Въ порывѣ подобнаго энтузіазма онъ восклицаетъ въ стихотвореніи *Школьники*:

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славныхъ — то и знай —
Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой,
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И напыщенныхъ собой.

Припомните также въ *Письмъ Еремудики* хотя-бы слѣдующіе стихи, проникнутые не менѣе искреннимъ и горячимъ энтузіазмомъ:

Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней,
Въ форму старую, готовую,
Необдуманно не лей!
Жизни волевымъ впечатлѣніемъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою,
Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, истиной, свободою
Называются они!
Возлюби ихъ: на служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца!

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтите въ рефлексивной поэзіи сороковыхъ годовъ. Это—мотивы новаго, выступившаго на сцену челоуѣка во образѣ разночпнца, и въ вышеприведенныхъ стихахъ выражается вся святая святыхъ этого новаго челоуѣка, всѣ его отношенія къ окружающей жизни и заветныя упованія.

Конечно одними бравурными мотивами необузданной вражды къ лютой подлости и жажды грянуть божьей грозой надъ лукавой неправдой во имя безкорыстнаго труда не исчерпывается еще все, чѣмъ живетъ новый челоуѣкъ. Въ жизни его вы найдете сравнительно съ людьми сороковыхъ годовъ еще болѣе горя, а подѣ-часъ и отчаянья. Но это горе носитъ совершенно иной характеръ и обусловливается другими причинами. Тамъ вы видите тяжкіе укоры проснувшейся совѣсти при горькомъ сознаніи безспіа возстать духомъ и заглядить вины отцовъ и свои собственные. Здѣсь напротивъ того зло лежитъ не внутри челоуѣка, а внѣ его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ, борьбу съ которыми не выдерживаютъ подѣ-часъ самыя могучія силы. Челоуѣкъ сороковыхъ годовъ со своею проснувшейся совѣстью при всѣхъ своихъ гамлетовскихъ рефлексіяхъ оставался пзпѣженнымъ и празднымъ бариномъ, продолжая пользоваться всѣмъ благомъ жизни. Разпочпсепъ-же подѣ гнетомъ борьбы съ ничтою обыкновенно запп-вастъ. Онъ опускается въ это время повидимому до послѣдней степени самоуппижонія:

Запутанный, задавленный,
Съ поникшей головой,
Идешь, какъ обезславленный,
Гнушался самъ собой...
Сгорасень злѣбой тайною...
На скудный твой нарядъ
Съ насмѣшкой неслучайною
Всѣ, кажется, глядятъ.

Но при всемъ этомъ самоуппженіи, впушасемъ стоиъ жалкимъ видомъ, онъ все-

такъ далекъ отъ гамлетовскихъ самоубиваній и того растлѣвающаго пессимизма, который, внушая, что не стоитъ ни за что приниматься, такъ какъ ничто ни къ чему не приведетъ, оправдываетъ и узаконяетъ эту привычную лѣнь и апатію. Напротивъ того, на самой послѣдней точкѣ паденія не перестаютъ въ немъ кипѣть силы, жаждущія благой дѣятельности; едва протрезвляется онъ,

И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.

Онъ сознаетъ въ то-же время, что если онъ не въ силахъ достигнуть ни того, ни другого, то виною этого не собственная дряблость, а безвыходное внѣшнее положеніе, нищета, заставляющая его гнуть спину надъ каторжнымъ, забывающимъ трудомъ, не давая ему возможности выбиться и приняться за любимое дѣло:

Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрамъ-бы нероскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелаго,
Гнетущаго труда,
Быть можетъ, буйну голову
Сносилъ-бы я тогда.
Покинувъ путь губительный,
Нашелъ-бы путь иной,
И въ трудъ иной — свѣжительный —
Поникъ-бы всей душой.

Такимъ образомъ на самой послѣдней ступени безвыходнаго отчаянья въ немъ продолжаетъ жить тотъ-же разночинецъ съ его энтузіазмомъ святого, свѣжительнаго труда на общую пользу. Замѣьте въ то-же время глубоко и вѣрно подмѣченную черту новаго человѣка: онъ идущій какъ обезславленный, гнушаясь самъ себя при видѣ скуднаго наряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами показываютъ, онъ при мечтѣ о ничтожной части, прежде всего заботится не о себѣ, а о своей старушкѣ, какъ-бы хорошо было полечить ее, о сестрахъ, которыхъ слѣдовало-бы приодѣть, а потомъ уже о себѣ.

Къ числу подобныхъ-же стихотвореній разночиннаго типа относятся *Буря*, *Застѣнчивость*, *Бѣду-ли ночью по улицѣ темной*.

Буря и *Застѣнчивость* представляютъ два противоположные полюса въ жизни разночинца. Въ первомъ стихотвореніи вы видите пѣснь торжествующей любви, но страсть носитъ здѣсь совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ мы привыкли встрѣчать въ любовныхъ элегіяхъ предшествовавшей эпохи и даже въ некрасовскихъ элегіяхъ пушкинскаго стиля. Тамъ въ самомъ разгарѣ страсти не перестаетъ преобладать разлагающій анализъ, унылая рефлексія, исполненная бѣдкой горечи то взаимныхъ поцрековъ, то предчувствій непрочности счастья и т. п.

Здѣсь-же напротивъ того вы видите полную и безавѣтную отдачу страсти безъ всякихъ колебаній и заботъ о завтрашнемъ днѣ. Единственнымъ препятствующимъ

элементомъ является опять-таки чисто-внѣшнее обстоятельство, представляющееся въ видѣ бури, которая грозитъ помѣшать свиданію; но и буря оказывается не по чемъ, потому что Любушка-сосѣдка въ свою очередь не отступитъ передъ препятствіями въ виду счастья любви и вопреки подозрѣніямъ счастливаго любовника вовсе не такая пугливая пѣженка, чтобы въ бурю за ворота было ей выйти за-дво. Вообще по своеобразности и бравурному страстному тону стихотвореніе это напоминаетъ собою многія пѣсни Кольцова, выражающія такую-же безавѣтную удачу страсти здороваго и непскалѣченнаго русскаго простаго человѣка.

Совершенно противоположный характеръ носитъ стихотвореніе *Застѣнчивость*. Здѣсь воспѣвается одна изъ самыхъ общераспространенныхъ и роковыхъ слабостей разночинца. Здѣсь вы не видите уже удала торжествующей страсти, а напротивъ того — унылое отчаяніе вслѣдствіе невозможности избавиться отъ проклятой застѣнчивости. Но и здѣсь несчастливца не покидаетъ сознаніе, что въ сущности онъ вовсе не такой жалкій и пачтожный, какимъ представляется въ обществѣ, что въ душѣ его не мало таится могучихъ силъ, что въ божьихъ дарахъ ему не отказано и лицомъ онъ не хуже людей, что свободно и молодо въ сердцѣ его волнуется кровь и что подъ маской наружнаго холода безконечная скрыта любовь. И здѣсь наконецъ источникъ зла таится не внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ.

Придавила меня бѣдность грозная,
Запугалъ меня съ дѣтства отецъ,
Безталанная долюшка слезная
Извела, доканала въ конецъ!..

Что касается стихотворенія *Бду-ли ночью*, то оно представляетъ собою ту крайнюю степень мрачнаго, трагическаго пагуба, до котораго доводитъ бѣдняковъ-разночинцевъ безъисходная борьба съ нищетою.

Ничему иному, какъ тому-же разночинному духу слѣдуетъ приписать особенное свойство некрасовской лирики, на которое мало обращала вниманіе критика при жизни поэта. Оказывается, что ни одинъ изъ русскихъ современныхъ поэтовъ не любилъ такъ часто обращать вниманіе на свѣтлыя стороны нашей жизни, ни одинъ не изображалъ такъ много положительныхъ, идеальныхъ, доблестныхъ типовъ, съ такимъ горячимъ, чисто шиллеровскимъ энтузіазмомъ, какъ именно этотъ самый поэтъ, котораго привыкли считать мрачнымъ пессимистомъ и желчнымъ отрицателемъ. И что всего замѣчательнѣе, — положительные типы Некрасова отнюдь не носятъ фантастически-отвлеченнаго характера, — ни въ всякихъ предѣлахъ времени и пространства, и тѣмъ менѣе рисуются въ какомъ-нибудь субъективномъ образѣ, повторяющемся въ различныхъ вариантахъ, какъ это мы видимъ напримѣръ у Байрона и его послѣдователей. Какъ у истиннаго реалиста, идеальные типы Некрасова облечены въ плоть и кровь своего времени и среды. Они исполнены разнообразіемъ контрастныхъ особенностей; ни одинъ не похожъ на другого. Некрасовъ искалъ и находилъ ихъ всюду, во всѣхъ слояхъ общества.

Такъ на самомъ верху общественной іерархіи, въ великосвѣтской средѣ, рисуются княгини Т—ая и В—ская, съ ихъ мужьями-страдальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, исполненныхъ граціозно-пѣжной любви и гордаго непоколебимаго самоот-

верженія, открывается передъ нами словно античный классическій міръ величаваго героизма. А между тѣмъ въ каждомъ ихъ душевномъ движеніи и помышленіи, въ каждомъ шагѣ, словѣ, позѣ вы видите русскую жизнь, русскую природу, русскихъ велико-свѣтскихъ барынь, мирно и безопасно нѣкогда порхавшихъ по баламъ и маскарадамъ, и вдругъ силою обстоятельствъ превратившихся словно въ римскихъ матронъ эпохи Коріолана и Тарквинія Гордаго. Въ этомъ контрастѣ простыхъ и незатѣйливыхъ типичныхъ чертъ русской жизни съ античною величавостью доблестныхъ русскихъ женщинъ заключается главная иллюзія поэмъ Некрасова. Въ то-же время, чтобы представить своихъ героинь во всемъ ихъ идеальномъ свѣтѣ и показать мѣру ихъ самопожертвованія, поэтъ съ геніальнымъ художественнымъ мастерствомъ въ особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить ихъ прошлую жизнь: всѣ эти волшебныя воспоминанія, среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскихъ снѣговъ при наводящемъ уныніи и ужасѣ завываніи вьюги, о минувшихъ годахъ любви и счастья, роскоши и нѣги повергаютъ читателя въ тотъ невольный трепетъ, какой способны производить лишь величайшія созданія искусства. Припомните также сцену борьбы съ родительскою властью и съ администраціей въ лицѣ губернатора, — это пробужденіе въ суровомъ администраторѣ человѣка, эти невольныя слезы его, — художественнѣе, глубже, выше всѣхъ этихъ сценъ, можно положительно сказать, ничего еще не было въ русской литературѣ.

Идя затѣмъ по нисходящей линіи общественной іерархіи, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ тружениковъ русской мысли, мужественно и неустанно боровшихся въ тиши невѣжества и сходявшихъ въ преждевременныя, безвременныя могилы, оплакиваемыхъ небольшою горстью друзей, которые одни лишь понимали, чего лишается Россія въ этихъ сподвижникахъ и мученикахъ нашего времени. Таковы были Бѣлинскій, Вл. Милютинъ, Добролюбовъ, Писаревъ, и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ восторженныхъ гимнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ пришлась естественно на долю Бѣлинскаго, передъ которымъ Некрасовъ въ продолженіи всей своей жизни не переставалъ благоговѣть не только какъ передъ великимъ человѣкомъ своей родины, но и какъ передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ своею славою.

Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы находилъ Некрасовъ въ народной средѣ, и вотъ передъ нами проходятъ рядъ образовъ благодушныхъ, любвеобильныхъ, исполненныхъ могучей удали, по чуждыхъ всякой гордой кичливости въ сознаніи своихъ богатыхъ силъ, добродушно смиренныхъ въ рѣдкихъ удачахъ и терпѣливо кроткихъ въ своемъ несходномъ горѣ.

V.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, мы видимъ тѣ-же два разнородные элемента. Одни изъ нихъ въ свою очередь исполнены рефлексивнаго духа сороковыхъ годовъ. Отношеніе Некрасова къ народу въ нихъ вполне гуманно, исполнено горячаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ подъ вліяніемъ освободительныхъ идей, но въ то-же время — пессимистически-отрицательное. Поэтъ смотритъ на народъ здѣсь съ интеллигентнаго высока, представляя его подавленнымъ, забитымъ, обнищавшимъ и въ то-же время полудикимъ, исполненнымъ суевѣрій, бредущимъ по житейской дорогѣ:

Въ безразсвѣтной глубокой ночи,
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете вѣстѣ съ поэтомъ этотъ народъ, оплакиваете его во всѣхъ этихъ жалкихъ и убогихъ тетушкахъ, Ненякахъ, Ванькахъ, топящихъ въ вѣнѣ свои буйныя страсти и горе, ямщикахъ, насильно ожененныхъ на барышникахъ-крестьянкахъ и бьющихъ ихъ подъ пьяную руку, по тщетно стали-бы вы искать чего-нибудь свѣтлаго, положительнаго, страднаго, что возбудило-бы въ васъ не одно состраданіе, но и глубокое сочувствіе. Многія изъ такихъ стихотвореній проникнуты страстнымъ лиризмомъ; но лиризмъ этотъ является выраженіемъ не столько тѣхъ чувствъ, которыми переживаютъ изображаемыя личности изъ народа, сколько личнаго скорбнаго чувства самого поэта, который стоитъ передъ вами на первомъ планѣ со своею проснушеюся совѣстью и душевнымъ разладомъ интеллигентнаго человѣка сороковыхъ годовъ. Таковы стихотворенія: *Въ дорожѣ, Тройка, Извозчикъ, На улицѣ (Воръ, Проводы, Гробокъ, Ванька), Вино, Такъ служба, Забытая деревня, Деревенскія новости, На помѣ* и др.

Но рядомъ со всѣми подобными стихотвореніями вы найдете другія, въ которыхъ поэтъ совершенно отрѣшается отъ себя, личность его исчезаетъ, сливается съ выводимыми на сцену личностями, словно самъ народъ устами поэта выражаетъ свои заветныя думы и чувства. Самый стихъ поэта, не теряя своеобразности, принимаетъ характеръ народныхъ пѣсней, и языкъ его пріобрѣтаетъ такую богатую пластичность, образность, притивость и мѣткость, какія свойственны нашей народной рѣчи. Таковы изъ крупныхъ вещей: *Морозъ Красный носъ, Коробейники, Кому на Руси жить хорошо*; изъ мелкихъ — *Сторона наша убогая, Пахарь, Съ работы, Пѣсни* и пр. Въ подобныхъ вещахъ вы не найдете и тѣни чего-либо отрицательнаго, обличительнаго, пессимистическаго. Напротивъ того: народъ рисуется здѣсь въ своихъ положительныхъ чертахъ, какъ могучій богатырь, который самымъ своимъ непреклоннымъ терпѣніемъ въ многовѣковыхъ страданіяхъ возбуждаетъ въ поэтѣ восторженное обаяніе и ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Чтобы понятъ вполнѣ наглядно все діаметральное различіе этихъ двухъ типовъ народныхъ стихотвореній Некрасова, сравнимъ стихотвореніе *Тройка* съ поэмою *Морозъ Красный носъ*. Въ обоихъ произведеніяхъ содержаніе аналогично: и тамъ, и здѣсь оплакивается слезная доля русской крестьянки. А между тѣмъ между обоими имъ лежитъ непроходимая пропасть. Въ стихотвореніи *Тройка*, представивши плѣнительный образъ деревенской дѣвушки, бѣгущей за тройкою съ проѣзжимъ корнетомъ, авторъ обращается къ ней съ слѣдующими сѣтованіями:

Пожинешь и попразднуешь въ полю,
Будетъ жизнь и полна, и легка...
Да не то тебѣ пало на долю:
За перяху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетинешь уродливо грудь;
Будетъ бить тебя мужъ припередникъ
И сверковъ въ три погубели гнуть;

Отъ работы и черной, и трудной
Отдѣтешь, не успѣя расцвѣсть,
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,
Будешь нявчить, работать и ѣсть.
И въ лицѣ твоёмъ, полномъ движенія,
Полномъ жизни — появится вдругъ
Выраженіе тупого терпѣнья
И безмысленный вѣчный испугъ;
И схоронять въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты свой жизненный путь,
Безполезно угасшую силу,
И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Вы видите здѣсь, правда, глубокое сочувствіе къ судьбѣ крестьянки, но оно не имѣетъ ничего общаго съ народными взглядами на жизнь и его трезвыми идеалами. Совершенно не такъ-бы сталъ въ этомъ случаѣ сочувствовать самъ народъ. На первомъ планѣ стоитъ здѣсь передъ вами эстетикъ сороковыхъ годовъ, болѣе всего оплакивающий потерю крестьянкой внѣшней красоты, которая скоро пропадетъ отъ тяжелаго труда. Ему досадно, зачѣмъ не проживетъ она въ праздной нѣгѣ, при которой красота конечно сохранилась-бы долго, зачѣмъ выйдетъ замужъ за грязнаго мужика, который окажется непремѣнно злымъ привередникомъ и только и будетъ, что колотить ее взапуски съ своею матерью, а главное дѣло, зачѣмъ она только и будетъ, что нявчить, работать и, можете себѣ представить—ѣсть! Но этого всего мало: всю-то жизнь проработавши, она окажется бесполезно угасшею силою, и невольно навертывается у васъ вопросъ: ну, а какимъ-же способомъ она могла-бы оказаться не бесполезною силою? Неужели въ такомъ случаѣ, если-бы удалось ей догнать тройку съ проѣзжимъ корнетомъ и съ нимъ „попраздновать въ волю?“

Совсѣмъ не то видимъ мы въ поэмѣ *Морозъ-Красный носъ*. На первомъ планѣ рисуется здѣсь величавый типъ славянки, который, по словамъ поэта, и до сихъ поръ не успѣлъ еще измелъчаться и часто встрѣчается въ русскихъ селеніяхъ:

Есть женщины въ русскихъ селеніяхъ,
Съ спокойною важностью лицъ,
Съ красивою силой въ движеніяхъ,
Съ походкой, со взглядомъ царицъ —
Ихъ развѣ слѣпой не замѣтить,
А зрячій о нихъ говорить:
«Пройдетъ — словно солнце осѣтитъ!
Посмотритъ — рублемъ подаритъ.»

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своею величавостью придалъ высокій трагическій пафосъ всѣмъ ея горькимъ страданіямъ по случаю смерти мужа. Передъ вами не робкія слезы жалкаго безспіла, подавленности, загнанности, а могучіе стоны словно какой-то эпической героини, до послѣднихъ своихъ титаническихъ силъ борющейся съ злою судьбою. Въ семьѣ она — не безмысленный манекенъ, о который всѣ пробуютъ силу, а равноправный членъ, несущій свою скорбную долю:

Лѣтомъ онъ жилъ работаючи,
Зиму не видѣлъ дѣтей,

Ночи о немъ помышляючи,
Я не смыкала очей.
'Бдетъ онъ, зябнетъ... а и-то, печальная,
Изъ волокнистаго льну,
Словно дорога его чужедальная,
Долгую нитку тваю.
Веретено мое прыгаетъ, вертится,
Въ полъ ударяется..
Проклушка пѣшъ идетъ, въ рытвинѣ крестится
Къ возу на горочкѣ самъ припрягается.
Лѣто за лѣто, зима за зимой —
Эдакъ-то мы раздобылись казной!
Милостивъ буди къ крестьянину бѣдному,
Господи! все отдаемъ,
Что по копейкѣ, по грошику мѣдному
Мы сколотили трудомъ!

Въ этихъ стихахъ передъ вами обрисовывается вся доля крестьянской семьи, правда горькая, слезная, но исполненная высокой нравственной красоты, и въ особенностяхъ эпически-величаво рисуется здѣсь эта женщина, которая, какъ вѣрная Пенелопа, ожидаетъ со своимъ веретеномъ возвращенія мужа изъ дальнихъ и трудовыхъ странствій и въ тоже время словно Парка прядетъ свою нитку, такую-же длинную, какъ дорога ея милаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной, потрясающей поэзии! Таковою-же остается героиня и до конца поэмы, когда по смерти мужа ей приходится исполнять мужичье дѣло, рубить дрова для своихъ горькихъ спротоковъ, и въ страшной истомѣ, въ приливѣ неутѣшнаго горя, она величественно замерзаетъ среди грознаго лѣснаго уединенія. Поэма вполнину потеряла-бы свое чарующее, хватающее за душу, потрясающее обаяніе, если-бы поэтъ не сумѣлъ представить свою героиню въ томъ величаво-идеальномъ свѣтѣ, въ какомъ она рисуется, если-бы она хоть чуточку вышла-бы пошлѣе, зауряднѣе, — словомъ — одною изъ тѣхъ полонумныхъ крестьянокъ „съ выраженіемъ тушого терпѣнья и бессмысленнаго вѣчнаго испуга,“ какая рисуется въ *Тройкѣ*. Но въ чемъ-же заключаются идеальныя черты Дарьи? Въ какихъ особенныхъ подвигахъ, которые выдѣлили-бы ее изъ всѣхъ ее окружающихъ? Въ томъ и дѣло, что ничего экстраординарнаго въ ней не видите: совершенно согласно съ народными идеалами та самая работа и нянчанье дѣтей, къ которымъ поэтъ въ *Тройкѣ* относится съ такою эстетическою безразличностью, здѣсь напротивъ того представлены во всемъ своемъ поэтическомъ апофеозѣ; они-то и дѣлаютъ Дарью героиней, обнаруживая въ ней могучую силу трудовой женщины, чарующей васъ не только на верху безпечнаго счастья, но и въ трагической гибели подъ ударами лихой судьбы.

При этомъ мы должны сдѣлать оговорку, что говоря о двухъ элементахъ творчества Некрасова и обозначая различныя стихотворенія, въ которыхъ преобладаетъ тотъ или другой элементъ, мы въ тоже время далеки отъ дѣленія всѣхъ стихотвореній Некрасова на двѣ рубрики. Слово элементы мы употребляемъ въ истинномъ и точномъ значеніи этого слова. Оба они одновременно присутствовали въ творчествѣ поэта и оказывали свое вліяніе. Поэтому въ томъ или другомъ стихотвореніи можно

видѣть лишь преобладаніе одного изъ элементовъ, а не исключительное господство. Если вы и найдете произведенія, въ которыхъ господствуетъ одинъ изъ элементовъ, напр. *Дума (Сторона наша убогая)*, *Рыцарь на часъ*, то такихъ очень мало. Въ большинствѣ-же оба элемента находятся въ смѣшанномъ состояніи при преобладаніи одного. Такъ въ поэмѣ *Морозъ Красный носъ* преобладаетъ народный элементъ, но въ началѣ вы найдете слѣды и рефлексивнаго. Въ *Тройкѣ* наоборотъ: вся первая половина стихотворенія, представляющая плѣнительный образъ крестьянской дѣвушки, подходитъ болѣе къ народному элементу. Принимая-же въ соображеніе всю массу произведеній Некрасова, можно сказать, что рефлексивный элементъ преобладалъ въ первой половинѣ дѣятельности Некрасова, что соотвѣтствуетъ господству этого элемента въ самомъ обществѣ въ сороковые и пятидесятые годы. Но мѣръ-же того, какъ разночинно-народный элементъ началъ вытѣснять въ общественной жизни рефлексивный, и въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Некрасова мы видимъ преобладаніе перваго.

Этотъ фактъ идетъ совершенно въ разрѣзъ съ тѣми приговорами, которымъ подвергался неоднократно Некрасовъ со стороны критиковъ противнаго лагеря, утверждавшихъ, что, подвергнувшись вліянію критики шестидесятыхъ годовъ, Некрасовъ подчинился требованіямъ ея отрицательно-тенденціознаго отношенія къ жизни и народу и началъ ломать свой талантъ во исполненіе этихъ требованій. На дѣлѣ-же мы видимъ нѣчто совсѣмъ обратное. Именно подъ вліяніемъ рефлексивнаго духа сороковыхъ годовъ въ немъ преобладало отрицательное, пессимистическое отношеніе ко всему окружающему, въ томъ числѣ и къ народу. Разночинцы-же шестидесятыхъ годовъ вліяли на него совершенно обратно: они возбуждали въ немъ любовь къ народу, вѣру въ его могучія силы, скопленные неустаннымъ трудомъ и не сломленные вѣковыми страданіями, раскрывали ему положительныя, идеальныя стороны народа, непьюшія ничего общаго съ прежними его идеалами. И вотъ мы видимъ, что взгляды Некрасова на народъ значительно просвѣтлѣли и расширились: въ стихотвореніяхъ его начали встрѣчаться не однѣ убогія тетушки Ненны и пьяные Ваньки, а Прокобы, дѣдушки Савельи, Мазап, Яковы, Дары, Катерины и пр. Однимъ словомъ пѣз скорбнаго поэта интеллигентнаго меньшинства рефлексивнаго періода опъ обратился въ общепароднаго пѣвца въ самомъ обширномъ и глубокомъ смыслѣ этого слова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

I—Біографическія свѣдѣнія о жизни Тараса Григорьевича Шевченко. II—Характеристика его произведеній. III—Иванъ Савичъ Никитинъ. Иванъ Захаровичъ Суриковъ. Сниридонъ Дмитріевичъ Дрожжинъ. IV—Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ. V—Развитіе и процвѣтаніе въ шестидесятые годы сатирической поэзіи. Кузьма Прутковъ и Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ. Василій Степановичъ Курочкинъ и его *Искра*. Дмитрій Дмитріевичъ Минаевъ.

I.

Движеніе сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ выдвинуло нѣсколькихъ поэтовъ непосредственно изъ народа. Такъ на рубежѣ двухъ эпохъ стоитъ передъ нами такой гигантъ южно-русской поэзіи, какъ Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, который хотя и является болѣе современникомъ Кольцова и Бѣлинскаго, чѣмъ Некрасова и Добролюбова, тѣмъ не менѣе по содержанію и духу своихъ произведеній можетъ быть названъ вполне представителемъ разсматриваемаго нами періода.

Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, по уличному прозвищу Грушевскій, сынъ крѣпостного крестьянина помѣщика Энгельгардта, родился 25-го февраля 1814 года, въ селѣ Моршницахъ, звенигородскаго уѣзда, кievской губерніи; дѣтство-же съ трехлѣтняго возраста провелъ въ селѣ Кирпловкѣ. До восьми лѣтъ жизнь его текла тихо и мирно подъ родительской кровлей. Но въ 1823 году умерла его мать, оставивъ пятерыхъ дѣтей, а отецъ женился на другой. Отъ нея поили дѣти, которымъ она давала предпочтеніе передъ пасынками. „Не проходило часа, пишетъ Шевченко въ своихъ произведеніяхъ, безъ слезъ и драки между нами—дѣтьми, не проходило часа безъ ссоры и брани между отцомъ и мачихой“. Много вынесъ Шевченко побоевъ совершенно безвинно. Со смерти отца въ 1825 году началась скитальческая жизнь Шевченко. Сначала онъ былъ взятъ въ пауку кириловскимъ дячкомъ Петромъ Богорскимъ; втеченіи двухъ лѣтъ прошелъ онъ азбуку, часословъ и псалтырь, учился нѣсколько времени письму у священника Григорія Копица. Убѣжавши отъ Богорскаго, обходявшагося съ учениками крайне жестоко, Шевченко, чувствуя страсть къ рисованію, такъ какъ съ первыхъ годовъ дѣтства исчерчивалъ углемъ всѣ стѣны хаты и заборы, пытался поступить въ ученіе къ разнымъ мѣстнымъ малярамъ-богомазамъ, но это ему не удалось; приходилось ему въ это время заниматься и пастушествомъ, а старшій

братъ Никита тщетно старался приучить его къ хозяйству. Въ 1827 году онъ былъ взятъ въ штатъ господской прислуги, а въ 1829 году отправленъ къ помѣщику Энгельгардту въ Вильну, причемъ на первыхъ порахъ попалъ въ поваренки, но по испытаніи отмѣченъ былъ „годнымъ на комнатнаго живописца“. Тѣмъ не менѣ въ Вильнѣ онъ занималъ сначала при баринѣ мѣсто комнатнаго казачка и подавалъ ему огонь для закуриванія трубки, и лишь когда баринъ засталъ его однажды ночью за копированьемъ казака Платова, онъ хотя и выдралъ его за ухо, надавалъ пощечинъ и велѣлъ его высѣчь, но въ тоже время убѣдился, что изъ мальчика можетъ выйти домашній маляръ. Шевченко сталъ учиться у маляра въ Вильнѣ, а черезъ полгода, по совѣту учителя, признавашаго въ мальчикѣ талантъ, помѣщикъ отдалъ Шевченка къ портретисту Лампи въ Варшавѣ. Тутъ шестнадцатилѣтній Шевченко полюбилъ двѣушку-польку, швею, которой былъ обязанъ первымъ признаніемъ ненормальности своего крѣпостного положенія и знаніемъ польскаго языка, которому она его выучила.

Въ 1831 году Шевченко препровожденъ былъ въ Петербургъ къ своему барину по этапу пѣшкомъ, почти безъ сапогъ и до 1833 года исправлялъ при немъ снова лакейскую должность. Наконецъ баринъ внялъ неотступной его просьбѣ и контрактowałъ его на четыре года разныхъ-живописныхъ дѣлъ мастеру Шпряеву. Учасъ у него живописи, Шевченко познакомился съ извѣстнымъ художникомъ Иваномъ Максимовичемъ Сошенко, а черезъ него съ извѣстнымъ писателемъ Е. Гребенкою. Гребенка близко принялъ къ сердцу жалкое положеніе юноши, сталъ часто приглашать его къ себѣ, давая ему для чтенія книги, сообщалъ разныя полезныя свѣдѣнія, помогалъ деньгами. Такимъ образомъ при помощи Гребенки Шевченко познакомился съ русскими и западными классиками, съ исторіей и пр. Въ то время, какъ Сошенко представилъ его конференцъ-секретарю академіи художествъ, Грѣгоровичу, съ убѣдительною просьбою оказать свое содѣйствіе къ освобожденію его отъ невыносимаго гнета маляра Шпряева, Гребенка познакомилъ его съ Венеціановымъ, а послѣдній представилъ его поэту Жуковскому, принявшему горячее участіе въ талантливомъ юношѣ. Вскорѣ начались хлопоты объ освобожденіи Шевченка отъ крѣпостной зависимости. Ближайшимъ толчкомъ къ этимъ хлопотамъ послужило слѣдующее обстоятельство. Какой-то генералъ заказалъ Шевченку портретъ за пятьдесятъ рублей. Генералу портретъ не понравился и онъ отказался принять его. Обиженный живописецъ, намыливши генералу на портретѣ бороду мыломъ, продалъ его за безцѣнокъ цирюльнику, къ которому генералъ ходилъ бриться. Замѣтивъ на вывѣскѣ свой портретъ, генералъ пришелъ въ бѣшенство и тотчасъ-же перекупилъ его для себя, а чтобы отомстить дерзкому маляру, обратился къ помѣщику Энгельгардту съ просьбою продать ему крѣпостного художника, предлагая ему за него большія деньги. Энгельгардтъ чуть-было не согласился на выгодную сдѣлку. Пока они торговались, Шевченко, предвидя, какой ужасъ его ожидаетъ, бросился къ художнику Брюлову, умоляя спасти его. Брюловъ сообщилъ объ этомъ Жуковскому, а тотъ императрицѣ Александрѣ Федоровнѣ. Энгельгардту дано было знать, чтобы онъ приостановился съ продажей Шевченка. Въ исполненіе ходатайства за Шевченка императрица потребовала, чтобы Брюловъ кончилъ портретъ Жуковскаго, обѣщанный ей, и даже начатый, но заброшенный Брюловымъ. Портретъ былъ вскорѣ конченъ и розыгранъ въ лотерею между

лицами императорской фамилии, въ сумму десять тысячъ рублей ассигнаціями — равную платѣ, предложенной генераломъ за Шевченка. Шевченко получилъ свободу 22-го апрѣля 1838 г.; съ того-же дня началъ посѣщать классы академіи художествъ и вскорѣ сдѣлался однимъ изъ любимѣйшихъ учениковъ-товарищей Брюлова. Въ 1843 году онъ получилъ степень свободного художника.

Ведя во все это время разсѣянную и довольно разгульную жизнь среди товарищей-художниковъ и занимаясь живописью, Шевченко находилъ время удѣлять и поэзіи, и въ 1840 году былъ изданъ имъ *Кобзарь*, произведшій впечатлѣніе на малорусскую читающую публику и познакомившій Шевченка съ украинскими писателями: Квиткой, Я. Кухаренко и др. Въ *Маякѣ* за 1842 годъ помѣщенъ былъ отрывокъ изъ его драмы *Никита Гайдай*, на русскомъ языкѣ, стихами и прозой пополамъ. Въ томъ-же 1842 году Шевченко приступилъ къ печатанію знаменитой своей поэмы *Гайдамаки*.

Съ половины 1843 года до своего ареста въ 1847 году Шевченко проживалъ большею частью въ Малороссіи. Это было временемъ самаго пышнаго расцвѣта его таланта и появленія лучшихъ его произведеній: *Тризна*, *Наймичка*, *Сонъ*, *Невольникъ*, *Иванъ Гусъ*, *Холодный яръ* и пр. Литературная слава его достигла своего апогея и доставляла ему знакомство съ лучшими интеллигентными силами южной Россіи; въ то-же время и матеріальное положеніе его было обезпечено. При помощи княжны Рѣпиной, двоюродной сестры министра народнаго просвѣщенія, графа Уварова, Шевченко получилъ мѣсто учителя рисованія при кievскомъ университетѣ. Онъ проэктировалъ путешествіе за-границу, когда внезапно надъ нимъ обрушилась постигшая его бѣда: 25-го декабря 1846 года происходила въ квартирѣ Н. И. Гулака извѣстная бесѣда членовъ крпло-неоодіевского кружка, подслушанная и искаженная доносчиками и имѣвшая роковое значеніе для Шевченка и его пріятелей, — Н. И. Костомарова, Кулиша, Гулака, Вѣлосерскаго и другихъ. 31-го марта 1847 года онъ былъ арестованъ въ числѣ другихъ своихъ сотоварищей, препровожденъ въ Петербургъ, а 30-го мая отправленъ въ оренбургскіе линейные батальоны рядовымъ съ воспрещеніемъ писать и рисовать.

Ссылка Шевченка продолжалась десять лѣтъ, до 21-го іюня 1857 года, когда онъ получилъ прощеніе и 2 августа 1857 года выѣхалъ изъ Новопетровскаго укрѣпленія, а 27 марта 1858 года, получивъ право жить въ столицахъ, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и поселился въ академіи художествъ, гдѣ ему дали мастерскую, какъ художнику академіи.

Десятилѣтняя военная служба солдатомъ, прекращеніе всякаго сношенія съ міромъ, съ обществомъ, особенно-же недостатокъ духовной пищи не могли не оставить своихъ послѣдствій и не повліять на духъ поэта:

«Собственно поэтический элементъ въ немъ проявлялся рѣдко, вспоминаеть о немъ И. С. Тургеневъ, Шевченко производилъ скорѣе впечатлѣніе грубоватаго, закаленного и обтерѣвшагося чловѣка, съ запасомъ горечи на днѣ души, трудно доступной чужому глазу, съ непродолжительными проблесками добродушія и вспышками веселости. Теперь чаще въ немъ начали проявляться приливы чужаества и кутежа. Въ послѣдніе годы своей жизни, вращаясь въ избранномъ кружкѣ литераторовъ, читалъ русскіе журналы и употребляли нескъ усилія, чтобы вознаградить потерянное время, онъ успѣлъ встать на уровень съ новыми идеями; но пробѣловъ въ его образованіи оставалось все-таки очень много. Притомъ-же талантъ его великаго творчества теперь

видимо началъ ослабѣвать. Тарасъ чувствовалъ это, хотя отъ страха передъ отвергающеюся пропастью хотѣлъ отвернуться и увѣрить самого себя, что нѣтъ того, что ему угрожало. Читанныя имъ въ Петербургѣ въ послѣдніе годы его стихотворенія были слабѣе тѣхъ огненныхъ произведеній, которыя нѣкогда читалъ онъ въ Кіевѣ. Во время своего пребыванія въ Петербургѣ онъ додумался до того, что несутя сталъ носиться съ мыслью создать нѣчто новое, небывалое, ему одному возможное, а именно поэму на такомъ языкѣ, который былъ-бы одинаково понятенъ русскому и малоруссу: онъ даже принялся за эту поэму и читалъ мнѣ ея начало. Нечего говорить, что попытка Шевченко не удалась, и именно эти стихи его вышли самые слабые и вялые изъ всѣхъ написанныхъ имъ: безцвѣтное подражаніе Пушкину.»

Послѣдніе три года жизни Шевченко былъ занятъ рядомъ съ тщетными поисками невѣсты заботами объ освобожденіи своихъ родныхъ отъ крѣпостной зависимости и о пріобрѣтеніи на югѣ Россіи земли и мѣста для своей хаты. Въ ожиданіи общаго освобожденія крестьянъ, онъ хотѣлъ ускорить облегченіе участи родныхъ, и жертвовалъ для этого послѣднимъ достояніемъ. Наконецъ при содѣйствіи уполномоченнаго отъ „общества пособія литераторамъ“, г. Новикова, между помѣщикомъ и братьями Шевченками было заключено формальное условіе, напечатанное въ пятой книжкѣ *Народнаго чтенія* за 1860 годъ. Родные Шевченка получили свободу по этому условію за нѣсколько мѣсяцевъ до обнародованія манифеста 19-го февраля, и поэтъ спокойно закрылъ глаза, исполнивъ свой долгъ. Найдена была подходящая мѣстность и для хаты Шевченка: на крутомъ берегу Днѣпра, на горѣ, у подошвы которой ютились рыбацкія хаты, а за горою стлалась широкая, вольная степь. Обрадованный поэтъ выслалъ уже и деньги за землю, да не суждено было ему умереть на роднѣ.

Уже въ концѣ 1860 года ему было очень худо: водяная быстро развивалась. Въ январѣ 1861 года онъ писалъ мрачныя письма къ друзьямъ, а въ февралѣ болѣзнь сильно развилась, водяная бросилась въ легкія, и 26-го числа, въ 5 часовъ утра, поэтъ не стало. Похороны его совершились 28-го февраля, причемъ произнесено было надъ его гробомъ не мало задушевныхъ рѣчей. Весною того-же года тѣло его перенесено было изъ Петербурга въ Украину и согласно его поэтическому завѣщанію, написанному въ 1846 году, похоронено на высокомъ берегу Днѣпра вблизи г. Канева.

II.

Главное отличіе Шевченка не только отъ Некрасова съ его дворянскою хандрюю но и отъ Кольцова и прочихъ великорусскихъ поэтовъ, вышедшихъ изъ народа, заключается въ томъ, что это единственный русскій писатель въ нынѣшнемъ столѣтіи, сохранившій живую и непосредственную связь съ народомъ, изъ среды котораго вышелъ, связь какъ по своему міросозерцанію, идеаламъ, такъ и по характеру и формамъ своей поэзіи. Въ поэзіи Шевченка вы и слѣда не найдете ни той оторванности отъ народа, которая составляетъ печальный удѣлъ всѣхъ русскихъ интеллигентныхъ людей, ни той рефлексивной раздвоенности, которою страдали всѣ современники Шевченка. Изучая поэзію его, вы имѣете возможность съ поразительною наглядностью прослѣдить великій и таинственный актъ перехода народно-собрательнаго творчества въ личное. И характеръ лирическаго одушевленія, этой тихой, надрывающей сердце грусти, проникающей всю

поэзію Шевченка, и образы, и мотивы остаются вполне народными, таковы-же, какія вы найдете въ любой малороссійской думѣ. Въ то-же время сюжеты большинства поэмъ не выдуманы, а взяты всецѣло изъ народныхъ легендъ и преданій. Личность писателя словно какъ-бы исчезаетъ въ этомъ морѣ чисто народной поэзіи; онъ ничего не создаетъ своего, что составляло- бы рѣзкую индивидуальную особенность его. Но въ то-же время отнюдь не является рабскимъ подражателемъ народной поэзіи: все, что онъ черпалъ изъ нея, онъ перерабатывалъ, возводя въ перлъ художественнаго созданія без-искусственно-младенческой лепетъ народа и освящая зрѣлымъ сознаніемъ передовыхъ идей своего вѣка темные инстинкты народныхъ стремленій, симпатій и антипатій. Самый языкъ его произведеній не даромъ поражаетъ всѣхъ знакомящихся съ его поэзією своею простотою и общедоступностью не только для кровныхъ малороссовъ, но и для людей совершенно не знакомыхъ съ южно-русскимъ нарѣчіемъ: читать Шевченка имъ не въ примѣръ легче, чѣмъ всѣхъ прочихъ малороссійскихъ писателей. Это происходитъ оттого, что послѣдніе писали и пишутъ на языкѣ искусственномъ, исполненномъ полонизмовъ и всякаго рода новыхъ словъ и выраженій, созданныхъ въ интеллигентныхъ слояхъ малороссійскаго общества. Для простаго неученаго хохла этотъ вычурный языкъ такъ-же мало понятенъ, какъ и для великоросса. Между тѣмъ Шевченко писалъ на томъ живомъ языкѣ, на какомъ говоритъ и поетъ самъ народъ въ Украинѣ; народъ-же украинскій говоритъ вовсе не на томъ тарабарскомъ малороссійскомъ нарѣчьи, на какомъ пишутъ его бары; великорусъ безъ малѣйшаго труда понимаетъ рѣчь хохла слово въ слово, за исключеніемъ развѣ что нѣкоторыхъ мѣстныхъ особенностей говора, такихъ, которыя вы можете встрѣтить въ любой деревнѣ и въ Великороссіи, и въ Малороссіи. Такимъ образомъ поэзія Шевченка является общимъ достояніемъ всего русскаго народа; произведенія его нѣтъ надобности переводить на нашъ литературный языкъ: мы можемъ въ равной степени наслаждаться и малоросы, и великоросы, и образованные, и неграмотные люди.

По содержанію своему произведенія Шевченка можно раздѣлить на четыре разряда. Къ первому относятся баллады и пѣсни сентиментально-романтическаго характера, чуждыя соціально политическимъ тенденціямъ. Таковы въ особенности первые его баллады *Причинна*, *Утоплена*, *Русалка*, *Тополя*, которыя онъ писалъ еще въ Петербургѣ, урывками, на клочкахъ бумаги въ Лѣтнемъ саду, подъ вліяніемъ поэзіи Жуковского и Козлова.

Но это вліяніе ничуть не мѣшало быть упомянутымъ произведеніямъ вполне народными. Въ то время какъ Жуковскій и прочіе романтики его времени пересаживали на русскую почву нѣмецкій романтизмъ, Шевченко нашелъ богатые романтическіе мотивы въ неисчерпаемомъ родникѣ народной поэзіи. Во всѣхъ этихъ балладахъ воспѣвается несчастная судьба малороссійскихъ дѣвушекъ, то покинутыхъ милымъ казакомъ, отправившимся на войну и не возвратившимся, то тѣснимыхъ злою мачихою. Самымъ лучшимъ и высокимъ произведеніемъ его въ этомъ родѣ является повѣсть *Наймичка*, изображающая обманутую жепиццу, которая принуждена была чуждымъ людямъ подбросить своего ребенка и затѣмъ попавшись къ нимъ батрачкою, воспитала его въ ихъ семействѣ и лишь передъ смертію призналась ему, что она его мать. Высокое самоотверженіе несчастной матери и вообще все содержаніе

этого безхитростнаго разсказа, исполнены классически-величавой простоты и производят потрясающее впечатлѣніе.

Ко второму разряду относятся произведенія, гдѣ воспѣвается народное горе, причемъ конечно ужь первое мѣсто занимаютъ страдапія, которыя терпѣлъ народъ отъ крѣпостного права. Воспѣвая свою родную страстно-любимую Украину краше рая земного, Шевченко оговаривается лишь, что въ этомъ раѣ *) снимаютъ съ калѣки заплатанную свитку для того, чтобы одѣть недорослыхъ княжичей; тамъ распинаютъ вдову за подати, берутъ въ войско единого сына, единую подпору; тамъ подъ плетнемъ умпраетъ съ голоду опухшій ребенокъ, тогда какъ мать жнетъ на барщинѣ иппенцу; а тамъ опозоренная дѣвушка, шатаясь, идетъ съ незаконнымъ ребенкомъ: отецъ и мать отреклсь отъ нея, чужіе не принимаютъ ее, ялице даже отворачиваются отъ нея... а барчукъ... онъ не знаетъ ничего, онъ съ двадцатю по счету пропиваетъ дули". Произволъ и самодурство пановъ доходили до того, что по словамъ Шевченка

. . . Якъ-бы разсказать
Про какого небудь одного магната
Исторію-правду, то перелякаты
Саме-бъ пекло можно; и Данта стареого
Полупанкомъ нашимъ можно здывувать.

Но болѣе всего страдали отъ распущенности помѣщичьихъ нравовъ и панскаго произвола женщины, и гуманный страдалецъ о скорбной женской долѣ, Шевченко большую часть своихъ произведеній этого рода посвятилъ оплакиванію опозоренныхъ жертвъ барской прихоти, такъ называемыхъ „покрытокъ“. Самымъ лучшимъ, наиболѣе развитымъ и драматичнымъ по своему содержанію произведеніемъ этого рода является поэма *Катерина*, посвященная поэту Жуковскому на память 29-го апр. 1838 г. (т. е. дня избавленія поэта отъ крѣпостной зависимости). Въ лицѣ Катерины изображается здѣсь несчастная судьба „покрытки“, которая полюбила паныча москаля, была имъ брошена съ ребенкомъ на рукахъ, потерпѣла страшный позоръ, была прогнана родителями изъ родимой хаты и отправилась розыскивать мплаго, наконецъ встрѣтила его гдѣ-то на пути во главѣ коннаго отряда, но онъ не призналъ ея, закричалъ: „возьмите прочь безумную“ и она утопилась въ отчаяніи, а сына ея прирѣзлъ слѣпой кобзарь, и сдѣлался онъ его поводыремъ.

Къ третьему разряду относится рядъ его произведеній историческаго содержанія, воспѣвающихъ времена казацкой вольности, защитниковъ народной свободы и мстителей за ея поруганіе. Таковы двѣ большія поэмы его *Гайдамаки* и *Гамалія* и нѣсколько мелкихъ рапсодій: *Никита Гайдай*, *Иванъ Підкова*, *Тарасова нічъ*, *Невольникъ*, *Выборъ гетмана*, *Чернецъ*, *Разсказъ покойника*, *Швачка*, *Сдама Дорошенка*, *Якѣ-бо то ты*, *Богданъ п'яный* и др.

Въ поэмахъ этихъ наиболѣе высказываются политическіе и соціальные взгляды и убѣжденія поэта. Они особенно высоко цѣнятся и читаются его земляками; но надо замѣтить, что при всей страстной любви къ родной Украинѣ, столь свойственной каждому малороссу и при всей скорби о славномъ прошломъ Малороссіи, о незабвенной

*) См. *Очерки укр. лит. XIX ст.* Н. И. Петрова, стр. 337.

эпохѣ ея независимости и казацкихъ вольностей, Шевченко былъ далекъ отъ узкой хохломаніи. И въ своихъ историческихъ пѣсняхъ онъ является истиннымъ сыномъ народа, не столько воспѣвавшимъ казацкую славу, сколько оплакивавшимъ всѣ тѣ тяжкія невзгоды, какія перенесъ его народъ. Онъ клеймитъ притѣснителей народа не только въ лицѣ псковныхъ враговъ его, ляховъ и жидовъ, но и своихъ пановъ и гетмановъ, выставляя настоящей причиной политическихъ бѣдствій ихъ края ту „казацкую старшину“, которая погналась за личными выгодами, забывши объ интересахъ народа. Возвышаясь такимъ образомъ надъ узкою идеею національной особенности, онъ въ наиболѣе зрѣлыхъ въ политическомъ отношеніи своихъ произведеній (каковы *Кавказъ*, *Невольникъ*, *Сонъ*, *Завѣщаніе*, *Холодный Яръ*, *Чигиринъ*, *Суботовъ*, *Посланіе до живыхъ и мертвыхъ и непорожденныхъ земляковъ моихъ* и поэма *Иванъ Гусь*) высказываетъ идею общеславянской федераціи въ духѣ полной равноправности внутренней и внѣшней, братства и единенія.

Щобъ уси славяне стали
Добрыми братами,
И сынами совѣя правды
И еретыками —
Оттакими, якъ Констанський
Еретыкъ великій!

Вотъ это именно стремленіе возвыситься изъ сферы узкаго націонализма до все-славянской общности и сдѣлаться поэтомъ не только украинскимъ, но и всеславянскимъ и возбудило въ Шевченкѣ мысль написать поэму на такомъ языкѣ, который былъ-бы понятенъ для всѣхъ славянъ. Попытка эта, какъ мы видѣли выше, была безуспѣшна по той простой причинѣ, что созданіе общепонятнаго языка есть дѣло вѣковъ и цѣлыхъ поколѣній, для нея слишкомъ слабы силы одного человѣка, какъ-бы ни былъ великъ его гений. Это-же самое стремленіе склонило Шевченко въ концѣ жизни и къ писанію прозаическихъ разсказовъ на великорусскомъ языкѣ. Разказы эти, составляющіе четвертый разрядъ его произведеній, написаны имъ по большей части во время ссылки. Таковы: *Близнецы*, *Музыкантъ*, *Художникъ*, *Несчастный*, *Мотросъ*, *Повѣсть о бѣдномъ Петрусь*, *Капитанши* и пр. Во многихъ этихъ повѣстяхъ мы видимъ тоже содержаніе, что и въ его стихотворныхъ поэмахъ предыдущаго времени; въ нихъ точно также изображается по большей части ненормальность крѣпостного права и печальныя явленія, имѣющія мѣсто на его почвѣ. Всѣ эти разказы не лишены литературныхъ достоинствъ; сами по себѣ они могли доставить автору почетную извѣстность. Но конечно они далеко отстаютъ отъ его стихотворныхъ поэмъ и пѣсней, писанныхъ на родномъ нарѣчій, и Шевченко все-таки останется навсегда въ глазахъ и современниковъ, и потомства великимъ украинскимъ народнымъ поэтомъ.

III.

Меньшимъ талантомъ обладалъ и меньшее значеніе имѣлъ въ литературѣ, хотя все-таки оставилъ послѣ себя довольно яркій слѣдъ, Иванъ Савичъ Никитинъ.
скабичевскій.

Онъ родился въ Воронежѣ 21-го сентября 1824 г. Отецъ его былъ изъ духовнаго званія; но выйдя изъ него, записался въ мѣщане, занялся торговлею и имѣлъ свѣчной заводъ и лавку подъ Смоленскимъ соборомъ, на самомъ бойкомъ торговомъ мѣстѣ. Одинокимъ росъ въ домѣ родителей Никитинъ, имѣя единственную подругу дѣтскихъ игръ въ лицѣ двоюродной сестры Аннушки, съ которой часто ссорился, будучи крайне живымъ и рѣзвымъ ребенкомъ. Первымъ учителемъ Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ, когда ему было шесть лѣтъ. Первыми прочтенными книгами были: *Мальчикъ у ручья* Коцебу и *Луиза или Подземелье Ліонскаго замка* Радклифъ. Въ 1832 году, когда мальчику было восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ духовное училище, по окончаніи котораго Никитинъ поступилъ въ 1841 году въ воронежскую семинарію. Давая сыну систематическое образованіе, отецъ готовилъ его къ университету, надѣясь видѣть въ немъ со временемъ лекаря. Учился Никитинъ въ семинаріи такъ-же хорошо, какъ и въ духовномъ училищѣ; но особенно блестящіе успѣхи оказалъ онъ въ словесности, въ составленіи не только мелкихъ классныхъ сочиненій, но и болѣе серьезныхъ пьесъ. Въ семинаріи-же онъ написалъ первое свое стихотвореніе и показалъ его профессору словесности Чехову, который похвалилъ и совѣтовалъ продолжать.

Но не пришлось юношѣ доканчивать свое образованіе въ университетѣ. Вскорѣ отецъ разорился и заплъ; мать умерла. Когда въ 1843 году Никитинъ перешелъ въ философскій классъ семинаріи, пришлось выйти изъ училища, возиться съ вѣчно пьянымъ отцомъ и дворничать на постояломъ дворѣ, который представлялъ собою единственный остатокъ отъ прежняго благосостоянія, скудными доходами котораго едва могли прокармливаться отецъ и сынъ.

Уединенная жизнь съ вѣчно-хмѣльнымъ отцомъ на концѣ города, въ совершенномъ отчужденіи отъ образованнаго общества, развила въ Никитинѣ страсть къ загороднымъ прогулкамъ и охотѣ, во время которыхъ онъ иногда зачитывался по цѣлымъ часамъ, или, улѣгшись подъ деревомъ, сочинялъ стихи, которые пряталъ отъ всѣхъ, боясь насмѣшекъ окружавшихъ его невѣжественныхъ людей и дѣлясь своими бесѣдами съ музой лишь съ своимъ сверстникомъ-другомъ, Ив. Ив. Дураковымъ, нижедѣвичскимъ мѣщаниномъ.

Не безъ вліянія и одобренія Дуракова Никитинъ послалъ нѣкоторые свои стихотворенія въ редакціи тогдашнихъ журналовъ; но ихъ постигла печальная участь стиховъ неизвѣстныхъ авторовъ—въ видѣ полного невниманія, и лишь въ 1853 году удалось Никитину напечатать свое стихотвореніе *Русь въ Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ*, благодаря патріотическому содержанію стихотворенія, пришедшемуся кстати при только-что разгоравшейся крымской войнѣ. Вотъ что писалъ Никитинъ редактору *Воронежскихъ Вѣдомостей*, посылая ему свое стихотвореніе:

«Я—здѣшній мѣщанинъ. Не знаю, какаѣ непостижимая сила влечетъ меня къ искусству, въ которомъ можетъ-быть я ничтожный ремесленникъ! Какая непонятная власть заставляетъ меня слагать задумчивую пѣснь въ то время, когда горькая дѣйствительность окружаетъ жалкою прозою мое одинокое, незавидное существованіе! Скажите, у кого мнѣ просить совѣта и въ комъ искать теплаго участія? Кругъ моихъ знакомыхъ слишкомъ ограниченъ и составляетъ со мною рѣшительный контрастъ во взглядахъ на предметы, въ понятіяхъ и желаніяхъ. Быть можетъ, моя любовь къ

поэзія и мои грустные пѣсни вы назовете плодомъ раздраженнаго воображенія и смѣнною претензіею выйти изъ той сферы, изъ которую я поставленъ судьбою. Рѣшеніе этого вопроса я предоставляю вамъ, и скажу откровенно, буду ожидать этого рѣшенія не совѣтъ равнодушно: оно покажетъ мнѣ или мое значеніе, или мою ничтожность, мое нравственное — быть или не быть?»

Появленіе въ печати стихотвореній Никитина сблизило его съ воронежскимъ интеллигентнымъ кружкомъ: гг. Второвымъ, Де-Пуле, Александровымъ-Дольниковъ и др., которые до самой смерти поэта принимали въ немъ самое горячее и дружеское участіе и не переставали помогать ему и совѣтами, и хлопотами по устройству его матеріальнаго положенія. Особенно-же возросла популярностъ Никитина послѣ написаннаго имъ стихотворенія *Моленіе о чапъ*: о немъ заговорили во всѣхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества; стихотвореніе переписывалось во множествѣ экземпляровъ и распространялось далеко за предѣлами Воронежа и даже губерніи.

Въ тоже время нѣкоторыя газеты не замедлили перепечатать изъ *Воронежскихъ Вѣдомостей* стихотвореніе *Русь и Войну за вѣру*. Затѣмъ гр. Д. Н. Толстой принимая живое участіе въ новомъ дарованіи и напечаталъ въ *Москвитянинѣ* нѣсколько его стихотвореній съ письмомъ Де-Пуле, содержащимъ свѣдѣнія о поэтѣ, и тогда-же предложилъ издать на свой счетъ собраніе его стихотвореній.

Эта рекомендація публикѣ Никитина въ качествѣ якобы новаго Кольцова въ *Москвитянинѣ* была причиною, что вся петербургская журналистика изъ партійной вражды къ кружку *Москвитянина* долго не признавала Никитина и, когда въ 1856 году вышло въ свѣтъ изданіе его стихотвореній, отнеслась къ нему пренебрежительно, несмотря на то, что изданіе имѣло въ публикѣ успѣхъ, и черезъ три года, въ 1859 году, потребовалось новое изданіе. Впрочемъ когда въ 1858 году Никитинъ издалъ въ Москвѣ поэму *Кулакъ*, журналы оговзались о Никитинѣ гораздо благосклоннѣе, а *Атеней* призналъ даже поэму его за одно изъ „лучшихъ литературныхъ явленій послѣдняго времени“.

Въ послѣдніе годы жизни, благодаря литературнымъ успѣхамъ, Никитину удалось настолько улучшить свои матеріальныя дѣла, что у него скопился маленькій капиталчикъ до двухъ тысячъ рублей, и на эти деньги при содѣйствіи друзей онъ открылъ въ Воронежѣ книжный магазинъ, положивъ въ это дѣло всю свою душу. Но дни его были уже сочтены: предшествовавшія лишения и невзгоды такъ расшатали его здоровье, что 16-го октября 1861 года онъ умеръ на 37-мъ году отъ рожденія. Тѣло его было погребено на городскомъ кладбищѣ недалеко отъ могилы Кольцова.

При всемъ своемъ сильномъ талантѣ Никитинъ не былъ какимъ-либо новаторомъ и не отличался такою оригинальностью, которая рѣзко выдѣляла-бы его изъ всѣхъ прочихъ поэтовъ его времени. Въ его произведеніяхъ постоянно слышались мотивы музъ то Кольцова, то Некрасова, то Тютчева, то Фета и пр. Но это не мѣшало ему быть не рабскимъ подражателемъ упомянутыхъ поэтовъ, но въ свою очередь истиннымъ и самороднымъ поэтомъ, и нѣкоторыми произведеніями его возвышаюгся до классическаго совершенства и не даромъ помѣщаются въ хрестоматіяхъ, наряду съ самыми высшими образцами русской поэзіи.

Стихотворенія его можно раздѣлять на два разряда: въ одинъ онъ подчинялся

господствовавшей въ его время поэзіи пушкинской школы, поэтамъ чистаго искусства. Въ стихотвореніяхъ подобнаго рода наиболѣе проявлялась одна изъ существенныхъ особенностей его таланта: страсть изображать пейзажи изъ природы его родного края.

Надо отдать справедливость: по яркости колорита, по теплотѣ и поэтичности рисунка, по детальности, его пейзажи отличаются первостепеннымъ мастерствомъ и производятъ чарующее впечатлѣніе. Такія вещи, какъ *Утро, Гнѣздо ласточки, Встрѣча зимы, Зимняя ночь въ деревнѣ, 19 Октября, Разсыпались звѣзды* и пр. конечно извѣстны всѣмъ и каждому наряду со всѣмъ, что только есть лучшаго въ нашей поэзіи въ этомъ родѣ.

Ко второму разряду слѣдуетъ причислить стихотворенія его изъ народнаго быта въ кольцовскомъ стилѣ. Въ стихотвореніяхъ подобнаго рода вы не встрѣтите, правда, ни той страстности, ни того широкаго размаха, какими отличается муза Кольцова; они полны тихой меланхоліи, переходящей порою въ надрывающую грусть. Но зато въ нихъ болѣе политической зрѣлости и сознательнаго отношенія къ условіямъ народной жизни, чѣмъ у великаго предшественника и земляка Никитина. Эпоха въ этомъ отношеніи успѣла наложить свою печать на поэта. Онъ является въ стихотвореніяхъ этого рода преимущественно пѣвцомъ народнаго горя, защитникомъ всего обездоленнаго, страждущаго и гибнущаго подъ гнетомъ нужды, невѣжества и самодурства. Лучшими произведеніями его въ этомъ родѣ являются—*Пахарь, Соха, Жена ямщика, Ночлегъ извозчиковъ, Пѣсня бобыля, Наслѣдство* и пр. Самою же крупною вещью его въ этомъ родѣ является поэма *Кулакъ*—мрачная драма изъ жизни воронежскихъ мѣщанъ, основанная на вѣчномъ руссійскомъ сюжетѣ семейнаго самодурства—выдачи замужъ за стараго и немалаго изъ-за своекорыстныхъ расчетовъ. Самыми лучшими мѣстами въ поэмѣ этой является опять-таки масса ландшафтовъ и вообще вся описательная часть. Въ цѣломъ-же поэма страдаетъ растянутостью и неуклюжестью. Какъ поэтъ-самоучка, Никитинъ раздѣлялъ печальную участь всѣхъ беллетристовъ и стихотворцевъ, вышедшихъ изъ разночинной среды: отсутствіе выработанной техники и неумѣнье справиться съ формами своихъ произведеній.

Изъ поэтовъ, вышедшихъ изъ народа, заслуживаютъ также вниманія Иванъ Захаровичъ Суриковъ и Спиридонъ Дмитріевичъ Дрожжинъ. Оба эти поэта имѣютъ много сходства между собою и по обстоятельствамъ жизни, и по характеру своихъ стихотвореній. Суриковъ родился въ 1840 году 25 марта въ деревнѣ Новосоолово углицкаго уѣзда. Дрожжинъ родился 6 декабря 1848 года въ деревнѣ Низовкѣ, на Волгѣ, тверской губерніи и уѣзда. Оба они, будучи крестьянскими дѣтьми, рано оставили родныя села и мыкались по столицамъ, по разнымъ скуднымъ заработкамъ, терпя нужду и горе: Суриковъ торговалъ угольями, Дрожжинъ состоялъ то цоловымъ въ трактирѣ, то приказникомъ у табачныхъ торговцевъ, то просто лакеемъ въ барскихъ домахъ. Оба они выучились писать урывками между дѣломъ и писали въ одномъ и томъ-же стилѣ оплакиванія тяжелой пародной доли, подражая то Кольцову, то Некрасову, то Никитину. Суриковъ умеръ 1880 года 25 апрѣля отъ чахотки. Дрожжинъ живетъ и здравствуетъ доселѣ. Къ чести его онъ остался тѣмъ-же крестьяниномъ, какимъ и былъ, и по званію, уѣзжая въ столицы заниматься литературнымъ трудомъ,

въ видѣ отхожаго промысла, лѣтомъ онъ не перестаетъ трудиться надъ своею землею. Одпосельчане не игнорируютъ его литературныхъ занятій, а напротивъ того заучиваютъ и распѣваютъ его пѣсни.

IV.

Изъ писателей интеллигентной среды, принадлежащихъ къ одному лагерю съ Некрасовымъ, наибольшаго вниманія заслуживаетъ Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ. Онъ родился 22-го ноября 1825 года въ Костромѣ, въ семьѣ стариннаго дворянскаго рода. Когда ему было два года, отецъ его поселился въ Нижнемъ-Новгородѣ, найдя здѣсь служебное мѣсто; здѣсь и провелъ поэтъ все дѣтство. Въ 1838 году онъ былъ отправленъ въ Петербургъ, въ школу гвардейскихъ подпоручиковъ, откуда вскорѣ вышелъ, вступилъ въ с.-петербургскій университетъ, но и здѣсь курса не кончилъ.

Рано появилась у Плещеева наклонность къ литературной дѣятельности. Восемнадцатилѣтъ онъ уже выступилъ въ свѣтъ съ переводомъ стихотворенія Рюккертъ *Пѣсня странника*, напечатанномъ въ XXXI томѣ *Современника* Плетнева за 1843 годъ. До половины 1845 года продолжалъ Плещеевъ печатать свои стихотворенія въ *Современникѣ*, затѣмъ началъ появляться и въ другихъ журналахъ — въ *Иллюстраціи* Кукольника, въ *Репертуарѣ* и *Пантеонѣ* Межевича, а въ 1846 г. вышло въ свѣтъ первое изданіе его стихотвореній. Плещеевъ въ это время вращался въ самыхъ передовыхъ кружкахъ своего времени и принималъ горячее и живое участіе въ движеніи петрашевцевъ. Это отражается и въ его стихотвореніяхъ того времени. Видно, что молодой поэтъ въ то время былъ еще преисполненъ самыхъ свѣтлыхъ и радужныхъ надеждъ, и виѣстъ съ тѣмъ все окружающее настраивало его на оптимистическій ладъ. И вотъ, завидя виѣстъ со всѣмъ обществомъ „зарю святого искупленія“, онъ звалъ друзей своихъ взяться за руки и смѣло двинуться „впередъ безъ страха и сомнѣнья на подвигъ доблестный“, чтобы подъ знаменемъ науки союзъ ихъ крѣпнулъ и росъ, и гордо, смѣло предрекалъ имъ:

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать,
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ.
И поведемъ на битву рать...

Муза, явившаяся поэту во снѣ, когда онъ спалъ на берегу моря, предрекла ему самую блестящую участь:

Странаньемъ и тоской твоа изрыта грудь,
А предъ тобой лежитъ еще далекій путь.
Скажу я, что тебя въ твоей отчизнѣ ждетъ:
Подыметъ на тебя камень твой народъ,
За то, что обличилъ могучимъ словомъ ты
Рабовъ грѣха, рабовъ постыдной суеты!
За то, что повѣстивъ ты мщенія грозный часъ
Тому, кто въ тинѣ зла и праздности погрязъ!
Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ,
Кому закономъ былъ — отцовъ его законъ!
Но не страшися ихъ! И знай, что я съ тобой,

И камни пролетятъ надъ гордой головой!
Въ цѣляхъ-ли будешь ты, не—унывай, и вѣрь,
И отопру сама темницы смрадной дверь.
И снова ты пойдешь, избранный мой левить,
И въ мірѣ голосъ твой не даромъ прозвучитъ.
Зерно любви въ сердца глубоко западетъ;
Придетъ пора и дастъ оно роскошный плодъ.
И человѣку той поры не долго ждать,
Недолго будетъ онъ томиться и страдать.
Воскреснетъ къ жизни міръ... Смотри, ужъ правды лучъ
Прозрѣвшимъ пламенемъ сверкаетъ изъ-за тучъ!
Иди-же вѣры полнѣ... И на груди моей
Ты скоро отдохнешь отъ муки и скорбей...

Вѣрный этому призванію, поэтъ рѣшительно объявляетъ своимъ друзьямъ, что онъ будетъ совершенно лишній на ихъ пирахъ, что „не веселитъ его разгульное похмѣлье и не кипитъ отвагой прежней кровь“, что онъ только и могъ безопасно пировать и помышлять о счастіи, пока „въ ужасной наготѣ еще не предсталъ ему бѣдствіе страны его родной, и муки братьевъ духъ еще не волновали“. Въ свою очередь и на любовь поэтъ, несмотря на свои 20 лѣтъ, высказывалъ такой-же строгій взглядъ, подчиняя ее тѣмъ-же призывамъ своей скорбной музыки. Такъ онъ рѣшительно отвергаетъ любовь дѣвушки, не раздѣляющей его убѣжденій, говоря, что

Не въ силахъ я лгать предъ тобою,
А правда страшна для тебя..
Къ чему-же безплодной борьбою
Всечасно терзать намъ себя?
Въ кумирахъ миѣ Бога не видѣть,
Передъ ними чего не склонить!
Миѣ все суждено ненавидѣть,
Что рабски привыкла ты чтить!..

Но и въ такихъ случаяхъ, гдѣ поэтъ не встрѣчаетъ подобной чуждости душъ и гдѣ никакой разладъ не мѣшаетъ ему любить, онъ все-таки смотритъ на любовь, лишь какъ на минутный отдыхъ на своемъ тернистомъ пути, и говоритъ своей возлюбленной:

Миѣ не дано въ удѣлъ безопасно наслаждаться,
Передо мной лежитъ тернистый, долгій путь;
И я спѣшу, дитя, тобой налюбоваться,
Хотя на мигъ душой отъ скорби отдохнуть!

Но недолго продолжался вопиюще-восторженный подъемъ духа молодого поэта. Въ началѣ 1849 года Плещеевъ, въ бытность свою въ Москвѣ, куда онъ ѣздилъ по домашнимъ дѣламъ, былъ арестованъ по прикосновенности къ дѣлу Петрашевскаго и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость. По рѣшенію военного суда Плещеевъ былъ приговоренъ выстѣ съ другими двадцатью тремя лицами къ растрѣлянію; но Высочайшею конфирмаціею приговоръ былъ смягченъ, и Плещеевъ назначенъ былъ рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія. Послѣ двдцатимѣсячнаго заключенія въ крѣпости, онъ былъ 24 декабря 1849 г. отправленъ въ

Оренбургскій край, гдѣ и оставался до 1858 года. Первое время Плещеевъ служилъ въ Уральскѣ, потомъ принималъ участіе въ экспедиціи, предпринятой генералъ-адъютантомъ Перовскимъ для взятія коканской крѣпости Акмечеть, нынѣ—Перовскъ, и принималъ участіе въ штурмѣ этой крѣпости, за что произведенъ былъ въ унтеръ-офицеры, а въ 1856 году—въ прапорщики. Затѣмъ, послуживъ еще годъ во фронтѣ, Плещеевъ перешелъ въ гражданскую службу, въ оренбургскую пограничную комиссію, въ которой прослужилъ до выхода въ отставку въ 1858 году. 17 апрѣля 1857 года ему возвращены были права потомственного дворянства, а годъ спустя онъ получалъ разрѣшеніе жить въ столицѣ. Это обстоятельство позволило Плещееву исполнить давнишнее желаніе—поселиться въ Москвѣ, что ему и удалось осуществить въ половинѣ 1859 года. Проживъ здѣсь слишкомъ одиннадцать лѣтъ, Плещеевъ въ январѣ 1872 г. переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ вошелъ въ составъ редакціи *Отечественныхъ Записокъ*, и до самаго закрытія этого журнала въ 1884 году завѣдывалъ въ немъ стихотворнымъ отдѣломъ. Въ послѣдніе годы завѣдывалъ въ свою очередь стихотворнымъ и беллетристическимъ отдѣлами въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*.

Но возвращеніи изъ ссылки Плещеевъ получилъ возможность возобновить свою литературную дѣятельность „съ робостью повпчка“, по выраженію Добролюбова, печатая свои стихотворенія подъ фамилію А—П—ва. Многіе читатели узнали знакомый голосъ и радушно принявъ „старыя пѣсни на новый ладъ“, какъ называлъ самъ Плещеевъ свои стихи, печатая ихъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Но въ новыхъ пѣсняхъ поэта не было уже тѣхъ сильныхъ юпошескихъ порывовъ и радужныхъ мечтаній, какіе мы видѣли въ первыхъ его стихотвореніяхъ. Годы изгнанія и тяжелой неволи надломилъ юныя силы и положилъ на музу поэта мрачную печать разочарованія, тоски и унынія. Естественно, что первую пѣсню послѣ столь долгаго молчанія поэтъ посвятилъ тѣмъ самымъ друзьямъ своей юности, которыхъ онъ призывалъ нѣкогда идти впередъ подъ знаменемъ науки, и вотъ что теперь онъ возглашаетъ друзьямъ своей юности:

Домчатся-ль къ намъ знакомыхъ пѣсенъ звуки,
Друзья моихъ погибшихъ юныхъ лѣтъ?
И братскій вѣвъ услышу-ли привѣтъ?
Все тѣ-же-ль вы, что были до разлуки?
Быть можетъ, мнѣ иныхъ не досчитаться!
А тѣ—въ чужой, далекой сторонѣ,
Уже давно забыли обо мнѣ...
И некому на пѣсни отозваться!..
Но я—среди бури, въ дни горя и печали,
Былъ вѣренъ вамъ, весны моей друзья,
И снова къ вамъ несется пѣснь моя,
Когда, какъ сонъ, непогоды миновали...

Но если миновали невзгоды, то съ другой стороны оказались невозвратными и безвременно погибшіе дни юности съ ихъ жизнерадостностью и отвагою, и осталось одно лишь скорбное раздумье о безотрадности и тщетѣ всей жизни:

Дни скорби и тѣсноты, дни горькаго сомнѣнія,
Тоски болѣзненной и безотрадныхъ думъ

Когда-жъ минуютъ? возрожденія,
Такъ страстно сердце ждетъ, такъ сильно жаждетъ умъ?
Не вижу я вокругъ отраднаго разсвѣта!
Повсюду ночь да ночь, куда не бросишь взоръ.
Исчезли безъ слѣда мои младыя лѣта—
Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.
Какъ мало радости они мнѣ подарили,
Какъ скоро свѣтлыя разсѣялись мечты,
Морозы раніе безжалостно побили
Безпечной юности любимые цвѣты.
И чистыхъ помысловъ, и жаркихъ упованій
На жизненномъ пути разстратилъ много я;
Но средь неравныхъ битвъ, средь тяжкихъ испытаній,
Что-жъ обрѣла взамѣнъ всѣхъ грезъ душа моя?
Увы! лишь тяжкое въ себѣ разувѣренье,
Да убѣжденія въ бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленіе
Ждать не должно себѣ пощады отъ судьбы.
И даже ты моимъ призывамъ измѣнила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привѣта братскаго живительная сила
Мнѣ не врачуешь духъ въ тревогахъ бытія...

Даже освобожденіе изъ неволи не принесло поэту живой радости, и разстываясь съ страной изгнанья, поэтъ какъ-бы жалѣетъ о ней и неохотно удаляется на просторъ свободной жизни:

Такъ скоро, можетъ быть, покинуть долженъ я,
О степь унылая, просторъ твой необъятный;
Но, вмѣсто радости, зачѣмъ душа моя
Полна какою-то тревогой непонятной?
Жалѣю-ль я чего? Или въ краю иномъ
Грядущее сулитъ мнѣ мало утѣшенія?
И побреду я вновь знакомымъ мнѣ путемъ,
Путемъ заботъ, печалей и лишенія?... и т. д.

Сознаніе бесплодности жизни, мучительныхъ укоровъ совѣсти при видѣ своей слабости, малодушія и отсутствія дѣятельнаго добра еще рельефнѣе выражается въ слѣдующемъ стихотвореніи Плещеева:

О, если-бъ знали вы, друзья мои весны,
Прекрасныхъ грезъ моихъ, порывовъ благородныхъ, —
Какой мучительной тоской отравлены,
Проходятъ дни мои въ сомнѣніяхъ бесплодныхъ!
Былое предо мной какъ призракъ возстаетъ,
И тайный голосъ мнѣ твердитъ укоръ правдивый:
Чего не могъ убитъ суровый жизни гнетъ,
Зарылъ я въ землю самъ! Зарылъ, какъ рабъ лѣнивый!
Душѣ была дана любовь отъ Бога въ даръ,
И отличать дано добро отъ зла умѣнье;
На что-же тратилъ я священный сердца жаръ?
Упорно-ль къ цѣли шелъ во имя убѣжденія?

Я заключалъ не разъ со зломъ постыдный миръ,
Я пренебрегъ труда спасительной дорогой.
Не простиралъ руки тому, кто нагъ и сиръ,
И оставался глухъ къ призывамъ правды строгой.
О больно, больно мнѣ... Скорбитъ душа моя,
Казнить меня палачъ неуголимый — совѣсть,
И въ книгѣ прошлаго съ стыдомъ читаю я
Погибшей безъ слѣда, безплодной жизни повѣсть.

Таковы были мотивы новыхъ пѣсенъ Плещеева, которыя онъ началъ пѣть по возвращеніи изъ своей ссылки. Онъ много переводилъ въ продолженіи всей своей литературной дѣятельности и прекрасно переводилъ (лучшіе его переводы — *Вильямъ Радклифъ* Гейне, *Работница* Шевченки (1860), рядъ переводовъ изъ Ленау, Гервега, Роберта Пруцка и др. нѣмецкихъ поэтовъ (1861), *Магдалина*, драма Геббеля въ четырехъ дѣйствіяхъ (1861), *Струензе*, трагедія Михаила Бэра въ пяти дѣйствіяхъ (1876) и пр.); вторилъ порою Некрасовской музы и пытался пробуждать въ русской публикѣ сочувствіе и состраданіе къ горю русскаго народа и къ скорбной участи угнетенныхъ и оскорбленныхъ, но не въ этомъ во всемъ главное значеніе и наибольшая сила его музы, а все въ тѣхъ-же субъективно-лирическихъ мотивахъ, въ которыхъ вышло личное горе его скорбной жизни, начиная съ пѣсенъ 1858 года, затѣмъ въ сборникахъ 1861 и 1863 гг. и наконецъ въ послѣднемъ изданіи его стихотвореній 1887 года. Онъ имѣетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое подобіе съ Полежаевымъ, главное значеніе котораго въ свою очередь заключается въ оплакиваніи своей печальной доли. Но горе Полежаева слишкомъ эксцентрично и узко, стихотворенія его крайне односторонни, мопотонны, блѣдны красками. Плещеевъ никогда не доходилъ до такихъ печальныхъ крайностей, до какихъ дошелъ Полежаевъ. Это — натура въ высшей степени гармоничная, гуманная, кроткая и поэтичная. А главное дѣло. — Плещеевъ во сто разъ образованнѣе Полежаева. Вслѣдствіе этого ему удалось встать на такую высоту, о какой не могло и сниться Полежаеву: именно въ то время, какъ мотивы поэзіи Полежаева остались исключительно личными, субъективными, Плещеевъ обобщилъ мотивы своего горя, сдѣлалъ ихъ мотивами общаго горя всѣхъ интеллигентныхъ людей его времени.

Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ хоть въ десятой долѣ не прочувствовалъ всего, что выразилъ Плещеевъ въ своихъ звучныхъ стихотвореніяхъ? Передъ кѣмъ не раскрывалось двухъ дорогъ, которыя описываетъ поэтъ въ стихотвореніи, посвященномъ И. С. Аксакову (изд. 1887 г., стр. 96)? Кто въ юности не исполнялся восторженными мечтаніями, не призывалъ друзей въ тѣсный союзъ подъ знаменемъ науки и въ послѣдствіи не оплакивалъ этихъ мечтаній и не взывалъ къ разстѣяннымъ друзьямъ: „откликнитесь, гдѣ вы?“ Кто не оплакивалъ своего безспія, малодушія. не опускалъ рукъ, не чувствовалъ мученій совѣсти при сознаніи, что онъ не простираетъ рукъ къ тому, кто нагъ и сиръ и остался глухъ къ призывамъ правды строгой? Наконецъ кто-же изъ современныхъ интеллигентныхъ людей, измученныхъ вѣчными этими развѣдающими рефлексіями, тиетными порываніями, исканіями, сомнѣніями, уныніями и терзаніями совѣсти, не обращается въ концѣ концовъ къ природѣ и не восклицаетъ вмѣстѣ съ любимымъ поэтомъ:

Природа мать, къ тебѣ иду
Съ своею глубокою тоскою,
Къ тебѣ усталой головою
На лоно съ плачемъ припалу и т. д.

Но у Плещеева есть стихотворенія, въ которыхъ онъ не только вторитъ общему настроенію всѣхъ своихъ современниковъ, но высоко паритъ надъ ними, возбуждая въ нихъ священные чувства любви, гуманности, братства, составляющія высшіе идеалы человѣческаго совершенства и залогъ будущаго земного счастья, — идеалы, въ которыхъ заключалась нѣкогда вся суть молодыхъ упованій поэта...

V.

Если сатирико-эпиграматичная, шуточная, пасквильная поэзія всегда имѣла видное мѣсто въ нашей литературѣ, то никогда она не доходила до такого широкаго развитія, никогда такъ не наводнила прессу, какъ именно въ рассматриваемый нами періодъ пробужденія гласности, всяческихъ обличеній и ожесточеній полемики, періодъ, который не даромъ разные недоброжелатели называли „эпохою свистопляски“. Уже Некрасовъ, въ половинѣ сороковыхъ годовъ, положилъ начало обличительно-сатирическому жанру своими куплетами въ тѣхъ сборникахъ, каіе онъ издавалъ въ то время, за что за нимъ и утвердилась кличка сатирика, далеко не соответствующая истинному значенію его поэзіи. Въ пятидесятыхъ годахъ прославился въ этомъ родѣ поэтъ Кузьма Прутковъ, досуги котораго были печатаемы въ особенномъ приложеніи къ *Современнику* съ 1854 года — *Литературномъ Ералашѣ*, заведенномъ именно въ полемико-сатирическихъ цѣляхъ. Подъ вымышленнымъ псевдонимомъ Кузьмы Прутова скрывались три поэта: Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ, братъ его Владиміръ Михайловичъ и А. К. Толстой. Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ, главный и наиболѣе энергичный поставщикъ шуточныхъ стиховъ подъ этимъ псевдонимомъ, авторъ комедій въ стихахъ *Страшная ночь* (1850 г.) и *Сумашествіе* (1852 г.), сынъ сенатора М. Н. Жемчужникова, родился въ 1822 году. Получивъ первоначальное воспитаніе въ домѣ отца, онъ былъ отданъ на двѣнадцатомъ году въ училище правовѣдѣнія, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1841 году. Затѣмъ служилъ долго въ сенатѣ, а въ послѣднее время занималъ мѣсто помощника статсъ-секретаря въ Государственномъ Совѣтѣ. Въ настоящее время онъ въ отставкѣ и проживаетъ за-границей. Мы уже говорили выше, что стихотворенія Кузьмы Прутова, появившіяся въ эпоху самой крутой реакціи, когда было не до сатиры, отличаются самымъ невиннымъ юморомъ, чуждымъ какого-бы то ни было политическаго характера, и вся соль ихъ заключается главнымъ образомъ въ рядѣ остроумныхъ пародій на господствовавшія въ то время стихотворенія въ духѣ чистаго искусства, вѣчно воспевавшія то нравы древнихъ грековъ и римлянъ, то Испанію съ ея серенадами и костаньетами.

Но особенно начала процвѣтать и развиваться сатирическая поэзія послѣ 1856 г.: когда во всѣхъ журналахъ вслѣдъ за *Свисткомъ тогдашнго Современника* появились полемическіе фельетоны, когда возникъ цѣлый рой специально-сатирическихъ листковъ съ *Искрой* во главѣ и явились писатели, всю свою дѣятель-

ность посвятившіе обязательной поэзіи. Впереди этихъ сатириковъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ первое мѣсто безспорно занимаетъ основатель русской сатирической прессы Василій Степановичъ Курочкинъ.

В. С. Курочкинъ родился 28 іюля 1831 г. въ Петербургѣ. Прізваніе къ литературѣ почувствовалъ въ раннемъ дѣтствѣ. На седьмомъ году онъ самъ, безъ учителя, выучился читать, съ восьми проводилъ цѣлые дни за чтеніемъ, а десяти лѣтъ уже сочинялъ комедіи въ стихахъ, подражая всему, что онъ читалъ въ этомъ родѣ въ *Библиотеку для Чтенія* Сепковского, въ *Репертуаръ*, *Пантеонъ* и пр. Въ 1841 г. Курочкинъ былъ опредѣленъ въ 1-й кадетскій корпусъ; въ 1846 году былъ переведенъ въ дворянскій полкъ, откуда въ 1848 г. былъ выпущенъ прапорщикомъ въ Гренадерскій полкъ. Не чувствуя расположенія къ службѣ, онъ однако промышлялся въ ней около трехъ лѣтъ, проведя изъ нихъ съ годъ на гауптвахтѣ, куда попалъ по суду за самовольное оставленіе взвода, возвращавшагося съ парада, что было замѣчено Императоромъ Николаемъ.

Къ этому времени относится сочиненіе Курочкинымъ первой его сатиры *Путешествіе хромого бѣса въ Старую Руссу*, оставшейся ненапечатанною. Затѣмъ по приговору полевого суда онъ былъ посаженъ на мѣсяць въ крѣпость, послѣ чего попытаться было вступить въ военную академію, но это ему не удалось, и онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы. Не имѣя средствъ къ жизни, Курочкинъ опредѣлился въ вѣдомство путей сообщенія на жалованье чуть-ли не 14 р. въ мѣсяць, ксоторымъ и довольствовался втеченіи почти двухъ лѣтъ до полученія пятидесятирублеваго мѣста.

Начиная съ половины 1854 года стихотворенія Курочкина стали появляться въ нѣкоторыхъ мало распространенныхъ петербургскихъ журналахъ и газетахъ, но извѣстностью онъ не пользовался и лишь съ первыхъ переводовъ его изъ Беранже онъ былъ замѣченъ, и изъ всѣхъ редакцій посылались приглашенія о сотрудничествѣ. Изъ этого успѣхъ былъ вполне попятенъ. Въ переводахъ изъ Беранже впервые талантъ Курочкина проявляется во всей своей величинѣ. По сродству-ли своего характера и духа съ знаменитымъ французскимъ поэтомъ, или-же просто по чуткости и богатству своего таланта, но только Курочкинъ, такъ сказать, самъ воплотился въ Беранже, переживъ каждую изъ переведенныхъ имъ его пѣсенъ всѣмъ своимъ существомъ и съумѣлъ перевести Беранже такъ, что сдѣлалъ его какъ-бы русскимъ народнымъ поэтомъ. Словомъ, онъ переводилъ Беранже такъ-же, какъ Крыловъ переводилъ Лафонтена; и подобно тому, какъ читая басню Крылова, вы забываете Лафонтена и видите передъ собою только Крылова, такъ и читая пѣсни Беранже въ переводѣ Курочкина — вы забываете о Беранже и видите передъ собою В. С. Курочкина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что изданіе переводовъ Беранже В. С. Курочкина выдержало втеченіи пяти-шести лѣтъ пять изданій, одно изъ которыхъ — именно пятое — появилось въ 1864 г. съ приложеніемъ двѣнадцати гравюръ, сдѣланныхъ по рисункамъ Волье.

Вообще нужно сказать, что В. С. Курочкинъ былъ вполне произведеніемъ, дѣтницемъ шестидесятихъ годовъ и однимъ изъ самыхъ типическихъ представителей своей эпохи. Шестидесятые годы отличаются своими безкорыстно-честными, высокими увлеченіями при полномъ отсутствіи практичности, тактичной выдержки, строго обдуманнаго пла-

новъ въ дѣйствіяхъ и цѣляхъ. Таковъ былъ и В. С. Курочкинъ во всемъ складѣ своего характера. Обладая сангвиническимъ, веселымъ темпераментомъ, художественнымъ, тонко-развитымъ вкусомъ, блестящимъ остроуміемъ и нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ, онъ былъ въ тоже время горячимъ энтузіастомъ во всѣхъ передовыхъ идеяхъ своего времени. Авторитеты Бѣлинскаго, Добролюбова и прочихъ дѣятелей предыдущей и современной эпохъ онъ чтилъ до конца дней своихъ и съ неподкупнымъ рыцарствомъ весь отдавался служенію идеямъ, которымъ слѣдовалъ. Для него не существовало другихъ интересовъ кромѣ литературно-общественныхъ, но въ то-же время въ практической жизни это было дѣтя, блуждающее въ лѣсу; не говоря уже о какихъ-либо своекорыстныхъ заботахъ и расчетахъ, онъ и въ дѣлѣ своего общественнаго служенія не помышлялъ о завтрашнемъ днѣ, я какъ истинный сынъ вѣка, жилъ увлеченіемъ сегодняшняго протеста. Это была чистая, прозрачная душа, чуждая какой-бы то ни было раздвоенности или затаенности; можно положительно сказать, что у Курочкина не могло быть ничего на душѣ, чего не было-бы на языкѣ. Если онъ бывалъ кѣмъ-либо недоволенъ, онъ объявлялъ объ этомъ громко, всеуслышаніе, не стѣняясь выраженіями. Особенно въ этомъ отношеніи строгъ онъ былъ къ людямъ близкимъ или которыхъ считалъ стоящими въ одномъ съ нимъ лагерѣ. Малѣйшее подозрѣніе этихъ людей въ измѣнѣ знамени онъ принималъ весьма близко къ сердцу, скорбѣлъ, какъ мать о больномъ ребенкѣ, и болѣзненно выходилъ изъ себя, если подозрѣнія его оправдывались. Понятно, что черезъ это онъ нажилъ много враговъ, которые злословили его и истли ему всю жизнь.

И вотъ этого безкорыстнаго энтузіаста прогрессивныхъ идей и ребенка въ практикѣ жизни волна движенія шестидесятыхъ годовъ подняла вверхъ въ качествѣ создателя сатирической прессы. Изданіе *Искры* было задумано имъ уже въ 1856 году; 1-й номеръ долженъ былъ выйти еще въ 1857 году, а вышелъ лишь 1-го января 1859 г., подъ редакціею Курочкина и Н. С. Степанова, извѣстнаго каррикатуриста.

Не прошло двухъ-трехъ лѣтъ послѣ начала изданія, какъ *Искра* была въ числѣ первыхъ и передовыхъ органовъ прессы въ Россіи. Она расходилась по всѣмъ городамъ Россіи; число подписчиковъ въ самые счастливые годы у *Искры* насчитывалось болѣе 10,000; кромѣ того при каждомъ обличеніи провинціального скандала массы экземпляровъ выпсывались тѣмъ городомъ, въ которомъ происходилъ скандалъ. *Искра* сдѣлалась грозой для всѣхъ, у кого была не чиста въ какомъ-либо отношеніи совесть,—и попасть въ *Искру*, упечь въ *Искру* были самыми обыденными выраженіями въ жизни шестидесятыхъ годовъ. Не было ни одного крупнаго или мелкаго безобразія общественной или литературной жизни, которое не имѣло-бы мѣста на страницахъ *Искры*, ни въ игристыхъ, полныхъ необузданнаго остроумія куплетахъ, пародіяхъ или въ прозѣ, исполненной убійственныхъ сарказмовъ; не былой такой пошлости, которая не была-бы представлена во всемъ безобразіи и не было такого подлнца, который не увидѣлъ-бы въ одинъ прекрасный день своей фizioноміи въ ряду каррикатуръ *Искры* съ полною подписью всѣхъ своихъ нравственныхъ качествъ. И самые талантливыя, самыя остроумныя и безпощадно злыя строки въ изданіи принадлежали самому издателю, который трудился неутомимо, писалъ куплеты, пародіи, передовыя и обличительныя статьи, изобрѣталъ каррикатуры для исполненія художниками,—это была

дѣятельность изумительная по своей плодовитости. Довольно сказать, что изъ 700 слишкомъ номеровъ, составляющихъ полное изданіе *Искры* за все время ея существованія, едва-ли найдется номеръ, въ которомъ не было-бы помѣщено его переводной или обязательной статьи, оригинальнаго или переводнаго стихотворенія.

Въ началѣ 1864 года изданіе и редація *Искры* перешли въ исключительное завѣдываніе Курочкина, такъ какъ Степановъ съ этого года началъ издавать свой особенный сатирическій журналъ *Будильникъ*, перенесенный имъ впоследствии въ Москву.

Но не могло долго просуществовать изданіе, подымавшее на смѣхъ всѣхъ и каждого и никому не дававшее покоя. Нѣтъ ничего удивительнаго, что едва начался отливъ движеній шестидесятыхъ годовъ и волны его покатались вспять, понесли они по своему обратному теченію и злосчастную *Искру*.

Уже среди шестидесятыхъ годовъ она начала слабѣть, хлѣбѣть, блѣднѣть, но виною этого было не ослабленіе энергій издателя. Вѣдь нельзя-же было пѣть въ одинъ голосъ объ однихъ и тѣхъ-же предметахъ; предметы, обличеніе которыхъ занимало публику въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, перестали уже занимать ее въ серединѣ, а во вторую половину шестидесятыхъ годовъ пріѣхалъ. Публика ждала обличеній новыхъ сторонъ жизни, но оказывалось, что и въ прежнемъ кругѣ обличеній едва можно было держаться. Тонъ *Искры* спадалъ; вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшался и интересъ къ ней публики, уменьшалось число и подписчиковъ. Съ разными перерывами, вынуждаемыми денежными, цензурными и прочими затрудненіями, при содѣйствіи разныхъ болѣе или менѣе ненадежныхъ издателей, *Искра* могла просуществовать едва-едва до 1873 года, когда волны неудачъ окончательно потопили ее.

Положеніе Курочкина по прекращеніи *Искры* было по-истинѣ трагическое. Мало того, что онъ остался снова безъ всякихъ средствъ къ жизни, онъ схоронилъ въ любимомъ журналѣ своемъ все, чѣмъ жила душа его. При его талантѣ, трудолюбіи и почетномъ имени ему ничего не стоило зарабатывать столько, чтобы жить безбѣдно со своимъ семействомъ; но каково было человѣку, привыкшему стоять во главѣ изданія полновластнымъ хозяиномъ своего кровнаго дѣла, пресмыкаться по чуждымъ редакціямъ, подчиняясь изъ-за куска хлѣба разнымъ чуждымъ условіямъ и требованіямъ! Нѣтъ ничего мудренаго, что при такихъ обстоятельствахъ онъ не могъ протянуть болѣе двухъ лѣтъ, причемъ онъ замѣтно хирѣлъ, и въ глазахъ его очень часто горѣлъ огонь мрачнаго отчаянія. Умеръ впрочемъ онъ случайно 15 августа 1875 года: при леченіи отъ остраго ревматизма, пріобрѣтеннаго на дачѣ въ 3-мъ Наргловѣ, по ошибкѣ ему было сдѣлано подкожное вприскидыванье такой дозы морфія, какой было достаточно, чтобы онъ уснулъ на вѣки. Похоронили его на Волковѣ, недалеко отъ могилъ Вѣлиискаго, Добролюбова и пр.

Кромѣ Берамже, изъ котораго Курочкинъ перевелъ до ста пьесъ, онъ переводилъ изъ Мольера (*Мизантропъ*), Вольтера (*Макарь и Телма*), Альфреда де-Виппъ (*Смерть волка и Гитъ Самсона*), Альфреда де-Мюссе (*Ночи, Ива, Письмо Фортунио*), Виктора Гюго (*Грозный годъ* и др.). Барбье (*Блѣтаиз, Всемірная сила* и др.), Грессе (*Попунай*), изъ Надд, Борнса, Шиллера и пр. Наконецъ замѣ-

чательны также его передѣлки для русской сцены двухъ извѣстныхъ оперетокъ—*Фаустъ на-изнанку* и *Дочь рынка*.

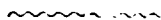
Однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и пользовавшихся наибольшою извѣстностью сподвижниковъ В. С. Курочкина на поприщѣ легкой сатиры и въ качествѣ постоянного сотрудника *Искры* является Дмитрій Дмитриевичъ Минаевъ.

Д. Д. Минаевъ родился 21-го октября 1835 года въ Симбирскѣ. Отецъ его Дмитрій Ивановичъ Минаевъ былъ тоже поэтъ, извѣстный переводчикъ *Слова о полку Игоря*. Д. Д. Минаевъ учился въ Дворянскомъ полку, по окончаніи курса въ которомъ служилъ въ симбирской казенной палатѣ, а затѣмъ въ Петербургѣ по министерству внутреннихъ дѣлъ въ земскомъ отдѣлѣ по крестьянскому вопросу. Выйдя затѣмъ въ 1857 году въ отставку, онъ посвятилъ себя исключительно литературной дѣятельности. Начиная съ 1858 года, стихи его начали появляться во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, особенно въ *Искрѣ*, гдѣ онъ подвизался подъ псевдонимами Обязательный поэтъ, Темный человѣкъ, Михаилъ Бурбоновъ, Дм. Свѣжскій, Литературное Домино и пр. Съ 1860 г. онъ много занимался переводами съ французскаго и даже англійскаго, переводилъ цѣлыя поэмы Байрона (*Донъ-Жуанъ*, *Чайльдъ-Гарольдъ*, *Бенпо*, *Мансфредъ* и *Каинъ*); но такъ какъ онъ зналъ языки плохо и переводилъ на стихи подстрочные переводы другихъ лицъ на подобіе, какъ Жуковский переводилъ Одиссею, то вѣрность и близость его переводовъ къ подлинникамъ подвержены большимъ сомнѣніямъ.

Вообще это былъ талантъ чисто виѣшній, не столько поэтический, сколько стихотворный въ специальномъ смыслѣ этого слова. Стихами онъ владѣлъ въ совершенствѣ и даръ стихосложенія доходилъ у него до импровизаціи, причемъ онъ прославился богатѣйшими римами, которыми онъ приводилъ въ пзумленіе своихъ современниковъ; можно положительно сказать, что не было такого слова и сочетанія звуковъ въ русскомъ языкѣ, къ которымъ онъ не прибралъ-бы созвучія.

При этомъ всѣ его произведенія мало-мальски серьезнаго содержанія не отличаются ни глубиной, ни силою (напр., удостоившаяся уваровской преміи и напечатанная въ *Вѣстникѣ Европы* 1874 года комедія *Спѣтая пѣсня*); но зато въ шуточныхъ стихотвореніяхъ, пародіяхъ, обличеніяхъ, эпиграммахъ.—онъ былъ неподражаемъ по своему остроумію и хотя легкому, поверхностному, но тѣмъ не менѣе порою очень мѣткому юмору.

Умеръ онъ 10 іюня 1889 года, 54-хъ лѣтъ.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

I—Школа поэтовъ чистаго искусства. Алексѣй Константиновичъ Толстой. Факты его жизни. II—Характеристика его произведеній. III—Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. IV—Анастасій Анастасьевичъ Шеншинъ (Фетъ). V—Ододоръ Ивановичъ Тютчевъ. Яковъ Петровичъ Полонскій. VI—Левъ Александровичъ Мей. Николай Ододоровичъ Щербина. VII—Поэты-переводчики: Николай Васильевичъ Гербель. Петръ Исаевичъ Вейнбергъ. Михаилъ Илларионовичъ Михайловъ.

I.

Между тѣмъ какъ поэзія, созданная разсматриваемою нами эпохою, или отражала горе народное, или выражала хандру и покаяніе дворянскія, — сороковые годы завѣщали намъ особенную школу поэтовъ чистаго искусства, — школу довольно многочисленную и лифующую въ своихъ рядахъ нѣсколько весьма недюжинныхъ талантовъ, но къ сожалѣнію представлявшую собою хотя и пышный, но все-таки не болѣе, какъ пустоцвѣтъ. Поэты этой школы считали себя прямыми послѣдователями Пушкина, претендовали на то, что они одни только являются вѣрными хранилищами пушкинскихъ традицій. Но въ этомъ они жестоко ошбалсь. Пушкинъ, хотя и заглашалъ намъ въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи „Подите прочь, какое дѣло“, — заповѣдь чистаго искусства, но самъ онъ въ своей поэзіи былъ вполне живымъ поэтомъ, черпавшимъ свои прекрасные образы непосредственно изъ жизни. Поэты-же сороковыхъ годовъ, появивъ въ буквальномъ смыслѣ свое призваніе, что они рождены „не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ, а для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ“, замкнулись въ эстетическія созерцація прекрасныхъ образовъ классическаго искусства древнѣйшихъ и повѣйшихъ временъ, причемъ изолировались не отъ однихъ только злобъ дня и такъ-пазываемыхъ „гражданскихъ мотивовъ“, но и отъ жизни вообще, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Путемъ такого отрешенія отъ жизни и замкнутости въ эстетическихъ созерцаціяхъ, они создали совершенно особеннаго рода поэзію — отвлеченную, кабинетную, искусственно-галантерейную, изысканно-риторичную. Главный недостатокъ такой поэзіи заключается въ ея междупародной безличности, въ отсутствіи такихъ красокъ, колорита, звуковъ, мотивовъ, въ которыхъ выражался-бы своеобразный букетъ русской народности и жизни. Вместе съ тѣмъ поэты этой школы страдаютъ отсутствіемъ и индивидуальной самобытности: все различіе ихъ одного отъ другого заключается лишь въ томъ,

что одни эпитеты и объективны, другие—субъективны и личны, третьи имѣютъ пристрастіе къ изображеніямъ изъ древне-классической жизни, четвертые предпочитаютъ вослѣвать любовь и пр. Но тщетно вы будете искать въ ихъ поэзіи рѣзко выраженныхъ чертъ ихъ духовныхъ фizioномій.

Они все сливаются въ одинъ безразличный хаосъ пысканно стереотипныхъ образовъ и звуковъ. Однимъ словомъ поэзія ихъ имѣетъ совершенно такой-же искусственно-школьный, отвлеченный характеръ, какой имѣла старая академическая живопись, черпавшая свое содержаніе не непосредственно изъ жизни, а изъ такъ называемыхъ „великихъ образцовъ“ искусства, полагая всю суть послѣдняго въ подражаніи этимъ великимъ образцамъ.

Во главѣ этой школы, какъ самаго талантливаго ея представителя, слѣдуетъ поставить графа Алексѣя Константиновича Толстаго. Онъ родился 24-го августа 1817 года въ Петербургѣ, но шестинедѣльнымъ увезли его въ Малороссію мать его и дядя съ материнской стороны Алексѣй Перовскій, человекъ образованный, большой любитель изящныхъ искусствъ, принимавшій участіе въ литературѣ и извѣстный въ ней подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. И такъ, родною своею А. Толстой полное право имѣлъ считать Малороссію, гдѣ съ шестинедѣльнаго возраста онъ провелъ въ имѣніи родителей первые восемь лѣтъ своей жизни. Дѣтство Толстаго прошло чрезвычайно счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. Нѣжными попеченіями родителей онъ былъ огражденъ отъ всѣхъ непріятныхъ столкновеній и шероховатостей жизни, росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки, среди роскоши малороссійской природы, и понятно, что при такихъ условіяхъ въ немъ рано развилась мечтательность, и воображеніе его начало создавать самыя причудливыя и фантастическія грезы, вполне соответствующія изяществу окружающей его обстановки.

«Съ шестилѣтняго возраста, говоритъ гр. Толстой въ своей автобіографіи,—началъ я марать бумагу и писать стихи—такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги, отпечатавшейся въ моей памяти, заставлялъ биться сердце всякій разъ, когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я таскалъ ее, бывало, съ собою всюду и прятался въ саду или въ лѣсу, что-бы лежа подъ деревьями, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть; я упивался музыкаю разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику; какъ ни были неполны мои первые опыты, я долженъ однако сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны».

При такихъ условіяхъ въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе.

Когда мальчику было восемь или девять лѣтъ, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей, составляющихъ воскресное общество Цесаревича (покойнаго императора Александра Николаевича). Но съ слѣдующаго-же года начинаются постоянныя странствія его съ родителями за границей, имѣвшія огромное вліяніе на эстетическое развитіе его и углубленіе въ міръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. Въ Веймарѣ тогда дядя свелъ его къ Гете, которому мальчикъ проникся инстинктивно

величайшимъ почтеніемъ за ту манеру, съ которою онъ говорилъ. Отъ этого посѣщенія у Толстаго сохранились въ памяти величественныя черты Гете и что онъ сидѣлъ у него на козлѣняхъ.

Мальчику было 13 лѣтъ, когда впервые онъ посѣтилъ съ родными Италію. „Невозможно, говоритъ онъ въ своей автобіографіи, изобразить силы моихъ впечатлѣній и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде нежели встрѣтился съ ними“. Они приѣхали первымъ дѣломъ въ Венецію, гдѣ дядя его сдѣлалъ большіе покупки въ старомъ дворцѣ Грлмани. Между прочимъ былъ купленъ бюстъ молодого Фавна, великолѣпный экземпляръ, приписываемый Микель-Анджело. Когда статую перенесли въ ихъ отель, мальчикъ не отходилъ отъ нея, и воображеніе его мучилось нелѣпѣйшими подозрѣніями. Онъ задавалъ себѣ вопросъ, что ему дѣлать, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, можетъ-ли унести статую на своихъ рукахъ. Изъ Венеціи они отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніи восторгъ и любовь къ искусству возрастали въ юности; дѣло дошло до того, что по возвращеніи въ Россію, онъ впалъ въ настоящую тоску по Италіи, доходилъ до какого-то отчаянія, которое заставляло его днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, сны заносили его въ потерянный рай. Изъ всего этого мы можемъ судить, что воспитаніе Толстаго какъ-будто парочно и систематично было направлено къ тому, чтобы отвлечь его отъ всякихъ непосредственныхъ отношеній къ живой дѣйствительности и поселить его въ отвлеченно-мечтательный міръ прекрасныхъ грезъ. Онъ по всей справедливости могъ къ себѣ отнести слѣдующіе стихи повѣсти его *Портретъ*:

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна;
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
Все въ той-же прозѣ движась безпрерывно,
Все, что зовутъ серьезныя дѣла —
Я невидѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

При отрѣшенности отъ дѣйствительности въ то же время жизнь Толстаго отличается крайнею бѣдностью событій. Семнадцати лѣтъ выдержалъ онъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университетѣ. Въ 1836 году по желанію матери былъ прикомандированъ къ русскому посольству при иѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣленіе собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 году онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ императорской фамиліи съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую компанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человекъ отъ тифа, полученнаго также и Толстымъ. Тотчасъ по заключеніи мира онъ вышелъ въ отставку и въ 1857 году вступилъ въ должность егермейстера Двора Его Величества, которую занималъ до самой смерти. Послѣдніе два года жизни Толстой провелъ по большей части въ странствіяхъ за-границей, преимущественно по разнымъ имперальнымъ водамъ Германіи, въ надеждѣ на исцѣленіе отъ снѣдавшаго его недуга. Воротившись наконецъ въ Россію, онъ, нигдѣ не останавливаясь, прямо

проѣхалъ въ свое любимое черниговское имѣніе Красный Рогъ, близъ города Почепъ, гдѣ и скончался 28-го сентября 1875 года вечеромъ, на пятьдесятъ девятомъ году жизни.

II.

Печататься Толстой началъ съ 1842 года, когда дебютировалъ не стихами, а нѣсколькими разказами въ прозѣ. Въ 1855 году онъ отдалъ въ первый разъ свои лирическія и эпическія стихотворенія въ различные журналы, а позже помѣщалъ ихъ ежегодно въ *Вѣстникъ Европы* или *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Въ произведеніяхъ гр. А. Толстого при всей ихъ чисто внѣшней красотѣ и преобладаніи живописной пластики, напрасно вы будете искать какихъ-либо тактъ особенностей, которыя рѣзко выдѣляли-бы этого поэта и составляли-бы его фзіономію. Онъ напоминаетъ собою Жуковского въ томъ отношеніи, что самыми лучшими его произведеніями являются тѣ, которыя навѣяны иностранными или русскими поэтами; таковы напримѣръ стихотворенія, названныя очевидно Лермонтовымъ (*Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ, Въ совѣсти искалъ я долю обвиненья, Въ странѣ, незримой нашимъ взорамъ, Горными тихо летѣла душа небесами*), другія напоминающія Гейне (*Змѣя, что по скаламъ влечетъ свои извивы*“ и многіе Крымскіе очерки, напр.: *Вы все любуетесь на скалы, или Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты*). Драматическая поэма *Донъ-Жуанъ* очевидно внушена изученіемъ Фауста Гете, а *Драконъ*, итальянскій разсказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данта.

Къ числу подобныхъ-же подражательныхъ стихотвореній Толстого слѣдуетъ причислить и всѣ поддѣлки его подъ народныя пѣсни и былины вроде *Ходитъ съньс надувающимъ, Кабы знала я, кабы вѣдала, Колокольчики мои, цвѣтики степные, Не Божьимъ громомъ горе ударило, Алеша Поповичъ, Илья Муромецъ, Садко, Змѣй Туаринъ* и пр. Они учень красивы, какъ и все написанное Толстымъ, но въ нихъ вы и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой, горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ того, что составляетъ всю прелесть и силу истинной и естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми успліями кропотливой художественной отдѣлки, мучительными потѣніями надъ лнвымъ неукладывающимся въ размѣръ, стихомъ и недающейся римой. Какъ-бы то ни было, а стихотворенія гр. А. Толстого, навѣяныя разными поэтами и написанныя въ духѣ различныхъ народностей, представляются все-таки лучшими и наиболѣе удачными; отъ нихъ вѣетъ, по крайней мѣрѣ, духомъ той поэзіи, которая вдохновляла графа и подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Что-же касается до вполне самостоятельныхъ произведеній его, то всѣ они безхарактерны, безжизненны и риторичны, какъ и самостоятельныя произведенія Жуковского. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое характерное явленіе. Гр. А. Толстой, какъ это видно изъ его автобіографіи, былъ большой любитель природы, особенно малороссійской, среди которой провелъ всю жизнь. Въ одномъ мѣстѣ своей автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить цѣ-

лые недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, по обыкновенію въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ по большей части—въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзіи почти столько-же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ А. Толстой очень часто обращается къ природѣ и отличается немалою щедростью въ описаніяхъ ея красотъ. Но замѣчательно, что всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая ихъ, вы не чувствуете никакого обаянія природы, какими проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ, не говоря о Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Гоголѣ, но даже описанія С. Аксакова. Изъ описаній А. Толстого вы не въ силахъ бываете представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами вовсе не живыя, художественныя картины, а простой перечень предметовъ въ разсыпную, причемъ воображенію вашему предоставляется самому слагать эти предметы во что-либо цѣльное и связное. Такъ напримѣръ, казалось-бы, что ужъ какой же природѣ какъ не малороссійской, судя по вышесказанному, слѣдовало-бы отражаться въ произведеніяхъ г-на А. Толстого. А между тѣмъ именно ея-то вы у него и не найдете, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, а лишь проѣзжалъ и видѣлъ ее мелькомъ изъ оконъ вагона. Для доказательства вы прочтите напримѣръ стихотвореніе *Ты знаешь край*. Что здѣсь воспѣвается ничто иное какъ Малороссія, можно судить лишь потому, что упоминаются названія, относящіяся къ этой странѣ вроде паробковъ, Маруся, Грицко, Чубовъ, казачекъ или псгорическія племена вроде Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что-же касается колорита и характерныхъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ самыхъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтой съ Малороссіей.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, можетъ быть богатъ внутреннею жизнію, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ рядъ любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ явленій или философскихъ идей. Но и этого мы не можемъ сказать о Толстомъ. По своему міросозерцанію онъ стоитъ вполне въ урѣвнѣ великосвѣтскаго кружка, которому принадлежалъ. Убѣжденія его ясны и опредѣленны, словно отлитыя изъ бронзы, неизмѣнныя въ продолженіе всей жизни, поражаютъ васъ узостью формальнаго піетизма, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головой. Въ мистицизмъ этомъ вы видите полное отреченіе отъ малѣйшаго покушенія на самостоятельную мысль. Однимъ словомъ — это не тотъ мистицизмъ, который въ поэзіи создаетъ образы, хотя и дико-фантастическіе, но не лишеныя своеобразной прелести, а тотъ, который подчасъ, ради подбострастной вѣрности традиціямъ, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности, если поэтичность эта какъ-либо не согласуется съ буквою догмата. Это мы можемъ видѣть съ большою наглядностью въ драматической поэмѣ А. Толстого *Донъ-Жуанъ*, въ которой поэтъ превратилъ обольстительнаго своего дерзкимъ протестомъ Донъ-Жуана въ сентиментальнаго святошу, слезно оплакивающаго грѣхи молодости въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ.

О дѣятельности гр. Толстого въ области исторической драматургіи и беллетристики мы имѣли уже случай говорить въ соотвѣствующихъ главахъ.

III.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, правнукъ Василія Майкова, автора *Емистя*, былъ сынъ извѣстнаго художника Ник. Апол. Майкова; родился 23-го мая 1821 г. въ Москвѣ. Дѣтство провелъ онъ въ подмосковной усадьбѣ отца, близъ Троицко-Сергіевской лавры. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ отецъ Майкова переѣхалъ съ семействомъ въ Петербургъ. Здѣсь Майковъ началъ учиться подъ руководствомъ дяди, занимавшагося приготовленіемъ молодыхъ людей для поступленія въ военно-учебныя заведенія, причемъ особенныя успѣхи оказывалъ въ математикѣ. Болѣе-же всего своимъ образованіемъ Майковъ былъ обязанъ влиянію друга отца его, Соловцова, редактора Сениковского по изданію *Библиотеки для чтенія*; у него была обширная бібліотека, доставившая возможность какъ Аполлону, такъ и Валеріану Майковымъ познакомиться съ капитальнѣйшими произведеніями русскихъ и западныхъ классиковъ, повѣйшихъ и древнихъ. Надо замѣтить при этомъ, что вообще домъ родителей Майкова представлялъ въ то время открытый литературный салонъ, куда стекались всѣ знаменитости того времени, начиная съ Бѣлинскаго и его друзей, группировавшихся въ кругъ *Отечественныхъ Записокъ*. Довольно сказать, что словесность преподавалъ будущему поэту Н. А. Гончаровъ, въ то время только что вышедшій изъ университета молодой кандидатъ. Въ 1836 году Майковъ поступилъ уже въ университетъ на юридическій факультетъ. Но хотя въ это время онъ писалъ уже стихи (первое стихотвореніе его *Разочарованіе* было написано 14 лѣтъ) и издавалъ домашніе рукописные журналы подъ руководствомъ Гончарова, онъ смотрѣлъ на свои литературныя занятія, какъ на нѣчто второстепенное. Наболѣе-же увлекался живописью, ободренный успѣхомъ одной изъ своихъ картинъ, — *Распятіи*, — купленной въ устраивавшуюся тогда католическую капеллу для бракосочетанія В. Ки. Маріи Николаевны. Онъ и по окончаніи курса въ университетѣ продолжалъ мечтать всего себя посвятить живописи, и лишь близорукость и слабость зрѣнія понудили его отказаться отъ этой мысли, а успѣхъ нѣкоторыхъ изъ первыхъ стихотвореній, обратившихъ на себя вниманіе профессоровъ Плетнева и Никитенко, увлекъ его окончательно на литературное поприще. Первые стихотворенія его въ печати появились въ 1838 году, а въ 1841 году вышло первое изданіе его стихотвореній, встрѣченное обширною и обстоятельною статьею Бѣлинскаго, признавашаго въ Майковѣ „дарованіе неподдѣльное, замѣчательное и обещающее въ будущемъ“. Но восторгъ Бѣлинскаго быстро охладѣлъ, и уже въ литературномъ обзорѣ за 1842 годъ, упоминая о томъ-же изданіи, и признавая, что антологическія стихотворенія Ан. Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, но едва-ли не превосходятъ ихъ, въ то-же время онъ оговаривается, что было-бы жаль, если-бы только на этомъ остановился Майковъ, что исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко не вполне понята), безъ всякаго живого, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣлать великимъ или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени;

въ-же пантологическія стихотворенія поэта пока не обѣщаютъ въ будущемъ ничего особеннаго.

Когда появился этотъ пророческій приговоръ Бѣлинскаго, Майковъ, по окончаніи университетскаго курса со степенію кандидата, путешествовалъ за-границей, вѣстрогался Римомъ и его памятниками искусства, слушалъ лекціи Сорбонны и Collège de France, увлекался славянскимъ вопросомъ въ Прагѣ, познакомившись съ Гапкою.

По выходѣ изъ университета онъ опредѣлился въ департаментъ государственнаго казначейства, въ которомъ прослужилъ не долго, но къ чему получилъ мѣсто бібліотекаря въ Румянцевскомъ музеѣ, которое занималъ до перенесенія музея въ Москву, послѣ чего перешелъ въ комитетъ цензуры иностранной, въ которомъ служилъ и по настоящее время.

Литературную дѣятельность Ал. Майкова можно раздѣлить на три періода. Къ первому періоду принадлежатъ стихотворенія его сороковыхъ годовъ и начала пятидесятыхъ. Въ этомъ періодѣ совершенно согласно съ опредѣленіемъ Бѣлинскаго преобладали стихотворенія антологическія, совершенно отрѣшенные отъ живой дѣятельности, но большей частью изъ древняго міра. Въ это время была задумана Майковымъ драматическая поэма *Два міра*, изображающая столкновеніе язычества и христіанства въ эпоху паденія Рима. Поэму эту онъ писалъ всю жизнь съ перерывами; прологъ ея, подъ заглавіемъ *Три смерти*, былъ написанъ имъ съ 1841 по 1852 годъ, а напечатанъ въ 1857 году въ *Библіотекѣ для Чтенія*; въ цѣломъ-же видѣ поэма была окончена лишь въ 1872 году. Къ этому-же періоду относится поэма *Дни судьбы* (1845 г.) *Очерки Рима* (1847 г.), *Анacreonъ*, *Акивиадъ* и проч.

Второй періодъ можно считать съ 1855 года и простирается онъ до половины шестидесятыхъ годовъ. Это было время полного расцвѣта таланта Майкова, когда подъ вліяніемъ движенія шестидесятыхъ годовъ и общаго одушевленія и онъ въ свою очередь вышелъ изъ своего антологическаго анахоретства и началъ увлекаться живыми вопросами времени. Къ этому періоду относятся лучшія его произведенія: *Клермонтскій соборъ*, *Силанаролли*, *Дурочка Дуны*, *Послѣдніе язычники*, *Поля*, *Кириница*, *Ива*, масса прекрасныхъ переводовъ изъ Гейне и проч.

Съ нахожденіемъ прогрессивной волны и съ наступленіемъ эпохи реакціи, обратилась противъ и податливая душа Майкова, и послѣдніе двадцать пять лѣтъ дѣятельности его представляютъ печальное паденіе таланта. Паденіе это заключается не въ томъ, чтобы Ал. Майковъ вновь отрѣшился отъ современности и обратился къ антологической поэзіи своей юности. Онъ пошелъ даже служенія чистому искусству, пронасмѣиваясь, славянофильскими тенденціями школы почвенниковъ и сдѣлался жертвою того фанатическаго обскурантизма, который гнѣзвился въ сороковые и пятидесятые годы вокругъ *Русскаго Вѣстника*, гдѣ преимущественно и появлялись произведенія Майкова этого періода. Вѣстѣ съ тѣмъ самый поэтический талантъ Майкова началъ заглохнуть умирать съ каждымъ годомъ, и если прежде при всякомъ высканной галантерейности и риторичности, свойственной въ-въ поэтамъ этой школы, встрѣчалось въ лучшихъ произведеніяхъ его проблески истиннаго таланта, то послѣднія произведенія не представляютъ собою ничего болѣе какъ оффиціальное реффементство на какіе угодно торжественные случаи.

IV.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншипъ (Фетъ) родился 22-го ноября 1820 г. въ имѣніи отца Аѳанасья Неофитовича, сельца Новоселкахъ, мценскаго уѣзда, орловской губерніи. Получивъ первоначальное образованіе дома, онъ на четырнадцатомъ году поступилъ въ учебное заведеніе Крюмера въ городѣ Верро (лифляндской губ.), гдѣ и оставался около четырехъ лѣтъ. Семнадцати лѣтъ онъ перешелъ въ Москву, въ частный пансіонъ М. П. Погодина, а оттуда—въ московскій университетъ, сначала на юридическій, а затѣмъ на словесный факультеты. При поступленіи Фета въ университетъ встрѣтились неожиданныя затрудненія въ представленіи документовъ, вслѣдствіи чего при подачѣ прошенія онъ принялъ имя своей матери по первому браку—Фетъ, съ которымъ вскорѣ и выступилъ въ свѣтъ и которое, утвердившись за нимъ навсегда въ литературѣ, приобрѣло со временемъ всеобщую извѣстность. Впослѣдствіи, именно въ 1875 г., по представленіи необходимыхъ документовъ, за Фетомъ Высочайшимъ указомъ была утверждена родовая фамилія его—Шеншипъ.

Въ 1844 году, по окончаніи курса, Фетъ поступилъ юнкеромъ въ орденскій кирасирскій полкъ, стоявшій тогда въ одномъ изъ округовъ херсонскаго военнаго поселенія. Затѣмъ, прослуживъ въ полку около девяти лѣтъ, онъ перешелъ въ лейбъ-гвардіи уланскій Его Величества полкъ, съ которымъ сдѣлалъ походъ къ западнымъ границамъ Россіи. Въ 1856 году, по заключеніи мира, онъ вышелъ въ отставку, и будучи заграничней, въ Парижѣ женился на сестрѣ извѣстнаго врача С. П. Боткина—Марѣ Петровнѣ.

Литературная дѣятельность Фета началась очень рано. Въ 1839 году, т. е. когда ему не было девятнадцати лѣтъ, онъ уже выпустилъ въ свѣтъ небольшой сборникъ своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ: *Лирическій Пантеонъ. А. Ф. 1840 г.* Эти первые опыты были встрѣчены весьма сочувственно критикой и у юнаго поэта было признано присутствіе несомнѣннаго дарованія.

Поступленіе въ 1840 году въ университетъ и множество соединенныхъ съ нимъ обязательныхъ занятій на время остановили дальнѣйшіе поэтическіе опыты Фета. Только начиная съ 1842 года въ *Москвитянинъ* и затѣмъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали появляться его стихотворенія, сначала по нѣскольку разъ въ годъ, а потомъ почти ежемѣсячно. Въ *Москвитянинъ* стихотворенія Фета печатались до конца сороковыхъ годовъ. Наконецъ въ началѣ 1850 года въ Москвѣ вышло новое изданіе стихотвореній Фета, такъ-же какъ и первый его сборникъ вызвавшее одобрительные отзывы тогдашней критики.

Переселившись въ Петербургъ съ переходомъ въ гвардію, Фетъ началъ помѣщать свои стихотворенія въ *Современникъ* и *Отечественныхъ Запискахъ*. Въ 1860 году онъ поселился въ деревнѣ, въ орловской губерніи, мценскомъ уѣздѣ, на хуторѣ Степановка, и совершенно посвятилъ себя сельскому хозяйству. 1863 годъ ознаменовался для Фета появленіемъ собранія его стихотвореній въ двухъ частяхъ, изданнаго въ Москвѣ Н. Т. Солдатенковымъ. Съ 1866 по 1877 годъ онъ служилъ по выборамъ участковымъ мировымъ судьей мценскаго округа, въ которомъ состоятъ почетнымъ мировымъ судьей и понынѣ. За все это время онъ почти ничего не писалъ, за исключе-

віємъ замѣтокъ по сельскому хозяйству, время отъ времени появлявшихся въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ заглавіемъ *Изъ деревни*. Въ 1877 году Фетъ переѣхалъ жить въ курскую губернію и съ этого времени начинается снова его непрерывная дѣятельность, результатомъ которой явился цѣлый рядъ переводовъ древнихъ классическихъ авторовъ, нѣсколько выпусковъ собственныхъ оригинальныхъ стихотвореній, переводы философскихъ сочиненій и пр. Такъ за это время изданы: 1) *Міръ — какъ воля и представленіе* Шопенгауэра, переводъ (1880 г.), 2) *Фаустъ*, трагедія Гете I—II части—переводъ (1882—1883 гг.), 3) *Вечерніе огни*, сборникъ стихотвореній, вып. I (1883 г.), 4) Полный переводъ Горация (1883 г.). 5) *Вечерніе огни*, вып. II (1885 г.), 6) Сатиры Ювенала, переводъ (1885 г.), 7) Стихотворенія Катулла, переводъ (1886 г.), 8) Элегія Тибулла, переводъ (1886 г.), 9) *О четвертомъ корнѣ закона достаточнаго основанія* А. Шопенгауэра, переводъ (1886 г.), 10) Овидія *Превращенія*, переводъ (1884 г.), 11) *Вечерніе огни*, вып. III (1888 г.), 12) Энеида Виргилія, переводъ (1888 г.), 13) Элегія Проперція, переводъ (1888 г.) и пр.

Уступая по талантливости А. Толстому и Ап. Майкову, Фетъ является въ то-же время наиболѣе типическимъ представителемъ своей школы. Имя его по крайней мѣрѣ сдѣлалось въ нашей критикѣ какъ-бы нарицательнымъ для обозначенія поэта чистаго искусства. И еще-бы: и А. Толстой, и Ап. Майковъ и прочіе поэты этой школы изрѣдка все-таки нисходили со своего Марасса и отзывались на тѣ или другіе вопросы времени, пытались проводить тѣ или другія идеи.

Фетъ принципиально возставалъ не только противъ тенденціозности, но и какой-бы то ни было идейности въ искусствѣ. Ни одного стихотворенія не найдете вы у него, которое выражало-бы какую-бы то ни-было идею: безъидейность онъ возвелъ въ идеаль, въ сущность поэзіи. Всѣ стихотворенія его, по большей части очень небольшого размѣра, представляютъ собою рядъ или картинокъ природы, или какихъ-либо неуловимо тонкихъ, мимолетныхъ психическихъ эмоций. Но надо отдать справедливость Фету, всѣ эти его картинки, выраженія душевныхъ ощущеній, поэтическихъ грезъ и т. п. исполнены чагующей и подкупающей васъ художественной прелести. Какъ ни много на-примѣръ смѣялись надъ его знаменитымъ стихотвореніемъ *Шопотъ, робкое дыханье*, а все-таки и до сихъ поръ, сколько-бы вы ни перечитывали этотъ странный наборъ однихъ подлежащихъ безъ сказуемыхъ, у васъ кружится голова отъ обаянія свѣтлой лѣтней ночи и любовнаго свиданія при соловьиныхъ треляхъ. Краткость и сжатость картинокъ Фета еще болѣе увеличиваетъ прелесть ихъ, пробуждая воображеніе читателей и заставляя ихъ дополнять то, чего не договорилъ художникъ. Раздѣляя вѣстѣ съ прочими поэтами своей школы отрѣшенность отъ жизни, Фетъ въ то-же время чуждъ ихъ риторичности и стеготливости. Отрѣшенность его заключается лишь въ томъ, что изъ всего необъятнаго океана жизни онъ избралъ всего на всего двѣ капли ея,—природу и любовь; по въ этихъ двухъ капляхъ онъ является живымъ поэтомъ, и образы его черпаются изъ жизни, а не являются отвлеченными кабинетными измышленіями. Типичность Фета заключается въ томъ, что поэзія его представляетъ собою квинтъ-эссенцію того эстетическаго сладострастія, какое развилось на почвѣ помѣщичьяго сабаритства въ кружкахъ сороковыхъ годовъ. Та сластолюбивая созерцательность, вѣчно мѣющаяся въ эстетическихъ восторгахъ, какую вы встрѣтите у всѣхъ

прозаиковъ и поэтовъ сороковыхъ годовъ, но лишь между прочимъ,—у Фета возведена въ альфу и омегу искусства, исчерпываетъ всю его поэтическую дѣятельность. Фетъ представляется въ этомъ отношеніи послѣднимъ могиканомъ дореформеннаго помѣщичьяго режима. Движеніе пятидесятихъ годовъ не задѣло его ни кончикомъ своего крыла и, пребывая внѣ его вліянія, онъ съ самаго начала и до конца оставался непримиримымъ врагомъ его. Какъ довершеніе типичности Фета, замѣчателенъ тотъ фактъ, что вѣчный созерцатель красоты во всѣхъ ея мимолетныхъ и неуловимо-тонкихъ оттѣнкахъ, Фетъ въ то-же время въ своихъ письмахъ пзъ деревни поражалъ современниковъ жалобами на прискорбныя послѣдствія крестьянской реформы, обнаруживая грубое кулачество своими разсказами о штрафахъ и прочихъ взысканіяхъ, налагаемыхъ пмъ на крестьянъ за потравы и прочія провинности, что въ свое время возбуждало противъ поэта не мало сатирическаго смѣха въ *Искрѣ* и прочихъ юмористическихъ листкахъ шестидесятихъ годовъ.

V.

Хотя и уступающимъ по высотѣ таланта корифеямъ вышеупомянутой школы, но тѣмъ не менѣе самымъ старѣйшимъ жрецомъ чистаго искусства является Федоръ Ивановичъ Тютчевъ. Онъ почти ровесникъ Пушкина, такъ какъ родился 23-го ноября 1803 года въ родовомъ своемъ брянскомъ помѣстьѣ, селѣ Овстугѣ. Первоначальное воспитаніе получилъ онъ въ домѣ отца, подъ наблюденіемъ извѣстнаго переводчика Тасса и Аріоста С. Н. Рапча, прожившаго въ домѣ Тютчевыхъ семь лѣтъ. Учасъ серьезно и прилежно, Тютчевъ въ то же время поражалъ всѣхъ своими блестящими дарованіями. Когда ему было всего четырнадцать лѣтъ, въ 1817 году, Рачъ представилъ въ общество любителей русской словесности переводы его пзъ Горация, которые оказались такими хорошими, что общество напечатало ихъ въ своихъ *Трудахъ* и избрало мальчика въ члены-сотрудники. Пятнадцати лѣтъ Тютчевъ сталъ посѣщать университетъ, куда ѣздилъ съ Рачемъ, былъ очень любимъ Мерзляковымъ и блистательно выдержалъ экзаменъ на кандидата. Пріѣхавъ въ Петербургъ, Тютчевъ поступилъ 21-го февраля 1822 г. на службу въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ, гдѣ оставался до начала 1823 года, когда былъ причисленъ къ миссіи въ Мюнхенъ.

Возвышаясь въ чинахъ, пожалованный въ 1825 въ камеръ-юнкеры, а въ 1835 г. въ камергеры, онъ оставался за-границей до 1844 года, былъ обласканъ Гете, коротокъ былъ съ Гейне и со всѣми свѣтилами мысли и науки въ Германіи. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ онъ исправлялъ должность повѣреннаго въ дѣлахъ при дворѣ короля Сардинскаго. Уѣхавши на досугъ безъ разрѣшенія пзъ Турина въ Швейцарію, онъ былъ за это исключенъ со службы и лишенъ камергерскаго званія и лишь въ 1844 году, по ходатайству Великой Княгини Маріи Николаевны, былъ прощенъ и снова принятъ на службу по министерству иностранныхъ дѣлъ. Съ 1857 года до самой смерти онъ исправлялъ должность председателя с.-петербургскаго комитета иностранной цензуры. 31-го декабря 1872 года его поразилъ ударъ, парализовавъ ему одну руку и ногу, послѣ чего онъ скончался 15 іюня 1873 года въ Царскомъ Селѣ и погребенъ въ Воскресенскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ въ Петербургѣ.

Первыя стихотворенія Тютчева были напечатаны въ 1826 году въ альманахѣ *Уранія* и затѣмъ онъ печатался во всѣхъ періодическихъ издавіяхъ и альманахахъ — въ *Сѣверной Лири*, *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* Дельвига, *Современникъ* Пушкина и пр. Но большою пзвѣстностью онъ не пользовался въ продолженіи всѣхъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и лишь Некрасовъ въ *Современникъ* 1850 г. въ № 1 впервые познакомилъ публику съ Тютчевымъ въ статьѣ своей: *Русскіе второстепенные поэты*. Вслѣдъ затѣмъ въ 1854 году были приложены при *Современникъ* 96 пьесъ Тютчева, что довершило пзвѣстность его, особенно послѣ того, какъ въ 4-й книжкѣ того-жс года была помѣщена статья И. Тургенева подъ заглавіемъ: *Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ О. И. Тютчева*, въ которой, назвавъ Тютчева „однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, завѣщанныхъ намъ пріивѣтомъ и одобреніемъ Пушкина“, Тургеневъ между прочимъ говоритъ:

«Мы сказали сейчасъ, что Тютчевъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно ни обидно для современниковъ, О. И. Тютчевъ, принадлежащій къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратьевъ по Аполлону. Легче указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходитъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ нашихъ поэтовъ: на плѣнительную, хотя нѣсколько однообразную грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ Тютчевѣ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ относится и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соотвѣстность его съ жизнью автора—словомъ, хоть часть того, что въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ Тютчева не обширенъ—это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоитъ изъ безсвязно разбросанныхъ частей; онъ замкнутъ и владѣетъ собою; въ немъ нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто лирическихъ; но эти элементы опредѣлительно—сны и срослись съ самою личностью автора; отъ его стиховъ не вѣетъ сочиненіемъ, они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гете; то-есть они не придуманы, а выросли сами, какъ плоды на деревѣ, и по этому драгоценному качеству мы узнаемъ между прочимъ вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени. Самые короткія стихотворенія Тютчева почти всегда самые удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно; но онъ, говоря словомъ не совѣтъ принятымъ въ хорошемъ обществѣ, не выѣзжаетъ на немъ, не принимается компановать и раскрашивать свои фигуры. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бывають натянуты и холодны у Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служить поясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытіе. Кромѣ всего этого, въ Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ—плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему».

Какъ тонкому знатоку изящнаго и цѣнителю эстетическихъ красотъ произведеній. особенно современныхъ ему, Тургеневу конечно и книги въ руки; намъ остается прибавить къ характеристикѣ его развѣ лишь то соображеніе, что отрытый изъ среды посредственности и внезапно столь возвеличенный въ мрачныя годы общественнаго безвременья пятидесятыхъ годовъ, Тютчевъ во всякомъ случаѣ въ достаточной мѣрѣ

скуповатъ въ своихъ безукорѣнныхъ красотахъ, и исключая нѣкоторыя изъ его произведеній, помѣщаемыхъ въ хрестоматіяхъ, большинство ихъ читается съ трудомъ и цѣнятся лишь самыми строгими и рѣвными эстетиками.

Яковъ Петровичъ Полонскій родился 6 декабря 1820 года въ Рязани, гдѣ провелъ дѣтство и первую молодость. Въ 1830 году умерла у него мать, а отецъ уѣхалъ на службу въ Эривань, оставивъ шестерыхъ дѣтей на попеченіе сестры своей жены. Въ 1831 году Полонскій поступилъ въ рязанскую гимназію, гдѣ онъ рано началъ обнаруживать проблески и поэтическаго таланта и будучи ученикомъ 6-го класса за стихи, поднесенные Государю Наслѣднику во время проѣзда его черезъ Рязань, удостоился получить отъ него въ подарокъ золотые часы. По окончаніи курса въ гимназіи Полонскій поступилъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, причемъ вслѣдствіе разстройства дѣла и болѣзни отца принужденъ былъ пропитывать себя собственнымъ трудомъ, занимаясь уроками. Въ 1844 году онъ кончилъ университетскій курсъ и въ концѣ того-же года издалъ небольшую книжку своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ *Гаммы*, встрѣченную критикою того времени, въ томъ числѣ и Бѣлинскимъ, съ большою похвалою. Затѣмъ начинается въ жизни Полонскаго періодъ скитальчества, полного тревогъ, тяжкаго труженничества и заботъ о кускѣ хлѣба, причемъ обстоятельства бросаютъ его то въ Одессу, то въ Тифлисъ, то въ Петербургъ, то въ Варшаву; наконецъ въ 1857 году за-границу—въ Германію, Швейцарію, Римъ, Парижъ. Здѣсь онъ женился въ 1858 г. на дочери причетника при русской церкви въ Парижѣ Ел. В. Устюжской, которую встрѣтилъ въ одномъ русскомъ семействѣ, но черезъ полтора года послѣ свадьбы имѣлъ несчастіе лишиться ея.

Въ 1859 и 60 годахъ онъ занимался редактированіемъ *Русскаго Слова*. Въ мартѣ 1860 года поступилъ на мѣсто секретаря комитета иностранной цензуры; въ 1860 году вступилъ во второй бракъ съ дѣвицей Жозефиной Антоновой Рюльманъ, отъ которой имѣетъ троихъ дѣтей. Въ настоящее время Полонскій занимаетъ мѣсто члена совѣта въ комитетѣ иностранной цензуры, не переставая участвовать во многихъ періодическихъ изданіяхъ, и выпускать въ свѣтъ отдѣльными изданіями, какъ сборники своихъ стихотвореній, такъ и романы.

У Полонскаго мы не видимъ того вѣрнаго и непреклоннаго служенія искусству, какъ у всѣхъ вышеозначенныхъ поэтовъ разсматриваемой школы. Правда, большая часть его произведеній написана въ духѣ этой школы. Здѣсь вы встрѣтите и отрывки какихъ-то недоконченныхъ поэмъ, вроде *Магометъ*, и картины кавказской природы, и разочарованныя элегіи, исполненные темныхъ и туманныхъ философскихъ размышленій, обливающихъ мысль въ философскомъ отношеніи весьма незрѣлую, и альбомные стихи, и стихи на всякіе случаи, начиная со стихотворнаго письма Ап. Майкову изъ Баденъ-Бадена и кончая литературно-юбилейными одами. Самыми видными произведеніями его этой категоріи считаются: шуточная поэма *Кузнецикъ музыкантъ* изданный въ 1863 году, поэмы *Мими*, напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ* за 1873 годъ и *Келіотъ*—въ *Дрѣмъ* 1874 г. Во всѣхъ подобнаго рода произведеніяхъ Полонскаго вы и тѣмъ не найдете чего-либо оригинальнаго, самобытнаго, своего. Отъ нихъ такъ и вѣетъ, если не Пушкинымъ и Лермонтовымъ, то

какимъ-нибудь иностраннымъ поэтомъ, Шиллеромъ, Гейне и пр. Но порою Полонскій выходитъ изъ тѣсныхъ рамокъ своей школы и отдается пылымъ поэтическимъ вѣяніямъ своего времени. Такъ среди стихотвореній его вы встрѣтите и нѣсколько такихъ, въ которыхъ онъ заплатилъ дань той самой гражданско-соціальной лирикѣ, на поприщѣ которой подвизался Некрасовъ и Плещеевъ. Стихотворенія его этого рода, отличаясь не малою силою и страстностью, свидѣлствуютъ, что изъ Полонскаго могъ-бы выработаться поэтъ, не уступающій означеннымъ. Таковы его *Натурщица*, *Былый*, *Литературный врачъ*, *Тяжелая минута*, *Казиміръ Великій*, *Что мнѣ она—не жена, не любовница*.

Не упустилъ изъ виду Як. Полонскій заплатить дань и той самобытно-народной лирикѣ, представителями которой являются въ нашей литературѣ Кольцовъ, Никитинъ и Некрасовъ. Не говоря уже о томъ, что стихотворенія Полонскаго этого рода, исполненные истиннаго поэтического одушевленія, являются самыми гармоничными и цѣльными въ художественномъ отношеніи, они отличаются той безыскусственной простотой, какая свойственна русской народной лирикѣ, и въ тоже время вы не найдете въ нихъ и тѣни народничанья, фальшивой поддѣлки подъ народные пѣсн; они вполне оригинальны; на каждомъ изъ нихъ лежитъ печать индивидуальности поэта. Таковы: *Солнце и мѣсяцъ*, *За окномъ въ тѣни мелькаетъ*, *Затворница*, *Качка въ бурю*, *Пѣсня цыганки*, *Смерть малютки*, *Колокольчикъ*, *Пѣсня*, *Подойди ко мнѣ старушка*, *Въ глуши*, *Подсолнечное царство*, *Волшебный мѣсяцъ*, *Старая няня*.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что нѣкоторые изъ этихъ стихотвореній, какъ-то: *За окномъ въ тѣни мелькаетъ*, *Подойди ко мнѣ старушка*, *Затворница*, положенныя на музыку, проникли въ народъ и ихъ распѣваетъ вся Россія; а другія, коковы *Солнце и мѣсяцъ* или *Смерть малютки*, вы найдете въ каждой христоматіи, и нѣтъ ни одного ребенка, который не зналъ-бы ихъ наизусть. Это — перлы нашей лирики, которые никогда не забудутся, и одни способны составить славу поэта и добрую память о немъ въ потомствѣ.

VI.

Левъ Александровичъ Мей, сынъ обрусѣвшаго чиновника нѣмецкаго происхожденія Ал. Ив. Мей и дворянки Ольги Ивановны Шлыковой, родился 13-го февраля 1822 года въ Москвѣ. Первоначальное воспитаніе онъ получилъ въ московскомъ дворянскомъ институтѣ, откуда былъ переведенъ въ 1835 г. за отличные успѣхи въ царскосельскій лицей, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1841 году съ чномъ X класса. По выходѣ изъ лица, Мей поступилъ на службу въ канцелярію московскаго военнаго генералъ-губернатора, въ которой прослужилъ до января 1849 года. Выйдя въ отставку, Мей около полутора года оставался безъ мѣста, но въ мартѣ 1850 года снова поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія на должность инспектора 2-ой московской гимназіи. Прослуживъ здѣсь около полутора года, онъ вторично и окончательно вышелъ въ отставку и перѣехалъ на жительство въ Петербургъ, въ которомъ прожилъ безвыѣздно до смерти.

Стихи началъ писать Мей еще въ лицѣ, гдѣ принималъ дѣятельное участіе въ изданіи лицейскихъ рукописныхъ журналовъ. Первымъ напечатаннымъ произведеніемъ Мей было стихотвореніе *Г'вангани*, въ 4-й части *Маяка* за 1840 годъ; затѣмъ начиная съ 1845 г. стихотворенія его стали появляться въ *Москвитяинѣ*, а по переѣздѣ въ Петербургъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библіотекѣ для Чтенія* и прочихъ періодическихъ изданіяхъ.

Будучи, подобно большинству поэтовъ школы чистаго искусства, лишень всякой самобытности, Мей вмѣстѣ съ тѣмъ не выражалъ своей индивидуальности хотя-бы въ видѣ предпочтенія одного какого-либо поэтическаго рода.

Какъ пчела онъ собиралъ свой медъ со всѣхъ цвѣтовъ безъ различія, и эклектизмъ его простирался до того, что онъ могъ совмѣщать въ себѣ автора такой классической драмы изъ древне-римской жизни, какъ *Сервилія* (1854), такихъ драмъ изъ русской старины, какъ *Царская невеста* (1849 г.) и *Псковитянка* (1860) и поэму изъ библейской древности—*Юдифь*. Зная основательно языки греческій, латинскій, древне-еврейскій, французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій, и польскій, онъ свободно переводилъ со всѣхъ этихъ языковъ. Особенно замѣчательны его полный переводъ Анакрона, девяти псалмій Теокрита, двухъ пѣсенъ *Потеряннаго рая* Мильтона, *Лагерь Валлентейна* и *Дмитрія Самозванца* Шпллера, и масса библейскихъ переложеній, изъ которыхъ болѣе всего выдаются переложенія *Пѣсни пѣсней*.

Проживъ около десяти лѣтъ въ Петербургѣ, посвящая все свое время литературѣ, Мей умеръ 16-го мая 1862 года, почти скоропостижно, диктуя повѣсть для *Моднаго магазина*, издаваемаго женой его Софьей Григорьевной. Тѣло его погребено на Митрофаньевскомъ кладбищѣ, около самой церкви.

Николай Федоровичъ Щербина родился 2-го декабря 1821 года въ міусскомъ округѣ земли Войска Донскаго, въ поселкѣ Грузко-Елачнскомъ, лежащемъ въ 60 верстахъ отъ Таганрога. Отецъ его былъ малороссъ, мать—дочь природной гречанки. Греческій элементъ сильно отразился на ея воспитаніи, а она передала его сыну, что имѣло огромное вліяніе на эстетическое развитіе Щербины. Особенно-же когда донское имѣніе, гдѣ провелъ дѣтство поэтъ, было продано, а родители его переселились въ Таганрогъ, населенный почти исключительно греками, вліяніе это еще болѣе усилилось и сблизило ребенка съ греческимъ бытомъ и преданіями греческой старины. По вступленіи десяти лѣтъ въ таганрогскую гимназію Щербина такъ ревностно принялся за изученіе греческаго языка, что вскорѣ, не довольствуясь преподаваніемъ его въ гимназій, сталъ ходить въ частную греческую школу, гдѣ прочиталъ въ первый разъ *Иліаду* Гомера и познакомился съ нѣкоторыми другими поэтами древней Греціи. Къ этому времени относится первое поэтическое произведеніе Щербины—поэма *Сафо*, написанная имъ на тринадцатомъ году, но потомъ уничтоженная, а также и первое печатное произведеніе его *Къ морю*, появившееся въ № 10 *Сына Отечества* за 1838 годъ.

Не кончивши гимназическаго курса, Щербина шестнадцати лѣтъ отправился въ Москву съ цѣлью приготовиться къ поступленію въ университетъ, но неблагоприятныя обстоятельства заставили его возвратиться въ Таганрогъ, и лишь въ 1841 году ему удалось поступить въ харьковскій университетъ на юридическій факультетъ. Но и на

этотъ разъ неблагопріятныя обстоятельства заставили его выйти изъ университета до окончанія курса и снискивать скудное пропитаніе уроками у окрестныхъ помѣщиковъ. Но борьба съ нищетою не мѣшала Щербинѣ посвящать часы досуга музамъ. Изъ стихотвореній, принадлежащихъ къ этому времени, заслуживаютъ наибольшаго вниманія *Клефты*, *Ночь въ Венеціи*, *Эллада*, напечатанныя въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ того времени. Въ 1849 г. Щербина отправился было посѣтить дорогую сердцу его Грецію, но и это не удалось ему: онъ заѣхъ въ Одессѣ, гдѣ прожилъ около года, издавъ здѣсь первый сборникъ своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ *Греческія стихотворенія Н. Щербины*. Перебиваясь затѣмъ то уроками, то службой, то выгодными педагогическими изданіями (таково было: *Пчела*, *Сборникъ для народнаго чтенія*, выдержавшее четыре изданія съ 1865 по 1875 г.), Щербина въ концѣ концовъ былъ прикомандированъ къ главному управленію по дѣламъ печати и умеръ 10-го апрѣля 1869 г. отъ холеры въ горлѣ; похороненъ былъ въ Александро-Невской лаврѣ.

Щербина прославился въ русской литературѣ исключительно какъ авторъ антологическихъ стихотвореній изъ древне-греческой жизни, въ которыхъ онъ является тѣмъ болѣе побѣдоноснымъ соперникомъ сравнительно съ Ап. Майковымъ, что въ жилахъ его текла греческая кровь, и что онъ имѣлъ не въ примѣръ болѣе осязательныя свѣдѣнія въ древней жизни и литературѣ, чѣмъ Ап. Майковъ. Но поэзія его еще холоднѣе, галантерейнѣе и отвлеченнѣе въ томъ отношеніи, что никакого отношенія къ русской жизни не имѣетъ. Щербина могъ жить въ какой угодно странѣ и писать на какомъ угодно языкѣ.

Впрочемъ подъ конецъ своей жизни заплатилъ и онъ свою дань злобѣ дня. Не вынеси ничего изъ движенія шестидесятыхъ годовъ и не будучи въ состояніи уразумѣть его, онъ озлобился тѣми гоненіями на поэзію, какія послѣдовалъ со стороны Писарева, и разразился рядомъ желчныхъ пасквилей противъ своихъ литературныхъ противниковъ. Но объ этихъ его гражданскихъ подвигахъ, лишь омрачившихъ его литературную репутацію, лучше не упоминать.

VII.

Сороковые и пятидесятыя годы ознаменовались въ тоже время массою образцовыхъ переводовъ лучшихъ произведеній классическихъ иностранныхъ поэтовъ, — переводовъ, не уступающихъ подлинникамъ, а порою превосходящихъ ихъ.

Страсть къ стихотворнымъ переводамъ была въ то время такъ сильна, что не говоря уже о томъ, что всѣ выдающіеся таланты, кромѣ развѣ одного Некрасова, подвизались на этомъ поприщѣ, — появились такіе поэты, которые большую часть своей литературной дѣятельности посвятили этому почтенному дѣлу и составили репутацію преимущественно какъ талантливые переводчики. Таковы — Николай Васильевичъ Гербель, Петръ Исаевичъ Вейнбергъ и Михаилъ Илларионовичъ Михайловъ.

Н. В. Гербель родился 26 ноября 1827 года. Родомъ онъ былъ изъ швейцарскаго семейства, переселившагося въ Россію при Петрѣ. Прапрадѣдъ его былъ извѣстнымъ инженеръ и архитекторъ, пользовавшійся у Петра большимъ уваженіемъ и построив-

шій много зданій. Первое воспитаніе Гербель получилъ въ домѣ родителей. На девятомъ году онъ былъ отвезенъ въ Кіевъ и отданъ въ благородный пансіонъ при первой кіевской гимназіи. По окончаніи курса Гербель поступилъ въ Нѣжинскій лицей, въ 1844 г. Въ лицей, съ самаго своего поступленія онъ съ особеннымъ увлеченіемъ занялся изученіемъ русской словесности и получилъ даже серебряную медаль за сочиненіе *Подробный разборъ словесныхъ произведеній Сумарокова и Ломоносова и общее заключеніе о характеръ и состояніи русской словесности отъ Петра Великаго до Екатерины II*. Въ то же время Гербель началъ свои первыя поэтическія пробы, прославился между товарищами своими эпиграммами, касавшимися мѣстныхъ интересовъ, и лицъ; въ 1846-же году проникъ въ печать, такъ какъ въ этомъ году было напечатано въ *Библіотекѣ для Чтенія* первое его стихотвореніе *Бокаль*.

По окончаніи лицейскаго курса въ 1847 г. Гербель поступилъ въ военную службу юнкеромъ въ пизумскій гусарскій полкъ, а въ 1849 г. получилъ чинъ корнета и участвовалъ въ походѣ противъ венгровъ, отличившись храбростью. Дослужившись затѣмъ до чина штабсъ-ротмистра въ лейбъ-гвардіи уланскомъ полку, Гербель оставилъ службу и посвятилъ себя исключительно литературной и издательской дѣятельности. Во всѣхъ толстыхъ журналахъ начали появляться въ началѣ пятидесятихъ годовъ его стихотворенія, причемъ особенно удачны были его переводы изъ Байрона. Въ 1854 году онъ ознаменовалъ свою дѣятельность стихотворнымъ переводомъ *Слова о полку Игоревѣ*, встрѣченнымъ большимъ сочувствіемъ публики и даже ученыхъ филологовъ—Срезневскаго, Максимовича, Дубенскаго и др.

Въ концѣ пятидесятихъ годовъ Гербель приступилъ къ грандіозному, дѣлающему честь и самому ему, и его эпохѣ предпріятію, издать въ русскомъ переводѣ лучшихъ иностранныхъ поэтовъ. Сознавая невозможность выполнить такое колоссальное дѣло одними своими личными силами, Гербель раздѣлилъ трудъ между нѣсколькими современными ему поэтами и кромѣ того собралъ во-едино всѣ лучшіе переводы классическихъ иностранныхъ поэтовъ, разбросанныя въ разныхъ журналахъ. И вотъ въ 1857 г. явилось *Собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей*. Поощренный успѣхомъ этого изданія Гербель рѣшился продолжать дѣло, и такимъ образомъ явились въ русскомъ переводѣ полныя собранія сочиненій Шекспира, Байрона, Гете и кромѣ того хрестоматіи изъ лучшихъ произведеній нѣмецкихъ, англійскихъ и славянскихъ поэтовъ. Не былъ забытъ Гербелемъ и русскій Парнасъ: такъ онъ издалъ сборникъ *Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ*, выдержавшій два изданія. Собственныя его стихотворенія онъ издалъ въ 1858 году подъ заглавіемъ *Отголоски*. Умеръ онъ 8 марта 1883 года отъ психической болѣзни, долгое время подтачивавшей его сильный организмъ.

Петръ Исавичъ Вейнбергъ родился въ 1830 году въ Николаевѣ. Первоначальное образованіе получилъ въ одесскомъ пансіонѣ Золотова, продолжалъ его въ одесской гимназіи, по окончаніи которой поступилъ въ Решельевскій лицей, а затѣмъ въ харьковскій университетъ, на филологическій факультетъ и въ 1855 году окончилъ курсъ со степенью кандидата. Прослуживъ около двухъ лѣтъ въ Симбирскѣ, онъ переѣхалъ въ 1858 году на жительство въ Петербургъ, а въ 1868 году получилъ мѣсто профессора всеобщей литературы въ варшавскомъ университетѣ, и должность эту занималъ до

начала 1873 года. Въ настоящее время Вейнбергъ занимается чтеніемъ лекцій исторіи всеобщей и русской литературы въ женскихъ педагогическихъ курсахъ и другихъ женскихъ заведеніяхъ въ Петербургѣ.

На литературное поприще Вейнбергъ выступилъ въ 1854 году съ книжкой стихотвореній, изданной въ Одессѣ. По переѣздѣ-же въ 1858 году въ Петербургъ сталъ помѣщать свои произведенія оригинальныя и переводныя во многихъ періодическихъ изданіяхъ того времени. Въ 1860 году Вейнбергъ вмѣстѣ съ А. В. Дружининымъ, К. Д. Кавелинымъ и В. П. Безобразовымъ предпринялъ еженедѣльный журналъ *Вѣкъ*, продолжавшійся всего одинъ годъ. Въ журналѣ этомъ Вейнбергъ помѣстилъ массу своихъ трудовъ, — стихотворныхъ подъ псевдонимомъ Гейне пзъ Тамбова, и прозаическихъ, подписывая ихъ русскимъ переводомъ своего имени — Камень Виногоровъ.

Въ 1864 году Вейнбергъ принялся за переводъ Шекспира и втѣченіи трехъ лѣтъ перевелъ девять его пьесъ. Кромѣ того перевелъ Байрона — *Сардананалъ*, Шелли — *Числи*, Гутцкова — *Уріэль Акоста*, Шеридана — *Школу злословія*, Коппе — *Давъ судьбы* и пр. Наконецъ Вейнбергъ издалъ сочиненія Гете и Гейне въ русскихъ переводахъ, первыя въ шести, а вторыя въ двѣнадцати томахъ. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ Вейнбергъ сдѣлалъ новую попытку издавать ежемѣсячный журналъ — *Изящную литературу*, спеціально предназначенный для переводовъ лучшихъ произведеній иностранной прессы, но столь-же безуспѣшно, и по той-же причинѣ, по какой не удался ему *Вѣкъ*, — по недостатку матеріальныхъ средствъ для того, чтобы поставить изданіе на ноги и привлечь къ нему лучшія силы.

Михаилъ Цларіоновичъ Михайловъ родился въ 1826 году въ одномъ изъ казенныхъ заводовъ на Уралѣ. Дѣдъ Михайлова былъ дворовый человѣкъ Аксаковыхъ и умеръ подъ розгами, защищая свою волю, которую завѣщала ему старая барыня, но на однихъ словахъ, а наслѣдники этого словеснаго завѣщанія не признавали. Исторія его дважды была описана въ нашей литературѣ: въ *Семейной хроникѣ* Аксакова; (*Михайлушка*) и въ повѣсти самого внука подъ заглавіемъ *Село Чумбурово*.

Отецъ Михайлова былъ чинovníкомъ горнаго вѣдомства, а мать киргизская княжна Уракова. Отецъ получилъ недурное образование и тщательно воспитывалъ дѣтей. У будущаго поэта было три гувернера: нѣмецъ, французъ и полякъ изъ ссыльныхъ.

Въ 1836 году Михайлова помѣстили въ уфимскую гимназію, но онъ не кончилъ въ ней курса. До 1844 года проживалъ въ Оренбургѣ, а затѣмъ поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ вольнослушателемъ въ с.-петербургскій университетъ. Въ началѣ онъ усердно посѣщалъ лекціи, но когда въ 1845 году начали появляться въ *Иллюстраціи* и другихъ изданіяхъ стихотворенія его (а писать ихъ онъ началъ съ дѣтства), успѣхъ вскружилъ голову девятнадцатилѣтняго юноши, и онъ бросилъ посѣщать лекціи. Отецъ Михайлова вооружился противъ увлеченія сына стихоманіей и лишилъ его средствъ, и тогда молодому поэту пришлось терпѣть горькую пужду. Въ 1849 году подъ бременемъ этой пужды Михайловъ долженъ былъ переѣхать въ Нижній-Новгородъ на службу, но продолжалъ свободные часы посвящать литературѣ, посылая свои стихотворенія теперь уже въ *Москвитяинъ*. Къ этому-же времени относятся первые прозаическіе рассказы его — *Никитка*, *Онъ* и *Адамъ Адамычъ*. Мало-по-малу имя его начало выдвигаться, и онъ пользовался уже почетною пз-

вѣстностью, когда съ 1852 года пріѣхалъ въ Петербургъ и принималъ дѣятельное участіе одновременно и въ *Современникъ*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Въ *Современникъ* напечатаны имъ втеченіе десятилѣтняго сотрудничества пять повѣстей: *Кружевница*, *Голубые глазки*, *Африканъ*, *Деревня и Городъ*, *Вольная птичка*, кромѣ того рядъ статей публицистическаго и критическаго характера, каковы: *Джорджъ Эллиотъ*, *Женщины*, *Американскіе поэты и романисты*, *Дж. Ст. Милль объ эмансипаціи женщинъ*, *Юморъ и поэзія въ Англіи*, *Женщины въ университетъ*, наконецъ рядъ переводовъ пзъ Гейне, Томаса Гуда, Ленау, Тенисона, Лонгфелло и другихъ. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* на первомъ планѣ стоитъ большой романъ его пзъ быта провинціальныхъ актеровъ—*Перелетныя птицы*. Встрѣчаются повѣсти, рассказы и переводы и въ другихъ изданіяхъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ; таковы напримѣръ переводъ Шпллера—*Коварство и любовь*, *Духовидецъ* и пр.

Въ 1858 и въ 1861 годахъ Михайловъ побывалъ за-гранпцей,—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ и многихъ другихъ большихъ городахъ Европы, и помѣстилъ рядъ писемъ пзъ-за-гранпцы въ *Современникъ* 1858, 59 и 60 годовъ. По возвращеніи въ Россію, осенью 1861 года, онъ былъ арестованъ по политическому дѣлу, сосланъ въ Сибирь, гдѣ и скончался лѣтомъ 1865 года на 39 году своей жизни.

Что пзъ всѣхъ современныхъ переводчиковъ Михайловъ считался самымъ лучшимъ и образцовымъ, объ этомъ можно судить по тому, что очень многіе его переводы до сихъ поръ помѣщаются въ различныя дѣтскія христоматіи, начиная съ книгъ для чтенія для дѣтей самаго младшаго возраста и кончая сборниками образцовыхъ западныхъ произведеній для учениковъ высшихъ классовъ, изучающихъ исторію литературы. Кому не извѣстны почти наизусть такія его вещи, какъ *Сонъ Невомника* Лонгфелло, *Пѣсня о рубашкѣ* Гуда, *Скованный Прометей* Эсхила. Но наиболѣе прославился Михайловъ, какъ прекрасный переводчикъ Гейне. Изданныя въ 1858 г. его *Пѣсни Гейне* имѣли огромный успѣхъ, впервые познакомивши русскую публику съ великимъ нѣмецкимъ поэтомъ такъ обстоятельно и художественно точно, какъ никогда ни до того времени, ни послѣ не переводился Гейне. Вообще нѣмецкимъ поэтамъ Михайловъ отдавалъ предпочтеніе; по крайней мѣрѣ въ изданіи въ 1890 году томъ его переводныхъ стихотвореній три четверти книги заняты переводами нѣмецкихъ поэтовъ и лишь одна четверть приходится на долю поэтовъ всѣхъ прочихъ странъ и временъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

I—Характеристика новых скорбных поэтовъ, выражающихъ современную эпоху. Семенъ Яковлевичъ Надсонъ. Факты его жизни. II—Причина его популярности. Его нравственная физіономія, характеръ и духъ его произведеній. Семенъ Григорьевичъ Фругъ. III—Николай Максимовичъ Минскій. IV—Дмитрій Сергѣевичъ Мережковскій.—Новѣйшіе поэты чистаго искусства. Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ, Константинъ Михайловичъ Фофановъ. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Андреевскій II. А. Козловъ и проч.

I.

Втеченіи семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ русскимъ обществомъ овладѣла особенная стихоманія, выразившаяся въ появленіи несмѣтной массы молодыхъ поэтовъ, выступающихъ на судъ публики съ изданіями своихъ болѣе или менѣе скромныхъ сочиненій. Съ своей стороны никакія изданія не продавались такъ ходко и быстро, какъ стихотворные сборники любимыхъ поэтовъ. Но къ сожалѣнію изъ всей этой толпы жаждущихъ поэтической славы весьма немного выдѣлилось талантовъ, обратившихъ на себя вниманіе общества и критики. Да и эти немногіе далеко уступаютъ поэтамъ предшествовавшей эпохи. До сихъ поръ они рабски слѣдуютъ за своими предшественниками, повторяя тотъ-же типъ поэзіи, тѣ-же формы, образы, приемы, манеру, какіе были созданы послѣдними, не имѣя силъ создать въ свою очередь нѣчто самобытное, свою особенную школу.

На первомъ планѣ рисуется передъ нами группа поэтовъ, которые заслуживаютъ наибольшаго вниманія, такъ какъ выражаютъ въ своихъ произведеніяхъ современное настроеніе общества. Настроеніе это крайне скорбное, унылое; поэтамъ и стихотвореніямъ поэтовъ этой группы носятъ по большей части минорный характеръ; но глубоко ошибаются тѣ, кто видитъ въ нихъ разочарованныхъ песенниковъ, вродѣ тѣхъ, какіе были въ нашей литературѣ въ тридцатые и сороковые годы—въ лицѣ Полежаева, Лермонтова, Огарева. Мрачные образы, какими наполнены ихъ произведенія, постоянно смѣняются у нихъ порываніями къ правдѣ и свѣту, мечтамъ и надеждами о близкомъ наступленіи иныхъ болѣе отрадныхъ временъ, когда разсѣется мракъ окружающей ихъ ночи и наступитъ новый лучезарный день, полный тепла и блеска.

Если слѣдуетъ въ чемъ упрекнуть нашихъ молодыхъ поэтовъ и что составляетъ по-истинѣ существенный недостатокъ ихъ, это тотъ весьма прискорбный фактъ, что скамечевскій.

послѣ Некрасова, Шевченка и Никитина наша поэзія не только не сдѣлала ни одного шага впередъ по пути народной самобытности, на который пытались направить ее означенные писатели, а напротивъ того, въ лицѣ всѣхъ молодыхъ поэтовъ безъ исключенія, обратилась рѣшительно вспять, снова вступила на почву международной отвлеченности и стереотипности, причемъ языкъ, на которомъ пишется стихотвореніе, равно какъ и публика, для которой оно предназначается, являются чѣмъ-то совершенно случайнымъ и безразличнымъ.

Во главѣ молодыхъ поэтовъ, какъ самый талантливый и популярный выразитель сокровенныхъ думъ и чувствъ, волнующихъ молодое поколѣніе, является Семенъ Яковлевичъ Надсонъ, на котораго мы и обратимъ наибольшее вниманіе.

Семенъ Яковлевичъ Надсонъ родился въ Петербургѣ 14 декабря 1862 г. Дѣлъ его былъ еврей, принявшій православіе, жившій въ Кіевѣ и имѣвшій тамъ недвижимую собственность, а отецъ, даровитый человекъ и хорошій музыкантъ, умеръ еще въ молодыхъ годахъ отъ психической болѣзни. Поэту было всего два года, когда онъ остался на рукахъ матери, изъ русской дворянской семьи Мамонтовыхъ. Оставшись жить въ Кіевѣ послѣ смерти мужа, она содержала себя и двухъ дѣтей собственными трудами, занимая мѣсто экономки и учительницы въ семьѣ нѣкоего Ф. Когда мальчику было приблизительно лѣтъ семь, мать уѣхала въ Петербургъ и поселилась у брата Д. Ст. Мамонтова, а сынъ поступилъ въ приготовительный классъ 1-й классической гимназіи. Вскорѣ затѣмъ, уже больная, мать Надсона вышла вторично замужъ за Николая Гавриловича Ооминна и уѣхала съ нимъ въ Кіевъ. Но Ооминъ въ припадкѣ убопомѣшательства повѣсплся. Оставшись безъ всякихъ средствъ и испытавъ весь ужасъ нужды, несчастная женщина снова переѣхала съ дѣтьми въ Петербургъ, и здѣсь еще молодая, 31 года, умерла отъ чахотки.

Занятія мальчика въ классической гимназіи въ Петербургѣ, а затѣмъ въ Кіевѣ шли отлично. Въ послѣдніе-же мѣсяцы жизни матери отдала его пансіонеромъ во 2-ую военную гимназію. Первое время мальчику жилось нелегко въ военной гимназіи, такъ какъ товарищи не любили его; болѣзненный, впечатлительный, не отличавшійся физическою силою и ловкостью, и вмѣстѣ съ тѣмъ самолюбивый, не въ примѣръ болѣе развитой и начитанный, чѣмъ весь классъ его, онъ выдѣлялся изъ общаго уровня, что обходится недешево. Но мало-по-малу товарищи оцѣнили искренность и дѣтски-рыцарское великодушіе мальчика, оказывавшаго имъ немалыя услуги и научились любить его.

Первое время пребыванія въ гимназіи Надсонъ занимался очень хорошо и шелъ вторымъ ученикомъ, но въ послѣднихъ классахъ онъ такъ уже увлекся литературою, что ему было не до уроковъ. Это не помѣшало ему кончить курсъ 16 лѣтъ, хотя математика давалась ему трудно. Всѣ свободные часы онъ посвящалъ чтенію, читая безъ разбора все, что попадалось подъ руки; страстно любилъ музыку до того, что часто ему казалось даже, что онъ созданъ больше музыкантомъ, чѣмъ поэтомъ; всю жизнь не разставался онъ со скрипкою: она сопровождала его всюду. Стихи началъ онъ писать съ девятилѣтняго возраста, а пятнадцати лѣтъ сознательно уже рѣшился посвятить себя поэзіи. Но музыка, поэзія и чтеніе не наполняли всего досуга Надсона, и не исчерпывали воли его энергій. Но его инициативы устраивались у товарищей внѣ

гимназіи домашніе спектакли, въ которыхъ онъ самъ принималъ участіе и какъ режиссеръ, и какъ актеръ. Кроме того, по его-же инициативѣ и подъ его редакторствомъ въ гимназіи были предпринимаемы изданія рукописныхъ журналовъ, въ которыхъ онъ самъ былъ конечно и главнымъ сотрудникомъ. Въ то-же время онъ писалъ сочиненія за всѣхъ товарищей.

1878 годъ былъ особенно знаменателенъ въ жизни Надсона. Въ этотъ годъ онъ познакомился съ семействомъ одного своего товарища—Д—вымп, и страстно полюбилъ молодую дѣвушку, сестру своего товарища. Въ этомъ-же году онъ впервые выступилъ въ печать, такъ какъ въ майской книжкѣ *Свѣта* за этотъ годъ было напечатано первое стихотвореніе его *На зарѣ*. Наконецъ въ этомъ-же году началась въ поэтѣ сильная внутренняя работа: его волновали и мучили разные „проклятые вопросы“ и главнымъ образомъ религіозные.

Но первая любовь юноши имѣла трагическій исходъ: 31 марта 1879 года горячо любимая имъ дѣвушка умерла отъ скоротечной чахотки. Какъ сильно поразила поэта смерть Н. М., какъ больно отразилась она на всей послѣдующей его жизни, видно изъ двухъ стихотвореній его, посвященныхъ ей памяти, *Любили-ль вы, какъ я и Я вновь одинъ*, вышедшихъ еще при жизни поэта въ изданномъ имъ сборникѣ своихъ стихотвореній, и множества посмертныхъ, написанныхъ на эту тему. Несмотря на поразившее его горе, Надсонъ все-таки нашелъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы успѣшно выдержать экзаменъ и окончить курсъ. Затѣмъ, по желанію опекуна, Надсонъ поступилъ въ Павловское военное училище, гдѣ на первомъ-же ученіи схватилъ острый катарръ праваго легкаго и опасно заболѣлъ. Сначала онъ пролежалъ довольно долго въ лазаретѣ, а затѣмъ его отправили на казенный счетъ на Кавказъ, въ Тифлисъ, гдѣ онъ прожилъ у родственниковъ почти годъ.

Вернувшись въ Петербургъ осенью 1880 года, юноша снова поступилъ въ Павловское училище. Здѣсь онъ провелъ два года, втеченіи которыхъ писалъ и печаталъ довольно много, сначала въ *Мысли*, *Словъ*, *Русской Речи*, *Устояхъ*, а затѣмъ и въ *Отечественныхъ Запискахъ*, мало-по-малу становясь извѣстнымъ. Болѣзнь-же его медленно, но упорно двигалась впередъ, чему способствовали не подходящіе для больного грудью условія училищной жизни, лагеря, маневры и проч. Крайне дѣятельный и живой по характеру, юноша не умѣлъ беречь ни силъ, ни здоровья: бѣлъ въ хорѣ юнкеровъ, устраивалъ любительскіе спектакли, словомъ—всѣмъ образомъ жизни далеко неполезный для его расшатаннаго здоровья.

Въ сентябрѣ 1882 года онъ былъ произведенъ въ офицеры и назначенъ въ 148-й Касійскій полкъ, стоящій въ Кронштадтѣ. Кронштадскій періодъ жизни его продолжался два года. Къ этому времени принадлежатъ многія изъ лучшихъ его стихотвореній: *Пить, легче мнѣ думать, что ты умерла*, *Геростратъ*, *Грѣсы*, *Затѣмъ блестящій залъ*, *Сбылось все* и др. Извѣстность Надсона быстро росла. Между прочимъ ему устроили чуть-ли не цѣлую ованцію въ Пушкинскомъ кружкѣ 30 сент. 1883 г. Между тѣмъ болѣзнь продолжала дѣлать свои завоеванія. Летомъ этого года онъ слегъ въ постель: у него открылась на ногѣ туберкулезная фистула—явленіе, весьма часто предшествующее и сопровождающее чахотку. Онъ пролежалъ все лѣто въ Петербургѣ, въ маленькой комнаткѣ, выходившей на пыльный и душ-

пый дворъ. Такія условія не могли не отразиться невыгодно на общемъ состояніи здоровья его.

Затѣмъ всю зиму Надсонъ хлопоталъ объ освобожденіи отъ военной службы, подыскивая подходящее занятіе, которое дало-бы ему возможность существовать. Онъ собирался было сдѣлаться пароднымъ учителемъ, сдалъ удовлетворительно экзаменъ для этого; но когда ему предложено было мѣсто секретаря въ редакціи *Недѣли*, онъ съ радостью согласился, такъ какъ завѣтною мечтою его было стать поближе къ литературѣ и литературному міру.

Но недолго удалось Надсону заниматься въ редакціи *Недѣли*. Осенью болѣзнь его приняла такой опасный оборотъ, что по совѣту докторовъ его рѣшили отправить за-границу, на югъ Франціи. Литературный фондъ далъ для этой цѣли 500 р. (возвращены потомъ фонду лѣтомъ 1885 г. всей чистой прибылью съ перваго изданія его стихотвореній). Затѣмъ, чрезъ посредничество г-жи А. А. Д—вой, С. П. Д—зь далъ на поѣздку Надсона за-границу 1,200 р., а нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ январѣ 1885 г. г-жа Д—ва устроила концертъ, давшій 1,800 р. сбора. Эти средства доставили больному возможность прожить около года за-границей и пользоваться услугами лучшихъ хирурговъ для операціи фистулы на ногѣ, — операціи, которой онъ подвергался два раза въ Ниццѣ и затѣмъ два раза въ Бернѣ, въ больницѣ извѣстнаго швейцарскаго хирурга Кохера.

Послѣдніе два года Надсонъ провелъ частью въ деревнѣ у одного знакомаго въ подольской губерніи, частью въ Крыму, быстро угасая, снѣдаемый своею смертельною болѣзнью. Мысль о смерти не покидала его, и не радовали ни популярность его стихотвореній, успѣвшихъ при жизни его выдержать три изданія, ни присужденная ему Академіей наукъ пушкинская премія въ 500 р. Наконецъ 19 января 1887 г. его не стало. Тѣло его было перевезено въ Петербургъ и 4 февраля при многочисленномъ стеченіи народа было погребено на Волковомъ кладбищѣ, не далеко отъ могилъ Добролюбова и Бѣлинскаго.

II.

Впродолженіи пяти лѣтъ сочиненія Надсона, завѣщанныя имъ Литературному фонду, выдержали, какъ извѣстно, десять изданій и продолжаютъ расходиться также быстро, какъ и прежде. Подобную популярность нельзя объяснить никакими искусственными взвѣснчивальными критики и разными случайными и побочными обстоятельствами. Тайна успѣха лежитъ гораздо глубже, и онъ представляется какъ нельзя болѣе естественнымъ и заслуженнымъ. Прежде всего къ Надсону привлекаетъ общество самый прекрасный образъ поэта, — гармоническое сочетаніе въ этомъ столь рано угасшемъ юношѣ-страдалицѣ физической красоты и безукоризненно-идеальнаго душевнаго совершенства, прозрачно-яснаго, кроткаго духа, чуждаго какой-бы-то ни было фальши, суетности, тщеславія, рисовки и тому подобныхъ человѣческихъ слабостей. Но своей неподкупной честности, кристальной искренности и цѣльности Надсонъ имѣетъ среди молодого поколѣнія лишь одного совершенно подобнаго себѣ — именно въ лицѣ Вс. Мих. Гаршина; оба эти личности являются двумя существами совершен-

но тождественными, словно сливаются въ одинъ и тотъ-же лучезарный поэтический образъ, дѣлая великую честь тому поколѣнію, среди котораго они явились.

Но не одна идеально-поэтическая красота личности Надсона привлекаетъ къ нему многочисленныхъ почитателей его. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ чаруетъ своимъ звучнымъ, легкимъ, въ истинномъ смыслѣ музыкальнымъ стихомъ, изящной прелестью и граціозностью своихъ поэтическихъ образовъ и неподдѣльно искреннею задушевностью лиризма. Вы не встрѣтите въ этомъ лиризмѣ какихъ-либо мужественно-страстныхъ, энергическихъ звуковъ; преисполненный тихой, мечтательной грусти, лиризмъ этотъ напоминаетъ намъ не столько исполненнаго гнѣва и мести борца, сколько неутѣшныя слезы преждевременно увядающей красоты, но это усугубляетъ его очарованіе.

И вотъ этимъ-то своимъ музыкальнымъ стихомъ, этими пѣльными слезами своего женственнаго лиризма Надсонъ глубоко проникаетъ въ сердца читателей, задѣвая самыя сокровенныя и заветныя струны ихъ, вторя ихъ настроенію, вмѣстѣ съ ними то скорбя о настоящемъ безвременьѣ, то утѣшая свѣтлымъ будущимъ, ободряя не унывать и отважно стремиться впередъ.

Однимъ словомъ вся поэзія Надсона, словно солнце въ каплѣ воды, отражается въ извѣстномъ стихотвореніи *Другъ мой, братъ мой*, которое не даромъ считается его шедевромъ. Въ немъ дѣйствительно заключается квинтъ-эссенція всей его поэзіи. Вотъ это знаменитое стихотвореніе:

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ,
Кто-бъ ты ни былъ, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царятъ
Надъ омытой слезами землею,
Пусть разбитъ и поруганъ свитой идеалъ
И струится невинная кровь: —
Вѣрь, настанетъ пора, и погибнетъ Вааль,
И вернется на землю любовь!

* * *

Не въ терновомъ вѣницѣ, не подъ гистомъ цѣпей,
Не съ крестомъ на согбенныхъ плечахъ, —
Въ міръ прійдетъ она въ силѣ и славѣ своей,
Съ яркимъ свѣточемъ славы въ рукахъ.
И не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,
Ни безкrestныхъ могилъ, ни рабовъ,
Ни нужды безпросвѣтной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорныхъ столбовъ.

* * *

О мой другъ! Не мечта этотъ свѣтлый приходъ,
Не пустая надежда одна:
Оглянись,—зло покружъ черезчуръ ужъ гнететъ,
Ночь покружъ черезчуръ ужъ темна!
Міръ устанетъ отъ мукъ, захлебнется въ крови,
Утомится безумной борьбой, —
И подниметъ къ любви, къ безавѣтной любви
Очи, полныя скорбною жолбой...

Стоитъ прочитать это стихотвореніе, чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ основательны обвиненія Надсона въ иссимизмъ.

Семенъ Григорьевичъ Фругъ родился въ 1860 году въ еврейской земледѣльской колоніи Бобровый Куть, въ херсонскомъ уѣздѣ. Отецъ его, уроженецъ той-же колоніи, всю жизнь занимался хлѣбопашествомъ. Фругъ не былъ ни въ какомъ учебномъ заведеніи, кромѣ начальной колоніальной школы, въ которой учился чтенію и письму. Такимъ образомъ развитію своего таланта онъ былъ обязанъ вполне самому себѣ и является въ истинномъ смыслѣ этого слова самоучкой. До шестнадцати лѣтъ прожилъ онъ на родннѣ. Первое стихотвореніе его было напечатано въ 1880 году. Въ апрѣлѣ-же 1885 года вышелъ уже въ свѣтъ первый сборникъ его стихотвореній; черезъ два года второй, а въ 1890 году вышло второе изданіе его стихотвореній. Лира Фруга не громка. Онъ не займетъ виднаго мѣста во всемірной или русской исторіи поэзіи, не создастъ школы, не заставитъ современныхъ, а тѣмъ болѣе послѣдующихъ поэтовъ шѣтъ въ одинъ съ нимъ голосъ. Но все это не мѣшаетъ ему быть однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ, искреннихъ и, главное дѣло, истинныхъ поэтовъ. Отсутствіе всякой претенціозности и вычурности, простота, ясность, опредѣленность и звучность смѣлаго и энергическаго стиха, богатая образность и задушевная теплота составляютъ неотъемлемыя достоинства поэзіи Фруга. Онъ не задается никакими широкими и глубокими міровыми вопросами, философскими или политическими; въ большинствѣ своихъ стихотвореній онъ является лишь скромнымъ пѣвцомъ своего гонимаго, угнетаемаго и обоженаго судьбою и людьми народа. Это словно новый Іеремія, сидящій на рѣкахъ Вавилонскихъ и плачущій. Онъ самъ говоритъ, что ничего болѣе не желаетъ, какъ лишь успѣть „хотя одну слезу тоски и горя стереть съ лица народа его и вилести хоть одинъ лепестокъ лавровый въ его страдальческій терновый вѣнокъ“.

Въ то-же время Фругъ совершенно чуждъ узкаго націонализма и шоввинизма. Онъ не мечтаетъ о какихъ-либо ликующихъ побѣдахъ надъ врагами или о пораженіи ихъ. Дѣтство, проведенное въ земледѣльской средѣ, наложило неизгладимую печать на міросозерцаніе поэта, печать мира, любви и братства; его волнуютъ идеалы широкіе и свѣтлые вполне земледѣльческаго характера, и во имя ихъ онъ предрекаетъ своимъ землякамъ такую раціональную и отрадную будущность, какую конечно дай Богъ всякому народу. Такъ въ стихотвореніи *Грядущее* онъ говоритъ устами пророка Исаіи:

Придетъ пора — исчезнетъ злора;
Одной ликующей семьей
Подъ знамя свѣта и свободы
Стекутся мирные народы,
И надъ воскресшею землею
Утихнутъ гулы борьбы кровавой,
Угаснетъ пылъ вражды на-вѣкъ,
Иною доблестью и славой
Гордиться будетъ человекъ:
То будетъ доблесть думъ въ сонмахъ,
То будетъ слава добрыхъ дѣлъ,
И тамъ, гдѣ въ мракѣ смутъ жестокихъ
Стеркала сталь и щипъ звенѣлъ, —

На тучныхъ нивахъ въ чистомъ полѣ
Высокій колосъ зашумитъ,
И пѣсня пахаря на волѣ
Отрадой свѣтлой зазвучитъ!...

Принимая въ соображеніе эти свѣтлые идеалы Фруга, вы поймете, въ какомъ заблужденіи находятся тѣ критики, которые и Фруга въ числѣ прочихъ молодыхъ поэтовъ заподозрѣваютъ въ пессимизмѣ. Правда, пѣсни его по большей части полны грусти и печали, онъ постоянно называетъ свою душу больною, говоритъ, что самъ содрогается при видѣ мукъ, воспитанныхъ пѣмъ, называетъ себя могильщикомъ, который съ пѣжныхъ дѣтскихъ дней бродилъ среди гробовъ, слыхалъ одни стенанья, и если запоетъ порою пѣсню—въ пей звучать лишь вопли и рыданья. Но между тоской и даже отчаяніемъ и пессимизмомъ—громадная разница. Въ то время, какъ пессимисты не вѣрятъ въ самую возможность счастья и прогресса на землѣ, отчаяніе очень часто протекаетъ изъ излишней вѣры, когда люди убѣждены, что счастье и прогрессъ должны составлять неотъемлемую суть жизни, но не достижимы лишь вслѣдствіе враждебныхъ обстоятельствъ, покорить которыхъ не хватаетъ силъ у современнаго поколѣнія.

Что Фругъ вовсе не пессимистъ, что онъ вѣритъ въ побѣду добра и правды на землѣ когда-бы то ни было, въ этомъ насъ можетъ убѣдить стихотвореніе его *Пѣсня жизни*. Здѣсь онъ сравниваетъ жизнь человѣческую съ тѣми сказками, которыя рассказывала ему въ дѣтствѣ на сонъ грядущій его няня. Подобно тому какъ въ этихъ сказкахъ послѣ всевозможныхъ ужасовъ и страховъ въ концѣ концовъ правда, торжествуя гордо надъ побѣжденнымъ врагомъ, гордо вставала святая въ славѣ и блескѣ своемъ,—такую-же сказкою представляется ему и жизнь,—сказкою, длищеюся уже семнадцать вѣковъ. Поэтъ вѣритъ, что раньше или позже сказка эта кончится такимъ-же торжествомъ добра и гибелью зла, какъ кончались и нянины сказки. Его сокрушаетъ только то, что подобно тому, какъ въ дѣтствѣ ему не удавалось дослушивать нянины сказки до конца, и онъ засыпалъ раньше ихъ желанной развязки, также случится и теперь: онъ не дожидется вожделѣннаго конца сказки и заснетъ спомъ роковымъ, непробуднымъ во мракѣ одной изъ могилъ сотенъ замученныхъ жизней, сотенъ загубленныхъ сплѣ...

Такимъ является Фругъ въ самыхъ лучшихъ лирическихъ своихъ произведеніяхъ. Кроме того вы найдете у него нѣсколько эпическихъ произведеній—легендъ, сказаній и цѣлыхъ поэмъ изъ древне-еврейской жизни, но всѣ они представляются растянутыми, стереотипно-отвлеченными, риторично-сочиненными. Фругъ очевидно лирикъ по самому своему существу. Эпосъ—не его призваніе.

III.

Совѣмъ другое слѣдуетъ сказать о Николаѣ Максимовичѣ Вилепкинѣ, выступившемъ на литературное поприще почти одновременно съ Фругомъ, въ 1879 году, подъ псевдонимомъ Минскаго. Псевдонимъ этотъ, обозначающій мѣсто его происхожденія—минскую губернію, до такой степени утвердился за нимъ, что рѣдко кто знаетъ его настоящую фамилію, и мы въ свою очередь будемъ называть его Минскимъ, какъ онъ

и извѣстенъ большинству публики. Главное преобладающее качество музы Мпнскаго — спокойное, объективное раздумье и въ то-же время яркая образность. Въ этомъ отношеніи онъ рѣзко отличается отъ Надсона и Фруга, — поэтовъ лирическихъ по преимуществу, субъективныхъ до послѣдней крайности, главное достоинство которыхъ заключается въ силѣ и интенсивности выражаемыхъ ими чувствъ. Мпнскій-же, если и имѣетъ дѣло съ тѣми или другими чувствами, то не выражаетъ ихъ, какъ музыкантъ, а изображаетъ образами, какъ художникъ. Поэтому всѣ такія стихотворенія кажутся намъ холодными, словно надуманными, между тѣмъ какъ это происходитъ просто потому, что Мпнскій здѣсь не въ своей тарелкѣ: онъ не лирикъ, а пластикъ. Для примѣра возьмите хотя-бы его стихотвореніе *Скорбь*:

Надо мной заря зарю смѣняетъ,
Небеса темнѣютъ и горятъ,
Міръ кругомъ цвѣтетъ и отцвѣтаетъ,
Жизнь и смерть чредою въ немъ царятъ...
А въ душѣ свинцовою волною
Скорбь растетъ, растетъ, не зная сна,
Шумомъ дни и ночи тишиною —
Жадно всѣмъ питается она.
Притаясь у родниковъ желаній,
Ихъ кристаллъ мутитъ она въ тиши,
И толпу несмѣлыхъ упованій
Сторожитъ на всѣхъ путяхъ души.
Къ небесамъ-ли звѣзднымъ я взираю,
Въ ясный день гляжу-ль въ нѣмую даль,—
На землѣ я грусть свою встрѣчаю,
Отъ небесъ я лью свою печаль,
И когда волнуемый любовью,
Я къ груди прижмуся дорогой,—
Тутъ-же Скорбь, припикнувъ къ изголовью,
Мнѣ, какъ другъ, киваетъ головой.

Согласитесь, что это вовсе не выраженіе скорби, а лишь ея описаніе совершенно въ одномъ и томъ-же эпически-спокойномъ тонѣ, въ какомъ представляются вамъ первые четыре стиха, занятые описаніемъ внѣшней природы. Очень понятно, что авторъ, словно чувствуя свое безсиліе выразить чувство въ надлежащей его интенсивности, прибѣгаетъ къ разнымъ внѣшнимъ черезчуръ уже смѣлымъ и рискованнымъ образамъ, сравненіямъ и т. п., которые чувства все-таки сами по себѣ не выражаютъ; а между тѣмъ придаютъ стихотворенію видъ нѣсколько комической утрировки. Такъ въ настоящемъ случаѣ, чтобы показать намъ, какъ велика его скорбь, поэтъ прямо заявляетъ, что она по размѣрамъ своимъ равняется, шутка-ли сказать, самому Богу:

Ты-бъ одинъ, Кто скорби чуждъ, измѣрилъ,
Скорбь мою, великую, какъ Ты...

Но если-бы поэтъ увѣрилъ насъ, что скорбь его превышаетъ самого Бога, все-таки онъ не далъ-бы намъ въ такой степени понятія объ этой скорби, какъ если-бы выразилъ ее въ самой музыкѣ стиховъ.

Но, по нашему мнѣнію, Мпнскому не для чего столь усердно и заботиться о выраженіи своихъ чувствъ. Это совсѣмъ не его область, и въ ней ему всегда придется насп-

ловать себя, напрягаться, прибѣгать къ натяжкамъ и преувелпченіямъ для того, чтобы внушить читателю, какъ сильно онъ чувствуетъ. Для возбужденія поэпического творчества Мпнскій нуждается непрерывно въ какомъ-пибудь внѣшнемъ явленіи жпзни, которое поразило-бы его и вокругъ котораго онъ могъ-бы сгруппировать цѣлый рядъ своихъ яркихъ образовъ или тихихъ, меланхолическихъ раздумій. По крайней мѣрѣ въ изданіи стихотвореній Мпнскаго, вышедшемъ въ 1887 году, лучшими являются антологическія, вродѣ напримѣръ слѣдующаго, озаглавленнаго *Засуха*:

Я помню: лѣтнею порою
Грозилъ намъ голодъ разъ. Поля
Всѣ были выжжены жарою,
Желтѣя трескалась земля.
Грозы молили всѣ у неба:
Толпился въ церкви весь народъ.
Кричали дѣти у воротъ:
Дай, Боже, дождичка, дай хлѣба
Для дѣтокъ маленькихъ твоихъ!!!
И Богъ услышалъ ихъ.
Не даромъ въ скорби непритворной
Упала пахаря слеза,
Промчались тучи стасй черной
И разразилась гроза.

Когда-же стихнулъ дождь желанный,
Я вышелъ въ садъ благоуханный;
И тамъ нашелъ среди кустовъ
Гнѣздо размытое грозою.
Надъ нимъ съ безпомощной тоскою
Кружилась мать. Своихъ птенцовъ
Она звала и щбетала,
Ихъ грула трепетнымъ крыломъ,
Металась, билась надъ гнѣздомъ
И подлѣ мертвая упала.
И думалъ я: что, если-бъ мать
Могла въ тоскѣ своей понять,
Что той грозой неумолимой
Спасенъ весь край!
— Что край родимый,
Когда не стало навсегда
Гнѣзда, родимаго гнѣзда!

Не правда-ли, какъ много глубокаго смысла въ этомъ стихотвореніи при всей его кажущейся простотѣ? Какъ поэпично это сопоставленіе общаго бѣдствія цѣлаго края и личнаго горя ласточки, потерявшей своихъ птенцовъ какъ разъ въ ту самую освѣжительную бурю, которой край былъ обязанъ своимъ избавленіемъ отъ голода. Сколько матерей рисуется передъ вами въ образѣ этой ласточки, также оплапвающихъ своихъ дѣтей, погибшихъ въ эпохи общественныхъ бѣдствій, и которыхъ вы не утѣшите никакими разумными доводами относительно неизбежности и великости искупительныхъ жертвъ для общаго блага.

„Что край родимый, когда не стало навсегда гнѣзда, родимаго гнѣзда!“. Такова неопровержимая логика всѣхъ этихъ разбитыхъ материнскихъ сердецъ, и дѣйствительно, какое общее возрожденіе и благосостояніе, являющееся результатомъ бурь, можетъ вознаградить ихъ невозвратныя потери? Что въ состояніи утѣшить ихъ? И законъ, требующій искупительныхъ жертвъ, законъ, безжалостно жертвующій частными существованіями общему благу,—во всякомъ случаѣ поражаетъ васъ своимъ суровымъ, черствымъ безчеловѣчіемъ.

Такимъ образомъ всѣ стихотворенія Мнискаго можно раздѣлить на два рѣзкіе отдѣла: къ первому принадлежатъ всѣ тѣ, въ которыхъ Мнискій является вѣрнымъ своему призванію—художникомъ-пластикомъ, эпикомъ. Стихотворенія эти отличаются своею простотою, естественностью и въ то-же время неподдѣльною поэтичностью. Таковы *Бѣлыя ночи*, *Пѣсни о родинѣ*, *На чуждомъ нирѣ* и проч.

Но рядомъ съ ними вы найдете у того-же Мнискаго массу стихотвореній холодныхъ, патяпутыхъ, словно вымученныхъ, крайне вычурныхъ, ходульных, съ претензіей на ложный типанизмъ и въ которыхъ къ довершенію всѣхъ благъ напыщенная риторика замѣняетъ истинное чувство. Особенно въ этомъ отношеніи не привлекается дѣлается Мнискій, когда напускаетъ на себя міровую скорбь и начинаетъ вопить о какихъ-то очень величественныхъ, но въ то-же время туманныхъ и неопредѣленныхъ началахъ...

IV.

Почти то-же самое слѣдуетъ сказать о Дмитріѣ Сергѣевичѣ Мережковскомъ (родился въ 1865 г. и въ 1886 году кончилъ курсъ с.-петербургскаго университета со степенью кандидата). Въ большинствѣ своихъ стихотвореній онъ до сихъ поръ былъ преисполненъ ходульными претензіями быть во что-бы-то ни стало какимъ-то интернаціональнымъ глашатаемъ превысреннихъ фантазій. Всѣ эти его *Авакумы*, *Сильвіо* и т. п. представляются вымученными псчадіями превысрренной, но холодной фантазіи, исполненными банальныхъ риторическихъ фразъ, повидному очень красивыхъ, но такихъ-же безжизненныхъ и мпшуриныхъ, какъ искусственные цвѣты съ проволочными стеблями, съ коленкоровыми листьями и батистовыми цвѣтами.— Но разъ ему случилось коснуться почвы живой русской дѣйствительности, и онъ, какъ Антей, обнаружилъ сразу такія недюжинныя силы, которыхъ трудно было и ожидать отъ него, судя по всѣмъ предыдущимъ его произведеніямъ. Мы говоримъ о стихотворной повѣсти его *Втра*, напечатанной въ 1890 году въ № 3 и 4 *Русской Мысли*. Нѣтъ возможности и сравнивать это произведеніе Мережковскаго со всѣми предыдущими, — произведеніе такое-же живое, какъ сама жизнь, въ которомъ каждый стихъ трепещетъ передъ вами, задѣвая васъ за живое, и вы видите, какъ переливается въ немъ, какъ въ живомъ тѣлѣ, горячая кровь, струятся слезы, то безотрадно горькія, то утѣшительно сладкія, и вамъ жутко становится по прочтеніи повѣсти, —точно какъ будто вы сами пережили ту драму, кака въ ней развернулась передъ вами. А драма повидному такая простая и обыденная. Изображается юноша, замученный и озлобленный классическимъ воспитаніемъ и впавшій въ мрачный

пессимизмъ и скептицизмъ, совершенно не соответствующіе его молодымъ годамъ и горячей крови, струящейся въ его жилахъ. Изъ этого нравственнаго и умственнаго маразма его избавляетъ любовь, хотя дорого стоило ему это возрожденіе: онъ успѣлъ погубить своимъ напускнымъ холодомъ дѣвушку, которую полюбилъ всею душою, и лишь дорогая память о ней возбудила силы его и направила на спасительный путь общественнаго блага и пользы. Картина увяданія и смерти дѣвушки производитъ потрясающее впечатлѣніе и представляетъ собою нѣчто давно уже небывалое въ нашей литературѣ. Весьма желательно, чтобы и впредь Мережковский, не мудрствуя лукаво, продолжалъ-бы черпать изъ живой дѣйствительности свои произведенія и осуществилъ-бы тѣ надежды, какія возбуждаетъ онъ въ каждомъ, кто прочелъ повѣсть его безъ предубѣжденій и проникся ея поэтическими красотами.

Четырѣмъ поэтами, рассмотрѣнными нами въ этой главѣ, песчеривается воистинѣ та живая струя современной поэзіи, которая имѣетъ тѣсныя точки соприкосновенія съ переживаемою нами эпохою, является создавшею ея и ея выразительницею.—Въ сторонѣ отъ этой струи стоитъ рядъ поэтовъ, которыхъ можно назвать традиционными, такъ какъ они вѣрно и неизмѣнно слѣдуютъ традиціямъ чистаго искусства, завѣщеннымъ поэтами 40-хъ годовъ, рассмотрѣнными нами въ предыдущей главѣ. Таковы Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ (родился въ 1841 г. въ Волховѣ орловской губерніи, воспитывался въ училищѣ правовѣдѣнія); таковы Константинъ Михайловичъ Фофановъ (родился въ 1862 г. въ С.-Петербурѣ, на литературное поприще выступилъ въ 1882 году); таковы кн. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Андреевскій, П. А. Козловъ, кн. Цертелевъ и пр. Всѣ они одарены безспорнымъ талантомъ; произведенія ихъ читаются съ удовольствіемъ; изданія раскупаются охотно. Но всѣ они страдаютъ еще въ большей степени тѣмъ-же недостаткомъ, какъ и ихъ предшественники: отсутствіемъ всякой самостоятельности, полною безличностью—произведенія ихъ напоминаютъ вамъ, то Майкова, то Полонскаго, то Тютчева, то Фета и тотчасъ-же улетучиваются изъ головы по прочтеніи, не оставляя по себѣ никакого воспоминанія. Вслѣдствіе всего этого говорить о каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности и дѣлать характеристика ихъ мы считаемъ дѣломъ совершенно излишнимъ.

к о н е ц ъ .

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.

Аввакумъ, Мережковского, стр. 522.
 Авдѣевъ, М. В., 216—219.
 Авенариусъ, В. П., 363.
 Аверкиевъ, Д. В., 453—454.
 Австенко, В. Г., 361—362.
 Аггей мудрый, рассказъ Гаршина, 393.
 Адамъ Адамычъ, раз. М. Михайлова, 511.
 А ей весело—она смѣется, п. Засодимскаго, 332.
 Азбука, гр. Л. Толстого, 177.
 Акробаты благотворительности, п. Григоровича, стр. 210.
 Аксаковъ, Ив., 7, 17, 30—36.
 Аксаковъ, Н., 7, 17, 30—38.
 Аксаковъ, С. Т., 22, 203—209.
 Антъ главнаго педагогическаго института, ст. Добролюбова, 71.
 Алеша Поповичъ, был. А. Толстого, 498.
 Алкивиадъ, Майкова, 501.
 Альбертъ, Л. Толстого, 164, 170.
 Альбовъ, М. Н., 400—405.
 Альбомъ, группы и портреты, Хвощинской, 220, 222.
 Американскіе поэты и романисты, ст. М. Михайлова, 512.
 Анакреонъ, Ап. Майкова, 501.
 Андреевскій, С. А., 523.
 Андрей, поэма Тургенева, 129.
 Андрей Колосовъ, пов. Тургенева, 130.
 Анна Наренина, р. Л. Толстого, 160, 178, 180, 181.
 Анна Михайловна, п. Хвощинской, 219.
 Анненковъ, П. В., 18, 21—26, 130, 212.
 Антикварій, р. Ясинскаго, 399.
 Антоновичъ, М. А., 115—119.
 Антонъ Горемыка, п. Григоровича, 198, 208.
 Антропологическій принципъ въ философіи, ст. Чернышевскаго, 62.
 Апансинцы, рассказъ Лейкина, 349.
 Апухтинъ, А. Н., 523.
 Аранчевскій сынонь, ром. Е. А. Салиаса, 376.
 Арендаторъ, повѣсть Салова, 347.
 Аринушка, раз. Салтыкова, 288, 301.
 Архіерейскія мелочи, Лискова, 358.
 Аскольдова могила, ром. Загоскина, 365.
 Асмодей нашего времени, ст. Антоновича, 115.
 Аспидъ, п. И. Салова, 347.
 Ассоціаціи во Франціи, Германіи и Англіи, ст. Шеллера, 328.

Ася, пов. Тургенева, 66, 134, 135.
 Attalea princeps, Гаршина, 388, 390.
 Африканъ, п. Михайлова, 512.
 Ахметкина жена, р. Дмитриевой, 416.
 Аховскій посадъ, Левитова, 258.
 Ахшарумовъ, Н. Д., 348, 349.

Б.

Баба, р. Голицина, 415.
 Баба-Яга, ск. Некрасова, 458.
 Бабушкины разсказы, Мельникова, 239.
 Бабье лѣто, п. О. А. Шапиръ, 417.
 Бажинъ, Н. Ѳ., 332, 333.
 Бакунинъ, М., 127.
 Баранцевичъ, К. С., 403—406.
 Баритонъ, п. Хвощинской, 220.
 Барчуки, р. Маркова, 343.
 Батмановъ, Писемскаго, 213.
 Батна, п. Писемскаго, 214.
 Бездна, р. Маркевича, 361.
 Безпечальное житье, р. Шеллера, 328.
 Безпечальный народъ, А. Левитова, 261, 262.
 Безъ дочери, р. Крестовскаго, 359.
 Безъ исхода, р. Станюковича, 336.
 Безъ любви, р. О. А. Шапиръ, 417.
 Безъ своей воли, р. Гл. Успенскаго, 279.
 Берегъ моря, р. Маркова, 343.
 Биржевые артельщики, р. Лейкина, 349.
 Благотѣнскій, Н. А., 323.
 Благонамѣренныя рѣчи, Салтыкова, 297, 306.
 Близнецы, р. Шевченко, 481.
 Боборыкинъ П. Д., 338—342, 349.
 Г.—Бовъ о вопросѣ объ искусствѣ, ст. Достоевскаго 200.
 Богатый женихъ, п. Писемскаго, 213.
 Богатыри времянь великаго князя Владимира по русскимъ пѣснямъ, ст. К. Аксакова, 35.
 Богдане пьяный, Шевченко, 480.
 Богданъ Шибининъ, р. Непировича-Данченко, 346.
 Богомольцы-странники, р. Салтыкова, 300.
 Богъ правду любитъ, Л. Толстого, 182.
 Бональ, стихотвореніе Гербеля, 510.
 Болотный цвѣтокъ, Ясинскаго, 312.
 Большое мѣсто, р. Салтыкова, 399.
 Большая медвѣдица, р. Хвощинской, 220, 221.
 Большіе корабли, ром. Ключникова, 354.
 Борская колонія, п. Коронина, 407.

- Борьба за жизнь, ст. Писарева, 114.
 Борьба за индивидуальность, ст. Михайловскаго, 118.
 Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X, ст. Чернышевскаго, 62.
 Борьба съ Западомъ въ русской литературѣ, ст. Н. Страхова, 40.
 Боткинъ, В., 152.
 Боярщина, р. Писемскаго, 212—213.
 Брань по страсти, п. Писемскаго, 213.
 Братья и сестра, ром. Помяловскаго, 318, 322, 325.
 Братья и сестра, Потѣхина, 449.
 Братья Карамазовы, р. Достоевскаго, 193, 196—197.
 Братья Орловы, ром. Е. А. Салиаса, 376.
 Бретеръ, п. Тургенева, 130.
 Бригадирская внучка, ром. Е. А. Салиаса, 376.
 Бригадиръ, п. Тургенева, 138.
 Бродячая Русь, С. В. Максимова, 233.
 Бродячія силы, п. Авенариуса, 363.
 Буддизмъ, его догматы, история и литература, соч. Васильева, ст. Добролюбова, 72.
 Бунты на Руси, П. Якушкина, 244, 245.
 Буранъ, п. Сергѣя Аксакова, 205.
 Бурмистръ, Потѣхина, 449.
 Бура, п. Авѣенко, 362.
 Бура, стих. Некрасова, 468.
 Бывальщина и сказки, Засодимскаго, 333.
 Бывые соколы, к. Писемскаго, 216.
 Бѣлые воротились, р. Даннлевскаго, 234.
 Бѣлые въ Новороссіи, р. Данилевскаго, 234.
 Бѣглый, стих. Полонскаго, 507.
 Бѣгуны испасенные, соч. Помяловскаго, 318.
 Бѣдная невеста, к. Островскаго, 422, 423, 428, 443.
 Бѣдность-не порокъ, к. Островскаго, 419, 423, 429, 433,—437.
 Бѣдные дворяне, ром. Потѣхина, 449.
 Бѣдные люди, р. Достоевскаго, 186, 197.
 Бѣдный волкъ, ск. Салтыкова, 314, 315.
 Бѣжинъ лугъ, р. Тургенева 131—132.
 Бѣлинскій, В., 2, 13, 24, 26, 44, 128, 148, 186, 209, 458.
 Бѣлыя ночи, п. Достоевскаго, 187.
 Бѣлыя ночи, стих. Минскаго, 522.
 Бѣсенюкъ, п. Крестовской, 359.
 Бѣсы, р. Достоевскаго, 192, 195, 196, 197, 201, 351.
 Бѣшенныя деньги, ком. Островскаго, 444.
- В.**
- Вааль, др. Писемскаго, 216.
 Ванантное мѣсто, к. Потѣхина, 449.
 Ванька, стих. Некрасова, 471.
 Варенька, п. Андѣева, 217.
 Василуса Мелентьева, истор. хроника Островскаго, 425.
 Василий Шуйскій, ист. хр. Островскаго, 425.
 Введенскій, Ир. Ив., 61.
 Великъ Богъ земли Русской, П. Якушкина, 245.
 Вечерніе огни, сборникъ стихотвореній, вып. I, Шенниина (Чета), 503.
 Вешнія воды, п. Тургенева, 135, 138.
 Вейнбергъ, П. Ис., 510, 511.
 Взмалоученное море, ром. Писемскаго, 212, 215, 216, 351, 357.
 Виленникъ (Минскій), Н. М., 519—522.
 Виноцкая, А. А., 416—417.
 Винокуръ, ком. Л. Толстого, 182.
 Вино, стих. Некрасова, 471.
 Власть земли, оч. Гл. Успенскаго, 277—279.
 Власть тьмы, др. Л. Толстого, 182, 214, 224.
 Внѣ жизни, п. Крестовской, 417.
 Внѣ колен, ром. Головина, 362.
 Воевода, истор. хроника Островскаго, 425, 426, 447.
 Война за вѣру, стих. Никитина, 483.
 Волхонская барышня, пов. Эртеля, 407.
 Волчиха, поп. Засодимскаго, 332.
 Волшебный мѣсяцъ, стих. Полонскаго, 507.
 Вольная пташка, пов. Михайлова, 512.
 Вольные назани, оч. Гл. Успенскаго, 280.
 Вольные люди, ком. А. И. Пальма, 449.
 Вольтеріанецъ, ром. Вс. С. Соловьева, 376.
 Вольница и подвижники, ст. Михайловскаго, 118.
 Воля, р. Данилевскаго, 234.
 Воилярскій, 18.
 Вопросы жизни, ст. П. И. Пирогова, 50.
 Воръ, стих. Некрасова, 471.
 Воспитаніе и образованіе, ст. Л. Толстого, 162, 171.
 Воспитанница, др. Островскаго, 424, 429.
 Воспоминанія, Гончарова, 159.
 Воспоминанія, разск. Баранцевича, 405.
 Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ, стих. А. Толстого, 498.
 Война и миръ, ром. Л. Толстого 160, 173—181, 224, 364, 370, 371.
 Впередъ, ром. Пеширонича-Данченко, 345.
 Всероссийскія иллюзіи, разрушаемыя розгами, ст. Добролюбова, 84.
 Встрѣча зимы, стих. Никитина, 484.
 Встрѣча, разск. Гаршина, 388, 390, 391.
 Встрѣча съ мартинистами, С. Аксакова, 205.
 Вторая правда, оч. Мачтета, 407.
 Вуноль, оч. Помяловскаго, 320.
 Въ водоворотѣ, р. Писемскаго, 216.
 Въ глуши, стих. Полонскаго, 507.
 Въ гостяхъ, оч. Пеширонича-Данченко, 345.
 Въ дурномъ обществѣ, поп. Короленко, 410.
 Въ духѣ времени, піеса В. А. Крылова, 453.
 Въ еженовыхъ рукавицахъ, ром. Пеширонича-Данченко, 345.
 Въ забытомъ краю, Паумова, 266.
 Въ лѣсахъ, р. Мельникова, 239.
 Въ мутной водѣ, комедія Потѣхина, 450.
 Въ ночь подъ свѣтлый праздникъ, раз. Короленко, 412.
 Въ ожиданіи лучшаго, р. Хвощинской, 220.
 Въ ожиданіи паромъ, п. Григорьевича, 208.
 Въ осадномъ положеніи, В. А. Крылова, 453.
 Въ путь - дорогу, ром. Боборыкина, 310, 311.
 Въ разбродъ, ром. Шеллера, 328, 330.
 Въ разныя стороны, раз. Дмитриевой, 116.
 Въ совѣсти искаль я долго обвиненъ, стих. А. Толстого, 498.
 Въ сороковыхъ годахъ, р. Андѣева, 218.

- Въ средѣ умѣренности и аккуратности, Салтыкова, 297, 304.
 Въ странѣ, незримой нашимъ взорамъ, стих. А. Толстого, 493.
 Въ сумерки, раз. Чехова, 415.
 Въ тихомъ омутѣ, раз. Дмитріевой, 416.
 Въ тихомъ омутѣ, Наумова, 265.
 Въ усадьбѣ и на порядкѣ, ром. Боборыкина, 341.
 Въ чемъ моя вѣра, Л. Толстого, 181.
 Въ чемъ состоитъ счастье? ст. гр. Л. Толстого, 181.
 Въ чужомъ пиру похмѣлье, др. Островскаго, 421, 439, 443.
 Выборъ гетмана, Шевченко, 480.
 Вы все любуетесь на сналы, стих. А. Толстого, 498.
 Выдержка изъ исторіи Польши, Мордовцева, 372.
 Вѣра, пов. Мережковскаго, 522.
 Вѣрное средство отъ разоренія, Левитова, 259.
 Вѣрочка, пов. Ясинскаго, 399.
 Вѣчный мужъ, р. Достоевскаго, 192.
- Г.**
- Гаевскій, В. П., 18, 292.
 Галаховъ, А. А., 18, 255.
 Гамалія, поэма Шевченко, 480.
 Гамлетъ и Донъ-Кихотъ, ст. Тургенева, 134.
 Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, раз. Тургенева, 23, 131, 135.
 Гайдамани, поэма Шевченко, 477, 480.
 Гайдамачина, повѣсть Мордовцева, 373.
 Гайка, пов. Соханской, 222.
 Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и враги. ром. Эртеля, 407.
 Гаршинъ, В. М., 379, 386—395.
 Гванагани, стих. Мей, 508.
 Гдѣ лучше? Рѣшеникова, 253.
 Гдѣ любовь, тамъ и Бсгъ, Л. Толстого, 182.
 Геннади, 18.
 Гербель, И. В., 509, 510.
 Герои и толпа, ст. Михайловскаго, 118.
 Геростратъ, стих. Надсона, 515.
 Герценъ, Г., 17, 29, 101, 123, 146, 218, 219, 420.
 Гетманъ, раз. Златовратскаго, 283.
 Гимнъ двѣмъ небѣ, стих. Чернышевскаго, 62.
 Гирсъ, Д. И., 336, 337.
 Глава изъ недописанной повѣсти, Альбова, 402.
 Глумовы, Рѣшеникова, 253.
 Гнилыя болота, ром. Шеллера, 328.
 Гнѣздо ласточки, стих. Никитина, 484.
 Гоголь, 1—4, 420.
 Годъ войны, оч. Пемировича-Данченко, 345.
 Годъ изъ сѣверѣ, С. М. Максимовъ, 233.
 Гн. Голосницевъ-Кутузовъ, А. А., 523.
 Голицынъ (Муравлинъ), 395, 114—115.
 Головачева А. Я. (быв. Панаева, не Станцкая), 18, 219, 229, 230.
 Головинъ, К. В., 31, 362.
 Голубые глаза, повѣсти Михайлова, 512.
 Голь, ром. Шеллера, 328.
 Гончаровъ, Ив., 142—159, 224, 351.
 Гончаровъ, ст. Писарева, 114.
 Горе обличителю, Наумова, 245.
 Горестная доля, раз. Терпигорева, 316.
 Горе отъ ума, ком. Грибоѣдова, 419, 420.
 Горе сель. деревень и городовъ, Левитова, 260, 261.
 Горными тихо летѣла душа небесами, стих. А. Толстого, 493.
 Горное гнѣздо, ром. Мамина (Сибиряка), 414.
 Городъ мертвыхъ, Ясинскаго, 399.
 Горсточка родной земли, раз. Баранцевича, 405.
 Горячее сердце, Островскаго, 443.
 Горькая судьбина, др. Писемскаго, 214, 215, 448.
 Господа Головлевы, Салтыкова, 297, 308, 309.
 Господа Караваевы, раз. Златовратскаго, 283.
 Господа Обносковы, ром. Шеллера, 328.
 Господа ташкентцы, Салтыкова, 297, 306.
 Господинъ Прохарчинъ, р. Достоевскаго, 186.
 Государство, ст. Чернышевскаго, 61.
 Государь-отрокъ, пов. Клюшниковъ, 355.
 Граждане лѣса, пов. Ахшарумова, 348.
 Гражданка, А. П. Пальма, 449.
 Грачевка, Левитова, 262.
 Грезы, стих. Надсона, тр. 515.
 Григорьевъ, Ап., 41—44.
 Григоровичъ, Д. В., 207—210.
 Гробикъ, стих. Некрасова, 471.
 Гробовщикъ, раз. Лейкина, 349.
 Гроза, драма Островскаго, 22, 42, 112, 424, 425, 426, 441, 442.
 Гроза, ром. Пемировича-Данченко, 345.
 Грушка, П. Успенскаго, 226.
 Грызуны, пов. П. Салова, 347.
 Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ, Островскаго, 125, 430.
 Грѣшница, пов. Засодымскаго, 332.
 Грядущее, стих. Фруга, 518.
 Губернскіе очерки, Салтыкова (Щедрина), 38, 288, 294, 297, 299, 300, 301, 309.
 Гутаперчевый мальчикъ, п. Григоровича 210.
- Д.**
- Даль, оч. Пемировича-Данченко, 345.
 Да, наша жизнь тебѣ мятежно, элегія Некрасова, 463.
 Данилевскій, Г. П. 233—235, 371—372.
 Данилевскій, Н. Я., 40, 41.
 Два брата, ром. Станковича, 336.
 Двадцать три сказки, Салтыкова, 297.
 Два міра, драм. поэма Майкова, 501.
 Два памятные дня, п. Хвощинской, 220.
 Два портрета, П. С. Тургенева, 364, 370.
 Два пріятели, пов. Тургенева, 132.
 Два типа современныхъ философовъ, ст. Антоновича, 115.
 Два старика, Л. Толстого, 182.
 Дворянская хандра, раз. Салтыкова, 311.
 Дворянское гнѣздо, Тургенева, 42, 131, 139, 140.
 Двойникъ, пов. Ахшарумова, 348.
 Двойникъ, пов. Достоевскаго, 186.
 Двѣ пары, пов. Эртеля, 407.
 Двѣ силы, ром. Крестовскаго, 260.
 Двѣ судьбы, поэма Майкова, 501.
 Дебютъ, раз. Баранцевича, 405.
 Девятый валъ, р. Данилевскаго, 235.
 Декабристы, Л. Толстого, 167, 173, 181.

Деньщик и офицеръ, раз. Гаршина, 390.
 День итога, пов. Альбова, 401, 402.
 Деревня и городъ, пов. Михайлова, 512.
 Деревня, пов. Григоропича, 208.
 Деревенская жизнь помѣщика въ старые годы, ст. Добролюбова, 78.
 Деревенская неурядица, оч. Гл. Успенскаго, 276.
 Деревенскій аукціонъ, Паумова, 266.
 Деревенскій пожаръ, ск. Салтыкова, 314.
 Деревенскій случай, пов. Хвощинской, 219.
 Деревенскія будни, раз. Златовратскаго, 284.
 Деревенскія новости, стих. Некрасова, 471.
 Деревенскія письма. Н. Успенскаго, 227.
 Деревенскій торгошъ, Паумова, 266.
 Десница и шуйца Л. Толстого. ст. Михайловскаго, 118.
 Джонсонъ и Босвель, ст. Дружинина, 21.
 Джорджъ-Эллотъ ст. Михайлова, 512.
 Дж. Ст. Милль объ эмансипаціи женщинъ, ст. Михайлова, 512.
 Дикаря, ком., Н. Я. Соловьева, 452.
 Дмитріева, В. Л., 288, 416.
 Дмитрій-Самозванецъ, ист. хроника Остролюскаго, 425.
 Дневникъ лишняго человека, н. Тургенева, 2.
 Дневникъ писателя, Достоевскаго, 184, 186, 192, 193, 201.
 Дневникъ провинціала въ Петербургѣ, Салтыкова, 297, 306, 309.
 Добравъ фея, ром. Янинскаго, 399.
 Доброволецъ, раз. Дмитріевой, 416.
 Добролюбовъ, 66, 85.
 Довольно, н. Тургенева, 138, 110.
 Докторъ и пациентъ, Дружинина, 21.
 Докторъ Цибулка, ром. Боборыкина, 341.
 Долбня, оч. Помяловскаго, 320.
 Домашній бытъ русскихъ царей, Забѣлина, 17.
 Донъ-Жуанъ, др. поэма Л. Толстого, 498—499.
 До пристани, ром. Альбова, 402.
 Дорогой цѣной, н. О. Шاپиръ, 117.
 Дорожныя записки. Мельникова, 237.
 Достоевскій, Мих. 10, 184, 189, 190, 191.
 Достоевскій, Ф., 183—202, 221, 351.
 Доходное мѣсто, др. Островскаго, 424, 445.
 Драконъ, раз. Л. Толстого, 498.
 Дрожикъ, С. Дм., 184.
 Другая ли нъ, пов. Ключникова, 355.
 Другъ мой, братъ мой, стих. Падсона, 517.
 Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ Некрасова, 460.
 Дружининъ, А. В. 21—25.
 Дудышкинъ, 52, 310.
 Дуракъ, ск. Салтыкова, 314.
 Дуручка Дуня, Майкова, 501.
 Дымъ, р. Тургенева, 135, 138, 357.
 Дѣвичьи грезы, пов. Салова, 347.
 Дѣдушка Поликарпъ, Мельникова, 239.
 Дѣдушкинъ сонъ, р. Достоевскаго, 189.
 Дѣлецъ, ст. Добролюбова, 84.
 Дѣловой романъ въ нашей литературѣ, ст. Анненкова, 22.
 Дѣльцы, ром. Боборыкина, 341.
 Дѣтство, Л. Толстого, 101, 162, 163.
 Дѣтскіе годы Багрова внука, Сер. Аксакова, 205.

Е.

Еврейка, повѣсть Е. А. Салиаса, 374.
 Елка и свадьба, Достоевскаго, 187.

Ж.

Желтая книга, сказаніе о новыхъ княгиняхъ и старыхъ князьяхъ, Терпигорева, 347.
 Желѣзная дорога, Некрасова, 460.
 Жемчужниковъ, А. М., 19, 490.
 Жемчужниковъ, Вл. М., 19, 490.
 Жена ямщика, стих. Пикитина, 484.
 Женитьба Бѣлугина, ком. Н. Я. Соловьева, 452.
 Женихъ изъ долгового отдѣленія, Е. П. Чернышова, 452.
 Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова, ст. Писарева, 114.
 Женщины, ст. Михайлова, стр. 512.
 Женщины въ университетѣ, ст. Михайлова, 512.
 Жертва вечерняя, ром. Боборыкина, 341.
 Жестокій талантъ, ст. Михайловскаго, 118, 197.
 Живыя мощи, р. Тургенева, 138.
 Живыя цифры, оч. Гл. Успенскаго, 280.
 Жизнь Магомета, соч. Вашингтона Ирвинга, ст. Добролюбова, 72.
 Жизнь московскихъ закоулковъ. Левитова, 261.
 Жизнь Шупова, ром. Шеллера, 328, 331.
 Житейская школа, пов. Бажина, 333.
 Жуковский, Юл., 229.

З.

Забавы и удовольствія въ городкѣ, Потѣхина, 449.
 Забытая деревня, стих. Некрасова, 471.
 Забытые слова. Салтыкова, 297.
 Забытый рудникъ, раз. Пемировича-Данченко, 346.
 Завтракъ у предводителя, Тургенева, 448.
 Завѣщаніе, Шевченко, 481.
 Задушевные рассказы, Засодимскаго, 33.
 Зайцевъ, 109, 116, 119.
 Замѣтки о Дарвинизмѣ, ст. Михайловскаго, 118.
 Замѣтки о личности Бѣлинскаго. Гончарова, 159.
 Замѣчательное десятилѣтіе. Анненкова, 22.
 Замѣчательныя богатства въ Россіи, истор. хроника Карновича, 373.
 Замѣчательныя и загадочныя личности XVIII в., истор. хроника Карновича, 373.
 За окномъ въ тѣни мелькаетъ, стих. Полонскаго, 507.
 Записки военнаго, раз. Гирса, 337.
 Записки изъ мертвѣго дома, ст. Достоевскаго, 188, 189, 190, 199, 200, 224, 286.
 Записки маркера, Л. Толстого, 169.
 Записки объ уженъ рыбы. С. Аксакова, 207.
 Записки о всемірной исторіи, Хомякова, 31.
 Записки охотника. Тургенева, 121, 126, 131—134, 198, 224.
 Записки подвального жильца, раз. Альбова, 404.
 Записки причетника. Марковича, 226.
 Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи. Сер. Аксакова, 205.

Записки рядового Иванова, раз. Гаршина, 389, 390.
 Записки степняка, оч. Эртеля, 407.
 Записки Тамарина, п. Авдѣва, 217.
 Запутанное дѣло, раз. Салтыкова, 293, 298.
 За рубежомъ, Салтыкова, 297.
 Засодимскій, П. В., 332—333.
 Застѣнчивость, стих. Некрасова, 468, 469.
 Засуха, Минскаго, 521.
 За сѣвернымъ полярнымъ кругомъ, очерки Мурманскаго берега, Немировича - Данченко, 345.
 Затворница, стих. Полонскаго, 507.
 Затишье блестящій залъ, ст. Надсона, 515.
 Затишье, п. Тургенева, 132, 135.
 Захаровъ, 16.
 Зачастую, ком. Чернышева, 452.
 Здравый понятіа, ром. Потапенко, 413—414.
 Земскія силы, ром. Боборыкина, 340.
 Земцы, піеса В. А. Крылова, 453.
 Зимнее утро, Сер. Аксакова, 205.
 Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ, ст. Достоевскаго, 190.
 Зимняя ночь въ деревнѣ, стих. Никитина, 481.
 Златовратскій, Н. Н., 267, 268, 280—288.
 Злая воля, рассказъ Дмитріевой, 416.
 Змѣя, что по скаламъ влечетъ свои извивы, стих. А. Толстого, 498.
 Змѣя, Н. Успенскаго, 226.
 Змѣй Тугаринъ, былина А. Толстого, 498.
 Золотыя сердца, раз. Златовратскаго, 283.
 Зотовъ, В., 18, 292.
 Зотовъ, Р., 364, 369, 370.

И.

Ивановъ, п. Авдѣва, 217.
 Ивановъ, комедія Чехова, 415.
 Иванъ Гусь, Шевченко, 477, 481.
 Иванъ Огородниковъ, пов. Салова, 347.
 Иванъ Пиднова, рапсодія Шевченко, 480.
 Иванъ Поджабринъ, оч. Гончарова, 148.
 Игрокъ, Достоевскаго, 190, 191, 197.
 Игрушечнаго дѣла людишки, ск. Салтыкова, 314.
 Идеалисты и реалисты, ром. Мордовцева, 373.
 Идеалисты 30-хъ годовъ, Анненкова, 22.
 Идіотъ, р. Достоевскаго, 192, 196, 197.
 Извозчикъ, стихотв. Некрасова, 471.
 Изъ воспоминаній о переписи, Л. Толстого, 181.
 Изъ деревни, замѣтки Шенникова (Фета), 503.
 Изъ дневника мирового посредника, Дружинина, 21.
 Изъ записокъ кн. Д. Неклюдова - Люцернъ, Л. Толстого, 164, 169, 172, 178.
 Изъ недавняго прошлаго (И одинъ въ полѣ воинъ), ром. Мачтета, стр. 408.
 Изъ новыхъ, ром. Боборыкина, 341.
 Изъ огня да въ полымя, ром. Бажина, 333.
 Изъ рассказовъ о Крымской войнѣ, П. Якушкина, 214.
 Изъ семейной прозы, пов. О. А. Шاپиръ, 417.
 Изъ Турина, Добролюбова, 81.
 Илья Муромецъ, был. А. Толстого, 498.
 Илья Муромецъ и богатырство кіевское, Ор. Миллера, 47.

И молотомъ, и золотомъ, ром. Шеллера, 328.
 Иппохондрикъ, п. Писемскаго, 213.
 Испушеніе, п. Хвощинской, 220.
 Исповѣдь, Л. Толстого, 164, 167, 168, 178, 179, 180.
 Исповѣдь женщины, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Испорченная жизнь, ком. Чернышева, 452.
 Испытаніе, пов. М. Крестовской, 417.
 Испытаніе, р. Хвощинской, 220.
 Историческія параллели, ст. Михайловскаго, 118.
 Исторія лейтенанта Ергунова, пов. Тургенева, 138.
 Исторія одного города, Салтыкова, 297, 304, 305, 309.
 Исторія одного товарищества, пов. Бажина, 333.
 Исторія, пов. Новодворскаго, 382, 386.
 Исторія Ямбургскаго полка, Крестовскаго, 359.
 И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой, ст. Анненкова, 22.
 Иринархъ Плутарховъ, Ясинскаго, 399.

І.

Іюльская монархія, ст. Чернышевскаго, 62.

К.

Ка-бы знала я, ка-бы вѣдала, народ. пѣсня А. Толстого, 498.
 Кавказъ, стих. Шевченко, 481.
 Казакъ, Л. Толстого, 162, 164, 177, 178, 229.
 Казанская крестьянка, Потѣхина, 449.
 Казиміръ Великій, стих. Полонскаго, 507.
 Какъ горѣли дрова, раз. Альбова, 402.
 Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты, стих. А. Толстого, 498.
 Калифорнскій рудникъ, раз. Гирса, 337.
 Кандидатъ Куратовъ, пов. О. Шاپиръ, 417.
 Каникулы или гражданскій бракъ, ром. Помяловскаго, 322, 326.
 Капитанъ гренадерской роты, ром. Соловьева, В. С., 376.
 Карась-идеалистъ, сказ. Салтыкова, 315.
 Кармелюкъ, Марковичъ, стр. 225.
 Карновичъ, Е. П., 364, 373.
 Картинка, Майкова, 501.
 Картины общественной жизни, Станюковича, 336.
 Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка, Дружинина, 21.
 Картины семейнаго счастья, Островскаго, 422, 432.
 Карьера, раз. Новодворскаго, 383, 384, 385.
 Касимовская невѣста, ром. Соловьева В. С., 376.
 Катерина, поэма Шевченко, ст. 480.
 Качка въ бурю, стих. Полонскаго, 507.
 Каширская старина, др. Аверкіева, 451.
 Келіотъ, поэма Полонскаго, 506.
 Кирѣвскій Ив., 30, 33, 35.
 Кирѣвскій, П., 210, 211.
 Китай городъ, ром. Боборыкина, 341.
 Клара Миличъ, р. Тургенева, 138.
 Клермонтскій соборъ, Майкова, 501.

Клефты, стихотв. Щербинны, 509.
 Ключниковъ, В. П., 354, 356.
 Книга о кievскихъ богатыряхъ, Авенариуса, 363.
 Княжна Острожская, поп. В. С. Соловьева, 376.
 Князь Серебряный, ром. А. Толстого, 364, 370, 404.
 Князя, ром. Голыцина, 415.
 Кобзарь, Шевченко, 477.
 Ковалевскій, П., 152.
 Кавеньякъ, ст. Чернышевскаго, 62.
 Когда-же придетъ настоящій день? ст. Добролюбова, 75, 78.
 Козловъ, П. А., 523.
 Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорунъ, истор. хроника Остропскаго, 425.
 Колокольчики мои, цвѣтки степные, народн. пѣсня А. Толстого, 498.
 Колокольчикъ, стихотв. Полонскаго, 507.
 Кольцо, стихотв. Лейкина, 349.
 Комедія изъ-за драмы, Чернышева, 452.
 Номинъ, п. Писемскаго, 213.
 Кому на Руси жить хорошо, Некрасова, 461, 471.
 Кому у кого учиться писать, Л. Толстого, 171.
 Конецъ Невѣдомой улицы, раз. Альбова, 402.
 Конецъ Чертопанова, Тургенева, 138.
 Концы въ воду, ром. Ахшарумова, 348.
 Коробейники, Некрасова, 460, 471.
 Короленко, В. Г., 288, 409, 412.
 Костомаровъ, Н. И., 366, 370.
 Краевскій, 16, 52, 186, 349, 458.
 Красильниковъ, Мельникова, 239.
 Красный цвѣтокъ, раз. Гаршина, 389, 390, 395.
 Крейцера соната, Л. Толстого, 180.
 Кремуцій Кордъ, др. Костомарова, 367.
 Крестовская, М. В., 417, 418.
 Крестовскій, В. В., 358, 360.
 Крестьяне-присяжные, п. Златовратскаго, 282.
 Крестьянскія дѣти, Некрасова, 460.
 Крестьянское царство, оч. Пемировича-Данченко, 345.
 Критическая буря, ст. Анненкова, 22.
 Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія, ст. Чернышевскаго, 61.
 Кровавый пуфъ, романъ Крестовскаго, 360.
 Кронодиль, Достоевскаго, 198.
 Кроткая, Достоевскаго, 192.
 Кружевница, поп. Михайлова, 512.
 Крушинскій, ром. Потѣхина, 449.
 Крыловъ, В. А., 439, 452, 453.
 Крымъ, Тенинова, 262.
 Ксаня чудная, поп. Салиаса, 374.
 Нуда ни кинь, все клинь, Паулова, 266.
 Кудеяръ, ром. Костомарова, 368, 369.
 Куланъ, поэма Никитина, 483, 484.
 Нулисы, ром. Пемировича-Данченко, 345.
 Курочкинъ, В. С., 215, 491, 494.
 Курочкинъ, Н. С., 349.
 Кусокъ хлѣба, поп. Лейкина, 349.
 Къ мировому, В. А. Крылова, 453.
 Къ морю, Щербинны, 508.
 Къ родинѣ, стихотв. Некрасова, 459.

Л.

Лапландія и лапландцы, оч. Пемировича-Данченко, 345.

Левитовъ, А. И., 254, 263.
 Ледяной домъ, ром. Тажечникова, 365.
 Лейкинъ, Н. А., 349, 350.
 Лессингъ и его время, ст. Чернышевскаго, 61, 66.
 Лирическій Пантеонъ А. Ф. 1840 г., Шеншина. (Фета), 502.
 Литературныя мелочи прошлаго года, ст. Добролюбова, 82, 84.
 Литературный вечеръ, р. Гончарова, 159.
 Литературный врачъ, стих. Полонскаго, 507.
 Литературный шинъ слабаго человека по поводу «Аси» Тургенева (1858 г.), ст. Анненкова, 22.
 Ловля красной рыбы въ Саратовской губерніи. Потѣхина, 449.
 Лонгиновъ, Н. М., 18.
 Лотерейный билетъ, Григоровича, 207.
 Лучше поздно, чѣмъ никогда, Гончарова, 147, 154, 159.
 Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ, ст. Добролюбова, 78, 112.
 Лычкины, ром. Шеллера, 328.
 Лѣсковъ, Н. С. (М. Стебницкій), 356, 358.
 Лѣсная глушь, С. П. Максимова, 232.
 Лѣсъ, Островскаго, 443.
 Лѣсъ рубятъ — щепки летятъ, ром. Шеллера, 328.
 Лѣсъ шумитъ, пов. Короленко, 411.
 Лѣшій, Писемскаго, 213, 214.
 Лѣшій, ком. въ стих. Аверкіена, 454.
 Лѣбили-ль вы, какъ я, стих. Надсона, 515.
 Любовьъ дворовыхъ, поп. Крестовскаго, 359.
 Любопытный пассажъ въ исторіи русской словесности, ст. Добролюбова, 84.
 Люди и нравы современной деревни, оч. Гл. Успенскаго, 275.
 Люди сороковыхъ годовъ, р. Писемскаго, 212, 216.

М.

Магдалина, п. Авдѣева, стр. 218.
 Майновъ, А. Н., 500, 501.
 Майновъ, В., 54, 56.
 Мансиновъ, С. В., 232, 233.
 Маленькія рассказы, сборникъ Баранцевича, 406.
 Маленькій герой, Достоевскаго, 187, 188.
 Малороссійскій литературный сборникъ, Мордовцева, 373.
 Малые ребята, оч. Гл. Успенскаго, 274.
 Мальтійскій орденъ, ист. хр. Карновича, 373.
 Мамаево побоище, др. Аверкіена, 454.
 Маминъ (Сибирякъ), 414.
 Манжажа, поп. Салиаса, 374.
 Маревъ, ром. Ключниковъ, 354, 355, 357.
 Маркевичъ, Б. 360, 361.
 Марковичъ, М. А. (ис. Марко Волчокъ), 225—226.
 Марковъ, Евг., 342—344.
 Маруся, Марковичъ, 225.
 Массоны, ром. Писемскаго, 216.
 Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова. Чернышевскаго, 62.
 Матрость, раз. Шевченко, 481.

- Махмуднины дѣти, раз. Немировича-Данченка, 346.
- Мачтетъ, Г. А., 407, 408.
- Медвѣди, раз. Гаршина, 390.
- Медвѣдь, Марковичъ, 225.
- Медвѣжій уголь, Мельникова, 239.
- Медовый мѣсяцъ, ком. Н. А. Соловьева, 452.
- Между двухъ огней, р. Андѣева, 218.
- Между людьми, Рѣшетникова, 247, 253.
- Мелочи жизни, Салтыкова, 297, 313.
- Мельниковъ, П. И. (Печерскій), 235, 239, 371.
- Мельница купца Чесамина, пов. Салова, 347.
- Мережковский, Д. С., 522—523.
- Мертвое озеро, р. Станицкой, 18, 219.
- Мертвое тѣло, п. Слѣпцова, 231.
- Мечтатели, пов. Поводворского, 386.
- Мечты и звуки, стих. Некрасова, 458.
- Мей, Л. А., 507—508.
- Миллеръ, О. Ф., 45, 48.
- Милліонъ терзаній, Гончарова, 159.
- Милуновъ, 187.
- Милютинъ, В., 13, 17, 470.
- Мими, поэма Полонскаго, 506.
- Мимоходомъ, оч. Гл. Успенскаго, 280.
- Минаевъ, Д. Д., 494.
- Мировичъ, ром. Г. Данилевскаго, 371.
- Михайловъ, М. И., 511—512.
- Мірское дѣло, оч. Мачтета, 407.
- Михайловскій, Н. К., 117, 120.
- Миша и Ваня, раз. Салтыкова, 301.
- Мишура, ком. Потѣхина, 449.
- Мишура, ром., О. Шаниръ, 417.
- Млечный путь, ром. Авѣенко, 362.
- Молодежь, ром. Головина, 362.
- Молодость С. Тургенева, ст. Анненкова, 22.
- Молодые всходы, Ясинскаго, 399.
- Молотовъ, пов. Помяловскаго, 318, 322, 324.
- Монахъ, ром. Немировича-Данченка, 345.
- Мордовцевъ, Д. Л., 372—373.
- Морозъ-Красный носъ, поэма Некрасова, 460, 471, 472, 474.
- Морскіе рассказы, Станюковича, 336.
- Морь, ром. Салиаса, 376.
- Московскія уличныя картины, Левитова, 261.
- Мой міръ, пов. Коронина, 407.
- Мой сосѣдъ Радиловъ, Тургенева, 131.
- Мракъ, ром. Голицина, 415.
- Мудреное дѣло, пов. Ахшарумова, 348.
- Муж и жена, ром. Шеллера, 328.
- Мужичій годъ, П. Я. Якушкина, 244.
- Музыкантъ-кузнечинъ, поэма Полонскаго, 506.
- Музыкантъ, раз. Шевченко, 481.
- Муму, Тургенева, 126, 132.
- Муть, раз. Баранцевича, 404.
- Мы побѣдили, оч. Мачтета, 407.
- Мѣсяцъ въ деревнѣ, Тургенева, 418.
- Мѣщане, ром. Писемскаго, 216.
- Мѣщанское счастье, ром. Помяловскаго, 318, 321, 324.
- Мятель, Л. Толстого, стр. 170.
- Н.**
- Наблюденія одного лѣтня, Гл. Успенскаго, 272.
- На бойномъ мѣстѣ, Островскаго, 425.
- Набѣгъ, Л. Толстого, 162.
- Навожденіе, ром. В. С. Соловьева, 376.
- На востокъ, С. В. Максимова, 233.
- На всякаго мудреца довольно простоты, Островскаго, 425.
- На горахъ, ром. Мельникова, 239.
- На границахъ челоѣка, пов. Коронина, 407.
- Надежда Николаевна, пов. Гаршина, 390, 395.
- На дорогѣ, стих. Некрасова, 459, 471.
- Надсонъ, С. Я., 513, 514, 518.
- Надъ обрывомъ, ром. Шеллера, 328.
- На дѣйствительной службѣ, пов. Потапенко, 413, 414.
- На зарѣ, стих. Надсона, 515.
- Наймичка, пов. Шевченко, 477, 479.
- Наканунъ, пов. Тургенева, 134—140, 154.
- На новую дорогу, пов. Альбова, 400.
- На ножахъ, ром. Пискова, 358.
- На полѣ, стихотв. Некрасова, 471.
- На порогѣ жизни, пов. О. Шаниръ, 417.
- На порогѣ къ дѣлу, ком. Н. Я. Соловьева, 452.
- На разныхъ берегахъ, ром. Шеллера, 328.
- Народное дѣло, ст. Добролюбова, 81, 84.
- Народное образование въ Россіи, ст. Шеллера, 328.
- Народныя пѣсни изъ собр. П. Якушкина 1868 г., 241.
- Наслѣдство, стихотв. Никитина, 484.
- Наташа, ст. Аксакова, 205.
- На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ, ком. Станюковича, 336.
- Натурщица, пов. Ахшарумова, 348.
- Натурщица, стихотв. Полонскаго, 507.
- На улицѣ, стихотв. Некрасова, 471.
- Наумовъ, Н. И., 263, 266.
- На ущербѣ, ром. Боборыкина, 341.
- На хлѣбахъ изъ милости, В. А. Крѣлова, 453.
- Нахлѣбникъ, Тургенева, 424, 448.
- На чужомъ пиру, стих. Минскаго, 522.
- Наша Наташа, раз. Бинницкой, 417.
- Наша университетская наука, ст. Писарева, 97, 99, 113.
- Наше двувѣріе, С. В. Максимова, 233.
- Наше общество въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» Тургенева (1859 г.), 22.
- Наши дѣти, ст. Шеллера, 328.
- Наши нравы, ром. Станюковича, 336.
- Наши забавники, юмор раз. Лейкина, 350.
- Нашъ другъ Неклюжевъ, ком. А. П. Пальма, 449.
- Не Божьимъ громомъ горе ударило, народн. пѣсня А. Толстого, 498.
- Небывальщина, П. Якушкина, 244.
- Невинные рассказы, Салтыкова, 297.
- Невольникъ, Шевченко, 477, 480, 481.
- Невольница, Марковичъ, 225.
- Не все коту масленица, Островскаго, 439, 440, 443.
- Не въ деньгахъ счастье, Чернышова, 452.
- Не въ привычку дѣло (Чудакъ-баринъ), оч. Гл. Успенскаго, 274.
- Не въ свои сани не садись, др. Островскаго, 419, 422, 423, 429, 432, 434, 439.
- Невѣдомая улица, раз. Альбова, 402.
- Недавняя встрѣча, пов. Соханской, 222.
- Недоконченныя бесѣды, Салтыкова, 297.

- Недреманое око, сказка Салтыкова, 314.
 Незамѣтные герои, раз. Пемировича-Данченко, 346.
 Не ко двору, пѣска В. А. Крылова, 153.
 Некрасовъ, Н. А., 455—474.
 Некуда, ром. Лѣскова, 357, 358.
 Немировичъ-Данченко, В. И., 344—346.
 Не начало-ли конца? Чернышевскаго, 226.
 Неосторожность, ст. Тургенева, 130.
 Не первый и не послѣдній, пов. Крестовскаго, 359.
 Непостижимая странность, ст. Добролюбова, 84.
 Непремѣнный, Мельникова, 239.
 Нерѣшенный вопросъ, ст. Писарева, 105, 111.
 Не столь отдаленныя мѣста, ром. Станюковича, 336.
 Несчастная, ст. Тургенева, 138.
 Несчастные, поэма Некрасова, 156.
 Несчастный, раз. Шевченко, 481.
 Не съютъ, не жнутъ, Левитова, 262.
 Не такъ живи, какъ хочется, др. Островскаго, 119, 123, 137, 139, 141, 142.
 Неточка Незванова, ст. Достоевскаго, 187.
 Нива, Майкова, 501.
 Ни дна, ни покрышки, раз. Вишницкой, 417.
 Никита Гайдай, раскодъ Шевченко, 480.
 Никитинъ, И. С., 481—484.
 Нина, ром. Писемскаго, 213.
 Неунывающие россияне, раз. Лейкина, 350.
 Новодворскій, А. С. (А. Осиповичъ), 380—386.
 Новые рассказы, сборникъ Баранцевича, 406.
 Новый Нарциссъ или влюбленный въ себя, сат. Салтыкова, 302, 303.
 Новъ, р. Тургенева, 138, 383.
 Ночлеги, п. Стѣшкова, 231.
 Ночлеги извозчиковъ, стих. Никитина, 484.
 Ночь въ Венеціи, стих. Щербинны, 509.
 Ночь, раз. Гаришина, 388, 390, 393.
 Нравы Растеряевой улицы, оч. Гл. Успенскаго, 268, 269, 271.
 Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева, ст. Тургенева, 505.
 Нѣсколько словъ по поводу статьи Кирѣвскаго: О характерѣ просвѣщенія Европы, Хомякова, 35.
 Нѣтъ, легче мнѣ думать, что ты умерла, стихотв. Падсона, 515.
 Нянюшка, раз. Михайлова, 511.
- О.**
- О бенефисѣ актера московскаго театра Шумскаго, ст. Потѣхина, 119.
 Обзоръ выставки въ академіи художествъ, ст. Григоронича, 207.
 Обломовъ, Гончарова, 12, 112, 151—159.
 Обличительная литература въ первыхъ русскихъ журналахъ и стѣсненіе гласности, ст. Мордовцева, 373.
 Обманщикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель, сказка Салтыкова, 314.
 Образованіе въ Европѣ и Америкѣ, ст. Шеллера, 328.
 Обрывъ, Гончарова, 112, 151—159, 351.
 Объ устройствѣ быта помѣщичьихъ крестьянъ, ст. Чернышевскаго, 61.
 Обыкновенная исторія, п. Гончарова, 142, 144, 150.
 О внутреннемъ состояніи Россіи, К. Аксакова, 34.
 Овсянниковъ, Тургенева, 131.
 О гегелевской философіи, ст. Антоновича, 115.
 О Глѣбѣ Успенскомъ, ст. Михайловскаго, 118.
 О губернскихъ очеркахъ Щедрина, ст. Чернышевскаго, 66.
 Огни, раз. Чехова, 415, 416.
 Одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ, пов. Баранцевича, 404.
 Однодворецъ, др. Боборыкина, 339.
 Однодворецъ, ст. Тургенева, 131.
 О значеніи авторитета въ воспитаніи, ст. Добролюбова, 78, 84.
 О книгѣ Шапова, ст. Антоновича, 115.
 Около денегъ, ром. Ал. Потѣхина, 288, 449.
 Около любви, ром. Голлицина, 415.
 19-го октября, стихотв. Никитина, 484.
 Ольшанскій баринъ, пов. Салова, 317.
 О методахъ обученія грамотѣ, Л. Толстого, 171.
 Омуть, романъ Станюковича, 336.
 О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности, Анненкова, 22, 26.
 О народномъ образованіи, Л. Толстого, (Испопытская), 171.
 О народномъ образованіи, ст. Л. Толстого, (ст. «От. Зап.»), 177.
 О необходимости держаться умѣренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа, ст. Чернышевскаго, 61.
 О нравственной стихіи въ поэзіи, ст. Ор. Миллера, 46.
 Онъ, раз. Михайлова, 511.
 О поземельной собственности, ст. Чернышевскаго, 61.
 Опричина, др. Баранцевича, 404.
 О причинахъ паденія Рима, ст. Чернышевскаго, 62.
 Органъ, недѣлимое и общество, ст. Михайловскаго, 118.
 Органическое развитіе челоѣка въ связи съ его умственною и нравственною дѣятельностью, ст. Добролюбова, 72.
 О русскихъ школьныхъ книгахъ, ст. Мордовцева, 373.
 Оскудѣніе, Тершигорева, стр. 346, 347.
 О Станкевичѣ, ст. Добролюбова, 73.
 О степени участія народности въ развитіи литературы, ст. Добролюбова, 77.
 Островскій, А. Н., 119—147, 148, 152.
 Отголоски, стихотв. Гербеля, 510.
 Отецъ Александръ Гавацци и его проповѣди, ст. Добролюбова, 84.
 Отецъ семейства, ком. Чернышева, 152.
 О томъ, кто такой былъ Эллидифоръ Перфильевичъ, Мельникова, 239.
 Отроческіе годы Пушкина, пов. Айсвардуса, 363.
 Отрочество, Л. Толстого, 104, 162, 163.
 Отрѣзанный ломоть, ком. Потѣхина, 119.

Отставной солдатъ Пименовъ, раз. Салтыкова, 288.
 О Тургеневѣ, ст. Михайловскаго, 118.
 Отцы и дѣти, Тургенева, 115, 121, 134—140, 351.
 Отъ дождя въ воду, ст. Добролюбова, 84.
 Отъ совѣсти, разсказъ Дмитріевой, 416.
 О характерѣ просвѣщенія Европы, ст. Ип. Кирѣевского, 33, 35.
 Очень маленькій ром., раз. Гаршина, 388.
 Очерки бурсы, Помяловскаго, 318, 322, 324.
 Очерки Гоголевскаго періода, ст. Чернышевскаго, 49, 61, 66.
 Очерки изъ крестьянскаго быта А. Ѳ. Писемскаго, ст. Дружинина, 25.
 Очерки морскаго быта, Станюковича, 336.
 Очерки Рима, Майкова, 501.
 Очерки научныхъ понятій о возникновеніи обстановки человѣческой жизни, и о ходѣ развитія человѣчества въ до историческія времена, ст. Чернышевскаго, 62.
 Очерки сибирскаго туриста. Короленко, 410.
 О Щедринѣ, ст. Михайловскаго, 118.

II.

Павловскіе очерки, Короленко, 412.
 Паденья скота, оч. Златовратскаго, 282.
 Паденіе Польши, Мордовцева, 372.
 Пальмъ, А. И., 448—449.
 Панаевъ, Ив., 19.
 Панургово стадо, ром. Крестовскаго, 360.
 Параша, Тургенева, 128, 130.
 Паутина, Наумова, 266.
 Пахарь, стих. Некрасова, 471.
 Пахарь, ст. Григоровича, 208.
 Пахарь, стих. Никитина, 484.
 Пахомовна, раз. Салова, 288.
 Пегасъ, Тургенева, 138.
 Первая борьба, п. Хвощинской, 220, 222.
 Первая любовь, Тургенева, 125, 134.
 Первая любовь, ром. Шеллера, 328.
 Первое апрѣля, сборн. Некрасова, 459.
 Перелетныя птицы, ром. Михайлова, 512.
 Переломъ, ром. Маркевича, 361.
 Переселенцы, р. Григоровича, 208.
 Пестренья жизнь, п. Авдѣева, 218.
 Пестряя письма, Салтыкова, 297.
 Пестрядь, Терпигорева, 347.
 Петербургская повѣсть, Ясинскаго, 399.
 Петербургская саранча, А. И. Пальма, 449.
 Петербургскій Сборникъ, Некрасова, 495.
 Петербургскій случай, А. Левитова, 261.
 Петербургскія трущобы, книга о сытыхъ и голодныхъ, романъ въ 6 частяхъ, четыре тома, Крестовскаго, 360.
 Петербургскіе шарманщики, Григоровича, 207.
 Петербургское дѣйство, ром. Салтаса, 376.
 Петропавловскій (Коронинъ), 288, 406—407.
 Пироговъ, 49—51.
 Писаревъ, Дм. Ив., 95—114.
 Писемскій, Ал. Ѳ., 210—216, 351, 448.
 Писемскій, ст. Писарева, 114, 203.
 Письма знатныхъ иностранцевъ, Станюковича, 336.

Письма изъ Сербіи, Гл. Успенскаго, 272.
 Письма къ тетенькѣ, Салтыкова, 297.
 Письма объ Испаніи, В. Боткина, 151.
 Письма о провинціи, Салтыкова, 297.
 Письма съ дороги, оч. Гл. Успенскаго, 230.
 Письмо, Наумова, 265.
 Питерщикъ, п. Писемскаго, 213, 214.
 Плевна и Шибка, ром. Немпровича-Данченко, 345.
 Плещеевъ, А. Н., 485—490.
 Плотничья артель, п. Писемскаго, 914.
 По Волгѣ, оч. Немпровича-Данченко, 345.
 Повѣсть Жюли, Дружинина, 21.
 Повѣсть о бѣдномъ Петрусь, Шевченко, 481.
 Повѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ, Салтыкова, 314.
 Повѣтріе, пов. Авенаріуса, 363.
 Погибшее, но милое созданіе, раз. Крестовскаго, 359.
 Погибшіе и погибающіе, ст. Писарева, 114.
 По градамъ и весямъ, ром. Засодимскаго, 333.
 Подвигъ матери, др. Ор. Миллера, 46.
 Подводный камень, ром. Авдѣева, стр. 104, 217.
 Подкопы, др. Писемскаго, 216.
 Подлиповцы, Рѣшетникова, 246, 252, 409.
 Подойди ко мнѣ, старушка, стих. Полонскаго, 507.
 Подростающая туманность, ст. Писар., 114.
 Подростокъ, р. Достоевскаго, 192, 196, 197.
 Подсолнечное царство, стих. Полонскаго, 507.
 По духовному завѣщанію, В. А. Крылова, 453.
 По душѣ, да не по разуму, раз. Дмитріевой, 416.
 Подъ гнетомъ, сбор. Баранцевича, 406.
 Подъ Дамокловымъ мечемъ, раз. Гипса, 337.
 Пожаръ на морѣ, Тургенева, 138.
 Поленька Саксъ, Дружинина, 20, 21, 218.
 Ползунковъ, Достоевскаго, 186.
 Полинушка, Л. Толстого, 170, 224.
 Полонскій, Я. П., 506—507.
 Поля, Майкова, 501.
 Помпадуры и помпадурши, Салтыкова, 297—305.
 Помяловскій, Н. Г., 318—326.
 По поводу одной очень обыкновенной исторіи, ст. Добролюбова, 84.
 По поводу очерковъ Англіи и Франціи Чичерина, ст. Чернышевскаго, 61.
 Попытка не шутка, ром. Ѳедорова (Омулевскаго), 334.
 Порабощеніе эстетики, Ахшарумова, 349.
 Порванные струны, пов. Баранцевича, 404—405.
 Поросянокъ, Н. Успенскаго, 226.
 Портретъ, пов. А. Толстого, 497.
 Поручикъ Гладковъ, к. Писемскаго, 216.
 Порѣчане, раз. Помяловскаго, 318, 322, 326.
 Посланіе до живыхъ и мертвыхъ и непорочденныхъ земляковъ моихъ, Шевченко, 481.
 Послѣ войны, оч. Немпровича-Данченко, 345.
 Послѣднее дѣйствіе комедіи, р. Хвощинской, 220.
 Послѣдніе язычники, Майкова, 501.

Послѣ обѣда въ гостяхъ, Соханской, 222.
 Потапенко, И. Н., 412—414.
 Потревоженыя тѣни, Терпигорева, 347.
 Потѣхинъ, А. А., 449—451.
 Потѣшная исторія, пов. Потапенко, 414.
 Похороны, сатира Салтыкова, 310.
 Пошехонская старина, Салтыкова, 297, 317.
 Пошехонскіе рассказы, Салтыкова, 297.
 Поэтъ Державинъ, ром. Саліаса, 376.
 Поярковъ, Мельникова, 239.
 Праздничный сонъ до обѣда, Островскаго, 444.
 Прахъ, раз. Баранцевича, 405.
 Прежняя рекрутчина, п. Якушкина, 244.
 Преступленіе и наказаніе, Достоевскаго, 191—200, 351, 401.
 Признаки времени, Салтыкова, 297.
 Призраки, Тургенева, 138.
 Принцесса Володимирская, ром. Саліаса, 376.
 Причина, баллада Шенченко, 479.
 Проводы, стихотв. Некрасова, 471.
 Провинціалка, Тургенева, 448.
 Прогрессъ и опредѣленіе образованія, Л. Толстого, 172.
 Проектъ плана устройства народныхъ училищъ, Л. Толстого, 171.
 Происшествіе, раз. Гариппа, 388, 390, 395.
 Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь, ст. Чернышевскаго, 62.
 Проклятая слава, раз. Потапенко, 413.
 Пролетаріатъ во Франціи, оч. Шеллера, 328.
 Пророкъ, ром. Шеллера, 328.
 Пророкъ, Ясинскаго, 399.
 Просвѣщенное время, к. Писемскаго, 216.
 Проселочныя дороги р. Григоровича, 210, 449.
 Прославились, ком. Н. И. Соловьева, 452.
 Противорѣчія, разск. Салтыкова, 293, 298.
 Прохоръ и студенты, раз. Короленко, 412.
 Проѣзжіе, раз. Салтыкова, 300.
 Псковитянка, др. Мен, 508.
 Пугачевцы, ром. Е. А. Саліаса, 374, 376.
 Пунинъ и Бабуринъ, Тургенева, 125, 134.
 Путеводная звѣзда, Ясинскаго, 399.
 Путевые очерки, Писемскаго, 232.
 Путевыя письма изъ Италіи, П. Ковалевскаго, 152.
 Путешествіе Радищева, ст. Тургенева, 131.
 Путешествіе Чернокижнникова по петербургскимъ дачамъ, Дружинина, 19.
 Пучина, Островскаго, 425, 430.
 Пушкинъ, А. С., 2, 4, 365, 495.
 Пушкинъ и Бѣлинскій, ст. Писарева, 108.
 Пчела, сборникъ для народнаго чтенія, Пчербины, 509.
 Пчельникъ, пов. Крестовскаго, 359.
 Пѣвцы, Тургенева, 131.
 Пѣсни жизни, стих. Омуленскаго, 335.
 Пѣсни, Некрасова, 471.
 Пѣсни о родинѣ, стих. Минскаго, 522.
 Пѣснь торжествующей любви, Тургенева, 138.
 Пѣсня бобыля, стихотв. Никитина, 484.
 Пѣсня Еремушки, Некрасова, 467.
 Пѣсня жизни, стих. Фруга, 519.
 Пѣсня, стих. Полонскаго, 507.

Пѣсня странника, стих. Плещеева, 485.
 Пѣсня цыганки, стих. Полонскаго, 507.
 Пять статей о русской литературѣ, Достоевскаго, 200.

Р.

Раба, ром. Баранцевича, 406.
 Развеселое житіе, раз. Салтыкова, 301.
 Разговоръ, ст. Тургенева, 129—135.
 Размышленіе у параднаго подъѣзда, Некрасова, 460.
 Разоренье, Гл. Успенскаго, 272.
 Раздѣлъ, к. Писемскаго, 213.
 Рассказъ Алексѣя Дмитріевича, Дружинина, 21.
 Рассказы и воспоминанія плотника, Сер. Аксакова, 205.
 Рассказы изъ исторіи Англіи, ст. Чернышевскаго, 62.
 Рассказъ отца Алексѣя, Тургенева, 138.
 Рассказъ покойника, Шенченко, 480.
 Разсыпались звѣзды, стих. Никитина, 484.
 Раннія грозы, ром. Крестовской, 417.
 Расколъ старообрядчества, ст. Антоновича, 115.
 Ребенокъ, др. Боборыкина, 339.
 Ревнивый мужъ, Достоевскаго, 187.
 Родина, стих. Некрасова, 456.
 Родственники, піеса Станюковича, 336.
 Рождественская сказка, Салтыкова, 314, 315, 316.
 Роковой вопросъ, ст. Страхова, 190.
 Романъ въ девяти письмахъ, Достоевскаго, 186.
 Романъ кисейной барышни, ст. Писарева, 114, 321.
 Романъ, раз. Поводпорскаго, 385.
 Россія и Европа, ст. Данилевскаго, 40.
 Рудинъ, Тургенева, 134, 139.
 Русалка, баллада Шевченко, 479.
 Русская литература, ст. Н. Страхова, 44.
 Русскіе второстепенные поэты, ст. Некрасова, 505.
 Русскіе писатели послѣ Гоголя, ст. Ор. Миллера, 47, 48.
 Русская цивилизація, сочиненная г. Жеребцовымъ, ст. Добролюбова, 73.
 Русскія женщины, поэма Некрасова, 461, 463, 469—470.
 Русскія пѣсни, собр. П. П. Якушкинымъ, 1860 г., 244.
 Русскій человекъ на rendez-vous, ст. Чернышевскаго, 66.
 Русь, стихотвор. Никитина, 482, 483.
 Рыбаки, Григоровича, 208.
 Рыцарь на часъ, стих. Некрасова, 474.
 Рѣдкій праздникъ, раз. Потапенко, 414.
 Рѣка Керженецъ, Потѣхина, 449.
 Рѣшетниковъ, В. М., 246—254.
 Рядъ статей о русской литературѣ,—введеніе, ст. Достоевскаго, 190.
 Ряса, ром. Альбова, стр. 402.

С.

Савонаролла, Майкова, 501.

- Савва Шалый, др. Костомарова, 367.
 Садко, былина А. Толстого, 498.
 Салиасъ-де-Турнемиръ, Е. А., 364, 373—376.
 Гр. Салиасъ (Енг. Туръ), 18, 228, 374.
 Саловъ, И., 347—348.
 Салтыковъ, М. Е. (Щедринъ) 289—317.
 Самозванецъ Іоаннъ, Мордовцева, 372.
 Самозванцы, Мордовцева, 373.
 Самоуправцы, к. Писемскаго, 216.
 Сатиръ и Нимфа, ром. Лейкина, 350.
 Сатиры въ прозѣ, Салтыкова, 297.
 Саша, поэма Некрасова, 464, 466.
 Сбылося все, стихотвор. Надсона, 515.
 Свины, В. Слѣпцова, 231.
 Свободное время, р. Хвощинской, 220.
 Свои люди — сочтемся, (Банкротъ), ком. Островскаго, 422, 426, 428, 432.
 Своимъ судомъ, раз. Дмитріевой, 416.
 Свой хлѣбъ, Рѣшетникова, 253.
 Свѣтитъ, да не грѣтъ, др. Н. Я. Соловьева, 452.
 Свѣтъ погасъ, Ясинскаго, 399.
 Свѣтлое Христово Воскресенье, ст. Григоровича, 208.
 Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ, ст. Добролюбова, 75, 76.
 Свѣчка, Л. Толстого, 182.
 Святое искусство, пов. Потапенко, 412, 414.
 Святочные рассказы, Немировича-Данченко, 346.
 Святыя горы, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Сдача Дорошенко, Шевченко, 480.
 Севастопольскіе рассказы, Л. Толстого, 162, 166, 167, 224.
 Секретарь его превосходительства, пов. Потапенко, 413, 414.
 Секты въ Америкѣ, ст. Шеллера, 328.
 Село Степанчиково, Достоевскаго, 189, 197.
 Село Чумбурово, пов. Михайлова, 511.
 Сельскій учитель, п. Хвощинской, 220.
 Семейная хроника, С. Аксакова, 22, 156, 205, 206.
 Семейное счастье, Л. Толстого, 170.
 Семейство Тальниковыхъ, р. Станицкой, 219.
 Семья богатырей, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Семья Кремлевыхъ, раз. Златовратскаго, 283.
 Сервиля, др. Мел, 508.
 Сергѣй Горбатовъ, ром. Вс. С. Соловьева, 376.
 Серьезные люди, пов. Головина, 362.
 Сибирь и каторга, С. В. Максимова, 233.
 Сигналъ, раз. Гаршина, 395.
 Сила солону ломить, Паумова, 265.
 Сильвіо, Мережковскаго, 522.
 Сиротинка, пов. кн. Одоевскаго, 37.
 Сказка о девяти братьяхъ, Марконича, 225.
 Сказки и рассказы, Салтыкова, 297, 313.
 Скверный анекдотъ, ст. Достоевскаго, 198.
 Скиталецъ, раз. Златовратскаго, 283.
 Скорбь, стихотвор. Минскаго, 520.
 Скрежетъ зубовой, ром. Авсеенко 362.
 Скрежетъ зубовой, сат. Салтыкова, 302.
 Скорбная элегія, пош. Важина, 333.
 Скучающая публика, Гл. Успенскаго, 280.
 Скучная исторія, раз. Чехова, 415.
 Слабое сердце, Достоевскаго, 186, 197.
 Славянская весна, Данилевскаго, 234.
 Сліяніе, ком. Терпшгорева, 346.
 Слобода Невоя, траг. Аверкіева, 454.
 Слободинъ, р., А. И. Пальма, 419.
 Слуги, Гончарова, 159.
 Случай изъ солдатской жизни, Паумова, 265.
 Случевскій, 136.
 Слѣпой музыкантъ, раз. Короленко, 411.
 Слѣпцовъ, В. Ал. 227—232.
 Смедовская долина, Григоровича, 208.
 Смерть Івана Ильича, Л. Толстого, 182.
 Смерть Іоанна Грознаго, траг. А. К. Толстого, 448.
 Смерть малютки, стих. Полонскаго, 507.
 Смирнова, 219.
 Смутное время анабаптизма, Шеллера, 328.
 Сновидѣніе въ стихахъ и прозѣ, Достоевскаго, 190.
 Снѣгурочка, Островскаго, 446.
 Собака, Тургенева, 138.
 Собачка, ст. Григоровича, 207.
 Собесѣдникъ любителей русскаго слова, ст. Добролюбова, 71.
 Собираніе бабочекъ, С. Аксакова, 205.
 Соборяне, ром. Лѣскова, 358.
 Собрание литературныхъ статей Н. И. Пирогова, ст. Добролюбова, 84.
 Современная идиллія, п. Авенаціуса. 363.
 Современная идиллія, Салтыкова, 297.
 Современная фізіологія и философія, ст. Антоновича, 115.
 Современная философія, ст. Антоновича, 115.
 Сожженная Москва, ром. Г. Данилевскаго, 371.
 Солидные добродѣтели, ром. Боборыкина, 341.
 Солнце и мѣсяцъ, стих. Полонскаго, 507.
 Соловки, оч. Немировича-Данченко, 345.
 Соловьевъ, В. С. 376—377.
 Соловьевъ, Н. Я., 452.
 Сонъ Макара, раз. Короленко, 409.
 Сонъ, баллада Шевченко, 477, 481.
 Сонъ Обломова, Гончарова, 143.
 Сонъ, Тургенева, 138.
 Сосѣди, сказка Салтыкова, 314.
 Соха, стихотв. Никитина, 481.
 Соханская, Н. С., (Кохановская) 222.
 Соціологическіе очерки, ст. Михайловскаго, 118.
 Слѣтая пѣсня, ком. Мипаева, 494.
 Спящая красавица, Ясинскаго, 399.
 Сравнительно-критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго русскаго эпоса, ст. Ор. Миллера, 47.
 Ставленникъ, Рѣшетникова, 253.
 Станюковичъ, К. М., 335—336.
 Старая и новая Россія, ром. Гирса, 336, 337.
 Старая няня, стих. Полонскаго, 507.
 Старецъ, раз. Салтыкова, 288, 301.
 Старое барство, ст. Писарева, 114.
 Старое и новое, сборн. Баранцевича, 406.
 Старые годы, Мельникова, 239, 364, 371.
 Старыя гнѣзда, ром. Шеллера, 328.
 Старые знакомые, раз. Вишницкой, 417.
 Старый домъ, соч. Зотова, 18.
 Старый баринъ, ком. А. И. Пальма, 419.

Старый другъ лучше новыхъ двухъ, Островскаго, 424.
 Старый звонарь, раз. Короленко, 412.
 Статейки въ стихахъ безъ картинокъ, Некрасова, 459.
 Степанъ Рулевъ, пов. Бажина, 333.
 Степи, раз. Чехова, 415, 416.
 Степной король Лиръ, Тургенева, 138.
 Степные очерки, Левитова, 246, 256, 260, 261, 262.
 Степная тайна, ром. Засодимскаго, 333.
 Стихотворенія въ прозѣ, Тургенева, 138, 140.
 Столбы, пѣсн. В. А. Криволапа, 453.
 Сторона наша убогая, дума Некрасова, 463, 471, 474.
 Стоячая вода, ст. Писарева, 109, 114.
 Страна холода, оч. Пемировича-Данченко, 345.
 Странная исторія, Тургенева, 138.
 Страховъ, Н., 10—15.
 Страшная ночь, ком. въ стих. А. М. Жемчужникова, 490.
 Стукины и Хрустальниковъ, ром. Лейкина, 350.
 Стукъ-стукъ-стукъ, Тургенева, 138.
 Стучить, раз. Тургенева, 138.
 Суботовъ, Шевченко, 181.
 Судъ людской—не Божій, др. Потѣхина, 449, 451.
 Судьба, раз. Винницкой, 417.
 Суздальцы и суздальская критика, ст. Михайловскаго, 118.
 Сумасшествіе, стих. А. М. Жемчужникова, 490.
 Суриковъ, И. З., 475, 484.
 Сухая любовь, п. Авдѣева, 218.
 Сфинксъ, пов. Крестовскаго, 359.
 Сцены изъ сельскаго праздника, Н. Невенскаго, 226.
 Счастливые люди, Левитова, 262, 263.
 Счастливый день, П. Я. Соловьева, 152.
 Съ двухъ сторонъ, раз. Короленко, 412.
 Съ работы, стихотв. Некрасова, 471.
 Сынъ, пов. Костомарова, 368.

Т.

Такъ что-же намъ дѣлать? Л. Толстого, 181.
 Тарасова нѣчь, разсудія Шевченко, 180.
 Татьяна Борисовна и ея племянникъ, Тургенева, 131.
 Театральная карета, Григоронича, 207.
 Темное царство, Добролюбова, 78, 83, 121.
 Темныя силы, пов. Засодимскаго, 332.
 Теноръ, ром. Голицина (Муравлина), 115.
 Теорія Дарвина и общественная наука, ст. Михайловскаго, 118.
 Терентій мужъ Данильевичъ, ком. Аверкіева, 451.
 Терпигоревъ, С. Н., 346—347.
 Тише воды, ниже травы, Гл. Невенскаго, 272.
 Тишина, стих. Некрасова, 466.
 Тишь да гладь, Паумова, 266.
 Толстой, А. К., 370, 418, 490, 496—500.
 Толстой, Л. Н., 160—182.
 Тополя, баллада Шевченко, 179.
 Тоска, раз. Алѣева, 402.

То, чего не было, ск. Гаршина, 389, 390.
 Трагикъ, Ясинскаго, 399.
 Третьяковский, 17.
 Три бесѣды о современномъ значеніи философіи П. А., ст. Антоновича, 115.
 Три портрета, Тургенева, 130.
 Тризна, стих. Шевченко, 477.
 Три семьи, пов. Бажина, 333.
 Три смерти, поэма Майкова, 501.
 Три страны свѣта, ром. Некрасова и Станицкой, 18, 219, 460.
 Тронутые, раз. Авсеенко, 362.
 Тройка, стих. Некрасова, 471, 473, 474.
 Трудовой хлѣбъ, др. Островскаго, 431.
 Трудное время, В. Слѣпцова, 231, 326.
 Трусъ, раз. Гаршина, 388, 390, 391, 395.
 Тургеневъ, Ив. С., 121—141, 351, 418.
 Тургеневъ, ст. Писарева, 114, 115.
 Тушино, истор. хрон. Островскаго, 425.
 Ты знаешь край, стих. А. Толстого, 199.
 Тысяча душъ, ст. Писемскаго, 78, 213, 215.
 Тьма, пов. Саласа, 374.
 Тютчевъ, Ф. И., 504—506.
 Тюрьма, раз. Дмитріевой, 416.
 Тюфякъ, пов. Писемскаго, 24, 213.
 Тяжелая минута, стих. Полонскаго, 507.
 Тяжелые дни, Островскаго, 124.

У.

Убогіе и нарядные, оч. Голицина (Муравлина), 114, 115.
 Убѣжище Монрепо, Салтыкова, 297, 306.
 Уголки театральнаго міра, пов. Крестовской, 417.
 Улиткино дѣло, раз. Винницкой, 417.
 У людей-то въ дому—чистота, лѣпота, пѣсни Некрасова, 463.
 Умалишенный, Паумова, 266.
 Униженные и оскорбленные, р., Достоевскаго, 189, 190, 196, 197, 199.
 У Перевоза, Паумова, 266.
 Упустишь огонь—не потушишь, Л. Толстого, 182.
 Утоплена, баллада Шевченко, 179.
 Утро, стих. Никитина, 184.
 Утро молодого человѣка, Островскаго, 122.
 Успенскій, Г. И., 267—280.
 Успенскій, Н. В., 226—227.
 Устои, исторія одной деревни, пов. Злато-вратскаго, 284, 286.
 Утро помѣщика, Л. Толстого, 162, 163, 164.
 Ушанъ, раз. Маркова, 343.
 Уѣздный лекарь, Тургенева, 131.

Ф.

Фантазеръ, др. Боборыкина, 339.
 Фанфаронъ, Писемскаго, 213.
 Фаустъ, Тургенева, 129, 134.
 Федонька, оч. Потапенко, 412.
 Фигуры и тропы московской жизни, Левитова, 261, 262.
 Физиологія Петербурга, Некрасова, 459.
 Финансовый геній, в. Писемскаго, 216.
 Фофановъ, К. М., 523.

Фрегатъ Паллада, Гончарова, 99, 142, 152, 224, 232.
 Фроловъ, 127.
 Фроль Скобѣвъ, ком. Аверкіева, 454.
 Фругъ, С. Г., 513, 518—519.

Х.

Характеристика Пушкина и Гоголя, ст. Чернышевскаго, 66.
 Характеръ человѣческаго знанія, ст. Чернышевскаго, 62.
 Хворь, ром. Голицына, 415.
 Хвошинская, Н. Д., 219—222.
 Хлѣба и зрѣлищъ, ром. Шеллера, 328.
 Хмурые люди, раз. Чехова, 415.
 Ходить спѣсь надувающимся, народная пѣсня А. Толстого, 498.
 Хозяйка, Достоевскаго, 186, 187, 196.
 Холодный ярь, Шевченко, 477, 481.
 Холостякъ, Тургенева, 23, 448.
 Холстомѣръ, Л. Толстого, 170.
 Хомяковъ, 30—38.
 Хорошее житѣ, Н. Успенскаго, 226, 231.
 Хоръ и Калинычъ, Тургенева, 131.
 Христова невѣста, ром. Лейкина, 349.
 Христова ночь, ск. Салтыкова, 314, 315.
 Хроника села Смурина, ром. П. Засодимскаго, 288, 332, 333.
 Художники, раз. Гаршина, 388, 391, 392.
 Художникъ, раз. Шевченко, 481.
 Художникъ и простой человѣкъ, А. Писемскаго, 22.

Ц.

Цари биржи, ром. Немировича-Данченко, 345.
 Царская невѣста, др. Мел, 508.
 Царь-Дѣвица, ром. В. С. Соловьева, 376.
 Царь-Борисъ, траг. А. К. Толстого, 448.
 Царь Федоръ Иоанновичъ, траг. А. К. Толстого, 448.
 Цвѣты невиннаго юмора, ст. Писарева, 104, 105, 113, 309.
 Кн. Цертелевъ, 523.

Ч.

Часы, ст. Тургенева, 138.
 Черная работа, оч. Гл. Успенскаго, 273, 274.
 Черненькіе и бѣленькіе, ком. Чернышева, 452.
 Чернецъ, Шевченко, 480.
 Черноземныя поля, ром. Маркова, 343, 344.
 Чернышевскій, Н. Г., 57—67, 88—93.
 Чернышевъ, И. Е., 439, 452.
 Черный годъ, ром. Г. Данилевскаго, 371, 372.
 Черты для характеристики русскаго просто-народья, ст. Добролюбова, 80.
 Четверть вѣка назадъ, ром. Маркевича, 361.
 Четыре времени года, пов. Салова, 347.
 Четыре дня, раз. Гаршина, 388, 390, 391, 395.
 Чеховъ, А. П., 396, 415—416.
 Чигиринъ, Шевченко, 481.
 Чисти зубы, П. Якушкина, 244, 245.
 Что дѣлать? ром. Чернышевскаго, 62, 88—93.
 Что мнѣ она—не жена, не любовница, стих. Полонскаго, 507.

Что такое счастье, ст. Михайловскаго, 118.
 Что такое Обломовщина? ст. Добролюбова, 78, 79.
 Чужакъ, ром. Баранцевича, 405.
 Чужая жена, ст. Достоевскаго, 186, 193.
 Чужіе грѣхи, ром. Шеллера, 328.
 Чужіе между своими, пов. Бажина, 333.
 Чужое добро въ прокъ не идетъ, ком. Потѣхина, 450.
 Чужое имя, ром. Ахшарумова, 322, 348.
 Чѣмъ люди живы, Л. Толстого, 182.

Ш.

Шагъ за шагомъ (Свѣтловъ), ром. Оммулевскаго, 334, 335.
 Шапиръ, О. А., 417.
 Швачка, Шевченко, 480.
 Шевченко, Т. Г., 475—481.
 Шедо Фероти, ст. Писарева, 101, 102.
 Шеллеръ, А. К. (Михайловъ), 327—332.
 Шеншинъ (Фетъ) А. А., 16, 85, 495, 502—504.
 Шопотъ, робкое дыханье, стих. Фета, 503.
 Школьникъ, стих. Некрасова, 466.
 Шосейный день, Левитова, 261, 262.
 Шуба овечья—душа человѣчья, др. Потѣхина, 449.
 Шутники, Островскаго, 425, 443.
 Шуты гороховые, карт. съ нат. Лейкина, 350.

Щ.

Щербина, Н. О., 16, 495, 508—509.

Ъ.

Ъду-ли ночью по улицѣ темной, ст. Некрасова, 298, 468, 469.

Э.

Экономическая дѣятельность, ст. Чернышевскаго, 61.
 Эллада, стих. Щербины, 509.
 Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны, пов. Новодворскаго, 381, 382, 383, 385.
 Эртель, А. И., 288, 396, 407.
 Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности, Чернышевскаго, 63—66.

Ю.

Юдифь, поэма Мей, 508.
 Юмористическіе рассказы, Чехова, 415.
 Юморъ и поэзія въ Англіи, ст. Михайлова, 512.
 Юность, Л. Толстого, 104, 162, 163.
 Юный императоръ, р. Вс. Соловьева, 376.
 Юродивая, Наумова, 266.

Я.

Я вновь одинъ, стих. Надсона, 515.
 Яковъ Пасынковъ, Тургенева, 134.
 Якушкинъ, П. И., 240—245, 270.
 Якъ-бо то ты, Шевченко, 480.
 Ясинскій, І. І. (Максимъ Бѣлинскій), 396—399.

Ө.

Өедоровъ, И. В. (Оммулевскій), 332—335.